М.Е.
САЛТЫКОВ-
ЩЕДРИН

13

М.Е.
САЛТЫКОВ-
ЩЕДРИН



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В двадцати томах



Издание осуществляется
совместно с Институтом русской литературы
(Пушкинский дом) Академии наук СССР

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1972

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том тринадцатый

✻

ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ

1875—1880

УБЕЖИЩЕ МОНРЕПО

1878—1879

КРУГЛЫЙ ГОД

1879—1880

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1972

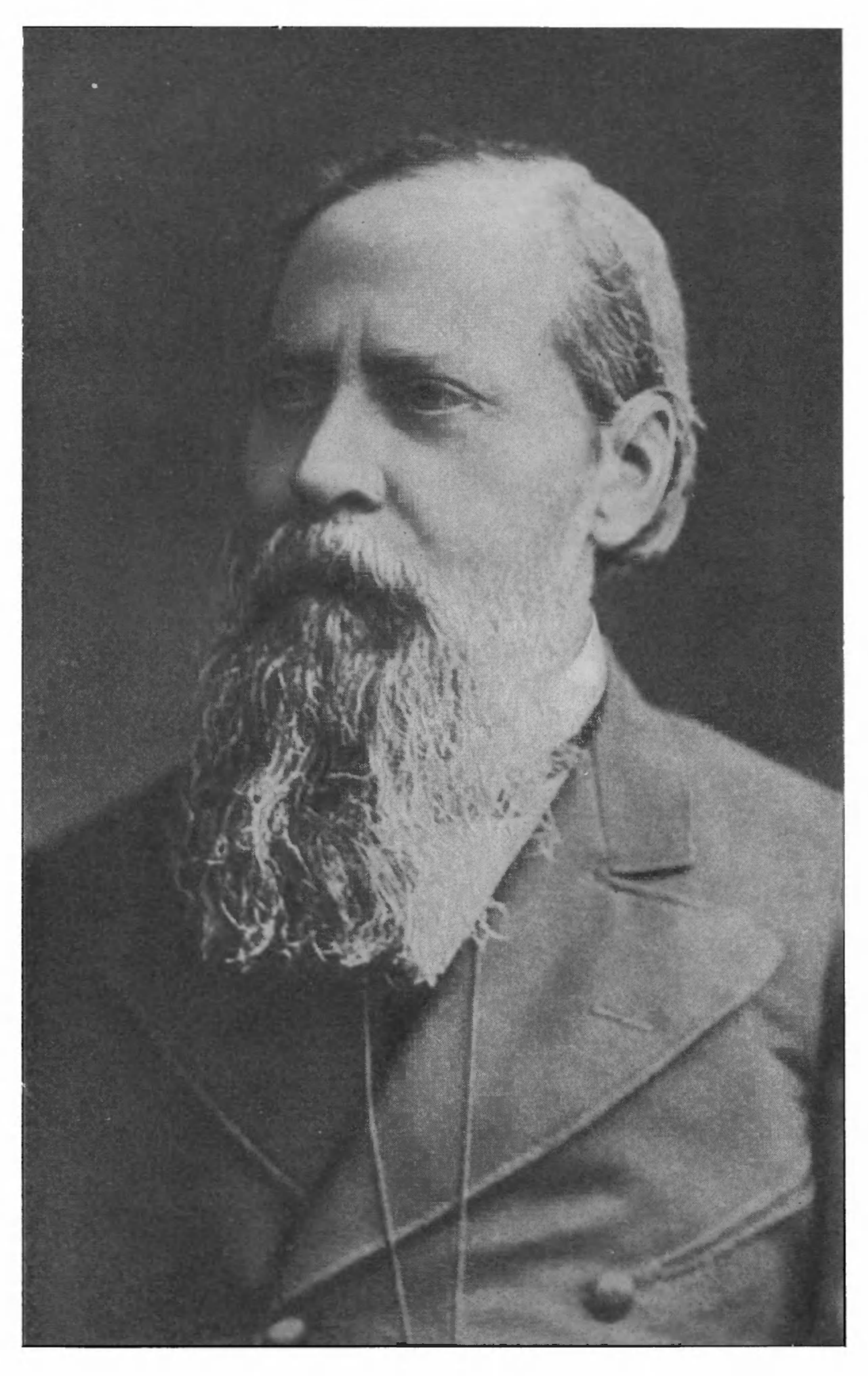
Р1
С16

Подготовка текста
В. Н. Баскакова, В. Э. Бограда, Д. М. Климовой

Примечания
В. В. Прозорова, В. А. Мыслякова, П. С. Рейфмана

Оформление художника
И. ЖИХАРЕВА

7—3—1
Подп. изд.



М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Фотография Розенберг и К.⁰

Начало 80-х гг.



ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ

СЕМЕЙНЫЙ СУД

Однажды бурмистр из дальней вотчины, Антон Васильев, окончив барыне Арине Петровне Головлевой доклад о своей поездке в Москву для сбора оброков с проживающих по паспортам крестьян и уже получив от нее разрешение идти в людскую, вдруг как-то таинственно замялся на месте, словно бы за ним было еще какое-то слово и дело, о котором он и решался и не решался доложить.

Арина Петровна, которая насквозь понимала не только малейшие телодвижения, но и тайные помыслы своих приближенных людей, немедленно обеспокоилась.

— Что еще? — спросила она, смотря на бурмистра в упор.

— Все-с,— попробовал было отвильнуть Антон Васильев.

— Не ври! еще есть! по глазам вижу!

Антон Васильев, однако ж, не решался ответить и продолжал переступать с ноги на ногу.

— Сказывай, какое еще дело за тобой есть? — решительным голосом прикрикнула на него Арина Петровна,— говори! не виляй хвостом... сумà переметная!

Арина Петровна любила давать прозвища людям, составлявшим ее административный и домашний персонал. Антона Васильева она прозвала «переметной сумòй» не за то, чтоб он в самом деле был когда-нибудь замечен в предательстве, а за то, что был слаб на язык. Имение, которым он управлял, имело своим центром значительное торговое село, в котором было большое число трактиров. Антон Васильев любил попить чайку в трактире, похвастаться всемогуществом своей барыни и во время этого хвастовства незаметным образом провирался. А так как у Арины Петровны постоянно были в ходу различ-

ные тяжбы, то частенько случалось, что болтливость доверенного человека выводила наружу барынины военные хитрости прежде, нежели они могли быть приведены в исполнение.

— Есть, действительно...— пробормотал наконец Антон Васильев.

— Что? что такое? — взволновалась Арина Петровна.

Как женщина властная и притом в сильной степени одаренная творчеством, она в одну минуту нарисовала себе картину всевозможных противоречий и противодействий и сразу так усвоила себе эту мысль, что даже побледнела и вскочила с кресла.

— Степан Владимирыч дом-то в Москве продали...— доложил бурмистр с расстановкой.

— Ну?

— Продали-с.

— Почему? как? не мни! сказывай!

— За долги... так нужно полагать! Известно, за хорошие дела продавать не станут.

— Стало быть, полиция продала? суд?

— Стало быть, что так. Сказывают, в восьми тысячах с аукциона дом-то пошел.

Арина Петровна грузно опустилась в кресло и уставилась глазами в окно. В первые минуты известие это, по-видимому, отняло у нее сознание. Если б ей сказали, что Степан Владимирыч кого-нибудь убил, что головлевские мужики взбунтовались и отказываются идти на барщину или что крепостное право рушилось,— и тут она не была бы до такой степени поражена. Губы ее шевелились, глаза смотрели куда-то вдаль, но ничего не видели. Она не приметила даже, что в это самое время девчонка Дуняшка ринулась было с разбега мимо окна, закрывая что-то передником, и вдруг, завидев барыню, на мгновение закружилась на одном месте и тихим шагом поворотила назад (в другое время этот поступок вызвал бы целое следствие). Наконец она, однако, опамятовалась и произнесла:

— Какова потеха!

После чего опять последовало несколько минут грозового молчания.

— Так ты говоришь, полиция за восемь тысяч дом-то продала? — переспросила она.

— Так точно.

— Это — родительское-то благословение! Хорош... мерзавец!

Арина Петровна чувствовала, что, ввиду полученного известия, ей необходимо принять немедленное решение, но ничего придумать не могла, потому что мысли ее путались в совер-

шенно противоположных направлениях. С одной стороны, думалось: «Полиция продала! ведь не в одну же минуту она продала! чай, опись была, оценка, вызовы к торгам? Продала за восемь тысяч, тогда как она за этот самый дом, два года тому назад, собственными руками двенадцать тысяч, как одну копейку, выложила! Кабы знать да ведать, можно бы и самой за восемь-то тысяч с аукциона приобрести!» С другой стороны, приходило на мысль и то: «Полиция за восемь тысяч продала! Это — родительское-то благословение! Мерзавец! за восемь тысяч родительское благословение спустил!»

— От кого слышал? — спросила наконец она, окончательно остановившись на мысли, что дом уже продан и что, следовательно, надежда приобрести его за дешевую цену утрачена для нее навсегда.

— Иван Михайлов, трактирщик, сказывал.

— А почему он вовремя меня не предупредил?

— Поопасился, стало быть.

— Поопасился! вот я ему покажу: «поопасился»! Вызвать его из Москвы, и как явится — сейчас же в рекрутское присутствие и лоб забрить! «Поопасился»!

Хотя крепостное право было уже на исходе, но еще существовало. Не раз случалось Антону Васильеву выслушивать от барыни самые своеобразные приказания, но настоящее ее решение было до того неожиданно, что даже и ему сделалось не совсем ловко. Прозвище «сумà перемётная» невольно ему при этом вспомнилось. Иван Михайлов был мужик обстоятельный, об котором и в голову не могло прийти, чтобы над ним могла стрястись какая-нибудь беда. Сверх того, это был его приятель душевный и кум — и вдруг его в солдаты, ради того только, что он, Антон Васильев, как сумà переметная, не сумел язык за зубами попридержать!

— Простите... Ивана-то Михайлыча! — заступился было он.

— Ступай... потатчик! — прикрикнула на него Арина Петровна, но таким голосом, что он и не подумал упорствовать в дальнейшей защите Ивана Михайлова.

Но прежде, нежели продолжать мой рассказ, я попрошу читателя поближе познакомиться с Ариной Петровной Головлевой и семейным ее положением.

Арина Петровна — женщина лет шестидесяти, но еще бодрая и привыкшая жить на всей своей воле. Держит она себя грозно; единолично и бесконтрольно управляет обширным головлевским имением, живет уединенно, расчетливо, почти ску-

по, с соседями дружбы не водит, местным властям доброхотствует, а от детей требует, чтоб они были в таком у нее послушании, чтобы при каждом поступке спрашивали себя: что-то об этом маменька скажет? Вообще имеет характер самостоятельный, непреклонный и отчасти строптивый, чему, впрочем, немало способствует и то, что во всем головлевском семействе нет ни одного человека, со стороны которого она могла бы встретить себе противодействие. Муж у нее — человек легкомысленный и пьяненький (Арина Петровна охотно говорит об себе, что она — ни вдова, ни мужняя жена); дети частью служат в Петербурге, частью — пошли в отца и, в качестве «постылых», не допускаются ни до каких семейных дел. При этих условиях Арина Петровна рано почувствовала себя одинокою, так что, говоря по правде, даже от семейной жизни совсем отвыкла, хотя слово «семья» не сходит с ее языка и, по наружности, всеми ее действиями исключительно руководят непрестанные заботы об устройстве семейных дел.

Глава семейства, Владимир Михайлыч Головлев, еще смолоду был известен своим безалаберным и озорным характером, и для Арины Петровны, всегда отличавшейся серьезностью и деловитостью, никогда ничего симпатичного не представлял. Он вел жизнь праздную и бездельную, чаще всего запирался у себя в кабинете, подражал пению скворцов, петухов и т. д. и занимался сочинением так называемых «вольных стихов». В минуты откровенных излияний он хвастался тем, что был другом Баркова и что последний будто бы даже благословил его на одре смерти. Арина Петровна сразу не залюбила стихов своего мужа, называла их паскудством и паясничаньем, а так как Владимир Михайлыч собственно для того и женился, чтобы иметь всегда под рукой слушателя для своих стихов, то понятно, что размолвки не заставили долго ждать себя. Постепенно разрастаясь и ожесточаясь, размолвки эти кончились, со стороны жены, полным и презрительным равнодушием к мужу-шуту, со стороны мужа — искреннею ненавистью к жене, ненавистью, в которую, однако ж, входила значительная доля трусости. Муж называл жену «ведьмою» и «чертом», жена называла мужа — «ветряною мельницей» и «бесструнной балалайкой». Находясь в таких отношениях, они пользовались совместною жизнью в продолжение с лишком сорока лет, и никогда ни тому, ни другой не приходило в голову, чтобы подобная жизнь заключала в себе что-либо противоестественное. С течением времени озорливость Владимира Михайлыча не только не уменьшилась, но даже приобрела еще более злостный характер. Независимо от стихотворных упражнений в барковском духе, он начал попивать и охотно подкарауливал в

коридоре горничных девок. Сначала Арина Петровна отнеслась к этому новому занятию своего мужа брезгливо и даже с волнением (в котором, однако ж, больше играла роль привычка властности, нежели прямая ревность), но потом махнула рукой и наблюдала только за тем, чтоб девки-поганки не носили барину ерофеича. С тех пор, сказавши себе раз навсегда, что муж ей не товарищ, она все внимание свое устремила исключительно на один предмет: на округление головлевского имения, и действительно, в течение сорокалетней супружеской жизни, успела удесятерить свое состояние. С изумительным терпением и зоркостью подкарауливала она дальние и ближние деревни, разузнавала по секрету об отношениях их владельцев к опекунскому совету и всегда, как снег на голову, являлась на аукционах. В круговороте этой фанатической погони за благоприобретением Владимир Михайлыч все дальше и дальше уходил на задний план, а наконец и совсем одичал. В минуту, когда начинается этот рассказ, это был уже дряхлый старик, который почти не оставлял постели, а ежели изредка и выходил из спальной, то единственно для того, чтоб просунуть голову в полурастворенную дверь жениной комнаты, крикнуть: «Черт!» — и опять скрыться.

Немного более счастлива была Арина Петровна и в детях. У нее была слишком независимая, так сказать, холостая натура, чтобы она могла видеть в детях что-нибудь, кроме лишней обузы. Она только тогда дышала свободно, когда была одна со своими счетами и хозяйственными предприятиями, когда никто не мешал ее деловым разговорам с бурмистрами, старостами, ключницами и т. д. В ее глазах дети были одною из тех фаталистических жизненных обстановок, против совокупности которых она не считала себя вправе протестовать, но которые тем не менее не затрогивали ни одной струны ее внутреннего существа, всецело отдавшегося бесчисленным подробностям жизнестроительства. Детей было четверо: три сына и дочь. О старшем сыне и об дочери она даже говорить не любила; к младшему сыну была более или менее равнодушна и только среднего, Порфишу, не то чтоб любила, а словно побаивалась.

Степан Владимирыч, старший сын, об котором преимущественно идет речь в настоящем рассказе, слыл в семействе под именем Степки-балбеса и Степки-озорника. Он очень рано попал в число «постылых» и с детских лет играл в доме роль не то парии, не то шута. К несчастию, это был даровитый малый, слишком охотно и быстро воспринимавший впечатления, которые вырабатывала окружающая среда. От отца он перенял неистощимую проказливость, от матери — способ-

ность быстро угадывать слабые стороны людей. Благодаря первому качеству, он скоро сделался любимцем отца, что еще больше усилило нелюбовь к нему матери. Часто, во время отлучек Арины Петровны по хозяйству, отец и подросток-сын удалялись в кабинет, украшенный портретом Баркова, читали стихи вольного содержания и судачили, причем в особенности доставалось «ведьме», то есть Арине Петровне. Но «ведьма» словно чутьем угадывала их занятия; неслышно подъезжала она к крыльцу, подходила на цыпочках к кабинетной двери и подслушивала веселые речи. Затем следовало немедленное и жестокое избиение Степки-балбеса. Но Степка не унимался; он был нечувствителен ни к побоям, ни к увещаниям и через полчаса опять принимался куролесить. То косынку у девки Анютки изрежет в куски, то сонной Васютке мух в рот напустит, то заберется на кухню и стянет там пирог (Арина Петровна, из экономии, держала детей впроголодь), который, впрочем, тут же разделит с братьями.

— Убить тебя надо! — постоянно твердила ему Арина Петровна,— убью — и не отвечу! И царь меня не накажет за это!

Такое постоянное принижение, встречая почву мягкую, легко забывающую, не прошло даром. Оно имело в результате не озлобление, не протест, а образовало характер рабский, повадливый до буффонства, не знающий чувства меры и лишенный всякой предусмотрительности. Такие личности охотно поддаются всякому влиянию и могут сделаться чем угодно: пропойцами, попрошайками, шутами и даже преступниками.

Двадцати лет, Степан Головлев кончил курс в одной из московских гимназий и поступил в университет. Но студенчество его было горькое. Во-первых, мать давала ему денег ровно столько, сколько требовалось, чтоб не пропасть с голода; во-вторых, в нем не оказывалось ни малейшего позыва к труду, а взамен того гнездилась проклятая талантливость, выражавшаяся преимущественно в способности к передразниванью; в-третьих, он постоянно страдал потребностью общества и ни на минуту не мог оставаться наедине с самим собой. Поэтому он остановился на легкой роли приживальщика и pique-assiette'а[1] и, благодаря своей податливости на всякую штуку, скоро сделался фаворитом богатеньких студентов. Но богатенькие, допуская его в свою среду, все-таки разумели, что он им не пара, что он только шут, и в этом именно смысле установилась его репутация. Ставши однажды на эту почву, он естественно тяготел все ниже и ниже, так что к концу 4-го курса вышу-

[1] Нахлебника.

тился окончательно. Тем не меньше, благодаря способности быстро схватывать и запоминать слышанное, он выдержал экзамен с успехом и получил степень кандидата.

Когда он явился к матери с дипломом, Арина Петровна только пожала плечами и промолвила: дивлюсь! Затем, продержав с месяц в деревне, отправила его в Петербург, назначив на прожиток по сту рублей ассигнациями в месяц. Начались скитания по департаментам и канцеляриям. Протекций у него не было, охоты пробить дорогу личным трудом — никакой. Праздная мысль молодого человека до того отвыкла сосредоточиваться, что даже бюрократические испытания, вроде докладных записок и экстрактов из дел, оказывались для нее непосильными. Четыре года бился Головлев в Петербурге и наконец должен был сказать себе, что надежда устроиться когда-нибудь выше канцелярского чиновника для него не существует. В ответ на его сетования Арина Петровна написала грозное письмо, начинавшееся словами: «я заранынше в сем была уверена» и кончавшееся приказанием явиться в Москву. Там. в совете излюбленных крестьян, было решено определить Степку-балбеса в надворный суд, поручив его надзору подьячего, который исстари ходатайствовал по головлевским делам. Что делал и как вел себя Степан Владимирыч в надворном суде — неизвестно, но через три года его уж там не было. Тогда Арина Петровна решилась на крайнюю меру: она «выбросила сыну кусок», который, впрочем, в то же время должен был изображать собою и «родительское благословение». Кусок этот состоял из дома в Москве, за который Арина Петровна заплатила двенадцать тысяч рублей.

В первый раз в жизни Степан Головлев вздохнул свободно. Дом обещал давать тысячу рублей серебром дохода, и сравнительно с прежним эта сумма представлялась ему чем-то вроде заправского благосостояния. Он с увлечением поцеловал у маменьки ручку («то-то же, смотри у меня, балбес! не жди больше ничего!» — молвила при этом Арина Петровна) и обещал оправдать оказанную ему милость. Но, увы! он так мало привык обращаться с деньгами, так нелепо понимал размеры действительной жизни, что сказочной годовой тысячи рублей достало очень ненадолго. В какие-нибудь четыре-пять лет он прогорел окончательно и был рад-радехонек поступить, в качестве заместителя, в ополчение, которое в это время формировалось. Ополчение, впрочем, дошло только до Харькова, как был заключен мир, и Головлев опять вернулся в Москву. Его дом был уже в это время продан. На нем был ополченский мундир, довольно, однако ж, потертый, на ногах — сапоги навыпуск и в кармане — сто рублей денег. С этим капиталом

он поднялся было на спекуляцию, то есть стал играть в карты, и невдолге проиграл всё. Тогда он принялся ходить по зажиточным крестьянам матери, жившим в Москве своим хозяйством; у кого обедал, у кого выпрашивал четвертку табаку, у кого по мелочи занимал. Но, наконец, наступила минута, когда он, так сказать, очутился лицом к лицу с глухой стеной. Ему было уже под сорок, и он вынужден был сознаться, что дальнейшее бродячее существование для него не по силам. Оставался один путь — в Головлево.

После Степана Владимирыча, старшим членом головлевского семейства была дочь, Анна Владимировна, о которой Арина Петровна тоже не любила говорить.

Дело в том, что на Аннушку Арина Петровна имела виды, а Аннушка не только не оправдала ее надежд, но вместо того на весь уезд учинила скандал. Когда дочь вышла из института, Арина Петровна поселила ее в деревне, в чаянье сделать из нее дарового домашнего секретаря и бухгалтера, а вместо того Аннушка, в одну прекрасную ночь, бежала из Головлева с корнетом Улановым и повенчалась с ним.

— Так, без родительского благословения, как собаки, и повенчались! — сетовала по этому случаю Арина Петровна.— Да хорошо еще, что кругом налоя-то муженек обвел! Другой бы попользовался — да и был таков! Ищи его потом да свищи!

И с дочерью Арина Петровна поступила столь же решительно, как и с постылым сыном: взяла и «выбросила ей кусок». Она отделила ей капитал в пять тысяч и деревнюшку в тридцать душ с упалòю усадьбой, в которой изо всех окон дуло и не было ни одной живой половицы. Года через два молодые капитал прожили, и корнет неизвестно куда бежал, оставив Анну Владимировну с двумя дочерьми-близнецами: Аннинькой и Любинькой. Затем и сама Анна Владимировна через три месяца скончалась, и Арина Петровна волей-неволей должна была приютить круглых сирот у себя. Чтò она и исполнила, поместив малюток во флигеле и приставив к ним кривую старуху Палашку.

— У бога милостей много,— говорила она при этом,— сиротки хлеба не бог знает чтò съедят, а мне на старости лет — утешение! Одну дочку бог взял — двух дал!

И в то же время писала к сыну Порфирию Владимирычу: «Как жила твоя сестрица беспутно, так и умерла, покинув мне на шею своих двух щенков...»

Вообще, как ни циничным может показаться это замечание, но справедливость требует сознаться, что оба эти случая, по поводу которых произошло «выбрасывание кусков», не

только не произвели ущерба в финансах Арины Петровны, но косвенным образом даже способствовали округлению головлевского имения, сокращая число пайщиков в нем. Ибо Арина Петровна была женщина строгих правил и, раз «выбросивши кусок», уже считала поконченными все свои обязанности относительно постылых детей. Даже при мысли о сиротах-внучках ей никогда не представлялось, что со временем придется что-нибудь уделить им. Она старалась только как можно больше выжать из маленького имения, отделенного покойной Анне Владимировне, и откладывать выжатое в опекунский совет. Причем говорила:

— Вот и для сирот денежки прикапливаю, а что они прокормлением да уходом стоят — ничего уж с них не беру! За мою хлеб-соль, видно, бог мне заплатит!

Наконец младшие дети, Порфирий и Павел Владимирычи, находились на службе в Петербурге: первый — по гражданской части, второй — по военной. Порфирий был женат, Павел — холостой.

Порфирий Владимирыч известен был в семействе под тремя именами: Иудушки, кровопивушки и откровенного мальчика, каковые прозвища еще в детстве были ему даны Степкой-балбесом. С младенческих лет любил он приласкаться к милому другу маменьке, украдкой поцеловать ее в плечико, а иногда и слегка понаушничать. Неслышно отворит, бывало, дверь маменькиной комнаты, неслышно прокрадется в уголок, сядет и, словно очарованный, не сводит глаз с маменьки, покуда она пишет или возится со счетами. Но Арина Петровна уже и тогда с какою-то подозрительностью относилась к этим сыновним заискиваньям. И тогда этот пристально устремленный на нее взгляд казался ей загадочным, и тогда она не могла определить себе, что именно он источает из себя: яд или сыновнюю почтительность.

— И сама понять не могу, что у него за глаза такие,— рассуждала она иногда сама с собою,— взглянет — ну, словно вот петлю закидывает. Так вот и поливает ядом, так и подманивает!

И припомнились ей при этом многознаменательные подробности того времени, когда она еще была «тяжела» Порфишей. Жил у них тогда в доме некоторый благочестивый и прозорливый старик, которого называли Порфишей-блаженненьким и к которому она всегда обращалась, когда желала что-либо провидеть в будущем. И вот этот-то самый старец, когда она спросила его, скоро ли последуют роды и кого-то бог даст ей, сына или дочь — ничего прямо ей не ответил, но три раза прокричал петухом и вслед затем пробормотал:

— Петушок, петушок! востер ноготок! Петух кричит, наседке грозит; наседка — кудах-тах-тах, да поздно будет!

И только. Но через три дня (вот оно — три раза-то прокричал!) она родила сына (вот оно — петушок-петушок!), которого и назвали Порфирием, в честь старца-провидца...

Первая половина пророчества исполнилась; но что могли означать таинственные слова: «наседка — кудах-тах-тах, да поздно будет»? — вот об этом-то и задумывалась Арина Петровна, взглядывая из-под руки на Порфишу, покуда тот сидел в своем углу и смотрел на нее своим загадочным взглядом.

А Порфиша продолжал себе сидеть кротко и бесшумно, и все смотрел на нее, смотрел до того пристально, что широко раскрытые и неподвижные глаза его подергивались слезою. Он как бы провидел сомнения, шевелившиеся в душе матери, и вел себя с таким расчетом, что самая придирчивая подозрительность — и та должна была признать себя безоружною перед его кротостью. Даже рискуя надоесть матери, он постоянно вертелся у ней на глазах, словно говорил: «Смотри на меня! Я ничего не утаиваю! Я весь послушливость и преданность, и притом послушливость не токмо за страх, но и за совесть». И как ни сильно говорила в ней уверенность, что Порфишка-подлец только хвостом лебезит, а глазами все-таки петлю накидывает, но ввиду такой беззаветности и ее сердце не выдерживало. И невольно рука ее искала лучшего куска на блюде, чтоб передать его ласковому сыну, несмотря на то, что один вид этого сына поднимал в ее сердце смутную тревогу чего-то загадочного, недоброго.

Совершенную противоположность с Порфирием Владимирычем представлял брат его, Павел Владимирыч. Это было полнейшее олицетворение человека, лишенного каких бы то ни было поступков. Еще мальчиком, он не выказывал ни малейшей склонности ни к ученью, ни к играм, ни к общительности, но любил жить особняком, в отчуждении от людей. Забьется, бывало, в угол, надуется и начнет фантазировать. Представляется ему, что он толокна наелся, что от этого ноги сделались у него тоненькие, и он не учится. Или — что он не Павел-дворянский сын, а Давыдка-пастух, что на лбу у него выросла болона̀, как и у Давыдки, что он арапником щелкает и не учится. Поглядит-поглядит, бывало, на него Арина Петровна, и так и раскипятится ее материнское сердце.

— Ты что, как мышь на крупу, надулся! — не утерпит, прикрикнет она на него,— или уж с этих пор в тебе яд-то действует! нет того, чтобы к матери подойти: маменька, мол, приласкайте меня, душенька!

Павлуша покидал свой угол и медленными шагами, словно его в спину толкали, приближался к матери.

— Маменька, мол,— повторял он каким-то неестественным для ребенка басом,— приласкайте меня, душенька!

— Пошел с моих глаз... тихоня! ты думаешь, что забьешься в угол, так я и не понимаю? Насквозь тебя понимаю, голубчик! все твои планы-прожекты как на ладони вижу!

И Павел тем же медленным шагом отправлялся назад и забивался опять в свой угол.

Шли годы, и из Павла Владимирыча постепенно образовывалась та апатичная и загадочно-угрюмая личность, из которой, в конечном результате, получается человек, лишенный поступков. Может быть, он был добр, но никому добра не сделал; может быть, был и не глуп, но во всю жизнь ни одного умного поступка не совершил. Он был гостеприимен, но никто не льстился на его гостеприимство; он охотно тратил деньги, но ни полезного, ни приятного результата от этих трат ни для кого никогда не происходило; он никого никогда не обидел, но никто этого не вменял ему в достоинство; он был честен, но не слыхали, чтоб кто-нибудь сказал: ка̀к честно поступил в таком-то случае Павел Головлев! В довершение всего он нередко огрызался против матери и в то же время боялся ее, как огня. Повторяю: это был человек угрюмый, но за его угрюмостью скрывалось отсутствие поступков — и ничего больше.

В зрелом возрасте, различие характеров обоих братьев всего резче высказалось в их отношениях к матери. Иудушка каждую неделю аккуратно слал к маменьке обширное послание, в котором пространно уведомлял ее о всех подробностях петербургской жизни и в самых изысканных выражениях уверял в бескорыстной сыновней преданности. Павел писал редко и кратко, а иногда даже загадочно, словно клещами вытаскивал из себя каждое слово. «Деньги столько-то и на такой-то срок, бесценный друг маменька, от доверенного вашего, крестьянина Ерофеева, получил,— уведомлял, например, Порфирий Владимирыч,— а за присылку оных, для употребления на мое содержание, согласно вашему, милая маменька, соизволению, приношу чувствительнейшую благодарность и с нелицемерною сыновнею преданностью целую ваши ручки. Об одном только грущу и сомнением мучусь: не слишком ли утруждаете вы драгоценное ваше здоровье непрерывными заботами об удовлетворении не только нужд, но и прихотей наших?! Не знаю, как брат, а я»... и т. д. А Павел, по тому же поводу, выражался: «Деньги столько-то на такой-то срок, дражайшая родительница, получил, и, по моему расчету, следует мне еще шесть с полтиной дополучить, в чем и прошу вас меня почтен-

нейше извинить». Когда Арина Петровна посылала детям выговоры за мотовство (это случалось нередко, хотя серьезных поводов и не было), то Порфиша всегда с смирением покорялся этим замечаниям и писал: «Знаю, милый дружок маменька, что вы несете непосильные тяготы ради нас, недостойных детей ваших; знаю, что мы очень часто своим поведением не оправдываем ваших материнских об нас попечений, и, что всего хуже, по свойственному человекам заблуждению, даже забываем о сем, в чем и приношу вам искреннее сыновнее извинение, надеясь со временем от порока сего избавиться и быть, в употреблении присылаемых вами, бесценный друг маменька, на содержание и прочие расходы денег осмотрительным». А Павел отвечал так: «Дражайшая родительница! хотя вы долгов за меня еще не платили, но выговор в названии меня мотом беспрепятственно принимаю, в чем и прошу чувствительнейше принять уверение». Даже на письмо Арины Петровны, с извещением о смерти сестрицы Анны Владимировны, оба брата отозвались различно. Порфирий Владимирыч писал: «Известие о кончине любезной сестрицы и доброй подруги детства Анны Владимировны поразило мое сердце скорбию, каковая скорбь еще более усилилась при мысли, что вам, милый друг маменька, посылается еще новый крест, в лице двух сирот-малюток. Ужели еще недостаточно, что вы, общая наша благодетельница, во всем себе отказываете и, не щадя своего здоровья, все силы к тому направляете, дабы обеспечить свое семейство не только нужным, но и излишним? Право, хоть и грешно, но иногда невольно поропщешь. И единственное, по моему мнению, для вас, родная моя, в настоящем случае, убежище — это сколь можно чаще припоминать, что вытерпел сам Христос». Павел же писал: «Известие о кончине сестры, погибшей жертвою, получил. Впрочем, надеюсь, что всевышний успокоит ее в своих сенях, хотя сие и неизвестно».

Перечитывала Арина Петровна эти письма сыновей и все старалась угадать, который из них ей злодеем будет. Прочтет письмо Порфирия Владимирыча, и кажется, что вот он-то и есть самый злодей.

— Ишь ведь как пишет! ишь как языком-то вертит! — восклицала она,— недаром Степка-балбес Иудушкой его прозвал! Ни одного-то ведь слова верного нет! всё-то он лжет! и «милый дружок маменька», и про тягости-то мои, и про крест-то мой... ничего он этого не чувствует!

Потом примется за письмо Павла Владимирыча, и опять чудится, что вот он-то и есть ее будущий злодей.

— Глуп-глуп, а смотри, как исподтишка мать козыряет! «В чем и прошу чувствительнейше принять уверение...», ми-

лости просим! Вот я тебе покажу, что значит «чувствительнейше принимать уверение»! Выброшу тебе кусок, как Степке-балбесу — вот ты и узнаешь тогда, как я понимаю твои «уверения»!

И в заключение из ее материнской груди вырывался поистине трагический вопль:

— И для кого я всю эту прорву коплю! для кого я припасаю! ночей недосыпаю, куска недоедаю... для кого?!

Таково было семейное положение Головлевых в ту минуту, когда бурмистр Антон Васильев доложил Арине Петровне о промотании Степкой-балбесом «выброшенного куска», который, ввиду дешевой его продажи, получал уже сугубое значение «родительского благословения».

Арина Петровна сидела в спальной и не могла прийти в себя. Что-то такое шевелилось у нее внутри, в чем она не могла отдать себе ясного отчета. Участвовала ли тут каким-то чудом явившаяся жалость к постылому, но все-таки сыну или говорило одно нагое чувство оскорбленного самовластия — этого не мог бы определить самый опытный психолог: до такой степени перепутывались и быстро сменялись в ней все чувства и ощущения. Наконец из общей массы накопившихся представлений яснее других выделилось опасение, что «постылый» опять сядет ей на шею.

«Анютка щенков своих навязала, да вот еще балбес...» — рассчитывала она мысленно.

Долго просидела она таким образом, не молвив ни слова и смотря в окно в одну точку. Принесли обед, до которого она почти не коснулась; пришли сказать: барину водки пожалуйте! — она, не глядя, швырнула ключ от кладовой. После обеда она ушла в образную, велела засветить все лампадки и затворилась, предварительно заказав истопить баню. Все это были признаки, которые несомненно доказывали, что барыня «гневается», и потому в доме все вдруг смолкло, словно умерло. Горничные ходили на цыпочках; ключница Акулина совалась, как помешанная: назначено было после обе́да варенье варить, и вот пришло время, ягоды вычищены, готовы, а от барыни ни приказу, ни отказу нет; садовник Матвей пришел было с вопросом, не пора ли персики обирать, но в девичьей так на него цыкнули, что он немедленно отретировался.

Помолившись богу и вымывшись в баньке, Арина Петровна почувствовала себя несколько умиротворенною и вновь потребовала Антона Васильева к ответу.

— Ну, а что же балбес делает? — спросила она.

— Москва велика — и в год ее всю не исходить!

— Да ведь, чай, пить, есть надо?

— Около своих мужичков прокармливаются. У кого пообедают, у кого на табак гривенничек выпросят.

— А кто позволил давать?

— Помилуйте, сударыня! Мужички разве обижаются! Чужим неимущим подают, а уж своим господам отказать!

— Вот я им ужо... подавальщикам! Сошлю балбеса к тебе в вотчину, и содержите его всем обществом на свой счет!

— Вся ваша власть, сударыня.

— Что? что ты такое сказал?

— Вся, мол, ваша власть, сударыня. Прикажете, так и прокормим!

— То-то... прокормим! ты у меня говори, да не заговаривайся!

Молчание. Но Антон Васильев недаром получил от барыни прозвище переметной сумы. Он не вытерпливает и вновь начинает топтаться на месте, сгорая желанием нечто доложить.

— Да еще какой прокурат! — наконец произносит он,— сказывают, как из похода-то воротился, сто рублей денег с собой принес. Не велики деньги сто рублей, а и на них бы сколько-нибудь прожить можно...

— Ну?

— Поправиться, вишь, полагал, в аферу пустился...

— Говори, не мни!

— В немецкое, чу, собрание свез. Думал дурака найти в карты обыграть, ан, заместо того, сам на умного попался. Он было и наутек, да в прихожей, сказывают, задержали. Что было денег — все обрали!

— Чай, и бокам досталось?

— Было всего. На другой день приходит к Ивану Михайлычу, да сам же и рассказывает. И даже удивительно это: смеется... веселый! словно бы его по головке погладили!

— Ништо ему! лишь бы ко мне на глаза не показывался!

— А надо полагать, что так будет.

— Что̀ ты! да я его на порог к себе не пущу!

— Не ина̀че, что так будет! — повторяет Антон Васильев,— и Иван Михайлыч сказывал, что он проговаривался: шабаш! говорит, пойду к старухе хлеб всухомятку есть! Да ему, сударыня, коли по правде сказать, и деваться-то, окроме здешнего места, некуда. По своим мужичкам долго в Москве не находится. Одежа тоже нужна, спокой...

Вот этого-то именно и боялась Арина Петровна, это-то именно и составляло суть того неясного представления, кото-

рое бессознательно тревожило ее. «Да, он явится, ему некуда больше идти — этого не миновать! Он будет здесь, вечно у нее на глазах, клятой, постылый, забытый! Для чего же она выбросила ему в то время «кусок»? Она думала, что, получивши «что следует», он канул в вечность — ан он возрождается! Он придет, будет требовать, будет всем мозолить глаза своим нищенским видом. И надо будет удовлетворять его требованиям, потому что он человек наглый, готовый на всякое буйство. «Его» не спрячешь под замок; «он» способен и при чужих явиться в отребье, способен произвести дебош, бежать к соседям и рассказать им вся сокровенная головлевских дел. Сослать его разве в Суздаль-монастырь? — Но кто ж его знает, полно, есть ли еще этот Суздаль-монастырь, и в самом ли деле он для того существует, чтоб освобождать огорченных родителей от лицезрения строптивых детей? Сказывают еще, что смирительный дом есть... да ведь смирительный дом — ну, как ты его туда, экого сорокалетнего жеребца, приведешь?» Одним словом, Арина Петровна совсем растерялась при одной мысли о тех невзгодах, которые грозят взбудоражить ее мирное существование с приходом Степки-балбеса.

— Я его к тебе в вотчину пришлю! корми на свой счет! — пригрозилась она бурмистру,— не на вотчинный счет, а на собственный свой!

— За что так, сударыня?

— А за то, что не каркай. Кра! кра! «не иначе, что так будет»... пошел с моих глаз долой... ворона!

Антон Васильев повернул было налево кругом, но Арина Петровна вновь остановила его.

— Стой! погоди! так это верно, что он в Головлево лыжи навострил? — спросила она.

— Стану ли я, сударыня, лгать! Верно говорил: к старухе пойду хлеб всухомятку есть!

— Вот я ему покажу ужо, какой для него у старухи хлеб припасен!

— Да что, сударыня, недолго он у вас наживет!

— А что такое?

— Да, кашляет оченно сильно... за левую грудь все хватается... Не заживется!

— Этакие-то, любезный, еще дольше живут! и нас всех переживет! Кашляет да кашляет — что ему, жеребцу долговязому, делается! Ну, да там посмотрим. Ступай теперь: мне нужно распоряжение сделать.

Весь вечер Арина Петровна думала и наконец-таки надумала: созвать семейный совет для решения балбесовой участи. Подобные конституционные замашки не были в ее нравах,

но на этот раз она решилась отступить от преданий самодержавия, дабы решением всей семьи оградить себя от нареканий добрых людей. В исходе предстоящего совещания она, впрочем, не сомневалась, и потому с легким духом села за письма, которыми предписывалось Порфирию и Павлу Владимирычам немедленно прибыть в Головлево.

Покуда все это происходило, виновник кутерьмы, Степка-балбес, уж подвигался из Москвы по направлению к Головлеву. Он сел в Москве, у Рогожской, в один из так называемых «дележанов», в которых в былое время езжали, да и теперь еще кой-где ездят мелкие купцы и торгующие крестьяне, направляясь в свое место в побывку. «Дележан» ехал по направлению к Владимиру, и тот же сердобольный трактирщик Иван Михайлыч вез на свой счет Степана Владимирыча, взявши для него место и уплачивая за его харчи в продолжение всей дороги.

— Так уж вы, Степан Владимирыч, так и сделайте: на повертке слезьте, да пешком, как есть в костюме — так и отъявитесь к маменьке! — условливался с ним Иван Михайлыч.

— Так, так, так! — подтверждал и Степан Владимирыч, — много ли от повертки — пятнадцать верст пешком пройти! мигом отхватаю! В пыли, в навозе — так и явлюсь!

— Увидит маменька в костюме-то — может, и пожалеет!

— Пожалеет! как не пожалеть! Мать — ведь она старуха добрая!

Степану Головлеву нет еще сорока лет, но по наружности ему никак нельзя дать меньше пятидесяти. Жизнь до такой степени истрепала его, что не оставила на нем никакого признака дворянского сына, ни малейшего следа того, что и он был когда-то в университете и что и к нему тоже было обращено воспитательное слово науки. Это — чрезмерно длинный, нечесаный, почти немытый малый, худой от недостатка питания, с впалою грудью, с длинными, загребистыми руками. Лицо у него распухшее, волосы на голове и бороде растрепанные, с сильною проседью, голос громкий, но сиплый, простуженный, глаза навыкате и воспаленные, частью от непомерного употребления водки, частью от постоянного нахождения на ветру. На нем ветхая и совершенно затасканная серая ополченка, галуны с которой содраны и проданы на выжигу; на ногах — стоптанные, порыжелые и заплатанные сапоги навыпуск; из-за распахнутой ополченки виднеется рубашка, почти черная, словно вымазанная сажей — рубашка, которую он

с истинно ополченским цинизмом сам называет «блошницею». Смотрит он исподлобья, угрюмо, но эта угрюмость не выражает внутреннего недовольства, а есть следствие какого-то смутного беспокойства, что вот-вот еще минута, и он, как червяк, подохнет с голоду.

Говорит он без умолку, без связи перескакивая с одного предмета на другой; говорит и тогда, когда Иван Михайлыч слушает его, и тогда, когда последний засыпает под музыку его говора. Ему ужасно неловко сидеть. В «дележане» поместилось четыре человека, а потому приходится сидеть, скрючивши ноги, что уже на протяжении трех-четырех верст производит невыносимую боль в коленках. Тем не менее, несмотря на боль, он постоянно говорит. Облака пыли врываются в боковые отверстия повозки; по временам заползают туда косые лучи солнца, и вдруг, словно полымем, обожгут всю внутренность «дележана», а он все говорит.

— Да, брат, тяпнул-таки я на своем веку горя,— рассказывает он,— пора и на боковую! Не объем же ведь я ее, а куска-то хлеба, чай, как не найтись! Ты как, Иван Михайлыч, об этом думаешь?

— У маменьки вашей много кусков!

— Только не про меня — так, что ли, ты хочешь сказать? Да, дружище, деньжищ у нее — целая прорва, а для меня пятака медного жаль! И ведь всегда-то она меня, ведьма, ненавидела! За что? Ну, да теперь, брат, шалишь! с меня взятки-то гладки, я и за горло возьму! Выгнать меня вздумает — не пойду! Есть не даст — сам возьму! Я, брат, отечеству послужил — теперь мне всякий помòчь обязан! Одного боюсь: табаку не будет давать — скверность!

— Да, уж с табачком, видно, проститься придется!

— Так я бурмистра за бока! может лысый черт и подарить барину!

— Подарить отчего не подарить! А ну, как она, маменька-то ваша, и бурмистру запретит?

— Ну, тогда я уж совсем мат; только одна роскошь у меня и осталась от прежнего великолепия — это табак! Я, брат, как при деньгах был, в день по четвертке Жукова выкуривал!

— Вот и с водочкой тоже проститься придется!

— Тоже скверность. А мне водка даже для здоровья полезна — мокрòту разбивает. Мы, брат, как походом под Севастополь шли — еще до Серпухова не дошли, а уж по ведру на брата вышло!

— Чай, очунели?

— Не помню. Кажется, что-то было. Я, брат, вплоть до Харькова дошел, а хоть убей — ничего не помню. Помню

только, что и деревнями шли, и городами шли, да еще, что в Туле откупщик нам речь говорил. Прослезился, подлец! Да, тяпнула-таки в ту пору горя наша матушка-Русь православная! Откупщики, подрядчики, приемщики — как только бог спас!

— А вот маменьке вашей так и тут барышо̀к вышел. Из нашей вотчины больше половины ратников домой не вернулось, так за каждого, сказывают, зачетную рекрутскую квитанцию нынче выдать велят. Ан она, квитанция-то, в казне с лишком четыреста стоит.

— Да, брат, у нас мать — умница! Ей бы министром следовало быть, а не в Головлеве пенки с варенья снимать! Знаешь ли что! Несправедлива она ко мне была, обидела она меня,— а я ее уважаю! Умна, как черт, вот что главное! Кабы не она — что бы мы теперь были? Были бы при одном Головлеве — сто одна душа с половиной! А она — посмотри, какую чертову пропасть она накупила!

— Будут ваши братцы при капитале!

— Будут. Вот я так ни при чем останусь — это верно! Да, вылетел, брат, я в трубу! А братья будут богаты, особливо Кровопивушка. Этот без мыла в душу влезет. А впрочем, он ее, старую ведьму, со временем порешит; он и именье и капитал из нее высосет — я на эти дела провидец! Вот Павел-брат — тот душа-человек! он мне табаку потихоньку пришлет — вот увидишь! Как приеду в Головлево — сейчас ему цидулу: так и так, брат любезный,— успокой! Э-э-эх, эхма! вот кабы я богат был!

— Что ж бы вы сделали?

— Во-первых, сейчас бы тебя озолотил...

— Меня зачем же! Вы об себе, а я и так, по милости вашей маменьки, доволен.

— Ну нет — это, брат, атта̀нде! — я бы тебя главнокомандующим надо всеми имениями сделал! Да, друг, накормил, обогрел ты служивого — спасибо тебе! Кабы не ты, понтировал бы я теперь пешедралом до дома предков моих! И вольную бы тебе сейчас в зубы, и все бы перед тобой мои сокровища открыл — пей, ешь и веселись! А ты как обо мне полагал, дружище?

— Нет, уж про меня вы, сударь, оставьте. Что бы еще-то вы сделали, кабы богаты были?

— Во-вторых, сейчас бы штучку себе завел. В Курске, ходил я к владычице молебен служить, так одну видел... ах, хороша штучка! Веришь ли, ни одной-то минуты не было, чтоб она спокойно на месте постояла!

— А может, она бы в штучки-то и не пошла?

— А деньги на что! презренный металл на что? Мало ста тысяч — двести бери! Я, брат, коли при деньгах, ничего не пожалею, только чтоб в свое удовольствие пожить! Я, признаться сказать, ей и в ту пору через ефрейтора три целковеньких посулил — пять, бестия, запросила!

— А пяти-то, видно, не случилось?

— И не знаю, брат, как сказать. Говорю тебе: все словно как во сне видел. Может, она даже и была у меня, да я забыл. Всю дорогу, целых два месяца — ничего не помню! А с тобой, видно, этого не случалось?

Но Иван Михайлыч молчит. Степан Владимирыч вглядывается и убеждается, что спутник его мерно кивает головой и, по временам, когда касается носом чуть не колен, как-то нелепо вздрагивает и опять начинает кивать в такт.

— Эхма! — говорит он,— уж и укачало тебя! на боковую просишься! Разжирел ты, брат, на чаях да на харчах-то трактирных! А у меня так и сна нет! нет у меня сна — да и шабаш! Чтò бы теперь, однако ж, какую бы штукенцию предпринять! Разве вот от плода сего виноградного...

Головлев озирается кругом и удостоверяется, что и прочие пассажиры спят. У купца, который рядом с ним сидит, голову об перекладину колотит, а он все спит. И лицо у него сделалось глянцевое, словно лаком покрыто, и мухи кругом рот облепили.

«А что, если б всех этих мух к нему в хайлò препроводить — то-то бы, чай, небо с овчинку показалось!» — вдруг осеняет Головлева счастливая мысль, и он уже начинает подкрадываться к купцу рукой, чтобы привести свой план в исполнение, но на половине пути что-то припоминает и останавливается.

— Нет, полно проказничать — баста! Спите, други, и почивайте! А я покуда... и куда это он полштоф засунул? Ба! вот он, голубчик! Полезай, полезай сюда! Спа-си, го-о-споди, люди твоя! — запевает он вполголоса, вынимая посудину из холщовой сумки, прикрепленной сбоку кибитки, и прикладывая ко рту горлышко,— ну вот, теперь ладно! тепло сделалось! Или еще? Нет, ладно... до станции-то верст двадцать еще будет, успею натенькаться... или еще? Ах, прах ее побери, эту водку! Увидишь полштоф — так и подманивает! Пить скверно, да и не пить нельзя — потому сна нет! Хоть бы сон, черт его возьми, сморил меня!

Булькнув еще несколько глотков из горлышка, он засовывает полштоф на прежнее место и начинает набивать трубку.

— Важно! — говорит он,— сперва выпили, а теперь трубочки покурим! Не даст, ведьма, мне табаку, не даст — это он верно сказал. Есть-то даст ли? Объедки, чай, какие-нибудь

со стола посылать будет! Эхма! были и у нас денежки — и нет их! Был человек — и нет его! Так-то вот и все на сем свете! сегодня ты и сыт и пьян, живешь в свое удовольствие, трубочку покуриваешь...

А завтра — где ты, человек?

Однако надо бы и закусить что-нибудь. Пьешь-пьешь, словно бочка с изъяном, а закусить путем не закусишь. А доктора сказывают, что питье тогда на пользу, когда при нем и закуска благопотребная есть, как говорил преосвященный Смарагд, когда мы через Обоянь проходили. Через Обоянь ли? А черт его знает, может, и через Кромы! Не в том, впрочем, дело, а как бы закуски теперь добыть. Помнится, что он в мешочек колбасу и три французских хлеба положил! Небось икорки пожалел купить! Ишь ведь как спит, какие песни носом выводит! Чай, и провизию-то под себя сгреб!

Он шарит кругом себя и ничего не нашаривает.

— Иван Михайлыч! а Иван Михайлыч! — окликает он.

Иван Михайлыч просыпается и с минуту словно не понимает, каким образом он очутился vis-à-vis с барином.

— А меня только что было сон заводить начал! — наконец говорит он.

— Ничего, друг, спи! Я только спросить, где у нас тут мешок с провизией спрятан?

— Поесть захотелось? да ведь прежде, чай, выпить надо!

— И то дело! где у тебя полштоф-то?

Выпивши, Степан Владимирыч принимается за колбасу, которая оказывается твердою, как камень, соленою, как сама соль, и облеченною в такой прочный пузырь, что нужно прибегнуть к острому концу .ножа, чтобы проткнуть его.

— Белорыбицы бы теперь хорошо,— говорит он.

— Уж извините, сударь, совсем из памяти вон. Все утро помнил, даже жене говорил: беспременно напомни об белорыбице — и вот, словно грех случился!

— Ничего, и колбасы поедим. Походом шли — не то едали. Вот папенька рассказывал: англичанин с англичанином об заклад побился, что дохлую кошку съест — и съел!

— Тсс... съел?

— Съел. Только тошнило его после! Ромом вылечился. Две бутылки залпом выпил — как рукой сняло. А то еще один англичанин об заклад бился, что целый год одним сахаром питаться будет.

— Выиграл?

— Нет, двух суток до году не дожил — околел! Да ты что ж сам-то! водочки бы долбанул?

— Сроду не пивал.

— Чаем одним наливаешься? Нехорошо, брат; оттого и брюхо у тебя растет. С чаем надобно тоже осторожно: чашку выпей, а сверху рюмочкой прикрой. Чай мокрòту накопляет, а водка разбивает. Так, что ли?

— Не знаю; вы люди ученые, вам лучше знать.

— То-то. Мы как походом шли — с чаями-то да с кофеями нам некогда было возиться. А водка — святое дело: отвинтил манерку, налил, выпил — и шабаш. Скоро уж больно нас в ту пору гнали, так скоро, что я дней десять не мывшись был!

— Много вы, сударь, трудов приняли!

— Много не много, а попробуй попонтируй-ко по столбовой! Ну, да вперед-то идти все-таки нештò было: жертвуют, обедами кормят, вина вволю. А вот как назад идти — чествовать-то уж и перестали!

Головлев с усилием грызет колбасу и наконец прожевывает один кусок.

— Солоненька, брат, колбаса-то! — говорит он,— впрочем, я неприхотлив! Мать-то ведь тоже разносолами потчевать не станет: щец тарелку да каши чашку — вот и всё!

— Бог милостив! Может, и пирожка в праздничек пожалует!

— Ни чаю, ни табаку, ни водки — это ты верно сказал. Говорят, она нынче в дураки играть любить стала — вот разве это? Ну, позовет играть, и напоит чайком. А уж насчет прочего — ау, брат!

На станции остановились часа на четыре кормить лошадей. Головлев успел покончить с полуштофом, и его разбирал сильный голод. Пассажиры ушли в избу и расположились обедать. Побродив по двору, заглянув на задворки и в ясли к лошадям, вспугнувши голубей и даже попробовавши заснуть, Степан Владимирыч наконец убеждается, что самое лучшее для него — это последовать за прочими пассажирами в избу. Там, на столе, уже дымятся щи, и в сторонке, на деревянном лотке, лежит большой кус говядины, которую Иван Михайлыч крошит на мелкие куски. Головлев садится несколько поодаль, закуривает трубку и долгое время не знает, как поступить относительно своего насыщения.

— Хлеб да соль, господа! — наконец, говорит он,— щи-то, кажется, жирные?

— Ничего щи! — отзывается Иван Михайлыч,— да вы бы, сударь, и себе спросили!

— Нет, я только к слову, сыт я!

— Чего сыты! Колбасы кусок съели, а с ее, с проклятой, еще пуще живот пучит. Кушайте-ка! вот я велю в сторонке

для вас столик накрыть — кушайте на здоровье! Хозяюшка! накрой барину в сторонке — вот так!

Пассажиры молча приступают к еде и только загадочно переглядываются между собой. Головлев догадывается, что его «проникли», хотя он, не без нахальства, всю дорогу разыгрывал барина и называл Ивана Михайлыча своим казначеем. Брови у него насуплены, табачный дым так и валит изо рта. Он готов отказаться от еды, но требования голода до того настоятельны, что он как-то хищно набрасывается на поставленную перед ним чашку щей и мгновенно опоражнивает ее. Вместе с сытостью возвращается к нему и самоуверенность, и он, как ни в чем не бывало, говорит, обращаясь к Ивану Михайлычу:

— Ну, брат казначей, ты уж и расплачивайся за меня, а я пойду на сеновал с Храповицким поговорить!

Переваливаясь, отправляется он на сенник и на этот раз, так как желудок у него обременен, засыпает богатырским сном. В пять часов он опять уже на ногах. Видя, что лошади стоят у пустых яслей и чешутся мордами об края их, он начинает будить ямщика.

— Дрыхнет, каналья! — кричит он,— нам к спеху, а он приятные сны видит!

Так идет дело до станции, с которой дорога повертывает на Головлево. Только тут Степан Владимирыч несколько остепеняется. Он явно упадает духом и делается молчаливым. На этот раз уж Иван Михайлыч ободряет его и паче всего убеждает бросить трубку.

— Вы, сударь, как будете к усадьбе подходить, трубку-то в крапиву бросьте! после найдете!

Наконец лошади, долженствующие везти Ивана Михайлыча дальше, готовы. Наступает момент расставания.

— Прощай, брат! — говорит Головлев дрогнувшим голосом, целуя Ивана Михайлыча,— заест она меня!

— Бог милостив! вы тоже не слишним пугайтесь!

— Заест! — повторяет Степан Владимирыч таким убежденным тоном, что Иван Михайлыч невольно опускает глаза.

Сказавши это, Головлев круто поворачивает по направлению проселка и начинает шагать, опираясь на суковатую палку, которую он перед тем срезал от дерева.

Иван Михайлыч некоторое время следит за ним и потом бросается ему вдогонку.

— Вот что, барин! — говорит он, нагоняя его,— давеча, как ополченку вашу чистил, так три целковеньких в боковом кармане видел — не оброните как-нибудь ненароком!

Степан Владимирыч видимо колеблется и не знает, как

ему поступить в этом случае. Наконец он протягивает Ивану Михайлычу руку и говорит сквозь слезы:

— Понимаю... служивому на табак... благодарю! А что касается до того... заест она меня, друг любезный! вот помяни мое слово — заест!

Головлев окончательно поворачивается лицом к проселку, и через пять минут уже далеко мелькает его серый ополченский картуз, то исчезая, то вдруг появляясь из-за чащи лесной поросли. Время стоит еще раннее, шестой час в начале; золотистый утренний туман вьется над проселком, едва пропуская лучи только что показавшегося на горизонте солнца; трава блестит; воздух напоен запахами ели, грибов и ягод; дорога идет зигзагами по низменности, в которой кишат бесчисленные стада птиц. Но Степан Владимирыч ничего не замечает: все легкомыслие вдруг соскочило с него, и он идет, словно на Страшный суд. Одна мысль до краев переполняет все его существо: еще три-четыре часа — и дальше идти уже некуда. Он припоминает свою старую головлевскую жизнь, и ему кажется, что перед ним растворяются двери сырого подвала, что, как только он перешагнет за порог этих дверей, так они сейчас захлопнутся,— и тогда все кончено. Припоминаются и другие подробности, хотя непосредственно до него не касающиеся, но несомненно характеризующие головлевские порядки. Вот дяденька Михаил Петрович (в просторечии «Мишка-буян»), который тоже принадлежал к числу «постылых» и которого дедушка Петр Иваныч заточил к дочери в Головлево, где он жил в людской и ел из одной чашки с собакой Трезоркой. Вот тетенька Вера Михайловна, которая из милости жила в головлевской усадьбе у братца Владимира Михайлыча и которая умерла «от умеренности», потому что Арина Петровна корила ее каждым куском, съедаемым за обедом, и каждым поленом дров, употребляемых для отопления ее комнаты. То же самое приблизительно предстоит пережить и ему. В воображении его мелькает бесконечный ряд безрассветных дней, утопающих в какой-то зияющей серой пропасти,— и он невольно закрывает глаза. Отныне он будет один на один с злою старухою, и даже не злою, а только оцепеневшею в апатии властности. Эта старуха заест его, заест не мучительством, а забвением. Не с кем молвить слова, некуда бежать — везде она, властная, цепенящая, презирающая. Мысль об этом неотвратимом будущем до такой степени всего его наполнила тоской, что он остановился около дерева и несколько времени бился об него головой. Вся его жизнь, исполненная кривлянья, бездельничества, буффонства, вдруг словно осветилась перед его умственным оком. Он идет теперь в

Головлево, он знает, что ожидает там его, и все-таки идет, и не может не идти. Нет у него другой дороги. Самый последний из людей может что-нибудь для себя сделать, может добыть себе хлеба — он один *ничего не может*. Эта мысль словно впервые проснулась в нем. И прежде ему случалось думать о будущем и рисовать себе всякого рода перспективы, но это были всегда перспективы дарового довольства и никогда — перспективы труда. И вот теперь ему предстояла расплата за тот угар, в котором бесследно потонуло его прошлое. Расплата горькая, выражавшаяся в одном ужасном слове: заест!

Было около десяти часов утра, когда из-за леса показалась белая головлевская колокольня.

Лицо Степана Владимирыча побледнело, руки затряслись: он снял картуз и перекрестился. Вспомнилась ему евангельская притча о блудном сыне, возвращающемся домой, но он тотчас же понял, что, в применении к нему, подобные воспоминания составляют только одно обольщение. Наконец он отыскал глазами поставленный близ дороги межевой столб и очутился на головлевской земле, на той постылой земле, которая родила его постылым, вскормила постылым, выпустила постылым на все четыре стороны и теперь, постылого же, вновь принимает его в свое лоно. Солнце стояло уже высоко и беспощадно палило бесконечные головлевские поля. Но он бледнел все больше и больше и чувствовал, что его начинает знобить.

Наконец он дошел до погоста, и тут бодрость окончательно оставила его. Барская усадьба смотрела из-за деревьев так мирно, словно в ней не происходило ничего особенного; но на него ее вид произвел действие медузиной головы. Там чудился ему гроб. Гроб! гроб! гроб! — повторял он бессознательно про себя. И не решился-таки идти прямо в усадьбу, а зашел прежде к священнику и послал его известить о своем приходе и узнать, примет ли его маменька.

Попадья при виде его закручинилась и захлопотала об яичнице; деревенские мальчишки столпились вокруг него и смотрели на барина изумленными глазами; мужики, проходя мимо, молча снимали шапки и как-то загадочно взглядывали на него; какой-то старик-дворовый даже подбежал и попросил у барина ручку поцеловать. Все понимали, что перед ними постылый, который пришел в постылое место, пришел навсегда, и нет для него отсюда выхода, кроме как ногами вперед на погост. И всем делалось в одно и то же время и жалко и жутко.

Наконец поп пришел и сказал, что «маменька готовы принять» Степана Владимирыча. Через десять минут он был уже *там*. Арина Петровна встретила его торжественно-строго и

смерила с ног до головы ледяным взглядом; но никаких бесполезных упреков не позволила себе. И в комнаты не допустила, а так на девичьем крыльце свиделась и рассталась, приказав проводить молодого барина через другое крыльцо к папеньке. Старик дремал в постели, покрытой белым одеялом, в белом колпаке, весь белый, словно мертвец. Увидевши его, он проснулся и идиотски захохотал.

— Что, голубчик! попался к ведьме в лапы! — крикнул он, покуда Степан Владимирыч целовал его руку. Потом крикнул петухом, опять захохотал и несколько раз сряду повторил: — съест! съест! съест!

— Съест! — словно эхо, откликнулось и в его душе.

Предвидения его оправдались. Его поместили в особой комнате того флигеля, в котором помещалась и контора. Туда принесли ему белье из домашнего холста и старый папенькин халат, в который он и облачился немедленно. Двери склепа растворились, пропустили его, и — захлопнулись.

Потянулся ряд вялых, безо̀бразных дней, один за другим утопающих в серой, зияющей бездне времени. Арина Петровна не принимала его; к отцу его тоже не допускали. Дня через три бурмистр Финогей Ипатыч обявил ему от маменьки «положение», заключавшееся в том, что он будет получать стол и одежу и, сверх того, по фунту Фалера[1] в месяц. Он выслушал маменькину волю и только заметил:

— Ишь ведь, старая! Пронюхала, что Жуков два рубля, а Фалер рубль девяносто стоит — и тут десять копеечек ассигнациями в месяц утянула! Верно, нищему на мой счет подать собиралась!

Признаки нравственного отрезвления, появившиеся было в те часы, покуда он приближался проселком к Головлеву, вновь куда-то исчезли. Легкомыслие опять вступило в свои права, а вместе с тем последовало и примирение с «маменькиным положением». Будущее, безнадежное и безвыходное, однажды блеснувшее его уму и наполнившее его трепетом, с каждым днем все больше и больше заволакивалось туманом и, наконец, совсем перестало существовать. На сцену выступил насущный день, с его цинической наготою, и выступил так назойливо и нагло, что всецело заполонил все помыслы, все существо. Да и какую роль может играть мысль о будущем, ко-

[1] Известный в то время табачный фабрикант, конкурировавший с Жуковым. (*Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.*)

гда течение всей жизни бесповоротно и в самых малейших подробностях уже решено в уме Арины Петровны?

Целыми днями шагал он взад и вперед по отведенной комнате, не выпуская трубки изо рта и напевая кой-какие обрывки песен, причем церковные напевы неожиданно сменялись разухабистыми, и наоборот. Когда в конторе находился налицо земский, то он заходил к нему и высчитывал доходы, получаемые Ариной Петровной.

— И куда она экую прорву деньжищ девает! — удивлялся он, досчитываясь до цифры с лишком в восемьдесят тысяч на ассигнации,— братьям, я знаю, не ахти сколько посылает, сама живет скаредно, отца солеными полотками кормит... В ломбард! больше некуда, как в ломбард кладет.

Иногда в контору приходил и сам Финогей Ипатыч с оброками, и тогда на конторском столе раскладывались по пачкам те самые деньги, на которые так разгорались глаза у Степана Владимирыча.

— Ишь пропасть какая деньжищ! — восклицал он,— и все-то к ней в хайло уйдут! нет того, чтоб сыну пачечку уделить! на мол, сын мой, в горести находящийся! вот тебе на вино и на табак!

И затем начинались бесконечные и исполненные цинизма разговоры с Яковом-земским о том, какими бы средствами сердце матери так смягчить, чтоб она души в нем не чаяла.

— В Москве у меня мещанин знакомый был,— рассказывал Головлев,— так он «слово» знал... Бывало, как не захочет ему мать денег дать, он это «слово» и скажет... И сейчас это всю ее корчить начнет, руки, ноги — словом, всё!

— Порчу, стало быть, какую ни на есть пущал! — догадывался Яков-земский.

— Ну, уж там как хочешь разумей, а только истинная это правда, что такое «слово» есть. А то еще один человек сказывал: возьми, говорит, живую лягушку и положи ее в глухую полночь в муравейник; к утру муравьи ее всю объедят, останется одна косточка; вот эту косточку ты возьми, и покуда она у тебя в кармане — что хочешь у любой бабы проси, ни в чем тебе отказу не будет.

— Что ж, это хоть сейчас сделать можно!

— То-то, брат, что сперва проклятие на себя наложить нужно! Кабы не это... то-то бы ведьма мелким бесом передо мной заплясала.

Целые часы проводились в подобных разговорах, но средств все-таки не обреталось. Всё — либо проклятие на себя наложить приходилось, либо душу черту продать. В результате ничего другого не оставалось, как жить на «маменькином

положении», поправляя его некоторыми произвольными поборами с сельских начальников, которых Степан Владимирыч поголовно обложил данью в свою пользу, в виде табаку, чаю и сахару. Кормили его чрезвычайно плохо. Обыкновенно, приносили остатки маменькинова обеда, а так как Арина Петровна была умеренна до скупости, то естественно, что на его долю оставалось немного. Это было в особенности для него мучительно, потому что с тех пор, как вино сделалось для него запретным плодом, аппетит его быстро усилился. С утра до вечера он голодал и только об том и думал, как бы наесться. Подкарауливал часы, когда маменька отдыхала, бегал в кухню, заглядывал даже в людскую и везде что-нибудь нашаривал. По временам садился у открытого окна и поджидал, не проедет ли кто. Ежели проезжал мужик из своих, то останавливал его и облагал данью: яйцом, ватрушкой и т. д.

Еще при первом свидании, Арина Петровна в коротких словах выяснила ему полную программу его житья-бытья.— Покуда — живи! — сказала она,— вот тебе угол в конторе, пить-есть будешь с моего стола, а на прочее — не погневайся, голубчик! Разносолов у меня от роду не бывало, а для тебя и подавно заводить не стану. Вот братья ужо приедут: какое положение они промежду себя для тебя присоветуют — так я с тобой и поступлю. Сама на душу греха брать не хочу, как братья решат — так тому и быть!

И вот теперь он с нетерпением ждал приезда братьев. Но при этом он совсем не думал о том, какое влияние будет иметь этот приезд на дальнейшую его судьбу (по-видимому, он решил, что об этом и думать нечего), а загадывал только, привезет ли ему брат Павел табаку, и сколько именно.

«А может, и денег отвалит! — прибавлял он мысленно,— Порфишка-кровопивец — тот не даст, а Павел... Скажу ему: дай, брат, служивому на вино... даст! как, чай, не дать!»

Время проходило, и он не замечал его. Это была абсолютная праздность, которою он, однако, почти не тяготился. Только по вечерам было скучно, потому что земский уходил часов в восемь домой, а для него Арина Петровна не отпускала свечей, на том основании, что по комнате взад и вперед шагать и без свечей можно. Но он и к этому скоро привык и даже полюбил темноту, потому что в темноте сильнее разыгрывалось воображение и уносило его далеко из постылого Головлева. Одно его тревожило: сердце у него неспокойно было и как-то странно трепыхалось в груди, в особенности когда он ложился спать. Иногда он вскакивал с постели, словно ошеломленный, и бегал по комнате, держась рукой за левую сторону груди.

«Эх, кабы околеть! — думалось ему при этом,— нет, ведь, не околею! А может быть...»

Но когда однажды утром земский таинственно доложил ему, что ночью братцы приехали,— он невольно вздрогнул и изменился в лице. Что-то ребяческое вдруг в нем проснулось; хотелось бежать поскорее в дом, взглянуть, как они одеты, какие постланы им постели и есть ли у них такие же дорожные несессеры, как он видел у одного ополченского капитана; хотелось послушать, как они будут говорить с маменькой, подсмотреть, что будут им подавать за обедом. Словом сказать, хотелось и еще раз приобщиться к той жизни, которая так упорно отметала его от себя, броситься к матери в ноги, вымолить ее прощение и потом, на радостях, пожалуй, съесть и упитанного тельца. Еще в доме было все тихо, а он уж сбегал к повару на кухню и узнал, что к обеду заказано: на горячее щи из свежей капусты, небольшой горшок, да вчерашний суп разогреть велено, на холодное — полоток соленый да сбоку две пары котлеточек, на жаркое — баранину да сбоку четыре бекасика, на пирожное — малиновый пирог со сливками.

— Вчерашний суп, полоток и баранина — это, брат, постылому! — сказал он повару,— пирога, я полагаю, мне тоже не дадут!

— Это как будет угодно маменьке, сударь.

— Эхма! А было время, что и я дупелей едал! едал, братец! Однажды с поручиком Гремыкиным даже на пари побился, что сряду пятнадцать дупелей съем,— и выиграл! Только после этого целый месяц смотреть без отвращения на них не мог!

— А теперь и опять бы покушали?

— Не даст! А чего бы, кажется, жалеть! Дупель — птица вольная: ни кормить ее, ни смотреть за ней — сама на свой счет живет! И дупель некупленный, и баран некупленный — а вот поди ж ты! знает, ведьма, что дупель вкуснее баранины,— ну и не даст! Сгноит, а не даст! А на завтрак что заказано?

— Печенка заказана, грибы в сметане, сóчни...

— Ты бы хоть соченька мне прислал... постарайся, брат!

— Надо постараться. А вы вот что, сударь. Ужо, как завтракать братцы сядут, пришлите сюда земского: он вам парочку соченьков за пазухой пронесет.

Все утро прождал Степан Владимирыч, не придут ли братцы, но братцы не шли. Наконец, часов около одиннадцати, принес земский два обещанных сочня и доложил, что братцы сейчас отзавтракали и заперлись с маменькой в спальной.

Арина Петровна встретила сыновей торжественно, удрученная горем. Две девки поддерживали ее под руки; седые волосы прядями выбились из-под белого чепца, голова понурилась и покачивалась из стороны в сторону, ноги едва волочились. Вообще она любила в глазах детей разыграть роль почтенной и удрученной матери и в этих случаях с трудом волочила ноги и требовала, чтобы ее поддерживали под руки девки. Степка-балбес называл такие торжественные приемы — архиерейским служением, мать — архиерейшею, а девок Польку и Юльку — архиерейшиными жезлоносицами. Но так как был уже второй час ночи, то свидание произошло без слов. Молча подала она детям руку для целования, молча перецеловала и перекрестила их, и когда Порфирий Владимирыч изъявил готовность хоть весь остаток ночи прокалякать с милым другом маменькой, то махнула рукой, сказав:

— Ступайте! отдохните с дороги! не до разговоров теперь, завтра поговорим.

На другой день, утром, оба сына отправились к папеньке ручку поцеловать, но папенька ручки не дал. Он лежал на постели с закрытыми глазами и, когда вошли дети, крикнул:

— Мытаря судить приехали?.. вон, фарисеи... вон!

Тем не менее Порфирий Владимирыч вышел из папенькинова кабинета взволнованный и заплаканный, а Павел Владимирыч, как «истинно бесчувственный идол», только ковырял пальцем в носу.

— Не хорош он у вас, добрый друг маменька! ах, как не хорош! — воскликнул Порфирий Владимирыч, бросаясь на грудь к матери.

— Разве очень сегодня слаб?

— Уж так слаб! так слаб! Не жилец он у вас!

— Ну, поскрипит еще!

— Нет, голубушка, нет! И хотя ваша жизнь никогда не была особенно радостна, но как подумаешь, что столько ударов зараз... право, даже удивляешься, как это вы силу имеете переносить эти испытания!

— Что ж, мой друг, и перенесешь, коли господу богу угодно! знаешь, в Писании-то что сказано: тяготы друг другу носите — вот и выбрал меня он, батюшко, чтоб семейству своему тяготы носить!

Арина Петровна даже глаза зажмурила: так это хорошо ей показалось, что все живут на всем на готовеньком, у всех-то все припасено, а она одна — целый-то день мается да всем тяготы носит.

— Да, мой друг! — сказала она после минутного молчания,— тяжеленько-таки мне на старости лет! Припасла я де-

тям на свой пай — пора бы и отдохнуть! Шутка сказать — четыре тысячи душ! этакой-то махиной управлять в мои лета! за всяким ведь погляди! всякого уследи! да походи, да побегай! Хоть бы эти бурмистры да управители наши: ты не гляди, что он тебе в глаза смотрит! одним-то глазом он на тебя, а другим — в лес норовит! Самый это народ... маловерный! Ну, а ты что? — прервала она вдруг, обращаясь к Павлу,— в носу ковыряешь?

— Мне что ж! — огрызнулся Павел Владимирыч, обеспокоенный в самом разгаре своего занятия.

— Как что! все же отец тебе — можно бы и пожалеть!

— Что ж — отец! Отец как отец... как всегда! Десять лет он такой! Всегда вы меня притесняете!

— Зачем мне тебя притеснять, друг мой, я мать тебе! Вот Порфиша: и приласкался и пожалел — все как след доброму сыну сделал, а ты и на мать-то путем посмотреть не хочешь, все исподлобья да сбоку, словно она — не мать, а ворог тебе! Не укуси, сделай милость!

— Да что же я...

— Постой! помолчи минутку! дай матери слово сказать! Помнишь ли, что в заповеди-то сказано: чти отца твоего и матерь твою — и благо ти будет... стало быть, ты «блага»-то себе не хочешь?

Павел Владимирыч молчал и смотрел на мать недоумевающими глазами.

— Вот видишь, ты и молчишь,— продолжала Арина Петровна,— стало быть, сам чувствуешь, что блохи за тобой есть. Ну, да уж бог с тобой! Для радостного свидания, оставим этот разговор. Бог, мой друг, все видит, а я... ах, как давно я тебя насквозь понимаю! Ах, детушки, детушки! вспомните мать, как в могилке лежать будет, вспомните — да поздно уж будет!

— Маменька! — вступился Порфирий Владимирыч,— оставьте эти черные мысли! оставьте!

— Умирать, мой друг, всем придется! — сентенциозно произнесла Арина Петровна,— не черные это мысли, а самые, можно сказать... божественные! Хирею я, детушки, ах, как хирею! Ничего-то во мне прежнего не осталось — слабость да хворость одна! Даже девки-поганки заметили это — и в ус мне не дуют! Я слово — они два! я слово — они десять! Одну только угрозу и имею на них, что молодым господам, дескать, пожалуюсь! Ну, иногда и попритихнут!

Подали чай, потом завтрак, в продолжение которых Арина Петровна все жаловалась и умилялась сама над собой. После завтрака она пригласила сыновей в свою спальную.

Когда дверь была заперта на ключ, Арина Петровна немедленно приступила к делу, по поводу которого был созван семейный совет.

— Балбес-то ведь явился! — начала она.

— Слышали, маменька, слышали! — отозвался Порфирий Владимирыч не то с иронией, не то с благодушием человека, который только что сытно покушал.

— Пришел, словно и дело сделал, словно так и следовало: сколько бы, мол, я ни кутил, ни мутил, у старухи матери всегда про меня кусок хлеба найдется! Сколько я в своей жизни ненависти от него видела! сколько от одних его буффонств да каверзов мучения вытерпела! Что я в ту пору трудов приняла, чтоб его на службу-то втереть! — и все как с гуся вода! Наконец билась-билась, думаю: господи! да коли он сам об себе радеть не хочет — неужто я обязана из-за него, балбеса долговязого, жизнь свою убивать! Дай, думаю, выкину ему кусок, авось свой грош в руки попадет — постепеннее будет! И выкинула. Сама и дом-то для него высмотрела, сама собственными руками, как одну копейку, двенадцать тысячек серебром денег выложила! И что ж! не прошло после того и трех лет — ан он и опять у меня на шее повис! Долго ли мне надругательства-то эти переносить?

Порфиша вскинул глазами в потолок и грустно покачал головою, словно бы говорил: «а-а-ах! дела! дела! и нужно же милого друга маменьку так беспокоить! сидели бы все смирно, ладком да мирком — ничего бы этого не было, и маменька бы не гневалась... а-а-ах, дела, дела!» Но Арине Петровне, как женщине, не терпящей, чтобы течение ее мыслей было чем бы то ни было прерываемо, движение Порфиши не понравилось.

— Нет, ты погоди головой-то вертеть,— сказала она,— ты прежде выслушай! Каково мне было узнать, что он родительское-то благословение, словно обглоданную кость, в помойную яму выбросил? Каково мне было чувствовать, что я, с позволения сказать, ночей недосыпала, куска недоедала, а он — на-тко! Словно вот взял, купил на базаре бирюльку — не занадобилась, и выкинул ее за окно! Это родительское-то благословение!

— Ах, маменька! Это такой поступок! такой поступок! — начал было Порфирий Владимирыч, но Арина Петровна опять остановила его.

— Стой! погоди! когда я прикажу, тогда свое мнение скажешь! И хоть бы он меня, мерзавец, предупредил! Виноват, мол, маменька, так и так — не воздержался! Я ведь и сама, кабы вовремя, сумела бы за бесценок дом-то приобрести! Не сумел недостойный сын пользоваться,— пусть попользуются

достойные дети! Ведь он, шутя-шутя, дом-то, пятнадцать процентов в год интересу принесет! Может быть, я бы ему за это еще тысячку рублей на бедность выкинула! А то — на-тко! сижу здесь, ни сном, ни делом не вижу, а он уж и распорядился! Двенадцать тысяч собственными руками за дом выложила, а он его с аукциона в восьми тысячах спустил!

— А главное, маменька, что он с родительским благословением так низко поступил! — поспешил скороговоркой прибавить Порфирий Владимирыч, словно опасаясь, чтоб маменька вновь не прервала его.

— И это, мой друг, да и то. У меня, голубчик, деньги-то не шальные; я не танцами да курантами приобретала их, а хребтом да потом. Я как богатства-то достигала? Как за папеньку-то я шла, у него только и было, что Головлево, сто одна душа, да в дальних местах, где двадцать, где тридцать — душ с полтораста набралось! А у меня, у самой-то — и всего ничего! И ну-тко, при таких-то средствах, какую махину выстроила! Четыре-то тысячи душ — их ведь не скроешь! И хотела бы в могилку с собой унести, да нельзя! Как ты думаешь, легко мне они, эти четыре тысячи душ, достались? Нет, друг мой любезный, так нелегко, так нелегко, что, бывало, ночью не спишь — все тебе мерещится, как бы так дельцо умненько обделать, чтоб до времени никто и пронюхать об нем не мог! Да чтобы кто-нибудь не перебил, да чтобы копеечки лишненькой не истратить! И чего я не попробовала! и слякоть-то, и распутицу-то, и гололедицу-то — всего отведала! Это уж в последнее время я в тарантасах-то роскошничать начала, а в первое-то время соберут, бывало, тележонку крестьянскую, кибитчонку кой-какую на нее навяжут, пару лошадочек запрягут — я и плетусь трюх-трюх до Москвы! Плетусь, а сама все думаю: а ну, как кто-нибудь именье-то у меня перебьет! Да и в Москву приедешь, у Рогожской на постоялом остановишься, вони да грязи — все я, друзья мои, вытерпела! На извозчика, бывало, гривенника жаль,— на своих на двоих от Рогожской до Солянки пру! Даже дворники — и те дивятся: барыня, говорят, ты молоденькая и с достатком, а такие труды на себя принимаешь! А я все молчу да терплю. И денег-то у меня в первый раз всего тридцать тысяч на ассигнации было — папенькины кусочки дальние, душ со сто, продала,— да с этою-то суммой и пустилась я, шутка сказать, тысячу душ покупать! Отслужила у Иверской молебен, да и пошла на Солянку счастья попытать. И что ж ведь! Словно видела заступница мои слезы горькие — оставила-таки имение за мной! И чудо какое: как я тридцать тысяч, окроме казенного долга, надавала, так словно вот весь аукцион перерезала! Прежде и галдели и го-

рячились, а тут и надбавлять перестали, и стало вдруг тихо-тихо кругом. Встал это присутствующий, поздравляет меня, а я ничего не понимаю! Стряпчий тут был, Иван Николаич, подошел ко мне: с покупочкой, говорит, сударыня, а я словно вот столб деревянный стою! И как ведь милость-то божия велика! Подумайте только: если б, при таком моем исступлении, вдруг кто-нибудь на озорство крикнул: тридцать пять тысяч даю! — ведь я, пожалуй, в беспамятстве-то и все сорок надавала бы! А где бы я их взяла?!

Арина Петровна много раз уже рассказывала детям эпопею своих первых шагов на арене благоприобретения, но, повидимому, она и доднесь не утратила в их глазах интереса новизны. Порфирий Владимирыч слушал маменьку, то улыбаясь, то вздыхая, то закатывая глаза, то опуская их, смотря по свойству перипетий, через которые она проходила. А Павел Владимирыч даже большие глаза раскрыл, словно ребенок, которому рассказывают знакомую, но никогда не надоедающую сказку.

— А вы, чай, думаете, даром состояние-то матери досталось! — продолжала Арина Петровна,— нет, друзья мои! даром-то и прыщ на носу не вскочит: я после первой-то покупки в горячке шесть недель вылежала! Вот теперь и судите: каково мне видеть, что после таких-то, можно сказать, истязаний, трудовые мои денежки, ни дай ни вынеси за что, в помойную яму выброшены!

Последовало минутное молчание. Порфирий Владимирыч готов был ризы на себе разодрать, но опасался, что в деревне, пожалуй, нѐкому починить их будет; Павел Владимирыч, как только кончилась «сказка» о благоприобретении, сейчас же опустился, и лицо его приняло прежнее апатичное выражение.

— Так вот я затем вас и призвала,— вновь начала Арина Петровна,— судите вы меня с ним, со злодеем! Как вы скажете, так и будет! Его осу́дите — он будет виноват, меня осу́дите — я виновата буду. Только уж я себя злодею в обиду не дам! — прибавила она совсем неожиданно.

Порфирий Владимирыч почувствовал, что праздник на его улице наступил, и разошелся соловьем. Но, как истинный кровопивец, он не приступил к делу прямо, а начал с околичностей.

— Если вы позволите мне, милый друг маменька, выразить мое мнение,— сказал он,— то вот оно в двух словах: дети обязаны повиноваться родителям, слепо следовать указаниям их, покоить их в старости — вот и все. Что такое дети, милая маменька? Дети — это любящие существа, в которых все, начиная от них самих и кончая последней тряпкой, которую они

на себе имеют,— все принадлежит родителям. Поэтому, родители могут судить детей; дети же родителей — никогда. Обязанность детей — чтить, а не судить. Вы говорите: судите меня с ним! Это великодушно, милая маменька, веллли-ко-лепно! Но можем ли мы без страха даже подумать об этом, мы, от первого дня рождения облагодетельствованные вами с головы до ног? Воля ваша, но это будет святотатство, а не суд! Это будет такое святотатство, такое святотатство...

— Стой! погоди! коли ты говоришь, что не можешь меня судить, так оправь меня, а его осуди! — прервала его Арина Петровна, которая вслушивалась и никак не могла разгадать: какой такой подвох у Порфишки-кровопивца в голове засел.

— Нет, голубушка маменька, и этого не могу! Или, лучше сказать, не смею и не имею права. Ни оправлять, ни обвинять — вообще судить не могу. Вы — мать, вам одним известно, как с нами, вашими детьми, поступать. Заслужили мы — вы наградите нас, провинились — накажите. Наше дело — повиноваться, а не критиковать. Если б вам пришлось даже и переступить, в минуту родительского гнева, меру справедливости — и тут мы не смеем роптать, потому что пути провидения скрыты от нас. Кто знает? Может быть, это и нужно так! Так-то и здесь: брат Степан поступил низко, даже, можно сказать, чернò, но определить степень возмездия, которое он заслуживает за свой поступок, можете вы одни!

— Стало быть, ты отказываешься? Выпутывайтесь, мол, милая маменька, как сами знаете!

— Ах, маменька, маменька! и не грех это вам! Ах-ах-ах! Я говорю: как вам угодно решить участь брата Степана, так пусть и будет — а вы... ах, какие вы черные мысли во мне предполагаете!

— Хорошо. Ну, а ты как? — обратилась Арина Петровна к Павлу Владимирычу.

— Мне что ж! Разве вы меня послушаетесь? — заговорил Павел Владимирыч словно сквозь сон, но потом неожиданно захрабрился и продолжал: — Известно, виноват... на куски рвать... в ступе истолочь... вперед известно... мне что ж!

Пробормотавши эти бессвязные слова, он остановился и с разинутым ртом смотрел на мать, словно сам не верил ушам своим.

— Ну, голубчик, с тобой — после! — холодно оборвала его Арина Петровна,— ты, я вижу, по Степкиным следам идти хочешь... ах, не ошибись, мой друг! Покаешься после — да поздно будет!

— Я что ж! Я ничего!.. Я говорю: как хотите! что же тут... непочтительного? — спасовал Павел Владимирыч.

— После, мой друг, после с тобой поговорим! Ты думаешь, что офицер, так и управы на тебя не найдется! Найдется, голубчик, ах, как найдется! Так, значит, вы оба от су́дбища отказываетесь?

— Я, милая маменька...

— И я тоже. Мне что! По мне, пожалуй, хоть на куски...

— Да замолчи, Христа ради... недобрый ты сын! (Арина Петровна понимала, что имела право сказать «негодяй», но, ради радостного свидания, воздержалась.) Ну, ежели вы отказываетесь, то приходится мне уж собственным судом его судить. И вот какое мое решение будет: попробую и еще раз добром с ним поступить: отделю ему папенькину вологодскую деревнюшку, велю там флигелечек небольшой поставить — и пусть себе живет, вроде как убогого, на прокормлении у крестьян!

Хотя Порфирий Владимирыч и отказался от суда над братом, но великодушие маменьки так поразило его, что он никак не решился скрыть от нее опасные последствия, которые влекла за собой сейчас высказанная мера.

— Маменька! — воскликнул он,— вы больше, чем великодушны! Вы видите перед собой поступок... ну, самый низкий, черный поступок... и вдруг все забыто, все прощено! Веллликолепно. Но извините меня... боюсь я, голубушка, за вас! Как хотите меня судите, а на вашем месте... я бы так не поступил!

— Это почему?

— Не знаю... Может быть, во мне нет этого великодушия... этого, так сказать, материнского чувства... Но все как-то сдается: а что, ежели брат Степан, по свойственной ему испорченности, и с этим вторым вашим родительским благословением поступит точно так же, как и с первым?

Оказалось, однако, что соображение это уж было в виду у Арины Петровны, но что, в то же время, существовала и другая сокровенная мысль, которую и пришлось теперь высказать.

— Вологодское-то именье ведь папенькино, родовое,— процедила она сквозь зубы,— рано или поздно все-таки придется ему из папенькинова имения часть выделять.

— Понимаю я это, милый друг маменька...

— А коли понимаешь, так, стало быть, понимаешь и то, что, выделивши ему вологодскую-то деревню, можно обязательство с него стребовать, что он от папеньки отделен и всем доволен?

— Понимаю и это, голубушка маменька. Большую вы тогда, по доброте вашей, ошибку сделали! Надо было тогда,

как вы дом покупали,— тогда надо было обязательство с него взять, что он в папенькино именье не вступщик!

— Что делать! не догадалась!

— Тогда он, на радостях-то, какую угодно бумагу бы подписал! А вы, по доброте вашей... ах, какая это ошибка была! такая ошибка! такая ошибка!

— «Ах» да «ах» — ты бы в ту пору, ахало, ахал, как время было. Теперь ты все готов матери на голову свалить, а чуть коснется до дела — тут тебя и нет! А впрочем, не об бумаге и речь: бумагу, пожалуй, я и теперь сумею от него вытребовать. Папенька-то не сейчас, чай, умрет, а до тех пор балбесу тоже пить-есть надо. Не выдаст бумаги — можно и на порог ему указать: жди папенькиной смерти! Нет, я все-таки знать желаю: тебе не нравится, что я вологодскую деревнюшку хочу ему отделить?

— Промотает он ее, голубушка! дом промотал — и деревню промотает!

— А промотает, так пусть на себя и пеняет!

— К вам же ведь он тогда придет!

— Ну нет, это дудки! И на порог к себе его не пущу! Не только хлеба — воды ему, постылому, не вышлю! И люди меня за это не осудят, и бог не накажет. На-тко! дом прожил, имение прожил — да разве я крепостная его, чтобы всю жизнь на него одного припасать? Чай, у меня и другие дети есть!

— И все-таки к вам он придет. Наглый ведь он, голубушка маменька!

— Говорю тебе: на порог не пущу! Что ты, как сорока, заладил: «придет» да «придет» — не пущу!

Арина Петровна умолкла и уставилась глазами в окно. Она и сама смутно понимала, что вологодская деревнюшка только временно освободит ее от «постылого», что в конце концов он все-таки и ее промотает, и опять придет к ней, и что, *как мать,* она *не может* отказать ему в угле, но мысль, что ее ненавистник останется при ней навсегда, что он, даже заточенный в контору, будет, словно привидение, ежемгновенно преследовать ее воображение — эта мысль до такой степени давила ее, что она невольно всем телом вздрагивала.

— Ни за что! — крикнула она наконец, стукнув кулаком по столу и вскакивая с кресла.

А Порфирий Владимирыч смотрел на милого друга маменьку и скорбно покачивал в такт головою.

— А ведь вы, маменька, гневаетесь! — наконец произнес он таким умильным голосом, словно собирался у маменьки брюшко пощекотать.

— А по-твоему, в пляс, что ли, я пуститься должна?

— А-а-ах! а что в Писании насчет терпенья-то сказано? В терпении, сказано, стяжите души ваши! в терпении — вот как! Бог-то, вы думаете, не видит? Нет, он все видит, милый друг маменька! Мы, может быть, и не подозреваем ничего, сидим вот: и так прикинем, и этак примерим,— а он там уж и решил: дай, мол, пошлю я ей испытание! А-а-ах! а я-то думал, что вы, маменька, паинька!

Но Арина Петровна очень хорошо поняла, что Порфишка-кровопивец только петлю закидывает, и потому окончательно рассердилась.

— Шутовку ты, что ли, из меня сделать хочешь! — прикрикнула она на него,— мать об деле говорит, а он — скоморошничает! Нечего зубы-то мне заговаривать! сказывай, какая твоя мысль! В Головлеве, что ли, его, у матери на шее, оставить хочешь?

— Точно так, маменька, если милость ваша будет. Оставить его на том же положении, как и теперь, да и бумагу насчет наследства от него вытребовать.

— Так... так... знала я, что ты это присоветуешь. Ну хорошо. Положим, что сделается по-твоему. Как ни несносно мне будет ненавистника моего всегда подле себя видеть,— ну, да видно пожалеть обо мне некому. Молода была — крест несла, а старухе и подавно от креста отказываться не след. Допустим это, будем теперь об другом говорить. Покуда мы с папенькой живы — ну и он будет жить в Головлеве, с голоду не помрет. А потом как?

— Маменька! друг мой! Зачем же черные мысли?

— Черные ли, белые ли — подумать все-таки надо. Не моloденькие мы. Поколеем оба — что с ним тогда будет?

— Маменька! да неужто ж вы на нас, ваших детей, не надеетесь? в таких ли мы правилах вами были воспитаны?

И Порфирий Владимирыч взглянул на нее одним из тех загадочных взглядов, которые всегда приводили ее в смущение.

— Закидывает! — откликнулось в душе ее.

— Я, маменька, бедному-то еще с большею радостью помогу! богатому что! Христос с ним! у богатого и своего довольно! А бедный — знаете ли, что Христос про бедного-то сказал!

Порфирий Владимирыч встал и поцеловал у маменьки ручку.

— Маменька! позвольте мне брату два фунта табаку подарить! — попросил он.

Арина Петровна не отвечала. Она смотрела на него и думала: неужто он в самом деле такой кровопивец, что брата родного на улицу выгонит?

— Ну, делай как знаешь! В Головлеве так в Головлеве ему жить! — наконец, сказала она,— окружил ты меня кругом! опутал! начал с того: как вам, маменька, будет угодно! а под конец заставил-таки меня под свою дудку плясать! Ну, только слушай ты меня! Ненавистник он мне, всю жизнь он меня казнил да позорил, а наконец и над родительским благословением моим надругался, а все-таки, если ты его за порог выгонишь или в люди заставишь идти — нет тебе моего благословения! Нет, нет и нет! Ступайте теперь оба к нему! чай, он и буркалы-то свои проглядел, вас высматриваючи!

Сыновья ушли, а Арина Петровна встала у окна и следила, как они, ни слова друг другу не говоря, переходили через красный двор к конторе. Порфиша беспрестанно снимал картуз и крестился: то на церковь, белевшуюся вдали, то на часовню, то на деревянный столб, к которому была прикреплена кружка для подаяний. Павлуша, по-видимому, не мог оторвать глаз от своих новых сапогов, на кончике которых так и переливались лучи солнца.

— И для кого я припасала! ночей недосыпала, куска недоедала... для кого? — вырвался из груди ее вопль.

Братцы уехали; головлевская усадьба запустела. С усиленною ревностью принялась Арина Петровна за прерванные хозяйственные занятия; притихла стукотня поварских ножей на кухне, но зато удвоилась деятельность в конторе, в амбарах, кладовых, погребах и т. д. Лето-припасуха приближалось к концу; шло варенье, соленье, приготовление впрок; отовсюду стекались запасы на зиму, из всех вотчин возами привозилась бабья натуральная повинность: сушеные грибы, ягоды, яйца, овощи и проч. Все это мерялось, принималось и присовокуплялось к запасам прежних годов. Недаром у головлевской барыни была выстроена целая линия погребов, кладовых и амбаров; все они были полным-полнехоньки, и немало было в них порченого материала, к которому приступить нельзя было, ради гнилого запаха. Весь этот материал сортировался к концу лета, и та часть его, которая оказывалась ненадежною, сдавалась в застольную.

— Огурчики-то еще хороши, только сверху немножко словно поослизли, припахивают, ну, да уж пусть дворовые полакомятся,— говорила Арина Петровна, приказывая оставить то ту, то другую кадку.

Степан Владимирыч удивительно освоился с своим новым положением. По временам ему до страсти хотелось «деряб-

нуть», «куликнуть» и вообще «закатиться» (у него, как увидим дальше, были даже деньги для этого), но он с самоотвержением воздерживался, словно рассчитывая, что «самое время» еще не наступило. Теперь он был ежеминутно занят, ибо принимал живое и суетливое участие в процессе припасания, бескорыстно радуясь и печалясь удачам и неудачам головлевского скопидомства. В каком-то азарте пробирался он от конторы к погребам, в одном халате, без шапки, хоронясь от матери позади деревьев и всевозможных клетушек, загромождавших красный двор (Арина Петровна, впрочем, не раз замечала его в этом виде, и закипало-таки ее родительское сердце, чтоб Степку-балбеса хорошенько осадить, но, по размышлении, она махнула на него рукой), и там с лихорадочным нетерпением следил, как разгружались подводы, приносились с усадьбы банки, бочонки, кадушки, как все это сортировалось и, наконец, исчезало в зияющей бездне погребов и кладовых. В большей части случаев он оставался доволен.

— Сегодня рыжиков из Дубровина привезли две телеги — вот, брат, так рыжики! — в восхищении сообщал он земскому,— а мы уж думали, что на зиму без рыжиков останемся! Спасибо, спасибо дубровинцам! молодцы дубровинцы! выручили!

Или:

— Сегодня мать карасей в пруду наловить велела — ах, хороши старики! Больше чем в поларшина есть! Должно быть, мы всю эту неделю карасями питаться будем!

Иногда, впрочем, и печалился.

— Огурчики-то, брат, нынче не удались! Корявые да с пятнами — нет настоящего огурца, да и шабаш! Видно, прошлогодними будем питаться, а нынешние — в застольную, больше некуда!

Но вообще хозяйственная система Арины Петровны не удовлетворяла его.

— Сколько, брат, она добра перегноила — страсть! Таскали нынче, таскали: солонину, рыбу, огурцы — все в застольную велела отдать! Разве это дело? разве расчет таким образом хозяйство вести! Свежего запасу пропасть, а она и не прикоснется к нему, покуда всей старой гнили не приест!

Уверенность Арины Петровны, что с Степки-балбеса какую-угодно бумагу без труда стребовать можно, оправдалась вполне. Он не только без возражений подписал все присланные ему матерью бумаги, но даже хвастался в тот же вечер земскому:

— Сегодня, брат, я всё бумаги подписывал. Отка́зные всё — чист теперь! Ни плошки, ни ложки — ничего теперь

у меня нет, да и впредь не предвидится! Успокоил старуху!

С братьями он расстался мирно и был в восторге, что теперь у него целый запас табаку. Конечно, он не мог воздержаться, чтоб не обозвать Порфишу кровопивушкой и Иудушкой, но выражения эти совершенно незаметно утонули в целом потоке болтовни, в которой нельзя было уловить ни одной связной мысли. На прощанье братцы расщедрились и даже дали денег, причем Порфирий Владимирыч сопровождал свой дар следующими словами:

— Маслица в лампадку занадобится или богу свечечку поставить захочется — ан деньги-то и есть! Так-то, брат! Живико, брат, тихо да смирно — и маменька будет тобой довольна, и тебе будет покойно, и всем нам весело и радостно. Мать — ведь она добрая, друг!

— Добрая-то добрая,— согласился и Степан Владимирыч,— только вот солониной протухлой кормит!

— А кто виноват? кто над родительским благословением надругался? — сам виноват, сам именьице-то спустил! А именьице-то какое было: кругленькое, превыгодное, пречудесное именьице! Вот кабы ты повел себя скромненько да ладненько, ел бы ты и говядинку и телятинку, а не то так и соусцу бы приказал. И всего было бы у тебя довольно: и картофельцу, и капустки, и горошку... Так ли, брат, я говорю?

Если б Арина Петровна слышала этот диалог, наверно, она не воздержалась бы, чтоб не сказать: ну, затарантила таранта! Но Степка-балбес именно тем и счастлив был, что слух его, так сказать, не задерживал посторонних речей. Иудушка мог говорить сколько угодно и быть вполне уверенным, что ни одно его слово не достигнет по назначению.

Одним словом, Степан Владимирыч проводил братьев дружелюбно и не без самодовольства показал Якову-земскому две двадцатипятирублевые бумажки, очутившиеся в его руке после прощания.

— Теперь, брат, мне надолго станет! — сказал он,— табак у нас есть, чаем и сахаром мы обеспечены, только вина недоставало — захотим, и вино будет! Впрочем, покуда еще придержусь — времени теперь нет, на погреб бежать надо! Не присмотри крошечку — мигом растащат! А видела, брат, она меня, видела, ведьма, как я однажды около застольной по стенке пробирался! Стоит это у окна, смотрит, чай, на меня да думает: то-то я огурцов не досчитываюсь,— ан вот оно что!

Но вот наконец и октябрь на дворе: полились дожди, улица почернела и сделалась непроходимою. Степану Владимирычу некуда было выйти, потому что на ногах у него были зано-

шенные папенькины туфли, на плечах старый папенькин халат. Безвыходно сидел он у окна в своей комнате и сквозь двойные рамы смотрел на крестьянский поселок, утонувший в грязи. Там, среди серых испарений осени, словно черные точки, проворно мелькали люди, которых не успела сломить летняя страда. Страда не прекращалась, а только получила новую обстановку, в которой летние ликующие тоны заменились непрерывающимися осенними сумерками. Овины курились за полночь, стук цепов унылою дробью разносился по всей окрестности. В барских ригах тоже шла молотьба, и в конторе поговаривали, что вряд ли ближе масленицы управиться со всей массой господского хлеба. Все глядело сумрачно, сонно, все говорило об угнетении. Двери конторы уже не были отперты настежь, как летом, и в самом ее помещении плавал сизый туман от испарений мокрых полушубков.

Трудно сказать, какое впечатление производила на Степана Владимирыча картина трудовой деревенской осени, и даже сознавал ли он в ней страду, продолжающуюся среди месива грязи, под непрерывным ливнем дождя; но достоверно, что серое, вечно слезящееся небо осени давило его. Казалось, что оно висит непосредственно над его головой и грозит утопить его в разверзнувшихся хлябях земли. У него не было другого дела, как смотреть в окно и следить за грузными массами облаков. С утра, чуть брезжил свет, уж весь горизонт был сплошь обложен ими; облака стояли словно застывшие, очарованные; проходил час, другой, третий, а они всё стояли на одном месте, и даже незаметно было ни малейшей перемены ни в колере, ни в очертаниях их. Вон это облако, что пониже и почернее других: и давеча оно имело разорванную форму (точно поп в рясе с распростертыми врозь руками), отчетливо выступавшую на белесоватом фоне верхних облаков,— и теперь, в полдень, сохранило ту же форму. Правая рука, правда, покороче сделалась, зато левая безобразно вытянулась, и льет из нее, льет так, что даже на темном фоне неба обозначилась еще более темная, почти черная полоса. Вон и еще облако подальше: и давеча оно громадным косматым комом висело над соседней деревней Нагловкой и, казалось, угрожало задушить ее — и теперь тем же косматым комом на том же месте висит, а лапы книзу протянуло, словно вот-вот спрыгнуть хочет. Облака, облака и облака — так весь день. Часов около пяти после обеда совершается метаморфоза: окрестность постепенно заволакивается, заволакивается и, наконец, совсем пропадает. Сначала облака исчезнут и все затянутся безразличной черной пеленою; потом куда-то пропадет лес и Нагловка; за нею утонет церковь, часовня, ближ-

ний крестьянский поселок, фруктовый сад, и только глаз, пристально следящий за процессом этих таинственных исчезновений, еще может различать стоящую в нескольких саженях барскую усадьбу. В комнате уж совсем темно; в конторе еще сумерничают, не зажигают огня; остается только ходить, ходить, ходить без конца. Болезненная истома сковывает ум; во всем организме, несмотря на бездеятельность, чувствуется беспричинное, невыразимое утомление; одна только мысль мечется, сосет и давит — и эта мысль: гроб! гроб! гроб! Вон эти точки, что давеча мелькали на темном фоне грязи, около деревенских гумен,— их эта мысль не гнетет, и они не погибнут под бременем уныния и истомы: они ежели и не борются прямо с небом, то, по крайней мере, барахтаются, что-то устраивают, ограждают, ухичивают. Стоит ли ограждать и ухичивать то, над устройством чего они день и ночь выбиваются из сил,— это не приходило ему на ум, но он сознавал, что даже и эти безымянные точки стоят неизмеримо выше его, что он и барахтаться не может, что ему нечего ни ограждать, ни ухичивать.

Вечера он проводил в конторе, потому что Арина Петровна, по-прежнему, не отпускала для него свечей. Несколько раз просил он через бурмистра, чтоб прислали ему сапоги и полушубок, но получил ответ, что сапогов для него не припасено, а вот наступят заморозки, то будут ему выданы валенки. Очевидно, Арина Петровна намеревалась буквально выполнить свою программу: содержать постылого в такой мере, чтоб он только не умер с голоду. Сначала он ругал мать, но потом словно забыл об ней; сначала он что-то припоминал, потом перестал и припоминать. Даже свет свечей, зажженных в конторе, и тот опостылел ему, и он затворялся в своей комнате, чтоб остаться один на один с темнотою. Впереди у него был только один ресурс, которого он покуда еще боялся, но который с неудержимою силой тянул его к себе. Этот ресурс — напиться и позабыть. Позабыть глубоко, безвозвратно, окунуться в волну забвения до того, чтоб и выкарабкаться из нее было нельзя. Все увлекало его в эту сторону: и буйные привычки прошлого, и насильственная бездеятельность настоящего, и больной организм с удушливым кашлем, с несносною, ничем не вызываемою одышкой, с постоянно усиливающимися колотьями сердца. Наконец он не выдержал.

— Сегодня, брат, надо ночью штоф припасти,— сказал он однажды земскому голосом, не предвещавшим ничего доброго.

Сегодняшний штоф привел за собой целый последовательный ряд новых, и с этих пор он аккуратно каждую ночь напи-

вался. В девять часов, когда в конторе гасили свет и люди расходились по своим логовищам, он ставил на стол припасенный штоф с водкой и ломоть черного хлеба, густо посыпанный солью. Не сразу приступал он к водке, а словно подкрадывался к ней. Кругом все засыпало мертвым сном; только мыши скреблись за отставшими от стен обоями да часы назойливо чикали в конторе. Снявши халат, в одной рубашке, сновал он взад и вперед по жарко натопленной комнате, по временам останавливался, подходил к столу, нашаривал в темноте штоф и вновь принимался за ходьбу. Первые рюмки он выпивал с прибаутками, сладострастно всасывая в себя жгучую влагу; но мало-помалу биение сердца учащалось, голова загоралась — и язык начинал бормотать что-то несвязное. Притупленное воображение силилось создать какие-то образы, помертвелая память пробовала прорваться в область прошлого, но образы выходили разорванные, бессмысленные, а прошлое не откликалось ни единым воспоминанием, ни горьким, ни светлым, словно между ним и настоящей минутой раз навсегда встала плотная стена. Перед ним было только настоящее в форме наглухо запертой тюрьмы, в которой бесследно потонула и идея пространства, и идея времени. Комната, печь, три окна в наружной стене, деревянная скрипучая кровать и на ней тонкий притоптанный тюфяк, стол с стоящим на нем штофом — ни до каких других горизонтов мысль не додумывалась. Но, по мере того, как убывало содержание штофа, по мере того, как голова распалялась,— даже и это скудное чувство настоящего становилось не под силу. Бормотанье, имевшее вначале хоть какую-нибудь форму, окончательно разлагалось; зрачки глаз, усиливаясь различить очертания тьмы, безмерно расширялись; самая тьма, наконец, исчезала, и взамен ее являлось пространство, наполненное фосфорическим блеском. Это была бесконечная пустота, мертвая, не откликающаяся ни единым жизненным звуком, зловеще-лучезарная. Она следовала за ним по пятам, за каждым оборотом его шагов. Ни стен, ни окон, ничего не существовало; одна безгранично тянущаяся, светящаяся пустота. Ему становилось страшно; ему нужно было заморить в себе чувство действительности до такой степени, чтоб даже пустоты этой не было. Еще несколько усилий — и он был у цели. Спотыкающиеся ноги из стороны в сторону носили онемевшее тело, грудь издавала не бормотанье, а хрип, самое существование как бы прекращалось. Наступало то странное оцепенение, которое, нося на себе все признаки отсутствия сознательной жизни, вместе с тем несомненно указывало на присутствие какой-то особенной жизни, развивавшейся независимо от каких бы то ни было условий. Стоны за стонами

вырывались из груди, нимало не нарушая сна; органический недуг продолжал свою разъедающую работу, не причиняя, по-видимому, физических болей.

Утром, он просыпался со светом, и вместе с ним просыпались: тоска, отвращение, ненависть. Ненависть без протеста, ничем не обусловленная, ненависть к чему-то неопределенному, не имеющему образа. Воспаленные глаза бессмысленно останавливаются то на одном, то на другом предмете и долго и пристально смотрят; руки и ноги дрожат; сердце то замрет, словно вниз покатится, то начнет колотить с такою силой, что рука невольно хватается за грудь. Ни одной мысли, ни одного желания. Перед глазами печка, и мысль до того переполняется этим представлением, что не принимает никаких других впечатлений. Потом окно заменило печку, как окно, окно, окно... Не нужно ничего, ничего, ничего не нужно. Трубка набивается и закуривается машинально и недокуренная опять выпадает из рук; язык что-то бормочет, но, очевидно, только по привычке. Самое лучшее: сидеть и молчать, молчать и смотреть в одну точку. Хорошо бы опохмелиться в такую минуту; хорошо бы настолько поднять температуру организма, чтобы хотя на короткое время ощутить присутствие жизни, но днем ни за какие деньги нельзя достать водки. Нужно дожидаться ночи, чтобы опять дорваться до тех блаженных минут, когда земля исчезает из-под ног и вместо четырех постылых стен перед глазами открывается беспредельная светящаяся пустота.

Арина Петровна не имела ни малейшего понятия о том, как «балбес» проводит время в конторе. Случайный проблеск чувства, мелькнувший было в разговоре с кровопивцем Порфишкой, погас мгновенно, так что она и не заметила. С ее стороны не было даже систематического образа действия, а было простое забвение. Она совсем потеряла из виду, что подле нее, в конторе, живет существо, связанное с ней кровными узами, существо, которое, быть может, изнывает в тоске по жизни. Как сама она, раз войдя в колею жизни, почти машинально наполняла ее одним и тем же содержанием, так, по мнению ее, должны были поступать и другие. Ей не приходило на мысль, что самый характер жизненного содержания изменяется сообразно с множеством условий, так или иначе сложившихся, и что наконец для одних (и в том числе для нее) содержание это представляет нечто излюбленное, добровольно избранное, а для других — постылое и невольное. Поэтому, хотя бурмистр неоднократно докладывал ей, что Степан Владимирыч «нехорош», но доклады эти проскальзывали мимо ушей, не оставляя в ее уме никакого впечатления. Много-много если она отвечала на них стереотипною фразой:

— Небось отдышится, еще нас с тобой переживет! Что ему, жеребцу долговязому, делается! Кашляет! иной сряду тридцать лет кашляет, и все равно что с гуся вода!

Тем не менее, когда ей однажды утром доложили, что Степан Владимирыч ночью исчез из Головлева, она вдруг пришла в себя. Немедленно разослала весь дом на поиски и лично приступила к следствию, начав с осмотра комнаты, в которой жил постылый. Первое, что поразило ее,— это стоявший на столе штоф, на дне которого еще плескалось немного жидкости и который впопыхах не догадались убрать.

— Это что? — спросила она, как бы не понимая.

— Стало быть... занимались,— отвечал, заминаясь, бурмистр.

— Кто доставал? — начала было она, но потом спохватилась и, затаив свой гнев, продолжала осмотр.

Комната была грязна, черна, заслякощена так, что даже ей, не знавшей и не признававшей никаких требований комфорта, сделалось неловко. Потолок был закопчен, обои на стенах треснули и во многих местах висели клочьями, подоконники чернели под густым слоем табачной золы, подушки валялись на полу, покрытом липкою грязью, на кровати лежала скомканная простыня, вся серая от насевших на нее нечистот. В одном окне зимняя рама была выставлена или, лучше сказать, выдрана, и самое окно оставлено приотворенным: этим путем, очевидно, и исчез постылый. Арина Петровна инстинктивно взглянула на улицу и перепугалась еще больше. На дворе стоял уж ноябрь в начале, но осень в этот год была особенно продолжительна, и морозы еще не наступали. И дорога и поля — все стояло черное, размокшее, невылазное. Как он прошел? куда? И тут же ей вспомнилось, что на нем ничего не было, кроме халата да туфлей, из которых одна была найдена под окном, и что всю прошлую ночь, как на грех, не переставаючи шел дождь.

— Давненько-таки я у вас здесь, голубчики, не бывала! — молвила она, вдыхая в себя вместо воздуха какую-то отвратительную смесь сивухи, тютюна и прокислых овчин.

Весь день, покуда люди шарили по лесу, она простояла у окна, с тупым вниманием вглядываясь в обнаженную даль. Из-за балбеса да такая кутерьма! — ей казалось, что это какой-то нелепый сон. Говорила тогда, что надо его в вологодскую деревню сослать — так нет, лебезит проклятый Иудушка: оставьте, маменька, в Головлеве! — вот и купайся теперь с ним! Жил бы он там заглазно, как хотел,— и Христос бы с ним! Свое дело сделала: один кусок промотал — другой выбросила! А другой бы промотал — ну, и не погневайся, батюшка! Бог —

и тот на ненасытную утробу не напасется! И все бы у нас было смирно да мирно, а теперь — легко ли штуку какую удрал! ищи его по лесу да свищи! Хорошо еще, как живого в дом привезут — ведь с пьяных-то глаз и в петлю угодить недолго! Взял веревку, зацепил за сук, обмотал кругом шеи, да и был таков! Мать ночей недосыпала, куска недоедала, а он, на-тко, какую моду выдумал — вешаться вздумал. И добро бы худо ему было, есть-пить бы не давали, работой бы изнуряли — а то слонялся целый день взад и вперед по комнате, как оглашенный, ел да пил, ел да пил! Другой бы не знал, чем мать отблагодарить, а он вешаться вздумал — вот так одолжил сынок любезный!

Но на этот раз предположения Арины Петровны относительно насильственной смерти балбеса не оправдались. К вечеру в виду Головлева показалась кибитка, запряженная парой крестьянских лошадей, и подвезла беглеца к конторе. Он находился в полубесчувственном состоянии, весь избитый, порезанный, с посинелым и распухшим лицом. Оказалось, что за ночь он дошел до дубровинской усадьбы, отстоявшей в двадцати верстах от Головлева.

Целые сутки после того он проспал, на другие — проснулся. По обыкновению, он начал шагать назад и вперед по комнате, но к трубке не прикоснулся, словно позабыл, и на все вопросы не проронил ни одного слова. С своей стороны, Арина Петровна настолько восчувствовала, что чуть было не приказала перевести его из конторы в барский дом, но потом успокоилась и опять оставила балбеса в конторе, приказавши вымыть и почистить его комнату, переменить постельное белье, повесить на окнах шторы и проч. На другой день вечером, когда ей доложили, что Степан Владимирыч проснулся, она велела позвать его в дом к чаю и даже отыскала ласковые тоны для объяснения с ним.

— Ты куда ж это от матери уходил? — начала она,— знаешь ли, как ты мать-то обеспокоил? Хорошо еще, что папенька ни об чем не узнал,— каково бы ему было при его-то положении?

Но Степан Владимирыч, по-видимому, остался равнодушным к материнской ласке и уставился неподвижными, стеклянными глазами на сальную свечку, как бы следя за нагаром, который постепенно образовывался на фитиле.

— Ах, дурачок, дурачок! — продолжала Арина Петровна все ласковее и ласковее,— хоть бы ты подумал, какая через тебя про мать слава пойдет! Ведь завистников-то у ней — слава богу! и невесть что наплетут! Скажут, что и не кормила-то, и не одевала-то... ах, дурачок, дурачок!

То же молчание, и тот же неподвижный, бессмысленно устремленный в одну точку взор.

— И чем тебе худо у матери стало! Одет ты и сыт — слава богу! И теплехонько тебе, и хорошохонько... чего бы, кажется, искать! Скучно тебе, так не прогневайся, друг мой,— на то и деревня! Веселиев да балов у нас нет — и все сидим по углам да скучаем! Вот я и рада была бы поплясать да песни попеть — ан посмотришь на улицу, и в церковь-то божию в этакую мòкреть ехать охоты нет!

Арина Петровна остановилась в ожидании, что балбес хоть что-нибудь промычит; но балбес словно окаменел. Сердце мало-помалу закипает в ней, но она все еще сдерживается.

— А ежели ты чем недоволен был — кушанья, может быть, недостало, или из белья там,— разве не мог ты матери откровенно объяснить? Маменька, мол, душенька, прикажите печеночки или там ватрушечки изготовить — неужто мать в куске-то отказала бы тебе? Или вот хоть бы и винца — ну, захотелось тебе винца, ну, и Христос с тобой! Рюмка, две рюмки — неужто матери жалко? А то на-тко: у раба попросить не стыдно, а матери слово молвить тяжело!

Но напрасны были все льстивые слова: Степан Владимирыч не только не расчувствовался (Арина Петровна надеялась, что он ручку у ней поцелует) и не обнаружил раскаяния, но даже как будто ничего не слыхал.

С этих пор он безусловно замолчал. По целым дням ходил по комнате, наморщив угрюмо лоб, шевеля губами и не чувствуя усталости. Временами останавливался, как бы желая что-то выразить, но не находил слова. По-видимому, он не утратил способности мыслить; но впечатления так слабо задерживались в его мозгу, что он тотчас же забывал их. Поэтому неудача в отыскании нужного слова не вызывала в нем даже нетерпения. Арина Петровна с своей стороны думала, что он непременно подожжет усадьбу.

— Целый день молчит! — говорила она,— ведь думает же, балбес, об чем-нибудь, покуда молчит! вот помяните мое слово, ежели он усадьбы не спалит!

Но балбес просто совсем не думал. Казалось, он весь погрузился в безрассветную мглу, в которой нет места не только для действительности, но и для фантазии. Мозг его вырабатывал нечто, но это нечто не имело отношения ни к прошедшему, ни к настоящему, ни к будущему. Словно черное облако окутало его с головы до ног, и он всматривался в него, в него одного, следил за его воображаемыми колебаниями и по временам вздрагивал и словно оборонялся от него. В этом загадочном облаке потонул для него весь физический и умственный мир...

В декабре того же года Порфирий Владимирыч получил от Арины Петровны письмо следующего содержания:

«Вчера утром постигло нас новое, ниспосланное от господа испытание: сын мой, а твой брат, Степан, скончался. Еще с вечера накануне был здоров совершенно и даже поужинал, а наутро найден в постеле мертвым — такова сей жизни скоротечность! И что всего для материнского сердца прискорбнее: так, без напутствия, и оставил сей суетный мир, дабы устремиться в область неизвестного.

Сие да послужит нам всем уроком: кто семейными узами небрежет — всегда должен для себя такого конца ожидать. И неудачи в сей жизни, и напрасная смерть, и вечные мучения в жизни следующей — все из сего источника происходит. Ибо как бы мы ни были высокоумны и даже знатны, но ежели родителей не почитаем, то оные как раз и высокоумие, и знатность нашу в ничто обратят. Таковы правила, кои всякий живущий в сем мире человек затвердить должен, а рабы, сверх того, обязаны почитать господ.

Впрочем, несмотря на сие, все почести отшедшему в вечность были отданы сполна, яко сыну. Покров из Москвы выписали, а погребение совершал известный тебе отец архимандрит соборне. Сорокоусты же и поминовения и поднесь совершаются, как следует, по христианскому обычаю. Жаль сына, но роптать не смею, и вам, дети мои, не советую. Ибо кто может сие знать? — мы здесь ропщем, а его душа в горних увеселяется!»

ПО-РОДСТВЕННОМУ

Жаркий июльский полдень. На дубровинской барской усадьбе словно все вымерло. Не только досужие, но и рабочие люди разбрелись по углам и улеглись в тень. Собаки раскинулись под навесом громадной ивы, стоящей посреди красного двора, и слышно, как они хлопают зубами, ловя в полусне мух. Даже деревья стоят понурые и неподвижные, точно замученные. Все окна, как в барском доме, так и в людских, отворены настежь. Жар так и окачивает сверху горячей волной; земля, покрытая коротенькой, опаленной травою, пылает; нестерпимый свет, словно золотистою дымкой, задернул окрестность, так что с трудом можно различать предметы. И барский дом, когда-то выкрашенный серой краской, и теперь побелевший, и маленький палисадник перед домом, и березовая роща, отделенная от усадьбы проезжей дорогой, и пруд, и крестьянский поселок, и ржаное поле, начинающееся сейчас за околицей,— все тонет в светящейся мгле. Всякие запахи, начиная с благоуханий цветущих лип и кончая миазмами скотного двора, гу-

стою массой стоят в воздухе. Ни звука. Только с кухни доносится дробное отбивание поварских ножей, предвещающее неизменную окрошку и битки за обедом.

Внутри господского дома царствует бесшумная тревога. Старуха барыня и две молодые девушки сидят в столовой и, не притрогиваясь к вязанью, брошенному на столе, словно застыли в ожидании. В девичьей две женщины занимаются приготовлением горчичников и примочек, и мерное звяканье ложек, подобно крику сверчка, прорезывается сквозь общее оцепенение. В коридоре осторожно двигаются девчонки на босу ногу, перебегая по лестнице из антресолей в девичью и обратно. По временам сверху раздается крик: «Что ж горчичники! заснули? а?» — и вслед за тем стрелой промчится девчонка из девичьей. Наконец слышится скрип тяжелых шагов по лестнице, и в столовую входит полковой доктор. Доктор — человек высокий, широкоплечий, с крепкими, румяными щеками, которые так и прыщут здоровьем. Голос у него звонкий, походка твердая, глаза светлые и веселые, губы полные, сочные, вид открытый. Это жуир в полном смысле слова, несмотря на свои пятьдесят лет, жуир, который и прежде не отступал и долго еще не отступит ни перед какой попойкой, ни перед каким объедением. Одет по-летнему, щеголем, в пикейный сюртучок необычайной белизны, украшенный светлыми гербовыми пуговицами. Он входит, причмокивая губами и присасывая языком.

— Вот что, голубушка, принеси-ка ты нам водочки да закусить что-нибудь! — отдает он приказание, останавливаясь в дверях, ведущих в коридор.

— Ну что? как? — тревожно спрашивает старуха барыня.

— У бога милостей без конца, Арина Петровна! — отвечает доктор.

— Как же это? стало быть...

— Да так же. Денька два-три протянет, а потом — шабаш!

Доктор делает многозначительный жест рукою и вполголоса мурлыкает: *«Кувырком, кувырком, ку-выр-ком по-летит!»*

— Как же это так? лечили-лечили доктора — и вдруг!

— Какие доктора?

— Земский наш да вот городовой приезжал.

— Доктора!! кабы ему месяц назад заволоку здоровенную соорудить — был бы жив!

— Неужто ж так-таки ничего и нельзя?

— Сказал: у бога милостей много, а больше ничего прибавить не могу.

— А может быть, и подействует?

— Что подействует?

— А вот, что теперь... горчичники эти...

— Может быть-с.

Женщина, в черном платье и в черном платке, приносит поднос, на котором стоят графин с водкой и две тарелки с колбасой и икрой. При появлении ее разговор смолкает. Доктор наливает рюмку, высматривает ее на свет и щелкает языком.

— За ваше здоровье, маменька! — говорит он, обращаясь к старухе барыне и проглатывая водку.

— На здоровье, батюшка!

— Вот от этого самого Павел Владимирыч и погибает в цвете лет — от водки от этой! — говорит доктор, приятно морщась и тыкая вилкой в кружок колбасы.

— Да, много через нее людей пропадает.

— Не всякий эту жидкость вместить может — оттого! А так как мы вместить можем, то и повторим! Ваше здоровье, сударыня!

— Кушайте, кушайте! вам — ничего!

— Мне — ничего! у меня и легкие, и почки, и печенка, и селезенка — всё в исправности! Да, бишь! вот что! — обращается он к женщине в черном платье, которая приостановилась у дверей, словно прислушиваясь к барскому разговору,— что у вас нынче к обеду готовлено?

— Окрошка, да битки, да цыплята на жаркое,— отвечает женщина, как-то кисло улыбаясь.

— А рыба соленая у вас есть?

— Как, сударь, рыбы не быть! осетрина есть, севрюжина... Найдется рыбы — довольно!

— Так скомандуй ты нам к обеду ботвиньи с осетринкой... звенышко, знаешь, да пожирнее! как тебя: Улитушкой, что ли, звать?

— Улитой, сударь, люди зовут.

— Ну, так живо, Улитушка, живо!

Улитушка уходит; на минуту водворяется тяжелое молчание. Арина Петровна встает с своего места и высматривает в дверь, точно ли Улитушка ушла.

— Насчет сироток-то говорили ли вы ему, Андрей Осипыч? — спрашивает она доктора.

— Разговаривал-с.

— Ну, и что ж?

— Все одно и то же-с. Вот как выздоровею, говорит, непременно и духовную и векселя напишу.

Молчание, еще более тяжелое, водворяется в комнате. Девицы берут со стола канвовые работы, и руки их с заметною дрожью выделывают шов за швом; Арина Петровна как-то без-

надежно вздыхает; доктор ходит по комнате и насвистывает: *«Кувырком, ку-вы-ы-рком!»*

— Да вы бы хорошенько ему сказали!

— Чего еще лучше: подлец, говорю, будешь, ежели сирот не обеспечишь. Да, мамашечка, опростоволосились вы! Кабы месяц тому назад вы меня позвали, я бы и заволоку ему соорудил, да и насчет духовной постарался бы... А теперь все Иудушке, законному наследнику, достанется... непременно!

— Бабушка! что ж это такое будет! — почти сквозь слезы жалуется старшая из девиц,— что ж это дядя с нами делает!

— Не знаю, милая, не знаю. Вот даже насчет себя не знаю. Сегодня — здесь, а завтра — уж и не знаю где... Может быть, бог приведет где-нибудь в сарайчике ночевать, а может быть, и у мужичка в избе!

— Господи! какой этот дядя глупый! — восклицает младшая из девиц.

— А вы бы, молодая особа, язычок-то на привязи придержали! — замечает доктор и, обращаясь к Арине Петровне, прибавляет: — Да что ж вы сами, мамашечка! сами бы уговорить его попробовали!

— Нет, нет, нет! Не хочет! даже видеть меня не хочет! Намеднись сунулась было я к нему: напутствовать, что ли, меня пришли? говорит.

— Я думаю, что это все больше Улитушка... она его против вас настраивает.

— Она! именно она! И все Порфишке-кровопивцу передает! Сказывают, что у него и лошади в хомутах целый день стоят, на случай, ежели брат отходить начнет! И представьте, на днях она даже мебель, вещи, посуду — всё переписала: на случай, дескать, чтобы не пропало чего! Это она нас-то, нас-то воровками представить хочет!

— А вы бы ее по-военному... Кувырком, знаете, кувырком...

Но не успел доктор развить свою мысль, как в комнату вбежала вся запыхавшаяся девчонка и испуганным голосом крикнула:

— К барину! доктора барин требует!

Семейство, которое выступает на сцену в настоящем рассказе, уже знакомо нам. Старуха барыня — не кто иная, как Арина Петровна Головлева; умирающий владелец дубровинской усадьбы — ее сын, Павел Владимирыч; наконец, две девушки, Аннинька и Любинька,— дочери покойной Анны Владимировны Улановой, той самой, которой некогда Арина Пет-

ровна «выбросила кусок». Прошло не больше десяти лет с тех пор, как мы видели их, а положения действующих лиц до того изменились, что не осталось и следа тех искусственных связей, благодаря которым головлевская семья представлялась чем-то вроде неприступной крепости. Семейная твердыня, воздвигнутая неутомимыми руками Арины Петровны, рухнула, но рухнула до того незаметно, что она, сама не понимая, как это случилось, сделалась соучастницею и даже явным двигателем этого разрушения, настоящею душою которого был, разумеется, Порфишка-кровопивец.

Из бесконтрольной и бранчивой обладательницы головлевских имений Арина Петровна сделалась скромною приживалкой в доме младшего сына, приживалкой праздною и не имеющею никакого голоса в хозяйственных распоряжениях. Голова ее поникла, спина сгорбилась, глаза потухли, поступь сделалась вялою, порывистость движений пропала. От нечего делать она научилась на старости лет вязанию, но и оно не спорится у ней, потому что мысль ее постоянно где-то витает — где? — она и сама не всегда разберет, но, во всяком случае, не около вязальных спиц. Посидит, повяжет несколько минут — и вдруг руки сами собой опустятся, голова откинется на спинку кресел, и начнет она припоминать... Припоминает, припоминает, покуда старческая дремота не охватит всего старческого существа. Или встанет и начнет бродить по комнатам и все чего-то ищет, куда-то заглядывает, словно женщина, которая всю жизнь была в ключах и не понимает, где и как она их потеряла.

Первый удар властности Арины Петровны был нанесен не столько отменой крепостного права, сколько теми приготовлениями, которые предшествовали этой отмене. Сначала простые слухи, потом дворянские собрания с их адресами, потом губернские комитеты, потом редакционные комиссии — все это изнуряло, поселяло смуту. Воображение Арины Петровны, и без того богатое творчеством, рисовало ей целые массы пустяков. То вдруг вопрос представится: как это я Агашку звать буду? чай, Агафьюшкой... а может, и Агафьей Федоровной величать придется! То представится: ходит она по пустому дому, а людишки в людскую забрались и жрут! Жрать надоест — под стол бросают! То покажется, что заглянула она в погреб, а там Юлька с Фешкой так-то за обе щеки уписывают, так-то уписывают! Хотела было она реприманд им сделать — и поперхнулась. «Как ты им что-нибудь скажешь! теперь они вольные, на них, поди, и суда нет!»

Как ни ничтожны такие пустяки, но из них постепенно созидается целая фантастическая действительность, которая втя-

гивает в себя всего человека и совершенно парализует его деятельность. Арина Петровна как-то вдруг выпустила из рук бразды правления и в течение двух лет только и делала, что с утра до вечера восклицала:

— Хоть бы одно что-нибудь — пан либо пропал! а то: первый призыв! второй призыв! ни богу свеча, ни черту кочерга!

В это время, в самый развал комитетов, умер и Владимир Михайлыч. Умер примиренный, умиротворенный, отрекшись от Баркова и всех дел его. Последние слова его были:

— Благодарю моего бога, что не допустил меня, наряду с холопами, предстать перед лицо свое!

Слова эти глубоко запечатлелись в восприимчивой душе Арины Петровны, и смерть мужа, вместе с фантасмагориями будущего, наложили какой-то безнадежный колорит на весь головлевский обиход. Как будто и старый головлевский дом, и все живущее в нем — все разом собралось умереть.

Порфирий Владимирыч, по немногим жалобам, вылившимся в письмах Арины Петровны, с изумительной чуткостью отгадал сумятицу, овладевшую ее помыслами. Арина Петровна уже не выговаривала и не учительствовала в письмах, но больше всего уповала на божию помощь, «которая, по нынешнему легковерному времени, и рабов не оставляет, а тем паче тех, кои, по достаткам своим, надежнейшей опорой для церкви и ее украшения были». Иудушка инстинктом понял, что ежели маменька начинает уповать на бога, то это значит, что в ее существовании кроется некоторый изъян. И он воспользовался этим изъяном с свойственною ему лукавою ловкостью.

Перед самым концом эмансипационного дела он совсем неожиданно посетил Головлево и нашел Арину Петровну унывающею, почти измученною.

— Что? как? что в Петербурге поговаривают? — был первый ее вопрос по окончании взаимных приветствий.

Порфиша потупился и сидел молча.

— Нет, ты в мое положение войди! — продолжала Арина Петровна, поняв из молчания сына, что хорошего ждать нечего,— теперь у меня одних поганок в девичьей тридцать штук сидит — как с ними поступить? Ежели они на моем иждивении останутся — чем я их кормить стану? Теперь у меня и капустки, и картофельцу, и хлебца — всего довольно, ну и питаемся понемногу! Картофельцу нет — велишь капустки сварить; капустки нет — огурчиками извернешься! А ведь тогда я сама за всем на базар побеги, да за все денежки заплати, да купи, да подай — где на этакую ораву напасешься!

Порфиша глядел милому другу маменьке в глаза и горько улыбался в знак сочувствия.

— Ежели же их на все на четыре стороны выпустят: бегите, мол, милые, вытаращивши глаза! — ну, уж не знаю! Не знаю! не знаю! не знаю, что из этого выйдет!

Порфиша ухмыльнулся, как будто ему и самому очень уж смешно показалось, «что из этого выйдет».

— Нет, ты не смейся, мой друг! Это дело так серьезно, так серьезно, что разве уж господь им разуму прибавит — ну, тогда... Скажу хоть бы про себя: ведь и я не огрызок: как-никак, а и меня пристроить ведь надобно. Как тут поступить? Ведь мы какое воспитание-то получили? Потанцевать да попеть да гостей принять — что я без поганок-то без своих делать буду? Ни я подать, ни принять, ни сготовить для себя — ничего ведь я, мой друг, не могу!

— Бог милостив, маменька!

— Был милостив, мой друг, а нынче, нет! Милостив, милостив, а тоже с расчетцем: были мы хороши — и нас царь небесный жаловал; стали дурны — ну и не прогневайтесь! Уж я что думаю: не бросить ли все за добра ума. Право! выстрою себе избушку около папенькиной могилки, да и буду жить да поживать!

Порфирий Владимирыч навострил уши; на губах его показалась слюна.

— А имениями кто же распоряжаться будет? — возразил он осторожно, словно закидывая удочку.

— Не погневайтесь, и сами распорядитесь! Слава богу — припасла! Не все мне одной тяготы носить...

Арина Петровна вдруг словно споткнулась и подняла голову. В глаза ее бросилось осклабляющееся, слюнявое лицо Иудушки, все словно маслом подернутое, все проникнутое каким-то плотоядным внутренним сиянием.

— Да ты, никак, уж хоронить меня собрался! — сухо заметила она,— не рано ли, голубчик! не ошибись!

Таким образом, на первый раз дело кончилось ничем. Но есть разговоры, которые, раз начавшись, уже не прекращаются. Через несколько часов Арина Петровна вновь возвратилась к прерванной беседе.

— Уеду к Сергию-троице,— мечтала она,— разделю имение, куплю на посаде домичек — и заживу!

Но Порфирий Владимирыч, искушенный давешним опытом, на этот раз смолчал.

— Прошлого года, как еще покойник папенька был жив,— продолжала мечтать Арина Петровна,— сидела я у себя в спаленке одна и вдруг слышу, словно мне кто шепчет: съезди к чудотворцу! съезди к чудотворцу! съезди к чудотворцу!.. да ведь до трех раз! Я этак, знаешь, обернулась — нет никого!

Однако думаю: ведь это — видение мне! Что ж, говорю, коли моя вера угодна богу — я готова! И только что я это выговорила, как вдруг это в комнате... такое благоухание! такое благоухание разлилось! Разумеется, сейчас же велела укладываться, а к вечеру уж в дороге была!

У Арины Петровны даже слезы на глазах выступили. Иудушка воспользовался этим, чтоб поцеловать у маменьки ручку, причем позволил себе даже обнять ее за талию.

— Вот теперь вы — паинька! — сказал он,— ах! хорошо, голубушка, коли кто с богом в ладу живет! И он к богу с молитвой, и бог к нему с помощью. Так-то, добрый друг маменька!

— Постой! Я еще не все досказала! Приезжаю я на другой день вечером в посад, и прямо — к угоднику. А там всенощная; поют, свечки горят, благоухание от кадил — и не знаю, где я, на земле или на небеси! Пошла я от всенощной к иеромонаху Ионе и говорю: чтой-то, ваше высокопреподобие, больно у вас сегодня хорошо в храме! А он мне: «Чего, сударыня! ведь нынче отцу Аввакуму видение за всенощной было! Только что начал он руки на молитву заводить — смотрит, ан в самом кумполе свет, и голубь на него смотрит!» Вот с этих пор я себе и положила: какова пора ни мера, а конец жизни у Сергиятроицы пожить!

— А об нас-то кто позаботится! об детях-то ваших кто похлопочет? Ах, маменька, маменька!

— Ну, не маленькие, и сами об себе промыслите! А я... удалюсь я с Аннушкиными сиротками к чудотворцу и заживу у него под крылышком! Может быть, и из них у которой-нибудь явится желание богу послужить, так тут и Хотьков рукой подать! Куплю себе домичек, огородец вскопаю; капустки, картофельцу — всего у меня довольно будет!

Несколько дней сряду велся этот праздный разговор; несколько раз делала Арина Петровна самые смелые предположения, брала их назад и опять делала, но, наконец, довела дело до такой точки, что и отступить уж было нельзя. Не далее как через полгода после Иудушкиной побывки положение дел было следующее: Арина Петровна не уехала ни к Сергиютроице, ни в домик у могилки мужа, а имение разделила, оставив при себе только капитал. При этом Порфирию Владимирычу была выделена лучшая часть, а Павлу Владимирычу — похуже.

Арина Петровна осталась, по-прежнему, в Головлеве, причем, разумеется, не обошлось без семейной комедии. Иудушка пролил слезы и умолил доброго друга маменьку управлять его

имением безотчетно, получать с него доходы и употреблять по своему усмотрению, «а что вы мне, голубушка, из доходов уделите, я всем, даже малостью, буду доволен». Напротив того, Павел поблагодарил мать холодно («точно укусить хотел»), тотчас же вышел в отставку («так, без материнского благословения, как оглашенный, и выскочил на волю!») и поселился в Дубровине.

С этих пор на Арину Петровну нашло затмение. Тот внутренний образ Порфишки-кровопивца, который она когда-то с такою редкою проницательностью угадывала, вдруг словно туманом задернулся. Казалось, она ничего больше не понимала, кроме того, что, несмотря на раздел имения и освобождение крестьян, она по-прежнему живет в Головлеве и по-прежнему ни перед кем не отчитывается. Тут же, под боком, живет другой сын — но какая разница! Тогда как Порфиша и себя и семью — все вверил маменькиному усмотрению, Павел не только ни об чем с ней не советуется, но даже при встречах как-то сквозь зубы говорит!

И чем больше затмевался ее рассудок, тем больше раскипалось в ней сердце ревностью к ласковому сыну. Порфирий Владимирыч ничего у ней не просил — она сама шла навстречу его желаниям. Мало-помалу она начала находить недостатки в фигуре головлевских дач. В таком-то месте чужая земля врезывалась в дачу — хорошо было бы эту землю прикупить; в таком-то месте можно бы хуторок отдельный устроить, да покосцу мало, а тут, по смежности, и покосец продажный есть — ах, хорош покос! Арина Петровна увлекалась и как мать, и как хозяйка, желающая выставить во всем блеске свои способности перед ласковым сыном. Но Порфирий Владимирыч словно в непроницаемую скорлупу схоронился. Напрасно Арина Петровна соблазняла его покупками — на все ее предложения приобрести такой-то лесок или такой-то покосец он неизменно отвечал: «Я, добрый друг маменька, и тем доволен, что вы, по милости вашей, мне пожаловали».

Ответы эти только разжигали Арину Петровну. Увлекаясь, с одной стороны, хозяйственными задачами, с другой — полемическими соображениями относительно «подлеца Павлушки», который жил подле и знать ее не хотел, она совершенно утратила представление о своих действительных отношениях к Головлеву. Прежняя горячка приобретения с новою силою овладела всем ее существом, но приобретения уже не за свой собственный счет, а за счет любимого сына. Головлевское имение разрослось, округлилось и зацвело.

И вот, в ту самую минуту, когда капитал Арины Петровны до того умалился, что сделалось почти невозможным самостоя-

тельное существование на проценты с него, Иудушка, при самом почтительном письме, прислал ей целый тюк форм счетоводства, которые должны были служить для нее руководством на будущее время при составлении годовой отчетности. Тут, рядом с главными предметами хозяйства, стояли: малина, крыжовник, грибы и т. д. По всякой статье был особенный счет приблизительно следующего содержания:

К 18** году состояло кустов малины . . .	00
К сему поступило вновь посаженных . . .	00
С наличного числа кустов собрано ягод . .	00 п. 00 ф. 00 зол.
Из сего числа:	
Вами, милый друг маменька, употреблено . .	00 п. 00 ф. 00 зол.
Израсходовано на варенье для дома Его Превосходительства Порфирия Владимирыча Головлева	00 п. 00 ф. 00 зол.
Дано мальчику N в награду за добронравие	1 ф.
Продано простому народу на лакомство . .	00 п. 00 ф. 00 зол.
Сгнило, по неимению в виду покупщиков, а равно и от других причин	00 п. 00 ф. 00 зол.
И т. д. И т. д.	

Примечание. В случае, ежели урожай отчетного года менее против прошлого года, то здесь должны быть объясняемы причины сего, как-то: засуха, дожди, град и проч.

Арина Петровна так и ахнула. Во-первых, ее поразила скупость Иудушки: она никогда и не слыхивала, чтоб крыжовник мог составлять в Головлеве предмет отчетности, а он, повидимому, на этом предмете всего больше и настаивал; во-вторых, она очень хорошо поняла, что все эти формы не что иное, как конституция, связывающая ее по рукам и по ногам.

Кончилось дело тем, что, после продолжительной полемической переписки, Арина Петровна, оскорбленная и негодующая, перебралась в Дубровино, а вслед за тем и Порфирий Владимирыч вышел в отставку и поселился в Головлеве.

С этих пор для старухи начался ряд мутных дней, посвященных насильственному покою. Павел Владимирыч, как человек, лишенный поступков, был как-то особенно придирчив в отношении к матери. Он принял ее довольно сносно, то есть обязался кормить и поить ее и сирот-племянниц, но под двумя условиями: во-первых, не ходить к нему на антресоли, а во-вторых — не вмешиваться в распоряжения по хозяйству. Последнее условие в особенности волновало Арину Петровну. Всем в доме Павла Владимирыча заправляли: во-первых, ключница Улитушка, женщина ехидная и уличенная в секретной переписке с кровопивцем Порфишкой, и, во-вторых, быв-

ший папенькин камердинер Кирюшка, ничего не смысливший в полеводстве и ежедневно читавший Павлу Владимирычу халуйского свойства поучения. Оба крали немилосердно. Сколько раз болело сердце Арины Петровны при виде господствовавшего в доме расхищения! сколько раз порывалась она предупредить, раскрыть сыну глаза насчет чая, сахару, масла! Всего этого выходили массы, и неоднократно Улитушка, нимало не стесняясь присутствием старухи барыни, даже в глазах ее, прятала в карман целые пригоршни сахару. Арина Петровна видела все это и должна была оставаться безмолвной свидетельницей расхищения. Потому что едва разевала она рот, чтобы заметить что-нибудь, как Павел Владимирыч в ту же минуту ее осаживал.

— Маменька! — говорил он,— надобно, чтоб кто-нибудь один в доме распоряжался! Это не я говорю, все так поступают. Я знаю, что мои распоряжения глупые, ну и пусть будут глупые. А ваши распоряжения умные — ну и пусть будут умные! Умны вы, даже очень умны, а Иудушка все-таки без угла вас оставил!

К довершению всего Арина Петровна сделала ужасное открытие: Павел Владимирыч пил. Страсть эта въелась в него крадучись, благодаря деревенскому одиночеству, и, наконец, получила то страшное развитие, которое должно было привести к неизбежному концу. В первое время, когда в доме поселилась мать, он как будто еще совестился; довольно часто сходил с антресолей вниз и разговаривал с матерью. Замечая, как путается его язык, Арина Петровна долго думала, что это происходит от глупости. Она не любила, когда он приходил «разговаривать», и считала эти разговоры большим для себя притеснением. В самом деле, он постоянно и как-то нелепо роптал. То дождя по целым неделям нет, то вдруг такой зарядит, словно с цепи сорвется; то жук одолел, все деревья в саду обглодал; то крот появился, все луга изрыл. Все это представляло неистощимый источник для ропота. Сойдет, бывало, с антресолей, сядет против матери и начнет:

— Кругом тучи ходят — Головлево далеко ли? у кровопивца вчера проливной был! — а у нас нет да и нет! Ходят тучки, похаживают кругом — и хоть бы те капля на наш пай!

Или:

— Ишь льет-поливает! рожь только что зацвела, а он знай поливает! Половину сена уж сгноили, а он прыскает да попрыскивает! Головлево далеко ли? кровопивец давно с поля убрался, а мы сиди-посиди! Придется скотину зимой гнилым сеном кормить!

Молчит-молчит Арина Петровна, слушая глупые речи, но иногда не вытерпит и молвит:

— Ты бы побольше руки сложа сидел!

Не успеет она это вымолвить, как Павел Владимирыч уж и взбеленился.

— А вы что ж мне прикажете делать? В Головлево дождик, что ли, перевести?

— Не дождик, а вообще...

— Нет, вы скажите, что, по-вашему, делать мне нужно? Не «вообще», а прямо... Климат, что ли, я для вас переменить должен? Вот в Головлеве: нужен был дождик — и был дождик; не нужно дождя — и нет его! Ну, и растет там все... А у нас все напротив! вот посмотрим, как-то вы станете разговаривать, как есть нечего будет!

— Стало быть, божья воля такова...

— Так вы та̀к и говорите, что божья воля! А то «вообще» — вот какое объясненье нашли!

Иногда дело доходило до того, что он даже собственностью отягощался.

— И зачем только это Дубровино мне досталось? — жаловался он,— что в нем?

— Чем же Дубровино не усадьба! земля хорошая, всего довольно... И что тебе вдруг вздумалось!

— А то и вздумалось, что, по нынешнему времени, совсем собственности иметь не надо! Деньги — это так! Деньги взял, положил в карман и удрал с ними! А недвижимость эта...

— Да что ж это за время такое за особенное, что уж и собственности иметь нельзя?

— А такое время, что вы вот газет не читаете, а я читаю. Нынче адвокаты везде пошли — вот и понимайте. Узнает адвокат, что у тебя собственность есть — и почнет кружить!

— Как же он тебя кружить будет, коль скоро у тебя праведные документы есть?

— Так и будет кружить, как кружат. Или вот Порфишка-кровопивец: наймет адвоката, а тот и будет тебе повестку за повесткой присылать!

— Что ты! не бессудная, чай, земля?

— Оттого и будут повестки присылать, что не бессудная. Кабы бессудная была, и без повесток бы отняли, а теперь с повестками. Вон у товарища моего, у Горлопятова, дядя умер, а он возьми да сдуру и прими после него наследство! Наследства-то оказался грош, а долгов — на сто тысяч: векселя, да все фальшивые. Вот и судят его третий год сряду: сперва дядино имение обрали, а потом и его собственное с аукциону продали! Вот тебе и собственность!

— Неужто такой закон есть?

— Кабы не было закона — не продали бы. Стало быть, всякий закон есть. У кого совести нет, для того все законы открыты, а у кого есть совесть, для того и закон закрыт. Поди, отыскивай его в книге-то!

Арина Петровна всегда уступала в этих спорах. Не раз ее подмывало крикнуть: вон с моих глаз, подлец! но подумает-подумает, да и смолчит. Только разве про себя поропщет:

— Господи! и в кого я этаких извергов уродила! Один — кровопивец, другой — блаженный какой-то! Для кого я припасала! ночей недосыпала, куска недоедала... для кого?!

И чем больше овладевал Павлом Владимирычем запой, тем фантастичнее и, так сказать, внезапнее становились его разговоры. Наконец Арина Петровна начала замечать, что тут есть что-то неладное. Например: с утра в шкапчик, в столовой, ставится полный графин водки, а к обеду уж ни капли в нем нет. Или: сидит она в гостиной и слышит какой-то таинственный скрип, происходящий в столовой, около заветного шкапчика; крикнет: кто там? — и слышит, что чьи-то шаги быстро, но осторожно удаляются по направлению к антресолям.

— Матушки! да, никак, он у вас пьет? — спросила она однажды Улитушку.

— Занимаются-с,— отвечала та, язвительно улыбаясь.

Убедившись, что мать отгадала его, Павел Владимирыч окончательно перестал церемониться. В одно прекрасное утро шкапчик совсем исчез из столовой, и на вопрос Арины Петровны, куда он девался, Улитушка отвечала:

— На антресоли перенести приказали; там им свободнее заниматься будет.

Действительно, на антресолях графинчики следовали друг за другом с изумительной быстротой. Уединившись с самим собой, Павел Владимирыч возненавидел общество живых людей и создал для себя особенную, фантастическую действительность. Это был целый глупо-героический роман, с превращениями, исчезновениями, внезапными обогащениями, роман, в котором главными героями были: он сам и кровопивец Порфишка. Он сам не сознавал вполне, как глубоко залегла в нем ненависть к Порфишке. Он ненавидел его всеми помыслами, всеми внутренностями, ненавидел беспрестанно, ежеминутно. Словно живой, метался перед ним этот паскудный образ, а в ушах раздавалось слезнолицемерное пустословие Иудушки, пустословие, в котором звучала какая-то сухая, почти отвлеченная злоба ко всему живому, не подчиняющемуся кодексу, созданному преданием лицемерия. Павел Владимирыч пил и припоминал. Припоминал все обиды и уни-

жения, которые ему приходилось вытерпеть, благодаря претензии Иудушки на главенство в доме. В особенности же припоминал раздел имения, рассчитывал каждую копейку, сравнивал каждый клочок земли — и ненавидел. В разгоряченном вином воображении создавались целые драмы, в которых вымещались все обиды и в которых обидчиком являлся уже он, а не Иудушка. То будто выиграл он двести тысяч и приезжает сообщить об этом Порфишке (целая сцена с разговорами), у которого от зависти даже перекосило лицо. То будто умер дедушка (опять сцена с разговорами, хотя никакого дедушки не было), ему оставил миллион, а Порфишке-кровопивцу — шиш. То будто он изобрел средство делаться невидимкой и через это получил возможность творить Порфишке такие пакости, от которых тот начинает стонать. В изобретении этих проказ он был неистощим, и долго нелепый хохот оглашал антресоли, к удовольствию Улитушки, спешившей уведомить о происходящем братца Порфирия Владимирыча.

Он ненавидел Иудушку и в то же время боялся его. Он знал, что глаза Иудушки источают чарующий яд, что голос его, словно змей, заползает в душу и парализует волю человека. Поэтому он решительно отказался от свиданий с ним. Иногда кровопивец приезжал в Дубровино, чтобы поцеловать ручку у доброго друга маменьки (он выгнал ее из дому, но почтительности не прекращал) — тогда Павел Владимирыч запирал антресоли на ключ и сидел взаперти все время, покуда Иудушка калякал с маменькой.

Таким образом шли дни за днями, покуда наконец Павел Владимирыч не очутился лицом к лицу с смертным недугом.

Доктор переночевал «для формы» и на другой день, рано утром, уехал в город. Оставляя Дубровино, он высказал прямо, что больному остается жить не больше двух дней и что теперь поздно думать об каких-нибудь «распоряжениях», потому что он и фамилии путем подписать не может.

— Подпишет он вам «обмокни» — потом и с судом, пожалуй, не разделаетесь,— прибавил он,— ведь Иудушка хоть и очень маменьку уважает, а дело о подлоге все-таки начнет, и ежели по закону мамашеньку в места не столь отдаленные ушлют, так ведь он только молебен в путь шествующим отслужит!

Арина Петровна целое утро ходила как в отупении. Попробовала было встать на молитву — не внушит ли что бог? — но и молитва на ум не шла, даже язык как-то не слушался. Нач-

нет: *Помилуй мя, боже, по велицей милости твоей,* и вдруг сама не знает как, съедет на *от лукавого.* «Очисти»! «очисти»! — машинально лепечет язык, а мысль так и летает: то на антресоли заглянет, то на погреб зайдет («сколько добра по осени было — всё растащили!»), то начнет что-то припоминать — далекое-далекое. Всё сумерки какие-то, и в этих сумерках люди, много людей, и все они копошатся, стараются, припасают. *Блажен муж... блажен муж... яко кадило... научи мя... научи мя...* Но вот и язык мало-помалу смяк, глаза смотрят на образа и не видят; рот раскрыт широко, руки сложены на поясе, и вся она стоит неподвижно, словно застыла.

Наконец она села и заплакала. Слезы так и лились из потухших глаз по старческим засохшим щекам, задерживаясь в углублениях морщин и капая на замасленный ворот старой ситцевой блузы. Это было что-то горькое, полное безнадежности и вместе с тем бессильно-строптивое. И старость, и немощи, и беспомощность положения — все, казалось, призывало ее к смерти, как к единственному примиряющему исходу, но в то же время замешивалось и прошлое с его властностью, довольством и простором, и воспоминания этого прошлого так и впивались в нее, так и притягивали ее к земле. «Умереть бы!» — мелькало в ее голове, а через мгновенье то же слово сменялось другим: «Пожить бы!» Она не вспоминала ни об Иудушке, ни об умирающем сыне — оба они словно перестали существовать для нее. Ни об ком она не думала, ни на кого не негодовала, никого не обвиняла; она даже забыла, есть ли у нее капитал и достаточен ли он, чтоб обеспечить ее старость. Тоска, смертная тоска охватила все ее существо. Тошно! горько! — вот единственное объяснение, которое она могла бы дать своим слезам. Эти слезы пришли издалека; капля по капле копились они с той самой минуты, как она выехала из Головлева и поселилась в Дубровине. Ко всему, что теперь предстояло, она была уж приготовлена, все она ожидала и предвидела, но ей никогда как-то не представлялось с такою ясностью, что этому ожиданному и предвиденному должен наступить конец. И вот теперь этот конец наступил, конец, полный тоски и безнадежного одиночества. Всю-то жизнь она что-то устраивала, над чем-то убивалась, а оказывается, что убивалась над призраком. Всю жизнь слово «семья» не сходило у нее с языка; во имя семьи она одних казнила, других награждала; во имя семьи она подвергала себя лишениям, истязала себя, изуродовала всю свою жизнь — и вдруг выходит, что семьи-то именно у нее и нет!

«Господи! да неужто ж и у всех так!» — вертелось у нее в голове.

Она сидела, опершись головой на руку и обратив обмоченное слезами лицо навстречу поднимающемуся солнцу, как будто говорила ему: видь!! Она не стонала и не кляла, а только потихоньку всхлипывала, словно захлебывалась слезами. И в то же время на душе у ней так и горело:

— Нет никого! нет никого! нет! нет! нет!

Но вот иссякли и слезы. Умывши лицо, она без цели побрела в столовую, но тут девицы осадили ее новыми жалобами, которые на этот раз показались ей как-то особенно назойливыми.

— Что ж это, бабушка, будет! неужто ж мы так без ничего и останемся? — роптала Аннинька.

— Какой этот дядя глупый! — вторила ей Любинька.

Около полудня, Арина Петровна решилась проникнуть к умирающему сыну. Осторожно, чуть ступая, взошла она по лестнице и ощупью отыскала впотьмах двери, ведущие в комнаты. На антресолях царствовали сумерки; окна занавешены были зелеными шторами, сквозь которые чуть-чуть пробивался свет; давно не возобновляемая атмосфера комнат пропиталась противною смесью разнородных запахов, в составлении которой участвовали и ягоды, и пластыри, и лампадное масло, и те особенные миазмы, присутствие которых прямо говорит о болезни и смерти. Комнат было всего две: в первой сидела Улитушка, чистила ягоды и с ожесточением сдувала мух, которые шумным роем вились над ворохами крыжовника и нахально садились ей на нос и на губы. Сквозь полуотворенную дверь из соседней комнаты, не переставая, доносился сухой и короткий кашель, от времени до времени разрешающийся мучительною экспекторацией. Арина Петровна остановилась в нерешительной позе, вглядываясь в сумерки и как бы выжидая, что предпримет Улитушка в виду ее прихода. Но Улитушка даже не шевельнулась, словно была уже слишком уверена, что всякая попытка подействовать на больного останется бесплодною. Только сердитое движение скользнуло по ее губам, и Арине Петровне послышалось произнесенное шепотом слово: черт.

— Ты бы, голубушка, вниз пошла! — обратилась Арина Петровна к Улитушке.

— Это еще что за новости! — огрызнулась последняя.

— Мне с Павлом Владимирычем говорить нужно. Ступай!

— Помилуйте, сударыня! как же я их оставлю? А ежели что вдруг случится — ни подать, ни принять.

— Что там? — раздалось глухо из спальной.

— Прикажи, мой друг, Улите уйти. Мне с тобой переговорить нужно.

На этот раз Арина Петровна действовала настолько настойчиво, что осталась победительницей. Она перекрестилась и вошла в комнату. Около внутренней стены, подальше от окон, стояла постель больного. Он лежал на спине, покрытый белым одеялом, и почти бессознательно дымил папироской. Несмотря на табачный дым, мухи с каким-то ожесточением налетали на него, так что он беспрестанно то той, то другой рукой проводил около лица. Это были руки до такой степени бессильные, лишенные мускулов, что ясно представляли очертания кости, почти одинаково узкой от кисти до плеча. Голова его как-то безнадежно прильнула к подушке, лицо и все тело горели в сухом жару. Большие, круглые глаза ввалились и смотрели беспредметно, как бы чего-то искали; нос вытянулся и заострился, рот был полуоткрыт. Он не кашлял, но дышал с такою силой, что, казалось, вся жизненная энергия сосредоточилась в его груди.

— Ну что? как ты сегодня себя чувствуешь? — спросила Арина Петровна, опускаясь в кресло у его ног.

— Ничего... завтра... то бишь сегодня... когда это лекарь у нас был?

— Сегодня был лекарь.

— Ну, значит, завтра...

Больной заметался, как бы силясь припомнить слово.

— Встать можно будет? — подсказала Арина Петровна,— дай бог, мой друг, дай бог!

Оба замолкли на минуту. Арине Петровне хотелось сказать что-то, но для того, чтоб сказать, нужно было разговаривать. Вот этого-то именно разговора и не могла она никогда найти, когда была с глазу на глаз с Павлом Владимирычем.

— Иудушка... живет? — спросил наконец сам больной.

— Что ему делается! живет да поживает.

— Чай, думает: вот братец Павел умрет — и еще, по милости божией, именьице мне достанется!

— И все когда-нибудь умрем, и после всех именья пойдут... законным наследникам...

— Только не кровопивцу. Собакам выброшу, а не ему!

Случай выходил отличный: сам Павел Владимирыч заговаривал. Арина Петровна не преминула воспользоваться этим.

— Надо бы подумать об этом, мой друг! — сказала она словно мимоходом, не глядя на сына и рассматривая на свет руки, точно они составляли в эту минуту главный предмет ее внимания.

— Об чем, «об этом»?

— А вот хоть бы насчет того, если ты не желаешь, чтоб брату именье твое осталось...

Больной молчал. Только глаза его неестественно расширились, и лицо все больше и больше рдело.

— Можно бы, друг мой, и то в соображение взять, что у тебя племянницы-сироты есть — какой у них капитал? Ну и мать тоже...— продолжала Арина Петровна.

— Все Иудушке спустить успели?

— Как бы то ни было... знаю, что сама виновата... Да ведь и не бог знает, какой грех... Думала тоже, что сын... Да и тебе бы можно не попомнить этого матери.

Молчание.

— Что же! скажи хоть что-нибудь!

— А вы как скоро сбираетесь меня хоронить?

— Не хоронить, а все-таки... И прочие христиане... Не все сейчас умирают, а вообще...

— То-то «вообще»! Вы всегда «вообще»! Думаете, что я и не вижу!

— Что же ты видишь, мой друг?

— А то и вижу, что вы меня за дурака считаете! Ну, и положим, что я дурак, и пусть буду дурак! зачем же приходите к дураку? и не приходите! и не беспокойтесь!

— Я и не беспокоюсь; я только вообще... что всякому человеку предел жизни положен...

— Ну, и ждите!

Арина Петровна понурила голову и раздумывала. Она очень хорошо видела, что дело ее стоит плохо, но безнадежность будущего до того терзала ее, что даже очевидность не могла убедить в бесплодности дальнейших попыток.

— Не знаю, за что ты меня ненавидишь! — произнесла она наконец.

— Нисколько... я вас... нисколько! Я даже очень... Помилуйте! вы нас так вели... всех ровно...

Он говорил это порывисто, захлебываясь; в звуках голоса слышался какой-то надорванный и в то же время торжествующий хохот; в глазах показались искры; плечи и ноги беспокойно вздрагивали.

— Может, я и в самом деле чем-нибудь провинилась, так уж прости, Христа ради!

Арина Петровна встала и поклонилась, коснувшись рукой до земли. Павел Владимирыч закрыл глаза и не отвечал.

— Положим, что насчет недвижимости... Это точно, что в теперешнем твоем положении нечего и думать, чтобы распоряжения делать... Порфирий — законный наследник, ну пускай ему недвижимость и достается... А движимость, а капитал как? — решилась прямо объясниться Арина Петровна.

Павел Владимирыч вздрогнул, но молчал. Очень возможно, что при слове «капитал» он совсем не об инсинуациях Арины Петровны помышлял, а просто ему подумалось: вот и сентябрь на дворе, проценты получать надобно... шестьдесят семь тысяч шестьсот на пять помножить да на два потом разделить — сколько это будет?

— Ты, может быть, думаешь, что я смерти твоей желаю, так разуверься, мой друг! Ты только живи, а мне, старухе, и горюшка мало! Что мне! мне и тепленько, и сытенько у тебя, и даже ежели из сладенького чего-нибудь захочется — все у меня есть! Я только насчет того говорю, что у христиан обычай такой есть, чтобы в ожидании предбудущей жизни...

Арина Петровна остановилась, словно искала подходящего слова.

— Присных своих обеспечивать,— докончила она, смотря в окно.

Павел Владимирыч лежал неподвижно и потихоньку откашливался, ни одним движением не выказывая, слушает он или нет. По-видимому, причитания матери надоели ему.

— Капитал-то можно бы при жизни из рук в руки передать,— молвила Арина Петровна, как бы вскользь бросая предположение и вновь принимаясь рассматривать на свет свои руки.

Больной чуть-чуть дрогнул, но Арина Петровна не заметила этого и продолжала:

— Капитал, мой друг, и по закону к перемещению допускается. Потому это вещь наживная: вчера он был, сегодня — нет его. И никто в нем отчета не может спрашивать — кому хочу, тому и отдаю.

Павел Владимирыч вдруг как-то зло засмеялся.

— Палочкина историю, должно быть, вспомнили! — зашипел он,— тот тоже *из рук в руки* жене капитал отдал, а она с любовником убежала!

— У меня, мой друг, любовников нет!

— Так без любовника убежите... с капиталом!

— Как ты, однако, меня понимаешь!

— Никак я вас не понимаю... Вы на весь свет меня дураком прославили — ну, и дурак я! И пусть буду дурак! Смотрите, какие штуки-фигуры придумали — капитал им из рук в руки передай! А сам что? — в монастырь, что ли, прикажете мне спасаться идти да оттуда глядеть, как вы моим капиталом распоряжаться будете?

Он выговорил все это залпом, злобствуя и волнуясь, и затем совсем изнемог. В продолжение, по крайней мере, четверти часа после того он кашлял во всю мочь, так что было даже уди-

вительно, что этот жалкий человеческий остов еще заключает в себе столько силы. Наконец он отдышался и закрыл глаза.

Арина Петровна потерянно оглядывалась кругом. До сих пор ей все как-то не верилось, теперь она окончательно убедилась, что всякая новая попытка убедить умирающего может только приблизить день торжества Иудушки. Иудушка так и мелькал перед ее глазами. Вот он идет за гробом, вот отдает брату последнее Иудино лобзание, и две паскудные слезинки вытекли из его глаз. Вот и гроб опустили в землю; «прррощай, брат!» — восклицает Иудушка, подергивая губами, закатывая глаза и стараясь придать своему голосу ноту горести, и вслед за тем обращается вполоборота к Улитушке и говорит: кутью-то, кутью-то не забудьте в дом взять! да на чистенькую скатертцу поставьте... братца опять в доме помянуть! Вот кончился и поминальный обед, во время которого Иудушка без устали говорит с батюшкой об добродетелях покойного и встречает со стороны батюшки полное подтверждение этих похвал. «Ах, брат! брат! не захотел ты с нами пожить!» — восклицает он, выходя из-за стола и протягивая руку ладонью вверх под благословение батюшки. Вот наконец все, слава богу, наелись и даже выспались после обеда; Иудушка расхаживает хозяином по комнатам дома, принимает вещи, заносит в опись и по временам подозрительно взглядывает на мать, ежели в чем-нибудь встречает сомнение.

Все эти неизбежные сцены будущего так и метались перед глазами Арины Петровны. И как живой звенел в ее ушах маслянисто-пронзительный голос Иудушки, обращенный к ней:

— А помните, маменька, у брата золотенькие запоночки были... хорошенькие такие, еще он их по праздникам надевал... и куда только эти запоночки девались — ума приложить не могу!

Не успела Арина Петровна сойти вниз, как на бугре у дубровинской церкви показалась коляска, запряженная четверней. В коляске, на почетном месте, восседал Порфирий Головлев без шапки и крестился на церковь; против него сидели два его сына: Петенька и Володенька. У Арины Петровны так и захолонуло сердце: «Почуяла Лиса Патрикевна, что мертвечиной пахнет!» — подумалось ей; девицы тоже струсили и как-то беспомощно жались к бабушке. В доме, до сих пор тихом, вдруг поднялась тревога: захлопали двери, забегали люди, раздались крики: барин едет! барин едет! — и все население усадьбы разом высыпало на крыльцо. Одни крестились, другие

просто стояли в выжидательном положении, но все, очевидно, сознавали, что то, что до сих пор происходило в Дубровине, было лишь временное, что только теперь наступает настоящее, заправское, с заправским хозяином во главе. Многим из старых, заслуженных дворовых выдавалась при «прежнем» барине месячина; многие держали коров на барском сене, имели огороды и вообще жили «свободно»; всех, естественно, интересовал вопрос, оставит ли «новый» барин старые порядки или заменит их новыми, головлевскими.

Иудушка между тем подъехал и по сделанной ему встрече уже заключил, что в Дубровине дело идет к концу. Не торопясь вышел он из коляски, замахал руками на дворовых, бросившихся барину к ручке, потом сложил обе руки ладонями внутрь и начал медленно взбираться по лестнице, шепотом произнося молитву. Лицо его в одно и то же время выражало и скорбь, и твердую покорность. Как человек, он скорбел; как христианин — роптать не осмеливался. Он молился «о ниспослании», но больше всего уповал и покорялся воле провидения. Сыновья, в паре, шли сзади его. Володенька передразнивал отца, то есть складывал руки, закатывал глаза и шевелил губами; Петенька наслаждался представлением, которое давал брат. За ними, безмолвной гурьбой, следовал кортеж дворовых.

Иудушка поцеловал маменьку в ручку, потом в губы, потом опять в ручку; потом потрепал милого друга за талию и, грустно покачав головою, произнес:

— А вы всё унываете! Нехорошо это, друг мой! ах, как нехорошо! А вы бы спросили себя: что, мол, бог на это скажет? — Скажет: вот я в премудрости своей все к лучшему устрояю, а она ропщет! Ах, маменька! маменька!

Потом перецеловал обеих племянниц и с тою же пленительною родственностью в голосе сказал:

— И вы, стрекозы, туда же в слезы! чтоб у меня этого не было! Извольте сейчас улыбаться — и дело с концом!

И он затопал на них ногами или, лучше сказать, делал вид, что топает, но, в сущности, только благосклонно шутил.

— Посмотрите на меня! — продолжал он,— как брат — я скорблю! Не раз, может быть, и всплакнул... Жаль брата, очень, даже до слез жаль... Всплакнешь, да и опомнишься: а бог-то на что! Неужто бог хуже нашего знает, как и что? Поразмыслишь эдак — и ободришься. Так-то и всем поступать надо! И вам, маменька, и вам, племяннушки, и вам... всем! — обратился он к прислуге.— Посмотрите на меня, каким я молодцом хожу!

И он с тою же пленительностью представил из себя «молодца», то есть выпрямился, отставил одну ногу, выпятил

грудь и откинул назад голову. Все улыбнулись, но кисло как-то, словно всякий говорил себе: ну, пошел теперь паук паутину ткать!

Окончив представление в зале, Иудушка перешел в гостиную и вновь поцеловал у маменьки ручку.

— Так так-то, милый друг маменька! — сказал он, усаживаясь на диване,— вот и брат Павел...

— Да, и Павел...— потихоньку отозвалась Арина Петровна.

— Да, да, да... раненько бы! раненько! Ведь я, маменька, хоть и бодрюсь, а в душе тоже... очень-очень об брате скорблю! Не любил меня брат, крепко не любил,— может, за это бог и посылает ему!

— В этакую минуту можно бы и забыть про это! Старые-то дрязги оставить надо...

— Я, маменька, давно позабыл! Я только к слову говорю: не любил меня брат, а за что — не знаю! Уж я ли, кажется... и так и сяк, и прямо и стороной, и «голубчик» и «братец» — пятится от меня, да и шабаш! Ан бог-то взял да невидимо к своему пределу и приурочил!

— Говорю тебе: нечего поминать об этом! Человек на ладан уж дышит!

— Да, маменька, великая это тайна — смерть! Не вéсте ни дня ни часа — вот это какая тайна! Вот он все планы планировал, думал, уж так высоко, так высоко стоит, что и рукой до него не достанешь, а бог-то разом, в одно мгновение, все его мечтания опроверг. Теперь бы он, может, и рад грешки свои поприкрыть — ан они уж в книге живота записаны значатся. А из этой, маменька, книги, что там записано, не скоро выскоблишь!

— Чай, раскаянье-то приемлется!

— Желаю! от души брату желаю! Не любил он меня, а я — желаю! Я всем добра желаю! и ненавидящим и обидяшим — всем! Несправедлив он был ко мне — вот бог болезнь ему послал, не я, а бог! А много он, маменька, страдает?

— Так себе... Ничего. Доктор был, даже надежду подал,— солгала Арина Петровна.

— Ну, вот как хорошо! Ничего, мой друг! не огорчайтесь! может быть, и отдышится! Мы-то здесь об нем сокрушаемся да на создателя ропщем, а он, может быть, сидит себе тихохонько на постельке да бога за исцеленье благодарит!

Эта мысль до того понравилась Иудушке, что он даже полегоньку хихикнул.

— А ведь я к вам, маменька, погостить приехал,— продолжал он, словно делая маменьке приятный сюрприз,— нельзя, голубушка... по-родственному! Не ровен случай — все же, как

брат... и утешить, и посоветовать, и распорядиться... ведь вы позволите?

— Какие я позволения могу давать! сама здесь гостья!

— Ну, так вот что, голубушка. Так как сегодня у нас пятница, так уж вы прикажете, если ваша такая милость будет, мне постненького к обеду изготовить. Рыбки там, что ли, солененькой, грибков, капустки — мне ведь немного нужно! А я между тем по-родственному... на антресоли к брату поплетусь — может быть, и успею. Не для тела, так для души что-нибудь полезное сделаю. А в его положении душа-то, пожалуй, поважнее. Тело то мы, маменька, микстурками да припарочками подправить можем, а для души лекарства поосновательнее нужны.

Арина Петровна не возражала. Мысль о непредотвратимости «конца» до такой степени охватила все ее существо, что она в каком-то оцепенении присматривалась и прислушивалась ко всему, что происходило кругом нее. Она видела, как Иудушка, покрякивая, встал с дивана, как он сгорбился, зашаркал ногами (он любил иногда притвориться немощным: ему казалось, что так почтеннее); она понимала, что внезапное появление кровопивца на антресолях должно глубоко взволновать больного и, может быть, даже ускорить развязку; но после волнений этого дня на нее напала такая усталость, что она чувствовала себя точно во сне.

Покуда это происходило, Павел Владимирыч находился в неописанной тревоге. Он лежал на антресолях совсем один и в то же время слышал, что в доме происходит какое-то необычное движение. Всякое хлопанье дверьми, всякий шаг в коридоре отзывались чем-то таинственным. Некоторое время он звал и кричал во всю мочь, но, убедившись, что крики бесполезны, собрал все силы, приподнялся на постели и начал прислушиваться. После общей беготни, после громкого говора голосов вдруг наступила мертвая тишина. Что-то неизвестное, страшное обступило его со всех сторон. Дневной свет сквозь опущенные гардины лился скупо, и так как в углу, перед образом, теплилась лампадка, то сумерки, наполнявшие комнату, казались еще темнее и гуще. В этот таинственный угол он и уставился глазами, точно в первый раз его поразило нечто в этой глубине. Образ в золоченом окладе, в который непосредственно ударяли лучи лампадки, с какою-то изумительной яркостью, словно что-то живое, выступал из тьмы; на потолке колебался светящийся кружок, то вспыхивая, то бледнея, по мере того как усиливалось или слабело пламя лампадки. Внизу господствовал полусвет, на общем фоне которого дрожали тени. На той же стене, около освещенного угла, висел

халат, на котором тоже колебались полосы света и тени, вследствие чего казалось, что он движется. Павел Владимирыч всматривался-всматривался, и ему почудилось, что там, в этом углу, все вдруг задвигалось. Одиночество, беспомощность, мертвая тишина — и посреди этого тени, целый рой теней. Ему казалось, что эти тени идут, идут, идут... В неописанном ужасе, раскрыв глаза и рот, он глядел в таинственный угол и не кричал, а стонал. Стонал глухо, порывисто, точно лаял. Он не слыхал ни скрипа лестницы, ни осторожного шарканья шагов в первой комнате — как вдруг у его постели выросла ненавистная фигура Иудушки. Ему помещерилось, что он вышел оттуда, из этой тьмы, которая сейчас в его глазах так таинственно шевелилась; что там есть и еще, и еще... тени, тени, тени без конца! Идут, идут...

— Зачем? откуда? кто пустил? — инстинктивно крикнул он, бессильно опускаясь на подушку.

Иудушка стоял у постели, всматривался в больного и скорбно покачивал головой.

— Больно? — спросил он, сообщая своему голосу ту степень елейности, какая только была в его средствах.

Павел Владимирыч молчал и бессмысленными глазами уставился в него, словно усиливался понять. А Иудушка тем временем приблизился к образу, встал на колени, умилился, сотворил три земных поклона, встал и вновь очутился у постели.

— Ну, брат, вставай! Бог милости прислал! — сказал он, садясь в кресло, таким радостным тоном, словно и в самом деле «милость» у него в кармане была.

Павел Владимирыч наконец понял, что перед ним не тень, а сам кровопивец во плоти. Он как-то вдруг съежился, как будто знобить его начало. Глаза Иудушки смотрели светло, по-родственному, но больной очень хорошо видел, что в этих глазах скрывается «петля», которая вот-вот сейчас выскочит и захлестнет ему горло.

— Ах, брат, брат! какая ты бяка сделался! — продолжал подшучивать по-родственному Иудушка.— А ты возьми да и прибодрись! Встань да и побеги! Труском-труском — пусть-ка, мол, маменька полюбуется, какими мы молодцами стали! Фу-ты! ну-ты!

— Иди, кровопивец, вон! — отчаянно крикнул больной.

— А-а-ах! брат, брат! Я к тебе с лаской да с утешением, а ты... какое ты слово сказал! А-а-ах, грех какой! И как это язык у тебя, дружок, повернулся, чтоб этакое слово родному брату сказать! Стыдно, голубчик, даже очень стыдно! Постой-ка, я лучше подушечку тебе поправлю!

Иудушка встал и ткнул в подушку пальцем.

— Вот так! — продолжал он,— вот теперь славно! Лежи себе хорошохонько — хоть до завтрева поправлять не нужно'

— Уйди... ты!

— Ах, как болезнь-то, однако, тебя испортила! Даже характер в тебе — и тот какой-то строптивый стал! Уйди да уйди — ну как я уйду! Вот тебе испить захочется — я водички подам: вон лампадка не в исправности — я и лампадочку поправлю, маслица деревянненького подолью. Ты полежишь, я посижу; тихо да смирно — и не увидим, как время пройдет!

— Уйди, кровопивец!

— Вот ты меня бранишь, а я за тебя богу помолюсь. Я ведь знаю, что ты это не от себя, а болезнь в тебе говорит. Я, брат, привык прощать — я всем прощаю. Вот и сегодня — еду к тебе, встретился по дороге мужичок и что-то сказал. Ну и что ж! и Христос с ним! он же свой язык осквернил! А я... да не только я не рассердился, а даже перекрестил его — право!

— Ограбил... мужика?..

— Кто? я-то! Нет, мой друг, я не граблю; это разбойники по большим дорогам грабят, а я по закону действую. Лошадь его в своем лугу поймал — ну и ступай, голубчик, к мировому! Коли скажет мировой, что травить чужие луга дозволяется,— и бог с ним! А скажет, что травить не дозволяется,— нечего делать! штраф пожалуйте! По закону я, голубчик, по закону!

— Иуда! предатель! мать по миру пустил!

— И опять-таки скажу: хочешь сердись, хочешь не сердись, а не дело ты говоришь! И если б я не был христианин, я бы тоже... попретендовать за это на тебя мог!

— Пустил, пустил, пустил... мать по миру!

— Ну, перестань же, перестань! Вот я богу помолюсь: может быть, ты и попокойнее будешь...

Как ни сдерживал себя Иудушка, но ругательства умирающего до того его проняли, что даже губы у него искривились и побелели. Тем не менее лицемерие было до такой степени потребностью его натуры, что он никак не мог прервать раз начатую комедию. С последними словами он действительно встал на колени и с четверть часа воздевал руки и шептал. Исполнивши это, он возвратился к постели умирающего с лицом успокоенным, почти ясным.

— А ведь я, брат, об деле с тобой поговорить приехал,— сказал он, усаживаясь в кресло,— ты меня вот бранишь, а я об душе твоей думаю. Скажи, пожалуйста, когда ты в последний раз утешение принял?

— Господи! да что ж это... уведите его! Улитка! Агашка! кто тут есть? — стонал больной.

— Ну, ну, ну! успокойся, голубчик! знаю, что ты об этом

говорить не любишь! Да, брат, всегда ты дурным христианином был и теперь таким же остаешься. А не худо бы, ах, как бы не худо в такую минуту об душе-то подумать! Ведь душа-то наша... ах, как с ней осторожно обращаться нужно, мой друг! Церковь-то что нам предписывает? Приносите, говорит, моления, благодарения... А еще: христианския кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны — вот что, мой друг! Послать бы тебе теперь за батюшкой, да искренно, с раскаяньем... Ну-ну! не буду! не буду! А право бы, так...

Павел Владимирыч лежал весь багровый и чуть не задыхался. Если б он мог в эту минуту разбить себе голову, он несомненно сделал бы это.

— Вот и насчет имения — может быть, ты уж и распорядился? — продолжал Иудушка.— Хорошенькое, очень хорошенькое именьице у тебя — нечего сказать. Земля даже лучше, чем в Головлеве: с песочком суглиночек-то! Ну, и капитал у тебя... я ведь, брат, ничего не знаю. Знаю только, что ты крестьян на выкуп отдал, а что и как — никогда я этим не интересовался. Вот и сегодня; еду к тебе и говорю про себя: должно быть, у брата Павла капитал есть! а впрочем, думаю, если и есть у него капитал, так уж, наверное, он насчет его распоряжение сделал!

Больной отвернулся и тяжело вздыхал.

— Не сделал? — ну, и тем лучше, мой друг! По закону — оно даже справедливее. Ведь не чужим, а своим же присным достанется. Я вот на что́ уж хил — одной ногой в могиле стою! а все-таки думаю: зачем же мне распоряжение делать, коль скоро закон за меня распорядиться может. И ведь как это хорошо, голубчик! Ни свары, ни зависти, ни кляуз... закон!

Это было ужасно. Павлу Владимирычу почудилось, что он заживо уложен в гроб, что он лежит словно скованный, в летаргическом сне, не может ни одним членом пошевельнуть и выслушивает, как кровопивец ругается над телом его.

— Уйди... ради Христа... уйди! — начал он наконец молить своего мучителя.

— Ну-ну-ну! успокойся! уйду! Знаю, что ты меня не любишь... стыдно, мой друг, очень стыдно родного брата не любить! Вот я так тебя люблю! И детям всегда говорю: хоть брат Павел и виноват передо мной, а я его все-таки люблю! Так ты, значит, не делал распоряжений — и прекрасно, мой друг! Бывает, впрочем, иногда, что и при жизни капитал растащат, особенно кто без родных, один... ну да уж я поприсмотрю... А? что? надоел я тебе? Ну, ну, так и быть, уйду! Дай только богу помолюсь!

Он встал, сложил ладони и наскоро пошептал:

— Прощай, друг! не беспокойся! Почивай себе хорошохонько — может, и даст бог! А мы с маменькой потолкуем да поговорим — может быть, что и попридумаем! Я, брат, постненького себе к обеду изготовить просил... рыбки солененькой, да грибков, да капустки — так ты уж меня извини! Что? или опять надоел? Ах, брат, брат!.. ну-ну, уйду, уйду! Главное, мой друг, не тревожься, не волнуй себя — спи себе да почивай! Хрр... хрр...— шутливо поддразнил он в заключение, решаясь наконец уйти.

— Кровопивец! — раздалось ему вслед таким пронзительным криком, что даже он почувствовал, что его словно обожгло.

Покуда Порфирий Владимирыч растабарывает на антресолях, внизу бабушка Арина Петровна собрала вокруг себя молодежь (не без цели что-нибудь выведать) и беседует с нею.

— Ну, ты как? — обращается она к старшему внучку, Петеньке.

— Ничего, бабушка, вот на будущий год в офицеры выйду.

— Выйдешь ли? который уж ты год обещаешь! Экзамены, что ли, у вас трудные — бог тебя знает!

— Он, бабушка, на последних экзаменах из «Начатков» срезался. Батюшка спрашивает: что есть бог? а он: бог есть дух... и есть дух... и святому духу...

— Ах, бедный ты, бедный! как же это ты так? Вот они, сироты — и то, чай, знают!

— Еще бы! бог есть дух, невидимый...— спешит блеснуть своими познаниями Аннинька.

— Его же никто же не виде нигде же,— перебивает Любинька.

— Всеведущий, всеблагий, всемогущий, вездесущий,— продолжает Аннинька.

— Камо пойду от духа твоего и от лица твоего камо бежу? аще взыду на небо — тамо еси, аще сниду во ад — тамо еси...

— Вот и ты бы так отвечал,— с эполетами теперь был бы. А ты, Володя, что с собой думаешь?

Володя багровеет и молчит.

— Тоже, видно: «и святому духу»! Ах, детки, детки! На вид какие вы шустрые, а никак науку преодолеть не можете. И добро бы отец у вас баловник был... что, как он теперь с вами?

— Все то же, бабушка.

— Колотит? А я ведь слышала, что он перестал драться-то?

— Меньше, а все-таки... А главное, надоедает уж очень.

— Этого я что-то уж и не понимаю. Как это отец надоедать может?

— Очень, бабушка, надоедает. Ни уйти без спросу нельзя, ни взять что-нибудь... совсем подлость!

— А вы бы спрашивались! язык-то, чай, не отвалится!

— Нет уж. С ним только заговори, он потом и не отвяжется. Постой да погоди, потихоньку да полегоньку... уж очень, бабушка, скучно он разговаривает!

— Он, бабушка, за нами у дверей подслушивает. Только на днях его Петенька и накрыл...

— Ах вы, проказники! Что ж он?

— Ничего. Я ему говорю: это не дело, папенька, у дверей подслушивать; пожалуй, недолго и нос вам расквасить! А он: ну-ну! ничего, ничего! я, брат, яко тать в нощи!

— Он, бабушка, на днях яблоко в саду поднял да к себе в шкапик и положил, а я взял да и съел. Так он потом искал его, искал, всех людей к допросу требовал...

— Что это! скуп, что ли, он очень сделался?

— Нет, и не скуп, а так как-то... пустяками все занимается. Бумажки прячет, паданцев ищет...

— Он всякое утро проскомидию у себя в кабинете служит, а потом нам по кусочку просвиры дает... черствой-пречерствой! Только мы однажды с ним штуку сделали: подсмотрели, где у него просвиры лежат, надрезали в просвире дно, вынули мякиш да чухонского масла и положили!..

— Однако ж, вы тоже... головорезы!

— Нет, вы представьте на другой день его удивленье! Просвира, да еще с маслом!

— Чай, на порядках досталось вам!

— Ничего... Только целый день плевался и все словно про себя говорил: шельмы! Ну, мы, разумеется, на свой счет не приняли. А ведь он, бабушка, вас боится!

— Чего меня бояться... не пугало, чай!

— Боится — это верно; думает, что вы проклянете его. Он этих проклятиев — страх как трусит!

Арина Петровна задумывается. Сначала ей приходит на мысль: а что, ежели и в самом деле... прокляну? Так-таки возьму да и прокляну... прроклиннаю!! Потом на смену этой мысли поступает другой, более насущный вопрос: что-то Иудушка? какие-то проделки он там, наверху, проделывает? так, чай, и извивается! Наконец ее осеняет счастливая мысль.

— Володя! — говорит она,— ты, голубчик, легонький! сходил бы потихоньку да подслушал бы, что у них *там*?

— С удовольствием, бабушка.

Володенька на цыпочках направляется к дверям и исчезает в них.

— Как это вы к нам сегодня надумали? — начинает Арина Петровна допрашивать Петеньку.

— Мы, бабушка, давно собирались, а сегодня Улитушка прислала с нарочным сказать, что доктор был и что не нынче, так завтра дядя непременно умереть должен.

— Ну, а насчет наследства.... был у вас разговор?

— Мы, бабушка, целый день всё об наследствах говорим. Он все рассказывает, как прежде, еще до дедушки было... даже Горюшкино, бабушка, помнит. Вот, говорит, кабы у тетеньки Варвары Михайловны детей не было — нам бы Горюшкино-то принадлежало! И дети-то, говорит, бог знает от кого — ну, да не нам других судить! У ближнего сучок в глазу видим, а у себя и бревна не замечаем... так-то, брат!

— Ишь ведь какой! Замужем, чай, тетенька-то была; коли что и было — все муж прикрыл!

— Право, бабушка. И всякий раз, как мы мимо Горюшкина едем, всякий-то раз он эту историю поднимает! И бабушка Наталья Владимировна, говорит, из Горюшкина взята была — по всем бы правам ему в головлевском роде быть должно; ан папенька, покойник, за сестрою в приданое отдал! А дыни, говорит, какие в Горюшкине росли! По двадцати фунтов весу — вот какие дыни!

— Уж в двадцать фунтов! чтой-то я об таких не слыхивала! Ну, а насчет Дубровина какие его предположения?

— Тоже в этом роде. Арбузы да дыни... пустяки всё! В последнее время, впрочем, все спрашивал: а как вы, детки, думаете, велик у брата Павла капитал? Он, бабушка, уж давно все вычислил: и выкупной ссуды сколько, и когда имение в опекунский совет заложено, и сколько долгу уплачено... Мы и бумажку видели, на которой он вычисления делал, только мы ее, бабушка, унесли... Мы его, бабушка, этой бумажкой чуть с ума не свели! Он ее в стол положит, а мы возьмем да в шкап переложим; он в шкапу на ключ запрет, а мы подберем ключ да в просвиры засунем... Раз он в баню мыться пошел,— смотрит, а на полке бумажка лежит!

— Веселье у вас там!

Возвращается Володенька; все глаза устремляются на него.

— Ничего не слыхать,— сообщает он шепотом,— только и слышно, что отец говорит: безболезненны, непостыдны, мирны, а дядя ему: уйди, кровопивец!

— А насчет «распоряжения»... не слыхал?

— Кажется, было что-то, да не разобрал... Очень уж, бабушка, плотно отец дверь захлопнул. Жужжит — и только.

А потом дядя вдруг как крикнет: «у-уй-дди!» Ну, я поскорей-поскорей, да и сюда!

— Хоть бы сиротам...— тоскует в раздумье Арина Петровна.

— Уж если отцу достанется, он, бабушка, никому ничего не даст,— удостоверяет Петенька,— я даже так думаю, что он и нас-то наследства лишит.

— Не в могилу же с собой унесет?

— Нет, а какое-нибудь средство выдумает. Он намеднись недаром с попом поговаривал: а что, говорит, батюшка, если бы вавилонскую башню выстроить — много на это денег потребуется?

— Ну, это он так... может, из любопытства...

— Нет, бабушка, проект у него какой-то есть. Не на вавилонскую башню, так в Афон пожертвует, а уж нам не даст!

— А большое, бабушка, у отца имение будет, когда дядя умрет? — любопытствует Володенька.

— Ну, это еще богу известно, кто прежде кого умрет.

— Нет, бабушка, отец наверно рассчитывает. Давеча, только мы до дубровинской ямы доехали, он даже картуз снял, перекрестился: слава богу, говорит, опять по своей земле поедем!

— Он, бабушка, все уж распределил. Лесок увидал: вот, говорит, кабы на хозяина — ах, хорош бы был лесок! Потом на покосец посмотрел: ай да покосец! смотри-ка, смотри-ка, стогов-то что наставлено! тут прежде конный заводец был.

— Да, да... и лесок и покосец — все ваше, голубчики, будет! — вздыхает Арина Петровна,— батюшки! да, никак, на лестнице-то скрипнуло!

— Тише, бабушка, тише! Это он... яко тать в нощи... у дверей подслушивает.

Наступает молчание; но тревога оказывается ложною. Арина Петровна вздыхает и шепчет про себя: ах, детки, детки! Молодые люди в упор глядят на сироток, словно пожрать их хотят; сиротки молчат и завидуют.

— А вы, кузина, мамзель Лотар видели? — заговаривает Петенька.

Аннинька и Любинька взглядывают друг на друга, точно спрашивают, из истории это или из географии.

— В «Прекрасной Елене»... она на театре Елену играет.

— Ах да... Елена... это Парис? «Будучи прекрасен и молод, он разжег сердца богинь»... Знаем! знаем! — обрадовалась Любинька.

— Это, это самое и есть. А как она: cas-ca-ader, ca-as-ca-der выделывает... прелесть!

— У нас давеча доктор все «кувырком» пел.

— «Кувырком» — это покойная Лядова... вот, кузина, прелесть-то была! Когда умерла, так тысячи две человек за гробом шли... думали, что революция будет!

— Да ты об театрах, что ли, болтаешь? — вмешивается Арина Петровна,— так им, мой друг, не по театрам ездить, а в монастырь...

— Вы, бабушка, все нас в монастыре похоронить хотите! — жалуется Аннинька.

— А вы, кузина, вместо монастыря-то, в Петербург укатите! Мы вам там все покажем!

— У них, мой друг, не удовольствия на уме должны быть, а божественное,— продолжает наставительно Арина Петровна.

— Мы их, бабушка, в Сергиеву пустынь на лихаче прокатим,— вот и божественное будет!

У сироток даже глазки разгорелись и кончики носиков покраснели при этих словах.

— А как, говорят, поют у Сергия! — восклицает Аннинька.

— Сем уж, кузина, возьмите. *Трисвятую песнь припевающе* — даже отец так не споет. А потом мы бы вас по всем трем Подьяческим покатали.

— Мы бы вас, кузина, всему-всему научили! В Петербурге ведь таких, как вы, барышень очень много: ходят да каблучками постукивают.

— Разве что этому научите! — вступается Арина Петровна,— уж оставьте вы их, Христа ради... учители! Тоже учить собрались... наукам, должно быть! Вот я с ними, как Павел умрет, в Хотьков уеду... и так-то мы там заживем!

— А вы всё сквернословите! — вдруг раздалось в дверях.

Посреди разговора, никто и не слыхал, как подкрался Иудушка, яко тать в нощи. Он весь в слезах, голова поникла, лицо бледно, руки сложены на груди, губы шепчут. Некоторое время он ищет глазами образа, наконец находит и с минуту возносит свой дух.

— Плох! ах, как плох! — наконец восклицает он, обнимая милого друга маменьку.

— Неужто уж так?

— Очень-очень дурен, голубушка... а помните, каким он прежде молодцом был!

— Ну, когда же молодцом... что-то я этого не помню!

— Ах нет, маменька, не говорите! Всегда он... я как сейчас помню, как он из корпуса вышел: стройный такой, широкоплечий, кровь с молоком... Да, да! Так-то, мой друг маменька! Все мы под богом ходим! сегодня и здоровы, и силь-

ны, и пожить бы, и пожуировать бы, и сладенького скушать, а завтра...

Он махнул рукой и умилился.

— Поговорил ли он, по крайней мере?

— Мало, голубушка; только и молвил: прощай, брат! А ведь он, маменька, чувствует! чувствует, что ему плохо приходится!

— Будешь, батюшка, чувствовать, как грудь-то ходуном ходит!

— Нет, маменька, я не об том. Я об прозорливости; прозорливость, говорят, человеку дана; который человек умирает — всегда тот заранее чувствует. Вот грешникам — тем в этом утешенье отказано.

— Ну-ну! об «распоряжении» не говорил ли чего?

— Нет, маменька. Хотел он что-то сказать, да я остановил. Нет, говорю, нечего об распоряжениях разговаривать! Что ты мне, брат, по милости своей, оставишь, я всем буду доволен, а ежели и ничего не оставишь — и даром за упокой помяну! А как ему, маменька, пожить-то хочется! так хочется! так хочется!

— И всякому пожить хочется!

— Нет, маменька, вот я об себе скажу. Ежели господу богу угодно призвать меня к себе — хоть сейчас готов!

— Хорошо, как к богу, а ежели к сатане угодишь?

В таком духе разговор длится и до обеда, и во время обеда, и после обеда. Арине Петровне даже на стуле не сидится от нетерпения. По мере того, как Иудушка растабарывает, ей все чаще и чаще приходит на мысль: а что, ежели... прокляну? Но Иудушка даже и не подозревает того, что в душе матери происходит целая буря; он смотрит так ясно и продолжает себе потихоньку да полегоньку притеснять милого друга маменьку своей безнадежною канителью.

«Прокляну! прокляну! прокляну!» — все решительнее да решительнее повторяет про себя Арина Петровна.

В комнатах пахнет ладаном, по дому раздается протяжное пение, двери отворены настежь, желающие поклониться покойному приходят и уходят. При жизни никто не обращал внимания на Павла Владимирыча, со смертью его — всем сделалось жалко. Припоминали, что он «никого не обидел», «никому грубого слова не сказал», «ни на кого не взглянул косо». Все эти качества, казавшиеся прежде отрицательными, теперь представлялись чем-то положительным, и из неясных обрывков

обычного похоронного празднословия вырисовывался тип «доброго барина». Многие в чем-то раскаивались, сознавались, что по временам пользовались простотою покойного в ущерб ему,— да ведь кто же знал, что этой простоте так скоро конец настанет? Жила-жила простота, думали, что ей и веку не будет, а она вдруг... А была бы жива простота,— и теперь бы ее накаливали: накаливай, робята! что дуракам в зубы смотреть! Один мужичок принес Иудушке три целковых и сказал:

— Должок за мной покойному Павлу Владимирычу был. Записок промежду нас не было — так вот!

Иудушка взял деньги, похвалил мужичка и сказал, что он эти три целковых на маслице для «неугасимой» отдаст.

— И ты, дружок, будешь видеть, и все будут видеть, а душа покойного радоваться будет. Может, он что-нибудь и вымолит *там* для тебя! Ты и не ждешь — ан вдруг тебе бог счастье пошлет!

Очень возможно, что в мирской оценке качеств покойного неясно участвовало и сравнение. Иудушку не любили. Не то чтобы его нельзя было обойти, а очень уж он пустяки любил, надоедал да приставал. Даже земельные участки немногие решались у него кортомить, потому что он сдаст участок, да за каждый лишний запаханный или закошенный вершок, за каждую пропущенную минуту в уплате денег сейчас начнет съемщика по судам таскать. Многих он так-то затаскал и сам ничего не выиграл (его привычку кляузничать так везде знали, что, почти не разбирая дел, отказывали в его претензиях), и народ волокитами да прогулами разорил. «Не купи двора, а купи соседа», говорит пословица, а у всех на знати, каков сосед головлевский барин. Нужды нет, что мировой тебя оправит, он тебя своим судом, сатанинским, изведет. И так как злость (даже не злость, а скорее нравственное окостенение), прикрытая лицемерием, всегда наводит какой-то суеверный страх, то новые «соседи» (Иудушка очень приветливо называет их «соседушками») боязливо кланялись в пояс, проходя мимо кровопивца, который весь в черном стоял у гроба с сложенными ладонями и воздетыми вверх глазами.

Покуда покойник лежал в доме, домашние ходили на цыпочках, заглядывали в столовую (там, на обеденном столе, был поставлен гроб), качали головами, шептались. Иудушка притворялся чуть живым, шаркал по коридору, заходил к «покойничку», умилялся, поправлял на гробе покров и шептался с становым приставом, который составлял описи и прикладывал печати. Петенька и Володенька суетились около гроба, ставили и зажигали свечки, подавали кадило и проч. Аннинька и Любинька плакали и сквозь слезы тоненькими голосами подпе-

вали дьячкам на панихидах. Дворовые женщины, в черных коленкоровых платьях, утирали передниками раскрасневшиеся от слез носы.

Арина Петровна, тотчас же, как последовала смерть Павла Владимирыча, ушла в свою комнату и заперлась там. Ей было не до слез, потому что она сознавала, что сейчас же должна была на что-нибудь решиться. Оставаться в Дубровине она и не думала... «ни за что!» — следовательно, предстояло одно: ехать в Погорелку, имение сирот, то самое, которое некогда представляло «кусок», выброшенный ею непочтительной дочери Анне Владимировне. Принявши это решение, она почувствовала себя облегченною, как будто Иудушка вдруг и навсегда потерял всякую власть над нею. Спокойно пересчитала пятипроцентные билеты (капиталу оказалось: своего пятнадцать тысяч да столько же сиротского, ею накопленного) и спокойно же сообразила, сколько нужно истратить денег, чтоб привести погорелковский дом в порядок. Затем немедленно послала за погорелковским старостой, отдала нужные приказания насчет найма плотников и присылки в Дубровино подвод за ее и сиротскими пожитками, велела готовить тарантас (в Дубровине стоял ее *собственный* тарантас, и она имела *доказательства,* что он ее *собственный*) и начала укладываться. К Иудушке она не чувствовала ни ненависти, ни расположения: ей просто сделалось противно с ним дело иметь. Даже ела она неохотно и мало, потому что с нынешнего дня приходилось есть уже не Павлово, а Иудушкино. Несколько раз Порфирий Владимирыч заглядывал в ее комнату, чтоб покалякать с милым другом маменькой (он очень хорошо понимал ее приготовления к отъезду, но делал вид, что ничего не замечает), но Арина Петровна не допускала его.

— Ступай, мой друг, ступай! — говорила она,— мне некогда.

Через три дня у Арины Петровны все было уже готово к отъезду. Отстояли обедню, отпели и схоронили Павла Владимирыча. На похоронах все произошло точно так, как представляла себе Арина Петровна в то утро, как Иудушке приехать в Дубровино. Именно так крикнул Иудушка: «Прощай, брат!» — когда опускали гроб в могилу, именно так же обратился он вслед за тем к Улитушке и торопливо сказал:

— Кутью-то! кутью-то не позабудьте взять! да в столовой на чистенькую скатертцу поставьте... чай, и в доме братца помянуть придется!

К обеду, который, по обычаю, был подан сейчас, как пришли с похорон, были приглашены три священника (в том числе отец благочинный) и дьякон. Дьячкам была устроена осо-

бая трапеза в прихожей. Арина Петровна и сироты вышли в дорожном платье, но Иудушка и тут сделал вид, что не замечает. Подойдя к закуске, Порфирий Владимирыч попросил отца благочинного благословить яствие и питие, затем налил себе и духовным отцам по рюмке водки, умилился и произнес:

— Новопреставленному! вечная память! Ах, брат, брат! оставил ты нас! а кому бы, кажется, и пожить, как не тебе. Дурной ты, брат! нехороший!

Сказал, перекрестился и выпил. Потом опять перекрестился и проглотил кусочек икры, опять перекрестился — и балычка отведал.

— Кушайте, батюшка! — убеждал он отца благочинного,— все это запасы покойного братца! любил покойник покушать! И сам хорошо кушал, а еще больше других любил угостить! Ах, брат, брат! оставил ты нас! Нехороший ты, брат! недобрый!

Словом сказать, так зарапортовался, что даже позабыл об маменьке. Только тогда вспомнил, когда уж рыжичков зачерпнул и совсем было собрался ложку в рот отправить.

— Маменька! голубчик! — всполошился он,— а я-то, простофиля, уписываю — ах, грех какой! Маменька! закусочки! рыжичков-то, рыжичков! Дубровинские ведь рыжички-то! знаменитые!

Но Арина Петровна только безмолвно кивнула головой в ответ и не двинулась. Казалось, она с любопытством к чему-то прислушивалась. Как будто какой-то свет пролился у ней перед глазами, и вся эта комедия, к повторению которой она с малолетства привыкла, в которой сама всегда участвовала, вдруг показалась ей совсем новою, невиданною.

Обед начался с родственных пререканий. Иудушка настаивал, чтобы маменька на хозяйское место села; Арина Петровна отказывалась.

— Нет, ты здесь хозяин — ты и садись, куда тебе хочется! — сухо проговорила она.

— Вы хозяйка! вы, маменька, везде хозяйка! и в Головлеве и в Дубровине — везде! — убеждал Иудушка.

— Нет уж! садись! Где мне хозяйкой бог приведет быть, там я и сама сяду, где вздумается! а здесь ты хозяин — ты и садись!

— Так мы вот что сделаем! — умилился Иудушка,— мы хозяйский-то прибор незанятым оставим! Как будто брат здесь невидимо с нами сотрапезует... он хозяин, а мы гостями будем!

Так и сделали. Покуда разливали суп, Иудушка, выбрав приличный сюжет, начинает беседу с батюшками, пре-

имущественно, впрочем, обращая речь к отцу благочинному.

— Вот многие нынче в бессмертие души не верят... а я верю! — говорит он.

— Уж это разве отчаянные какие-нибудь! — отвечает отец благочинный.

— Нет, и не отчаянные, а наука такая есть. Будто бы человек сам собою... Живет это, и вдруг — умер!

— Очень уж много этих наук нынче развелось — поубавить бы! Наукам верят, а в бога не верят. Даже мужики — и те в ученые норовят.

— Да, батюшка, правда ваша. Хотят, хотят в ученые попасть. У меня вот нагловские: есть нечего, а намеднись приговор написали, училище открывать хотят... ученые!

— Против всего нынче науки пошли. Против дождя — наука, против вёдра — наука. Прежде, бывало, попросту: придут да молебен отслужат — и даст бог. Вёдро нужно — вёдро господь пошлет; дождя нужно — и дождя у бога не занимать стать. Всего у бога довольно. А с тех пор как по науке начали жить — словно вот отрезало: все пошло безо времени. Сеять нужно — засуха, косить нужно — дождик!

— Правда ваша, батюшка, святая ваша правда. Прежде, как богу-то чаще молились, и земля лучше родила. Урожаи-то были не нынешние, сам-четверт да сам-пят,— сторицею давала земля. Вот маменька, чай, помнит? Помните, маменька? — обращается Иудушка к Арине Петровне с намерением и ее вовлечь в разговор.

— Не слыхала, чтоб в нашей стороне... Ты, может, об ханаанской земле читал — там, сказывают, действительно это бывало,— сухо отзывается Арина Петровна.

— Да, да, да,— говорит Иудушка, как бы не слыша замечания матери,— в бога не верят, бессмертия души не признают... а жрать хотят!

— Именно, только бы жрать бы да пить бы! — вторит отец благочинный, засучивая рукава своей рясы, чтобы положить на тарелку кусок поминального пирога.

Все принимаются за суп; некоторое время только и слышится, как лязгают ложки об тарелки да фыркают попы, дуя на горячую жидкость.

— А вот католики,— продолжает Иудушка, переставая есть,— так те хотя бессмертия души и не отвергают, но, взамен того, говорят, будто бы душа не прямо в ад или в рай попадает, а на некоторое время... в среднее какое-то место поступает.

— И это опять неосновательно.

— Как бы вам сказать, батюшка...— задумывается Порфирий Владимирыч,— коли начать говорить с точки зрения...

— Нечего об пустяках и говорить. Святая церковь как поет? Поет: в месте злачнем, в месте прохладнем, иде же несть ни печали, ни воздыхания... Об каком же тут «среднем» месте еще разговаривать!

Иудушка, однако ж, не вполне соглашается и хочет кой-что возразить. Но Арина Петровна, которую начинает уж коробить от этих разговоров, останавливает его.

— Ну уж, ешь, ешь... богослов! и суп, чай, давно простыл! — говорит она и, чтобы переменить разговор, обращается к отцу благочинному: — С рожью-то, батюшка, убрались?

— Убрался, сударыня; нынче рожь хороша, а вот яровые — не обещают! Овсы зерна не успели порядком налить, а уж мешаться начали. Ни зерна, ни соломы ожидать нельзя.

— Везде нынче на овсы жалуются! — вздыхает Арина Петровна, следя за Иудушкой, как он вычерпывает ложкой остатки супа.

Подают другое кушанье: ветчину с горошком. Иудушка пользуется этим случаем, чтоб возобновить прерванный разговор.

— Вот жиды этого кушанья не едят,— говорит он.

— Жиды — пакостники,— отзывается отец благочинный,— их за это свиным ухом дразнят.

— Однако ж, вот и татары... Какая-нибудь причина этому да есть...

— И татары тоже пакостники — вот и причина.

— Мы конины не едим, а татары — свининой брезгают. Вот в Париже, сказывают, крыс во время осады ели.

— Ну, те — французы!

Таким образом идет весь обед. Подают карасей в сметане — Иудушка объясняет:

— Кушайте, батюшка! Это караси особенные: покойный братец их очень любил!

Подают спаржу,— Иудушка говорит:

— Вот это так спаржа! В Петербурге за этакую спаржу рублик серебрецом платить надо. Покойный братец сам за нею ухаживал! Вон она, бог с ней, толстая какая!

У Арины Петровны так и кипит сердце: целый час прошел, а обед только в половине. Иудушка словно нарочно медлит: поест, потом положит ножик и вилку, покалякает, потом опять поест и опять покалякает. Сколько раз, в бывалое время, Арина Петровна крикивала за это на него: да ешь же, прости господи, сатана! — да, видно, он позабыл маменькины наставления. А может быть, и не позабыл, а нарочно делает,

мстит. А может быть, даже и не мстит сознательно, а так нутро его, от природы ехидное, играет. Наконец подали жаркое; в ту самую минуту, как все встали и отец дьякон затянул «о блаженном успении»,— в коридоре поднялась возня, послышались крики, которые совсем уничтожили эффект заупокойного возгласа.

— Что там за шум! — крикнул Порфирий Владимирыч,— в кабак, что ли, забрались?

— Не кричи, сделай милость! Это я... это мои сундуки перетаскивают,— отозвалась Арина Петровна и не без иронии прибавила: — Будешь, что ли, осматривать?

Все вдруг смолкли, даже Иудушка не нашелся и побледнел. Он, впрочем, сейчас же сообразил, что надо как-нибудь замять неприятную апострофу матери, и, обратясь к отцу благочинному, начал:

— Вот тетерев, например... В России их множество, а в других странах...

— Да ешь, Христа ради: нам ведь двадцать пять верст ехать; надо засветло поспевать,— прервала его Арина Петровна,— Петенька! поторопи там, голубчик, чтоб пирожное подавали!

Несколько минут длилось молчание. Порфирий Владимирыч живо доел свой кусок тетерьки и сидел бледный, постукивая ногой в пол и вздрагивая губами.

— Обижаете вы меня, добрый друг маменька! крепко вы меня обижаете! — наконец произносит он, не глядя, впрочем, на мать.

— Кто тебя обидит! И чем это я так... крепко тебя обидела?

— Очень-очень обидно... так обидно! так обидно! В такую минуту... уезжать! Всё жили да жили... и вдруг... И наконец эти сундуки... осмотр... Обидно!

— Уж коли ты хочешь все знать, так я могу и ответ дать. Жила я тут, покуда сын Павел был жив; умер он — я и уезжаю. А что касается до сундуков, так Улитка давно за мной по твоему приказанью следит. А по мне, лучше прямо сказать матери, что она в подозрении состоит, нежели, как змея, из-за чужой спины на нее шипеть.

— Маменька! друг мой! да вы... да я...— простонал Иудушка.

— Будет! — не дала ему продолжать Арина Петровна,— я высказалась.

— Но чем же, друг мой, я мог...

— Говорю тебе: я высказалась — и оставь. Отпусти меня, ради Христа, с миром. Тарантас, чу, готов.

Действительно, на дворе раздались бубенчики и стук подъезжающего экипажа. Арина Петровна первая встала из-за стола, за ней поднялись и прочие.

— Ну, теперь присядемте на минутку, да и в путь! — сказала она, направляясь в гостиную.

Посидели, помолчали, а тем временем Иудушка совсем уж успел оправиться.

— А не то пожили бы, маменька, в Дубровине... посмотрите-ка, как здесь хорошо! — сказал он, глядя матери в глаза с ласковостью провинившегося пса.

— Нет, мой друг, будет! не хочу я тебе, на прощание, неприятного слова сказать... а нельзя мне здесь оставаться! Не у чего! Батюшка! помолимтесь!

Все встали и помолились; затем Арина Петровна со всеми перецеловалась, всех благословила... по-родственному и, тяжело ступая ногами, направилась к двери. Порфирий Владимирыч, во главе всех домашних, проводил ее до крыльца, но тут при виде тарантаса его смутил бес любомудрия. «А тарантас-то ведь братцев!» — блеснуло у него в голове.

— Так увидимся, добрый друг маменька! — сказал он, подсаживая мать и искоса поглядывая на тарантас.

— Коли бог велит... отчего же и не увидеться!

— Ах, маменька, маменька! проказница вы — право! Велите-ка тарантас-то отложить, да с богом на старое гнездышко... Право! — лебезил Иудушка.

Арина Петровна не отвечала; она совсем уж уселась и крестное знамение даже сотворила, но сиротки что-то медлили.

А Иудушка между тем поглядывал да поглядывал на тарантас.

— Так тарантас-то, маменька, как же? вы сами доставите или прислать за ним прикажете? — наконец не выдержал он.

Арина Петровна даже затряслась вся от негодования.

— Тарантас — мой! — крикнула она таким болезненным криком, что всем сделалось и неловко и совестно.— Мой! мой! мой тарантас! Я его... у меня доказательства... свидетели есть! А ты... а тебя... ну, да уж подожду... посмотрю, что дальше от тебя будет! Дети! долго ли?

— Помилуйте, маменька! я ведь не в претензии... Если б даже тарантас был дубровинский...

— Мой тарантас, мой! Не дубровинский, а мой! не смей говорить... слышишь!

— Слушаю, маменька... Так вы, голубушка, не забывайте нас... попросту, знаете, без затей! Мы к вам, вы к нам... по-родственному!

— Сели, что ли? трогай! — крикнула Арина Петровна, едва сдерживая себя.

Тарантас дрогнул и покатился мелкой рысцой по дороге. Иудушка стоял на крыльце, махал платком и, покуда тарантас не скрылся совсем из виду, кричал ему вслед:

— По-родственному! Мы к вам, вы к нам... по-родственному!

СЕМЕЙНЫЕ ИТОГИ

Никогда не приходило Арине Петровне на мысль, что может наступить минута, когда она будет представлять собой «лишний рот»,— и вот эта минута подкралась и подкралась именно в такую пору, когда она в первый раз в жизни практически убедилась, что нравственные и физические ее силы подорваны. Такие минуты всегда приходят внезапно; хотя человек, быть может, уж давно надломлен, но все-таки еще перемогается и стоит,— и вдруг откуда-то сбоку наносится последний удар. Подстеречь этот удар, сознать его приближение очень трудно; приходится просто и безмолвно покориться ему, ибо это тот самый удар, который недавнего бодрого человека мгновенно и безапелляционно превращает в развалину.

Тяжело было положение Арины Петровны, когда она, разорвавши с Иудушкой, поселилась в Дубровине, но тогда она, по крайней мере, знала, что Павел Владимирыч хоть и косо смотрит на ее вторжение, но все-таки он человек достаточный, для которого лишний кусок не много значит. Теперь дело приняло совсем иной оборот: она стояла во главе такого хозяйства, где все «куски» были на счету. А она знала цену этим «кускам», ибо, проведя всю жизнь в деревне, в общении с крестьянским людом, вполне усвоила себе крестьянское представление об ущербе, который наносит «лишний рот» хозяйству, и без того уже скудному.

Тем не менее первое время по переселении в Погорелку она еще бодрилась, хлопотливо устроивалась на новом месте и выказывала прежнюю ясность хозяйственных соображений. Но хозяйство в Погорелке было суетливое, мелочное, требовало ежеминутного личного присмотра, и хотя сгоряча ей показалось, что достигнуть точного учета там, где из полушек составляются гроши, а из грошей гривенники, не составляет никакой мудрости, однако скоро она должна была сознаться, что это убеждение ошибочное. Мудрости действительно не было, но и не было ни прежней охоты, ни прежних сил. К тому же дело происходило осенью, в самый разгар хозяй-

ственных итогов, а между тем время стояло ненастное и полагало невольный предел усердию Арины Петровны. Явились старческие немощи, не дозволявшие выходить из дома, настали длинные, тоскливые осенние вечера, осуждавшие на фаталистическую праздность. Старуха волновалась и рвалась, но ничего не могла сделать.

С другой стороны, она не могла не заметить, что и с сиротами делается что-то неладное. Они вдруг заскучали и опустили головы. Какие-то смутные планы будущего волновали их — планы, в которых представления о труде шли вперемежку с представлениями об удовольствиях, конечно, самого невинного свойства. Тут были и воспоминания об институте, в котором они воспитывались, и вычитанные урывками мысли о людях труда, и робкая надежда с помощью институтских связей ухватиться за какую-то нить и при ее пособии войти в светлое царство человеческой жизни. Над всей этой смутностью тем не менее господствовала одна щемящая и очень определенная мысль: во что бы ни стало уйти из постылой Погорелки. И вот в одно прекрасное утро Аннинька и Любинька объявили бабушке, что долее оставаться в Погорелке не могут и не хотят. Что это ни на что не похоже, что они в Погорелке никого не видят, кроме попа, который к тому же постоянно, при свидании с ними, почему-то заговаривает о девах, погасивших свои светильники, и что вообще — «так нельзя». Девицы говорили резко, ибо боялись бабушки, и тем больше напускали на себя храбрости, чем больше ждали с ее стороны гневной вспышки и отпора. Но, к удивлению, Арина Петровна выслушала их сетования не только без гнева, но даже не выказав поползновения к бесплодным поучениям, на которые так торовата бессильная старость. Увы! это была уж не та властная женщина, которая во времена оны с уверенностью говаривала: «Уеду в Хотьков и внучат с собой возьму». И не одно старческое бессилие участвовало в этой перемене, но и понимание чего-то лучшего, более справедливого. Последние удары судьбы не просто смирили ее, но еще осветили в ее умственном кругозоре некоторые уголки, в которые мысль ее, по-видимому, никогда дотоле не заглядывала. Она поняла, что в человеческом существе кроются известные стремления, которые могут долго дремать, но, раз проснувшись, уже неотразимо влекут человека туда, где прорезывается луч жизни, тот отрадный луч, появление которого так давно подстерегали глаза среди безнадежной мглы настоящего. И, раз поняв законность подобного стремления, она уж была бессильна противодействовать ему. Правда, она отговаривала внучек от их намерения, но слабо, без убеждения; она

беспокоилась насчет ожидающего их будущего, тем более что сама не имела никаких связей в так называемом свете, но в то же время чувствовала, что разлука с девушками есть дело должное, неизбежное. Что с ними будет? — этот вопрос вставал перед ней назойливо и ежеминутно; но ведь ни этим вопросом, ни даже более страшными не удержишь того, кто рвется на волю. А девушки только об том и твердили, чтоб вырваться из Погорелки. И действительно, после немногих колебаний и отсрочек, сделанных в угоду бабушке, уехали.

С отъездом сирот погорелковский дом окунулся в какую-то безнадежную тишину. Как ни сосредоточенна была Арина Петровна по природе, но близость человеческого дыхания производила и на нее успокоительное действие. Проводивши внучек, она, может быть, в первый раз почувствовала, что от ее существа что-то оторвалось и что она разом получила какую-то безграничную свободу, до того безграничную, что она уже ничего не видела перед собой, кроме пустого пространства. Чтоб как-нибудь скрыть в собственных глазах эту пустоту, она распорядилась немедленно заколотить парадные комнаты и мезонин, в котором жили сироты («кстати, и дров меньше выходить будет»,— думала она при этом), а для себя отделила всего две комнаты, из которых в одной помещался большой киот с образами, а другая представляла в одно и то же время спальную, кабинет и столовую. Прислугу тоже, ради экономии, распустила, оставив при себе только старую, едва таскающую ноги ключницу Афимьюшку да одноглазую солдатку Марковну, которая готовила кушанье и стирала белье. Но все эти предосторожности помогли мало: ощущение пустоты не замедлило проникнуть и в те две комнаты, в которых она думала отгородиться от него. Беспомощное одиночество и унылая праздность — вот два врага, с которыми она очутилась лицом к лицу и с которыми отныне обязывалась коротать свою старость. А вслед за ними не заставила себя ждать и работа физического и нравственного разрушения, работа тем более жестокая, чем меньше отпора дает ей праздная жизнь.

Дни чередовались днями с тем удручающим однообразием, которым так богата деревенская жизнь, если она не обставлена ни комфортом, ни хозяйственным трудом, ни материалом, дающим пищу для ума. Независимо от внешних причин, делавших личный хозяйственный труд недоступным, Арине Петровне и внутренно сделалась противною та грошовая суета, которая застигла ее под конец жизни. Может быть, она бы и перемогла свое отвращение, если б была в виду цель, которая оправдывала бы ее усилия, но именно цели-то и не было. Всем она опостылела, надоела, и ей всё и все опостылели, надоели.

Прежняя лихорадочная деятельность вдруг уступила место сонливой праздности, а праздность, мало-помалу, развратила волю и привела за собой такие наклонности, о которых, конечно, и во сне не снилось Арине Петровне за несколько месяцев тому назад. Из крепкой и сдержанной женщины, которую никто не решался даже назвать старухой, получилась развалина, для которой не существовало ни прошлого, ни будущего, а существовала только минута, которую предстояло прожить.

Днем она большею частью дремала. Сядет в кресло перед столом, на котором разложены вонючие карты, и дремлет. Потом вздрогнет, проснется, взглянет в окно, и долго без всякой сознательной мысли не отрывает глаз от расстилающейся без конца дали. Погорелка была печальная усадьба. Она стояла, как говорится, на тычке, без сада, без тени, без всяких признаков какого бы то ни было комфорта. Даже палисадника впереди не было. Дом был одноэтажный, словно придавленный, и весь почерневший от времени и непогод; сзади расположены были немногочисленные службы, тоже приходившие в ветхость; а кругом стлались поля, поля без конца; даже лесу на горизонте не было видно. Но так как Арина Петровна с детства почти безвыездно жила в деревне, то эта бедная природа не только не казалась ей унылою, но даже говорила ее сердцу и пробуждала остатки чувств, которые в ней теплились. Лучшая часть ее существа жила в этих нагих и бесконечных полях, и взоры инстинктивно искали их во всякое время. Она вглядывалась в полевую даль, вглядывалась в эти измокшие деревни, которые, в виде черных точек пестрели там и сям на горизонте; вглядывалась в белые церкви сельских погостов, вглядывалась в пестрые пятна, которые бродячие в лучах солнца облака рисовали на равнине полей, вглядывалась в этого неизвестного мужика, который шел между полевых борозд, а ей казалось, что он словно застыл на одном месте. Но при этом она ни об чем не думала, или, лучше сказать, у нее были мысли до того разорванные, что ни на чем не могла остановиться на более или менее продолжительное время. Она только глядела, глядела до тех пор, пока старческая дремота не начинала вновь гудеть в ушах и не заволакивала туманом и поля, и церкви, и деревни, и бредущего вдали мужика.

Иногда она, по-видимому, припоминала; но память прошлого возвращалась без связи, в форме обрывков. Внимание ни на чем не могло сосредоточиться и беспрерывно перебегало от одного далекого воспоминания к другому. По временам, однако ж, ее поражало что-нибудь особенное, не радость — на ра-

дости прошлое ее было до жестокости скупо,— а обида какая-нибудь, горькая, не переносная. Тогда внутри ее словно загоралось, тоска заползала в сердце, и слезы подступали к глазам. Она начинала плакать, плакала тяжко, с болью, плакала так, как плачет жалкая старость, у которой слезы льются точно под тяжестью кошмара. Но покуда слезы лились, бессознательная мысль продолжала свое дело и, незаметно для Арины Петровны, отвлекала ее от источника, породившего печальное настроение, так что через несколько минут старуха и сама с удивлением спрашивала себя, что такое случилось с нею.

Вообще она жила, как бы не участвуя лично в жизни, а единственно в силу того, что в этой развалине еще хоронились какие-то забытые концы, которые надлежало собрать, учесть и подвести итоги. Покуда эти концы были еще налицо, жизнь шла своим чередом, заставляя развалину производить все внешние отправления, какие необходимы для того, чтоб это полусонное существование не рассыпалось в прах.

Но ежели дни проходили в бессознательной дремоте, то ночи были положительно мучительны. Ночью Арина Петровна *боялась;* боялась воров, привидений, чертей, словом, всего, что составляло продукт ее воспитания и жизни. А защита против всего этого была плохая, потому что, кроме ветхой прислуги, о которой было сказано выше, ночной погорелковский штат весь воплощался в лице хроменького мужичка Федосеюшки, который, за два рубля в месяц, приходил с села сторожить по ночам господскую усадьбу и обыкновенно дремал в сенцах, выходя в урочные часы, чтоб сделать несколько ударов в чугунную доску. Хотя же на скотном дворе и жило несколько работников и работниц, но скотная изба отстояла от дома саженях в двадцати, и вызвать оттуда кого-нибудь было делом далеко не легким.

Есть что-то тяжелое, удручающее в бессонной деревенской ночи. Часов с девяти или много-много с десяти жизнь словно прекращается и наступает тишина, наводящая страх. И делать нечего, да и свечей жаль — поневоле приходится лечь спать. Афимьюшка, как только сняли со стола самовар, по привычке, приобретенной еще при крепостном праве, постелила войлок поперек двери, ведущей в барынину спальную; затем почесалась, позевала, и как только повалилась на пол, так и замерла. Марковна возилась в девичьей несколько долее и все что-то бормотала, кого-то ругала; но вот наконец и она притихла, и через минуту уж слышно, как она поочередно то храпит, то бредит. Сторож несколько раз звякнул в доску, чтоб заявить о своем присутствии, и умолк надолго. Арина Пет-

ровна сидит перед нагоревшей сальной свечой и пробует разогнать сон пасьянсом; но едва принимается она за раскладывание карт, как дремота начинает одолевать ее. «Того и гляди, еще пожар со сна наделаешь!» — говорит она сама с собой и решается лечь в кровать. Но едва успела она утонуть в пуховиках, как приходит другая беда: сон, который целый вечер так и манил, так и ломал, вдруг совсем исчез. В комнате и без того натоплено; из открытого душника жар так и валит, а от пуховиков атмосфера делается просто нестерпимою. Арина Петровна ворочается с боку на бок, и хочется ей покликать кого-нибудь, и знает она, что на ее клич никто не придет. Загадочная тишина царит вокруг — тишина, в которой настороженное ухо умеет отличить целую массу звуков. То хлопнуло где-то, то раздался вдруг вой, то словно кто-то прошел по коридору, то пролетело по комнате какое-то дуновение и даже по лицу задело. Лампадка горит перед образом и светом своим сообщает предметам какой-то обманчивый характер, точно это не предметы, а только очертания предметов. Рядом с этим сомнительным светом является другой, выходящий из растворенной двери соседней комнаты, где перед киотом зажжено четыре или пять лампад. Этот свет желтым четырехугольником лег на полу, словно врезался в мрак спальной, не сливаясь с ним. Всюду тени, колеблющиеся, беззвучно движущиеся. Вот мышь заскреблась за обоями; «шт, паскудная!» — крикнет на нее Арина Петровна, и опять все смолкнет. Опять тени, опять неизвестно откуда берущийся шепот. В чуткой, болезненной дремоте проходит бо̀льшая часть ночи, и только к утру сон настоящим образом вступает в свои права. А в шесть часов Арина Петровна уж на ногах, измученная бессонной ночью.

Ко всем этим причинам, достаточно обрисовывающим жалкое существование, которое вела Арина Петровна, присоединялись еще две: скудость питания и неудобства помещения. Ела она мало и дурно, вероятно, думая этим наверстать ущерб, производимый в хозяйстве недостаточностью надзора. Что же касается до помещения, то погорелковский дом был ветх и сыр, а комната, в которой заперлась Арина Петровна, никогда не освежалась и по целым неделям оставалась неубранною. И вот среди этой полной беспомощности, среди отсутствия всякого комфорта и ухода приближалась дряхлость.

Но чем больше она дряхлела, тем сильнее сказывалось в ней желание жизни. Или, лучше сказать, не столько желание жизни, сколько желание «полакомиться», сопряженное с совершенным отсутствием идеи смерти. Прежде она боялась смерти, теперь — как будто совсем позабыла об ней. И так как

ее жизненные идеалы немногим разнились от идеалов любого крестьянина, то и представление о «хорошем житье», которым она себя обольщала, было довольно низменного свойства. Все, в чем она отказывала себе в течение жизни — хороший кусок, покой, беседа с живыми людьми,— все это сделалось предметом самых упорных помышлений. Все наклонности завзятой приживалки — празднословие, льстивая угодливость ради подачки, прожорливость — росли с изумительной быстротой. Она питалась дома людскими щами с несвежей солониной — и в это время мечтала о головлевских запасах, о карасях, которые водились в дубровинских прудах, о грибах, которыми полны были головлевские леса, о птице, которая откармливалась в Головлеве на скотном дворе. «Супцу бы теперь с гусиным потрохом или рыжичков бы в сметане»,— мелькало в ее голове, мелькало до того живо, что даже углы губ у нее опускались. Ночью она ворочалась с боку на бок, замирая от страха при каждом шорохе, и думала: «Вот в Головлеве и запоры крепкие, и сторожа верные, стучат себе да постукивают в доску не уставаючи — спи себе, как у Христа за пазушкой!» Днем ей по целым часам приходилось ни с кем не вымолвить слова, и во время этого невольного молчания само собой приходило на ум: вот, в Головлеве — там людно, там есть и душу с кем отвести! Словом сказать, ежеминутно припоминалось Головлево, и, по мере этих припоминаний, оно делалось чем-то вроде светозарного пункта, в котором сосредоточивалось «хорошее житье».

И чем чаще смущалось воображение представлением о Головлеве, тем сильнее развращалась воля и тем дальше уходили вглубь недавние кровные обиды. Русская женщина, по самому складу ее воспитания и жизни, слишком легко мирится с участью приживалки, а потому и Арина Петровна не минула этой участи, хотя, казалось, все ее прошлое предостерегало и оберегало ее от этого ига. Не сделай она «в то время» ошибки, не отдели сыновей, не доверься Иудушке, она была бы и теперь брюзгливой и требовательной старухой, которая заставляла бы всех смотреть из ее рук. Но так как ошибка была сделана бесповоротно, то переход от брюзжаний самодурства к покорности и льстивости приживалки составлял только вопрос времени. Покуда силы сохраняли остатки прежней крепости, переход не выказывался наружу, но как только она себя сознала безвозвратно осужденною на беспомощность и одиночество, так тотчас же в душу начали заползать все поползновения малодушия и мало-помалу окончательно развратили и без того уже расшатанную волю. Иудушка, который, в первое время приезжая в Погорелку, встречал

там лишь самый холодный прием, вдруг перестал быть ненавистным. Старые обиды забылись как-то само собой, и Арина Петровна первая сделала шаг к сближению.

Началось с выпрашиваний. Из Погорелки являлись к Иудушке гонцы сначала редко, потом чаще и чаще. То рыжичков в Погорелке не родилось, то огурчики от дождей вышли с пятнышками, то индюшки, по нынешнему вольному времени, переколели, «да приказал бы ты, сердечный друг, карасиков в Дубровине половить, в коих и покойный сын Павел старухе матери никогда не отказывал». Иудушка морщился, но открыто выражать неудовольствие не решался. Жаль ему было карасей, но он пуще всего боялся, что мать его проклянет. Он помнил, как она раз говорила: приеду в Головлево, прикажу открыть церковь, позову попа и закричу: «Проклинаю!» — и это воспоминание останавливало его от многих пакостей, на которые он был великий мастер. Но, выполняя волю «доброго друга маменьки», он все-таки вскользь намекал своим окружающим, что всякому человеку положено нести от бога крест и что это делается не без цели, ибо, не имея креста, человек забывается и впадает в разврат. Матери же писал так: «Огурчиков, добрый друг маменька, по силе возможности, посылаю; что же касается до индюшек, то, сверх пущенных на племя, остались только петухи, кои для вас, по огромности их и ограниченности вашего стола, будут бесполезны. А не угодно ли вам будет пожаловать в Головлево разделить со мною убогую трапезу: тогда мы одного из сих тунеядцев (именно тунеядцы, ибо мой повар Матвей преискусно оных каплунит) велим зажарить и всласть с вами, дражайший друг, покушаем».

С этих пор Арина Петровна зачастила в Головлево. Отведывала с Иудушкой и индюшек и уток: спала всласть и ночью, и после обеда и отводила душу в бесконечных разговорах о пустяках, на которые Иудушка был тороват по природе, а она сделалась тороватою вследствие старости. Даже и тогда не прекратила посещений, когда до нее дошло, что Иудушка, наскучив продолжительным вдовством, взял к себе в экономки девицу из духовного звания, именем Евпраксию. Напротив того, узнав об этом, она тотчас же поехала в Головлево и, не успев еще вылезти из экипажа, с каким-то ребяческим нетерпением кричала Иудушке: «А ну-ка, ну, старый греховодник! кажи мне, кажи свою кралю!» Целый этот день она провела в полном удовольствии, потому что Евпраксеюшка сама служила ей за обедом, сама постелила для нее постель после обеда, а вечером она играла с Иудушкой и его кралей в дураки. Иудушка тоже был доволен такой развязкой и, в знак

сыновней благодарности, велел при отъезде Арины Петровны в Погорелку положить ей в тарантас между прочим фунт икры, что было уже высшим знаком уважения, ибо икра — предмет не свой, а купленный. Этот поступок так тронул старуху, что она не вытерпела и сказала:

— Ну, вот за это спасибо! И бог тебя, милый дружок, будет любить за то, что мать на старости лет покоишь да холишь. По крайности, приеду ужо в Погорелку — не скучно будет. Всегда я икорку любила,— вот и теперь, по милости твоей, полакомлюсь!

Прошло лет пять со времени переселения Арины Петровны в Погорелку. Иудушка как засел в своем родовом Головлеве, так и не двигается оттуда. Он значительно постарел, вылинял и потускнел, но шильничает, лжет и пустословит еще пуще прежнего, потому что теперь у него почти постоянно под руками добрый друг маменька, которая ради сладкого старушечьего куска сделалась обязательной слушательницей его пустословия.

Не надо думать, что Иудушка был лицемер в смысле, например, Тартюфа или любого современного французского буржуа, соловьем рассыпающегося по части общественных основ. Нет, ежели он и был лицемер, то лицемер чисто русского пошиба, то есть просто человек, лишенный всякого нравственного мерила и не знающий иной истины, кроме той, которая значится в азбучных прописях. Он был невежествен без границ, сутяга, лгун, пустослов и, в довершение всего, боялся черта. Все это такие отрицательные качества, которые отнюдь не могут дать прочного материала для действительного лицемерия.

Во Франции лицемерие вырабатывается воспитанием, составляет, так сказать, принадлежность «хороших манер» и почти всегда имеет яркую политическую или социальную окраску. Есть лицемеры религии, лицемеры общественных основ, собственности, семейства, государственности, а в последнее время народились даже лицемеры «порядка». Ежели этого рода лицемерие и нельзя назвать убеждением, то, во всяком случае, это — знамя, кругом которого собираются люди, которые находят расчет полицемерить именно тем, а не иным способом. Они лицемерят сознательно, в смысле своего знамени. то есть и сами знают, что они лицемеры, да, сверх того, знают, что это и другим небезызвестно. В понятиях француза-буржуа вселенная есть не что иное, как обширная сцена, где дается

бесконечное театральное представление, в котором один лицемер подает реплику другому. Лицемерие, это — приглашение к приличию, к декоруму, к красивой внешней обстановке, и что всего важнее, лицемерие — это узда. Не для тех, конечно, которые лицемерят, плавая в высотах общественных эмпиреев, а для тех, которые нелицемерно кишат на дне общественного котла. Лицемерие удерживает общество от разнузданности страстей и делает последнюю привилегией лишь самого ограниченного меньшинства. Пока разнузданность страстей не выходит из пределов небольшой и плотно организованной корпорации, она не только безопасна, но даже поддерживает и питает традиции изящества. Изящное погибло бы, если б не существовало известного числа cabinets particuliers[1], в которых оно кюльтивируется в минуты, свободные от культа официального лицемерия. Но разнузданность становится положительно опасною, как только она делается общедоступною и соединяется с предоставлением каждому свободы предъявлять свои требования и доказывать их законность и естественность. Тогда возникают новые общественные наслоения, которые стремятся ежели не совсем вытеснить старые, то, по крайней мере, в значительной степени ограничить их. Спрос на cabinets particuliers до того увеличивается, что наконец возникает вопрос: не проще ли, на будущее время, совсем обходиться без них? Вот от этих-то нежелательных возникновений и вопросов и оберегает дирижирующие классы французского общества то систематическое лицемерие, которое, не довольствуясь почвою обычая, переходит на почву легальности и из простой черты нравов становится законом, имеющим характер принудительный.

На этом законе уважения к лицемерию основан, за редкими исключениями, весь современный французский театр. Герои лучших французских драматических произведений, то есть тех, которые пользуются наибольшим успехом именно за необыкновенную реальность изображаемых в них житейских пакостей, всегда улучат под конец несколько свободных минут, чтоб подправить эти пакости громкими фразами, в которых объявляется святость и сладости добродетели. Адель может, в продолжение четырех актов, всячески осквернять супружеское ложе, но в пятом она непременно во всеуслышание заявит, что семейный очаг есть единственное убежище, в котором французскую женщину ожидает счастие. Спросите себя: чтó было бы с Аделью, если б авторам вздумалось продолжить свою пьесу еще на пять таких же актов, и вы можете

---

[1] отдельных кабинетов.

безошибочно ответить на этот вопрос, что в продолжение следующих четырех актов Адель опять будет осквернять супружеское ложе, а в пятом опять обратится к публике с тем же заявлением. Да и нет надобности делать предположения, а следует только из Théâtre Français отправиться в Gymnase, оттуда в Vaudeville или в Variétés, чтоб убедиться, что Адель везде одинаково оскверняет супружеское ложе и везде же под конец объявляет, что это-то ложе и есть единственный алтарь, в котором может священнодействовать честная француженка. Это до такой степени въелось в нравы, что никто даже не замечает, что тут кроется самое дурацкое противоречие, что правда жизни является рядом с правдою лицемерия и обе идут рука об руку, до того перепутываясь между собой, что становится затруднительным сказать, которая из этих двух правд имеет более прав на признание.

Мы, русские, не имеем сильно окрашенных систем воспитания. Нас не муштруют, из нас не вырабатывают будущих поборников и пропагандистов тех или других общественных основ, а просто оставляют расти, как крапива растет у забора. Поэтому между нами очень мало лицемеров и очень много лгунов, пустосвятов и пустословов. Мы не имеем надобности лицемерить ради каких-нибудь общественных основ, ибо никаких таких основ не знаем, и ни одна из них не прикрывает нас. Мы существуем совсем свободно, то есть прозябаем, лжем и пустословим сами по себе, без всяких основ.

Следует ли по этому случаю радоваться или соболезновать — судить об этом не мое дело. Думаю, однако ж, что если лицемерие может внушить негодование и страх, то беспредметное лганье способно возбудить докуку и омерзение. А потому самое лучшее — это, оставив в стороне вопрос о преимуществах лицемерия сознательного перед бессознательным или наоборот, запереться и от лицемеров, и от лгунов.

Итак, Иудушка не столько лицемер, сколько пакостник, лгун и пустослов. Запершись в деревне, он сразу почувствовал себя на свободе, ибо нигде, ни в какой иной сфере, его наклонности не могли бы найти себе такого простора, как здесь. В Головлеве он ниоткуда не встречал не только прямого отпора, но даже малейшего косвенного ограничения, которое заставило бы его подумать: вот, дескать, и напакостил бы, да людей совестно. Ничье суждение не беспокоило, ничей нескромный взгляд не тревожил,— следовательно, не было повода и самому себя контролировать. Безграничная неряшливость сделалась господствующею чертою его отношений к самому себе. Давным-давно влекла его к себе эта полная сво-

бода от каких-либо нравственных ограничений, и ежели он еще раньше не переехал на житье в деревню, то единственно потому, что боялся праздности. Проведя более тридцати лет в тусклой атмосфере департамента, он приобрел все привычки и вожделения закоренелого чиновника, не допускающего, чтобы хотя одна минута его жизни оставалась свободною от переливания из пустого в порожнее. Но, вглядевшись в дело пристальнее, он легко пришел к убеждению, что мир делового бездельничества настолько подвижен, что нет ни малейшего труда перенести его куда угодно, в какую угодно сферу. И действительно, как только он поселился в Головлеве, так тотчас же создал себе такую массу пустяков и мелочей, которую можно было не переставая переворачивать, без всякого опасения когда-нибудь исчерпать ее. С утра он садился за письменный стол и принимался за занятия; во-первых, усчитывал скотницу, ключницу, приказчика, сперва на один манер, потом на другой; во-вторых, завел очень сложную отчетность, денежную и материальную: каждую копейку, каждую вещь заносил в двадцати книгах, подводил итоги, то терял полкопейки, то целую копейку лишнюю находил. Наконец брался за перо и писал жалобы к мировому судье и к посреднику. Все это не только не оставляло ни одной минуты праздной, но даже имело все внешние формы усидчивого, непосильного труда. Не на праздность жаловался Иудушка, а на то, что не успевал всего переделать, хотя целый день корпел в кабинете, не выходя из халата. Груды тщательно подшитых, но не обревизованных рапортичек постоянно валялись на его письменном столе, и в том числе целая годовая отчетность скотницы Феклы, деятельность которой с первого раза показалась ему подозрительной и которую он тем не менее никак не мог найти свободную минуту учесть.

Всякая связь с внешним миром была окончательно порвана. Он не получал ни книг, ни газет, ни даже писем. Один сын его, Володенька, кончил самоубийством, с другим, Петенькой, он переписывался коротко и лишь тогда, когда посылал деньги. Густая атмосфера невежественности, предрассудков и кропотливого переливания из пустого в порожнее царила кругом него, и он не ощущал ни малейшего поползновения освободиться от нее. Даже о том, что Наполеон III уже не царствует, он узнал лишь через год после его смерти, от станового пристава, но и тут не выразил никакого особенного ощущения, а только перекрестился, пошептал: «царство небесное!» — и сказал:

— А как был горд! Фу-ты! Ну-ты! И то нехорошо, и другое неладно! Цари на поклон к нему ездили, принцы в перед-

ней дежурили! Ан бог-то взял, да в одну минуту все его мечтания ниспроверг!

Собственно говоря, он не знал даже, что делается у него в хозяйстве, хотя с утра до вечера только и делал, что считал да учитывал. В этом отношении он имел все качества закоренелого департаментского чиновника. Представьте себе столоначальника, которому директор, под веселую руку, сказал бы: «Любезный друг! для моих соображений необходимо знать, сколько Россия может ежегодно производить картофеля — так потрудитесь сделать подробное вычисление!» Встал ли бы в тупик столоначальник перед подобным вопросом? Задумался ли бы он, по крайней мере, над приемами, которые предстоит употребить для выполнения заказанной ему работы? Нет, он поступил бы гораздо проще: начертил бы карту России, разлиновал бы ее на совершенно равные квадратики, доискался бы, какое количество десятин представляет собой каждый квадратик, потом зашел бы в мелочную лавочку, узнал, сколько сеется на каждую десятину картофеля и сколько *средним числом* получается, и в заключение, при помощи божией и первых четырех правил арифметики, пришел бы к результату, что Россия *при благоприятных условиях* может производить картофелю столько-то, а *при неблагоприятных условиях* — столько-то. И работа эта не только удовлетворила бы его начальника, но, наверное, была бы помещена в сто втором томе каких-нибудь «Трудов».

Даже экономку он выбрал себе как раз подходящую к той обстановке, которую создал. Девица Евпраксия была дочь дьячка при церкви Николы в Капельках и представляла во всех отношениях чистейший клад. Она не обладала ни быстротой соображения, ни находчивостью, ни даже расторопностью, но взамен того была работяща, безответна и не предъявляла почти никаких требований. Даже тогда, когда он «приблизил» ее к себе,— и тут она спросила только: «можно ли ей, когда захочется, кваску холодненького без спросу испить?» — так что сам Иудушка умилился ее бескорыстию и немедленно отдал в ее распоряжение, сверх кваса, две кадушки моченых яблоков, уволив ее от всякой по этим статьям отчетности. Наружность ее тоже не представляла особенной привлекательности для любителя, но в глазах человека неприхотливого и знающего, что ему нужно, была вполне удовлетворительна. Лицо широкое, белое, лоб узкий, обрамленный желтоватыми негустыми волосами, глаза крупные, тусклые, нос совершенно прямой, рот стертый, подернутый тою загадочною, словно куда-то убегающею улыбкой, какую можно встретить на портретах, писанных доморощенными живописцами. Вооб-

ще ничего выдающегося, кроме разве спины, которая была до того широка и могуча, что у человека самого равнодушного невольно поднималась рука, чтобы, как говорится, «дать девке разá» между лопаток. И она знала это и не обижалась, так что когда Иудушка в первый раз слегка потрепал ее по жирному загривку, то она только лопатками передернула.

Среди этой тусклой обстановки дни проходили зá днями, один как другой, без всяких перемен, без всякой надежды на вторжение свежей струи. Только приезд Арины Петровны несколько оживлял эту жизнь, и надо сказать правду, что ежели Порфирий Владимирыч поначалу морщился, завидев вдали маменькину повозку, то с тéчением времени он не только привык к ее посещениям, но и полюбил их. Они удовлетворяли его страсти к пустословию, ибо ежели он находил возможным пустослóвить один на один с самим собою, по поводу разнообразных счетов и отчетов, то пустословить с добрым другом маменькой было для него еще поваднее. Собравшись вместе, они с утра до вечера говорили и не могли наговориться. Говорили обо всем: о том, какие прежде бывали урожаи и какие нынче бывают; о том, как прежде живали помещики и как нынче живут; о том, что соль, что ли, прежде лучше была, а только нет нынче прежнего огурца.

Эти разговоры имели то преимущество, что текли, как вода, и без труда забывались; следовательно, их можно было возобновлять без конца с таким же интересом, как будто они только сейчас в первый раз пущены в ход. При этих разговорах присутствовала и Евпраксеюшка, которую Арина Петровна так полюбила, что ни на шаг не отпускала от себя. Иногда, наскучив беседою, все трое садились за карты и засиживались до поздней ночи, играя в дураки. Пробовали учить Евпраксеюшку в вист с болваном, но она не поняла. Громадный головлевский дом словно оживал в такие вечера. Во всех окнах светились огни, мелькали тени, так что проезжий мог думать, что тут и невесть какое веселье затеялось. Самовары, кофейники, закуски целый день не сходили со стола. И сердце Арины Петровны веселилось и играло, и загащивалась она, вместо одного дня, дня на три и на четыре. И даже, уезжая в Погорелку, уже заранее придумывала повод, чтоб как-нибудь поскорее вернуться к соблазнам головлевского «хорошего житья».

Ноябрь в исходе, земля на неоглядное пространство покрыта белым саваном. На дворе ночь и метелица; резкий, холодный ветер буровит снег, в одно мгновение наметает сугробы,

захлестывает все, что попадется на пути, и всю окрестность наполняет воплем. Село, церковь, ближний лес — все исчезло в снежной мгле, крутящейся в воздухе; старинный головлевский сад могуче гудит. Но в барском доме светло, тепло и уютно. В столовой стоит самовар, вокруг которого собрались: Арина Петровна, Порфирий Владимирыч и Евпраксеюшка. В сторонке поставлен ломберный стол, на котором брошены истрепанные карты. Из столовой открытые двери ведут, с одной стороны, в образную, всю залитую огнем зажженных лампад; с другой — в кабинет барина, в котором тоже теплится лампадка перед образом. В жарко натопленных комнатах душно, пахнет деревянным маслом и чадом самоварного угля. Евпраксея, усевшись против самовара, перемывает чашки и вытирает их полотенцем. Самовар так и заливается; то загудит во всю мочь, то словно засыпать начнет и пронзительно засопит. Клубы пара вырываются из-под крышки и окутывают туманом чайник, уж с четверть часа стоящий на конфорке. Сидящие беседуют.

— А ну-ко, сколько ты раз сегодня дурой осталась? — спрашивает Арина Петровна Евпраксеюшку.

— Не осталась бы, кабы сама не поддалась. Вам же удовольствие сделать хочу,— отвечает Евпраксеюшка.

— Сказывай. Видела я, какое ты удовольствие чувствовала, как я давеча под тебя тройками да пятерками подваливала. Я ведь не Порфирий Владимирыч: тот тебя балует, все с одной да с одной ходит, а мне, матушка, не из чего.

— Да еще бы вы плутовали!

— Вот уж этого греха за мной не водится!

— А кого я давеча поймала? кто семерку треф с восьмеркой червей за пару спустить хотел? Уж это я сама видала, сама уличила!

Говоря это, Евпраксеюшка встает, чтоб снять с самовара чайник, и поворачивается к Арине Петровне спиной.

— Эк у тебя спина какая... Бог с ней! — невольно вырывается у Арины Петровны.

— Да, у нее спина...— машинально отзывается Иудушка.

— Спина да спина... бесстыдники! И что моя спина вам сделала!

Евпраксеюшка смотрит направо и налево и улыбается. Спина — это ее конек. Давеча даже старик Савельич, повар, и тот загляделся и сказал: ишь ты спина! ровно плита! И она не пожаловалась на него Порфирию Владимирычу.

Чашки поочередно наливаются чаем, и самовар начинает утихать. А метель разыгрывается пуще и пуще; то целым

снежным ливнем ударит в стекла окон, то каким-то невыразимым плачем прокатится вдоль печного борова.

— Метель-то, видно, взаправду взялась,— замечает Арина Петровна,— визжит да повизгивает!

— Ну и пущай повизгивает. Она повизгивает, а мы здесь чаек попиваем — так-то, друг мой маменька! — отзывается Порфирий Владимирыч.

— Ах, нехорошо теперь в поле, коли кого этакая милость божья застанет!

— Кому нехорошо, а нам горюшка мало. Кому темненько да холодненько, а нам и светлехонько, и теплехонько. Сидим да чаек попиваем. И с сахарцем, и со сливочками, и с лимонцем. А захотим с ромцом, и с ромцом будем пить.

— Да, коли ежели теперича...

— Позвольте, маменька. Я говорю: теперича в поле очень нехорошо. Ни дороги, ни тропочки — все замело. Опять же волки. А у нас здесь и светленько, и уютненько, и ничего мы не боимся. Сидим мы здесь да посиживаем, ладком да мирком. В карточки захотелось поиграть — в карточки поиграем; чайку захотелось попить — чайку попьем. Сверх нужды пить не станем, а сколько нужно, столько и выпьем. А отчего это так? Оттого, милый друг маменька, что милость божья не оставляет нас. Кабы не он, царь небесный, может, и мы бы теперь в поле плутали, и было бы нам и темненько, и холодненько... В зипунишечке каком-нибудь, кушачок плохонькой, лаптишечки...

— Чтой-то уж и лаптишечки! Чай, тоже в дворянском званье родились? какие ни есть, а все-таки сапожнишки носим!

— А знаете ли вы, маменька, отчего мы в дворянском званье родились? А все оттого, что милость божья к нам была. Кабы не она, и мы сидели бы теперь в избушечке, да горела бы у нас не свечечка, а лучинушка, а уж насчет чайку да кофейку — об этом и думать бы не смели! Сидели бы; я бы лаптишечки ковырял, вы бы щец там каких-нибудь пустеньких поужинать сбирали, Евпраксеюшка бы краснò ткала... А может быть, на беду, десятский еще с подводой бы выгнал...

— Ну, и десятский в этакую пору с подводой не нарядит!

— Как знать, милый друг маменька! А вдруг полки идут! Может быть, война или возмущение — чтоб были полки́ в срок на местах! Вон, намеднись, становой сказывал мне, Наполеон III помер,— наверное, теперь французы куролесить начнут! Натурально, наши сейчас вперед — ну, и давай, мужичок, подводку! Да в стыть, да в метель, да в бездорожицу — ни на что не посмотрят: поезжай, мужичок, коли началь-

ство велит! А нас с вами покамест еще поберегут, с подводой не выгонят!

— Это что и говорить! велика для нас милость божия!

— А я что же говорю? Бог, маменька,— все. Он нам и дровец для тепла, и провизийцы для пропитания — все он. Мы-то думаем, что всё сами, на свои деньги приобретаем, а как посмотрим, да поглядим, да сообразим — ан все бог. И коли он не захочет, ничего у нас не будет. Я вот теперь хотел бы апельсинчиков, и сам бы поел, и милого дружка маменьку угостил бы, и всем бы по апельсинчику дал, и деньги у меня есть, чтоб апельсинчиков купить, взял бы вынул — давай! Ан бог говорит: тпру! вот я и сижу: филозóв без огурцов.

Все смеются.

— Рассказывайте! — отзывается Евпраксеюшка,— вот у меня дяденька пономарем у Успенья в Песочном был; уж как, кажется, был к богу усерден — мог бы бог что-нибудь для него сделать! — а как застигла его в поле метелица — все равно замерз.

— И я про то же говорю. Коли захочет бог — замерзнет человек, не захочет — жив останется. Опять и про молитву надо сказать: есть молитва угодная и есть молитва неугодная. Угодная достигает, а неугодная — все равно, что она есть, что ее нет. Может, дяденькина-то молитва неугодная была — вот она и не достигла.

— Помнится, я в двадцать четвертом году в Москву ездила — еще в ту пору я Павлом была тяжела,— так ехала я в декабре месяце в Москву...

— Позвольте, маменька. Вот я об молитве кончу. Человек обо всем молится, потому что ему всего нужно. И маслица нужно, и капустки нужно, и огурчиков — ну, словом, всего. Иногда даже чего и не нужно, а он все, по слабости человеческой, просит. Ан богу-то сверху виднее. Ты у него маслица просишь, а он тебе капустки либо лучку даст; ты об вёдрышке да об тепленькой погодке хлопочешь, а он тебе дождичка да с градцем пошлет. И должен ты это понимать и не роптать. Вот мы в прошлом сентябре всё морозцев у бога просили, чтоб озими у нас не подопрели, ан бог морозцу не дал — ну, и сопрели наши озими.

— Еще как сопрели-то! — соболезнует Арина Петровна,— в Новинках у мужичков все озимое поле хоть брось. Придется весной перепахивать да яровым засевать.

— То-то вот и есть. Мы здесь мудрствуем да лукавим, и так прикинем, и этак примерим, а бог разом, в один момент, все наши планы-соображения в прах обратит. Вы, маменька,

что-то хотели рассказать, что с вами в двадцать четвертом году было?

— Что такое! ништо уж я позабыла! Должно быть, все об ней же, об милости божьей. Не помню, мой друг, не помню.

— Ну, бог даст, в другое время вспомните. А покуда там на дворе кутит да мутит, вы бы, милый друг, вареньица покушали. Это вишенки, головлевские! Евпраксеюшка сама варила.

— И то ем. Вишенки-то мне, признаться, теперь в редкость. Прежде, бывало, частенько-таки лакомливалась ими, ну, а теперь... Хороши у тебя в Головлеве вишни, сочные, крупные; вот в Дубровине как ни старались разводить — всё несладки выходят. Да ты, Евпраксеюшка, французской-то водки клала в варенье?

— Как не класть! как вы учили, так и делала. Да вот я об чем хотела спросить: вы, как огурцы солите, кладете кардамону?

Арина Петровна на некоторое время задумывается и даже руками разводит.

— Не помню, мой друг; кажется, прежде я кардамону клала. Теперь — не кладу: теперь какое мое соленье! а прежде клала... даже очень хорошо помню, что клала! Да вот домой приеду, в рецептах пороюсь, не найду ли. Я ведь, как в силах была, все примечала да записывала. Где что понравится, я сейчас все выспрошу, запишу на бумажку да дома и пробую. Я один раз такой секрет, такой секрет достала, что тысячу рублей давали — не открывает тот человек, да и дело с концом! А я ключнице четвертачок сунула — она мне все до капли пересказала!

— Да, маменька, в свое время вы таки были... министр!

— Министр не министр, а могу бога благодарить: не растранжирила, а присовокупила. Вот и теперь поедаю от трудов своих праведных: вишни-то в Головлеве ведь я развела!

— И спасибо вам за это, маменька, большое спасибо! Вечное спасибо и за себя, и за потомков — вот как!

Иудушка встает, подходит к маменьке и целует у ней ручку.

— И тебе спасибо, что мать покоишь! Да, хороши у тебя запасы, очень хороши!

— Что у нас за запасы! вот у вас бывали запасы, так это так. Сколько одних погребов было, и нигде ни одного местечка пустого!

— Бывали и у меня запасы — не хочу солгать, никогда не была бездомовницей. А что касается до того, что погребов было много, так ведь тогда и колесо большое было, ртов-то

вдесятеро против нынешнего было. Одной дворни сколько — всякому припаси да всякого накорми. Тому огурчика, тому кваску — понемножку да помаленьку,— ан, смотришь, и многонько всего изойдет.

— Да, хорошее было время. Всего тогда много было. И хлеба и фруктов — всего в изобилии!

— Навозу копили больше — оттого и родилось.

— Нет, маменька, и не от этого. А было божье благословение — вот отчего. Я помню, однажды папенька из саду яблоко апорт принес, так все даже удивились: на тарелке нельзя было уместить.

— Этого не помню. Вообще знаю, что были яблоки хорошие, а чтобы такие были, в тарелку величиной,— этого не помню. Вот карася в двадцать фунтов в дубровинском пруде в ту коронацию изловили — это точно, что было.

— И караси и фрукты — все тогда крупное было. Я помню, арбузы Иван-садовник выводил — вот какие!

Иудушка сначала оттопыривает руки, потом скругляет их, причем делает вид, что никак не может обхватить.

— Бывали и арбузы. Арбузы, скажу тебе, друг мой, к году бывают. Иной год их и много, и они хороши, другой год и немного и невкусные, а в третий год и совсем ничего нет. Ну, и то еще надо сказать: что где поведется. Вон у Григорья Александрыча, в Хлебникове, ничего не родилось — ни ягод, ни фруктов, ничего. Одни дыни. Только уж и дыни бывали!

— Стало быть, ему на дыни милость божья была!

— Да, уж конечно. Без божьей милости нигде не обойдешься, никуда от нее не убежишь!

Арина Петровна уж выпила две чашки и начинает поглядывать на ломберный стол. Евпраксеюшка тоже так и горит нетерпением сразиться в дураки. Но планы эти расстроиваются по милости самой Арины Петровны, потому что она внезапно что-то припоминает.

— А ведь у меня новость есть,— объявляет она,— письмо вчера от сироток получила.

— Молчали-молчали, да и откликнулись. Видно, туго пришлось, денег просят?

— Нет, не просят. Вот полюбуйся.

Арина Петровна достает из кармана письмо и отдает Иудушке, который читает:

«Вы, бабушка, больше нам ни индюшек, ни кур не посылайте. Денег тоже не посылайте, а копите на проценты. Мы не в Москве, а в Харькове, поступили на сцену в театр, а летом по ярмаркам будем ездить. Я, Аннинька, в «Периколе»

дебютировала, а Любинька в «Анютиных глазках». Меня несколько раз вызывали, особенно после сцены, где Перикола выходит навеселе и поет: *я гото-о-ва, готова, готооова!* Любинька тоже очень понравилась. Жалованья мне директор положил по сту рублей в месяц и бенефис в Харькове, а Любиньке по семидесяти пяти в месяц и бенефис летом, на ярмарке. Кроме того, подарки бывают от офицеров и от адвокатов. Только адвокаты иногда фальшивые деньги дают, так нужно быть осторожной. И вы, милая бабушка, всем в Погорелке пользуйтесь, а мы туда никогда не приедем и даже не понимаем, как там можно жить. Вчера первый снег выпал, и мы с здешними адвокатами на тройках ездили; один на Плеваку похож — чудо, как хорош! Поставил на голову стакан с шампанским и плясал трепака — прелесть как весело! Другой — не очень собой хорош, вроде петербургского Языкова. Представьте, расстроил себе воображение чтением «Собрания лучших русских песен и романсов» и до того ослаб, что даже в суде падает в обморок. И так почти каждый день проводим то с офицерами, то с адвокатами. Катаемся, в лучших ресторанах обедаем, ужинаем и ничего не платим. А вы, бабушка, ничего в Погорелке не жалейте, и что там растет: хлеб, цыплят, грибы — всё кушайте. Мы бы и капитал с удово...

Прощайте, приехали наши кавалеры, опять на тройках кататься зовут. Милка! божественная! прощайте!

Аннинька.
И я тоже — *Любинька.*

— Тьфу! — отплевывается Иудушка, возвращая письмо.

Арина Петровна сидит задумавшись и некоторое время не отвечает.

— Вы им, маменька, ничего еще не отвечали?

— Нет еще, и письмо-то вчера только получила; с тем и поехала к вам, чтоб показать, да вот за тем да за сем чуть было не позабыла.

— Не отвечайте. Лучше.

— Как же я не отвечу? Ведь я им отчетом обязана. Погорелка-то ихняя.

Иудушка тоже задумывается; какой-то зловещий план мелькает в его голове.

— А я все об том думаю, как они себя соблюдут в вертепе-то этом? — продолжает между тем Арина Петровна,— ведь это такое дело, что тут только раз оступись — потом уж чести-то девичьей и не воротишь! Ищи ее потом да свищи!

— Очень им она нужна! — огрызается Иудушка.

— Как бы то ни было... Для девушки это даже, можно сказать, первое в жизни сокровище... Кто потом эдакую-то за себя возьмет?

— Нынче, маменька, и без мужа все равно что с мужем живут. Нынче над предписаниями-то религии смеются. Дошли до куста, под кустом обвенчались — и дело в шляпе. Это у них гражданским браком называется.

Иудушка вдруг спохватывается, что ведь и он находится в блудном сожительстве с девицей духовного звания.

— Конечно, иногда по нужде...— поправляется он,— коли ежели человек в силах и притом вдовый... по нужде и закону перемена бывает!

— Что говорить! В нужде и кулик соловьем свищет. И святые в нужде согрешали, не то что мы, грешные!

— Так вот оно и есть. На вашем месте, знаете ли, что бы я сделал?

— Посоветуй, мой друг, скажи.

— Я бы от них полную доверенность на Погорелку вытребовал.

Арина Петровна пугливо взглядывает на него.

— Да у меня и то полная доверенность на управление есть,— произносит она.

— Не на одно управление. А так, чтобы и продать, и заложить, и, словом, чтоб всем можно было по своему усмотрению распорядиться...

Арина Петровна опускает глаза в землю и молчит.

— Конечно, это такой предмет, что надо его обдумать. Подумайте-ка, маменька! — настаивает Иудушка.

Но Арина Петровна продолжает молчать. Хотя, вследствие старости, сообразительность у нее значительно притупела, но ей все-таки как-то не по себе от инсинуаций Иудушки. И боится-то она Иудушки: жаль ей тепла, и простора, и изобилия, которые царствуют в Головлеве, и в то же время сдается, что недаром он об доверенности заговорил, что это он опять новую петлю накидывает. Положение делается настолько натянутым, что она начинает уже внутренно бранить себя, зачем ее дернуло показывать письмо. К счастью, Евпраксеюшка является на выручку.

— Что ж! будем, что ли, в карты-то играть? — спрашивает она.

— Давай! давай! — спешит ответить Арина Петровна и живо выскакивает из-за чая. Но по дороге к ломберному столу ее посещает новая мысль.

— А ты знаешь ли, какой сегодня день? — обращается она к Порфирию Владимирычу.

— Двадцать третье ноября, маменька,— с недоумением отвечает Иудушка.

— Двадцать третье-то, двадцать третье, да помнишь ли ты, что двадцать третьего-то ноября случилось? Про панихидку-то небось позабыл?

Порфирий Владимирыч бледнеет и крестится.

— Ах, господи! вот так беда! — восклицает он,— да так ли? точно ли? позвольте-ка, я в календаре посмотрю.

Через несколько минут он приносит календарь и отыскивает в нем вкладной лист, на котором написано:

«23 ноября. Память кончины милого сына Владимира.
Покойся, милый прах, до радостного утра!
и моли бога за твоего Папу, который в сей день будет неуклонно творить по тебе поминовение и с литургиею».

— Вот тебе и на! — произносит Порфирий Владимирыч,— ах, Володя, Володя! не добрый ты сын! дурной! Видно, не молишься богу за папу, что он даже память у него отнял! как же быть-то с этим, маменька?

— Не бог знает что случилось — и завтра панихидку отслужишь. И панихидку и обеденку — всё справим. Все я, старая да беспамятная, виновата. С тем и ехала, чтобы напомнить, да все дорогой и растеряла.

— Ах, грех какой! Хорошо еще, что лампадки в образной зажжены. Точно ведь свыше что меня озарило. Ни праздник у нас сегодня, ни что — просто с Введеньева дня лампадки зажжены,— только подходит ко мне давеча Евпраксеюшка, спрашивает: «Лампадки-то боковые тушить, что ли?» А я, точно вот толкнуло меня, подумал эдак с минуту и говорю: не тронь! Христос с ними, пускай погорят! Ан вот оно что!

— И то хорошо, хоть лампадочки погорели! И то для души облегчение! Ты где садишься-то? опять, что ли, под меня ходить будешь или крале своей станешь мирволить?

— Да уж я и не знаю, маменька, мне можно ли...

— Чего не можно! Садись! Бог простит! не нарочно ведь, не с намерением, а от забвения. Это и с праведниками случалось! Завтра вот чем свет встанем, обеденку отстоим, панихидочку отслужим — все как следует сделаем. И его душа будет радоваться, что родители да добрые люди об нем вспомнили, и мы будем покойны, что свой долг выполнили. Так-то, мой друг. А горевать не след — это я всегда скажу: первое, горева́ньем сына не воротишь, а второе — грех перед богом!

Иудушка урезонивается этими словами и целует у маменьки руку, говоря:

— Ах, маменька, маменька! золотая у вас душа — право!

Кабы не вы — ну что бы я в эту минуту делал! Ну, просто пропал бы! как есть, растерялся бы, пропал!

Порфирий Владимирыч делает распоряжение насчет завтрашней церемонии, и все садятся за карты. Сдают раз, сдают другой, Арина Петровна горячится и негодует на Иудушку за то, что он ходит под Евпраксеюшку все с одной. В промежутках сдач Иудушка предается воспоминаниям о погибшем сыне.

— А какой ласковый был! — говорит он,— ничего, бывало, без позволения не возьмет. Бумажки нужно — можно, папа, бумажки взять? — Возьми, мой друг! Или: не будете ли, папа, такой добренький, сегодня карасиков в сметане к завтраку заказать? — Изволь, мой друг! Ах, Володя! Володя! Всем ты был пайка, только тем не пайка, что папку оставил!

Проходит еще несколько туров; опять воспоминания.

— И что такое с ним вдруг случилось — и сам не понимаю! Жил хорошохонько да смирнехонько, жил да поживал, меня радовал — чего бы, кажется, лучше! вдруг — бац! Ведь грех-то, представьте, какой! подумайте только об этом, маменька, на что человек посягнул! на жизнь свою, на дар отца небесного! Из-за чего? зачем? чего ему недоставало? Денег, что ли? Жалованья я, кажется, никогда не задерживаю; даже враги мои, и те про меня этого не скажут. Ну а ежели маловато показалось — так не прогневайся, друг! У папы денежки тоже вот где сидят! Коли мало денег — умей себя сдерживать. Не все сладенького, не все с сахарцом, часко̀м и с кваском покушай! Так-то, брат! Вот папа твой, и надеялся он давеча денежек получить, ан приказчик пришел: терпенковские крестьяне оброка не платят.— Ну, нечего делать, написал к мировому прошение! Ах, Володя, Володя! Нет, не пайка ты, бросил папку! Сиротой оставил!

И чем живее идет игра, тем обильнее и чувствительнее делаются воспоминания.

— И какой умный был! Помню я такой случай. Лежит он в кори — лет не больше семи ему было,— только подходит к нему покойница Саша, а он ей и говорит: мама! мама! ведь правда, что крылышки только у ангелов бывают? Ну, та и говорит: да, только у ангелов. Отчего же, говорит, у папы, как он сюда сейчас входил, крылышки были?

Наконец разыгрывается какая-то гомерическая игра. Иудушка остается дураком с целыми восемью картами на руках, в числе которых козырные туз, король и дама. Поднимается хохот, подтрунивание, и всему этому благосклонно вторит сам Иудушка. Но среди общего разгара веселости Арина Петровна вдруг стихает и прислушивается.

— Стойте! не шумите! кто-то едет! — говорит она.

Иудушка с Евпраксеюшкой тоже прислушиваются, но без результата.

— Говорю вам: едут! Вона... чу! ветром сюда вдруг подуло... Чу! едет! и даже близко!

Вновь начинают вслушиваться и, действительно, слышат какое-то далекое позвякивание, то доносимое, то относимое ветром. Проходит минут пять, и колокольчик слышится уже явственно, а вслед за ним и голоса на дворе.

— Молодой барин Петр Порфирьич приехали! — доносится из передней.

Иудушка встал и застыл на месте, бледный как полотно.

Петенька вошел как-то вяло, поцеловал у отца руку, потом соблюл тот же церемониал относительно бабушки, поклонился Евпраксеюшке и сел. Это был малый лет двадцати пяти, довольно красивой наружности, в дорожной офицерской форме. Вот все, что можно сказать про него, да и сам Иудушка едва ли знал что-нибудь больше. Взаимные отношения отца и сына были таковы, что их нельзя было даже назвать натянутыми: совсем как бы ничего не существовало. Иудушка знал, что есть человек, значащийся по документам его сыном, которому он обязан в известные сроки посылать условленное, то есть им же самим определенное жалованье, и от которого, взамен того, он имеет право требовать почтения и повиновения. Петенька, с своей стороны, знал, что есть у него отец, который может его во всякое время притеснить. Он довольно охотно ездил в Головлево, особливо с тех пор, как вышел в офицеры, но не потому, чтобы находил удовольствие беседовать с отцом, а просто потому, что всякого человека, не отдавшего себе никакого отчета в жизненных целях, как-то инстинктивно тянет в *свое место.* Но теперь он, очевидно, приехал по нужде, по принуждению, вследствие чего он не выразил даже ни одного из тех знаков радостного недоумения, которыми обыкновенно ознаменовывает всякий блудный дворянский сын свой приезд в родное место.

Петенька был неразговорчив. На все восклицания отца: вот так сюрприз! ну, брат, одолжил! а я-то сижу да думаю: кого это, прости господи, по ночам носит? — ан вот он кто! и т. д.— он отвечал или молчанием, или принужденною улыбкою. А на вопрос: и как это тебе вдруг вздумалось? — отвечал даже сердечно: так вот, вздумалось и приехал.

— Ну, спасибо тебе! спасибо! вспомнил про отца! обрадовал! Чай, и про бабушку-старушку вспомнил?

— И про бабушку вспомнил.

— Стой! да тебе, может быть, вспомнилось, что сегодня годовщина по брате Володеньке?

— Да, и про это вспомнилось.

В таком тоне разговор длился с полчаса, так что нельзя было понять, взаправду ли отвечает Петенька или только отделывается. Поэтому как ни вынослив был Иудушка относительно равнодушия своих детей, однако и он не выдержал и заметил:

— Да, брат, неласков ты! нельзя сказать, чтоб ты ласковый сын был!

Смолчи на этот раз Петенька, прими папенькино замечание с кротостью, а еще лучше, поцелуй у папеньки ручку и скажи ему: извините меня, добренький, папенька! я ведь с дороги, устал! — и все бы обошлось благополучно. Но Петенька поступил совсем как неблагодарный.

— Каков есть! — ответил он так грубо, словно хотел сказать: да отвяжись ты от меня, сделай милость!

Тогда Порфирию Владимирычу сделалось так больно, так больно, что и он уж не нашел возможным молчать.

— Кажется, как я об вас заботился! — сказал он с горечью,— даже и здесь сидишь, а все думаешь: как бы получше да поскладнее, да чтобы всем было хорошохонько да уютненько, без нужды да без горюшка... А вы всё от меня прочь да прочь!

— Кто же... *вы?*

— Ну, ты... да, впрочем, и покойник, царство ему небесное, был такой же...

— Что ж! я вам очень благодарен!

— Никакой я от вас благодарности не вижу! Ни благодарности, ни ласки — ничего!

— Характер неласковый — вот и все. Да вы что всё во множественном говорите? один уж умер...

— Да, умер, бог наказал. Бог непокорных детей наказывает. И все-таки я его помню. Он непокорен был, а я его помню. Вот завтра обеденку отстоим и панихидку отслужим. Он меня обидел, а я все-таки свой долг помню. Господи ты боже мой! да что ж это нынче делается! Сын к отцу приехал и с первого же слова уже фыркает! Так ли мы в наше время поступали! Бывало, едешь в Головлево-то, да за тридцать верст все твердишь: помяни, господи, царя Давида и всю кротость его! Да вот маменька живой человек — она скажет! А нынче... не понимаю! не понимаю!

— И я не понимаю. Приехал я смирно, поздоровался с вами, ручку поцеловал, теперь сижу, вас не трогаю, пью чай,

а коли дадите ужинать — и поужинаю. С чего вы всю эту историю подняли?

Арина Петровна сидит в своем кресле и вслушивается. И сдается ей, что она все ту же знакомую повесть слышит, которая давно, и не запомнит она когда, началась. Закрылась было совсем эта повесть, да вот и опять, нет-нет, возьмет да и раскроется на той же странице. Тем не менее она понимает, что подобная встреча между отцом и сыном не обещает ничего хорошего, и потому считает долгом вмешаться в распрю и сказать примирительное слово.

— Ну-ну, петухи индейские! — говорит она, стараясь придать своему поучению шутливый тон,— только что свиделись, а уж и разодрались! Так и наскакивают друг на дружку, так и наскакивают! Смотри, сейчас перья полетят! Ах-ах-ах! горе какое! А вы, молодцы, смирненько посидите да ладком между собою поговорите, а я, старуха, послушаю да полюбуюсь на вас! Ты, Петенька,— уступи! Отцу, мой друг, всегда нужно уступить, потому что он — отец! Ежели иной раз и горькóнько что от отца покажется, а ты прими с готовностью, да с покорностью, да с почтением, потому что ты — сын! Может, из горького-то да вдруг сладкое сделается — вот ты и в выигрыше! А ты, Порфирий Владимирыч — снизойди! Он — сын, человек молодой, неженный. Он семьдесят пять верст по ухабам да по сугробам проехал: и устал, и иззяб, и уснуть ему хочется! Вот чай-то уж кончили, вели-ка подавать ужинать, да и на покой! Так-то, други мои! Разбредемся все по своим местам, помолимся, ан сердце-то у нас и пройдет. И все какие у нас дурные мысли были — все сном бог прогонит! А завтра ранехонько встанем да об покойнике помолимся. Обеденку отстоим, панихидку отслушаем, а потом, как воротимся домой, и побеседуем. И всякий, отдохнувши, свое дело по порядку, как следует, расскажет. Ты, Петенька, про Петербург, а ты, Порфирий, про деревенское свое житье. А теперь поужинаем — и с богом, на боковую!

Это увещание оказывает свое действие не потому, чтобы оно заключало что-нибудь действительно убедительное, а потому, что Иудушка и сам видит, что он зарапортовался, что лучше как-нибудь миром покончить день. Поэтому он встает с своего места, целует у маменьки ручку, благодарит «за науку» и приказывает подавать ужинать. Ужин проходит сурово и молчаливо.

Столовая опустела, все разошлись по своим комнатам. Дом мало-помалу стихает, и мертвая тишина ползет из комнаты в комнату и наконец доползает до последнего убежища, в котором дольше прочих закоулков упорствовала обрядовая

жизнь, то есть до кабинета головлевского барина. Иудушка наконец покончил с поклонами, которые он долго-долго отсчитывал перед образами, и тоже улегся в постель.

Лежит Порфирий Владимирыч в постели, но не может сомкнуть глаз. Чует он, что приезд сына предвещает что-то не совсем обыкновенное, и уже заранее в голове его зарождаются всевозможные пустословные поучения. Поучения эти имеют то достоинство, что они ко всякому случаю пригодны и даже не представляют собой последовательного сцепления мыслей. Ни грамматической, ни синтаксической формы для них тоже не требуется: они накапливаются в голове в виде отрывочных афоризмов и появляются на свет божий по мере того, как наползают на язык. Тем не менее, как только случится в жизни какой-нибудь казус, выходящий из ряда обыкновенных, так в голове поднимается такая суматоха от наплыва афоризмов, что даже сон не может умиротворить ее.

Не спится Иудушке: целые массы пустяков обступили его изголовье и давят его. Собственно говоря, загадочный приезд Петеньки не особенно волнует его, ибо, что бы ни случилось, Иудушка уже *ко всему* готов заранее. Он знает, что *ничто* не застанет его врасплох и *ничто* не заставит сделать какое-нибудь отступление от той сети пустых и насквозь прогнивших афоризмов, в которую он закутался с головы до ног. Для него не существует ни горя, ни радости, ни ненависти, ни любви. Весь мир, в его глазах, есть гроб, могущий служить лишь поводом для бесконечного пустословия. Уж на что было больше горя, когда Володя покончил с собой, а он и тут устоял. Это была очень грустная история, продолжавшаяся целых два года. Целых два года Володя перемогался; сначала выказывал гордость и решимость не нуждаться в помощи отца; потом ослаб, стал молить, доказывать, грозить... И всегда встречал в ответ готовый афоризм, который представлял собой камень, поданный голодному человеку. Сознавал ли Иудушка, что это камень, а не хлеб, или не сознавал — это вопрос спорный; но, во всяком случае, у него ничего другого не было, и он подавал свой камень, как единственное, что он мог дать. Когда Володя застрелился, он отслужил по нем панихиду, записал в календаре день его смерти и обещал и на будущее время каждогодно 23-го ноября служить панихиду «и с литургиею». Но когда, по временам, даже и в нем поднимался какой-то тусклый голос, который бормотал, что все-таки разрешение семейного спора самоубийством — вещь по малой мере подозрительная, тогда он выводил на сцену целую свиту готовых афоризмов, вроде «бог непокорных детей наказывает», «гордым бог противится» и проч.— и успокоивался.

Вот и теперь. Нет сомнения, что с Петенькой случилось что-то недоброе, но, что́ бы ни случилось, он, Порфирий Головлев, должен быть выше этих случайностей. Сам запутался — сам и распутывайся; умел кашу заварить — умей ее и расхлебывать; любишь кататься — люби и саночки возить. Именно так; именно это самое он и скажет завтра, об чем бы ни сообщил ему сын. А что, ежели и Петенька, подобно Володе, откажется принять камень вместо хлеба? Что, ежели и он... Иудушка отплевывается от этой мысли и приписывает ее наваждению лукавого. Он переворачивается с боку на бок, усиливается уснуть и не может. Только что начнет заводить его сон — вдруг: и рад бы до неба достать, да руки коротки! или: по одежке протягивай ножки... вот я... вот ты... прытки вы очень, а знаешь пословицу: поспешность потребна только блох ловить? Обступили кругом пустяки, ползут, лезут, давят. И не спит Иудушка под бременем пустословия, которым он надеется завтра утолить себе душу.

Не спится и Петеньке, хотя дорога порядком-таки изломала его. Есть у него дело, которое может разрешиться только здесь, в Головлеве, но такое это дело, что и невесть как за него взяться. По правде говоря, Петенька отлично понимает, что дело его безнадежное, что поездка в Головлево принесет только лишние неприятности, но в том-то и штука, что есть в человеке какой-то темный инстинкт самосохранения, который пересиливает всякую сознательность и который так и подталкивает: испробуй все до последнего! Вот он и приехал, да, вместо того чтоб закалить себя и быть готовым перенести все, чуть было с первого шагу не разругался с отцом. Что-то будет из этой поездки? совершится ли чудо, которое должно превратить камень в хлеб, или не совершится?

Не прямее ли было бы взять револьвер и приставить его к виску: господа! я недостоин носить ваш мундир! я растратил казенные деньги! и потому сам себе произношу справедливый и строгий суд! Бац — и все кончено! Исключается из списков *умерший* поручик Головлев! Да, это было бы решительно и... красиво. Товарищи сказали бы: ты был несчастен, ты увлекался, но... ты был *благородный* человек! Но он, вместо того чтобы сразу поступить *таким образом*, довел дело до того, что поступок его стал всем известен,— и вот его отпустили на определенный срок с тем, чтобы в течение его растрата была непременно пополнена. А потом — вон из полка. И для достижения этой-то цели, в конце которой стоял позорный исход только что начатой карьеры, он поехал в Головлево, поехал с полной уверенностью получить камень вместо хлеба!

А может быть, что-нибудь и будет?! Ведь случается же... Вдруг нынешнее Головлево исчезнет, и на месте его очутится новое Головлево, с новою обстановкой, в которой он... Не то чтобы отец... умрет — зачем? — а так... вообще, будет новая «обстановка»... А может быть, и бабушка — ведь у ней деньги есть! Узнает, что беда впереди,— и вдруг даст! На, скажет, поезжай скорее, покуда срок не прошел! И вот он едет, торопит ямщиков, насилу поспевает на станцию — и является в полк как раз за два часа до срока! Молодец Головлев! — говорят товарищи — руку, благородный молодой человек! и пусть отныне все будет забыто! И он не только остается в полку попрежнему, но производится сначала в штабс-капитаны, потом в капитаны, делается полковым адъютантом (казначеем он уж был), и, наконец, в день полкового юбилея...

Ах! поскорее бы эта ночь прошла! Завтра... ну, завтра пусть будет, что будет! Но что он должен будет завтра выслушать... ах, чего только он не выслушает! Завтра... но для чего же завтра? ведь есть и еще целый день впереди... Ведь он выговорил себе два дня собственно для того, чтобы иметь время убедить, растрогать... Черта с два! убедишь тут, растрогаешь! Нет уж...

Тут мысли его окончательно путаются и постепенно, одна за другой, утопают в сонной мгле. Через четверть часа головлевская усадьба всецело погружается в тяжкий сон.

На другой день, рано утром, весь дом уже на ногах. Все поехали в церковь, кроме, впрочем, Петеньки, который остался дома под предлогом, что устал с дороги. Наконец отслушали обедню и панихиду и воротились домой. Петенька, по обыкновению, подошел к руке отца, но Иудушка подал руку боком, и все заметили, что он даже не перекрестил сына. Напились чаю, поели поминальной кутьи; Иудушка ходил мрачный, шаркал ногами, избегал разговоров, вздыхал, беспрестанно складывал руки, в знак умной молитвы, и совсем не глядел на сына. С своей стороны, и Петенька ежился и молча курил папироску за папироской. Вчерашнее натянутое положение не только не улучшилось за ночь, но приняло такие резкие тоны, что Арина Петровна серьезно обеспокоилась и решилась разведать у Евпраксеюшки, не случилось ли чего-нибудь.

— Что такое сделалось? — спросила она,— что они с утра словно вороги друг на друга смотрят?

— А я почем знаю? разве я в ихние дела вхожу! — отгрызнулась Евпраксея.

— Уж не ты ли? Может, и внучек к тебе пристает?

— Чего ко мне приставать! Просто давеча подкараулил меня в коридоре, а Порфирий Владимирыч и увидели!

— Н-да, так вот оно что!

И действительно, несмотря на крайность своего положения, Петенька отнюдь не оставил присущего ему легкомыслия. И он тоже загляделся на могучую спину Евпраксеюшки и решился ей высказать это. С этою собственно целью он и в церковь не поехал, надеясь, что и Евпраксея, в качестве экономки, останется дома. И вот, когда в доме все стихло, он накинул на плечи шинель и притаился в коридоре. Прошла минута, другая, хлопнула дверь, ведущая из сеней в девичью, и в конце коридора показалась Евпраксея, держа в руках поднос, на котором лежал теплый сдобный крендель к чаю. Но не успел еще Петенька вытянуть ее хорошенько между лопатками, не успел произнести: вот это так спина! — как дверь из столовой отворилась, и в ней показался отец.

— Ежели ты сюда пакостничать, мерзавец, приехал, так я тебя с лестницы велю сбросить! — произнес Иудушка каким-то бесконечно злым голосом.

Разумеется, Петенька в один момент стушевался.

Он не мог, однако ж, не понять, что утреннее происшествие было не из таких, чтобы благоприятно подействовать на его фонды. Поэтому он решился молчать и отложить объяснение до завтра. Но в то ж время он не только ничего не делал, чтоб унять раздражение отца, но, напротив того, вел себя самым неосмотрительным и дурацким образом. Не переставая курил папироски, не обращая никакого внимания на то, что отец усиленно отмахивался от облаков дыма, которыми он наполнил комнату. Затем поминутно кидал умильно-дурацкие взоры на Евпраксеюшку, которая под влиянием их как-то вкось улыбалась, что тоже замечал Иудушка.

День потянулся вяло. Попробовала было Арина Петровна в дураки с Евпраксеюшкой сыграть, но ничего из этого не вышло. Не игралось, не говорилось, даже пустяки как-то не шли на ум, хотя у всех были в запасе целые непочатые углы этого добра. Насилу пришел обед, но и за обедом все молчали. После обеда Арина Петровна собралась было в Погорелку, но Иудушку даже испугало это намерение доброго друга маменьки.

— Христос с вами, голубушка! — воскликнул он,— что ж, одного, что ли, вы меня оставить хотите, с глазу на глаз с этим... дурным сыном? Нет, нет! и не думайте! не пущу!

— Да что такое? случилось, что ли, что-нибудь промежду вас! сказывай! — спросила она его.

— Нет, покамест еще ничего не случилось, но вы увидите... Нет, вы уж не оставьте меня! пусть уж при вас... Это недаром! недаром он прикатил... Так если что случится — уж вы будьте свидетельницей!

Арина Петровна покачала головой и решилась остаться.

После обеда Порфирий Владимирыч удалился спать, услав предварительно Евпраксеюшку на село к попу; Арина Петровна, отложив отъезд в Погорелку, тоже ушла в свою комнату и, усевшись в кресло, дремала. Петенька счел это время самым благоприятным, чтоб попытать счастья у бабушки, и отправился к ней.

— Что ты? в дурачки, что ли, с старухой поиграть пришел? — встретила его Арина Петровна.

— Нет, бабушка, я к вам за делом.

— Ну, рассказывай, говори.

Петенька с минуту помялся на месте и вдруг брякнул:

— Я, бабушка, казенные деньги проиграл.

У Арины Петровны даже в глазах потемнело от неожиданности.

— И много? — спросила она перепуганным голосом, глядя на него остановившимися глазами.

— Три тысячи.

Последовала минута молчания; Арина Петровна беспокойно смотрела из стороны в сторону, точно ждала, не явится ли откуда к ней помощь.

— А ты знаешь ли, что за это и в Сибирь недолго попасть? — наконец произнесла она.

— Знаю.

— Ах, бедный ты, бедный!

— Я, бабушка, у вас хотел взаймы попросить... я хороший процент заплачу.

Арина Петровна совсем испугалась.

— Что ты, что ты! — заметалась она,— да у меня и денег только на гроб да на поминовенье осталось! И сыта я только по милости внучек, да вот чем у сына полакомлюсь! Нет, нет, нет! Ты уж меня оставь! Сделай милость, оставь! Знаешь что, ты бы у папеньки попросил!

— Нет, уж что! от железного попа да каменной просвиры ждать! Я, бабушка, на вас надеялся!

— Что ты! что ты! да я бы с радостью, только какие же у меня деньги! и денег у меня таких нет! А ты бы к папеньке обратился, да с лаской, да с почтением! вот, мол, папенька, так и так: виноват, мол, по молодости, проштрафился... Со смешком да с улыбочкой, да ручку поцелуй, да на коленки встань, да поплачь — он это любит,— ну и развяжет папенька мошну для милого сынка.

— А что вы думаете! сделать разве? Стойте-ка! стойте! а что, бабушка, если б вы ему сказали: коли не дашь денег — прокляну! Ведь он этого давно боится, проклятья-то вашего.

— Ну, ну, зачем проклинать! Попроси и так. Попроси, мой друг! Ведь ежели отцу и лишний разок поклонишься, так ведь голова не отвалится: отец он! Ну, и он с своей стороны увидит... сделай-ка это! право!

Петенька ходит подбоченившись взад и вперед, словно обдумывает; наконец останавливается и говорит:

— Нет уж. Все равно — не даст. Что бы я ни делал, хоть бы лоб себе разбил кланявшись — все одно не даст. Вот кабы вы проклятием пригрозили... Так как же мне быть-то, бабушка?

— Не знаю, право. Попробуй — может, и смягчишь. Как же ты это, однако ж, такую себе волю дал: легко ли дело, казенные деньги проиграл? научил тебя, что ли, кто-нибудь?

— Так вот, взял да и проиграл. Ну, коли у вас своих денег нет, так из сиротских дайте!

— Что ты? опомнись! как я могу сиротские деньги давать? Нет, уж сделай милость, уволь ты меня! не говори ты со мной об этом, ради Христа!

— Так не хотите? Жаль. А я бы хороший процент дал. Пять процентов в месяц хотите? нет? ну, через год капитал на капитал?

— И не соблазняй ты меня! — замахала на него руками Арина Петровна,— уйди ты от меня, ради Христа! еще папенька неравно̀ услышит, скажет, что я же тебя возмутила! Ах ты, господи! Я, старуха, отдохнуть хотела, даже задремала совсем, а он вон с каким делом пришел!

— Ну, хорошо. Я уйду. Стало быть, нельзя? Прекрасно-с. По-родственному. Из-за трех тысяч рублей внук в Сибирь должен пойти! Напутственный-то молебен отслужить не забудьте!

Петенька хлопнул дверью и ушел. Одна из его легкомысленных надежд лопнула — что теперь предпринять? Остается одно: во всем открыться отцу. А может быть... Может быть, что-нибудь...

«Пойду сейчас и покончу разом! — говорил он себе,— или нет! Нет, зачем же сегодня... Может быть, что-нибудь... да, впрочем, что же такое может быть? Нет, лучше завтра... Все-таки, хоть нынче день... Да, лучше завтра. Скажу — и уеду».

На том и покончил, что завтра — всему конец...

После объяснения с бабушкой вечер потянулся еще вялее. Даже Арина Петровна притихла, узнавши действительную причину приезда Петеньки. Иудушка пробовал было заигрывать с маменькой, но, видя, что она об чем-то задумывается, замолчал. Петенька тоже ничего не делал, только курил. За

ужином Порфирий Владимирыч обратился к нему с вопросом:

— Да скажешь ли ты наконец, зачем ты сюда пожаловал?

— Завтра скажу,— угрюмо ответил Петенька.

Петенька встал рано после почти совсем бессонной ночи. Все та же раздвоенная мысль преследовала его — мысль, начинавшаяся надеждой: может быть, и даст! и неизменно кончавшаяся вопросом: и зачем я сюда приехал? Может быть, он не понимал своего отца, но, во всяком случае, он не знал за ним ни одного чувства, ни одной слабой струны, за которую предстояла бы возможность ухватиться и эксплуатируя которую можно было бы чего-нибудь достигнуть. Он чувствовал только одно: что в присутствии отца он находится лицом к лицу с чем-то неизъяснимым, неуловимым. Незнание, с какого конца подойти, с чего начать речь, порождало ежели не страх, то, во всяком случае, беспокойство. И так шло с самого детства. Всегда, с тех пор как он начал себя помнить, дело было поставлено так, что лучше казалось совсем отказаться от какого-нибудь предположения, нежели поставить его в зависимость от решения отца. Так было и теперь. С чего он начнет? как начнет? что скажет?.. Ах, зачем только он приехал?

Им овладела тоска. Тем не менее он понял, что впереди оставалось только несколько часов и что, следовательно, надо же что-нибудь делать. Набравшись напускной решимости, застегнувши сюртук и пошептавши что-то на ходу, он довольно твердым шагом направился к отцовскому кабинету.

Иудушка стоял на молитве. Он был набожен и каждый день охотно посвящал молитве несколько часов. Но он молился не потому, что любил бога и надеялся посредством молитвы войти в общение с ним, а потому, что боялся черта и надеялся, что бог избавит его от лукавого. Он знал множество молитв, и в особенности отлично изучил технику молитвенного стояния. То есть знал, когда нужно шевелить губами и закатывать глаза, когда следует складывать руки ладонями внутрь и когда держать их воздетыми, когда надлежит умиляться и когда стоять чинно, творя умеренные крестные знамения. И глаза и нос его краснели и увлажнялись в определенные минуты, на которые указывала ему молитвенная практика. Но молитва не обновляла его, не просветляла его чувства, не вносила никакого луча в его тусклое существование. Он мог молиться и проделывать все нужные телодвижения — и в то же время смотреть в окно и замечать, не идет ли кто без спросу в погреб и т. д. Это была

совершенно особенная, частная формула жизни, которая могла существовать и удовлетворять себя совсем независимо от общей жизненной формулы.

Когда Петенька вошел в кабинет, Порфирий Владимирыч стоял на коленях с воздетыми руками. Он не переменил своего положения, а только подрыгал одной рукой в воздухе, в знак того, что еще не время. Петенька расположился в столовой, где уже был накрыт чайный прибор, и стал ждать. Эти полчаса показались ему вечностью, тем более что он был уверен, что отец заставляет его ждать нарочно. Напускная твердость, которою он вооружился, мало-помалу стала уступать место чувству досады. Сначала он сидел смирно, потом принялся ходить взад и вперед по комнате, и, наконец, стал что-то насвистывать, вследствие чего дверь кабинета приотворилась, и оттуда послышался раздраженный голос Иудушки:

— Кто хочет свистать, тот может для этого на конюшню идти!

Немного погодя Порфирий Владимирыч вышел, одетый весь в черном, в чистом белье, словно приготовленный к чему-то торжественному. Лицо у него было светлое, умиленное, дышащее смирением и радостью, как будто он сейчас только «сподобился». Он подошел к сыну, перекрестил и поцеловал его.

— Здравствуй, друг! — сказал он.

— Здравствуйте!

— Каково почивал? постельку хорошо ли постлали? клопиков, блошек не чувствовал ли?

— Благодарю вас. Спал.

— Ну, спал — так и слава богу. У родителей только и можно слатѐнько поспать. Это уж я по себе знаю: как ни хорошо, бывало, устроишься в Петербурге, а никогда так сладко не уснешь, как в Головлеве. Точно вот в колыбельке тебя покачивает. Так как же мы с тобой: попьем чайку, что ли, сначала, или ты сейчас что-нибудь сказать хочешь?

— Нет, лучше теперь поговорим. Мне через шесть часов уехать надо, так, может быть, и обдумать кой-что время понадобится.

— Ну, ладно. Только я, брат, говорю прямо: никогда я не обдумываю. У меня всегда ответ готов. Коли ты правильного чего просишь — изволь! никогда я ни в чем правильном не откажу. Хоть и трудненько иногда, и не по силам, а ежели правильно — не могу отказать! Натура такая. Ну, а ежели просишь неправильно — не прогневайся! Хоть и жалко тебя — а откажу! У меня, брат, вывертов нет! Я весь тут, на ладони. Ну, пойдем, пойдем в кабинет! Ты поговоришь, а я послушаю! Послушаем, послушаем, что такое!

Когда оба вошли в кабинет, Порфирий Владимирыч оставил дверь слегка приотворенною и затем ни сам не сел, ни сына не посадил, а начал ходить взад и вперед по комнате. Словно он инстинктивно чувствовал, что дело будет щекотливое и что объясняться об таких предметах на ходу гораздо свободнее. И выражение лица скрыть удобнее, и прекратить объяснение, ежели оно примет слишком неприятный оборот, легче. А с помощью приотворенной двери и на свидетелей можно сослаться, потому что маменька с Евпраксеюшкой, наверное, не замедлят явиться к чаю в столовую.

— Я, папенька, казенные деньги проиграл,— разом и как-то тупо высказался Петенька.

Иудушка ничего не сказал. Только можно было заметить, как дрогнули у него губы. И вслед за тем он, по обыкновению, начал шептать.

— Я проиграл три тысячи,— пояснил Петенька,— и ежели послезавтра их не внесу, то могут произойти очень неприятные для меня последствия.

— Что ж, внеси! — любезно молвил Порфирий Владимирыч.

Несколько туров отец и сын сделали молча. Петенька хотел объясняться дальше, но чувствовал, что у него захватило горло.

— Откуда же я возьму деньги? — наконец выговорил он.

— Я, любезный друг, твоих источников не знаю. На какие ты источники рассчитывал, когда проигрывал в карты казенные деньги,— из тех и плати.

— Вы сами очень хорошо знаете, что в подобных случаях люди об источниках забывают!

— Ничего я, мой друг, не знаю. Я в карты никогда не игрывал — только вот разве с маменькой в дурачки сыграешь, чтоб потешить старушку. И, пожалуйста, ты меня в эти грязные дела не впутывай, а пойдем-ка лучше чайку попьем. Попьем да посидим, может, и поговорим об чем-нибудь, только уж, ради Христа, не об этом.

И Иудушка направился было к двери, чтобы юркнуть в столовую, но Петенька остановил его.

— Позвольте, однако ж,— сказал он,— надобно же мне как-нибудь выйти из этого положения!

Иудушка усмехнулся и посмотрел Петеньке в лицо.

— Надо, голубчик! — согласился он.

— Так помогите же!

— А это... это уж другой вопрос. Что надобно как-нибудь выйти из этого положения — это так, это ты правду сказал. А как выйти — это уж не мое дело!

— Но почему же вы не хотите помочь?

— А потому, во-первых, что у меня нет денег для покрытия твоих дрянных дел, а во-вторых — и потому, что вообще это до меня не касается. Сам напутал — сам и выпутывайся. Любишь кататься — люби и саночки возить. Так-то, друг. Я ведь и давеча с того начал, что ежели ты просишь правильно...

— Знаю, знаю. Много у вас на языке слов...

— Постой, попридержи свои дерзости, дай мне досказать. Что это не одни слова — это я тебе сейчас докажу... Итак, я тебе давеча сказал: если ты будешь просить должного, дельного — изволь, друг! всегда готов тебя удовлетворить! Но ежели ты приходишь с просьбой не дельною — извини, брат! На дрянные дела у меня денег нет, нет и нет! И не будет — ты это знай! И не смей говорить, что это одни «слова», а понимай, что эти слова очень близко граничат с делом.

— Подумайте, однако ж, что со мной будет!

— А что богу угодно, то и будет,— отвечал Иудушка, слегка воздевая руки и искоса поглядывая на образ.

Отец и сын опять сделали несколько туров по комнате. Иудушка шел нехотя, словно жаловался, что сын держит его в плену. Петенька, подбоченившись, следовал за ним, кусая усы и нервно усмехаясь.

— Я — последний сын у вас,— сказал он,— не забудьте об этом!

— У Иова, мой друг, бог и все взял, да он не роптал, а только сказал: бог дал, бог и взял — твори, господи, волю свою! Так-то, брат!

— То бог взял, а вы сами у себя отнимаете. Володя...

— Ну, ты, кажется, пошлости начинаешь говорить!

— Нет, это не пошлости, а правда. Всем известно, что Володя...

— Нет, нет, нет! Не хочу я твои пошлости слушать! Да и вообще — довольно. Что надо было высказать, то ты высказал. Я тоже ответ тебе дал. А теперь пойдем и будем чай пить. Посидим да поговорим, потом поедим, выпьем на прощанье — и с богом. Видишь, как бог для тебя милостив! И погодка унялась, и дорожка поглаже стала. Полегоньку да помаленьку, трюх да трюх — и не увидишь, как доплетешься до станции!

— Послушайте! наконец, я прошу вас! ежели у вас есть хоть капля чувства...

— Нет, нет, нет! не будем об этом говорить! Пойдем в столовую: маменька, поди, давно без чаю соскучилась. Не годится старушку заставлять ждать.

Иудушка сделал крутой поворот и почти бегом направился к двери.

— Хоть уходите, хоть не уходите, я этого разговора не оставлю! — крикнул ему вслед Петенька,— хуже будет, как при свидетелях начнем разговаривать!

Иудушка воротился назад и встал прямо против сына.

— Что тебе от меня, негодяй, нужно... сказывай! — спросил он возволнованным голосом.

— Мне нужно, чтоб вы заплатили те деньги, которые я проиграл.

— Никогда!!

— Так это ваше последнее слово?

— Видишь? — торжественно воскликнул Иудушка, указывая пальцем на образ, висевший в углу,— это видишь? Это папенькино благословение... Так вот я при нем тебе говорю: никогда!!

И он решительным шагом вышел из кабинета.

— Убийца! — пронеслось вдогонку ему.

Арина Петровна сидит уже за столом, и Евпраксеюшка делает все приготовления к чаю. Старуха задумчива, молчалива и даже как будто стыдится Петеньки. Иудушка, по обычаю, подходит к ее ручке, и, по обычаю же, она машинально крестит его. Потом, по обычаю, идут вопросы, все ли здоровы, хорошо ли почивали, на что следуют обычные односложные ответы.

Уже накануне вечером она была скучна. С тех пор как Петенька попросил у нее денег и разбудил в ней воспоминание о «проклятии», она вдруг впала в какое-то загадочное беспокойство, и ее неотступно начала преследовать мысль: а что, ежели прокляну? Узнавши утром, что в кабинете началось объяснение, она обратилась к Евпраксеюшке с просьбой:

— Поди-ка, сударка, подслушай потихоньку у дверей, что они там говорят!

Но Евпраксеюшка хотя и подслушала, но была настолько глупа, что ничего не поняла.

— Так, промежду себя разговаривают! Не очень кричат! — объяснила она, возвратившись.

Тогда Арина Петровна не вытерпела и сама отправилась в столовую, куда тем временем и самовар был уже подан. Но объяснение уж приходило к концу; слышала она только, что Петенька возвышает голос, а Порфирий Владимирыч словно зудит в ответ.

— Зудит! именно зудит! — вертелось у нее в голове,— вот и тогда он так же зудел! и как это я в то время не поняла!

Наконец оба, и отец и сын, появились в столовую. Петенька был красен и тяжело дышал; глаза у него смотрели широко, волосы на голове растрепались, лоб был усеян мелкими каплями пота. Напротив, Иудушка вошел бледный и злой; хотел казаться равнодушным, но, несмотря на все усилия, нижняя губа его дрожала. Насилу мог он выговорить обычное утреннее приветствие милому другу маменьке.

Все заняли свои места вокруг стола; Петенька сел несколько поодаль, отвалился на спинку стула, положил ногу на ногу и, закуривая папироску, иронически посматривал на отца.

— Вот, маменька, и погодка у нас унялась,— начал Иудушка,— какое вчера смятение было, ан богу стоило только захотеть — вот у нас тишь да гладь да божья благодать! так ли, друг мой?

— Не знаю; не выходила я из дому сегодня.

— А мы кстати дорогого гостя провожаем,— продолжал Иудушка,— я давеча еще где-где встал, посмотрел в окно — ан на дворе тихо да спокойно, точно вот ангел божий пролетел и в одну минуту своим крылом все это возмущение усмирил!

Но никто даже не ответил на ласковые Иудушкины слова; Евпраксеюшка шумно пила с блюдечка чай, дуя и отфыркиваясь; Арина Петровна смотрела в чашку и молчала; Петенька, раскачиваясь на стуле, продолжал посматривать на отца с таким иронически вызывающим видом, точно вот ему больших усилий стоит, чтоб не прыснуть со смеха.

— Теперича, ежели Петенька и не шибко поедет,— опять начал Порфирий Владимирыч,— и тут к вечеру легко до станции железной дороги поспеет. Лошади у нас свои, не мученные, часика два в Муравьеве покормят — мигом домчат. А там — фиюю! пошла машина погромыхивать! Ах, Петька! Петька! недобрый ты! остался бы ты здесь с нами, погостил бы — право! И нам было бы веселее, да и ты бы — смотри, как бы ты здесь в одну неделю поправился!

Но Петенька все продолжает раскачиваться на стуле и посматривать на отца.

— Ты что на меня все смотришь? — закипает наконец Иудушка,— узоры, что ли, видишь?

— Смотрю, жду, что еще от вас будет!

— Ничего, брат, не высмотришь! как сказано, так и будет. Я своего слова не изменю!

Наступает минута молчания, в продолжение которой явственно раздается шепот:

— Иудушка!

Порфирий Владимирыч несомненно слышал эту апо-

строфу (он даже побледнел), но делает вид, что восклицание до него не относится.

— Ах, детки, детки! — говорит он,— и жаль вас, и хотелось бы приласкать да приголубить вас, да, видно, нечего делать — не судьба! Сами вы от родителей бежите, свои у вас завелись друзья-приятели, которые дороже для вас и отца с матерью. Ну, и нечего делать! Подумаешь-подумаешь — и покоришься. Люди вы молодые, а молодому, известно, приятнее с молодым побыть, чем со стариком-ворчуном! Вот и смиряешь себя, и не ропщешь; только и просишь отца небесного: твори, господи, волю свою!

— Убийца! — вновь шепчет Петенька, но уже так явственно, что Арина Петровна со страхом смотрит на него. Перед глазами ее что-то вдруг пронеслось, словно тень Степки-балбеса.

— Ты про кого это говоришь? — спрашивает Иудушка, весь дрожа от волнения.

— Так, про одного знакомого.

— То-то! так ты так и говори! Ведь бог знает, что у тебя на уме: может быть, ты из присутствующих кого-нибудь так честишь!

Все смолкают; стаканы с чаем стоят нетронутыми. Иудушка тоже откидывается на спинку стула и нервно покачивается. Петенька, видя, что всякая надежда потеряна, ощущает что-то вроде предсмертной тоски и под влиянием ее готов идти до крайних пределов. И отец и сын с какою-то неизъяснимою улыбкой смотрят друг другу в глаза. Как ни вышколил себя Порфирий Владимирыч, но близится минута, когда и он не в состоянии будет сдерживаться.

— Ты бы лучше за добра ума уехал! — наконец высказывается он,— да!

— И то уеду.

— Чего ждать-то! Я вижу, что ты на ссору лезешь, а я ни с кем ссориться не хочу. Живем мы здесь тихо да смирно, без ссор да без свар — вот бабушка-старушка здесь сидит, хоть бы ее ты посовестился! Ну, зачем ты к нам приехал?

— Я вам говорил зачем.

— А коли затем только, так напрасно трудился. Уезжай, брат! Эй, кто там? велите-ка для молодого барина кибитку закладывать. Да цыпленочка жареного, да икорки, да еще там чего-нибудь... яичек, что ли... в бумажку заверните. На станции, брат, и закусишь, покуда лошадей подкормят. С богом!

— Нет! я еще не поеду. Я еще в церковь пойду, попрошу панихиду по убиенном рабе божием, Владимире, отслужить.

— По самоубийце, то есть...

— Нет, по убиенном.

Отец и сын смотрят друг на друга во все глаза. Так и кажется, что оба сейчас вскочат. Но Иудушка делает над собой нечеловеческое усилие и оборачивается со стулом лицом к столу.

— Удивительно! — говорит он надорванным голосом,— у-ди-ви-тель-но!

— Да, по убиенном! — грубо настаивает Петенька.

— Кто же его убил? — любопытствует Иудушка, по-видимому, все-таки надеясь, что сын опомнится.

Но Петенька, нимало не смущаясь, выпаливает как из пушки:

— Вы!!

— Я?!

Порфирий Владимирыч не может прийти в себя от изумления. Он торопливо поднимается со стула, обращается лицом к образу и начинает молиться.

— Вы! вы! вы! — повторяет Петенька.

— Ну вот! ну, слава богу! вот теперь полегче стало, как помолился! — говорит Иудушка, вновь присаживаясь к столу,— ну, постой! погоди! хоть мне, как отцу, можно было бы и не входить с тобой в объяснения,— ну, да уж пусть будет так! Стало быть, по-твоему, я убил Володеньку?

— Да, вы!

— А по-моему, это не так. По-моему, он сам себя застрелил. Я в то время был здесь, в Головлеве, а он — в Петербурге. При чем же я тут мог быть? как мог я его за семьсот верст убить?

— Уж будто вы и не понимаете?

— Не понимаю... видит бог, не понимаю!

— А кто Володю без копейки оставил? кто ему жалованье прекратил? кто?

— Те-те-те! так зачем он женился против желанья отца?

— Да ведь вы же позволили?

— Кто? я? Христос с тобой! Никогда я не позволял! Ннникогда!

— Ну да, то есть вы и тут по своему обыкновению поступили. У вас ведь каждое слово десять значений имеет; пойди угадывай!

— Никогда я не позволял! Он мне в то время написал: хочу, папа, жениться на Лидочке. Понимаешь: «хочу», а не «прошу позволения». Ну, и я ему ответил: коли *хочешь* жениться, так женись, я препятствовать не могу! Только всего и было.

— Только всего и было,— поддразнивает Петенька,— а разве это не позволение?

— То-то, что нет. Я что сказал? я сказал: не могу препятствовать — только и всего. А позволяю или не позволяю —

это другой вопрос. Он у меня позволения и не просил, он прямо написал: *хочу*, папа, жениться на Лидочке — ну, и я насчет позволения умолчал. *Хочешь* жениться — ну, и Христос с тобой! женись, мой друг, хоть на Лидочке, хоть на разлидочке — я препятствовать не могу!

— А только без куска хлеба оставить можете. Так вы бы так и писали: не нравится, дескать, мне твое намерение, а потому, хоть я тебе не препятствую, но все-таки предупреждаю, чтоб ты больше не рассчитывал на денежную помощь от меня. По крайней мере, тогда было бы ясно.

— Нет, этого я никогда не позволю себе сделать! Чтоб я стал употреблять в дело угрозы совершеннолетнему сыну — никогда!! У меня такое правило, что я никому не препятствую! Захотел жениться — женись! Ну, а насчет последствий — не погневайся! Сам должен был предусматривать — на то и ум тебе от бога дан. А я, брат, в чужие дела не вмешиваюсь. И не только сам не вмешиваюсь, да не прошу, чтоб и другие в мои дела вмешивались. Да, не прошу, не прошу, не прошу, и даже... запрещаю! Слышишь ли, дурной, непочтительный сын,— запре-щаю!

— Запрещайте, пожалуй! всем ртов не замажете!

— И хоть бы он раскаялся! хоть бы он понял, что отца обидел! Ну, сделал пошлость — ну, и раскайся! Попроси прощения! простите, мол, душенька папенька, что вас огорчил! А то на-тко!

— Да ведь он писал вам; он объяснял, что ему жить нечем, что дольше ему терпеть нет сил...

— С отцом не объясняются-с. У отца прощения просят — вот и все.

— И это было. Он так был измучен, что и прощенья просил. Все было, все!

— А хоть бы и так — опять-таки он не прав. Попросил раз прощенья, видит, что папа не прощает,— и в другой раз попроси!

— Ах, вы!

Сказавши это, Петенька вдруг перестает качаться на стуле, оборачивается к столу и облокачивается на него обеими руками.

— Вот и я...— чуть слышно произносит он.

Лицо его постепенно искажается.

— Вот и я...— повторяет он, разражаясь истерическими рыданиями.

— А кто ж вино...

Но Иудушке не удалось покончить свое поучение, ибо в эту самую минуту случилось нечто совершенно неожиданное.

Во время описанной сейчас перестрелки об Арине Петровне словно позабыли. Но она отнюдь не оставалась равнодушной зрительницей этой семейной сцены. Напротив того, с первого же взгляда можно было заподозрить, что в ней происходит что-то не совсем обыкновенное и что, может быть, настала минута, когда перед умственным ее оком предстали во всей полноте и наготе итоги ее собственной жизни. Лицо ее оживилось, глаза расширились и блестели, губы шевелились, как будто хотели сказать какое-то слово — и не могли. И вдруг, в ту самую минуту, когда Петенька огласил столовую рыданиями, она грузно поднялась с своего кресла, протянула вперед руку, и из груди ее вырвался вопль:

— Прро-кли-ннааааю!

ПЛЕМЯННУШКА

Иудушка так-таки и не дал Петеньке денег, хотя, как добрый отец, приказал в минуту отъезда положить ему в повозку и курочки, и телятинки, и пирожок. Затем он, несмотря на стужу и ветер, самолично вышел на крыльцо проводить сына, справился, ловко ли ему сидеть, хорошо ли он закутал себе ноги, и, возвратившись в дом, долго крестил окно в столовой, посылая заочное напутствие повозке, увозившей Петеньку. Словом, весь обряд выполнил как следует, по-родственному.

— Ах, Петька, Петька! — говорил он — дурной ты сын! нехороший! Ведь вот что набедокурил... ах-ах-ах! И что бы, кажется, жить потихоньку да полегоньку, смирненько да ладненько, с папкой да с бабушкой-старушкой — так нет! Фу-ты! ну-ты! У нас свой царь в голове есть! своим умом проживем! Вот и ум твой! Ах, горе какое вышло!

Но ни один мускул при этом не дрогнул на его деревянном лице, ни одна нота в его голосе не прозвучала чем-нибудь похожим на призыв блудному сыну. Да, впрочем, никто и не слыхал его слов, потому что в комнате находилась одна Арина Петровна, которая, под влиянием только что испытанного потрясения, как-то разом потеряла всякую жизненную энергию и сидела за самоваром, раскрыв рот, ничего не слыша и без всякой мысли глядя вперед.

Затем жизнь потекла по-прежнему, исполненная праздной суеты и бесконечного пустословия...

Вопреки ожиданиям Петеньки, Порфирий Владимирыч вынес материнское проклятие довольно спокойно и ни на волос не отступил от тех решений, которые, так сказать, всегда гото-

вые сидели в его голове. Правда, он слегка побледнел и бросился к матери с криком:

— Маменька! душенька! Христос с вами! успокойтесь, голубушка! Бог милостив! все устроится!

Но слова эти были скорее выражением тревоги за мать, нежели за себя. Выходка Арины Петровны была так внезапна, что Иудушка не догадался даже притвориться испуганным. Еще накануне маменька была к нему милостива, шутила, играла с Евпраксеюшкой в дурачки — очевидно, стало быть, что ей только что-нибудь на минуту помстилось, а преднамеренного, «настоящего» не было ничего. Действительно, он очень боялся маменькинова проклятия, но представлял его себе совершенно иначе. В праздном его уме на этот случай целая обстановка сложилась: образа, зажженные свечи, маменька стоит среди комнаты, страшная, с почерневшим лицом... и проклинает! Потом: гром, свечи потухли, завеса разодралась, тьма покрыла землю, а вверху, среди туч, виднеется разгневанный лик Иеговы, освещенный молниями. Но так как ничего подобного не случилось, то значит, что маменька просто сблажила, показалось ей что-нибудь — и больше ничего. Да и не с чего было ей «настоящим образом» проклинать, потому что в последнее время у них не было даже предлогов для столкновения. С тех пор как он заявил сомнение насчет принадлежности маменьке тарантаса (Иудушка соглашался внутренно, что *тогда* он был виноват и заслуживал проклятия), воды утекло много; Арина Петровна смирилась, а Порфирий Владимирыч только и думал об том, как бы успокоить доброго друга маменьку.

«Плоха старушка, ах, как плоха! временем даже забываться уж начала! — утешал он себя.— Сядет, голубушка, в дураки играть — смотришь, ан она дремлет!»

Справедливость требует сказать, что ветхость Арины Петровны даже тревожила его. Он еще не приготовился к утрате, ничего не обдумал, не успел сделать надлежащие выкладки: сколько было у маменьки капитала при отъезде из Дубровина, сколько капитал этот мог приносить в год доходу, сколько она могла из этого дохода тратить и сколько присовокупить. Словом сказать, не проделал еще целой массы пустяков, без которых он всегда чувствовал себя застигнутым врасплох.

«Старушка крепонька! — мечталось ему иногда,— не проживет она *всего* — где прожить! В то время, как она нас отделяла, хороший у нее капитал был! Разве сироткам чего не передала ли — да нет, и сироткам не много даст! Есть у старушки деньги, есть!»

Но мечтания эти покуда еще не представляли ничего серьезного и улетучивались, не задерживаясь в его мозгу. Масса обыденных пустяков и без того была слишком громадна, чтоб увеличивать ее еще новыми, в которых покамест не настояло насущной потребности. Порфирий Владимирыч все откладывал да откладывал, и только после внезапной сцены проклятия спохватился, что пора начинать.

Катастрофа наступила, впрочем, скорее, нежели он предполагал. На другой день после отъезда Петеньки Арина Петровна уехала в Погорелку и уже не возвращалась в Головлево. С месяц она провела в совершенном уединении, не выходя из комнаты и редко-редко позволяя себе промолвить слово даже с прислугою. Вставши утром, она по привычке садилась к письменному столу, по привычке же начинала раскладывать карты, но никогда почти не доканчивала и словно застывала на месте с вперенными в окно глазами. Что она думала и даже думала ли об чем-нибудь — этого не разгадал бы самый проницательный знаток сокровеннейших тайн человеческого сердца. Казалось, она хотела что-то вспомнить, хоть, например, то, каким образом она очутилась здесь, в этих стенах, и — не могла. Встревоженная ее молчанием, Афимьюшка заглядывала в комнату, поправляла в кресле подушки, которыми она была обложена, пробовала заговорить об чем-нибудь, но получала только односложные и нетерпеливые ответы. Раза с два в течение этого времени приезжал в Погорелку Порфирий Владимирыч, звал маменьку в Головлево, пытался распалить ее воображение представлением об рыжичках, карасиках и прочих головлевских соблазнах, но она только загадочно улыбалась на его предложения.

Одним утром она, по обыкновению, собралась встать с постели и не могла. Она не ощущала никакой особенной боли, ни на что не жаловалась, а просто не могла встать. Ее даже не встревожило это обстоятельство, как будто оно было в порядке вещей. Вчера сидела еще у стола, была в силах бродить — нынче лежит в постели, «неможется». Ей даже покойнее чувствовалось. Но Афимьюшка всполошилась, и, потихоньку от барыни, послала гонца к Порфирию Владимирычу.

Иудушка приехал рано утром на другой день; Арине Петровне было уж значительно хуже. Обстоятельно расспросил он прислугу, что маменька кушала, не позволила ли себе чего лишненького, но получил ответ, что Арина Петровна уж с месяц почти ничего не ест, а со вчерашнего дня и вовсе отказалась от пищи. Потужил Иудушка, помахал руками и, как добрый сын, прежде чем войти к матери, погрелся в девичьей у печки, чтоб не охватило больную холодным воздухом. И, кста-

ти (у него насчет покойников какой-то дьявольский нюх был), тут же начал распоряжаться. Расспросил насчет попа, дома ли он, чтоб, в случае надобности, можно было сейчас же за ним послать, справился, где стоит маменькин ящик с бумагами, заперт ли он, и, успокоившись насчет существенного, призвал кухарку и велел приготовить обедать для себя.

— Мне немного надо! — говорил он,— курочка есть? — ну, супцу из курочки сварите! Может быть, солонинка есть — солонинки кусочек приготовьте! Жарко́вца какого-нибудь... вот я и сыт!

Арина Петровна лежала, распростершись, навзничь на постеле, с раскрытым ртом и тяжело дыша. Глаза ее смотрели широко; одна рука выбилась из-под заячьего одеяла и застыла в воздухе. Очевидно, она прислушивалась к шороху, который произвел приезд сына, а может быть, до нее долетали и самые приказания, отдаваемые Иудушкой. Благодаря опущенным шторам в комнате царствовали сумерки. Светильни догорали на дне лампадок, и слышно было, как они трещали от прикосновения с водою. Воздух был тяжел и смраден; духота от жарко натопленных печей, от чада, распространяемого лампадками, и от миазмов стояла невыносимая. Порфирий Владимирыч, в валеных сапогах, словно змей, проскользнул к постели матери; длинная и сухощавая его фигура загадочно колебалась, охваченная сумерками. Арина Петровна следила за ним не то испуганными, не то удивленными глазами и жалась под одеялом.

— Это я, маменька,— сказал он,— что это как вы развинтились сегодня! ах-ах-ах! То́-то мне нынче не спалось; всю ночь вот так и поталкивало: дай, думаю, проведаю, как-то погорелковские друзья поживают! Утром сегодня встал, сейчас это кибиточку, парочку лошадушек — и вот он-он!

Порфирий Владимирыч любезно хихикнул, но Арина Петровна не отвечала и все больше и больше жалась под одеялом.

— Ну, бог милостив, маменька! — продолжал Иудушка,— главное, в обиду себя не давайте! Плюньте на хворость, встаньте с постельки да пройдитесь молодцом по комнате! вот так!

Порфирий Владимирыч встал со стула и показал, как молодцы прохаживаются по комнате.

— Да постойте, дайте-ка я шторку подниму да посмотрю на вас! Э! да вы молодец молодцом, голубушка! Стоит только подбодриться, да богу помолиться, да прифрантиться — хоть сейчас на бал! Дайте-ка, вот я вам святой водицы богоявленской привез, откушайте-ка!

Порфирий Владимирыч вынул из кармана пузырек, отыскал на столе рюмку, налил и поднес больной. Арина Петровна сделала было движение, чтоб поднять голову, но не могла.

— Сирот бы...— простонала она.

— Ну вот, уж и сиротки понадобились! Ах, маменька, маменька! Как это вы вдруг... на-тко! Капельку прихворнули — и уж духом упали! Все будет! и к сироткам эстафету пошлем, и Петьку из Питера выпишем — все чередом сделаем! Не к спеху ведь; мы с вами еще поживем! да еще как поживем-то! Вот лето настанет — в лес по грибы вместе пойдем: по малину, по ягоду, по черну смородину! А не то — так в Дубровино карасей ловить поедем! Запряжем старика савраску в длинные дроги, потихоньку да полегоньку, трюх-трюх, сядем и поедем!

— Сирот бы...— повторила Арина Петровна тоскливо.

— Приедут и сиротки. Дайте срок — всех скличем, все приедем. Приедем да кругом вас и обсядем. Вы будете наседка, а мы цыплятки... цып-цып-цып! Все будет, коли вы будете паинька. А вот за это вы уж не паинька, что хворать вздумали. Ведь вот вы что, проказница, затеяли... ах-ах-ах! чем бы другим пример подавать, а вы вот как! Нехорошо, голубушка! ах, нехорошо!

Но как ни старался Порфирий Владимирыч и шуточками и прибауточками подбодрить милого друга маменьку, силы ее падали с каждым часом. Послали в город нарочного за лекарем, и так как больная продолжала тосковать и звать сироток, то Иудушка собственноручно написал Анниньке и Любиньке письмо, в котором сравнивал их поведение с своим, себя называл христианином, а их — неблагодарными. Ночью лекарь приехал, но было уже поздно. Арину Петровну, как говорится, в один день «сварило». Часу в четвертом ночи началась агония, а в шесть часов утра Порфирий Владимирыч стоял на коленах у постели матери и вопил:

— Маменька! друг мой! благословите!

Но Арина Петровна не слыхала. Открытые глаза ее тускло смотрели в пространство, словно она старалась что-то понять и не понимала.

Иудушка тоже не понимал. Он не понимал, что открывавшаяся перед его глазами могила уносила последнюю связь его с живым миром, последнее живое существо, с которым он мог делить прах, наполнявший его. И что отныне этот прах, не находя истока, будет накопляться в нем до тех пор, пока окончательно не задушит его.

С обычною суетливостью окунулся он в бездну мелочей, сопровождающих похоронный обряд. Служил панихиды, заказывал сорокоусты, толковал с попом, шаркал ногами, пере-

ходя из комнаты в комнату, заглядывал в столовую, где лежала покойница, крестился, воздевал глаза к небу, вставал по ночам, неслышно подходил к двери, вслушивался в монотонное чтение псаломщика и проч. Причем был приятно удивлен, что даже особенных издержек для него по этому случаю не предстояло, потому что Арина Петровна еще при жизни отложила сумму на похороны, расписав очень подробно, сколько и куда следует употребить.

Схоронивши мать, Порфирий Владимирыч немедленно занялся приведением в известность ее дел. Разбирая бумаги, он нашел до десяти разных завещаний (в одном из них она называла его «непочтительным»); но все они были писаны еще в то время, когда Арина Петровна была властною барыней, и лежали неоформленными, в виде проектов. Поэтому Иудушка остался очень доволен, что ему не привелось даже покривить душой, объявляя себя единственным законным наследником оставшегося после матери имущества. Имущество это состояло из капитала в пятнадцать тысяч рублей и из скудной движимости, в числе которой был и знаменитый тарантас, едва не послуживший яблоком раздора между матерью и сыном. Арина Петровна тщательно отделяла свои счеты от опекунских, так что сразу можно было видеть, что̀ принадлежит ей и что̀ — сироткам. Иудушка немедленно заявил себя где следует наследником, опечатал бумаги, относящиеся до опеки, роздал прислуге скудный гардероб матери; тарантас и двух коров, которые, по описи Арины Петровны, значились под рубрикой «мои», отправил в Головлево и затем, отслуживши последнюю панихиду, отправился восвояси.

— Ждите владелиц,— говорил он людям, собравшимся в сенях, чтоб проводить его,— приедут — милости просим! не приедут — как хотят! Я, с своей стороны, все сделал; счеты по опеке привел в порядок, ничего не скрыл, не утаил — все у всех на глазах делал. Капитал, который после маменьки остался, принадлежит мне — по закону; тарантас и две коровы, которые я в Головлево отправил,— тоже мои, по закону. Может быть, даже кой-что из моего *здесь* осталось — ну, да бог с ним! сироткам и бог велел подавать! Жаль маменьку! добрая была старушка! пѐчная! Вот и об вас, об прислуге, позаботилась, гардероб свой вам оставила! Ах, маменька, маменька! нехорошо вы это, голубушка, сделали, что нас сиротами покинули! Ну, да уж если так богу угодно, то и мы святой его воле покоряться должны! Только бы вашей душе было хорошо, а об нас... что уж об нас думать!

За первой могилой скоро последовала и другая.

К истории сына Порфирий Владимирыч отнесся довольно

загадочно. Газет он не получал, ни с кем в переписке не состоял и потому сведений о процессе, в котором фигурировал Петенька, ниоткуда иметь не мог. Да вряд ли он и желал что-нибудь знать об этом предмете. Вообще это был человек, который пуще всего сторонился от всяких тревог, который по уши погряз в тину мелочей самого паскудного самосохранения и которого существование, вследствие этого, нигде и ни на чем не оставило после себя следов. Таких людей довольно на свете, и все они живут особняком, не умея и не желая к чему-нибудь приютиться, не зная, что ожидает их в следующую минуту, и лопаясь под конец, как лопаются дождевые пузыри. Нет у них дружеских связей, потому что для дружества необходимо существование общих интересов; нет и деловых связей, потому что даже в мертвом деле бюрократизма они выказывают какую-то уж совершенно нестерпимую мертвенность. Тридцать лет сряду Порфирий Владимирыч толкался и мелькал в департаменте; потом в одно прекрасное утро исчез — и никто не заметил этого. Поэтому он узнал об участи, постигшей сына, последний, когда весть об этом распространилась уже между дворовыми. Но и тут притворился, что ничего не знает, так что когда Евпраксеюшка заикнулась однажды упомянуть об Петеньке, то Иудушка замахал на нее руками и сказал:

— Нет, нет, нет! и не знаю, и не слыхал, и слышать не хочу! Не хочу я его грязных дел знать!

Но наконец узнать все-таки привелось. Пришло от Петеньки письмо, в котором он уведомлял о своем предстоящем отъезде в одну из дальных губерний и спрашивал, будет ли папенька высылать ему содержание в новом его положении. Весь день после этого Порфирий Владимирыч находился в видимом недоумении, сновал из комнаты в комнату, заглядывал в образную, крестился и охал. К вечеру, однако ж, собрался с духом и написал:

«Преступный сын Петр!

Как верный подданный, обязанный чтить законы, я не должен был бы даже отвечать на твое письмо. Но как отец, причастный человеческим слабостям, не могу, из чувства сострадания, отказать в благом совете детищу, ввергнувшему себя, по собственной вине, в пучину зол. Итак, вот вкратце мое мнение по сему предмету. Наказание, коему ты подвергся, тяжко, но вполне тобою заслужено — такова первая и самая главная мысль, которая отныне всегда должна тебе в твоей новой жизни сопутствовать. А все остальные прихоти и даже воспоминания об оных ты должен оставить, ибо в твоем положении все сие может только раздражать и побуждать к ро-

поту. Ты уже вкусил от горьких плодов высокоумия, попробуй же вкусить и от плодов смирения, тем более что ничего другого для тебя в будущем не предстоит. Не ропщи на наказание, ибо начальство даже не наказывает тебя, но преподает лишь средства к исправлению. Благодарить за сие и стараться загладить содеянное — вот об чем тебе непрестанно думать надлежит, а не о роскошном препровождении времени, коего, впрочем, я и сам, никогда не быв под судом, не имею. Последуй же сему совету благоразумия и возродись для новой жизни, возродись совершенно, довольствуясь тем, что начальство, по милости своей, сочтет нужным тебе назначить. А я, с своей стороны, буду неустанно молить подателя всех благ о ниспослании тебе твердости и смирения, и даже в сей самый день, как пишу сии строки, был в церкви и воссылал о сем горячие мольбы. Затем благословляю тебя на новый путь и остаюсь

негодующий, но все еще любящий отец твой
Порфирий Головлев».

Неизвестно, дошло ли до Петеньки это письмо; но не дальше как через месяц после его отсылки Порфирий Владимирыч получил официальное уведомление, что сын его, не доехавши до места ссылки, слег в одном из попутных городков в больницу и умер.

Иудушка очутился один, но сгоряча все-таки еще не понял, что с этой новой утратой он уже окончательно пущен в пространство, лицом к лицу с одним своим пустословием. Это случилось вскоре после смерти Арины Петровны, когда он был весь поглощен в счеты и выкладки. Он перечитывал бумаги покойной, усчитывал всякий грош, отыскивал связь этого гроша с опекунскими грошами, не желая, как он говорил, ни себе присвоить чужого, ни своего упустить. Среди этой сутолоки ему даже не представлялся вопрос, для чего он все это делает и кто воспользуется плодами его суеты? С утра до вечера корпел он за письменным столом, критикуя распоряжения покойной и даже фантазируя, так что за хлопотами, мало-помалу, запустил и счеты по собственному хозяйству.

И все в доме стихло. Прислуга, и прежде предпочитавшая ютиться в людских, почти совсем обросила дом, а являясь в господские комнаты, ходила на цыпочках и говорила шепотом. Чувствовалось что-то выморочное и в этом доме, и в этом человеке, что-то такое, что наводит невольный и суеверный страх. Сумеркам, которые и без того окутывали Иудушку, предстояло сгущаться с каждым днем все больше и больше.

Постом, когда спектакли прекратились, приехала в Головлево Аннинька и объявила, что Любинька не могла ехать вместе с нею, потому что еще раньше законтрактовалась на весь великий пост и вследствие этого отправилась в Ромны, Изюм, Кременчуг и проч., где ей предстояло давать концерты и пропеть весь каскадный репертуар.

В течение короткой артистической карьеры Аннинька значительно выровнялась. Это была уже не прежняя наивная, малокровная и несколько вялая девушка, которая в Дубровине и в Погорелке, неуклюже покачиваясь и потихоньку попевая, ходила из комнаты в комнату, словно не зная, где найти себе место. Нет, это была девица вполне определившаяся, с резкими и даже развязными манерами, по первому взгляду на которую можно было без ошибки заключить, что она за словом в карман не полезет. Наружность ее тоже изменилась и довольно приятно поразила Порфирия Владимирыча. Перед ним явилась рослая и статная женщина с красивым румяным лицом, с высокою, хорошо развитою грудью, с серыми глазами навыкате и с отличнейшей пепельной косой, которая тяжело опускалась на затылок,— женщина, которая, по-видимому, проникнута была сознанием, что она-то и есть та самая «Прекрасная Елена», по которой суждено вздыхать господам офицерам. Ранним утром приехала она в Головлево и тотчас же уединилась в особенную комнату, откуда явилась в столовую к чаю в великолепном шелковом платье, шумя треном и очень искусно маневрируя им среди стульев. Иудушка хотя и любил своего бога паче всего, но это не мешало ему иметь вкус к красивым, а в особенности к крупным женщинам. Поэтому, он сначала перекрестил Анниньку, потом как-то особенно отчетливо поцеловал ее в обе щеки и при этом так странно скосил глаза на ее грудь, что Аннинька чуть заметно улыбнулась.

Сели за чай; Аннинька подняла обе руки кверху и потянулась.

— Ах, дядя, как у вас скучно здесь! — начала она, слегка позевывая.

— Вот-на! не успела повернуться — уж и скучно показалось! А ты поживи с нами — тогда и увидим: может, и весело покажется! — ответил Порфирий Владимирыч, которого глаза вдруг подернулись масленым отблеском.

— Нет, неинтересно! Что у вас тут? Снег кругом, соседей нет... Полк, кажется, у вас здесь стоит?

— И полк стоит, и соседи есть, да, признаться, меня это не интересует. А впрочем, ежели...

Порфирий Владимирыч взглянул на нее, но не докончил, а только крякнул. Может быть, он и с намерением остановился,

хотел раззадорить ее женское любопытство; во всяком случае, прежняя, едва заметная улыбка вновь скользнула на ее лице. Она облокотилась на стол и довольно пристально взглянула на Евпраксеюшку, которая, вся раскрасневшись, перетирала стаканы и тоже исподлобья взглядывала на нее своими большими, мутными глазами.

— Это моя новая экономка... усердная! — молвил Порфирий Владимирыч.

Анниныька чуть заметно кивнула головой и потихоньку замурлыкала: ah! ah! que j'aime... que jaime... les mili-mili-militaires! [1] — причем поясница ее как-то сама собой вздрагивала. Воцарилось молчание, в продолжение которого Иудушка, смиренно опустив глаза, помаленьку прихлебывал чай из стакана.

— Скука! — опять зевнула Аннинька.

— Скука да скука! заладила одно! Вот погоди, поживи... Ужó велим саночки заложить — катайся, сколько душе угодно.

— Дядя! отчего вы в гусары не пошли?

— А оттого, мой друг, что всякому человеку свой предел от бога положен. Одному — в гусарах служить, другому — в чиновниках быть, третьему — торговать, четвертому...

— Ах да! четвертому, пятому, шестому... я и забыла! И все это бог распределяет... так ведь?

— Что ж, и бог! над этим, мой друг, смеяться нечего! Ты знаешь ли, чтó в Писании-то сказано: без воли божьей...

— Это насчет вóлоса? — знаю и это! Но вот беда: нынче все шиньоны носят, а это, кажется, не предусмотрено! Кстати: посмотрите-ка, дядя, какая у меня чудесная коса... Не правда ли, хороша?

Порфирий Владимирыч приблизился (почему-то на цыпочках) и подержал косу в руке. Евпраксеюшка тоже потянулась вперед, не выпуская из рук блюдечка с чаем, и сквозь стиснутый в зубах сахар процедила:

— Шильон, чай?

— Нет, не шиньон, а собственные мои волосы. Я когда-нибудь их перед вами распущу, дядя!

— Да, хороша коса,— похвалил Иудушка и как-то погано распустил при этом губы; но потом спохватился, что, по-настоящему, от подобных соблазнов надобно отплевываться, и присовокупил,— ах, егоза! егоза! все у тебя косы да шлейфы на уме, а об настоящем-то, об главном-то и не догадаешься спросить?

— Да, об бабушке... Ведь она умерла?

---

[1] ах! ах! как я люблю... как я люблю вое... вое... военных!

— Скончалась, мой друг! и как еще скончалась-то! Мирно, тихо, никто и не слыхал! Вот уж именно непостыдныя кончины живота своего удостоилась! Обо всех вспомнила, всех благословила, призвала священника, причастилась... И так это вдруг спокойно, так спокойно ей сделалось! Даже сама, голубушка, это высказала: что это, говорит, как мне вдруг хорошо! И представь себе: только что она это высказала,— вдруг начала вздыхать! Вздохнула раз, другой, третий — смотрим, ее уж и нет!

Иудушка встал, поворотился лицом к образу, сложил руки ладонями внутрь и помолился. Даже слезы у него на глазах выступили: так хорошо он солгал! Но Аннинька, по-видимому, была не из чувствительных. Правда, она задумалась на минуту, но совсем по другому поводу.

— А помните, дядя,— сказала она,— как она меня с сестрой, маленьких, кислым молоком кормила? Не в последнее время... в последнее время она отличная была... а тогда, когда она еще богата была?

— Ну-ну, что́ старое поминать! Кислым молоком кормили, а вишь какую, бог с тобой, выпоили! На могилку-то поедешь, что ли?

— Поедем, пожалуй!

— Только знаешь ли что! ты бы сначала очистилась!

— Как это... очистилась?

— Ну, все-таки... актриса... ты думаешь, бабушке это легко было? Так прежде, чем на могилку-то ехать, обеденку бы тебе отстоять, очиститься бы! Вот я завтра пораньше велю отслужить, а потом и с богом!

Как ни нелепо было Иудушкино предложение, но Аннинька все-таки на минуту смешалась. Но, вслед за тем она сдвинула сердито брови и резко сказала:

— Нет, я так... я сейчас пойду!

— Не знаю, как хочешь! а мой совет такой: отстояли бы завтра обеденку, напились бы чайку, приказали бы пару лошадушек в кибиточку заложить и покатили бы вместе. И ты бы очистилась, и бабушкиной бы душе...

— Ах, дядя, какой вы, однако, глупенький! Бог знает, какую чепуху несете, да еще настаиваете!

— Что? не понравилось? Ну, да уже не взыщи — я, брат, прямик! Неправды не люблю, а правду и другим выскажу, и сам выслушаю! Хоть и не по шерстке иногда правда, хоть и горьконько — а все ее выслушаешь! И должно выслушать, потому что она — правда. Так-то, мой друг! Ты вот поживи-ка с нами да по-нашему — и сама увидишь, что так-то лучше, чем с гитарой с ярмарки на ярмарку переезжать.

— Бог знает, что вы, дядя, говорите! с гитарой!

— Ну, не с гитарой, а около того. С торбаном, что ли. Впрочем, ведь ты меня первая обидела, глупым назвала, а мне, старику, и пода́вно можно правду тебе высказать.

— Хорошо, пусть будет правда; не будем об этом говорить. Скажите, пожалуйста, после бабушки осталось наследство?

— Как не остаться! Только законный наследник-то был налицо!

— То есть, вы... И тем лучше. Она у вас здесь, в Головлеве, похоронена?

— Нет, в своем приходе, подле Погорелки, у Николы на Вопле. Сама пожелала.

— Так я поеду. Можно у вас, дядя, лошадей нанять?

— Зачем нанимать? свои лошади есть! Ты, чай, не чужая! Племяннушка... племяннушкой мне приходишься! — всхлопотался Порфирий Владимирыч, осклабляясь «по-родственному»,— кибиточку... парочку лошадушек — слава-те господи! не пустодомом живу! Да не поехать ли и мне вместе с тобой! И на могилке бы побывали, и в Погорелку бы заехали! И туда бы заглянули, и там бы посмотрели, и поговорили бы, и подумали бы, что́ и как... Хорошенькая ведь у вас усадьбина, полезные в ней местечки есть!

— Нет, я уж одна... зачем вам? Кстати: ведь и Петенька тоже умер?

— Умер, дружок, умер и Петенька. И жалко мне его, с одной стороны, даже до слез жалко, а с другой стороны — сам виноват! Всегда он был к отцу непочтителен — вот бог за это и наказал! А уж ежели что бог в премудрости своей устроил, так нам с тобой переделывать не приходится!

— Понятное дело, не переделаем. Только я вот об чем думаю: как это вам, дядя, жить не страшно?

— А чего мне страшиться? видишь, сколько у меня благодати кругом? — Иудушка обвел рукою, указывая на образа,— и тут благодать, и в кабинете благодать, а в образной так настоящий рай! Вон сколько у меня заступников!

— Все-таки... Всегда вы один... страшно!

— А страшно, так встану на колени, помолюсь — и все как рукой снимет! Да и чего бояться? днем — светло, а ночью у меня везде, во всех комнатах, лампадки горят! С улицы, как стемнеет, словно бал кажет! А какой у меня бал! Заступники да угодники божии — вот и весь мой бал!

— А знаете ли: ведь Петенька-то перед смертью писал к нам.

— Что ж! как родственник... И за то спасибо, что хоть родственные чувства не потерял!

— Да, писал. Уж после суда, когда решение вышло. Писал, что он три тысячи проиграл, и вы ему не дали. Ведь вы, дядя, богатый?

— В чужом кармане, мой друг, легко деньги считать. Иногда нам кажется, что у человека золотые горы, а поглядеть да посмотреть, так у него на маслице да на свечечку — и то не его, а богово!

— Ну, мы, стало быть, богаче вас. И от себя сложились, и кавалеров наших заставили подписаться — шестьсот рублей собрали и послали ему.

— Какие же это «кавалеры»?

— Ах, дядя! да ведь мы... актрисы! вы сами же сейчас предлагали мне «очиститься»!

— Не люблю я, когда ты так говоришь!

— Что ж делать! Лю́бите или не лю́бите, а что сделано, того не переделаешь. Ведь, по-вашему, и тут бог!

— Не кощунствуй, по крайней мере. Все можешь говорить, а кощунствовать... не позволяю! Куда же вы деньги послали?

— Не помню. В городок какой-то... Он сам назначил.

— Не знаю. Кабы были деньги, я должен бы после смерти их получить! Не истратил же он всех разом! Не знаю, ничего я не получил. Смотрителишки да конвойные, чай, воспользовались!

— Да ведь мы и не требуем — это так, к слову сказалось. А все-таки, дядя, страшно: как это так — из-за трех тысяч человек пропал!

— То-то, что не из-за трех тысяч. Это нам так кажется, что из-за трех тысяч — вот мы и твердим: три тысячи! три тысячи! А бог...

Иудушка совсем уж было расходился, хотел объяснить во всей подробности, как бог... провидение... невидимыми путями... и все такое... Но Аннинька бесцеремонно зевнула и сказала:

— Ах, дядя! скука какая у вас!

На этот раз Порфирий Владимирыч серьезно обиделся и замолчал. Долго ходили они рядом взад и вперед по столовой; Аннинька зевала, Порфирий Владимирыч в каждом углу крестился. Наконец доложили, что поданы лошади, и началась обычная комедия родственных проводов. Головлев надел шубу, вышел на крыльцо, расцеловался с Аннинькой, кричал на людей: ноги-то! ноги-то теплее закутывайте! или куте́йки-то! куте́йки-то взяли ли? ах, не забыть бы! и крестил при этом воздух.

Съездила Аннинька на могилку к бабушке, попросила воплинского батюшку панихидку отслужить, и когда дьячки уныло затянули вечную память, то поплакала. Картина, среди которой совершалась церемония, была печальная. Церковь, при которой схоронили Арину Петровну, принадлежала к числу бедных; штукатурка местами обвалилась и обнажила большими заплатами кирпичный остов; колокол звонил слабо и глухо; риза на священнике обветшала. Глубокий снег покрывал кладбище, так что нужно было разгребать дорогу лопатами, чтоб дойти до могилы; памятника еще не существовало, а стоял простой белый крест, на котором даже надписи никакой не значилось. Погост стоял уединенно, в стороне от всякого селения; неподалеку от церкви ютились почерневшие избы священника и причетников, а кругом во все стороны стлалась сиротливая снежная равнина, на поверхности которой по местам торчал какой-то хворост. Крепкий мартовский ветер носился над кладбищем, беспрестанно захлестывал ризу на священнике и относя в сторону пение причетников.

— И кто бы, сударыня, подумал, что под сим скромным крестом, при бедной нашей церкви, нашла себе успокоение богатейшая некогда помещица здешнего уезда! — сказал священник по окончании литии.

При этих словах Аннинька и еще поплакала. Ей вспомнилось: *где стол был яств — там гроб стоит,* и слезы так и лились. Потом она пошла к батюшке в хату, напилась чаю, побеседовала с матушкой, опять вспомнила: *и бледна смерть на всех глядит* — и опять много и долго плакала.

В Погорелку не было дано знать о приезде барышни, и потому там даже комнат в доме не истопили. Аннинька, не снимая шубы, прошла по всем комнатам и остановилась на минуту только в спальной бабушки и в образной. В бабушкиной комнате стояла ее постель, на которой так и лежала неубранная груда замасленных пуховиков и несколько подушек без наволочек. На письменном столе валялись разбросанные лоскутья бумаги; пол был не метен, и густой слой пыли покрывал все предметы. Аннинька присела в кресло, в котором сиживала бабушка, и задумалась. Сначала явились воспоминания прошлого, потом на смену им пришли представления настоящего. Первые проходили в виде обрывков, мимолетно и не задерживаясь; вторые оседали плотно. Давно ли рвалась она на волю, давно ли Погорелка казалась ей постылою — и вот теперь вдруг ее сердце переполнило какое-то болезненное желание пожить в этом постылом месте. Тихо здесь; неуютно, неприглядно, но тихо, так тихо, что словно все кругом умерло. Воздуху много и простору: вон оно, поле — так бы и

побежала. Без цели, без оглядки, только чтоб дышалось сильнее, чтоб грудь саднило. А *там*, в этой полукочевой среде, из которой она только что вырвалась и куда опять *должна* возвратиться,— что ее ждет? и что она оттуда вынесла? — Воспоминание о пропитанных вонью гостиницах, об вечном гвалте, несущемся из общей столовой и из биллиардной, о нечесаных и немытых половых, об репетициях среди царствующих на сцене сумерек, среди полотняных, раскрашенных кулис, до которых дотронуться гнусно, на сквозном ветру, на сырости... Вот и только! А потом: офицеры, адвокаты, цинические речи, пустые бутылки, скатерти, залитые вином, облака дыма, и гвалт, гвалт, гвалт! И что они говорили ей! с каким цинизмом к ней прикасались!.. Особливо тот, усатый, с охрипшим от перепоя голосом, с воспаленными глазами, с вечным запахом конюшни... ах, что он говорил! Аннинька при этом воспоминании даже вздрогнула и зажмурила глаза. Потом, однако ж, очнулась, вздохнула и перешла в образную. В киоте стояло уже немного образов, только те, которые *несомненно* принадлежали ее матери, а остальные, бабушкины, были вынуты и увезены Иудушкой, в качестве наследника, в Головлево. Образовавшиеся вследствие этого пустые места смотрели словно выколотые глаза. И лампад не было — все взял Иудушка; только один желтого воска огарок сиротливо ютился, забытый в крохотном жестяном подсвечнике.

— Они и киотку хотели было взять, все доискивались — точно ли она барышнина приданая была? — донесла Афимьюшка.

— Что ж? и пусть бы брал. А что̀, Афимьюшка, бабушка долго перед смертью мучилась?

— Не то чтобы очень, всего с небольшим сутки лежали. Так, словно сами собой извелись. Ни больны настоящим манером не были, ничто́! Ничего почесть и не говорили, только про вас с сестрицей раза с два помянули.

— Образа́-то, стало быть, Порфирий Владимирыч увез?

— Он увез. Собственные, говорит, маменькины образа́. И тарантас к себе увез, и двух коров. Все, стало быть, из барыниных бумаг усмотрел, что не ваши были, а бабенькины. Лошадь тоже одну оттягать хотел, да Федулыч не отдал: наша, говорит, эта лошадь, старинная погорелковская,— ну, оставил, побоялся.

Походила Аннинька и по двору, заглянула в службы, на гумно, на скотный двор. Там, среди навозной топи, стоял «оборотный капитал»: штук двадцать тощих коров да три лошади. Велела принести хлеба, сказав при этом: я заплачу! — и каждой корове дала по кусочку. Потом скотница попросила ба-

рышню в избу, где был поставлен на столе горшок с молоком, а в углу у печки, за низенькой перегородкой из досок, ютился новорожденный теленок. Аннинька поела молочка, побежала к теленочку, сгоряча поцеловала его в морду, но сейчас же брезгливо вытерла губы, говоря, что морда у теленка противная, вся в каких-то слюнях. Наконец вынула из портмоне три желтеньких бумажки, раздала старым слугам и стала сбираться.

— Что ж вы будете делать? — спросила она, усаживаясь в кибитку, старика Федулыча, который в качестве старосты следовал за барышней с скрещенными на груди руками.

— А что нам делать! жить будем! — просто ответил Федулыч.

Анниньке опять взгрустнулось: ей показалось, что слова Федулыча звучат иронией. Она постояла-постояла на месте, вздохнула и сказала:

— Ну, прощайте!

— А мы было думали, что вы к нам вернетесь! с нами поживете! — молвил Федулыч.

— Нет уж... что! Все равно... живите!

И опять слезы полились у нее из глаз, и все при этом тоже заплакали. Как-то странно это выходило: вот и ничего, казалось, ей не жаль, даже помянуть не́чем — а она плачет. Да и они: ничего не было сказано выходящего из ряда будничных вопросов и ответов, а всем сделалось тяжело, «жалко». Посадили ее в кибитку, укутали и все разом глубоко вздохнули.

— Счастли́во! — раздалось за ней, когда повозка тронулась.

Ехавши мимо погоста, она вновь велела остановиться и одна, без причта, пошла по расчищенной дороге к могиле. Уже порядком стемнело, и в домах церковников засветились огни. Она стояла, ухватившись одной рукой за надгробный крест, но не плакала, а только пошатывалась. Ничего особенного она не думала, никакой определенной мысли не могла формулировать, а горько ей было, всем существом горько. И не над бабушкой, а над самой собой горько. Бессознательно пошатываясь и наклоняясь, она простояла тут с четверть часа, и вдруг ей представилась Любинька, которая, быть может, в эту самую минуту соловьем разливается в каком-нибудь Кременчуге, среди развеселой компании...

Ah! ah! que j'aime, que j'aime!
Que j'aime les mili-mili-mili-taires!

Она чуть не упала. Бегом добежала до повозки, села и велела как можно скорее ехать в Головлево.

Аннинька воротилась к дяде скучная, тихая. Впрочем, это не мешало ей чувствовать себя несколько голодною (дяденька, впопыхах, даже курочки с ней не отпустил), и она была очень рада, что стол для чая был уж накрыт. Разумеется, Порфирий Владимирыч не замедлил вступить в разговор.

— Ну что, побывала?

— Побывала.

— И на могилке помолилась? панихидку отслужила?

— Да, и панихидку.

— Священник-то, стало быть, дома был?

— Конечно, был; кто же бы панихиду служил!

— Да, да... И дьячки оба были? вечную память пропели?

— Пропели.

— Да. Вечная память! вечная память покойнице! Пе́чная старушка, родственная была!

Иудушка встал со стула, обратился лицом к образам и помолился.

— Ну, а в Погорелке ка́к застала? благополучно?

— Право, не знаю. Кажется, все на своем месте стоит.

— То-то «кажется»! Нам всегда «кажется», а посмотришь да поглядишь — и тут криве́нько, и там гниле́нько... Вот так-то мы и об чужих состояниях понятие себе составляем: «кажется»! все «кажется»! А впрочем, хорошенькая у вас усадьбица; преудобно вас покойница маменька устроила, немало даже из собственных средств на усадьбу употребила... Ну, да ведь сиротам не грех и помочь!

Слушая эти похвалы, Аннинька не выдержала, чтоб не подразнить сердобольного дяденьку.

— А вы зачем, дядя, из Погорелки двух коров увели? — спросила она.

— Коров? каких это коров? Это Чернавку да Приведе́нку, что ли? Так ведь они, мой друг, маменькины были!

— А вы — ее законный наследник? Ну что ж! и владейте! Хотите, я вам еще теленочка велю прислать?

— Вот-вот-вот! ты уж и раскипятилась! А ты дело говори. Как, по-твоему, чьи коровы были?

— А я почем знаю! в Погорелке стояли!

— А я знаю, у меня доказательства есть, что коровы маменькины. Собственный ее руки я реестр отыскал, там именно сказано: «мои».

— Ну, оставим. Не стоит об этом говорить.

— Вот лошадь в Погорелке есть, лысенькая такая — ну, об этой верного сказать не могу. Кажется, будто бы маменькина лошадь, а впрочем — не знаю! А чего не знаю, об том и говорить не могу!

— Оставим это, дядя.

— Нет, зачем оставлять! Я, брат — прямик, я всякое дело начистоту вести люблю! Да отчего и не поговорить! Своего всякому жалко: и мне жалко, и тебе жалко — ну и поговорим! А коли говорить будем, так скажу тебе прямо: мне чужого не надобно, но и своего я не отдам. Потому что хоть вы мне и не чужие, а все-таки.

— И образа даже взяли! — опять не воздержалась Аннинька.

— И образа взял, и все взял, что мне, как законному наследнику, принадлежит.

— Теперь киот-то весь словно в дырах...

— Что ж делать! И перед таким помолись! Богу ведь не киот, а молитва твоя нужна! Коли ты искренно приступаешь, так и перед плохенькими образами молитва твоя дойдет! А коли ты только так: болты-болты! да по сторонам поглядеть, да книксен сделать — так и хорошие образа тебя не спасут!

Тем не менее Иудушка встал и возблагодарил бога за то, что у него «хорошие» образа́.

— А ежели не нравится старый киот — новый вели сделать. Или другие образа на место вынутых поставь. Прежние — маменька-покойница наживала да устроивала, а новые — ты уж сама наживи!

Порфирий Владимирыч даже хихикнул: так это рассуждение казалось ему резонно и просто.

— Скажите, пожалуйста, что же мне теперь делать предстоит? — спросила Аннинька.

— А вот, погоди. Сначала отдохни, да понежься, да поспи. Побеседуем да посудим, и так посмотрим, и этак прикинем — может быть, вдвоем что-нибудь и выдумаем!

— Мы совершеннолетние, кажется?

— Да-с, совершеннолетние-с. Можете сами и действиями своими, и имением управлять!

— Слава богу, хоть это!

— Честь имеем поздравить-с!

Порфирий Владимирыч встал и полез целоваться.

— Ах, дядя, какой вы странный! все целуетесь!

— Отчего же и не поцеловаться! Не чужая ты мне — племяннушка! Я, мой друг, по-родственному! Я для родных всегда готов! Будь хоть троюродный, хоть четвероюродный,— я всегда...

— Вы лучше скажите, что мне делать? в город, что ли, надобно ехать? хлопотать?

— И в город поедем, и похлопочем — все в свое время сделаем. А прежде — отдохни, поживи! Слава богу! не в трактире,

а у родного дяди живешь! И поесть, и чайку попить, и вареньицем полакомиться — всего вдоволь есть! А ежели кушанье какое не понравится — другого спроси! Спрашивай, требуй! Щец не захочется — супцу подать вели! Котлеточек, уточки, поросеночка... Евпраксеюшку за бока бери!.. А кстати, Евпраксеюшка! вот я поросеночком-то похвастался, а хорошенько и сам не знаю, есть ли у нас?

Евпраксеюшка, державшая в это время перед ртом блюдечко с горячим чаем, утвердительно повела носом воздух.

— Ну, вот видишь! и поросеночек есть! Всего, значит, чего душенька захочет, того и проси! Так-то!

Иудушка опять потянулся к Анниньке и по-родственному похлопал ее рукой по коленке, причем, конечно, невзначай, слегка позамешкался, так что сиротка инстинктивно отодвинулась.

— Но ведь мне ехать надо,— сказала она.

— Об том-то я и говорю. Потолкуем да поговорим, а потом и поедем. Благословясь да богу помолясь, а не так как-нибудь: прыг да шмыг! Поспешишь — людей насмешишь! Спешат-то на пожар, а у нас, слава богу, не горит! Вот Любиньке — той на ярмарку спешить надо, а тебе что! Да вот я тебя еще что спрошу: ты в Погорелке, что ли, жить будешь?

— Нет, в Погорелке мне не́зачем.

— И я тоже хотел тебе сказать. Поселись-ко у меня. Будем жить да поживать — еще как заживем-то!

Говоря это, Иудушка глядел на Анниньку такими маслеными глазами, что ей сделалось неловко.

— Нет, дядя, я не поселюсь у вас. Скучно.

— Ах, глупенькая, глупенькая! И что тебе эта скука далась! Скучно да скучно, а чем скучно — и сама, чай, не скажешь! У кого, мой друг, дело есть, да кто собой управлять умеет — тот никогда скуки не знает. Вот я, например: не вижу, как и время летит! В будни — по хозяйству: там посмотришь, тут поглядишь, туда сходишь, побеседуешь, посудишь — смотришь, ан день и прошел! А в праздник — в церковь! Так-то и ты! Поживи с нами — и тебе дело найдется, а дела нет — с Евпраксеюшкой в дурачки садись или саночки вели заложить — катай да покатывай! А лето настанет — по грибы в лес поедем! на траве чай станем пить!

— Нет, дядя, напрасно вы и предлагаете!

— Право бы, пожила.

— Нет. А вот что: устала я с дороги, так спать нельзя ли мне лечь?

— И баиньки можно. И кроватка у меня готова для тебя, и все как следует. Хочется тебе баиньки — почивай, Христос с тобой! А все-таки ты об этом подумай: куда бы лучше, кабы ты с нами в Головлеве осталась!

Аннинька провела ночь беспокойно. Нервная блажь, которая застигла ее в Погорелке, продолжалась. Бывают минуты, когда человек, который дотоле только *существовал,* вдруг начинает понимать, что он не только воистину *живет,* но что в его жизни есть даже какая-то язва. Откуда она взялась, каким образом и когда именно образовалась — в большей части случаев он хорошо себе не объясняет и чаще всего приписывает происхождение язвы совсем не тем причинам, которые в действительности ее обусловили. Но для него оценка факта даже не нужна: достаточно и того, что язва существует. Действие такого внезапного откровения, будучи для всех одинаково мучительным, в дальнейших практических результатах видоизменяется, смотря по индивидуальным темпераментам. Одних сознание обновляет, воодушевляет решимостью начать новую жизнь на новых основаниях; на других оно отражается лишь преходящею болью, которая не произведет в будущем никакого перелома к лучшему, но в настоящем высказывается даже болезненнее, нежели в том случае, когда встревоженной совести, вследствие принятых решений, все-таки представляются хоть некоторые просветы в будущем.

Аннинька не принадлежала к числу таких личностей, которые в сознании своих язв находят повод для жизненного обновления, но тем не менее, как девушка неглупая, она отлично понимала, что между теми смутными мечтами о трудовом хлебе, которые послужили ей исходным пунктом для того, чтобы навсегда покинуть Погорелку, и положением провинциальной актрисы, в котором она очутилась, существует целая бездна. Вместо тихой жизни труда она нашла бурное существование, наполненное бесконечными кутежами, наглым цинизмом и беспорядочною, ни к чему не приводящею суетою. Вместо лишений и суровой внешней обстановки, с которыми она когда-то примирялась, ее встретило относительное довольство и роскошь, об которых она, однако ж, не могла теперь вспоминать без краски на лице. И вся эта перестановка как-то незаметно для нее самой случилась: шла она куда-то в хорошее место, но, вместо одной двери, попала в другую. Желания ее были, действительно, очень скромные. Сколько раз, бывало, сидя в Погорелке на мезонине, она видела себя в мечтах серьезною

девушкой, трудящейся, алчущей образовать себя, с твердостью переносящей нужду и лишения, ради идеи блага (правда, что слово «благо» едва ли имело какое-нибудь определенное значение); но едва она вышла на широкую дорогу самодеятельности, как сама собою сложилась такая практика, которая сразу разбила в прах всю мечту. Серьезный труд не приходит сам собой, а дается только упорному исканию и подготовке, ежели и не полной, то хотя до известной степени помогающей исканию. Но требованиям этим не отвечали ни темперамент, ни воспитание Анниньки. Темперамент ее вовсе не отличался страстностью, а только легко раздражался; материал же, который дало ей воспитание и с которым она собралась войти в трудовую жизнь, был до такой степени несостоятелен, что не мог послужить основанием ни для какой серьезной профессии. Воспитание это было, так сказать, институтско-опереточное, в котором перевес брала едва ли не оперетка. Тут в хаотическом беспорядке перемешивались и задача о летящем стаде гусей, и па́ с шалью, и проповедь Петра Пикардского, и проделки Елены Прекрасной, и ода к Фелице, и чувство признательности к начальникам и покровителям благородных девиц. В этом беспорядочном винегрете (вне которого она с полным основанием могла назвать себя tabula rasa) трудно было даже разобраться, а не то что исходную точку найти. Не любовь к труду пробуждала такая подготовка, а любовь к светскому обществу, желание быть окруженной, выслушивать любезности кавалеров и вообще погрузиться в шум, блеск и вихрь так называемой светской жизни.

Если бы она следила за собой пристальнее, то даже в Погорелке, в те минуты, когда в ней еще только зарождались проекты трудовой жизни, когда она видела в них нечто вроде освобождения из плена египетского,— даже и тогда она могла бы изловить себя в мечтах не столько работающею, сколько окруженною обществом единомыслящих людей и коротающею время в умных разговорах. Конечно, и люди этих мечтаний были умные, и разговоры их — честные и серьезные, но все-таки на сцене первенствовала праздничная сторона жизни. Бедность была опрятная, лишения свидетельствовали только об отсутствии излишеств. Поэтому, когда на деле мечты о трудовом хлебе разрешились тем, что ей предложили занять опереточное амплуа́ на подмостках одного из провинциальных театров, то, несмотря на контраст, она колебалась недолго. Наскоро освежила она институтские сведения об отношениях Елены к Менелаю, дополнила их некоторыми биографическими подробностями из жизни великолепного князя Тавриды и решила, что этого было совершенно достаточно, чтобы вос-

производить «Прекрасную Елену» и «Отрывки из Герцогини Герольштейнской» в губернских городах и на ярмарках. При этом, для очистки совести, она припоминала, что один студент, с которым она познакомилась в Москве, на каждом шагу восклицал: святое искусство! — и тем охотнее сделала эти слова девизом своей жизни, что они приличным образом развязывали ей руки и придавали хоть какой-нибудь наружный декорум ее вступлению на стезю, к которой она инстинктивно рвалась всем своим существом.

Жизнь актрисы взбудоражила ее. Одинокая, без руководящей подготовки, без сознанной цели, с одним только темпераментом, жаждущим шума, блеска и похвал, она скоро увидела себя кружащеюся в каком-то хаосе, в котором толпилось бесконечное множество лиц, без всякой связи сменявших одно другое. Это были лица разнообразнейших характеров и убеждений, так что самые мотивы для сближения с тем или другим отнюдь не могли быть одинаковыми. Тем не менее и тот, и другой, и третий равно составляли ее круг, из чего должно было заключить, что тут, собственно говоря, не могло быть и речи об мотивах. Ясно, стало быть, что ее жизнь сделалась чем-то вроде въезжего дома, в ворота которого мог стучаться каждый, кто сознавал себя веселым, молодым и обладающим известными материальными средствами. Ясно, что тут дело шло совсем не об том, чтобы *подбирать* себе общество по душе, а об том, чтобы примоститься к какому бы то ни было обществу, лишь бы не изнывать в одиночестве. В сущности, «святое искусство» привело ее в помойную яму, но голова ее сразу так закружилась, что она не могла различить этого. Ни немытые рожи коридорных, ни захватанные, покрытые слизью декорации, ни шум, вонь и гвалт гостиниц и постоялых дворов, ни цинические выходки поклонников — ничто не отрезвляло ее. Она не замечала даже, что постоянно находится в обществе одних мужчин и что между нею и другими женщинами, имеющими *постоянное положение*, легла какая-то непреодолимая преграда...

Отрезвил на минуту приезд в Головлево.

С утра, почти с самой минуты приезда, ее уж что-то мутило. Как девушка впечатлительная, она очень быстро проникалась новыми ощущениями и не менее быстро применялась ко всяким положениям. Поэтому, с приездом в Головлево, она вдруг почувствовала себя «барышней». Припомнила, что у нее есть что-то свое: свой дом, свои могилы, и захотелось ей опять увидеть прежнюю обстановку, опять подышать тем воздухом, из которого она так недавно без оглядки бежала. Но впечатление это немедленно же должно было разбиться при столк-

новении с действительностью, встретившеюся в Головлеве. В этом отношении ее можно было уподобить тому человеку, который с приветливым выражением лица входит в общество давно не виденных им людей и вдруг замечает, что к его приветливости все относятся как-то загадочно. Погано скошенные на ее бюст глаза Иудушки сразу напомнили ей, что позади у нее уже образовался своего рода скарб, с которым не так-то легко рассчитаться. И когда, после наивных вопросов погорелковской прислуги, после назидательных вздохов воплинского батюшки и его попадьи и после новых поучений Иудушки, она осталась одна, когда она проверила на досуге впечатления дня, то ей сделалось уже совсем несомненно, что прежняя «барышня» умерла навсегда, что отныне она только актриса жалкого провинциального театра и что положение русской актрисы очень недалеко отстоит от положения публичной женщины.

До сих пор она жила как во сне. Обнажалась в «Прекрасной Елене», являлась пьяною в «Периколе», пела всевозможные бесстыдства в «Отрывках из Герцогини Герольштейнской» и даже жалела, что на театральных подмостках не принято представлять «la chose» и «l'amour», воображая себе, как бы она обольстительно вздрагивала поясницей и шикарно вертела хвостом. Но ей никогда не приходило в голову вдумываться в то, что она делает. Она об том только старалась, чтоб все выходило у ней «мило», «с шиком» и в то же время нравилось офицерам расквартированного в городе полка. Но что́ это такое и какого сорта ощущения производят в офицерах ее вздрагиванья — она об этом себя не спрашивала. Офицеры представляли в городе решающую публику, и ей было известно, что от них зависел ее успех. Они вторгались за кулисы, бесцеремонно стучались в двери ее уборной, когда она была еще полуодета, называли ее уменьшительными именами — и она смотрела на все это как на простую формальность, род неизбежной обстановки ремесла, и спрашивала себя только об том — «мило» или «не мило» выдерживает она в этой обстановке свою роль? Но ни тела своего, ни души она покуда еще не сознавала публичными. И вот теперь, когда она на минуту опять почувствовала себя «барышней», ей вдруг сделалось как-то невыносимо мерзко. Как будто с нее сняли все покровы до последнего и всенародно вывели ее обнаженною; как будто все эти подлые дыхания, зараженные запахами вина и конюшни, разом охватили ее; как будто она на всем своем теле почувствовала прикосновение потных рук, слюнявых губ и блуждание мутных, исполненных плотоядной животненности глаз, которые бессмысленно скользят по кривой линии ее обнаженного тела, словно требуют от него ответа: что такое «la chose»?

Куда идти? где оставить этот скарб, который надавливал ее плечи? Вопрос этот безнадежно метался в ее голове, но именно только метался, не находя и даже не ища ответа. Ведь и это был своего рода сон: и прежняя жизнь была сон, и теперешнее пробуждение — тоже сон. Огорчилась девочка, расчувствовалась — вот и все. Пройдет. Бывают минуты хорошие, бывают и горькие — это в порядке вещей. Но и те и другие только скользят, а отнюдь не изменяют однажды сложившегося хода жизни. Чтоб дать последней другое направление, необходимо много усилий, потребна не только нравственная, но и физическая храбрость. Это почти то же, что самоубийство. Хотя перед самоубийством человек проклинает свою жизнь, хотя он положительно знает, что для него смерть есть свобода, но орудие смерти все-таки дрожит в его руках, нож скользит по горлу, пистолет, вместо того чтоб бить прямо в лоб, бьет ниже, уродует. Так-то и тут, но еще труднее. И тут предстоит убить свою прежнюю жизнь, но, убив ее, самому остаться живым. То «ничто», которое в заправском самоубийстве достигается мгновенным спуском курка,— тут, в этом особом самоубийстве, которое называется «обновлением», достигается целым рядом суровых, почти аскетических усилий. И достигается все-таки «ничто», потому что нельзя же назвать нормальным существование, которого содержание состоит из одних усилий над собой, из лишений и воздержаний. У кого воля изнежена, кто уже подточен привычкою легкого существования — у того голова закружится от одной перспективы подобного «обновления». И инстинктивно, отворачивая голову и зажмуривая глаза, стыдясь и обвиняя себя в малодушии, он все-таки опять пойдет по утоптанной дороге.

Ах! великая вещь — жизнь труда! Но с нею сживаются только сильные люди да те, которых осудил на нее какой-то проклятый прирожденный грех. Только таких он не пугает. Первых потому, что, сознавая смысл и ресурсы труда, они умеют отыскивать в нем наслаждение; вторых — потому, что для них труд есть прежде всего прирожденное обязательство, а потом и привычка.

Аннинькe даже на мысль не приходило основаться в Погорелке или в Головлеве, и в этом отношении ей большую помощь оказала та деловая почва, на которую ее поставили обстоятельства и которой она инстинктивно не покидала. Ей был дан отпуск, и она уже заранее распределила все время его и назначила день отъезда из Головлева. Для людей слабохарактерных те внешние грани, которые обставляют жизнь, значительно облегчают бремя ее. В затруднительных случаях слабые люди инстинктивно жмутся к этим граням и находят в них

для себя оправдание. Так именно поступила и Аннинька: она решилась как можно скорее уехать из Головлева, и ежели дядя будет приставать, то оградить себя от этих приставаний необходимостью явиться в назначенный срок.

Проснувшись на другой день утром, она прошлась по всем комнатам громадного головлевского дома. Везде было пустынно, неприютно, пахло отчуждением, выморочностью. Мысль поселиться в этом доме без срока окончательно испугала ее. «Ни за что! — твердила она в каком-то безотчетном волнении,— ни за что!»

Порфирий Владимирыч и на другой день встретил ее с обычной благосклонностью, в которой никак нельзя было различить — хочет ли он приласкать человека или намерен высосать из него кровь.

— Ну что, торопыга, выспалась? куда-то теперь торопиться будешь? — пошутил он.

— И то, дядя, тороплюсь; ведь я в отпуску, надобно на срок поспевать.

— Это опять скоморошничать? не пущу!

— Пускайте или не пускайте — сама уеду!

Иудушка грустно покачал головой.

— А бабушка-покойница что скажет? — спросил он тоном ласкового укора.

— Бабушка и при жизни знала. Да что это, дядя, за выражения у вас? вчера с гитарой меня по ярмаркам посылали, сегодня об скоморошничестве разговор завели? Слышите! я не хочу, чтоб вы так говорили!

— Эге! видно, правда-то кусается! А вот я так люблю правду! По мне, ежели правда...

— Нет, нет! не хочу я, не хочу! ни правды, ни неправды мне вашей не надо! Слышите! не хочу я, чтоб вы так выражались!

— Ну-ну! раскипятилась? пойдем-ка, стрекоза, за добра ума, чай пить! Самовар-то уж, чай, давно хр-хр... да зз-зз... на столе делает.

Порфирий Владимирыч шуточкой да смешком хотел изгладить впечатление, произведенное словом «скоморошничать», и в знак примирения даже потянулся к племяннице, чтоб обнять ее за талию, но Анниньке все это показалось до того глупым, почти гнусным, что она брезгливо уклонилась от ожидавшей ее ласки.

— Я вам серьезно повторяю, дядя, что мне надо торопиться! — сказала она.

— А вот пойдем, сначала чайку попьем, а потом и поговорим!

— Да почему же непременно после чаю? почему нельзя до чаю поговорить?

— А потому что потому. Потому что все чередом делать надо. Сперва одно, потом — другое, сперва чайку попьем да поболтаем, а потом и об деле переговорим. Все успеем.

Перед таким непреоборимым пустословием оставалось только покориться. Стали пить чай, причем Иудушка самым злостным образом длил время, помаленьку прихлебывая из стакана, крестясь, похлопывая себя по ляжке, калякая об покойнице маменьке и проч.

— Ну вот, теперь и поговорим,— сказал он наконец,— ты долго ли намерена у меня погостить?

— Да больше недели мне нельзя. В Москве еще побывать надо.

— Неделя, мой друг, большое дело; и много дела можно в неделю сделать, и мало дела — как взяться.

— Мы, дядя, лучше больше сделаем.

— Об том-то я и говорю. И много можно сделать, и мало. Иногда много хочешь сделать, а выходит мало, а иногда будто и мало делается, ан смотришь, с божьею помощью, все дела незаметно прикончил. Вот ты спешишь, в Москве тебе побывать, вишь, надо, а зачем, коли тебя спросить,— ты и сама путем не сумеешь ответить. А по-моему, вместо Москвы-то, лучше бы это время на дело употребить.

— В Москву мне необходимо, потому что я хочу попытать, нельзя ли нам на тамошнюю сцену поступить. А что касается до дела, так ведь вы сами же говорите, что в неделю можно много дела наделать.

— Смотря по тому, как возьмешься, мой друг. Ежели возьмешься как следует — все у тебя пойдет и ладно и плавно; а возьмешься не так, как следует — ну, и застрянет дело, в долгий ящик оттянется.

— Так вы меня поруководите, дядя!

— То-то вот и есть. Как нужно, так «вы меня поруководите, дядя!», а не нужно — так и скучно у дяди, и поскорее бы от него уехать! Что, небось, неправда?

— Да вы только скажите, что мне делать нужно?

— Стой, погоди! Так вот я и говорю: как нужен дядя — он и голубчик, и миленький, и душенька, а не нужен — сейчас ему хвост покажут! А нет того, чтоб спроситься у дяди: ка́к мол, вы, дяденька-голубчик, полагаете, можно мне в Москву съездить?

— Какой вы, дядя, странный! Ведь мне в Москве необходимо быть, а вы вдруг скажете, что нельзя?

— А скажу: нельзя — и посиди! Не посторонний сказал, дядя сказал — можно и послушаться дядю. Ах, мой друг, мой друг! Еще хорошо, что у вас дядя есть — все же и пожалеть об вас, и остановить вас есть кому! А вот как у других — нет никого! Ни их пожалеть, ни остановить — одни растут! Ну, и бывает с ними... всякие случайности в жизни бывают, мой друг!

Аннинька хотела было возразить, однако поняла, что это значило бы только подливать масла в огонь, и смолчала. Она сидела и безнадежно смотрела на расходившегося Порфирия Владимирыча.

— Вот я давно хотел тебе сказать,— продолжал между тем Иудушка,— не нравится мне, куда как не нравится, что вы по этим... по ярмаркам ездите! Хоть тебе и нѐлюбо, что я об гитарах говорил, а все-таки...

— Да ведь мало сказать: не нравится! Надобно на какой-нибудь выход указать!

— Живи у меня — вот тебе и выход!

— Ну нет... это... ни за что!

— Что так?

— А то, что нечего мне здесь делать. Что у вас делать! Утром встать — чай пить идти, за чаем думать: вот завтракать подадут! за завтраком — вот обедать накрывать будут! за обедом — скоро ли опять чай? А потом ужинать и спать... умрешь у вас!

— И все, мой друг, так делают. Сперва чай пьют, потом, кто привык завтракать — завтракают, а вот я не привык завтракать — и не завтракаю; потом обедают, потом вечерний чай пьют, а наконец, и спать ложатся. Что же! кажется, в этом ни смешного, ни предосудительного нет! Вот, если б я...

— Ничего предосудительного, только не по мне.

— Вот если б я кого-нибудь обидел, или осудил, или дурно об ком-нибудь высказался — ну, тогда точно! можно бы и самого себя за это осудить! А то чай пить, завтракать, обедать... Христос с тобой! да и ты, как ни прытка, а без пищи не проживешь!

— Ну да, все это хорошо, да только не по мне!

— А ты не все на свой аршин меряй — и об старших подумай! «По мне» да «не по мне» — разве можно так говорить! А ты говори: «по-божьему» или «не по-божьему» — вот это будет дельно, вот это будет так! Коли ежели у нас в Головлеве не по-божьему, ежели мы против бога поступаем, грешим, или ропщем, или завидуем, или другие дурные дела делаем — ну,

тогда мы действительно виноваты и заслуживаем, чтоб нас осуждали. Только и тут еще надобно доказать, что мы точно не по-божьему поступаем. А то на-тко! «не по мне»! Да скажу теперича хоть про себя — мало ли что не по мне! Не по мне вот, что ты так со мной разговариваешь да родственную мою хлеб-соль хаешь — однако я сижу, молчу! Дай, думаю, я ей тихим манером почувствовать дам — может быть, она и сама собой образумится! Может быть, покуда я шуточкой да усмешечкой на твои выходки отвечаю, ан ангел-то твой хранитель и наставит тебя на путь истинный! Ведь мне не за себя, а за тебя обидно! А-а-ах, мой друг, как это нехорошо! И хоть бы я что-нибудь тебе дурное сказал, или дурно против тебя поступил, или обиду бы какую-нибудь ты от меня видела — ну, тогда бог бы с тобой! Хоть и велит бог от старшего даже поучение принять — ну, да уж если я тебя обидел, бог с тобой! сердись на меня! А то сижу я смирнехонько да тихохонько, сижу, ничего не говорю, только думаю, как бы получше да поудобнее, чтобы всем на радость да на утешение — а ты! фу-ты, ну-ты! — вот ты на мои ласки какой ответ даешь! А ты не сразу все выговаривай, друг мой, а сначала подумай, да богу помолись, да попроси его вразумить себя! И вот коли ежели...

Порфирий Владимирыч разглагольствовал долго, не переставая. Слова бесконечно тянулись одно за другим, как густая слюна. Аннинька с безотчетным страхом глядела на него и думала: как это он не захлебнется? Однако так-таки и не сказал дяденька, что ей предстоит делать по случаю смерти Арины Петровны. И за обедом пробовала она ставить этот вопрос, и за вечерним чаем, но всякий раз Иудушка начинал тянуть какую-то постороннюю канитель, так что Аннинька не рада была, что и возбудила разговор, и об одном только думала: когда же все это кончится?

После обеда, когда Порфирий Владимирыч отправился спать, Аннинька осталась один на один с Евпраксеюшкой, и ей вдруг припала охота вступить в разговор с дяденькиной экономкой. Ей захотелось узнать, почему Евпраксеюшке не страшно в Головлеве и что дает ей силу выдерживать потоки пустопорожних слов, которые с утра до вечера извергали дяденькины уста.

— Скучно вам, Евпраксеюшка, в Головлеве?

— Чего нам скучать? мы не господа́!

— Все же... всегда вы одни... ни развлечений, ни удовольствий у вас — ничего!

— Каких нам удовольствий надо! Скучно — так в окошко погляжу. Я и у папеньки, у Николы в Капельках жила, немного веселости-то видела!

— Все-таки дома, я полагаю, вам было лучше.— Товарки были, друг к другу в гости ходили, играли...

— Что уж!

— А с дядей... Говорит он все что-то скучное и долго как-то. Всегда он так?

— Всегда, цельный день так говорят.

— И вам не скучно?

— Мне что! Я ведь не слушаю!

— Нельзя же совсем не слушать. Он может заметить это, обидеться.

— А почем он знает! Я ведь смотрю на него. Он говорит, а я смотрю да этим временем про свое думаю.

— Об чем же вы думаете?

— Обо всем думаю. Огурцы солить надо — об огурцах думаю, в город за чем посылать надо — об этом думаю. Что по домашности требуется — обо всем думаю.

— Стало быть, вы хоть и вместе живете, а на самом-то деле все-таки одни?

— Да поче́сть что одна. Иногда разве вечером вздумает в дураки играть — ну, играем. Да и тут: середь самой игры остановятся, сложат карты и начнут говорить. А я смотрю. При покойнице, при Арине Петровне, веселее было. При ней он лишнее-то говорить побаивался; нет-нет да и остановит старуха. А нынче ни на что не похоже, какую волю над собой взял!

— Вот видите ли! ведь это, Евпраксеюшка, страшно! Страшно, когда человек говорит и не знаешь, зачем он говорит, что говорит и кончит ли когда-нибудь. Ведь страшно? неловко, ведь?

Евпраксеюшка взглянула на нее, словно ее впервые озарила какая-то удивительная мысль.

— Не вы одни,— сказала она,— многие у нас их за это не любят.

— Вот как!

— Да. Хоть бы лакеи — ни один долго ужиться у нас не может; почесть каждый месяц меняем. Приказчики тоже. И всё из-за этого.

— Надоедает?

— Тиранит. Пьяницы — те живут, потому что пьяница не слышит. Ему хоть в трубу труби — у него все равно голова как горшком прикрыта. Так опять беда: *они* пьяниц не любят.

— Ах, Евпраксеюшка, Евпраксеюшка! а он еще меня в Головлеве жить уговаривает!

— А что ж, барышня! вы бы и заправду с нами пожили! может быть, они бы и посовестились при вас!

— Ну нет! слуга·покорная! ведь у меня терпенья недостанет в глаза ему смотреть!

— Что и говорить! вы — господа! у вас своя воля! Однако, чай, воля-воля, а тоже и по чужой дудочке подплясывать приходится!

— Еще как часто-то!

— То-то и я думала! А я вот еще что хотела вас спросить: хорошо в актрисах служить?

— Свой хлеб — и то хорошо.

— А правда ли, Порфирий Владимирыч мне сказывали: будто бы актрис чужие мужчины зáвсе за талию держат?

Аннинька на минуту вспыхнула.

— Порфирий Владимирыч не понимает,— ответила она раздражительно,— оттого и несет чепуху. Он даже того различить не может, что на сцене происходит игра, а не действительность.

— Ну, однако! То-то и он, Порфирий-то Владимирыч... Как увидел вас, даже губы распустил! «Племяннушка» да «племяннушка»!— как и путный! А у самого бесстыжие глаза так и бегают!

— Евпраксеюшка! зачем вы глупости говорите!

— Я-то? мне — что! Поживете — сами увидите! А мне что! Откажут от места — я опять к батюшке уйду. И то ведь скучно здесь; правду вы это сказали.

— Чтоб я могла здесь остаться, это вы напрасно даже предполагаете. А вот, что скучно в Головлеве — это так. И чем дольше вы будете здесь жить, тем будет скучнее.

Евпраксеюшка слегка задумалась, потом зевнула и сказала:

— Я когда у батюшки жила, тощàя-претощáя была. А теперь — ишь какая! печь печью сделалась! Скука-то, стало быть, впрок идет!

— Все равно долго не выдержите. Вот помяните мое слово, не выдержите.

На этом разговор кончился. К счастию, Порфирий Владимирыч не слышал его — иначе он получил бы новую и благодарную тему, которая, несомненно, освежила бы бесконечную канитель его нравоучительных разговоров.

Целых два дня еще мучил Порфирий Владимирыч Анниньку. Все говорил: вот потерпи да погоди! потихоньку да полегоньку! благословясь да богу помолясь! и проч. Совсем ее истомил. Наконец, на пятый день собрался-таки в город, хотя и тут нашел средство истерзать племянницу. Она уж стояла в передней в шубе, а он, словно назло, целый час проклажался. Одевался, умывался, хлопал себя по ляжкам, кре-

стился, ходил, сидел, отдавал приказания вроде: «так так-то, брат!» или: «так ты уж тово... смотри, брат, как бы чего не было!» Вообще поступал так, как бы оставлял Головлево не на несколько часов, а навсегда. Замаявши всех: и людей и лошадей, полтора часа стоявших у подъезда, он наконец убедился, что у него самого пересохло в горле от пустяков, и решился ехать.

В городе все дело покончилось, покуда лошади ели овес на постоялом дворе. Порфирий Владимирыч представил отчет, по которому оказалось, что сиротского капитала, по день смерти Арины Петровны, состояло без малого двадцать тысяч рублей в пятипроцентных бумагах. Затем просьба о снятии опеки вместе с бумагами, свидетельствовавшими о совершеннолетии сирот, была принята, и тут же последовало распоряжение об упразднении опекунского управления и о сдаче имения и капиталов владелицам. В тот же день вечером Аннинька подписала все бумаги и описи, изготовленные Порфирием Владимирычем, и наконец свободно вздохнула.

Остальные дни Аннинька провела в величайшей ажитации. Ей хотелось уехать из Головлева немедленно, сейчас же, но дядя на все ее порывания отвечал шуточками, которые, несмотря на добродушный тон, скрывали за собой такое дурацкое упорство, какого никакая человеческая сила сломить не в состоянии.

— Сама сказала, что неделю поживешь,— ну, и поживи! — говорил он.— Что тебе! не за квартиру платить — и без платы милости просим! И чайку попить, и покушать — все, чего тебе вздумается, все будет!

— Да ведь мне, дядя необходимо! — отпрашивалась Аннинька.

— Тебе не сидится, а я лошадок не дам! — шутил Иудушка,— не дам лошадок, и сиди у меня в плену! Вот неделя пройдет — ни слова не скажу! Отстоим обеденку, поедим на дорожку, чайку попьем, побеседуем... Наглядимся друг на друга — и с богом! Да вот что! не съездить ли тебе опять на могилку в Воплино? Все бы с бабушкой простилась — может, покойница и благой бы совет тебе подала!

— Пожалуй! — согласилась Аннинька.

— Так мы вот как сделаем: в среду ранënько здесь обеденку отслушаем да на дорожку пообедаем, а потом мои лошадки довезут тебя до Погорелки, а оттуда до Двориков уж на своих, на погорелковских лошадках поедешь. Сама помещица! свои лошадки есть!

Приходилось смириться. Пошлость имеет громадную силу; она всегда застает свежего человека врасплох, и, в то время

как он удивляется и осматривается, она быстро опутывает его и забирает в свои тиски. Всякому, вероятно, случалось, проходя мимо клоаки, не только зажимать нос, но и стараться не дышать; точно такое же насилие должен делать над собой человек, когда вступает в область, насыщенную празднословием и пошлостью. Он должен притупить в себе зрение, слух, обоняние, вкус; должен победить всякую восприимчивость, одеревенеть. Только тогда миазмы пошлости не задушат его. Аннинька поняла это, хотя и поздно; во всяком случае, она решилась предоставить дело своего освобождения из Головлева естественному ходу вещей. Иудушка до того победил ее непреоборимостью своего празднословия, что она не смела даже уклониться, когда он обнимал ее и по-родственному гладил по спине, приговаривая: вот теперь ты паинька! Она невольно каждый раз вздрагивала, когда чувствовала, что костлявая и слегка трепещущая рука его ползет по ее спине, но от дальнейших выражений гадливости ее удерживала мысль: господи! хоть бы через неделю-то отпустил! К счастию для нее, Иудушка был малый небрезгливый, и хотя, быть может, замечал ее нетерпеливые движения, но помалчивал. Очевидно, он придерживался той теории взаимных отношений полов, которая выражается пословицей: люби не люби, да почаще взглядывай!

Наконец наступил нетерпеливо ожиданный день отъезда. Аннинька поднялась чуть не в шесть часов утра, но Иудушка все-таки упредил ее. Он уже совершил обычное молитвенное стояние и, в ожидании первого удара церковного колокола, в туфлях и халатном сюртуке слонялся по комнатам, заглядывал, подслушивал и проч. Очевидно, он был ажитирован и при встрече с Аннинькой как-то искоса взглянул на нее. На дворе уже было совсем светло, но время стояло скверное. Все небо было покрыто сплошными темными облаками, из которых сыпалась весенняя изморозь — не то дождь, не то снег; на почерневшей дороге поселка виднелись лужи, предвещавшие зажоры в поле; сильный ветер дул с юга, обещая гнилую оттепель; деревья обнажились от снега и беспорядочно покачивали из стороны в сторону своими намокшими голыми вершинами; господские службы почернели и словно ослизли. Порфирий Владимирыч подвел Анниньку к окну и указал рукой на картину весеннего возрождения.

— Уж ехать ли, по́лно? — спросил он,— не остаться ли?

— Ах, нет, нет! — испуганно вскрикнула она,— это... это... пройдет!

— Вряд ли. Ежели ты в час выедешь, то вряд ли раньше семи до Погорелки доедешь. А ночью разве можно в теперешн-

нюю ростепель ехать — все равно придется в Погорелке ночевать.

— Ах, нет! я и ночью, я сейчас же поеду... я ведь, дядя, храбрая! да и зачем же дожидаться до часу? Дядя! голубчик! позвольте мне теперь уехать!

— А бабенька что скажет? Скажет: вот так внучка! приехала, попрыгала и даже благословиться у меня не захотела!

Порфирий Владимирыч остановился и замолчал. Некоторое время он семенил ногами на одном месте и то взглядывал на Анниньку, то опускал глаза. Очевидно, он решался и не решался что-то высказать.

— Постой-ка, я тебе что-то покажу! — наконец решился он и, вынув из кармана свернутый листок почтовой бумаги, подал его Анниньке,— на-тко, прочти!

Аннинька прочла:

«Сегодня я молился и просил боженьку, чтоб он оставил мне мою Анниньку. И боженька мне сказал: возьми Анниньку за полненькую тальицу и прижми ее к своему сердцу».

— Так, что ли? — спросил он, слегка побледнев.

— Фу, дядя! какие гадости! — ответила она, растерянно смотря на него.

Порфирий Владимирыч побледнел еще больше и, произнеся сквозь зубы: «Видно, нам гусаров нужно!», перекрестился и, шаркая туфлями, вышел из комнаты.

Через четверть часа он, однако ж, возвратился как ни в чем не бывало и уж шутил с Аннинькой.

— Так как же?— говорил он,— в Воплино отсюда заедешь? с старушкой, бабенькой, проститься хочешь? простись! простись, мой друг! Это ты хорошее дело затеяла, что про бабеньку вспомнила! Никогда не нужно родных забывать, а особливо таких родных, которые, можно сказать, душу за нас полагали!

Отслушали обедню с панихидой, поели в церкви кутьи, потом домой приехали, опять кутьи поели и сели за чай. Порфирий Владимирыч, словно назло, медленнее обыкновенного прихлебывал чай из стакана и мучительно растягивал слова, разглагольствуя в промежутке двух глотков. К десяти часам, однако ж, чай кончился, и Аннинька взмолилась:

— Дядя! теперь мне можно ехать?

— А покушать? отобедать-то на дорожку? Неужто ж ты думала, что дядя так тебя и отпустит! И ни-ни! и не думай! Этого и в заводе в Головлеве не бывало! Да маменька-покойница на глаза бы меня к себе не пустила, если б знала, что я родную племяннушку без хлеба-соли в дорогу отпустил! И не думай этого! и не воображай!

Опять пришлось смириться. Прошло, однако ж, полтора часа, а на стол и не думали накрывать. Все разбрелись; Евпраксеюшка, гремя ключами, мелькала на дворе, между кладовой и погребом; Порфирий Владимирыч толковал с приказчиком, изнуряя его беспутными приказаниями, хлопая себя по ляжкам и вообще ухищряясь как-нибудь затянуть время. Аннинька ходила одна взад и вперед по столовой, поглядывая на часы, считая свои шаги, а потом секунды: раз, два, три... По временам она смотрела на улицу и убеждалась, что лужи делаются все больше и больше.

Наконец застучали ложки, ножи, тарелки; лакей Степан пришел в столовую и кинул скатерть на стол. Но, казалось, частица праха, наполнявшего Иудушку, перешла и в него. Еле-еле он передвигал тарелками, дул в стаканы, смотрел через них на свет. Ровно в час сели за стол.

— Вот ты и едешь! — начал Порфирий Владимирыч разговор, приличествующий проводам.

Перед ним стояла тарелка с супом, но он не прикасался к ней и до того умильно смотрел на Анниньку, что даже кончик носа у него покраснел. Аннинька торопливо глотала ложку за ложкой. Он тоже взялся за ложку и уж совсем было погрузил ее в суп, но сейчас же опять положил на стол.

— Уж ты меня, старика, прости! — зудил он,— ты вот на почтовых суп скушала, а я — на долгих ем. Не люблю я с божьим даром небрежно обращаться. Нам хлеб для поддержания существования нашего дан, а мы его зря разбрасываем — видишь, ты сколько накрошила? Да и вообще я все люблю основательно да осмотревшись делать — крепче выходит. Может быть, тебя это сердит, что я за столом через обруч — или как это там у вас называется — не прыгаю; ну, да что ж делать! и посердись, ежели тебе так хочется! Посердишься, посердишься, да и простишь! И ты не все молода будешь, не все через обручи будешь скакать, и в тебе когда-нибудь опытцу прибавится — вот тогда ты и скажешь: а дядя-то, пожалуй, прав был! Так-то, мой друг. Теперь, может быть, ты слушаешь меня да думаешь: фяка-дядя! старый ворчун дядя! А как поживешь с мое — другое запоешь, скажешь: пай-дядя! добру меня учил!

Порфирий Владимирыч перекрестился и проглотил две ложки супу. Сделавши это, он опять положил ложку в тарелку и опрокинулся на спинку стула в знак предстоящего разговора.

«Кровопийца!» — так и вертелось на языке у Анниньки. Но она сдержалась, быстро налила себе стакан воды и залпом его выпила. Иудушка словно нюхом отгадывал, что в ней происходит.

— Что! не нравится! — что ж, хоть и не нравится, а ты все-таки дядю послушай! Вот я уж давно с тобой насчет этой твоей поспешности поговорить хотел, да все недосужно было. Не люблю я в тебе эту поспешность: легкомыслие в ней видно, нерассудительность. Вот и в ту пору вы зря от бабушки уехали — и огорчить старушку не посовестились! — а зачем?

— Ах, дядя! зачем вы об этом вспоминаете! ведь это уж сделано! С вашей стороны это даже нехорошо!

— Постой! я не об том, хорошо или нехорошо, а об том, что хотя дело и сделано, но ведь его и переделать можно. Не только мы грешные, а и бог свои действия переменяет: сегодня пошлет дождичка, а завтра вёдрышка даст! А! ну-тко! ведь не бог же знает какое сокровище — театр! Ну-тко! решись-ка!

— Нет, дядя! оставьте это! прошу вас!

— А еще тебе вот что скажу: нехорошо в тебе твое легкомыслие, но еще больше мне не нравится то, что ты так легко к замечаниям старших относишься. Дядя добра тебе желает, а ты говоришь: оставьте! Дядя к тебе с лаской да с приветом, а ты на него фыркаешь! А между тем знаешь ли ты, кто тебе дядю дал? Ну-ко, скажи, кто тебе дядю дал?

Аннинька взглянула на него с недоумением.

— Бог тебе дядю дал — вот кто! бог! Кабы не бог, была бы ты теперь одна, не знала бы, как с собою поступить, и какую просьбу подать, и куда подать, и чего на эту просьбу ожидать. Была бы ты словно в лесу; один бы тебя обидел, другой бы обманул, а третий и просто-напросто посмеялся бы над тобой! А как дядя-то у тебя есть, так мы, с божьей помощью, в один день все твое дело вокруг пальца повернули. И в город съездили, и в опеке побывали, и просьбу подали, и резолюцию получили! Так вот оно, мой друг, что дядя-то значит!

— Да я и благодарна вам, дядя!

— А коли благодарна дяде, так не фыркай на него, а слушайся. Добра тебе дядя желает, хоть иногда тебе и кажется...

Аннинька едва могла владеть собой. Оставалось еще одно средство отделаться от дядиных поучений: притвориться, что она, хоть в принципе, принимает его предложение остаться в Головлеве.

— Хорошо, дядя,— сказала она,— я подумаю. Я сама понимаю, что жить одной, вдали от родных, не совсем удобно... Но, во всяком случае, теперь я решиться ни на что не могу. Надо подумать.

— Ну видишь ли, вот ты и поняла. Да чего же тут думать! Велим лошадей распрячь, чемоданы твои из кибитки вынуть — вот и думанье все!

— Нет, дядя, вы забываете, что у меня есть сестра!

Неизвестно, убедил ли этот аргумент Порфирия Владимирыча, или вся сцена эта была ведена им только для прилику, и он сам хорошенько не знал, точно ли ему нужно, чтоб Аннинька осталась в Головлеве, или совсем это не нужно, а просто блажь в голову на минуту забрела. Но, во всяком случае, обед после этого пошел поживее. Аннинька со всем соглашалась, на все давала такие ответы, которые не допускали никакой придирки для пустословия. Тем не менее часы показывали уж половину третьего, когда обед кончился. Аннинька выскочила из-за стола, словно все время в паровой ванне высидела, и подбежала к дяде, чтоб попрощаться с ним.

Через десять минут, Иудушка, в шубе и в медвежьих сапогах, провожал уж ее на крыльцо и самолично наблюдал, как усаживали барышню в кибитку.

— С горы-то полегче — слышишь! Да и в Сенькине на косогоре — смотри не вывали! — приказывал он кучеру.

Наконец Анниньку укутали, усадили и застегнули фартук у кибитки.

— А то бы осталась! — еще раз крикнул ей Иудушка, желая, чтоб и при собравшихся челядинцах все обошлось как следует, по-родственному.— По крайней мере, приедешь, что ли? говори!

Но Аннинька чувствовала себя уже свободною, и ей вдруг захотелось пошкольничать. Она высунулась из кибитки и, отчеканивая каждое слово, отвечала:

— Нет, дядя, не приеду! Страшно с вами!

Иудушка сделал вид, что не слышит, но губы у него побелели.

Освобождение из головлевского плена до такой степени обрадовало Анниньку, что она ни разу даже не остановилась на мысли, что позади ее, в бессрочном плену, остается человек, для которого с ее отъездом порвалась всякая связь с миром живых. Она думала только об себе: что она вырвалась и что теперь ей хорошо. Влияние этого ощущения свободы было так сильно, что когда она вновь посетила воплинское кладбище, то в ней уже не замечалось и следа той нервной чувствительности, которую она обнаружила при первом посещении бабушкиной могилы. Спокойно отслушала она панихиду, без слез поклонилась могиле и довольно охотно приняла предложение священника откушать у него в хате чашку чая.

Обстановка, в которой жил воплинский батюшка, была очень убогая. В единственной чистой комнате дома, которая служила приемною, царствовала какая-то унылая нагота; по стенам было расставлено с дюжину крашеных стульев, обитых волосяной материей, местами значительно продранной, и стоял такой же диван с выпяченной спинкой, словно грудь у генерала дореформенной школы; в одном из простенков виднелся простой стол, покрытый загаженным сукном, на котором лежали исповедные книги прихода, и из-за них выглядывала чернильница с воткнутым в нее пером; в восточном углу висел киот с родительским благословением и с зажженною лампадкой; под ним стояли два сундука с матушкиным приданым, покрытые серым, выцветшим сукном. Обоев на стенах не было; посередине одной стены висело несколько полинявших дагерротипных портретов преосвященных. В комнате пахло как-то странно, словно она издавна служила кладбищем для тараканов и мух. Сам священник, хотя человек еще молодой, значительно потускнел в этой обстановке. Жидкие беловатые волосы повисли на его голове прямыми прядями, как ветви на плакучей иве; глаза, когда-то голубые, смотрели убито; голос вздрагивал, бородка обострилась; шалоновая ряска худо запахивалась спереди и висела как на вешалке. Попадья, женщина тоже молодая, от ежегодных родов казалась еще более изнуренною, нежели муж.

Тем не меньше Аннинька не могла не заметить, что даже эти забитые, изнуренные и бедные люди относятся к ней не так, как к настоящей прихожанке, а скорее с сожалением, как к заблудшей овце.

— У дяденьки побывали? — начал батюшка, осторожно принимая чашку чая с подноса у попадьи.

— Да, почти с неделю прожила.

— Теперь Порфирий Владимирыч главный помещик по всей нашей округе сделались — нет их сильнее. Только удачи им в жизни как будто не видится. Сперва один сынок помер, потом и другой, а наконец, и родительница. Удивительно, как это они вас не упросили в Головлеве поселиться.

— Дядя предлагал, да я сама не осталась.

— Что ж так?

— Да лучше, как на свободе живешь.

— Свобода, сударыня, конечно, дело не худое, но и она не без опасностей бывает. А ежели при этом иметь в предмете, что вы Порфирию Владимирычу ближайшей родственницей, а следственно, и прямой всех его имений наследницей доводитесь, то можно бы, мнится, насчет свободы несколько и постеснить себя.

— Нет, батюшка, свой хлеб лучше. Как-то легче живется, как чувствуешь, что никому не обязан.

Батюшка тускло взглянул на нее, как будто хотел спросить: да ты, полно, знаешь ли, что такое «свой хлеб»? — но посовестился и только робко запахнул полы своей ряски.

— А много ли вы жалованья в актрисах-то получаете? — вступила в разговор попадья.

Батюшка окончательно обробел и даже заморгал в сторону попадьи. Он так и ждал, что Аннинька обидится. Но Аннинька не обиделась и без всякой ужимки ответила:

— Теперь я получаю полтораста рублей в месяц, а сестра — сто. Да бенефисы нам даются. В год-то тысяч шесть обе получим.

— Что ж так сестрице меньше дают? достоинством, что ли, они хуже? — продолжала любопытствовать матушка.

— Нет, а жанр у сестры другой. У меня голос есть, я пою — это публике больше нравится, а у сестры голос послабее — она в водевилях играет.

— Стало быть, и там тоже: кто попом, кто дьяконом, а кто и в дьячках служит?

— Впрочем, мы поровну делимся; у нас уж сначала так было условлено, чтоб деньги пополам делить.

— По-родственному? Чего же лучше, коли по-родственному? А сколько это, поп, будет? шесть тысяч рублей, ежели на меся́ца разделить, сколько это будет?

— По пятисот целковых в месяц, а на двух разделить — по двести по пятидесяти.

— Вона что денег-то! Нам бы и в год не прожить. А что я еще хотела вас спросить: правда ли, что с актрисами обращаются, словно бы они не настоящие женщины?

Поп совсем было всполошился и даже полы рясы распустил; но, увидев, что Аннинька относится к вопросу довольно равнодушно, подумал: «Эге! да ее, видно, и в самом деле не прошибешь!» — и успокоился.

— То есть как же это, не настоящие женщины? — спросила Аннинька.

— Ну, да вот будто целуют их, обнимают, что ли... Даже, будто, когда и не хочется, и тогда они должны...

— Не целуют, а делают вид, что целуют. А об том, хочется или не хочется — об этом и речи в этих случаях не может быть, потому что все делается по пьесе: как в пьесе написано, так и поступают.

— Хоть и по пьесе, а все-таки... Иной с слюнявым рылом лезет, на него и глядеть-то претит, а ты губы ему подставлять должна!

Анниныса невольно заалелась; в воображении ее вдруг промелькнуло слюнявое лицо храброго ротмистра Папкова, которое именно «лезло», и увы! даже не «по пьесе» лезло!

— Вы совсем не так представляете себе, как оно на сцене происходит! — сказала она довольно сухо.

— Конечно, мы в театрах не бывали, а все-таки, чай, со всячинкой там бывает. Частенько-таки мы с попом об вас, барышня, разговариваем; жалеем мы вас, даже очень жалеем.

Аннинька молчала; священник сидел и пощипывал бородку, словно решался и сам сказать свое слово.

— Впрочем, сударыня, и во всяком звании и приятности и неприятности бывают,— наконец высказался он,— но человек, по слабости своей, первыми восхищается, а последние старается позабыть. Для чего позабыть? а именно для того, сударыня, дабы и сего последнего напоминовения о долге и добродетельной жизни, по возможности, не иметь перед глазами.

И потом, вздохнув, присовокупил:

— А главное, сударыня, сокровище свое надлежит соблюсти!

Батюшка учительно взглянул на Анниньку; матушка уныло покачала головой, как бы говоря: где уж!

— И вот это-то сокровище, мнится, в актерском звании соблюсти — дело довольно сумнительное,— продолжал батюшка.

Аннинька не знала, что и сказать на эти слова. Мало-помалу ей начинало казаться, что разговор этих простодушных людей о «сокровище» совершенно одинакового достоинства с разговорами господ офицеров «расквартированного в здешнем городе полка» об «la chose». Вообще же, она убедилась, что и здесь, как у дяденьки, видят в ней явление совсем особенное, к которому хотя и можно отнестись снисходительно, но в некотором отдалении, дабы «не замараться».

— Отчего у вас, батюшка, церковь такая бедная? — спросила она, чтоб переменить разговор.

— Нé с чего ей богатой быть — оттого и бедна. Помещики все по службам разъехались, а мужичкам подняться нè из чего. Да их и всех-то с небольшим двести душ в приходе!

— Вот колокол у нас чересчур уж плох! — вздохнула матушка.

— И колокол, и прочее все. Колокол-то у нас, сударыня, всего пятнадцать пудов весит, да и тот, на грех, раскололся. Не звонит, а шумит как-то — даже предосудительно. Покойница Арина Петровна пообещались было новый соорудить, и ежели были бы они живы, то и мы, всеконечно, были бы теперь при колоколе.

— Вы бы дяде сказали, что бабушка обещала!

— Говорил, сударыня, и он, надо правду сказать, довольно-таки благосклонно докуку мою выслушал. Только ответа удовлетворительного не мог мне дать: не слыхал, вишь, от маменьки ничего! никогда, вишь, покойница об этом ему не говаривала! А ежели бы, дескать, слышал, то беспременно бы волю ее исполнил!

— Когда, чай, не слыхать! — молвила попадья,— вся округа знает, а он не слыхал!

— Вот мы и живем таким родом. Прежде хоть в надежде были, а нынче и совсем без надежды остаемся. Иногда служить нѐ на чем: ни просфор, ни красного вина. А об себе уж и не говорим.

Аннинька хотела встать и проститься, но на столе появился новый поднос, на котором стояли две тарелки, одна с рыжиками, другая с кусочками икры, и бутылка мадеры.

— Посидите! не обессудьте! откушайте!

Аннинька повиновалась, на̀скоро проглотила два рыжичка, но отказалась от мадеры.

— Вот об чем я еще хотела вас спросить,— говорила между тем попадья,— в приходе у нас девушка одна есть, лыщевского дворового дочка; так она в Петербурге у одной актрисы в услуженье была. Хорошо, говорит, в актрисах житье, только билет каждый месяц выправлять надо... правда ли это?

Аннинька смотрела во все глаза и не понимала.

— Это для свободности,— пояснил батюшка,— а, впрочем, думается, что она неправду говорит. Напротив, я слышал, что многие актрисы даже пенсии от казны за службу удостоиваются.

Аннинька убедилась, что чем дальше в лес, тем больше дров, и стала окончательно прощаться.

— А мы было думали, что вы теперь из актрис-то выйдете? — продолжала приставать попадья.

— Зачем же?

— Все-таки. Вы — барышня. Теперь совершенные лета получили, имение свое есть — чего лучше!

— Ну, и после дяденьки вы же прямая наследница,— присовокупил батюшка.

— Нет, я здесь жить не буду.

— А мы-то как надеялись! Всё промежду себя говорили: непременно наши барышни в Погорелке жить будут! А летом у нас здесь даже очень хорошо: в лес по грибы ходить можно! — соблазняла матушка.

— У нас грибов и не в дождливое лето — очень довольно! — вторил ей батюшка.

Наконец Аннинька уехала. По приезде в Погорелку первым ее словом было: лошадей! пожалуйста, поскорее лошадей! Но Федулыч только плечами передернул в ответ на эту просьбу.

— Чего «лошадей»! Мы еще и не кормили их! — брюзжал он.

— Да отчего ж наконец! Ах, боже мой! точно все сговорились!

— Сговорились и есть. Как не сговориться, коли всякому видимо, что в ростепель ночью ехать нельзя. Все равно в поле, в зажоре просидите — так, по-нашему, лучше уж дома!

Бабенькины апартаменты были вытоплены. В спальной стояла совсем приготовленная постель, а на письменном столе пыхтел самовар; Афимьюшка оскребала на дне старинной бабенькиной шкатулочки остатки чая, сохранившиеся после Арины Петровны. Покуда настаивался чай, Федулыч, скрестивши руки, лицом к барышне, держался у двери, а по обеим сторонам стояли скотница и Марковна в таких позах, как будто сейчас, по первому манию руки, готовы были бежать куда глаза глядят.

— Чай-то еще бабенькин,— первый начал разговор Федулыч,— от покойницы на донышке остался. Порфирий Владимирыч и шкатулочку собрались было увезти, да я не согласился. Может быть, барышни, говорю, приедут, так чайку испить захочется, покуда своим разживутся. Ну, ничего! еще пошутил: ты, говорит, старый плут, сам выпьешь! смотри, говорит, шкатулочку-то после в Головлево доставь! Гляди, завтра же за нею пришлет!

— Напрасно вы ему тогда не отдали.

— Зачем отдавать — у него и своего чаю много. А теперь, по крайности, мы после вас попьем. Да вот что, барышня: вы нас Порфирию Владимирычу, что ли, препоручите?

— И не думала.

— Так-с. А мы было давеча бунтовать собрались. Коли ежели, думаем, нас к головлевскому барину под начало отдадут, так все в отставку проситься будем.

— Что так? неужто дядя так страшен?

— Не очень страшен, а тиранит, сло́в не жалеет. Словами-то он сгноить человека может.

Аннинька невольно улыбнулась. Именно гной какой-то просачивался сквозь разглагольствия Иудушки! Не простое пустословие это было, а язва смердящая, которая непрестанно точила из себя гной.

— Ну, а с собой-то вы как же, барышня, решили? — продолжал допытываться Федулыч.

— То есть, что же я должна с собой «решить»? — слегка смешалась Аннинька, предчувствуя, что ей и здесь придется выдержать разглагольствия о «сокровище».

— Так неужто же вы из актерок не выйдете?

— Нет... то есть я еще об этом не думала... Но что же дурного в том, что я, как могу, свой хлеб достаю?

— Что хорошего! по ярмаркам с торбаном ездить! пьяниц утешать! Чай, вы — барышня!

Аннинька ничего не ответила, только брови насупила. В голове ее мучительно стучал вопрос: господи! да когда же я отсюда уеду!

— Разумеется, вам лучше знать, как над собой поступить, а только мы было думали, что вы к нам возворотитесь. Дом у нас теплый, просторный — хоть в горелки играй! очень хорошо покойница бабенька его устроила! Скучно сделалось — санки запряжем, а летом — в лес по грибы ходить можно!

— У нас здесь всякие грибы есть: и рыжички, и волнушечки, и груздочки, и подосиннички — страсть сколько! — соблазнительно прошамкала Афимьюшка.

Аннинька облокотилась обеими руками на стол и старалась не слушать.

— Сказывала тут девка одна, — бесчеловечно настаивал Федулыч, — в Петербурге она в услуженье жила, так говорила, будто все ахтерки — белетные. Каждый месяц должны в части белет представлять!

Анниньку словно обожгло: целый день она всё *эти* слова слышит!

— Федулыч! — с криком вырвалось у нее, — что я вам сделала? неужели вам доставляет удовольствие оскорблять меня?

С нее было довольно. Она чувствовала, что ее душит, что еще одно слово — и она не выдержит.

НЕДОЗВОЛЕННЫЕ СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ

Однажды, незадолго до катастрофы с Петенькой, Арина Петровна, гостя в Головлеве, заметила, что Евпраксеюшка словно бы поприпухла. Воспитанная в практике крепостного права, при котором беременность дворовых девок служила предметом подробных и не лишенных занимательности исследований и считалась чуть не доходною статьею, Арина Петровна имела на этот счет взгляд острый и безошибочный, так что для нее достаточно было остановить глаза на туловище

Евпраксеюшки, чтобы последняя, без слов и в полном сознании виновности, отвернула от нее свое загоревшееся полымем лицо.

— Ну-тка, ну-тка, сударка! смотри на меня! тяжела? — допрашивала опытная старушка провинившуюся голубицу; но в голосе ее не слышалось укоризны, а, напротив, он звучал шутливо, почти весело, словно пахнуло на нее старым, хорошим времечком.

Евпраксеюшка, не то стыдливо, не то самодовольно, безмолвствовала, и только пуще и пуще алели ее щеки под испытующим взглядом Арины Петровны.

— То-то! еще вчера я смотрю — поджимаешься ты! Ходит, хвостом вертит — словно и путевая! Да ведь меня, брат, хвостами-то не обманешь! Я на пять верст вперед ваши девичьи штуки вижу! Ветром, что ли, надуло? с которых пор? Признавайся! сказывай!

Последовал подробный допрос и не менее подробное объяснение. Когда замечены первые признаки? имеется ли на примете бабушка-повитушка? знает ли Порфирий Владимирыч об ожидающей его радости? бережет ли себя Евпраксеюшка, не поднимает ли чего тяжелого? и т. д. Оказалось, что Евпраксеюшка беременна уж пятый месяц; что бабушки-повитушки на примете покуда еще нет; что Порфирию Владимирычу хотя и было докладывано, но он ничего не сказал, а только сложил руки ладонями внутрь, пошептал губами и посмотрел на образ, в знак того, что все от бога и он, царь небесный, сам обо всем промыслит; что, наконец, Евпраксеюшка однажды не остереглась, подняла самовар и в ту же минуту почувствовала, что внутри у нее что-то словно оборвалось.

— Однако, оглашенные вы, как я на вас посмотрю! — тужила Арина Петровна, выслушавши эти признания,— придется, видно, мне самой в это дело взойти! На-тко, пятый месяц беременна, а у них даже бабушки-повитушки на примете нет! Да ты хоть бы Улитке, глупая, показалась!

— И то собиралась, да барин Улитушку-то не очень...

— Вздор, сударыня, вздор! Там, провинилась ли, нет ли Улитка перед барином — это само собой! а тут этакой случай — а он на́-поди! Что нам, целоваться, что ли, с ней? Нет, неминучее дело, что мне самой придется в это дело вступиться!

Арина Петровна хотела было взгрустнуть, пользуясь этим случаем, что вот и до сих пор, даже на старости лет, ей приходится тяготы носить; но предмет разговора был так привлекателен, что она только губами чмокнула и продолжала:

— Ну, сударка, теперь только распоясывайся! Любо было кататься — попробуй-ка саночки повозить! Попробуй! попро-

буй! Я вот трех сынов да дочку вырастила, да пятерых детей маленькими схоронила — я знаю! Вот они где у нас, мужчинки-то сидят! — прибавила она, ударяя себя кулаком по затылку.

И вдруг ее словно озарило.

— Батюшки! да, никак, еще под постный день! Постой, погоди! сосчитаю!

Начали по пальцам считать, сочли раз, другой, третий — выходило именно как раз под постный день.

— Ну, так, так! это — святой-то человек! Ужо, погоди, подразню его! Молитвенник-то наш! в какую рюху попал! подразню! не я буду, если не подразню! — шутила старушка.

Действительно, в тот же день, за вечерним чаем, Арина Петровна, в присутствии Евпраксеюшки, подшучивала над Иудушкой.

— Смиренник-то наш! смотри, какую штуку удрал! Уж, и взаправду, не ветром ли крале-то твоей надуло? Ну, брат, удивил!

Иудушка сначала брезгливо пожимался при маменькиных шуточках, но убедившись, что Арина Петровна говорит «по-родственному», «всей душой»,— и сам мало-помалу повеселел.

— Проказница вы, маменька! право, проказница! — шутил и он в свою очередь; но, впрочем, по своему обыкновению, отнесся к предмету семейного разговора уклончиво.

— Чего «проказница»! серьезно об этом переговорить надо! Ведь это — какое дело-то! «Тайна» тут — вот я тебе что скажу! Хоть и не настоящим манером, а все-таки... Нет, надо очень, да и как еще очень об этом деле поразмыслить! Ты как думаешь: здесь, что ли, ей рожать велишь или в город повезешь?

— Не знаю я, маменька, ничего я, душенька, не знаю! — уклонялся Порфирий Владимирыч,— проказница вы! право, проказница!

— Ну, так постой же, сударка! Ужо мы с тобой на прохладе об этом деле потолкуем! И как, и что — все подробно определим! А то ведь эти мужчинки — им бы только прихоть свою исполнить, а потом отдувайся наша сестра за них, как знает!

Сделавши свое открытие, Арина Петровна почувствовала себя как рыба в воде. Целый вечер проговорила она с Евпраксеюшкой и наговориться не могла. Даже щеки у ней разгорелись и глаза как-то по-юношески заблестели.

— Ведь это, сударка, как бы ты думала? — ведь это... божественное! — настаивала она,— потому что хоть и не тем

порядком, а все-таки настоящим манером... Только ты у меня смотри! Ежели да под постный день — боже тебя сохрани! и засмею тебя! и со свету сгоню!

Призвали на совет и Улитушку. Сначала об настоящем деле поговорили, что и как, не нужно ли промывательное поставить, или моренковой мазью живот потереть, потом опять обратились к излюбленной теме и начали по пальцам рассчитывать — и все выходило именно как раз на постный день! Евпраксеюшка алела, как маков цвет, но не отнекивалась, а ссылалась на подневольное свое положение.

— Мне что ж! — говорила она,— мое дело — как «они» хотят! Коли ежели барин прикажут — может ли наша сестра против их приказаньев идти!

— Ну, ну тихоня! не лебези хвостом! — шутила Арина Петровна,— сама, чай...

Словом сказать, женщины занялись этим делом всласть. Арина Петровна целый ряд случаев из своего прошлого вспомнила и, разумеется, не преминула повествовать об них. Сначала рассказала про свои личные беременности. Как она Степкой-балбесом мучилась, как, будучи беременной Павлом Владимирычем, ездила на перекладной в Москву, чтоб дубровинского аукциона не упустить, да потом из-за этого на тот свет чуть-чуть не отправилась, и т. д., и т. д. Все ро̀ды были чем-нибудь замечательны; одни только достались легко — это были роды Иудушки.

— Просто даже вот ни на эстолько тягости не чувствовала! — говорила она,— сижу, бывало, и думаю: господи! да неужто я тяжела! И как настало время, прилегла я этак на минуточку на кровать, и уж сама не знаю как — вдруг разрешилась! Самый это легкий для меня сын был! Самый, самый легкий!

Потом начались рассказы про дворовых девок: скольких она сама «заставала», скольких выслеживала при помощи доверенных лиц, и преимущественно Улитушки. Старческая память с изумительною отчетливостью хранила эти воспоминания. Во всем ее прошлом, сером, всецело поглощенном мелким и крупным скопидомством, сослеживание вожделеющих дворовых девок было единственным романическим элементом, затрогивавшим какую-то живую струну.

Это была своего рода беллетристика в скучном журнале, в котором читатель ожидает встретиться с исследованиями о сухих туманах и о месте погребения Овидия — и вдруг, вместо того, читает: *Вот мчится тройка удалая...* Развязки нехитрых романов девичьей обыкновенно бывали очень строгие и

даже бесчеловечные (виновную выдавали замуж в дальную деревню, непременно за мужика-вдовца, с большим семейством; виновного — разжаловывали в скотники или отдавали в солдаты); но воспоминания об этих развязках как-то стерлись (память культурных людей относительно прошлого их поведения вообще снисходительна), а самый процесс сослеживания «амурной интриги» так и мелькал до сих пор перед глазами, словно живой. Да и не мудрено! этот процесс, во времена оны, велся с таким же захватывающим интересом, с каким нынче читается фёльетонный роман, в котором автор, вместо того чтоб сразу увенчать взаимное вожделение героев, на самом патетическом месте ставит точку и пишет: *продолжение впредь*.

— Немало я таки с ними мученьев приняла! — повествовала Арина Петровна.— Иная до последней минуты перемогается, лебезит — все надеется обмануть! Ну, да меня, голубушка, не перехитришь! я сама на этих делах зубы съела! — прибавляла она почти сурово, словно грозясь кому-то.

Наконец следовали рассказы из области беременностей, так сказать, политических, относительно которых Арина Петровна являлась уже не карательницей, а укрывательницей и потаковщицей.

Так, например, у папеньки Петра Иваныча, дряхлого семидесятилетнего старика, тоже «сударка» была и тоже оказалась вдруг с прибылью, и нужно было, по высшим соображениям, эту прибыль от старика утаить. А она, Арина Петровна, как на грех, была в ту пору в ссоре с братцем Петром Петровичем, который тоже, ради каких-то политических соображений, беременность эту сослеживал и хотел старику глаза насчет «сударки» открыть.

— И как бы ты думала! почти на глазах у папеньки мы всю эту механику выполнили! Спит, голубчик, у себя в спаленке, а мы рядышком орудуем! Да шепотком, да на цыпочках! Сама я, собственными руками, и рот-то ей зажимала, чтоб не кричала, и белье-то собственными руками убирала, а сынка-то ее — прехорошенький, здоровенький такой родился! — и того, села на извозчика, да в воспитательный спровадила! Так что братец, как через неделю узнал, только ахнул: ну, сестра!

Была и еще политическая беременность: с сестрицей Варварой Михайловной дело случилось. Муж у нее в поход под турка уехал, а она возьми да и не остерегись! Прискакала как угорелая в Головлево — спасай, сестра!

— Ну, мы хоть в то время в контрах промежду себя были, однако я и виду ей не подала: честь честью ее приняла, уте-

шила, успокоила, да, под видом гощенья, так это дело кругленько обделала, что муж и в могилу ушел — ничего не знал!

Так повествовала Арина Петровна, и, надо сказать правду, редкий рассказчик находил себе таких внимательных слушателей. Евпраксеюшка старалась не проронить слова, как будто бы перед ней проходили воочию перипетии какой-то удивительной волшебной сказки; что же касается до Улитушки, то она, как соучастница бо̀льшей части рассказываемого, только углами губ причмокивала.

Улитушка тоже расцвела и отдохнула. Тревожная была ее жизнь. С юных лет сгорала она холопским честолюбием, и во сне и наяву бредила, как бы господам послужить да над своим братом покомандовать — и все неудачно. Только что занесет, бывало, ногу на ступеньку повыше, ан ее оттуда словно невидимая сила какая шарахнет и опять втопчет в самую преисподнюю. Всеми качествами полезной барской слуги обладала она в совершенстве: была ехидна, злоязычна и всегда готова на всякое предательство, но в то же время страдала какою-то неудержимой повадливостью, которая всю ее ехидность обращала в ничто. В былое время Арина Петровна охотно пользовалась ее услугой, когда нужно было секретное расследование по девичьей сделать или вообще сомнительное дело какое-нибудь округлить, но никогда не ценила ее заслуги и не допускала ни до какой солидной должности. Вследствие этого Улитка и жаловалась, и языком язвила; но на жалобы ее не обращалось внимания, потому что всем было ведомо, что Улитка — девка злая, сейчас тебя в преисподнюю проклянет, а через минуту, помани ее только пальцем,— она и опять прибежит, станет на задних лапках служить. Так и промыкалась она, куда-то все выбиваясь и никогда ничего не успевая достигнуть, до тех пор пока исчезновение крепостного права окончательно не положило предела ее холопскому честолюбию.

В молодости ее был даже случай, который подавал ей надежды очень серьезные. В одну из своих побывок в Головлеве Порфирий Владимирыч свел с ней связь и даже, как гласило головлевское предание, имел от нее ребенка, за что и состоял долгое время под гневом у маменьки Арины Петровны. Поддерживалась ли эта связь впоследствии, при дальнейших наездах Иудушки в отчий дом — неизвестно; но, во всяком случае, когда Порфирий Владимирыч собрался в Головлево совсем на жительство, мечтаниям Улитушки пришлось рухнуть самым обидным образом. Немедленно по приезде Иудушки она кинулась к нему с целым ворохом сплетен, в которых Арина Петровна обвинялась чуть не в мошенничестве; но

«барин» сплетни выслушал благосклонно, а на Улитку взглянул все-таки холодно и прежней ее «заслуги» не попомнил. Обманутая в расчетах и обиженная, Улитушка перекинулась в Дубровино, где братец Павел Владимирыч, из ненависти к братцу Порфирию Владимирычу, охотно принял ее и даже сделал экономкою. Тут ее фонды как будто поправились. Павел Владимирыч сидел на антресолях и выпивал рюмку за рюмкой, а она с утра до вечера бойко бегала по кладовым и погребам, гремела ключами, громко язычничала и даже завела какие-то контры с Ариной Петровной, которую чуть не сжила со свету.

Но Улитушка слишком любила всякие предательства, чтобы в тишине пользоваться выпавшим на ее долю хорошим житьем. Это было то самое время, когда Павел Владимирыч испивал уже настолько, что можно было с известными надеждами относиться к исходу этого беспробудного пьянства. Порфирий Владимирыч понял, что в таком положении дела Улитушка представляет неоцененный клад — и вновь поманил ее пальцем. Ей было дано из Головлева приказание — не отходить ни на шаг от облюбованной жертвы, ни в чем ей не противоречить, даже в ненависти к братцу Порфирию Владимирычу, а только всеми мерами устранять вмешательство Арины Петровны. Это было одно из тех родственных злодейств, на которые Иудушка не то чтоб решался по зрелом размышлении, а как-то само собой проделывал, как самую обыкновенную затею. Излишне было бы говорить, что Улитушка выполнила поручение в точности. Павел Владимирыч не переставал ненавидеть брата, но чем больше он ненавидел, тем больше пил и тем меньше становился способен выслушивать какие-либо замечания Арины Петровны насчет «распоряжения». Каждое движение умирающего, каждое его слово немедленно делались известными в Головлеве, так что Иудушка мог с полным знанием дела определить минуту, когда ему следует выйти из-за кулис и появиться на сцену настоящим господином созданного им положения. И он воспользовался этим, то есть нагрянул в Дубровино именно тогда, когда оно, так сказать, само отдалось ему в руки.

За эту услугу Порфирий Владимирыч подарил Улитушке шерстяной материи на платье, но до себя все-таки не допустил. Опять шарахнулась Улитушка с высоты величия в преисподнюю, и на этот раз, казалось, так, что уж никто на свете ее никогда не поманит пальцем.

В виде особенной милости за то, что она «за братцем в последние минуты ходила», Иудушка отделил ей угол в избе, где вообще ютились оставшиеся, по упразднении крепостного

права, заслуженные дворовые. Там Улитушка окончательно смирилась, так что когда Порфирий Владимирыч облюбовал Евпраксеюшку, то она не только не выказала никакой строптивости, но даже первая пришла к «бариновой сударке» на поклон и поцеловала ее в плечико.

И вдруг, в ту минуту, когда она уже сама сознавала себя забытою и заброшенною,— ей опять посчастливилось: Евпраксеюшка забеременела. Вспомнили, что где-то в людской избе ютится «золотой человек», и поманили его пальцем. Правда, не сам «барин» поманил, но и того уж достаточно, что он не попрепятствовал. Улитушка ознаменовала свое вступление в господский дом тем, что взяла у Евпраксеюшки из рук самовар и с форсом и несколько избочась принесла его в столовую, где в то время сидел и Порфирий Владимирыч. И «барин» — не сказал ни слова. Ей показалось, что он даже улыбнулся, когда в другой раз, с тем же самоваром в руках, она встретила его в коридоре и еще издали закричала:

— Барин! посторонись — ожгу!

Призванная Ариной Петровной на семейный совет, Улитушка некоторое время кобенилась и не хотела сесть. Но когда Арина Петровна ласково на нее прикрикнула:

— Садись-ко! садись! нечего штуки-фигуры выкидывать! Царь всех нас ровными сделал — садись! — то и она села, сначала смирнехонько, а потом и язык распустила.

Эта женщина тоже припоминала. Много всякого гною скопилось в ее памяти из прежней крепостной практики. Независимо от выполнения деликатных поручений по предмету сослеживания девичьих вожделений, Улитушка состояла в головлевском доме в качестве аптекарши и лекарки. Сколько она поставила в своей жизни горчичников, рожков и в особенности клистиров! Ставила она клистиры и старому барину Владимиру Михайлычу, и старой барыне Арине Петровне, и молодым барчукам всем до единого — и сохранила об этом самые благодарные воспоминания. И вот теперь для этих воспоминаний представилось почти неоглядное поле...

Головлевский дом как-то таинственно оживился. Арина Петровна то и дело наезжала из Погорелки к «доброму сыну», и под ее надзором деятельно шли приготовления, которым покуда не давалось еще названия. После вечернего чая все три женщины забирались в Евпраксеюшкину комнату, лакомились домашним вареньем, играли в дураки и до поздних петухов предавались воспоминаниям, от которых «сударка», по временам, шибко алела. Всякий самый ничтожный случай служил поводом к новым и новым рассказам. Подаст Евпраксеюшка вареньица малинового — Арина Петровна расскажет,

как она, будучи беременна дочкой Сонькой, даже запаху малины выносить не могла.

— Только в дом принесут — я уж и слышу, что ее принесли! Так вот благим матом и кричу: вон! вон ее, проклятую, несите! А после, как выпросталась,— и опять ничего! и опять полюбила!

Принесет Евпраксеюшка икорки закусить — Арина Петровна и насчет икорки случай вспомнит.

— А вот с икоркой у меня случай был — так именно диковинный! В ту пору я — с месяц ли, с два ли я только что замуж вышла — и вдруг так ли мне этой икры захотелось, вынь да положь! Заберусь это, бывало, потихоньку в кладовую и все ем, все ем! Только и говорю я своему благоверному: что, мол, это, Владимир Михайлыч, значит, что я все икру ем? А он этак улыбнулся и говорит: «Да ведь ты, мой друг, тяжела!» И точно, ровно через девять месяцев после того я и выпросталась, Степку-балбеса родила!

Порфирий Владимирыч между тем продолжал с прежнею загадочностью относиться к беременности Евпраксеюшки и даже ни разу не высказался определенно относительно своей прикосновенности к этому делу. Весьма естественно, что это стесняло женщин, мешало их излияниям, и потому Иудушку почти совсем обросили и без церемонии гнали вон, когда он заходил вечером на огонек в Евпраксеюшкину комнату.

— Ступай-ка, ступай, молодец! — весело говорила Арина Петровна,— ты свое дело сделал, теперь наше, женское дело наступило! На нашей улице праздник!

Иудушка смиренно удалялся, и хотя при этом не упускал случая попенять доброму другу маменьке, что она сделалась к нему немилостива, но в глубине души был очень доволен, что его не тревожат и что Арина Петровна приняла горячее участие в затруднительном для него обстоятельстве. Если б этого участия не было — бог знает, что бы ему пришлось предпринять, чтобы смять это пакостное дело, при одном воспоминании о котором он ежился и отплевывался. А теперь, благодаря опытности Арины Петровны и ловкости Улитушки, он надеялся, что «беда» пройдет без огласки и что ему самому, быть может, придется узнать о результате ее, когда уже все совсем будет кончено.

Расчеты Порфирия Владимирыча, однако ж, не оправдались. Сначала случилась катастрофа с Петенькой, а невдолге за нею последовала и смерть Арины Петровны. Приходилось

расплачиваться самолично, и, притом, без всякой надежды на какую-нибудь паскудную комбинацию. Нельзя было отослать Евпраксеюшку, яко непотребную, к родным, потому что, благодаря вмешательству Арины Петровны, дело зашло слишком далеко и было у всех на знати́. На усердие Улитушки тоже надежда была плоха, потому что хоть она и ловкая девка, но ежели ей довериться, то, пожалуй, и от судебного следователя потом не убережешься. В первый раз в жизни Иудушка серьезно и искренно возроптал на свое одиночество, в первый раз смутно понял, что окружающие люди — не просто пешки, годные только на то, чтоб морочить их.

«И что бы ей стоило крошечку погодить,— сетовал он втихомолку на милого друга маменьку,— устроила бы все как следует, умнехонько да смирнехонько — и Христос бы с ней! Пришло время умирать — делать нечего! жалко старушку, да коли так богу угодно, и слезы наши, и доктора, и лекарства наши, и мы все — всё против воли божией бессильно! Пожила старушка, попользовалась! И сама барыней век прожила, и детей господами оставила! Пожила, и будет!»

И, по обыкновению, суетливая его мысль, не любившая задерживаться на предмете, представляющем какие-нибудь практические затруднения, сейчас же перекидывалась в сторону, к предмету более легкому, по поводу которого можно было празднословить бессрочно и беспрепятственно.

«И как ведь скончалась-то, именно только праведники такой кончины удостоиваются! — лгал он самому себе, сам, впрочем, не понимая, лжет он или говорит правду,— без болезни, без смуты... так! Вздохнула — смотрим, а ее уж и нет! Ах, маменька, маменька! И улыбочка на лице, и румянчик... И ручка сложена, как будто благословить хочет, и глазки закрыла... адье!»

И вдруг, в самом разгаре жалостливых слов, опять словно кольнет его. Опять эта пакость... тьфу! тьфу! тьфу! Ну что бы стоило маменьке крошечку повременить! И всего-то с месяц, а может быть, и меньше осталось — так вот на̀-поди!

Некоторое время пробовал было он и на вопросы Улитушки так же отнекиваться, как отнекивался перед милым другом маменькой: не знаю! ничего я не знаю! Но к Улитушке, как бабе наглой и, притом же, почувствовавшей свою силу, не так-то легко было подойти с подобными приемами.

— Я, что ли, знаю! я, что ли, кузов-то строила! — на первых же порах обрезала она его так, что он понял, что отныне расчеты на счастливое соединение роли прелюбодея с ролью постороннего наблюдателя результатов собственного прелюбодеяния окончательно рухнули для него.

Беда надвигалась все ближе и ближе, беда неминучая, почти осязаемая! Она преследовала его ежеминутно и, что всего хуже, парализовала его пустомыслие. Он употреблял всевозможные усилия, чтоб смять представление об ней, утопить его в потоке праздных слов, но это удавалось ему только отчасти. Пробовал он как-нибудь спрятаться за непререкаемостью законов высшего произволения и, по обыкновению, делал из этой темы целый клубок, который бесконечно разматывал, припутывая сюда и притчу о волосе, с человеческой головы не падающем, и легенду о здании, на песце строимом; но в ту самую минуту, когда праздные мысли беспрепятственно скатывались одна за другой в какую-то загадочную бездну, когда бесконечное разматывание клубка уж казалось вполне обеспеченным,— вдруг, словно из-за угла, врывалось одно слово и сразу обрывало нитку. Увы! это слово было: «прелюбодеяние», и обозначало такое действие, в котором Иудушка и перед самим собой сознаться не хотел.

И вот, когда, после тщетных попыток забыть и убить, делалось, наконец, ясным, что он пойман,— на него нападала тоска. Он принимался ходить по комнате, ни об чем не думая, а только ощущая, что внутри у него сосет и дрожит.

Это была совсем новая узда, которую в первый раз в жизни узнало его праздномыслие. До сих пор, в какую бы сторону ни шла его пустопорожняя фантазия, повсюду она встречала лишенное границ пространство, на протяжении которого складывались всевозможные комбинации. Даже погибель Володьки, Петьки, даже смерть Арины Петровны не затрудняли его праздномыслия. Это были факты обыкновенные, общепризнанные, для оценки которых существовала и обстановка общепризнанная, искони обусловленная. Панихиды, сорокоусты, поминальные обеды и проч.— все это он, по обычаю, отбыл как следует и всем этим, так сказать, оправдал себя и перед людьми, и перед провидением. Но прелюбодеяние... это что же такое? Ведь это — обличение целой жизни, это — обнаружение ее внутренней лжи! Хотя и прежде его разумели кляузником, положим даже — «кровопивцем», но во всей этой людской мо̀лви было так мало юридической подкладки, что он мог с полным основанием возразить: докажи! И вдруг теперь... прелюбодей! Прелюбодей уличенный, несомненный (он даже *мер* никаких, по милости Арины Петровны (ах, маменька! маменька!) не принял, даже солгать не успел), да еще и «под постный день»... тьфу!.. тьфу! тьфу!

В этих внутренних собеседованиях с самим собою, как ни запутано было их содержание, замечалось даже что-то похожее на пробуждение совести. Но представлялся вопрос: пой-

дет ли Иудушка дальше по этому пути, или же пустомыслие и тут сослужит ему обычную службу и представит новую лазейку, благодаря которой он, как и всегда, успеет выйти сухим из воды?

Покуда Иудушка изнывал таким образом под бременем пустоутробия, в Евпраксеюшке, мало-помалу, совершался совсем неожиданный внутренний переворот. Ожидание материнства, по-видимому, разрешило умственные узы, связывавшие ее. До сих пор она ко всему относилась безучастно, а на Порфирия Владимирыча смотрела как на «барина», к которому у ней существовали подневольные отношения. Теперь она впервые что-то поняла, нечто вроде того, что у нее свое дело есть, в котором она — «сама большая» и где помыкать ею безвозбранно нельзя. Вследствие этого даже выражение ее лица, обыкновенно тупое и нескладное, как-то осмыслилось и засветилось.

Смерть Арины Петровны была первым фактом в ее полубессознательной жизни, который подействовал на нее отрезвляющим образом. Как ни своеобразны были отношения старой барыни к предстоящему материнству Евпраксеюшки, но все-таки в них просвечивало несомненное участие, а не одна паскудно-гадливая уклончивость, которая встречалась со стороны Иудушки. Поэтому Евпраксеюшка начала видеть в Арине Петровне что-то вроде засту́пы, как бы подозревая, что впереди готовится на нее какое-то нападение. Предчувствие этого нападения преследовало ее тем упорнее, что оно не было освещено сознанием, а только наполняло все ее существо постоянною тоскливою смутой. Мысль была недостаточно сильна, чтоб указать прямо, откуда придет нападение и в чем оно будет состоять; но инстинкты уже были настолько взбудоражены, что при виде Иудушки чувствовался безотчетный страх. Да, оно придет оттуда! — отзывалось во всех сердечных ее тайниках,— оттуда, из этого наполненного прахом гроба, к которому она доселе была приставлена, как простая наймитка, и который каким-то чудом сделался отцом и властелином *ее* ребенка! Чувство, которое пробуждалось в ней при этой последней мысли, было похоже на ненависть и даже непременно перешло бы в ненависть, если б не находило для себя отвлечения в участии Арины Петровны, которая добродушной своей болтовней не давала ей времени задуматься.

Но вот Арина Петровна сначала удалилась в Погорелку, а наконец и совсем угасла. Евпраксеюшке сделалось совсем жутко. Тишина, в которую погрузился головлевский дом, нарушалась только шуршаньем, возвещавшим, что Иудушка, крадучись и подобравши полы халата, бродит по коридору и

подслушивает у дверей. Изредка кто-нибудь из челядинцев набежит со двора, хлопнет дверью в девичьей, и опять изо всех углов так и ползет тишина. Тишина мертвая, наполняющая существо суеверною, саднящею тоской. А так как Евпраксеюшка в это время была уже на сносях, то для нее не существовало даже ресурса хозяйственных хлопот, которые в былое время настолько утомляли ее физически, что она к вечеру ходила уже как сонная. Пробовала было она приласкаться к Порфирию Владимирычу, но попытки эти каждый раз вызывали краткие, но злобные сцены, которые даже на ее неразвитую натуру действовали мучительно. Поэтому приходилось сидеть сложа руки и думать, то есть тревожиться. А поводы для тревоги с каждым днем становились больше и больше, потому что смерть Арины Петровны развязала руки Улитушке и ввела в головлевский дом новый элемент сплетен, сделавшихся отныне единственным живым делом, на котором отдыхала душа Иудушки.

Улитушка поняла, что Порфирий Владимирыч трусит и что в этой пустоутробной и изолгавшейся натуре трусость очень близко граничит с ненавистью. Сверх того, она отлично знала, что Порфирий Владимирыч не способен не только на привязанность, но даже и на простое жаленье; что он держит Евпраксеюшку лишь потому, что благодаря ей домашний обиход идет не сбиваясь с однажды намеченной колеи. Заручившись этими несложными данными, Улитушка имела полную возможность ежеминутно питать и лелеять то чувство ненависти, которое закипало в душе Иудушки каждый раз, когда что-нибудь напоминало ему о предстоящей «беде».

В скором времени целая сеть сплетен опутала Евпраксеюшку со всех сторон. Улитушка то и дело «докладывала» барину. То придет пожалуется на безрассудное распоряжение домашнею провизией.

— Чтой-то, барин, как у вас добра много выходит! Давеча пошла я на погреб за солониной; думаю, давно ли другую кадку зачали — смотрю, ан ее там куска с два ли, с три ли на донышке лежит!

— Неужто? — уставлялся в нее глазами Иудушка.

— Кабы не сама своими глазами видела — не поверила бы! Даже удивительно, куда этакая прорва идет! Масла, круп, огурцов — всего! У других господ кашу-то людям с гусиным жиром дают — таковские! — а у нас — все с маслом, да все с чухонскиим!

— Неужто? — почти пугался Порфирий Владимирыч.

То придет и невзначай о барском белье доложит:

— Вы бы, баринушка, остановили Евпраксеюшку-то.

Конечно, дело ее — девичье, непривычное, а вот хоть бы насчет белья... Целые вороха она этого белья извела на простыни да на пеленки, а белье-то все тонкое.

Порфирий Владимирыч только сверкнет глазами в ответ, но вся его пустая утроба так и повернется при этих словах.

— Известно, младенца своего жалеет! — продолжает Улитушка медоточивым голосом,— думает, и невесть что случилось... прынец народится! А между прочиим, мог бы он, младенец-то, и на посконных простыньках уснуть... в ихним звании!

Иногда она даже попросту поддразнивала Иудушку.

— А что я вас хотела, баринушка, спросить,— начинала она,— как вы насчет младенца-то располагаете? сынком, что ли, своим его сделаете или, по примеру прочиих, в воспитательный...

Но Порфирий Владимирыч в самом начале прерывал вопрос таким мрачным взглядом, что Улитушка умолкала.

И вот, посреди закипавшей со всех сторон ненависти, все ближе и ближе надвигалась минута, когда появление на свет крошечного, плачущего «раба божия» должно было разрешить чем-нибудь царствовавшую в головлевском доме нравственную сумятицу и в то же время увеличить собой число прочих плачущих «рабов божиих», населяющих вселенную.

Седьмой час вечера. Порфирий Владимирыч успел уже выспаться после обеда и сидит у себя в кабинете, исписывая цифирными выкладками листы бумаги. На этот раз его занимает вопрос: сколько было бы у него теперь денег, если б маменька Арина Петровна подаренные ему при рождении дедушкой Петром Иванычем, на зубок, сто рублей ассигнациями не присвоила себе, а положила бы вкладом в ломбард на имя малолетнего Порфирия? Выходит, однако, немного: всего восемьсот рублей ассигнациями.

— Положим, что капитал и небольшой,— праздномыслит Иудушка,— а все-таки хорошо, когда знаешь, что про черный день есть. Занадобилось — и взял. Ни у кого не попросил, никому не поклонился — сам взял, свое, кровное, дедушкой подаренное! Ах, маменька! маменька! и как это вы, друг мой, так, очертя голову, действовали!

Увы! Порфирий Владимирыч уже успокоился от тревог, которые еще так недавно парализовали его праздномыслие. Своеобразные проблески совести, пробужденные затруднениями, в которые его поставили беременность Евпраксеюшки и нежданная смерть Арины Петровны, мало-помалу затихли.

Пустомыслие сослужило и тут свою обычную службу, и Иудушке в конце концов удалось-таки, с помощью неимоверных усилий, утопить представление о «беде» в бездне праздных слов. Нельзя сказать, чтоб он сознательно на что-нибудь решился, но как-то сама собой вдруг вспомнилась старая, излюбленная формула: «Ничего я не знаю! ничего я не позволяю и ничего не разрешаю!» — к которой он всегда прибегал в затруднительных обстоятельствах, и очень скоро положила конец внутренней сумятице, временно взволновавшей его. Теперь он уж смотрел на предстоящие роды как на дело, до него не относящееся, а потому и самому лицу своему постарался сообщить выражение бесстрастное и непроницаемое. Он почти игнорировал Евпраксеюшку и даже не называл ее по имени, а ежели случалось иногда спросить об ней, то выражался так: «А что *та*... все еще больна?» Словом сказать, оказался настолько сильным, что даже Улитушка, которая в школе крепостного права довольно-таки понаторела в науке сердцеведения, поняла, что бороться с таким человеком, который на все готов и на все согласен, совершенно нельзя.

Головлевский дом погружен в тьму; только в кабинете у барина, да еще в дальней боковушке, у Евпраксеюшки, мерцает свет. На Иудушкиной половине царствует тишина, прерываемая щелканьем на счетах да шуршаньем карандаша, которым Порфирий Владимирыч делает на бумаге цифирные выкладки. И вдруг, среди общего безмолвия, в кабинет врывается отдаленный, но раздирающий стон. Иудушка вздрагивает; губы его моментально трясутся; карандаш делает неподлежащий штрих.

— Сто двадцать один рубль да двенадцать рублей десять копеек...— шепчет Порфирий Владимирыч, усиливаясь заглушить неприятное впечатление, произведенное стоном.

Но стоны повторяются чаще и чаще и делаются, наконец, беспокойными. Работа становится настолько неудобною, что Иудушка оставляет письменный стол. Сначала он ходит по комнате, стараясь не слышать; но любопытство мало-помалу берет верх над пустоутробием. Потихоньку приотворяет он дверь кабинета, просовывает голову в тьму соседней комнаты и в выжидательной позе прислушивается.

«Ахти! никак, и лампадку перед иконой «Утоли моя печали» засветить позабыли!» — мелькает у него в голове.

Но вот послышались в коридоре чьи-то ускоренные, тревожные шаги. Порфирий Владимирыч поспешно юркнул головой опять в кабинет, осторожно притворил дверь и на цыпочках рысцой подошел к образу. Через секунду он уже был «при всей форме», так что когда дверь распахнулась и Улитушка

вбежала в комнату, то она застала его стоящим на молитве со сложенными руками.

— Как бы Евпраксеюшка-то у нас богу душу не отдала! — сказала Улитушка, не побоявшись нарушить молитвенное стояние Иудушки.

Но Порфирий Владимирыч даже не обернулся к ней, а только поспешнее обыкновенного зашевелил губами и вместо ответа помахал одной рукой в воздухе, словно отмахиваясь от назойливой мухи.

— Что рукою-то дрыгаете! плоха, говорю, Евпраксеюшка, того гляди, помрет! — грубо настаивала Улитушка.

На сей раз Иудушка обернулся, но лицо у него было такое спокойное, елейное, как будто он только что, в созерцании божества, отложил всякое житейское попечение и даже не понимает, по какому случаю могут тревожить его.

— Хоть и грех, по молитве, бранить, но как человек не могу не попенять: сколько раз я просил не тревожить меня, когда я на молитве стою! — сказал он приличествующим молитвенному настроению голосом, позволив себе, однако, покачать головой в знак христианской укоризны,— ну что еще такое у вас там?

— Чему больше быть: Евпраксеюшка мучится, разродиться не может! точно в первый раз слышите... ах, вы! хоть бы взглянули!

— Что же смотреть! доктор я, что ли? совет, что ли, дать могу? Да и не знаю я, никаких я ваших дел не знаю! Знаю, что в доме больная есть, а чем больна и отчего больна — об этом и узнавать, признаться, не любопытствовал! Вот за батюшкой послать, коли больная трудна — это я присоветовать могу! Пошлете за батюшкой, вместе помолитесь, лампадочки у образов засветите... а после мы с батюшкой чайку попьем!

Порфирий Владимирыч был очень доволен, что он в эту решительную минуту так категорически выразился. Он смотрел на Улитушку светло и уверенно, словно говорил: а ну-тка, опровергни теперь меня! Даже Улитушка не нашлась ввиду этого благодушия.

— Пришли бы! взглянули бы! — повторила она в другой раз.

— Не приду, потому что ходить незачем. Кабы за делом, я бы и без зова твоего пошел. За пять верст нужно по делу идти — за пять верст пойду; за десять верст нужно — и за десять верст пойду! И морозец на дворе, и метелица, а я все иду да иду! Потому знаю: дело есть, нельзя не идти!

Улитушке думалось, что она спит и в сонном видении сам сатана предстал перед нею и разглагольствует.

— Вот за попом послать, это — так. Это дельно будет. Молитва — ты знаешь ли, что об молитве-то в Писании сказано? Молитва — *недугующих исцеление* — вот что сказано! Так ты так и распорядись! Пошлите за батюшкой, помолитесь вместе... и я в это же время помолюсь! Вы там, в образной, помолитесь, а я здесь, у себя, в кабинете, у бога милости попрошу... Общими силами: вы там, я тут — смотришь, ан молитва-то и дошла!

Послали за батюшкой, но, прежде нежели он успел прийти, Евпраксеюшка, в терзаниях и муках, уж разрешилась. Порфирий Владимирыч мог догадаться по беготне и хлопанью дверьми, которые вдруг поднялись в стороне девичьей, что случилось что-нибудь решительное. И действительно, через несколько минут в коридоре вновь послышались торопливые шаги, и вслед за тем в кабинет на всех парусах влетела Улитушка, держа в руках крохотное существо, завернутое в белье.

— На-тко те! Погляди-тко те! — возгласила она торжественным голосом, поднося ребенка к самому лицу Порфирия Владимирыча.

Иудушку на мгновение словно бы поколебало, даже корпус его пошатнулся вперед, и в глазах блеснула какая-то искорка. Но это было именно только на одно мгновение, потому что вслед за тем он уже брезгливо отвернул свое лицо от младенца и обеими руками замахал в его сторону.

— Нет, нет! боюсь я их... не люблю! ступай... ступай! — лепетал он, выражая всем лицом своим бесконечную гадливость.

— Да вы хоть бы спросили: мальчик или девочка? — увещевала его Улитушка.

— Нет, нет... и незачем... и не мое это дело! Ваши это дела, а я не знаю... Ничего я не знаю, и знать мне не нужно... Уйди от меня, ради Христа! уйди!

Опять сонное видение, и опять сатана... Улитушку даже взорвало.

— А вот я возьму да на диван вам и брошу... нянчитесь с ним! — пригрозила она.

Но Иудушка был не такой человек, которого можно было пронять. В то время когда Улитушка произносила свою угрозу, он уже повернулся лицом к образам и скромно воздевал руками. Очевидно, он просил бога простить всем: и тем, «иже ведением и неведением», и тем, «иже словом, и делом, и помышлением», а за себя благодарил, что он — не тать, и не мздоимец, и не прелюбодей, и что бог, по милости своей, укрепил его на стезе праведных. Даже нос у него вздрагивал

от умиления, так что Улитушка, наблюдавшая за ним, плюнула и ушла.

— Вот одного Володьку бог взял — другого Володьку дал! — как-то совсем некстати сорвалось у него с мысли; но он тотчас же подметил эту неожиданную игру ума и мысленно проговорил: «тьфу! тьфу! тьфу!»

Пришел и батюшка, попел и покадил. Иудушка слышал, как дьячок тянул: «Заступница усердная!» — и сам разохотился — подтянул дьячку. Опять прибежала Улитушка, крикнула в дверь:

— Володимером назвали!

Странное совпадение этого обстоятельства с недавнею аберрацией мысли, тоже напоминавшей о погибшем Володьке, умилило Иудушку. Он увидел в этом божеское произволение и, на этот раз уже не отплевываясь, сказал самому себе:

— Вот и слава богу! одного Володьку бог взял, другого — дал! Вот оно, бог-то! В одном месте теряешь, думаешь, что и не найдешь — ан бог-то возьмет да в другом месте сторицей вознаградит!

Наконец доложили, что самовар подан и батюшка ожидает в столовой. Порфирий Владимирыч окончательно стих и умилился. Отец Александр, действительно, уже сидел в столовой, в ожидании Порфирия Владимирыча. Головлевский батюшка был человек политичный и старавшийся придерживаться в сношениях с Иудушкой светского тона; но он очень хорошо понимал, что в господской усадьбе еженедельно и под большие праздники совершаются всенощные бдения, а сверх того, каждое 1-е число служится молебен, и что все это доставляет причту не менее ста рублей в год дохода. Кроме того, ему небезызвестно было, что церковная земля еще не была надлежащим образом отмежевана и что Иудушка не раз, проезжая мимо поповского луга, говаривал: «Ах, хорош лужок!» Поэтому в светское обращение батюшки примешивалась и немалая доля «страха иудейска», который выражался в том, что батюшка при свиданиях с Порфирием Владимирычем старался приводить себя в светлое и радостное настроение, хотя бы и не имел повода таковое ощущать, и когда последний в разговоре позволял себе развивать некоторые ереси относительно путей провидения, предбудущей жизни и прочего, то, не одобряя их прямо, видел, однако, в них не кощунство или богохульство, но лишь свойственное дворянскому званию дерзновение ума.

Когда Иудушка вошел, батюшка торопливо благословил его и еще торопливее отдернул руку, словно боялся, что кровопивец укусит ее. Хотел было он поздравить своего духов-

ного сына с новорожденным Владимиром, но подумал, как-то еще отнесется к этому обстоятельству сам Иудушка, и остерегся.

— Мжица на дворе ныне,— начал батюшка,— по народным приметам, в коих, впрочем, частицею и суеверие примечается, оттепель таковая погода предзнаменует.

— А может быть, и мороз; мы загадываем про оттепель — а бог возьмет да морозцу пошлет! — возразил Иудушка, хлопотливо и даже почти весело присаживаясь к чайному столу, за которым на сей раз хозяйничал лакей Прохор.

— Это точно, что человек нередко, в мечтании своем, стремится недосягаемая досягнуть и к недоступному доступ найти. А вследствие того, или повод для раскаяния, или и самую скорбь для себя обретает.

— А потому и надо нам от гаданий да от заглядываний подальше себя держать, а быть довольными тем, что бог пошлет. Пошлет бог тепла — мы теплу будем рады; пошлет бог морозцу — и морозцу милости просим! Велим пожарче печечки натопить, а которые в путь шествуют, те в шубки покрепче завернутся — вот и тепленько нам будет!

— Справедливо!

— Многие нынче любят кругом да около ходить: и то не так, и другое не по-ихнему, и третье вот этак бы сделать, а я этого не люблю. И сам не загадываю, и в других не похвалю. Высокоумие это — вот я какой взгляд на такие попытки имею!

— И это справедливо.

— Мы все здесь — странники; я так на себя и смотрю! Вот чайку попить, закусить что-нибудь, легонькое... это нам дозволено! Потому бог нам тело и прочие части дал... Этого и правительство нам не воспрещает: кушать кушайте, а язык за зубами держите!

— И опять-таки вполне справедливо! — крякнул батюшка и от внутреннего ликования стукнул об блюдечко донышком опорожненного стакана.

— Я так рассуждаю, что ум дан человеку не для того, чтоб испытывать неизвестное, а для того, чтоб воздерживаться от грехов. Вот ежели я, например, чувствую плотскую немощь или смущение и призываю на помощь ум: укажи, мол, пути, как мне ту немощь побороть — вот тогда я поступаю правильно! Потому что в этих случаях ум действительно пользу оказать может.

— А больше все-таки вера,— слегка поправил батюшка.

— Вера — сама по себе, а ум сам по себе. Вера на цель указывает, а ум — пути изыскивает. Туда толкнется, там постучится... блуждает, а между тем и полезное что-нибудь оты-

щет. Вот лекарства разные, травы целебные, пластыри, декокты — все это ум изобретает и открывает. Но надобно, чтоб все было согласно с верою — на пользу, а не на вред.

— И против этого возразить ничего не могу!

— Я, батя, книжку одну читал, так там именно сказано: услугами ума, ежели оный верою направляется, отнюдь не следует пренебрегать, ибо человек без ума в скором времени делается игралищем страстей. А я даже так думаю, что и первое грехопадение человеческое оттого произошло, что дьявол, в образе змия, рассуждение человеческое затмил.

Батюшка на это не возражал, но и от похвалы воздержался, потому что не мог себе еще уяснить, к чему склоняется Иудушкина речь.

— Часто мы видим, что люди не только впадают в грех мысленный, но и преступления совершают — и всё через недостаток ума. Плоть искушает, а ума нет — вот и летит человек в пропасть. И сладенького-то хочется, и веселенького, и приятненького, а в особенности ежели женский пол... ка́к тут без ума уберечи́сь! А коли ежели у меня есть ум, я взял канфарки или маслица; там потер, в другом месте подсыпал — смотришь, искушение-то с меня как рукой сняло!

Иудушка замолчал, как бы выжидая, что скажет на это батюшка, но батюшка все еще недоумевал, к чему клонится Иудушкина речь, и потому только крякнул и без всякого резона сказал:

— Вот у меня на дворе куры... Суетятся, по случаю солноворота; бегают, мечутся, места нигде сыскать не могут...

— И все оттого, что ни у птиц, ни у зверей, ни у пресмыкающих — ума нет. Птица — это что такое? Ни у ней горя, ни заботушки — летает себе! Вот давеча смотрю в окно: копаются воробьи носами в навозе — и будет с них! А человеку — этого мало!

— Однако в иных случаях и Писание на птиц небесных указывает!

— В иных случаях — это так. В тех случаях, когда и без ума вера спасает — тогда птицам подражать нужно. Вот богу молиться, стихи сочинять...

Порфирий Владимирыч умолк. Он был болтлив по природе, и, в сущности, у него так и вертелось на языке происшествие дня. Но, очевидно, не созрела еще форма, в которой прилично образом могли быть выражены разглагольствия по этому предмету.

— Птицам ум не нужен,— наконец сказал он,— потому что у них соблазнов нет. Или, лучше сказать, есть соблазны, да никто с них за это не взыскивает. У них все натуральное: ни

собственности нет, за которой нужно присмотреть, ни законных браков нет, а следовательно, нет и вдовства. Ни перед богом, ни перед начальством они в ответе не состоят: один у них начальник — петух!

— Петух! петух! это так точно! он у них — вроде как султан турецкий!

— А человек все так сам для себя устроил, что ничего у него натурального нет, а потому ему и ума много нужно. И самому чтобы в грех не впасть, и других бы в соблазн не ввести. Так ли, батя?

— Истинная это правда. И Писание советует соблазняющее око истребить.

— Это ежели буквально понимать, а можно, и не истребляя ока, так устроить, чтобы оно не соблазнялось. К молитве чаще обращаться, озлобление телесное усмирять. Вот я, например: и в порѐ, и нельзя сказать, чтоб хил... Ну, и прислуга у меня женская есть... а мне и горюшка мало! Знаю, что без прислуги нельзя — ну и держу! И мужскую прислугу держу, и женскую — всякую! Женская прислуга тоже в хозяйстве нужна. На погреб сходить, чайку налить, насчет закусочки распорядиться... ну, и Христос с ней! Она свое дело делает, я — свое... вот мы и поживаем!

Говоря это, Иудушка старался смотреть батюшке в глаза, батюшка тоже, с своей стороны, старался смотреть в глаза Иудушке. Но, к счастью, между ними стояла свечка, так что они могли вволю смотреть друг на друга и видеть только пламя свечи.

— А притом, я и так еще рассуждаю: ежели с прислугой в короткие отношения войти — непременно она командовать в доме начнет. Пойдут это дрязги да непорядки, перекоры да грубости: ты слово, а она — два... А я от этого устраняюсь.

У батюшки даже в глазах зарябило: до того пристально он смотрел на Иудушку. Поэтому, и чувствуя, что светские приличия требуют, чтобы собеседник хоть от времени до времени вставлял слово в общий разговор, он покачал головой и произнес:

— Тсс...

— А ежели при этом еще так поступать, как другие... вот как соседушка мой, господин Анпетов, например, или другой соседушка, господин Утробин... так и до греха недалеко. Вон у господина Утробина: никак, с шесть человек этой пакости во дворе копается... А я этого не хочу. Я говорю так: коли бог у меня моего ангела-хранителя отнял — стало быть, так его святой воле угодно, чтоб я вдовцом был. А ежели я, по милости

божьей, вдовец, то, стало быть, должен вдоветь честно и ложе свое нескверно содержать. Так ли, батя?

— Тяжко, сударь!

— Сам знаю, что тяжко, и все-таки исполняю. Кто говорит: тяжко! а я говорю: чем тяжче, тем лучше, только бы бог укрепил! Не всем сладенького да легонького — надо кому-нибудь и для бога потрудиться! *Здесь* себя сократишь — *там* получишь! *Здесь* — «трудом» это называется, а *там* — заслугой зовется! Справедливо ли я говорю?

— Уж на что же справедливее!

— Тоже и об заслугах надо сказать. И они неравные бывают. Одна заслуга — большая, а другая заслуга — малая! А ты как бы думал!

— Как же возможно! Большая ли заслуга или малая!

— Так вот оно на мое и выходит. Коли человек держит себя аккуратно: не срамословит, не суесловит, других не осуждает, коли он притом никого не огорчил, ни у кого ничего не отнял... ну, и насчет соблазнов этих вел себя осторожно — так и совесть у того человека завсегда покойна будет. И ничто к нему не пристанет, никакая грязь! А ежели кто из-за угла и осудит его, так, по моему мнению, такие осуждения даже в расчет принимать не следует. Плюнуть на них — и вся недолгà!

— В сих случаях христианские правила прощение преимущественнее рекомендуют!

— Ну, или простить! Я всегда так и делаю: коли меня кто осуждает, я его прощу да еще богу за него помолюсь! И ему хорошо, что за него молитва до бога дошла, да и мне хорошо: помолился, да и забыл!

— Вот это правильно: ничто так не облегчает души, как молитва. И скорби, и гнев, и даже болезнь — все от нее, как тьма нощная от солнца, бежит!

— Ну, вот и слава богу! И всегда так вести себя нужно, чтобы жизнь наша, словно свеча в фонаре, вся со всех сторон видна была... И осуждать меньше будут — потому, не за что! Вот хоть бы мы: посидели, поговорили, побеседовали — кто же может нас за это осудить? А теперь пойдем да богу помолимся, а потом и баиньки. А завтра опять встанем... так ли, батюшка?

Иудушка встал и с шумом отодвинул свой стул, в знак окончания собеседования. Батюшка, с своей стороны, тоже поднялся и занес было руку для благословения; но Порфирий Владимирыч, в виде особого на сей раз расположения, поймал его руку и сжал ее в обеих своих.

— Так Владимиром, бáтюшка, назвали? — сказал он, печально качая головой в сторону Евпраксеюшкиной комнаты.

— В честь святаго и равноапостольного князя Владимира, сударь.

— Ну и слава богу! Прислуга она усердная, верная, а вот насчет ума — не взыщите! Оттого и впадают они... в пре-лю-бо-де-яние!

Весь следующий день Порфирий Владимирыч не выходил из кабинета и молился, прося себе у бога вразумления. На третий день он вышел к утреннему чаю не в халате, как обыкновенно, а одетый по-праздничному в сюртук, как он всегда делал, когда намеревался приступить к чему-нибудь решительному. Лицо у него было бледно, но дышало душевным просветлением; на губах играла блаженная улыбка; глаза смотрели ласково, как бы всепрощающе; кончик носа, вследствие молитвенного угобжения, слегка покраснел. Он молча выпил свои три стакана чаю и в промежутках между глотками шевелил губами, складывал руки и смотрел на образ, как будто все еще, несмотря на вчерашний молитвенный труд, ожидал от него скорой помощи и предстательства. Наконец, пропустив последний глоток, потребовал к себе Улитушку и встал перед образом, дабы еще раз подкрепить себя божественным собеседованием, а в то же время и Улите наглядно показать, что то, что имеет произойти вслед за сим,— дело не его, а богово. Улитушка, впрочем, с первого же взгляда на лицо Иудушки поняла, что в глубине его души решено предательство.

— Вот я и богу помолился! — начал Порфирий Владимирыч, и в знак покорности его святой воле опустил голову и развел руками.

— И распрекрасное дело! — ответила Улитушка, но в голосе ее звучала такая несомненная проницательность, что Иудушка невольно поднял на нее глаза.

Она стояла перед ним в обыкновенной своей позе, одну руку положив поперек груди, другую — уперши в подбородок; но по лицу ее так и светились искорки смеха. Порфирий Владимирыч слегка покачал головой, в знак христианской укоризны.

— Небось бог милости прислал? — продолжала Улитушка, не смущаясь предостерегательным движением своего собеседника.

— Все-то ты кощунствуешь! — не выдержал Иудушка,— сколько раз я и лаской, и шуточкой старался тебя от этого остеречь, а ты все свое! Злой у тебя язык... ехидный!

— Ничего я, кажется... Обыкновенно, коли богу помолились, значит, бог милости прислал!

— То-то вот «кажется»! А ты не все, что тебе «кажется», зря болтай; иной раз и помолчать умей! Я об деле, а она — «кажется»!

Улитушка только переступила с ноги на ногу, вместо ответа, как бы выражая этим движением, что все, что Порфирий Владимирыч имеет сказать ей, давным-давно ей известно и переизвестно.

— Ну, так слушай же ты меня,— начал Иудушка,— молился я богу, и вчера молился, и сегодня, и все выходит, что как-никак, а надо нам Володьку пристроить!

— Известно, надо пристроить! Не щенок — в болото не бросишь!

— Стой, погоди! дай мне слово сказать... язва ты, язва! Ну! Так вот я и говорю: как-никак, а надо Володьку пристроить. Первое дело, Евпраксеюшку пожалеть нужно, а второе дело — и его человеком сделать.

Порфирий Владимирыч взглянул на Улитушку, вероятно, ожидая, что вот-вот она всласть с ним покалякает, но она отнеслась к делу совершенно просто и даже цинически.

— Мне, что ли, в воспитательный-то везти? — спросила она, смотря на него в упор.

— Ах-ах! — вступился Иудушка,— уж ты и решила... таранта̀ егоровна! Ах, Улитка, Улитка! все-то у тебя на уме прыг да шмыг! все бы тебе поболтать да поегозить! А почему ты знаешь: может, я и не думаю об воспитательном? Может, я так... другое что-нибудь для Володьки придумал?

— Что ж, и другое что — и в этом худого нет!

— Вот я и говорю: хоть, с одной стороны, и жалко Володьку, а с другой стороны, коли порассудить да поразмыслить — ан выходит, что дома его держать нам не приходится!

— Известное дело! что люди скажут? скажут: откуда, мол, в головлевском доме чужой мальчишечка проявился?

— И это, да еще и то: пользы для него никакой дома не будет. Мать молода — баловать будет; я, старый, хотя и сбоку припека, а за верную службу матери... туда же, пожалуй! Нет-нет — да и снизойдешь. Где бы за проступок посечь малого, а тут, за тем да за сем... да и слез бабьих, да крику не оберешься — ну, и махнешь рукой! Так ли?

— Справедливо это. Надоест.

— А мне хочется, чтоб все у нас хорошохонько было. Чтоб из него, из Володьки-то, со временем настоящий человек вышел. И богу слуга, и царю — подданный. Коли ежели бог его крестьянством благословит, так чтобы землю работать умел... Косить там, пахать, дрова рубить — всего чтобы понемножку. А ежели ему в другое звание судьба будет, так чтобы ремесло

знал, науку... Оттуда, слышь, и в учителя некоторые попадают!

— Из воспитательного-то? прямо генералами делают!

— Генералами не генералами, а все-таки... Может, и знаменитый какой-нибудь человек из Володьки выйдет! А воспитывают их там — отлично! Это уж я сам знаю! Кроватки чистенькие, мамки здоровенькие, рубашечки на детушках беленькие, рожочки, сосочки, пеленочки... словом, все!

— Чего лучше... для незаконныих!

— А ежели он и в деревню в питомцы попадет — что ж, и Христос с ним! К трудам приучаться с малолетства будет, а ведь труд — та же молитва! Вот мы — мы настоящим манером молимся! встанем перед образом, крестное знамение творим, и ежели наша молитва угодна богу, то он подает нам за нее! А мужичок — тот трудится! Иной и рад бы настоящим манером помолиться, да ему вряд и в праздник поспеть. А бог все-таки видит его труды — за труды ему подает, как нам за молитву. Не всем в палатах жить да по балам прыгать — надо кому-нибудь и в избеночке курненькой пожить, за землицей-матушкой походить да похолить ее! А счастье-то — еще бабушка надвое сказала — где оно? Иной и в палатах и в неженье живет, да через золото слезы льет, а другой и в соломку зароется, хлебца с кваском покушает, а на душе-то у него рай! Так, что ли, я говорю?

— Чего лучше, как рай на душе!

— Так мы вот как с тобой, голубушка, сделаем. Возьми-ка ты проказника Володьку, заверни его тепленько да уютненько, да и скатай с ним живым манером в Москву. Кибиточку я распоряжусь снарядить для вас крытенькую, лошадочек парочку прикажу заложить, а дорога у нас теперь гладкая, ровная: ни ухабов, ни выбоин — кати да покатывай! Только ты у меня смотри: чтоб все честь честью было. По-моему, по-головлевски... как *я* люблю! Сосочка чтобы чистенькая, рожочек... рубашоночек, простынек, свивальничков, пеленочек, одеяльцев — всего чтобы вдоволь было! Бери! командуй! а не дадут, так меня, старого, за бока бери — мне жалуйся! А в Москву приедешь — на постоялом остановись. Харчи там, самоварчик, чайку — требуй! Ах, Володька, Володька! вот грех какой случился! И жаль расстаться с тобой, а делать, брат, нечего! Сам после пользу увидишь, сам будешь благодарить!

Иудушка слегка воздел руками и потрепетал губами, в знак умной молитвы. Но это не мешало ему исподлобья взглядывать на Улитушку и подмечать язвительные мелькания, которыми подергивалось лицо ее.

— Ты что? сказать что-нибудь хочешь? — спросил он ее.

— Ничего я. Известно, мол: будет благодарить, коли благодетелев своих отыщет.

— Ах ты, дурная, дурная! да разве мы без билета его туда отдадим! А ты билетец возьми! По билетцу-то мы и сами его как раз отыщем! Вот выхолят, выкормят, уму-разуму научат, а мы с билетцем и тут как тут: пожалуйте молодца нашего, Володьку-проказника, назад! С билетцем-то мы его со дна морского выудим... Так ли я говорю?

Но Улитушка ничего не ответила на вопрос; только язвительные мелькания на лице ее выступили еще резче прежнего. Порфирий Владимирыч не выдержал.

— Язва ты, язва! — сказал он,— дьявол в тебе сидит, черт... тьфу! тьфу! тьфу! Ну, будет. Завтра, чуть свет, возьмешь ты Володьку, да скорехонько, чтоб Евпраксеюшка не слыхала, и отправляйтесь с богом в Москву. Воспитательный-то знаешь?

— Важивала,— односложно ответила Улитушка, как бы намекая на что-то в прошлом.

— А важивала — так тебе и книги в руки. Стало быть, и входы и выходы — все должно быть тебе известно. Смотри же, помести его, да начальников низѐнько попроси — вот так!

Порфирий Владимирыч встал и поклонился, коснувшись рукою земли.

— Чтоб ему хорошо там было! не как-нибудь, а настоящим бы манером! Да билетец, билетец-то выправь. Не забудь! По билету мы его после везде отыщем! А на расходы я тебе две двадцатипятирублевеньких отпущу. Знаю ведь я, все знаю! И там сунуть придется, и в другом месте барашка в бумажке подарить... Ахти, грехи наши, грехи! Все мы люди, все человеки, все сладенького да хорошенького хотим! Вот и Володька наш! Кажется, велик ли, и всего с ноготок, а поди-ка, сколько уж денег стоит!

Сказавши это, Иудушка перекрестился и низенько поклонился Улитушке, молчаливо рекомендуя ей не оставить проказника Володьку своими попечениями. Будущее приблудной семьи было устроено самым простым способом.

На другое утро после этого разговора, покуда молодая мать металась в жару и бреду, Порфирий Владимирыч стоял перед окном в столовой, шевелил губами и крестил стекло. С красного двора выезжала рогожная кибитка, увозившая Володьку. Вот она поднялась на горку, поравнялась с церковью, повернула налево и скрылась в деревне. Иудушка сотворил последнее крестное знамение и вздохнул.

«Вот батя намеднись про оттепель говорил,— сказал он самому себе,— ан бог-то морозцу вместо оттепели послал! Морозцу, да еще какого! Так-то и всегда с нами бывает! Мечтаем мы, воздушные за̀мки строим, умствуем, думаем и бога самого перемудрить — а бог возьмет да в одну минуту все наше высокоумие в ничто обратит!»

ВЫМОРОЧНЫЙ

Агония Иудушки началась с того, что ресурс празднословия, которым он до сих пор так охотно злоупотреблял, стал видимо сокращаться. Все вокруг него опустело: одни перемерли, другие — ушли. Даже Аннинька, несмотря на жалкую будущность кочующей актрисы, не соблазнилась головлевскими привольями. Оставалась одна Евпраксеюшка, но независимо от того, что это был ресурс очень ограниченный, и в ней произошла какая-то порча, которая не замедлила пробиться наружу и раз навсегда убедить Иудушку, что красные дни прошли для него безвозвратно.

До сих пор Евпраксеюшка была до такой степени беззащитна, что Порфирий Владимирыч мог угнетать ее без малейших опасений. Благодаря крайней неразвитости ума и врожденной дряблости характера, она даже не чувствовала этого угнетения. Покуда Иудушка срамословил, она безучастно смотрела ему в глаза и думала совсем о другом. Но теперь она вдруг нечто поняла, и ближайшим результатом пробудившейся способности понимания явилось внезапное, еще не сознанное, но злое и непобедимое отвращение.

Очевидно, пребывание в Головлеве погорелковской барышни не прошло бесследно для Евпраксеюшки. Хотя последняя и не могла дать себе отчета, какого рода боли вызвали в ней случайные разговоры с Аннинькой, но внутренно она почувствовала себя совершенно взбудораженною. Прежде ей никогда не приходило в голову спросить себя, зачем Порфирий Владимирыч, как только встретит живого человека, так тотчас же начинает опутывать его целою сетью словесных обрывков, в которых ни за что уцепиться невозможно, но от которых делается невыносимо тяжело; теперь ей стало ясно, что Иудушка, в строгом смысле, не разговаривает, а «тиранит» и что, следовательно, не лишнее его «осадить», дать почувствовать, что и ему пришла пора «честь знать». И вот она начала вслушиваться в его бесконечные словоизлияния и действительно только одно в них и поняла: что Иудушка пристает, досаждает, зудит.

«Вот барышня говорила, будто он и сам не знает, зачем говорит,— рассуждала она сама с собою,— нет, в нем это злость действует! Знает он, который человек против него защиты не имеет,— ну и вертит им, как ему любо!»

Впрочем, это было еще второстепенное обстоятельство. Главным образом, действие приезда Анниньки в Головлево выразилось в том, что он взбунтовал в Евпраксеюшке инстинкты ее молодости. До сих пор эти инстинкты как-то тупо тлели в ней, теперь — они горячо и привязчиво вспыхнули. Многое она поняла из того, к чему прежде относилась совсем безучастно. Вот, например: почему же нибудь да не согласилась Аннинька остаться в Головлеве, так-таки напрямик и сказала: страшно! Почему так? — а потому просто, что она молода, что ей «жить хочется». Вот и она, Евпраксеюшка, тоже молода... Да, молода! Это только так кажется, будто молодость в ней жиром заплыла — нет, временем куда тоже шибко она сказывается! И зовет и манит; то замрет, то опять вспыхнет. Думала она, что и с Иудушкой дело обойдется, а теперь вот... «Ах ты, гнилушка старая! ишь ведь как обошел!» Хорошо бы теперича с дружком пожить, да с настоящим, с молоденьким! Обнялися бы, завалилися, стал бы милый дружок целовать-миловать, ласковые слова на ушко говорить: ишь, мол, ты белая да рассыпчатая! «Ах, кикимора проклятая! нашел ведь чем — костями своими старыми прельстить! Смотри, чай, и у погорелковской барышни молодчик есть! Беспременно есть! То-то она подобрала хвосты да удрала. А тут вот сиди в четырех стенах, жди, пока ему, старому, в голову вступит!..»

Разумеется, Евпраксеюшка не сразу заявила о своем бунте, но, однажды вступивши на этот путь, уже не останавливалась. Отыскивала прицепки, припоминала прошлое, и, между тем как Иудушка даже не подозревал, что внутри ее зреет какая-то темная работа, она молчаливо, но ежеминутно разжигала себя до ненависти. Сперва явились общие жалобы, вроде «чужой век заел»; потом наступила очередь для сравнений. «Вот, в Мазулине Палагеюшка у барина в экономках живет: сидит руки скламши, да в шелковых платьях ходит. Ни она на скотный, ни на погреб — сидит у себя в покойчике да бисером вяжет!» И все эти обиды и протесты заканчивались одним общим воплем:

— Уж как же у меня теперича против тебя, распостылого, сердце разожглось! Ну так разожглось! так разожглось!

К этому главному поводу присоединился и еще один, который был в особенности тем дорог, что мог послужить отличнейшею прицепкою для вступления в борьбу. А именно: воспоминание о родах и об исчезновении сына Володьки.

В то время, когда произошло это исчезновение, Евпраксеюшка отнеслась к этому факту как-то тупо. Порфирий Владимирыч ограничился тем, что объявил ей об отдаче новорожденного в добрые руки, а чтобы утешить, подарил ей новый шалевой платок. Затем все опять заплыло и пошло по-старому. Евпраксеюшка даже рьянее прежнего окунулась в тину хозяйственных мелочей, словно хотела на них сорвать неудавшееся свое материнство. Но продолжало ли потихоньку теплиться материнское чувство в Евпраксеюшке или просто ей блажь в голову вступила, во всяком случае, воспоминание о Володьке вдруг воскресло. И воскресло в ту самую минуту, когда на Евпраксеюшку повеяло чем-то новым, свободным, вольным, когда она почувствовала, что есть иная жизнь, сложившаяся совсем иначе, нежели в стенах головлевского дома. Понятно, что придирка была слишком хороша, чтоб не воспользоваться ею.

— Ишь ведь, что сделал! — разжигала она себя,— робенка отнял! словно щенка в омуте утопил!

Мало-помалу, мысль эта овладела ею всецело. Она и сама поверила какому-то страстному желанию вновь соединиться с ребенком, и чем назойливее разгоралось это желание, тем больше и больше силы приобретала ее досада против Порфирия Владимирыча.

— По крайности, теперь хоть забава бы у меня была! Володя! Володюшка! рожо̀ный мой! Где-то ты? чай, к паневнице в деревню спихнули! Ах, про̀пасти на вас нет, господа вы проклятые! Наделают робят, да и забросят, как щенят в яму: никто, мол, не спросит с нас! Лучше бы мне в ту пору ножом себя по горлу полыхнуть, нѐчем ему, охавернику, над собой надругаться давать!

Явилась ненависть, желание досадить, изгадить жизнь, извести; началась несноснейшая из всех войн — война придирок, поддразниваний, мелких уколов. Но именно только такая война и могла сломить Порфирия Владимирыча.

Однажды, за утренним чаем, Порфирий Владимирыч был очень неприятно изумлен. Обыкновенно он в это время источал из себя целые массы словесного гноя, а Евпраксеюшка, с блюдечком чая в руке, молча внимала ему, зажав зубами кусок сахару и от времени до времени фыркая. И вдруг, только что начал он развивать мысль (к чаю в этот день был подан теплый, свежеиспеченный хлеб), что хлеб бывает разный: видимый, который мы *едим* и через это тело свое поддерживаем,

и невидимый, духовный, который мы *вкушаем* и тем стяжаем себе душу, как Евпраксеюшка самым бесцеремонным образом перебила его разглагольствия.

— Сказывают, в Мазулине Палагеюшка хорошо живет! — начала она, обернувшись всем корпусом к окну и развязно покачивая ногами, сложенными одна на другую.

Иудушка слегка вздрогнул от неожиданности, но на первый раз, однако, не придал этому случаю особенного значения.

— И ежели мы долго не едим хлеба видимого,— продолжал он,— то чувствуем голод телесный; если же продолжительное время не вкушаем хлеба духовного...

— Палагеюшка, слышь, в Мазулине хорошо живет! — вновь перебила его Евпраксеюшка и на этот раз уже, очевидно, неспроста̀.

Порфирий Владимирыч вскинул на нее изумленные глаза, но все-таки воздержался от выговора, словно бы почуял что-то недоброе.

— А хорошо живет Палагеюшка — так и Христос с ней! — кротко молвил он в ответ.

— Ейный-то господин,— продолжала колобродить Евпраксеюшка,— никаких неприятностев ей не делает, ни работой не принуждает, а между прочим, за́все в шелковых платьях водит!

Изумление Порфирия Владимирыча росло. Речи Евпраксеюшки были до такой степени ни с чем не сообразны, что он даже не нашелся, что предпринять в данном случае.

— И на всякий день у нее платья разные,— словно во сне бредила Евпраксеюшка,— на сегодня одно, на завтра другое, а на праздник особенное. И в церкву в коляске четверней ездят: сперва она, потом господин. А поп, как увидит коляску, трезвонить начинает. А потом она у себя в своей комнате сидит. Коли господину желательно с ней время провести, господина у себя принимает, а не то так с девушкой, с горничной ейной, разговаривает или бисером вяжет!

— Ну, так что ж? — очнулся наконец Порфирий Владимирыч.

— Об том-то я и говорю, что Палагеюшкино житье очень уж хорошо!

— А твое небось худо житье? Ах-ах-ах, какая ты, однако ж... ненасытная!

Смолчи на этот раз Евпраксеюшка, Порфирий Владимирыч, конечно, разразился бы целым потоком бездельных слов, в котором бесследно потонули бы все дурацкие на́меки, возмутившие правильное течение его празднословия. Но Евпраксеюшка, по-видимому, и намерения не имела молчать.

— Что говорить! — огрызнулась она,— и мое житье не худое! В затрапезах не хожу, и то слава те господи! В прошлом году за два ситцевых платья по пяти рублей отдали... расшиблись!

— А шерстяное-то платье позабыла? а платок-то недавно кому купили? ах-ах-ах!

Вместо ответа Евпраксеюшка уперлась в стол рукой, в которой держала блюдечко, и метнула в сторону Иудушки косой взгляд, исполненный такого глубокого презрения, что ему с непривычки сделалось жутко.

— А ты знаешь ли, как бог за неблагодарность-то наказывает? — как-то нерешительно залепетал он, надеясь, что хоть напоминание о боге сколько-нибудь образумит неизвестно с чего взбаламутившуюся бабу. Но Евпраксеюшка не только не прониклась этим напоминанием, но тут же на первых словах оборвала его.

— Нечего! нечего зубы-то заговаривать! нечего на бога указывать! — сказала она,— не маленькая! Будет! повластвовали! потиранили!

Порфирий Владимирыч замолчал. Налитой стакан с чаем стоял перед ним почти остывший, но он даже не притрогивался к нему. Лицо его побледнело, губы слегка вздрагивали, как бы усиливаясь сложиться в усмешку, но без успеха.

— А ведь это — Анюткины штуки! это она, ехидная, натравила тебя! — наконец произнес он, сам, впрочем, не отдавая себе ясного отчета в том, что говорит.

— Какие же это штуки?

— Да вот, что ты разговаривать-то со мной начала... Она! она научила! Некому другому, как ей! — волновался Порфирий Владимирыч.— Смотри-тка те, ни с того ни с сего вдруг шелковых платьев захотелось! Да ты знаешь ли, бесстыдница, кто из вашего званья в шелковых-то платьях ходит?

— Скажите, так буду знать!

— Да просто самые... ну, самые беспутные, те только ходят!

Но Евпраксеюшка даже этим не усовестилась, но, напротив того, с какою-то наглою резонностью ответила:

— Не знаю, почему они беспутные... Известно, господа требуют... Который господин нашу сестру на любовь с собой склонил... ну, и живет она, значит... с им! И мы с вами не молебны, чай, служим, а тем же, чем и мазулинский барин, занимаемся.

— Ах, ты... тьфу! тьфу! тьфу!

Порфирий Владимирыч даже помертвел от неожиданности. Он смотрел во все глаза на взбунтовавшуюся наперсницу, и

целая масса праздных слов так и закипала у него в груди. Но в первый раз в жизни он смутно заподозрил, что бывают случаи, когда и праздным словом убить человека нельзя.

— Ну, голубушка! с тобой, я вижу, сегодня не сговорить! — сказал он, вставая из-за стола.

— И сегодня не сговорите, и завтра не сговорите... никогда! Будет! повластвовали! Наслушалась я довольно; послушайте теперь вы, каковы мои слова будут!

Порфирий Владимирыч бросился было на нее с сжатыми кулаками, но она так решительно выпятила вперед свою грудь, что он внезапно опешил. Оборотился лицом к образу, воздел руки, потрепетал губами и тихим шагом побрел в кабинет.

Весь этот день ему было не по себе. Он еще не имел определенных опасений за будущее, но уже одно то волновало его, что случился такой факт, который совсем не входил в обычное распределение его дня, и что факт этот прошел безнаказанно. Даже к обеду он не вышел, а притворился больным и скромненько, притворно ослабевшим голосом попросил принести ему поесть в кабинет.

Вечером, после чаю, который, в первый раз в жизни, прошел совершенно безмолвно, он встал, по обыкновению, на молитву; но напрасно губы его шептали обычное последование на сон грядущим: возбужденная мысль даже внешним образом отказывалась следить за молитвой. Какое-то дрянное, но неотступное беспокойство овладело всем его существом, а ухо невольно прислушивалось к слабеющим отголоскам дня, еще раздававшимся то там, то сям, в разных углах головлевского дома. Наконец, когда пронесся где-то за стеной последний отчаянный зевок и вслед за тем все вдруг стихло, словно окунулось куда-то глубоко на дно, он не выдержал. Бесшумно крадучись, побрел он вдоль коридора и, подойдя к Евпраксеюшкиной комнате, приложил к двери ухо, чтоб подслушать. Евпраксеюшка была одна, и слышно было только, как она, зевая, произносит: «Господи! Спас милостивый! Успленья матушка!» — и в то же время горстью чешет себе поясницу. Порфирий Владимирыч попробовал взяться за ручку двери замка́, но дверь была заперта.

— Евпраксеюшка! ты здесь? — окликнул он.

— Здесь, да не про вас! — огрызнулась она так грубо, что Иудушке осталось молча отретироваться в кабинет.

На другой день последовал другой разговор. Евпраксеюшка, как нарочно, выбирала время утреннего чая для уязвления Порфирия Владимирыча. Словно она чутьем чуяла, что все его бездельничества распределены с такою точностью, что нару-

шенное утро причиняло беспокойство и боль уже на целый день.

— Посмотрела бы я, хоть бы глазком бы полюбовалась, как некоторые люди живут! — начала она как-то загадочно.

Порфирия Владимирыча всего передернуло. «Начинается!» — подумал он, но смолчал и ждал, что дальше будет.

— Право! с дружком с милыим да с молоденькиим! Ходят по комнатам парочкой да друг на дружку любуются! Ни он словом бранным ее не попрекнет, ни она против его. «Душенька моя» да «друг мой», только и разговора у них! Мило! благородно!

Эта материя была особенно ненавистна для Порфирия Владимирыча. Хотя он и допускал прелюбодеяние в размерах строгой необходимости, но все-таки считал любовное времяпрепровождение бесовским искушением. Однако он и на этот раз смалодушничал, тем больше что ему хотелось чаю, который уж несколько минут прел на конфорке, а Евпраксеюшка и не думала наливать его.

— Конечно, из нашей сестры много глупых бывает,— продолжала она, нахально раскачиваясь на стуле и барабаня рукой по столу,— иную так осетит, что она из-за ситцевого платья на все готова, а другая и просто, безо всего, себя потеряет!.. Квасу, говорит, огурцов, пей-ешь, сколько хочется! Нашли, чем прельстить!

— Так неужто ж из интереса одного...— рискнул робко заметить Порфирий Владимирыч, следя глазами за чайником, из которого уже начинал валить пар.

— Кто говорит: из-за интереса из-за одного? уж не я ли интересанткой сделалась! — вдруг кинулась в сторону Евпраксеюшка,— куска, видно, стало жалко! Куском попрекать стали?

— Я не попрекаю, а так говорю: не из одного, говорю, интереса люди...

— То-то «говорю»! Вы говорите, да не заговаривайтесь! Ишь ты! из интересу я служу! а позвольте спросить, какой такой интерес я у вас нашла? Окромя́ квасу да огурцов...

— Ну, не один квас да огурцы...— не удержался, увлекся, в свою очередь, Порфирий Владимирыч.

— Что ж, сказывайте! сказывайте, что еще?

— А кто к Николе каждый месяц четыре мешка муки посылает?

— Ну-с, четыре мешка! еще чего нет ли?

— Круп, масла постного... словом, всего...

— Ну, круп, масла постного... уж для родителев-то жалко стало! Ах, вы!

— Я не говорю, что жалко, а вот ты...

— Я же виновата сделалась! Мне куска без попреков съесть не дадут, да я же виновата состою!

Евпраксеюшка не выдержала и залилась слезами. А чай между тем прел да прел на конфорке, так что Порфирий Владимирыч не на шутку встревожился. Поэтому он перемог себя, тихонько подсел к Евпраксеюшке и потрепал ее по спине.

— Ну, добро, наливай-ка чай... чего разрюмилась!

Но Евпраксеюшка еще раза два-три всхлипнула, надула губы и уперлась мутными глазами в пространство.

— Вот ты сейчас об молоденьких говорила,— продолжал он, стараясь придать своему голосу ласкающую интонацию,— что̀ ж, ведь и мы тово... не перестарки, чай, тоже!

— Нашли чего! отстаньте от меня!

— Право-ну! Да я... знаешь ли ты... когда я в департаменте служил, так за меня директор дочь свою выдать хотел!

— Протухлая, видно, была... кособокая какая-нибудь!

— Нет, как следует девица... а как она *не шей ты мне, матушка* пела! так пела! так пела!

— Она-то пела, да подпеватель-то был плохой!

— Нет, я, кажется...

Порфирий Владимирыч недоумевал. Он не прочь был даже поподличать, показать, что и он может в парочке пройтись. В этих видах он начал как-то нелепо раскачиваться всем корпусом и даже покусился обнять Евпраксеюшку за талию, но она грубо уклонилась от его протянутых рук и сердито крикнула:

— Говорю честью: уйди, домовой! не то кипятком ошпарю! И чаю мне вашего не надо! ничего не надо! Ишь что вздумали — куском попрекать начали! Уйду я отсюда! вот те Христос, уйду!

И она, действительно, ушла, хлопнув дверью и оставив Порфирия Владимирыча одного в столовой.

Иудушка был совсем озадачен. Он начал было сам наливать себе чай, но руки его до того дрожали, что потребовалась помощь лакея.

— Нет, этак нельзя! надо как-нибудь это устроить... сообразить! — шептал он, в волнении расхаживая взад и вперед по столовой.

Но именно ни «устроить», ни «сообразить» он ничего не был в состоянии. Мысль его до того привыкла перескакивать от одного фантастического предмета к другому, нигде не встречая затруднений, что самый простой факт обыденной действительности заставал его врасплох. Едва начинал он «соображать», как целая масса пустяков обступала его со всех сторон

и закрывала для мысли всякий просвет на действительную жизнь. Лень какая-то обуяла его, общая умственная и нравственная анемия. Так и тянуло его прочь от действительной жизни на мягкое ложе призраков, которые он мог переставливать с места на место, одни пропускать, другие выдвигать, словом, распоряжаться, как ему хочется.

И опять целый день провел он в полном одиночестве, потому что Евпраксеюшка на этот раз уже ни к обеду, ни к вечернему чаю не явилась, а ушла на целый день на село к попу в гости и возвратилась только поздно вечером. Даже заняться ничем он не мог, потому что и пустяки на время как будто оставили его. Одна безвыходная мысль тиранила: надо как-нибудь устроить, надо! Ни праздных выкладок он не мог делать, ни стоять на молитве. Он чувствовал, что к нему приступает какой-то недуг, которого он покуда еще не может определить. Не раз останавливался он перед окном, думая к чему-нибудь приковать колеблющуюся мысль, чем-нибудь развлечь себя, и все напрасно. На дворе начиналась весна, но деревья стояли голые, даже свежей травы еще не показывалось. Вдали виднелись черные поля, по местам испещренные белыми пятнами снега, еще державшегося в низких местах и ложбинах. Дорога сплошь чернела грязью и сверкала лужами. Но все это представлялось ему словно сквозь сетку. Около мокрых служб царствовало полнейшее безлюдье, хотя везде все двери были настежь; в доме тоже никого докликаться было нельзя, хотя до слуха беспрестанно долетали какие-то звуки, вроде отдаленного хлопанья дверьми. Вот бы теперь невидимкой оборотиться хорошо да подслушать, что об нем хамово отродье говорит! Понимают ли подлецы его милости или, может быть, за его же добро да его же судачат? Ведь им хоть с утра до вечера в хайло-то пихай, все мало, все как с гуся вода! Давно ли, кажется, новую кадку с огурцами начали, а уж... Но только что он начал забываться на этой мысли, только что начинал соображать, сколько в кадке может быть огурцов и сколько следует, при самом широком расчете, положить огурцов на человека, как опять в голове мелькнул луч действительности и разом перевернул вверх дном все его расчеты.

«Ишь ты ведь! даже не спросилась — ушла!» — думалось ему, покуда глаза бродили в пространстве, усиливаясь различить поповский дом, в котором, по всем вероятиям, в эту минуту соловьем разливалась Евпраксеюшка.

Но вот и обед подали; Порфирий Владимирыч сидит за столом один и как-то вяло хлебает пустой суп (он терпеть не мог суп без ничего, но *она* сегодня нарочно велела именно такой сварить).

«Чай, и попу-то до смерти тошно, что она к нему напросилась! — думается ему,— все же лишний кусок подать надо! И щец, и кашки... а для гостьи, пожалуй, и жарковца какого-нибудь...»

Опять фантазия его разыгрывается, опять он начинает забываться, словно сон его заводит. Сколько лишних ложек щец пойдет? сколько кашки? и что поп с попадьей говорят по случаю прихода Евпраксеюшки? как они промежду себя ругают ее... Все это, и кушанья и речи, так и мечется у него, словно живое, перед глазами.

— Поди, из чашки так все вместе и хлебают! Ушла! сумела, где себе найти лакомство! на дворе слякоть, грязь — долго ли до беды! Придет ужо, хвосты обтрепанные принесет... ах ты, гадина! именно гадина! Да, надо, надобно как-нибудь...

На этой фразе мысль неизменно обрывалась. После обеда лег он, по обыкновению, заснуть, но только измучился, проворочавшись с боку на бок. Евпраксеюшка пришла домой уж тогда, когда стемнело, и так прокралась в свой угол, что он и не заметил. Приказывал он людям, чтоб непременно его предупредили, когда она воротится, но и люди, словно стакнулись, смолчали. Попробовал он опять толкнуться к ней в комнату, но и на этот раз нашел дверь запертою.

На третий день, утром, Евпраксеюшка хотя и явилась к чаю, но заговорила еще грознее и шибче.

— Где-то Володюшка мой теперь? — начала она, притворно давая своему голосу слезливый тон.

Порфирий Владимирыч совсем помертвел при этом вопросе.

— Хоть бы глазком на него взглянула, как он, родимый, там мается! А то, пожалуй, и помер уж... право!

Иудушка трепетно шевелил губами, шепча молитву.

— У нас все не как у людей! Вот у мазулинского господина Палагеюшка дочку родила — сейчас ее в батист-дикос нарядили, постельку розовенькую для ей устроили... Одной мамке сколько сарафанов да кокошников надарили! А у нас... э-эх... вы!

Евпраксеюшка круто повернула голову к окну и шумно вздохнула.

— Правду говорят, что все господа проклятые! Народят детей — и забросят в болото, словно щенят! И горюшка им мало! И ответа ни перед кем не дадут, словно и бога на них нет! Волк — и тот этого не сделает!

У Порфирия Владимирыча так и вертело все нутро. Он долго перемогал себя, но наконец не выдержал и процедил сквозь зубы:

— Однако... новые моды у тебя завелись! уж третий день сряду я твои разговоры слушаю!

— Что ж, и моды! Моды — так моды! не все вам одним говорить — можно, чай, и другим слово вымолвить! Право-ну! Ребенка прижили — и что с ним сделали! В деревне, чай, у бабы в избе сгноили! ни призору за ним, ни пищи, ни одежи... лежит, поди, в грязи да соску прокислую сосет!

Она прослезилась и концом шейного платка утерла глаза.

— Вот уж правду погорелковская барышня сказала, что страшно с вами. Страшно и есть. Ни удовольствия, ни радости, одни только каверзы... В тюрьме арестанты лучше живут. По крайности, если б у меня теперича ребенок был — все бы я забаву какую ни на есть видела. А то на-тко! был ребенок — и того отняли!

Порфирий Владимирыч сидел на месте и как-то мучительно мотал головой, точно его и в самом деле к стене прижали. По временам из груди его даже вырывались стоны.

— Ах,-тяжело! — наконец произнес он.

— Нѐчего «тяжело»! сама себя раба бьет, коли плохо жнет! Право, съезжу я в Москву, хоть глазком на Володьку взгляну! Володька! Володенька! ми-и-илый! Барин! съезжу-ка, что ли, я в Москву?

— Незачем! — глухо отозвался Порфирий Владимирыч.

— Ан съезжу! и не спрошусь ни у кого, и никто запретить мне не может! Потому, я — мать!

— Какая ты мать! Ты девка гулящая — вот ты кто! — разразился наконец Порфирий Владимирыч,— сказывай, что тебе от меня надобно?

К этому вопросу Евпраксеюшка, по-видимому, не приготовилась. Она уставилась в Иудушку глазами и молчала, словно размышляя, чего ей, в самом деле, надобно?

— Вот как! уж девкой гулящей звать стали! — вскрикнула она, заливаясь слезами.

— Да! девка гулящая! девка, девка! тьфу! тьфу! тьфу!

Порфирий Владимирыч окончательно вышел из себя, вскочил с места и почти бегом выбежал из столовой.

Это была последняя вспышка энергии, которую он позволил себе. Затем он как-то быстро осунулся, отупел и струсил, тогда как приставаньям Евпраксеюшки и конца не было видно. У ней была в распоряжении громадная сила: упорство тупоумия, и так как эта сила постоянно била в одну точку: досадить, изгадить жизнь, то по временам она являлась чем-то страшным. Мало-помалу арена столовой сделалась недостаточною для нее; она врывалась в кабинет и там настигала Иудушку (прежде она и подумать не посмела бы войти туда,

когда барин «занят»). Придет, сядет к окну, упрется посоловелыми глазами в пространство, почешется лопатками об косяк и начнет колобродить. В особенности же пришлась ей по сердцу одна тема для разговоров — тема, в основании которой лежала угроза оставить Головлево. В сущности, она никогда серьезно об этом не думала и даже была бы очень изумлена, если б ей вдруг предложили возвратиться в родительский дом; но она догадывалась, что Порфирий Владимирыч пуще всего боится, чтоб она не ушла. Приговаривалась она к этому предмету всегда помаленьку, окольными путями. Помолчит, почешет в ухе и вдруг словно бы что вспомнит.

— Сегодня у Николы, поди, блины пекут!

Порфирий Владимирыч при этом вступлении зеленеет от злости. Перед этим он только что начал очень сложное вычисление — на какую сумму он может продать в год молока, ежели все коровы в окру́ге примрут, а у него одного, с божьею помощью, не только останутся невредимы, но даже будут давать молока против прежнего вдвое. Однако, ввиду прихода Евпраксеюшки и поставленного ею вопроса о блинах, он оставляет свою работу и даже усиливается улыбнуться.

— Отчего же там блины пекут? — спрашивает он, осклабляясь всем лицом своим,— ах, батюшки, да ведь и в самом деле, родительская сегодня! а я-то, ротозей, и позабыл! Ах, грех какой! маменьку-то покойницу и помянуть будет нечем!

— Поела бы я блинков... родительскиих!

— А кто ж тебе не велит! распорядись! Кухарку Марьюшку за бока! а не то так Улитушку! Ах, хорошо Улитка блины печет!

— Может, она и другим чем на вас потрафила? — язвит Евпраксеюшка.

— Нет, грех сказать, хорошо, даже очень хорошо Улитка блины печет! Легкие, мягкие — ай, поешь!

Порфирий Владимирыч хочет шуточкой да смешком развлечь Евпраксеюшку.

— Поела бы я блинов, да не головлевских, а родительскиих! — кобенится она.

— И за этим у нас дело не станет! Архипушку-кучера за бока! вели парочку лошадушек заложить, кати себе да покатывай!

— Нет уж! что уж! попалась птица в западню... сама глупа была! Кому меня, этакую-то, нужно? Сами гулящей девкой недавно назвали... чего уж!

— Ах-ах-ах! и не стыдно тебе напраслину на меня говорить! А ты знаешь ли, как бог-то за напраслину наказывает?

— Назвали, прямо так-таки гулящей и назвали! вот и образ тут, при нем, при батюшке! Ах, распостылое мне это Головлево! сбегу я отсюда! право, сбегу!

Говоря это, Евпраксеюшка ведет себя совершенно непринужденно: раскачивается на стуле, копается в носу, почесывается. Очевидно, она разыгрывает комедию, дразнит.

— Я, Порфирий Владимирыч, вам что-то хотела сказать,— продолжает она колобродить,— ведь мне домой надобно!

— Погостить, что ли, к отцу с матерью собралась?

— Нет, я совсем. Останусь, значит, у Николы.

— Что так? обиделась чем-нибудь?

— Нет, не обиделась, а так... надо же когда-нибудь... Да и скучно у вас... инда страшно! В доме-то словно все вымерло! Людишки — вольница, всё по кухням да по людским прячутся, сиди в целом доме одна; еще зарежут, того гляди! Ночью спать ляжешь — изо всех углов шепоты ползут!

Однако проходили дни за днями, а Евпраксеюшка и не думала приводить в исполнение свою угрозу. Тем не менее действие этой угрозы на Порфирия Владимирыча было очень решительное. Он вдруг как-то понял, что, несмотря на то, что с утра до вечера изнывал в так называемых трудах, он, собственно говоря, ровно ничего не делал и мог бы остаться без обеда, не иметь ни чистого белья, ни исправного платья, если б не было чьего-то глаза, который смотрел за тем, чтоб его домашний обиход не прерывался. До сих пор он как бы не чувствовал жизни, не понимал, что она имеет какую-то обстановку, которая созидается не сама собой. Весь его день шел однажды заведенным порядком; все в доме группировалось лично около него и ради него; все делалось в свое время; всякая вещь находилась на своем месте — словом сказать, везде царствовала такая неизменная точность, что он даже не придавал ей никакого значения. Благодаря этому порядку вещей, он мог на всей своей воле предаваться и празднословию и праздномыслию, не опасаясь, чтобы уколы действительной жизни когда-нибудь вывели его на свежую воду. Правда, что вся эта искусственная махинация держалась на волоске; но человеку, постоянно погруженному в самого себя, не могло и в голову прийти, что этот волосок есть нечто очень тонкое, легко рвущееся. Ему казалось, что жизнь установилась прочно, навсегда... И вдруг все это должно рушиться, рушиться в один миг, по одному дурацкому слову: нет уж! что уж! уйду! Иудушка совершенно растерялся. Что, ежели она в самом деле уйдет? — думалось ему. И он мысленно начинал строить всевозможные нелепые комбинации, с целью как-нибудь удержать ее, и даже решался на такие уступки в пользу бунтующей

Евпраксеюшкиной младости, которые ему никогда бы прежде и в голову не пришли.

— Тьфу! тьфу! тьфу! — отплевывался он, когда возможность столкновения с кучером Архипушкой или с конторщиком Игнатом представлялась ему во всей обидной наготе своей.

Скоро, однако ж, он убедился, что страх его насчет ухода Евпраксеюшки был по малой мере неоснователен, и вслед за тем существование его как-то круто вступило в новый и совершенно для него неожиданный фазис. Евпраксеюшка не только не уходила, но даже заметно приутихла с своими приставаниями. Взамен того она совершенно обросила Порфирия Владимирыча. Наступил май, пришли красные дни, и она уж почти совсем не являлась в дом. Только по постоянному хлопанью дверей Иудушка догадывался, что она за чем-нибудь прибежала к себе в комнату, с тем чтобы вслед за тем опять исчезнуть. Вставая утром, он не находил на обычном месте своего платья и должен был вести продолжительные переговоры, чтобы получить чистое белье, чай и обед ему подавали то спозаранку, то слишком поздно, причем прислуживал полупьяный лакей Прохор, который являлся к столу в запятнанном сюртуке и от которого вечно воняло какою-то противной смесью рыбы и водки.

Тем не менее Порфирий Владимирыч уж и тому был рад, что Евпраксеюшка оставляла его в покое. Он примирялся даже с беспорядком, лишь бы знать, что в доме все-таки есть некто, кто этот беспорядок держит в своих руках. Его страшила не столько безурядица, сколько мысль о необходимости личного вмешательства в обстановку жизни. С ужасом представлял он себе, что может наступить минута, когда ему самому придется распоряжаться, приказывать, надсматривать. В предвидении этой минуты он старался подавить в себе всякий протест, закрывал глаза на наступавшее в доме безначалие, стушевывался, молчал. А на барском дворе между тем шла ежедневная открытая гульба. С наступлением тепла головлевская усадьба, дотоле степенная и даже угрюмая, оживилась. Вечером все население дворовых, и заштатные, и состоящие на действительной службе, и стар, и млад — все высыпало на улицу. Пели песни, играли на гармонике, хохотали, взвизгивали, бегали в горелки. На Игнате-конторщике появилась ярко-красная рубаха и какая-то неслыханно узенькая жакетка, борты которой совсем не закрывали его молодецки выпяченной груди. Архип-кучер самовольно завладел выездною шелковой рубашкой и плисовой безрукавкой и, очевидно, соперничал с Игнатом в планах насчет сердца Евпраксеюшки. Евпраксеюшка бегала между ними и, словно шальная, кидалась то к одному, то к

другому. Порфирий Владимирыч боялся взглянуть в окно, чтоб не сделаться свидетелем любовной сцены; но не слышать не мог. По временам в ушах его раздавался звук полновесного удара: это кучер Архипушка всей пятерней дал разà Евпраксеюшке, гоняясь за нею в горелках (и она не рассердилась, а только присела слегка); по временам до него доносился разговор:

— Евпраксея Никитишна! а Евпраксея Никитишна! — взывает пьяненький Прохор с барского крыльца.

— Чего надобно?

— Ключ от чаю пожалуйте, барин чаю просят!

— Подождет... кикимора!

В короткое время Порфирий Владимирыч совсем одичал. Весь обычный ход его жизни был взбудоражен и извращен, но он как-то уж перестал обращать на это внимание. Он ничего не требовал от жизни, кроме того, чтоб его не тревожили в его последнем убежище — в кабинете. Насколько он прежде был придирчив и надоедлив в отношениях к окружающим, настолько же теперь сделался боязлив и угрюмо-покорен. Казалось, всякое общение с действительной жизнью прекратилось для него. Ничего бы не слышать, никого бы не видеть — вот чего он желал. Евпраксеюшка могла целыми днями не показываться в доме, людишки могли сколько хотели вольничать и бездельничать на дворе — он ко всему относился безучастно, как будто ничего не было. Прежде, если б конторщик позволил себе хотя малейшую неаккуратность в доставлении рапортичек о состоянии различных отраслей хозяйственного управления, он наверное истиранил бы его поучениями; теперь — ему по целым неделям приходилось сидеть без рапортичек, и он только изредка тяготился этим, а именно, когда ему нужна была цифра для подкрепления каких-нибудь фантастических расчетов. Зато в кабинете, один на один с самим собою, он чувствовал себя полным хозяином, имеющим возможность праздномыслить, сколько душе угодно. Подобно тому как оба брата его умерли, одержимые запоем, так точно и он страдал тою же болезнью. Только это был запой иного рода — запой праздномыслия. Запершись в кабинете и засевши за письменный стол, он с утра до вечера изнывал над фантастической работой: строил всевозможные несбыточные предположения, учитывал самого себя, разговаривал с воображаемыми собеседниками и создавал целые сцены, в которых первая случайно взбредшая на ум личность являлась действующим лицом.

В этом омуте фантастических действий и образов главную роль играла какая-то болезненная жажда стяжания. Хотя Порфирий Владимирыч и всегда вообще был мелочен и наклонен к кляузе, но, благодаря его практической нелепости, никаких прямых выгод лично для него от этих наклонностей не получалось. Он надоедал, томил, тиранил (преимущественно самых беззащитных людей, которые, так сказать, сами напрашивались на обиду), но и сам чаще всего терял от своей затейливости. Теперь эти свойства всецело перенеслись на отвлеченную, фантастическую почву, где уже не имелось места ни для отпора, ни для оправданий, где не было ни сильных, ни слабых, где не существовало ни полиции, ни мировых судов (или, лучше сказать, существовали, но единственно в видах ограждения его, Иудушкиных, интересов) и где, следовательно, он мог свободно опутывать целый мир сетью кляуз, притеснений и обид.

Он любил мысленно вымучить, разорить, обездолить, пососать кровь. Перебирал, одну за другой, все отрасли своего хозяйства: лес, скотный двор, хлеб, луга и проч., и на каждой созидал узорчатое здание фантастических притеснений, сопровождаемых самыми сложными расчетами, куда входили и штрафы, и ростовщичество, и общие бедствия, и приобретение ценных бумаг — словом сказать, целый запутанный мир праздных помещичьих идеалов. А так как тут все зависело от произвольно предполагаемых переплат или недоплат, то каждая переплаченная или недоплаченная копейка служила поводом для переделки всего здания, которое таким образом видоизменялось до бесконечности. Затем, когда утомленная мысль уже не в силах была следить с должным вниманием за всеми подробностями спутанных выкладок по операциям стяжания, он переносил арену своей фантазии на вымыслы, более растяжимые. Припоминал все столкновения и пререкания, какие случались у него с людьми не только в недавнее время, но и в самой отдаленной молодости, и разработывал их с таким расчетом, что всегда из всякого столкновения выходил победителем. Он мстил мысленно своим бывшим сослуживцам по департаменту, которые опередили его по службе и растравили его самолюбие настолько, что заставили отказаться от служебной карьеры; мстил однокашникам по школе, которые некогда пользовались своею физической силой, чтоб дразнить и притеснять его; мстил соседям по имению, которые давали отпор его притязаниям и отстаивали свои права; мстил слугам, которые когда-нибудь сказали ему грубое слово или просто не оказали достаточной почтительности; мстил маменьке Арине Петровне за то, что она просадила много денег на устройство

Погорелки, денег, которые, «по всем правам», следовали ему; мстил братцу Степке-балбесу за то, что он прозвал его Иудушкой; мстил тетеньке Варваре Михайловне за то, что она, в то время когда уж никто этого не ждал, вдруг народила детей «с бору да с сосенки», вследствие чего сельцо Горюшкино навсегда ускользнуло из головлевского рода. Мстил живым, мстил мертвым.

Фантазируя таким образом, он незаметно доходил до опьянения; земля исчезала у него из-под ног, за спиной словно вырастали крылья. Глаза блестели, губы тряслись и покрывались пеной, лицо бледнело и принимало угрожающее выражение. И, по мере того как росла фантазия, весь воздух кругом него населялся призраками, с которыми он вступал в воображаемую борьбу.

Существование его получило такую полноту и независимость, что ему ничего не оставалось желать. Весь мир был у его ног, разумеется, тот немудреный мир, который был доступен его скудному миросозерцанию. Каждый простейший мотив он мог варьировать бесконечно, за каждый мог по нескольку раз приниматься сызнова, разработывая всякий раз на новый манер. Это был своего рода экстаз, ясновидение, нечто подобное тому, что происходит на спиритических сеансах. Ничем не ограничиваемое воображение создает мнимую действительность, которая, вследствие постоянного возбуждения умственных сил, претворяется в конкретную, почти осязаемую. Это — не вера, не убеждение, а именно умственное распутство, экстаз. Люди обесчеловечиваются; их лица искажаются, глаза горят, язык произносит непроизвольные речи, тело производит непроизвольные движения.

Порфирий Владимирыч был счастлив. Он плотно запирал окна и двери, чтоб не слышать, спускал шторы, чтоб не видеть. Все обычные жизненные отправления, которые прямо не соприкасались с миром его фантазии, он делал на скорую руку, почти с отвращением. Когда пьяненький Прохор стучался в дверь его комнаты, докладывая, что подано кушать, он нетерпеливо вбегал в столовую, наперекор всем прежним привычкам, спеша съедал свои три перемены кушанья и опять скрывался в кабинет. Даже в манерах у него, при столкновении с живыми людьми, явилось что-то отчасти робкое, отчасти глупо-насмешливое, как будто он в одно и то же время и боялся и вызывал. Утром он спешил встать как можно раньше, чтобы сейчас же приняться за работу. Молитвенное стояние сократил; слова молитвы произносил безучастно, не вникая в их смысл; крестные знамения и воздеяния рук творил машинально, неотчетливо. Даже представление об аде и его мучи-

тельных возмездиях (за каждый грех — возмездие особенное), по-видимому, покинуло его.

А Евпраксеюшка между тем млела в чаду плотского вожделения. Гарцуя в нерешимости между конторщиком Игнатом и кучером Архипушкой и в то же время кося глазами на красногожего плотника Илюшу, который с целой артелью подрядился вывесить господский погреб, она ничего не замечала, что делается в барском доме. Она думала, что барин какую-нибудь «новую комедию» разыгрывает, и немало веселых слов было произнесено по этому поводу в дружеской компании почувствовавших себя на свободе людишек. Но однажды, как-то случайно, зашла она в столовую в то время, когда Иудушка наскоро доедал кусок жареного гуся, и вдруг ей сделалось жутко.

Порфирий Владимирыч сидел в засаленном халате, из которого местами выбивалась уж вата; он был бледен, нечесан, оброс какой-то щетиной вместо бороды.

— Баринушка! что такое? что случилось? — бросилась она к нему в испуге.

Но Порфирий Владимирыч только глупо-язвительно улыбнулся в ответ на ее восклицание, словно хотел сказать: а ну-ка, попробуй теперь меня чем-нибудь уязвить!

— Баринушка! да что такое? Говорите! что случилось? — повторила она.

Он встал, уставил в нее исполненный ненависти взгляд и с расстановкою произнес:

— Если ты, девка распутная, еще когда-нибудь... в кабинет ко мне... Убью!

Благодаря этой случайности, существование Порфирия Владимирыча с внешней стороны изменилось к лучшему. Не чувствуя никаких материальных помех, он свободно отдался своему одиночеству, так что даже не видал, как прошло лето. Август уж перевалил на вторую половину; дни сократились; на дворе непрерывно сеял мелкий дождь; земля взмокла; деревья стояли понуро, роняя на землю пожелтевшие листья. На дворе и около людской царствовала невозмутимая тишина; дворовые ютились по своим углам, частию вследствие хмурой погоды, частию вследствие того, что догадались, что с барином происходит что-то неладное. Евпраксеюшка окончательно очнулась; забыла и о шелковых платьях, и о милых дружках, и по целым часам сидела в девичьей на ларе, не зная, как ей быть и что предпринять. Пьяненький Прохор дразнил ее, что

она извела барина, опоила его и что не миновать ей за это по владимирке погулять.

А Иудушка между тем сидит запершись у себя в кабинете и мечтает. Ему еще лучше, что на дворе свежее сделалось; дождь, без устали дребезжащий в окна его кабинета, наводит на него полудремоту, в которой еще свободнее, шире развертывается его фантазия. Он представляет себя невидимкою и в этом виде мысленно инспектирует свои владения, в сопровождении старого Ильи, который еще при папеньке, Владимире Михайловиче, старостой служил и давным-давно на кладбище схоронен.

— Умный мужик Илья! старинный слуга! Нынче такие-то люди выводятся. Нынче что: поюлить да потарантить, а чуть до дела коснется — и нет никого! — рассуждает сам с собою Порфирий Владимирыч, очень довольный, что Илья из мертвых воскрес.

Не торопясь да богу помолясь, никем не видимые, через поля и овраги, через долы и луга, пробираются они на пустошь Уховщину и долго не верят глазам своим. Стоит перед ними лесище стена стеной, стоит, да только вершинами в вышине гудёт. Деревья все одно к одному, красные — сосняк; которые в два, а которые и в три обхвата; стволы у них прямые, обнаженные, а вершины могучие, пушистые: долго, значит, еще этому лесу стоять можно!

— Вот, брат, так лесок! — в восхищении восклицает Иудушка.

— Заказничок! — объясняет старик Илья,— еще при покойном дедушке вашем, при Михайле Васильиче, с образами обошли — вон он какой вырос!

— А сколько, по-твоему, тут десятин будет?

— Да, в ту пору ровно семьдесят десятин мерили, ну, а нынче... тогда десятина-то хозяйственная была, против нынешней в полтора раза побольше.

— Ну, а как ты думаешь, сколько на каждой десятине примерно дерев сидит?

— Кто их знает! у бога они сосчитаны!

— А я так думаю, что непременно шестьсот — семьсот на десятину будет. Да не на старую десятину, а на нынешнюю, на тридцатку. Постой! погоди! ежели по шестисот... ну, по шестисот по пятидесяти положить — сколько же на ста пяти десятинах дерев будет?

Порфирий Владимирыч берет лист бумаги и умножает 105 на 650: оказывается 68,250 дерев.

— Теперича, ежели весь этот лес продать... по разноте... как ты думаешь, можно по десяти рублей за дерево взять?

Старик Илья трясет головой.

— Мало! — говорит он,— ведь это — какой лес! из каждого дерева два мельничных вала выйдет, да еще строевое бревно, хоть в какую угодно стройку, да семеричок, да товарничку, да сучья... По-вашему, мельничный-то вал — сколько он стоит?

Порфирий Владимирыч притворяется, что не знает, хотя он давно уж все до последней копейки определил и установил.

— По здешнему месту один вал десяти рублей стоит, а кабы в Москву, так и цены бы ему, кажется, не было! Ведь это — какой вал! его на тройке только-только увезти! да еще другой вал, потоньше, да бревно, да семеричок, да дров, да сучьев... Ан дерево-то, бедно-бедно, в двадцати рублях пойдет.

Слушает Порфирий Владимирыч Ильины речи и не наслушается их! Умный, верный мужик, этот Илья! Да и все вообще управление ему как-то необыкновенно удачно привел бог сладить! В помощниках у Ильи старый Вавило служит (тоже давно на кладбище лежит) — вот, брат, так кряж! В конторщиках маменькин земский Филипп-перевезенец (из вологодских деревень его, лет шестьдесят тому назад, перевезли); полесовщики всё испытанные, неутомимые; псы у амбаров — злые! И люди и псы — все готовы за барское добро хоть черту горло перегрызть!

— А ну-тко, брат, давай прикинем: сколько это будет, ежели всю пустошь по разноте распродать?

Порфирий Владимирыч снова рассчитывает мысленно, сколько стоит большой вал, сколько вал поменьше, сколько строевое бревно, семерик, дрова, сучья. Потом складывает, умножает, в ином месте отсекает дроби, в другом прибавляет. Лист бумаги наполняется столбцами цифр.

— На-тко, брат, смотри, что вышло! — показывает Иудушка воображаемому Илье какую-то совсем неслыханную цифру, так что даже Илья, который, и со своей стороны, не прочь от приумножения барского добра, и тот словно съежился.

— Что-то как будто и многовато! — говорит он, в раздумье поводя лопатками.

Но Порфирий Владимирыч уже откинул все сомнения и только веселенько хихикает.

— Чудак, братец, ты! Это уж не я, а цифра говорит... Наука, братец, такая есть, арифметикой называется... уж она, брат, не солжет! Ну, хорошо, с Уховщиной теперь покончили; пойдем-ка, брат, в Лисьи Ямы, давно я там не бывал! Сдается мне, что мужики там пошаливают, ой, пошаливают мужики! Да и Гаранька-сторож... знаю! знаю! Хороший Гаранька, усердный сторож, верный — это что и говорить! а все-таки... Маленько он как будто ошибаться стал!

Идут они неслышно, невидимо, сквозь чащу березовую, едва пробираются и вдруг останавливаются, притаивши дыхание. На самой дороге лежит на боку мужицкий воз, а мужик стоит и тужит, глядючи на сломанную ось. Потужил-потужил, выругал ось, да и себя кстати ругнул, вытянул лошадь кнутом по спине («ишь, ворона!»), однако делать что-нибудь надо — не стоять же на одном месте до завтра! Озирается вор-мужичонко, прислушивается: не едет ли кто, потом выбирает подходящую березку, вынимает топор... А Иудушка все стоит, не шелохнется... Дрогнула березка, зашаталася и вдруг, словно сноп, повалилась наземь. Хочет мужик отрубить от комля, сколько на ось надобно, но Иудушка уж решил, что настоящий момент наступил. Крадучись, подползает он к мужику и мигом выхватывает из рук его топор.

— Ах! — успевает только крикнуть застигнутый врасплох вор.

— «Ах!» — передразнивает его Порфирий Владимирыч, — а чужой лес воровать дозволяется? «Ах!» — а чью березку-то, свою, что ли, срубил?

— Простите, батюшка!

— Я, братец, давно всем простил! Сам богу грешен и других осуждать не смею! Не я, а закон осуждает. Ось-то, которую ты срубил, на усадьбу привези, да и рублик штрафу кстати уж захвати; а покуда пускай топорик у меня полежит! Небось, брат, сохранно будет!

Довольный тем, что успел на самом деле доказать Илье справедливость своего мнения насчет Гараньки, Порфирий Владимирыч с места преступления заходит мысленно в избу полесовщика и делает приличное поучение. Потом он отправляется домой и по дороге ловит в господском овсе трех крестьянских кур. Воротившись в кабинет, он опять принимается за работу, и целая особенная хозяйственная система вдруг зарождается в его уме. Все растущее и прозябающее на его земле, сеяное и несеяное, обращается в деньги по разноте, и притом со штрафом. Все люди вдруг сделались порубщиками и потравщиками, а Иудушка не только не скорбит об этом, но, напротив, даже руки себе потирает от удовольствия.

— Травите, батюшки, рубите! мне же лучше, — повторяет он, совершенно довольный.

И тут же берет новый лист бумаги и принимается за выкладки и вычисления.

Сколько на десятине овса растет и сколько этот овес может денег принести, ежели его куры мужицкие помнут и за все помятое штраф уплатят?

«А овес-то, хоть и помят, ан после дождичка и опять поправился!» — мысленно присовокупляет Иудушка.

Сколько в Лисьих Ямах березок растет и сколько за них можно денег взять, ежели их мужики воровским манером порубят и за все порубленное штраф заплатят?

«А березка-то, хоть она и срублена, ко мне же в дом на протопленье пойдет, стало быть, дров самому пилить не надо!» — опять присовокупляет Иудушка мысленно.

Громадные колонны цифр испещряют бумагу; сперва рубли, потом десятки, сотни, тысячи... Иудушка до того устает за работой и, главное, так волнуется ею, что весь в поту встает из-за стола и ложится отдохнуть на диван. Но взбунтовавшееся воображение и тут не укрощает своей деятельности, а только избирает другую, более легкую тему.

— Умная женщина была маменька, Арина Петровна,— фантазирует Порфирий Владимирыч,— умела и спросить, да и приласкать умела — оттого и служили ей все с удовольствием! однако и за ней грешки водились! Ой, много было за покойницей блох!

Не успел Иудушка помянуть об Арине Петровне, а она уж и тут как тут; словно чует ее сердце, что она ответ должна дать: сама к милому сыну из могилы явилась.

— Не знаю, мой друг, не знаю, чем я перед тобой провинилась! — как-то уныло говорит она,— кажется, я...

— Те-те-те, голубушка! лучше уж не грешите! — без церемонии обличает ее Иудушка,— коли на то пошло, так я все перед вами сейчас выложу! Почему вы, например, тетеньку Варвару Михайловну в ту пору не остановили?

— Как же ее останавливать! она и сама в полных летах была, сама имела право распоряжаться собою!

— Ну, нет-с, позвольте-с! Муж-то какой у нее был? Старенький да пьяненький — ну, самый, самый значит... бесплодный! А между тем у ней четверо детей проявилось... откуда, спрашиваю я вас, эти дети взялись?

— Что это, друг мой, как ты странно говоришь! как будто я в этом причинна!

— Причинны не причинны, а все-таки повлиять могли! Смешком бы да шуточкой, «голубушка» да «душенька» — смотришь, она бы и посовестилась! А вы все напротив! На дыбы да с кондачка! Варька да Варька, да подлая да бесстыжая! чуть не со всей округой ее перевенчали! вот, она и того... и она тоже на дыбы встала! Жаль! Горюшкино-то наше бы теперь было!

— Далось тебе это Горюшкино! — говорит Арина Петровна, очевидно, становясь в тупик перед обвинением сына.

— Мне что Горюшкино! Мне, пожалуй, и ничего не надо! Было бы на свечку да на маслице — вот я и доволен! А вообще, по справедливости... Да, маменька, и рад бы смолчать, а не сказать не могу: большой грех на вашей душе лежит, очень, очень большой!

Арина Петровна уже ничего не отвечает, а только руками разводит, не то подавленная, не то недоумевающая.

— Или бы вот, например, другое дело,— продолжает между тем Иудушка, любуясь смущением маменьки,— зачем вы для брата Степана в ту пору дом в Москве покупали?

— Надо было, мой друг; надо же было и ему какой-нибудь кусок выбросить,— оправдывается Арина Петровна.

— А он взял да и промотал его! И добро бы вы его не знали: и буян-то он был, и сквернослов, и непочтительный — нет-таки. Да еще папенькину вологодскую деревеньку хотели ему отдать! А деревенька-то какая! вся в одной меже, ни соседей, ни чересполосицы, лесок хорошенький, озерцо... стоит как облупленное яичко, Христос с ней! хорошо, что я в то время случился, да воспрепятствовал... Ах, маменька, маменька, и не грех это вам!

— Да ведь сын он... пойми, все-таки — сын!

— Знаю я, и даже очень хорошо понимаю! И все-таки не нужно было этого делать, не следовало! Дом-то двенадцать тысяч серебрецом заплачен — а где они? Вот тут двенадцать тысяч плакали, да Горюшкино тетеньки Варвары Михайловны, бедно-бедно, тысяч на пятнадцать оценить нужно... Ан денег-то и многонько выйдет!

— Ну, ну, полно! уж перестань! не сердись, Христа ради!

— Я, маменька, не сержусь, я только по справедливости сужу... что правда, то правда — терпеть не могу лжи! с правдой родился, с правдой жил, с правдой и умру! Правду и бог любит, да и нам велит любить. Вот хоть бы про Погорелку; всегда скажу, много, ах, как много денег вы извели на устройство ее.

— Да, ведь, я сама в ней жила...

Иудушка очень хорошо читает на лице маменьки слова: кровопивец ты несуразный! — но делает вид, что не замечает их.

— Нужды нет, что жили, а все-таки... Киотка-то и до сих пор в Погорелке стоит, а чья она? Лошадь маленькая — тоже; шкатулочка чайная... сам собственными глазами еще при папеньке в Головлеве ее видел! а вещичка-то хорошенькая!

— Ну, что уж!

— Нет, маменька, не говорите! оно, конечно, сразу не видно, однако как тут рубль, в другом месте — полтина, да в третьем — четвертачок... Как посмотришь да поглядишь...

А впрочем, позвольте, я лучше сейчас все на цифрах прикину! Цифра — святое дело; она уж не солжет!

Порфирий Владимирыч опять устремляется к столу, чтоб привести наконец в полную ясность, какие убытки ему нанесла добрый друг маменька. Он стучит на счетах, выводит на бумаге столбцы цифр — словом, готовит все, чтоб изобличить Арину Петровну. Но, к счастию для последней, колеблющаяся его мысль не может долго удержаться на одном и том же предмете. Незаметно для него самого к нему подкрадывается новый предмет стяжания и, словно каким волшебством, дает его мысли совсем иное направление. Фигура Арины Петровны, еще за минуту перед тем так живо мелькавшая у него в глазах, вдруг окунулась в омуте забвения. Цифры смешались...

Давно уж собирался Порфирий Владимирыч высчитать, что может принести ему полеводство, и вот теперь наступил самый удобный для этого момент. Он знает, что мужик всегда нуждается, всегда ищет занять и всегда же отдает без обмана, с лихвой. В особенности щедр мужик на свой труд, который «ничего не стоит» и на этом основании всегда, при расчетах, принимается ни во что, в знак любви. Много-таки на Руси нуждающегося народа, ах, как много! Много людей, не могущих определить сегодня, что ждет их завтра, много таких, которые, куда бы ни обратили тоскливые взоры — везде видят только безнадежную пустоту, везде слышат только одно слово: отдай! отдай! И вот, вокруг этих-то безнадежных людей, около этой-то перекатной голи, стелет Иудушка свою бесконечную паутину, по временам переходя в какую-то неистовую фантастическую оргию.

На дворе апрель, и мужику, по обыкновению, нечего есть. «Проелись, голубчики! зиму-то пропраздновали, а к весне и животы подвело!» — рассуждает Порфирий Владимирыч сам с собою, а он, как нарочно, только-только все счеты по прошлогоднему полеводству в ясность привел. В феврале были обмолочены последние скирды хлеба, в марте зерно лежало ссыпанное в закрома, а на днях вся наличность уже разнесена по книгам в соответствующие графы. Иудушка стоит у окна и поджидает. Вот вдали, на мосту, показался в тележонке мужик Фока. На повертке в Головлево он как-то торопливо задергал вожжами и, за неимением кнута, пугнул рукой лошадь, еле передвигающую ноги.

— Сюда! — шепчет Иудушка,— ишь у него лошадь-то! как только жива! А покормить ее с месяц, другой — ничего животок будет! Рубликов двадцать пять, а не то и все тридцать отдашь за нее.

Между тем Фока подъехал к людской избе, привязал к изгороди лошадь, подкинул ей охапку сенной трухи и через минуту уже переминается с ноги на ногу в девичьей, где Порфирий Владимирыч имеет обыкновение принимать подобных просителей.

— Ну, друг! что скажешь хорошенького? — начинает Порфирий Владимирыч.

— Да вот, сударь, ржицы бы...

— Что так! свою-то, видно, уж съели? Ах, ах, грех какой! Вот кабы вы поменьше водки пили, да побольше трудились, да богу молились, и землица-то почувствовала бы! Где нынче зерно — смотришь, ан в ту пору два или три получилось бы! Занимать-то бы и не надо!

Фока как-то нерешительно улыбается вместо ответа.

— Ты думаешь, бог-то далеко, так он и не видит? — продолжает морализировать Порфирий Владимирыч,— ан бог-то — вот он он. И там, и тут, и вот с нами, покуда мы с тобой говорим,— везде он! И все он видит, все слышит, только делает вид, будто не замечает. Пускай, мол, люди своим умом поживут; посмотрим, будут ли они меня помнить! А мы этим пользуемся, да вместо того чтоб богу на свечку из достатков своих уделить, мы — в кабак да в кабак! Вот за это за самое и не подает нам бог ржицы — так ли, друг?

— Это уж что говорить! Это так точно!

— Ну, так вот видишь ли, и ты теперь понял. А почему понял? потому что бог милость свою от тебя отвратил. Уродись у тебя ржица, ты бы и опять фордыбачить стал, а вот как бог-то...

— Справедливо это, и кабы ежели мы...

— Постой! дай я скажу! И всегда так бывает, друг, что бог забывающим его напоминает об себе. И роптать мы на это не должны, а должны понимать, что это для нашей же пользы делается. Кабы мы бога помнили, и он бы об нас не забывал. Всего бы нам подал: и ржицы, и овсеца, и картофельцу — на, кушай! И за скотинкой бы за твоей наблюл — вишь, лошадь-то у тебя! в чем только дух держится! и птице, ежели у тебя есть, и той бы настоящее направление дал!

— И это вся ваша правда, Порфирий Владимирыч.

— Бога чтить, это — первое, а потом — старших, которые от самих царей отличие получили, помещиков например.

— Да мы, Порфирий Владимирыч, и то, кажется...

— Тебе вот «кажется», а поразмысли да посуди — ан, может, и не так на поверку выйдет. Теперь, как ты за ржицей ко мне пришел, грех сказать! очень ты ко мне почтителен и ласков; а в позапрошлом году, помнишь, когда жнеи мне

понадобились, а я к вам, к мужичкам, на поклон пришел? помогите, мол, братцы, вызвольте! вы что на мою просьбу ответили? Самим, говорят, жать надо! Нынче, говорят, не прежнее время, чтоб на господ работать, нынче — воля! Воля, а ржицы нет!

Порфирий Владимирыч учительно взглядывает на Фоку; но тот не шелохнется, словно оцепенел.

— Горды вы очень, от этого самого вам и счастья нет. Вот я, например: кажется, и бог меня благословил, и царь пожаловал, а я — не горжусь! Как я могу гордиться! что я такое! червь! козявка! тьфу! А бог-то взял да за смиренство за мое и благословил меня! И сам милостию своею взыскал, да и царю внушил, чтобы меня пожаловал.

— Я так, Порфирий Владимирыч, мекаю, что прежде, при помещиках, не в пример лучше было! — льстит Фока.

— Да, брат, было и ваше времечко! попраздновали, пожили! Всего было у вас, и ржицы, и сенца, и картофельцу! Ну, да что уж старое поминать! я не злопамятен; я, брат, давно об жнеях позабыл, только так, к слову вспомнилось! Так как же ты говоришь, ржицы тебе понадобилось?

— Да, ржицы бы...

— Купить, что ли, собрался?

— Где купить! в одолжение, значит, до новой!

— Ахти-хти! Ржица-то, друг, нынче кусается! Не знаю уж, как и быть мне с тобой...

Порфирий Владимирыч впадает в минутное раздумье, словно и действительно не знает, как ему поступить: «И помочь человеку хочется, да и ржица кусается...»

— Можно, мой друг, можно и в одолжение ржицы дать,— наконец говорит он,— да, признаться сказать, и нет у меня продажной ржи: терпеть не могу божьим даром торговать! Вот в одолжение — это так, это я с удовольствием. Я, брат, ведь помню: сегодня я тебя одолжу, а завтра — ты меня одолжишь! Сегодня у меня избыток — бери, одолжайся! четверть хочешь взять — четверть бери! осьминка понадобилась — осьминку отсыпай! А завтра, может быть, так дело повернет, что и мне у тебя под окошком постучать придется: одолжи, мол, Фокушка, ржицы осьминку — есть нечего!

— Где уж! пойдете ли, сударь, вы!..

— Я-то не пойду, а к примеру... И не такие, друг, повороты на свете бывают! Вон в газетах пишут: какой столб Наполеон был, да и тот прогадал, не потрафил. Так-то, брат. Сколько же тебе требуется ржицы-то?

— Четвертцу бы, коли милость ваша будет.

— Можно и четвертцу. Только зараньше я тебе говорю:

кусается, друг, нынче рожь, куда как кусается! Так вот как мы с тобой сделаем: я тебе шесть четверичков отмерить велю, а ты мне, через восемь месяцев, два четверичка приполнцу отдашь — так оно четвертца в аккурат и будет! Процентов я не беру, а от избытка ржицей...

У Фоки даже дух занялся от Иудушкинова предложения; некоторое время он ничего не говорит, только лопатками пошевеливает.

— Не многовато ли будет, сударь? — наконец произносит он, очевидно робея.

— А много — так к другим обратись! Я, друг, не неволю, а от души предлагаю. Не я за тобой посылал, сам ты меня нашел. Ты — с запросцем, я — с ответцем. Так-то, друг!

— Так-то так, да словно бы при́полну-то уж много?

— Ах, ах, ах! А я еще думал, что ты — справедливый мужик, степенный! Ну, а мне-то, скажи, чем мне-то жить прикажешь? Я-то откуда расходы свои должен удовлетворять? Ведь у меня сколько расходов — знаешь ли ты? Конца-краю, голубчик, расходам у меня не видно. Я и тому дай, и другого удовлетвори, и третьему вынь да положь! Всем надо, все Порфирий Владимирыча теребят, а Порфирий Владимирыч отдувайся за всех! Опять и то: кабы я купцу рожь продал — я бы денежки сейчас на стол получил. Деньги, брат,— святое дело. С деньгами накуплю я себе билетов, положу в верное место и стану пользоваться процентами! Ни заботушки мне, ни горюшка, отрезал купончик — пожалуйте денежки! А за рожью-то я еще походи, да похлопочи около нее, да постарайся! Сколько ее усохнет, сколько на ро̀ссыпь пойдет, сколько мышь съест! Нет, брат, деньги — как можно! И давно бы мне за ум взяться пора! давно бы в деньги все обратить, да и уехать от вас!

— А вы с нами, Порфирий Владимирыч, поживите.

— И рад бы, голубчик, да сил моих нет. Кабы прежние силы, конечно, еще пожил бы, повоевал бы. Нет! пора, пора на покой! Уеду отсюда к Троице-Сергию, укроюсь под крылышко угоднику — никто и не услышит меня. А уж мне-то как хорошо будет: мирно, честно, тихо, ни гвалту, ни свары, ни шума — точно на небеси!

Словом сказать, как ни вертится Фока, а дело слаживается, как хочется Порфирию Владимирычу. Но этого мало: в самый момент, когда Фока уж согласился на условия займа, является на сцену какая-то Шелепиха. Так, пустошонка ледащая, с десятинку покосцу, да и то вряд ли... Так вот бы...

— Я тебе одолжение делаю — и ты меня одолжи,— говорит Порфирий Владимирыч,— это уж не за проценты, а так,

в одолжение! Бог за всех, а мы друг по дружке! Ты десятинку-то шутя скосишь, а я тебя напредки попомню! я, брат, ведь прост! Ты мне на рублик послужишь, а я...

Порфирий Владимирыч встает и в знак окончания дела молится на церковь. Фока, следуя его примеру, тоже крестится.

Фока исчез; Порфирий Владимирыч берет лист бумаги, вооружается счетами, а костяшки так и прыгают под его проворными руками... Мало-помалу начинается целая оргия цифр. Весь мир застилается в глазах Иудушки словно дымкой; с лихорадочною торопливостью переходит он от счетов к бумаге, от бумаги к счетам. Цифры растут, растут...

РАСЧЕТ

На дворе декабрь в половине; окрестность, схваченная неоглядным снежным саваном, тихо цепенеет; за ночь намело на дороге столько сугробов, что крестьянские лошади тяжко барахтаются в снегу, вывозя пустые дровнишки. А к головлевской усадьбе и следа почти нет. Порфирий Владимирыч до того отвык от посещений, что и главные ворота, ведущие к дому, и парадное крыльцо с наступлением осени наглухо заколотил, предоставив домочадцам сообщаться с внешним миром посредством девичьего крыльца и боковых ворот.

Утро; бьет одиннадцать. Иудушка, одетый в халат, стоит у окна и бесцельно поглядывает вперед. Спозаранку бродил он взад и вперед по кабинету и все об чем-то думал и высчитывал воображаемые доходы, так что наконец запутался в цифрах и устал. И плодовитый сад, раскинутый против главного фасада господского дома, и поселок, приютившийся на задах сада,— все утонуло в снежных сувоях. После вчерашней вьюги день выдался морозный, и снежная пелена сплошь блестит на солнце миллионами искр, так что Порфирий Владимирыч невольно щурит глаза. На дворе пустынно и тихо; ни малейшего движения ни у людской, ни около скотного двора; даже крестьянский поселок угомонился, словно умер. Только над поповым домом вьется сизый дымок и останавливает на себе внимание Иудушки.

«Одиннадцать часов било, а попадья еще не отстряпалась,— думается ему,— вечно эти попы трескают!»

Выйдя из этого пункта, он начинает соображать: будни или праздник сегодня, постный или скоромный день, и что должна стряпать попадья,— как вдруг внимание его отвлекается в сторону. На горке, при самом выезде из деревни Нагловки, пока-

зывается черная точка, которая постепенно придвигается и растет. Порфирий Владимирыч вглядывается и, разумеется, прежде всего задается целой массой праздных вопросов. Кто едет? мужик или другой кто? Другому, впрочем, некому — стало быть, мужик... да, мужик и есть! Зачем едет? ежели за дровами, так ведь нагловский лес по ту сторону деревни... наверное, шельма, в барский лес воровать собрался! Ежели на мельницу, так тоже, выехавши из Нагловки, надо взять вправо... Может быть, за попом? кто-нибудь умирает или уж и умер?.. А может быть, и родился кто? Какая же это баба родила? Ненила по осени с прибылью ходила, да той, кажется, еще рано... Ежели уродился мальчик, так в ревизию со временем попадет — сколько бишь в Нагловке, по последней ревизии, душ? А ежели девочка, так тех в ревизию не записывают, да и вообще... А все-таки и без женского пола нельзя... тьфу!

Иудушка отплевывается и смотрит на образ, как бы ища у него защиты от лукавого.

Очень вероятно, что он долго блуждал бы таким образом мыслью, если б показавшаяся у Нагловки черная точка обыкновенным порядком помелькала и исчезла; но она все росла и росла и, наконец, повернула на гать, ведущую к церкви. Тогда Иудушка совершенно отчетливо увидел, что едет небольшая рогоженная кибитка, запряженная парой гусем. Вот она поднялась на взлобок и поравнялась с церковью («не благочинный ли? — мелькнуло у него,— то-то у попа не отстряпались о сю пору!»), вот повернула вправо и направилась прямо к усадьбе: «так и есть, сюда!» Порфирий Владимирыч инстинктивно запахнул халат и отпрянул от окна, словно боясь, чтоб проезжий не заметил его.

Он отгадал: повозка подъехала к усадьбе и остановилась у боковых ворот. Из нее поспешно выскочила молодая женщина. Одета она была совсем не по сезону, в городское ватное пальто, больше для вида, нежели для тепла, отороченное барашком, и, видимо, закоченела. Особа эта, никем не встреченная, вприскочку побежала на девичье крыльцо, и через несколько секунд уж слышно было, как хлопнула в девичьей дверь, а следом за этим опять хлопнула другая дверь, а затем во всех ближайших к выходу комнатах началась ходьба, хлопанье и суета.

Порфирий Владимирыч стоял у двери кабинета и прислушивался. Он так давно не видал никого постороннего и вообще так отвык от общества людей, что его взяла оторопь. Прошло с четверть часа; ходьба и хлопанье дверью не перемежались, а ему все еще не докладывали. Это еще больше

взволновало его. Ясно, что приезжая принадлежала к числу лиц, которые, в качестве «присных», не дают никакого повода сомневаться относительно своих прав на гостеприимство. Кто же у него «присные»? Он начал припоминать, но память как-то тупо ему служила. Был у него сын Володька да сын Петька, была маменька Арина Петровна... давно, ах, давно это было! Вот в Горюшкине с прошлой осени поселилась Надька Галкина, покойной тетеньки Варвары Михайловны дочь — неужто ж она? Да нет, та уж однажды пыталась ворваться в головлевское капище, да шиш съела! — «Не смеет она! не посмеет!» — твердил Иудушка, приходя в негодование при одной мысли о возможности приезда Галкиной. Но кто же может быть еще?

Покуда он таким образом припоминал, Евпраксеюшка осторожно подошла к двери и доложила:

— Погорелковская барышня, Анна Семеновна, приехала.

Действительно, это была Аннинька. Но она до такой степени изменилась, что почти не было возможности узнать ее. В Головлево явилась на этот раз уж не та красивая, бойкая и кипящая молодостью девушка, с румяным лицом, серыми глазами навыкате, с высокой грудью и тяжелой пепельной косой на голове, которая приезжала сюда вскоре после смерти Арины Петровны, а какое-то слабое, тщедушное существо с впалой грудью, вдавленными щеками, с нездоровым румянцем, с вялыми телодвижениями, существо сутулое, почти сгорбленное. Даже великолепная ее коса выглядела как-то мизерно, и только глаза, вследствие общей худобы лица, казались еще больше, нежели прежде, и горели лихорадочным блеском. Евпраксеюшка долгое время вглядывалась в нее, как в незнакомую, но наконец-таки узнала.

— Барышня! вы ли? — вскрикнула она, всплеснув руками.

— Я. А что?

Сказавши это, Аннинька тихонько засмеялась, точно хотела прибавить: да, вот как! отделали-таки меня!

— Дядя здоров? — спросила она.

— Что дяденька! так ништо... Только слава, что живут, а то и не видим их почѐсть никогда!

— Что же с ним?

— Да так... от скуки, видно, с ними сделалось...

— Неужто и на бобах разводить перестал?

— Нынче они, барышня, молчат. Все говорили и вдруг замолчали. Слышим иногда, как промежду себя в кабинете что-то разговаривают и даже смеются будто, а выдут в комнаты — и опять замолчат. Сказывают, с покойным ихним братцем, Степаном Владимирычем, то же было... Все были ве-

селы — и вдруг замолчали. Вы-то, барышня, все ли здоровы?

Аннинька только махнула рукою в ответ.

— Сестрица все ли здорова?

— Уже целый месяц, как в Кречетове при большой дороге в могиле лежит.

— Чтой-то, спаси господи! уж и при дороге?

— Известно, как самоубийц хоронят.

— Господи! всё барышни были — и вдруг сами на себя ручку наложили... Как же это так?

— Да, сперва «были барышни», а потом отравились — только и всего. А я вот струсила, жить захотела! к вам вот приехала! Ненадолго, не пугайтесь... умру!

Евпраксеюшка глядела на нее во все глаза, словно не понимала.

— Что на меня глядите? хороша? Ну, какова есть... А впрочем, после об этом... после... Теперь велите-ка ямщика рассчитать да дядю предупредите.

Говоря это, она вынула из кармана старенький портмоне и достала оттуда две желтеньких бумажки.

— А вот и имущество мое! — прибавила она, указывая на жиденький чемодан,— тут все: и родовое, и благоприобретенное! Иззябла я, Евпраксеюшка, очень иззябла! Вся я больна, ни одной косточки во мне не больной нет, а тут, как нарочно, холодище... Еду, да об одном только думаю: вот доберусь до Головлева, так хоть умру в тепле! Водки бы мне... есть у вас?

— Да вы бы, барышня, чайку лучше; самовар сейчас будет готов.

— Нет, чай — потом, а теперь водки бы... Вы дяде, впрочем, не сказывайте об водке-то покуда... Все само собой после увидится.

Покамест в столовой накрывали к чаю, явился и Порфирий Владимирыч. В свою очередь, и Аннинька с изумлением встретилась с ним: до такой степени он похудел, выцвел и задичал. Он обошелся с Аннинькой как-то странно: не то чтобы прямо холодно, а как будто ему до нее совсем дела нет. Говорил мало, вынужденно, точно актер, с трудом припоминающий фразы из давнишних ролей. Вообще был рассеян, как будто в голове его в это время шла совсем другая и очень важная работа, от которой его досадным образом оторвали по пустякам.

— Ну вот, ты и приехала! — сказал он,— чего хочешь? чаю? кофею? распорядись!

В прежнее время, при родственных свиданиях, роль чувствительного человека обыкновенно разыгрывал Иудушка, но на этот раз расчувствовалась Аннинька, и расчувствовалась

взаправду. Должно быть, очень у нее наболело внутри, потому что она бросилась к Порфирию Владимирычу на грудь и крепко его обняла.

— Дядя! я к вам! — крикнула она и вдруг залилась слезами.

— Ну что ж! милости просим! комнат у меня довольно — живи!

— Больна я, дяденька! очень, очень больна!

— А больна, так богу молиться надо! Я и сам, когда болен,— все молитвой лечусь!

— Умирать я приехала к вам, дядя!

Порфирий Владимирыч испытующим оком взглянул на нее, и чуть заметная усмешка скользнула по его губам.

— Доигралась? — произнес он чуть слышно, почти про себя.

— Да, доигралась. Любинька — та «доигралась» и умерла, а я вот... живу!

При известии о смерти Любиньки Иудушка набожно перекрестился и молитвенно пошептал. Анпинька между тем села к столу, облокотилась и, смотря в сторону церкви, продолжала горько плакать.

— Вот плакать и отчаиваться — это грех! — учительно заметил Порфирий Владимирыч,— по-христиански-то, знаешь ли, как надо? не плакать, а покоряться и уповать — вот как по-христиански надлежит!

Но Аннинька откинулась на спинку стула и, тоскливо повесив руки, повторяла:

— Ах, уж и не знаю! не знаю, не знаю, не знаю!

— Ежели ты об сестрице так убиваешься — так и это грех! — продолжал между тем поучать Иудушка,— потому что хотя и похвально любить сестриц и братцев, однако, если богу угодно одного из них или даже и нескольких призвать к себе...

— Ах, нет, нет! вы, дядя, добрый? добрый вы? скажите!

Аннинька опять бросилась к нему и обняла.

— Ну, добрый, добрый! ну, говори! хочется чего-нибудь? закусочки? чайку, кофейку? требуй! сама распорядись!

Анниньке вдруг вспомнилось, как в первый приезд ее в Головлево дяденька спрашивал: «Телятинки хочется? поросеночка? картофельцу?» — и она поняла, что никакого другого утешения ей здесь не сыскать.

— Благодарю вас, дядя,— сказала она, снова присаживаясь к столу,— ничего особенного мне не нужно. Я заранее уверена, что буду всем довольна.

— А будешь довольна, так и слава богу! В Погорелку-то поедешь, что ли?

— Нет, дядя, я покамест у вас поживу. Ведь вы ничего не имеете против этого?

— Христос с тобой! живи! Ежели я и спросил про Погорелку, так потому, что на случай поездки распоряжение нужно сделать: кибиточку, лошадушек...

— Нет! после! после!

— И прекрасно. Когда-нибудь после съездишь, а покудова с нами поживи. По хозяйству поможешь — я ведь один! Краля-то эта,— Иудушка почти с ненавистью указал на Евпраксеюшку, разливавшую чай,— все по людским рыскает, так иной раз и не докличешься никого, весь дом пустой! Ну, а покамест прощай. Я к себе пойду. И помолюсь, и делом займусь, и опять помолюсь... так-то, друг! Давно ли Любинька-то скончалась?

— Да с месяц, дядя.

— Так мы завтра ранехонько к обеденке сходим, да кстати и панихидку по новопреставльшейся рабе божией Любви отслужим... Так прощай покуда! Кушай-ка чай-то, а ежели закусочки захочется с дорожки, и закусочки подать вели. А в обед опять увидимся. Поговорим, побеседуем; коли нужно что — распорядимся, а не нужно — и так посидим!

Так произошло это первое родственное свидание. С окончанием его Аннинька вступила в новую жизнь в том самом постылом Головлеве, из которого она, уж дважды в течение своей недолгой жизни, не знала как вырваться.

Аннинька пошла под гору очень быстро. Вызванное головлевской поездкой (после смерти бабушки Арины Петровны) сознание, что она «барышня», что у нее есть свое гнездо и свои могилы, что не все в ее жизни исчерпывается вонью и гвалтом гостиниц и постоялых дворов, что есть, наконец, убежище, в котором ее не настигнут подлые дыханья, зараженные запахом вина и конюшни, куда не ворвется тот «усатый», с охрипшим от перепоя голосом и воспаленными глазами (ах, что он ей говорил! какие жесты в ее присутствии делал!),— это сознание улетучилось почти сейчас вслед за тем, как только пропало из вида Головлево.

Аннинька отправилась в ту пору из Головлева прямо в Москву и начала хлопотать, чтоб ее и сестру приняли на казенную сцену. С этой целью она обращалась и к maman, директрисе института, в котором она воспитывалась, и к некоторым институтским товаркам. Но везде ее приняли как-то странно. Maman, отнесшаяся к ней в первую минуту довольно радушно,

как только узнала, что она играет на провинциальном театре, вдруг переменила благосклонное выражение лица на важное и строгое, а товарки, большею частью замужние женщины, взглянули на нее с таким нахальным изумлением, что она просто-напросто струсила. Только одна, более добродушная, нежели другие, желая показать участие, спросила:

— А скажи, душка, правда ли, что когда вы, актрисы, одеваетесь в уборных, то вам стягивают корсеты офицеры?

Одним словом, ее попытки утвердиться в Москве так и остались попытками. Надо, впрочем, сказать правду, что и настоящих задатков она для успеха на столичной сцене не имела. И она и Любинька принадлежали к числу тех бойких, но не особенно даровитых актрис, которые всю жизнь играют одну и ту же роль. Анниньке удалась «Перикола», Любиньке — «Анютины глазки» и «Полковник старых времен». И затем, за что бы они ни принимались,— везде выходили «Периколы» и «Анютины глазки», а в большинстве случаев, пожалуй, и совсем ничего не выходило. Приходилось Анниньке играть и «Прекрасную Елену» (по обязанностям службы даже и часто); она накладывала на свои пепельные волосы совершенно огненный парик, делала в тунике разрез до самого пояса, но и за всем тем выходило посредственно, вяло, даже не цинично. От «Елены» она перешла к «Отрывкам из герцогини Герольштейнской», и так как тут к бесцветной игре прибавилась еще совершенно бессмысленная постановка, то вышло уже что-то совсем глупое. Наконец, взялась играть Клеретту в «Дочери Рынка», но здесь, стараясь наэлектризовать публику, до такой степени переиграла, что и неприхотливым провинциальным зрителям показалось, что по сцене мечется даже не актриса, желающая «угодить», а просто какая-то непристойная лохань. Вообще об Анниньке составилась репутация, что она актриса проворная, обладающая недурным голосом, а так как при этом у нее была красивая внешность, то в провинции она могла, пожалуй, делать сборы. Но и только. Заставить говорить об себе она не могла и никакой определенной физиономии не имела. Даже в среде провинциальной публики ее партию составляли исключительно служители всех родов оружия, главная претензия которых заключалась в том, чтобы иметь свободный вход за кулисы. В столице же она была мыслима не иначе, как навязанная очень сильным покровительством, но и за всем тем от публики она, наверное, заслужила бы только незавидное прозвище «арфистки».

Приходилось возвращаться в провинцию. В Москве Аннинька получила от Любиньки письмо, из которого узнала, что их труппа перекочевала из Кречетова в губернский город Са-

моваров, чему она, Любинька, очень рада, потому что подружилась с одним самоваровским земским деятелем, который до того увлекся ею, что «готов, кажется, земские деньги украсть», лишь бы выполнить все, что она ни пожелает. И действительно, приехавши в Самоваров, Аннинька застала сестру среди роскошной, сравнительно, обстановки и легкомысленно решившею бросить сцену. В минуту приезда у Любиньки находился и «друг» ее, земский деятель Гаврило Степаныч Люлькин. Это был отставной гусарский штабс-ротмистр, еще недавно bel-homme, но теперь уже слегка отяжелевший. Лицо у него было благородное, манеры благородные, образ мыслей благородный, но в то же время все, вместе взятое, внушало уверенность, что человек этот отнюдь не обратится в бегство перед земским ящиком. Любинька приняла сестру с распростертыми объятиями и объявила, что в ее квартире для нее приготовлена комната.

Но, под влиянием недавней поездки в «свое место», Аннинька рассердилась. Между сестрами завязался горячий разговор, а потом произошла и размолвка. Невольно вспомнилось при этом Анниньке, как воплинский батюшка говорил, что трудно в актерском звании «сокровище» соблюсти.

Аннинька поселилась в гостинице и прекратила всякие сношения с сестрой. Прошла Святая; на Фоминой начались спектакли, и Аннинька узнала, что на место сестры уже выписана из Казани девица Налимова, актриса неважная, но зато совершенно беспрепятственная в смысле телодвижений. По обыкновению, Аннинька вышла перед публикой в «Периколе» и привела самоваровских обывателей в восторг. Возвратившись в гостиницу, она нашла в своем номере пакет, в котором оказались сторублевая бумажка и коротенькая записка, гласившая: «А в случае чего, и еще столько же. Купец, торгующий модным товаром, Кукишев». Аннинька рассердилась и пошла жаловаться хозяину гостиницы, но хозяин объявил, что у Кукишева такое уж «обнаковение», чтоб всех актрис с приездом поздравлять, а впрочем-де, он человек смирный и обижаться на него не стоит. Следуя этому совету, Аннинька запечатала в конверт письмо и деньги и, возвратив на другой день все по принадлежности, успокоилась.

Но Кукишев оказался более упорным, нежели как об нем отозвался хозяин гостиницы. Он считал себя в числе друзей Люлькина и находился в приятельских отношениях к Любиньке. Человек он был состоятельный и, сверх того, подобно Люлькину, в качестве члена городской управы состоял в самых благоприятных условиях относительно городского ящика. И при сем, подобно тому же Люлькину, обладал неустраши-

мостью. Наружность он имел, с гостинодворской точки зрения, обольстительную. А именно, напоминал того жука, которого, по словам песни, вместо ягод нашла в поле Маша:

Жука черного с усами
И с курчавой головой,
С черно-бурыми бровями —
Настоящий милый мой!

Затем, заручившись такою наружностью, он тем более считал себя вправе дерзать, что Любинька прямо обещала ему свое содействие.

Вообще Любинька, по-видимому, окончательно сожгла свои корабли, и об ней ходили самые неприятные для сестрина самолюбия слухи. Говорили, что каждый вечер у ней собирается кутежная ватага, которая ужинает с полуночи до утра. Что Любинька председает в этой компании и, представляя из себя «цыганку», полураздетая (при этом Люлькин, обращаясь к пьяным друзьям, восклицал: посмотрите! вот это так грудь!), с распущенными волосами и с гитарой в руках, поет:

Ах, как было мне приятно
С этим милым усачом!

Аннинька слушала эти рассказы и волновалась. И что всего более изумляло ее — это то, что Любинька поет романс об усаче на цыганский манер: точь-в-точь, как московская Матреша! Аннинька всегда отдавала полную справедливость Любиньке, и если б ей сказали, например, что Любинька «неподражаемо» поет куплеты из «Полковника старых времен» — она, разумеется, нашла бы это совершенно натуральным и охотно поверила бы. Да этому нельзя было и не верить, потому что и курская, и тамбовская, и пензенская публика до сих пор помнит, с какою неподражаемою наивностью Любинька своим маленьким голоском заявляла о желании быть *под*полковником... Но чтобы Любинька могла петь по-цыгански, на манер Матреши — это извините-с! это — ложь-с! Вот она, Аннинька, *может* так петь — это несомненно. Это ее жанр, это ее амплуа, и весь Курск, видевший ее в пьесе «Русские романсы в лицах», охотно засвидетельствует, что она *«может»*.

И Аннинька брала в руки гитару, перекидывала через плечо полосатую перевязь, садилась на стул, клала ногу на ногу и начинала: и-эх! и-ах! И действительно: выходило именно, точка в точку, так, как у цыганки Матреши.

Как бы то ни было, но Любинька роскошничала, а Люлькин, чтобы не омрачать картины хмельного блаженства какими-нибудь отказами, по-видимому, уже приступил к позаим-

ствованиям из земского ящика. Не говоря о массе шампанского, которая всякую ночь выпивалась и выливалась на пол в квартире Любиньки, она сама делалась с каждым днем капризнее и требовательнее. Явились на сцену сперва выписанные из Москвы платья от m-me Минангуа̀, а потом и бриллианты от Фульда. Любинька была расчетлива и не пренебрегала ценностями. Пьяная жизнь — сама по себе, а золото и камешки, и в особенности выигрышные билеты,— сами по себе. Во всяком случае, жилось не то чтобы весело, а буйно, беспардонно, из угара в угар. Одно было неприятно: оказывалось нужным заслуживать благосклонное внимание господина полицмейстера, который хотя и принадлежал к числу друзей Люлькина, но иногда любил дать почувствовать, что он в некотором роде власть. Любинька всегда угадывала, когда полицмейстер бывал недоволен ее угощением, потому что в таких случаях к ней являлся на другой день утром частный пристав и требовал паспорт. И она покорялась: утром подавала частному приставу закуску и водку, а вечером собственноручно делала для господина полицмейстера какой-то «шведский» пунш, до которого он был большой охотник.

Кукишев видел это разливанное море и сгорал от зависти. Ему захотелось во что бы ни стало иметь точно такой же въезжий дом и точь-в-точь такую же «кралю». Тогда можно было бы и время разнообразнее проводить: сегодня ночь — у Люлькинской «крали», завтра ночь — у его, Кукишева, «крали». Это была его заветная мечта, мечта глупого человека, который, чем глупее, тем упорнее в достижении своих целей. И самою подходящею личностью для осуществления этой мечты представлялась Аннинька.

Однако ж Аннинька не сдавалась. До сих пор кровь еще не говорила в ней, хотя она имела много поклонников и не стеснялась в обращении с ними. Была одна минута, когда ей казалось, что она готова полюбить местного трагика, Милославского 10-го, который, и в свою очередь, по-видимому, сгорал к ней страстью. Но Милославский 10-й был так глуп и притом так упорно нетрезв, что ни разу ничего ей не высказал, а только таращил глаза и как-то нелепо икал, когда она проходила мимо. Так это любовь и заглохла в самом зачатке. На всех же остальных поклонников Аннинька просто смотрела, как на неизбежную обстановку, на которую провинциальная актриса осуждена самыми условиями своего ремесла. Она покорялась этим условиям, пользовалась теми маленькими льготами (рукоплескания, букеты, катанья на тройках, пикники и проч.), которые они ей предоставляли, но дальше этого, так сказать, внешнего распутства не шла.

Так поступила она и теперь. В продолжение целого лета она неуклонно пребывала на стези добродетели, ревниво ограждая свое «сокровище» и как бы желая заочно доказать воплинскому батюшке, что и в среде актрис встречаются личности, которым не чуждо геройство. Однажды она даже решилась пожаловаться на Кукишева начальнику края, который благосклонно ее выслушал и за геройство похвалил, рекомендовав и на будущее время пребывать в оном. Но вместе с сим, увидев в ее жалобе лишь предлог для косвенного нападения на его собственную, начальника края, персону, изволил присовокупить, что, истратив силы в борьбе с внутренними врагами, не имеет твердого основания полагать, чтобы он мог быть в требуемом смысле полезным. Выслушав это, Аннинька покраснела и ушла.

Между тем Кукишев действовал так ловко, что успел заинтересовать в своих домогательствах и публику. Публика как-то вдруг догадалась, что Кукишев прав и что девица Погорельская 1-я (так она печаталась в афишах) не бог весть какая «фря», чтобы разыгрывать из себя недотрогу. Образовалась целая партия, которая поставила себе задачей обуздать строптивую выскочку. Началось с того, что закулисные завсегдатаи стали обегать ее уборную и свили себе гнездо по соседству, в уборной девицы Налимовой. Потом — не выказывая, впрочем, прямо враждебных действий — начали принимать девицу Погорельскую, при ее выходах, с такою убийственною воздержностью, как будто на сцену появился не первый сюжет, а какой-нибудь оглашенный статист. Наконец, настояли на том, чтобы антрепренер отобрал у Анниньки некоторые роли и отдал их Налимовой. И что еще любопытнее, во всей этой подпольной интриге самое деятельное участие принимала Любинька, у которой Налимова состояла на правах наперсницы.

К осени Аннинька с изумлением увидела, что ее заставляют играть Ореста в «Прекрасной Елене» и что из прежних первых ролей за ней оставлена только Перикола, да и то потому, что сама девица Налимова не решилась соперничать с ней в этой пьесе. Сверх того, антрепренер объявил ей, что, ввиду охлаждения к ней публики, жалованье ее сокращается до 75 рублей в месяц с одним полубенифисом в течение года.

Аннинька струсила, потому что при таком жалованье ей приходилось переходить из гостиницы на постоялый двор. Она написала письма к двум-трем антрепренерам, предлагая свои услуги, но отовсюду получила ответ, что нынче и без того от Перикол отбою нет, а так как, сверх того, из достоверных источников сделалось известно об ее строптивости, то и тем больше надежд на успех не предвидится.

Анпинька проживала последние запасные деньги. Еще неделя — и ей не миновать было постоялого двора, наравне с девицей Хорошавиной, игравшей Парфенису и пользовавшейся покровительством квартального надзирателя. На нее начало находить что-то вроде отчаяния, тем больше, что в ее номер каждый день таинственная рука подбрасывала записку одного и того же содержания: «Перикола! покорись! Твой Кукишев». И вот в эту тяжелую минуту к ней совсем неожиданно ворвалась Любинька.

— Скажи на милость, для какого принца ты свое сокровище бережешь? — спросила она кратко.

Анпинька оторопела. Прежде всего ее поразило, что и воплинский батюшка, и Любинька в одинаковом смысле употребляют слово «сокровище». Только батюшка видит в сокровище «основу», а Любинька смотрит на него, как на пустое дело, от которого, впрочем, «подлецы-мужчины» способны доходить до одурения.

Затем она невольно спросила себя: что такое, в самом деле, это сокровище? действительно ли оно сокровище и стоит ли беречь его? — и увы! не нашла на этот вопрос удовлетворительного ответа. С одной стороны, как будто совестно остаться без сокровища, а с другой... ах, черт побери! да неужели же весь смысл, вся заслуга жизни в том только и должны выразиться, чтобы каждую минуту вести борьбу за сокровище?

— Я в полгода успела тридцать выигрышных билетов скопить,— продолжала между тем Любинька,— да вещей сколько... Посмотри, какое на мне платье!

Любинька повернулась кругом, обдернулась сперва спереди, потом сзади и дала себя осмотреть со всех сторон. Платье было действительно и дорогое, и изумительно сшитое: прямо от Минангуа́ из Москвы.

— Кукишев — добрый,— опять начала Любинька,— он тебя, как куколку, вырядит, да и денег даст. Театр-то можно будет и побоку... достаточно!

— Никогда! — горячо вскрикнула Анпинька, которая еще не забыла слов: святое искусство!

— Можно и остаться, если хочешь. Старший оклад опять получишь, впереди Налимовой пойдешь.

Анпинька молчала.

— Ну, прощай. Меня внизу ждут наши. И Кукишев там. Едем?

Но Анпинька продолжала молчать.

— Ну, подумай, коли есть над чем думать... А когда надумаешь — приходи! Прощай!

17-го сентября, в день Любинькиных именин, афиша самоварновского театра возвещала экстраординарное представление. Аннинька явилась вновь в роли «Прекрасной Елены», и в тот же вечер, «на сей только раз», роль Ореста выполнила девица Погорельская 2-я, то есть Любинька. К довершению торжества и тоже «на сей только раз», девицу Налимову одели в трико и коротенькую визитку, слегка тронули лицо сажей, вооружили железным листом и выпустили на сцену в роли кузнеца Клеона. Ввиду всего этого, и публика была как-то восторженно настроена. Едва показалась из-за кулис Аннинька, как ее встретил такой гвалт, что она, совсем уже отвыкшая от оваций, почувствовала, что к ее горлу подступают рыдания. А когда в третьем акте, в сцене ночного пробуждения, она встала с кушетки почти обнаженная, то в зале поднялся в полном смысле слова стон. Так что один чересчур наэлектризованный зритель крикнул появившемуся в дверях Менелаю: «Да уйди ты, постылый человек, вон!» Аннинька поняла, что публика простила ее. С своей стороны, Кукишев, во фраке, в белом галстуке и белых перчатках, с достоинством заявлял о своем торжестве и в антрактах поил в буфете шампанским знакомых и незнакомых. Наконец, и антрепренер театра, преисполненный ликования, явился в уборную Анниньки и, встав на колени, сказал:

— Ну вот, барышня, теперь — вы паинька! И потому с нынешнего же вечера, по-прежнему, переводитесь на высший оклад с соответствующим числом бенефисов-с!

Одним словом, все ее хвалили, все поздравляли и заявляли о сочувствии, так что она и сама, сначала робевшая и как бы не находившая места от гнетущей тоски, совершенно неожиданно прониклась убеждением, что она... выполнила свою миссию!

После спектакля все отправились к имениннице, и тут поздравления усугубились. В квартире Любиньки собралась такая толпа и сразу так надымила табаком, что трудно было дышать. Сейчас же сели за ужин, и полилось шампанское. Кукишев ни на шаг не отходил от Анниньки, которая, по-видимому, была слегка смущена, но в то же время уже не тяготилась этим ухаживанием. Ей казалось немножко смешно, но и лестно, что она так легко приобрела себе этого рослого и сильного купчину, который шутя может подкову согнуть и разогнуть и которому она может все приказать, и что захочет, то с ним и сделает. За ужином началось общее веселье, то пьяное, беспорядочное веселье, в котором не принимают участия ни ум, ни сердце и от которого на другой день болит голова и ощущаются позывы на тошноту. Только один из присутствующих, трагик Милославский 10-й, глядел угрюмо и, уклоняясь от

шампанского, рюмка за рюмкой хлопал водку-простеца. Что касается до Анниньки, то она некоторое время воздерживалась от «упоения»; но Кукишев был так настоятелен и так жалко умолял на коленях: «Анна Семеновна! за вами дюбѐт-с (debet)! Позвольте просить-с! за наше блаженство-с! совет да любовь-с! Сделайте ваше одолжение-с!» — что ей хоть и досадно было видеть его глупую фигуру и слушать его глупые речи, но она все-таки не могла отказаться и не успела опомниться, как у нее закружилась голова. Любинька, с своей стороны, была так великодушна, что сама предложила Анниньке спеть «Ах, как было мне приятно с этим милым усачом», что́ последняя и выполнила с таким совершенством, что все воскликнули: «Вот это так уж точно... по-Матрешиному!» Взамен того, Любинька мастерски спела куплеты о том, как приятно быть *под*полковником, и всех сразу убедила, что это настоящий ее жанр, в котором у нее точно так же нет соперниц, как у Анниньки — в песнях с цыганским пошибом. В заключение Милославский 10-й и девица Налимова представили «сцену-маскарад», в которой трагик декламировал отрывки из «Уголино» («Уголино», трагедия в 5-ти действиях, соч. Н. Полевого), а Налимова подавала ему реплики из неизданной трагедии Баркова. Выходило нечто до такой степени неожиданное, что девица Налимова чуть-чуть не затмила девиц Погорельских и не сделалась героинею вечера.

Было уже почти светло, когда Кукишев, оставивши дорогую именинницу, усаживал Анниньку в коляску. Благочестивые мещане возвращались от заутрени и, глядя на расфранченную и слегка пошатывавшуюся девицу Погорельскую 1-ю, угрюмо ворчали:

— Люди из церкви идут, а они вино жрут... пропасти на вас нет!

От сестры Аннинька отправилась уже не в гостиницу, а на *свою* квартиру, маленькую, но уютную и очень мило отделанную. Туда же следом за ней вошел и Кукишев.

Вся зима прошла в каком-то неслыханном чаду. Аннинька окончательно закружилась, и ежели по временам вспоминала об «сокровище», то только для того, чтобы сейчас же мысленно присовокупить: «Какая я, однако ж, была дура!» Кукишев, под влиянием гордого сознания, что его идея насчет «крали» равного достоинства с Любинькой осуществилась, не только не жалел денег, но, подстрекаемый соревнованием, выписывал непременно два наряда, когда Люлькин выписывал только один, и ставил две дюжины шампанского, когда Люлькин ставил одну. Даже Любинька начала завидовать сестре, потому что последняя успела за зиму накопить сорок выигрышных би-

летов, кроме порядочного количества золотых безделушек с камешками и без камешков. Они, впрочем, опять сдружились и решили все накопленное хранить сообща. При этом Аннинька все еще о чем-то мечтала и в интимной беседе с сестрой говорила:

— Когда *все это* кончится, то мы поедем в Погорелку. У нас будут деньги, и мы начнем хозяйничать.

На что Любинька очень цинично возражала:

— А ты думаешь, что *это* когда-нибудь кончится... дура!

На несчастье Анниньки, у Кукишева явилась новая «идея», которую он начал преследовать с обычным упорством. Как человеку неразвитому и притом несомненно неумному, ему казалось, что он очутится наверху блаженства, если его «краля» будет «делать ему аккомпанемент», то есть вместе с ним станет пить водку.

— Хлопнемте-с! вместе-с! по одной-с! — приставал он к ней беспрестанно (он всегда говорил Анниньке «вы», во-первых, ценя в ней дворянское звание и, во-вторых, желая показать, что и он недаром жил в «мальчиках» в московском гостином дворе).

Аннинька некоторое время отнекивалась, ссылаясь на то, что и Люлькин никогда не заставлял Любиньку пить водку.

— Однако же оне из любви к господину Люлькину все-таки кушают-с! — возразил Кукишев,— да и позвольте вам доложить, кралечка-с, разве нам господа Люлькины образец-с? Они — Люлькины-с, а мы с вами — Кукишевы-с! Оттого мы и хлопнем, по-нашему-с, по-кукишевски-с!

Одним словом, Кукишев настоял. Однажды Аннинька приняла из рук своего возлюбленного рюмку, наполненную зеленой жидкостью, и разом опрокинула ее в горло. Разумеется, невзвидела света, поперхнулась, закашлялась, закружилась и этим привела Кукишева в неистовый восторг.

— Позвольте вам доложить, кралечка! вы не так кушаете-с! вы слишком уж скоро-с! — поучал он ее, когда она немного успокоилась,— пакальчик (так называл он рюмку) следует держать в ручках вот как-с! Потом поднести к устам и не торопясь: раз, два, три... Господи баслави́!

И он спокойно и серьезно опрокинул рюмку в горло, точно вылил содержание ее в лохань. Даже не поморщился, а только взял с тарелки миниатюрный кусочек черного хлеба, обмакнул в солонку и пожевал.

Таким образом, Кукишев добился осуществления и второй своей «идеи» и начал уж помышлять о том, какую бы такую новую «идею» выдумать, чтобы господам Люлькиным в нос бросилось. И, разумеется, выдумал.

— Знаете ли что-с? — вдруг объявил он,— ужо, как лето наступит, отправимтесь-ка мы с господами Люлькиными за канпанию ко мне на мельницу-с, возьмем с собой саквояж-с (так называл он коробок с вином и закуской) и искупаемся в речке-с, с обоюдного промежду себя согласия-с!

— Ну, уж этому-то никогда не бывать! — возражала с негодованием Аннинька.

— Отчего так-с! Сначала искупаемся, потом чуточку хлопнем-с, а потом немного проклажѐ и опять искупаемся-с! Расчудесное будет дело-с!

Неизвестно, осуществилась ли эта новая «идея» Кукишева, но известно, что целый год длился этот пьяный угар и в продолжение этого времени ни городская управа, ни земская таковая ж не обнаружили ни малейшего беспокойства относительно господ Кукишева и Люлькина. Люлькин, впрочем, ездил, для вида, в Москву и, воротившись, сказывал, что продал на сруб лес, а когда ему напомнили, что он уже четыре года тому назад, когда жил с цыганкой Домашкой, продал лес, то он возражал, что тогда он сбыл урочище Дрыгаловское, а теперь — пустошь Дашкину Стыдобушку. Причем для придания своему рассказу большего вероятия присовокупил, что проданная пустошь была так названа потому, что при крепостном праве в этом лесу «застали» девку Дашку и тут же на месте наказывали за это розгами. Что касается Кукишева, то он, для отвода глаз, распускал под рукой слух, что беспошлинно провез из-за границы в карандашах партию кружев и этою операцией нажил хороший барыш.

Тем не менее в сентябре следующего года полицмейстер попросил у Кукишева заимообразно тысячу рублей, и Кукишев имел неблагоразумие отказать. Тогда полицмейстер начал о чем-то перешептываться с товарищем прокурора («Оба у меня шампанское каждый вечер лакали!» — показывал впоследствии на суде Кукишев). И вот, 17-го сентября, в годовщину кукишевских «любвей», когда он вместе с прочими вновь праздновал именины Любиньки, прибежал гласный из городской управы и объявил Кукишеву, что в управе собралось присутствие и составляется протокол.

— Стало быть, «дюбѐт» нашли? — довольно развязно воскликнул Кукишев и без дальних разговоров последовал за посланным в управу, а оттуда в острог.

На другой день всполошилась и земская управа. Собрались члены, послали в казначейство за денежным ящиком, считали, пересчитывали, но как ни хлопали на счетах, а в конце концов оказалось, что и тут «дюбѐт». Люлькин присутствовал при ревизии, бледный, угрюмый, но... благородный!

Когда «дюбёт» обнаружился вполне осязательно и члены, каждый про себя, обсуждали, какое Дрыгаловское урочище придется каждому из них продавать для пополнения растраты, Люлькин подошел к окну, вынул из кармана револьвер и тут же всадил себе пулю в висок.

Много говору наделало в городе это происшествие. Судили и сравнивали. Люлькина жалели, говорили: по крайней мере, благородно покончил! Об Кукишеве отзывались: аршинником родился, аршинником и умрет! А об Анниньке и Любиньке говорили прямо, что это — «они», что это — «из-за них» и что их тоже не мешало бы засадить в острог, чтобы подобным прощелыгам впредь неповадно было.

Следователь, однако ж, не засадил их в острог, но зато так настращал, что они совсем растерялись. Нашлись, конечно, люди, которые приятельски советовали припрятать, что поценнее, но они слушали и ничего не понимали. Благодаря этому адвокат истцов (обе управы наняли одного и того же адвоката), отважный малый, в видах обеспечения исков, явился в сопровождении судебного пристава к сестрам и все, что нашел, описал и опечатал, оставив в их распоряжении только платья и те золотые и серебряные вещи, которые, судя по выгравированным надписям, оказывались приношениями восхищенной публики. Любинька успела, однако ж, при этом захватить пачку бумажек, подаренную ей накануне, и спрятать за корсет. В этой пачке оказалось тысяча рублей — все, чем сестры должны были неопределенное время существовать.

В ожидании суда их держали в Самоварном месяца четыре. Затем начался суд, на котором они, а в особенности Аннинька, выдержали целую пытку. Кукишев был циничен до мерзости; даже надобности не было в тех подробностях, которые он выложил, но он, очевидно, хотел порисоваться перед самоварновскими дамами и излагал решительно все. Прокурор и частный обвинитель, люди молодые и тоже желавшие доставить самоварновским дамам удовольствие, воспользовались этим, чтоб сообщить процессу игривый характер, в чем, конечно, и успели. Аннинька несколько раз падала в обморок, но частный обвинитель, озабочиваясь обеспечением иска, решительно не обращал на это внимания и ставил вопрос за вопросом. Наконец следствие кончилось, и предоставлено было слово заинтересованным сторонам. Уж поздно ночью присяжные вынесли Кукишеву обвинительный приговор, с смягчающими, впрочем, обстоятельствами, вследствие чего он был тут же присужден к ссылке на житье в Западную Сибирь, в места не столь отдаленные.

С окончанием дела сестры получили возможность уехать из Самоварного. Да и время было, потому что спрятанная тысяча рублей подходила под исход. А сверх того, и антрепренер кречетовского театра, с которым они предварительно сошлись, требовал, чтобы они явились в Кречетов немедленно, грозя, в противном случае, прервать переговоры. О деньгах, вещах и бумагах, опечатанных по требованию частного обвинителя, не было ни слуху ни духу...

Таковы были последствия небрежного обращения с «сокровищем». Измученные, истерзанные, подавленные общим презрением, сестры утратили всякую веру в свои силы, всякую надежду на просвет в будущем. Они похудели, опустились, струсили. И, к довершению всего, Аннинька, побывавши в школе Кукишева, приучилась пить.

Дальше пошло еще хуже. В Кречетове, едва успели сестры выйти из вагона, как их тотчас же разобрали по рукам. Любиньку принял ротмистр Папков, Анниньку — купец Забвенный. Но прежних приволий уже не было. И Папков и Забвенный были люди грубые, драчуны, но тратились умеренно (Забвенный выражался: глядя по товару), а через три-четыре месяца и значительно охладели. К довершению, рядом с умеренными любовными успехами шли и чересчур умеренные успехи сценические. Антрепренер, выписавший сестер в расчете на скандал, произведенный ими в Самоварнове, совсем неожиданно просчитался. На первом же представлении, когда обе девицы Погорельские были на сцене, кто-то из райка крикнул: «Эх вы, подсудимые!» — и кличка эта так и осталась за сестрами, сразу решив их сценическую судьбу.

Потянулась вялая, глухая, лишенная всякого умственного интереса жизнь. Публика была холодна, антрепренер дулся, покровители — не заступались. Забвенный, который, подобно Кукишеву, мечтал, как он будет «понуждать» свою кралю прохаживаться с ним по маленькой, как она сначала будет жеманиться, а потом мало-помалу уступит, был очень обижен, когда увидел, что школа уже пройдена сполна и что ему остается только одна утеха: собирать приятелей и смотреть, как Анютка «водку жрет». С своей стороны, и Папков был недоволен и находил, что Любинька похудела, или, как он выражался, «постервела».

— У тебя прежде телеса были,— допрашивал он ее,— сказывай, куда ты их девала?

И вследствие этого не только не церемонился с нею, но даже не раз, под пьяную руку, бивал.

К концу зимы сестры не имели ни покровителей «настоящих», ни «постоянного положения». Они еще держались кой-

как около театра, но о «Периколах» и «Полковниках старых времен» не было уж и речи. Любинька, впрочем, выглядела несколько бодрее, Аннинька же, как более нервная, совсем опустилась и, казалось, позабыла о прошлом и не сознавала настоящего. Сверх того, она начала подозрительно кашлять: навстречу ей, видимо, шел какой-то загадочный недуг...

Следующее лето было ужасно. Мало-помалу сестер начали возить по гостиницам к проезжающим господам, и на них установилась умеренная такса. Скандалы следовали за скандалами, побоища за побоищами, но сестры были живучи, как кошки, и все льнули, все желали жить. Они напоминали тех жалких собачонок, которые, несмотря на ошпаривания, израненные, с перешибленными ногами, все-таки лезут в облюбованное место, визжат и лезут. Держать при театре подобные личности оказывалось неудобным.

В эту мрачную годину только однажды луч света ворвался в существование Анниньки. А именно, трагик Милославский 10-й прислал из Самоварнова письмо, в котором настоятельно предлагал ей руку и сердце. Аннинька прочла письмо и заплакала. Целую ночь она металась, была, как говорится, сама не своя, но наутро послала короткий ответ: «Для чего? для того, что ли, чтоб вместе водку пить?» Затем мрак сгустился пуще прежнего, и снова начался бесконечный подлый угар.

Любинька первая очнулась, или, лучше сказать, не очнулась, а инстинктивно почувствовала, что жить довольно. Работы впереди уже не предвиделось: и молодость, и красота, и зачатки дарования — все как-то вдруг пропало. О том, что есть у них приют в Погорелке, ей ни разу даже не вспомнилось. Это было что-то далекое, смутное, совсем забытое. Если их прежде не манило в Погорелку, то теперь и подавно. Да, именно теперь, когда приходилось почти умирать с голоду, теперь-то меньше всего и манило туда. С каким лицом она явится? с лицом, на котором всевозможные пьяные дыхания выжгли тавро: подлая! Везде они легли, эти проклятые дыхания, везде они чувствуются, на всяком месте. И что всего ужаснее, и она и Аннинька настолько освоились с этими дыханиями, что незаметно сделали их неразрывною частью своего существования. Им не омерзительны ни трактирная вонь, ни гвалт постоялых дворов, ни цинизм пьяных речей, так что если б они ушли в Погорелку, то им, наверное, всего этого будет недоставать. Но, кроме того, ведь и в Погорелке надо чем-нибудь существовать. Сколько уж лет они мыкаются по белу свету, а об доходах с Погорелки что-то не слыхать. Не миф ли она? не вымерли ли там все? Все эти свидетели далекого и вечно памятного детства, когда их, сироток, бабенька Арина

Петровна воспитывала на кислом молоке и попорченной солонине... Ах, что это было за детство! что это за жизнь... вся вообще! Вся жизнь... вся, вся, вся жизнь!

Ясно, что надо умереть. Раз эта мысль осветила совесть, она делается уж неотвязною. Обе сестры нередко пробуждались от угара, но у Анниньки эти пробуждения сопровождались истериками, рыданиями, слезами и проходили быстрее. Любинька была холоднее по природе, а потому не плакала, не проклинала, а только упорно помнила, что она «подлая». Сверх того, Любинька была рассудительна и как-то совершенно ясно сообразила, что жить даже и расчета нет. Совсем ничего не видится впереди, кроме позора, нищеты и улицы. Позор — дело привычки, его можно перенести, но нищету — никогда! Лучше покончить разом со всем.

— Надо умереть,— сказала она однажды Анниньке тем же холодно-рассудительным тоном, которым два года тому назад спрашивала ее, для кого она бережет свое сокровище.

— Зачем? — как-то испуганно возразила Аннинька.

— Я тебе серьезно говорю: надо умереть! — повторила Любинька — пойми! очнись! постарайся!

— Что ж... умрем! — согласилась Аннинька, едва ли, однако же, сознавая то суровое значение, которое заключало в себе это решение.

В тот же день Любинька наломала головок от фосфорных спичек и приготовила два стакана настоя. Один из них выпила сама, другой подала сестре. Но Аннинька мгновенно струсила и не хотела пить.

— Пей... подлая! — кричала на нее Любинька,— сестрица! милая! голубушка! пей!

Аннинька, почти обезумев от страха, кричала и металась по комнате. И в то же время инстинктивно хваталась руками за горло, словно пыталась задавиться.

— Пей! пей... подлая!

Артистическая карьера девиц Погорельских кончилась. В тот же день вечером Любинькин труп вывезли в поле и зарыли. Аннинька осталась жива.

По приезде в Головлево Аннинька очень быстро внесла в старое Иудушкино гнездо атмосферу самого беспардонного кочеванья. Вставала поздно; затем, неодетая, нечесаная, с отяжелевшей головой, слонялась вплоть до обеда из угла в угол, и до того вымученно кашляла, что Порфирий Владимирыч, сидя у себя в кабинете, всякий раз пугался и вздраги-

вал. Комната ее вечно оставалась неприбранною; постель стояла в беспорядке; принадлежности белья и туалета валялись разбросанные по стульям и на полу. В первое время она виделась с дядей только во время обеда и за вечерним чаем. Головлевский владыка выходил из кабинета весь одетый в черное, говорил мало и только, по-прежнему, изнурительно долго ел. По-видимому, он присматривался, и Аннинька, по скошенным в ее сторону глазам его, догадывалась, что он присматривался именно к ней.

Вслед за обедом наступали ранние декабрьские сумерки и начиналась тоскливая ходьба по длинной анфиладе парадных комнат. Аннинька любила следить, как постепенно потухают мерцания серого зимнего дня, как меркнет окрестность и комнаты наполняются тенями и как потом вдруг весь дом окунется в непроницаемую мглу. Она чувствовала себя легче среди этого мрака и потому почти никогда не зажигала свечей. Только в конце длинной залы стрекотала и оплывала дешевенькая пальмовая свечка, образуя своим пламенем небольшой светящийся круг. Некоторое время в доме происходило обычное послеобеденное движение: слышалось лязганье перемываемой посуды, раздавался стук выдвигаемых и задвигаемых ящиков, но вскоре доносилось топанье удаляющихся шагов, и затем наступала мертвая тишина. Порфирий Владимирыч ложился на послеобеденный отдых, Евпраксеюшка зарывалась в своей комнате в перину, Прохор уходил в людскую, и Аннинька оставалась совершенно одна. Она ходила взад и вперед, напевая вполголоса и стараясь утомить себя и, главное, ни о чем не думать. Идя по направлению к зале, вглядывалась в светящийся круг, образуемый пламенем свечи; возвращаясь назад, усиливалась различить какую-нибудь точку в сгустившейся мгле. Но, назло усилиям, воспоминания так и плыли ей навстречу. Вот уборная, оклеенная дешевенькими обоями по дощатой перегородке с неизбежным трюмо и не менее неизбежным букетом от подпоручика Папкова 2-го; вот сцена с закопченными, захватанными и скользкими от сырости декорациями; вот и она сама вертится на сцене, именно только вертится, воображая, что играет; вот театральный зал, со сцены кажущийся таким нарядным, почти блестящим, а в действительности убогий, темный, с сборною мебелью и с ложами, обитыми обшарканным малиновым плисом. И в заключение обер-офицеры, обер-офицеры, обер-офицеры без конца. Потом гостиница с вонючим коридором, слабо освещенным коптящею керосиновой лампой; номер, в который она, по окончании спектакля, впопыхах забегает, чтоб переодеться для дальнейших торжеств, номер с неприбранной с

утра постелью, с умывальником, наполненным грязной водой, с валяющеюся на полу простыней и забытыми на спинке кресла кальсонами; потом общая зала, полная кухонного чада, с накрытым посредине столом; ужин, котлеты под горошком, табачный дым, гвалт, толкотня, пьянство, разгул... И опять обер-офицеры, обер-офицеры, обер-офицеры без конца...

Таковы были воспоминания, относившиеся к тому времени, которое она когда-то называла временем своих успехов, своих побед, своего благополучия...

За этими воспоминаниями начинался ряд других. В них выдающуюся роль играл постоялый двор, уже совсем вонючий, с промерзающими зимой стенами, с колеблющимися полами, с дощатою перегородкой, из щелей которой выглядывали глянцевитые животы клопов. Пьяные и драчливые ночи; проезжие помещики, торопливо вынимающие из тощих бумажников зелененькую; хваты-купцы, подбадривающие «актерок» чуть не с нагайкой в руках. А наутро головная боль, тошнота и тоска, тоска без конца. В заключение — Головлево...

Головлево — это сама смерть, злобная, пустоутробная; это смерть, вечно подстерегающая новую жертву. Двое дядей тут умерли; двое двоюродных братьев здесь получили «особенно тяжкие» раны, последствием которых была смерть; наконец, и Любинька... Хоть и кажется, что она умерла где-то в Кречетове «по своим делам», но начало «особенно тяжких» ран несомненно положено здесь, в Головлеве. Все смерти, все отравы, все язвы — все идет отсюда. Здесь происходило кормление протухлой солониной, здесь впервые раздались в ушах сирот слова: постылые, нищие, дармоеды, ненасытные утробы и проч.; здесь ничто не проходило им даром, ничто не укрывалось от проницательного взора черствой и блажной старухи: ни лишний кусок, ни изломанная грошовая кукла, ни изорванная тряпка, ни стоптанный башмак. Всякое правонарушение немедленно восстановлялось или укоризной, или шлепком. И вот, когда они получили возможность располагать собой и поняли, что можно бежать от этого паскудства, они и бежали... *туда!* И никто не удержал их от бегства, да и нельзя было удержать, потому что хуже, постылее Головлева не предвиделось ничего.

Ах, если б все это забыть! если б можно было хоть в мечте создать что-нибудь иное, какой-нибудь волшебный мир, который заслонил бы собою и прошедшее и настоящее. Но, увы! действительность, которую она пережила, была одарена такою железною живучестью, что под гнетом ее сами собой

потухли все проблески воображения. Напрасно мечта усиливается создать ангельчиков с серебряными крылышками — из-за этих ангельчиков неумолимо выглядывают Кукишевы, Люлькины, Забвенные, Папковы... Господи! да неужто же все утрачено? неужто даже способность лгать, обманывать себя — и та потонула в ночных кутежах, в вине и разврате? Надо, однако ж, как-нибудь убить это прошлое, чтоб оно не отравляло крови, не рвало на куски сердца! Надо, чтоб на него легло что-нибудь тяжелое, которое раздавило бы его, уничтожило бы совсем, дотла!

И как все это странно и жестоко сложилось! нельзя даже вообразить себе, что возможно какое-нибудь будущее, что существует дверь, через которую можно куда-нибудь выйти, что может хоть что-нибудь случиться. Ничего случиться не может. И что всего несноснее: в сущности, она уже умерла, и между тем внешние признаки жизни — налицо. Надо было *тогда* кончать, вместе с Любинькой, а она зачем-то осталась. Как не раздавила ее та масса срама, которая в то время со всех сторон надвинулась на нее? И каким ничтожным червем нужно быть, чтобы выползти из-под такой груды разом налетевших камней?

Вопросы эти заставляли ее стонать. Она бегала и кружилась по зале, стараясь угомонить взбудораженные воспоминания. А навстречу так и плыли: и герцогиня Герольштейнская, потрясающая гусарским ментиком, и Клеретта Анго́, в подвенечном платье, с разрезом впереди до самого пояса, и Прекрасная Елена, с разрезами спереди, сзади и со всех боков... Ничего, кроме бесстыдства и наготы... вот в чем прошла вся жизнь! Неужели все это было?

Около семи часов дом начинал вновь пробуждаться. Слышались приготовления к предстоящему чаю, а наконец раздавался и голос Порфирия Владимирыча. Дядя и племянница садились у чайного стола, разменивались замечаниями о проходящем дне, но так как содержание этого дня было скудное, то и разговор оказывался скудный же. Напившись чаю и выполнив обряд родственного целования на сон грядущий, Иудушка окончательно заползал в свою нору, а Аннинька отправлялась в комнату к Евпраксеюшке и играла с ней в мельники.

С 11-ти часов начинался разгул. Предварительно удостоверившись, что Порфирий Владимирыч угомонился, Евпраксеюшка ставила на стол разное деревенское соленье и графин с водкой. Припоминались бессмысленные и бесстыжие песни, раздавались звуки гитары, и в промежутках между песнями и подлым разговором Аннинька выпивала. Пила она

сначала «по-кукишевски», хладнокровно, «господи баслави!», но потом постепенно переходила в мрачный тон, начинала стонать, проклинать...

Евпраксеюшка смотрела на нее и «жалела».

— Посмотрю я на вас, барышня,— говорила она,— и так мне вас жалко! так жалко!

— А вы выпейте вместе — вот и не жалко будет! — возражала Аннинька.

— Нет, мне как возможно! Меня и то уж из-за дяденьки вашего чуть из духовного звания не исключили, а ежели да при этом...

— Ну, нечего, стало быть, и разговаривать. Давайте-ка лучше я вам «Усача» спою.

Опять раздавалось бренчанье гитары, опять поднимался гик: и-ах! и-ох! Далеко за̀ полночь на Анниньку, словно камень, сваливался сон. Этот желанный камень на несколько часов убивал ее прошедшее и даже угомонял недуг. А на другой день, разбитая, полуобезумевшая, она опять выползала из-под него и опять начинала жить.

И вот, в одну из таких паскудных ночей, когда Аннинька лихо распевала перед Евпраксеюшкой репертуар своих паскудных песен, в дверях комнаты вдруг показалась изнуренная, мертвенно-бледная фигура Иудушки. Губы его дрожали; глаза ввалились и, при тусклом мерцании пальмовой свечи, казались как бы незрящими впадинами; руки были сложены ладонями внутрь. Он постоял несколько секунд перед обомлевшими женщинами и затем, медленно повернувшись, вышел.

Бывают семьи, над которыми тяготеет как бы обязательное предопределение. Особливо это замечается в среде той мелкой дворянской сошки, которая, без дела, без связи с общей жизнью и без правящего значения, сначала ютилась под защитой крепостного права, рассеянная по лицу земли русской, а ныне уже без всякой защиты доживает свой век в разрушающихся усадьбах. В жизни этих жалких семей и у̀дача, и неудача — все как-то слепо, не гадано, не думано.

Иногда над подобной семьей вдруг прольется как бы струя счастья. У захудалых корнета и корнетши, смирно хиреющих в деревенском захолустье, внезапно появляется целый выводок молодых людей, крепоньких, чистеньких, проворных и чрезвычайно быстро усвояющих жизненную суть. Одним словом, «умниц». Все всплошь умницы — и юноши и юницы.

Юноши — отлично кончают курс в «заведениях» и уже на школьных скамьях устраивают себе связи и покровительства. Вовремя умеют выказать себя скромными (j'aime cette modestie![1] — говорят про них начальники) и вовремя же — самостоятельными (j'aime cette indépendance!)[2]; чутко угадывают всякого рода веяния, и ни с одним из них не порывают, не оставив назади надежной лазейки. Благодаря этому они на всю жизнь обеспечивают для себя возможность без скандала и во всякое время сбросить старую шкуру и облечься в новую, а в случае чего и опять надеть старую шкуру. Словом сказать, это истинные делатели века сего, которые всегда начинают искательством и *почти всегда* кончают предательством. Что же касается до юниц, то и они, в мере своей специальности, содействуют возрождению семьи, то есть удачно выходят замуж, и затем обнаруживают столько такта в распоряжении своими атурами, что без труда завоевывают видные места в так называемом обществе.

Благодаря этим случайно сложившимся условиям, удача так и плывет навстречу захудалой семье. Первые удачники, бодро выдержавши борьбу, в свою очередь воспитывают новое чистенькое поколение, которому живется уже легче, потому что главные пути не только намечены, но и проторены. За этим поколением вырастут еще поколения, покуда, наконец, семья естественным путем не войдет в число тех, которые, уж без всякой предварительной борьбы, прямо считают себя имеющими прирожденное право на пожизненное ликование.

В последнее время, по случаю возникновения запроса на так называемых «свежих людей», запроса, обусловленного постепенным вырождением людей «не свежих», примеры подобных удачливых семей начали прорываться довольно часто. И прежде бывало, что от времени до времени на горизонте появлялась звезда с «косицей», но это случалось редко, во-первых, потому, что стена, окружавшая ту беспечальную область, на вратах которой написано: «Здесь во всякое время едят пироги с начинкой», почти не представляла трещин, а во-вторых, и потому, что для того, чтобы, в сопровождении «косицы», проникнуть в эту область, нужно было воистину иметь за душой что-либо солидное. Ну, а нынче и трещин порядочно прибавилось, да и самое дело проникновения упростилось, так как от пришельца солидных качеств не спрашивается, а требуется лишь «свежесть», и больше ничего.

---

[1] мне нравится эта скромность!

[2] мне нравится эта независимость!

Но наряду с удачливыми семьями существует великое множество и таких, представителям которых домашние пенаты, с самой колыбели, ничего, по-видимому, не дарят, кроме безвыходного злополучия. Вдруг, словно вша, нападает на семью не то невзгода, не то порок и начинает со всех сторон есть. Расползается по всему организму, прокрадывается в самую сердцевину и точит поколение за поколением. Появляются коллекции слабосильных людишек, пьяниц, мелких развратников, бессмысленных праздполюбцев и вообще неудачников. И чем дальше, тем мельче вырабатываются людишки, пока наконец на сцену не выходят худосочные заморыши, вроде однажды уже изображенных мною Головлят [1], заморыши, которые при первом же натиске жизни не выдерживают и гибнут.

Именно такого рода злополучный фатум тяготел над головлевской семьей. В течение нескольких поколений три характеристические черты проходили через историю этого семейства: праздность, непригодность к какому бы то ни было делу и запой. Первые две приводили за собой пустословие, пустомыслие и пустоутробие, последний — являлся как бы обязательным заключением общей жизненной неурядицы. На глазах у Порфирия Владимирыча сгорело несколько жертв этого фатума, а кроме того, предание гласило еще о дедах и прадедах. Все это были озорливые, пустомысленные и никуда не пригодные пьянчуги, так что головлевская семья, наверное, захудала бы окончательно, если бы посреди этой пьяной неурядицы случайным метеором не блеснула Арина Петровна. Эта женщина, благодаря своей личной энергии, довела уровень благосостояния семьи до высшей точки, но и за всем тем ее труд пропал даром, потому что она не только не передала своих качеств никому из детей, а, напротив, сама умерла, опутанная со всех сторон праздностью, пустословием и пустоутробием.

До сих пор Порфирий Владимирыч, однако ж, крепился. Может быть, он сознательно оберегался пьянства, ввиду бывших примеров, но, может быть, его покуда еще удовлетворял запой пустомыслия. Однако ж, окрестная молва недаром обрекала Иудушку заправскому, «пьяному» запою. Да он и сам по временам как бы чувствовал, что в существовании его есть какой-то пробел; что пустомыслие дает многое, но не все. А именно: недостает чего-то оглушающего, острого, которое окончательно упразднило бы представление о жизни и раз навсегда выбросило бы его в пустоту.

[1] См. рассказ «Семейные итоги». *(Прим. М. Е Салтыкова-Щедрина.)*

И вот вожделенный момент подвернулся сам собою. Долгое время, с самого приезда Анниньки, Порфирий Владимирыч, запершись в кабинет, прислушивался к смутному шуму, доносившемуся до него с другого конца дома; долгое время он отгадывал и недоумевал... И наконец учуял.

На другой день Аннинька ожидала поучений, но таковых не последовало. По обычаю, Порфирий Владимирыч целое утро просидел запершись в кабинете, но когда вышел к обеду, то вместо одной рюмки водки (для себя) налил две и молча, с глуповатой улыбкой указал рукой на одну из них Анниньке. Это было, так сказать, молчаливое приглашение, которому Аннинька и последовала.

— Так ты говоришь, что Любинька умерла? — спохватился Иудушка в средине обеда.

— Умерла, дядя.

— Ну, царство небесное! Роптать — грех, а помянуть — следует. Помянем, что ли?

— Помянемте, дядя.

Выпили еще по одной, и затем Иудушка умолк: очевидно, он еще не вполне оправился после своей продолжительной одичалости. Только после обеда, когда Аннинька, выполняя родственный обряд, подошла поблагодарить дяденьку поцелуем в щеку, он в свою очередь потрепал ее по щеке и вымолвил:

— Вот ты какая!

Вечером, в тот же день, во время чая, который на сей раз длился продолжительнее обыкновенного, Порфирий Владимирыч некоторое время с той же загадочной улыбкой посматривал на Анниньку, но наконец предложил:

— Закусочки, что ли, велеть поставить?

— Что ж... велите!

— То-то, лучше уж у дяди на глазах, чем по закоулкам... По крайней мере, дядя...

Иудушка не договорил. Вероятно, он хотел сказать, что дядя, по крайней мере, «удержит», но слово как-то не выговорилось.

С этих пор каждый вечер в столовой появлялась закуска. Наружные ставни окон затворялись, прислуга удалялась спать, и племянница с дядей оставались глаз на глаз. Первое время Иудушка как бы не поспевал, но достаточно было недолговременной практики, чтоб он вполне сравнялся с Аннинькой. Оба сидели, не торопясь выпивали и между рюмками припоминали и беседовали. Разговор, сначала безразличный и вялый, по мере того как головы разгорячались, становился живее и живее и, наконец, неизменно переходил в беспорядоч-

ную. ссору, основу которой составляли воспоминания о головлевских умертвиях и увечиях.

Зачинщицею этих ссор всегда являлась Аннинька. Она с беспощадною назойливостью раскапывала головлевский архив и в особенности любила дразнить Иудушку, доказывая, что главная роль во всех увечьях, наряду с покойной бабушкой, принадлежала ему. При этом каждое слово ее дышало такою циническою ненавистью, что трудно было себе представить, каким образом в этом замученном, полупотухшем организме могло еще сохраняться столько жизненного огня. Эти поддразнивания уязвляли Иудушку до бесконечности; но он возражал слабо и больше сердился, а когда Аннинька, в своем озорливом науськиванье, заходила слишком далеко, то кричал криком и проклинал.

Такого рода сцены повторялись изо дня в день, без изменения. Хотя все подробности скорбного семейного синодика были исчерпаны очень быстро, но синодик этот до такой степени неотступно стоял перед этими подавленными существами, что все мыслительные их способности были как бы прикованы к нему. Всякий эпизод, всякое воспоминание прошлого растравляли какую-нибудь язву, и всякая язва напоминала о новой свите головлевских увечий. Какое-то горькое, мстительное наслаждение чувствовалось в разоблачении этих отрав, в их расценке и даже в преувеличениях. Ни в прошлом, ни в настоящем не оказывалось ни одного нравственного устоя, за который можно бы удержаться. Ничего, кроме жалкого скопидомства, с одной стороны, и бессмысленного пустоутробия — с другой. Вместо хлеба — камень, вместо поучения — колотушка. И, в качестве варианта, паскудное напоминание о дармоедстве, хлебогадстве, о милостыне, об утаенных кусках... Вот ответ, который получало молодое сердце, жаждавшее привета, тепла, любви. И что ж! по какой-то горькой насмешке судьбы, в результате этой жестокой школы оказалось не суровое отношение к жизни, а страстное желание насладиться ее отравами. Молодость сотворила чудо забвения; она не дала сердцу окаменеть, не дала сразу развиться в нем начаткам ненависти, а, напротив, опьянила его жаждой жизни. Отсюда бесшабашный, закулисный угар, который в течение нескольких лет не дал прийти в себя и далеко отодвинул вглубь все головлевское. Только теперь, когда уже почуялся конец, в сердце вспыхнула сосущая боль, только теперь Анниныка настоящим образом поняла свое прошлое и начала настоящим образом ненавидеть.

Хмельные беседы продолжались далеко за полночь, и если б их не смягчала хмельная же беспорядочность мыслей

и речей, то они, на первых же порах, могли бы разрешиться чем-нибудь ужасным. Но, к счастью, ежели вино открывало неистощимые родники болей в этих замученных сердцах, то оно же и умиротворяло их. Чем глубже надвигалась над собеседниками ночь, тем бессвязнее становились речи и бессильнее обуревавшая их ненависть. Под конец не только не чувствовалось боли, но вся насущная обстановка исчезала из глаз и заменялась светящеюся пустотой. Языки запутывались, глаза закрывались, телодвижения коснели. И дядя и племянница тяжело поднимались с мест и, пошатываясь, расходились по своим логовищам.

Само собой разумеется, что в доме эти ночные похождения не могли оставаться тайной. Напротив того, характер их сразу определился настолько ясно, что никому не показалось странным, когда кто-то из домочадцев, по поводу этих похождений, произнес слово «уголовщина». Головлевские хоромы окончательно оцепенели; даже по утрам не видно было никакого движения. Господа просыпались поздно, и затем, до самого обеда, из конца в конец дома раздавался надрывающий душу кашель Аннинькн, сопровождаемый непрерывными проклятиями. Иудушка со страхом прислушивался к этим раздирающим звукам и угадывал, что и к нему тоже идет навстречу беда, которая окончательно раздавит его.

Отовсюду, из всех углов этого постылого дома, казалось, выползали «умертвия». Куда ни пойдешь, в какую сторону ни повернешься, везде шевелятся серые призраки. Вот папенька Владимир Михайлович, в белом колпаке, дразнящийся языком и цитирующий Баркова; вот братец Степка-балбес и рядом с ним братец Пашка-тихоня; вот Любинька, а вот и последние отпрыски головлевского рода: Володька и Петька... И все это хмельное, блудное, измученное, истекающее кровью... И над всеми этими призраками витает живой призрак, и этот живой призрак — не кто иной, как сам он, Порфирий Владимирыч Головлев, последний представитель выморочного рода...

В конце концов постоянные припоминания старых умертвий должны были оказать свое действие. Прошлое до того выяснилось, что малейшее прикосновение к нему производило боль. Естественным последствием этого был не то испуг, не то пробуждение совести, скорее даже последнее, нежели первое. К удивлению, оказывалось, что совесть не вовсе отсутствовала, а только была загнана и как бы позабыта. И вследствие

этого утратила ту деятельную чуткость, которая обязательно напоминает человеку о ее существовании.

Такие пробуждения одичалой совести бывают необыкновенно мучительны. Лишенная воспитательного ухода, не видя никакого просвета впереди, совесть не дает примирения, не указывает на возможность новой жизни, а только бесконечно и бесплодно терзает. Человек видит себя в каменном мешке, безжалостно отданным в жертву агонии раскаяния, именно одной агонии, без надежды на возврат к жизни. И никакого иного средства утишить эту бесплодную разъедающую боль, кроме шанса воспользоваться минутою мрачной решимости, чтобы разбить голову о камни мешка...

Иудушка в течение долгой пустоутробной жизни никогда даже в мыслях не допускал, что тут же, о бок с его существованием, происходит процесс умертвия. Он жил себе потихоньку да помаленьку, не торопясь да богу помолясь, и отнюдь не предполагал, что именно из этого-то и выходит более или менее тяжелое увечье. А, следовательно, тем меньше мог допустить, что он сам и есть виновник этих увечий.

И вдруг ужасная правда осветила его совесть, но осветила поздно, без пользы, уже тогда, когда перед глазами стоял лишь бесповоротный и непоправимый факт. Вот он состарелся, одичал, одной ногой в могиле стоит, а нет на свете существа, которое приблизилось бы к нему, «пожалело» бы его. Зачем он один? зачем он видит кругом не только равнодушие, но и ненависть? отчего все, что ни прикасалось к нему,— все погибло? Вот тут, в этом самом Головлеве, было когда-то целое человечье гнездо — каким образом случилось, что и пера не осталось от этого гнезда? Из всех выпестованных в нем птенцов уцелела только племянница, но и та явилась, чтоб надругаться над ним и доконать его. Даже Евраксеюшка — уж на что простодушна — и та ненавидит. Она живет в Головлеве, потому что отцу ее, пономарю, ежемесячно посылается отсюда домашний запас, но живет, несомненно ненавидя. И ей он, Иуда, нанес тягчайшее увечье, и у ней он сумел отнять свет жизни, отняв сына и бросив его в какую-то безыменную яму. К чему же привела вся его жизнь? Зачем он лгал, пустословил, притеснял, скопидомствовал? Даже с материальной точки зрения, с точки зрения «наследства» — кто воспользуется результатами этой жизни? кто?

Повторяю: совесть проснулась, но бесплодно. Иудушка стонал, злился, метался и с лихорадочным озлоблением ждал вечера не для того только, чтобы бестиально упиться, а для того, чтобы утопить в вине совесть. Он ненавидел «распутную девку», которая с такой холодной наглостью бередила его

язвы, и в то же время неудержимо влекся к ней, как будто еще не все между ними было высказано, а оставались еще и еще язвы, которые тоже необходимо было растравить. Каждый вечер он заставлял Анниньку повторять рассказ о Любинькиной смерти, и каждый вечер в уме его больше и больше созревала идея о саморазрушении. Сначала эта мысль мелькнула случайно, но, по мере того как процесс умертвий выяснялся, она прокрадывалась глубже и глубже и, наконец, сделалась единственною светящеюся точкой во мгле будущего.

К тому же и физическое его здоровье резко пошатнулось. Он уже серьезно кашлял и по временам чувствовал невыносимые приступы удушья, которые, независимо от нравственных терзаний, сами по себе в состоянии наполнить жизнь сплошной агонией. Все внешние признаки специального головлевского отравления были налицо, и в ушах его уже раздавались стоны братца Павлушки-тихони, задохшегося на антресолях дубровинского дома. Однако ж эта впалая, худая грудь, которая, казалось, ежеминутно готова была треснуть, оказывалась удивительно живучею. С каждым днем вмещала она все большую и большую массу физических мук, а все-таки держалась, не уступала. Как будто и организм, своей неожиданной устойчивостью мстил за старые умертвия. «Неужто ж это не конец?» — каждый раз с надеждой говорил Иудушка, чувствуя приближение припадка; а конец все не приходил. Очевидно, требовалось насилие, чтобы ускорить его.

Одним словом, с какой стороны ни подойди, все расчеты с жизнью покончены. Жить и мучительно, и не нужно; всего нужнее было бы умереть; но беда в том, что смерть не идет. Есть что-то изменнически-подлое в этом озорливом замедлении умирания, когда смерть призывается всеми силами души, а она только обольщает и дразнит...

. . . .

Дело было в исходе марта, и страстная неделя подходила к концу. Как ни опустился в последние годы Порфирий Владимирыч, по установившееся еще с детства отношение к святости этих дней подействовало и на него. Мысли сами собой настроивались на серьезный лад; в сердце не чувствовалось никакого иного желания, кроме жажды безусловной тишины. Согласно с этим настроением, и вечера утратили свой безобразно-пьяный характер и проводились молчаливо, в тоскливом воздержании.

Иудушка и Аннинька сидели вдвоем в столовой. Не далее как час тому назад кончилась всенощная, сопровождаемая чтением двенадцати евангелий, и в комнате еще слышался сильный запах ладана. Часы пробили десять, домашние разо-

шлись по углам, и в доме водворилось глубокое, сосредоточенное молчание. Аннинька, взявши голову в обе руки, облокотилась на стол и задумалась; Порфирий Владимирыч сидел напротив, молчаливый и печальный.

На Анниньку эта служба всегда производила глубоко потрясающее впечатление. Еще будучи ребенком, она горько плакала, когда батюшка произносил: «И сплетше венец из терния, возложиша на главу его, и трость в десницу его», — и всхлипывающим дискантиком подпевала дьячку: «Слава долготерпению твоему, господи! слава тебе!» А после всенощной, вся взволнованная, прибегала в девичью и там, среди сгустившихся сумерек (Арина Петровна не давала в девичью свечей, когда не было работы), рассказывала рабыням «страсти господни». Лились тихие рабьи слезы, слышались глубокие рабьи воздыхания. Рабыни чуяли сердцами своего господина и искупителя, верили, что он воскреснет, воистину воскреснет. И Аннинька тоже чуяла и верила. За глубокой ночью истязаний, подлых издевок и покиваний, для всех этих нищих духом виднелось царство лучей и свободы. Сама старая барыня, Арина Петровна, обыкновенно грозная, делалась в эти дни тихою, не брюзжала, не попрекала Анниньку сиротством, а гладила ее по головке и уговаривала не волноваться. Но Аннинька даже в постели долго не могла успокоиться, вздрагивала, металась, по нескольку раз в течение ночи вскакивала и разговаривала сама с собой.

Потом наступили годы учения, а затем и годы странствования. Первые были бессодержательны, вторые — мучительно пошлы. Но и тут, среди безобразий актерского кочевья, Аннинька ревниво выделяла «святые дни» и отыскивала в душе отголоски прошлого, которые помогали ей по-детски умиляться и вздыхать. Теперь же, когда жизнь выяснилась вся, до последней подробности, когда прошлое проклялось само собою, а в будущем не предвиделось ни раскаяния, ни прощения, когда иссяк источник умиления, а вместе с ним иссякли и слезы,— впечатление, произведенное только что выслушанным сказанием о скорбном пути, было поистине подавляющим. И тогда, в детстве, над нею тяготела глубокая ночь, но за тьмою все-таки предчувствовались лучи. Теперь — ничего не предчувствовалось, ничего не предвиделось: ночь, вечная, бессменная ночь — и ничего больше. Аннинька не вздыхала, не волновалась и, кажется, даже ни о чем не думала, а только впала в глубокое оцепенение.

С своей стороны, и Порфирий Владимирыч, с не меньшею аккуратностью, с молодых ногтей чтил «святые дни», но чтил исключительно с обрядной стороны, как истый идолопоклон-

ник. Каждогодно, накануне великой пятницы, он приглашал батюшку, выслушивал евангельское сказание, вздыхал, воздевал руки, стукался лбом в землю, отмечал на свече восковыми катышками число прочитанных евангелий и все-таки ровно ничего не понимал. И только теперь, когда Аннинька разбудила в нем сознание «умертвий», он понял впервые, что в этом сказании идет речь о какой-то неслыханной неправде, совершившей кровавый суд над Истиной...

Конечно, было бы преувеличением сказать, что по поводу этого открытия в душе его возникли какие-либо жизненные сопоставления, но несомненно, что в ней произошла какая-то смута, почти граничащая с отчаянием. Эта смута была тем мучительнее, чем бессознательнее прожилось то прошлое, которое послужило ей источником. Было что-то страшное в этом прошлом, а что именно — в массе невозможно припомнить. Но и позабыть нельзя. Что-то громадное, которое до сих пор неподвижно стояло, прикрытое непроницаемою завесою, и только теперь двинулось навстречу, каждоминутно угрожая раздавить. Если б еще оно взаправду раздавило — это было бы самое лучшее; но ведь он живуч — пожалуй, и выползет. Нет, ждать развязки от естественного хода вещей — слишком гадательно; надо самому создать развязку, чтобы покончить с непосильною смутою. Есть такая развязка, есть. Он уже с месяц приглядывается к ней, и теперь, кажется, не проминёт. «В субботу приобщаться будем — надо на могилку к покойной маменьке проститься сходить!» — вдруг мелькнуло у него в голове.

— Сходим, что ли? — обратился он к Анниньке, сообщая ей вслух о своем предположении.

— Пожалуй... съездимте...

— Нет, не съездимте, а...— начал было Порфирий Владимирыч и вдруг оборвал, словно сообразил, что Аннинька может помешать.

«А ведь я перед покойницей маменькой... ведь я ее замучил... я!» — бродило между тем в его мыслях, и жажда «проститься» с каждой минутой сильнее и сильнее разгоралась в его сердце. Но «проститься» не так, как обыкновенно прощаются, а пасть на могилу и застыть в воплях смертельной агонии.

— Так ты говоришь, что Любинька сама от себя умерла? — вдруг спросил он, видимо, с целью подбодрить себя.

Сначала Аннинька словно не расслышала вопроса дяди, но, очевидно, он дошел до нее, потому что через две-три минуты она сама ощутила непреодолимую потребность возвратиться к этой смерти, измучить себя ею.

— Так и сказала: пей... подлая?! — переспросил он, когда она подробно повторила свой рассказ.

— Да... сказала.

— А ты осталась? не выпила?

— Да... вот живу...

Он встал и несколько раз в видимом волнении прошелся взад и вперед по комнате. Наконец подошел к Аннипьке и погладил ее по голове.

— Бедная ты! бедная ты моя! — произнес он тихо.

При этом прикосновении в ней произошло что-то неожиданное. Сначала она изумилась, но постепенно лицо ее начало искажаться, искажаться, и вдруг целый поток истерических, ужасных рыданий вырвался из ее груди.

— Дядя! вы добрый? скажите, вы добрый? — почти криком кричала она.

Прерывающимся голосом, среди слез и рыданий, твердила она свой вопрос, тот самый, который она предложила еще в тот день, когда после «странствия» окончательно воротилась для водворения в Головлеве, и на который он в то время дал такой нелепый ответ.

— Вы добрый? скажите! ответьте! вы добрый?

— Слышала ты, что за всенощной сегодня читали? — спросил он, когда она, наконец, затихла,— ах, какие это были страдания! Ведь только этакими страданиями и можно... И простил! всех навсегда простил!

Он опять начал большими шагами ходить по комнате, убиваясь, страдая и не чувствуя, как лицо его покрывается каплями пота.

— Всех простил! — вслух говорил он сам с собою,— не только тех, которые *тогда* напоили его оцтом с желчью, но и тех, которые и после, вот теперь, и впредь, во веки веков будут подносить к его губам оцет, смешанный с желчью... Ужасно! ах, это ужасно!

И вдруг, остановившись перед ней, спросил:

— А ты... простила?

Вместо ответа, она бросилась к нему и крепко его обняла.

— Надо меня простить! — продолжал он,— за всех... И за себя... и за тех, которых уж нет... Что такое! что такое сделалось?! — почти растерянно восклицал он, озираясь кругом,— где... *все?*..

. . . .

Измученные, потрясенные, разошлись они по комнатам. Но Порфирию Владимирычу не спалось. Он ворочался с боку на бок в своей постели и все припоминал, какое еще обязательство лежит на нем. И вдруг в его памяти совершенно от-

четливо восстановились те слова, которые случайно мелькнули в его голове часа за два перед тем. «Надо на могилку к покойнице маменьке проститься сходить...» При этом напоминании ужасное, томительное беспокойство овладело всем существом его...

Наконец он не выдержал, встал с постели и надел халат. На дворе было еще темно, и ниоткуда не доносилось ни малейшего шороха. Порфирий Владимирыч некоторое время ходил по комнате, останавливался перед освещенным лампадкой образом искупителя в терновом венце и вглядывался в него. Наконец он решился. Трудно сказать, насколько он сам сознавал свое решение, но через несколько минут он, крадучись, добрался до передней и щелкнул крючком, замыкавшим входную дверь.

На дворе выл ветер и крутилась мартовская мокрая метелица, посылая в глаза целые ливни талого снега. Но Порфирий Владимирыч шел по дороге, шагая по лужам, не чувствуя ни снега, ни ветра и только инстинктивно запахивая полы халата.

На другой день, рано утром, из деревни, ближайшей к погосту, на котором была схоронена Арина Петровна, прискакал верховой с известием, что в нескольких шагах от дороги найден закоченевший труп головлевского барина. Бросились к Анниньке, но она лежала в постели в бессознательном положении, со всеми признаками горячки. Тогда снарядили нового верхового и отправили его в Горюшкино к «сестрице» Надежде Ивановне Галкиной (дочке тетеньки Варвары Михайловны), которая уже с прошлой осени зорко следила за всем, происходившим в Головлеве.

Конец

УБЕЖИЩЕ МОНРЕПО

ОБЩИЙ ОБЗОР

— Вы, конечно, на лето уединитесь в свое Монрепо?
— Разумеется! надо же отдохнуть!

Светские диалоги

От чего отдохнуть — это вопрос особый; но уехать на лето, во всяком случае, надо. Летом города населяются дулебами, радимичами, вятичами и проч., в образе каменщиков, штукатуров, мостовщиков, совместное жительство с которыми для культурного человека по многим причинам неудобно.

Удовлетворяя этой потребности, я довольно долгое время ездил по летам в подмосковную. Имение это я приобрел тотчас вслед за уничтожением крепостного права и купил, надо сказать правду, довольно безобразно. Во-первых, осматривал имение зимой, чего никто в мире никогда не делает; во-вторых, напал на продавца-старичка, который в церкви, во время литургии верных, приходил в восторженное состояние, и я поверил этой восторженности. Старичок служил когда-то по провиантскому ведомству и потому был благодушен и гостеприимен. Зазвал меня обедать, накормил настоящим малороссийским борщом и угостил киевской наливкой. Потом сам поехал со мной осматривать усадьбу, где велел сварить суп из курицы и зажарить карасей в сметане, причем говорил: «Курица эта здешняя, караси тоже из здешнего пруда, а в реке, кроме того, водятся язи, окуни и вот этакие лини!» Затем начался осмотр. Выйдя на крыльцо господского дома, он показал пальцем на синеющий вдали лес и сказал: «Вот какой лес продаю! сколько тут дров одних... а?» Повел меня в сенной сарай, дергал и мял в руках сено, словно желая убедить меня в его доброте, и говорил при этом: «Этого сена хватит до нового с излишком, а сено-то какое — овса не нужно!» Повел на мельницу, которая, словно нарочно, была на этот раз в полном ходу, действуя всеми тремя поставами, и говорил: «Здесь сторона хлебная — никогда мельница не стойт! а ежели еще маслобойку да крупорушку устроите, так у вас такая

толпа завсегда будет, что и не продерешься!» Сделал вместе со мной по сугробам небольшое путешествие вдоль по реке и говорил: «А река здесь какая — ве-се-ла-я!» И все с молитвой. Скажет, и перекрестится, и зрачками вверх поведет, и губами пошевелит, словно на вся и на всех призывает благословение божие. Только в заключение рассердился. Погрозился кулаком на крестьянский поселок, населенный новоиспеченными временнообязанными, и присовокупил: «Все из-за них, канальев! Кабы не они, подлецы, кажется, ни в жизнь бы из этого рая не выехал!»

Словом сказать, очаровал меня искренностью. И что еще больше мне понравилось: слабых сторон имения не скрыл. «Вот службы — легонькие, это — так! и озимое, по милости подлецов, незасеянное осталось,— это тоже скрыть не могу!» Но при воспоминании о «подлецах» опять рассердился и присовокупил: «Впрочем, дело об них уже в уголовной палате решено; вот как шестьдесят человек березовой кашей вспрыснут, так до новых веников не забудут!» [1]

При каковом осмотре присутствовал и местный сельский батюшка, который скромно пощипывал бородку, не подтверждая, но и не отрицая.

Я был тогда помоложе и ни к каким хозяйственным делам прикосновенным не состоял. Случились в кармане довольно большие деньги (впрочем, данные взаймы), но я как-то и денег не понимал: все думал, что конца им не будет. Словом сказать, произошло нечто вроде сновидения. Только одно, по-видимому, я знал твердо: что положено начало свободному труду, и земля, следовательно, должна будет давать вдесятеро. Потому что в то время даже печатно в этом роде расчеты делались.

Замечательно, что я родился и вырос в деревне. До десяти лет я жил в деревне безвыездно; потом, когда начались странствования по казенным заведениям, ежегодно на летние вакансии приезжал в побывку домой. Я знал, что такое лес, и множество раз даже хаживал туда за грибами и ягодами; я умел отличить ячмень от ржи, рожь от овса; я видел, как возят навоз на поля, как пашут, боронят, сеют, жнут, молотят, косят. И за всем тем решительно ничего не понимал. Воистину, это была не действительность, а сновидение, от кото-

---

[1] Всего в имении числилось 160 ревизских душ (ревизия была в 1859 году), в том числе, разумеется, наполовину подростков и малолетних. Решение московской уголовной палаты, действительно, состоялось в этом роде, но сенат его отменил, и дело, кажется, кончилось ничем. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

рого задержались в сознании только лишенные всякой связи обрывки...

Родители мои слыли в своей стороне за очень опытных и рачительных хозяев. Они «сами во все входили», чего в то время было совершенно достаточно, чтоб заслужить репутацию «хозяина». Каждый вечер староста приходил в барский дом с отчетом об успехе произведенных в течение дня работ; каждый вечер шли бесконечные разговоры, предположения и сетования; отдавались приказания на следующий день, слышались тоскливые догадки насчет вёдра или дождя, раздавались выражения: «поголовно», «брат на брата» и другие сельскохозяйственные термины в крепостном вкусе. Я очень часто присутствовал при этих переговорах и, помнится, даже интересовался ими, тем более что рядом с ними шли распоряжения и насчет домашних запасов, которые, в виде варенья, соленья, сушенья и квашенья, производились во множестве. Перед моими глазами не только ежедневно, но ежечасно, ежеминутно происходил тот кропотливый процесс, при помощи которого созидается так называемая полная чаша. Я видел эту полную чашу во всех ее проявлениях: в амбарах, наполненных всякого рода хлебом, в погребах и кладовых, на скотном дворе, в плодовых садах и проч. Везде, по всей усадьбе, словно в муравейнике, с утра до ночи копошились люди, и всё припасали и припасали. А ночью около полной чаши похаживал сторож и бил в чугунную доску. Все это я видел, знал наизусть и мог даже своими словами все рассказать; однако и за всем тем ничего не понимал. Очевидно, тут был какой-то изъян. Я знал формы, в которых проявлялось созидание полной чаши, но не понимал внутреннего содержания этих форм. Для меня оставалась скрытой та страшная масса усилий, физического труда, изнеможений, пота, ропота и отчаяний, которыми сопровождалось устроение полной чаши. Кажется, что я думал так: стóит папеньке с маменькой только приказать старосте Лукьянычу — и у нас будет и рожь, и овес, и сено...

Поэтому когда я покончил с вопросом о подмосковной, то есть совершил купчую крепость и вступил во владение, то сонное видение еще некоторое время продолжалось, несмотря на то, что сейчас же обнаружились факты, которые должны были бы самого заспанного человека заставить прийти в себя. А именно: густой и высокий лес, на который мне указывал пальцем старичок-продавец, оказался чужой, а *мой* лес был низенький и редкий; вместо полных сенных сараев оказались искусно выведенные из сена стенки, за которыми скрывалась пустота; на мельнице помолу обнаружилось мало, да и воды не всегда достаточно; сено на лугах «временем родится»,

а «временем — нет», да и сено — «с осочкой». Одно вышло справедливо: службы были легонькие, то есть совсем ветхие, а речка, действительно, веселая: излучистая, сверкающая и вся в зеленых берегах.

Тем не менее я не впал в уныние и начал деятельно приспособляться в своем новом гнезде. Сонные видения детства, отрочества и юности, несмотря на свою призрачность, оставили по себе и нечто такое, что залегло во мне довольно прочно. А именно: они положили основание убеждению, что всякий человек имеет как бы естественную потребность в своем собственном угле. Там он сосредоточит все заветное, пригретое, приголубленное; туда он придет после изнурительных скитаний по белу свету, чтоб успокоиться от жизненных обид; там он взлелеет своих детей и даст им возможность проникнуться впечатлениями настоящей, ненасурмленной действительности; там он почувствует себя свободным от всяческой подлой зависимости, от заискиваний, от унизительной борьбы за право дышать, говорить, мыслить... Словом сказать, представление об этом собственном угле было всегда до того присуще мне, что когда жить за родительским хребтом сделалось уже неловко, а старое, насиженное гнездо, по воле случая, не дошло до рук, то мысль об обретении нового гнезда начала преследовать меня, так сказать, по пятам...

И, как сказано выше, я это гнездо обрел.

Я не буду рассказывать здесь историю моих хозяйственных похождений. Это было что-то фантастическое. Неудача во всем. Хлеб по виду, казалось, хорош родился, а в амбар его дошло мало («Стало быть, при молотьбе не доглядели»,— объяснили мне «умные мужички»); клевер и тимофеевка выскочили по полю махрами («стало быть, не ровно се́яли: вот здесь посеяли, а вот здесь пролеши́ли»). Два года, однако ж, я упорствовал, то есть сеял и жал, но на третий — смирился. Или, говоря другими словами, начал смотреть на свое имение как на дачу для двух-трехмесячного летнего пребывания. Нарушил все хозяйственные затеи, а так называемую «угоду», за исключением усадьбы, сдал крестьянам за такую годовую плату, которой недоставало даже для удовлетворения скромных издержек по управлению и сторо̀же, и сам удрал в Петербург.

При таком упрощенном взгляде дело шло кое-как ровно пятнадцать лет. Я ездил по летам в свое собственное Монрепо̀ и не без удовольствия взирал на «веселую» речку, которая сверкала перед самыми окнами господского дома. По временам на островок, образуемый мельничною запрудой, налетал соловей и грохотал и заливался всю ночь. Это тоже до-

ставляло удовольствие, хотя и кратковременное, потому что к утру соловей уже был *непременно* подкараулен и изловлен фабричными из соседнего села. Во всяком случае, я жил без мучительных помыслов о дожде или вёдре, без легкомысленных догадок о том, что̀ в данную минуту происходит в поле: произрастает или не произрастает. Ничего «своего» у меня не было, так что за каждой безделицей я посылал в Москву, и, к удивлению, все выходило и лучше и дешевле, нежели из хозяйственной заготовки. Был у меня, правда, небольшой огород, каждую весну засаживаемый неумелыми руками, но и он не заставлял моего сердца сжиматься, так как я с первого же года понял, что овощи в этом огороде будут поспевать как раз ко дню моего выезда из деревни в город.

Напоследок, однако ж, обнаружилось, что и с упрощенным взглядом бесконечно жить невозможно. Появилась целая серия фактов довольно странного свойства. Лес (хоть и не тот высокий, который мне рекомендовал старичок-продавец, но все-таки был лес) перестал произрастать. Березовая роща, которую я застал в качестве «опушечки», так и осталась опушечкой через пятнадцать лет. Осиновая роща, которую я сам срубил, в чаянии, что осина идет ходко, представляла через пятнадцать лет голое место, усеянное пеньками («Стало быть, коров по ём пасут»,— объяснили «умные мужички», они же и арендаторы). Поля загрубели; луга, дававшие когда-то мягкое сено, начали давать почти исключительно острец. Таковы были последствия крестьянской аренды и моего упрощенного взгляда на имение. В самом доме оказывались изъяны, которые предвещали в ближайшем будущем очень серьезный расход. В парке дорожки до того заросли, что для расчистки их тоже требовалась целая уйма денег. К довершению всего, так как усадьба отстояла от крестьянского поселка не близко и как, с нарушением хозяйства, прислуги при усадьбе содержалось мало, то ночью брала невольно оторопь. Правда, что в нашей стороне об «лихих» людях слухов еще не было, но верст за десять, за двенадцать, около станции железной дороги, уже «пошаливали». Припоминая стародавние русские поговорки, вроде «не ровён час», «береженого бог бережет», «плохо не клади» и проч., и видя, что дачная жизнь, первоначально сосредоточенная около станции железной дороги, начинает подходить к нам все ближе и ближе (один грек приведет за собой десять греков, один еврей — сотню евреев), я неприметно стал впадать в задумчивость.

И не на меня одного нападала задумчивость. В короткий пятнадцатилетний период моего владения подмосковной почти весь землевладельческий состав кругом меня изменился.

В ближайшей ко мне старинной княжеской усадьбе с вековыми лесами, с знаменитыми оранжереями и с прекрасно устроенным господским домом в течение двух лет переменилось два владельца, из коих один — еврей. То же самое повторилось и по всей окрестности. Пришли люди, прикосновенные к постройке храма Христа-спасителя, пришел адвокат, выигравший какое-то волшебное дело и сейчас же поспешивший сделаться «барином»; наконец, появился грек, который, поселившись в версте от меня, влез в нашу скромную сельскую церковь и выстроил себе что-то вроде горнего места, дабы все видели, как он, Самсон Дюбекович, своего бога почитает. Остались незыблемыми только два старинные и замечательно крупные землевладельца, из тех, которых уж никакие изъяны застать врасплох не могут.

Задумчивость моя усугублялась с каждым годом. Пришельцы-соседи устраивались по-новому и проявляли поползновение жить шумно и весело. Среди этой вдруг закипевшей жизни, каждое движение которой говорит о шальной деньге, мой бедный, заброшенный пустырь был как-то совсем не у места. Ветшая и упадая, он как бы говорил мне: беги сих мест, унылый человек!

И я внял этому голосу, хотя и не без внутреннего волненья. В окна, главное, дуло, да и об кухне шли слухи, что скоро совсем там готовить кушанье будет нельзя. Приходилось или зле погибнуть, или уйти.

Я выбрал последнее и льщу себя надеждой, что в самую пору.

Но в ту минуту, как я уходил, старинное стремление к гнезду вдруг опять закопошилось во мне. «Каким же это образом? — думалось мне,— ужели я так-таки и останусь без собственного Монрепо?»

Оставим Энгельгардтам доказывать, что полевое хозяйство может приносить барыши, сами же займемся разрешением вопроса: что такое культурный человек и чего, собственно, он может ожидать от деревни?

Культурный человек вообще есть личность, в значительной степени пользующаяся досугом, имеющая более или менее отчетливые представления о комфорте и жизненных удобствах, охотно делающая экскурсии в область эстетики и спекулятивного мышления, но очень редко обладающая прикладными знаниями, то есть тем именно орудием, которое более всего необходимо, чтоб быть деятелем-земледельцем. Недаром

генерал Шангарнье, приглашая однажды французское национальное собрание разойтись по случаю каникулярного времени, рисовал картину успокоения на лоне природы, с эклогами Виргилия в руках. Хотя речь почтенного генерала возбудила, в известной части собрания, смех, но, в сущности, он вполне правильно охарактеризовал отношения культурного человека к сельской природе. Не полеводство нужно культурному человеку, а только общий вид полей. Ему нужны: прогулка, отдых, много воздуха, отсутствие волнений, беззаботность, по временам дружеская беседа с единомышленными людьми, по временам — одиночество, пожалуй, хоть с Виргилием в руках. Не труда ищет он в сельском убежище, а безмятежного растительного существования, которое служило бы поправкой пряностям, изнурившим его в городе.

Наш русский культурный человек носит на себе те же родовые черты, как и западноевропейский. Разница только в том, что у него еще больше досуга, а интеллектуального запаса значительно меньше. Сверх того, как мы ни стараемся о насаждении классицизма, но русский культурный человек в деле знакомства с древними классиками и ныне едва ли идет дальше басен Федра, иметь которые в качестве настольной книги несколько, впрочем, совестно. Поэтому он Виргилия заменяет какою-нибудь другою умственною пищею, смотря по степени личного развития каждого, от Дарвина и Молешотта до Зола и Ксавье де Монтепена включительно.

Я вполне понимаю потребность, ощущаемую русским культурным человеком,— воспользоваться двумя-тремя летними месяцами, чтоб восстановить себя на лоне природы, и не нахожу ее ни незаконною, ни достойною осмеяния.

Зима, проводимая большею частию в городе, действует изнурительно. Я не говорю уже о спертом воздухе в помещениях, снабженных двойными рамами и нагреваемых усиленной топкой печей,— этого одного достаточно, чтобы при первом удобном случае бежать на простор; но, кроме того, у каждого культурного человека есть особливое занятие, специальная задача, которую он преследует во время зимнего сезона и выполнение которой иногда значительно подкашивает силы его. Какого рода эти задачи и есть ли от них какой-нибудь прок? — это другой вопрос; но так как они не считаются противозаконными, то для большинства этого совершенно достаточно. У нас есть, прежде всего, целая армия чиновников, которые с утра до вечера скребут перьями, посылают в пространство всякого рода отношения и донесения и вообще не разгибают спины — очевидно, им отдых нужен хотя бы для того, чтобы очнуться от тех «милостивых государей», с ко-

торыми они девять месяцев сряду без устали ведут отписку и переписку. Затем есть масса дельцов: адвокатов, биржевиков, сводчиков, концессионеров, журналистов и т. п., которые тоже шестнадцать часов в сутки мелькают и мечутся — очевидно, отдых нужен и им. Наконец, существует множество людей, которые утром занимаются деланьем визитов, а вечером посещают театры, цирки, балы, шпицбалы, игорные дома, рестораны,— и им тоже необходим отдых, потому что иной одним культивированьем кокоток так себя за зиму ухлопает, что поневоле запросится вон из города.

Я знаю, что все эти кипения и мелькания — грошовые, а иногда даже и вредные; но так как люди, находящиеся на страже, ничего против них не имеют, то тем менее могу иметь против них что-нибудь я, которому вообще ничего и ни от кого оберегать не предоставлено. Я могу только констатировать факт изнурения — и делаю это.

Само собой разумеется, что большинство культурных людей из тщеславия, а также и ради того, чтобы не порвать совсем с зимними пакостями, стремятся по преимуществу в Павловск, в Петергоф, в Озерки и т. д. Что̀ они там обретают, какую природу, какой восстановляющий воздух, какое питание — я этого не знаю. Я отроду не живал в этих местах и, надеюсь, никогда жить не буду, как ни соблазнительны описания озерковских шпицбалов, с оркестром Главача и кухней Ломача. К счастию, не все Заманиловки подверглись разрушению, а потому есть еще достаточно большая масса культурных людей, которые, не заглядывая в Озерки, устремляются к старинным «собственным» пепелищам. Одни едут поневоле, потому что хоть и распостылая эта Заманиловка, а все-таки *своя,* и надо за ней присмотреть, чтоб окончательно ее не расхитили; другие — потому что и в самом деле не понимают летнего житья иначе, как в настоящей деревне, с настоящими полями и настоящим лесом.

Надо, впрочем, сказать правду, что для того, чтоб прожить в современной Заманиловке три-четыре месяца кряду, требуется некоторая храбрость. Очень уж нынче там глухо и непривольно. Во-первых, пусто, потому что домашний персонал имеется только самый необходимый; во-вторых, неудовлетворительно по части питья и еды, потому что полезные домашние животные упразднены, дикие, вследствие истребления лесов, эмигрировали, караси в пруде выловлены, да и хорошего печеного хлеба, пожалуй, нельзя достать; в-третьих, плохо и по части газетной пищи, ежели Заманиловка, по очень счастливому случаю, не расположена вблизи станции железной дороги (это было в особенности чувствительно во время

последней войны); в-четвертых, не особенно весело и по части соседей, ибо ежели таковые и есть, то разносолов у них не полагается, да и ездить по соседям, признаться, нѐ в чем, так как каретные сараи опустели, а бывшие заводские жеребцы перевелись; в-пятых, наконец, в каждой Заманиловке культурный человек непременно встречается с вопросом о бешеных собаках. Как ни исключительным представляется этот последний вопрос, но он очень существен. Каждое лето непременно откуда-то (откуда — никто даже определить не может) забежит желтенькая, сивенькая или черненькая собачка, худая, с помутившимися глазами и опущенным хвостом, перекусает на деревне целую уйму собак, а затем поднимет переполох и на господской усадьбе. И долго потом эта сивенькая собачка живет в воображении детей и женщин, заставляя их озираться во время прогулок и мешая рискнуть забраться куда-нибудь подальше от жилья — в луга, в лес.

Я уже не говорю о развлечениях амурных, хотя и не без вздоха вспоминаю Тургенева, этого правдивейшего и художественнейшего описателя наших бывших «дворянских гнезд», у которого на каждого помещика (молодого и образованного) непременно приходилась соответствующая помещица.

Но люди, для которых деревня почему-либо составляет необходимость (хотя бы ради связи с прошлым или ради приобретения ясного представления о рваном русском мужике), охотно примиряются со всеми этими неудобствами за те воистину восстановляющие (физически и умственно) блага, которыми она обилует. Но для того, чтобы воспользоваться этими благами и извлечь из них ту сумму обновленных сил, которая нужна для бодрого перенесения предстоящих в зимний сезон задач (в чем бы они ни состояли), необходима такая обстановка, которая представляла бы собой картину полного и невозмутимого безмятежия. А отсюда — первая и главная обязанность: немедленно, всецело и навсегда удалить от себя всякие сельскохозяйственные распоряжения и предприятия. Эти последние волнуют и изнуряют пуще всех огорчений, которые испытывает культурный человек во время длинного зимнего сезона, потому что они не дают ни отдыха, ни срока, преследуют ежеминутно и производят тем бо̀льшую досаду, что, в сущности, цена каждой из них, взятой в отдельности,— грош. В эту самую минуту, когда я пишу эти строки, в окна моей комнаты барабанит дождь, а между тем теперь самое горячее время для уборки сена, которого везде подкошено множество. Благо тому культурному человеку, у которого нет ни сена на лугах, ни хлеба в полях, потому что, будь все это, он не-

пременно бы мучился. Он думал бы: ах, сено сгниет! ах, рожь прорастет! и, несмотря на мокропогодицу, выбежал бы на улицу. Зачем бы он выбежал? что мог бы сказать или присоветовать? — он и сам, наверное, не ответил бы на эти вопросы, но выбежал бы несомненно, потому что его подстрекнул бы к тому демон собственности. И в результате оказались бы: потеря времени и простуда. Тогда как, свободный от сена, ржи и овса, он может спокойно, «в надежде славы и добра», посматривать в окно и думать: «А вот сейчас разгуляется, и я, как обсохнут дорожки (летом земля сохнет изумительно быстро), пойду в парк...»

Что сельскохозяйственные заботы тиранят ежеминутно — это аксиома, которая, я полагаю, не требует доказательств. Природа действует отнюдь не по-писаному и почти всегда все людские предположения переворачивает вверх дном. Но все-таки скажу, что культурного досужего человека эти заботы тиранят не в пример сильнее, нежели заправского земледельца. Для культурного человека — все новость, все сюрприз; и при этом, ежели у него, с одной стороны, есть много досуга, чтобы наслаждаться, то, с другой стороны, ровно столько же досуга он имеет и для того, чтобы тиранить себя. Для настоящего земледельца нет времени мучить себя; для него нет сюрпризов, он ко всему привык и всего ожидает. Он знает, что, как бы ни велико было количество сюрпризов, он, земледелец, в конце концов все-таки «управится», то есть одолеет личным трудом все, что в данную минуту одолеть можно. А культурный человек — что̀ он знает? Он глядит на непросветное небо и думает: «Ах, все погибло!» Сверх того, он видит, что «хамово отродье», нанятое для собирания плодов земных в житницы, сидит, мокрое, под навесом и бьет баклуши, и это опять волнует его...

Культурный человек бесконечно легковерен и притом в высшей степени одарен художественными инстинктами. Вот почему для него выгоднее совсем не родиться на свет, нежели возгореть страстью к полеводству. Будучи, по воспитанию, совершенно чужд прикладных знаний, он обыкновенно приступает к сельскохозяйственному делу с печатной книжкой в руках. Но он читает эту книжку не глазами обыкновенного смертного, а глазами воображения, забывая, что ничто так легко не поддается подкупу, как воображение, подстрекаемое жаждой барыша. Это воображение рисует ему урожаи сам-десят и сам-двенадцат (в «книжке» они доходят и до сам-двадцати); оно рисует ему коров, не тех тощих фараоновых, которые в действительности питаются мякинным ухвостьем па господском скотном дворе, а тех альгаузских и девонширских,

для которых существует урочное положение: полтора ведра молока в день; оно рисует молотилки, веялки, жатвенные машины, сеноворошилки, плуги и проч.— и все непременно самое прочное и достигающее именно тех самых результатов, которые значатся в сельскохозяйственных руководствах, а иногда и просто в объявлениях братьев Бутеноп. В результате происходит радостный сельскохозяйственный апофеоз. Культурный человек не принимает в расчет ни вёдра, ни дождя, ни ветров, ни червя, ни земляной блохи, ни мошки, ни того, что в один прекрасный день у привода молотилки вдруг не окажется ремня, а у самой молотилки — двух-трех пальцев (вчера еще все было цело, и вдруг за ночь пропало!). Много-много, ежели при вычислениях сам-десят и сам-двенадцат он снизойдет до принятия в соображение заработной платы серому человеку, приводящему в движение все эти молотилки и плуги, каковую плату тоже вычислит аккуратно, как написано в книжке: десятину луга скосить — косцов столько-то, сено сушить — баб столько-то. Короче сказать, он видит барыши и не предполагает ущербов. Сенокос у него всегда сопровождается вёдром с легким попрыскиваньем дождичка по утрам (надо же и природе что-нибудь уступить, да и коса влажную траву бойчее берет); сев никогда не обходится без благоприятного дождя; машины действуют безостановочно и без ремонта, ремни никогда не пропадают и т. д.

Верит «книжке» культурный человек безусловно. Не потому верит, чтобы понимал сущность изложенного в ней, а потому, что она, так сказать, предупреждает его желания. Он читает «книжку», как роман, или, вернее, как поваренную книгу, в которой описываются самые лакомые блюда. Читает и, останавливаясь на процессе производства лишь настолько, чтобы не утратилось впечатление общей сельскохозяйственной картины, с радостным нетерпением перескакивает к конечному результату (собирание плодов в житницы), который, разумеется, всегда оказывается благоприятным. Он не хочет знать, что книжку писал человек, обладающий подлинными знаниями (иногда, впрочем, и просто рутинер-шарлатан), который может и неудачу предусмотреть, и даже свою собственную (опубликованную) ошибку исправить. А ты, культурный человек, ты, воспитанник Федра, что́ ты можешь? Ведь ежели ты, на свою беду, вычитал в книге «ошибку», то ты не только не исправишь ее, а, напротив, еще больше будешь на ней настаивать, проведешь ее до конца, потому что эта ошибка обещает тебе сам-десят. И тогда что̀ станется с тем эфемерным зданием, которое создало твое разлакомившееся на барыши воображение?

Понятно, что при такой степени возбуждения художественных инстинктов всякое вмешательство сил природы, маломальски не соответствующее заранее облюбованным результатам, кажется посягательством и служит поводом для мучений и проклятий. Зачем вёдро? зачем дождь? — вот те несомненно глупые вопросы, которые с утра до вечера раздаются в тех из помещичьих гнезд, где еще не созрело убеждение, что надо все оставить, бросить. Вопросы эти тем глупее, что культурному человеку заранее известно, что они наверное останутся без ответа, так как он не имеет даже средств извернуться или приспособиться к тому, что он называет неожиданностями и подвохами. Серый человек — тот во всякое время, при всяких условиях найдет для себя подходящее дело, которое прямо или косвенно тому же полеводству принесет пользу. Но культурный человек, при всяком сюрпризе, изменяющем его план, становится в тупик, не зная, где и как ему возместить затрату, сделанную именно на тот, а не на иной предмет. И велико бывает его изумление, когда он, утешавший себя мыслью (да, он до того озлоблен, что даже может себя утешать неудачами других), что и у других сено почернело и сгнило, вдруг видит целые массы совершенно зеленого сена, приготовленного заботливыми руками меньшего брата, который не прал против рожна в дождь, но нашел другое приличествующее ненастью занятие: городил городьбу, починял клеть или, наконец, и просто отдыхал.

Я живо помню первые годы, последовавшие за эмансипацией крестьян. В то время, как раз кстати, г. Бажанов издал книгу о плодопеременном хозяйстве вообще, а г. Советов — книгу о разведении кормовых трав. Обе читались всласть, как роман, и находилось много людей, которые серьезно думали, что теперь стоит только действовать по-писаному, чтобы на землевладельцев полился золотой дождь. Закипела деятельность. Во-первых, в помещичьих усадьбах появились люди, которые прежде никогда в деревнях не живали, люди преимущественно молодые (старики благоразумно устранились или продолжали доскрипывать век с урочным барщинным положением), оставившие службу и другие занятия и полные веры в вольный труд. Во-вторых, накуплено было множество орудий, о которых до тех пор имелись только смутные представления, как о чем-то редком и недоступном. В-третьих, начался обмен мыслей о том, что пристойнее: сам-десят или сам-двенадцат. В-четвертых, наконец, приступлено было и к действительным распоряжениям по Бажанову и Советову. Богатые люди жертвовали при этом своими избытками, а люди недостаточные отказывали себе в привычном комфорте и смот-

рели сквозь пальцы на упадок своих жилищ ради того, чтоб купить лучших семян, лучших плугов, плужков, скоропашек и проч. (у Бажанова были и рисунки всего этого приложены). Но с первых же шагов (увы! решительность этих шагов была такова, что, сделавши один, то есть накупив семян, орудий, скота, переломавши поля и т. д., уже трудно было воротиться назад, не испивши всей чаши севооборота до дна) хозяйственная практика выставила такие вопросы, разрешения на которые не давал ни Бажанов, ни Советов.

Помнится, у Бажанова говорится, что двое рабочих, при двух исправных плугах, легко могут вспахать в день казенную десятину. Но ежели они не вспашут — как с этим быть? Доказывать ли, с Бажановым в руках, что священный долг каждого рабочего — вспахать не менее полудесятины? — но они ответят на это: и так не гуляли. Броситься ли на тунеядца с распростертыми дланями и скверным словом на устах? — но он, как человек, сознающий себя героем *вольного* труда, пожалуй, сам даст сдачи. Судиться ли? — но перед каким судом и где взять критериум для судебной оценки? Рассчитать ли, наконец, неисправного или небойкого работника? — но завтра же другой герой вольного труда не допашет ровно столько же, а быть может, и больше. Приходится смириться и сообразно с сим делать поправки в расчетах. А так как это поправки бесконечные, то в конце концов из них образуется целая паутина, в которой человек будет биться, покуда не опостылеет все: и выкладки, и затеи, и поля, и луга, и люди, которые пашут и не допахивают, косят и не докашивают. А сколько было когда-то обмена мыслей по поводу слов: *легко* вспашут полдесятины. Легко? То есть, вероятно, вспашут и больше? Но положим, что только полдесятины; следовательно... А кончилось тем, что хоть бы и не смотреть, как он там на одном месте топчется! Надоело, надоело, надоело.

«Надоело» — это слово очень веское и решительное в человеческой жизни вообще, и в особенности в жизни культурного русского человека, изумительная художественная восприимчивость которого требует пищи беспрестанной и разнообразной. Но еще решительнее звучит оно, когда человек начинает прозревать (всё с помощью тех же художественных инстинктов), что не столько ему все надоело, сколько он сам всем надоел. Тот же Бажанов, например, говорит, что землевладельческие орудия следует держать в нарочито выстроенном сарае и что по окончании дневной работы необходимо их вытереть, потому что иначе железо ржавеет и инструмент не прослужит и половины урочного срока. Ничего не может быть справедливее этого совета и законнее основанного на

нем требования. Но беда в том, что у вольнонаемного рабочего правила о содержании инструментов в опрятности и до сих пор еще не выжжены на скрижалях сердца огненными буквами. Во-первых, у него совсем не болит сердце по хозяйском добре; во-вторых, дома у него такие рабочие орудия, с которыми он никогда не имел надобности церемониться, а следовательно, и вытирать их досуха привычки не приобрел. Он просто не думает о рабочих инструментах и потому не считает ухода за ними входящим в круг его обязанностей. Сверх того, хотя он, быть может, и не допахал против урока, но все-таки время свое выстоял и порядком-таки устал. Он спешит выпрячь лошадь, чтобы скорее отужинать и лечь спать,— досуг ли ему с инструментом вожжаться? Следовательно, предстоит нарочито напоминать ему о священной обязанности содержать хозяйские орудия во всегдашней исправности. Напомните один раз — он, конечно, выполнит с грехом пополам вашу *прихоть*. Напомните в другой раз — услышите ответ: не что ему (или ей) сделается за ночь! Напомните в третий раз — ответа не последует, но на лице прочтете явственно: ах, распостылый ты человек! Напомните в четвертый раз... но в четвертый раз вряд ли вы и сами решитесь напомнить. Вы уже чувствуете, что вы надоели, намозолили глаза, и вам совестно.

Вот чего не предусмотрели ни Бажанов, ни Советов, а между тем такого рода недоумения встречаются чуть не на каждом шагу. Везде культурный человек видит себя лишним, везде он чувствует себя в положении того мужа, у которого жена мучилась в потугах рождения, а он сидел у ее изголовья и покряхтывал. Везде, на всех лицах, во всех ответах, он читает и слышит одно слово: надоел! надоел! надоел!

И вот, когда он убеждается, что бажановского урочного положения ему поддержать нечем, что инструмент рабочий, на приобретение которого он пожертвовал своим личным комфортом, воочию приходит в негодность, что скот содержится неопрятно, смердит («Не кадило!» — ворчит скотница на сделанное по этому поводу напоминание) и обещает в ближайшем будущем совсем выродиться, что сам он, наконец, всем надоел, потому что везде «суется», а «настоящего» ничего сказать не может,— тогда на него вдруг нападает то храброе малодушие, которое дает человеку решимость в одну минуту плюнуть на все плоды многолетнего долготерпения. И он сломя голову бежит в объятия земских учреждений, мирового института, полиции и проч., которые, по крайней мере, дадут ему средства хоть оконные рамы новые сделать в расшатавшейся сверху донизу Заманиловке.

Говорят, что у культурных людей нет достаточных капиталов, которые давали бы им возможность с терпением выжидать результаты их сельскохозяйственных предприятий. Капиталов нынче, действительно, в этой среде немного, но едва ли уместно ссылаться на это обстоятельство. Во-первых, вскоре после крестьянской реформы капиталов, благодаря выкупным свидетельствам, было более, нежели достаточно, а куда они девались? Положим, что хорошая доля их застряла в трактирах Новотроицком и Московском, но, клянусь, целая масса была ухлопана и в землю, для исполнения прихотей Бажанова и Советова. И что же из этого вышло? Во-вторых, хотя капитал и действительно полезная вещь в сельском хозяйстве, но все-таки надо знать, куда и как его употребить. Вот Энгельгардт и без капиталов достиг хороших результатов (я нимало в этом не сомневаюсь), а у культурного человека хоть и целая уйма денег на руках, да он не знает, куда ее швырнуть. Ежели он бросит ее в отходную яму — вырастут ли на дне ее розы?

Поэтому-то я и повторяю: оставим Энгельгардтам доказывать, что полеводство может приносить барыши, мы же, люди культурной массы, мы, представители бюрократии, адвокатуры, шпицбалов и проч., будем отдыхать киийждо под смоковницею своей, с баснями Федра в руках (все как будто классицизмом припахивает). Я сам с величайшим наслаждением читаю Энгельгардта (особенно летом в деревне), потому что никто так отчетливо не воспроизводит картину деревни, как он; но я увлекаюсь его писанием с чисто художественной точки зрения и воздерживаюсь от всякой практической деятельности, в подражание ему. Он расчищает «лядà», он сеет лен и мечтает о травосеянии, об альгаузском бычке — все это, конечно, будет ему на пользу. Я же не стану ни «лядà» расчищать, ни льна сеять, потому что в самом благоприятном случае эти занятия явятся лишь пустым препровождением времени; в неблагоприятном же случае...

Паче всего культурный человек должен избегать волнений и огорчений. Деревня нужна ему не ради перспективы копеечных избытков, но ради восстановления подточенной зимним сезоном бодрости. Он должен помнить, что ежели возможны сельскохозяйственные прибытки, то они возможны, во-первых, для человека, обладающего знанием, и, во-вторых, для человека хотя и рутинера, но постоянно живущего в деревне и не видящего из нее выхода даже в земские учреждения. В большинстве случаев культурный русский человек не подходит ни под одно из этих условий. Знаний у него нет, а в деревне он хочет жить лишь тогда, когда сад его

цветет и благоухает и когда в соседней роще гремит соловей. Стоит ли при такой постановке дела гнаться за каким-нибудь двугривенным, которого вдобавок еще и не поймаешь! Стоит ли ради этого двугривенного испытывать волнения и разочарования, которые, повторяю, никогда не кончаются, а только видоизменяются, переходят в новые формы волнений и разочарований?

Нет спора, что и в городах бывают огорчения: обойдут человека чином, проиграет он, в качестве адвоката, процесс или получит в танцклассе затрещину. Но огорчения эти в большинстве случаев имеют свой корректив. Обойдут чином — стоит только потрафить, пониже поклониться, и чин придет своим чередом; проиграет адвокат процесс — можно взять другой и выиграть; получит затрещину... но что такое затрещина для человека, который, быть может, понятие о танцклассе смешивает с понятием об отечестве? Словом сказать, из всякого городского огорчения можно выйти без особенно чувствительного ущерба. Тогда как для огорчений сельскохозяйственных решительно нет выхода. Они сначала мелькают перед глазами в виде неосуществившихся двугривенных, но чуть только человек не остережется, то непременно выразятся в крупном куше, брошенном в отходную яму, на дне которой не вырастает роз.

Но, скажут мне, все эти Заманиловки не созданы нами, а дошли до нас в том самом составе и в тех же размерах, в каких они представляются и ныне, то есть со всеми Тараканихами, Летесихами и другими пустошами, в которых растет белоус. Как же поступить с ними? Ужели ограничиться только уплатою за них земских сборов, не попытавши даже, хорош ли там вырастет лен?

Ответ на это, несмотря на свою кажущуюся парадоксальность, очень прост. Ежели уже существует убеждение (а у человека хладнокровного, осторожного не может оно не существовать), что раскинутость Заманиловок служит лишь источником огорчений, то, разумеется, необходимо принять самые быстрые меры, чтобы Тараканихи и Летесихи не обременяли памяти пустою номенклатурой. Надо отделаться от них непременно и безотложно, хотя бы задаром. Придет серый человек в эту самую Тараканиху, где ныне растет белоус, и прольет там свой пот. И, может быть, белоус даст место более доброкачественным злакам... А культурный человек ощутит от этого перемещения ту несомненную выгоду, что освободится от платежа земских сборов за вместилища белоуса.

Я убежден, что первое, что необходимо для культурного человека,— это сокращать и суживать границы своих земель-

ных владений. Дача как вместилище восстановляющего воздуха полей — вот все, что нужно. И притом дача не с ветхими оконными рамами и колеблющимися полами, а со всеми удобствами, которые легко могут быть созданы на деньги, предназначенные для отходной ямы. Ежели есть при даче «смеющийся» луг — это хорошо; ежели есть роща, в которой весной поет соловей,— еще того лучше. Излучистая река, тенистые аллеи, пение соловья — вот идеалы культурного человека, но отнюдь не пажити, не леса и не так называемые угодья. Для истребления лесов существуют лесники; для пахоты, бороньбы и косьбы существует целый класс людей, именуемых земледельцами. Suum cuique[1], как говорит Гораций, а может быть, Федр или даже сам Кошанский. Культурный человек должен помнить, что он — произведение города; там он сеет и жнет, что ему сеять и жать надлежит. Оклады жалованья, пенсии, аренды, концессии, гонорары за сводничество, полистные и построчные платы — всё там. А на лето он наезжает в деревню совсем не для того, чтобы страдать ради двугривенных, а для того, чтобы на досуге обдумать, какие предстоит принять зимой меры, чтобы упомянутые оклады и гонорары не утратить, но приумножить и сохранить. И пусть обдумывает. Пускай знает свой дом, свой сад, свой смеющийся луг, свою рощу. А ради сохранения сельского колорита он может завести трех-четырех коров и успокоиться на этом. В результате он будет свободен от огорчений и никому не надоест. И серый человек, глядя на него, скажет: вот и видно, что настоящий барин — живет и ничего не делает!

Тем не менее я не могу не сознаться, что жить в деревне и не делать деревенского дела, а только вдыхать ароматы полей, следить за полетом ласточек, читать братьев Гонкуров и упитывать себя для предстоящих зимних подвохов — ужасно совестно. Серый человек хоть и выражается об таком субъекте: вот настоящий барин! но он говорит это только до поры, до времени. Серый человек покуда еще ужасно задавлен, и вследствие этого обещание «на водку» действует на него магически. А «настоящий барин» дает на водку часто и щедро. Он охотно собирает в господской усадьбе по праздникам соседних мужиков и баб, предоставляя им петь, плясать и величать себя, «настоящего барина», и угощает за это пивом, водкой и ломтями черного хлеба, а иногда, под веселую руку, даже бросает в

[1] Каждому свое.

толпу разъяренных баб пригоршни гривенников. Я положительно не знаю ничего паскуднее этого развлечения (им по преимуществу злоупотребляют разноплеменные хищники, отдыхающие летом в своих виллах), но серый человек еще охотно фигурирует в нем в качестве увеселителя. К чести человечества, надо думать, что наступит же наконец момент, когда он очнется и поймет, какой омерзительный смысл заключается в паскудном выражении «на водку», в котором теперь он видит нечто вроде подспорья.

Повторяю: жить в деревне только в качестве «хорошего барина» все-таки совестно, и потому я был очень обрадован, когда узнал, что у культурного русского человека, и помимо сельскохозяйственных затей, может существовать вполне деревенское дело, а именно: дело совета, разъяснения, просвещения и посильной помощи. Серый человек изнывает в тенетах круговой поруки — надо объяснить ему, что задача круговой поруки совсем не в том заключается, чтобы изнурять, а в том, чтобы представлять очень существенные гарантии. Серый человек погибает под игом невежественности — надо пролить свет знания в эту погибающую среду, надо стараться об рассеянии предрассудков, страхов и предубеждений. Серый человек изнемогает от нищеты, поборов, недостатка питания, тесноты жилищ — надо сделать для него доступным дешевый кредит и при этом дать последнему такое направление, чтобы помощь его была чувствительна не для одних волостных старшин, кабатчиков и мироедов, но и для массы действительно нуждающихся.

Я назвал здесь очень немного задач, но заранее соглашаюсь, что их наберутся целые массы, и притом гораздо более существенных. Сказать человеку толком, что он человек,— на одном этом предприятии может изойти кровью сердце. Дать человеку возможность различать справедливое от несправедливого — для достижения этого одного можно душу свою погубить. Задачи разъяснения громадны и почти неприступны, но зато какие изумительные горизонты! Какое восторженное, полное непрерывного горения существование!

Позвольте, однако ж. Я говорю здесь совсем не о подвижничестве, а о другом. Я говорю о самых обыкновенных представителях культурной массы, о тех исчадиях городской суеты, для которых деревня составляет, наравне с экипажем, хорошим поваром и проч., одну из принадлежностей комфорта или общепризнанных условий приличия — и ничего больше. Я говорю исключительно об этих людях, потому что покамест это — единственный разряд культурных деятелей, состоящий

«в законе», и, стало быть, единственный, которого действия и помыслы могут быть свободно исследуемы. Все остальное закрыто для нас завесою, за которую заглядывать положительно неудобно, ибо, того гляди, или кого-нибудь введешь в соблазн, или нечто потрясешь.

Поэтому останемся же и мы «в законе» и будем беседовать лишь о том, что доступно нашим исследованиям.

Я охотно допускаю, что и в заурядных представителях культурной массы может зародиться жажда просветительного деревенского дела. Добрых, сострадающих и вообще порядочных людей и в этой массе найдется достаточно. Но дело в том, что, по самым условиям своих жизненных преданий, обстановки, воспитания, культурный человек на этом поприще прежде всего встречается с вопросом: что́ скажет о моей просветительской деятельности становой (само собой разумеется, что здесь выражение «становой» употреблено не в буквальном смысле)? Я знаю, что вопрос этот смешной и что даже довольно близкие наши потомки будут удивляться самой возможности его постановки, но тем не менее он, несомненно, существует, и человек, «в законе состоящий», отнюдь не может его миновать. Его постоянно тревожит мысль: своевременно или преждевременно? и потому ежели он и приступит на деле к выполнению своих просветительных поползновений, то или проведет их не особенно далеко (по губам помажет), или же будет приспособлять свои действия ко вкусам и идеалам станового. И вот, вместо того чтоб узнать, откуда идут на него те бичи, которые от колыбели до могилы подъедают его существование, в виде мироедов, кабачников, засух, градобитий, моровых поветрий и проч., серый человек услышит из уст культурного человека не особенно мудрое и не чуждое сквернословия поучение о том, что первая и главная обязанность есть исполнение приказаний, а все остальное приложится. Но ведь он и без того слышит эти проповеди ежечасно, ежеминутно и от волостного старшины, и от сотского, и даже от кабачника. И, однако, до сих пор они не накормили его досыта, не дали ему человеческого жилища и ни на один волос не увеличили его материального и духовного благосостояния.

Положим, однако, что культурный человек настолько самолюбив, что не будет справляться со взглядами станового и захочет действовать самостоятельно, даже независимо от соображения, своевременно или преждевременно; но разве это отречение от идеалов станового не будет с его стороны только пустою формальностью? Увы! он и сам весь начинен азбучными истинами, он и сам ничего не знает, кроме произвольных, на песке построенных афоризмов прописной морали. Стало быть,

ежели слова его и будут иные, то дело все-таки окажется то же.

Сверх того, не надо упускать из вида, что культурному человеку, взлелеянному на лоне эстетических преданий, всегда присуща некоторая гадливость. Понять нужду, объяснить себе происхождение лохмотьев и бескормицы не особенно трудно, но очень трудно возвыситься до той сердечной боли, которая заставляет отожествиться с мирской нуждой и нести на себе грехи мира сего. Тут и художественные инстинкты, столь могущественные в других случаях, не помогают. Или, вернее сказать, помогают наоборот, то есть вселяют инстинктивный страх и непреодолимое желание избежать зрелища нищеты. Обыкновенно это последнее желание формулируется более или менее прилично: всем, дескать, не поможешь и всей массы бедности не устранишь! Но понятно, что это — только отговорка, на которую возможен один ответ: пробуй, делай, что можешь, или уйди, не блазни, не подавай камня там, где нужен хлеб.

Может, впрочем, случиться и так, что культурный человек каким-нибудь чудом все эти препятствия устранит, то есть сумеет одновременно упразднить и идеалы сотских, и эстетику. Однако и за всем тем останется обстоятельство, которое ни под каким видом обойти нельзя. Обстоятельство это заключается в том, что главная задача его жизни совсем не в деревне, а в городе. Говоря таким образом, я вовсе не имею в виду посетителей шпицбалов, но и людей, действительно воодушевленных наилучшими намерениями и преследующих самые почтенные интеллектуальные цели. И для них деревня представляет только временную арену деятельности, к которой вдобавок они в большинстве случаев не имеют никакой практической подготовки. Атмосфера, которою они дышат, совсем не та, которою дышит деревня; язык, которым они говорят, не тот, которым говорит деревня; мысли, которые они мыслят, не те, которые мыслит деревня. Поэтому, прежде нежели приступить к подлинному деревенскому делу, сколько нужно труда, чтоб опознаться в условиях деятельности, очистить почву, приспособиться, найти отправный пункт! Но вот наконец точка опоры отыскана, а тут, как на грех, подкралась осень, и культурный человек волей-неволей обязывается оставить случайные задачи, чтобы всецело отдаться задачам коренным, а деревня остается в положении той помпадурши, которая, при известии о низложении своего краткосрочного помпадура, воскликнула: глупушка! нашалил и уехал!

Нет, просветительная дорога — не наша дорога. Это — дорога трудная, тернистая, о которой древле сказано: *блю-*

дите да опасно ходите. Чтобы вступить на эту стезю, надо взять в руки посох, препоясать чресла и, подобно раскольникам-«бегунам», идти вперед, *вышнего града взыскуя.*

Два лета кряду я живу в своем новом углу, на берегу Финского залива, почти в виду кронштадтских твердынь. Живу, руководствуясь сейчас вышесказанными соображениями, то есть не зная ни сельскохозяйственных затей, ни просветительных задач. В первом отношении я вполне рассчитываю на серого человека, который сам недоест, а нас не оставит без провианта; во втором, полагаюсь на земские управы, которые, по соглашению с начальством, полегоньку да потихоньку, наверное, когда-нибудь устроят судьбу серого человека к беспечальному концу. Я же, засев в своем углу, наслаждаюсь пальбою с кронштадтских твердынь, которая потрясает окна моего Монрепо и которая, собственно говоря, составляет единственное здесь развлечение.

Жизнь моя здесь течет в уединении и полном безмятежии. Сена — мало, жита — и того меньше; зато есть благоустроенный парк, в котором родится множество белых грибов и в котором можно гулять даже немедленно после дождя. Сверх того, есть порядочный сосновый лес и река, на которой устроена мельница, а следовательно, существует и запруда. Одним словом, было бы даже очень хорошо, если б капельку побольше красного солнышка и поменьше ветра со стороны «хладных финских скал». Помилуйте: в целое нынешнее лето я не видал стрелку флюгера обращенною на юг, а все на север, или еще того хуже — на запад, потому что ежели северный ветер приносит нам больше, чем нужно, прохлады, то западный гонит нам тучи, которым иногда по целым неделям конца не видать.

Местность, в которой расположено сказанное Монрепо,— обыкновенная местность ближайших окрестностей Петербурга. Нельзя сказать, чтоб живописная, нельзя сказать, чтоб веселая, но зато несомненно веселонравная. Справа у меня — деревенский поселок, при въезде в который стоит столб и на нем значится: душ 24, дворов 10. На это не особенно громадное население существует два кабака, которые очень редко пустуют. Сверх того, с небольшим в полуверсте от меня, налево, рядом с моей границей, воздвигнут третий кабак. Вообще кабакам в этой местности посчастливилось. Когда я еду на станцию железной дороги, то на пространстве четырнадцати верст до шоссе (на котором уже начинаются высокопоставленные

дачи и, стало быть, кабаков нет) встречаю еще четыре кабака. А между тем местность эта вполне пустынная, и только в одном месте, в стороне, виднеется довольно большое село, которое, конечно, обладает своими собственными кабаками.

Население здесь смешанное. Большинство — чухны, меньшинство — не скажу, чтобы совсем русские, а скорее какая-то помесь. Чухны пьют довольно, русские — много. Сверх того, здесь пролегает зимний тракт в Кронштадт, который тоже немало способствует процветанию кабаков.

Кабак — это что-то вроде установления, омерзительнее которого трудно что-нибудь себе вообразить. Вокруг кабака растет одичалое племя, которое отдает кабачнику всю свою душу и которому положительно ни до чего нет дела. А у нас целых три кабака. Конечно, мужику жить не весело, но какой ужасный корректив! Да и пьянство здесь какое-то необыкновенное: не шумное, не экспансивное, а сосредоточенное и унылое. Как будто исполняется горькая задача, от которой никак нельзя отбиться. Идет человек по дороге и вертит зрачками: это значит, что он еще бодрится. Прошел несколько шагов, споткнулся и уж храпит. Был у меня в прошлом году мельник из чухон, поистине честный и добропорядочный человек. Видя, что он, от времени до времени, вертит зрачками, я пробовал его уговорить и, по-видимому, даже успел. Целых два месяца я видел его постоянно трезвым, но вот пришла осень, и малый не вытерпел. Осень здесь ужасная, темная, слезливая, завывающая: точно над кладбищем стон стоит. Одним вечером мельник урвался кратчайшим путем, по лавам, брошенным через речку, в кабак и там выполнил свою задачу серьезно и бесшумно. Возвращаясь тем же путем на мельницу, он уже не попал на лавы, а шагнул прямо в реку и утонул. Место это отстоит от мельницы в нескольких шагах, но никто не слыхал криков о помощи. Вероятно, несчастный даже не понимал, что тонет, а думал, что ложится спать.

Повторяю: кабак, возведенный в принцип, омерзителен, но при этом оговариваюсь: может быть, оно так надобно. Нужно, быть может, чтоб люди вертели зрачками и не понимали, куда они ложатся — в постель или в реку. Почему так нужно — этого, конечно, мы не можем знать: не наше дело.

Благо неведущим. Знание, говорят, старит, а мы ежечасно молодеем. «Изба моя с краю, ничего не знаю» — успокоительнее этого девиза выдумать нельзя. Особливо, ежели жить с умом, то можно даже деньги при помощи этого девиза нажить. Вот, например, владелец двух кабаков, которые держат меня в осаде справа и слева,— тот только и говорит: «Не

нашего, сударь, это ума дело». Говорит, и стелет да стелет кругом паутину...

Подражая этому истинному столпу, и я сижу, запершись в усадьбе, зажимаю нос и уши, зажмуриваю глаза и твержу: «Не наше дело! не наше дело! не наше дело!» Это — слова могущественные и отлично разбивают не только сердечную скорбь, но и всякую мысль. Натвердившись вдоволь, можно и на улицу выйти, и уже без малейшего волнения смотреть, как взад и вперед снуют подводы, нагруженные бочками, бочонками, бутылями и бутылочками. О чем тут скорбеть? На что негодовать? Гораздо пристойнее видеть в этом маятном движении бочонков и бутылей только виды внутренней торговли и накопления богатств: хоть сейчас садись и пиши статистику. И статистика выйдет не бесплодная, но полная поучительных выводов, из которых можно усмотреть вполне ясно, где таятся истинные источники нашего народного веселья, нашей силы и мощи: все там, все в этих бочонках и бутылях. Недаром во время сербской войны один кабачник-столп потчевал «гостей» водкой под названием «потреотическая», а другой кабачник-столп, соревнуя первому, утвердил на «выставке» бутыль с надписью «на страх врагам». И все, которые пили обе эти водки, действительно чувствовали, что им море по колена...

Да, эти «столпы» знают тайну, как соделывать людей твердыми в бедствиях, а потому им и книги в руки. Поймите, ведь это тоже своего рода культурные люди и притом не без нахальства говорящие о себе: «Мы сами оттуда, из Назарета, мы знаем!» И действительно, они знают, потому что у них нервы крепкие, взгляд острый и ум ясный, не расшатанный вольнодумными софизмами. Это дает им возможность отлично понимать, что по настоящему времени самое подходящее дело — это перервать горло. Одного только не ведают: может ли срастись раз перерванное горло, и ежели не может, то как с этим быть?

Не наше дело.

Продолжаю начатую материю о Монрепо. Имение это служит наглядным примером производительности культурного труда и тех выгод, которые можно из него извлечь. Некогда оно принадлежало так называемому «хозяину», и вдобавок еще инженеру, стало быть, человеку, не лишенному хотя некоторых прикладных знаний. Владелец этот, очевидно, имел намерение сделать из своего имения «золотое дно». Он положил основание господской мызе, выстроил не особенно изящный, но крепкий и поместительный дом, снабдил его службами и скотным двором, развел парк, плодовитый сад, затеял обширный огород (вероятно, хотел изумить мир капустой и

огурцами), устроил мельницу, прорезал всю дачу бесчисленными канавами, вследствие чего она получила вид шахматной доски, и заключающиеся между канавами участки земли поднял и засеял травой. Хлеба у него высевалось тоже достаточно, ежели судить по каменному фундаменту пространной риги, остатки которой уцелели и поныне, а в особенности по чугунным трубам, с помощью которых нагревалась сушильня и которые валяются и поднесь. Получал ли какие-нибудь доходы с этого имения заботливый хозяин-землевладелец — это неизвестно; но вероятнее всего, что не получал, а все устраивался и устраивался. Но что̀ несомненно известно — это то, что он истратил на имение «многие тысячи». И не крепостным трудом истратил, а чистоганом, потому что крепостной труд каких-нибудь 24-х душ даже заметным подспорьем не мог служить в таком значительном предприятии. Затем основатель усадьбы умер, и имение начало переходить из рук в руки, причем никто продолжительно им не владел. Последний владелец, от которого мыза, наконец, дошла ко мне, тоже, как говорят, потратился: усовершенствовал парк, мёблировал дом, пытался расчистить некоторые канавы и проч. Вероятно, и тут дело не обошлось без «многих тысяч». А сколько одновременно с этими «многими тысячами» было потрачено легкомыслия, сколько видела эта бедная мыза претерпения и ропота, сколько слышала она хульных слов!..

Мне она досталась, с расходами по купчей крепости и с издержками по водворенью, в сумме приблизительно до пятнадцати тысяч рублей. Вот чем разрешились и «многие тысячи», и многолетние претерпения. Кажется, красноречивее этого факта нельзя себе ничего вообразить.

А сколько, сверх того, было заплачено крепостных пошлин при переходах имения из рук в руки? сколько было рассорено денег на сводчиков и маклеров, сколько употреблено суеты и беготни при отыскивании покупщика? Этого, наверное, ни в сказке сказать, ни пером описать.

Мне могут возразить, что бывшие владельцы все-таки койчем воспользовались, и именно лесом (нынешний лес не особенно стар, лет 30—35-ти не больше, а есть участки и моложе). Действительно, громадные пни, встречающиеся на каждом шагу, свидетельствуют, что лесу сведено достаточно, но, во-первых, бо́льшая его часть была, несомненно, употреблена на нужды самого имения, а во-вторых, ежели двое-трое из кратковременных владельцев (едва ли даже они жили в имении) и урвали что-нибудь, то, право, сущую безделицу.

Люди, которым всегда «до зарезу» нужны рублей 100—200, не особенно следят за процессом их добывания, лишь бы «за-

рез».был поскорее удовлетворен. Так было и тут, о чем даже существуют анекдоты, в которых фигурируют, с одной стороны, культурные люди, с другой — столпы, удовлетворяющие этому «зарезу» не без пользы для себя.

В настоящее время, повторяю, это — уголок довольно благоустроенный, хотя и не без важных недостатков, а именно:

Недостаток первый: солнце здесь такое же скупое, как и в Петербурге. Оба проведенные мною лета были в этом смысле очень неудовлетворительны. В прошлом году залили дожди, в нынешнем — 27-го июля ударил первый морозец. Можно ли ожидать в будущем лучшего лета — не знаю; потому что в Петербурге вообще имеют смутное понятие о благорастворении воздухов. Были, впрочем, и для здешнего края, очевидно, лучшие времена. Это доказывается довольно большими остовами яблонь, постепенное вымерзание которых довершилось лишь недавно. Стало быть, когда-то здесь было возможно разводить яблоки. А нынче, судя по последним двум годам, скоро и простой огурец сделается оранжерейным растением.

Второй недостаток: все еще чересчур много земли (всего около 160 десятин). Конечно, большинство ее находится под лесом, но есть, к сожалению, и такие участки, которые «ах, кабы эту землю к рукам — кажется, лопатой бы деньги загребал!» Как ни велико мое воздержание от сельскохозяйственных предприятий, а все-таки нет-нет да и поддашься на льстивые речи. То канавку прочистишь, то поднимешь участочек, потому что ежели совсем бросить, то земля мохом прорастет и траву косить будет негде. А сено нужно, так как на скотном дворе стоит штук до десяти травоядных.

Третий недостаток: мельница. В нынешнем году я вынужден был всю плотину выстроить вновь, и это обошлось мне ровно тысячу рублей, кроме бревен, которые были выпилены из своего леса. Теперь все любуются плотиной и говорят: денег не пожалели, зато она у вас на двадцать лет без поправки пойдет! Но известно мне, что года три тому назад бывший владелец тоже «значительно исправил» плотину, и, вероятно, ему тоже говорили: «Теперь она на двадцать лет пойдет!» А доход с мельницы двоякий: ежели осень мокрая и воды достаточно, то доходов «не слишним много»; ежели осень сухая, то в очистку приходится — нуль.

Четвертый недостаток: слишком пространен огород. Поднять его, сделать гряды и потом несколько раз в лето прополоть последние стóит одной поденщиной, не считая постоянных мызных работников, по малой мере двести рублей. Да навозу пойдет целая уйма, да садовнику в год надо заплатить 360 рублей. А к концу лета получаются и плоды этих затрат.

Огурцы, например, «принялись было весело», но вдруг сделалось «сиверко», и в тот самый момент, когда в Петербурге вся Сенная завалена огурцами, у вас нет ничего. То же самое и с цветной капустой: в августе ее всякий столоначальник в Петербурге ест, а в Монрепо показываются в это время только зародыши и зреет надежда, что в сентябре четыре-пять кочней выйдут «вполне». Остается, стало быть, капуста да картофель, овощи серьезные, не боящиеся непогод, но слыханное ли дело съесть этого добра на пятьсот, шестьсот рублей в год?

Одним словом, происходит нечто в высшей степени странное. Земля, мельница, огород — все, по-видимому, предназначенное самою природой для извлечения дохода,— все это оказывается не только лишним, но и прямо убыточным...

Поэтому истинное пользование «своим углом» и истинное деревенское блаженство начнутся только тогда, когда не будет ни лугов, ни лесов, ни огородов, ни мельниц. Скотный двор можно упразднить, а молоко покупать и лошадей нанимать, что обойдется дешевле и притом составит расход, который заранее можно определить, а следовательно, и приготовиться к нему. Можно упразднить и прислугу, а держать только сторожа и садовника необходимо для увеселения зрения видом расчищенных дорожек и изящно убранных цветами клумб.

Когда все это будет достигнуто, культурный человек может наслаждаться и отдыхать по всей своей воле. А ежели надоест ему отдыхать, то может и заняться тем делом, которое ему по душе.

Но какое же это дело? — вот в чем вопрос.

Странная вещь, но когда встречаешься с этим вопросом, делается не только просто совестно, но почти тоскливо совестно.

Объяснение этой тоски, я полагаю, заключается в том, что у культурного русского человека бывают дела личные, но нет дел общих. Личные дела вообще несложны и решаются быстро, без особых головоломных дум; затем впереди остается громадный досуг, который решительно нѐчем наполнить. Отсюда — скука, незнание, куда приклонить голову, чем занять праздную мысль, куда избыть праздную жизнь. Когда перед глазами постоянно мелькает пустое пространство, то делается понятным даже отчаяние.

Повторяю: в массе культурных людей есть уже достаточно личностей вполне добропорядочных, на которых насильственное бездействие лежит тяжелым ярмом и которые тем сильнее

страдают, что не видят конца снедающей их тоске. Чувствовать одиночество, сознавать себя лишним на почве общественных интересов, право, нелегко. От этого горького сознания может закружиться голова, но, сверх того, оно очень близко граничит и с полным равнодушием.

Чтобы читать книжку, следить за наукой, литературой и искусством — для всего этого нет никакой надобности в своем собственном угле, и в особенности на берегу Финского залива Гораздо более удобств в этом смысле представляют Эмсы, Баден-Бадены, Трувили, Буживали, Лозанны и проч.

Для чего культурному человеку изнывать в каких-то сумерках, лишенных света и тепла, когда те задачи, преследование которых ему доступно, он может вполне удобно переносить с собой в такие местности, в которых вдоволь и тепла и света? Для чего он будет выносить в своей Заманиловке тьмы тем всякого рода лишений и неудобств, когда, при тех же матерьяльных затратах, он может «в другом месте» прожить без мучительной заботы о том, позволит ли подоспевший сенокос послать завтра в город за почтой?

Человек — животное общественное, а в Заманиловке он обязывается временно одичать; человек — животное плотоядное, а в Заманиловке он обязывается сделаться отчасти млекопитающим, отчасти травоядным. Наконец, Заманиловка заставляет его нуждаться в услугах множества лиц, что в высшей степени неприятно щекочет совесть. И, к довершению всего, перед глазами — пустое пространство.

Вникните в это положение, и вы должны будете сознаться, что оно поистине мрачно. Есть натуры очень строптивые и упорнолюбящие, в которые червь равнодушия заползает лишь после долгой борьбы, но и те в конце концов уступают. Капля точит камень.

И вот перед этими людьми встает вопрос: искать других небес. Там они тоже будут чужие, но зато там есть настоящее солнце, есть тепло, и уже решительно не нужно думать ни об сене, ни об жите, ни об огурцах. Гуляй, свободный и беспечный, по зеленым паркам и лесам, и ежели есть охота, то решай в голове судьбы человечества.

Я высказываю здесь далеко не все, что можно было бы сказать об этом предмете; я поднимаю только малейший угол завесы, скрывающей бесконечную перспективу, но уверяю, от одной мысли об этой перспективе становится неловко.

Как-то ничто не спорится нам, и каждый наш успех почему-то оказывается фиктивным. Двоегласие очевидно, и оно невольно заставляет предполагать, что рядом с успехом идет нечто такое, что тут же, сейчас же подрывает его.

В чем же, однако ж, беда? откуда она идет и почему над нами стряслась?

Но тут я должен поставить точку и закончить словами, которые покамест на всякий вопрос представляют наиболее подходящий ответ, а именно: не наше дело.

ТРЕВОГИ И РАДОСТИ В МОНРЕПО

Мы живем среди полей
И лесов дремучих...

Нынешней осенью, живя в Монрепо̀, я был неожиданно взволнован: в наше село переводили становую квартиру...

В деревне подобные известия всегда производят переполох. Хорошо ли, худо ли живется при известной обстановке, но все-таки как-нибудь да живется. Это «как-нибудь» — великое дело. У мѐньшей братии оно выражается словами: живы — и то слава богу! у культурных людей — сладкою уверенностью, что чаша бедствий выпита уж до дна. И вдруг: нет! имеется наготове, и еще целый ушат. Как тут быть: радоваться или опасаться?

В настоящем случае поводы радоваться, несомненно, существовали. До сих пор мы жили совсем без начальства, как овцы без пастыря. Натурально, блуждали и даже заблуждались. Не́кому было пожаловаться, нѐ у кого искать защиты. Особливо нам, культурным людям, приходилось плохо. Работник загуляет или заспорит в расчете — как с ним рассудиться? В лесу пропадет дерево или в огороде срежут кочан капусты — к кому взывать об отмщении? А с мальчишками сельскими так просто сладу нет: обнеситесь от них решеткой — они под решеткой лазы сделают; обройтесь канавой — через неделю вся канава изукрасится тропами. Как тут быть? Мировой судья судит от нас в двадцати пяти верстах; становой пристав живет где-то уж совсем за болотами, так что легче в Париж съездить, чем до него добраться. Сотские — мирволят; волостной старшина — тот на все жалобы только ика̀ет: мне, дескать, до вас, культурных людей, дела нет! Ввиду всего этого мне и самому не раз-таки приходило в голову: вот кабы становой был поближе, тогда... Стало быть, теперь, когда желание мое было осуществлено, я имел, по-видимому, полное основание считать себя довольным и осчастливленным.

Но были поводы и для опасений, и прежде всего — неизвестность. Конечно, я имел о становом достаточно отчетливое

понятие, но о становом дореформенном, которого и в глаза, и за глаза называли куроцапом. В местностях, изобиловавших культурными людьми, это было существо вполне жалкое, в потертом вицмундире с дрожащими сзади фалдочками, с воспаленными от дорожной пыли глазами, с физиономией, замасленной как блин и не имевшей никакого иного выражения, кроме готовности во всякую минуту проглотить рюмку водки. И как дополнение к нему, становиха, сухая как щепка, вследствие беспрерывных беременностей, но и за всем тем беременная. Такого станового, разумеется, опасаться было нéчего. Но ведь с тех пор много воды утекло. Говорят, будто становым новые мундиры пошили, и с тех пор будто бы они приняли в свое заведование основы и краеугольные камни. И еще говорят, будто они, «яко боги», получили дар читать в сердцах человеческих, и что вследствие сего, ежели прочтут в чьем сердце обращенное к ним слово «куроцап», то сейчас же делают соответствующее распоряжение. А наконец, некоторые утверждают, что они самым названием «становой пристав» уже начинают тяготиться, признавая его не исчерпывающим всего содержания их деятельности, и ходатайствуют, чтобы им присвоен был такой титул, который прямо говорил бы о сердцеведении, и чтобы, в сообразность с ним, было, разумеется, увеличено и самое содержание. Я не знаю, насколько эти слухи заслуживают вероятия, но если верно из них хоть одно то, что становым дали новую обмундировку, то и тогда уже надо держать ухо востро. Что будет, если «он», вместо того чтобы ограждать мои луга от потравы, начнет читать в моем сердце? Прочтет одну страницу, помуслит палец, перевернет, прочтет другую и так далее до конца?

Ввиду этих сомнений, я припоминал свое прошлое — и на всех его страницах явственно читал: куроцап! Затем, я обращался к настоящему и пробовал читать, что *теперь* написано в моем сердце, но и здесь ничего, кроме того же самого слова, не находил! Как будто все мое миросозерцание относительно этого предмета выразилось в одном этом слове, как будто ему суждено было не только заполонить прошлое, но и на мое настоящее и будущее наложить неистребимую печать!

Я испугался. Уныло ходил я по аллеям своего парка и инстинктивно перебирал в уме названия различных более или менее отдаленных городов. Потом пошел на мельницу, но и там шум бегущей воды навеял на меня унылые мысли. «Жизнь человеческая,— думалось мне,— подобна этой воде. Сейчас мы видим ее заключенною в бассейне, а через момент она уже устремляется в пространство... куда?» Потом пошел по реке к тому месту, где вчера еще стояла полуразрушенная беседка,

и, увидев, что за ночь ветер окончательно разметал ее, воскликнул: «Быть может, подобно этой беседке, и моя полуразрушенная жизнь...»

Одним словом, какая-то неопределенная тоска овладела всем моим существом. Иногда в уме моем даже мелькала кощунственная мысль: а ведь без начальства, пожалуй, лучше! И что всего несноснее: чем усерднее я гнал эту мысль от себя, тем назойливее и óбразнее она выступала вперед, словно дразнила: лучше! лучше! лучше! Наконец я не выдержал и отправился на село к батюшке, в надежде что он не оставит меня без утешения.

Батюшка уже был извещен о предстоящей перемене и как раз в эту минуту беседовал об этом деле с матушкой. Оба не знали за собой никакой вины и потому не только не сомневались, подобно мне, но прямо радовались, что и у нас на селе заведется свой jeune homme [1]. Так что когда я, после первых приветствий, неожиданно нарисовал перед ними образ станового пристава в том виде, в каком он сложился на основании моих дореформенных воспоминаний, то они даже удивились.

— Помилуйте! да вы о ком это говорите! — воскликнул батюшка,— наверное, про Савву Оглашенного (был у нас, в древности, такой становой, который вполне заслужил это прозвище) вспоминаете? Так это при царе Горохе было, а нынче не так! Нынешнего станового от гвардейца не отличишь — вот как я вам доложу! И мундирчик, и кепé, и бельецо! Одно слово, во всех статьях драгунский офицер!

— А какой у нашего нового станового образ мыслей! — томно присовокупила матушка, закатывая глаза.

Признаюсь, я не без волнения слушал эти похвалы, потому что они подтверждали именно то, чего я боялся. В особенности напоминание об «образе мыслей» встревожило меня.

— Говорят, будто он будет в сердцах читать? — робко спросил я,— правда ли это?

— Всенепременно-с.

— Помилуйте! да что же он там прочтет?

— Что написано, то и прочтет. Ежели у кого написано: «Не похваляется»,— он и в ремарку так занесет; а ежели у кого в сердце видится токмо благое поспешение — он и в ремарке напишет: «Аттестуется с похвалой!»

— Батюшка! да как же это! ведь он... куроцап!

Батюшка удивленно вскинул на меня глазами и даже слегка помычал.

— Это прежде куроцапы были, а по нынешнему времени

[1] молодой человек.

таких титулов не полагается,— холодно заметил он,— но ежели бы и доподлинно так было, то для имеющего чистое сердце все равно, кому его на рассмотрение предъявлять: и «куроцап» и не «куроцап» одинаково найдут его чистым и одобрения достойным! Вот ежели у кого в сердце свило себе гнездо злоумышление...

Батюшка остановился: он понял, что не великодушно добивать колкостями и без того уже убитого человека, и с видимым участием спросил:

— Разве чувствуете какую-либо вину за собой?

Вопрос этот смутил меня. И прежде не раз мелькал он передо мной, но как-то в тумане; теперь же, благодаря категорическому напоминанию батюшки, он вдруг предстал во всей своей наготе.

— Бывало...— ответил я уклончиво.

— Например?

— Да вообще... вся жизнь... Вот хоть бы «филантропии» эти... Конечно, до меня еще не добрались, а было и со мной... Занимался. Как вы думаете, повредит это мне?

— Смотря по тому. Разные «филантропии» бывают: и *доб*-*ро*качественные и *не*доброкачественные. За первые — похвала, за вторые — взыскание.

— То-то и есть, что я сам своих «филантропий» не разберу. Прежде мне казалось, что они доброкачественные, а вот теперь... Например, такая мысль: хотя свобода есть драгоценнейший дар творца, но она может легко перейти в анархию, ежели не обставлена: в настоящем — уплатой оброков, а в будущем — взносом выкупных платежей. Эту мысль я зарубил у себя на носу еще во время освобождения крестьян и, я помню, был даже готов принять за нее мученический венец. Ка̀к вы полагаете, какова эта «филантропия»? доброкачественная или недоброкачественная?

— По-моему — доброкачественная! Только вот «свобода»... Небольшое это слово, а разговору из-за него много бывает. Свобода! гм... что̀ такое свобода?! То-то вот и есть... Не было ли и еще чего в этом роде?

— Было и еще. Когда объявили свободу вину, я опять не утерпел и за филантропию принялся. Проповедовал, что с вином следует обходиться умненько; сначала в день одну рюмку выпивать, потом две рюмки, потом стакан, до тех пор пока долговременный опыт не покажет, что пьяному море по колена. В то время кабачники очень на меня за эту проповедь роптали.

Батюшка слегка поморщился.

— Как вам сказать? — произнес он,— большой недоброка-

чественности и в этом не видится, а есть однако... Откровенно вам доложу: на вашем месте я бы кабатчиков не трогал. По чему бы не трогал? — а потому, сударь, что кабатчик, по нынешнему времени, есть столп. Прежде были столпы — помещики, а нынче столпы — кабатчики. Поэтому я бы и не трогал их.

— Но ведь по существу...

— По существу — это точно, что особенной вины за вами нет. Но кабатчики... И опять-таки повторяю: свобода... Какая свобода, и что̀ оною достигается? В какой мере и на какой конец? Во благовремении или не во благовремении? Откуда и куда? Вот сколько вопросов предстоит разрешить! Начни-ка их разрешать — пожалуй, и в Сибири места не найдется! А ежели бы вы в то время вместо «свободы»-то просто сказали: улучшение, мол, быта — и дело было бы понятное, да и вы бы на замечание не попали!

— Но кто же мог это предвидеть? Кто мог думать, что когда-нибудь становые будут читать в сердцах?

— Мудрый все предвидит. Мудрый так поступает: что ему нужно — выскажет, а себя подсидеть — не допустит. Мудрый, доложу вам, даже от слова «филантропия» воздержится, а просто скажет: «благое, с дозволения начальства, поспешение» — и кончен бал!

Батюшка остановился и не то укоризненно, не то с участием покачал на меня головой.

— Впрочем,— продолжал он,— ежели настоящим манером разъяснить и притом с раскаянием...

— Да вы, батюшка, со становым-то знакомы? — ухватился за эту мысль я.

— Знаком достаточно. Малый отличнейший! Молодой человек, кепѐ и все такое... Строгонек, конечно, но... с понятием.

— Так вот бы вы... Постарайтесь уж, батюшка! ведь тут вся штука в том, чтоб дело было представлено в надлежащем виде.

К моему удовольствию, батюшка согласился на мою просьбу. Он не взялся, конечно, отстоять мою абсолютную правду, но обещал защитить меня от злостных преувеличений, к которым, наверное, не усомнятся прибегнуть кабатчики, чтоб очернить меня перед начальством. С своей стороны, я вспомнил, что нынешней осенью мне прислали сотню кустов какой-то неслыханной земляники, и предложил матушке в будущем году отделить несколько молодых отростков для ее огорода.

На селе, видимо, ждали. Кабатчики чистились и старались сообщить своим выставкам изящный вид. Однажды, проходя мимо меня, кабатчик Прохоров (он же по воскресеньям и праздникам открывал у себя сельский танцкласс) бойко приподнял картуз и поздравил:

— С начальством-с!

— Не боитесь?

— Напротив-с. Даже-с с надеждою ожидаем.

Я достаточно на своем веку встречал новых губернаторов и других сильных мира, но никогда у меня сердце не ныло так, как в эти дни. Почему-то мне вдруг показалось, что здесь, в этой глуши, со мной все можно сделать: посадить в холодную, выворотить наизнанку, истолочь в ступе. Разумеется, предварительно завинив в измене, что, при уменье бойко читать в сердцах, сделать очень нетрудно. Поистине, никогда я такого скверного чувства не испытывал.

Я понимал, что я российский дворянин, но и только. Затем я искал кругом себя тына или ограды, к которым можно бы, в случае нужды, прислониться,— и не находил. Я не состоял на службе — следовательно, с этой стороны защиты не имел. Я не пользовался громким титулом — следовательно, никого не мог пугнуть высокопоставленными связями. Я не был особенно богат — следовательно, никто не надеялся, что я, под веселую руку, созову у себя во дворе толпу мужиков и баб, заставлю их петь и водить хороводы и первым поднесу по стакану водки, а вторых — оделю пряниками. Кроме того, я никого не ограбил, контрактов на продовольствие армии и флотов не заключал, ничьим имуществом насильственно не завладел и даже ни у кого ничего на законном основании не оттягал — следовательно, никому не внушил ни страха, ни уважения. Это было до такой степени омерзительно, что многим казалось даже странным: зачем я живу? И уже, наверное, всякому думалось: вот кабы на место этого расслабленного да поселился в Монрепо лихой купчина Разуваев (мой сосед по имению), то-то бы веселье у нас пошло! Но этого мало. Вместо того чтобы как можно бесповоротнее позабыть, что я российский дворянин, я с удивительною назойливостью об этом помнил. Я сохранил вкус к разведению садов и парков, что уже само по себе свидетельствует о заносчивости; но, сверх того, я не «якшался» и — говорят даже — выказывал наклонность «задирать нос». Существовал ли этот последний факт в действительности — по совести, я ни отвергнуть, ни утвердить этого не могу, но, вероятно, в самой моей отчужденности («неякшании») было что-нибудь такое, что давало повод обвинять меня и в «задирании носа». И, разумеется, это еще больше раздра-

жало: «Мразь, а тоже, как мышь на крупу, надувается!» — в один голос твердили столпы-кабатчики.

Оголтелый, отживающий, больной, я сидел в своем углу, мысленно разрешая вопрос: может ли существовать положение более анафемское, нежели положение российского дворянина, который на службе не состоит, ни княжеским, ни маркизским титулом не обладает, не заставляет баб водить хороводы и, в довершение всего, не имеет достаточно денег, чтобы переселиться в город и там жить припеваючи на глазах у вышнего начальства.

Я ни в земство, ни в мировой институт не попал, и не только не попал, но ни разу даже не полюбопытствовал, что̀ делается на съездах. Как-то всегда мне казалось, что незачем мне там быть, что я ни курить фимиам, ни показывать кукиш в кармане, ни устраивать мосты и перевозы — однаково не способен, а стало быть...

Повторяю: никто не мог ясно себе представить, зачем я живу, и вследствие этого многие думали и думают, что я злоумышляю.

За всем тем я не только живу, но и хочу жить и даже, мне кажется, имею на это право. Не одни умные имеют это право, но и дураки, не одни грабители, но и те, коих грабят. Пора наконец убедиться, что ежели отнять право на жизнь у тех, которых грабят, то в конце концов не́кого будет грабить. И тогда грабители вынуждены будут грабить друг друга, а кабатчики — самолично выпивать все свое вино.

Я хочу жить, несмотря на то, что каждоминутно нахожусь в ожидании, что вот-вот меня нечто слопает. Что̀ именно слопает — я даже не стараюсь догадываться, а прямо огулом думаю: все может слопать. Ожидание это держит меня в хроническом беспокойстве, заставляет смотреть на существование, как на что-то до крайности постылое, и все-таки не убивает во мне жажды жизни. Ах, эта проклятая жажда жизни! Каким образом она так крепко укореняется в человеке — я решительно не понимаю, но хочу жить, хочу. Все думается, что как-нибудь да вывернусь, то есть получу возможность приходить в разрушение постепенно, сам собою, в силу естественного хода вещей... какой, однако ж, идеал! А еще больше думается (и, сознаюсь, не без сладостного трепета думается), что когда-нибудь купец Разуваев, выведенный из терпения задиранием моего носа, вдруг вынет из кармана куш и скажет: получай и уйди с глаз долой! Господи! вот кабы... Как бы, однако ж, Разуваеву при этом невзначай не нагрубить — ведь он, каналья, самолюбив! Он — самолюбив, и я — самолюбив; он потребует, чтоб я коленцо перед ним выкинул, а я — за это ему

в шею! Нет уж, так и быть, вытерплю! все вытерплю, даже коленцо выкину, лишь бы... И тогда, заполучив куш, уйду, уйду навсегда! поселюсь в городе, запишусь членом в клуб и буду каждый вечер забавляться в табельку по четверти копейки за пункт.

Весь преданный тревоге в ожидании начальства, я невольно спрашивал себя: почему же *прежде* никогда этого со мной не бывало? почему я *прежде* не сомневался в себе, а *теперь* — сомневаюсь? почему я *прежде* не предполагал, чтобы что-нибудь могло меня слопать, а *теперь* — не только предполагаю, но и всечасно того ожидаю? И, по зрелом размышлении, должен был дать такой ответ: потому что прежде не было разделения людей на благонамеренных и неблагонамеренных, на благонадежных и неблагонадежных.

Понятий таких не было, а потому и лиц, которым удобно было бы взвалить на плеча качества, соединенные с этими понятиями, не существовало. Была одна маршировка.

Никто не мог себе представить, чтобы на всем лице Российской империи нашелся человек, которому можно было бы сознательно присвоить титул неблагонамеренного или политически неблагонадежного лица. Не упоминалось ни об основах, ни о краеугольных камнях, а следовательно, не могло быть речи ни о подкапываниях, ни о потрясаниях. Все так естественно стояло на своем месте, что никому не приходило даже в голову полюбопытствовать, что̀ тут такое стоит. Не было повода любопытствовать, да и прихотливых людей почти совсем не существовало. Всякий проходил мимо самых несомненных краеугольных камней точно так же бездумно, как бездумно проходит любой маленький чиновник свой ежедневный крестный путь от Песков до Главного Штаба или Сената. Для этого чиновника достаточно, что улица, по которой он проходил вчера, существует и ныне, и что она, по-вчерашнему же, с обеих сторон ограничена домами,— стало быть, нет резона не существовать ей и завтра, и послезавтра, и так далее без конца.

Бывали, правда, и в то время казнокрады, вымогатели, взяточники; бывали даже люди, позволявшие себе носить волосы более длинные, чем нужно. Но это были лишь отдельные разновидности одной и той же семьи, существование которых не компрометировало ни основ, ни краеугольных камней. Или, лучше сказать, это были случайные носители «злой воли», которые и наказывались, сколько кому надлежит, ежели не умели хоронить концы в воду. Ты казнокрад — шествуй в Сибирь; ты отрастил гриву — садись на гауптвахту. Но о краеугольных камнях не упоминалось, обобщений не делалось, и стремления группировать людей на какие-то мнимые сословия («охрани-

телей» и «прогрессистов», как некогда выразился академик Безобразов) — не существовало.

Понятно, что при такой простоте воззрений за глаза достаточно было и куроцапов, чтобы удовлетворять всем потребностям благоустройства и благочиния. В их ведении была маршировка, а так как в то время все было так подстроено, что всякий маршировал сам собой, то куроцапы не суетились, не нюхали, но просто взымали дани, а в прочее время пили без просыпу.

Но, по мере нашего социального и интеллектуального развития, глаза наши все больше и больше раскрывались. И, наконец, раскрылись до того широко, что мы всю Россию поделили на два лагеря: в одном — благонамеренные и благонадежные, в другом — неблагонамеренные и неблагонадежные. А так как это деление последовало не на основании твердых фактических исследований, а просто явилось ответом на требование темперамента, взбудораженного преимущественно крестьянской реформой, то весьма естественно, что на первых же порах произошла путаница.

Наружных признаков, при помощи которых можно было бы сразу отличить благонамеренного от неблагонамеренного — нет; ожидать поступков — и мешкотно и скучно. А между тем взбудораженный темперамент не дает ни отдыха, ни срока и все подсказывает: ищи! Пришлось сказать себе, что в этой крайности имеется один только способ выйти из затруднения — это сердцеведение.

Явился запрос на сердцеведение — явились и сердцеведы. Мало того, явились и помощники сердцеведов из числа охотчих людей: публицисты, кабатчики, мелкие торгаши, старшины, писаря, церковники...

Все это я выяснил себе очень хорошо, но, к сожалению, никакой пользы от этих разъяснений для себя не извлек. Главное, у меня не было уверенности, что я сам-то благонамеренный. То есть я-то, собственно, очень твердо понимал себя таковым, но не знал, как оно выйдет перед судом сердцеведения.

Что я имел повод питать в этом отношении сомнения — в этом убеждал меня батюшка. Даже и он отозвался обо мне как-то надвое. Сначала сказал: доброкачественно, а потом присовокупил: только вот «свобода»... Только? И это, так сказать, с первого взгляда, а что же будет, если поискать вплотную? Да, «мудрый» так не поведет дела, как я его вел! «Мудрый» покажет, что нужно,— и сейчас в кусты! А я? Впрочем, что же я, в самом деле, такое сделал?

И ничего, и очень много — как посмотреть! И пятнадцать лет тому назад, и как будто только вчера — тоже как посмо-

треть. Тысяща лет яко день един — для таких проказ, пожалуй, и давности не полагается. «Свобода»! — право, даже смешно! Как это язык у меня повернулся? как он не отсох! А главное, как мне не пришло в голову заменить «свободу» — улучшением быта? А теперь расплачивайся!

И вот, несмотря на обнадеживания батюшки, я беспокойно скитался по аллеям своего парка и сравнивал. Сравнивал прошедшее с настоящим, маршировку с сердцеведением. И дошел наконец до такого абсурда, что склонился на сторону маршировки...

Наконец однажды поздно вечером ко мне на мызу прибежал батюшка и возвестил: приехал!

Явился вопрос об этикете: кому сделать первый шаг к сближению? И у той, и у другой стороны права̀ были почти одинаковы. У меня было богатое дворянское прошлое, но зато настоящее было плохо и выражалось единственно в готовности во всякое время следовать куда глаза глядят. У «него», напротив, богатое настоящее (всемогущество, сердцеведение и пр.), но зато прошлое резюмировалось в одном слове: куроцап! Надо было устроить дело так, чтобы ничьему самолюбию не было нанесено обиды.

По всестороннем обсуждении, мы остановились на следующем плане. И я и «он» сойдемся в доме батюшки. Завтра, в одиннадцать часов утра, я, *как будто гуляя,* зайду к батюшке, а в то же самое время и «он», *как будто гуляя,* придет туда же. И, таким образом, произойдет приятный сюрприз.

Все именно так и случилось: без шума, без пререканий, легко, приятно. Батюшка был прав: наш становой не только не напоминал собой Савву Оглашенного, но даже и на станового почти совсем не походил. Это был человек лет тридцати, сухощавый, легкий на ногу, с манерами настолько добропорядочными, что, казалось, он даже понятия не имел о сквернословии. Мундирчик (совсем неожиданного для меня покроя) сидел на нем как вылитый, делая на талии ловкий перехват; мне показалось даже, что он стукнул шпорами, когда я вошел. По-французски он не говорил, но некоторые русские слова произносил в нос и этим вводил в заблуждение. Сверх того, он помадил волосы и, что всего трогательнее, назывался Милием Васильевичем Грациановым.

Отнесся он ко мне отлично; выразился, что давно искал случая со мной познакомиться, и хотя условно, но все-таки

признал за мной некоторые литературные заслуги. Но при этом, разумеется, слегка пожурил за то, что я, в первое время моей литературной деятельности, слишком обобщал понятие о куроцапстве и даже приписывал ему какое-то почти должностное значение.

— Быть может, и в настоящую минуту, видя меня, вы мысленно восклицаете: «Вот куроцап!» — прибавил он, словно угадывая, что происходило в глубинах моего сердца.

Это было не в бровь, а прямо в глаз, так что если бы он вздумал дать своему вопросу дальнейшее развитие, то я, наверное бы, во всем сознался. Но он очень мило скользнул по моей душевной ране и перешел к другим предметам. Чрезвычайно умно и тонко отозвался о распоряжениях губернского начальства, но не раболепствовал заочно, а, напротив, заявил, что само начальство «от нас» раболепства не требует. Сообщил, что, по инициативе исправника, становые раз в месяц собираются в уездный город для обмена мыслей. На собраниях этих, разумеется, прежде всего читаются указы и предписания и обсуждаются меры к быстрому, точному и единообразному их выполнению, но, кроме того, возбуждаются и некоторые теоретические вопросы. Так, например, на последнем съезде рассуждалось о том, что̀ могут означать слова закона: «с скоростью и строгостью», и было решено, что это значит: немедленно и не послабляючи. На будущем же съезде предполагают прочитать реферат о том, как следует понимать выражение: «по точному оного разумению».

— Вообще, я полагаю так: мы, становые, обязываемся держаться не буквы, а смысла,— прибавил он,— и в этом именно заключается отличие нынешней становой системы от прежней. Свободы больше! свободы! Чтоб руки не были связаны! чтоб для мероприятий было больше простору! Воздуху! воздуху больше!

Разумеется, я только качал головою и моргал глазами в знак единомыслия, хотя, признаюсь, когда он, подобно народному трибуну, восклицал: свободы больше! свободы! — я так и думал, что голос его дрогнет. Однако он не только произнес эти слова совершенно безбоязненно, но как ни в чем не бывало продолжал свою profession de foi [1]. Заявил, что читает «Правительственный вестник», как роман, и в восторге от «Сенатских ведомостей» («Только надо уметь владеть этим орудием»,— сказал он), и затем несколько неожиданно перешел к перечислению своих губернских начальников и при каждом имени незаметно, но несомненно, привставал на стуле, побу-

---

[1] исповедание веры.

ждая и нас делать подобное же движение. Потом опять перешел к своему личному положению и отозвался, что хотя он и маленький человек в служебной иерархии, но что и на маленьком месте можно небольшую пользу государству принести, как это уже и предусмотрено мудрой русской пословицей, гласящей: «Лучше маленькая рыбка, чем большой таракан». Что нынче, впрочем, различие между малыми и большими должностями мало-помалу стирается, и все начинают уже понимать, что, в сущности, и большие чины и малые — все составляют одну семью.

— Конечно, покуда это еще идеал,— прибавил он скромно,— но первые шаги к осуществлению его уже сделаны. Не далее как неделю тому назад встретил я на станции действительного статского советника Фарафонтьева, который прямо сказал мне: «Ты, брат, не смущайся тем, что ты только становой! все мы под богом ходим!»

Высказавши все это, он умолк, и батюшка мигнул мне, что теперь, дескать, самое время предъявить ему мое сердце. Но так как в выслушанной мною исповеди заключалось еще несколько не совсем ясных для меня пунктов, то я и решился предварительно предложить некоторые вопросы.

— Вы прекрасно очертили теоретическую сущность современной становой системы,— сказал я.— Откровенное отношение к начальству; быстрое, точное и притом однообразное выполнение предписаний; разъяснение недоумений, возбуждаемых выражениями, вроде: «по точному оного разумению», стремление к расширению свободы мероприятий — это картина, несомненно, грандиозная, достойная кисти великого художника. Тем не менее это все-таки только идеалы, или, лучше сказать, светочи, освещающие становой путь... К сожалению, на этом пути встречаются обыватели, для которых собственно эти идеалы и сочиняются. А так как к числу обывателей принадлежу и я, то, естественно, меня должно интересовать, как относится становая практика к этим бедным людям, которые, нередко сами того не сознавая, могут представлять весьма серьезные преткновения для самых непоколебимых становых идеалов. Чего требуете вы от них?

— Что касается до меня,— ответил он,— то я понимаю свои обязанности к обывателям так: во-первых, образовать в среде управляемых мною верных исполнителей предначертаний, и во-вторых — укоренить в них любовь к труду. Только и всего.

— Понимаю. Такова, бесспорно, воспитательная сторона становой практики. Но рядом с нею, к сожалению, мы провидим и сторону пресекательную. Встречаются по временам субъекты, которые намеренно... а впрочем, большею частью

ненамеренно... ускользают от воспитательного воздействия и, разумеется, навлекают этим на себя гнев... Каким образом, то есть с какою степенью строгости, предполагаете вы поступать относительно их?

Он на мгновение вперил в меня испытующий взор, но, не желая, вероятно, для первого знакомства, подвергать меня взысканию, ответил сурово:

— Я полагаю сих вредных членов отсекать-с.

— Совершенно понимаю. Но ведь для того, чтоб отсечь как следует, необходимо предварительно их уличить...

— Сумеем и это-с.

— Стало быть, вы будете ожидать поступков?

— Не думаю-с.

— Будете читать в сердцах?

— Всенепременно-с.

Тогда произошло во мне нечто чудное и торжественное: я вдруг почувствовал, что все мое существо сладко заволновалось! Я не скажу, чтоб это было раскаяние — нет, не оно! — а скорее всего какое-то безграничное, неудержимое, почти детское доверие! Приди и виждь!

— В таком случае позвольте мне предъявить вам мое сердце! — воскликнул я, устремляясь вперед и чуть не захлебываясь от наплыва чувств.

Я высказал это так искренно, что батюшка несколько раз сряду одобрительно кивнул мне головою, а у матушки даже дрогнули на глазах слезы. Он сам не выдержал, взял меня за руку и, ничего еще не видя, крепко сжал ее.

— Прежде всего,— продолжал я,— сознаюсь в нижеследующем. Пятнадцать лет тому назад я занимался «благими поспешениями» и при этом неподлежательно и дерзостно призывал меньшую братию к общению...

— Почему же «неподлежательно»? — перебил он меня мягко и как бы успокоивая.— По-моему, и «общение»... почему же и к нему не прибегнуть, ежели оно, так сказать... И мѐньшего брата можно приласкать... Ну, а надоел — не прогневайся! Вообще я могу вас успокоить, что нынче слов не боятся. Даже сквернословие, доложу вам — и то не признается вредным, ежели оно выражено в приличной и почтительной форме. Дело не в словах собственно, а в тайных намерениях и помышлениях, которые слова за собою скрывают.

— Вы слишком добры,— ответил я.— Я сам прежде так думал, но ныне рассудил, что даже такое выражение, как «кимвал бряцающий»,— и то может быть употребляемо лишь в крайних случаях, и с такою притом осмотрительностью, дабы не вводить в соблазн! Вот каков мой нынешний образ мыслей!

— Вообще это правило, конечно, заслуживает полного одобрения, но, в частности, я нахожу, что и в похвальных чувствах необходимо соблюдать известную сдержанность и не утаивать от начальства выражений, сокрытие которых, с одной стороны, могло бы поставить его в недоумение, а с другой — свидетельствовало бы о недостатке к нему доверия. Например, вы сказали сейчас: «кимвал бряцающий» — какое это прекрасное выражение! а между тем, благодаря недостатку откровенности, очень может быть, что оно начальству даже и теперь неизвестно! А впрочем, повторяю: все зависит от того, в чем заключались ваши филантропические затеи. Прошу продолжать — я весь внимание.

— Во-первых, я, ничего не понимаючи и без всякого на то уполномочия, ежечасно, ежеминутно болтал о свободе...

— О свободе-с? зачем-с? — переспросил он меня несколько удивленно, но, впрочем, и на этот раз, ради первого знакомства, удержался от взыскания.

— Да, о свободе. И это происходило как раз во время крестьянской эмансипации. При сем я, однако ж, присовокуплял, что истинная свобода должна быть ограничена: в настоящем — уплатой оброков, а в будущем — взносом выкупных платежей. И что ежели все это не будет выполняемо своевременно и бездоимочно, то свобода перейдет в анархию, а анархия — в военную экзекуцию.

— Что ж! по-моему, это толкование «свободы» правильное, и я думаю, что его приличнее назвать даже «содействием»... С своей стороны, я готов доложить господину исправнику...

— Не в том дело. Я и сам знаю, что лучше этого толкования желать нельзя! Но... «свобода»! вот в чем вопрос! Какое основание имел я (не будучи развращен до мозга костей) прибегать к этому слову, коль скоро есть выражение, вполне его заменяющее, а именно: улучшение быта?

— «Улучшение быта»? — вопросительно повторил он и затем ласково посмотрел на меня и махнул рукой, как бы говоря: твоя наивность приводит меня в восхищение! — Продолжайте, пожалуйста! — предложил он.

— И еще я, тоже не понимаючи, утверждал, что необходимо дать делу такое направление, чтобы, с одной стороны, крестьянин сейчас же почувствовал, а с другой — помещик сколь возможно меньше ощутил.

— Ну, так что же-с? — перебил он, уже совсем изумляясь.

— Извините меня, но *теперь* я совсем не так думаю. Теперь, напротив, я убежден, что необходимо так действовать, чтобы ни крестьянин, ни помещик — никто ничего не почувствовал и не ощутил! вот мой образ мыслей — *теперь!*

Он на минуту сделался серьезен; потом протянул мне руку и сказал:

— Вы правы. Вы угадали мою мысль.

— Очень счастлив. Но ежели за мои тогдашние затеи мне суждено ответствовать по всей строгости законов, то могу ли я, по крайней мере, надеяться, что настоящая перемена в моем образе мыслей будет принята во внимание?

— Ежели это перемена искренняя, то несомненно будет. В этом *я* вам ручаюсь! я доложу, и даже, в случае надобности... Но продолжайте, прошу вас.

— И еще я утверждал, что необходимо поднять дух обывателей...

— Зачем-с?

— Затем, во-первых, дабы соделать этот дух способным к восприятию начальственных мероприятий, и, во-вторых, затем, чтобы, закалив оный, сообщить ему ту непоколебимость, которая необходима в видах перенесения бедствий.

— Вы и теперь настаиваете на этой мысли? — спросил он, как бы опечаленный неожиданным открытием, которое в ближайшем будущем, быть может, поставит его в необходимость действовать относительно меня с скоростью и строгостью.

— Нет, не настаиваю,— отвечал я,— ах, да и могу ли я на чем-нибудь настаивать! Что мы такое? Временные путники в этой юдоли — и больше ничего! Нет, я не настаиваю, хотя признаюсь откровенно, что предмет этот и теперь не настолько для меня ясен, чтобы я не нуждался в начальственных указаниях. Вот об этих-то указаниях я и прошу вас, причем, конечно, зараньше даю обязательство, что с полным доверием подчиняюсь всякому решению, которое вам угодно будет произнести.

— В таком случае, скажу вам следующее: лучше не поднимать! Ни духа, ни вообще... ничего! Конечно, намерения ваши не были вполне противозаконны, но, знаете ли, самое слово «поднять»... «Поднять» — всяко можно... понимаете: поднять! Нет уж, пожалуйста! пускай это праздное слово не омрачает воспоминания о светлых минутах, которые мы провели при первом знакомстве с вами! Выкиньте его из головы!

— Выкину, и никогда к нему не возвращусь!

— И с богом. Дальше-с.

— И еще я утверждал — это происходило, когда объявили свободу вину,— что с полугаром надо обращаться осмотрительно, не начинать прямо с целого штофа, но постепенно подготовлять себя к оному, сначала выпивая рюмку, потом две рюмки, потом стакан и т. д. Не смею скрыть, что этой филан-

тропической выдумкой я возбудил против себя неудовольствие всех господ кабатчиков.

— Гм... кабатчиков... Это, я вам доложу, серьезно!

— Неужели даже серьезнее, нежели...

— Да-с, серьезнее. Не думайте, однако ж, чтоб я покровительствовал пьяницам,— нет, я им не потатчик! Но кабатчики — это совсем другое дело! Вы, господа обыватели, смотрите на вещи с точки зрения слишком исключительной: вы моралисты, и ничего больше. Мы, становые, поставлены в этом случае в положение более благоприятное: мы относимся к явлениям с точки зрения государственной. Но, сверх того, мы имеем и некоторые особливые указания. Поэтому вы можете смело поверить мне на̀ слово, если я вам скажу: не раздражайте! не раздражайте господ кабатчиков, ибо в настоящее время на них покоятся все наши упования!

— Вот и я им тоже говорил, что раздражать не следует,— откликнулся с своей стороны батюшка.

— Не раздражайте! — продолжал Грацианов, постепенно возвышая голос,— потому что даже *я* не могу поручиться, к каким последствиям может привести подобный необдуманный образ действия. Не раздражайте, потому что, наконец, я не имею права потерпеть, чтобы в районе моего ведомства кто бы то ни было потрясал силу и авторитет патента! И не потерплю-с.

Он не выдержал и, подняв вверх указательный палец, слегка помахал им около моего носа.

— Надеюсь, что вы раскаиваетесь? — продолжал он, несколько понизив тон, но все еще строго.

— Раскаиваюсь,— ответил я,— но боюсь, что репутация моя в глазах господ кабатчиков настолько уже подорвана, что самое раскаяние мое...

— Это я берусь устроить,— сказал он уже совсем снисходительно,— нас, представителей правящих классов общества, так немного в этой глуши, что мы должны дорожить друг другом. Мы будем собираться и проводить вместе время — и тогда сближение совершится само собою. Ну, а затем-с... Не знаете ли вы и еще чего-нибудь за собою?

— Кажется, все. Но, впрочем, если бы кто-нибудь умалил или совсем из вида упустил, то заранее каюсь: во всем, во всем грешен.

— А я — заранее разрешаю и отпускаю...

Эта снисходительность до того меня раскуражила, что я уже осмелился прямо поставить вопрос так:

— Стало быть, я могу надеяться, что жизнь моя не будет неожиданным образом прервана?

Он подумал немного, но затем твердым и решительным голосом сказал:

— Можете!

Это было даже более, нежели я желал. После того разговор уже продолжался только для проформы.

В заключение он крепко пожал мою руку и даже чуть-чуть не поцеловал меня. Но, поколебавшись с минуту, казалось, сообразил, что еще недостаточно испытал меня, и потому отложил выполнение этого обряда до более благоприятного времени.

— А теперь прощайте, господа! — сказал он, вставая,— и да хранит вас бог. Если же вы желаете узнать ближе мои воззрения на предстоящие мне обязанности, так же как и на ту роль, которая отведена в этих воззрениях обывателям вверенного мне стана, то прошу пожаловать завтра, в девять часов утра, в становую квартиру. У меня будет прием урядников.

Разумеется, мы с радостью согласились и затем вместе с батюшкой проводили его до квартиры. Я чувствовал, что с моей души скатилось бремя, и потому весело и проворно шлепал по грязи. Мысль, что наш путь лежит мимо кабака купца Прохорова и что последний увидит нас дружески беседующими, производила во мне нечто вроде сладкого опьянения. Наконец я не выдержал, и из глубины души моей вылетел вопрос:

— Милий Васильич! да скажите же наконец, в каком заведении вы получили воспитание?

На что он скромно ответил:

— Я получил воспитание очень недостаточное, и именно в училище для детей канцелярских служителей. Но, по выпуске из оного, я поступил в губернаторскую канцелярию и там, видя ежедневно чиновников особых поручений его превосходительства, сумел воспользоваться этим, чтобы усовершенствовать свои манеры. И вот, как видите... Что же касается до моих воззрений на жизнь и мир, то я почерпал их из предписаний и циркуляров моего начальства.

— Не может быть! извините меня, но, право, глядя на вас, я думал: «Наверное, он получил воспитание... ну, по малой мере, в заведении Марцинкевича!»

Он выслушал это предположение с удовольствием; но при этом очень мило погрозил мне пальцем, как бы говоря: льстец!

Вот речь, которую он произнес в нашем присутствии урядникам, собравшимся на другой день утром па дворе становой квартиры:

«Господа урядники! я собрал вас здесь, прежде всего, чтобы заявить во всеуслышание, что горжусь вами. Причем, конечно, ожидаю, что и вы, в свою очередь, будете мною гордиться.

Только взаимное и непрерывное горжение друг другом может облагородить нас в собственных глазах наших; только оно может сообщить соответствующий блеск нашим действиям и распоряжениям. Видя, что мы гордимся друг другом, и обыватели начнут гордиться нами, а со временем, быть может, перенесут эту гордость и на самих себя. Ибо ничто так не возвышает дух обывателей, как вид гордящихся друг другом начальников!

В этом заключается весь секрет истории!

Затем я считаю нелишним изложить перед вами вкратце мой взгляд на ваши обязанности. Прошу выслушать меня внимательно.

Во-первых, вы должны знать *всё*, что̀ делается в ваших сотнях, потому что, только зная *всё*, вы получите возможность обо *всем* доводить до моего сведения. Я же обязан знать *всё*, потому что, в противном случае, многое осталось бы мне неизвестным, чего я ни под каким видом допустить не могу.

Чтобы знать *всё*, нет никакой необходимости во вмешательстве каких-либо сверхъестественных или волшебных сил. Достаточно иметь острый слух, воспособляемый не менее острым зрением — и ничего больше. В Западной Европе давно уже с успехом пользуются этими драгоценными орудиями, а по примеру Европы, и в Америке. У нас же, при чрезвычайной простоте устройства наших жилищ, было бы даже непростительно пренебречь сими дарами природы.

Но там, где слух и зрение оказались бы недостаточными, немаловажным подспорьем может послужить целесообразная и строго обдуманная система вопросов, которую я назвал бы системою вопрошения. Так, например, ежели вы встречаете идущего по улице односельца, то первый и самый естественный вопрос должен быть таков: куда идешь? Если же вы встречаете на улице не односельца, но лицо неизвестного происхождения, то, кроме этого вопроса, надлежит предлагать еще следующие: откуда? зачем? где был вчера? покажи, что̀ несешь? кто в твоей местности сотский, староста, старшина, господин становой пристав? И заметьте, господа, никто не вправе уклоняться от ответов на ваши вопросы, ибо факт уклонения уже сам по себе составляет неповиновение властям.

Но, кроме того, он означает и косвенное признание не вполне чистых намерений уклоняющегося. Невинный человек отвечает немедленно, не ожидая подзатыльника; отвечает быстро, порывисто, отчетливо, твердо, звонко. Напротив того, человек, за которым водятся грешки, даже и по получении подзатыльника, путается, отвечает уклончиво, неохотно, а иногда прямо с дерзостью говорит: не твое дело! Таковых надлежит, без потери времени, взяв за караул, представлять по начальству для исследования.

Господа! я не без намерения остановился на этом предмете больше, чем нужно, ибо он есть фундамент, на котором зиждется наша становая внутренняя политика. С помощью системы вопрошения, а также при посредстве слуха и зрения... а быть может, и обоняния... мы получаем такой богатый запас сведений и материалов, который стòит только надлежащим образом обработать, чтобы перед нами предстала картина современного быта, такая картина, которая заставит содрогнуться начальственные сердца. Итак, сначала напишем эту картину — и чем смелее, тем лучше — а затем, разумеется, подумаем и о том, как следует поступить, дабы превратить ее неблагонамеренное содержание в благонамеренное. Имея ее в виду, мы бодро пойдем навстречу злоумышлению, и ежели находящаяся в наших руках ариаднина нить приведет нас к дверям логовища, то уж, конечно, не для того, чтоб осрамиться в нем, но для того, чтобы несомненно и неминуемо обрести поличное!

Вторая ваша обязанность заключается в следующем: вы должны употребить все усилия, чтобы обыватели содействовали вам. Чтобы достичь этого, вы можете воспользоваться всеми имеющимися у вас преимуществами власти, начиная с увещаний и кончая требованиями, не терпящими возражений. Вы можете, в случае надобности, даже употребить мое имя. Помните, господа, что содействие, о котором я говорю, нам безусловно необходимо. Как это ни больно для нашего самолюбия, но должно сознаться, что если мы не будем иметь приспешников в обывательской среде, то не исполним и малой доли тех задач, кои нам предстоят. Это одна из тех печальных истин, с которыми мы сразу должны примириться, с тем чтобы потом и не возвращаться к ним. Но, называя этот факт печальным, я в то же время имею право назвать его и радостным, потому, во-первых, что он вводит нас в общение с обывателем, а во-вторых, и потому, что делает сего последнего нашим соучастником. Я согласен, что он умаляет тот ореол всемогущества, которым мы были бы окружены, если бы обладали таковым, но вместе с тем он ограждает нас от

злоречия и гласит во всеуслышание о чистоте наших намерений. И вдобавок дает нам случай делать полезные наблюдения и над самими содействующими.

Но содействие, о котором идет речь, может быть троякого рода. Во-первых, содействие действительное, плодоносящее и безусловно полезное; во-вторых, содействие, не особенно полезное, но и не вредное; и в-третьих, содействие, положительно вредное.

Действительного и истинно плодотворного содействия вы можете ожидать, по преимуществу, от господ кабатчиков. Я говорю это прямо и смело, хотя и знаю, что у нас принято называть это занятие зазорным. Я не разделяю этого предубеждения и, следовательно, не могу допустить, чтобы его разделяли и вы. На свете нет зазорных ремесл, ибо всякое ремесло вызывается насущною потребностью в нем. Господа кабатчики, независимо от их личной и всегда несомненной благонадежности, драгоценны еще и в том отношении, что они находятся в непрерывном и тесном общении с представителями самых разнообразных слоев общества. В кабак стремятся все. Туда идет и добродетельный человек, и злодей, и мирный земледелец, и храбрый воин, и помещик, и золотарь. Выпивши добрую рюмку водки, человек делается наклонным к сообщительности, а выпивши две таковых, он уже мало-помалу начинает давать этой наклонности и ход. Еще стакан — и он готов. Спрашиваю вас: кто из присутствующих при этих метаморфозах может быть назван достоверным их свидетелем? — и с уверенностью отвечаю: кабатчик и только кабатчик! Все кругом пьяно, даже сотский, скромно тут же сидящий, не всегда находится на высоте своего призвания; один кабатчик всегда и неизменно трезв. Он трезв, потому что должен удовлетворять разнообразным требованиям потребителей; он трезв, потому что такова задача его занятия. Одним словом, он трезв. Он один имеет возможность трезвенно проникать в глубины человеческих сердец, он один твердою рукою держит все нити злоумышлений, как приведенных уже в исполнение, так и проектируемых в ближайшем будущем. Вот почему мы так часто находим в кабаках целые склады краденых вещей. Но потому же самому мы обязаны от времени до времени прощать кабатчику его поползновения к сбыту таковых вещей и видеть в нем дарованное нам орудие, которое, при добром руководительстве, может не только облегчить наш труд неожиданными откровениями, но и сообщить изысканиям нашим совершенно непредвиденное направление.

Не особенно полезного, однако ж, и не вредного содействия вы можете ожидать от господ бывших помещиков, ныне

скромно именующих себя землевладельцами. Сведения, добываемые этим путем, представляют, по преимуществу, плод досужей говорливости и потому должны быть принимаемы лишь с крайнею разборчивостью. Но, будучи очищены от того, что в них есть неожиданного и явно неимоверного, и они могут, по временам, проливать луч света на такие извилины человеческого сердца, которые без сего легкомысленного указания могли бы остаться навсегда закрытыми для нашего наблюдения.

Затем остается еще третьего рода содействие, о котором я говорю лишь с болью на сердце и которое я уже ранее назвал прямо вредным. Господа! я не нахожу достаточно слов, чтобы предостеречь вас от услуг и предложений сих содействователей, и, дабы вы умели отличить их, скажу вкратце об их происхождении. В последние пятнадцать — двадцать лет, вместе с успехами наук и развитием форм общежития, у нас появился особенный класс злонамеренных людей, известных под именем газетчиков и сочинителей. Профессия эта, главным образом, направлена к тому, чтобы разнообразными путями вводить становых приставов в заблуждение, с целью испытания их способностей, а также и для осмеяния их нравов вообще. Люди эти, иногда очень серьезно, сообщают нам различные как бы полезные указания и даже предлагают проекты реформ и законоположений, которые мы тоже, по чистоте нашей, принимаем за полезные, но на дне которых — увы! — лежит одна жестокая насмешка. В большей части случаев они действуют на нас не прямо, а посредством опубликования аллегорий, но тем успешнее увлекают в соблазн и опутывают нас своими сетями. Есть множество сочинений, написанных единственно с целью обмана, но притом с таким сатанинским искусством, что чины, действующие вдали от административных центров и, так сказать, предоставленные самим себе, ничего не в состоянии различить. Увлекаясь прекрасным слогом сих книг, они с точностью следуют злодейским советам, в них изложенным, и ожидают за сие от начальства наград. Каково же бывает их горестное изумление, когда вместо награды из губернии получается перевод в другой стан, а иногда и предложение подать просьбу об отставке! К сожалению, я говорю об этом по опыту, ибо сам двукратно был вводим подобным образом в заблуждение. Однажды, когда, прочитав в одном сочинении составленный якобы некоторым городничим «Устав о печении пирогов», я, в подражание оному, написал «Правила о том, в какие дни и с каким маслом надлежит вкушать блины», и в другой раз, когда, прочитав, как один городничий на все представле-

ния единообразно отвечал: «не потерплю!» и «разорю!» — я, взяв оного за образец, тоже упразднил словесные изъяснения и заменил оные звукоподражательностью. И в оба раза вместо награды я получил от начальства выговор, с таковым притом внушением, что книжками этого рода следует пользоваться лишь для того, чтобы поступать как раз в противоположность содержащимся в них указаниям! Вот почему я и предостерегаю вас, господа урядники! Будьте вообще осторожны в выборе ваших руководителей, но в особенности опасайтесь льстивых сочинительских приманок, погоня за коими может ревностного урядника довести до исступления!

Третья ваша обязанность заключается в наблюдении за целостью и неприкосновенностью наших краеугольных камней. Вы знаете, о чем я говорю. Многие утверждают, что камни сии суть лишь недавнее изобретение становых приставов, но ведь для нас важно не то, когда и кем что̀ изобретено, а то, что изобретенное получило надлежащий уход и что, следовательно, сила его для всех обязательна. Вы знаете эти камни, господа. Вы сами обладаете собственностью, сами имеете семейства, чтите начальство, ходите в храм божий, так что если б вы не были урядниками, то я сказал бы вам: идите, добрые люди, с миром, и бог да поддержит вас в ваших похвальных начинаниях! Но в качестве урядников вы не имеете права довольствоваться личным выполнением предписаний долга, но обязываетесь требовать, чтоб и другие с тою же мужественною непоколебимостью шли по стезе добродетели. Поэтому я приглашаю вас, а в крайнем случае даже приказываю, действовать в этом смысле с неукоснительностью и неуклонностью. Само собою, однако ж, разумеется, что если бы в районе ваших действий находились лица, не имеющие собственности, то нет нужды заставлять их приобретать зѐмли или дома̀, но вы можете и даже должны требовать, чтобы лица эти, взамен обладания собственностью, утешали себя уважением таковой.

В-четвертых, я желал бы, чтоб вы как можно деятельнее сносились между собой и сообщали друг другу результаты ваших личных наблюдений. А еще лучше бы, если бы вы, хотя раз в месяц, собирались здесь, у меня, для совместного обсуждения возникающих в вашей практике вопросов и для получения от меня обязательных для вас разрешений и наставлений. Господа! я сам ничего больше, как первый урядник вверенного мне стана, и хотя в качестве станового пристава стою во главе вашей дружины, но пользуюсь моим титулом лишь для того, чтобы, подобно недавно встретившемуся со мной на станции генералу Фарафонтьеву, объявить вам: и я и вы — одна семья! Все мы под богом ходим, все тщетно спрашиваем

себя: что сей сон значит? Будем же действовать единодушно и единомысленно! и встанем грудью против общего врага!

Засим, что касается до прочих обывателей, то прошу вас дать мне время осмотреться, прежде нежели я решу, как с ними поступить. Теперь же скажу кратко: есть обыватели *благо*намеренные и есть *неблаго*намеренные, есть *благо*надежные и есть *неблаго*надежные. Подобно тому как и государства: бывают государства *благо*устроенные, но бывают и совсем расстроенные. Все это, конечно, выяснится по мере ознакомления моего с здешнею местностью; а до тех пор предлагаю вам одно: действуйте неукоснительно, но приберегите решительный натиск, покуда я, обнажив меч, не встану перед вами с кличем: горе строптивым!

Вот все, что я имел вам сказать для первого знакомства. Кажется, не забыл ничего. Но если бы вы встретили в моих словах повод для превратных толкований, то прошу обращаться ко мне за разъяснениями: двери моей квартиры всегда будут открыты для вас. Мне даже приятно будет вас видеть сколь возможно чаще, потому что урядник, в ожидании разъяснений, может помочь моей прислуге нарубить дров, поносить воды и вообще оказать услугу по домашнему обиходу.

Прощайте, господа! Передайте мой привет сотским, и да благословит бог наши общие начинания!

Господа рассыльные! покажите пример!»

По этому слову произошло нечто умилительное. Рассыльные, в числе шести человек, взялись за руки и стройно запели «ура!»; урядники подхватили. Мы (я, батюшка и трое кабатчиков), стоявшие тут в качестве посторонних зрителей, тоже увлеклись и, взявши друг друга за руки, с пением «ура!» три раза прошлись взад и вперед по селу.

В этот день кабатчик Прохоров безвозмездно угощал урядников огурцами с квасом.

Замечательно, что тот же Прохоров, расставаясь со мною и намекая на то место в речи станового пристава, где говорилось о троякого рода содействии, сказал:

— А вас, господин, по второму нумеру зачислили!

— А может случиться, что и по третьему! — не без ехидства присовокупил присутствовавший при этом другой кабатчик, купец Колупаев.

Хотя мнения кабатчиков и не имели, в данном случае, официального характера, но нервы мои были до того возбуждены, что мне почудилась в них целая программа. В самом деле, ду-

малось мне, по какому нумеру зачислил меня Грацианов: по второму или по третьему? На первый нумер я, конечно, и сам не претендовал — куда уж мне за кабатчиками гнаться,— но вот во второй... ах, хорошо, кабы во второй попасть! И вдруг — в третий!!! Правда, он сам дал мне слово, что жизнь моя не будет неожиданным образом прервана, но ведь недаром гласит история, что по нужде и закону премена бывает — кто же может поручиться, что и относительно меня не представится такой нужды?

Под влиянием этой горькой мысли я начал задумываться и хиреть и все чаще и чаще обращал взоры в ту сторону, где благоденствовал беспечальный купец Разуваев. Вот кабы сбыть ему Монрепо, и со всеми потрохами: и с земским цензом, и с политическим будущим, и с перспективою пользоваться дружеским расположением станового пристава! Вот так бы шутка была!

Между тем Грацианов не только не лишал меня своего покровительства, но все больше и больше сближался со мною. Обыкновенно он приходил ко мне обедать и в это время обменивался со мной мыслями по всем отраслям сердцеведения, причем каждый раз обнадеживал, что я могу смело быть с ним откровенным и что вообще, покуда он тут, я не имею никакого основания трепетать за свое будущее.

Я должен сказать правду, что собеседник он был вообще чрезвычайно приятный. Не вдруг раскрыл он мне свою душу, но все-таки сразу дал понять, что он либерал, а иногда даже обнаруживал такое парение, что я подлинно изумлялся смелости его мыслей. Так, например, однажды он спросил меня, как я думаю, не пора ли переименование квартальных надзирателей в околоточные распространить на все вообще города и местечки империи, и когда я ответил, что нахожу эту меру преждевременною, то он с большою силою и настойчивостью возразил: а я так думаю, что теперь именно самая пора. В другой раз, он как бы мимоходом спросил меня, какого мнения я насчет фаланстеров, и когда я выразился, что опыт военных поселений достаточно доказал непригодность этой формы общежития, то он даже не дал мне развить до конца мою мысль и воскликнул:

— А я, напротив того, полагаю, что если бы военные поселения и связанные с ними школы военных кантонистов не были упразднены, так сказать, на рассвете дней своих, то Россия давно уж была бы покрыта целою сетью фаланстеров, и мы были бы и счастливы и богаты! Да-с!

Разумеется, я слушал эти рассуждения и радостно изумлялся. Не потому радовался, чтобы самые мысли, высказанные

Грацпановым, были мне сочувственны — я так себя, страха ради иудейска, вышколил, что мне теперь на все наплевать,— а потому, что они исходили от станового пристава. Но по временам меня вдруг осеняла мысль: зачем, однако ж, он предлагает мне столь несвойственные своему званию вопросы, и, признаюсь, эта назойливая мысль прожигала меня насквозь.

Однажды он засиделся у меня после обеда дольше обыкновенного и, начав с утопических мечтаний о том, как было бы хорошо, если бы в обществе не существовало разделения на богатых и бедных, кончил, разумеется, тем, что дал полный ход своей искренности.

— Скажу вам откровенно,— сознался он,— терпеть не могу я этих буржуа, хотя, по обязанностям службы, и должен их поддерживать. Деньжищ у них пропасть — это правда, но ни благородных манер, ни благородных чувств, ни порядочных привычек — ничего! Даже едят безобразно. Зазвал меня, например, на днях к себе кабатчик Колупаев обедать, и представьте, чем угостил! Во-первых, подали щи с солониной, во-вторых, лапшу, в-третьих, ушнòе из баранины, потом крошево из огурцов и кусочков коренной рыбы с квасом и, наконец, пàпушник с медом... И, в довершение всего, ни вилок, ни ножей. Согласитесь, что если они даже начальство так угощают, то можно себе вообразить, как они едят, когда у них нет гостей! И, что всего прискорбнее, наш милый батюшка, который тоже присутствовал на этом обеде, не только ел за обе щеки, но даже, как мне кажется, спрятал кусок пàпушника за пазуху!

Не скрою, что и на меня перечисление сейчас приведенного обеденного меню подействовало болезненно, но так как при этом, очевидно, не без преднамеренности, проводилась связь между кушаньями и представлением о политической роли буржуазии, то обстоятельство это невольно налагало на меня известную осторожность.

— С своей стороны, я нахожу, что обед был хотя и простой, но сытный,— сказал я,— а это, по моему мнению, главное. Единственный серьезный недостаток, в котором можно упрекнуть перечисленное вами меню,— это обилие супов, сообщающее трапезе однообразие и даже некоторую унылость. Но недостаток этот вовсе не присущ буржуазии, а зависит преимущественно оттого, что Колупаев живет в захолустье, где не имеется в виду образцов...

— Но вы! вы сами? ведь вы в том же захолустье живете, а между тем...

— Я... что ж я? Не забудьте, Милий Васильич, что я полу-

чил воспитание в высшем учебном заведении. Поэтому я, конечно, понимаю, что суп обязателен только в единственном числе и что затем существуют еще соусы, жаркие, пирожные и т. д. Но можно надеяться, что в недальнем будущем все эти представления будут не чужды и буржуазии. Я даже думаю, что и ныне, по мере приближения к центрам цивилизации, буржуазия ведет себя несколько иначе, нежели Колупаев. Так что, например, Поляков, Кокорев, Губонин — ну, я готов держать пари, что Поляков сморкается не в горсть, а в платок, и притом не в клетчатый бумажный, а в настоящий батистовый, быть может, даже вспрыснутый духами!

— Может быть... может быть-с! — сказал он задумчиво, но потом с живостью продолжал: — Нет! далеко кулику до Петрова̀ дня, купчине до дворянина! Дворянин и маленькую рыбку подаст, так сердце не нарадуется, а купчина тридцатипудовую белугу на стол выволочет — смотреть омерзительно! Да-с, обидели! обидели в ту пору господ дворян!

Увы! при этом воспоминании я чуть-чуть не выдал себя. Есть у меня зияющая рана, прикосновение к которой всегда находит меня чувствительным и отзывчивым. Эта рана — воспоминание о дворянской обиде.

— Ах, как обидели! — воскликнул я, простирая руки... Но, взглянув на него, опомнился: по всему его лицу бродила какая-то сомнительная улыбка.

— То есть, лучше сказать, не обидели,— продолжал я уже спокойнее,— а каждому воздали должное. Прежде у нас была одна опора — дворяне, нынче две опоры — дворяне и буржуа. Стало быть, мы не потеряли, а приобрели.

— А про мужичка-то и позабыли?

— И мужичок — тоже опора,— согласился я.

— Нет-с, не «тоже опора», а самая настоящая опора — вот как-с! потому что мужичка в какую сторону хочешь, туда и поверни.

— И с этим согласен.

— По секрету скажу вам: хоть это и не входит в круг моих обязанностей, но, по убеждениям моим,— я демократ! А вы?

— Что касается до меня, то я никогда об этом не думал. Вообще, я живу не думаючи — так по нынешнему времени удобнее. Но ежели начальству угодно...

— Начальству! но разве начальство где-нибудь, когда-нибудь сознавало свои истинные пользы?!

Это было уже слишком. Я почувствовал, что еще минута — и мы вступим на такую покатость, с которой легко можно спуститься в самую преисподнюю. Поэтому я разом пресек недостойный разговор, с силой воскликнув:

— Нет! с этим я никогда не соглашусь! Слышите, Грацианов! никогда! никогда!

Я помню, после этого разговора я целый вечер был беспокоен и все испытывал себя, не проврался ли я в чем-нибудь. И хотя совесть моя оказалась совсем чистою, но все-таки я долго ночью ворочался с боку на бок, прежде нежели сон смежил мои очи.

Но, увы! чем чаще мы сходились, тем скабрезнее и скабрезнее делались наши собеседования. Ни одного краеугольного камня не оставил он без исследования, и обо всех отозвался с одинаковым ехидством. О браке, согласно с определением присяжного поверенного Пржевальского, выразился, что это могила любви; о собственности сказал, что область ее «в настоящее время» слишком сужена, что надо расширить ее пределы, допустив приток свежих элементов, хотя бы, например, казнокрадства, причем указывал на купца Разуваева, который поставкою гнилых сухарей приобрел себе блаженство, и т. д. О религии пробормотал что-то такое, от чего у меня уши разом завяли, а о начальстве...

Хотя мое положение во время этих разговоров было очень выгодное, потому что мне приходилось только защищать, но наконец мне так наскучило постоянно выслушивать это бюрократическое сквернословие, что я решился в свою очередь испытать его.

— Скажите, пожалуйста, Милий Васильич,— обратился я к нему,— отчего же вы в речи, обращенной к урядникам, утверждали совершенно противное?

— Странный вопрос! — ответил он мне, нимало не смущаясь,— но разве я имею право быть откровенным с урядниками? Я откровенен с начальством — потому что оно поймет меня; я откровенен с вами — потому что вы благородный человек... Но с урядниками... Извините меня, я даже удивляюсь вашему вопросу...

— Хорошо-с. А помните, когда я исповедовался перед вами при батюшке?..

— И тогда существовали те же самые причины. «При батюшке»! Но что такое батюшка?

— Извольте, согласен и с этим. Но надеюсь, что теперь вы убедились, что я совсем не разделяю тех воззрений, которые, по-видимому, исповедуете вы?

— Да-с, убедился-с... хотя и с болью в сердце, но... убедился-с!

— Ах, Милий Васильич! как хотите, голубчик, а вы для меня сфинкс!

— К сожалению, я совсем не сфинкс, а только становой

пристав! — отвечал он печально, как бы подразумевая при этом: будь я сфинкс, давно бы ты узнал, как Кузькину мать зовут!

— Но заклинаю вас именем всего священного! Ответье мне откровенно: врете вы или нет? — воскликнул я, почти не помня себя от страха.

— Вы меня оскорбляете, наконец! — ответил он, взвиваясь во всю длину своего роста,— хоть я и не что иное, как становой пристав, но скажу вам от души: для благородного человека это даже больно... «Врете вы или нет?»... Ах!

Несколько дней он как будто будировал и не ходил ко мне. В это время из кухни начали долетать до меня звуки гармоники, и я, не без удивления, узнал, что они извлекаются каким-то вольнопрактикующим незнакомцем. Увы! Этот загадочный для меня человек настолько коротко сошелся с моей прислугой, что не только ел и пил, но даже по временам ночевал у меня на кухне... И я ничего не знал об этом! Разумеется, это меня встревожило, и я несказанно обрадовался, когда Грацианов после недельной разлуки опять в обеденный час явился в моей столовой.

— Слушайте! — обратился я к нему,— у меня в кухне поселился какой-то незнакомец... скажите, могу ли я, по крайней мере, запретить ему играть на гармонике? Я не выношу этого инструмента.

— Кто же это?! — удивился он.

— Вероятно, вы очень хорошо знаете, и кто и зачем.

— Зачем? — повторил он за мной и вслед за тем залился добродушным смехом,— да очень понятно зачем! Наверное, у вас на кухне лишние куски остаются, так вот... Ах, все мы говядинку любим! — прибавил он со вздохом,— но, разумеется, ежели вы протестуете...

— Нет, я не протестую. Говядина и даже телятина... не в том дело! Но я желаю уяснить себе следующее: не должен ли я считать пребывание постороннего человека в моей кухне за нарушение неприкосновенности моего очага?

— Нисколько.

— Очень рад, что таково ваше мнение. Садитесь, пожалуйста, и будем обедать.

— Но, может быть, вы еще сомневаетесь? — успокоивал он меня,— в таком случае скажу вам следующее: человек, о котором вы говорите, есть не что иное, как простодушнейшее дитя природы. Если вы его попросите, то он сам будет бди-

тельно ограждать неприкосновенность вашего очага. Испытайте его! потребуйте от него какой-нибудь послуги, и вы увидите, с каким удовольствием он выполнит всякое ваше приказание!

Одним словом, он вновь успокоил меня. Наши отношения возобновились, и я тем скорее забыл недавние недоразумения, что по части краеугольных камней я, в сущности, не уступил бы самому правоверному из становых приставов. В одном только я опять не остерегся — это по вопросу о дворянской обиде.

— Обидели! — восклицал я,— так обидели, что даже в истории не бывало примеров более горькой обиды! В истории — понимаете? — в истории, которая потому только и признается поучительною, что она сплошь из одних обид состоит!

Затем я закусывал удила и начинал доказывать. Доказывал горячо, с огоньком и в то же время основательно. Во-первых, нас не спросили; во-вторых, нас не вознаградили за самое главное... за наше право! в-третьих, нас поставили на одну доску... с кем!!! в-четвертых, нам любезно предоставили ликвидировать наши обязательства; в-пятых, нас живьем отдали в руки Колупаевым и Разуваевым; в-шестых...

Хорошо, однако ж, что я, в пылу доказательств, имею привычку от времени до времени взглядывать на моего собеседника. И вот однажды, подняв глаза на Грацианова, я увидел, что все лицо его светится улыбкою.

— Чему вы смеетесь? — воскликнул я на этот раз довольно грубо, потому что решился наконец вывести эти улыбки на свежую воду.

Однако он и тут очень ловко вывернулся.

— Тому и смеюсь, что наконец-то и вы убедились,— сказал он.— Помните наш недавний разговор? Я говорил, что обидели господ дворян, а вы утверждали, что не обидели, а только воздали каждому должное... Радуюсь, что, по крайней мере, хоть теперь...

Но я уже не верил коварным оправданиям и с запальчивостью ответил:

— Нет, нет! не тому вы смеялись, а совсем другому... Вы думаете, что я наконец проговорился... ну, так что ж! Ну, обидели! допустим даже, что я сказал это! Ну, и сказал! Ну, и теперь повторяю: обидели!.. что̀ ж дальше? Это мое личное мнение — понимаете! мнение, а не поступок — и ничего больше! Надеюсь, что мнения... ненаказуемы... черт побери! Разве я протестую? разве я не доказал всею своею жизнью... Вон незнакомец какой-то ко мне в кухню влез, а я и то ни слова не говорю... живи!

Одним словом, неуместною своею горячностью я чуть было не довел дело до размолвки. К счастию, он выказал в этом случае замечательное самообладание и, вместо того чтоб обидеться моими подозрениями, начал очень мило и ловко меня урезонивать. Говорил ласковые слова, и притом не на дьячковский манер, без знаков препинания, а тепло, сердечно, с очевидным участием. Просил довериться ему, убеждал, что хотя лично и не имеет чести называться дворянином, но всегда сочувствовал дворянской обиде... И вдруг, в то самое время, когда сердце мое уже начало раскрываться навстречу его речам, он совершенно неожиданно присовокупил:

— А что, попротестовать-то, чай, все-таки хочется?

Это уж было такое явное подстрекательство, что я не выдержал.

— Никогда! — ответил я решительно и холодно.

— Чего уж там: никогда! по глазам вижу, что хочется! хочется! хочется!

— Повторяю вам: никогда!!!

— Но почему же, наконец?

— Потому, во-первых, что протест несочувствен для меня лично, а во-вторых, потому что он не согласуется с нашими традициями. Знайте, сударь, что наши предки могли свàриться друг с другом, могли выщипывать друг у друга бороды по волоску, но протестовать... не могли! нет! никогда!

Я не без достоинства встал из-за стола и удалился в кабинет, оставив его на досуге размыслить, насколько имела успеха, по отношению ко мне, его пресловутая «система вопрошения».

И вот однажды он пришел ко мне утром и, не говоря худого слова... поцеловал меня!

— Давно уж я выжидаю этого момента и наконец теперь могу исполнить мое давнишнее и искреннее желание! — воскликнул он, облизывая губы.

Разумеется, я смотрел на него испуганными глазами.

— Не удивляйтесь,— продолжал он,— и выслушайте меня. При самом вступлении моем в должность, услышав от батюшки о ваших опасениях, я сразу принял в вас самое горячее участие. После того вы лично подтвердили мне эти опасения, причем чистосердечно во всем сознались, и это еще больше меня тронуло. Я решился устроить вашу жизнь настолько прочно, чтоб вы не могли иметь никаких сомнений насчет ее непрекратимости. Но, разумеется, по долгу службы, я должен

был предварительно убедиться, что вы действительно этого заслуживаете. С этою целью я, по обыкновению, прибегнул к системе вопрошения и теперь, после месячного испытания, могу, положа руку на сердце, свидетельствовать: вы не только удовлетворили всем моим требованиям, но даже предъявили несколько более, чем я ожидал. Я прикидывался ненавистником буржуазии, но вы доказали мне, что последняя имеет несомненные права на существование. Я облыжно называл себя демократом, но вы благородно мне отказали в вашем сочувствии по этому предмету. Я кощунственно утверждал, что начальство само не сознает своих польз, но вы с негодованием отвергли сами предположение о таковом несознании. Когда же я с притворным участием отнесся к дворянской обиде, то вы хотя и не отрицали таковой, но при этом выказывали такую беззаветную покорность судьбе, которая неоднократно вызывала на мои глаза слезы умиления. Наконец, сознаться ли до конца? Я командировал к вам на кухню особого доверенного человека, с тем чтобы он собрал под рукой вернейшие о вас сведения, и добытый этим исследованием результат представляется в следующем виде: никогда в целом околотке не видали столь твердого в бедствиях землевладельца, как вы! Самые кабатчики — и те о том с умилением засвидетельствовали. Итак, отныне все недоразумения кончены. Вы — наш, и мы — ваши!

Высказавши это, он, конечно, ожидал, что я брошусь в его объятия; но я молчал. Тогда он продолжал:

— Забыл. Вы даже мне лично оказали неоцененную услугу, разъяснив разницу, которая существует между помышлениями обывателей и их поступками. Это в значительной степени упрощает задачи внутренней политики, хотя, с другой стороны, в такой же степени умаляет их блеск. Во всяком случае... благодарю!

Он протянул ко мне обе руки, но я с самого начала этой сцены до того растерялся, что руки эти так и остались протянутыми в пространстве. Тогда он фамилиарно потрепал меня по плечу и произнес:

— Привыкнете, друг мой, привыкнете!

В тот же день кабатчик Колупаев пригласил меня к себе на вечёрку, предупредив, что у него соберется вся наша сельская интеллигенция для игры в стуколку.

И я был там, играл с Грациановым и другими гостями в стуколку, проиграл целую уйму пятаков, говорил компли-

менты кабатчице Колупаевой, ухаживал за ее дочкой, пил водку, закусывал рыжей икрой, а за ужином ел говяжий студень с хреном. Вообще по оказанному мне радушному приему я убедился, что кабатчики наконец примирились со мной и допустили меня в свою среду. Нет сомнения, что я был обязан этим Грацианову.

После этого у нас началось настоящее веселье, и Грацианов оказался истинным мастером по части соединения общества. Вечера следовали за вечерами, сначала у кабатчика Прохорова, потом у другого кабатчика, Осьмушникова, а наконец, я и сам задал пир на весь мир. Мало того: когда Грацианов по секрету сообщил мне, что ему нравится дочка Колупаева, то я охотно принял участие в сватовстве и очень ловко выведал у родителей, что за невестой будет дано пятьсот рублей деньгами и, кроме всякого платья, лисий «монтон», четыре перины, два самовара и мериносовый платок.

Но жизнь моя уже была надломлена: я каждый день ожидал, что Грацианов опять поцелует меня. Не то чтобы мне были антипатичны собственно административные поцелуи, но, будучи характера нелюдимого и малообщительного, я вообще не имею к поцелуям пристрастия.

И вот я вспомнил, что в губернии служит, в качестве очень авторитетного лица, один из моих товарищей по школе, и отправился в город с целью во что бы то ни стало разъяснить себе вопрос: имеет ли право Грацианов целовать меня по своему усмотрению? Мой старый друг очень благосклонно выслушал всю историю моих сношений с Грациановым и все действия последнего нашел в высшей степени легкомысленными. Во-первых, он не имел права принимать мою исповедь и, во-вторых, еще меньшее право имел подвергать меня испытанию. Он просто-напросто должен был ожидать поступков.

— Что же касается до поцелуев,— прибавил мой друг,— то я ничему другому не могу приписать это, как дурной привычке, приобретенной им, вероятно, еще в училище для детей канцелярских служителей.

Но этого мало: он убедил меня, что в настоящее время порядочный человек не только не имеет причин опасаться внезапных жизненных метаморфоз, но даже обязывается жить для славы своего отечества.

— Ты сам виноват, душа моя,— сказал он,— с одной стороны, ты слишком мрачно смотришь на вещи, а с другой — чересчур уж смирен и не выказываешь ни малейшей самостоятельности. Будь тверже, голубчик, и живи! Живи, потому что и твоя жизнь еще может быть полезною.

И я живу.

Мало-помалу тревога, возбужденная во мне появлением на нашем сельском горизонте Грацианова, улеглась. Да ежели говорить по правде, и тревожного тут ничего не было, и только исключительные условия, составляющие мою личную особенность, могли содействовать возведению такого пустого факта на степень переполоха. Дело в том, что у меня с малых лет напугано воображение, и напугано, надо сказать правду, начальством. Всю жизнь я ничего другого не видел перед собою, кроме начальников; всю жизнь мне твердили: тупа арифметика, косноязычна грамматика, ежели нет в сердце спасительного начальственного трепета. Сначала я смотрел на родителей, как на начальство; потом поступил в заведование воспитателей, которые тоже надувались и говорили: мы — ваше начальство! а наконец, и вправду попал начальству в руки. Ну, натурально, испугался. Напоследях спрятался в Монрепо и думал: уж тут-то меня не настигнет начальственный взор — и вдруг Грацианов!..

Lui! toujours lui! [1]

Но, в сущности, повторяю, все эти тревоги — фальшивые. И ежели отрешиться от мысли о начальстве, ежели победить в себе потребность каяться, признаваться и снимать шапку, ежели сказать себе: за что же начальство с меня будет взыскивать, коли я *ничего не делаю*, и ежели, наконец, раз навсегда сознать, что и становые и урядники — все это нечто эфемерное, скоропреходящее, на песце построенное (особливо, коли есть кому пожаловаться в губернии), то, право, жить можно. Умирать же и подавно ни от кого запрета нет...

А умирать — пора. Не умереть, а именно умирать, освобождаться от жизни постепенно, непостыдно, сладко. Среди царящей суматохи, где слышатся голоса только бесчисленного множества темпераментов, где нападающие не знают, на кого они нападают, а защищающиеся — от кого они обороняются, где нет речи об идеале, а мечется в глаза только обнаженный факт борьбы,— в такой суматохе ничего лучшего не придумаешь, как схорониться в укромное место и там — начать умирать.

«Там», то есть в Монрепо. Нигде не найдется, для самого прихотливого умирания, такого простора, такой тишины, такой безусловной изолированности; нигде нельзя так незаметно и естественно окунуться в область неизвестного. И ежели я говорю, что в качестве усыпальницы Монрепо представляет

[1] Он! и здесь он!

собою нечто ни с чем не сравнимое и исключительное, то говорю это именно по сущей совести, а совсем не в виде рекламы. Мало того, я вполне искренно утверждаю, что наши фрондирующие помещики слишком мало принимают в расчет это свойство принадлежащих им Монрепо и только поэтому так дешево сбывают их всевозможным хищникам новейшей формации, которые спешат обратить их в кабаки.

Прежде всего, как на отличнейшую особенность Монрепо, я могу указать на полнейшее отсутствие утешений медицины. Я не отрицаю заслуг врачебной науки и ее служителей, но мне кажется, что ежели раз человек решил, что жить довольно, то, при известной дозе порядочности, даже не совсем прилично обороняться от смерти. Пускай люди, исполненные цветения и сил, мечтают о жизни — это их право; человек умирающий, в видах собственного ограждения, должен забыть и о цветении, и о силе, и вообще о каких бы то ни было правах на жизнь. Единственное баловство, которое ему разрешается,— это по возможности устроить удобную обстановку для предстоящего умирания. А в этом смысле, опять-таки повторяю, Монрепо неоцененно. В городе никак не выдержишь, непременно начнешь обороняться. Обратишься к человеку науки, который затормозит естественный процесс умирания, подольет в лампаду чего-то не настоящего, а «заменяющего», и заставит ее лишний срок чадить. В Монрепо подобное малодушие уже по тому одному немыслимо, что там нет ни мужей науки, ни «заменяющих» снадобьев. Обитатель Монрепо потухает сам собой, естественно, неизбежно. Потухает с отрадным убеждением, что последние его мерцания не отравили окрестности запахом злоуханной гари, которая, при других, менее благоприятных условиях, непременно вконец измучила бы человека, заменив подлинную жизнедеятельность искусственным калечеством.

Но, сверх того, истинно «сладкое» умирание возможно только под условием полной и невозмутимой тишины. И этого условия ни в городе, ни даже в деревне не добудешь, а найдешь в одном Монрепо. Везде царит либо рабочая суета, либо разгул; наконец везде отыщутся друзья, люди, принимающие участие, любопытные. Только в Монрепо нет ни работы, ни разгула, ни друзей, ни любопытных — разве это не блаженство? Ничто не шелохнется кругом, ни один звук не помешает естественному потуханию. Особливо зимой. Монрепо, потонувшее в сугробах снега,— да это земной рай!

Природа оцепенела; дом со всех сторон сторожит сад, погруженный в непробудный сон; прислуга забралась на кухню, и только смутный гул напоминает, что где-то далеко проис-

ходит галдение, выдающее себя за жизнь; в барских покоях ни шороха; даже мыши — и те беззвучно перебегают из одного угла комнаты в другой. Сидишь себе в кресле один-одинешенек или бродишь усталыми ногами взад и вперед по запустелой анфиладе — и чувствуешь, ясно чувствуешь, как постепенно внутри у тебя тает и погасает. По совести говорю: слаще этого чувства нет. К нему можно пристраститься до упоения, с ним можно возвыситься до одичалости. Даже пропинационная привилегия — и та не может идти в сравнение с этой прекраснейшей привилегией постепенного умирания среди сладчайшей тишины.

Нам, людям тридцатых, сороковых и иных годов, это в особенности понятно, потому что с нами в последнее время случилось нечто не совсем обыкновенное. Всё-то мы жили да жили, и вдруг потеряли что-то самое нужное, и разом сделались неспособными принимать участие в делах и вещах современности. Я знаю, что и между нами найдутся личности, которые не прочь еще похорохориться, устроить недоразумение и погарцевать перед застигнутой врасплох толпой в качестве заправских деятелей; но большинство отлично понимает, что являться в публику с запасом забытых слов — именно значит только длить бесплодные недоразумения. Положим, что эти выцветшие слова в былое время были полны содержания и освещали жизнь, но какое дело до них современности? В былое время они были и хороши и необходимы, а теперь...

Когда я начинаю думать о современности, то, признаюсь, она представляется мне не иначе, как в виде ящика с двойным дном. В котором дне обретается «настоящая штука» — поди угадай! Да и какая еще «штука» — может быть, райская птица, может быть, крокодил? И помоложе, половчее нас люди — и те не угадывают, а только поневоле как-нибудь изворачиваются, наудачу хватаются за первое, что под руку попадет. Именно поневоле, потому что эти люди уже фаталистически «обречены» жить, а стало быть, и изворачиваться. А мы обречены умирать, и следовательно, от угадываний свободны. Но, по-моему, это-то именно и есть настоящее благо. Это тем более благо, что, всмотревшись пристальнее в проносящуюся мимо нас сутолоку современности, по совести, нельзя не воскликнуть: «Ах, как бесконечно-мучительна должна быть роль деятеля среди этой жизни с двойным дном!»

Да, такая жизнь даже более нежели мучительна, она постыдна. Перед глазами мечется какая-то бесконечная фантастическая сказка: не разберешь, что тут действительность и что — сонное видение. Наиреальнейшие, с первого взгляда,

факты — и те являются в сопровождении таких подозрительных околичностей, которые отнимают у них все признаки подлинной реальности. Все окружающее, вся жизнь — все служит источником самых язвительных вопросов, и, что всего мучительнее, ни на один из этих вопросов вы не найдете нигде вполне вразумительного ответа. Я мог бы назвать здесь целую свиту вполне несомненных и доказательных фактов, которые несомненно подтвердили бы и объяснили мою мысль, и тем не менее не называю их. Почему же я не называю их? А потому именно, что всечасно и всеминутно ощущаю себя защемленным между двойным дном. Ведь все равно, говорю я себе, из моих указаний ничего не выйдет, так лучше уж я... ах! какая масса тут малодушия, предательства, лганья!

Но ежели немыслимы определенные ответы, то очевидно, что немыслимы ни правильные наблюдения, ни вполне твердые обобщения. Ни жить, стало быть, нельзя, ни наблюдать жизнь, ни понимать ее. Везде — двойное дно, ввиду которого именно только изворачиваться можно или идти неведомо куда, с завязанными глазами. Представьте себе, что вы нечаянно попали в комнату, наполненную баснописцами. Собралось множество Езопов, которые ведут оживленный разговор — и все притчами! Ясно, что тут можно сойти с ума.

И вот, для того чтобы не быть обязанным ни жить, ни понимать жизнь, ни говорить притчами, самое лучшее дело — это затвориться в Монрепо. А если при этом и самая охота к жизни пропала, то это уж и совсем хорошо. Правда, что есть у нас, культурных людей, слабость баловаться журналами и газетами, которые все-таки более или менее препятствуют полному забвению жизни, но тут уже необходимо принять героические меры. А именно: разом прекратить доступ для всего, что напоминает о книгопечатании и сопряженных с ним учреждениях. В противном случае двойное дно проникнет и в Монрепо.

Ибо у жизни, снабженной двойным дном, и литература не может быть иная, как тоже с двойным дном. Газеты, например, положительно могут измучить. Помещая на столбцах своих факты, по-видимому, самые обыденные, они будут ежедневно пробуждать в отшельнике целый рой томительных сновидений. Произвели, например, коллежского советника Растопырю за отличие в следующий чин — кажется, что̀ может быть проще, обыденнее этого известия? А между тем вдумайтесь в него, и вы удивитесь, какой бесконечный ряд томительнейших вопросов поднимется перед вами по его поводу! Во-первых, вопросы высшего порядка. Подлинно ли Растопыря заслужил производство в следующий чин? Не было ли тут

интриги, непотизма, лакомства, не скрывается ли за этим фактом ходатайство Гулак-Артемовской? Все это — вопросы важные, существенные, ибо, при утвердительном ответе на них («да, по ходатайству Гулак-Артемовской»), воображению представляется картина развращения нравов, а при ответе отрицательном — картина чистоты нравов. Согласитесь, что для патриота своего отечества это далеко не безразлично. Затем опять вопросы: сумеет ли Растопыря в новом чине заслужить то доверие начальства, которое он умел заслужить в старом чине? каких облегчений вправе ожидать от него отечество, буде он и впредь, с такою же неуклонностью, будет подвигаться по лестнице почестей и отличий? А наконец, и вопросы порядка низшего, личного. Каким о̀ком, милостивым или немилостивым, взглянет Растопыря на Монрепо и скрывающегося в нем отшельника? не найдет ли он, что самый факт отшельничества есть факт подозрительный, влекущий за собой лишение хотя и не всех — у Растопыри доброе сердце — то хотя некоторых прав состояния? И ежели это факт подозрительный и влекущий, то... И так далее, и так далее.

Какие ответы я найду на эти вопросы в газетах? положительно никаких! Так зачем же мне знать об этом производстве? зачем я буду заставлять мою мысль опускаться куда-то на второе дно, где этот скромно выглядывающий с газетного столбца Растопыря, быть может, явится в таком угрожающем виде, который все мое существо наполнит испугом? И, что всего важнее, испугом напрасным, ибо я знаю наверное, что Растопыря — малый доброжелательный, который если и позволит себе лишить меня некоторых прав состояния, то не иначе, как в видах моей же собственной пользы.

А потом пойдут газетные «слухи»... ах, эти слухи! Ни подать руку помощи друзьям, ни лететь навстречу врагам — нет крыльев! Нет, нет и нет! Сиди в Монрепо и понимай, что ничто человеческое тебе не чуждо и, стало быть, ничто до тебя не касается. И не только до тебя, но и вообще не касается (в Монрепо̀, вследствие изобилия досуга, это чувство некасаемости как-то особенно обостряется, делается до болезненности чутким). А ежели не касается, то из-за чего же терзать себя?

Нет, все это надобно прекратить. Не нужно ни журналов, ни газет, тем больше не нужно, что нынче в любом деревенском кабаке, в любой «портерной» найдется эта отрава, так что совсем от жизни все-таки не убежишь. Пойдет в кабак кто-нибудь из присных, и непременно или сам что-нибудь вычитает, или вдоволь наслушается. Потом расскажет в людской, а напоследок проберется в комнаты и там начадит. По мнению моему, этим путем получать вести из мира живых, во

всяком случае, менее мучительно, нежели сообщаться с ним посредством книгопечатания. Ибо, слушая, как сын природы несет ахинею, вы все-таки имеете возможность хоть тем утешить себя, что, может быть, он и переврал.

Именно так я прошлой зимой и поступил. Еще 31-го декабря я чувствовал себя в компании баснописцев, и вдруг с 1-го января наступила невозмутимая тишина. Все это взбаламученное море, которое еще вчера с таким бесцельным гвалтом бушевало в берегах, сегодня улеглось как бы по манию волшебства. Картины, волновавшие кровь, начали сокращаться, таять и исчезать. Сначала исчезли болгаре, потом Афганистан и Зулу́, потом ветлянская интрига, потом еще интрига и еще интрига, а, наконец, и слухи о предстоящем финансовом возрождении... Последние, впрочем, держались несколько упорнее, потому что ведь и умирать не совсем ловко, когда не умеешь ясно ответить на вопрос: что такое рубль? Стало быть, с этой стороны, то есть со стороны мира живых, я совсем квит. Мне скажут, может быть, что отсутствие памятников книгопечатания представляет очень важный пробел в человеческом существовании, потому что и т. д. Но, во-первых, газета «И шило бреет» — разве это памятник? а во-вторых, я ведь не о «существовании» и речь повел. Я говорю об умирании, об одном умирании, а с этой точки зрения, право, лучше не надо.

Вместе с прочими отравляющими жизнь представлениями постепенно начало сглаживаться и представление о Грацианове. Очевидно, моя поездка в губернию смутила его... Он сделался сдержаннее, при встречах не делал мне ручкой, но молча прикладывался под козырек, причем с явно утрированною почтительностью выгибал шею и откидывал назад поясницу. А главное, не только перестал меня испытывать, но даже совсем ко мне не приходил. Только от времени до времени я примечал из окна, что он меланхолически бродил по моему парку, напевая какой-то романс, — вероятно, «Черный цвет». Очевидно, он хотел дать мне почувствовать этим, как он мог бы любить, если бы я только захотел, и как много я потерял, устранившись от его ласк... Я это очень хорошо понимал и, грешный человек, иногда даже готов был выслать ему рюмку водки, но, к счастию, голос рассудка и соблазнительная картина непостыдного умирания восторжествовали над легкомысленными угрызениями совести.

Кабатчики выказали себя несколько упорнее и не так-то легко предоставили меня моей судьбе. Благодаря Грацианову

в период моего легкомысленного переполоха я завязал с ними очень крепкие связи. У всех вообще — пил водку, играл в стуколку и закусывал студнем, а в частности, с некоторыми вступил даже в духовное родство. У Осьмушникова крестил дочку, у Колупаева разыгрывал роль свата, у Прохорова — едва не свел со двора жену (разумеется, этого на деле не было, а были «насмешки», в которых я фигурировал в качестве соблазнителя). Не могу сказать, чтобы я чувствовал себя особенно приятно, когда, бывало, Осьмушников, еще где завидев меня, крикнет: «Здорово, кум!» или Прохоров: «Здорово, свояк!» — но покуда для меня было неясно, имеет или не имеет Грацианов право читать в моем сердце, я крепился и молчал. Теперь, когда начальство меня разуверило и когда мои отношения к Грацианову определились вполне, я, конечно, счел первым долгом дать отпор всем кумовьям и своякам. Но они уже сами не соглашались ретироваться. В особенности же Прохоров долго донимал меня своими дружескими «насмешками». Только что, бывало, я расположусь «умирать», только что сомкнутся мои вежды и слух начнет наполняться тихими шепотами непостыдного угасания, как он уж тут как тут, словно из-под земли вырос. Сначала наполнит дом звуками одышки, потом грузно сядет в кресло, расправит пятерней кудри, оботрет клетчатым платком потное лицо, запалит папироску, дохнет сивухой и начнет шутки шутить.

— Устал,— скажет,— инда задохся. Туков много внутри скопилось. Ну, а ты, свояк, что нос повесил?

— Да так...

— Чего «так»! Чай, все по чужим женам тоскуешь? а?

— Когда же это...

— Нет, погоди! постой! надо правду говорить! кто у меня жену хотел со двора свести? а?

— Но послушайте же наконец...

— Нет, ты постой! погоди! ты вот мне на что ответь: разве это резон? Резон ли мужнюю жену на любовь с собою склонять? Как эти поступки в заповедях-то называются? слыхал? а?

— Слушайте, если вы не прекратите этого разговора, то я...

— То-то «я»! Ну, ты!! Ты!! знаю я, что ты — ты! Ты бы вот рад-радостью в чужом саду яблочко съесть, даже и сейчас у тебя от одного воображения глаза враскос пошли — да на тот грех я сам при сем состою! Ну, мир, что ли! пошутил! давай руку — будет с тебя!

Но в ту минуту, когда я мнил, что он серьезно подает мне руку, он совершенно неожиданно показывал мне шиш, а

иногда и просто брал под мышки и, будучи вчетверо сильнее меня, увлекал в непроизвольный галоп, причем задыхался, хрипел и свистел на весь дом.

Это было ужасно мучительно, но я долго терпел и ни на что не решался. Наконец, однако ж, решился и однажды, когда он приблизился, чтоб взять меня под мышки, я совершенно серьезно плюнул ему в самую лохань. Только тогда он понял, что я — человек солидный и «независимый». Он скромно вытер платком лицо, произнес: «Однако!» — и с тех пор ко мне ни ногой.

Я сознаюсь, что это был с моей стороны очень дурной и наглый поступок, но клянусь, что в ту минуту он вышел сам собой. Защита как-то невольно приняла ту самую форму, в которую с давних пор облекалось нападение. Прохоров насильственно водворялся в моем доме, насильственно заставлял меня выслушивать свои «насмешки», насильственно хватал меня под мышки и увлекал в галоп — и вот я в той же насильственной форме дал ему отпор. Сверх того, я позволяю себе думать, что поступок этот скорее свидетельствует о моей деликатности (с большою, впрочем, примесью робости и слабохарактерности), нежели о прямой грубости. Люди деликатные обыкновенно бывают очень и даже чересчур выносливы. Они долго терпят, допускают и даже поддакивают именно из опасения обидеть, задеть чужое самолюбие. Поддакивают даже тогда, когда уже началось хватание под мышки. И вдруг глаза открываются, и какое-то ужасно подлое и гадкое чувство начинает пронизывать все существо. Но, к сожалению, все это обнаруживается лишь тогда, когда дело уже мучительно обострилось. И вот...

Во всяком случае, я отнюдь не оправдываюсь, а только констатирую, как неприятно и ненадежно положение русского культурного человека, который помнит, что когда-то он занимался «филантропиями», и понимает, что, по нынешнему времени, это составляет неизбываемый грех. Он помнит, понимает и боится. Чего именно боится — он сам определенно сказать не может, но ведь чем неопределеннее подобное чувство, тем оно тяжелее. Главным образом, однако ж, он боится своей беззащитности, неприкрытости и вследствие этого совершенно искренно верит, что и Грацианов, и Осьмушников, и Прохоров могут во всякое время свободно войти к нему в дом и полюбопытствовать: а что, мол, ты там в одиночку каверзничаешь? И вот, когда сумма этих унизительных страхов накопится до nec plus ultra[1], когда чаша до того переполнится,

[1] до крайних пределов.

что новой капле уж поместиться негде, и когда среди невыносимо подлой тоски вдруг голову осветит мысль: а ведь, собственно говоря, ни Грацианов, ни Колупаев залезать ко мне в душу ни от кого не уполномочены,— вот тогда-то и является па выручку дикая реакция, то есть сквернословие, мордобитие, плеванье в лохань, одним словом, все то, что при спокойном, хоть сколько-нибудь нормальном течении жизни мирному гражданину даже на мысль не придет.

Как бы то ни было, но я безмерно обрадовался, что наконец меня охватила со всех сторон бесконечная тишина. Под влиянием этой радости, я совсем утерял из вида, что эти люди необходимо должны злобствовать на меня. Главная цель была достигнута: я очутился один — это было самое существенное. Но этого мало, я сделался почти бесстрашен. Не только позабыл, что под боком у меня сидит Грацианов, но опять вспомнил старое и бросился в филантропии. Начал мечтать, сочинять «промежду себя» реформы, и всё такие, чтобы все разом почувствовали и в то же время никто ничего не ощутил. Сначала, разумеется, мечтал робко, но чем дальше, тем смелее и, наконец, «в надежде славы и добра», пустил такими букетами, что даже стены, слушавшие меня,— и те смекнули, чем пахнет.

Ничто так не увлекает, не втягивает человека, как мечтания. Сначала заведется в мозгах не больше горошины, а потом начнет расти и расти, и наконец вырастет целый дремучий лес. Вырастет, встанет перед глазами, зашумит, загудит, и вот тут-то именно и начнется настоящая работа. Всего здесь найдется: и величие России, и конституционное будущее Болгарии, и Якуб-хан, достославно шествующий по стопам Шир-Али, и, уже само собою разумеется, выигрыш в двести тысяч рублей. Что понравилось, то и выбирай. Ежели загорелось сердце величием России — займись; ежели величие России прискучило — переходи к болгарам или к Якуб-хану. Мечтай беспрепятственно, сочиняй целые передовые статьи — все равно ничего не будет. Если хочешь критиковать — критикуй, если хочешь требовать — требуй. Требуй смело, так прямо и говори: долго ли, мол, ждать? И если тебе внимают туго или совсем не внимают, то пригрозись: об этом, дескать, мы поговорим в следующий раз...

Ужасно! ужасно! ужасно!

Говорю по совести: возможность удовлетворять потребности мечтания составляет едва ли не самую сладкую принадлежность умирания. Мечта отуманивает и, следовательно, устраняет из процесса умирания все, что могло бы встревожить пациента слишком назойливою ясностью. Мечта не ставит в

упор именно *такой-то* вопрос, но всегда хранит в запасе целую свиту быстро мелькающих вопросов, так что мысль, не связанная обязательным сосредоточением, скользит от одного к другому совершенно незаметно. Даже последовательности в работе ее не замечается, хотя связь, несомненно, существует. Но она скрывается в тех моментах забытья, в которое человек непроизвольно погружается под влиянием мысленных мельканий. Это забытье совсем не пустопорожнее, как можно было бы предполагать, и в то же время очень приятное. Мелькнет один предмет, остановит на себе минутное внимание, и почти вслед за тем погрузит мысль в какую-то массу полудремотных ощущений, которые невозможно уловить — до такой степени они быстро сменяются одно другим. Затем вынырнет другой предмет, и непременно вынырнет в последовательном порядке, но так как этому появлению предшествовало «забытье», то определить, в чем заключается «порядок» и что̀ именно обусловило перемену декораций, представляется невозможным. Повторяю: ужасно это приятно. Ходишь, думаешь, наверное знаешь, что нечто думаешь, но что̀ именно — не скажешь. Какая открывается при этом безграничная перспектива приволья, свободы, безответственности! И безответственности не только перед самим собой (это-то не штука), но и перед начальством. Поймите, как это хорошо! Тяжело ведь вечно так жить, чтобы за все и про все ответ держать; нужно хоть немного и так пожить, чтобы ни за что и ни перед кем себя виновным не считать. Хочу — умные мысли мыслю, хочу — легкомысленничаю... кому какое дело!

Тем не менее, как ни мало определенны были мои зимние мечтания, я все-таки некоторые пункты могу здесь наметить. Чаще и упорнее всего, как и следует ожидать, появлялся вопрос о выигрыше двухсот тысяч, но так как вслух сознаваться в таких пустяках почему-то не принято (право, уж и не знаю, почему; по-моему, самое это культурное мечтание), то я упоминаю об этом лишь для того, чтобы не быть в противоречии с истиной. Затем выступали и вопросы серьезные, между которыми первое место, разумеется, принадлежало величию России. Я считаю не лишним изложить здесь главные тезисы моих мечтаний по этому вопросу, заранее, впрочем, извиняясь перед читателем в той неудовлетворительности, которую он, наверное, приметит в моем изложении. Увы! я и до сих пор не могу вместить свободы книгопечатания и вследствие этого иногда чересчур храбрюсь, но в большей части случаев — чересчур робею.

Я знаю, есть люди, которые в скромных моих писаниях усматривают не только пагубный индифферентизм, но даже

значительную долю злорадства, в смысле патриотизма. По совести объявляю, что это — самая наглая ложь. Я уже не говорю о том, что обвинение это очень тяжелое и даже гнусное, но утверждаю положительно, что я всего менее в этом виноват. Я люблю Россию до боли сердечной и даже не могу помыслить себя где-либо, кроме России. Только раз в жизни мне пришлось выжить довольно долгий срок в благорастворенных заграничных местах, и я не упомню минуты, в которую сердце мое не рвалось бы к России. Хорошо там, а у нас... положим, у нас хоть и не так хорошо... но, представьте себе, все-таки выходит, что у нас лучше. Лучше, потому что больней. Это совсем особенная логика, но все-таки логика, и именно — логика любви. Вот этот-то культ, в основании которого лежит сердечная боль, и есть истинно русский культ. Болит сердце, болит, но и за всем тем всеминутно к источнику своей боли устремляется...

Но этот же культ, вероятно, и служит предлогом для обвинений, о которых идет речь. Есть люди (в последнее время их даже много развелось), которые мертвыми дланями стучат в мертвые перси, которые суконным языком выкликают: «Звон победы раздавайся!» — и зияющими впадинами, вместо глаз, выглядывают окрест: кто не стучит в перси и не выкликает вместе с ними? Это — целое постыдное ремесло. По моему мнению, люди, занимающиеся этим ремеслом, суть иезуиты. Разумеется, иезуиты русские, лыком шитые, вскормленные на почве крепостного права и сопряженных с ним: лганья, двоедушия, коварства и проч. Это — люди необыкновенно злые, мстительные, снабженные вонючим самолюбием и злою, долго задерживающею памятью, люди, от которых можно тогда лишь спастись, когда они, вместе с бесконечною злобой, соединяют и бесконечную алчность к ловлению рыбы в мутной воде. Тогда можно от них откупиться, можно бросить им кость в глотку. Но если они с адской злобой соединяют и адское бескорыстие и ежели при этом свою адскую ограниченность возводят на степень адского убеждения — тогда это уже совершенные исчадия сатаны. Они настроят мертвыми руками бесчисленные ряды костров и будут бессмысленными, *пустыми* глазами следить за предсмертными конвульсиями жертвы, которая, подобно им, не стучала в *пустые* перси...

Но отвратим лицо наше от лицемеров и клеветников и возвратимся к Монрепо и навеваемым им мечтаниям.

Я желал видеть мое отечество не столько славным, сколько счастливым — вот существенное содержание моих мечтаний на тему о величии России, и если я в чем-нибудь виноват, то именно только в этом. По моему мнению, слава, поставленная

в качестве главной цели, к которой должна стремиться страна, очень многим сто̀ит слез; счастье же для всех одинаково желательно и в то же время само по себе составляет прочную и немеркнущую славу. Какой венец может быть более лучезарным, как не тот, который соткан из лучей счастия? какой народ может с бо̀льшим правом назвать себя подлинно славным, как не тот, который сознает себя подлинно счастливым? Мне скажут, быть может, что общее счастие на земле недостижимо и что вот именно для того, чтобы восполнить этот недостаток и сделать его менее заметным и горьким, и придумана, в качестве подспорья, слава. Слава, то есть «нас возвышающий обман». Но я — человек скромный; я не дипломат и даже не публицист и потому просто не понимаю, для чего нужны обманы, и кого, собственно, они обманывают. Я думаю, что это пустое и вредное кляузничество — и ничего больше. Ужели человек, смотрящий на мир трезвыми глазами и чувствующий себя менее счастливым, нежели он этого желает,— ужели этот человек утешится тем только, что начнет обманывать себя чем-то заменяющим, не подлинным? Нет, он не сделает этого. Он просто скажет себе: ежели я в данную минуту не столь счастлив (а стало быть, и не столь славен), то это значит, что необходимо употребить известную сумму усилий, дабы законным путем добыть ту сумму счастия и славы, которая, по условиям времени, достижима. Вот и все. А насколько будут плодотворны или бесплодны эти усилия — это уж другой вопрос.

Руководясь этими скромными соображениями, я и в мечтаниях никому не объявил войны и не предпринял ни малейшей дипломатической кампании. А следовательно, не одержал ни одной победы и никого не огорошил дипломатическим сюрпризом. Вообще моя мысль не задерживалась ни на армиях, ни на флотах, ни на подрядах и поставках, и даже к представлениям о гражданском мундирном шитье прибегала лишь в тех случаях, когда, по издревле установленным условиям русской жизни, без этого уж ни под каким видом нельзя было обойтись. Ибо мы и благополучны не можем быть без того, чтобы при этом сам собой не возник вопрос: а как же в сем случае поступали господа чиновники? Но тут-то именно и выяснилась полная доброкачественность моих мечтаний. «Что делали господа чиновники?» — спрашивал я сам себя и тут же, после кратковременного «забытья», ответствовал: «Ходили в мундирах — и больше ничего». Этим простым ответом, мне кажется, исчерпывалось все. И идея необходимости чиновников (ибо благополучие на их глазах созидалось, и они благосклонно допустили его), и идея не необходимости чиновников, ибо, го-

воря по сущей совести, благополучие могло бы совершиться и без них. Впрочем, по скромности моей, я более склонялся на сторону первой идеи. Да и картина выходила совсем особенная, русская. Ходят люди в мундирах, ничего не созидают, не оплодотворяют, а только не препятствуют — а на поверку оказывается, что этим-то именно они и оплодотворяют... Какое занятие может быть легче и какой удел — слаще?

Но ежели раз воинственные и присоединительные упражнения устранены, то картина благополучия начертывалась уже сама собой. В самом деле, что нужно нашей дорогой родине, чтобы быть вполне счастливой? На мой взгляд, нужно очень немногое, а именно: чтобы мужик русский, говоря стихом Державина, «ел добры щи и пиво пил». Затем все остальное приложится.

Если это есть — значит, у мужика земля приносит плод сторицею. Если это есть — значит, страна кипит млеком и медом и везде чувствуется благорастворение воздухов и изобилие плодов земных. Если это есть — значит, деревни в изобилии снабжены школами, и мужик воистину познал, что ученье — свет, а неученье — тьма. Если это есть — значит, казна государева ломится под тяжестью сребра и злата, и нет надобности ни в «выбиваниях», ни в экзекуциях для пополнения казенных сборов. Если это есть — значит, в массах господствует трудолюбие, любовь к законности, потребность тихого жития, значит, массы действительно повинуются не токмо за страх, но и за совесть. Если это есть — значит, за границу везутся заправские избытки, а не то, что приходится сбывать во что бы то ни стало, вследствие горькой нужды: вынь да положь.

Если это есть — значит, у мужика есть досуг, значит, он ведет не прекратительную жизнь подъяремного животного, а здоровое существование разумного существа, значит, он плодится и множится. Если это есть — значит, ку́рное логовище уступило место подлинному жилищу, согласованному с человеческими потребностями. Если это есть — значит, правда и милость царствуют в судах, значит, нечего и судить, так что адвокаты щелкают зубами, а судьи являются в места служения лишь для получения присвоенного им содержания. Если это есть — значит, монополия не впивается когтями в беззащитную жертву и не рвет ее внутренностей. Если это есть — значит, государственная казна не расточается, а государственное имущество охраняется и процветает. Если это есть — значит, рубль равен рублю...

Вот сколько отличнейших представлений заключает в себе такой простой факт, как общедоступность «добрых щей»!

Спрашивается: ужели в целом мире найдется народ, более достойный названия «славного», нежели этот, вкушающий «добры щи» народ?

Кажется, что мечтать на эту тему — ничего? даже Грацианов — и тот, думается мне, не найдет тут «возбуждения пагубных страстей»? Пагубных страстей — к чему? К «добрым щам»?

Итак, я мечтал на тему о величии России. Я всем желал всего доброго, всего лучшего. Чиновнику — чинов и крестов с надписью: «За отдохновение»; купцу — хороших торгов и медалей; культурному человеку — бутылку шампанского и вышедшее в тираж выкупное свидетельство; мужику — «добрых щей». И при этом, как человек, одаренный художественными инстинктами, я так живо представлял себе благополучие этих людей, что они метались перед моими глазами, как живые. Все были поперек себя толще, у всех лица лоснились под влиянием хорошего житья и внутреннего ликования. Но в особенности хорош был мужик, так хорош, что я по целым часам вел с ним мысленную беседу.

— Ну что, милый человек,— спрашивал я,— бунтовать больше не будешь?

— Помилуйте, ваше скородие,— отвечал он,— уж ежели мы во время секуциев — и то, значит, со всем нашим удовольствием, так теперича и подавно нас за эти самые бунты...

При этих словах обыкновенно наступало «забытье» (зри выше), и дальнейшие слова мужика стушевывались; но когда мысленная деятельность вновь вступала в свои права, то я видел перед собою такое довольное и добродушное лицо, что невольно говорил себе: да, этому парню не бунтовать, а именно только славословить впору! Недоимки все с него сложены, подушная подать предана забвению... чего еще нужно! И он славословит воистину; не так, как культурные люди, когда получат подачку — с расшаркиваньем и целованием в плечико,— а скромно и истово, а именно: ест «добры щи» во свидетельство, что сердце в нем играет под бременем благодарности и ликования.

Положительно я утверждаю, что мечтать на эту тему — ничего!

Даже свое Монрепо — и его я как-то сумел пристегнуть к мечтаниям о величии России. Представьте себе, что вдруг, по щучьему велению, по моему хотенью, случился такой анекдот. Мой лес из дровяного неожиданно сделался строевым; мои болота внезапно осушились и начали производить не мох, а настоящую съедобную траву; мои пески я утилизировал и обработал под картофельные плантации, а небольшая

запашка словно сбесилась, начала родить сам-двадцать[1]. (Увы! в мечтах и не такие метаморфозы возможны!) Разве это «не величие России»? И, к довершению всей этой чертовщины, в каких-нибудь ста шагах от моего крыльца прошла железная дорога, которая возит не вывезет произведения Монрепо. Капуста, которую едят петербургские чиновники,— это все моя; белоснежная телятина, которою щеголяет английский клуб по субботам,— тоже моя. Огурцы, морковь, репа, прессованное сено, молочные скопы, кормные индейки — всего пропасть и всё мое. А дрова? а рыба, в изобилии извлекаемая из Финского залива? а прочие произведения природы, их же имена ты, господи, веси? Что̀, если и во всех других Монрепо идет такая же волшебно-производительная галиматья, как и в моем? Что̀, если вдруг воспрянули от сна все Проплёванные, все Погореловки, Ненаедовки, все взапуски принялись рожать, и нет на дорогах проезда от массы капусты, огурцов, редьки и проч.?

Возгордимся мы или не возгордимся тогда? — вот вопрос! Я думаю, однако ж, что не возгордимся, потому что, во-первых, ведь ничего этого на деле нет, а ежели нет ничего, то, стало быть, и во-вторых, и в-третьих, все-таки ничего нет.

Во всяком случае, повторяю вновь: мечтать на эту тему — ей-богу, ничего!

Ничего? но кто же сказал это? Кто же удостоверил, что ничего? А может быть, это-то и есть самое оно... А может быть, тут-то, в этих беспардонных мечтах, и кроется «возбуждение пагубных страстей»! Кто сказал: ничего? Тяпкин-Ляпкин сказал? А подать сюда Тяпкина-Ляпкина! Вы, Тяпкин-Ляпкин, сказали: ничего? И так далее.

Прекрасно. Стало быть, это — не ничего? Так и запишем. Нельзя мечтать о величии России — будем на другие темы мечтать, тем более что, по культурному нашему званию, нам это ничего не значит. Например, конституционное будущее Болгарии — чем не благодарнейшая из тем? А при обилии досуга даже тем более благодарная, что для развития ее не-

---

[1] Один екатеринославский землевладелец уверял меня, что у него пшеница постоянно родит сам-двадцать, и, ввиду моего удивления по этому поводу, присовокуплял, что это происходит оттого, что у них, в Екатеринославле, не земля, а всё целина. Замечательно, что этот самый землевладелец эту самую землю уже лично двадцать лет пашет, но за всем тем не только в объявлениях газетных пишет: продается столько-то десятин «целины», но и сам, по-видимому, верит в подлинность этой «целины»! Точь-в-точь как та легендарная девица, дочь бедных, но благородных родителей, которая будто бы в одно и то же время и сокровище сохранила, и капитал приобрела. Но разве это правдоподобно? *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

обходимо прибегать к посредничеству телеграфа, то есть посылать вопросные телеграммы и получать ответные. Ан время-то, смотришь, и пройдет.

Сказано — сделано. Посылаю телеграмму № 1-й: «Митрополиту Анфиму. Настоятельно прошу ответить, будет ли у вас конституция?» Через четверть часа получен ответ: «Братолюбивому господину Монрепо. Конституция, сиречь устав о предупреждении и пресечении — будет. Анфим».

Не удовольствовавшись этим объяснением, посылаю телеграмму № 2-й: «Благородному господину Балабанову. Экзарх Анфим уведомляет: будет-де у вас конституция, сиречь исправительный устав. Правда ли?» Через четверть часа ответ: «Благородному господину Монрепо. На то похоже. Коллежский асессор Балабанов».

Тогда, чтоб убедиться окончательно, посылаю телеграмму № 3-й: «Благородному господину Занкову. Что̀ же, наконец, у вас будет?» И через новые четверть часа получаю новый ответ: «Будет, что бог даст. Губернский секретарь Занков».

Сличивши эти три телеграммы, я нахожу вопрос о конституционном будущем Болгарии исчерпанным и посылаю четвертую, общую телеграмму: «Митрополиту Анфиму. Пью за болгарский народ!» А через четверть часа получаю ответ: «Братолюбивому господину Монрепо. Не находим слов выразить, сколь для болгарского народа сие лестно. Анфим».

И таким образом, в какой-нибудь час времени — все кончено.

Кажется, что на эту тему мечтать — ничего?

Но если бы и тут оказалось не «ничего», то, делать нечего, возьмем за бока Афганистан. Ужасно меня с некоторых пор интригует Якуб-хан. Коварен, как всякий восточный человек, и в то же время, подобно знаменитому своему отцу, склонен к присвоению государственной афганистанской казны. Пойдет он или не пойдет по следам Шир-Али относительно коварного Альбиона? Ежели пойдет, то, рано или поздно, быть ему водворенным в губернском городе Рязани. Ежели не пойдет, то и тут Рязани ему не миновать. В первом случае — в знак гостеприимства, во втором — в знак забвения бунтов. Но во всяком разе он предварительно вывезет из своего места бесчисленное множество лаков рупий и доставит их в то место, которое ему будет назначено для гостеприимства. Рязань украсится, оплодотворится и в несколько месяцев сделается неузнаваемою. В соборе заблаговестит новый колокол, на пожарном дворе явится новая пожарная труба, а что касается до дамочек, то они изобретут, в пользу Якуб-хана, такое декольте, от которого содрогнутся в гробе кости Шир-Али. Сло-

вом сказать, весь обряд гостеприимства будет выполнен в точности. Но что же затем? — Затем, разумеется, все пойдет обычным порядком. Сначала явится разбитной малый из местных культурных людей и даст рупиям приличествующее назначение; потом начнется по этому случаю судоговорение, и в Рязань прибудет адвокат и проклянет час своего рождения, доказывая, что назначение рупиям дано вполне правильное и согласное с волей самого истца; а наконец, Якуб-хану, в знак окончательного гостеприимства, будет дозволено переехать в Петербург, где он и поступит в ресторан Бореля в качестве служителя...

Нечего и прибавлять, конечно, что русские интересы будут при этом так строго соблюдены, что даже «Московские ведомости» — и те останутся довольны...

Кажется, что на эту тему мечтать — ничего?

Но ежели и это не «ничего», то к услугам мечтателя найдется в Монрепо немало и других тем, столь же интересных и уж до такой степени безопасных, что даже покойный цензор Красовский — и тот с удовольствием подписал бы под ними: «Мечтать дозволяется». Во-первых, есть целая область истории, которая представляет такой неисчерпаемый источник всякого рода комбинаций, сопряженных с забытьем, что сам мечтательный Погодин — и тот не мог вычерпать его до дна. Возьмите, например, хоть следующие темы:

Что было бы, если б древние новгородцы не последовали совету Гостомысла и не пригласили варягов?

Где был бы центр тяжести, если б вещий Олег взял Константинополь и оставил его за собой?

Какими государственными соображениями руководились удельные князья, ведя друг с другом беспрерывные войны?

На какой степени гражданского и политического величия стояла бы в настоящее время Россия, если б она не была остановлена в своем развитии татарским нашествием?

Кто был первый Лжедмитрий?

Если б Петр Великий не основал Петербурга, в каком положении находилась бы теперь местность при впадении Невы в Финский залив и имела ли бы Москва основание завидовать Петербургу (известно, что зависть к Петербургу составляет историческую миссию Москвы в течение более полутора веков)?

Почему, несмотря на сравнительно меньшую численность населения, в Москве больше трактиров и питейных домов, нежели в Петербурге? Почему в Петербурге немыслим трактир Тестова?

Попробуйте заняться хоть одним из этих вопросов, и вы увидите, что и ваше существо, и Монрепо, и вся природа —

все разом переполнится привидениями. Со всех сторон поползут шепоты, таинственные дуновения, мелькания, словом сказать, вся процедура серьезного исторического, истинно погодинского исследования. И в заключение тень Красовского произнесет: «Мечтать дозволяется».

О, тень возлюбленная! не ошибкой ли, однако, высказала ты разрешительную формулу? повтори!

Во-вторых, имеется другая, не менее обширная область — кулинарная. Еще Владимир Великий сказал: «Веселие Руси пити и ясти» — и в этих немногих словах до такой степени верно очертил русскую подоплеку, что даже и доныне русский человек ни на чем с таким удовольствием не останавливает свою мысль, как на еде. А так как объектом для еды служит все разнообразие органической природы, то нетрудно себе представить, какое бесчисленное количество механических и химических метаморфоз может произойти в этом безграничном мире чудес, если хозяином в нем явится мечтатель, охотник пожрать!

В-третьих, в-четвертых, в-пятых... я, конечно, не буду утомлять читателя дальнейшим перечислением подходящих сюжетов и тем. Скажу огулом: мир мечтаний так велик и допускает такое безграничное разнообразие сочетаний, что нет той навозной кучи, которая не представляла бы повода для интереснейших сопоставлений.

Итак, я мечтал. Мечтал и чувствовал, как я умираю, естественно и непостыдно умираю. В первый раз в жизни я наслаждался сознанием, что ничто не нарушит моего вольного умирания, что никто не призовет меня к ответу и не напомнит о каких-то обязанностях, что ни одна душа не потребует от меня ни совета, ни помощи, что мне не предстоит никуда спешить, об чем-то беседовать и что-то предпринимать, что ни один орган книгопечатания не обольет меня помоями сквернословия. Одним словом, что я забыт, совсем забыт.

Внутри дома царила пустота, тишина и одиночество. Вне дома — то же одиночество и та же пустота. По временам парк заволакивался, словно сетью, падающими хлопьями снега; по временам деревья как бы сбрасывали с себя иго оцепенения и, колеблемые ветром, оживали и шевелились; по временам из лесной чащи даже доносился грозный гул. Но взор и слух скоро привыкали и к этим картинам, и к этим звукам. Зимняя природа даже и в гневе как-то безоружна, разумеется, для тех, которых нужда не выгоняет из теплой комнаты. Вот в поле, в лесу — там, должно быть, страшно. Можно сбиться с дороги, подвергнуться нападению волков, замерзнуть. Но в комнате, где градусник показывает всегда один и тот же уро-

вень температуры, где и тепло, и светло, и уютно, все эти морозы и вьюги могут даже подать повод для благодарных сопоставлений.

И не только для благодарных, но и для поучительных сопоставлений. Ибо если хорошо быть совсем обеспеченным от морозов и вьюг, то еще большее наслаждение должен ощущать тот, кто, испытав мороз и вьюгу, кто, проплутав, до истощения сил, по сугробам, вдруг совсем неожиданно обретает спасение в виде жилья. Представьте себе этот почти волшебный переход от холода к теплу, от мрака к свету, от смерти к жизни; представьте себе эту радость возрождения, радость до того глубокую и яркую, что для нее делаются уже тесными пределы случая, ее породившего. Да, это — радость совсем особенная, лучезарная, ни с чем не сравнимая. Не один *этот* случай осветила она своими лучами, но разом втянула в себя целую жизнь и на все прошлое, на все будущее наложила печать избавления. В эту блаженную минуту нет места ни для опасения, ни для тревог. *Все* опасности миновали, *все* тревоги улеглись; *все* больное, щемящее упразднилось — навсегда. Во всем существе разлилась горячая струя жизни, во всех мыслях царит убеждение, что отныне жизнь уже пойдет не старою горькою колеей, а совсем новым, радостным порядком. Конечно, все это волшебство длится какую-нибудь одну минуту, но зато какая это минута... Боже, какая минута!

Истинно говорю, это — наслаждение великое, и, с теоретической точки зрения, отсутствие его в жизни людей, проводящих время в теплых и светлых комнатах, представляет даже очень значительный пробел.

Между прочим, я мечтал и об этом, и это были мечтания поистине отрадные. Сначала я душевно скорбел, рисуя себе картину путника, выбивающегося из сил; но так как я человек добрый, то, разумеется, не оставлял его до конца погибнуть и в критическую минуту поспешал на помощь и предоставлял в его распоряжение неприхотливое, но вполне удовлетворительное жилье. И глубока была моя радость, когда, вслед за тем, перед моими глазами постепенно развертывалась картина возрождения...

Одним словом, я мечтал, мечтал без конца, мечтал обо всем: о прошлом, настоящем и будущем, мечтал смело, в сладкой уверенности, что никто об моих мечтах не узнает и, следовательно, никто меня не подкузьмит. И, проводя время в этих мечтаниях, чувствовал себя удивительно хорошо. До усталости ходил по комнате и ни на минуту не уличил свою мысль в бездеятельности; потом садился в кресло, закрывал глаза и опять начинал мысленную работу. Даже так назы-

ваемые «хозяйственные распоряжения» — и те вскоре приняли у меня мечтательный характер. Придет вечером, перед спаньем, в комнаты старик Лукьяныч и молвит:

— Ну, нынче — зима!

— Ты говоришь: зима?

— Да, зима нынче. И ежели теперича лето с приметами сойдется, так, кажется, конца-краю урожаю не будет!

— Ты думаешь?

— Вот увидите. В прошлом году мы одну только сторону сеном набили, а в нынешнем придется, пожалуй, и на чердаки на скотном сено таскать.

— Гм... это бы...

— Увидите сами, коли ежели я не правду говорю. Такая-то зима у меня на памятях всего раз случилась, когда мне еще пятнадцать лет было. И что̀ в ту пору хлеба нажали, что̀ сена накосили — страсть!

— Бог, братец...

— Само собой, бог! захочет бог — полны сусеки хлеба насыплет, не захочет — ни пера земля не родит! это что говорить!

Молчание.

— Распоряжениев насчет завтрашнего дня не будет?

— Нет, что уж...

— Покойной ночи-с!

И все в доме окончательно стихает. Сперва на скотном дворе потухают огни, потом на кухне замирает последний звук гармоники, потом сторож в последний раз стукнул палкой в стену и забрался в сени спать, а наконец ложусь в постель и я сам...

Но и сон приходит какой-то особенный. Мечтания канувшего дня не прерываются, а только быстрее и отрывочнее следуют одни за другими. Вот и опять «величие России», вот «Якуб-хан», вот «исторические вопросы», а вот и «ну, уж нынче зима!». Не разберешь, где кончилось бодрствование и где начался сон...

Но в этой-то невозможности что-нибудь «разобрать» именно и заключается та обаятельная сила, которая заставляет умирающего человека стремиться в Монрепо, чтобы там обрести для себя усыпальницу.

———

Но в первых числах марта в мое сердце начали вкрадываться смутные опасения. Прилетели грачи и наполнили парк гамом; почернела дорога. На большом тракте, отделяющемся

от моего дома лишь небольшим клочком парка, появились тройки с катающимися, которых, благодаря отсутствию листвы, я мог видеть совершенно отчетливо. Это были наши портерные и питейные дамы, для которых катанье на тройках составляет, по исстари заведенному обычаю, единственное великопостное развлечение. По-видимому, им было очень весело, так же как и Грацианову, неизменно сопровождавшему дам на беговых санках. Но в особенности шумным делалось это веселие против моей усадьбы. Тройки замедляли ход, дамы, обративши лицо в сторону моего дома, хохотали так громко, что даже через двойные оконные рамы до меня долетали их ликующие голоса; при этом Грацианов объяснял им, должно быть, нечто очень уморительное. Может быть, он в смешном виде пересказывал испытание, которому меня подвергал, может быть, подметил кое-что из моих привычек и тоже возводил в перл создания.

Конечно, все это трогало меня очень мало и ничуть не служило помехой для моего умирания. Но однажды я заметил нечто не совсем обыкновенное. Между знакомыми тройками появилась тройка совсем особенная, охотницкая. На пошевнях, покрытых ковром, сидел купец Разуваев, сам правил лошадьми и завивал пристяжных в кольца. Как только показалась эта тройка, Грацианов передал свою одиночку близстоявшему сотскому и пересел в разуваевские пошевни. Затем, пропустивши мимо дамский поезд, друзья остановились прямо против окон моего дома. Разуваев жестикулировал, Грацианов что-то доказывал; оба от времени до времени хохотали. Я видел, как Разуваев поманил пальцем старого Лукьяныча, сидевшего на лавке у ворот, как последний неторопко подошел и, что-то выслушав, сплюнул в сторону, и затем оба друга опять захохотали. Через четверть часа улица опустела, и гуляющие, очевидно, разошлись по кабакам. Но, когда начали спускаться сумерки, разуваевская тройка с двумя седоками, по крайней мере, раз десять, с гамом и свистом, пронеслась взад и вперед мимо моего дома, посылая по сторонам комья грязи и рыхлого снега и взбудораживая угомонившихся в гнездах грачей.

Перед спаньем Лукьяныч имел по этому поводу со мной объяснение.

— Разуваев мимо нас сегодня озоровал.

— Видел.

— Стало быть, ему можно?

— Стало быть.

— Стало быть, ежели он ночью... Испугает, навек уродом сделает... и это можно?

— Вероятно, можно.

Лукьяныч только головой мотнул на мой ответ.

— Давеча меня поманил: правда ли, говорит, что Матрена-скотница (Матрена — почтенная женщина лет под шестьдесят) в грехе состоит?

— С кем? сказывал?

— Известно с кем.

— Со мной?

— Стало быть.

Молчание.

— А потом опять подъехал. Коли, говорит, Матрена не виновата, так чем же твой барин питается? И это, значит, можно?

— Должно быть. Вот ты и сам с ним разговариваешь...

— А я что же могу! Я думал, он об деле хочет говорить, а он вон что! По-моему, ему бы за это в шею накласть — вот и все.

— А ты его спроси сначала, согласится ли он?

— Это, чай, и без спросу можно. При папеньке при вашем, царство небесное, коли бы этакой случай вышел...

— То было при папеньке, а то теперь.

— Так, значит, и пущай озорует?

— И пущай!

— Покойной ночи-с!

Несколько дней сряду повторялось это дикое гиканье, и однажды даже, как предсказал Лукьяныч, Разуваев угостил меня им в глухую ночь. Проскакал несчетное число раз мимо моей усадьбы во весь опор, крича: караул! режут! пожар! И во всех этих parties de plaisir [1] неизменно участвовал Грацианов. Я понял, что против меня затеяна интрига.

Очевидно, меня хотят выжить. Везде кругом кабаки, везде веселье идет, один я заперся от всех и умираю. И при этом как-то странно и неестественно себя веду, так что и приноровиться ко мне невозможно. Сперва не «якшался» и задирал нос, потом смалодушничал и начал «якшаться», и вот в ту самую минуту, когда все сердца понеслись мне навстречу, когда все начали надеяться, что я буду приглашать деревенских девок водить хороводы у себя перед домом и оделять их пряниками, я вдруг опять заперся и перестал «якшаться». Даже батюшка скандализировался моим поведением и, дабы не преогорчить своих прочих духовных детей, стал избегать свиданий со мною. Ясно, что Разуваев был в этом месте гораздо более ко двору, нежели я.

[1] развлечениях.

Разуваев жил от меня верстах в пяти, снимал рощи и отправлял в город барки с дровами. Сверх того, он занимался и другими операциями, объектом которых обыкновенно служил мужик. И он был веселый, и жена у него была веселая. Дом их, небольшой и невзрачный, стоял у лесной опушки, так что из окон никакого другого вида не было, кроме громадного пространства, сплошь усеянного пнями. Но хозяева были гостеприимные, и пированье шло в этом домишке великое.

Ко времени, о котором идет речь, доходил срок арендуемым Разуваевым рощам. И вот он начал задумываться. Капитал свободный есть, торговые связи тоже заведены, а главное, место насижено и облюбовано. Едет он по селу улицей — все шапки снимают; приедет в церковь к обедне — станет с супругой впереди у крылоса, подтягивает дьячку и любуется на пожертвованное им паникадило; после обедни подойдет ко кресту первым после Грацианова и получит от батюшки заздравную просвиру. Всем с ним повадно, всем по себе, потому что он на все руки: и выпить не дурак, и пошутить охоч, и сплясать может. Поставит на голову стакан с пивом и спляшет. Батюшка сколько раз мне говорил: «Вот у Разуваева икру подают — белужью, настоящую! А однажды из города копченую стерлядь привез — даже и до сего часа забыть не могу!» А матушка, вздохнув, прибавляла: «По здешнему месту, только и полакомиться что у Разуваевых!» Даже так называемая чернядь — и та как полоумная сбегалась со всех сторон, когда на село приезжал Разуваев. Потому что он вдруг, того гляди, велит песни петь и начнет в народ гривенники на драку бросать!

Одним словом, всеми он был любим, для всех желателен. Мужик он был не то чтобы молодой, но в поре, статный, широкоплечий, лицо имел русское, круглое, румяное, глаза веселые, бороду пушистую, светло-русую. И жена у него была такая же, русская: круглолицая, белотелая, полногрудая, румяная, с веселыми, слегка бесстыжими глазами навыкате. Охотники были оба песни попеть, и пели мастерски, особенно хоровые, подблюдные.

Давно уж до меня доходили слухи, что Разуваев ищет купить себе усадьбу, но только чтобы непременно за грош. Думал было он сначала на порожнем участке новый дом взбодрить, но рассчитал, что за грош нового заведенья никак устроить нельзя. Да поди еще жди, когда еще оно в настоящий вид придет, а до тех пор торчи на тычке, жарься летом на припеке, а зимой слушай, как ветер воет. Начнешь парки разводить, сады сажать — смотришь, ан из десяти дерев одно

принялось, а прочие посохли. Хорошо было этими парками тогда заниматься, когда крепостные были. Тогда ни одно дерево не пропадало, а шло все ввысь и вширь, словно по щучьему веленью. Тогда-то и было положено начало всем паркам и садам, которые мы видим, а теперь не до парков. Так вот этакую бы готовую старинную усадьбу подыскать, чтобы и парки при ней были, и пруды бы в парках, и караси бы в прудах водились, и плодовитый сад чтобы тут же находился, а в бочку́ бы харчевенку с продажей распивочно и на вынос поставить. Да за грош бы, непременно за грош.

Сколько тут пота мужичьего пролилось, сколько бабьих слез эти парки видели — Разуваев об этом не хочет и знать. До сих пор старики поминают: вон в этом месте трясинка была, так мы мешками землю таскали — смотри, каку́ гору́шу взбодрили! — но Разуваеву и до этого дела нет. Он знает только, что современному помещику все это не к рукам, да и сам помещик, по нынешнему времени, тут не ко двору. Помещик — он человек неверный, а нужны люди постоянные, вероятные, то есть либо кабатчики, либо оголтелые мужики. А сверх того, Разуваев имеет простодушно-наглое убеждение, что сто̀ит только помахать у помещика под носом ассигнацией, чтоб он сейчас же, от одного ассигнационного запаха, впал в изнеможение.

И вот, благодаря этой наглости, с одной стороны, и сознанию беззащитности, с другой, мое сладкое умирание было самым нахальным образом прервано. Уже с самого начала открытия неприязненных действий, с появлением первых гиканий, я смутно почувствовал, что мое дело не выгорит, что так или иначе я должен буду уступить силе обстоятельств. В самом деле, что̀ я мог предпринять, чтобы оградить себя от Разуваева? Жаловаться на него — куда? И притом что-нибудь одно: или умирать, или утруждать начальство просьбами, а одновременно заниматься и тем и другим — разве это с чем-нибудь согласно? Если же прибегнуть к партикулярным мерам взыскания, то и тут ничего не поделаешь. Плюнешь Разуваеву в лицо — он утрется, своротишь ему скулу — он в баню сходит и опять ее на старое место вправит. Словом сказать, с какой стороны к нему ни приступись — он неуязвим. Пожалуй, еще запоет: «Веселися, храбрый росс!» — и заставит слушать себя стоя...

В одно прекрасное утро, взглянув в окно, обращенное в парк, я увидел, что по одной из расчищенных для моих прогулок аллей ходят двое мужчин, посматривают кругом хозяйским глазом, меряют шагами пространство и даже деревья пересчитывают. Вглядевшись пристальнее, я узнал в посети-

телях Разуваева и Грацианова. Вот они скрылись в чаще, вот опять выглянули, подошли к пруду, причем Разуваев сплюнул на посиневший лед; вот подошли к решетке, отделяющей огород от сада, и что-то высчитывают — должно быть, сколько тут гряд можно обработать, и с чем именно. Вот, наконец, они возвращаются, опять останавливаются и толкуют, вот подходят к дому.

Через минуту в передней у меня раздался звонок...

FINIS MONREPO

Когда продавец недвижимого имущества входит в сношения с покупателем, то советуем первому не только не утаивать недостатков продаваемого имения, но объяснять оные с полною откровенностью. Само собою, впрочем, разумеется, что умный продавец никогда не скажет, что имение его ничего не стоит, но сошлется или на недостаток капиталов, или на собственные свои, владельца, невежество и нерадивость. Такая откровенность почти всегда удается, ибо всякий покупатель непременно мнит себя агрономом, а ежели у него вдобавок есть несколько лишних тысяч рублей, то к таковому самомнению обыкновенно присоединяется уверенность, что, по мере размена крупных ассигнаций на мелкие, негодное имущество будет постепенно превращаться в золотое дно. Один наш знакомый, например, так рекомендовал свое Монрепо лицу, интересовавшемуся приобретением оного:

«Земля у меня,— писал он,— отчасти худородная, отчасти из песков состоящая, но ежели приложить труд, умение и капитал, то... Бажанов пишет: известно, что даже зыбучие пески, ежели... Советов повествует: ежели зыбучие пески... Но в особенности рекомендую некоторые подозрительного свойства залежи, которых в имении очень достаточно и которые, по недостатку капиталов, не были, к сожалению, подвергнуты исследованию. Судя, однако ж, по ржавчине, покрывающей воды и растущие злаки, можно предположить...»

И что же! откровенность эта имела самый полный успех! Прошло очень немного времени, как в Монрепо уже разгуливал новый владелец и, в свою очередь, обдумывал наилучшую для оного рекомендацию!

Из неизданного сочинения: «Советы благоразумия при продаже земельных недвижимых имуществ»

Разуваев предстал передо мной радостный, румяный, светлый. Он уверенно протянул мне руку, держа ее ладонью вверх.

— Ну, барин, по рукам! — воскликнул он, по-видимому, не питая ни малейшего сомнения, что именно эти самые слова ему сказать надлежит.

— По какому случаю?

— Да так уж, хлопай! в накладе не будешь! хорошее слово услышишь!

— Покуда что услышу, а до тех пор лучше было бы, кабы вы бесцеремонность-то посократили.

Разуваев взглянул на меня, слегка подбоченился и грустно покачал головой.

— Ах, барин вы, барин! Погляжу я на вас, на бар, всё-то вы артачитесь!

И затем, вынув из кармана большой и туго набитый бумажник, присовокупил:

— Вот!

Приводя эту сцену, я отнюдь не преувеличиваю. В последнее время русское общество выделило из себя нечто на манер буржуазии, то есть новый культурный слой, состоящий из кабатчиков, процентщиков, железнодорожников, банковых дельцов и прочих казнокрадов и мироедов. В короткий срок эта праздношатающаяся тля успела опутать все наши палестины; в каждом углу она сосет, точит, разоряет и вдобавок нахальничает. В больших центрах она теряется в массе прочих праздношатающихся и потому не слишком бьет в глаза, но в малых городах и в особенности в деревнях она положительно подла и невыносима. Это — ублюдки крепостного права, выбивающиеся из всех сил, чтобы восстановить оное в свою пользу, в форме менее разбойнической, но несомненно более воровской.

Помещик, еще недавний и полновластный обладатель сих мест, исчез почти совершенно. Он захудал, струсил и потому или бежал, или сидит спрятавшись, в ожидании, что вот-вот сейчас побежит. Мужик ничего от него не ждет, буржуа́-мироед смотрит так, что только не говорит: а вот я тебя сейчас слопаю; даже поп — и тот не идет к нему славить по праздникам, ни о чем не докучает, а при встречах впадает в учительный тон.

Оставшись с клочками земли, которые сам облюбовал при составлении уставных грамот и не без греха утянул от крестьянских наделов, помещик не знает, что с ними делать, как их сберечь. Видит сам, что он к делу не приготовлен, на выдумки не горазд, да притом и ленив, и что, следовательно, что́ бы он ни предпринял, ничего у него не выйдет. Между тем надо жить. И жить не властью имеющим, не привилегированным, а заурядным партикулярным человеком. И прежде был он негоразд и неретив, но прежде у него был под руками «верный человек», который и распоряжался, и присматривал за него, а ему только денежки на стол выкладывал: пей, ешь и веселись! Увы! скоро исполнится двадцать лет, как «верного человека» и след простыл. «Нет верных людей! пропал, изворовался верный человек!» — вопиют во всех концах рассеянные остатки старинного барства, и вопиют не напрасно, ибо каждому из них предстоит ухитить разрушающееся гнездо, да и в домашнем обиходе дворянский обычай соблюсти, то есть

иметь чай, сахар, водку, табак. На все это потребен рубль, рубль и рубль, а откуда его добыть тому, кто «верного человека» лишился и не успел проникнуть ни в земство, ни в мировые учреждения?

А «верный человек» притаился тут же под боком и обрастает да обрастает себе полегоньку. Помещик, Сидор Кондратьич Прогорелов, некогда звал его Егоркой, потом стал звать Егором Ивановым, потом — Егором Иванычем, а теперь уже и прямо произносит полный титул: Егор Иваныч господин Груздёв. Егорка прижал в свое время у Сидора Кондратьича несколько сотен рублей; Егор Иванов опутал ими деревню; Егор Иваныч съездил в город, узнал, где раки зимуют, и открыл кабак, а при оном и лавку, в качестве подспорья к кабаку; а господин Груздёв уж о том мечтает, как бы ему «банку» устроить и вконец родную палестину слопать. Тщетно Сидор Кондратьич из глубины взволнованной души вопиет: давно ли Егорка при мне в прохвостах состоял! — на эти вопли Егорка совершенно резонно ему возражает: одни это с вашей стороны, Сидор Кондратьич, нестоящие слова!

Однако ж и Егорка выступает на арену деятельности не бог знает с каким запасом. И он негоразд и невежествен, и он ретив только галдеть да зубы заговаривать. Но у него есть готовность кровопийствовать — и это значительно помогает ему. Готовность эту он выработал еще в то время, когда в «подлом виде» состоял, но тогда он употреблял ее за счет своего патрона и за это-то именно и получил титул «верного человека». Теперь он пользуется ею уж «гля себя», и пользуется, разумеется, шире, рискованнее. Но, сверх того, у него есть и еще подспорье: он совсем не думает о том, что̀ ожидает его впереди. Может быть, из него выйдет *господин* Груздёв, а может быть, он угодит в острог. Разумеется, лучше сделаться *господином* Груздёвым, но, с другой стороны, и в Сибири люди живут. Не выгорело — только и всего; а чтобы совестно было или больно — ни капельки! Понятно, что, заручившись двумя столь драгоценными качествами, он всякую мышь, всякую букашку, в траве ползущую,— всё видит.

И вот наконец совершилось. Миновавши чудесным образом каторгу, Егорка откуда-то добывает себе шитый мундир и окончательно делается Его̀ром Иванычем господином Груздёвым. Он пьет кровь уже въявь и в то же время сознает себя «столпом». Все кругом «подражает» ему, заискивает, льстит. Уездные власти заезжают к нему и по пути, и без пути, пьют в его доме, закусывают и, в случае административных затруднений, прибегают к его помощи. Кто купит недоимщицкий скот? — Егор Иваныч. К кому обратиться с приглашением о

пожертвовании? — к Егору Иванычу. А глядя на властей, и помельче сошка чувствует, как раскипается у ней сердце усердием к Егору Иванычу. Батюшка обедни не начинает до приезда его в храм; волостной старшина, совместно с писарем, контракты для него сочиняют, коими закрепляют в пользу его степенства всю волость; а сотские и десятские все глаза проглядели, не покажется ли где Егор Иваныч, чтобы броситься вперед и разгонять на пути его чернядь.

Видя такое общее «подражание», Егорка начинает больше и больше входить в азарт. Он уже не раз видел себя в мечтах перебравшимся в Петербург и оттуда делающим экскурсии «гля дебоширства» в Париж, Ниццу, Баден-Баден и проч.; но покуда это — еще идеал более или менее отдаленного будущего. Покамест ему и дома жить хорошо. Только вот Сидор Кондратьич, словно бельмо на глазу, у него торчит. Струсил он, захудал, а все-таки помнит, что Егорка в прохвостах у него состоял. Да и гнездо у него такое насижено, как будто бы именно тут, а не в ином месте «господину» быть надлежит. Знает Егорка, что все это, в сущности, пустяки, что не в преданиях прошлого сила — и все-таки кипятится: как-никак, а надо Сидора Кондратьича из здешнего места выкурить, надо гнездом его завладеть. Ибо тогда и только тогда он воистину *господин* Груздёв будет.

Сказано — сделано. Предпринимается целый ряд подвохов. Еще будучи в «подлом виде», Егорка — «верный человек» до тонкости вызнал Сидора Кондратьича и очень хорошо понимает, на какой струне надлежит играть, чтоб заставить его лезть на стену или ввергнуть в уныние. И вот не проходит и нескольких месяцев, как бывший властитель сих мест видит себя лишенным огня и воды и делается притчей во языцех. Рабочие к нему не идут, поля у него не родят, коровы его не доят, овцы чихают... дурррак! Даже чернядь, которая специально рождена для того, чтобы слезы лить, и та весело гогочет, слушая анекдоты об Егоркиных подвохах и прогореловском простодушии. А ежели не донимают простые подвохи, то пускаются в ход подвохи сложные, как-то: доносы, нашептыванья, раздаются слова: книжки читает, народ смущает, соблазн заводит. Долго не верит Сидор Кондратьич ушам и глазам своим, но наконец убеждается, что надо бежать, бежать без оглядки, сейчас...

Я не утверждаю, разумеется, что все написанное выше составляет общее правило. Есть и тут исключения, но их так мало и они так своеобразны, что большинству, состоящему из простых смертных, трудно и мечтать о том, чтоб попасть в ряды счастливцев. Вот эти исключения. Во-первых, деятели

земских и мировых учреждений, потому что они сами всегда могут притеснить; во-вторых, землевладельцы из числа крупных петербургских чиновников, потому что они могут содействовать груздёвским предприятиям и, сверх того, служить украшением груздёвских семейных торжеств, как-то: крестин, свадеб и проч.; в-третьих, землевладельцы из ряду вон богатые, считающие за собой земли десятками тысяч десятин, которые покуда еще игнорируют Груздёвых и отсылают их для объяснений в конторы; и в-четвертых, землевладельцы не особенно влиятельные, но обладающие атлетическим телосложением и способные произвести ручную расправу. Вот единственные лица, пред которыми новоявленный русский буржуа до поры, до времени не нахальствует.

Повторяю: это совсем не тот буржуа, которому удалось неслыханным трудолюбием и пристальным изучением профессии (хотя и не без участия кровопивства) завоевать себе положение в обществе; это — просто праздный, невежественный и притом ленивейший забулдыга, которому, благодаря слепой случайности, удалось уйти от каторги и затем слопать кишащие вокруг него массы «рохлей», «ротозеев» и «дураков».

Хотя Разуваев еще мелко плавал, но уже был, так сказать, на линии Груздёвых. По крайней мере, идея грабежа была уже вполне им усвоена. Я знал его очень давно, еще в то время, когда он состоял дворовым человеком моего соседа по прежнему имению, корнета Отлетаева. Тогда Анатошка Разуваев, молодой и красивый парень, пользовался доверием корнетши Отлетаевой; а камеристка последней, Аннушка, тоже молодая и красивая девица, пользовалась таковым же доверием со стороны самого корнета. Года два или три эти люди жили вполне безмятежно, довольные собой, как вдруг эмансипация все это счастье перевернула вверх дном. И Анатолий и Аннушка тотчас же и наотрез отказались от наперсничества, хотя корнет и корнетша доказывали, что имеют право и еще в течение двух лет пользоваться их услугами. Дело не обошлось без формального разбирательства, но по тогдашнему либеральному времени кончилось тем, что возмутившимся «хамам» выданы были увольнительные свидетельства. Немедленно после этого молодая чета вступила в законный брак, а затем и навсегда исчезла из родных палестин. И вот, спустя пятнадцать лет, я вновь встретился с ними, и встретился как чужой, потому что Разуваев ни словом, ни движением не выдал, что когда-то знал меня.

Как бы то ни было, но в эту минуту нахальство Разуваева как-то неприятно на меня подействовало. К сожалению, ежели я способен понимать (а стало быть, и оправдывать) известные

жизненные явления, то не всегда имею достаточно выдержки, чтобы относиться к ним объективно, когда они становятся ко мне лицом к лицу. Поэтому я, вместо ответа, указал Разуваеву на дверь, и он был так любезен, что сейчас же последовал моему молчаливому приглашению.

Но тут-то именно и начались для меня глупейшие испытания. Вечером того же дня явился Лукьяныч и, вместо того чтобы, по обычаю, повздыхать да помолчать, вступил в собеседование.

— Разуваева-то вы давеча прогнали?

— Я его к себе не приглашал, а стало быть, и от себя не прогонял. А так как он ворвался ко мне нахалом, то, разумеется, я...

— Про то я и говорю, что прогнали.

Лукьяныч помолчал с минуту, потом крякнул, переступил с ноги на ногу и как-то особенно пошевелил плечами. Значит, будет продолжение.

— А он к вам за делом приезжал.

— Да, показывал бумажник; вот за это-то я и указал ему на дверь.

— Угоду он у вас купить охотится — оттого и бумажник показывал. Чтоб, значит, сумления вы не имели.

— А коли дело хочет делать, так должен говорить по-человечьему, а не махать бумажником у меня перед глазами.

— Так-то оно так.

Опять минута молчания, и опять переступание с ноги на ногу.

— Нехорошо в здешнем месте, нескладно.

— Что так?

— Народу настоящего нет. Мелкий народ, гадёнок. Глаза белые, лопочут по-своему, не разберешь. Ни ему приказанье отдать, ни от него резон выслушать... право!

— Так ведь это не со вчерашнего дня.

— То-то, говорю: нехорошо здесь. Сидишь, молчишь — того гляди, оста̀тний ум промолчишь.

— Да ты сказывай прямо: с Разуваевым, что ли, разговаривал?

— А хоть бы и с Разуваевым... Разуваев сам по себе, а я сам по себе.

— Ну, хорошо; продать так продать. А куда потом деться? надо же где-нибудь помирать?

— Я в свое место уйду, к Успленью-матушке.

— А я куда уйду?

— Неужто ж местов не найдется!

— То-то вот и есть, что нынче нигде притаиться нельзя.

Только что затворишься — смотришь, ан кто-нибудь и заглянул.

— Кабы вы меня слушали, этого бы не было. Говорил я тогда: не нужно мужикам Светлички отдавать — нет, отдали. А пустошоночка-то какая! кругленькая, веселенькая, двадцать десятинок — в самую могуту́! И лесок березовый по ней, грибов сколько, всё белые. Все село туда за грибами ходит. Выстроили бы там домо̀к, в препорцию; как захотели, так и жили бы.

— Да ты к чему это говоришь? уйти, что ли, от меня хочешь?

— Уйти мне от вас никак невозможно. Я покойному вашему папеньке образ снимал, чтоб быть, значит, завсегда при вас. А только я, по мужицкому своему разуму, говорю: нехорошо здесь.

— Стало быть, продать?

— Это как вам будет угодно.

— И опять искать?

— И опять сыскать можно. Только уж надо с умом. Чтоб Разуваевых, значит, не было. Вон он и теперь свищет да гамит по ночам, а летом, пожалуй, и вовсе в трубу трубить будет... По-прежнему, по-старинному, в шею бы ему за это накласть, а нынче, вишь, не дозволено.

— Чудак! да ведь и там, и во всяком месте свой Разуваев найдется!

— На что такое место выбирать? Надо такое изобрать, чтобы никем никого, опричь своих. Живем, значит, одни, ни мы никого не замаем, ни нас никто не замай. Вот какое место искать нужно.

— Ну, прощай покуда.

— Спокойной ночи-с.

Всю ночь я не мог заснуть. Все мне представлялся вопрос: в самом деле, что̀ я буду делать, если Разуваеву вздумается по ночам в трубу трубить? Да и не одному Разуваеву, а вообще всякому. Должно быть, уж это судьба такая: насчет чтениев строго, а в трубу трубить у соседа под ухом — можно. Весь арсенал воздействий, кажется, во всякое время налицо: и ежовые рукавицы, и бараний рог, и злачные места — а кому они служат защитой? Хорошо еще, что не все знают, что озорничать свободно — иначе все, у кого мало-мальски досуг есть, непременно затрубили бы в трубы. Как тут быть? неужто приносить жалобы, подавать прошения, нанимать адвоката, ходатайствовать? неужто, наконец, бежать?

И на другой день утром голова моя была полна этими мыслями. Уныло бродил я по комнатам и от времени до времени

посматривал в окно, словно желая удостовериться: все ли стоит на старом месте и не бежало ли к Разуваеву? Март подходил уж к концу; время стояло хмурое, хотя в воздухе все-таки чуялась близость весны. Деревья в парке стояли обнаженные, мокрые; на цветнике перед домом снег посинел и, весь источенный, доживал последний срок; дорожки, по местам, пестрели желтыми пятнами; несколько поодаль, на огороде, виднелись совсем черные гряды, а около парников шла усиленная деятельность. За зиму рабочий люд отдохнул и приготовлялся к серьезному труду. Вот и я за зиму отдохнул и приготовляюсь продолжать отдыхать и летом. Какой отдых приятнее: зимний или летний? — оба в своем роде хороши! Зимой хорошо отдыхать, переходя в туфлях из комнаты в комнату; летом хорошо отдыхать, бродя по аллеям и внимая пению зябликов и чижей. Но ежели все сложилось так хорошо,— зачем же я буду уступать это хорошее какому-то Разуваеву? И какое право он имеет прямо или косвенно заявлять, что я кому-то мешаю и что вообще я здесь не ко двору?

Среди этих сетований явился давно небывалый гость: батюшка. На вопрос: чем потчевать? он только горько усмехнулся, как бы вопрошая: а какие теперь дни? забыл?

— Не полагается?

— То-то, что не полагается. И из мирян благочестивые — и те ни вина, ни елея не дерзают.

Мы оба несколько минут помолчали, слегка удрученные.

— Был я у вас на мельнице,— начал батюшка,— полезное заведеньице!

— Выгоды мало приносит, батюшка.

— И выгода будет, ежели к рукам. Коли помольцев мало, самим по осени, в дешевое время, зерно можно скупать, а весной, в дорогое время, мукой продавать — убытка не будет. Вот тоже огород у вас. Место обширное, сколько одной обощи насадить можно, окромя ягод и всего прочего!

— И сажаем, батюшка, да тоже без особенной выгоды. Сами, должно быть, потребляем, а на сторону мало продаем.

— И на сторону можно бы продавать, коли с разумением. Возьмем хоть бы ягоды: земляница, малина, сморода — на всё покупщик найдется.

— Кабы был покупщик — отчего бы не продать!

— Искать, сударь, надо — и найдется. Толцыте и отверзется. По здешнему месту да покупщика не сыскать! Да тут на одном огурце фортуну сделать можно.

Однако ж воспоминание об овощах (особенно ежели с елеем), по-видимому, подействовало на батюшку раздражи-

тельно. Он слегка поперхнулся, провел рукою по волосам, как бы отгоняя «мечтание», потом вздохнул и перешел к злакам.

— Вот тоже луга у вас. Место здесь потное, доброе, только ума требует. А вы сеете-сеете, и все у вас кислица заместо тимофеевки родится.

— Так, стало быть, богу угодно, батюшка.

— Знаю, что без бога нельзя. Прогневлять его не следует — вот что главнее всего. А затем и самому необходимо заботу прилагать, дабы бог на наши благополезные труды благосердным оком взирал. Вот тогда будет родиться не кислица, а тимофеева трава.

— Что ж, батюшка, кажется, я ничего такого не делаю, за что бы богу гневаться на меня.

— То-то и есть, что «не делать»-то мы все мастера, а нужно «делать», да только так «делать», чтоб богу приятно было. Тогда у нас будет кормов изобилие: и сами будем сыты, и скотины не изобидим. Скажем, например, о картофеле. Плантации вы завели значительные, картофелю прошлой осенью нарыли достаточно, а, между прочим, добрую половину свиньям скормили. Свиньи же, по неимению борова, плода не принесли.

Последнее замечание поразило меня. В самом деле, меня преследует неудача особого рода. На скотном дворе у меня мужской пол положительно не в авантаже. Третий год, например, мы ищем селезня для уток, и что ни купим — опять окажется утка. И вот, вследствие этого преобладания женского элемента над мужским, куры не несутся, коровы доят мало и телятся не каждогодно. А одна корова так положительно добродетельная. В течение четырех лет всего один раз телилась, да и то самым необыкновенным образом. Никто ничего не подозревал, а она между тем однажды вечером не пришла со стадом домой, а наутро, только солнышко встало, слышим: мычит, умница, у ворот, а за нею теленочек. Радостям и изумлениям не было конца. «Вот умница! вот красавица! и где это она? и когда это она?» — сыпалось на нее со всех сторон, и всякий спешил чем-нибудь порадовать умную коровку. Радовался и я и подарил «Умнице» «Домашнюю беседу» за целый год. Но с тех пор «Умница» ни гугу. Покушает, ляжет, взглянет на небо, зажмурит глаза — и только. Не раз я спрашивал у Лукьяныча, что̀ за причина такая? Но у него всегда один ответ: либо «стало быть, петухи свово дела не понимают», либо «стало быть, бык не соло́щ попался». Прекрасно, но кто же должен за этим наблюдать?!

Разумеется, ввиду этих фактов, я ничего дельного на укоризны батюшки возразить не мог.

— Опять же лес,— продолжал между тем батюшка,— с тех пор как имение к вам перешло, он даже в росте прибавляться перестал. Мужики в нем жердняк рубят, бабы — веники режут. А ежели бы этот самый лес да в надежные руки — он бы процент принес!

Я молчал, потому что сознавал батюшкину правду, как она ни была для меня обидна. А батюшка все больше и больше хмурил брови и начал даже разжизаться.

— Куры не несутся,— говорил он негодующим голосом,— коровы молока не дают, поля не родят, мельница издержек не окупает, лес надлежащего прироста не дает — по-вашему, ка́к это называется?

Я так и ждал, что он вынет из кармана листок «Московских ведомостей» и закричит: измена!

— А по-моему,— продолжал он,— это и для правительства прямой ущерб. Правительство источников новых не видит, а стало быть, и в обложениях препону находит. В случае, например, войны — как тут быть? А окроме того, и местность здешняя терпит. Скольким сирым и неимущим было бы существование обеспечено, если б с вашей стороны приличное направление сельскохозяйственной деятельности было дано! А ведь и по христианству, сударь, грешно сирых не призирать!

Батюшка опять-таки был прав; но так как он рассердился, то, по закону возмездия, счел нужным рассердиться и я.

— Ну-ну, батя! — сказал я,— увещевать отчего не увещевать, да не до седьмого пота! Куры яиц не несут, а он правительство приплел... ишь ведь! Вон я намеднись в газетах читал: такой же батя, как и вы, опасение выражал, дабы добрые семена не были хищными птицами позобаны. Хоть я и не приравниваю себя к «добрым семенам» — где уж! — а сдается, будто вы с Разуваевым сзобать меня собрались.

— Что̀ вы! Христос с вами! — смягчился батюшка,— я ведь для вашей же пользы! Вижу, что ни в чем благопоспешения нет, думаю: кому же, как не пастырю, о сем предстательствовать!

— Нет, вы лучше прямо скажите: Разуваев вас ко мне подослал?

Батюшка слегка крякнул и уж совсем было сконфузился, но сейчас же, впрочем, оправился.

— А хоть бы и Разуваев? отчего же бы и от него препоручения не принять, ежели из того обоюдная польза произойти должна? В сих случаях пастырю даже в обязанность вменяется...

— Позвольте, да разве я в газетах публиковал или кому сказывал, что дачу продаю?

— Об этом, конечно, не слыхал, а только для всех видимо. Призору настоящего нет, предприятий тоже не видится — вот и сдается, словно бы дело к недальнему концу приближается.

— Вы так полагаете?

— Вместе с прочими и я. Нередко мы с попадьей про вас поминаем: совсем не так господин устроился, как ему надлежит! Да ведь и в самом деле, где, сударь, вам за экой угодой самим везде усмотреть!

— А как бы, по-вашему, мне устроиться надлежало?

— Да так думается: десятинки две-три, не больше. Домичек небольшой, садик при нем, аллейка для прохладности... чисто, аккуратно! А из живности: курочек с пяток, ну, коровка, чтоб молочко свое было.

— За этим, значит, я буду в состоянии усмотреть?

— Где и сами присмотрите, а где и Лукьяныч поможет. Женщину тоже хорошую подыскать можно, чтоб за курами да за коровой ходила.

Именно это самое говорил мне вчера Лукьяныч. Да я и сам — разве я, в сущности, когда-нибудь мечтал о другом! Пять курочек и одна коровка — вот все, что мне нужно, все, с чем я могу справиться! Да и это нужно совсем не для того, что оно в самом деле «нужно», а только для того, чтоб около дома не было уж чересчур безмолвно, чтобы что-нибудь поблизости мычало, кудахтало. Взял бы я в товарищи Лукьяныча и скотницу Матрену, слушал бы, как они, с утра прикончив с делами, взапуски зевают и чешутся спинами об дверные косяки. И мне было бы хорошо, и всем было бы хорошо. Правительство находило бы новые источники, а Разуваев призирал бы сирых и неимущих, предоставляя им пахать землю, полоть гряды в огороде и проч. Тем не менее я не решился в эту минуту сознаться перед батюшкой, что он отгадал мои тайные помышления.

— Благодарю за предику,— сказал я,— но откровенно сознáюсь, что таковые бывают приятны лишь во благовремении. Так и Разуваеву передайте.

На этот раз батюшка взаправду огорчился и даже слегка побелел в лице. Он поспешно засучил рукава своей ряски, взял шляпу и стал искать глазами образа.

— Образок-то маленький! — сказал он,— сразу и не отыщешь!

Он произнес это с улыбочкой, что, впрочем, не мешало мне прочесть на его лице: «МАТЕРИАЛЫ!! Правительству новых

источников дохода не представляет — первое; пастырей духовных не чтит и советами их небрежет — второе».

— Говеть-то будете? — спросил он уже совсем умиленным голосом.

— Я, батюшка, в городе...

Он радушно пожал мне руку на прощанье, но уверению моему веры не дал, и на лице его я прочитал новый «материал»: «Утверждает, якобы говел в городе, но навряд ли — третье».

Распростившись с батюшкой, я вышел из дому и направился в огород. Там, около парников, сидел садовник Артемий, порядочно навеселе, и роптал.

— Какой это навоз! — вопиял он,— разве на таком навозе может настоящая обо̂щь вырасти?

С этими словами он нагнулся, зачерпнул из парника рукой и поднес горсть к самому моему лицу.

— Вот, сударь, извольте смотреть!

И затем, не выжидая моего ответа, продолжал:

— Навоз для парников должен быть конский, чистый... одно чтобы ка́ло! А у нас как? Я говорю: давай мне навозу чистого, чтобы, значит, все одно как печь, а Лукьяныч: ступай в свиной хлев, там про тебя много припасено! Разве так возможно... ах-ах-ах!

— Ну, старик, как-нибудь...

— Позвольте вам, господин, доложить: и вас за эти самые слова похвалить нельзя. Потому я — садовник, и всякий, значит, берет это в рассуждение. Теперича вы, например, усадьбу свою продавать вздумали... хорошо! Приходит, значит, покупатель, и первым делом: садовник! кажи парники! Что я ему покажу? А почему, скажет, в парниках у тебя ничего не растет? А?

Но я уже шел дальше, на скотный, и только слышал, как вдогонку мне укоризненно раздавалось:

— Я выпил... это действительно! да ведь не на ваши, а на свои... ах, господин, господин!

На скотном меня ждала радость: «Умница» опять отелилась.

— Телочку принесла... пестренькую! — радовалась старуха Матрена, но вдруг словно спохватилась, вздохнула и прибавила: — А по-настоящему, лучше, кабы бычка принесла!

— Отчего так?

— Все равно резать велите; бычка не так бы жалко.

— Почему же ты думаешь, что я резать велю?

— Так неужто ж Разуваеву отдавать? будет с него, толстомясого, и старых коров. Вон и Машка пороситься собралась — стало быть, и поросят для Разуваева беречи будете?

Решительно, даже кругом меня, и в доме, и во дворе, все в заговоре. Положим, это не злостный заговор, а, напротив, унылый, жалеющий, но все-таки заговор. Никто в меня не верит, никто от меня ничего солидного не ждет. Вот Разуваев — другое дело! Этот подтянет! Он свиной навоз в конский обратит! он заставит коров доить! он такого петуха предоставит, что куры только ахнут!

Все боятся Разуваева, никто не любит его, и в то же время все сознают, что Разуваева им не миновать. Вот уж полгода, как рабочие мои предчувствуют это, и в моих глазах самым заискивающим образом снимают шапки перед ним.

Продолжая мою экскурсию, прихожу к сенному сараю; там работники: первый Иван да другой Иван прошлогоднее сено перебивают и для чего-то с одной стороны на другую его перетаскивают.

— Что это вам вздумалось?

— Федот Лукьяныч велел.

— Зачем?

— У нас спереди-то с гнильцой сено лежало, а сзади зеленое, вѐдреное; так теперь похуже-то сено к стене переложим, а хорошее будет впереди.

— Сами себя, стало быть, тешить хотите?

— Нет, а на случай, ежели примерно покупатель...

Я прекращаю разговор и спрашиваю:

— Где Лукьяныч?

— С Андреем за реку в лес пошел.

— Зачем же Андрея взял?

— У нас в прошлом году за рекой порубочка была, так хворосткý пошли на это место покидать, чтоб покупателю, значит...

Я поворачиваюсь и быстро заканчиваю свой осмотр. «Неужто же я в самом деле продаю? — спрашиваю я себя.— Ежели продаю, то каким же образом я как будто не сознаю этого? ежели же не продаю, так ведь это просто разоренье: никто никакой работы не делает, а все только дыры замазывают да приготовляются кому-то показать товар лицом».

— Стакнулись, что ли, вы с Разуваевым? — накинулся я на Лукьяныча, как только увидел его.

— Зачем с Разуваевым! Свет не клином сошелся; может, и окромя покупатель сыщется!

Он высказал это с такою невозмутимой уверенностью, что мне ничего другого не оставалось, как замолчать.

Разумеется, молчать — самое лучшее. Но как молчать, когда будни со всех сторон так и впиваются в вас? как молчать, ежели комнаты не топлены, ежели вы ежечасно рискуете остаться в положении человека, выброшенного на необитае-

мый остров, ежели самые обыкновенные жизненные удобства ежеминутно грозят сделаться для вас недоступными?

Я знаю, что мой личный казус ничтожен, но разве я один? Разве такие руины, как я, не считаются тысячами, десятками тысяч? руины, жалобно вымирающие по своим углам? руины, питающиеся крупицами, остающимися от трапезы мироедов? руины, ежеминутно готовые превратиться в червонных валетов?

Предположите, что я представляю собой тип старокультурного человека среднего пошиба, не обладающего сильными матерьяльными средствами, но и не совсем обделенного. Человека, помнящего крепостное право с его привольями, человека, смолоду выработавшего себе потребность известных удобств, человека, ни к какому делу не приготовленного (ибо и дела в то время не предвиделось), и, что важнее всего, человека, совершенно неспособного к физическому труду. Сей человек ни в чем не может лично помочь себе; он не может сделать шагу в жизни без того, чтобы не потребовать чьей-нибудь услуги. Для него одного нужно несколько человек, которые постоянно заботились бы о том, чтобы он был накормлен, одет, обут, не задохся от собственных миазмов, не закоченел от холода. Чтобы связать эти посторонние существования с своим, он должен иметь наготове приманку, то есть деньги, и эти деньги, в большинстве случаев, опять-таки добыть при помощи посторонних людей. Но разве эти люди, которых он заманивает деньгою, не понимают, что они существуют не для себя? разве есть возможность устроить такой мираж, который заставлял бы их думать, что, соблюдая мою выгоду, холя и покоя меня, они не мою выгоду соблюдают, а свою, не меня покоят и холят, а себя?

Даже при крепостном праве такого миража нельзя было устроить, а теперь уже стало и совсем ясно, что только нужда может заставить постороннего человека принять участие в холении другого человека, хотя бы и «барина». А ежели нужда, то, стало быть, надлежит удовлетворять ей вот до этой черты и ни на волос больше. И вот затевается борьба, или, лучше сказать, какая-то бестолковая игра в прятки, в неохоту, в нехотение. Допустим, что подневольный человек в этой борьбе ничего не выиграет, что он все-таки и впредь останется прежним подневольным человеком, но ведь он и без того никогда ничего не выигрывает, и без того он осужден «слезы лить» — стало быть, какой же ему все-таки резон усердствовать и потрафлять? А культурный человек проигрывает положительно. Не говоря уже о матерьяльных ущербах, чего стоят нравственные страдания, причиняемые вечно-присущим страхом беспомощности?

Сапоги не чищены, комнаты не топлены, обед не готовлен — вот случайности, среди которых живет культурный обитатель Монрепо. Случайности унизительные и глупые, но для человека, не могущего ни в чем себе помочь, очень и очень чувствительные. И что всего мучительнее — это сознание, что только благодаря тому, что подневольный человек еще не вполне уяснил себе идею своего превосходства, случайности эти не повторяются ежедневно.

Затем, как человек, возлежавший на лоне крепостного права и питавшийся его благостынями, я помню, что у меня были «пра́ва», и притом в таких безграничных размерах, в каких никогда самая свободная страна в мире не может наделить излюбленнейших детей своих. Ибо что может быть существеннее, в смысле экономическом, права распоряжаться трудом постороннего человека, распоряжаться легко, без преднамеренных подвохов, просто: пойди и сработай то-то! Или что может быть действительнее, в смысле политическом, как право распоряжаться судьбой постороннего человека, право по усмотрению воздействовать на его физическую и нравственную личность? Насколько подобные «пра́ва» нравственны или безнравственны — это вопрос особый, который я охотно разрешаю в отрицательном смысле, но несомненно, что пра́ва существовали и что ими пользовались. Вопросы о нравственности или безнравственности известного жизненного строя суть вопросы высшего порядка, которые и натурам свойственны высшим. Только абсолютно чистые и высоконравственные личности могли, в пылу «пользования», волноваться такими вопросами и разрешать их радикально. Средний же культурный человек, даже в том случае, ежели чувствовал себя кругом виноватым, считал дело удовлетворительно разрешенным, если ему удавалось в свои отношения к подневольным людям ввести так называемый патриархальный элемент и за это заслужить кличку «доброго барина». Он никогда не был героем и ясно понимал только одно, что за пределами крепостного права его ожидает неумелость и беспомощность. И потому старался отвечать на запросы совести не прямыми разрешениями, а лукавыми подделками. Подделки эти отнюдь не обеляли его, а скорее обнаруживали бесхарактерность и слабость; но даже и за эту бесхарактерность он держался цепко, как за что-то оправдывающее, или, по малой мере, смягчающее. И с этою же бесхарактерностью остался и теперь, когда на практике увидел свою беспомощность, неумелость и сиротливость.

Мне скажут, что это тип вымирающий — это правда, но увы! — он еще не вымер. И еще скажут, что это тип несим-

патичный — и это правда, но и это не мешает ему существовать. Притом же он дал отпрыск. Я надеюсь, что этот отпрыск будет несколько иного характера, но покуда он еще не настолько определился, чтобы заключать об его пригодности к жизни в тех хищнических формах, в каких она сложилась в последнее время. Мне кажется даже, что то характеристическое условие, которое мы привыкли связывать с представлением о культурности, то есть отсутствие возможности обойтись без посторонней услуги, существует и для отпрыска в той же силе, как и для старого, отживающего дерева.

Не знаю, как кому, а на мой взгляд, ежели, по обстоятельствам, нет другого выбора, как или быть «рохлей», или быть «кровопивцем», то я все-таки роль «рохли» нахожу более приличною.

Как культурный человек среднего пошиба, я мирно доживаю свой век в деревне. Я выбрал деревню, во-первых, потому, что городская жизнь для меня неподручна, во-вторых, потому, что я имею привязанность к «своему месту», и, в-третьих, потому, что я имею наклонность к унынию и нигде так полно не могу удовлетворить этой потребности, как в деревне. Затем, как человек старокультурный, я никому не нужен и даже ни для кого не понятен. Я не имею достаточно денег, чтобы призирать сирых и неимущих, и тем менее, чтобы веселить сердца Осьмушниковых и Колупаевых, забирая у них на книжку водку и колониальный товар. Я не имею достаточных знаний, чтобы поделиться ими и выказать свое превосходство и полезность. Наконец, я говорю совсем другим языком и вдобавок оказался даже недостойным принять участие в земских и мировых учреждениях. Все это ставит меня в совершенную невозможность что-нибудь предпринять и в каком бы то ни было смысле играть деятельную роль. И я, действительно, не только не «действую», а просто-напросто сижу и ничего не делаю. Имею ли я право на это?

В глазах закона я это право имею. Я знаю, что было бы очень некрасиво, если б вдруг все стали ничего не делать, но так как мне достоверно известно, что существуют на свете такие неусыпающие черви, которым никак нельзя «ничего не делать», то я и позволяю себе маленькую льготу: с утра до ночи отдыхаю одетым, а с ночи до утра отдыхаю в одном нижнем белье. По-видимому, и закону все это отлично известно, потому что и он с меня за мое отдыхание никакого взыска не полагает.

Оказывается, однако ж, что и ничегонеделание представляет своего рода угрозу. «Ничего-то не делать все мы масте-

ра,— говорит батюшка,— а надобно делать, и притом так, чтобы богу было приятно». И при этом умиленным гласом вопрошает: а говеть будете? Ах, батюшка, батюшка! да как же мне быть, если я иначе жить не умею, ежели с пеленок все говорило мне о ничегонеделании, ежели это единственный груз, которым я успел запастись в жизни и с которым добрел до старости? И не сами ли вы, батюшка, при крепостном праве возглашали: рабы, господам повинуйтеся и послужите им в веселии сердца вашего? Да, наконец, с которых же пор нищие духом, ротозеи, рохли, простофили, дураки начали стоять на счету врагов отечества?

А Грацианов так даже положительно подозревает, что если я «ничего не делаю», то это значит, что я фрондирую. Или, в переводе на русский язык: фордыбачу, артачусь, фыркаю, хорохорюсь, петушусь, кажу кукиш в кармане (вот какое богатство синонимов!). И все это, как истинно лукавый и опасный человек, делаю «промежду себя». Допустим, однако ж, что это так. Допустим, что я действительно «недоволен» и с своей личной точки зрения, и с более общей, философской. Допустим, что я, возлежа на одре, читаю Кабé, Маркса, Прудона и даже — horribile dictu![1] — такую заразу, как «Вперед» или «Набат». Но разве быть недовольным «промежду себя» воспрещено? Разве где-нибудь написано: вменяется в обязанность быть во что бы то ни стало довольным? Наконец, разве погибнут государство, общество, религия оттого, что я... кажу кукиш в кармане?

Грацианов думает, что погибнут, а вслед за ним так же думают: Осьмушников, Колупаев, Разуваев. Все они, вместе взятые, не понимают, что значат слова: государство, общество, религия, но трепетать готовы. И вот они бродят около меня, кивают на меня головами, шепчутся и только что не в глаза мне говорят: уйди!

Да, трудно себе представить, какая существует масса людей среднего пошиба, людей, ничем не прославившихся, но и ни в чем не проштрафившихся, которым жить тошно. К прирожденной беспомощности, неумелости и сиротливости в последнее время присоединились еще намеки и покивания. Можно ли представить себе существование менее защищенное? Конечно, можно, скажут мне и укажут на мужика. Но, по моему мнению, мужик уже до того незащищен, что тут самая незащищенность почти равняется защищенности. А ведь культурному человеку сызмлада говорили: ты — краса вселенной, ты — соль земли! — и вдруг является какой-нибудь уроженец

---

[1] страшно сказать!

ретирадного места и без околичностей говорит: уйди... сочувствователь!

«Сочувствователь» — это новое модное слово, которое стремится затмить «нигилистов» и которое исключительно имеет в виду людей культуры. Вместо обвинения в факте является обвинение в сочувствии — и дешево и сердито. Обвинение в факте можно опровергнуть, но как опровергнуть обвинение в «сочувствии»? Желание понять и выяснить известное явление — сочувствие ли это? попытка обсудить явление в ряду условий, среди которых оно народилось,— сочувствие ли это? Да, выискиваются люди, которые утверждают во всеуслышание, что все это — сочувствие. Кто же эти люди? — это граждане ретирадных мест, которые, благодаря смуте, вышли из первобытного заключения и, все пропитанные вонью его, стремятся заразить ею вселенную. Это люди, которым необходимо поддерживать смуту и питать пламя человеконенавистничества, ибо они знают, что не будь смуты, умолкни ненависть — и им вновь придется сделаться гражданами ретирадных мест.

Я очень хорошо понимаю, что волна жизни должна идти мимо вымирающих людей старокультурного закала. Я знаю, что жизнь сосредоточивается теперь в окрестностях питейного дома, в области объегориванья, среди Осьмушниковых, Колупаевых и прочих столпов; я знаю, что на них покоятся все упования, что с ними дружит все, что не хочет знать иной почвы, кроме непосредственно деловой. Я знаю все это и не протестую. Я недостоин жить и умираю. Но я еще не умер — как же с этим быть?

Есть у меня одна претензия: без утеснения прожить последние дни. Конечно, я не могу в точности определить, сколько осталось этих дней счетом, но неужто ж нельзя иметь сколько-нибудь терпения? И что же! оказывается, что даже для осуществления этой скромнейшей претензии необходима «протекция». Я должен припоминать старинные связи, должен утруждать напоминанием о своем забытом существовании, должен обращаться к просвещенному содействию. Конечно, в этом содействии мне не будет отказано, и в конце концов я получу-таки право безнаказанно «артачиться» и «показывать кукиш в кармане», но, ради бога, разве нельзя от одной мысли об этой предварительной процедуре сойти с ума?

Светлая неделя прошла на селе очень весело. Много было песен, довольно и драк. Колупаев, Осьмушников и Прохоров давно так бойко не торговали; батюшка ходил по избам,

поздравлял хозяев с праздником и собирал крутые яйца; даже в мое уединение доносились клики ликования, хотя, по случаю праздников, Монрепо было пустыннее, нежели в обыкновенные дни. Вся прислуга точно с цепи сорвалась; появлялась в дом лишь на минуту, словно для того только, чтобы узнать, жив ли я, и затем вновь бежала бегом на село принять участие в общем веселии. Даже Лукьяныча я никак не мог дозваться, хотя и слышал, что где-то недалеко кто-то зевает; потом оказалось, что и он, по-своему, соблюдал праздничный обряд, то есть сидел, пока светло, за воротами на лавке и смотрел, как пьяные, проходящие мимо усадьбы, теряли равновесие, падали и барахтались в грязи посередь дороги.

Все сельские нотабли посетили меня, пили водку, ели ветчину и крутые яйца. И, как мне показалось, с каким-то напряженным любопытством вглядывались в обстановку моего дома, точно старались запомнить, где что стоит. Колупаев даже провел рукой по обоям залы и сказал:

— Обои-то, кажется, новенькие поставить сбирались?

— Сбирался.

— И купили, сударь?

— Купил.

— Так-с. В сохранности, стало быть, лежат?

— Лежат.

Одним словом, по-видимому, начали уж подозревать, не замышляю ли я, чего доброго, что-нибудь утаить или в другое место потихоньку перевезти.

В начале недели Грацианова не было дома: он ездил в город христосоваться с полицейским управлением. В середине недели, однако ж, вернулся и привез свежие политические новости. Новости эти, впрочем, заключались единственно в том, что отныне никому уж спуску не будет (помнится, однако ж, что и после новогодней поездки он эту же новость привез). Баловства этого чтоб ни-ни! Особливо ежели кто книжки читает или неприлично званию себя ведет — сейчас в кутузку и... фюить! В конце недели посетил и меня и при этом выказал такой величественный вид, что я даже удивился, как это он меня удостоил.

— Откровенно вам скажу,— начал он после обычных пасхальных приветствий,— очень меня моя нынешняя поездка в город порадовала!

— Награду получили?

— Насчет награды, исправник поцеловал — только и всего. А главное: наконец-то за ум взялись!

— Новенькое что-нибудь?

— Да-с; теперь, доложу вам, спуску не будет! И нашему

брату приходится ухо востро̀ держать, а что касается до иных прочих...

— Ну, слава богу!

По-видимому, однако ж, он не ожидал с моей стороны такого восклицания. По крайней мере, он взглянул на меня и чуть заметно ухмыльнулся.

— Что вы улыбаетесь? — полюбопытствовал я.

— Да так, знаете... А впрочем...

— То-то, «впрочем»! А я вам на это скажу: иногда мы ищем, думая осиное гнездо обрести, а вместо того обретаем сокровище! Имейте это в виду.

— Превосходно-с!

Мы оба на минуту замолчали, и, кажется, оба мысленно восклицали: «Однако!»

— Вы, я слышал, имение-то продавать хотите? — начал он вновь.

— И я со стороны слыхал об этом, но сам ничего не знаю.

— Отчего бы и не продать?

— А отчего бы продать?

— Выгоды для вас держать в здешнем месте имение нет — вот что. Сами вы занимаетесь мало, Лукьяныч — стар. На вашем месте я совсем бы не так поступил.

— А как, например?

— Да купил бы рощицу десятинки в две, в три, выстроил бы домичек, садик бы развел, коровку, курочек с пяток... Всё перед глазами — любезное дело!

— Представьте себе, что уж целый месяц я эти советы выслушиваю.

— А по-моему, благие советы всегда выслушать приятно. Да-с. Пора господам-дворянам за ум взяться, давно пора! А все гордость путает: мы, дескать, интеллигенция — а где уж!

— Однако вы и резонерством заниматься стали?

— Нельзя, всем заниматься приходится, наша должность такая. Вот в «Ведомостях» справедливо пишут: вся наша интеллигенция — фальшь одна, а настоящий-то государственный смысл в Москве, в Охотном ряду обретается. Там, дескать, с основания России не чищено, так сколько одной благонадежности накопилось! Разумеется, не буквально так выражаются, своими словами я пересказываю.

— Верно, что своими словами.

— Так вот и дельнее бы было, ввиду этого, себя ограничивать. Собственность-то под силу, значит, выбирать, да и вообще... Ну, скажите на милость: можете ли вы за всей этой махиной усмотреть?

— Да я и не претендую на это.

— А найдись ловкий человек — тот усмотрит. Над тем и мужики не подумают озоровать. Это чтобы луга травить или лес рубить — сохрани бог!

— Кто ж этот «ловкий»? Разуваев, что ли?

— А хоть бы и Разуваев.

— Надоел он мне — вот что!

— Первым делом, устроил бы он в здешнем парке гулянье, а между прочим, вот там на уголку торговлю бы прохладительными напитками открыл...

— Да, хорошо это... Гм... так вы думаете, что отныне спуску уж не будет?

— Да-с, не дадут-с! подтянут-с.

— Слава богу! а то совсем было распустили!

— Теперь — конец!

— Всему венец!

— В «Ведомостях» пишут: умников в реке топить, а упование возложить на молодцов из Охотного ряда. А когда молодцы начнут по зубам чистить, тогда *горошком.* Раз, два, три и се не бе! Молодцов горошком, а на место их опять умников поманить. А потом умников горошком; так колесом оно и пойдет.

— Да! так вы, кажется, об Разуваеве начали что-то говорить?

— Просил он узнать, не примете ли вы его?

— Был ведь он у меня... И такой странный: вынул из кармана бумажник и начал перед глазами махать им. А впрочем, день на день не приходится. Я вообще трудно решаюсь, все думаю: может, и еще бог грехам потерпит! И вдруг выдастся час: возьми все и отстань!

— Значит, так ему и сказать?

— Да, пусть придет. Так и скажите: верного, мол, еще нет, а на то похоже!

— А как бы для вас-то было хорошо!

Наконец Грацианов ушел, я же, по обыкновению, начал терзать себя размышлениями. «Умник» я или «неумник»? — спрашивал я себя. Самолюбие говорило: умник; скромность и чувство самосохранения подсказывали: нет, неумник. А что, ежели в самом деле умник? — ведь здесь не токмо река, а и море, пожалуй, не далеко! Долго ли умника утопить?

Какая, однако ж, странная эта московская томительная программа! Как понимать ее? Кто будет рассортировывать умников от неумников, первых ставить ошуюю, а вторых — одесную. Вот, я думаю, одесную-то видимо-невидимо наберется! Нагалдят, насмердят — не продохнешь!

В прежние времена процедура рассортировки умников от неумников происходила очень просто. Явится, бывало, кто-

нибудь из лиц, на заставах команду имеющих, выстроит всех в одну шеренгу и кликнет: зачинщики (по-нынешнему «умники»), вперед! Сейчас это выйдут вперед зачинщики, каждый получит, что ему по расчислению полагается,— и прав. Всякий знает, что, получив надлежащее, он спокойно может смешаться с массою заурядных смертных и что до следующего раза его тревожить не будут; в следующий же раз, может быть, и совсем бог помилует. Нынче, с упразднением застав, распорядиться таким образом некому. Некому выкликать клич, некому делать расчисления, некому воздавать надлежащее; стало быть, поневоле рассортировка «умников» и «неумников» должна быть предоставлена молодцам из Охотного ряда, а где такового не имеется — Осьмушниковым, Колупаевым, Разуваевым и молодцам, на персях у них возлежащим. Какой же возможен для них критериум для расценки! Критериум этот один: кто в книжку читает, кто чисто ходит, в кабаки не заглядывает (но к Донону), пòходя не сквернословит (но потихоньку и по-французски), кто не накладывает, не наяривает — тот и «умник». Но ведь и московские сочинители топительных программ тоже и в книжку читают, и даже пером балуют — стало быть, и они «умники»? Или, быть может, они только полуумники?

И еще: немного говорил Грацианов, да много сказал. Ишь ведь: «ведет себя несвойственно званию» — как это понимать? Например, хоть бы я. Земли я лично не пашу, ремеслом никаким не занимаюсь, просто сижу и совсем ничего не делаю — кажется, что это званию моему не несвойственно? А между тем несомненно, что, говоря свои жестокие слова, он имел в виду именно меня. Уж не унылость ли моя ввела его в заблуждение? Имеет, дескать, постоянно унылый вид и этим других не только от дела, но даже от пищи отбивает... Господи помилуй! Да после того как меня «обидели», какой же вид более приличествует моему званию, как не унылый! Меня «обижают», а я буду суетиться, предлагать услуги и ликовать... ни за что! Назло буду слезы лить — гляди!.. Однако и это вещь поправимая, если умненько со мной поступить. Я уныл, но могу и паки возвеселиться. Куплю гитару и «Самоновейший песенник», и когда Колупаев, в сопровождении подносчиков и иных кабацких чинов, придут топить меня, яко «умника», я предъявлю ему вещественные доказательства и возглашу: я совсем не «умник», но такой же курицын сын, как и вы все! И при этом, пожалуй, такое еще слово вымолвлю, что они шапки передо мной снимут! Чтò нужно, чтобы произвести во мне подобное превращение? — нужно очень немногое: приказать. Прикажете унылый вид прекратить — и я прекращу.

Вообще, я не понимаю, из чего Грацианов тревожит себя и хлопочет. Вместо того чтоб гневаться, полемизировать, ссылаться на свидетельство граждан ретирадных мест и даже «под рукой» скрежетать зубами, объявил бы прямо: веселися, храбрый росс! — давным бы давно я трепака отхватывал. Да и этого не надо, совсем ничего не надо. Просто надлежит оставить меня в жертву унылости — только и всего. Ибо повторяю: ежели бы и в самом деле унылостью моею я хотел намекнуть, что «хорохорюсь», «кажу кукиш в кармане»,— эка важность! Кажу так кажу, хорохорюсь так хорохорюсь — пущай!

Из всего вышеписанного всякий может заключить, что я и сам не весьма отличного о себе мнения. Ибо что же может быть менее лестно: человек «артачится», «фордыбачит», а его не токмо за это не бьют, но даже и внимания никакого на это не обращают? Однако ж и тут загвоздка есть. Говорят, будто бы это «не отличное мнение» касается не столько самого меня, сколько тех тенет, в которых я от рождения путаюсь. Вот, мол, какая тут затаенная мысль. Но ежели это и так — эка важность! Были бы тенета, а там, как я о них «промежду себя» полагаю,— это потом как-нибудь на досуге разберется. А покуда: веселися, храбрый росс! — и шабаш.

До меня даже такие слухи доходят, будто бы Грацианов ночей из-за меня не спит. Говорят, будто он так выражается: кабы у меня в стану всё такие «граждане» жили, как Колупаев да Разуваев,— я был бы поперек себя толще, а то вот принесла нелегкая эту «заразу»... И при последних словах будто бы заводит глаза в сторону Монрепо...

А я, признаюсь, на его месте все бы спал. Спал бы да тучнел, да во сне от времени до времени бредил: веселися, храбрый росс! И достаточно.

Сам себя человек изнуряет, сам развращает свою фантазию до того, что она начинает творить неизглаголаемая, сам сны наяву видит — да еще жалобы приносит! Ах, ты... Вот и сказал бы, кто ты таков, и нужно бы сказать, а боюсь — каких еще доказательств нужно для беспрепятственности спанья!

Ничтожный я! ничтожный! ничтожный! Ваше благородие! господин Грацианов! как вы полагаете, легко ли с этаким эпитетом на свете жить?

«Ничтожный» — это подлежащее. А сказуемое — фюить! Связки — не полагается. Ведь вон он, мой синтаксис-то, каков! А ваше благородие еще почивать не изволите! Изволите говорить, зараза! Ах-ах-ах!

Нет, лучше бежать. Но вопрос: куда бежать? Желал бы я быть «птичкой вольной», как говорит Катерина в «Грозе» у Островского, да ведь Грацианов, того гляди, и канарейку сло-

пает! А кроме как «птички вольной», у меня и воображения не хватает, кем бы другим быть пожелать. Ежели конем степным, так Грацианов заарканит и начнет под верх муштровать. Ежели буй-туром, так Грацианов будет для бифштексов воспитывать. Но, что всего замечательнее, животным еще все-таки вообразить себя можно, но человеком — никогда!

Человек — это общипанный петух. Так гласит анекдот о человеке Платона, и этот анекдот, возведенный в идеал, преподан, яко руководство, и в наши дни.

Но бежать все-таки надо. Какая бы метаморфоза ни приключилась, во что бы ни обратиться, хоть в червя ползущего, все-таки надо бежать. Две-три десятинки, коровка, пять курочек — все в один голос так говорят! Мне — две десятинки; Осьмушниковым и Разуваевым — вселенная! Такова внутренняя политика. Ежели старые столбы подгнили, надо искать новых столбов. Да ведь новые-то столбы и вовсе гнилые... ах, господин Грацианов!

Не малодушие ли это, однако ж, с моей стороны, не преувеличение ли? Ведь жил же я до сих пор — жив есмь и жива душа моя! — вероятно, ежели и впредь буду жить — и впредь никто меня не съест. Допустим, что все это так. Но, во-первых, разве так живут люди, как я до сих пор жил? А во-вторых, какой горький искус нужно вынести на своих плечах, чтобы дойти до подобного малодушия, до подобных преувеличений? Ведь и малодушие не по произволу является, но сходственно с обстоятельствами дела. Легко указывать на человека и восклицать: вот раб лукавый! — но что же ему делать, если у него, кроме лукавства, услады иной в жизни нет?

Чуть ли не с Кантемира начиная, мы только и делаем, что жалуемся на «дурные привычки». Распущенность, разнузданность, равнодушие, леность, малодушие, лукавство, лицемерие, лганье — вот каков багаж. Конечно, обладающее подобными привычками общество едва ли может чем-либо заявить себя со стороны производительности, а скорее обязывается жить со дня на день, пугливо озираясь по сторонам. Но для того, чтоб дурные привычки исчезли, надобно прежде всего, чтоб они сделались невыгодны. Рамки такие нужны, в которых, даже невзначай, не представилось бы повода для проявления этих привычек. А где эти рамки взять?

Обратить строгое внимание на выбор подчиненных — отлично. Строжайше соблюдать закон — превосходно. Не менее строго соблюдать экономию — лучше придумать нельзя. Судя по всему, все это так и будет. И вот, когда это случится, тогда и я утрачу дурную привычку преувеличивать. А до тех пор и рад бы, да не могу.

Впрочем, я однажды уж оговорился, что мой личный казус ничтожен. Повторяю это и теперь. Что̀ я такое? — «пхѐ»! Одно только утешительно: ведь и все остальные — пхѐ, все до единого. Но̀ какое странное утешение!

Разуваев явился ко мне на другой день и на этот раз был удивительно мил. Расчесал кудри, тщательно вымылся, надел новый сюртук и штаны навыпуск. Вообще, по-видимому, понял, что пришел не в харчевню. Даже про старинное наше знакомство помянул и с благодарностью отозвался при этом о корнетше Отлетаевой.

— Кабы оне в те поры не зачинали суда, а честью попросили,— сказал он,— я, может, и посейчас бы верный слуга для них был.

— Ну, где уж! — усомнился я.

— Верное слово, вашескородие, говорю; даже и теперича завсегда помню, что я ихний раб состоял.

— Что уж о старых делах вспоминать, лучше о нынешних потолкуем. Торгуете?

— И нынче дела́ нельзя похулить, надо правду сказать. Народ нынче очень уж оплошал, так, значит, только случая опускать не следует.

— Частенько-таки я в последнее время такие слова слышу, но, признаюсь, удивляюсь. По-моему, ежели народ оплошал, да еще вы случаев упускать не будете — ведь этак он, чего доброго, и вовсе оплошает. Откуда вы тогда барыши-то свои выбирать надеетесь?

— Ах, вашескородие! йён доста-а-нит!

Он сказал это с такой невозмутимой уверенностью, что мне невольно пришло на мысль: что̀ же такое, однако ж, нам в детстве твердили о курице, несшей золотые яйца? Как известно, владелец этой курицы, наскучив получать по одному яйцу в день и желая зараз воспользоваться всеми будущими яйцами, зарезал курицу и, разумеется, не только обманулся в своих мечтаниях, но утратил и прежний скромный доход. Легенда эта (в смысле результата) всегда казалась мне достойною вероятия, и я вполне искренно думал, что человек, зарезавший драгоценную курицу, был глупый человек и совершенно правильно за свою глупость пострадал.

И вот теперь Разуваев объявляет прямо, что все это вздор. Судя по его словам, курица не перестает нести золотые яйца, даже если она съедена. Это какая-то вечная, дважды волшебная курица, которую ничто неймет, ничто доконать не может. Это — курица-миф, курица-бессмыслица, но в то же время курица, подлинное существование которой может подтвердить такой несомненный эксперт куриных дел, как Разуваев. И мне

кажется, что наши экономисты и финансисты недостаточно оценивают этот факт, ибо в противном случае они не разглагольствовали бы ни о сокровищах, в недрах земли скрывающихся, ни о сокровищах, издаваемых экспедицией заготовления государственных бумаг, а просто-напросто объявили бы: ежели в одном кармане пусто, в другом ничего, то распори курице брюхо, выпотроши, свари, съешь, и пускай она продолжает нести золотые яйца по-прежнему. И она будет нестись — в этом порукою Разуваев.

«Йён доста-а-нит!» Просто, глупо и между тем изумительно глубоко. Эту фразу следовало бы золотыми буквами начертать на всех пантеонах, ибо, в сущности, на ней одной издревле все экономисты и финансисты висят.

— Однако вы, как я вижу, и финансист! — похвалил я.

— Я-то-с? — помилуйте, вашескородие! так маленько мерёкаем[1], а чтобы настоящим манером произойти — такого разума от бога еще не удостоены-с.

— Ах, Анатолий Иваныч, Анатолий Иваныч! да ведь и все мы, голубчик, только мерёкаем!

— Нет-с, вашескородие, слыхал я, что бывают и настоящие по этой части ходоки. Прожженные, значит. Взглянет — и сразу все нутро высмотрит.

— Это только так издали кажется, мой почтенный, что он нутро видит, а в действительности он то же самое усматривает, что и мы с вами. Только мы с вами мерёкаем кратко, а он пространно. Знать не знаю, ведать не ведаю, а намерёкать могу с три короба — вот и разгадка вся.

— Это так точно-с.

— Один придет, померёкает; другого завидки возьмут — придет и наизново перемерёкает. И все одно и то же выходит. А мы, простецы, смотрим издали, как они сами себе хвалы слагают, и думаем, что и невесть какой свет их осиял!

— И это истинная правда-с.

— И ежели по правде говорить, так вы уж чересчур скромного о себе мнения. Именно вы-то и не мерёкаете, а самое нутро видите. «Йён достанит!» — ах, голубчик, голубчик! неужто ж вы не понимаете, что вы — финансист?

Не знаю, насколько понял меня Разуваев, но знаю, что он остался польщен и доволен. Разумеется, он воспользовался моею словоохотливостью, чтобы при первой же возможности перейти к действительному предмету своего посещения.

---

[1] Для незнакомых с этим выражением считаю нелишним пояснить, что «мерёкать» значит кое-что понимать, на бобах разводить. Первоначальным корнем этого выражения был, очевидно, глагол «мерещиться». Мерещится знание, а настоящего нет. (*Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.*)

— Главная причина,— сказал он,— время теперь самое подходящее. Весна на дворе, огород работать пора, к посеву приготовляться. Ежели теперь время опустил — после его уж не наверстать.

— Но почему же вы думаете, что я упущу?

— Вашескородие! позвольте вам доложить! Ну, какая же есть возможность вам за всем усмотреть-с?

— Однако шло же как-нибудь до сих пор.

— Как-нибудь — это так точно-с. А нам надо не как-нибудь, а чтобы настоящим манером. Вашескородие! позвольте вам доложить! Совсем бы я на вашем месте... ну, просто совсем бы не так я эту линию повел!

— Что же бы вы сделали?

— Оченно просто-с. Купил бы две-три десятинки-с, выстроил бы домичек по препорции, садичек для прохладности бы развел, коровку, курочек с пяток... Мило, благородно!

Стало быть, и он. Все как один, почти слово в слово; должно быть, однако ж, частенько-таки они обо мне беседуют. Вот он, vox populi [1],— теперь только я понимаю, что не покориться ему нельзя. Ежели люди так уверенно ждут — стало быть, они имеют к тому основание; ежели они с такою тщательною подробностью определяют, что̀ для меня нужно,— стало быть, они положительно знают, что я сижу не на своем месте, что здесь я помеха и безобразие, а вон там, на двух десятинках, я придусь как раз в самую меру. И, что всего важнее, это же самое сознавал я и сам. Давно уж сознавал, да самолюбие, должно быть, мешало вступить на новый путь, а может быть, и просто лень...

Вероятно, эта же самая причина существовала и теперь. Я очень радушно побеседовал с Разуваевым, но ни своей цены ему не объявил, ни об его цене не спросил. Словом сказать, ни на чем не покончил. Однако ж, видимо было, что Разуваев, уходя от меня, был значительно ободрен. Он быстрым оком окинул мою обстановку, как бы желая запечатлеть ее в своей памяти, и на прощанье долго и умильно смотрел мне в глаза. Он понял, что я все еще «артачусь», и был так любезен, что взглянул на эту слабость снисходительно. В самом деле, не бог же знает, что̀ съест человек, ежели и подождать две-три недели, а он между тем жалованье рабочим за месяц заплатит... Во всяком случае, я почти убежден, что от меня он побежал к своим единомышленникам и что там все единогласно уже решено и скомпоновано. Может быть, и Лукьяныч там, вместе со всеми, советы подает...

---

[1] глас народа.

— Лукьяныч! а, Лукьяныч! где ты? — испугался я.

— Здеся я,— отозвался голос из передней.

— Разуваев-то ведь всурьез покупать приходил.

— Неужто ж в шутку?

— Истинный ты Езоп! никак с тобой говорить настоящим манером невозможно!

— Чего «настоящим манером»! Апрель в половине, пахать пора, а где у нас навоз-то?

— Так неужто за зиму не накопилось?

— Спросите у садовника, куда он его девал.

— Так, значит, продать?

— Это как вам будет угодно.

— Да ты-то, ты-то что думаешь! Чай, не цепями у тебя язык скован — шевели!

— И то умаялся, еще при папеньке при вашем шевеливши. Говорил в то время: не покупайте, зачем вам! — нет, купили...

— Ну, ступай!

Но прошла святая, прошла Фомина неделя, а я все еще артачился и недоумевал. Вон выехал Иван-старший с сохой на полосу против усадьбы, перекрестился и пошел ковырять. Ишь ковыряет! даже из окон видно, как он на каждом шагу пропашку за пропашкой делает... так бы и налетел! Смотрю, ан и Разуваев стоит на дороге и тоже на пашню любуется: только понапрасну, мол, землю болтают! Наконец он не вытерпел, крикнул: «А ты бы, Иван, сохой-то не все нáпусто, а и в землю бы попадал!» И Иван понял, что это не напрасный окрик, что когда-нибудь он отзовется на нем, и начал в землю сохой попадать. «Но-но, миляк! Нно... стерво!» — слышатся мне через полуотворенное окно поощрения, посылаемые им рыжему мерину.

Главное препятствие для окончательной развязки представляла, по-видимому, мысль: наступает лето — куда деваться? Ежели в Петербург или в Москву ехать — упаси бог! Там теперь такие фундаменты закладываются и такие созидаются здания, что, того гляди, задавят. Ежели за границу ехать — не лежит у меня сердце к этой загранице! Во-первых, англичан на каждом шагу встречаешь: ходят прямо, надменно, и у каждого написано на лице: Afghanistan — jamais![1] Это, то есть, нас, русских, они так дразнят. Ах, господа, господа! С которых уже пор вы твердите: jamais да jamais, а мы между тем, не торопясь да богу помолясь, смотрите-ка, куда забрались! Одно нехорошо: объяснить им это прямо нельзя — того гляди,

[1] Афганистан — никогда!

проштрафишься. Он говорит: jamais! — а я ответить ему не могу. Почем я знаю, что по обстоятельствам дела и в согласность с высшими соображениями, следует в данную минуту говорить? Может быть, pour sûr[1], а может быть, и jamais. Так уж лучше пусть он один дразнится, а мы помолчим — вот оно, положение-то, каково! Во-вторых, настоящей прислуги за границей нет. Коли хотите, целые города (курорты) существуют, где, кроме лакеев, и людей других не найдешь, а все-таки подлинного, «своего», лакея нет. Тамошний лакей жадный, прожженный, он всякому служить готов, а потому ни настоящей сноровки, ни преданности с него спросить нельзя. А нам нужен лакей постоянный, чтоб с утра до вечера все одного и того же человека шпынять. В-третьих, за границей очень уж чисто. Вычистят с утра и хотят, чтобы целый день чисто было. А нам это невозможно. Помню, я в прошлом году людские помещения на скотном дворе вычистить собрался; нанял поденщиц (на свою-то прислугу не понадеялся), сам за чисткой наблюдал, чистил день, чистил другой, одного убиенного и ошпаренного клопа целый ворох на полосу вывез — и вдруг вижу, смотрит на мои хлопоты старший Иван и только что не въявь говорит: дай срок! я завтра же всю твою чистоту в лучшем виде загажу. Так-то и все. Нельзя нам чисто жить, недосуг. Да и приспособлений у нас не заведено. За границей машинами улицы поливают, а мы — ковшичком; за границей громадными щетками грязь вычищают, а мы — метелками. И не то чтоб мы не понимали, что хорошо, что худо; спросите у первого встречного: что лучше, в чистоте ли жить или в грязи барахтаться — наверное, всякий скажет: как можно! в грязи или в чистоте! Но через минуту непременно прибавит: ах, барин, барин!

Словом сказать, ни в столице, ни за границей — нигде жить охоты нет. Купить бы где-нибудь в Проплёванском уезде, на берегу реки Гнилушки, две-три десятинки — именно так, ни больше, ни меньше — да ведь, пожалуй, в поисках за этим эльдорадо все лето пройдет...

Очень возможно, что я долго бы таким образом недоумевал, если б не пришел ко мне на помощь неожиданный случай и не ускорил развязки.

Сейчас после Фоминой я получил письмо от старинного моего приятеля и школьного товарища, Ивана Косушкина (есть такая фамилия и очень древняя: и в Смоленске Косушкины сидели, и в Тушино бегали, но нигде «косушки» не забывали и тем воспрославились). Письмо гласило следующее:

[1] наверняка.

«Соломенное Городище. 26-го апреля.

Ау, дружище! где ты и как живешь? Ежели в Монрепе унываешь, то брось все, продавай за грош и кати сюда. Ибо лета наши приходят преклонные, и следовательно, закат дней своих нам не унывающе, но веселящеся провести надлежит.

Скоро будет два года, как я поселился здесь, поселился, по-видимому, случайно, а на поверку выходит, что навсегда. Вот краткая повесть о моем переселении.

И я родился в Аркадии, и у меня было свое Монрепо; но в последнее время так оно мне опостылело, что я, как помешанный, слонялся из угла в угол. Дело в том, что, покуда были налицо разные Евдокимычи, да Климычи, да Аксиньюшки, жилось хоть и не особенно сладко, но все-таки жилось. Жил и я. Никто не тревожил меня, никто «распоряжениями» не донимал. Придет кто-нибудь насчет покосца переговорить — ступай к Евдокимычу; дровец не продадите ли — ступай к Климычу; маслица нет ли залишнего — ступай к Аксиньюшке. Как уж они там ладились — не знаю, но денег на расходы не требовали, и даже меня от времени до времени ку́шиками побаловывали. Но, что важнее всего, я был уверен (да и теперь верю), что дело у нас идет средним ходом, без грабежа, но и без мотовства, смирно, честно, благородно... И вдруг, среди такой-то тишины и во всем благого поспешения, налетел на нас вихрь: стали старики помирать. Сначала умер Евдокимыч, потом Климыч, а наконец и Аксиньюшка.

Умирали по очереди, безмолвно, то́чные младенцы. Сначала недели две морщится, скучный хо́дит (Евдокимыч говорил: в первую холеру я с покойным па́пенькой вашим в ростепель в Москву ездил — с тех самых пор ноги мозжат), потом влезает на печку и уж не слезает отту́да: значит, смерть идет. И действительно, не пройдет и ме́сяца — смотришь, шлют за священником. Причастится, особоруется и совсем уж притихнет. А к вечеру икнет — и нет его. Тяжелее других умирала Аксиньюшка: все каялась мне, что «еще при покойнице матушке вашей нови́нку утаила», и просила простить. Точно ли она утаила новинку или в порыве предсмертного самобичеванья наклепала на себя — сказать не могу; но, вспоминаючи матушкин «глазок-смотрок», сдается мне, что вряд ли от ее внимания могла укрыться целая недостающая нови́на.

Не думай, однако ж, что я пишу идиллию, и тем паче, что любуюсь ею. Отлично я понимаю, каким образом сложился тип крепостного пестуна и почему все эти Евдокимычи до конца оставались у меня. Прежде всего, у них ног уж не было, чтоб бежать, а во-вторых, от отца с матерью они, наверное, и без ног бы ушли, потому что те были господа настоящие, и

хоть особенно блестящих хозяйственных подвигов не совершали, но любили игру «в каторгу», то есть с утра до вечера суетились, пороли горячку, гоношили, а стало быть, сумели бы и со стариков «спросить». Ну, а мне все равно: живите, только меня не трогайте!

Когда все перемерли, я остался один лицом к лицу с Монрепо. Ужасно это тяжелое чувство; в первый раз в жизни напал на меня страх. Спать по ночам не мог; все чудилось: зачем же Монрепо-то не умерло? И кто меня теперь успокоит? кто добро мое сбережет? Пришлось нанимать чужака.

Явился чуженин и говорит: Филарет Семенов Перебежчиков, здешнего города мещанин; надеюсь вашей милости заслужить. Что ж, очень рад; вот ключи, вот планы, с остальным сами постепенно ознакомитесь. Но на первых же порах начал меня этот человек огорчать. Прежде всего охаял распоряжения Евдокимыча и даже попытался набросить на них неблаговидную тень. Потом стал каждый вечер ходить, спрашивать, какое на завтрашний день распоряжение будет (да еще целых два ему выложи: одно на случай, коли ежели вёдро, а другое на случай, коли ежели бог дожжичка пошлет)? А я почем знаю? Кому виднее, как, по обстоятельствам дела, поступать надлежит, мне или ему? Но ты, конечно, понимаешь, что нельзя же прямо человеку сказать: отстань, потому что я ничего не знаю и ничем распорядиться не могу... Вот я распоряжался, распоряжался, да и затосковал.

А к этому вскоре присоединилось и еще обстоятельство: прислали к нам в уезд нового начальника. Глаза как плошки, усы как у таракана, из уст пахнет «Московскими ведомостями». Старого-то — отличный был, царство небесное! — сменили за то, что все в городе сиднем сидел (кстати, он мне потом жаловался: «Ведь и Илья Муромец, говорит, сколько лет сиднем сидел, однако, когда понадобилось...»). Так новый, как дорвался до места, так и поехал. Ездит, братец, по проселкам и все людей выдергивает да в плен уводит. Завелся, видишь ли, «дух» какой-то в наших палестинах, так вот по этому случаю. У меня не был, а проезжал мимо не раз. Смотрел я на него из окна в бинокль: сидит в телеге, обернется лицом к усадьбе и вытаращит глаза. Думал я, думал: никогда у нас никакого «духа» не бывало, и вдруг завелся... Кого ни спросишь: что, мол, за дух такой? — никто ничего не знает, только говорят: строгость пошла. Разумеется, затосковал еще пуще. А ну, как и во мне этот «дух» есть? и меня, в преклонных моих летах, в плен уведут?

Взял и вдруг все продал. Трактирщик тут у нас поблизости на пристани procцвел — он и купил. В нем уж, наверное, ника-

кого «духу», кроме грабительства, нет, стало быть, ему честь и место. И сейчас, на моих глазах, покуда я пожитки собирал, он и распоряжаться начал: птицу на скотном перерезал, карасей в пруде выловил, скот угнал... А потом, говорит, начну дом распродавать, лес рубить, в два года выручу два капитала, а наконец и пустое место задешево продам.

Признаюсь, однако ж, что на первых порах тоскливо было. Во-первых, странно с непривычки такие фразы слышать: «А подсвечничек-то вы, кажется, наш с собой уложили?» или: «Тут полотенчико прежде висело, так как прикажете, ваше оно или наше будет?» А во-вторых, продать-то я продал, а как с собой поступить — не знаю. На всякий случай, однако ж, отправился в «губернию», думаю: там моя невинность виднее будет. Проезжаю мимо Соломенного Городища, смотрю и не верю глазам: волшебство! При самом въезде в город без конца тянется забор, а за забором зелени, зелени — целое море! И дом большой, и развалины какие-то в стороне. Спрашиваю на станции: что за штука? — отвечают: жил-был здесь откупщик, и водочный завод у него был (это развалины-то), а теперь, дескать, дом с землей продаются. Сейчас же побежал смотреть. Место — две десятины; в самый раз, значит, и то, пожалуй, за всем не усмотришь; забор подгнил, а местами даже повалился — надо новый строить; дом, ежели маленько его поправить, то хватит надолго; и мебель есть, а в одной комнате даже ванна мраморная стоит, в которой жидовин-откупщик свое тело белое нежил; руина... ну, это, пожалуй, «питореск», и больше ничего; однако существует легенда, будто по ночам здесь собираются сирые и неимущие, лижут кирпичи, некогда обагрявшиеся сивухой, и бывают пьяны. Но сад — волшебство! Ни цветников, ни аллей, а все вишни, вишни, вишни, смородина, смородина, смородина! Это «он» все «на предмет настоек» разводил! И все запущено, разрослось, переплелось... Словом сказать, так мне вдруг захотелось тут умереть, что сейчас же я поскакал в Москву и в два дня кончил.

И ко всему этому, здешний начальник оказался смирный. Любознательный, но смирный. Приехал ко мне на новоселье, посидел, побеседовал и вдруг задумался.— Так вы,— говорит,— к нам... совсем? — «Совсем, говорю».— Аттестат у вас есть? — «Вот он». Посмотрел, перелистовал: служил там-то и там-то, аттестовался способным и достойным, в походах не бывал, под судом и следствием не состоял... Вздохнул.— А знаете ли,— говорит,— я, воля ваша, этого не понимаю: к нам... совсем... что такое значит? — «Да просто значит, что к вам совсем — и больше ничего».— Помилуйте... что же такое у нас?.. никто к нам... никто, никогда... и вдруг! — «Да ведь

надо же где-нибудь жить?» — Так-то так... а все-таки... ну, какую вы здесь прелесть нашли! городишко самый пустой, белого хлеба не сыщешь... никто к нам никогда... и вдруг вздумалось!..— Это было так мило, что я не выдержал и расцеловал его. И вот с тех пор мы друзья. Чтоб окончательно его успокоить, я отвел в доме квартиру для полицейского чина, истребил все книги, вместо газет выписал «Московские ведомости» и купил гитару. Все прошлое лето, днем и ночью, я держал окна настежь: приди и виждь!

Итак, бросай свое Монрепо и приезжай сюда. Ничего, кроме ношеного платья не привози, но гитарой запасись непременно: это придает шик благонамеренности. Ежели есть прислуга, особенно ежели ветхая, вроде моего Евдокимыча, то также привози, потому что это придаст нашему сожительству шик респектабельности: авторитеты, значит, признаем. По исполнении сего, заживем отлично. Будем вдвоем сидеть у открытого окна, бряцать на струнах и петь:

Ах, что́ кому до нас!
Когда праздничек у нас,
Мы зароемся в соломку,
И никто не на́йдет нас!
Тпруинь! тпруинь! тпруинь!

Помнишь?

Затем, жму твою руку и жду. Vale[1].

Иван Косушкин.

P. S. Забыл сказать: при доме есть са̀жалка и в ней караси. Караси, да ежели в сметане... это что же такое!!»

Первою мыслию по прочтении этого письма было: так вот они, две десятины, о которых мне целый месяц твердят! Затем через час я уже был у Разуваева, и мы в два слова кончили. Finis Монрепо!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

(Посвящается кабатчикам, менялам, подрядчикам, железнодорожникам и прочих мироедских дел мастерам.)

Я, отставной корнет Прогорелов, некогда крепостных дел мастер, впоследствии оголтелый землевладелец, а ныне пропащий человек —я обращаю к вам речь мою!

Вся цивилизованная природа свидетельствует о скором пришествии вашем. Улица ликует, дома терпимости прихора-

[1] Прощай.

шиваются, половые и гарсоны в трактирах и ресторанах в ожидании млеют, даже стерляди в трактирных бассейнах — и те резвее играют в воде, словно говорят: слава богу! кажется, скоро начнут есть и нас! По всей веселой Руси, от Мещанских до Кунавина включительно, раздается один клич: идет чумазый! Идет, и на вопрос: что есть истина? твердо и неукоснительно ответит: распивочно и навынос!

Присутствуя при этих шумных предвкушениях будущего распивочного торжества, пропащие люди жмутся и ждут... Они понимают, что «чумазый» придет совсем не для того, чтобы «новое слово» сказать, а для того единственно, чтоб показать, где раки зимуют. Они знают также, что именно на них-то он прежде всего и обрушится, дабы впоследствии уже без помехи производить опыты упрощенного кровопивства; но неотразимость факта до того ясна, что им даже на мысль не приходит обороняться от него. Придет «чумазый», придет с ног до головы наглый, с цепкими руками, с несытой утробой — придет и слопает! Только и всего.

И не одна бессознательная, кунавинская природа приветствует ваше пришествие; нет, слухи о вас проникли даже в ту среду, которая уже привыкла формулировать свои предвидения и чаяния. И эта среда, вместе с Кунавиным, спешит всем возвестить ваше пришествие, как вернейший залог грядущего обновления.

Прежде всего, вас приветствуют наши «охранители». Пропащие люди, которых они когда-то из всех сил старались пристроить, ныне до смерти надоели им. Сентиментальничают, ропщут, не то просят прощенья, не то грубят. Что-то невнятное происходит; не поймешь, где тут слава и где стыд. И в довершение всего до того обнажились, что даже на табак подчаску не из чего дать. И это люди, которые когда-то не только сами называли себя столпами, но даже и были оными! Каким чудом случилось, что, обнажаясь все больше и больше, они постепенно выродились в пропащих людей?

История этого превращения для охранителей представляет какую-то неисповедимую загадку. Но еще более загадочным кажется то, что, несмотря ни на какие умертвия, пропащий человек все-таки еще жив состоит. Жизнь с пассивным упорством держится в этом расшатанном организме, держится наряду с явным оголтением... И кто знает? может быть, именно благодаря этому упорству была одна минута, когда казалось, что вот-вот все русское общество вступит на стезю абсолютного и бесповоротного бесстолбия... Да, было и такое время, было! все в русской жизни было! Такое было время, когда все смешалось, когда самые несомненные столпы, казалось, пото-

нули в зияющей бездне, чтобы не вынырнуть из нее никогда! Хорошо, что бог пронес мимо эту дурную фантасмагорию; но охранители и доныне не могут забыть о кратком периоде этого «чуть-чуть не бесстолбия» и, разумеется, вспоминают о нем не только с тоскою, но и с омерзением... Было такое время... га!

Да, слово «столп» не пустой звук, но одна из тех живых и несомненных конкретностей, временное исчезновение которых производит заметную пустоту в кодексе благоустройства и благочиния. Столпы — это выдающиеся пункты, около которых ютится мелкота, иногда ропщущая, но в большинстве случаев безнадежно изнемогающая. Столпы дают тон этой мелкоте, держат ее в изумлении, не допускают обрасти. Одним своим присутствием они с бо́льшим успехом устраняют вредные мечтания, нежели самые деятельные расследования корней и нитей. Расследование налетит и исчезнет; столпы же всегда тут, безотлучно... вплоть до изгноя. Мелкота с суеверным страхом взирает на их незыблемость и инстинктивно понимает, что совместное существование незыблемости и мечтаний — дело не только немыслимое, но и прямо противоестественное. Едва рожденные, вредные мечтания тут же немедленно и умирают. Или, лучше сказать, они даже не рождаются, а только от времени до времени заносятся, в виде эффектного слуха, со стороны, не поселяя в столпах ни малейшей тревоги своим эфемерным появлением...

Вот почему столпы считаются существеннейшим подспорьем, и вот почему, когда наступает момент изгноя, благоразумные охранители заранее подстерегают этот момент и делают нужные приспособления, дабы старые, подгнившие столпы были немедленно заменены новыми...

Ныне, к безмерной радости охранителей, пробел, причиненный кратковременным бесстолбием, пополнен. «Чумазый человек» — в виду у всех; человек свежий, непреклонный и расторопный, который, наверное, освободит охранителей от половины гнетущей их обузы. Нет нужды, что он еще недостаточно поскоблился, что он не тронут наукой и равнодушен к памятникам искусства, что на знамени его только одна надпись читается явственно: распивочно и навынос... Охранитель видит в этом не препятствие, но залог. Чем меньше бродит в обществе превыспренностей, тем прочнее оно стоит — это истина, которая ныне бьет в глаза даже будочникам. Что такое «общество»? — это фикция, и больше ничего. Об этой фикции от времени до времени упоминается, потому что совсем забыть о ней как-то совестно, но в сущности... Ах, тем-то ведь и дорог «чумазый человек», что, имея его под рукой, о всех вообще фикциях навсегда можно забыть, и нисколько не будет сове-

стно. Ему ни «общество», ни «отечество», ни «правда», ни «свобода» — ничто ему доподлинно не известно! Ему известен только грош — ну, и пускай он наделает из него пятаков!

Следом за охранителями приветствуют «чумазого человека» и публицисты. Никогда не было потрачено столько усилий на разъяснение принципов собственности, семейственности и государственности, никогда с такою настойчивостью, с такими угрозами не было говорено о необходимости ограждения этих принципов. Знаете ли, ради чего поднялась эта суматоха? ради чего так усиленно понадобилось ограждать огражденное и разъяснять разъясненное? все ради вас, кабатчики и менялы! все ради того, чтобы для вас соответствующую обстановку устроить и ваше пришествие приличным образом объяснить.

В старое время и в обществе, и в литературе было насчет этого более нежели просто. Люди наиболее заинтересованные столь же мало думали о вопросах собственности, семейственности и государственности, как мало думает человек, которому приходится периодически совершать один и тот же путь, о домах и заборах, стоящих по обеим сторонам этого пути. Зачем мне, крепостных дел мастеру, было напоминать о существовании каких-то «принципов» собственности, семейственности и государственности, когда я сам был ходячим гимном этим принципам? Зачем мне было подстрекать самого себя на постижение каких-то усложнений, когда стоило только протянуть руку, чтоб без всякого постижения получить желаемое? Все эти «принципы» — я не имел надобности ни расчленять, ни смаковать, ни ограждать их, потому что они представляли собой стихию до такой степени мне родную, что я только весело плавал в ней, как рыба в воде. Мне и на мысль не приходило, что я могу захлебнуться или потонуть в ней (знаю, что под конец я захлебнулся-таки, но ведь зато и наплавался же!). Ничем она не угрожала мне, а только ласкала и нежила.

И вдруг все изменилось. По воле судеб настал период бесстолбия и всех напугал. Начали рыться, доискиваться причин и, наконец, пришли к такому заключению, что даже и в родной стихии нельзя бессрочно плавать, не понимая, что делаешь. Умозаключение это прямо противоречило исторической практике, победоносно доказавшей, что столпы именно до тех пор и стоят крепко, пока крепко стоит бессознательность, но так как бесстолбие одолевало, то приходилось довольствоваться хоть каким-нибудь выходом, чтобы так или иначе освободиться от ненавистного явления. Понадобилось уяснить составные части стихии, указать наилучшие способы управления ею. Вот эту-то задачу и приняла на себя публицистика. Она объяснила, что жизнь совсем не так проста, как это казалось

нам, крепостных дел мастерам, что, напротив того, она представляет сплошную цепь больших и малых «принципов», которые постоянно и ревниво надлежит держать перед глазами, дабы благополучно провести свою ладью к желанной пристани.

Но коль скоро однажды объявилась необходимость «принципов», то, само собой разумеется, потребовались и знаменосцы для них. Мы, крепостных дел мастера, не могли быть таковыми, во-первых, потому, что людей, однажды уже ославленных в качестве выслуживших срок, было бы странно вновь привлекать к деятельному столпослужению, а во-вторых, и потому, что, как я уже сказал выше, над всей нашей крепостной жизнью тяготел только один решительный принцип: как только допущены будут разъяснения, расчленения и расследования, так тотчас же все мы пропали! Требовались люди более подходящие, такие, которые зубами вцепились бы в врученные им знамена и всечасно памятовали, что плошать в деле держания знамен — отнюдь не допускается. Такими людьми оказались — вы, кабатчики, железнодорожники, менялы и прочие мироедских дел мастера. Публицисты отлично угадали, что цепче вас в настоящее время людей не найти, и в восторге от этой находки воскликнули: долой бесстолбие! вот они, новоявленные наши столпы!

И точно: бесстолбие как-то вдруг кануло, и ежели о нем изредка вспоминают и теперь, то для того лишь, чтобы с пылающими от стыда щеками воскликнуть: «ужели когда-нибудь был этот позор?» Отныне на вас, кабатчики и менялы, покоятся все упования. Вы совершите то, что не сумели свершить даже мы, ваши достославные предшественники; вы с неумолимою логикою проведете принцип умиротворения посредством обездоления. Мы, крепостных дел мастера, как-то задумывались перед громадностью этой задачи. Не скажу, чтобы нас останавливали на этом пути какие-нибудь соображения высшего порядка, но мы все-таки понимали, что если начать обездоливать вплотную, то из этого, чего доброго, в конце концов произойдет обездоление нашей собственной утробы. Вы и в этом отношении поставлены гораздо выгоднее, нежели мы. Арена вашего обездоления так бесконечна и так загадочна, что даже при самой неисповедимой наглости всегда будет казаться, что еще не все вычерпано, что затерялся еще где-то уголок, в котором процесс обездоления не совершил всего своего круга.

Ввиду столь несомненных свидетельств, и я, Прогорелов, не имею возможности сомневаться: да, вы грядете — это не тайна и для меня. Но, признаюсь откровенно, уверенность эта

не наполняет моего сердца сладкой надеждой, но, напротив, заставляет меня с некоторым трепетом приподнимать завесу будущего и отыскивать там совсем не те ликующие тоны, которые обещают наши охранители и наши публицисты.

Не думайте, однако ж, кабатчики и менялы, что я сгораю к вам завистью и что именно это дурное чувство препятствует мне приветствовать вас. Нет, тут совсем не то. Вот уж двадцать лет сряду, как я состою в звании пропащего человека, и мне кажется, что этого периода времени вполне достаточно, чтобы пролить бальзам забвения на какие угодно сердечные ропоты. На первых порах я действительно волновался и представлял из себя не то невинно падшего, который успел-таки припрятать в укромном месте кой-какие уцелевшие крохи, не то человека, приведенного в восторженное состояние от беспрерывной молотьбы по голове. Под влиянием свеженанесенной обиды я или ехидствовал, или извергал целые потоки ропотов, причем так бестолково кричал, что не только не вникал в смысл собственных речей, но, в большинстве случаев, за гвалтом не умел даже хорошенько расслышать их. Но вдруг промелькнула светлая минута. Я вслушался, вник и... покраснел. Я понял, что мой ропот был чем-то нелепым по существу и бесконечно неуклюжим по форме; что по существу я обнаруживал только голую алчность, а по форме — только беззаветнейшую невежественность. С тех пор я смирился и замолчал. Изредка, правда, и теперь кое-что сболтну в одном из тех тихих приютов, которые известны под именем земских учреждений, но сболтну неуверенно и как-то невнятно, с пропусками. Точь-в-точь как органчик, которого вал от времени и жестокого обращения утратил три четверти своих колышков.

И знаете ли что еще? С тех пор как я покраснел и сознал, что титул пропащего человека прикреплен за мной бесповоротно, я полюбил это скромное звание. Иногда мне даже сдается, что оно близко граничит с званием человека вообще, что в этом качестве ему предстоит хорошая и прочная будущность и что ежели, для увековечения родов пропащих людей, не будет заведено бархатных и иных книг, то не потому, чтобы люди сии не были того достойны, а потому, что, раз испытав тщету увековечений, они и сами едва ли пожелают их возобновления. Повторяю: я до того примирился с мыслию, что я пропащий человек, что воспоминания минувшей славы уже не пробуждают во мне ни бесплодной горечи, ни несбыточных надежд. Я знаю, что история назад не возвращается, что даже гнусное не повторяется в ней в одних и тех же формах, но или развивается в формы гнуснейшие, или навсегда прекращается и что, стало быть, Прогореловым — как бы они ни вопияли —

повториться в прежних формах (а новых они сами не выдержат) не суждено. Одно меня заботит в моем новом положении: сумею ли я настолько совладать с собою и с своим прошлым, чтобы сделаться воистину порядочным пропащим человеком, то есть человеком долга, добра, чести и труда?

Итак, не по чувству зависти я воздерживаюсь от поздравления вас с приездом, а просто потому, что меня берет оторопь. И не за себя я боюсь — чего уж! из меня все, даже страх вынули! — но за отечество.

Как ни бесшабашно прошла моя жизнь, однако помаялся-таки я на своем веку, а тем временем кое-что и попристало ко мне. Я, Прогорелов, грамотен — вот в чем суть. Преимущество ли это мое или злосчастие — всяко можно судить. Это преимущество, потому что грамота помогла мне непостыдно и безболезненно (по крайней мере, относительно) перекочевать из категории столпов в категорию пропащих людей; это злосчастие — потому что грамота же помешала мне всецело отдаться восторгам возрождения и этим самым уподобила мое существование ладье, плавающей по волнам житейского моря без кормила и весла.

Правда, что моя грамота, нельзя сказать, чтоб чересчур уж сложная, но важно уж то, что она потревожила мой почивавший внутренний мир и в то же время внушила мне вкус к некоторым нелишним наблюдениям и оценкам.

Благодаря этим наблюдениям, я знаю, например, что независимо от клейменых русских словарей в нашей жизни выработался свой собственный подоплечный словарь, имеющий очень мало сходства с клеймеными. И представь себе, Разуваев, что когда речь идет о выражениях, еще не утвердившихся, новоявленных, каковы, например: интеллигенция, культура, дирижирующие классы и проч., то я положительно предпочитаю последний первым. Я инстинктивно чувствую, что клейменые словари фаталистически обречены на повторение задов. Их миросозерцание — мое миросозерцание; условности, которые связывают их, суть те же, которые связывают и меня; словом сказать, словари эти несомненно сочинены самим мной еще в ту эпоху, когда я как сыр в масле катался. Так что если б я руководствовался только ими, то положительно все сомнительное и неясное так навсегда и осталось бы для меня сомнительным и неясным. Но, по счастью, рядом с клеймеными словарями существует толковый интимно-обывательский словарь, который провидит и отлично объясняет смысл даже таких выражений, перед которыми клейменый словарь стоит, уставясь лбом в стену. Вот к этому-то неиздан-

ному, но превосходнейшему словарю я всегда и обращаюсь, когда мне нужно вложить персты в язвы.

Возьмем хоть бы данный случай. Везде кругом говорят: грядут кабатчики, менялы, железнодорожники и прочие мироедских дел мастера. Желая объяснить себе это явление, я прежде всего обращаюсь к обывательским наблюдательным реестрам и вижу, что вы значитесь в них тако:

Разуваев, Анатолий, бывый халуй (понимаю). Занимается кабаками, а ныне, сверх того, и *интеллигенцией* (не понимаю).

Губошлепов, Иона, бывший целовальник (понимаю). Занимается поставкой для армии и флотов гнилых сухарей (еще бы не понимать!), а ныне, сверх того, *дирижирующий класс* (не понимаю). И т. д., и т. д.

Очень возможно, что для публицистов, подчасков и прочих экспертов науки подчеркнутые мною определения вполне ясны, но для меня, человека, только потревоженного наукой,— нет. Поэтому я, по старой привычке, беру сначала клейменый словарь и спешу справиться в нем: что сей сон значит? Но увы! никаких утешений в нем не обретаю, кроме того, что интеллигенция есть интеллигенция, а правящий класс есть тот, который правит. Тогда я припоминаю, что у нас есть еще неизданный интимно-обывательский толковый словарь, мысленно развертываю его и читаю следующее:

Интеллигенция, или кровопивство...

Правящий класс, или шайка людей, втихомолку от начальства объегоривающая...

Дальше я уже не читаю: с меня довольно. Искомая язва глядит мне прямо в глаза, зияющая, обнаженная, вполне достоверная. Нет нужды, что прочитанные определения противоречат бессознательной номенклатуре, усвоенной мною с пеленок: то, что открылось передо мной, так прозрачно-ясно, что я забываю все пеленки, заподозреваю все клейменые словари и верю только ему одному, нашему единственно правдивому и единственно прозорливому подоплечному толковому русскому словарю!

И затем целый ряд мыслей самого внезапного свойства так и роится в моей голове.

Горе, думается мне, тому граду, в котором и улица и кабаки безнужно скулят о том, что собственность священна! наверное, в граде сем имеет произойти неслыханнейшее воровство!

Горе той веси, в которой публицисты безнужно и настоятельно вопиют, что семейство — святыня! наверное, над этой

весью невдолге разразится колоссальнейшее прелюбодейство!

Горе той стране, в которой шайка шалопаев во все трубы трубит: государство, mon cher — c'est sacrrrrè![1] Наверное, в этой стране государство в скором времени превратится в расхожий пирог!

А работа воображения не только не отстает от работы мысли, но, по обыкновению, даже опережает ее. Картины следуют за картинами... ужас! Представьте себе эту неусыпающую свару, в которой отнятие перемешано с прелюбодеянием и терзанием пирога! Осуществите ее в целой массе лиц, искаженных жаждой любостяжания и любострастия, заставьте этих людей метаться, рвать друг друга зубами, срамословить, свальничать, убивать и, в довершение всего, киньте куда-нибудь в угол или на хоры горсть шутов-публицистов, умиленно поющих гимны собственности, семейственности и государственности! Ужели возможна картина более потрясающая? Бежать от них! бежать! бежать! — вот единственная мысль, которая угнетает мозг при виде этих озлобленных, бесноватых существ. Но куда бежать?

Вот чего я, Прогорелов, страшусь и чего — увы! — я не могу не провидеть в ближайшем будущем. Воистину говорю: никогда ничего подобного не бывало. Ужасно было крепостное мучительство, но оно имело определенный район (каждый мучительствовал в пределах своего гнезда) и потому было доступно для надзора. Ваше же мучительство, о мироеды и кровопийственных дел мастера! есть мучительство вселенское, не уличимое, не знающее ни границ, ни даже ясных определений. Ужели это прогресс, а не наглое вырождение гнусности меньшей в гнусность сугубую?

Интеллигенция! дирижирующие классы! И при сем в скобках: «сюжет заимствован с французского!» Слыханное ли это дело! И как ответ на эти запросы — «Разуваев, бывый халуй»! Разуваев, заспанный и пахучий, буйный, бесшабашный, безвременно оплывший, с отяжелевшею от винного угара головой и с хмельною улыбкою на устах! Подумайте! да он в ту самую минуту, как вы, публицисты, призываете его: иди и володей нами! — даже в эту торжественную минуту он пущает враскос глаза, высматривая, не лежит ли где плохо?

Знает ли он, что такое отечество? слыхал ли он когда-нибудь это слово? Ах, это отечество! По-настоящему-то ведь это нестерпимейшая сердечная боль, неперестающая, гложущая, гнетущая, вконец изводящая человека,— вот какое значение

---

[1] дорогой мой! — это священно!

имеет это слово! А Разуваев думает, что это падаль, брошенная на расклевание ему и прочим кровопийственных дел мастерам!

. . . .

Но да свершится. История имеет свои повороты, которые невозможно изменить, а тем менее устранить. Это, конечно, не слепой фатализм, перед которым не остается ничего другого, как преклониться, и не произвол, которому люди подчиняются, потому что за ним стоит целый легион темных сил; но все-таки это закон, и именно закон последовательного развития одних явлений из других. Явления приходят на арену истории как бы крадучись и почти не обнаруживая своей внутренней подготовки — вот почему они в большинстве случаев кажутся нам внезапными или произвольными. Но подготовка эта, несомненно, существовала, только мы, ошеломленные исконной репутацией несменяемости, которою пользовались явления предшествующие, проглядели ее. Так что когда новые вещи, новые порядки и новые дела являются во всеоружии совершившегося факта, то мы видим себя бессильными не только для борьбы с ними, но и для смягчения бесполезных наглостей подкравшегося торжества.

Увы! мироедский период, очевидно, еще не исчерпал всего своего содержания. Ему еще предстоит сказать решительное слово, и чем ближе к концу будет приходить его речь, тем жестче и неумолимее выскажется это последнее слово. Жизнь выработала известную сумму приманок, имеющих несомненно кровопийственный характер, и покуда эти приманки носят название утех, к ним все-таки не перестанут устремляться завистливые взоры тех, кто не боится рисковать или кто суеверно надеется на свою счастливую звезду. Покуда мудрость текущей минуты будет учить, что, ввиду устранения жизненных огорчений, человеческое естество необходимо упразднить, а на место его водворить и утвердить естество волчье, до тех пор всякий, могущий вместить, будет прямо или косвенно черпать из кладезя этой мудрости. Принцип утех — великий принцип, которому суждено вечно пленять человеческие сердца, и ежели тут есть беда, то не в том, что люди желают наслаждаться утехами, а в том, что, по обстоятельствам, эти утехи нередко получают характер звериный и человеконенавистнический. Вот когда жизнь выработает нового сорта утехи, тогда сам собою изноет и мироедский период. А покуда, повторяю, придется еще много услышать жестоких и бесчеловечных слов и долго оставаться безмолвным свидетелем всякого рода бесстыжеств и неключимостей.

Как бы то ни было, но я взялся за перо совсем не с тем,

чтобы протестовать. Я только намерен высказать несколько благожелательных соображений, которые, по мнению моему, вам, новоявленным столпам, в видах собственной пользы, не лишнее было бы принять к сведению.

Я сам, пропащий человек Прогорелов, был в свое время столпом, и сам бесчисленно прегрешал. Я был и отнимателем, и прелюбодеем, и изменником казенного интереса, и не только не полагал в том греха, но и вполне искренно был убежден, что именно на этих трех китах мир стоит. Только теперь, когда меня бесповоротно произвели в чин пропащего человека, я понял, что никаких тут китов нет. Во всяком случае то, что мне предстоит сказать по этому поводу, будет плодом моего собственного опыта и моей собственной долголетней мироедской практики. Стало быть, верно.

Начнем с отечества. Ответь, Разуваев! знаешь ли ты, что такое отечество?

Сделавши этот вопрос, я, натурально, стараюсь уловить, какое он произвел на тебя впечатление. И должен сказать, что впечатление это, на мой взгляд, не весьма удовлетворительное. Прежде всего, ты изумлен и таращишь глаза, словно спрашиваешь: и зачем ему это слово понадобилось? Нельзя даже поручиться, что ты не думаешь, что это слово бунтовское, заключающее в себе «филантропию»... Потом, однако ж, ты начинаешь шутки шутить, зубы заговаривать: кто же, мол, такого пустяка (ты употребляешь не это слово, а другое, но я из учтивости о нем умалчиваю) не знает! Но наконец, прижатый к стене, ты как-то загадочно киваешь в ту сторону, где имеет квартиру становой пристав Грацианов.

Твой кивок в сторону Грацианова убеждает меня, что ты смешиваешь отечество с начальством, или, по малой мере, ставишь представление о первом в зависимость от представления о последнем. Исполнять приказания начальства — вот, по-твоему, что значит быть истинным сыном отечества. Ясно, что ты ровно ничего не понимаешь.

Тогда я за теми же разъяснениями обращаюсь к твоему публицисту (он тебя провидел, облюбовал, он же, стало быть, обязывается и отвечать за тебя), в чаянии, что этот шустрый малый сумеет яснее формулировать то, что ты, в столповой своей необрезанности, только бормочешь. Но увы! и от него ничего, кроме бормотания, в ответ не слышу. Он легкомысленно перебегает от одного признака к другому; он упоминает и о географических границах, и о расовых отличиях, и о равной для всех обязательности законов, и о присяге, и об окраинах, и о необходимости обязательного употребления в присутственных местах русского языка, и о господствующей религии,

и об армии и флотах, и, в конце концов, все-таки сводит вопрос к Грацианову. Словом сказать, он тоже смешивает отечество с государством и правительством, подчиняя представление о первом представлению о двух последних.

Смею тебя уверить, однако ж, что представления эти совершенно различные и что смешение их может привести к таким запутанностям, которые на практике бывают равносильны бедствиям.

Итак, в чем же тут различие?

Прежде всего, отечество — привлекает; государство — обязывает; начальство — приказывает. Всё это функции, конечно, очень почтенные, но и за всем тем совершенно различные. Дальше. Представлению об отечестве соответствует представление о нравах и обычаях, об играх, песнях и плясках, о приметах и суевериях, о пословицах, поговорках, притчах и сказках и, наконец, о том неклейменом, но несомненно ходячем словаре, о котором я упоминал уже выше. Представлению о государстве соответствует представление о законах, о комиссиях, издающих сто один том трудов, о географических границах, об армиях и флотах, о податях и повинностях, о казенных учебных заведениях, о дипломатических нотах и о клейменых словарях. Представлению о начальстве соответствует представление о департаментах, канцеляриях и штабах, о предписаниях, подтверждениях и о тщетных ожиданиях на сии предписания ответов, о маршировках и обмундировках, о наградах, повышениях, увольнениях и перемещениях, и, наконец, паки о предписаниях и подтверждениях.

Отечество говорит тебе кратко: живи! даже не прибавляя при этом: играй, пой песни, пляши, сказывай сказки и проч. Оно знает, что и без его напоминания все сие тебе свойственно. Государство тоже говорит: живи! но прибавляет: и повинуйся закону. Начальство выражается так: живи, но ожидай предписаний и подтверждений!

Ужели и теперь не ясно, что это функции совершенно друг от друга отличные?

Но будем продолжать наши сравнения.

Отечество есть тот таинственный, но живой организм, очертания которого ты не можешь отчетливо для себя определить, но которого прикосновение к себе ты непрерывно чувствуешь, ибо ты связан с этим организмом неразрывною пуповиной. Он, этот таинственный организм, был свидетелем и источником первых впечатлений твоего бытия, он наделил тебя способностью мыслить и чувствовать, он создал твои привычки, дал тебе язык, верования, литературу, он обогрел и приютил тебя, словом сказать, сделал из тебя существо, способное жить.

И всего этого он достиг без малейшего насилия, одним теплым и бесконечно любовным к тебе прикосновением. Он сделал даже больше того: неусыпно обнимая тебя своею любовью, он и в тебе зажег священную искру любви, так что и тебе нигде не живется такою полною, горячею жизнью, как под сенью твоего отечества. Ты слово скажешь — в отечестве тебя понимают; ежели это слово умное — возвеличат и воздвигнут монумент; ежели оно глупое — забранят и простят. Ты сделаешь движение — в отечестве сразу угадывают, куда оно клонится; ежели это движение осмысленное — скажут: даже жест у него умный и благородный! ежели оно нелепое и противоестественное — определят в актеры в Александринский театр: играй с Новиковым и Петипа! Всякий поступок твой в отечестве оценят, не прикидывая к нему абсолютных критериумов, а довольствуясь правилом: по здешнему месту и так сойдет! Самый плохой человек — и тот найдет в своем отечестве массу таких же плохих людей, которые будут вместе с ним на бобах разводить, вместе есть печатные пряники, вместе горевать и радоваться. Даже мерзавец — и тот обрящет целую уйму сомерзавцев, с которыми может по душе поговорить. Нигде на чужбине ты ничего подобного не найдешь: ни сочувствия, ни снисходительности, ни даже порицаний. Везде, кроме своего отечества, ты чужой; ни тебя никто в земские учреждения не выберет, ни ты никого в земские учреждения не выберешь. Только в отечестве тебе до всего дело, даже в таком отечестве, где на каждом шагу тебе говорят: не суйся! не лезь вперед! не твое дело! Пускай говорят! ты все-таки всем существом своим сознаешь, что дела у тебя по горло и что, если б ты даже желал последовать совету о несовании носа, никак это невозможно выполнить, потому что дело само так и подступает к твоему носу. Словом сказать, только тут, только охваченный волнами родного воздуха, ты чувствуешь себя способным к жизни существом, хозяином «своего дела», человеком, которого понимают и который в то же время сам понимает.

Все эти блага наполняют твое существо такою полнотою довольства, какой ничто другое не может тебе дать. А довольство, в свою очередь, полагает начало другому не менее сладкому чувству — чувству признательности и солидарности. Не довольствуясь отвлеченной идеей отечества, ты ищешь олицетворить его в чем-нибудь конкретном, и в этих поисках прежде всего наталкиваешься на своих соотечественников. Кто дал тебе это чувство довольства? кто дал тебе славу, ежели ты силен, и снисхождение, ежели ты слаб? Кто окружил тебя почетом или накрыл покровом забвения, смотря по тому, что ты заслужил? Кто сказал тебе: вот в чем твоя заслуга и вот

в чем твой стыд? Все это дали и сказали тебе твои соотечественники. Во всяком другом месте, от всех других людей ты слышал только один разговор: столько-то франков и столько-то сантимов; только здесь, в отечестве, с тобой разговаривали по-человечьему, только здесь признали в тебе существо, которое можно хвалить или порицать и которого действия во всяком случае следует считать обязательно вменяемыми. Как же тебе не быть бесконечно признательным этим людям, которые ни разу не проглядели в тебе человека, которые могли любить, ненавидеть, даже презирать тебя, но одного не могли: остаться к тебе равнодушными? Как тебе не считать себя солидарным с ними, как всеминутно от глубины благодарного сердца не восклицать: о, плоть от плоти моей и кость от костей моих! — когда и у них, при виде твоем, дыхание спирается в зобу? Как не броситься в огонь и в воду ради присных твоих? как не принять смерть, мучительство, позор ради другов твоих? О, Разуваев! сделай милость, пойми меня! ведь они, они одни признали в тебе подлинного человека, одни они напоили тебя и радостью, и мучительством, и позором — какой же высшей награды можно желать?

Вот отчего говорится, что нет отечества краше собственного отечества; вот отчего ни о чем не болит сердце такою острою болью, как об отечестве. Люди изнывают под непосильным бременем этой боли, сходят с ума, решаются на самоубийство. Стоит одинокий человек где-нибудь на берегу Средиземного моря, среди залитой лучами солнца природы, и чувствует, как капля по капле истекает его сердце кровью. Ах, что-то там делается, в этих дорогих сердцу палестинах, где С.-Петербургские и Московские ведомости издаются (wo die Citronen blühen)? Чай, Феденька Неугодов закусывает, Петр Толстолобов цыркает... ах, так бы и летел туда! хоть невидимкой посидел бы в том заседании комиссии, когда она, издав сто один том трудов, сама, наконец, приходит к заключению, что все земное ею свершено и что затем ей ничего другого не остается, как разойтись! Да, хочется и туда! не для смеха хочется, а потому что нутро горит по присным и другам, потому что память об них даже в лучах этого горячего солнца не может до конца потонуть!

До какой степени живуче это чувство неразрывности с отечеством даже в плохих людях, доказательством тому может служить следующий, правда, довольно банальный пример. Колесит гулящий русский человек по белу свету, сыплет марками и франками, уплачивает тринкгельды и пурбуары — и все ему почета ни от кого нет. Наконец наступает решительный момент: жизнь в обществе кельнеров, гарсонов и метр-

дотелей наскучила, франки приходят к концу — айдà домой! Начинаются расчеты: столько-то на расставанье с Парижем, столько-то — на ознакомление по пути с садом Кроля, столько-то — на дорогу... И представь себе, Разуваев! такова сила инстинктивной веры в привечающие свойства отечества, что ежели нет совсем завалящих денег, то гулящий человек в своих путевых расчетах как-то совсем забывает Россию. Только бы до Эйдкунена доехать, а там как-нибудь... ведь там уж Россия! И действительно, доехали до Вержболова, а здесь уж давно ждут: пожалуйте по этапу! Ну, что ж! по этапу, так по этапу! Бывали! видали!

Я знаю, Разуваев, что разъяснения эти утомили тебя, но я остановился на них потому, что надо же тебе знать, что такое отечество и почему так естественно его любить. Ведь ты грядешь с тем, чтоб играть роль, ты даже в обывательских книгах в графе «чем занимается» отмечен: «дирижирующий класс» — надо же, чтоб ты понимал, что именно разумели наши предки, говоря: земля наша велика и обильна, но порядку в ней нет. Но, сверх того, я и не для тебя одного пишу. Помимо тебя, на свете существуют легионы вертопрахов, которые слишком охотно говорят о прекращениях и вовсе не думают о том, что отечество не прекращать, а любить надлежит. Пускай и они тронутся моими стенаньями, пускай скажут себе: да, он прав! если мы присных своих предадим расточению, то с кем же сами останемся? кто будет нас красавцами называть?

Идея отечества одинàково для всех плодотворна. Честным она внушает мысль о подвиге, бесчестных — предостерегает от множества гнусностей, которые без нее несомненно были бы совершены. Есть еще и другая идея, в том же смысле плодотворная — это идея о суде потомства; но так как она непосредственного действия не оказывает, то и доступна лишь людям, не чуждым обобщений,— тогда как мысль о том, как будет принят тот или другой поступок в среде соотечественников, бьет прямо в чувствительное место и отчасти имеет даже угрожающий характер. Ибо нет презрения существеннее того презрения, которым пользуется человек от своих соотечественников.

Но, может быть, ты скажешь на это: ведь сам же ты, за несколько страниц выше, утверждал, что и мерзавцу в своем отечестве веселее, потому что он найдет там массу вполне однородных сомерзавцев, с которыми ему можно душу отвести; стало быть, дескать, и я: подберу подходящую компанию, и будем мы вкупе сомерзавствовать, а до прочего нам дела нет. Прекрасно; действительно, ты можешь такую компанию обрести. Но ведь ежели я рисовал тебе подобную перспективу, то,

право, не для того, чтоб ты непременно в ней искал себе успокоения, а только на случай крайности. Не спорю, можно так искусно нырнуть в шайку специалистов, что ею, так сказать, от всего остального света себя загородить; но не забывай, что в такой шайке тебе предстоит только бражничать, да по душе калякать, а ведь тебе, главнейшим образом, надо объегоривать и дела делать. Вот эти-то последние функции и вынудят тебя от времени до времени выбегать из шайки и обращаться к прочим партикулярным людям. Теперь представь себе следующее. Допустим, что ввиду засилия, которое ты взял, партикулярные люди не посмеют совершенно уклониться от сношений с тобой; но так как им известно, что ты несомненный кровопивец, то они непременно хоть частицу сокровища да утаят от тебя. Если же им о кровопивстве твоем неизвестно, если ты сумел — не скажу сделаться честным человеком, но, по крайней мере, прикинуться таковым, то они не только *все* свое сокровище, но и тела и души — все полностью тебе препоручат. Не ясно ли, что даже в таком деле, как облапошиванье, быть кровопивцем загадочным выгоднее, нежели неприкрытым нахалом, который всей своей физиономией только что не говорит: что ж ты задумался, не плюешь в меня? плюй!

Осторожность и загадочность — вот школа, которую ты обязываешься пройти, если хочешь, чтобы в тебе воистину видели «дирижирующий класс». Ибо обыватель простодушен, и ежели видит, что на него наступают, с тем чтобы горло ему перекусить, то уклоняется. Но когда его потихоньку неведомо где сосут, он только перевертывается.

Теперь — о государстве. Эта идея тоже плодотворная, но только в другом роде и в другой степени. Но ты и ее смешиваешь с Грациановым, а публицисты твои — с цензурным ведомством, а потому надо и в данном случае кое-что тебе пояснить. Скажем так: отечество — от бога, государство — дело изобретательности человеческого ума. Вот главное и существенное различие между отечеством и государством; остальные подробности ты можешь сообразить сам по тому же масштабу. Необходимо, впрочем, помнить еще следующее: в представлении о государстве ты не встретишься ни с подблюдными, ни с свадебными песнями, ни с сказками, ни с былинами, ни с пословицами, словом сказать — ни с чем из всего цикла тех нежащих явлений, которые обдают тебя теплом, когда ты мыслишь себя лицом к лицу с отечеством. Ничего подобного государство тебе не даст, но у него имеется в руках громадная привилегия: оно властно обеспечить или не обеспечить твоему отечеству спокойное пользование этими благами. Это обстоя-

тельство очень важно, и ты отнюдь не должен упускать его из вида, если хочешь умненько вести дела свои. Так что ежели, например, ты сдуру будешь молить бога, чтоб государство не обеспечивало хороводов и игр, но воспрещало и преследовало оные, то, во-первых, молитва твоя не будет угодна богу, а во-вторых, ты сам же первый почувствуешь на себе ее неблагоприятные последствия, если провидение допустит осуществление ее. Знай, Разуваев, что только народы веселые и хороводолюбивые к объегориванию ласковы; народы же угрюмые, узаконениями непосильно изнуряемые, даже для самых изобретательных кровопивцев дают мало пищи. Отданные в жертву унылости, они безмолвно изнемогают без малейшей надежды когда-нибудь нагулять приличное тело. Кости да кожа — поистине с такого одра больше двугривенного и ожидать нельзя! Это не я говорю, а история.

Не менее плодотворна и идея о начальстве. Идея эта тебе небезызвестна — этого отрицать нельзя; но все-таки скажу: даже и ее ты как-то неблагородно представляешь себе. Начальство представляется тебе чем-то таким, что наполняет криком вселенную, а в свободное от криков время принимает барашка в бумажке. Нет, это не так; это идеал, уже вышедший из употребления, и притом такой, который не за что было бы любить. Но не любить начальства нельзя, так как и оно, совместно с государством, для того установлено, дабы наидействительнейше обеспечивать неприкосновенность хороводов и игр. А потому, ежели ты будешь в молитвах своих упоминать о начальстве (это полезно «да тихое житие поживем»), то проси бога так, чтобы в начальственных распоряжениях было больше снисходительности и менее настоятельности, и чтобы, не теряя из вида спасительной строгости, начальство в то же время памятовало, что и оно, яко из человеков состоящее, прегрешать может. Именно так и молись, ибо в противном случае результат один: кости да кожа, с его неизбежным последствием в форме постепенного закрытия заведений, гласящих: распивочно и навынос.

Итак, три главных объекта предстоят для твоей, Разуваев, любви:

Во-первых, отечество, которое ты обязываешься любить — будем говорить кратко — за то, что оно твое отечество и его тебе дал бог.

Во-вторых, государство, которое ты должен любить ради отечества, дабы последнее не впало в уныние и свойственные ему игры и смехи неповрежденными сохранило.

В-третьих, начальство, которое ты должен любить тоже ради отечества и по той же причине.

Как видите, во всех трех случаях отечество стоит на первом плане. Я знаю, что для тебя это сущий сюрприз, но что же делать, мой друг! я бы и сам рад всех поравнять, но так уж выходит.

Повторяю: все сейчас изложенное я высказал по собственному опыту. Когда я был столпом, то так же, как и ты, Разуваев, ровно ничего не понимал. Для меня это было еще постыднее, потому что я грамотен. Грановского слушал, Белинского читал, восторгался, трепетал от умиления — и, представь себе, все эти восторги и умиления я словно во сне или в фантастическом представлении проделывал! Отслушаешь, бывало, Грановского, а через час, как ни в чем не бывало, думаешь: а что, кабы кто у меня душу купил! Каким образом происходил чудодейственный процесс этого жизненного двоегласия — об этом целые томы психологических исследований можно написать; но он происходил несомненно, и я был в нем действующим лицом. Я без умолку болтал о любви к отечеству — и в годину опасности жертвовал на алтарь отечества чужие тела; я требовал, чтоб отечественный культ был объявлен обязательным, но лично навстречу врагу не шел, а нанимал за себя пропойца. И в довершение всего я снабжал пожертвованных и нанятых мною «защитников» сапогами на картонных подошвах и, прося у бога побед и одолений, нимало не думал о том, далеко ли уйдут на картонных подошвах мои ратнички... И вот за это теперь — я пропащий человек.

Я говорил себе: отечество — святыня! об этом во всех стихотворениях упоминается. Но ежели мое личное процветание не поставлено в прямую зависимость от процветания отечества, то пускай оно остается святыней, а я буду процветать особо. Правда, в моей голове иногда мелькала мысль, что это вывод лукавый и постыдный, что, следуя Грановскому и Белинскому, его надлежало бы как раз выворотить наизнанку, то есть сказать: ежели мое личное процветание не поставлено в зависимость от процветания отечества, то я сам, по совести, обязан устроить эту зависимость; но я как-то ухитрялся обходить эту назойливую мысль и предпочитал оставаться при первоначальной редакции. Я срывал цветы удовольствия, а соотечественники мои унывали; я праздновал, а соотечественники мои повинны беша работе; я был изъят от телесных наказаний, а соотечественники мои были изъяты от наград. И в то же время я слушал Грановского, восторгался, восклицал: отечество — святыня! И вот за это теперь — я пропащий человек!

Прорывались, однако ж, минуты, когда мне думалось: а ведь, несмотря на процветание, все-таки в моем существова-

нии есть что-то непрочное и как бы неблаговонное. Куда бы я ни сунул свой нос, везде навстречу мне раздавался окрик: чего с жиру бесишься! твое дело не лезть, а другим пример подавать! «Подавать пример» — это, по тогдашнему времени, значило: собственным телом такую филантропию пропагандировать, чтобы никто своего носа отнюдь никуда не совал. И что же! первого окрика было вполне достаточно, чтоб я убедился. Мне как-то сразу сделалось ясно, что, действительно, я с жиру бешусь, а не по настоятельной внутренней нужде действую, что, в сущности, для меня даже выгоднее не совать носа, потому что тогда и в мою мурью никто носа не сунет. И, заручившись этою столповою мудростью, я ни за себя, ни за других — ни за кого пальцем не шевельнул. Ни за кого не заступился, никого не загородил грудью, и в то же время умилялся и восклицал: отечество — святыня! И вот за это теперь — я пропащий человек.

Как в былое время мне ни до кого не было дела, так теперь никому нет дела до меня. Никто ко мне не устремляется, никто от меня ничего не ждет, никто даже в толк не может взять, хочу ли я чего-нибудь или просто блажу. А я между тем... понял! Я понял, что такое отечество, понял, почему оно вправе требовать от сынов своих жертв и даже самоотвержения, и — увы! понял даже и то, почему от меня лично оно ни жертв, ни самоотвержения не требует: оно лучше меня самого знает, что я дать ему ничего не могу. Оставленный всеми, отживший, выдохшийся, я обязываюсь изнывать в отчуждении, услаждая себя лишь надеждой, что когда-нибудь мой сын или внук утопят звание пропащего человека в звании человека вообще и сына отечества в особенности. То есть тогда, когда даже потрохов моих в помине не будет. Скажи, можно ли представить себе боль, горшую этой!

Вот от этой-то боли я и желаю предостеречь тебя, Разуваев. Не иди по стопам моим, и ежели достигнешь производства в столпы, то не понимай этого звания в чересчур буквальном смысле, но потщись из недвижимого имущества превратиться в движимое. Люби отечество свое, люби! Служи ему собственным лицом, а не чрез посредство наемников; не процветай особо, но совместно с твоими соотечественниками, не утопай в бездельничестве и равнодушии, но стой грудью за други своя, жертвуй своими интересами, своею личностью, самоотвергайся! Ежели тебе жалко поступиться рублем, то поступись хоть двугривенным. Все это для тебя даже необходимее, нежели для меня. Мы, Прогореловы, столповали в такое тугое время, когда люди больше глазами хлопали, нежели понимали; тебе, Разуваев, предстоит столповать в такое время,

когда даже и мелкоте приходит на ум: а что, ежели этот самый кус, который он к устам подносит, взять да вырвать у него? И вырвут — не сомневайся, а тебя произведут в пропащие люди, и все это произойдет тем легче, что на твое место давно уж сам себя наметил новый столп: содержатель дома терпимости Ротозеев... Вот сколько вас там, в щелях, притаилось... столпов!

Одним словом, люби отечество — и верь, что убытка не будет. А затем мне остается условиться еще насчет некоторых подробностей, и задача моя будет кончена.

По поводу вашего появления было поднято много разного принципиального разговора. Собственность, семейство, государство — вот триада, которую, по мнению охранителей и публицистов, вы призваны защитить и навсегда утвердить. Прекрасно; постараемся же сговориться, в какой мере и как ловчее все это осуществить.

«Собственность» — ты понимаешь достаточно, то есть всем своим нутром. Все, говоришь ты, что я успел опустить в *свой* карман, поместить в *своей* квартире, запереть в *свою* шкатулку, все, что я могу, по личному усмотрению, перенести в другое место и в случае банкротства спрятать,— все это есть собственность движимая. Дома же и земли, которые я не могу ни перенести, ни спрятать, но могу: первые, застраховав в двойной ценности, поджечь, а вторые, исхлопотав от установленных баснописцев залоговые свидетельства (с виньетками и картинками), заложить в кредитном учреждении,— это собственность недвижимая. То же самое говорят и твои юристы и публицисты, только с несравненно меньшей ясностью, что, впрочем, и вполне естественно, ибо на неясности почиет их право на получение гонорара.

Все это, однако ж, относится к собственности уже осуществившейся, то есть опущенной в карман, запертой в шкатулку, или получившей от нотариуса надлежащую санкцию. О том же, каким образом произошел процесс этого осуществления, тут вовсе умалчивается, а мне сдается, что с точки зрения принципиальностей это-то именно и важно. Каким образом запута́лся в твоем кармане рубль? как случилось, что, постепенно перекладывая запутавшиеся рубли из кармана в шкатулку, ты, наконец, воскликнул: а теперь пойдем к нотариусу и постараемся определить, что следует разуметь под именем недвижимого имущества?

Ежели ты действительный поборник принципов, ежели ты воистину призван оградить и утвердить оные, то ты поймешь мое беспокойство. Прямо тебе говорю: как насадитель и оградитель принципа собственности, ты должен таким образом ве-

сти свои дела, чтобы во всякое время дать отчет относительно способов приобретения. По крайней мере, я, Прогорелов, был в старые годы вполне на этот счет чистосердечен. Все, что вы видите, говорил я, все это перешло ко мне от папеньки и маменьки (были и исключения, но очень немного), я же только одно усовершенствование в дошедшем имуществе допустил: заложил оное в опекунском совете. По моему мнению, не меньшее чистосердечие в этом смысле обязываешься выказать, Разуваев, и ты.

Но тут-то именно ты и начинаешь увертываться. На одно набрасываешь покров давности (тоже, брат, принцип!), на другое — покров коммерческой тайны. А юристы и публицисты твои, так те даже прямо говорят, что так как в данном случае истцов в виду не имеется, то и надлежит в требовании чистосердечного отчета отказать. И отказывают — что́ будешь делать! И даже правильно отказывают, потому что, допусти вас подноготную разворачивать, вы и сами искляузничаетесь, и других до смерти закляузничаете.

Однако для партикулярного человека это не резон, ибо он не юрист и не публицист, а простой сын отечества. Как только он замечает, что ответчик начинает ссылаться на отсутствие истцов, так тотчас начинает подозревать: а ведь отсутствующий-то истец, пожалуй, и есть именно я, партикулярный человек!

Допустить, чтоб эта мысль утвердилась в нем,— очень невыгодно, потому что, развивая, проверяя и дополняя ее, он может прийти к выводам поистине поразительным. Как юрист, ты ясно понимаешь, чем ты вправе «воспользоваться», что вот это ты можешь «оттягать», а вот это — просто «отнять»; но партикулярный человек, как сын отечества, во всем этом сомневается. Как юрист, ты говоришь: как взял, так и отдай! — а он, как сын отечества, возражает: и все-таки ты поступай по-божески! Как юрист, ты говоришь: своими ли глазами ты смотрел? своими ли руками брал?..— а он, как сын отечества, возражает: и все-таки ты меня обманул, зубы мне заговорил! Как юрист, ты его убеждаешь: ты пропустил все сроки, не жаловался, не апеллировал, на кассацию не подал, кто ж виноват, что ты прозевал? — а он, как сын отечества, возражает: где ж это видано, чтоб из-за каких-то кляуз у меня мое отнимать? Как юрист, ты говоришь: я за своей собственностью блюду, а ты за своею блюди! — а он, сын отечества, возражает на это: вор!

Конечно, все эти возражения ничтожны и будут оставлены без последствий, но когда живешь среди сынов отечества, то надобно заранее приготовиться к тому, чтобы и ничтожные

возражения выслушивать. Сыны отечества простодушны и неразвиты, и в довершение всего каждый из них наивно думает: своего-то ведь жалко. Очень может быть, что это и предрассудок, но что же делать, мой друг! он настолько живуч, что не принять его к сведению — просто нельзя.

Я думаю, впрочем, что ты до известной степени удовлетворишь этому предрассудку, если признаешь совместное существование своей собственности и чужой. Это будет и просто и благородно. Неусыпно стеречь свою шкатулку и в то же время не подбирать ключа к шкатулке соседа; держаться обеими руками за рубль, запутавшийся в кармане, и в то же время не роптать, ежели видишь такой же рубль в кармане присного... что может быть величественнее этого зрелища! Вот задачи, которые предстоит осуществить истинному радетелю принципа собственности, и, по-моему, это задачи очень хорошие, особливо ежели выражение о подбирании ключа не принимать в исключительно буквальном смысле, но стараться как можно шире распространять его действие. Не пренебрегай ими, Разуваев! Не разоряй, не грабь, и на вопрос: кого же ты будешь допекать после того, как вконец допечешь обывателя? — не отвечай с нахальством: йён доста-а-нит! Нет, когда-нибудь наступит минута, что и он не достанет, ибо всякому доставанию положен предел, а следовательно, положен предел и твоим допеканьям!

Человек ни к чему не относится с такою чувствительностью, ничего так ревниво не оберегает, как ту совокупность матерьяльных удобств, которыми он успел обставить свою жизнь. Малейший ущерб, приводящий к стеснению этой обстановки, заставляет его роптать и искать глазами, где обидчик? И так как обидчика имярек никогда налицо не оказывается, то он невольно приходит к необходимости обобщать и распространять...

Ужели ты не боишься тех горьких последствий, которые неизбежно должны произойти из подобных обобщений?

Итак, будь умерен и помни, что титул дирижирующего класса, который ты стремишься восхитить, влечет за собой не одни права, но и обязанности. Обязанности эти в том, что касается принципа собственности, гласят так: не укради! А так как, по обстоятельствам времени, такая редакция представляется чересчур уже строгою, то мы можем смягчить ее так: не до конца обездоливай, но непременно оставляй обывателю столько, чтобы изобретательность его и впредь находила для себя повод изощряться. Ежели ты из рубля отнимешь половину — это, я полагаю, будет вполне прилично; ежели ты отнимешь из рубля восемь гривенников, то это будет уж кровопий-

ственно, но все-таки выносимо. Остального не отнимай: пускай опять разживается!

Затем на очереди стоит принцип семейственности, который тоже обязываешься ты оградить. Сознаюсь откровенно: мы, Прогореловы, достаточно-таки порасшатали этот принцип, или, лучше сказать, до того его обнажили, что в конце концов в нем ничего не осталось, кроме въезжего салона, в котором во всякое время происходили разговоры об улучшении быта милой безделицы. И вот, когда дети перестали поздравлять родителей с добрым утром и целованием родительских ручек выражать волнующие их чувства по поводу съеденного обеда, когда самовар, около которого когда-то ютилась семья, исчез из столовой куда-то в буфетную, откуда чай, разлитой рукою наемника, разносился по закоулкам квартиры, когда дни именин и рождений сделались пустою формальностью, служащею лишь поводом для выпивки,— только тогда прозорливые люди догадались, что семейству угрожает действительная опасность. Начали думать, соображать, как этому делу помочь, и, разумеется, прежде всего бросились за справками. Оказалось, что везде было так. Во всех странах цивилизованного мира, где Прогореловы заведовали делами культуры, везде они низвели семейный вопрос до уровня милой безделицы. Из драмы сделали оперетку, из совместного скитания, из спальной в детскую, из детской на кухню, потом в столовую, гостиную и обратно через все инстанции в спальню — вольное катанье на тройках в трактир «Самарканд». И везде же на смену ослабевшим Прогореловым явились люди свежие, неиспорченные, которые тем с большей готовностью подняли брошенные в грязь знамена, что в совершенстве поняли, какую службу они могут сослужить. У всех на памяти, как ловко подняла, в тридцатых годах, знамя семейственности и домашнего очага западноевропейская буржуазия и как крепко она держалась за него, пока вечно достойныя памяти Наполеон III, при содействии Оффенбаха, Шнейдерши и нынешней неутешной вдовы, не увлек ее в сторону милой безделицы.

Ввиду столь решительных справок предполагалось, что то же самое произойдет и у нас. Сначала Прогореловы расшатают, а потом кабатчики и менялы утвердят. Первая часть этой программы уже выполнена, но будет ли выполнена последняя — это еще вопрос.

Мне кажется, что наиболее существенным препятствием в этом смысле явится род ваших занятий. Вы, кабатчики, железнодорожники и менялы, не имеете занятий оседлых и производительных, но исключительно отдаетесь подсиживаньям и сводничествам. В согласность этому, и жизнь ваша получила

характер кочевой, так что бо́льшую ее часть вы проводите вне домов своих, в Кунавине. Но о каких же принципах может быть речь в Кунавине?

Очевидно, что публицисты, возложившие на вас обязанность утвердить принцип семейственности, совсем проглядели эту обстановку. Их ввела в заблуждение ваша грубость, которую они приняли за патриархальность. В то время, когда у западноевропейского буржуа наполеоновского образца «l'eau vient à la bouche» — у вас «текут слюни»; в то время, как у того же буржуа из уст вылетает целый фейерверк милых мерзостей — из вашей утробы извергается какое-нибудь односложное паскудство; в то время, как западный буржуа разговаривает, убеждает, умоляет,— вы, «глядя по товару», выкладываете более или менее крупную ассигнацию, кратко присовокупляя: Машка, пошевеливайся! Не спорю, с точки зрения ясности намерений, ваши «слюни» сравнительно менее паскудны, нежели французское «l'eau à la bouche», но, спрашивается, что же, однако, общего между кунавинскими «слюнями» и семейственностью? О каком тут «утверждении» может идти речь?

Поэтому, в смысле семейственности, я не надеюсь на тебя, Разуваев! Ничего ты не утвердишь. Но так как на тебя обращены все взоры, и так как, в качестве новоявленной «интеллигенции», чаша сия ни в каком случае не минет тебя, то, по мнению моему, ты только тогда успеешь... ну, хоть притвориться поборником чистоты семейного очага, когда радикально изменишь род своих занятий. Перестань заниматься кабаками, не подсиживай, не сводничай, сократи до минимума экскурсии в Кунавино, производи, а не маклери — это до известной степени осадит тебя, утрет твои «слюни» и приведет в порядок твои утробные урчания. Но будет ли и за всем тем принцип семейственности тобой утвержден — на это, я полагаю, и прозорливейший из публицистов утвердительного ответа не даст. Да и ответить тут можно только одно: не будет, наверное не будет — вот и все.

В заключение еще один вопрос: о неоставлении присных без заступления, или же, что то же самое, о неприменении к ним принципа предательства.

Я, Прогорелов, совершенно некомпетентен по этому вопросу. Всю жизнь я столповал за свой собственный счет, а о присных слышал только за обедней в церкви. Тем не менее, возобновляя в памяти процесс моего переименования из столпов в пропащие люди, я должен сознаться, что в числе причин этого превращения немаловажную роль играло и то, что я процветал независимо от процветания моих соотечественников, что я ни за кого не поревновал, никого своей грудью не заслонил.

Стало быть, ежели ты желаешь столповать продолжительно и благополучно, то не только не должен брать пример с меня (к чему ты, мимоходом сказать, чересчур наклонен), но, напротив, обязываешься поступать совершенно наоборот. Я равнодушествовал — ты сострадай; я бездействовал — ты хлопочи; я держался правила: носа из мурьи не совать — ты выбегай из мурьи как можно чаще, суй свой нос, суй! Хлопочи об концессиях, но не забывай и о соотечественниках. Это хорошо зарекомендует тебя в их глазах и их самих заставит надеяться и верить в лучшие дни. Выйдет ли что-нибудь из этих хлопот, надежд и верований — это вопрос другой, и ежели ты хочешь, чтоб я ответил на него по совести, то изволь, отвечу: не выйдет ничего, потому что у тебя и на уме ничего такого, чтоб что-нибудь вышло,— нет. Но все-таки старайся, радей, хлопочи!

Засим моя речь кончена. Вкратце она может быть резюмирована так:

Люби отечество, чти государство, повинуйся начальникам.

Блюди свою собственность, но не отказывай и присному твоему в праве иметь таковую.

О Кунавине, по возможности, позабудь.

А главное все-таки: люби, люби и люби свое отечество! Ибо любовь эта даст тебе силу и все остальное без труда совершить.



КРУГЛЫЙ ГОД

ПЕРВОЕ ЯНВАРЯ

В Новый год, разумеется, пришел ко мне племянник. Молодой человек лет двадцати четырех, но преспособный. У меня только в Новый год да на пасху и бывает.

— С Новым годом, дяденька.

— С новым счастьем тебя. Вареньица не приказать ли подать?

— Помилуйте, дядя, я в это время водку пью (был третий час на исходе).

— Водку? а ежели маменька узнает?

— Она уж пять лет это знает.

— Ну, водки так водки. А ежели водку пьешь, так, стало быть, и куришь. Вот тебе сигара. Рассказывай, что хорошего? с визитами кончил?

— С нужными — да; еще два-три не особенно важных осталось — те перед обедом доделать успею. А что ж вы, mon oncle[1], не поздравляете меня?

— Не знаю с чем, оттого и не поздравляю.

— Conseiller de collège[2] — сегодня и в приказах уж есть.

— Вот как это прекрасно! Поздравляю, поздравляю, мой друг! Маменьку-то уведомил ли?

— Сегодня в девять часов утра в Ниццу телеграфировал и сейчас заезжал домой — уж ответ получен. Вот и телеграмма.

Он подал листок, на котором я прочитал:

---

[1] дядюшка.

[2] Коллежский советник.

«Petersb. Znamenskaïa, 11.

Néougodoff.

Suis toute fière bénis conseiller collège Vendez Russie vendez vite argent envoyez Suis à sec

Nathalie»[1].

— Однако как же это: «Vendez Russie, vendez vite» и «argent envoyez»[2] — что̀ это значит? Неужто уж так деньги занадобились? — в недоумении остановился я.

— Очень просто: есть у нас пустошь Рускина — вот ее и надлежит продать. А на телеграфе переврали: Russie.

— Гм... какая, однако ж, можно сказать, провиденцияльная ошибка! Так вы Рускину-то продаете?

— Мы, дяденька, уж третью пустошь продаем с тех пор, как maman в Ниццу уехала. Она пишет, что пустоши — лишнее, только фигуру имения портят.

— То есть как тебе сказать?.. Конечно, пустоши — это вроде бородавки... Бывают, однако, и бородавки... А, впрочем, и то сказать: много денег в Ницце надо, особливо, ежели кто в Монте-Карло ездит! Только как бы после Рускиной-то и до Монрепо̀ Nathalie не добралась!

— Никогда не допущу! Там прах моего отца! Вы забываете это, mon oncle!

— То-то уж попридержитесь. Стало быть, Nathalie тобой довольна! «Suis toute fière»[3] — вот они, материнские-то чувства! Цени их, друг мой! Vendez Russie, vendez vite... фу! Да, впрочем, какая бы мать и не загордилась на месте Nathalie: в твои лета — и уж почти фельдмаршал!

— Ну, до фельдмаршалов-то далеко!

— Нет, не очень. Посчитай-ка. Через год, положим, статский советник...

— Через год... impossible, mon oncle![4]

Феденька скромничал, но я очень хорошо видел, что внутренно он вполне одобряет мои предположения, и потому продолжал:

— Через два года — действительный, потом тайный, потом трещина вдоль черепа... фу, что это, однако ж, какой я вздор

---

[1] «Петербург, Знаменская, 11. Неугодову.

Преисполнена гордости, благословляю коллежского советника. Продавай Россию, продавай скорее, высылай деньги. Сижу на мели. *Наталия*».

[2] «Продавай Россию, продавай скорее» и «высылай деньги».

[3] «Преисполнена гордости».

[4] Невозможно, дядюшка!

говорю! Нет, право, совсем не так далеко, как кажется с первого взгляда! Ну, да будущее в руце божией... Теперь-то ты как? доволен?

— Еще бы! сам генерал давеча на общем представлении объявил. Подошел, поздравил и сказал: если и на будущее время будете так продолжать, то...

Феденька остановился.

— Ну?

— И только — что ж больше! затем перешел к следующееему — и ему тоже...

— Ну, вот видишь! Стало быть, статский-то советник уж и теперь подразумевается. Продолжай, душа моя, старайся! И маменьке утешение, да и я, дядя-старик, на тебя глядючи, порадуюсь!

И, как истинный старик, я не утерпел и воскликнул:

— Господи! давно ли! Давно ли, кажется, я от купели тебя воспринимал!

— Ровно двадцать четыре года тому назад.

— Ка̀к время-то бежит! Словно вот сейчас слышу голос Nathalie из-за двери: ради бога, Michel, не урони его! ты такой неловкий!

— Не уронили, однако?

— Бог спас! а знаешь ли, впрочем, что ведь иногда вашего брата, из нынешних, право, недурно было бы в младенческих летах с умеренной высоты уронить!

— Это за что?

— Да бойки вы очень. Мечетесь, скачете, куски ловите — сколько вы народу передавите! Ну, да что говорить об этом! Дай-ко лучше я полюбуюсь на тебя.

Я приподнял его с кресла за руки, поставил перед собой и повернул кругом.

— Без отметин! Ноги крепкие, без подседов, грудь широкая, круп, как печь, и при этом — селезенка играет!.. молодец! Дамочки-то, я полагаю, видеть равнодушно не могут! Особливо, как теперь узнают, что такой милушка — и почти фельдмаршал! Ведь ты, разумеется, и в благотворительных обществах служишь?

— Без этого, дядя, нельзя. В двух обществах секретарем, в трех — членом-соревнователем.

— Знаешь, значит, где раки зимуют?

— Не без того. Да ведь и вы, дядя, я полагаю, в свое время по части «дамочек» спуску не давали?

— Где нам, друг мой! В наше время ведь и «дамочек»-то не было. Бывали, да всё Юноны; сидит она, бывало, в опере, в бельэтаже, словно царевна в окладе, да пасти́льки жует —

ну, и любуйся на нее снизу. А теперь пошли маленькие, юрконькие... интересны они?

— Масло!

— Ну, и слава богу. Только вот говорят они много... всё говорят! всё говорят! Этого тоже в наше время не было. Вообще в наше время для тех, кто не состоял по кавалерии или не обладал громким титулом, плохо по женской части было. Только два рессурса и существовало: Кессених да Марцынкевич. Там, действительно, встречались «дамочки», но те не разговаривали. Оно, с одной стороны, конечно, недостаток словесности... но с другой стороны... Ну, дай тебе бог! дай бог!

Я обнял его и поцеловал. Но потом опять не выдержал и удивился.

— Да ведь ты едва школьную скамью оставил! Ах!

— Пять лет уж, дяденька.

— Неужто уж пять лет!

— Даже немного больше. Нет, вы вот кому подивитесь — Самогитскому! Всего на один курс старше меня, а на днях уж в Погорелов послан!

— Вот, я думаю, чья маменька-то не нарадуется!

— У него, mon oncle, нет настоящей маменьки. То есть, коли хотите, она есть, но... vous concevez?[1] Он — сирота, но сирота, так сказать... государственный!

— Гм... понимаю! Эти сироты всегда... Это, дружок, и в мое время случалось. Служишь, бывало, служишь, только что местечко для себя облюбуешь — и вдруг тебе на голову... «сирота»!

— Так, и вы, значит, знакомы с этими разочарованиями?

— Я, голубчик, все знаю. Я и славы видел, и срамоты видел — все у меня на глазах прошло! Ты спроси, чего я только не видал!

— Да, говорят, интересные у вас воспоминания есть.

— Есть-таки. Бывали интересные вещи и в наше время, но, полагаю, что теперь их вдвое больше, и если б ты, например, наблюдал, то, наверное, всякого из нас, стариков, за пояс бы заткнул.

— Почему же вы так думаете?

— Да просто потому, что в наше время жизнь как-то ровнее шла, стало быть, и интересного в ней сравнительно меньше было. Подкладкой-то ей, положим, служили те же самые непредвиденность и неприкрытость, что и теперь, но люди, которые пользовались этой подкладкой, были солиднее. Они понимали, что известные жизненные условия для них выгодны, и пользовались ими, как могли; но они не дразнились, не

---

[1] понимаете?

утверждали во всеуслышание, что это те самые условия, лучше которых нет и не будет. Они знали, что такого тезиса нельзя приличным образом поддержать и что болтливость и хвастовство могут только компрометировать, но никак не защитить. Поэтому в наше время была строгость, но не было ненависти; бывали действия, суровые, неумолимые, но не было вывертов, презрения и наглости. Мрачно было, мой друг, в наше время, но хоть тем хорошо, что «питореску»[1] подлого не так много было. Живешь-живешь, бывало, в «объятьях сладкой тишины» — и ничего-то бьющего в глаза! И только когда-когда что-то шевельнется. Герой вдруг появится, который один целую армию полицейских разобьет, или такой уж мерзавец, что даже прочие мерзавцы — и те удивляются, как его земля носит. Ну, разумеется, интересно: возьмешь и запишешь.

— Так, значит, по-вашему, нынче интересных вещей больше?

— Больше, мой друг.

— Представьте, я этого никогда не замечал!

— И не заметишь, потому что ты сам среди этой суматохи живешь. А вот, если, по обстоятельствам, придется тебе от фельдмаршальства-то отказаться да к сторонке отойти,— вот тогда все эти интересности сами собой и всплывут. Будет об чем и детям и внукам порассказать.

— Не знаю. Это для меня совсем ново. Во всяком случае, я думал и продолжаю думать, что никогда мы не пользовались такой свободой, как теперь, и что в этом отношении, по крайней мере, шаг вперед, сделанный нами...

— Свободно-то, даже очень свободно — помилуй, разве я не знаю! Но непредвиденность... ах, эта непредвиденность! Представь себе, вот я стар-стар, а все-таки меня ежечасно какая-то оторопь берет. Ходишь иногда один и думаешь: вóльно мне теперь, на чтò вольнее! Что хочу, то и делаю! И в десятую долю никогда так свободно не дышала моя грудь, как дышит нынче! И вдруг какая-то неприятная дрожь. А что, дескать, коли, по обстоятельствам, придется вверх ногами ходить?

— Но ведь это пустяки, mon oncle! вы очень хорошо понимаете, что пустяки!

— Понимаю-то понимаю, а все-таки...

— Все-таки боитесь... пустяков!

— Клянусь, боюсь. Никогда этого со мной не бывало, даже при Бироне не было — вот, брат, как я давно живу! — а нынче, как спать ложиться иду, непременно обе двери, и на парад-

---

[1] pittoresque — живописного.

ную лестницу, и на черную, осмотрю: крепко ли заперты? И ночью не раз встанешь — послушаешь.

— Что ж, привидений вы, что ли, боитесь?

— Нет, не привидений, а вообще... «Интересного» боюсь. Думаешь иногда: что уж во мне! кажется, только и корысти, что заборы мной подпирать — а все-таки боишься!

— Ну, нет, не скромничайте! не говорите, что вами только заборы подпирать! Слыхали мы тоже про вас, слыхали-таки!

Феденька сказал это, очевидно, шутя, однако ж я все-таки обеспокоился.

— Вот видишь, и ты слышал — а я ничего не знаю. Почти ни с кем я не вижусь, а если и вижусь, то с такими же калеками, как я сам; даже водку совсем перестал пить, а все-таки чувства опасения не утратил!

— А я и вижусь со всеми, и вино и водку пью — и ничего не боюсь.

— Во-первых, ты кандидат в фельдмаршалы — не тебе, а тебя бояться приличествует. Во-вторых, ты бесстрашный. Вы все, нынешние, бесстрашные. В вас совсем нет чувства ответственности, а мы, старики, были снабжены им в излишестве.

— Но какое же тут чувство ответственности, коли вы даже водки не пьете?

— Все-таки. Вспомни, что я вскормлен непредвиденностью и, следовательно, ни на минуту не имею права позабыть об ней. Придет она, спросит,— я должен виниться. В чем виниться — я, положим, не знаю, но обстановку виноватости все-таки представить обязан.

— Однако напуганы-таки вы!

— Не напуган, а смолоду привык понимать, что в сем месте не пахнет розами. Вот эту-то самую остроту обоняния я и называю чувством ответственности. Без хвастовства и не в укор тебе, но я все-таки должен сказать: мы, старики, умнее вас держали себя.

— Ого!

— Да, умнее,— право, это так. Не все срамоты наружу вываливали, а кое-что и для внутренних апартаментов приберегали. И не стыд руководил нами в этом случае, а именно чувство ответственности, опасение компрометировать и себя, и присных своих. Уж это разве оглашенные какие хвастались: я, мол, такого-то объегорил, а такого-то и совсем по миру пустил; мудрый же, бывало, сядет потихоньку в уголок, да и прикладывает рублик к рублику. А на старости лет, глядишь, он либо в масоны поступил, либо псалмы в стихи перекладывает. Так-то, мой друг. И гадость свою выполнил, да и окрестностей вонью не отравил,— вот наша мудрость была какова!

— К счастью, что в наше время ни «оглашенных», ни «мудрых» — одинаково нет.

— «Мудрых» нет — это правда; но «оглашенных» — хоть пруд пруди. И при том живущих со дня на день, непредусмотрительных, без надобности тщеславных и без надобности же пресмыкающихся, не понимающих, что всякий поступок должен иметь свою причину и свой результат...

— Дядя! ведь это, наконец, обидно!

— Да, это обидно. До такой степени обидно, что даже самая беседа об этом раздражает. Но представь себе: есть вещи, до такой степени неразрывные с человеческим существованием, что как ни отмахивайся от них, они так и наступают, так и наступают на тебя. Вот я совсем уж, кажется, отгородился от жизни, да, к несчастью, к газетам привычки не могу побороть. Получаю, братец, читаю. Иной раз прямо тебя по затылку ударит, а другой раз, хоть и ничего нет в газете,— опять обида: почему *ничего* нет? Не может быть, чтоб *ничего* не было! Обида, обида, обида! Может быть, на деле и нет этой обиды, да внутри у тебя непроглядная масса обид сидит. Тревожат, дразнят, досаждают. Перечти-ка ты эти обиды, посчитай-ка их в тиши уединения — вот и поймешь, почему иногда скучно на свете жить.

— Вольно же вам!

— Обиды-то глотать? Нет, иногда даже полезно приучаться к этому глотанью, потому что обида, рано или поздно, все-таки придет. И ежели ты к этому не привык, а умеешь глотать только устрицы, то обида у тебя поперек горла встанет, задушит. А меня не задушит, потому что я привык. Впрочем, будет об этом, обратимся лучше к тебе. Ну, фельдмаршал, сказывай: планы у тебя в головке, чай, так кишмя и кишат?

— Какие же планы, mon oncle? и что может мне предстоять?

— Нет, тебе предстоит... я это чувствую, что тебе «предстоит»! Может быть, один «сирота» мимо проскочит, другой проскочит, а все-таки ты там будешь, где тебе природой указано. Вот почему я тебе, как дядя и друг, говорю: не зарывай в землю своих талантов, но кюльтивируй их!

— Но ведь ежели вспомнить то, что мы сейчас говорили об этих талантах, так, пожалуй, не кюльтивировать, а именно зарыть их скорее придется.

— Гм... пожалуй, что и так. В таком случае, зарой эти таланты и очисти место для других. Надо тебе сказать, что талант сам по себе бесцветен и приобретает окраску только в применении. Какого рода положительные применения ты можешь дать своим талантам — это, к сожалению, объяснить

трудно. Но от какого рода применений полезно было бы тебе воздержаться — это я, пожалуй, могу сказать.

Феденька с чуть заметной усмешкой взглянул на меня и процедил сквозь зубы:

— Например?

— Вижу я, вижу, мой друг, что болтливость моя забавляет тебя. И знаю, что тебе нужно только «провести время» с старым дядей, в ожидании тех визитов, которых ты еще не успел доделать...

— Что за мысль, mon oncle!

— Ничего; позабавься — мне и самому приятно, ежели тебе весело. Начну с воспоминаний прошлого. Был во времена оны у нас государственный человек — не из остзейских, а из настоящих немцев,— человек замечательного ума и, сверх того, пользовавшийся репутацией несомненного бескорыстия. Тем не менее даже в то время нигде так не было распространено взяточничество, как в том обширном ведомстве, которым он управлял. Так вот он, когда случалось ему отправлять кого-нибудь на место в губернию, всегда следующим образом напутствовал отъезжающего: «Удивляюсь, говорил он, как вы, русские, так мало любите свое отечество! как только получаете возможность, так сейчас же начинаете грабить! Воздержитесь, мой друг! пожалейте свое отечество и не столь уж быстро обогащайтесь, как это делают некоторые из ваших товарищей!»

— Надеюсь, однако, mon oncle, что ваша притча до меня не относится?

— Конечно, душа моя, в буквальном смысле она ни до тебя и даже ни до кого из «нынешних» карьеристов относиться не может. Но транспортировать ее все-таки можно. Например, сказать так: удивляюсь я, как вы, нынешние, так мало любите свое отечество! как только почувствуете силу, так тотчас же начинаете дразниться. Воздержитесь, друзья! пожалейте свое отечество и не столь уже беззаветно поддавайтесь внушениям бойкости, кои вам пользы ни на грош не принесут, а на общий ход дел между тем могут оказать влияние несомненно вредное!

Я остановился и взглянул на Феденьку: он очень внимательно чистил ножичком ногти.

— Гм... а как вы полагаете, дядя,— сказал он после минутного молчания,— ваш ископаемый государственный человек... достиг он своими наставлениями каких-нибудь результатов?

— О, разумеется, нет! всеконечно, нет! всеконечно, всеконечно, нет!

— Ну, а вы... вашими... как вы полагаете? достигнете?

Он сказал это так мило и при этом смотрел так ясно, улыбался так ласково, что я невольно взял его двумя перстами за подбородок и минуты с две молча любовался им.

Затем мы поцеловались, вновь пожелали друг другу счастливого года, и Феденька отправился доделывать визиты.

ПЕРВОЕ ФЕВРАЛЯ

Хотя беседа между мною и Феденькой происходила в шуточном тоне, но небрежность, с которою он отнесся к моим советам, не могла не огорчить меня. Основательно или неосновательно, но я не изъят некоторых опасений. Боюсь я этих бойких молодых людей, которые, ради карьеры, готовы отречься от отца и матери, которые, так сказать, едва вышедши из пеленок, уже потрясают указательным перстом, как бы угрожая невидимому врагу: вот я тебя! Что вызывает эти угрозы? какое чувство руководит этими юношами, этими неоперившимися птенцами в то время, когда они направо и налево сверкают зрачками глаз? Ненавидят ли они свое отечество (ведь, собственно говоря, они ему-то и грозят) или просто-напросто не понимают, что̀ это за штука, которая называется отечеством?

Предположения о ненависти я не допускаю. Во-первых, это чувство слишком тяжеловесное для этих легких сердец; во-вторых, можно ненавидеть лишь то, что гнетет, сковывает, отравляет существование; но какого же рода отравы может испытывать, например, Феденька? Помилуйте! он, не размышляючи, живет себе на всем на готовом, в прошлое заглянуть не любопытствует, в настоящее не вникает, а в будущем — видит только отрады...

Скорее всего, это люди неразвитые, выучившие в школе свои тощие тетрадки, не обращая внимания на их смысл, и потому даже не понимающие, по чьему адресу они посылают свои угрозы. Слово «отечество» не смущает их, потому что они не имеют ни малейшего представления о той бесконечно разнообразной массе интересов и отношений, которые оно собою захватывает. Они думают, что это слово потому только небесполезное, что оно похвально звучит в парадных случаях в ушах начальства. Сверх того, они знают из хрестоматий: «à tous les coeurs bien nés que la patrie est chère»...[1] И только.

Наиболее дальновидные из них (те, которые рассчитывают на солидные карьеры, где упоминовение об отечестве придает

---

[1] «всем благородным сердцам отечество дорого».

человеку известную серьезность) позволяют себе иногда щегольнуть этим словом даже запросто, между своими, но щегольство это, с первого же взгляда, поражает своею внезапностью, искусственностью и скоротечностью. Сидит, например, Феденька за тонким обедом у Бореля, сквернословит насчет предстоящих ему карьер и, дабы дать собравшимся собутыльникам понятие о своей солидности (он на днях ждет места, где без солидности обойтись нельзя), вдруг ни с того ни с сего прерывает сквернословие восклицанием:

— Causons un peu de la patrie, messieurs! Ah! la patrie... c'est sacré! [1]

Все на мгновение умолкают; многие завидуют: гм... должно быть, ему и в самом деле обещано! Но именно только на мгновение, потому что среди этого минутного смятения вдруг раздается голос какого-нибудь приблудного Жорженьки:

— Rien n'est sacrrrré pour un sapeurrrrre... [2]

И все опять повеселели, словно от кошмара освободились. Сам Феденька не в силах дольше держаться на высоте своей серьезности и ласково цедит сквозь зубы: шут! «Отечество» исчезает, словно сквозь землю проваливается, и веселое сквернословие вновь вступает в свои права. Не ясно ли, что это слово даже в облагороженной форме «la patrie» слишком громоздко для этих людей?

Да, это совсем не жестокий, а именно только легкий и до невменяемости неразвитый народ!

Тем не менее, не понимая, что̀ следует разуметь под словом «отечество» и какие обязанности последнее налагает на детей своих, молодые карьеристы в то же время отлично понимают, во-первых, что доходы и оклады, с помощью которых они прожигают жизнь, получаются ими в отечестве, и, во-вторых, что нигде, кроме отечества, им не суждено удовлетворить той потребности молодечества, которая, за отсутствием знаний и привычки размышлять, преследует их на всяком месте. В этом смысле и им, разумеется, не чужда идея «отечества», но какого отечества? — того, которое все стерпит, да вдобавок еще и денег даст. Сильные этим соображением и зная, что практика не особенно-таки противоречит ему, эти люди видят в отечестве нечто фаталистически им подчиненное, обязанное повиноваться и быть твердым в бедствиях. Поэтому они относятся к нему без церемоний, а иногда и с тем капризным нетерпением, с которым при крепостном праве некоторые не

---

[1] Побеседуемте, господа, об отечестве! О! отечество... это нечто священное!

[2] Для сапера ничего нет святого...

совсем умные помещики относились к мужику. Выжавши из него весь сок и замечая, что он уж не выделяет из себя нового сока, они усматривали в этом не произволение природы, положившей предел выделению соков, даже мужицких, но мужицкую интригу, факт злонамеренной утайки принадлежащих им, помещикам, даней. И, разумеется, сердились, секли и ссылали в Сибирь.

Отечество-пирог — вот идеал, дальше которого не идут эти незрелые, но нахальные умы. Мальчики, без году неделю вылезшие из курточек и об том только думающие, как бы урвать, укусить... ужели этого зрелища недостаточно, чтобы взволновать чувствительные сердца?

В последнее время это одностороннее отношение к задачам и формам предлежащей жизненной деятельности, к сожалению, еще более обострилось. В массе людей «посторонних», не «провиденцияльных», уже начинают выделяться личности, которые слову «отечество» придают очень серьезный смысл, которые прямо говорят, что отечеству надлежит служить, а не жрать его. Сверх того, тем же сознанием серьезности проникается, в значительной степени, и современная русская литература. По-настоящему этот факт должен был бы пробуждать доверие, а он, напротив того, бесит. Бесит, потому что «провиденцияльные» мальчики никак не могут понять, ка̀к это *вдруг* пришло. Откуда взялось мнение, что отечество — не пирог, а культ, дающий очень мало прав и налагающий очень много обязанностей? Кто это говорит? подумайте... КТО это говорит? Это говорят люди «посторонние», которым, по-настоящему, *до этого и дела-то нет!* И кому они говорят это? — тем, которые и днем и ночью, и в ресторанах и в кафешантанах, всегда готовы продекламировать: «à tous les coeurs bien nés que la patrie est chère!» Очевидно, что это не спроста, а *нарочно;* что тут есть какая-то пертурбация, подрыв, потрясение! И вот провиденцияльные мальчики чувствуют себя оскорбленными и начинают сердиться. Угрозы, имевшие дотоле оттенок простой (хотя и халдоватой) неряшливости, приобретают с каждым днем характер более и более острый. Глаза горят, ноздри раздуваются, из уст бьет пена... Это у мальчиков-то!

Как хотите, а это страшно. Целые массы провиденцияльных мальчиков каждогодно выбрасываются из всевозможных заведений на арену жизни... целые массы с слюной на устах! И это — надежда, это — запас, из которого будущему предстоит черпать! И каждый член этой массы бестрепетно грозит перстом: вот я вас! Каждый мнит, что все, что ни охватит его жадный взгляд,— все это не что иное, как арена, уготованная

для подвигов его молодечества, арена, на которой он может дразниться, подтягивать, «учить», утверждать в вере и т. д. Размыслите, сколько путаниц, смут и недоумений осуществляют в своем лице эти нового рода саперы, для которых... rien n'est sacrrrré pour un sapeurrrrre!

И при том не простые саперы, а осложненные предвидением каких-то препятствий, саперы, убедившиеся, что пирог, осуществляемый отечеством, нужно не просто есть, а сколь можно ожесточеннее рвать зубами, потому что внутри его, вместо начинки, засело скопище неблагонамеренных элементов, которые имеют дерзость утверждать, что отечество есть культ. Культ!.. sapristi! à qui le dites vous? [1]

Забудем, однако, о «посторонних» людях, допустим, что Россия, действительно, пирог, и только пирог. Ну, и ешьте его. Но ешьте же втихомолку, без гвалта, не надругаясь над божьим даром, не разбрасывая добра по сторонам, ешьте, как при крепостном праве едали умные едоки, которые отлично понимали, что мужика невыгодно обгладывать до костей. Поешьте и сделайте роздых, займитесь пищеварением. Размыслите: чем спокойнее и расчетливей вы будете есть, тем больше у вас останется еды напредки, тем продолжительнее будет ваше пиршество. При помощи сноровки, благоразумия и скромности, вы даже можете достигнуть совсем неожиданных результатов: покончивши с одним пирогом, вы получите на смену другой, третий и т. д. Ужели эта перспектива недостаточно соблазнительна, чтобы, ради нее, не расстаться с бесплодными угрозами?

Зачем похваляться какими-то прерогативами? зачем говорить: вот мы будем пирог есть, а вы, любезные соотечественники, обязываетесь в это время смотреть в оба и не пикнуть? зачем угрожать, пугать, дразниться? Какая выгода, какое удовольствие вам от того, что, покуда вы гремите тарелками, соотечественники ваши будут в паническом молчании таращить на вас глаза? Не приятнее ли, не в сто раз веселее ли было бы для вас самих, если б эти же самые соотечественники, во время вашей трапезы, потрясали воздух кликами ликования, предавались обычным невинным занятиям, суетились, ходили взад и вперед и даже... немножко шумели? Сообразите сами: ведь это ликование, этот шум — ведь это своего рода музыка; это движение, эта суета, этот вольный аллюр — своего рода приятнейший tableau de genre [2]. Недаром помещики добрые (они же и умные) в числе прочих удовольствий,

---

[1] черт возьми! кому вы это говорите?
[2] бытовая картинка.

приятных барскому сердцу, допускали хороводы, игры и вообще всякое невинное, хотя бы и шумное, излияние мужицкого веселонравия. Даже скотина — и та в стаде ест веселее, нежели в одиночку. А при том же поймите еще и то, что без говору, без суеты ничего путного нельзя произвести. Вы съедите один пирог, но вам же понадобится и другой — каким образом состряпают его эти люди, которые до того вами напуганы, что ничего другого не могут, кроме как в оцепенении ожидать, с которой стороны их хлопнет: по затылку или в лоб?

Я знаю, вы убеждены, что все это необходимо для того, чтобы утвердить в «посторонних людях» уважение к авторитету. Но понимаете ли вы сами всю непосильность взятой вами на себя задачи? Во-первых, вы, очевидно, смешиваете уважение к авторитету с испугом, потому что хотите утверждать первое механически, а механически утверждается только испуг. Во-вторых, как ни законно желание, чтобы авторитет был окружен уважением, но насколько же может содействовать этому дурная привычка дразниться? Ах, это именно дурная и вредная привычка! Дразнясь, вы искажаете собственные лица, которые, вследствие этого, делаются не только не внушительными, но просто-напросто смешными. Дразнясь, вы обращаете вашу мысль преимущественно к мелочам и упускаете из вида существенное. Дразнясь, вы больше оскорбляете, пробуждаете в сердцах несравненно большую массу горечи, нежели даже допуская прямые жестокости. Увы! вы слишком еще юны, чтобы понимать, как бесконечно подло положение человека, который понимает, что его можно бестрепетно дразнить! И как в миллион крат еще подлее положение того человека, который, пользуясь этою подлостью, все-таки продолжает дразниться. Размыслите же об этом, молодые люди, размыслите для вашей собственной пользы! Я знаю, что вы не любите думать (считаете «думанье» источником всякого зла), но на этот раз сделайте над собою усилие, подумайте! И я уверен, что вы без труда убедитесь, что вашими похвальбами, угрозами и подтягиванием вы не только не утверждаете, но даже прямо компрометируете, попираете ногами дорогой для вас принцип авторитета.

Не могу не рассказать по этому случаю одного происшествия, которому я сам был когда-то свидетелем. Был у меня, во времена крепостного права, знакомый помещик, человек не жадный, не жестокий, но, на свое горе, идейный. Всякие идеи приходили ему в голову в часы досуга, и между прочим идея об утверждении помещичьего авторитета в родном селе Загибалове. С чего он вдруг взял, что авторитет его недостаточно прочен,— этого я, за давнопрошедшим временем, не упомню;

помню только, что он беспрерывно твердил: «надо, mon cher [1], непременно надо это устроить! распущены они! черт знает до чего распущены!» И еще помню, что распущенность, как видно было из его слов, преимущественно заключалась в том, что мужики не особенно стѝрожко относились к нему, когда он проходил по селу. А он таки любил пройтись гоголем по сельской улице, а в особенности любил, чтобы мужик издалека увидел его и, издалека же сняв шапку, приветствовал его приближение поясным поклоном.

— Понимаете! — говорил он мне,— не поклон их мне нужен, а нужно убеждение, что они сознают свои обязанности относительно меня, что мой авторитет, en un mot... vous comprenez? [2]

И вот он принялся утверждать свой авторитет между загибаловскими мужиками или, сказать проще, начал дразнить мужиков. Заметит мужика, который делом занят, и начнет около него гоголем похаживать. Пройдет раз мимо; почует мужик боярский дух, отвесит поясной поклон — хорошо; не спохватится — сейчас краткое нравоучение с иллюстрациями из избранных сочинений по части митирогнозии. Через минуту, только что мужик вновь углубился в занятие,— хвать, ан помещик опять тут как тут! Опять утверждение авторитета, опять раздающееся на все село: го-го-го! И до тех пор так действовал, покуда облюбованный мужик не убеждался, что нужно выкинуть из головы всякую заботу о деле и, вместо того, стоять выпучивши глаза и выглядывать, не появится ли где-нибудь барин, чтоб своевременно отвесить ему требуемый поклон.

Таким образом, он перепробовал всех мужиков своего имения и, действительно, добился-таки, что все они выпучили глаза. Много было тут и комических сцен, но, право, больше было трагедии. Авторитет был насажден, но мужицкие хозяйства запустели, а вслед за тем, естественно, последовала задержка и в барских оброках. Однако ж, как человек идейный, мой знакомец и с этим мирился, лишь бы цель его жизни была достигнута. Но вот пробил грозный час, час уплаты процентов опекунскому совету. Ни денег, ни ценностей не было,— все обращено было в авторитет. Разумеется, село Загибалово было в непродолжительном времени продано с аукционного торга.

Вы можете, о молодые карьеристы, вывести из этой критики такое поучение, какое сами заблагорассудите; я же, с своей стороны, обязываюсь прибавить одно: что сравнение

---

[1] дорогой мой.
[2] словом... понимаете?

с сейчас названным помещиком не только не унизительно, но даже чересчур лестно для вас. Знакомец мой был человек хотя и не умный, но идейный, и в пользу раз облюбованной идеи жертвовал даже пирогом. Вы же, оставаясь неумными, хотите в одно и то же время и дразниться, и пирог за собой сохранить!.. Разве это естественно?

И заметьте, что вы не платонически только дразнитесь, а прямо являетесь в жизнь с твердым намерением «делать нарочно». Вы вполне серьезно убеждены, что воспрославиться можно, только поступая наперекор, *делая нарочно*. Откуда пришло к вам это убеждение, кто внедрил его в вас — этого я решительно не понимаю. Не думаю, чтоб это внушили вам почтеннейшие ваши родители, не предполагаю также, чтоб вы почерпали этот принцип в стенах «заведений», которые охраняют вашу юность, и еще меньше могу допустить, чтоб вы могли наслышаться об нем от татар Борелева ресторана, где вы, по воскресным и праздничным дням, исподволь приучаетесь прожигать жизнь. И родители, и воспитатели, и борелевские татары виноваты разве в одном: что они чересчур уж любуются вами, чересчур желают вам успехов, одних успехов! Они убеждены заранее, что вы явились в мир затем единственно, чтобы преуспевать и делать карьеры. Вы — провиденцияльные мальчики, и в согласность этому и воспитание вам дают провиденцияльное же, то есть без участия наук, которые, впоследствии, могли бы заставить вас остановиться, задуматься или вообще как-нибудь вас огорчить. Отсюда общая уверенность, что вы «достигнете» — непременно. Но средств, к которым вы прибегнете, чтоб воспрославиться, угадать нельзя, потому что они меняются сообразно с условиями времени. Эти средства вы создаете сами. Вы отгадываете, откуда и каким ветром дует, вы видите примеры ваших ближайших сверстников, вы чутко следите за их быстрыми шагами на пути карьер и молодечества и согласно с этими наблюдениями совершенно точно определяете, какая в данном случае потребуется доза проворства, бойкости, а, пожалуй, даже и нахальства. Таким образом, уже в стенах школы установляется в ваших понятиях целая традиция, и на основании ее образуется известный товарищеский «дух». Вот этот-то именно «дух» я и не могу назвать доброкачественным.

«Делать нарочно», то есть действовать наперекор общему мнению и здравому смыслу,— вещь далеко не новая. И тут можно найти очень поучительные прецеденты в крепостной практике. Помещики неумные всегда так поступали; они заставляли людей делать именно такое дело, к которому последние совсем неспособны, и, по какому-то совершенно безумному

капризу, отрывали их от работы в такое время, когда работа всего больше необходима. В особенности же держались этой системы при распределении сельских и хозяйственных должностей, стараясь угадать, кто именно, в качестве старосты или прикащика, может быть всего неприятнее мужикам. Предполагалось... но что̀ именно тут предполагалось — этого даже приблизительно понять нельзя. Вероятно, что-нибудь тоже вроде «утверждения авторитетов». Но выходила неслыханная бессмыслица и неслыханное страдание. Безумные люди как бы мстили хлебу за то, что он насыщает их. И мстили систематически, с серьезным тупоумием, ни на минуту не задумываясь над тем, что могильная тишина, которой они достигали, переполнена проклятиями.

Но мало того, что это вещь не новая — она, сверх того, и положительно вредная. Продолжительное практикование подобной системы убивает не только тех, на которых она практикуется, но и тех, которые практикуют ее. Оно делает практикующего злым. О молодые люди! вы не знаете, какая это трудная задача быть злым! Это тягчайшая из всех казней, в которой соединяется: и отказ от человеческого образа, и отрешение от радостей и благ жизни, и добровольное самоустранение от общения с живыми людьми. Кто из вас решится этой ценой купить себе славу человека, сгибающего в бараний рог? Взгляните на портреты наиболее прославившихся «сгибателей» — что̀ вы увидите на этих угрюмых и озабоченных лицах, кроме безрассветного мрака тоски! Пронеслись они бесплодным, иссушающим ветром по лицу земли; разоряли, преследовали по пятам, душили и, наконец, сами задохлись в судорогах снедавшей их угрюмости! И даже могилы их стоят забытыми, потому что всякий спешит скорее пройти мимо, чтобы не вспомнить кошмара, который неразлучен с памятью об них...

Увы! все это еще при жизни было написано на их лицах! все, даже предчувствие забвения, которое окружит их могилы!

Тоска, отчаянье, одиночество, почти одичалость — вот старость, которую вы готовите себе. Конечно, эта метаморфоза может, на первый взгляд, показаться вам рискованною и даже смешною. Покуда вы еще такие радостные, проворные, общежительные — трудно даже представить себе, чтобы для вас когда-нибудь наступил период тоски и одичалости. К сожалению, это не только возможно, но и неизбежно. Прикосновение к известной жизненной практике производит в человеке изменения, поистине волшебные. Оно сушит жизненные соки, оно разом порывает те невидимые нити, которые связывают чело-

века с человеком, оно отчуждает человека, кладет на него печать выморочности. Стало быть, в сущности, вас ждет не перспектива молодечества, а перспектива уныния и медленного одинокого разложения. Подумайте об этом теперь, когда еще не ушло время, потому что *после,* когда в вас окончательно притупится способность воспринимать впечатления, когда вы *привыкнете,*— будет уже поздно. Освоившись с атмосферой, которая сама собой образуется вокруг вас, вы уже не найдете в себе ни силы, ни даже потребности жить вне ее.

О молодые люди! когда вы с таким неизреченным легкомыслием начинаете грозить отечеству: вот я тебя! — вы не поверите, как тяжело бывает смотреть на вас! И жалость берет, и отвращение, и страх. Жалость — к вам, отвращение — к вашей неблаговоспитанности, страх — за все испуганное, валяющееся в прахе, не имеющее ни силы прийти в себя, ни смелости взглянуть вам в глаза. Но что̀ ужаснее всего: вы до такой степени презираете все, что̀ не вы, что ничего не хотите ни слышать, ни видеть, ни понимать. Все кругом предостерегает вас, а вы все-таки идете напролом, грудью вперед... куда?

Перед вами лежит громадная загадочная масса, и вы полагаете, что ее можно сразу разгадать и определить одною фразой: в бараний рог согну! Право, такое определение слишком просто и коротко, чтоб быть верным. Хотя это замечание и чисто внешнего свойства, но, поверьте, оно имеет свою цену. Сложная масса и определений требует сложных — это аксиома, которую вам придется признать при первом несколько серьезном столкновении с жизнью. А ведь от этих столкновений и вы не обеспечены, как ни беззаветно одушевляющее вас легкомыслие...

. . . .

Я знаю, что в числе моих читателей очень многие упрекнут меня за выбор предмета, которому я посвятил эти беглые очерки. Что̀ такое эти провиденцияльные младенцы? скажут они,— это не больше, как бессильная каста сорванцов-недоумков, которая, конечно, вызывает досаду своим откровенным бесстыдством, но которая, вследствие самой своей бессодержательности, никак уж не может влиять на будущее; это кучка изолированных, не помнящих родства призраков, которые, несомненно, исчезнут при первом появлении солнечного луча. Масса, у которой и своего дела по горло, у которой нет времени смотреть на представления бог весть откуда явившихся клоунов, не только не чувствует их присутствия, но даже не знает об их существовании. Если б они воистину имели решающий голос в исторических судьбах, то мы давно бы видели повсеместное запустение. Но ведь этого нет, но

жизнь еще не сложила оружия — стало быть, нет основания и для опасений. Пускай безумцы посылают в пространство свои угрозы, пускай пробуют свои молодые силы на подвигах бесцельного молодечества — угрозы их разнесет ветер, подвиги не перейдут за черту заколдованного круга, в котором они зародились. Стоит ли обращать внимание на эти преходящие сновидения, в которых нѐчего осязать и которые, вдобавок, до того бессвязны, что невозможно проследить в них ни начала, ни средины, ни конца. Призраки всегда были и всегда будут. Всегда существовал этот досадный фантастический мир, который надоедливо жужжал в уши и присаживался как можно ближе к пирогу. И никогда он не изменял себе, хотя внешние формы его в разное время были различны. Всегда он хвастался, лгал и пустословил, но пустословие это не оставляло следов. И кто эти люди? — какие-то едва вышедшие из курточек младенцы... брысь!

К сожалению, в этом возражении я вижу только одну подробность, с которой могу безусловно согласиться. А именно: что исследуемый мною мир есть воистину мир призраков. Но я утверждаю, что эти призраки не только не бессильны, но самым решительным образом влияют на жизнь. Это ужасно унизительно, но это так. Я понимаю очень хорошо, что, с появлением солнечного луча, призраки должны исчезнуть, но, увы! я не знаю, когда этот солнечный луч появится. Вот это-то именно и гнетет меня, это-то и заставляет ощущать страх за будущее. Мы ждем, что луч осенит нашу жизнь не дальше, как завтра, но ведь и предшественники наши этого ждали, и их предшественники — тоже. От начала веков этого ждут, тысячи поколений сгорели в этом ожидании, а мир все еще кишит призраками. И наша действительность до того переполнена, заполнена ими, что мы, из-за массы призраков, не видим очертаний жизни. Мало того: мы сами отчасти делаемся призраками, принимаем их складку. Возможна ли обида горше этой? Увы! они сильнее силы, живучее жизни, эти призраки! И я, который пишу эти строки, я пишу их под игом призраков, и вы, читающие эти строки,— вы тоже читаете их под игом призраков...

Правда, что призраки, о которых я повел речь, чересчур мизерны и юны, и потому их призрачность кажется как бы сугубою. Тем не менее я продолжаю утверждать: это те самые призраки, которые стерегут наше ближайшее будущее! Что же касается до солнечного луча, то и я жду его вместе с прочими, но ожидание это нимало не разрежает тяжелых потемков, которые царствуют окрест.

. . . .

Как бы то ни было, но изложенные сейчас размышления не на шутку встревожили меня. Я считаю себя добрым родственником, люблю кузину Nathalie («она такая слабенькая, совсем, совсем куколка») и охотно переношу эту любовь на ее сына. Мне было бы очень больно, если б Феденька играл деятельную роль в этой мальчишеской комедии потрясания перстом. Я знаю, конечно, что начальство довольно снисходительно смотрит на шалости молодых людей, но ведь не ровён час, вдруг оно спросит: а позвольте, господа, узнать, кто уполномочил вас дразнить ваших сограждан и глумиться над любезным отечеством? Что̀ ответит на этот вопрос Феденька? Боюсь я, сильно боюсь, ка̀к бы мне не пришлось сгореть за него со стыда.

Хоть он и не носит моей фамилии, но все-таки он... Неугодов!! Неугодов... где бишь «сидел» какой-то Неугодов? кому бишь другой такой же Неугодов целовал крест? Вот они... Неугодовы!! Уж ради одного этого можно было бы побеспокоиться, чтобы последний отпрыск этих достославных «сидельцев» и «целовальников» не осрамился вконец.

Под влиянием этих тревог я решился как можно скорее узнать, ка́к полагает Феденька поступить с Россией в том недалеком будущем, когда чин действительного статского советника украсит его формуляр.

ПЕРВОЕ МАРТА

На мое приглашение повидаться Феденька ответил кратко: «Не могу. Дела по горло. Утром — читаю и запасаюсь фактами; вечером — председательствую в комиссии. Когда-нибудь расскажу подробно». Разумеется, это известие еще больше взволновало меня. «В комиссии!», «председательствует!» — так и звенело у меня в ушах.

К сожалению, я — литератор. Было время, когда я не мог себе представить ничего завиднее этого положения. Теперь я это представление значительно видоизменил и выражаюсь уж так!: хорошо быть литератором, но не действующим, а *бывшим*. Да, именно так: не настоящим литератором, не тем, который мучительно мечтает, как бы объехать на кривой загадочного незнакомца, а тем, который, совершив все земное, ясными и примиренными глазами смотрит на жизненную суету, твердо уверенный, что суета эта пройдет мимо, не коснувшись до него ни единым запросом, ни единым унижением, ни единой тревогой...

Он послужил на свой пай литературе, и послужил достаточно; он принес и ей и обществу посильную дань пользы; он уврачевал множество скорбей и на бесчисленные раны пролил бальзам исцеления; он испытал в свое время и тревоги борьбы, и сладости одоления (разумеется, относительного); он предал забвению первые и с благодарным сердцем вспоминает о вторых; он вынес из своего литературного прошлого целый запас анекдотов, которыми многие годы может продовольствовать массу своих почитателей; он добился общего признания своих заслуг, и, наконец,— о, заслуга превыше всех заслуг! — он умел вовремя сознать, что из сего лимона более ничего не выжмешь, а затем смириться и воскликнуть: довольно! Какое положение может быть почтеннее этого?

Он уж не литератор, но не считать его литератором — нет никакой возможности. Во-первых, это значило бы обидеть человека ни в чем не повинного, кроме маститости; во-вторых, это было бы жестоко, ибо исключение из литературного сонмища лишило бы его утешения рассказывать, каким путем он был приведен к необходимости написать свой первый триолет; и в-третьих, это было бы неправильно и потому, что, несмотря на «отставку», от всей фигуры этого счастливого человека все еще так и прыщет триолетами и акростихами. Правда, что все это триолеты прошлого; но кто же поручится, что он вот-вот и сейчас не разразится каким-нибудь рондо?

Человеку, которого, в течение 30—40 лет, насквозь пронизывала литературная «проходимость» и сопряженные с нею учреждения, перестать сознавать себя литератором столь же немыслимо, как рыбной ватаге, насквозь пропитанной тузлуком, перестать быть ватагою. Сверх того, правильно или неправильно, но с званием литератора, в общественном мнении, соединяется представление об «умном человеке». Княгиня Долгоухова, приглашая к себе на чашку чая графиню Корноухову, говорит: у меня будет литератор такой-то, и это означает, в переводе на обыкновенный язык: будет человек интересный, умный, nous nous amuserons[1]. Стало быть, отказ от звания литератора был бы равносилен сопричислению себя к лику не умных людей, что̀ совершенно противоестественно. Вот почему никто из вкусивших от «литературной проходимости» уже не отказывается от нее. Сгорбленный, с палочкой в руках, бредет отставной литератор по солнечной стороне Невского проспекта и все-таки сознает себя литератором. Он уже утратил «словесность» и даже в крайних случаях только разевает рот, но в те немногие минуты, когда кашель, одышка,

---

[1] мы позабавимся.

цензурные сердцебиения (особливая, свойственная только литератору, болезнь) и прочие недуги оставляют его свободным, он пользуется этими сладкими мгновениями, чтобы коснеющим языком провозгласить: да, я — еще литератор!

Итак, не считать его литератором — невозможно. Но в то же время нельзя и считать его литератором, ибо он уже не ядоносец и торговлю «заблуждениями» прикрыл навсегда...

Положение несколько двойственное, но вполне завидное. С одной стороны, публика не перестает благоговеть перед маститым человеком и втайне даже как бы вопрошает его: ужели же ты не подаришь нас новым триолетом? С другой стороны, начальство уже простило ему все бывшие заблуждения. И таким образом, всем он равно достолюбезен, всем равно мил. От одних — почтен, от других — прощен. Вчера еще он был разбойником печати, подрывателем основ и краеугольных камней; сегодня — он только приятнейший собеседник, увлекательнейший рассказчик и несравненный дамский кавалер. При виде его сердца дам мгновенно зажигаются восторгом (впрочем, невинным), блюстители же благоустройства и благочиния весело потирают руки, восклицая: от этого человека, как от козла — ни шерсти, ни молока! Повторяю: какой удел может быть слаще?

Совсем в другом виде представляется удел, уготованный судьбою писателю действующему. Публика видит в нем человека подневольного и потому обращается с ним без малейшего благоговения. Она не вопрошает его со страхом: ужели тот триолет, который мы недавно прочитали,— твой последний триолет? но говорит прямо: вот каторжный, который напишет нам столько триолетов, сколько мы сами того пожелаем! Иногда публика охотно читает его, но никогда с таким удовольствием, с каким *не* читает писателя *бывшего*. А что касается до женского пола, то об этом и говорить нѐчего. В глазах дамочек действующий литератор уже по тому одному не интересен, что ему вечно нѐкогда. Ни тонкого разговора о женской правоспособности повести, ни пощекотать замысловатым женским парадоксом, ни поисповедовать насчет каких-нибудь péchés mignons[1], ни растревожить воображение,— ничего он не может. Сидит этот «писàчка», запершись, у себя в кабинете и всё строчит. Тогда как бывший литератор — все у него к услугам дам. И душа покладистая, и тело досужее, и язык без костей...

С своей стороны, и начальство смотрит на действующего литератора с некоторою осмотрительностью. Оно знает, что

---

[1] грешков.

литература, вследствие векового недоразумения, считается украшением, но в то же время не игнорирует и того, что излишество украшений производит неприятную для глаз пестроту. Вот кабы все действующие литераторы каким-нибудь сладким волшебством вдруг превратились в литераторов *бывших* — вот было бы хорошо! Например, Державин... ода «Бог», «Фелица»... Или даже это:

Вечо́р красавицы-девицы
Мешок пшеницы принесли:
Ведь расклюют же даром птицы —
Возьми, старинушка, смели!

Вот это хорошо! Или вот Пушкин... хотя все-таки лучше было бы, если бы он был Державиным, а не Пушкиным — ну, да уж бог ему, покойнику, простит! А эти действующие литераторы... ах, эти литераторы!

Словом сказать, действующий литератор представляется чем-то закоренелым, нераскаянным и до такой степени заблуждающимся, что он, подобно анекдотическому пошехонцу, способен «в трех соснах заблудиться».

Разница в положениях, как видит читатель, громадная...

К глубокому моему огорчению, я и до сих пор принадлежу к числу литераторов действующих. Я знаю и понимаю, что давно бы мне следовало оставить заблуждения, давно пора бы предать забвению письменные принадлежности и вообще «забыться и заснуть», но — увы! — обстоятельства сильнее меня. Здесь не место объяснять, какого рода эти обстоятельства, но я должен сознаться, что «возвышенное» и «прекрасное» играют в них, сравнительно, довольно второстепенную роль. Я работник, труженик, и ежели «заблуждаюсь», то преимущественно потому, что человеку, однажды взявшему в руки перо, невозможно не заблуждаться. Заблуждения как-то сами собой вырастают из-под пера, и чем быстрее бежит перо по бумаге, тем больше и больше оно плодит заблуждений. Разговариваю я, в большинстве случаев, не только здраво, но и благонамеренно, но едва прикасаюсь пером к бумаге — сейчас же начинаю заблуждаться. Даже корреспонденты «Московских ведомостей» — и те, мне кажется, кружат в трех соснах, именно благодаря тому, что помело, которое они употребляют, и помои, в которые макают это помело, все-таки прообразуют собой перо и чернила.

Ввиду всех этих соображений, делается понятным, что я положительно теряюсь всякий раз, как только прослышу, что где-нибудь затевается какая-нибудь комиссия. О чем будет трактовать эта комиссия, какие новые выдумки начнет разра-

ботывать — это для меня безразлично. Я знаю вперед, что рано или поздно, так или иначе, она все-таки кончит тем, что займется литературой. Сначала заденет ее косвенно, потом больше и больше, а наконец, совсем забудет о предстоящих ей специальных выдумках и займется исключительно литературой и одушевляющим ее «вредным направлением»...

Очень возможно, что я и заблуждаюсь,— на то я и литератор, чтоб заблуждаться,— но почему-то мне думается, что иначе оно не может и быть. И даже не «почему-то» так думается, а просто-напросто я имею твердые и достоверные основания так думать. Скучно ведь сидеть в этих комиссиях, господа, адски скучно! Именно только адская скука и сопряженное с ней прекраснейшее содержание могут заставить людей издать сто один том «Трудов», имея при том в перспективе издать и еще столько же, без всякой надежды на результат! Представьте себе, например, положение такого шустрого и правоспособного малого, как мой Феденька. Приходит он в помещение заседания комиссии и сразу же чувствует одно непреодолимое желание: как можно скорее удрать! Да и как не иметь ему этого желания! В комнате царит казенная нагота; посредине стоит форменный стол, обставленный форменными же креслами; на столе в изобилии расставлены зажженные свечи, но и за всем тем, и стены и потолок кажутся погруженными в сумерки. Темнò, голò, даже холодно, несмотря на то, что дрова отпускаются казенные. Дамочек нет и в помине; вместо них там и сям мелькают испитые лица каких-то крохоборцев, и у каждого из них в руке громадный картонный лист с наклеенными на нем бумажками. Это «материалы». Как тут поступить? неужто и в самом деле начать дебатировать? об чем? Нет, проще всего, не вдаваясь в рассмотрение вопроса по существу, прямо предать «материалы» тиснению. Решили. А потом? Увы! времени впереди еще много, а удрать невозможно — какая же это будет комиссия! — чем заняться, как провести время, чтобы отбыть урочные часы? Вот тут-то именно и является на выручку литература.

Во-первых, литература, в качестве «украшения», всякому сама по себе бросается в глаза. Во-вторых, она имеет слабость интересоваться комиссиями и следить за их трудами. Это последнее свойство, в особенности, служит для нее источником бесчисленных и мучительнейших огорчений.

Чуть только пройдет по городу слух, что нарождается новая комиссия, как литература уже начинает ликовать: ну, слава богу! теперь скоро! Но проходит полгода, проходит год, десять лет, наконец, сто лет, а об комиссии ни слуху ни духу — словно в воду канула! Известно только, что члены ее неупу-

стительно собираются, неупустительно получают присвоенное содержание и упорно наклеивают бумажки на громадные картонные листы. Натурально, литература начинает роптать. Сколько было возбуждено светлых надежд, и как беспощадно они тускнеют одна за другой! Учтиво, но твердо напоминает она, что такого-то числа исполнится столько-то лет со времени учреждения комиссии и что по этому случаю предполагается даже устроить коммеморативный семейный обед в одной из зал Hôtel Demuth[1]. Что̀ сделала комиссия в течение столь продолжительного периода времени? вопрошает литература и тут же отвечает,— об этом мы поговорим в следующий раз...

Угроза не особенно страшная, но она вносит переполох в сердца членов комиссии. Ожидание, что вот-вот об них «в следующий раз» что-то поговорят, приводит их в негодование. Не то чтобы они чувствовали страх, но — помилуйте! — ведь этак *всякий... Всякий* будет угрожать, *всякий* будет обсуждать, *всякий* будет выкладывать, что ему бог на сердце положит! *Всякий!* И вот картоны с наклеенными бумажками откладываются в сторону, и на сцену выступает литература. Сначала произносится слово «распущенность», потом «неуважение авторитетов», потом «вредное направление вообще» и, наконец... «потрясение основ»!.. И все это по поводу лишь того, что Феденьке показалось обидным, что об нем кто-то собирается поговорить «в следующий раз»...

Меня всегда удивляло одно: зачем литература доводит себя до таких катастроф ради комиссий, занимающихся изданием сто одного тома «Трудов»? Какое ей дело до комиссий? какое дело комиссиям до нее? Ужели нельзя существовать рядом без взаимных раздражений? Истинно, истинно говорю: можно существовать. И ежели объясняю себе это изумительное qui pro quo[2], то именно тем, что таково уже свойство всякого действующего (воинствующего) литератора, что, раз взявшись за перо, он уже не может не заблуждаться. Независимо от его воли, это перо наплодит такую массу заблуждений, что для искупления ее недостаточно будет всей совокупности кар, поименованных в «Уложении о наказаниях».

Но ежели литературе свойственно заблуждаться, то комиссиям еще свойственнее негодовать. Каждый в этом конфликте находится в своей роли, каждый исполняет свое провиденциальное назначение. Поймите, в самом деле, как же это так: *всякий* будет понуждать, *всякий* будет угрожать, *всякий* будет говорить: ведь комиссия-то спит! Каким образом сохранить,

---

[1] Гостиницы Демут.
[2] недоразумение.

при подобном порядке вещей, душевное равновесие, потребное для получения присвоенного содержания?

И эта способность приходить в негодование по поводу «сований носа», по поводу «непрошеных разглагольствий» и «хождений с своим уставом в чужой монастырь» свойственна не только, так сказать, природным членам комиссий, но и всякому русскому культурному человеку, которому судьба бросит на разжевание хоть какой-нибудь, хоть даже просто-напросто бросовый вопрос. Лично каждый культурный человек готов во всякое время и купить и продать, но раз он очутился около каких-нибудь крох и имеет возможность производить сортировку их — он будет защищать и эти крохи, и эту сортировку до исступления. И будет негодовать на всякого, кто затеет *сунуть свой нос* в его *домашнее* дело.

Пусть каждый из читающих эти строки обдумает их и пускай затем добросовестно ответит: ка̀к бы он стал поступать, если бы случай сделал его членом, например, комиссии об отыскании «корней и нитей» и если бы, по случаю столетнего ее юбилея, какой-нибудь *всякий* осмелился намекнуть, что учреждение это (бесспорно, полезное), издав триста три тома «Трудов», все-таки ни корней, ни нитей не отыскало? По крайней мере, что касается до меня, то я публично каюсь: покуда я не нахожусь в составе комиссии (какой бы то ни было — это безразлично) — я заблуждаюсь, то есть изыскиваю средства *сунуть свой нос;* но едва лишь меня *поместили* в оную — я закусываю удила и делаюсь способным только «негодовать», то есть на всех перекрестках вопиять: помилуйте! есть ли возможность спокойно работать, ежели *всякий* будет «совать свой нос»!

И еще характеристичная особенность. Хотя мы, культурные люди, имеем замечательную охоту к разработке «вопросов», но предметом этой разработки почти всегда делаем вопросы чисто отрицательного свойства. Нет, чтобы что-нибудь оплодотворить или открыть на пять копеек втуне лежащих богатств, а непременно искоренить, истребить, последние пять копеек растратить. Как будто провиденциальная наша задача именно в том и состоит, чтобы все без остатка в три дня разрушить и во сто лет ничего не воздвигнуть.

Помню, несколько лет тому назад судьба заперла меня на целых полгода в Ницце. Русских в этом городе — масса (что в значительной степени обусловливается близостью Монте-Карло с его рулеткою), и в этом множестве набралось человек с десяток знакомых, для которых поездки в Монте-Карло представлялись не с руки. В том числе были: два земских деятеля, один предводитель дворянства, один не помнящий родства

экономист, один задыхающийся прокурор, один малокровный штабс-ротмистр, один «старый дипломат» (с совершенно голою, точно детскою головой), два государственных младенца (последние шестеро с сохранением содержания) и я. Все мы без отдыха кашляли, пили микстуры, ели пилюли и претерпевали адскую скуку. Кругом — блеск и прозрачность; солнце так и горит; на темно-синем небе ни облачка; Средиземное море плещет; померанцы благоухают; пальмы, олеандры, лавровые деревья чаруют взоры... а мы сидим, кашляем и тоскуем. Нет у нас ни собственного дела, ни собственной жизни. Министерство Бюффѐ-Брольи падает, уступая министерству Бюффѐ-Дюфора, а нам все равно. Гамбетта произносит речь за речью, а у нас скулы болят от зевоты. Префект, мосье Декрѐ, бал дает — нас не приглашает, и мы не печалимся этим, хотя понимаем, что, в качестве «знатных иностранцев», имеем право предъявить к мосье Декрѐ претензию. Ни нам ни до кого дела нет, ни до нас никому дела нет. Живем, как жили бы у себя в Замоскворечье, и не понимаем, что́ тут такого, в этой «загранице», привлекательного. Разве вот услышим, что г. фон Дервиз столько-то десятков тысяч пожертвовал в пользу бедных города Ниццы и был по этому случаю почтен от мосье Декрѐ визитом — ну, на минутку как будто оживимся, молвим: вот истинно русский патриот, который высоко держит знамя России! И затем — опять ничего. Даже родная Русь — и та представляется воображению, словно окутанная туманом, и ничем не напоминает о себе, кроме замоскворецкой скуки. Думали мы, думали, ка̀к тут поступить, и, наконец, один из государственных младенцев подал отличный совет.

— Придумал я, господа, прекраснейшее развлечение,— сказал он однажды,— именно: выберемте какой-нибудь вопрос, образуем из себя комиссию для разработки его и будем поступать так точно, как бы мы поступали, заседая в заправской комиссии. Во-первых, это напомнит нам об интересах родной земли, а во-вторых, поможет скоротать время вполне на родной манер!

Мысль эта была всеми встречена с увлечением. «Чудесно! — думалось всем,— и старая скука от нас не уйдет, и новой скуки отведаем,— все же, между двух скук, скорее время пройдет!» Оставалось, следовательно, найти «вопрос», который мог бы достойным образом занять наши досуги. Стали отыскивать. Экономист, разумеется, высказался, что всего приличнее было бы заняться обсуждением вопроса о лежащих втуне богатствах, но предложение это было встречено не только с недоверием, но даже почти с нетерпением.

— А ну их! — единогласно отозвались все.

Затем некоторое время, для приличия, поцеремонились, но наконец сознали ясно, что в среде русских культурных людей, даже под темно-синим небом Ниццы, даже ради «игры», не может быть никакой иной комиссии, кроме комиссии об искоренении.

— Об искоренении — чего? — как будто изумился экономист.

Но этот вопрос уже никого не застал врасплох.

— Там увидим! начнем дебатировать — оно само собой определится! — отвечали одни.

— Ка̀к — «об искоренении чего»? — просто-напросто удивились другие.

Вообще вопрос экономиста всем показался настолько беспочвенным, что даже сам формулировавший его сейчас же убедился в его неуместности и поспешил взять назад свое предложение, яко нарушающее общее душевное равновесие.

И вот, избрав своим председателем «старого дипломата», помощником его — предводителя дворянства, а секретарями — двух государственных младенцев, мы начали ежедневно собираться и дебатировать. Что, собственно, мы дебатировали — этого я теперь определить не могу. Может быть, позабыл, но может быть, и никогда не помнил. Помню только, что из наших дебатов что-то выходило, или, по крайней мере, выходило настолько, что, в течение четырех месяцев существования нашей комиссии, накопилось до десяти томов «Трудов».

Помаленьку да понемножку мы всё искоренили: и то, что служит начальству огорчением, и то, что приносит ему утешение. Искоренять так искоренять, особливо в Ницце, где никто, даже мосье Декрѐ, не шепнет, что вот, дескать, явились какие-то одержимые, которые и то, что подрывает основы, истребляют, да и тому, что поддерживает оные, поблажки не дают. Но, обсудив внимательнее подлежащие искоренению предметы, мы все-таки пришли к заключению, что ничто не будет надлежащим образом искоренено, покуда не будет искоренена... литература. Каким образом мы пришли к этому заключению — я опять-таки объяснить не могу, но полагаю, что идея об искоренении литературы есть идея врожденная, от природы свойственная русскому культурному человеку. Какой вред наносила литература нам, «шлющимся» людям, собравшимся вкупе для «игры в комиссии»,— это теперь для меня совсем непонятно. Но помню, что, когда я находился в самом сердце «дела», было и понятно и убедительно.

Однако ж в начале «игры», ощущая себя литератором, я затесался «налево» (левее меня сидел только прокурор, но тот уж был чистейшей воды монтаньяр) и довольно бодро и высоко держал знамя оппозиции. Помню даже, что однажды, когда малокровный штабс-ротмистр, споспешествуемый прокурором, предложил одну часть произведений литературы сжечь рукою палача, а другую потопить в реке, литераторов же водворить в уездный город Мезень (прокурор, вместо Мезени, допускал Варнавин — одною степенью меньше), то я не выдержал и произнес очень горячую и прочувствованную речь.

— Господа! — сказал я,— я понимаю, что вопрос об искоренении литературы не мог избежать предназначенной ему участи, но решительно не могу понять того ожесточения, с которым вы приступаете к его обсуждению. Что̀ сделала наша литература столь преступного, что вы находите недостаточным простое ее искоренение, но предлагаете таковое с употреблением огня и меча? Чем заслужила она участие палача в имеющем постигнуть ее искоренении? Или оскудели городовые? Или стрелы небесные и земные утратили свою силу и меткость? Нет, все идет своим чередом, городовые стоят на своих местах, а небо, как и древле, сыплет на нас своими молниями!.. А мы, простые гулящие русские люди, в платоническом исступлении раздираем на себе ризы! Почему?

Я знаю, вас возмутило то, что в полученном нами вчера нумере газеты «Чего изволите?», вместе с сообщением о заседаниях нашей комиссии, нам дается благожелательный совет не проводить время в бесплодном наклеивании бумажек на картонные листы, но действительно искоренить всё, что искоренению подлежит («А что̀ же не подлежит?» — с грустью спрашивает себя газета)... Я охотно допускаю вместе с вами: лучше бы, если б совета этого не было. Но, относясь к делу беспристрастно, все-таки нахожу, что тут еще нет большого худа. Во-первых, благодаря этому сообщению, на нас обращены взоры целой России, что даже весьма лестно; во-вторых, предметов, подлежащих искоренению, накопилось такое множество, что поторопиться с этим делом — действительно не лишнее; в-третьих, ежели и допустить, что неприятно видеть, как какая-нибудь газета «сует свой нос», так ведь это неприятность не особенно важная и притом скоропреходящая. Раз «сунет нос», в другой «сунет нос», а в третий... яко исчезает дым... Да, именно так. Разве, кроме нас, не найдется благожелательных лиц, которые с последнею ясностью докажут газете, что «совать нос» не полагается? Разве сама газета, с врожденною ей готовностью, не поспешит усвоить себе эту точку зрения? Я сам литератор, господа...

При этом напоминании прокурор быстро взвился с своего кресла и, обращаясь к председателю, задыхающимся голосом прошипел:

— Прошу господина председателя напомнить *защитнику*, что здесь он должен забыть о своей прикосновенности к литературе...

Произнеся это, он закашлялся и проглотил пару дегтярных пилюль; председатель же с детским любопытством взглянул на меня, как бы выжидая, не извинюсь ли я. Разумеется, я поспешил исполнить его желание.

— Я уж давно забыл,— продолжал я,— и если это горькое воспоминание сорвалось с моего языка, то совсем не для того, чтобы оскорбить почтенных моих товарищей по комиссии, а для того единственно, чтобы собственным примером подкрепить сейчас высказанную мною мысль. Я по опыту знаю, господа, с какою готовностью наша литература усвоивает точки зрения, указываемые ей благожелательными лицами. Я не всегда кашлял, не всегда страдал одышкой, милостивые государи! не всегда был калекой! Было время, когда и я был тем... ну, тем, об чем теперь позабыл! И, как сейчас помню, я даже любил, когда мне сообщали «точки зрения». «Так я, стало быть, заблуждался? — обыкновенно говорил я в этих случаях,— извольте, я это заблуждение в следующем же номере искуплю!» И искупал. Вот как легко и приятно это делается, а совсем не так, как представляют это дело люди радикальной партии, которые желают внушить, будто в это время в груди у литераторов...

На этом месте речь моя была снова прервана, потому что прокурор потребовал, чтоб меня призвали к порядку. Председатель несколько мгновений растерянно осматривался по сторонам, но наконец решился.

— Призываю вас к порядку, cher collègue! [1] — сказал он,— я делаю это с стесненным сердцем, но вы понимаете, что ежели господин прокурор сделает обо мне недостаточную аттестацию, то я...

— Понимаю,— отвечал я,— и с покорностью принимаю ваш призыв. Но позволю себе сказать несколько слов в свое оправдание. Упоминая о людях радикальной партии, я отнюдь не хотел этим названием оскорбить кого бы то ни было. Если б я употребил это выражение в смысле, например, Ледрю-Роллена — я понимаю, что этим мною была бы нанесена серьезная обида. Но я русский человек, господа, и очень хорошо знаю, об чем говорю. У нас радикалы своеобразные; у нас радика-

---

[1] дорогой коллега.

лами называются преимущественно те, которые особливую пользу приносят по части пресечения и предупреждения. Я лично знал одного подчаска, который говорил мне: ах, если б эти долгогривые знали, как я им втайне сочувствую! И действительно, он «сочувствовал», хотя это не мешало ему блюсти за своевременною сколкой льда в вверенном ему районе! Так вот об каких радикалах я упоминал. Затем возвращаюсь к предмету моей речи. Вы говорите, господа, что литературу следует предать огню и мечу, но прежде, нежели вы решитесь сделать зависящее по сему предмету распоряжение, позвольте вам напомнить, что литература, по общему сознанию, есть «украшение». Это не я говорю, это говорят все; это скажет даже каждый из вас, как только оставит стены этого помещения и очутится на Promenade des Anglais [1].

Там, встретившись с мосье Карром [2] или с мосье Нервò [3], вы непременно заведете речь о литературе, удивитесь богатству французской литературы и, вздохнув, присовокупите: «Счастлива та страна, в коей процветает литература». Почему вы скажете все это? — а потому, что каждый из вас с малых лет слышал и привык верить, что литература есть «украшение»! Каким же образом вы приступите к этому «украшению» с огнем и мечом! Не обольются ли кровью ваши сердца? не помутится ли в вас рассудок?

Я знаю, вы скажете мне, что это недоразумение, которое комиссия не имеет ни малейшей обязанности принимать в расчет. Соглашаюсь и с этим. Но недоразумение это создано веками, господа, и, следовательно, если ныне и ощущается потребность разрушить его, то пускай же это разрушение произойдет постепенно, при помощи мер решительных, но не бросающихся в глаза, одним словом, пускай процесс искоренения совершится сам собою, так сказать, естественным путем. Забудьте об огне и шпигуйте потихоньку — и вы увидите, что газета «Чего изволите?», на которую вы так негодуете, сама поймет, что ей ничего другого не остается, как умереть...

Но этого мало. Я не могу скрыть от вас, что в том вековом недоразумении, которое утвердило за литературой название «украшения», очень сильное участие принимает и общий просветительный уровень страны. Чем просвещеннее страна, тем

---

[1] Променад дез Англе (название бульвара в Ницце).

[2] Альфонс Карр, известный французский писатель, живущий в Ницце. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

[3] Местный ниццкий фельетонист, которому ниццкие интернациональные дамы предварительно показывают свои костюмы, предназначенные для выезда на бал, дабы не произошло ошибки при описании их в предстоящем газетном фёльетоне. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

упорнее держится в ней мнение о том, что̀ составляет истинное ее «украшение». Поэтому, даже при усвоении рекомендуемого мною метода постепенности, вам придется прибегнуть не к одному непосредственному шпигованию, но и заглянуть несколько вглубь. Я знаю, что вы очень высокого мнения о просвещении и, конечно, не захотите искоренить его (хотя, сколько мне помнится, потребные для сего материалы уже собраны и составляют пятый том «Трудов»), но урегулировать его все-таки не откажетесь. Подумайте, однако, какая это гигантская работа! и сколько пройдет времени, покуда вы не урегулируете просвещение до той степени, что даже самое представление о литературе изгладится из народного сознания!

Затем мне остается сказать лишь немного слов в заключение. Но слова эти очень вески, и я чувствую всю тяжесть ответственности, которая падет на меня за них. Милостивые государи! вам, конечно, небезызвестно выражение: scripta manent[1]. Я же, под личною за сие ответственностью, присовокупляю: semper manent, in saecula saeculorum![2] Да, господа, литература не умрет! не умрет во веки веков! А посему, как бы нам с нашей комиссией не осрамиться. Все, что мы видим вокруг нас, все в свое время обратится частью в развалины, частью в навоз, одна литература вечно останется целою и непоколебленною. Одна литература изъята от законов тления, она одна не признает смерти. Несмотря ни на что, она вечно будет жить и в памятниках прошлого, и в памятниках настоящего, и в памятниках будущего. Не найдется такого момента в истории человечества, про который можно было бы с уверенностью сказать: вот момент, когда литература была упразднена. Не было таких моментов, нет и не будет. Ибо ничто так не соприкасается с идеей о вечности, ничто так не поясняет ее, как представление о литературе. Мы испытуем вечность, мы стараемся понять ее — и большею частью изнемогаем в наших попытках; но вспомним о литературе — и мы, хотя отчасти, откроем тайну вечности! Ах, господа, господа! Я очень хорошо понимаю, как все это прискорбно для нас, членов комиссии «об искоренении», и сердце мое сжимается болью, когда я произношу эти слова, но скрыть от вас эти соображения — выше сил моих! Будемте же мудры, милостивые государи! оставим мысль о мече и огне и удовольствуемся применением к литературе тех мер простого искоренения, которые вы находите достаточными, в видах устранения кражи земских и иных общественных сумм. Dixi et animam levavi![3]

[1] написанное останется.
[2] навсегда останется, во веки веков!
[3] Сказал — и облегчил душу.

Я кончил, но ни одно рукоплескание не поощрило меня. Напротив, члены смотрели мрачно, и, как только умолк мой голос, все единогласно немедленно потребовали голосования без прений. Моего мнения, как ни на чем не основанного, даже не голосовали, а прямо занялись мнением штабс-ротмистра и прокурора. Мнение это было принято *единогласно*. Все десять шаров были положены направо, а, стало быть, в том числе и мой. И я помню, что я не только не удивился этому, но даже нашел весьма естественным.

Только спустя час, гуляя по Promenade des Anglais, я опомнился. Встретил легкомысленного фёльетониста Нервò и рассказал ему, какое у нас убивство произошло и как я геройски при этом себя вел.

— Чем же решили? — спросил он меня.

— Ну, разумеется, предать огню и мечу!

— Saperlotte! [1] а вы?

— Ну, разумеется, и я вместе с другими...

— Est-ce possible! [2]

— Mais que voulez vous que je fasse! [3]

. . . .

После этого я, разумеется, никогда не играл в комиссии, но достаточно было одного сейчас описанного случая, чтоб оставить во мне неизгладимое впечатление. Зная по опыту, как естественно русский человек приходит к мысли о необходимости искоренения литературы, и зная в то же время, что ничто так близко не соприкасается с идеей о вечности, как представление о литературе, я не только сам лично стараюсь держаться в стороне от всяких комиссий, но и за родственников своих боюсь, если вижу, что они начинают задумываться о том, как бы подойти поближе к пирогу. Непременно он что-нибудь насчет литературы выдумывает! думается мне,— и выдумает! непременно выдумает!

Сознаюсь откровенно, что в эти опасения входит в значительной доле и личное чувство. Повторяю: я литератор действующий, я труженик, обязанный держать в руке перо ежеминутно,— и обремизить меня очень легко.

Поэтому тревога моя, по получении известия об участии Феденьки в трудах какой-то комиссии, очень понятна. Ужели он, ради фельдмаршальского жезла, и дядю родного не пощадит? с тоскою твердил я себе, предпослав этому восклицанию целое рассуждение об ослаблении родственных уз в наше непостоянное время.

---

[1] Проклятие!
[2] Возможно ли?
[3] А что прикажете делать!

Наконец я не вытерпел и самолично отправился к Феденьке. Но тут меня ждал новый удар: меня просто-напросто не допустили до него. Лакей без церемонии загородил мне вход в эдем и на все мои домогательства с твердостью отвечал, что его превосходительство (должно быть, по классу занимаемой должности) занят с Иваном Михайлычем...

Кто этот Иван Михайлыч? может быть, это какой-нибудь новый Бертрам...

Да, это Бертрам! Не будь Ивана Михайлыча, очень возможно, что дело и обошлось бы, но Иван Михайлыч...

Я возвращался от Феденьки домой и грустно напевал дуэт Бертрама и Рембо̀...

А что, если бы подыскать Алису?.. Фуй!..

Во всяком случае, я утратил надежду видеться с Феденькой... до первого апреля. Первого апреля, в праздник пасхи, он, наверное, заедет похристосоваться с своим старым дядей...

ПЕРВОЕ АПРЕЛЯ

Предчувствие не обмануло меня: в день пасхи Феденька явился-таки ко мне. Он уже покончил с визитами и приехал отдохнуть, но был, как и следует в такой великий праздник, во фраке. Разумеется, мы похристосовались.

— Хочешь, яйцо велю подать?

— Спасибо, дядя; вы вот на что лучше посмотрите,— ответил он, указывая на аннинский крест, висевший у него на шее. Крест был новый, большой и удивительно как изящно покоился (именно покоился!) на богатырской груди юноши.

Я приятно изумился. Отступил два шага назад, прищурился и развел руками в знак родственного умиления.

— Помимо святого Станислава! — продолжал между тем Феденька и прибавил: — Joli? [1]

Час от часу не легче. От изумления пришлось перейти к гордости и вновь похристосоваться.

— Послушай, Théodore,— сказал я,— до сих пор я понимал, что можно утешаться родственниками, но теперь начинаю понимать, что можно и гордиться ими. Да!

— Спасибо, mon oncle!

— Да, я уверен, что ты пойдешь... далеко пойдешь, мой друг. Разумеется, однако ж, ежели бог спасет тебя от похищения казенных или общественных денег...

---

[1] Хорошо?

Но Феденька с таким неподдельным негодованием протестовал против самой мысли о возможности подобного случая, что я вынужден был объясниться.

— Друг мой! — сказал я,— ежели я позволил себе формулировать опасение насчет растраты денег, то совсем не потому, чтобы надеялся, что ты непременно его выполнишь, а для того, чтобы предостережением моим еще более утвердить тебя на стезе добродетели. Мужайся, голубчик! ибо, по нынешнему слабому времени, надо обладать несомненным геройством, чтобы не стянуть плохо лежащего куша, особливо, ежели он большой. Но ежели ты, будучи аннинским кавалером, сверх того сознаешь себя и героем, то, разумеется, тем лучше для тебя! Поздравляю... герой!

По-видимому, это объяснение его тронуло, так что и он, в свою очередь, возгордился мной.

— Mon oncle! — сказал он, крепко сжимая мои руки,— я тоже... да, я горжусь вами... горжусь тем, что вы мой дядя! Ах, если бы вы...

Он остановился, не досказав своей мысли, и молча потупил голову. Однако ж я понял его.

— Если б я не был литератором, хотел ты сказать? — спросил я его.

— Да... нет... нет, не то! — оправдывался он.— И Державин был литератором, и Дмитриев... Ода «Бог» — c'est sublime, il n'y a rien à dire! [1] Ах, если бы вы...

— Оду «Бог» написал?.. ну, ну... хорошо... успокойся! постараюсь!

Словом сказать, мы обнялись и опять похристосовались.

— А маменька знает об *этом?* — спросил я, указывая на крест.

— Знает. Сейчас получил от нее телеграмму из Парижа. Вот.

«Pétersbourg. Znamenskaïa, 11.

Néougodoff.

Félicite chevalier. O Pâques, o sainte journée! Envoyez 4000 francs demain échéance; si non — Clichy. *Nathalie*» [2].

Сердце у меня так и екнуло. «Вот сейчас попросит денег!» — думалось мне. И вдруг:

— Дядя! нет ли у вас? — обратился он ко мне.

---

[1] это возвышенно, ничего не скажешь!

[2] «Петербург. Знаменская, 11. Неугодову.
Поздравляю, кавалер. О пасха, о святой день! Вышли 4000 франков, завтра платеж; иначе — Клиши. *Наталия*».

Вопрос этот ужасно меня смутил. Деньги у меня на ту пору были, но почему-то мне казалось, что они мне самому нужны. Нынче всем вообще деньги надобны, и вот почему столь многие крадут. Но и краденые деньги не бросают зря всякому просящему, а тоже говорят: самим нужны. Что же сказать о деньгах собственных, кровных? А сверх того, и еще: в кои-то веки сколотишь изрядный куш и думаешь: вот теперь-то я распоряжусь... И только что начнешь подносить ко рту кусок, как приходит некто и выхватывает его. Ужасно неприятно.

— Дядя! ведь Clichy! — как-то тоскливо пискнул Феденька, видя мое раздумье.

— Да ведь за долги, кажется, уж не сажают?

— Там — сажают, mon oncle.

— Ах, боже, какое варварство! Про русских говорят, что они — варвары, а между тем у нас... Да, мой друг, мы должны гордиться, что живем в стране благоустроенной, а не в в какой-нибудь Макмагонии, которая не нынче — завтра превратится в Гамбеттию! Конечно, у нас нет многого, что у них есть, но зато и у них нет многого, что есть у нас. Христос воскрес! поцелуемся!

— Так вы дадите, дядя?

— А у тебя разве нет?

— Ни драхмы!

Неприятно в высшей степени. Я только что рассчитывал побаловаться летом. Вот, говорят, Егарев французенок каких-то необыкновенных законтрактовал... И еще говорят: в Зоологическом саду женщину-великана показывать будут, которая у себя на груди целое блюдо с двадцатифунтовым ростбифом ставит, да так, шельма, и ест! Хорошо бы со всем этим подробнее ознакомиться, не в качестве зрителя, а, так сказать, не в пример другим... Но, с другой стороны, как же оставить и Nathalie? Что такое Nathalie? Nathalie — это сорокапятилетняя сахарная куколка, которая... И даже не «которая», а просто куколка — и все тут. Может ли «куколка» не тратить денег? — Нет, не может. Она тратит их не нарочно, тратит, потому что это в ее природе, как в природе у птицы — петь. Она тратит все время, покуда находится в бодрственном состоянии, то есть начиная с той минуты, когда она совершила свой утренний туалет, и до той, когда облачится в свой ночной туалет. И все, что она ни видит перед собой,— все считает подлежащим завладению. Ежели глиняную свистульку увидит, и той овладеет: не попадайся на глаза! И ежели у нее нет денег, чтобы купить, она возьмет в долг. И нет той хитрости, которую бы она не пустила в ход, чтоб приобрести деньги или кредит. То назовет себя княгиней, то солжет, что у нее золотые прииски или

рыбная ловля *lá-bas,* dans les steppes[1]. Даже наклевещет на себя, не постыдится намекнуть, что у нее есть богатый любовник. А ежели и за всем тем не добудет ни наличных, ни кредита, то будет проводить время в *желании* тратить деньги, в *желании* делать долги. Хорошо, что природа устроила так, что и «куколкам» нужен сон, отдых, пища, а мода, в свою очередь, возложила на них обязанность одеваться и causer avec les messieurs[2]. Если бы этого не было, они и то время, которое нужно для сна и для одеванья, тоже употребляли бы на то, чтобы тратить. И еще хорошо, что природа лишь до известной степени одарила их глаза способностью разбегаться, потому что, в противном случае, они, наверное, потребовали бы разом весь Magasin du Louvre[3]. И если б им сказали, что это нельзя, таких, дескать, денег нет, то они с четверть часа были бы неутешны и затем отправились бы в магазин «Au bon marché»[4].

И такую-то «куколку» — в Клиши! за что? За то ли, что она выполняет свое провиденцияльное назначение? За то ли, что у нее и maman[5] была куколка и воспитательницы — куколки, и подруги юности — куколки? За то ли, что и у покойного ее мужа штабс-ротмистра Неугодова, селезенка играла при одной мысли, что у него в доме будет... «куколка»?

Конечно, серьезно быть спутником жизни такой «куколки» должно быть несколько глуповато; но смотреть и млеть со стороны, или быть штабс-ротмистром и видеть, как она порхает, как все ее радует и все огорчает и как она при этом, сквозь слезки, лепечет: ах, я ведь совсем-совсем глупенькая! — воля ваша, это высокое эстетическое наслаждение! Нет, надо непременно послать Nathalie деньги, и даже как можно скорее, потому что она, пожалуй, ненарочно и фальшивых документов наделает. Разве она знает? разве она может что-нибудь взвесить, предвидеть, различить? Nathalie... un coeur d'or[6].

— Деньги у меня готовы,— произнес я твердо.

— Mon oncle! vous êtes un coeur d'or![7]

— Но с двумя условиями,— продолжал я,— во-первых, мы сегодня обедаем вместе...

---

[1] *там...* в степях.

[2] болтать с мужчинами.

[3] Магазин Лувра.

[4] «О бон-марше» (буквально: «Дешевые цены»).

[5] маменька.

[6] Наташа... это золотое сердце!

[7] Дядюшка! у вас золотое сердце!

— Ах, mon oncle! не только обедаем, но и весь вечер, весь день... сколько угодно!

— Во-вторых, мы сейчас же редактируем вместе телеграмму Наташе, разумеется, от твоего имени. Это необходимо выполнить как можно скорее. Nathalie — милая; но именно поэтому-то она и способна наделать глупостей.

Мы присели к столу и соединенными силами редактировали следующее:

«Paris. Grand hôtel.
Nathalie Néougodoff.

Pâques deux jours banques fermées. Après-demain aurez somme voulue. Venez Pétersbourg prison pour dettes abolie. Pouvez tout acheter sans payer.

Néougodoff»[1].

— Ты понимаешь,— сказал я, когда депеша была готова,— если ей не пообещать, что она может здесь покупать без денег, то она скажет себе: зачем же я туда поеду? Тогда как на этих условиях ей будет, наверное, лестно воротиться на родину.

Но Феденьку вся эта процедура, по-видимому, повергла в печальное настроение.

— Ах, maman, maman! — произнес он, грустно вздыхая.

— Что такое: maman? Maman как maman! Не у одного тебя, и у других. Вон у твоего школьного товарища Самогитского, которого быстрой карьере ты, помнишь, как-то раз позавидовал, так у него maman прямо на содержании живет, а он не только не грустит, но даже пользуется этим!

— Ах, дядя-голубчик! ведь вы не знаете... Монрепò-то наше уж продано!

— Как! Монрепо!

— Да, Монрепò... le sable, то бишь, les cendres de mon père![2] Продано, дядя, продано!

— Однако... вы шибко!

— Все продано, больше и продавать нечего, а *она* — то в Ницце, то в Париже!.. Поверите ли, однажды даже вдруг в Систове очутилась... зачем? И отовсюду шлет телеграммы: argent envoyez![3] А где я возьму!! Вот и теперь: если б не

---

[1] «Париж. Гранд-отель. Наталии Неугодовой. Пасха, два дня банки закрыты. Послезавтра получите нужную сумму. Приезжайте Петербург долговые тюрьмы упразднены. Можете все покупать не платя. *Неугодов*».

[2] песок... то бишь прах моего отца!

[3] высылай денег!

ваша помощь — где бы мне эти четыре тысячи франков добыть!

Сердце мое вновь екнуло: плакали, стало быть, мои денежки! Однако ж я кое-как скрепился и произнес:

— Ничего, бог милостив! как-нибудь устроитесь!

— Нет, не устроимся... никогда мы не устроимся, mon oncle! Пробовал я ее урезонить и однажды даже совершенно искренно изложил всю неприглядность нашего матерьяльного положения — и вот какой ответ получил. Прочтите.

Феденька вынул из кармана бумажник, порылся в нем и подал мне сложенную вчетверо бумажку, развернув которую, я прочитал:

«Неблагодарный сын Феодор!

Оскорбительное твое письмо получила и заключающимися в оном неуместными наставлениями была глубоко возмущена. Но я — мать и знаю, что есть закон, который меня защитит. Закон сей велит детям почитать родителей и покоить оных, последним же дает право непочтительных детей заключать в смирительные и иные заведения. До сих пор я сим предоставленным правом не пользовалась, но ежели обстоятельства к оному меня вынудят, то поверь, что я сумею доказать, что и у меня нет недостатка в твердости души...

A toi de coeur Nathalie[1].

P. S. Au nom du ciel envoyez au plus vite l'argent que je vous ai demandé»[2].

Письмо было писано посторонней рукой, но подпись и postscriptum несомненно принадлежали Наташе. И что всего замечательнее: подле ее имени виднелось размазанное пятно; очевидно, сюда капнула слезка. Стало быть, Nathalie в одно и то же время и скорбела, и понимала, что исполняет долг. Сердце ее сжималось, слезки капали, но она все-таки подписалась под письмом... потому что это был ее долг!

— Слушай! — воскликнул я в изумлении,— да откуда же она узнала о существовании смирительного дома?

— Стало быть, узнала.

— А что̀ ты думаешь! ведь это у них, должно быть, врожденное, то есть у русских культурных маменек вообще. Я помню, покойница матушка — уж на что, кажется, любила меня,— а рассердится, бывало,— сейчас: я тебя в Суздаль-монастырь упеку! Тогда, друг мой, Суздаль-монастырь родите-

---

[1] Любящая тебя Наталия.

[2] Ради бога, высылай как можно скорее деньги, которые я просила.

лей утешал, а теперь, с смягчением нравов, смирительный дом явился. Как ты думаешь, что̀ лучше?

— Ах, mon oncle!

— Я, с своей стороны, полагаю, что Суздаль-монастырь лучше, потому что, в сущности, это было нечто мифическое, скорее анекдот, нежели быль. Смирительный же дом, особливо при существовании суда милостивого и скорого, есть нечто конкретное, от чего уж не отвертишься, коли на то дело пошло! Гм... да... Но с которых же пор она *сим и оным* выучилась — так и сыплет!

— Не знаю... Вероятно, это письмо для нее Дроздов написал... Помните, у меня воспитатель был?

Феденька сказал это и вдруг весь заалелся.

— Длинный такой, точно пожарная кишка... помню, помню! Сколько раз он, бывало, пугал меня... Взойдешь невзначай в комнату, а он вдруг в углу взовьется, в знак приветствия, и сейчас же, совсем неожиданно, пополам переломится... Неужели же он...

— Он, mon oncle. Она его где-то под Телишем встретила — он туда с корпией от дамского кружка командирован был — и с тех пор по Европе возит. И всем рекомендует: «L'ami de feu mon mari...» [1] это Дроздов-то! Помните, как раз его покойный папенька нагайками отодрал... Он, mon oncle, он! Он, вероятно, и деньги у нее выманивает. Voici la vérité... triste vérité, mon oncle! [2]

Феденька замолчал и отвернулся к окну.

— Ах, бедный мой! бедный! — невольно воскликнул я.

— Сколько вреда эти истории мне делают, если б вы знали! — продолжал он, не оборачиваясь ко мне,— наше милое, бедное Монрепо...

— Ну, как-нибудь... что̀ тут! у тебя родных бездетных много — не тот, так другой; я, например, первый...

— Благодарю вас. Но *теперь*... Во-первых, *теперь* я ничего не имею... les cendres de mon père! [3] А во-вторых, разве вы думаете, что в наших «сферах» не знают обо всех этих скандалах?

— Ну, этого-то, положим, ты опасаешься напрасно. Ведь ты вел себя во всех отношениях безукоризненно; ты и Рускину, и Ковалиху, и Большую Ель, и даже Монрепо — все продал полностью и все деньги к maman отослал. Что же касается до Дроздова, то это, мой друг, своего рода крест. И ты не-

---

[1] Друг моего покойного мужа.
[2] Вот истина... грустная истина, дядюшка!
[3] прах моего отца!

сешь свой крест, и не только не протестуешь, но даже деньги занимаешь. В сферах, о которых ты говоришь, это называется piété filiale[1].

— Но она? ведь и об ней говорят!

— Она... что ж такое она! Она — куколка, а ты примерный сын! Вот и все. Куколка — это даже мило!

Наконец мне кое-как удалось-таки утешить его, особливо, когда я ему растолковал, что земли у бога много и что ежели он будет и впредь оправдывать доверие начальства, то, несомненно, со временем ухватит что-нибудь впусте лежащее, но совершенно достаточное для основания нового Монрепо̀.

— А что̀ вы думаете, дядя! — воскликнул он весело,— вот Ворожбецкий-Петух, одного выпуска со мной, а уж успел ухватить полторы тысячи чернозему!

— Ну, вот видишь ли! даже пример есть!

Обед прошел очень приятно. Не было ни ветчины, ни телятины, ничего такого, что напоминало бы о разогретости, о том, что обитатели дома сего, благодаря пасхе, осуждены целую неделю питаться ветчиной и телятиной. Я заметил, что Феденьку это очень приятно поразило и самым благотворным образом повлияло на его душевное расположение. Благодаря этому я узнал от него два-три чрезвычайных анекдота, местом действия которых был салон некоторой девицы Домны Феклистовны Отбойниковой, которая год тому назад вышла замуж и ныне писалась на визитных карточках так: графиня Поликсена Кирилловна Dos Amigos, маркиза Flor di tabacco, Pour la Noblesse.

— А ты бываешь-таки в этом салоне?

— Разумеется, бываю.

— Ах, ах, мой друг!

— Mon oncle! Что-нибудь одно: или достигать и, стало быть, ездить к маркизе Pour la Noblesse, или не ездить к ней и оставаться всю жизнь столоначальником.

— Что правильно, то правильно. Это так.

— У нее — салон, в котором все бывают, tout Pétersbourg[2]. Она нынче все о событиях последней войны рассуждает. Говорит, например, что берлинский тракта̀т ее не удовлетворил.

— Ах, пакостница!

— Генералами тоже не всеми довольна: зачем не взяли Константинополя? И по вопросу о проливах, говорит, настоящего решения не добились.

— И ты все это выслушиваешь?

---

[1] сыновний долг.

[2] весь Петербург.

— Ее нельзя не слушать, mon oncle. Через нее мой товарищ Крушинцев чуть места не потерял.

— Как так?

— Да вот как. Как начались эти толки о проливах, слушает она: все Дарданелл да Дарданелл. Вот она отозвала Крушинцева в сторонку и спрашивает: скажите, кто этот Дарданелл? А он и пошути: преступник, говорит, государственный; Россия выдачи его требует, а Турция, по наущению Англии, не выдает. На следующем же рауте она, разумеется, и щегольнула: да скоро ли же, говорит, нам этого господина Дарданелла выдадут? Ну, картина... Так Крушинцев после того две недели сряду у нее ручки целовал!

— Простила?

— Простила, потому что в это время он с ней всю географию прошел.

— Ах, пакостница!

— Не говорите так, mon oncle; она теперь как есть «дама». Одно только: вместо «шоколада», по старой привычке, «щикалат» говорит. И все находят, что это очень оригинально.

— Помнишь, у Лермонтова:

Ем мармалад,
Пью щиколат...

— Вот именно. И около нее чуть не целый штаб. И архистратиг отставной есть, и «старый дипломат», и даже публицист. Этот едва ли даже не главный. Бельом, во всю щеку румянец, штаны по последней моде сшиты, а сам отчасти телом, отчасти консервативными убеждениями промышляет. А она сидит между ними и вдохновляет.

— Ну, а самого графа Dos Amigos ты когда-нибудь на этих раутах видал?

— Нет, он в командировке постоянно. Во время войны в Плоештах ресторан содержал (она туда с каким-то жидом-подрядчиком приехала, там его и обрела), а теперь, слышно, в Египет к хедиву отправился. Одни говорят, в качестве chef de cuisine[1], другие — министром финансов. И даже будто бы при поддержке Англии.

— Однако, брат, это вроде феерии что-то.

— Нынче и всё феерии, mon oncle. У нас в курсе некто Харченков был, никак не мог именованных чисел понять, а теперь, где плохо лежит — он уж и тут. Так раскидывает умом, что чудо!

— Неужто тебя эти иллюстрации не тревожат?

---

[1] старшим поваром.

— А что ж мне? Я и с ним... Пообедаю, выпью — ничего! Он вино прямо от Шато-Лафита выписывает; так и говорит: у меня, брат, с самим Шато-Лафитом условие... Он, как прослышит, что у Егарева в Демидрошке примёры появились — сейчас туда: мадам, вуле-ву сто рублей?.. ну, двести?.. айда! А кроме того, у него и круг знакомства обширный, всех там встретишь. Ешь, пьешь, а между прочим и связи завязываешь.

— Слушай! да ты не врешь ли?

— Не верите? не хотите ли, я вас свезу к нему? Не с визитом, а прямо обедать. Он будет рад, скажет: аншантè[1]. А когда вы будете уходить, он и напредки пригласит: венè[2], когда вздумается; запросто, ан сюрту[3]. Право, хотите свезу?

— Нет, что уж! стар я, да и скучно ведь шататься по постоялым дворам.

— Право, не скучно. А впрочем, мне вообще нигде не скучно; даже в заседаниях благотворительных обществ, и там я интересное нахожу.

— Это где дамочки-то?

— Разумеется; кто же бы меня без дамочек туда заманил!

— А не бывает там Дарданеллов?

— Буквально — нет, но вроде того. Впрочем, откровенно вам скажу, я в этом отношении реалист; на Дарданеллы не обращаю внимания, а больше принимаю в расчет телеса. Руководствуясь этим, и дамочек разделяю на два разряда: на хорошеньких и *не*-хорошеньких. С «хорошенькими», если даже они и не вполне чисто географию знают, мне весело; а с «*не*-хорошенькими» — скучно, хотя бы они самого Ксенофонта в подлиннике прочитали. И нынче все мы таковы, вся порядочная молодежь. Конечно, и между нами найдутся такие, которые будут утверждать, что им умные разговоры нужны, да это больше для шику. У дамочек личико, грудка, ножки, ручки — вот главное! Без разговоров!

— Погоди! женишься, так и разговора запросишь!

— Я, дядя, не женюсь. Я знаю, что вместе жить без разговора нельзя, но знаю также, что разговор выйдет непременно неудачный. Стало быть, не для чего и пробовать. При том же я умные-то разговоры эти знаю.

— Случалось?

— Знаю. Однажды меня madame Голумбецкая (вот, дядя, дамочка-то — пальчики оближете!) пригласила: приезжайте, говорит, в четверг вечером, у нас один знаменитый серб об турецких неистовствах рассказывать будет. Приехал. В гости-

[1] enchanté de vous voir — рад вас видеть.
[2] venez — приходите.
[3] en surtout — в сюртуке.

ной серьезно, тихо, чинно; сидит братушка на диване и рассказывает; слышится: нà кол, нà кол, нà кол; les messieurs [1] слушают и зевают в руку; дамочки стараются смотреть на чтеца и думают: да когда же наконец «кувырком» будет? И вот в эти-то торжественные, но унылые минуты я и покорил сердце madame... ну, все равно, чье бы там ни было.

— Браво, Федя! Но возвратимся к вопросу о женитьбе. Если б, например, с капитальцем барышня нашлась... ну, полмиллиона, миллион?..

— Как вам сказать? кажется, что и на такой не женюсь. Потому что ведь с этими капиталистками одно что-нибудь: либо через несколько месяцев от миллиона ни пера не останется, либо к миллиону начнут другой прикапливать, и тогда пойдут дрязги, учеты, подозрения, утаивание денег у самих себя... фуй! Мне, mon oncle, нужно карьеру сделать, и разве уж тогда, когда все как следует обозначится... ну, тогда — быть может...

— Федя! знаешь ли ты, что чем больше я тебя слушаю, тем больше удивляюсь: откуда у тебя такая ума палата?

— Да, mon oncle, несмотря на мои двадцать четыре года, я знаю женщин и могу сказать это с уверенностью. Женщина — это изумительное создание! Она неочененна — как пирожное, но как pièce de résistance [2] — совсем не годится. Чувствовать себя навсегда связанным с женщиной — это одно из величайших жизненных неудобств. Ежели она зла — то злостью убьет, ежели добра — добротой убьет. Ежели она невежественна — отравит жизнь наивностями; ежели начитанна и нечто знает — доймет умными разговорами. Поэтому жениться следует только в такие лета, когда ни злость, ни доброта, ни невежественность, ни начитанность — ничто уж не действует.

— Феденька! друг мой! сейчас я сказал, что ты умен, а теперь прибавлю, что ты даже больше, нежели умен: ты, так сказать, вредоносно умен! Вдомек ли тебе, что ты просто-напросто всякое общежитие упраздняешь? Да. Ведь, по-твоему, счастливо можно прожить только так: с одним пообедать, с другим выпить, с третьим об имеющемся в виду местечке побеседовать, а с дамочками — сквернословить и срывать цветы наслаждения. И нигде нет приюта, и везде приют есть — вот, по-твоему, как! Удобнее этого, право, никакая интернационалка не выдумает! Исполать тебе, друг мой! Это именно самая современная, самая подходящая жизненная программа, и с нею ты наверное преуспеешь. Нынче ищут таких опричников,

[1] мужчины.
[2] основное блюдо.

которые освободили себя от всех обязательств общежития; ими дорожат, им одним веру дают. И ежели ты применишь свою программу к более обширным сферам деятельности, то успеху твоему конца-краю не будет. Дерзай, голубчик, дерзай!

Феденька взглянул на меня и, по-видимому, изумился.

— Кажется, я вас огорчил, mon oncle? — спросил он не то сконфуженно, не то иронически.

— Нимало, голубчик! Конечно, твоя программа не симпатична мне. Я не понимаю трактирной жизни и не люблю случайных знакомств, но ведь это во мне застарелое, непригодное, так сказать — дворянско-ипохондрическое. Я знаю, что я человек отсталый и что мои симпатии или антипатии для тебя не могут быть обязательными. Ты — homo novos[1], и кодекс у тебя новый. А так как это кодекс действующий и без него можно только прятаться от жизни — вот как я,— а не преуспевать в ней, то ты, разумеется, поступаешь вполне целесообразно, посещая рауты маркизы Pour la Noblesse и пользуясь гостеприимством господина Харченкова. Кстати: ты давеча об хедиве египетском говорил — тебе никогда не приходило на мысль предложить ему свои услуги?

— Какой странный вопрос, mon oncle?

— Вопрос самый интернациональный и, следовательно, самый подходящий. Переходя из трактира в трактир, почему же не зайти и к хедиву перехватить? Впрочем, я очень рад, что ты нашел мой вопрос странным. Не езди туда, Федя! У нас свой пирог обширный — всем место найдется. La patrie — avant tout[2]. И еще: à tous les coeurs bien nés que la patrie est chère!..[3] помнишь? Орудуй дома, не езди ни к хедиву, ни к Дон-Карлосу, ни к Наполеоновой вдове. Христос воскрес! поцелуемся!

Обед кончился, мы поцеловались и, обнявшись, направились в кабинет.

Я помнил, однако ж, что желал видеть у себя Феденьку совсем не для того, чтоб пожертвовать в пользу господина Дроздова четырьмя тысячами франков и чтобы выслушать два-три сомнительного свойства анекдота. Во-первых, я хотел знать, кàк Феденька полагает поступить с Россией в случае производства его в генеральский чин, и буде намерения его окажутся слишком жестокими, то по-родственному предостеречь; во-вторых, меня ужасно интриговало: чтò такое за комиссия, в которой он до того зарылся с каким-то загадочным Иваном Михайлычем, что даже для меня, своего дяди, дверь запер?

---

[1] новый человек.
[2] Отечество — прежде всего!
[3] всем благородным сердцам отечество дорого.

Повторяю: я литератор, и потому боюсь. Мысль, что всякая комиссия имеет в предмете непременно литературу и что все остальное, значащееся в заголовке, служит лишь для украшения этого заголовка, но, в сущности, представляет лишь повод для литературной критики,— эта мысль совсем не произвольная, но именно каждому литератору свойственная. Мне скажут, что каждая комиссия производит свой плод, осуществляемый в «Трудах» — вот, мол, и переплетенные томы «Трудов» налицо! полюбуйтесь! — но и это не разуверит меня. Мне кажется, что эти «Труды» суть не более, как результат усердного наклеивания газетных и других вырезок на картоны, а что настоящую, живую работу комиссии следует искать совсем не тут, а в тех дружеских и, по-видимому, побочных собеседованиях, которые одни и приносят практический плод. Это — собеседования случайные, бессистемные, но литература наша так болезненно чутка, что, как только запахнет в воздухе подобными собеседованиями, она как-то сама собой сожмется и вдруг из просто-езоповского тона переходит в сугубо-езоповский. И ежели вы при этом замечаете, что московские кликуши начинают выкликать всем голосом, а петербургские трудолюбцы выступают на сцену с иносказаниями и оправданиями, то это, наверное, означает, что где-нибудь кто-нибудь как-нибудь выразился...

— В какой это ты комиссии целых три месяца так усердно работал, что и доступу к тебе не было? — спросил я.

— Я занимался в последнее время в трех комиссиях,— ответил Федя,— но одна из них бездействует, за невозможностью изъяснить, в чем заключается предмет, подлежащий ее разработке; другая тоже бездействует, за недоставлением от одного из корреспондентов сведений, что̀ разумел он, говоря, что «со времени крестьянской эмансипации отечественное земледелие вступило в знак Рака»; и, наконец, в третьей — идет теперь усиленная работа.

— А в чем же задача этой третьей комиссии?

— По первоначальному плану она должна была разрешить вопрос о мерах, которые необходимо принять на случай могущего быть светопреставления; но, с развитием работ комиссии, последовали такие неожиданные осложнения, что в настоящее время трудно даже определить, к каким разветвлениям мы можем прийти и которое из них окажется более существенным, чтобы сообщить нашим трудам окончательное направление.

— Но ведь в таком случае возможно, что и эту комиссию постигнет та же участь, как и первую?

— Нет, mon oncle, этого не будет. Мы слишком проникну-

ты важностью предстоящих нам задач, чтобы допустить малейшую остановку в наших изысканиях.

— А ну-ка, признавайся: наверное, и об литературе идет речь?

— В настоящую минуту могу сказать вам только одно: решено предложить господину Майкову написать, на случай светопреставления, гимн.

— Нет, я не об этом. Я об литературе... как с ней предполагается поступить?

Однако ж Феденька, очевидно, почувствовал себя неловко при этом вопросе. Он слегка заалелся, замялся и, наконец, ответил:

— Извините меня, дядя, но при настоящем положении работ комиссии я не могу ответить на ваш вопрос.

— Стало быть, что-нибудь да есть?

— И на это ничего не могу вам сообщить.

— Знаешь ли, однако, что твоя таинственность просто непристойна. Стряпаешь ты там втихомолку что-то с каким-то Иваном Михайлычем... Меня-то помилуешь ли?

— Mon oncle!

— Да ты хоть обиняком намекни, что̀ такое ты стряпаешь! Ну, лишить, мол... Я и пойму!

— Вот видите ли, действительно... Но нет, клянусь вам, голубчик дядя, не могу!

— Следовательно, я так и не узна̀ю?

— Вот что̀, mon oncle. Через две недели будет доклад, и тогда наши члены, наверное, разболтают... В то время я явлюсь к вам и охотно сообщу все, что вы пожелаете.

На этом разговор пресекся. Я в несколько приемов пытался изложить мои мысли насчет значения литературы в жизненном процессе страны, а равно и о том, какие вредные последствия может оказать жестокое обращение с нею, но Феденька каждый раз останавливал меня восклицанием:

— После, mon oncle, после! Две-три недели — право, это недолго! — Очевидно, он опасался, чтоб я не развратил его.

. . . .

И, таким образом, день кончился для меня неудачею.

ПЕРВОЕ МАЯ

Апрель был ужасен. Это был месяц какой-то неизобразимой паники. Все вдруг замутилось, заметалось, не верило ни ушам, ни глазам. И сквозь всю эту смуту явственно проходила

одна струя: homo homini lupus [1]. Говорилось, выкрикивалось и даже печаталось нечто невероятное, неслыханное. Мало было оцепенения, в которое погрузилось общество; нашлись охочие люди, которые припомнили свои личные счеты и спешили дисконтировать их в форме извещений и угроз. Почва колебалась под ногами; завтрашний день представлялся загадкою; исчезало всякое мерило как для оценки собственных поступков, так и для оценки поступков других лиц; становилось невозможным или, по крайней мере, рискованным презирать заведомо зазорных людей. Казалось, нет уголка, в котором назойливо, не переставая, на все тоны, не звучала одна — везде одна и та же — мысль: что̀ будет дальше? Эта бесплодная, без содержания, мысль задерживала всякую деятельность, забивала ум, чувство, волю и вызывала наружу худшие инстинкты человека, от малодушия до вероломства включительно. Люди слабодушные отыскивали на дне совести что-нибудь постыдное и держались за это постыдное, как за якорь спасения. И, в довершение всего, московские кликуши, от внутреннего ликования, словно сбесились.

В последние двадцать, двадцать пять лет чувство человечности сделало несомненные успехи в обществе — это факт, который оспорить нельзя. Может быть, оно не имеет крупных и высокоталантливых выразителей, как в сороковых годах, но оно разлилось в массе общества, обмирщилось, сделалось как бы естественной подкладкой общественных порываний и отношений. Забылось или почти забылось крепостное право (внешние его формы даже восстановить делается с каждым годом труднее и труднее), стали забываться келейный суд и патриархально-кулачная полицейская расправа, начали проявляться попытки самодеятельности; одним словом, период одичания казался близким к концу. И вдруг это самое чувство человечности, о котором думалось, что оно сделалось уже лозунгом жизни, является преступлением. Не человечность нужна, а ненависть! оскаливая зубы, печатно вопиют доктринеры бараньего рога и ежовых рукавиц... Какое время!

Само собой разумеется, что среди этой суматохи я всего менее мог рассчитывать на свидание с Феденькой. Правда, что я не раз видел, как он мелькал в наемной коляске по Невскому, но лицо его смотрело так озабоченно, что, конечно, я и претендовать не мог, чтоб он заметил меня. Однако ж однаж-

[1] человек человеку — волк.

ды как-то случайно он остановил на мне свой взор, и в то же время, как я посылал ему навстречу воздушный поцелуй, он поднял правую руку и показал мне все пять перстов. Тогда я не выдержал и махнул ему, чтоб остановился.

— Кроме прежних трех, еще в пяти! — воскликнул он с торжеством, когда я подошел к экипажу.

Конечно, я недоумевал.

— В пяти... комиссиях! — пояснил он и при этом указал рукой на горло — вот, дескать, где оно у меня сидит!

— А когда же ко мне?

— Не могу и даже не предвижу. И дома почти не бываю. Одним словом — вот!

Он опять указал на горло и вдруг совсем неожиданно выпалил:

— А литература-то ваша... какова! а?

И с этими словами исчез, словно провалился сквозь землю.

Целых две недели после этой встречи я мучился. Сам по себе Феденька, конечно, не бог знает какая птица, но он — эхо, он — pique assiette[1] внутренней политики; это несомненно. Ч̀то такое он ск̀азал? кажется, про литературу упомянул... да! Ч̀то такое случилось! от кого, от кого он слышал? Ужели приспособляется какая-нибудь связь, что-нибудь солидарное, общее?

Я вспомнил «разбойников печати» и «мошенников пера», вспомнил не потому, чтобы эти выражения, в минуту их появления, произвели на меня впечатление, а потому, что все кругом располагало к подобным воспоминаниям. В свое время эти потуги заклеймить живые силы русской литературы каким-нибудь, хоть заведомо клеветническим, но хлестким словом, казались мне просто бессильными и ничтожными, но теперь, в эти тяжелые минуты, выросли и они.

Я понимаю, впрочем, что успех, полученный некогда изобретением «нигилизма» (римский папа — и тот прельстился этим словом и в одной из энциклик, в числе прочих отщепенцев римской церкви, поименовал и «нигилистов»), не дает спать нашим этимологам — блюстителям литературной невинности. Хочется и им нечто свое придумать. Что-нибудь усугубляющее, такое, что умерщвляло бы мгновенно, без объяснений, что всюду распространяло бы ненависть и подозрение, и только их одних, злопыхательных этимологов, утешало и угобжало. Хочется... и ничего не выходит. Почему не выходит? А потому, милостивые государи, что у вас в запасе есть только

[1] нахлебник.

бесконечная злоба, а нет ни понимания требований публики, к которой вы обращаетесь, ни талантливости в деле изобретения выдумок.

«Нигилизм» был своего рода откровением. Во-первых, эта кличка привлекала все сердца своей краткостью, а во-вторых, она дала возможность людям толпы сваливать в одну кучу всё лично для них неприятное, тревожащее, несоответствующее их личному темпераменту и т. д. Видя попытки критически отнестись к действительности, эти люди пугались, сомнительно покачивали головами и не знали, примкнуть ли им или попробовать отразить. И вот, в эти минуты сомнения, когда уж чуть было они не решились «примкнуть», явился на выручку «нигилизм». И коротко, и даже почти ясно. «Nihil» — ведь это, кажется, «ничто»? — ну, так и есть! Возьми «ничто», посей на нем «ничто»,— конечно, выйдет «ничто». Прекрасно... вот это прекрасно! С тех пор эти господа успокоились и на всякий более или менее тревожного свойства запрос отвечали заранее намеченным решением: э, батюшка, это всё нигилизм!

Словом сказать, «нигилизм» — это то же самое, что некогда и столь же удачно клеймилось кличками: «фармазон» и «волтерианец». Мы, потомки, конечно, смеемся над этими кличками, но очень может статься, что современники чувствовали себя не особенно ловко, когда обращались, ad hominem:[1] а ну-тка, имярек фармазон! ответствуй!

Сравните с этими не вполне осмысленными, но все-таки хлесткими (талантливость, впрочем, ничего другого и дать не может) кличками каких-нибудь «разбойников пера» или «мошенников печати» — какая неизмеримая разница! И длинно, и неуклюже, и вяло, и, что важнее всего, не отвечает никакой потребности. Никому не надобны эти выражения, никто не понимает, для чего они явились, и, стало быть, никто не будет их и употреблять. Ни римский папа не украсит ими будущих энциклик, ни иностранная печать не упомянет о возникновении в России новой вредной секты под названием «les razboïnki petchati»[2]. Ни консерваторы, ни профессора, ни предводители дворянства, ни столоначальники — никто. Разве что вот особливый случай какой-нибудь выйдет...

«Случай» — вот это так. Обильна, ах, как обильна сделалась за последнее время русская жизнь этими «случаями»! И всё как-то литературу они задевают. Идет себе литература обычным скромным ходом, убежденная, что для всякого ясно, что процесс литературного мышления представляет некоторые

---

[1] к человеку.
[2] разбойники печати.

особенности, отличные от процесса мышления канцелярского служителя, а из-за угла ее стережет «случай». Она наивно думает, что ничто человеческое ей не чуждо, что все явления вещественного и духовного мира обязательно подлежат ее исследованию — и вдруг врывается нечто непредвиденное и с злобной иронией шипит: я именно и есть тот самый «случай»... Наконец, она позволяет себе мечтать, что даже ошибки и заблуждения не могут быть, без явной несправедливости, вменяемы ей в вину, потому что они представляют собой составную часть ее изысканий — как бы не так! приходит «случай» и изрекает: блуждать и заблуждаться не разрешается...

Так вот в такие-то минуты, когда человек стоит лицом к лицу с «случаем», и припоминаются все эти «разбойники печати» и «мошенники пера». И при воспоминаниях этих становится жутко, потому что приходится убедиться, что действительно в печати существуют и разбойники, и мошенники, и клеветники и что, стало быть, литература — не совсем тот храм, при виде которого бьются чистые и честные сердца и без которого мир был бы постыл и бесславен...

. . . .

Феденька явился ко мне совсем неожиданно — первого мая. Он воспользовался тем, что в этот день комиссии отправились гулять в Екатерингоф, и вспомнил обо мне.

— Вот и я! — весело сказал он, входя ко мне в кабинет,— но предупреждаю вас, дядя, что теперь, больше чем когда-нибудь, скромность для меня обязательна.

— Гм... стало быть...

— Да; но я думаю, что найдется, однако ж, почва, на которой мы оба будем чувствовать себя одинаково удобно. Это почва общих вопросов — не так ли, mon oncle?

— Изволь, мой друг. Мы будем ставить вопросы, станем обсуждать их независимо от условий времени и места, и затем...

— Затем, если вы найдете нужным вывести интересующие вас критические заключения, то, ввиду высказанных общих соображений, это не представит для вас особенного труда и не прибегая к моему содействию.

В эту минуту Феденька был очень хорош. Придумавши эту комбинацию, он, я уверен, мнил себя Талейраном, которому ничего не будет стоить и вопрос о проливах разрешить, а ежели потребуется, то и туркину жизнь навсегда прекратить.

— Итак, прежде всего поставим вопрос о литературе,— начал я,— как, по твоему мнению, украшает она или не украшает?

— Гм... это смотря по тому...

— Стало быть, ты сомневаешься. Или, собственно говоря, тебе очень хотелось бы ответить: «нет, не украшает», но совестно. Не потому совестно, что ты припоминаешь басню «Сочинитель и Разбойник», которая самым существованием своим доказывает, что заслуг литературы оспорить нельзя, а просто потому, что, отрицая литературу, тебе носу никуда показать будет нельзя. Даже дамочки отвернутся от тебя, ибо и они понимают, что неприлично и скучно по целым часам только жестикулировать, но надо по временам и поговорить. И поговорить не об лишении прав состояния, а об Дюма-фисе, о Беллò, о Монтепене, то есть все-таки об литературе. Вот почему ты заикаешься и говоришь: смотря по тому... Я же говорю, не заикаясь и без оговорок: дá, литература украшает. Она украшает, потому что служит воплощением всех духовных сил страны, и ежели ее нет, то это значит, что духовные силы находятся в отсутствии или лежат глубоко под спудом. Общество, не имеющее литературы, не сознает себя обществом, а только беспорядочным сбродом индивидуумов; страна, лишенная литературы, стоит вне общей мировой связи и привлекает любопытство лишь в качестве диковины; об государстве и говорить нѐчего: оно немыслимо без литературы уже по тому одному, что самым происхождением своим обязано литературе. Вот у вотяков нет ни письмен, ни сказаний, ни даже песен, есть только предание, что была когда-то какая-то книга, да ее корова съела, но именно потому-то в этом племени так мало устойчивости, что недалеко время, когда оно и само, быть может, сделается преданием. Каким же образом общество, страна, государство могут призывать к своему суду литературу, когда они всем ей обязаны, кругом ею облагодетельствованы?

— Но ведь никто и не отрицает, mon oncle, что литература одна из необходимых функций общественного и государственного организма...

— Не «одна из функций», а главная и единая, заключающая в себе неоскудевающий источник жизни. Все, что ты ни видишь кругом, все, чем ты пользуешься,— все это дала тебе литература. Квартира, в которой ты живешь, пиджак, который надет на твоих плечах, чай, который ты сию минуту пьешь, булка, которую ты ешь,— все, все идет оттуда. Если б не было литературы, этого единственного сборного пункта, в котором мысль человеческая может оставить прочный след, ты ходил бы теперь на четвереньках, обросший шерстью, лакал бы болотную воду, питался бы сырыми злаками и акридами. Но предположим, что это история давнишняя, проследить которую трудно; но даже и помимо будничных удобств, принимаемых бессознательно, просто как совершившийся факт,— даже

помимо их, все удобства, наслаждения и утешения высшего разряда, все, чего требует пытливость ума, развитость вкуса, чуткость чувства,— все это опять-таки идет оттуда, а не из циркуляров и предписаний, как бы последние ни были в своей сфере полезны. Все знания, которыми ты обладаешь, даны тебе литературой; все понятия, суждения, правила, все, чем ты руководишься в жизни, все выработано ею. Даже понятие о неблагонамеренности литературы — и то ты почерпал из нее, а никак не додумался бы до него непосредственно, потому что, повторяю, без литературы ты ходил бы на четвереньках и лакал бы болотную воду. Как это ни странно покажется для тебя, но без литературы не существовало бы ни живописи, ни музыки, ни искусств вообще, потому что она все разложила, и свет, и звук, и она же все сочетала. Не будь того светоча, который она всюду приносит с собой, и звуки, и краски, и линии — все было бы смешение, хаос. Даже техника искусств — и та обязана тою или другою степенью своего совершенства посредничеству литературы, потому что искусство, само по себе, немо и разъединено, одна литература имеет привилегию «гласить во все концы», она одна имеет дар всех соединять под сенью своею, всем давать возможность вкусить от сладостей общения.

Я остановился, потому что Феденька смотрел на меня во все глаза и как-то блаженно улыбался.

— Ah! mon oncle! — воскликнул он,— vous avez un style...[1] клянусь, я заслушался!

Замечание это слегка смутило меня — в самом деле, я, кажется, чересчур что-то распелся! — но так как речь была уж заведена, то прерывать ее я уже не счел полезным.

— Ну, какой есть, не взыщи! — сказал я,— и будем продолжать. Стало быть, опера, которою ты наслаждаешься, картина, которую ты с восхищением созерцаешь,— всё это дала тебе литература. Мало того: она дала тебе возможность различать добро от зла, она выработала для тебя условия общежития, научила тебя распознавать, что у тебя есть отечество. Кто поведал тебе:

И дым отечества нам сладок и приятен...

Откуда ты узнал:

О Росс! о род непобедимый!
О твердокаменная грудь!

Всё оттуда же, из этой постылой литературы, которая всякую потребность предусмотрела и на всякую ответ дала. Всё там

[1] Ах, дядюшка! у вас такой стиль...

сказано, всё запечатлено навсегда, дабы снять покровы с твоей умственной дремоты и дать тебе возможность умилиться духом и обратиться к своей совести! О, Федя! ужели всего этого мало, чтобы заслужить вечную признательность, вечное удивление и устранить всякую мысль о жестоком обращении?

— Но разве кто-нибудь спорит...

— Позволь. Но и этого всего мало. Снисходя к твоей слабости, литература допустила для тебя возможность находить удовольствие в обществе «дамочки», кокотки и т. д. Эту кокотку — кто тебе преподнес? эту «дамочку» — кто тебе сформировал? Кто воззвал от ничтожества Дюма́-фиса, Беллò, Монтепена? Кто сказал им, указывая на тебя: вот малый, который без «дамочки» не будет знать, ка́к с собой поступить,— имейте это в виду на предмет зависящего с вашей стороны распоряжения? Предположим, что это услуга не особенно ценная, но, не будь ее, ты бегал бы за какой-нибудь хавроньей, и те пакости, которые ты теперь объясняешь таким изящным французским языком, ты выражал бы простым хрюканьем. Ужели и это не заслуживает твоей признательности?

— Mon oncle! вы очень удачно соединили в один фокус те услуги (последнюю я, конечно, принимаю как шутку), которые оказывала и продолжает оказывать литература обществу. Но вы упустили из вида одно обстоятельство, которое, с точки зрения государственности, имеет, однако ж, несомненно важное значение. Вы не упомянули о заблуждениях. Найдете ли вы возможность утверждать, что литература — не всегда, конечно, но очень, очень-таки нередко — не служит проводником заблуждений в обществе?

— На это, прежде всего, повторю тебе, что литература имеет право допускать заблуждения, потому что она же сама и поправляет их. Но, кроме того, она и потому не может относиться к заблуждениям с желаемой щепетильностью, что они, так сказать, составляют подготовительный процесс той работы, в результате которой оказывается истина. Истина — не клад, случайно находимый в поле, и не болид, падающий с неба совсем готовым; она дается ищущему ценою величайших жертв и усилий, *ценою заблуждений.* Кто не искал истины, тот, конечно, не заблуждался. История всех величайших открытий и изобретений засвидетельствует это. Ты скажешь, быть может, что никто и не протестует против заблуждений, в результате которых явились: типографский станок, железная дорога, сила пара и т. д., а протестуют, дескать, против заблуждений из мира мечтательного, идеального, бесплодно волнующих общество и не приносящих никаких осязательных улучшений. Но первая половина этого возражения положительно

несправедлива: ни одно великое открытие не явилось в мир без протеста, без насмешек, без злорадства. Что же касается до заблуждений второго рода, то ты имел бы основание тогда только указывать на них, если б была какая-нибудь возможность дверь в область идеальных интересов представить себе запертою. Но природа сама держит ее открытою, сама внушает человеку одинаковую склонность как к матерьяльным, так и к духовным интересам — следовательно, может ли литература, без насилия, без бунта, разгородить эти две области? Да ведь и тут, в этом идеальном мире, не все же бесплодие, не все же брожение и смута; бывают и такие осязательные результаты, которые на целые века дают истории человечества другой характер. Вот, например, ты охотно признаешь современные формы общежития, стоишь за них горой и вообще не нахвалишься ими, но разве они не считались в свое время заблуждениями? разве ты был бы коллежским советником на заре твоей жизни, если бы не существовало до тебя людей, которые, ценою горчайших испытаний, очистили путь для табели о рангах? Ах, друг мой, друг мой! трудно ведь жить без интересов идеального мира, так трудно, что, за недостатком настоящего света, человек хоть сальную свечку засветит и поставит перед собой!

— Ах, дядя, вы не поняли меня, я совсем не о том! Если б заблуждения, о которых вы говорите, оставались в недрах литературы — à la bonne heure![1] Но ведь они из литературы переходят в общество, волнуют его, порождают несвоевременные и неуместные требования — вот в чем опасность! Никто, конечно, не думает о насильственном прекращении вопросов идеального мира; настаивают только на постепенной и своевременной постановке их.

— Ну, и пускай настаивают; но не на литературу же, во всяком случае, следует возлагать полицейский надзор за теми последствиями, которые могут иметь добываемые ею выводы. Литература преследует задачи, которые она считает себя вправе признавать своими, и затем она совершенно игнорирует, что̀ из достигнутых ею результатов будет взято обществом и что̀ — отвергнуто. И ежели общество прегрешает против своевременности, то это дело установленных властей, а не литературы, которая тут ни при чем. Да и вообще, на мой взгляд, эта пресловутая «своевременность» — даже совсем не литературный термин, а канцелярский, потому что если литературе поставить в обязанность определять его, согласно с жизненными условиями, то, при разнообразии и изменчивости

[1] в добрый час!

этих условий, весь ее труд, пожалуй, уйдет на одни эти определения. И ты останешься без нового покроя брюк, без кулинарных усовершенствований и без нового фасона кокоток.

Я замолчал. Все, до сих пор высказанное мною о праве литературы на неприкосновенность, казалось мне до такой степени ясным, что, признаюсь, мне даже неприятно было бы в эту минуту услышать какое-нибудь возражение из сферы пресечения и предупреждения. Я страстно и исключительно предан литературе; нет для меня образа достолюбезнее, достохвальнее, дороже образа, представляемого литературой; я признаю литературу всецело, со всеми уклонениями и осложнениями, даже с московскими кликушами. Порою эти осложнения бывают мучительны, но ведь они пройдут, исчезнут, растают, и, наверное, одни только усилия честной мысли останутся незыблемыми — таково мое глубокое убеждение. Не будь у меня этого убеждения, этой веры в литературу, в ее животворящую мощь — мне было бы больно жить. Я так сжился с представлением, что литература есть то единственное, заповедное убежище, где мысль человеческая имеет всю возможность остаться честною и незапятнанною, что всякое вторжение в эту сферу, всякая тень подозрения, накидываемая на нее, кажутся мне жестокими и ничем не оправдываемыми. Лично я обязан литературе лучшими минутами моей жизни, всеми сладкими волнениями ее, всеми утешениями; но я уверен, что не я один, лично обязанный, а и всякий, кто сознает себя человеком, не может не понимать, что вне литературы нет ни блага, ни наслаждения, ни даже самой жизни. Феденька хоть и не признает этого, но внутренно очень хорошо понимает, что настоящие радости ему доставляет Дюма́-фис, а совсем не доклады о лишении прав состояния. Даже комиссия на случай могущего быть светопреставления — и та сознала эту истину, так как прежде всего сочла нужным открыть это торжество гимном. Почему она так поступила? А потому просто, что, благодаря гимну, смягчатся чересчур суровые тоны торжества, и затем — кто же знает? — быть может, и самое светопреставление будет отменено...

По-видимому, Феденька заметил охватившее меня волнение и тоже молчал. Это было с его стороны очень деликатно. Да и вообще он — малый не страшный. Покуда он заседает в комиссиях, действительно, он как будто неистов, но в частных сношениях даже приятен.

— Я понимаю, что вы не можете иначе говорить, дядя,— наконец произнес он,— и потому не берусь даже возражать. Но позвольте мне указать на одно неудобство в нашей беседе: вы слишком абстрактно рассматриваете вопрос — каюсь, я сам

предложил вам этот метод,— тогда как в действительности он стоит гораздо проще. Те отзывы о литературе, которые вас интересуют, совсем не имеют в виду Галилеев, Байронов, Шиллеров и проч., а нашу обиходную, будничную литературу, занимающуюся не мировыми вопросами, а самою обыкновенною злобою дня.

— Но ведь тут разница только в размерах. Положим, что современная русская литература не особенно высоко стоит; но, во-первых, это еще вопрос, отчего уровень ее так невысок, а во-вторых, как бы ни была наша литература мало плодотворна, все-таки она на целую голову выше всего остального.

— Это ваше мнение, mon oncle, мнение очень понятное, потому что вы всецело принадлежите литературе. Но существуют люди, и при том компетентные, которые смотрят на подобные мнения, как на преувеличение. Литература наша еще не достигла возмужалости; она недостаточно оригинальна, не серьезна и не самостоятельна; даже существованием своим она обязана воздействию: Pierre le Grand[1] вместе с суконными фабриками, насадил и ее. Конечно, он поступил мудро, но это не мешает нашей литературе быть молодою и увлекаться не действительными потребностями времени и места, но просто эффектностью заимствованных положений и восприимчивостью своего молодого темперамента. Вот эта-то склонность к увлечениям — не преднамеренная, это я вам охотно уступаю — и наводит на мысль о необходимости руководительных начал.

— Руководительных начал... в каком смысле? В том ли, чтобы помочь литературе сделаться оригинальною, серьезною и самостоятельною... или наоборот?

— Ах, mon oncle! Конечно... Разумеется, со временем все это придет... Но, с другой стороны, все это может быть прочным лишь тогда, когда придет вооруженное опытом, очищенное от увлечений и преувеличений... И тогда...

— И тогда, и всегда, и ныне, и во веки веков. Всегда будут предостерегать от преувеличений и указывать на вотяцкую мудрость, как на идеал. Я уж говорил тебе, что у вотяков даже песен нет. Песен нет, а петь, между тем, хочется. Вот идет вотяк, видит забор — поет: забор! забор! пока не увидит поля; тогда начинает петь: поле! поле! и так без конца, смотря по тому, что встретится. Вот это-то и есть свободная от преувеличений, настоящая, желательная мудрость. Не гляди ни вперед, ни назад, ни по сторонам, а воспевай те предметы, которые встречаются на пути. Что ж! это отлично!

— И это, mon oncle, опять-таки преувеличение. Напротив,

[1] Петр Великий.

все охотно допускают, что литература должна играть очень серьезную роль, что она может даже помощь оказывать, но именно помощь, а не противодействие. Вот что необходимо различать.

— То есть дифирамбы писать?

— Ах, mon oncle!

Очевидно, это был порочный круг. И нужна самостоятельность, и ненужна, то есть нужна «известная» самостоятельность. И нужна критика, и ненужна, то есть опять-таки нужна «известная» критика! Словом сказать: подай то, не ведомо что, иди туда, неведомо куда. И при этом еще говорят: нет, вы отлично знаете, и куда идти и что подать, да только притворяетесь, что не знаете. Положим, что Феденька не особенно искусный диалектик, но он везде бывает, слышит всякие разговоры,— что-нибудь да и прилипает к нему. Ежели он выражается обрывками, то это значит, что и разговоры, которые он слушает, тоже ведутся обрывками. Есть люди, которые способны гудеть по целым часам, и все-таки в их гудении ничего не уловишь, кроме обрывков. Вот к этим-то гуденьям и прислушивается Феденька, и подражает им. Перед ним не церемонятся, выкладывают все впусте лежащее, потому что он — «адепт». И он усердно подбирает это впусте лежащее, ибо знает, что и ему со временем надо будет гудеть. Все будут гудеть: и он, и его сверстники и соратники в деле составления карьер, и кто кого перегудит, тот и воспрославится.

Ввиду всего этого я понял, что на почве слишком широких обобщений нам оставаться нельзя. Феденька слишком конкретен, слишком канцелярски мудр, чтоб идти дальше непосредственных результатов и чувствовать какую-либо иную потребность, кроме потребности мероприятий. Поэтому хотя он и предупредил меня в начале беседы, что не будет касаться злобы дня, но я все-таки решился попытаться хоть в этом направлении получить какие-нибудь разъяснения.

— Прекрасно, пусть будет по-твоему,— сказал я.— Стало быть, литература виновата? в чем? говори! обвиняй!

При этом слишком прямом обращении мой собеседник чуть-чуть покраснел, так что я, предвидя, что он непременно воспользуется случаем, чтоб поломаться передо мной, поспешил поправиться:

— То есть, не обвиняй от себя лично,— я знаю, что ты не способен на это,— но формулируй те обвинения, которые, по твоему наблюдению, наиболее в ходу,— объяснил я.

Феденька с минуту помолчал и затем, совершенно для меня неожиданно, каким-то шипящим, задавленным голосом произнес:

— Дядя! позвольте узнать, зачем ваша литература с таким упорством ищет осмеять и подорвать священнейшие основы нашего общества?

Я изумился. Не вопросу, который ничего особенно неожиданного не представлял, но тому феномену, который, в какую-нибудь минуту, совершился в моих глазах. Лицо этого юноши, за минуту перед тем благодушное и даже простоватое, внезапно позеленело и приняло суровые тоны; глаза получили сердитое, чуть не злое выражение; губы побелели и вздрагивали. Так велика была в этом способном молодом человеке готовность восторгаться чужими восторгами и озлобляться чужимы озлоблениями.

— Христос с тобой! что̀ ты! — воскликнул я, несколько озадаченный.

— Нет, если вы уж хотите, чтоб я говорил, то я буду говорить. Серьезно спрашиваю вас: с какого права ваша литература нападает на коренные основы нашей жизни? кто дал ей это полномочие? Кто разрешил ей в таком виде представлять семью, собственность... государство?

— Да в каком же, мой друг, в каком?

— В гнусном-с. Повторяю, кто дал ей полномочие судить и рядить?

— Послушай! я только что сейчас доказывал тебе, что литература от самого господа бога снабжена всеми возможными полномочиями... Однако ж так как ты настойчиво возвращаешься к этой теме и при этом, очевидно, имеешь в виду *современную* русскую литературу, то изволь, будем беседовать. Ты ставишь вопрос прямо: современная русская литература подрывает основы, на которых держится общество... Подумай, однако ж, нет ли тут смешения? Не приписываешь ли ты литературе то, что принадлежит самому обществу или, по крайней мере, той его части, которой специально присвоивается это название? Я, с своей стороны, убежден, что литература наша не только ничего не выдумывает в этом случае, но, довольствуясь одним констатированием фактов, стоит далеко ниже действительности. Ужели литература разожгла аппетиты Юханцевых, Ландсбергов, Ковальчуковых? ужели она породила эти легионы сорванцов, у которых на языке — «государство», а в мыслях — пирог с казенной начинкой? Уверяю тебя, не литература произвела эти явления. Аппетиты разожглись сами собой, вследствие наплыва целой массы праздных людей, оставшихся за бортом с упразднением крепостного права. Конечно, литература не пропустила этого факта; но разве была какая-нибудь возможность игнорировать его? Подумай! ведь требовать от литературы подобного нелепого воздержания

значило бы навсегда осудить ее оставаться при анекдотах о пошехонцах. Ты думаешь, очевидно, что литература наша нарочно цепляется за известные факты, что она *предвидит* те волнения, которые она должна произвести в обществе, что эти волнения ей нравятся, одним словом, что, не будь вмешательства литературы, не существовало бы ни вопросов, ни волнений. Друг мой! не ты один высказываешь подобные убеждения: они сплошь и рядом высказываются и в самой литературе теми литературными золотарями, которых целые массы в последнее время загромоздили ее. Но все это — ложь и наглая клевета, и литература, выставляя на позор факты, которые так тебя поражают, не только не подрывает подрытого, но, напротив, пробуждает общественную совесть. Правда, что общество наше — лицемерно и посмеивается над основами «потихоньку», но разве лицемерие когда-либо и где бы то ни было представляло силу, достаточную для существования общества? Разве лицемерие — не гной, не язва, не гангрена? Вот этого-то «права лицемерить» литература и не признает за обществом. Она говорит ему: или держись крепко унаследованных принципов, или кайся! По-моему, такие обличения имеют скорее характер охранительный, нежели разрушительный, и ежели я и сам по временам сетую на современную русскую литературу, то отнюдь не за смелость и настойчивость ее обличений, а, напротив, за то, что она робка, неустойчива и совсем-совсем невлиятельна. Помилуй! один езоповский язык чего стоит! Подумай, кàк это трудно, изнурительно, почти погано! В состоянии ли ты оценить это?

— Могу, но, признаюсь, не печалюсь об этом. В наше время только и утешаешься, когда видишь, как наша милая литература извивается, словно вьюн на сковороде. Однако ж я готов бы был сделать вам известные уступки, если б дело шло только о логике идей. Но есть логика фактов, mon oncle, и она-то заставляет меня быть осмотрительным. Перед фактами я немею, прихожу в ужас и забываю об идеях. Я понимаю вашу защиту и логически не всегда вижу себя в состоянии опровергнуть ее, но, в то же время, я *чувствую,* что в ней чего-то недостает, что она не вполне искренна и нечто скрывает. Ведь скрывает — не так ли, mon oncle?

Он так добродушно заглянул мне при этом в лицо и так мило похлопал меня по коленке, что мне и самому невольно подумалось: а чтò, ведь, может быть, и скрывает?

— Может быть, может быть, друг мой,— ответил я,— ведь всего не сообразишь. Во всяком случае, для меня ясно, что, несмотря на продолжительную беседу, мы оба остаемся при своих показаниях. Чтò бы я ни говорил, ты охотно будешь

признавать справедливость моих доводов, но будешь «чувствовать», что в них чего-то недостает... Отлично. Стало быть, обвинение первое — колебание основ — остается неопровергнутым, но и недоказанным. Дальше?

— Дальше, mon oncle, направление и подбор статей. Разверните любую книжку журнала, любой газетный листок — и вы убедитесь, что все, от первой строки до последней, твердит об одном, смотрит в одну точку.

— А тебе бы хотелось литературного косоглазия?

— Mon oncle! не будем увлекаться в сторону и воротимся к «направлению». Я сказал уже вам, что разумею под этим подбор статей. Зачем эта унылость? Почему бы не разнообразить предлагаемого публике чтения? Почему бы рядом со статьей, трактующей об явлениях *не*утешительных (я сам соглашаюсь, что в жизни нашей не все утешительно), не поместить другой, которая предвещала бы скорый и вожделенный конец этой неутешительности? зачем забивать мысль читателя все будничными да будничными представлениями, а не освежать ее беседою о предметах возвышенных, вызывающих парение? зачем пригибать человека все к земле да к земле — ведь у него есть небо, mon oncle!

— Зачем? да просто затем, что у всякого времени есть своя задача и свои способы для выражения этой задачи. Это не в одной литературе выражается, а и в распоряжениях администрации. И в них ты заметишь «подбор» и замечательное однообразие «направления».

— Да, но со стороны администрации это печальная необходимость, а со стороны литературы — это система, это предвзятый образ действия. Литература не имеет права так поступать. Ее обязанность — умиротворять, а не раздражать. Повторяю: у человека есть небо, mon oncle! и это небо — литература ваша закрыла его от него!

— И небо, и соловьи, и розы... Только соловьи, по нынешнему строгому времени, поют не в боскетах, а в трактирах, да и розы пахнут совсем не тем, чем пахли прежде...

— Это — не ответ, mon oncle. И розы, и соловьи, и небо — все это есть, и все мы видим, и слышим, и обоняем, и всем наслаждаемся. Только вот литературе нашей угодно игнорировать эти возвышающие дух картины и заменять их холодным перечислением язв. Как хотите, а это — заговор!

— Да заговор же и есть. Только не тот, которому в законе присвоивается название преступления, а тот, который испокон веков разлит в воздухе и едва ли когда-нибудь прекращался. Это — заговор, в котором принимает участие не одна литература, а все и вся. Значит, язвы настолько обострились, что

никому не дают ни отдыха, ни срока; значит, не только писать, но и думать ни об чем ином нельзя; значит, доколе будут существовать язвы, дотоле будет идти и речь об них. Ты думаешь, что у Бореля, у Дюссо, у Донона нет заговорщиков? что ты и твои сверстники, люди несомненно надежные, укрывшись в одном из этих приютов, только едите и пьете, а не конспирируете? Ошибаешься, друг мой! Ручаюсь, что не проходит и десяти минут твоей жизни без того, чтоб ты не почувствовал себя неловко, и совсем не потому, чтобы ты вспомнил о соловьях и розах, а именно потому, что даже там, среди расторопных официантов-татар, в виду улыбающегося соммелье[1], тебя все-таки настигают язвы. Стало быть, и вы участвуете в заговоре, участвуете тем, что помышляете и беседуете о предмете его. Вам неприятен этот предмет, вы желаете отогнать его от себя, а он — тут, при вас, он неотступно идет следом за каждым шагом вашим. Но если он не оставляет в покое никого, как же ты хочешь, чтобы от него отвернулась литература, для которой исследование явлений жизни составляет conditio sine qua non[2] существования? Ты скажешь, конечно, что бывали же и в русской литературе и розы, и соловьи... бывали, мой ангел, все в свое время было! Но теперь ты не найдешь двух литераторов, которые решились бы беседовать о розах и соловьях, и даже те, которые когда-то считались мастерами в этом роде,— и те ныне пускают шип по-змеиному. Ужели это делается нарочно, с единственной целью досадить тебе или тем, чьих мнений ты служишь эхом? Послушай! Ведь со стороны журналов и газет было бы не только неполитично, но даже непростительно не поступиться несколькими печатными листами в год в пользу роз, соловьев и вожделеющих помещиц, чтоб водворить мир и благоволение в взволнованных сердцах. Почему-нибудь, однако ж, они не пускают в ход этого фортеля. И знаешь ли именно почему? Во-первых, потому что нынче писателей таких нет, а во-вторых, потому, что и читатель для соловьев и роз едва ли отыщется.

— Так что нашей литературе суждено навеки пропахнуть мужиком?

— Вот-вот-вот, оно самое и есть. Обвинение третье, но, в сущности, главное и единственное. Ибо все эти подрывания основ и авторитетов, эти направления и подборы — все это мы охотно перенесли бы, если б не замешался тут, в виде занозы, мужик. Мужик — это главное: как он смеет! Скажу тебе по секрету, мне и самому по временам литература наша ка-

---

[1] sommelier — метрдотель.
[2] необходимое условие.

жется в этом отношении несколько однообразною и через край переполненною мужиком. Ведь и я... да, брат, я тоже не чужд соловьев и роз... que diable![1] Но, присмотревшись к делу пристальнее, приходится согласиться, что иначе оно не может быть. Мужик — герой современности, это верно. И не со вчерашнего дня так повелось, а давненько-таки, с конца сороковых годов. Ты, разумеется, не был очевидцем «начал», но я не только помню, но даже лично присутствовал при них. Я помню «Деревню», помню «Антона Горемыку», помню так живо, как будто все это совершилось вчера. Это был первый благотворный весенний дождь, первые хорошие, человеческие слезы, и с легкой руки Григоровича мысль о том, что существует мужик-человек, прочно залегла и в русской литературе, и в русском обществе. А с половины пятидесятых годов эта мысль сделалась уже господствующею в русской жизни. Все, что ни есть в России мыслящего и интеллигентного, отлично поняло, что куда бы ни обратились взоры, везде они встретятся с проблемой о мужике. Но ежели эта проблема так настойчиво мечется в глаза, то надо же попытаться решить ее. И вот мы видим, что лучшие государственные люди нынешнего царствования отдают ей все свои силы и что рядом с ними ей же посвящают себя и наиболее независимые (в смысле обеспеченности матерьяльных средств) представители нашей интеллигенции. Припомни годы «освобождения» и сознайся, что никогда этому слову не придавалось более широкого значения, никогда интерес, возбужденный им в обществе, не граничил так близко с энтузиазмом. В течение с лишком трех лет никакой другой речи нельзя было слышать, кроме речи о мужике. Оказалось, что он решительно необходим и что даже самое слово «мужик» выражает нечто очень сложное, почти всепроникающее. Всем он нужен, у всех как бельмо на глазу. Тупа философия, косноязычна реторика... без мужика. Помещик, заводчик, фабрикант, подрядчик, одним словом, всякий человек-практик, всяк понял, что в его «делах» на первом плане стоит мужик. Должна была понять это и литература, и не по тому одному, что она обязана *всё* понимать, но и потому, что в этом деле ей предстояло оказать существенную услугу. Ежели мужик так всем необходим, то надо же знать, что̀ он такое, что̀ представляет он собой как в действительности, так и in potentia[2], каковы его нравы, привычки и обычаи, с которой стороны и как к нему подойти. И, к удивлению, оказывается, что узнать это совсем не так просто и что мир му-

---

[1] черт возьми!
[2] в возможности.

жицких отношений значительно сложнее и запутаннее, нежели тот, в котором обыкновенно вращаемся мы, люди интеллигенции. Работа исследования началась, работы произведено пропасть, а конца все-таки не видать. Хорошо бы и приостановиться, но дело в том, что, раз отворивши дверь в область загадок, затворить ее уж не так-то легко. Во-первых, этому воспрепятствует свойственная всякому интеллигентному человеку любознательность, а во-вторых, сама дверь просто-напросто оказывается неудобозатворимою. Вот почему современная атмосфера так насыщена мужиком: очень уж много лезет оттуда, из этой незатворимой двери. Вероятно, мы чересчур уж долго занимались соловьями и розами, так что теперь...

Но на этом месте речь моя была прервана сильным звонком. Оказалось, что приехал курьер, возвестивший Феденьке, что Иван Михайлыч изволил благополучно возвратиться из Екатерингофа!

Признаюсь, я был даже доволен, что беседа наша так внезапно оборвалась. Надоело.

ПЕРВОЕ ИЮНЯ

— Так ты думаешь, что нужно подтянуть? — спросил я Федю.

— Непременно, mon oncle,— отвечал он уверенно,— это не только личное мое мнение, но и все компетентные люди так думают.

Мы сидели в ресторане Летнего сада и ели. Петербург опустел; не только столоначальники, но и помощники их разъехались по дачам и слетались в город лишь на короткое время по утрам, чтоб не совсем без вреда день прошел. Войскà ушли в лагерь, установления бездействовали, знакомые куда-то исчезли; во всем доме, где я нанимаю квартиру, из «хороших жильцов» остался только я один, испуганный тем, что дождь с утра до вечера лил как из ведра. Скука была пожирающая; одно развлечение имелось в виду: наблюдать из окон, весело ли бодрствуют дворники. Оказалось, однако, что и Феденька засел в Петербурге и день-деньской над чем-то корпит, а потом целую ночь напролет докладывает. Очевидно, он не на шутку занялся своей карьерой и решился воспользоваться летним запустением и отсутствием чиновнической конкуренции, чтобы все свои способности лицом показать. Не знаю почему, но при встрече с ним мне вдруг вспомнился Ландсберг, которого имя в эту минуту занимало все умы и который тоже тщательно холил свою карьеру.

— Ты Ландсберга не знавал? — обратился я к Феденьке.

— К сожалению, знал. Прошлой зимой даже vis-à-vis[1] в кадрили не раз приходилось танцевать.

— Да, вот и он... Все думал, как бы карьеру сделать,— и вдруг...

Клянусь, я сказал это почти бессознательно, нимало не рассчитывая проводить какие-нибудь параллели. Однако ж Феденька обиделся и покраснел.

— Неужели же вы находите какие-нибудь поводы для сравнения? — протестовал он.

— Упаси бог, мой друг! Так... вспомнилось... Все слышишь что-то такое страшное: подтянуть да в бараний рог согнуть — ну, и вспомнилось; а ведь, может быть, и Ландсберг в мечтаниях своих рассчитывал: «Только бы мне с Власовым благополучно сквитаться, а там уж я знаю, что̀ делать — буду подтягивать да подтягивать...»

— К счастию, я не имею надобности в Власовых...

— Ах, нет! ты, пожалуйста, не думай! Я знаю, что ты человек аккуратный... Но Ландсберг — ведь это все-таки не миф. Скажи, пожалуйста, когда ты с ним прошлой зимой vis-à-vis танцевал, разве приходило тебе на мысль, что через два-три месяца этот человек будет судиться, как убийца? Ведь не приходило? а?

— Конечно, не приходило.

— И, наверное, ты вместе с другими находил, что это прекрасный и способный молодой человек, который «пойдет далеко». Признайся, случалось тебе с ним по душе разговаривать? планы насчет величия России строить?

— Признаюсь откровенно: случалось.

— И что̀ же?

— Действительно, я находил, что это человек сильной воли, способный и что...

— И что он «подтянет»?

— Да, думал и это.

— Ба! да ты ведь и Юханцева, конечно, знавал?

— Знал и его.

— И тоже считал, что это малый способный?

— Признаюсь... считал.

— И вы втроем: ты, Ландсберг и Юханцев собирались где-нибудь за бутылкой доброго вина (платил Юханцев) и совершенно серьезно рассуждали, что «так нельзя», что «все распущено, ни на что не похоже», что «суды оправдывают», «власти бездействуют», что «надо положить этому предел»... И Ландс-

---

[1] визави.

берг при этом первый — да, именно он, он первый — припомнил и произнес слово: «подтянуть», а вы с Юханцевым, услыхав это, в восторге воскликнули: oui, Landsberg — c'est l'homme du moment!..[1] Ведь случалось это? да?

— Случалось.

— Посмотри, однако ж, какой, с божьею помощью, оборот! суд-то словно подслушал ваши упреки, взял да ни Юханцева, ни Ландсберга не оправдал!

Все время, покуда я таким образом объяснял свою мысль, Феденька улыбался то иронически, то с явным нетерпением, но, наконец, не выдержал и сказал:

— Прекрасно, прекрасно все это, mon oncle... Но желал бы я знать, с какого повода вы начали этот разговор?

— Да говорю тебе, что просто тàк; светская болтовня — и больше ничего. Теперь все умы Ландсбергом переполнены — ну, и я... Скажи, пожалуйста, он ни в каком комитете не участвовал? По части подания пособий неимущим и сиротам... по части улучшения нравственности... распространения здравых идей... спасения общества от крушения... ну, вообще, какие у вас там комитеты с дамочками заведены?

— Нет, я не встречал его.

— Ну, стало быть, не успел. А помешкай он немного с Власовым или обделай это дельце поаккуратнее... Впрочем, ты, пожалуй, опять подумаешь, что я какие-нибудь параллели провожу. Уверяю тебя, это светский разговор — и больше ничего.

Мы оба на минуту замолчали. К счастию, в эту минуту подали boeuf brasé[2], который был какой-то такой необыкновенный, что даже я, человек от природы неприхотливый, вознегодовал и забыл о «подтягиваниях». Но, к удивлению, Феденька, которого я считал изнеженным и гурмè[3] (я даже удивился, что встретился с ним... в Летнем саду!), не только не возмутился, но преисправно рубил ножом эту обугленную доску и проглатывал один за другим отрубленные куски.

— Действительно, я люблю тонко поесть,— объяснил он мне,— но ежели бы, по обстоятельствам, мне пришлось бы даже в греческой кухмистерской обедать — я и перед этим не отступлю. Все в свое время, mon oncle. Бывают моменты в истории, когда всего нужнее поспешность...

— Послушай! а ведь я, представь себе, думал, что поспешность потребна только блох ловить! — не удержался, прервал я.

---

[1] да, Ландсберг — это человек сегодняшнего дня!

[2] беф-брезе — тушеное мясо.

[3] Gourmet — лакомкой.

— Вы неисправимы, mon oncle. Но будем продолжать. Теперь мне совсем не до того, чтобы задумываться над menu[1]. Я так занят, что бегу в первый попавшийся кабачок и имею в виду одну цель: утолить голод. Коль скоро эта цель достигнута — я доволен. И я уверен, что обед в греческой кухмистерской нимало меня не скомпрометирует, что я и там сумею остаться самим собою. В этом вся сила, mon oncle. Нужно так держать себя, чтоб *всегда* быть вне подозрений, чтобы всякий, кто бы ни увидел меня — даже в «Афинах»,— сказал себе: ежели этот человек пошел обедать в «Афины», то это означает, что так нужно, а совсем не то, чтобы он хотел сэкономить двугривенный.

Это было высказано с такою твердостью, с таким почти реguловским геройством, что я не мог воздержаться, чтоб не воскликнуть:

— Феденька! я тебя уважаю!

— Enfin![2] Но, в таком случае, я могу вам сказать, что ежели вы откинете предвзятые мысли и взглянете на современность трезвыми глазами, то между нынешней молодежью — нашего общества, разумеется — встретите уж много людей вполне деловых и готовых на жертвы. Да ведь и пора за ум взяться — это ясно для всех.

— Ясно?

— Да, всем сделалось ясно, что мы не на розах покоимся. Еще год тому назад мы, может быть, продолжали бы малодушествовать и либеральничать, и разве наиболее мужественный из нас позволил бы себе вопрос: да куда же мы наконец идем? Нынче — все уже поняли и почувствовали. Не только либеральничать, но даже восклицать и делать вопросы представляется уже возмутительным. Не время жаловаться, надо прямо к делу идти: respice finem[3]. Надо разрешать предстоящую задачу без околичностей.

— Гм... проявлять гражданское мужество?

— Нет, и это не так. И мужества не надо. Мужество — это что-то искусственное, напускное; это скорее термин, нежели дело. Мужество есть проявление единичное, предполагающее царствующую кругом трусость. Не надо слов, не надо ни мужества, ни трусости; нужно самое простое, самое обыкновенное, без всяких героических вывертов, без всяких украшений поэзии, исполнение обязанностей — вот и все.

— Вроде того, например, как городовые исполняют: не могим знать, начальство приказывает?

---

[1] меню.
[2] Наконец-то!
[3] смотри в конец.

— Ну да, в этом роде... Я не брезглив, и ежели нужно, то отвечу прямо: отчего и не так?

— Гм... так вот ты как... браво!

— Я, mon oncle, не претендую жить в потомстве, окруженный поэтическим ореолом. Мои идеалы более полезны. Я не герой, а простой труженик современности. Коли хотите, и тут есть мужество, но я предпочитаю обходить это выражение, потому что нахожу его сбивающим с толку, опасным.

— Даже опасным?

— Да, и опасным. Потому что, повторяю, с представлением о мужестве всегда как-то соединяется представление об ореолах, а эти ореолы...

— Не согласуются с «не могим знать»? Да, пожалуй, что ты и прав. Человека, у которого в глазах мелькают «ореолы», никак нельзя назвать вполне надежным. Нет-нет да и свернет в сторону: а ну-тка, посмотрим, мол, что̀-то об этом предмете в «ореолах» написано? Мне и самому иногда это приходило в голову: поступать так поступать... чтоб без «ореолов»!

— Вы шутите, а я...

— Нимало, мой друг, не шучу, и даже, коли хочешь, приведу пример в подтверждение твоей же собственной мысли. В наше время мы видим, например, ужасно много изменников. Одни сделались таковыми по легкомыслию, другие — ради двугривенного, третьи, наконец, просто потому, что смалодушничали. И что ж! несмотря на то, что это факт обыденный, а иногда даже выгодный, всякий раз, как я гляжу на изменника, мне невольно приходит на мысль: вот субъект, который должен сознавать себя в положении человека, изгнанного из рая! Да, именно этого сорта чувство должны они испытывать, по крайней мере, на первое время. Разумеется, со временем они остервенятся, начнут и взаправду поступать независимо от «ореолов», но покуда... Вот, кажется, самый настоящий, самый достоверный «изменник», а смотришь, он нет-нет да и проврался. И воспоминания старые выплывают, и рай старинный представляется. Путает, да и все тут. Вот почему я и полагал бы: изменников принимать, но до интимности их не допускать. Припоминается мне по этому поводу следующий случай: когда я служил, то пришлось мне однажды, в разговоре с начальством по поводу одного кочующего по разным делам чиновника, выразиться: помилуйте, ваше превосходительство, ведь это свинья, а вы его по губерниям посылаете! — А вы разве свинины не едите? — спросил меня его превосходительство.— Ем-с...— Ну, и мы свиней употребляем, когда надобность предстоит...— Вот это, мне кажется, самая настоящая точка зрения на свиней: есть их можно, не нужно только, чтоб

эта пища сделалась господствующею или исключительною. Подобно сему, и изменники. Например, ежели кто в былое время английскими порядками восторгался и на этом фортуну себе составил, то, ежели бы он и стал таковые внезапно порицать, следует верить ему только в половину. И не по чувству недоверия к искренности его измены, а просто потому, что он не в силах сразу совсем изменить. Фразеология у него такая уж искони образовалась, что даже среди самых искренних ругательств на английские порядки непременно что-нибудь вынырнет сочувственное им. Либо словечко не то, какое нужно, человек молвит, либо не там, где следует, курсив пустит, либо кавычками некстати оттенит — вообще, хоть и неумышленно, но пакость сделает. Итак, повторяю: принимать изменников можно, но до интимности допускать их — нельзя. Пускай прежде остервенятся. Так ли, мой друг?

— Разумеется, ежели смягчить форму, в которой вы изложили ваше замечание — признаюсь, я этой формы не понимаю,— то в нем окажется известная доля правды.

— Ну, вот видишь. Я и всегда правду говорю, а обо мне, не знаю почему, говорят, что я преувеличиваю. Стало быть, решено: изменников держать в черном теле, покуда не сбесятся... браво!

— Дядя! помнится, мы начали говорить о мужестве, а вы свели разговор...

— На изменников? да ведь это-то самое и есть разговор о мужестве, потому что все изменники именно так и начинают: надо, дескать, когда-нибудь иметь мужество... Но мужества-то, как ты прекрасно выразился, и не надо. Мужество! ах, черт их возьми! они думают, что их сейчас за это мужество в передний угол посадят и начнут настоящим малороссийским салом кормить,— и вдруг сюрприз! Извольте-ка сначала на помоях посидеть, да об мужестве-то позабыть, да заслуг-то не выставлять, а просто без затей лбом в стену стучать, как по правилам о чистосердечных раскаяниях полагается,— а потом, дескать, увидим, как с вами поступать!

— С вами, mon oncle, решительно правильную беседу вести нельзя. Вы все какие-то картины рисуете.

— Одну минутку. Скажи откровенно: у тебя нет такой идеи, чтобы комиссию устроить для начертания правил на случай чистосердечных раскаяний?

— Покуда еще бог миловал.

— А по-моему, так это с твоей стороны упущение. И ежели ты хочешь, то я тебе в этом случае помогу. В следующий раз, как мы свидимся...

— Нет, уж от «правил» увольте.

— Чтò так? А еще сам, месяц тому назад, говорил, что от содействия литературы не прочь.

— От содействия, но не...

— Ну-ну, бог с тобой! не будем пестрить нашу беседу эпизодами и возвратимся к первоначальному ее предмету. А впрочем, позволь еще один, последний эпизод. Ты вот не любишь их, а в сущности, чтò же такое вся наша жизнь, как не эпизод? Сейчас мы здесь сидим, черт знает, чтó едим, «а завтра — где ты, человек?». Так-то, мой друг! все в сей юдоли плача — эпизод. Иногда веселый, иногда мрачный, как придется, а настоящего, на что бы можно сослаться, об чем бы можно было с уверенностью сказать: вот каков у меня сюжет! — этого нет. Я давно это понял, и потому очень естественно, что в мою беседу так легко прорываются эпизоды. Беседа моя есть зеркало души моей, а душа моя... Однако ж довольно, а то, пожалуй, ты и в самом деле рассердишься. Душа моя! что такое душа моя? и кому какое дело до души моей? «Не мòгим знать» — тут и душа, и совесть, и убеждение — все! Баста! довольно об этом... Итак, ты утверждаешь, что мужество следует побоку?

— Не «побоку», а... как вы странно, однако ж, выражаетесь, mon oncle! — окончательно рассердился Феденька.

— Ну-ну, будь же и ты снисходителен к слабостям старика. Сказывай, сказывай свою мысль!

— Да ничего особенного я не хотел сказать. Я утверждаю только, что в нашем прошлом, в те исторические минуты, которые мы привыкли считать серьезными, никому и на мысль не приходило это пресловутое мужество, без которого нынче ни один коллежский регистратор шагу ступить не может. Еще не далее, как тридцать лет тому назад, кто позволил бы себе назвать мужеством простое исполнение долга?

— Так, стало быть, по-твоему, нынешняя историческая эпоха — не серьезная?

Признаюсь откровенно: формулируя этот вопрос, я поступил не совсем добросовестно, но очень ловко. Как истинно русский либерал, я ухитрился подловить моего противника на вполне непререкаемой почве. Ты, мол, хотел доказать, что достиг геркулесовских столпов, а я взял да в одну минуту тебя превзошел! Ура! И действительно, Феденька сделал вид, что не слыхал моего вопроса. К счастью, в это время нам сервировали жареную птицу, но такую птицу, такую птицу! Даже Феденька несколько минут, как очарованный, смотрел на нее и только наконец очнулся.

— Это еще чтò за мерзость? — обратился он к половому.

— У нас, господин, мерзостей не подают, — возразил поло-

вой, которому, по-видимому, была дорога репутация заведения.— У нас не то чтобы что, а даже сам хозяин...

— Цыц! — прикрикнул на него Феденька, а затем, обращаясь ко мне, присовокупил: — Вы слышали этот ответ, mon oncle? Скажите, откуда он пришел?

— Да все оттуда же, голубчик.

— Опять... эпизоды?

— Нет, не «эпизоды», а оттуда же, откуда идет и твое «цыц».

Но он даже ответом меня не удостоил и, к удивлению, разгрыз птицыну кость и в одно мгновенье ока обглодал ее. Потом взглянул на часы и сказал:

— Еще с полчаса я могу пробыть с вами, а потом — за работу. Будемте курить.

Мы расплатились, прошли несколько шагов по аллее, сели на скамью и закурили сигары. Он сам предложил мне какую-то чудную сигару, обернутую в свинец.

— Рекомендую,— сказал он,— эту сигару мне вчера Иван Михайлович подарил.

— А он любитель?

— Еще бы! Однажды он с Фейком в Парголовском озере купался, и Фейк стал погибать. Разумеется, Иван Михайлович его спас, и вот с тех пор... Нет, вы понимаете, mon oncle? запах-то, запах каков!

— Ну, вот и ты «эпизод» рассказал. Прекрасный запах, лучше нельзя. Так возвратимся к нашему разговору. Ты, помнится, говорил, что необходимо «подтянуть»?

— Сказал, mon oncle.

— Прекрасно. Но иногда мне сдается, что, говоря о «подтягиваниях», не все и не всегда сознают значение этого выражения. Кого, например, предполагал бы ты подтянуть?

— О! вы сами отлично знаете, об ком идет речь!

— Нет, не знаю. Кажется мне, что ты имеешь в виду любезное отечество, но так ли это — утверждать опасаюсь.

— Почему же опасаетесь?

— Да потому что... ну, просто потому, что поверить этому трудно. Помилуй, мой друг! такое обширное государство, «от хладных финских скал до пламенной Колхиды» — и вдруг ты собрался его «подтянуть»! Неужели ты сам не чувствуешь, что это бессмыслица?

— Почему же, mon oncle? почему?

— Потому, прежде всего, что бог вожжей таких не создал. Пойми меня: можно пройти по стране с огнем и мечом, можно разорить ее, испепелить, иссушить... Это будет нелепо, жестоко, по-татарски, но ежели из сего должно произойти воз-

рождение — делать нèчего, пусть так. Но... «подтянуть»! Подтянуть, согнуть в бараний рог — право, тут даже идеи никакой нет! Это только уродливые образы, которых в натуре невозможно даже воспроизвести. Ну, представь себе Россию взнузданную или в виде бараньего рога... ведь нельзя себе это представить? не правда ли? нельзя?

— Да, но ведь вы понимаете, что я говорю au figuré [1].

— Понимаю. Но есть предметы, о которых au figuré просто непозволительно говорить. Бывают случаи, когда инословие становится поперек горла, когда от него гноем пахнет. Вспомни, голубчик! ведь Россия — твое отечество!

— И помню, mon oncle, и преклоняюсь. Но потому-то именно, что люблю Россию, и настаиваю на своем. Вы ловите меня на словах. «Подтянуть» — это действительно не совсем точное выражение — уступаю его вам. Но нельзя же, наконец, терпеть!

— Чего нельзя терпеть?

— Помилуйте! ужели мало примеров своеволья, неподчинения, дерзости? ужели то, что мы видим вокруг, может назваться другим именем, кроме анархии, безначалия?

— Я знаю, об чем ты говоришь, но, в то же время, искренно убежден, что ты уж чересчур охотно делаешь обобщения. Тебя поражают отдельные случаи, и ты до такой степени весь погружаешься в них, что повсюду, в самых невиннейших проявлениях человеческой подвижности, видишь нечто однородное, выходящее из одного и того же источника. Неужели ты не понимаешь, что ты не только несправедлив, но просто надуваешь самого себя, создавая напрасные обобщения и подавляя себя бременем непосильной работы?

— Нет, это не напрасные обобщения! Это действительность, наша современная горькая действительность. И ежели даже подобные случаи кажутся вам не стоящими внимания, то...

— Остановись, мой друг. Зная твое усердие, я боюсь, что ты сделаешь новую несправедливость и обвинишь меня в измене. Измены с моей стороны нет. Я просто говорю, что ты чересчур охотно обобщаешь и вследствие этого распространяешь единичные случаи чуть не на всю страну; а ты извращаешь мои слова и с помощью этой фальсификации инсинуируешь, что чуть ли я не слагаю хвалы...

— Ах, mon oncle, неужели вы могли подумать!

— Ничего я не думаю, кроме одного: что эта манера очень неприятная. Говорю тебе это откровенно, потому что ты все-

---

[1] иносказательно.

таки... Неугодов! Ведь ты — Неугодов? так? ты понимаешь, как это будет дурно, если кто-нибудь скажет: а знаете ли, что Неугодов...

— Mon oncle!

— То-то, надо быть осмотрительным, голубчик! Блюсти — блюди! но не до бесчувствия — нет! Избегай дурных или неопрятных слов, ибо они могут привести к скандалу и в самом лучшем случае произвести изумление.

— Но, право, я не понимаю, чтò же вы видите в моих словах дурного?

— Дурно, во-первых, то, что ты не сознаешься, что дурно выразился. Во-вторых, хоть ты и уверяешь, что выразился au figuré, но, как я уже сказал тебе, бывают предметы, относительно которых figuré не допускается. А в-третьих, тоже повторяю: невыносимо, несправедливо и даже совсем безумно так легко и бесцеремонно обобщать. Скажи, есть ли в этом смысл: ты берешь два-три факта, положим, десять, сотню, и мстишь за них — кому? — России!

— Я... мщу! никогда, mon oncle, никогда!

— То есть, конечно, не в настоящем времени: теперь у тебя еще руки коротки! но ты намечиваешься, ты создаешь себе идеалы. Ты уж серьезно подумываешь: вот, погоди! ужó, как я подрасту, я покажу, где раки зимуют! На что похоже!

— Дядя! я, конечно, неправильно употребил выражение «подтягивать», но ведь и вы... Вы прямо приписываете мне то, чего у меня и в мыслях никогда не бывало. Я просто говорю: надо принять решительные меры.

— И принимай. Смакуй эту мысль, и ежели имеешь возможность, то разглагольствуй на эту тему, предлагай, докладывай. Но оставь в покое Россию. Чтò тебе она сделала, за чтò ты ее в звериный образ пожаловал? за чтò ты с таким злорадством выискиваешь местечко, куда бы ее почувствительнее кольнуть?

— Совсем я не ищу этого; напротив, искренно желаю спасти, оберечь...

— Исцелись лучше сам, а не спасай то, что в спасениях твоих не нуждается. Сам же ты на каждом шагу утверждаешь, что эти «превратные толкования», которые так тебя беспокоят, не имеют корня в массах, что массы им не сочувствуют и что это еще больше выдает их головой, так зачем же ты, пользуясь сим случаем, массы-то эти собираешься «подтянуть»?

— Ничего я относительно масс не имею. Массы у нас добрые — я знаю это.

— Знаешь, а в то же время изнемогаешь под бременем

фантастических мероприятий. И именно общих мероприятий, захватывающих возможно обширнейшую область. Разве я не читаю на твоем лице: непременно надобно, чтоб каждый знал, что Кузьку Кузькой зовут!.. за что?

— И это — только предположение с вашей стороны, и ничего больше. Ни об каком «Кузьке» я никогда не думаю — даже этого термина совсем не знаю,— а думаю и утверждаю, что решительные меры все-таки необходимо принять.

— Но в этом-то и опасность, что ты утверждаешь, нимало не подозревая, что твои решительные меры совсем не туда попадут, куда ты метишь или предполагаешь метить, а все мимо и мимо. Но и не нà пусто попадут — нет, а произведут беспокойство и тревогу именно в той самой среде, которую ты собрался спасти. Впрочем, в строгом смысле, я не могу даже поставить тебе это в вину, потому что ты мыслишь вполне согласно с традициями. Мы, русские, всегда оказывались бессильными, когда нужно было указать на действительно больное место. Но зато никто свободнее нас не плавал в океане так называемых общих мероприятий. Оно и легко и лестно. Во-первых, плыви, куда хочешь —нигде пути не заказаны; во-вторых, бей направо, бей налево — авось и подвернется виноватый, а в-третьих, как же не лестно: мозгов не утруждаешь, а между тем воочию видишь, как в сердцах водворяется спасительный страх.

— Ну, лестного-то немного, положим.

— Нет, лестно, даже очень лестно. Помилуй! ты гарцуешь, а Кузьки —без шапок в спасительном страхе обретаются... какой картины еще лучше желать!

— Ах, дядя, дядя! что ж делать, коли других средств нет!

— Оттого и средств нет, что мы искони думаем, кàк бы полегче да попроще преуспеть. А ты коли хочешь новую эру в сфере мероприятий наметить, то рассуждай так: я желаю достигнуть того-то и того-то (так и начинай с подробного определения твоих желаний, а не с того, что у меня, дескать, руки чешутся), следовательно, обязываюсь в этом смысле потрудиться, а не бежать куда глаза глядят.

— Зачем же дело стало! потрудитесь вы, mon oncle!

Замечание это было не лишено язвительности и застало меня несколько врасплох. Но, разумеется, в конце концов я таки нашелся.

— Ты опять к инсинуациям прибегаешь, любезный друг,— сказал я,— сейчас только я объяснил тебе, как это неприлично в частной беседе, а ты уж и позабыл. Нехорошо это, даже коварно. Я к тебе обращаю мою речь, к тебе, к человеку, до краев переполненному проектов об упрочении твоей карьеры,

тебе говорю: погрудись! — а ты предательски перевертываешь мою речь и говоришь: потрудись сам! И говоришь, зная, что моя песня спета, что мне и жить-то противно, что я ни о чем так охотно не думаю, как о том, чтоб уйти, стушеваться, исчезнуть... Ах, молодой человек, молодой человек! из молодых, да ранний!

— Да ведь я, дядя, по-родственному. Вижу, что вы критикуете,— вот я и заключил: может быть, mon oncle и потрудиться не прочь?

— Я ничего не критикую, а лично тебе говорю: стыдись! Извини, любезный друг, я тоже по-родственному!

Феденька ни слова не ответил на мою резкость (по-видимому, он даже не обиделся ею), а только с беспечным видом помахал в воздухе тросточкой и потихоньку, сквозь зубы, пропел:

A Provin
    Trou-la-la-la...
On récolte des roses
Et du jasmin
    Trou-la-la-la...
Et beacoup d'autres choses [1].

— Понимаю,— сказал я,— ты хочешь дать мне понять, что мои иеремиады так же стары, как эта песенка. Что нынче в Демидроне уж совсем другие песни поют... Но уверяю тебя, что критики мои вовсе не так устарели, как это кажется.

Но Феденька и на этот раз, вместо ответа, пропел:

Et j'frotte, et j'frotte et allez donc!
Il vient trop de monde dans la maison! [2]

— И эту песенку я знаю,— сказал я,— и знаю целое поколение таких, как ты, которое воспитывалось на подобных песенках. Когда одни гривуазные песни на уме, тогда, конечно, кажется, что на свете все распутывается легко.

— Послушайте, mon oncle! ужели вся эта материя стòит того, чтоб из-за нее огорчаться и говорить обидные слова!

— Разумеется, стòит. Ведь ты карьерист, пойми меня, Христа ради! Если б ты не был уверен в успехе, я бы не тратился на словà. Но ты уверен в себе и в то же время совершенно серьезно лелеешь подтягивательные идеалы, забывая, что они гораздо старее даже тех песенок, которые ты сейчас пропел. Надо же поколебать в тебе это убеждение! надо же высказать

---

[1] В Провене, тру-ля-ля... собирают розы и жасмин тру-ля-ля... и много кое-чего другого.

[2] И я тру, и я тру! и подите вы! Слишком много народу ходит в этот дом!

тебе, что подобные идеалы ни процветания, ни преуспеяния никогда не производили. Надо, чтоб ты понял, что на свете существуют не две только разновидности: человек-начальник и человек-бунтовщик, но есть еще средний человек, трудящийся и скромный, человек, который предпочитает спокойствие беспокойству, свободу стеснению, потому что видит в спокойствии и свободе единственную ограду своей личности и своего труда. Вот этого-то среднего человека и не следует тревожить.

— Даже если он принадлежит к числу сочувствователей?

— Умоляю тебя, не говори неопрятных слов! «Сочувствователь» — это одна из самых пакостных кличек, каких множество сочинено в последнее время и начертано на стенах ретирадных мест. Она придумана с тем, чтобы клеймить людей, не совсем утративших чувство человечности, и это придает ей еще более отвратительный смысл. К счастью для человечества, на свете больше добрых людей, нежели злых, больше чистых сердцем, нежели змееподобных ретирадников. Но ка̀к ты думаешь, однако ж, весело ли этим людям видеть, как на них перстами указывают?

— C'est la fatalité, mon oncle[1], вот все, что могу вам на это сказать.

— Подумай, однако ж! какое может быть преуспеянье, когда ты об том только мечтаешь, как бы хорошенько испугать? какая может быть производительность, когда «средний человек» (он же и, несомненно, производительный) будет ежемгновенно видеть перед собою тебя, мелькающего, сверкающего, помахивающего, потрясающего...

— И оглашающего стогны непечатными словами... я знаю это, mon oncle! знаю наизусть, но и за всем тем остаюсь при своих убеждениях...

— Выражающихся в одном слове «подтянуть» — помилуй! разве это убеждение?

— Ну, там как хотите, а я знаю, что у меня есть убеждения, и знаю, в чем они состоят. И поверьте, не ошибусь.

— Эй, Федя, не ошибись! Не вечно ведь будут проповедовать, что крестьянская реформа есть источник всех зол, что суд присяжных — злонамеренная комедия, что свободная печать — вертеп мошенников пера, что человечность равна сочувствию... Нынче это, конечно, в моде, но завтра, быть может, и выйдет из моды.

— А ежели ошибусь, так и отвечу. Нынче мы все так настроены. Согласитесь, что иначе не было бы конца ерунде.

---

[1] Судьба, дядюшка.

А ерунда всего опаснее, и надо во что бы то ни стало выбраться из нее. Согласны?

— Согласен, что в ерунде мало хорошего, но знаешь ли, по совести говоря, у меня сердце все-таки больше лежит к ерунде, нежели к неуклонному шествию.

— У всякого свой вкус. Однако ж я с вами заболтался, mon oncle. Семь часов, пора и за работу. До свидания; надеюсь, что вы на меня не в претензии?

— Помилуй, дружок, за что? Вот ты на меня... ах, да скажи же, пожалуйста, кàк maman? давно ты не получал от нее писем?

— Вчера получил. Пишет, что здорова и собирается сюда.

— Вот как!

— Да; но признаюсь, я все еще сомневаюсь. Боюсь, как бы она, вместо Петербурга, не очутилась в стране зулусов, в качестве сестры милосердия при принце Наполеоне[1]. Во всяком случае, ежели она приедет — мы ваши гости, mon oncle. A bientôt et sans rancune[2].

С этими словами он пожал мне руку и побрел вдоль по аллее к выходу.

ПЕРВОЕ ИЮЛЯ

Почти весь июнь я посвятил семейным радостям.

Это было утром; часов около двух раздался звонок.

Выхожу; вижу, в гостиной расположилась дамочка. Маленькая, но уже слегка отяжелевшая, рыхлая; с мягкими, начинающими расплываться чертами лица, с смеющимися глазками, с пышно взбитым белокурым ореолом вокруг головки. Но сколько было намотано на ней всяких дорогих ветошек — это ни в сказке сказать, ни пером описать. Вероятно, она не меньше трех часов сряду охорашивалась перед целым сочетанием зеркал, прежде нежели явиться во всеоружии. При моем появлении дамочка устремилась ко мне, но, видя, что я ее не узнаю, остановилась в горестном недоумении.

— Cousin![3] стало быть, я очень подурнела, если ты меня не узнаешь! — вылетело горестное восклицание из ее крепко схваченной корсетом груди.

И в один миг две крошечные слезки затуманили крошечные глазки.

---

[1] Тогда принц Наполеон был еще жив и воевал. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

[2] До свидания и не поминайте лихом.

[3] Братец.

Да, это была Nathalie. Все та же маленькая, с тем же вопрошающим и как бы изумленным личиком, с теми же порывистыми, почти необъяснимыми телодвижениями. Та же, да не та. Что же, однако, случилось с нею? Точно кто-нибудь, проходя мимо этой еще не так давно тому назад свеженарисованной картинки, неосторожно задел рукавом и слегка затушевал мягкие очертания.

— Nathalie! голубушка моя! Ну, разумеется... разумеется, это ты! — воскликнул я в умилении,— но ка̀к ты могла подумать, что подурнела! Подурнела... ты!

Две новые слезки блеснули в крошечных глазках, но это были уж слезки радости.

— Не только не подурнела,— продолжал я,— но даже удивительно как похорошела! Пополнела, выражение какое-то приобрела... Ах, милая, милая! наконец!

Она жадно вслушивалась в мои похвалы и, вся переполненная счастием, крепко сжимала мою руку.

— А помнишь, cousin, как мы однажды заблудились в саду, в куртине? Какой ты был тогда... дурной! — вдруг совсем неожиданно вспомнила она и — о, неисповедимые глубины женского сердца! — кажется, даже застыдилась.

Это произошло ровно тридцать два года тому назад. Ей было с небольшим пятнадцать лет (почти невеста), мне — двадцать три года. В то время я был ужаснейший сорвиголова — просто, как говорится, ничего святого. Увижу хорошенькую дамочку или девочку и сейчас же чувствую, как все внутри у меня поет: rien n'est sacré pour un sapeurrrrre![1] Я помню, я гостил у tante Babette[2] (так звали Наташину maman, тоже куколку); однажды, гуляя с Наташей по дорожкам сада, мы бегали, перегоняли друг друга и, бегая и перегоняясь, все забирали влево да влево. И вдруг очутились бог знает где, в совсем диком месте, среди четырех кустов.

— Где мы? — спросила Наташа взволнованная.

Я помню: я обнял ее, поцеловал, погладил по головке и... вывел на правый путь!! Однако весь остальной день после этого Наташа ходила несколько томная и удивительно-удивительно нежная...

Я думал, что она давно об этом забыла, как забыл и я сам, а оказывается, что она помнила, всегда помнила. И не только помнила, но хранила секрет, не говорила ни maman, ни мужу, штабс-ротмистру Неугодову. О благодарное женское сердце! Только ты можешь с таким благоговейным упор-

---

[1] для сапера нет ничего святого!
[2] тети Вари.

ством хранить память о заблуждении среди четырех кустов!

И теперь, как тогда, я обнял ее, поцеловал и погладил по головке — все как тогда. И, обнимая, чувствовал, как на моей груди чуть слышно поскрипывает ее корсет...

— Милая, милая! — повторил я в восхищении,— о, если бы!..

Я хотел сказать: о, если бы мне не было пятидесяти пяти лет! но вспомнил, что ежели из пятидесяти пяти вычесть восемь, то это все-таки составит ровно сорок семь лет, возраст очень и очень не маленький,— и замолчал.

— У кого ты заказываешь корсеты?— спросил я ее.

— У Lavertujon, Paris, rue... numéro... [1] — заспешила она,— а что?

— Изумительный!

— Ах, ты не можешь себе представить, какие это корсеты! Я совсем, совсем не чувствую, есть ли на мне корсет или нет!

— Изумительно! Но все-таки скажу: охота вам, таким «душкам», кирасирские доспехи на себя надевать!

— А ты все такой же дурной, как тогда... помнишь?

Она опять застыдилась и погрозила мне пальчиком. Я не выдержал, поймал этот пальчик и поцеловал... Душка-пальчик! плутишка-пальчик!

Я вспомнил окончательно... все как было. Вспомнил и смотрел на нее с восхищением. Да, это она, это моя «куколка», несмотря на то, что пополнела и налилась больше чем нужно, чтобы быть à point[2]. Она никогда и не переставала быть куколкой, а только постепенно зрела и, наконец, совсем поспела, сделалась куколкой, вполне сформировавшеюся, способной переносить вояжи и даже некоторые — конечно, небольшие — огорчения. В последний раз, как мы виделись, в ней все еще замечались признаки чего-то несовершенного, сделанного на живую нитку. Но теперь ничего подобного уже не было: нитки от времени заплыли, все уставилось на своем месте, улеглось. Вышла куколка на диво, с ответом без починки на сколько угодно лет.

И что всего приятнее, у этих куколок всегда все принадлежности в уменьшительном. Нет ни руки, ни ноги, ни носа, ни рта, а ручка, ножка, носик, ротик. Это делает речь чрезвычайно учтивою. И притом: ручка-душка, ножка-плутишка, носик-цыпка, ротик-розанчик. А грудка — так это даже сказать нельзя, что̀ это такое! Точь-в-точь малюсенькое гнездышко, в котором сидят два беленьких голубо̀чка и тихонько под корсетом трепещутся! Ах!

---

[1] У Лавертюжон, Париж, улица... №...

[2] как раз в меру.

— А помнишь, Наташа,— воскликнул я,— как, бывало, твой Simon[1] возьмет тебя в охапку и унесет неведомо куда... знаешь ли, ведь это было отчасти даже скандально!

— Ах, не вспоминай... я так была тогда счастлива!

И опять две слезки.

— А ты как? — спохватилась она,— все такой же... дурной?

Очевидно, что лексикон ее был не разнообразен. Но и это опять-таки мило. Она знает, что она куколка и что les messieurs[2] любят куколок совсем не за лексикон. Они любят потому, что они... дурные. Это слово запало в ее голову, и она повторяет его, как повторяла и ее куколка-maman. Они дурные, но, вместе с тем, они и милые, хотя об этом не принято говорить, а можно только по секрету думать. И maman ее по секрету так думала, и в доказательство, что les messieurs бывают и милые, большая куколка произвела на свет маленькую куколку. Дурные и милые — весь круг ее мыслей тут, а в то же время и весь лексикон. Ужели это не трогательно?

— Ну, что̀ обо мне говорить! — ответил я,— нет, ты лучше вот что скажи: где ты это платьице шила?

— У Worth... я всегда у него, весь туалет делаю. Ах, он такой милый! Et gentleman — jusqu'au bout des ongles![3] Когда он снимает мерку, я всегда хохочу. А тебе нравится это платье?

Она инстинктивно встала, подошла к зеркалу, посмотрелась спереди, отошла, потом повернулась, опять отошла, оглянулась и поправила сзади складочку.

— Не правда ли, хорошо?

— Восхитительно!

— И что ужасно приятно: я почти совсем не чувствую, что я одета. А впрочем, это достается не легко, потому что он (Worth) ужасно как строг! Когда он снимает мерку или примеривает — это целый урок... Он командует, à la lettre[4] командует. Представь себе, не позволяет дышать: tâchez de ne plus respirer... parfaitement! oui, c'est ça![5] Приказывает принимать всевозможные позы: mélancolique, suppliante, impérieuse...[6] заставляет поднимать руки... И это... иногда без рукавов!

— Ах!

— Да, и мне ужасно было в первый раз страшно. Но потом привыкла — и ничего!

— Ну, а перчатки где берешь?

---

[1] Семен.
[2] мужчины.
[3] У Ворта... И джентльмен — до кончика ногтей!
[4] буквально.
[5] старайтесь не дышать... прекрасно! вот так!
[6] меланхолическую, умоляющую, повелительную.

— Перчатки — у Boivin[1], шляпки — у Coralie[2]. Ну, посмотри: разве можно сказать, что это — шляпка?

Она опять подошла к зеркалу и повернулась перед ним.

— Какая это шляпка! Это — воздушное безѐ! Это «шпанские ветры»... помнишь, у вас был повар Кузьма — как он отлично «шпанские ветры» приготовлял!

— Ах, Симон так любил это пирожное!

— И это пирожное, и тебя...

— Нет, он любил еще Милэди! помнишь, у нас рыженькая лошадка была, еще я верхом на ней всегда ездила? Еще однажды я так неловко свалилась?

— Помню, помню! Стало быть, три вещи Симон любил: «шпанские ветры», кобылку и тебя. Все вместе это составляет ваши семейные les pieux souvenirs[3]. Но ножки твои, Наташа? Я непременно хочу твою ножку видеть!

Она слегка сжалась, молвила: ах, ты все такой же... дурной! но ножку все-таки показала... Ах, это была ножка!!

— Прелесть! — воскликнул я от глубины души,— и как обута — восхищенье!

— Да, но это уж не в Париже,— заметила она очень серьезно,— туфли и ботинки мне Теодо̀р отсюда присылал от Auclair[4].

— Вот как! Что ж, впрочем, это и резонно. Я и сам: вино от Рауля беру, но балыки... о, балыки непременно надо в Москве на монетном дворе покупать... янтарь!

Упоминание о балыке, по-видимому, подействовало на нее возбудительно, потому что она инстинктивно потерла ручкой корсет в том месте, где даже у куколок предполагается желудочек. Куколка куколкой, а покушать тоже хочется.

— Покушать захотелось? — спросил я,— пожалуйста, не церемонься! приказывай!

— Да... крылышко... если можно! — прошептала она стыдливо.

— Зачем крылышко? котлеточку? бифштекцу?

Я поспешно распорядился, и через полчаса мы уже сидели за столом.

— Наташа! как тебе угодно, а я сяду поближе, рядышком. Помнишь, как в тот день? Утром мы заблудились, а за обедом, как ни в чем не бывало, сидели рядышком.

— И ты... ах, какой ты тогда был!

— Сорвиголова? Гм .. я и теперь... А впрочем, нет — что̀ уж

[1] Буавэн.
[2] Корали.
[3] благоговейные воспоминания.
[4] Оклэр.

теперь! Самая малость во мне теперь осталась, да и то больше вроде как напоминание...

— Ах, бедненький!

— Да, но тогда... тогда я действительно... Больших усилий мне стоило, чтоб вывести тебя... на правый путь! Ах, какие это были минуты!

Наташа глубоко-глубоко вздохнула, потом вдруг приподнялась и поцеловала меня в лоб.

— Это тебе за то, что ты помнишь... дурной!

— Не только это помню, но даже и еще многое вспомнил. Помнишь, в тот день у вас за обедом подавали суп-рассольник из цыплят, а maman положила тебе в тарелку пупочек?

— Ах, я обожала пупо̀чки!

— Да, ты любила их, но, несмотря на это, зная, что я тоже люблю пупо̀чки, и повинуясь влечению сердца, ты взяла и переложила пупочек в мою тарелку... я никогда, никогда этого не забуду!

— Но знаешь ли ты, что maman заметила это и после обеда ужасно меня забранила?

— Ужели? и ты скрыла от меня это!

— Зачем говорить! Я знала, что это тебя огорчит.

— Из-за меня пострадала! Нет, воля твоя, а я не могу. Я еще раз поцелую тебя за это!

И поцеловал.

Таким образом пролетело полчаса; но к концу этого срока les pieux souvenirs начали истощаться. Истощались, истощались и вдруг совсем иссякли. Был даже такой страшный момент, когда мне показалось, что я зевнул. К счастию, Наташа не заметила моей невежливости, потому что она в это время отвернулась... тоже чтобы зевнуть. Но вдруг она оживилась.

— А ведь я об чем-то сбиралась тебя попросить... ах, какая я глупенькая! об главном-то чуть-чуть не позабыла! Ты Филофея Иваныча помнишь?.. ах, ну да того самого Филофея Иваныча, который при Теодоре был воспитателем?

— Длинный такой?

— Совсем он уж не такой длинный... ты всегда, cousin, преувеличиваешь! Конечно, у него рост...

— Ну, словом сказать, того, с которым покойный Simon однажды распорядился...

— И это ты преувеличиваешь: совсем это не так было. Конечно, Филофей Иваныч был тогда дурной, а я ничего не понимала и пожаловалась... Впрочем, Simon был всегда к нему несправедлив... Ah! les hommes sont si méchants! [1]

---

[1] Мужчины такие злые!

Она остановилась, и на этот раз уж не две, а ровно четыре слезинки выкатились из ее глазок.

— Ну, не огорчайся, душа моя, ведь я пошутил! — постарался я утешить ее,— говори же, что̀ нужно тебе для Филофея Иваныча?

— Ты знаешь, как много наше семейство ему обязано. Даже Simon — и тот отдавал ему справедливость. Так что ежели Теодор имеет христианские правила, то это именно только благодаря ему.

— Ну-с, так чем же я могу быть ему полезным?

— Нельзя ли, голубчик, как-нибудь устроить его при вашей литературе?

— Ка̀к это — при литературе?

— Ну, да, место какое-нибудь... ты это можешь, cousin! он говорил мне, что ты все, все можешь!

— Разве он пишет?

— Ах, он ужасно пишет! он целый день, целый день пишет! и даже один сам с собою декламирует! Некоторое он и мне читал... право, нисколько не хуже «Бедной Лизы»... Голубчик! прочти!

При этой просьбе les pieux souvenirs окончательно исчезли. Мне вдруг показалось, что я очутился в каком-то темном складе, где грудами навалены куколки, куколки, куколки без конца. Отличные куколки, лучшие в своем роде. Одеты — прелесть; ручки, ножки, личики, грудки — восторг; даже звуки какие-то издают, делают некоторые несложные движения головкой, глазками. Словом сказать, любую из них посадил бы в гостиную и любовался бы, как она глазки заводит. И вдруг одна из куколок встает и говорит: покажите, пожалуйста, ка̀к мне пройти в литературу! это я не для себя прошу... фи! а для Филофея Иваныча! И при этом начинает лепетать: «Бедная Лиза», «Марьина Роща», «Сарепта», «Вадим»... Куколка, куколка! да ведь ты картонная! ка̀к это язычок твой выговорил: ли-те-ра-ту-ра? — Ах, это не я, это Филофей Иваныч... Как тут быть? Начать объяснять, что литература есть нечто серьезное и совсем не кукольное — не поверит; доказывать, что «Бедная Лиза» давно уж не представляет достаточного мерила для сравнения — не поймет...

Но тем-то именно и сильны куколки, что они ничего не понимают. И ежели, при этой силе непонимания, найдется мудрец, который овладеет ею и добьется, что куколка что-нибудь затвердит, то она, в пользу этого затверженного, способна будет на всякие доступные куколке подвиги. Будет с утра до вечера повторять одно и то же слово, будет сердиться, ронять слезки, жаловаться на судьбу. И непременно в конце концов

чего-нибудь добьется: если не прямо несообразность какую-нибудь вынудит сделать, то заставит наобещать с три короба, налгать.

— Послушай, Наташа, неужели ты не знаешь, что литература — это своего рода республика, в которой таких мест, куда бы можно было «пристроить», не полагается? — спросил я, вместо ответа.

Я нарочно употребил такой оборот речи, чтоб она не сразу могла понять. Я думал: надо ее поразить чем-нибудь помудренее, заставить ее сначала прислушаться, постараться заучить. Она заучит, перескажет Филофею и, разумеется, переврет. Выйдет сначала одно недоразумение, потом еще недоразумение, потом десятки, сотни недоразумений — смотришь, ан время-то и прошло. Однако ж она даже и этой перспективы меня лишила.

— Значит, вакансий в эту минуту нет? — воскликнула она с неподдельной горестью.

— Не только в эту минуту... ах, пойми меня, ради Христа! ни в эту, ни в другую минуту, никогда вакансий не полагается! От природы их нет.

— Ах, ты меня обманываешь!

— Да нет же! если мне не веришь, кого хочешь спроси. Ну, Теодора.

— Теодор, напротив, говорит, что у вас беспрестанно места открываются. Да это так и должно быть, потому что как же иначе, без подчиненных, вы книжки бы издавали!

— Да очень просто; напишет кто-нибудь с воли хорошую вещь, ее и печатают!

— Ах, так ведь у него — много! Он целый большой сундук с собою привез!

— Ну, вот ты ему и скажи: пускай принесет. Конечно, не сразу весь сундук, а понемножку.

— И ты сейчас ему жалованье положишь?

Мне вдруг надоело. Мне даже показалось, что совсем это не куколка, а просто замоскворецкая тетеха, которая дремлет и во сне веревки вьет.

— Ну да! назначу! назначу! — крикнул я, чтоб как-нибудь покончить.

Однако ж мой тон огорчил ее.

— Вот ты и рассердился! — пролепетала она сквозь слезки,— сейчас был милый, а теперь... дурной! А я все-таки тебе благодарна. Хоть рассердился, а доброе дело сделал. И я доброе дело сделала... хоть и рассердила тебя.

С этими словами она встала и начала прощаться.

— Ну, до свидания, мой родной. Благодарю, что побало-

вал. За все, за все благодарю вообще... И за себя, и за Теодора, и за Филофея Иваныча.

— Что ж ты заспешила! скажи, по крайней мере, что предполагаешь делать летом! ведь Монрепо̀-то уже нет?

— Да, уж нет! И как мне было грустно, если бы ты знал, когда Теодор написал, что наше милое Монрепо̀ продано... Ведь там мой добрый, милый Simon...

Опять les pieux souvenirs. И слезки, счетом две.

— Теперь теснимся как-нибудь у Теодора, а там... Скучно у вас, cousin! Нет, что ни делайте, а все-таки не Париж! Нет, ты представь себе: Париж, да если при этом Henri Cinq[1] — ведь это что-то волшебное!

— Ну, этого-то, пожалуй, не дождешься!

— Нет, это непременно будет. Вообрази себе, какой однажды со мной случай был. Стою я в la Chapelle[2] и молюсь. И вдруг — сама не знаю как — запела Vive Henri Quatre! vive ce roi vertgalant![3] И с тех пор я верю, что французы когда-нибудь одумаются и обратятся к Henri Cinq.

— А покуда тебя за пенье, конечно, au violon?[4]

— Нет, там на это сквозь пальцы смотрят. Не знают, что будет впереди, ну, и пропускают. А не правда ли, какая прелестная песенка? Впрочем, и Marseillaise... quel chant grandiose![5]

— Ты, конечно, и Марсельезу пела!

— Я, cousin, все пела. Однажды я даже Паризьену пела в честь герцога Омальского.

— Прекрасно; так и надо. Любезность — прежде всего. Впрочем, что ж мы о пустяках болтаем; скажи-ка лучше, довольна ли ты Теодором?

— Я — счастливейшая из матерей. Теодор — сокровище! Представь себе, отдал мне свою комнату, а сам с Филофеем Иванычем расположился на биваках в кабинете. Но знаешь ли что? мне кажется, он чересчур уж усерден. Все докладывает. Беспрестанно, с утра до глубокой ночи, все докладывает. Утром, часов в десять, придет ко мне, пока я еще в постеле, я его благословлю — и исчезнет на целый день.

— Зато и превознесен будет.

— Да, он пойдет; кажется, это одно его и поддерживает. Филофей Иваныч так об нем выразился: хотя ныне для Фе-

---

[1] Генрих Пятый.

[2] в церкви Сент-Шапель.

[3] Да здравствует Генрих Четвертый! Да здравствует король, поклонник женщин!

[4] в кутузку.

[5] Марсельеза... какая величественная песнь!

дора Семеныча и не без труда, но зато сколь сладко будет впоследствии держать в своих руках судьбы возлюбленного отечества! Вот как Филофей Иваныч говорит! и точно так пишет.

— Прекрасно.

— Очень рада, что тебе понравилось, потому что от тебя теперь все зависит. А как он читает! Особливо описания какие-нибудь: ветер, бурю — все так и слышишь! Ах, только бы ты ему жалованье поскорее назначил!

— Постараюсь, мой друг. Да что ты все об Филофее Иваныче! тебе-то у нас скучно — вот что меня беспокоит!

— Нет, я не скучаю. От тебя к Auclair поеду, от Auclair к Andrieux, потом еще куда-нибудь. А вечером Теодор обещал нас в Зоологический сад свозить, ежели успеет отделаться.

— А вчера что делали?

— Вчера отдыхали. Утром я все спала, а вечером купили карт и с Филофеем Иванычем в вист с двумя болванами играли. Только считать ужасно трудно.

— Еще бы! Но ты не церемонься! ежели скучно, то приезжай ко мне, а не то так и просто пришли за мной. Я и в Демидов сад, и в Ливадию, и на Крестовский... Только вот Филофей Иваныч... неужто и он будет участником наших экскурсий? ну, зачем он нам?

— Cousin! ты ужасно, ужасно, ужасно... дурной!

— То есть милый, хотела ты сказать?

— И дурной и милый... помнишь, тогда? А как меня maman забранила! Я целых три дня думала, что я... погибшая! Ну, так до свиданья; спешу к Auclair! непременно, непременно за тобой пришлю! милый!

Она три раза поцеловала меня и вдруг — не могу даже представить себе, что̀ ей вообразилось — перекрестила меня и сказала: вот так! Потом вприпрыжку побежала по направлению к передней и, не добежав, опять остановилась.

— Ах да! и забыла... cousin, не можешь ли ты...

Сердце у меня так и похолодело: сейчас, думаю, денег попросит. Однако на этот раз обошлось благополучно. Как истинная куколка, она постояла немного и, не досказавши начатого, продолжала:

— Нет, впрочем, это когда-нибудь после. Так до свидания, голубчик!

И через минуту она уже действительно спускалась по лестнице.

Целых две недели после этого я провел в чаду безумных удовольствий. По нескольку раз перебывал и в Демидроне, и

в Ливадии, и на Крестовском, и даже в Баварии. Но Феденьку не видал ни разу. По-видимому, он был очень доволен, что свалил на меня обузу развлекать и увеселять Наташу и своего бывшего воспитателя, и являлся домой только ночевать. Но мне эти удовольствия стоили массу денег, издерживать которые я, по-родственному, обязывался без ропота.

В это же время я должен был возиться и с Филофеем Дроздовым и выслушивать кроткие напоминания Наташи относительно скорейшего приискания ему места в литературе. Очень скоро весь чемодан произведений Филофея Иваныча очутился у меня на квартире. Тут были: и «Мысли у подножия памятника Минину и Пожарскому», и «Ночь с милой в лесу», роман в двух главах, и «Не стая воронов слеталась, или Ай да нигилисты!» — водевиль в двух действиях. Разумеется, ничего этого я не читал и не намерен был читать, но Дроздов все таскал, все таскал и, наконец, совсем обратил мою квартиру в свиной хлев.

Одним словом, никогда я так несносно, глупо-хлопотливо не проводил времени.

И вот однажды вечером, когда мы втроем наслаждались в Демидроне, Nathalie отвела меня в сторону и сделала странное признание.

— Cousin,— сказала она,— у меня есть секрет, который я должна тебе сообщить.

— Ах, голубушка ты моя! куколка, да еще с секретом — ведь это прелесть!

— Нет, не шути этим! это секрет... ах, это очень, очень важный секрет!

— В чем же дело? скажи! не мучь!

— Я хочу...

Она остановилась и крепко сжала мою руку, на которую опиралась, словно требуя, чтобы я, сильный человек, защитил ее, слабенькую куколку, против нее самой.

— ...выйти замуж,— прошептала она наконец, потупляя глазки.

Я думал, что я сплю. Не знаю почему, но среди целой массы предположений о путях, коими провидение ведет куколок, именно одно это никогда не приходило мне в голову.

— За кого? — спросил я, однако ж.

Она вздрогнула и показала глазами на Дроздова, который в эту самую минуту всем своим рылом так и впился в девицу Филиппò.

— Феденька знает об этом?

— Нет, покуда... Впрочем, я и не спешу ему объявить. Знаешь ли, мне кажется, что он будет против этого брака.

— И мне тоже кажется.

— Но ведь я — мать! Я знаю, что дети должны почитать своих родителей. Наконец я не обязана сыну отчетом. И ежели понадобится, то знаю, как нужно поступить.

— Неужели ты захочешь скандала?

— Ах, нет! какой ты! Я просто попрошу, чтоб его посадили в смирительный дом, покуда он не раскается.

Я взглянул на нее, думая, не прочту ли что-нибудь на ее лице. И что ж! — ничего! куколка, ну просто куколка — и ничего больше.

— Чем же вы будете жить?

— Мы рассчитываем на тебя, cousin. Когда ты все прочитаешь, что Филофей Иваныч тебе передал, и положишь ему жалованье, мы наймем маленькую квартирку и совьем там себе гнездышко.

Во второй раз я подумал, что сплю. Со страхом, почти с ужасом смотрел я на нее, а она между тем продолжала:

— Я знаю, что ты очень большого жалованья на первый раз дать не можешь — мы и не ждем этого. Но тысячи две-три... пожалуйста, три! подумай, как мне будет трудно! Ах, я ничего, ничего не умею! Никогда я не занималась этим, а теперь надо будет везде самой. И заказать обед, et les provisions, et la viande, et la blanchisseuse, et les frotteurs... enfin, tout, tout, tout![1] Конечно, Филофей Иваныч будет меня руководить, но все-таки представь: везде сама!

Я молчал в немом изумлении, а она все ворковала, перескакивая от одной хозяйственной статьи к другой. И, наконец, заключила:

— Теперь ты понимаешь, почему я так тороплю тебя насчет жалованья. Ах, это так нас устроит!

Таким образом, к прежней массе пустяков прибавились еще новые. Но пустяки имеют ужасную силу, особливо родственные. Возвратившись домой, я чуть не растоптал «Ночь с милой в лесу» и положительно до белого дня проворочался с боку на бок, передумывая, предупредить ли Феденьку или не предупреждать.

Наконец я решил предупредить. Может быть, думалось мне, как-нибудь и обойдется. Он объяснится, убедит, найдет средство устранить Филофея... Всплакнет куколка, выронит две слезки, ну, четыре, ну, шесть — и все пройдет.

Руководясь этими мыслями, я отправился в одиннадцать часов утра в то место, где он обыкновенно докладывает. Он был уже там и сейчас же вышел ко мне, несколько изнурен-

---

[1] и провизия, и мясо, и прачка, и полотеры... словом, всё, всё, всё!

ный непосильным трудом, но не побежденный и нимало не унывающий. В коротких словах я объяснил ему суть вчерашнего разговора с Наташей.

— Я давно это угадывал,— сказал этот получивший христианские правила молодой человек, нимало не смутившись моим рассказом.

— Но что же ты предполагаешь делать?

— Ровно ничего. Если это устроивает maman... с богом!..

— Однако чем же они будут жить?

— Они все рассчитывают на какое-то жалованье, которое будто бы вы им обещали...

— Да ведь это наконец сказки! ведь это волшебное представление какое-то!

— Я ничего не знаю и ни во что вмешиваться не желаю. J'en ai jusqu'ici[1] (он резнул себя ладонью по горлу)! Я даже не понимаю, ка̀к я могу делами заниматься среди этого хаоса.

— Вполне разделяю твои затруднения, но все-таки не понимаю, почему ты не хочешь вмешаться в это дело. Согласись, что оно слишком близко касается тебя и что ежели Наташа в самом деле выполнит свой нелепый проект...

— Ну, нет-с, это не так-с. Покуда maman носит имя моего отца, я, конечно, обязан... Вы, впрочем, сами знаете, сколько жертв я принес и даже теперь, в настоящее время, приношу... Но раз, что она сделала une mésalliance[2] — это уж особая статья! Как ей угодно, но я тут ни при чем!

— Но отчего бы тебе не устроить этого дела тихим манером? Ты очень хорошо понимаешь, что все эти надежды на жалованье, которое будто бы я могу назначить Дроздову,— все это мираж... Но ты — ведь ты можешь! Отчего бы тебе не пристроить Филофея? Ежели тебе кажется не совсем ловким выпросить для него что-нибудь в Петербурге, то можно бы сплавить в провинцию...

— Человека, который сочиняет «Ночь с милой в лесу» — благодарю покорно!

— Можно будет его уговорить, чтоб он перестал. Право, мой друг, в провинцию? а?

— Представьте себе, не могу!

— Да почему же?

— Во-первых, потому что я дал себе слово никогда ни за кого не просить (мне самому об себе впору хлопотать, прибавил он в скобках), а во-вторых, знаете ли вы, какие у него

---

[1] С меня довольно — по сих пор.
[2] неравный брак.

претензии? две-три тысячи! и притом скорее три, нежели две! ведь такие оклады в провинции получает уж, так сказать, начальство! Это Дроздов-то — начальник!

Одним словом, как я ни убеждал, Феденька пребыл непреклонен. Затем мне ничего другого не оставалось, как пустить это дело на волю судеб.

И действительно, развязка не заставила себя долго ждать.

Дни проходили за днями, и Nathalie начала уже показывать признаки некоторой раздражительности по случаю моей медленности. Мало-помалу стал похаживать ко мне и Филофей Дроздов, сначала просто «посидеть», а потом и «за справочками». Во время этих собеседований мне удалось наконец понять, что его не столько соблазняет авторская слава с ее скудными матерьяльными прерогативами, сколько карьера редактора.

— Наслышан я,— говорил он,— будто бы ныне многие издатели нуждаются в редакторах и будто бы таковым местам присвоивается приличествующее содержание. Так вот, если бы вы походатайствовали...

Он мгновенно взвивался во весь рост и мгновенно же преломлялся пополам, касаясь рукой до земли.

— Помилуйте, Филофей Иваныч! перед кем же я буду ходатайствовать? — пробовал я возражать.

— Перед подлежащими лицами, всеконечно. Ныне благонадежные лица редки, потребность же в таковых ощущается... А я бы, в случае надобности, и прикрыть кой-что мог. В журнале или газете, например. Иное что-нибудь и вольнѐнько написано, но коль скоро высшему начальству известно, что редактор здравого ума человек, то оно и на вольные прегрешения, яко на невольные, благомилостивым оком взглянет.

— Конечно, это хорошо. Но все-таки надо, чтоб где-нибудь требовался вольнонаемный редактор, а я таких случаев не предвижу.

— Стало быть, не предвидите-с?

— Да, не предвижу.

— Ну, а относительно произведений моих — как вы думаете, какую цену за них можно получить?

Я долго уклонялся от положительного ответа, но наконец убедился, что надежда как-нибудь отмолчаться и ускользнуть есть миф. И вот в одно прекрасное утро я вынужден был открыть печальную истину.

В тот же день сундук с произведениями Дроздова исчез из моей квартиры, и затем, дня три или четыре сряду, ни он, ни Nathalie не заглянули ко мне.

Я начал уже понемножку успокоиваться, как вдруг, в самый Петров день — звонок. Сердце мое тревожно забилось: это она, это Nathalie! Она, с упреком на устах, она, с глазками, полными слез, она, не знающая, куда ей девать этого длинного, длинного Филофея, который увязался за ее шлейфом и никак отцепиться не хочет!

Действительно, это была она, но — о, чудо! — не только не негодующая и не тоскующая, но опять та же милая, несравненная куколка, какою я видел ее при первом нашем свидании после ее приезда из-за границы. Только платьице другое надела, но, кажется, еще лучше, шикарнее прежнего.

Опять мы поцеловались, и опять выступили на сцену les pieux souvenirs. Ка̀к мы заблудились, ка̀к она украдкой бросила мне в тарелку пупочек. Об Филофее ни полслова, как будто его на свете не было. Даже желудочек опять ручкой потерла (плутовка заметила, что движение это понравилось мне) и попросила покушать.

И вдруг...

— Cousin, не можешь ли ты... ах, я вечно все перепутаю... не можешь ли ты на короткое время меня ссудить...

— Сколько тебе нужно?

— Вот видишь ли, наш курс начал поправляться... и даже очень-очень поправился... Так мне советовали воспользоваться этим... тысячки две — можно?

Скажите по совести: можно ли было устоять против просьбы, выраженной в такой прелестной форме? Но, кроме того, и еще: Nathalie хочет воспользоваться поправкой курса и только поэтому занимает; но что̀, если она сообразит, что курс еще больше может поправиться, да на этот случай еще тысячки две накинет? Нет, лучше отдать прямо, по первому слову. Так я и поступил. Вспомнил, что у меня в бюро лежат совсем ненужные две тысячи рублей, открыл ящик и отсчитал деньги Наташе.

Но когда я все это выполнил — вообразите мой испуг! Не успел я замкнуть бюро и повернуть лицо свое, чтоб принять благодарно-родственный поцелуй, как в комнате уже не было никого. В один миг Nathalie исчезла, словно растаяла в воздухе...

На другой день утром я получил от Феденьки письмо:

«Maman, возвратясь от вас, сейчас же собралась и уехала за границу вместе с известным лицом. Не знаю, что из этого выйдет, но теперь я, по крайней мере, заниматься свободно могу».

А вечером — телеграмма:

«Остановились на сутки в Пскове. Счастлива. Великодушный друг! благодарю. Nathalie Drozdoff».

Я не удержался, побежал к Феденьке и передал ему телеграмму, в особенности указав на то, что Наташа подписалась на ней уже Дроздовою.

— Ну, и прекрасно! — воскликнул он,— по крайней мере, теперь...

И как молодой человек, обладающий христианскими правилами, набожно перекрестился.

На другой день, первого июля, я проснулся утром в самом радостном настроении духа. Я всему был рад: и тому, что мне уже не придется ехать «гулять» с родственниками, и тому, что мои две тысячи косвенным образом послужили для поддержания основ... Но больше всего тому, что в течение целого июня не случилось со мной никакой «внутренней политики».

ПЕРВОЕ АВГУСТА

После родственной суматохи, которая преследовала меня в течение целого июня, июль прошел вяло, в каком-то томительном отчуждении. Тот, кто, подобно мне, провел этот месяц в Петербурге, среди неусыпающих дождей и бодрствующих дворников, тот поймет снедавшую меня тоску. Но я уж и тому был рад, что и в июле никакой внутренней политики не случилось... Слава богу! слава богу!

Говоря по совести, я лично не имею никаких причин опасаться внутренней политики. Живу я просто, до того просто, что и прислуга, и швейцар, и дворники не токмо за страх, но и за совесть могут свидетельствовать о моей невинности; ремеслом своим занимаюсь открыто; за хорошие дела — жду помилования, за средние — прошу не взыскать, за худые — благодарю и приемлю, и нимало вопреки глаголю. Травы не мну, рыбы не ловлю, птиц не пугаю. Все это, вместе взятое, составляет такого рода «поведение», которое не только в Уложении о наказаниях, но даже в брошюрах одесского профессора Цитовича не предусматривается. Стало быть, ходи вольным аллюром — и шабаш.

Однако ж как я ни стараюсь приспособить свою поступь к вольному аллюру, но успеха достичь не могу. Существуют причины, которые положительно все мои усилия в этом смысле обращают в ничто, и, к стыду моему, я должен сознаться, причины эти лежат не столько во внешней обстановке, среди которой я живу, сколько во мне самом.

Во-первых, я слишком уж давно живу, и это вводит и меня самого, и других в заблуждение. Когда долго живешь на свете, то непременно думаешь, что невесть сколько нагрешил. И утопии, и филантропии, и фаланстеры, и даже военные поселения — все тут было! Одних «книжек» сколько — это ни в сказках сказать, ни пером описать! Как с этим быть? Раскаяться — лень; сделать бывшее небывшим — невозможно; стало быть, приходится существовать, сознавая себя в положении старого волка, которому когда-нибудь отольются-таки овечьи слезки. Ужасно это тяжело. Конечно, когда кругом царствует тишина, когда дворники бездействуют, а городовые делают под козырек — тогда даже мечты о военных поселениях кажутся пустяками. Вздор, да и все тут! Но когда...

Да, тишина — великое дело. Человек от природы так создан, что предпочитает спокойствие беспокойству, а потому он инстинктивно олицетворяет в тишине тот прекрасный удел, который на обыкновенном языке называется счастием. Ежели человека не беспокоят — он счастлив, а ежели, сверх того, он знает, что и завтра его беспокоить не будут,— у него уж вырастают крылья. Гордо и самоуверенно идет он по стезе, загроможденной всевозможными преступными пустяками, и ни минуты не сомневается, что все эти пустяки суть действительно пустяки и, в качестве таковых, непременно сойдут ему с рук. И сходят. Как хотите это назовите: недоразумением, послаблением, упущением или просто волшебством, но сходят, сходят и сходят. Есть у счастливых людей звезда, которая путеводит их и ограждает от взысканий. Недаром еще в прошлом столетии Сумароков возглашал:

Ты, фортуна, украшаешь
Злодеяния людей
И мечтания мешаешь
Рассмотрети жизни сей...

Сидишь себе, счастливый и довольный, и в мечтах опутываешь Россию целою сетью военных поселений. И даже в голову не приходит, что когда-нибудь это невинное опутывание откликнется для тебя «рассмотрением жизни сей».

Но как только повеет со стороны холодком и зашевелятся дворники — конец счастью. Человек начинает озираться, прислушиваться, и в сердце его заползает тупая, тревожная боль. Коль скоро эти признаки налицо, знайте, что немедленно вслед за ними явится и потребность «рассмотрения жизни сей». Потребность, нередко ничем не мотивированная, но в то же время до того естественная, что отделаться от нее нет никакой возможности. Сиди и рассматривай, доколе не усмотришь. А ежели, несмотря на самые искренние усилия, все-таки ни-

чего не усмотришь, то, пожалуй, и еще того хуже: непременно хоть что-нибудь да наклеплешь на себя. И, наклепавши, тем самым признаешь себя достойным внутренней политики.

Итак, первая причина, убивающая во мне вольный аллюр, есть причина чисто личная, заключающаяся в том, что я слишком давно живу.

Вторая причина — более общая. Мы, русские, как-то чересчур уж охотно боимся, и притом боимся всегда с увлечением. Начинаем мы бояться почти с пеленок; сначала боимся родителей, потом — начальства. Иногда даже бога боимся, но редко: больше из учтивости, при собеседованиях с лицами духовного ведомства. Я помню, что еще в школе начальство старалось искоренить во мне начальственную боязнь. Чего вы боитесь? — говорило оно мне,— нам не страх ваш нужен, а любовь и доверие. Все равно, как в песне поется: *мне не дорог твой подарок, дорога твоя любовь...* А я и за всем тем продолжал бояться. И нельзя сказать, чтоб я не понимал, что быть откровенным и любящим ребенком выгоднее — его никогда без последнего кушанья не оставляют,— понимал я и это, и многое другое, и все-таки пересилить себя не мог. Идешь и думаешь: а вот сейчас выскочит из-за угла гувернер — и поминай как звали!

Разумеется, я не думаю, чтобы такова была характеристическая черта нашей национальности. Я знаю, что это дурная привычка — и ничего более. Но она до такой степени крепко засела в нас, что победить ее ужасно трудно. Уж сколько столетий русское государство живет славною и вполне самостоятельною жизнью, а мы, граждане этого государства, все еще продолжаем себя вести, как будто над нами тяготеет монгольское иго или австрияк нас в плену держит. Робеем, корчимся, прислушиваемся ко всяким шорохам, смущаемся при выходе ретирадных брошюр, раскаиваемся, клеплем на себя и на других; одним словом, мним себя до такой степени последними из последних, что из всего Державина содержим в памяти только один стих:

А завтра — где ты, человек?

И кого боимся? Того самого начальства, которое еще с школьной скамьи твердит нам: не страх ваш нужен, а доверие и любовь!

Нигде так много не говорят по секрету, как у нас; нигде (даже в самом обыкновенном разговоре) так часто не прорывается фраза: ах, как это вы не боитесь! нигде так скоро не теряют присутствия духа, так легко не отрекаются. Словом

сказать, нигде не боятся так натурально, свободно, почти художественно.

Но что всего хуже: свойственный нам, русским, страх вовсе не принадлежит к числу так называемых спасительных. Если б еще это было так, то, конечно, лучшего бы и желать не надо. Спасительный страх научает терпению — вот неоцененная польза, им приносимая. Если видишь, например, себя на краю пропасти, то остановись и ожидай, пока ведомство путей сообщения не устроит здесь безопасного спуска. Если нужно тебе переправиться через реку, то не дерзай искать брода, но уведомь о своей нужде подлежащую земскую управу и ожидай, пока она устроит мост или паром. Ежели встретишь человека, который будет приглашать тебя в качестве попутчика в страну утопий, то жди, покуда не будет выдана подорожная. Таков «спасительный» страх в том виде, в каком оный предписывается во всех предначертаниях. К сожалению, совсем не таков наш общеупотребительный русский страх. Увы! под гнетом его мы нимало не научаемся терпению, а просто-напросто порем горячку и мечемся. И вследствие этого не только не останавливаемся на краю пропасти, но чаще всего стремглав летим на дно оной.

Виноват ли я лично в том, что эта хроническая боязнь обуревает меня? конечно, виноват, если взять в соображение, что моя боязнь есть вместе с тем и ослушание. С отроческих лет твердит мне начальство, что бояться не дозволяется, а я не слушаюсь, боюсь, то есть выказываю отвагу именно в таком пункте, где ее совсем не требуется,— ясно, что я виноват. Но, с другой стороны, как посмотрю я кругом — разве я один боюсь? Нет, все боятся, все до единого. Столько у нас, в последнее время, развелось угроз, что боязнь сделалась даже чем-то вроде развлечения, почти занятием. Если б я не боялся, то, наверное, в скором времени совсем сгиб бы от праздности. А теперь я все-таки чем-нибудь занят. Во-первых, стараюсь угадать угрозу; во-вторых, придумываю способы оборониться от нее, устроить так, чтоб она ударила по соседу, а не по мне. Для ума пытливого тут пищи без конца. Обдумываешь, ходатайствуешь, оправдываешься, раскаиваешься и, наконец, возвращаешься домой усталый, почти измученный. Смотришь — ан в результате не только время прошло, но и самое представление об угрозе куда-то испарилось, словно его совсем и не было...

Итак, вот в этой-то смутной боязни прошел для меня весь июль месяц.

Я был один, а одиночество действует в этом отношении особенно деморализирующим образом. В одиночестве каждая фи-

лантропия принимает размеры пособничества, каждое военное поселение — размеры потрясения основ. Конечно, и это бы ничего (повторяю: и в квартале известно, что пустяки все это!), но что̀ действительно ужасно — это воспитываемая одиночеством склонность к применению соответствующих статей Уложения о наказаниях ко всем этим пустякам. Сидишь один-одинешенек, прислушиваешься к окрестным шорохам — и применяешь. Так что ежели при этом в комнате еще темно, то положительно делается жутко. В ушах раздается незаслуженное: фюить! и непременно все самые глупые романсы, все бесшабашнейшие метафоры, какими когда-либо украшались страницы русских хрестоматий,— все так и ползет из всех захолустьев памяти. Тут и «ямщик лихой, он встал с полночи», и «сабля моя стучала по верстовым столбам, как по частоколу» — все тут. И в заключение — «рассмотренье жизни сей», как неизбежный продукт этих романсов. Глупо, неестественно, несбыточно до очевидности, но в то же время как-то мрачно-правдоподобно.

Разумеется, я принимал все меры, чтобы избежать одиночества. С утра уходил к Палкину, слушал машину, любовался на стерлядей, плавающих в бассейне, и расспрашивал, сколько вон та стоит и сколько вот эта. Потом отправлялся в Зоологический сад и вместе с кадетами смотрел на кормление зверей; потом устремлялся к «Медведю», где с истинно диким наслаждением глотал протухлый воздух; а вечером — в Демидрон, где делал умственные выкладки, сколько против прошлого года прибавилось килограммов в девице Филиппо̀. Затем, возвращаясь поздно вечером домой, я с любопытством всматривался в физиономию швейцара, усиливаясь прочесть, не написано ли на ней чего-нибудь внезапного, и ежели прочитывал только заспанность, то ложился в постель и старался заснуть с таким расчетом, чтобы Уложение о наказаниях ни под каким видом не отравило моих сновидений.

К сожалению, как ни действительными представлялись эти меры, но досуга для «рассмотренья жизни сей» все-таки оказывалось более, нежели достаточно. К тому же, в последнее время возник для меня еще новый мотив для рассмотрений.

Дело в том, что по поводу моей литературной деятельности возникают некоторые обвинительные слухи, которые, с течением времени, приобретают все более и более острый характер. Обвиняют меня в беллетристическом двоедушии, требуют, чтобы я повел дело начистоту и показал свое знамя. Признаюсь откровенно, слухи эти действуют на меня болезненно. Во-первых, я вообще избегаю разговоров о своей личности, и тем

более разговоров печатных, которые имеют свойство привлекать, в качестве невольного посредствующего лица, публику; во-вторых, что ж это, в самом деле, за требование такое: покажи свое знамя? Какое это знамя? разве у обывателей полагаются знамена?..

Тем не менее я не желаю прикидываться ни равнодушным, ни презирающим. Говорю прямо: окрики эти трогают меня. Я слишком давно и слишком деятельно принимаю участие в русской литературе, чтобы иметь возможность разыгрывать роль постороннего зрителя относительно жизненных явлений вообще, а стало быть, и относительно делаемых по моему поводу оценок. Но этого мало; писания мои до такой степени проникнуты современностью, так плотно прилаживаются к ней, что ежели и можно думать, что они будут иметь какую-нибудь ценность в будущем, то именно и единственно как иллюстрация этой современности. Поэтому все характерные признаки ее необходимо должны оказывать на меня известное действие. Тщетно усиливался бы я замкнуться в самом себе, тщетно старался бы не видеть и не слышать: лая самой ледащей собачонки, ежели он повторяется регулярно, вполне достаточно, чтобы нарушить эту замкнутость и обратить в ничто мое насильственное равнодушие. Это до такой степени верно, что даже люди, желающие познакомиться с моим знаменем,— и те ни на что другое не бьют: ни на логику, ни на софизм, а именно только на раздражающее действие, которое должен оказывать периодически возобновляемый лай на человека, связанного крепкими узами с современностью и потому вынуждаемого время от времени являться с публичными отчетами об ней.

Начну с обвинения в двусмысленности или, иначе, в двоедушии, а еще проще — в обмане. Говорят, будто я (и, конечно, с умыслом) такую особенную манеру писать изобрел, которая постоянно вводит в заблуждение. Кого же, однако, я хочу обмануть?

Ежели предполагается, что я желаю обмануть ту читающую публику, к которой обыкновенно обращаюсь, то предположение это не имеет и тени правдоподобия. Я действую в русской литературе больше тридцати лет, и из них около двадцати пяти лет, быть может, даже слишком часто напоминаю о себе читателям. Мне кажется, что этого совершенно достаточно, чтобы публика поняла, с кем она имеет дело, и чтобы я не имел надобности в дополнительных объяснениях и подчеркиваниях. И действительно, она до такой степени ознакомилась со мной, а в особенности с теми намерениями, которые стоят у меня на первом плане, что я просто-напросто ни спря-

таться за псевдонимом, ни притвориться не самим собой не могу. И я думаю, что ежели читатель так легко узнает меня, то причина этого заключается не столько в манере моих писаний, сколько в их содержании. Так что, если бы я, например, позволил себе порицать добродетель и возвеличивать порок, то я убежден, что, несмотря ни на какие «манеры», публика поняла бы, что я сделал дурной поступок, и отвернулась бы от меня.

Не надо забывать, что русский писатель вообще (а в том числе, конечно, и я) имеет дело с очень ограниченным кругом читателей, который, право, не так-то легко объегорить «манерами». В среде этой есть люди, симпатизирующие мне, но найдется достаточно и таких, которых одно напоминание обо мне приводит в раздражение. Ужели и эти симпатии, и эти ненависти имеют источником одно недоразумение? По-моему, это уже слишком явная бессмыслица, чтобы нужно было ее опровергать.

Ежели же предположить, что я желаю своими «манерами» обмануть начальство — упаси бог! Кроме того, что я совершенно правильно сознаю свои обязанности в отношении к начальству, я положительно убежден, что начальство понимает мои желания столь же ясно, как и публика. Оно видит мое усердие и сознает, что если я по временам заблуждаюсь, то не по обдуманному заранее умыслу, а по простоте душевной и из желания пользы ближнему. Сверх того оно знает, что хотя существование такого писателя, как я, и не приносит большой славы отечеству, но оно и не бесчестит его, а стало быть, во всяком случае, законами не возбраняется. Если же и можно заподозрить меня в том, что я не всегда выкладываю все, что у меня на душе, то и в этом начальство усматривает не двоедушие и обман, но лишь полезную сдержанность, которую я приношу в жертву на алтарь отечеству. И, по соображении всех этих усмотрений, не находя достаточных поводов для принятия мер строгости, оно предоставляет мне спокойно заниматься моим ремеслом.

Я не отрицаю, что в писаниях моих нередко встречаются вещи довольно неожиданные, но это зависит от того, что в любом курсе реторики существуют указания на тропы и фигуры, и я, как человек, получивший образование в казенном заведении, не имею даже права оставаться чуждым этим указаниям. Есть метафора, есть метонимия, синекдоха... Наконец, существуют особые рубрики литературного труда, носящие названия «сатиры», «эпиграммы» и проч., которые тоже, с разрешения реторики, допускаются к обнародованию, с тем чтобы, по отпечатании, надлежащее количество экземпляров было пред-

ставлено в цензурный комитет. Теперь сообразите: ведь начальство само предписало преподавание реторики в казенных заведениях — каким же образом оно может, без явного противоречия с самим собой и даже без явной несправедливости, преследовать то, что разрешено им самим разрешенною реторикой?

С вещественными доказательствами в руках я могу утверждать, что все, написанное мною в течение тридцати лет, совсем не «обман» (на такую литературную рубрику даже в реторике Георгиевского указаний нет), но вполне согласно с предписаниями реторики. Если же я, еще раз повторяю, отличаюсь в писаниях своих сдержанностью, то есть даже дозволениями реторики не решаюсь вполне пользоваться, то в глазах начальства это не порок, а достоинство. Сколько лет человек пишет и все сдерживает себя — стало быть, это именно и есть испытанный и вполне достойный гражданин! Совсем не то, что шавки, которые, выбежав из ретирадного места, в одну минуту вылают ту соринку, которая завелась у них за душой, не понимая, вредна она или безопасна, содействует или компрометирует... Вот как рассуждает начальство и, по моему мнению, рассуждает сознательно, а не вследствие какого-то умопомрачения, которое будто бы источают из себя мои литературные работы.

Как бы то ни было, но обвинения в двоедушии и обмане, как относительно публики, так и относительно начальства, оказываются вполне несостоятельными. Сами обвинители мои только притворяются недоумевающими. Очень хорошо они знают, об чем я говорю, и ежели им что̀ во мне не нравится, то это именно моя сдержанность. Они не без основания полагают, что будь я менее сдержан — из этого непременно произойдет для меня молчание. Вот чего им хочется, а мне этого не хочется. И как ни сильны бывают порой сомнения, меня обуревающие, но мне кажется, что в этом случае я все-таки поборю.

Но обвинение не довольствуется одними голословными заявлениями и приводит в подтверждение очень веский и доказательный, по мнению его, факт. Оказывается, что я так обстроил свои делишки, что сумел понравиться даже тем, на кого я обыкновенно нападаю. Ну, как же, мол, это не обман?

Рискуя быть заподозренным в самохвальстве, я думаю, однако ж, что дело объясняется гораздо проще. Несомненно, что существует почва, на которой читатель охотно примиряется с обличениями. Эта почва: добродушие, смех и человечное отношение к действующим лицам живописуемой комедии.

Ведь на свете живут не одни прожженные шалопаи, которые в смехе готовы заподозрить продерзость, а в человечности — пособничество и укрывательство. Большинство смертных не только видит в этих качествах смягчающее обстоятельство, но и признает, что человек, обладающий ими, не имеет основания сидеть сложа руки. Я никого не бью по щекам, хотя некоторые «критики» и уверяют, что я только этим и занимаюсь. Моя резкость имеет в виду не личности, а известную совокупность явлений, в которой и заключается источник всех зол, угнетающих человечество. Читатель, очевидно, понимает, что такова именно моя мысль, и, вследствие этого, мирится со мною даже тогда, когда я, по-видимому, обличаю его самого. Он инстинктивно чувствует, что я совсем не обличитель, а адвокат. Что я вижу в нем жертву общественного темперамента, необходимую мне совсем не для потасовки, а только в качестве иллюстрации этого последнего.

Я очень хорошо помню пословицу: было бы болото, а черти будут, и признаю ее настолько правильною, что никаких вариантов в обратном смысле не допускаю. Воистину болото родит чертей, а не черти созидают болото. Жалкие черти! как им очиститься, просветлеть, перестать быть чертями, коль скоро их насквозь пронизывают испарения болота! Жалкие и смешные черти! как не смеяться над ними, коль скоро они сами принимают свое болото всурьез и устроивают там целый нелепый мир отношений, в котором бесцельно кружатся и мятутся, совершенно искренно веря, что делают какое-то прочное дело! Да, смешны и жалки эти кинутые в болото черти, но само болото — не жалко и не смешно...

Есть и еще обвинение, касающееся того же двоедушия. Говорят, что я изображаю в смешном виде русских консерваторов — стало быть, я не консерватор; но тут же рядом и в столь же неудовлетворительном виде я изображаю и русских либералов — стало быть, я и не либерал. Если первое можно было объяснить предполагаемым во мне либерализмом, то чем объяснить второе? Не желанием ли понравиться начальству и тем хотя отчасти искупить продерзостные нападки на консерваторов?.. Ну вот, и слава богу!

Итак, ежели в писаниях моих и обретается что-либо неясное, то никак уж не мысль, а разве только манера. Но и на это я могу сказать в свое оправдание следующее: моя манера писать есть манера рабья. Она состоит в том, что писатель, берясь за перо, не столько озабочен предметом предстоящей работы, сколько обдумыванием способов проведения его в среду читателей. Еще древний Езоп занимался таким обдумыванием, а за ним и множество других шло по его следам. Эта

манера изложения, конечно, не весьма казиста, но она составляет оригинальную черту очень значительной части произведений русского искусства, и я лично тут ровно ни при чем. Иногда, впрочем, она и не безвыгодна, потому что, благодаря ее обязательности, писатель отыскивает такие пояснительные черты и краски, в которых при прямом изложении предмета не было бы надобности, но которые все-таки не без пользы врезываются в памяти читателя. А сверх того, благодаря той же манере, писатель приобретает возможность показывать некоторые перспективы, куда запросто и с развязностью военного человека войти не всегда бывает удобно. Повторяю: это манера несомненно рабья, но при соответственном положении общества вполне естественная, и изобрел ее все-таки не я. А еще повторяю: она нимало не затемняет моих намерений, а, напротив, делает их только общедоступными.

Затем, покончив с двоедушием, будем, пожалуй, говорить и о знамени.

Я помню, лет семь тому назад, один из публицистов «Русского вестника» (в статье «Наши охранители и наши прогрессисты») уже заводил разговор на эту тему. И тоже отчасти по моему поводу. Надергав из разных моих статей «местечек» и лишив их, ради аттической соли, связи с предыдущим и последующим, он огулом признал мою литературную деятельность вредною, подрывающею величественное шествие России на пути развития, и, в заключение, в каком-то непонятном восхищении, подстрекал самого себя на борьбу со мною. Будем высоко держать знамя России! — восклицал он,— и да послужит оно оплотом против наплыва неблагонадежных элементов!

Я помню, этот призыв к ополчению против моего наплыва довольно-таки меня огорчил. Не потому, чтобы я был сражен страхом по поводу причисления меня лицом постороннего ведомства к лику неблагонадежных (тьфу — вот я как на это смотрю!), но потому, что мне не было при этом преподано никаких средств для исправления. Нужно высоко держать знамя России! — твердил я самому себе,— но ведь надо же объяснить, о каком знамени России идет речь? Ведь не о государственном же знамени вы беседуете — это знамя я всегда отлично понимал, равно как понимал и то, что держать его простым смертным не предоставляется,— а, очевидно, о каком-то другом, а именно о знамени, так сказать, интимно-обывательском. Но, воля ваша, заводя речь о подобных знаменах, надо как можно точнее их характеризовать, потому что обыватели не всегда в редактировании девизов искусны. Иной такую чепуху на своем знамени напишет, что попробуй соблаз-

нись — и в острог, пожалуй, угодишь! Вот почему я тогда же обратился к встревоженному моим наплывом публицисту с просьбою указать подробно, в чем я должен исправиться и какими девизами обязываюсь украшать свое знамя, чтоб быть вычеркнутым из списка неблагонадежных?

Конечно, ответа на мой запрос не последовало. Охотно сочиняя обвинительные акты, публицисты известного пòшиба, с истинно жестокой бессердечностью оставляют обличаемых ими грешников в жертву ожидающему их возмездию. Но так как и возмездия, которое хотя косвенно могло бы пролить свет на мои сомнения, не последовало, то я вынужден был уже собственными средствами доискиваться раскрытия кинутой в мой огород загадки. И чтò же! ища и допытываясь, я убедился, что самое употребительное, популярное и искреннее обывательское знамя есть то, на котором написано: распивочно и навынос!

Очевидно, конечно, что почтенный публицист настаивал не на этом знамени, но имел в виду иные знамена, на которых начертаны другие, более солидные и совместные с достоинством благонамеренной русской публицистики девизы. И хотя он не называл их прямо, но догадываюсь, что девизы эти таковы: семейство, собственность, государственный союз и проч. И так как, по мнению обвинителя, я недостаточно усвоил себе эти девизы, то за сие и признан им подлежащим помещению в список неблагонадежных.

Оказывается, однако ж, что знамёна с упомянутыми выше девизами не безызвестны и мне. Я довольно часто возвращаюсь к ним и по мере сил даже разработываю их; но, разумеется, моя разработка имеет несколько своеобразный характер. Она не столь отвлеченна, как исследование какого-нибудь ученого юриста или экономиста, и не столь практически наглядна, как, например, разработка Юханцева, Ландсберга и проч. Но позволяю себе думать, что и моя разработка не вовсе бесполезна.

Как литератор, занимающийся книгопечатанием с ведома реторики, я разработываю всякого рода знамена в пределах той литературной рубрики, которая известна под именем «сатиры». Затем справляюсь с любым курсом реторики и убеждаюсь, что основной характер «сатиры» заключается в том, что она «осмеивает пороки». Прошу читателя не сетовать на меня за эти несколько детские подробности: я останавливаюсь на них потому, что мне необходимо объясниться (ведь находятся люди, которым и это нужно объяснить), почему я пишу не в дифирамбическом, а в сатирическом роде. Дифирамб, говорю я, есть совершенно сепаратная литературная рубрика,

столь же мало противозаконная, как и сатира, но и не пользующаяся, сравнительно с последнею, никакими особенными привилегиями (разве что существуют какие-либо отдельные по сему предмету распоряжения, о которых я не знаю). Сверх того, дифирамб требует иных способностей и совершенно иного отношения к изображаемым предметам, нежели сатира. Так что, например, если я способен написать сносную сатиру, то в области дифирамба могу оказаться самым плохим нанизывателем напыщенных и пустопорожних фраз. А по моему мнению, заниматься составлением ходульно-лицемерных и вымученных дифирамбов гораздо противозаконнее, нежели упражняться в сносной сатире.

Но спрашивается, что̀ такое порок как объект сатиры?

Прежде всего, признаюсь, я не совсем доверяю тем отвержденным спискам пороков, которые, время от времени, публикуются во всеобщую известность моралистами. Мне кажется, что моралисты слишком суживают границы порока, чересчур уж тщательно определяют внешние его признаки. Вследствие этого порок представляется чем-то окаменелым, не только не имеющим никакой притягательной силы, но даже прямо отталкивающим. Нужно быть от природы несомненно предрасположенным к злодейству и нераскаянности и при том очень храбрым (или, по малой мере, очень глупым), чтобы с насилием и взломом проникнуть в наглухо запертое капище порока, на дверях которого прежде всего бросаются в глаза самые определенные указания на соответствующие статьи Уложения.

Таких отважных рыцарей, которые со взломом проникают в капище порока, сравнительно, очень мало, и они почти всегда попадаются. И когда они попадутся, то в среде прокурорского надзора бывает радование. Ибо состав совершившегося факта ясен, и, стало быть, остается только предъявить в суд счет (addition) [1] порочного человека, и уплата по оному воспоследует немедленно и сполна.

Мне кажется, что простая человеческая совесть оказывается в этом случае гораздо более проницательною. Во-первых, она отвергает замкнутость, которую приписывают пороку моралисты, и признает за ним значительную долю въедчивости; во-вторых, она не допускает, чтоб порок так легко поддавался определениям, ибо в этом случае стоило бы только увеличить состав прокурорского надзора, чтобы очистить авгиевы конюшни; в-третьих, она признает, что порок прогрессирует, как относительно внешних форм, так и по существу, и, вследствие

---

[1] Счет (то есть перечень проступков).

этого, одни пороки упраздняются, и взамен их появляются новые, которые человеческая совесть уже угадывает, между тем как прокурорский надзор и во сне ничего подходящего еще не видит.

Нужно ли говорить, что, ввиду этих двух взглядов на порок, литература должна склоняться на сторону совести? Прежде всего, она не меньше милосердна, как и человеческая совесть, и, стало быть, предположение о въедчивости порока, как смягчающее личную ответственность, не может не привлекать ее. Так что ежели человек, укравший грош, в глазах моралиста ни в каком случае не заслуживает пощады, то во мнении человеческой совести и литературы он может оказаться человеком, у которого даже отнять похищенный им грош не совсем ловко. А посему надлежит: списав тот грош безвозвратным расходом, стараться об нем позабыть. Затем литературе не меньше претит и канцелярская точность в определении признаков порока, потому что слишком ясные пороки ведаются полициею и судом, и этого вполне для успокоения общества достаточно. Литература же ведает такие человеческие действия, которые заключают в себе известную степень загадочности и относительно которых публика находится еще в недоумении, порочны они или добродетельны. Философы пишут с целью разъяснения подобных действий целые трактаты; романисты кладут их в основание многотомных произведений; сатирики делают то же дело, призывая на помощь оружие смеха. Это оружие очень сильное, ибо ничто так не обескураживает порока, как сознание, что он угадан и что по поводу его уже раздался смех. Наконец, и мысль об изменяемости форм порока не может не быть симпатичной для литературы, так как если б не существовало изменяемости, если б злоба дня не снабжала жизни все новыми и новыми формами порока, то материя эта давно была бы исчерпана, и литературе пришлось бы уступить место полиции и суду. Но этого нет. И в то время, как суд карает одного Ландсберга, литература прозревает мириады Ландсбергов, тем более опасных, что к ним невозможно применить ни одного из общепризнанных ярлыков, выработанных отвержденною моралью.

Ничего этого, конечно, не признают люди, занимающиеся вытребованием литературных знамен. Они считают обязательною одну мораль — отвержденную, и все, что прямо не возбраняется ею, признают законным. И вследствие этого, во всякой попытке расширить пределы отвержденной морали усматривают неблагонадежность, потрясание, бунт. Словом сказать, они требуют, чтоб сатирик вел нечто вроде дневника проис-

шествий: «Такого-то, дескать, числа утром (допускается описание утра) коллежский регистратор Псевдонимов (допускается описание отвратительной его наружности) украл с лотка булку». И только. Но при этом, конечно, не возбраняется прибавлять, что бдительное начальство накрыло его с поличным и не оставило без взыскания.

Я понимаю, из какого источника идут эти требования. Выше я сказал, что преступить против указаний отвержденной морали очень трудно и что виновными в этом случае оказываются или глупцы, или оборванцы, или такие отважные люди, которым хочется сразу карьеру сделать. Затем громадное большинство удобно уживается с этой моралью и под сению ее бездельничает на всей своей воле. Вот эту-то безнаказанность бездельничества и лестно отстоять. Мы никого не убили, а нас называют убийцами; мы ничего не украли, а нас называют ворами; мы живем в семьях, обедаем, окруженные детьми, пьем чай за семейным самоваром, а нас называют прелюбодеями! Что ж это такое, как не потрясение!

. . . .

Но довольно. Возвращаюсь лично к себе.

Сказанного выше, по мнению моему, вполне достаточно, чтоб убедить читателя, что и мне не чужда мысль о знаменах. Какого же рода эти знамена и что̀ на них написано, о том следуют пункты:

1) Ведомо всем, что в настоящее время существуют три общественные основы, за непотрясанием которых имеется особое наблюдение: семейство, собственность и государство. Вот эти-то самые основы значатся и на моих знаменах. Знамя первое: семейство. Приемлю и нимало вопреки глаголю. Но не приемлю, чтобы кузина Nathalie могла быть признаваема столпом семейственности, хотя она столь твердо понимает материнские права, что готова посадить своего Теодора в смирительный дом за непочтительность. Второе знамя: собственность. Приемлю и нимало вопреки глаголю. Но не приемлю, чтоб коммерсант Дерунов именовал себя апостолом собственности, хотя он до того простер свое усердие в этом направлении, что всякую попытку крестьян получить за пуд хлеба 60 копеек, вместо предлагаемой им, Деруновым, полтины, считает за бунт и потрясание. Третье знамя: государство. Приемлю и нимало вопреки глаголю. Но не приемлю, чтоб Феденька Неугодов слыл за поборника государственного союза за то только, что он видит в государстве пирог, к которому ловкие люди могут во всякое время подходить и закусывать.

2) Таковы знамена, которые характеризуют мое внутреннее поведение. Что же касается до поведения внешнего, то знамя, до этого относящееся, гласит тако: не делать того, что законом возбраняется.

3) О прочих знаменах умалчиваю, но думаю, что и сказанного выше достаточно, чтобы жить в мире с самим собой и не опасаться любопытствующих.

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ

И в августе отдел внутренней политики остался незамещенным... Слава богу! слава богу!

В первой половине августа прибыл ко мне другой племянник, Саша Ненарочный, молодой человек лет восемнадцати. Приехал, шаркнул ножкой и бросился отыскивать «дяденькину ручку». Но так как я решился скорее вступить врукопашную, нежели довести родственные излияния до такой восторженности, то Саша кончил тем, что влепил мне безе в самые уста. Затем сейчас же принес две банки варенья и извинился, что не принес отварных рыжиков: маменька после пришлет.

Саша устранил угнетавшее меня одиночество — уж это одно было заслугой с его стороны. Я вообще бываю доволен, когда в минуты уныния меня посещают родственники. В счастии я ими не особенно дорожу, но в несчастии — не нарадуюсь. Даже если кадет-племянник из провинции «погостить» приедет — и тот словно рублем подарит. С приездом его и в квартире делается как-то люднее, и шорохов таинственных слышится меньше, и свойственный одиночеству заговорщический характер несомненно смягчается. Словом сказать, вся квартира, в полном своем составе, внушает более доверия...

Но прежде, нежели продолжать, расскажу вкратце, каким образом я приобрел племянника в лице Сашеньки Ненарочного.

У tante Babette были две дочери: одна кузина — Nathalie, с которой читатель уж знаком, младшая и любимочка; другая — кузина Маша, старшая и нелюбимая. В сущности, выражение «нелюбимая», в применении к tante Babette, слишком жестоко. Babette никого «не любить» не могла, но у кузины Маши был такой большой нос, что maman ее не могла его видеть, чтобы не воскликнуть: ах, несчастная! Поэтому Nathalie с малых лет предназначалась для блестящей партии (чи-

татель знает, что она и действительно обрела таковую в лице штабс-ротмистра Неугодова), а Маша ровно ни для чего не предназначалась. Так что когда статский советник Ненарочный присватался к ней, то tante Babette совсем растерялась и даже воскликнула: bonté du ciel![1] но посмотрите же, какой у ней... нос! Однако Ненарочный оставил это предостережение втуне и, пребыв твердым в своих матримониальных намерениях, взял Машу, как ее создал бог. И, как увидим ниже, не ошибся в расчете.

Ненарочный был первым родоначальником своей фамилии и, следовательно, не мог похвалиться знатностью. Носился слух, что некогда Аракчеев во время объезда новгородских поселений, остановившись на почтовой станции, имел разговор с смотрительскою дочерью и что последствием этого разговора был маленький раб божий Иван. Разумеется, проследовавши на ближайшую станцию, суровый временщик утратил всякое воспоминание о недавнем грехопадении, но, должно быть, раб божий Иван в рубашке родился, потому что даже волнам временщичьего забвения не удалось поглотить его. Когда молодая мать, год спустя, явилась в Петербург с младенцем в руках, то Аракчеев не только не рассвирепел, как этого следовало бы ожидать, судя по его чину, но явил беспримерное милосердие: мать определил на кухню судомойкой, а сына взял в комнаты и выхлопотал ему герб. В гербе этом на золотом поле была изображена почтовая станция с верстовым столбом; сбоку столба — трехугольная шляпа с плюмажем, из которого выходит протягивающий ручки младенец, а внизу алая извивающаяся лента, на которой начертан девиз:

Хоть создан ненарочно,
Зато довольно прочно.

В согласность с этим девизом, Ваня — по крестному отцу Алексеич — и фамилию получил: Ненарочный.

Прошло несколько лет, Аракчеев пал, но Ваня и из этого крушения вышел невредим. Его призрел коллежский советник Стрекоза, бывший наперсник Аракчеева, который явно хотя и отрекся от него при падении, но втайне остался ему преданным. Он выкормил и обучил Ненарочного, и когда последний кончил университетский курс, то определил его в департамент разных податей и сборов. Там Иван Алексеич в скором времени предъявил такие таланты по части сборов, что лет через десять был определен советником питейного отделения в пензенскую казенную палату.

---

[1] милость небесная!

В то время советники питейных отделений были люди солидные и уважаемые. Места эти не считались особенно блестящими в смысле борьбы с внутренними врагами, но так как с ними сопрягалось представление о сокровище, то всякая открывающаяся вакансия привлекала целые толпы соискателей. Питейный советник играл в губернском обществе роль: он был непременным старшиной местного клуба; на его обязанности лежало составление для губернатора партии в вист; он беседовал с архиереем о бессмертии души и, в довершение всего, пользовался секретным доверием местного штаб-офицера, который по секрету сообщал ему, что главная его секретная обязанность заключается в том, чтоб секретно утирать слезы. Сверх того, он любил творить тайную милостыню, то есть правою рукою подавал нищему грош, а левую оставлял в заблуждении, якобы подан рубль. И в конце года, подведя итог накопленному сокровищу, клал оное в опекунский совет для приращения из процентов.

В таком виде сложился тип советника питейного отделения в момент учреждения этой должности, и в том же виде сохранился он и в момент упразднения оной.

Таков же был и Иван Алексеич Ненарочный.

Он взял Машу даже без прилагательного, ибо провидел, что в этой девице будет толк. Ему не красота была нужна,— он видел в женщине лишь посланное судьбою орудие на случай телесного озлобления,— а домовитая хозяйка, которая взяла бы в руки бразды домашнего управления, а ему дала бы возможность всецело и без помехи отдаться присовокуплениям и созиданиям. И от времени до времени рожала бы детей. Маша все так точно и выполнила. Хозяйничала отлично и, сверх того, в течение двадцати лет супружества, принесла мужу семь человек сынов. Так что когда откупа были упразднены, то Иван Алексеич мог с легким сердцем произнести: «ныне отпускаеши» — и подать в отставку.

Ненарочные и Неугодовы, как и следует добрым родственникам, находились в постоянной вражде. Неугодовы гордились своим аристократизмом и совершенно справедливо полагали, что если бы при такой блестящей фамилии да сокровище Ненарочных, то это было бы им как раз в самую пору. Ненарочные не гордились, но и искательства не выражали, а держали себя осторожно, как бы с минуты на минуту ожидая, что при малейшей оплошности Nathalie непременно попросит у них денег. В последнее время, однако ж, со стороны Ненарочных сделаны были серьезные попытки к сближению, так как проницательный взор Ивана Алексеича отлично усмотрел,

что в лице Феденьки на неугодовском горизонте восходит блестящая звезда.

Итак, ко мне явился Саша Ненарочный. Уже по прежним письмам кузины Маши я знал этого молодого человека с отличной стороны. «Саша,— писала она мне не раз (очевидно, впрочем, что письма сочинял Иван Алексеич, а она только переписывала),— отменно радует мое родительское сердце. Он почтителен, прилежен, аккуратен и нимало не сердится на младших братцев, когда сии последние просят его что-нибудь объяснить им из арифметики. За всякую ласку благодарен, тетрадки содержит в порядке и, что всего приятнее, никому не доверяет своего форменного мундирчика, но сам оный чистит». И действительно, он предстал предо мной именно таким, каким его описывала Маша. Телосложение обстоятельное, румянец во всю щеку, рот сердечком, глаза веселые, но не столько вследствие свойственной юношескому возрасту шаловливости, сколько вследствие выработанного убеждения, что унылое выражение может огорчить старших и благодетелей.

Вообще, при взгляде на него, рождалась уверенность, что этот юноша никому своего мундирчика не поверит, но сам его вычистит, а в то же время вытвердит и урок. Мне кажется, что именно таков был Аракчеев в молодости: аккуратный, равно готовый принять и орден и затрещину и постоянно решающий в мыслях не очень сложную арифметическую задачу. Даже лоб у Сашеньки был аракчеевский: узкий, слегка как бы угнетенный.

Как я уже сказал, он тотчас же явил беспримерную ловкость. Не успев поймать мою «ручку», облобызал меня в уста и потом от времени до времени стал украдкой поцеловывать в плечико. Сначала это меня беспокоило, но потом думаю: а может быть, он этим способом прицениваемся, что сто̀ит суконце на моем сюртуке?

Одним словом, Сашенька сделал на меня такое приятное впечатление, что будь я не старик, а старушка со средствами, то, кажется, и цены бы ему не нашел.

— Кончил гимназию? — спросил я его.

— Кончил, дяденька, и удостоен первым-с.

— Отлично! Это тебе делает честь, что родителей радуешь!

Я обнял его и вдруг, как бы проникшись дидактической сферой, которую принес с собой Сашенька, присовокупил:

— А вот тем детям, кои, вместо радостей, приносят родителям лишь огорчения,— это чести не делает.

Не успел я раскрыть рот от удивления, слыша таковую змеиную мудрость, из уст моих исходящую, как Саша уже

воспользовался ею, чтоб поддержать разговор на философической высоте.

— Именно таково и мое, любезный дядюшка, убеждение,— скромно ответил он,— и ежели вы дозволите мне высказать его вполне...

— Говори, любезный друг! не стесняйся!

— Я полагаю, милый дяденька, что прежде всего мы, дети, обязаны любить бога, создавшего нас всех, а непосредственно затем родителей, начальников и добрых родственников. Таковы правила, в которых воспитывался я и все мои братцы.

— Прекрасные правила! продолжай!

— Потому что ежели мы не будем любить бога, то сделаемся через это безбожниками, и тогда нѐ к кому нам будет, в случае несчастья, обращаться с молитвой о помощи. Если же не будем любить и почитать родителей, то последние могут за это лишить нас своих милостей. Что же касается до начальников, то вы сами, любезный дядюшка, знаете, можно ли их не любить?

— Еще бы!

— Обладая столь твердыми правилами, я стараюсь, по возможности, не отступать от них. А ежели и затем мне, как человеку, не свободному от слабостей, случается возбудить против себя справедливый родительский гнев, то я стараюсь чистосердечным раскаянием загладить свою вину и тем предотвратить угрожающие мне в будущем бедствия!

— Ах, голубчик!

— Я и вас, дяденька, люблю,— прибавил он, слегка застыдившись.

— Меня-то за что?

— Во-первых, потому, что я вообще всех родственников обязан любить, а во-вторых...

— Отлично! поцелуемся — и шабаш!

Я поцеловал его и, целуя, думал: а еще говорят, что нынешние молодые люди дерзкие — ан вон он какой! как огурчик!

— Ну, а в Петербург зачем приехал? В здешний университет, что ли, поступить хочешь?

— Нет, я буду оканчивать образование в Московском университете: поближе к родителям. В Петербург же я приехал, во-первых, для того, чтоб представиться вам, добрый дяденька, а во-вторых, потому, что папенька полагает, что для меня поездка эта будет не бесполезна. Когда я выдержал последний экзамен, то папенька подарил мне вот эти часы (Саша вынул из кармана хорошенькие часики и показал их мне) и сказал: теперь ты уже юноша, и необходимо тебе самому ре-

гулировать свое время — не все под родительским крылом жить... Признаюсь вам, любезный дяденька, мне было ужасно больно слышать последние слова...

Говоря это, он был слегка взволнован, и на глазах его блеснули слезы.

— Ну, что̀! не плачь! бог милостив... как-нибудь!

— Нет, дяденька, это очень... никогда я этой минуты не забуду. Зачем папенька сказал такие жестокие слова? Они так меня тронули, что я в первый раз в жизни осмелился попенять ему: «Зачем,— сказал я,— вы изволили упомянуть о разлуке, милый папенька? Если вам угодно было признать, что временная разлука наша необходима, то воля ваша будет выполнена, но зачем же огорчать мое сердце предположениями о каком-то самовольном с моей стороны регулировании времени!» К счастию, однако ж, все объяснилось, и папенька не только не забранил меня, но очень милостиво продолжал свои наставления. А теперь, сказал он, поезжай в Петербург! Во-первых, тебе необходимо отрекомендоваться добрым родным, во-вторых, ты оказался вполне достойным вкусить некоторых столичных удовольствий, а в-третьих, да послужит тебе эта поездка испытанием, и ежели ты и из столичных искушений выйдешь невредимым, то это будет означать, что ты уже вполне заслужил аттестат зрелости. Об одном прошу: как можно остерегайся ужасной болезни, которая, при дурном лечении, может навек лишить человека свойственного ему благообразия. А, впрочем, дядя тебе все это лучше меня объяснит!

— Гм... Стало быть, на меня возлагается обязанность водить тебя по мытарствам?

— Ах, дяденька! Представьте себе, папенька точно угадал, что вы сделаете это предположение! Одного опасаюсь, сказал он маменьке, как бы братец не подумал, что мы предназначаем ему роль искусителя? Но маменька, зная вашу душу, положительно вооружилась против этой мысли.

— И превосходно сделала. Дай, я еще раз тебя поцелую.

Выполнивши это, я, однако ж, спохватился: все поцелуи да поцелуи — не слишком ли это уж однообразно? Поэтому я вынул красную ассигнацию и, подавая ему ее, присовокупил:

— А чтобы доказать тебе, что я люблю не ложно,— вот десятирублевенькая. Это тебе на столичные искушения.

— Благодарю вас, дяденька. Хотя, по милости папеньки, у меня есть и деньги, но ваш подарок мне дорог, как знак милостивого ко мне расположения. Теперь я, кажется, вполне обеспечен. Папенька мне двести рублей на дорогу и на удовольствия пожаловал, да маменька двадцать рублей — это уж

когда я в вагон садился, в виде сюрприза. А вот теперь и вы, милый дяденька. Надеюсь, что до переезда в Москву этого будет достаточно.

— Еще бы! здесь тебе ничего не нужно, а что касается до поездки в Москву, то за твой ум тебя любой кондуктор задаром в вагоне постоять пустит! С чего же, однако ж, мы искушения наши начнем?

— Я думаю, дяденька, в кондитерскую, с вашего позволения, сходить.

— В кондитерскую — это ты всегда успеешь. А мы вот как сделаем: отобедаем, отдохнем по-христиански, а потом и закатимся на всю ночь в Демидрон. Там ты сразу увидишь, в каком смысле тебе понимать себя надлежит.

— Демидрон... это что же такое, дяденька?

— Это, мой друг, jardin de familles russes [1] так называется, то есть сад, в котором русский семейный союз преимущественное осуществление для себя находит. «Штучку» я тебе там одну покажу — пальчики оближешь!

— «Штучка» — это не то ли самое, что папенька «сиренами» называет? Впрочем, даже и в этом смысле я не отказываюсь следовать вашему указанию, любезный дяденька, ибо надеюсь с честью выйти из предстоящего испытания. Одно только позволю себе доложить вам: ловко ли будет мне появиться в Демидроне прежде, нежели я представлюсь братцу Федору Семенычу?

— Неугодова едва ли ты скоро увидишь: он нынче в десяти комиссиях заседает.

— Но в таком случае, от кого же мне о здоровье тетеньки Натальи Петровны узнать?

— И это мудрено. Nathalie была здесь недавно и опять уехала в Париж. Да она уж не Неугодова теперь, а Дроздова. Во второй раз замуж вышла.

— Я, дяденька, с вашего позволения, ей в Париж напишу; неловко же не поздравить тетеньку с вступлением в новую жизнь. Ведь для письма в Париж семикопеечной марки достаточно?

Повторяю: чем больше я знакомился с этим юношей, тем больше он меня очаровывал. Но так как и очарованию полагается известный предел, то я был очень доволен, когда Саша спросил позволения на время оставить меня, чтобы написать письма к родителям, а также к тетеньке Наталье Петровне. Разумеется, я снабдил его всеми письменными принадлежностями и был очень утешен, прочитав в его глазах решимость,

---

[1] русский семейный сад.

не отказывая себе в излиянии чувств, предаваться оному, однако ж, лишь настолько, чтобы письмо весило не более одного лота.

За обедом мы опять сошлись, и беседа возобновилась.

— Надеюсь, что ты не вмешиваешься во внутреннюю политику? — спросил я.

— Я, дяденька, всегда старался стоять в стороне от обольщений, и до сих пор бог помогал мне в этом. Тем не менее не смею не сознаться перед вами, что однажды и я чуть-чуть на каторгу не попал.

Я даже подскочил при этом известии.

— Что̀ ты!!

— Мне было тогда тринадцать лет, и вдруг один из товарищей, Сипко̀, говорит: пойдем, Саша, Селиксу волновать — это село так называется, недалеко от Пензы. Конечно, я, по неопытности, согласился. Купили мужицкие портки, бороды фальшивые подвязали — и отправились волновать. И только что, знаете, приступили, как нам сейчас же руки назад и марш к становому! Ну, разумеется, становой знал папеньку и отправил меня домой.

— Ах бедный ты, бедный! Хорошо, что бог спас!

— Я, дяденька, в то время так испугался, что человек с пятьсот оговорил. Даже маменьку назвал-с...

— Ах!

— Разумеется, маменька легко оправдалась, но некоторые, как я потом осведомился, получили достойное возмездие.

— Правильно!

— Я, дяденька, об этом так рассуждаю: кто что посеет, то и пожнет. Никто не вправе претендовать на судьбу, ибо люди, будучи одарены от бога свободною волей, суть сами единственные виновники тех злоключений, которые ожидают их в сей жизни и в будущей.

— Однако вот ты ходил волновать Селиксу, а вывернулся-таки?

— Я, дяденька, потому вывернулся, что чистосердечно все рассказал-с. А сверх того, всякий очень хорошо понимал, что и папенька не оставит меня без взыскания.

— А больно папенька высек?

— Это случилось тому назад пять лет, и папенька так милостив, что никогда не напоминает мне об этом. Я же, с своей стороны, могу сказать одно: с тех пор я никогда в политику не вмешиваюсь.

Прекрасный, прекрасный, прекрасный юноша! Правда, он, по-видимому, не очень изобретателен, и речь его положительно отзывается какою-то прелью, но, по моему мнению, для ро-

дительского сердца это даже лучше. Далеко ли пойдет Сашенька в будущем или застрянет в самом начале жизненного пути в должности регистратора — это вопрос, на который я не берусь ответить. Но сдается, что ежели начальство беспристрастным оком взглянет на его усилия, то оно, наверное, даст ему возможность добраться до чего-нибудь тепленького. Тем больше, что папенька однажды уж высек его, и, стало быть, совсем невероятно, чтоб он вновь решился волновать Селиксу. Высечь во благовремении — вот последнее слово педагогики, и благо тем, которые испытывают на себе спасительную силу его! Скорее можно ожидать продерзостных поступков от такого превыспренного юноши, как Феденька Неугодов,— и кто знает? — может быть, именно благодаря тому, и можно ожидать, что Nathalie никогда не секла его, а только грозилась посадить в смирительный дом. Благодаря своей превыспренности Феденька сделался честолюбив и как-то болезненно чувствителен ко всем вопросам, до прохождения службы относящимся; так что ежели, например, обойти его к празднику наградой, то он, пожалуй, будет способен и на потрясение основ пойти. Разве мало таких случаев бывало? Я лично знал одного статского советника, который ждал к пасхе Владимира 3-й, а получил корону на св. Анны, так он прямо с того и начал: что такое государство? — говорит,— покажите мне его! Если б оно было не миф, то я бы видел его или, по малой мере, ощущал бы на себе его действие! А то — помилуйте! — корона на Аннушку! Обрадовали!

Вот таких-то превыспренностей и нельзя от Сашеньки ожидать. Прекрасный, прекрасный, прекраснейший молодой человек!

— И отлично делаешь, что не вмешиваешься,— похвалил я его,— потому что политика — это что такое? Один раз пошалил — сошло с рук, а в другой раз — и поминай как звали! Вот какова, мой друг, наша политика!

— Я это знаю, дяденька, хотя собственно, в применении ко мне, заблуждение мое принесло мне гораздо больше удовольствия, нежели неприятностей. Мне надавали тогда столько лакомств, что даже когда я поделился с братцами — и тут оказался избыток. А сверх того, в нашем «Справочном листке» была напечатана статья «Спасительные плоды отеческого непопустительства», в которой автор, отдавая справедливость папенькиной строгости, отозвался в самых лестных выражениях и обо мне.

— Вот как!

— Да, дяденька, это были минуты какого-то общего энтузиазма, так что наш родной город прислал папеньке адрес,

в котором, благодаря за искусное обращение на путь истинный заблуждающихся, поднес ему звание почетного гражданина... Но что всего отраднее: недавно, уже за пределами родной губернии, я вполне убедился, что похвальный поступок никогда не остается без награды!

— Как! даже за пределы Пензенской губернии проникла твоя слава?

— Представьте себе, по приезде в Рязань, я хотел взять билет для дальнейшего следования, как вдруг подходит ко мне начальник станции и спрашивает: «Не вы ли тот благородный молодой человек, который, по словам «Справочного листка», будучи высечен папенькой, откровенно рассказал, как было дело?» И когда я ответил утвердительно, то он продолжал: «В таком случае не трудитесь брать билет! Мы за особенную честь сочтем доставить вас в Москву бесплатно!» Согласитесь, дяденька, что я имел полное право прослезиться, услыхав такую лестную для меня резолюцию.

— Помилуй, мой друг! да если бы ты не прослезился, то просто поступил бы как свинья!

— Но это еще не все-с. Не успел я, по приезде в Москву, отъявиться на Страстной бульвар, как мне подарили «Полный греческо-русский словарь», а вслед за тем общество ревнителей российского благонравия задаром свозило меня в одно из увеселительных заведений, где я слышал пение госпожи Зориной.

— Надеюсь, что ты и по этому случаю прослезился?

— Дяденька! мог ли я иначе поступить?

Я слушал эти детские признания, и сердце во мне таяло. Признаюсь откровенно, в мою голову даже заползла дерзкая и честолюбивая мысль. Ежели папà-Ненарочный был удостоен от родного города звания почетного гражданина за то, что высек Сашеньку, то отчего же бы и мне... Но, к счастию, приятное послеобеденное отяжеление заставило меня отказаться от соответствующего по сему предмету распоряжения.

Отдохнувши и напившись чаю, мы часов в десять отправились в Демидрон.

Но тут последовал целый ряд происшествий, до такой степени фантастичных, что я ничем другим объяснить их себе не могу, как разве тем, что от московского общества ревнителей российского благонравия была разослана во все петербургские увеселительные заведения особая циркулярная

телеграмма, извещающая о предстоящем приезде в Петербург благородного юноши, который, будучи высечен папенькою, навсегда отказался от внутренней политики.

Уже при самом входе в сад меня поразила какая-то загадочная опрятность, вовсе несвойственная этому месту. Затем начался ряд сюрпризов. Прежде всего, когда мы подошли к кассе, чтоб взять билеты, нам объявили, что нас обоих велено пропустить даром, а товарищу моему, сверх того, предоставляется даровой билет в кресла и жетон на безвозмездное получение порции чая. Когда же мы вошли в сад, то взорам нашим представилась следующая картина: официанты в белых галстуках, взявшись за руки, стояли шпалерой и сдерживали напор публики, жадно караулившей наше появление; оркестр, усиленный несколькими посторонними хорами, гремел марш на мотив из «чижика»; несколько поодаль виднелась освещенная бенгальским огнем живая картина, изображающая аллегорические фигуры Родительского Сечения, Раскаяния и Откровенности, у ног которых корчилось и издыхало на смерть пораженное Обольщение, а наверху парил гений Благонравия. Не успели мы сделать несколько шагов, как навстречу нам, в предшествии околоточного надзирателя, вышел содержатель сада, сопровождаемый девицами Филиппо̀ и Салинас (обе были «на сей только раз» одеты в трико̀, наподобие древних статуй), и прочитал Сашеньке адрес. В этом адресе, рассказав подробно историю сечения и его благотворные последствия, г. Егарев объявил, что Демидрон считает себя счастливым, поднося Сашеньке диплом на звание почетного гражданина этого заведения. Причем объяснив, что звание это влечет за собой право на бесплатный вход в сад и на бесплатную же порцию чая — навечно! — и вручая соответствующие документы, присовокупил:

— Почтеннейшему же родителю вашему передайте, что, не имея возможности чествовать его лично, мы сделали распоряжение, дабы одна из шансонеток сегодняшнего репертуара была посвящена прославлению родительской спасительной строгости (действительно, шансонетка эта была в свое время выполнена, и когда речь шла о спасительной строгости, то исполнительница, девица Филиппо̀, так выразительно хлопала себя по ляжке, что публика просто-напросто выла).

Кончивши приветствие, г. Егарев прослезился, а в ответ ему прослезился и Сашенька. Но что было всего неожиданнее — это роль, которая выпала в этот вечер на долю девицы Филиппо̀. В начале церемонии поднесения адреса Сашенька был так отуманен, что все свое внимание исключительно сосредоточил на г. Егареве. Но когда адрес был уже вручен, то

виновник торжества, облобызавшись с г. Егаревым, должен был, по правилам церемониала, облобызать и его ассистенток. Но едва он приступил к этому обряду, как из груди его вдруг вырвался пронзительный крик...

Что же оказалось! Что девица Филиппò некогда жила в семействе Ненарочных в качестве наставницы и первая посеяла в сердце Сашеньки семена благонравия! Вот какими загадочными и даже, можно сказать, непозволительными путями ведут нас судьбы для выполнения своих благих замыслов.

— Eh bien, morveux, es-tu content?[1] — спросила очаровательница после первых горячих приветствий признательности и тут же, вынув из-за пазухи диплом на беспрепятственный вход за кулисы театра, вручила его виновнику торжества.

Я целый вечер ходил как в тумане. Я гордился моим юным другом и чувствовал, что его торжество отчасти простирается и на меня. Хотя мне не дали ни дарового билета в кресла, ни права на получение порции чая, но все-таки пустили в сад даром, а чаем, в порыве великодушия, угостил меня Сашенька — тоже даром. Сверх того, я понимал, что своим присутствием в моей квартире он, так сказать, обеспечивал мою жизненную несменяемость, а так как для меня это очень важно, то я начал даже опасаться, чтоб как-нибудь его от меня не сманили. Поэтому я с живейшим беспокойством следил, как некоторые вышедшие из лет отставные действительные статские советники, окружив его, наперерыв друг перед другом потчевали сластями. Но беспокойство мое превратилось в настоящий испуг, когда по окончании представления к нам подошла девица Филиппò и стала уговаривать Сашеньку, чтоб он поступил в труппу Демидрона. И очень возможно, что она успела бы в своем сатанинском намерении, если б преждевременно не оскорбила сыновних чувств Сашеньки, выразившись об кузине Маше: «Ta vieille carcasse de mère»[2]. Такой чересчур откровенный отзыв оскорбил юношу, и вследствие этого он не дал положительного ответа, а только обещал подумать.

Словом сказать, я успокоился только тогда, когда мы уже поздно ночью возвращались на извозчике домой. Вплоть до самого Невского мы молчали: он — потому что весь трепетал под наплывом новых ощущений, я — потому что не хотел нескромным словом потревожить сладостное чувство, охватив-

---

[1] Ну, что, доволен, сопляк?
[2] Старая кляча, твоя мамаша.

шее все его существо. Но на углу Большой Морской и Невского он не выдержал и с какою-то стыдливой нежностью обнял меня.

— Ах, дяденька! как я счастлив! как я счастлив! — произнес он.

Я хотел ему многое возразить, но сдержался. И только когда мы поравнялись с Милютиными лавками, я сказал:

— Друг мой! не увлекайся! Популярность, конечно, соблазнительна, но имей в виду, что всякая популярность, хотя бы она свила себе гнездо в Демидроне, непременно источает из себя яд. И этот яд, ежели не принять против него мер...

Но он не дал мне докончить и, поцеловав меня в плечико, произнес:

— Благодарю вас, добрый дяденька! Ваши слова... отрезвили меня! Я... не боюсь больше!

И действительно, после этого мы благополучно воротились домой и разошлись каждый по своим комнатам.

Тем не менее я провел беспокойную ночь. Как ни благонравен Сашенька, думалось мне, но подобные торжества могут хоть кого сбить с толку. Слава и популярность — вот две вещи, наиболее соблазнительные и в то же время наиболее ядовитые. И обеих их Сашенька достиг разом, в один вечер, достиг легко, без всяких усилий, благодаря только тому, что папенька благовременно его высек! Как бы он не изнемог, если то же явление повторится два дня сряду (мы предполагали на другой день посетить Крестовский остров). Поэтому я решился несколько изменить программу наших увеселений и сначала повезти моего юного друга в Зоологический сад, чтобы познакомить его с более отрезвляющим зрелищем кормления зверей и с зулусами. А чтобы придать этому столичному искушению больше разнообразия, предположил, сверх того, сводить Сашеньку в кондитерскую братьев Назаровых и угостить мороженым. В этих размышлениях застала меня утренняя заря, и только тогда я забылся тревожным сном.

Наутро я сообщил о моих решениях Сашеньке, и он вполне их одобрил. И вдруг он ошеломил меня вопросом:

— А до Зоологического сада не позволите ли вы мне, дяденька, сходить к Луизе Селиверстовне?

По пылающим его щекам я догадался, что речь идет о девице Филиппо̀, и сердце мое невольно сжалось.

— Послушай, мой друг! — сказал я, — выполним прежде первоначальную программу искушений, а посещение хранительницы твоей юности отложим до конца твоего пребывания в здешней столице! Ибо я знаю, что раз ты попадешь к Луизе Селиверстовне, она уж не выпустит тебя! И тогда может слу-

читься, что родители, встревоженные твоим исчезновением, вынуждены будут вытребовать тебя в Пензу по этапу. Сообрази сам, не придется ли папеньке твоему вновь прибегнуть к тем мерам, которые хоть и доставили тебе популярность, но повторение коих может, однако ж, поселить недоумение в сердцах твоих сограждан!

Эта рассудительная речь не очень-то пришлась по вкусу Саше, потому что в течение ее он несколько раз то краснел, то бледнел. И будь я несколько менее энергичен в моих выводах, очень возможно, что воспоминание о Луизе Селиверстовне, облеченной в трико, пересилило бы мою нравоучительную прозу. Но когда я упомянул о возможности путешествия по этапу, он не мог не признать моей правоты...

Увы! в Зоологическом саду нас ожидало торжество еще более умилительное, нежели в Демидроне. Едва подъехали мы к решетке сада, как единодушный и радостный рев животных и птиц возвестил нас, что мы — давно желанные здесь гости. И действительно, совершилось нечто волшебное. Прежде всего, выступил вперед громадный жираф и, от лица всех своих товарищей, приветствовал Сашеньку краткою, но прочувствованною речью. Затем последовало общее представление. Мы поочередно переходили от тигра к слону, от слона к пернатым, и везде слышали самые лестные приветствия. Даже гиена вильнула хвостом в знак сочувствия, а попугаи так просто-напросто одурели и начали лопотать что-то совсем нескладное. Когда же звери умолкли, то вышел вперед начальник зулусов (впоследствии разъяснилось, что он в то же время состоит арапом в клубе художников) и объяснил собравшимся гимназистам и кадетам значение настоящего торжества. Он очень толково рассказал, в каких обстоятельствах Сашенька был высечен, как он сам сознал, что иначе поступить было невозможно, и вот за это теперь превознесен; потом похвалил энергию Ивана Алексеича и, в заключение, обратившись ко мне, присовокупил: «А ты, дядя, веселись!» Речь эта возбудила такой энтузиазм, что когда вслед за тем начался «большой танец зулусов», то вся присутствовавшая в саду молодежь вмешалась в их игры, и таким образом сам собою, без всяких мер строгости, образовался истинно семейный праздник.

Нет надобности упоминать, что ни с меня, ни с Сашеньки не было взято за вход ни копейки, а Сашеньке, кажется, даже была вручена какая-то мелочь, когда мы садились на извозчика.

Справедливость требует, однако ж, сознаться, что нынешнее торжество подействовало на Сашу несколько иначе, не-

жели вчерашнее. Вчера он был взволнован и стыдлив, сегодня — самонадеян и даже несколько нагл. Так что, когда я напомнил ему:

— Ну, вот если б ты давеча не послушался меня и ушел к Луизе Селиверстовне, то ничего бы этого не было! — то, к величайшему моему изумлению, он совершенно развязно ответил:

— Ах, дядя, я позабыл и думать об этих пустяках! Знаете ли, какая у меня теперь мысль: давайте-ка вместе издавать газету!

И так как я, онемев от неожиданности, безмолвствовал, то он продолжал:

— Теперь самое время. Я популярен, и газета моя будет покупаться нарасхват. А за мною и вы незаметно пройдете!

Ужели и я буду вынужден высечь его! мелькнуло у меня в голове, но, по счастию, мы в эту минуту поравнялись с кондитерской братьев Назаровых, и это лишило меня возможности сообщить моей мысли надлежащее развитие.

Оказалось, что и Назаровым все было уже известно, так что и тут с нас ничего не взяли за угощение. Этого мало: когда мы возвращались домой пешком, то от самой Караванной за нами шла толпа, провожавшая нас кликами: вот благонравный юноша, который, быв высечен папенькой, навсегда отказался от внутренней политики!

Я не буду описывать дальнейших триумфов Сашеньки. В «Баварии», в «Ливадии», на Крестовском, в «Эльдорадо», в «Шато-де-Флёр» — везде он был дорогим и желанным гостем, а из Озерков тамошние дамочки даже послали на имя кузины Маши телеграмму, в которой благодарили ее за вступление в брак, плодом которого был столь благонравный сын.

Когда же исчерпался репертуар торжеств в увеселительных заведениях, то на сцену выступили учреждения и установления.

Городская дума прислала Сашеньке патент на звание почетного члена трактирной депутации.

Государственный банк дал знать, что ежели у Сашеньки имеются ветхие ассигнации, то он во всякое время может переменить их на новенькие, причем присовокупил, что по предъявлении таковых выдается из разменной кассы банка соответствующее количество рублей серебряною или золотою монетою.

Общество взаимного кредита уведомило, что Сашенькины деньги могут быть без опасения помещены в оном на текущий счет, так как отныне растраты перестали быть для общества обязательными.

Из участка пришел запрос: не примет ли Сашенька место паспортиста?

И проч., и проч.

Словом сказать, депутации сменяли одна другую, и всякая выражала Сашеньке свое удивление и благодарность за то, что он, быв высечен папенькой, навсегда отказался от внутренней политики...

К сожалению, по мере того как росла Сашенькина слава, сам он становился все более и более самонадеянным. Нервы его уже притупились, а развязность дошла до того, что он начал требовать от депутатов каких-то статистических сведений, и когда они, натурально, не умели удовлетворить этому требованию, то он откровенно называл их фофанами. И, к довершению всего, мысль об издании газеты не только не оставила его, но даже вполне в нем созрела, так что однажды он совсем уже грубо спросил меня:

— Что же, дядя? Надумались ли вы насчет газеты? Предупреждаю вас, что если вы будете мямлить, то я решусь издавать один!

Тогда я понял, что времена созрели, и, призвав на помощь всю силу родственной любви, на которую способно мое сердце, воскликнул:

— Ну, Саша! воля твоя, а в видах твоего же собственного спасения, я должен высечь тебя!

ПЕРВОЕ ОКТЯБРЯ

Для писателя нет большей награды, как иметь публику, которая настолько ему верит, что даже от времени до времени удостоивает его непосредственным с собою общением. Я могу считать себя одним из таких счастливцев. Говорю об этом не ради хвастовства, но именно потому, что горжусь. Уверенность, что есть существо, которое откликается на вашу мысль и волнуется вашими волнениями, которое в вашей работе видит не балагурство, а убежденность, которое понимает, что служение литературе есть путь трудный и до известной степени даже сопряженный с калечеством,— эта уверенность, говорю я, не только приятная, но почти равняющаяся наслаждению. Наглотавшись от представителей современного русского критиканства разных эпитетов, вроде «непочтительного хама», «балагура», «бессознательного шута», «ругателя» и т. д., приятно убедиться, что эпитеты эти не пользуются симпатиями в среде читающей публики. И я воистину имел

возможность убедиться в этом, потому что, за все время моей литературной деятельности, отношения ко мне читателей имели характер почти исключительно благожелательный и симпатичный. Только раза два (один раз по поводу «Дворянской хандры», в другой раз не помню, по какому поводу) неизвестные корреспонденты писали мне: замолчи... бесполезный старик! И, помнится, я даже серьезно задумался над этим предостережением. В самом деле, думалось мне, не пора ли это занятие прекратить? Ведь настоящего-то слова, как ни бейся, все-таки не выговоришь, так не лучше ли попросту без затей замолчать? Но, сообразив все доводы pro и contra[1], я решил иначе. Очень возможно, сказал я себе, что «старикам» действительно приличнее думать о смертном часе, нежели о собеседованиях с живыми людьми, но ведь для дела тогда только бывает полезно, что вышедший из лет рабочий снимает с себя тягло, когда на место его уже явился новый рабочий, а, пожалуй, и целых два. Но в современной русской литературе мы видим явление совершенно противоположное: новые рабочие силы появляются туго, а старые сходят с арены сами собой, естественным путем. Стало быть, ежели, сверх того, старые тягольники будут еще добровольно обрекать себя на молчание, то, пожалуй, литература совсем течение свое прекратит, и останется одно цензурное ведомство. А сверх того, и то еще сдается, что старики не всё же одни праздные слова говорят. Иногда выдастся что-нибудь и не бесполезное: воспоминание, справка, забытый, но не лишний, по обстоятельствам, образ и т. д. Ужели все это уже такой ненужный сор, который заслуживает только укора? Словом сказать, взвесил, рассудил и решил дело в свою пользу, то есть стал продолжать писать.

Но как ни приятно, что читатели удостоивают меня доверием, а некоторые даже приносят жалобы и требуют распоряжения по оным, нужно сознаться, однако ж, что я не всегда и не все властен сделать. Для меня это тем необходимее объяснить, что, не имея в своем распоряжении канцелярии, я не могу быть вполне исправным корреспондентом и, вследствие этого, рискую подвергнуться упрекам в нерадивости и бездействии власти, совершенно мною незаслуженным, что со мною однажды уж и случилось.

Я помню, в период так называемого обличительного направления моей литературной деятельности я был буквально завален всякого рода жалобами на несправедливые и несогласные с интересом казны действия различных ведомств.

[1] за и против.

И жалобы эти были не голословные, но поддерживались фактами, о которых и сообщалось, на предмет «отделки» в ближайшем «обличении». К сожалению, однако ж, я никаких существенных распоряжений к удовлетворению этих жалоб сделать не мог. С одной стороны, факты, изолированные от жизненной обстановки, которая их породила, представляют настолько скудный материал для воспроизведения, что я совершенно не мог воспользоваться ими для моих литературных работ, а с другой — я не имел в своем распоряжении подчиненных, при посредстве которых мог бы, по произволению, восстановить нарушенное право. Поэтому мне оставалось только указывать, что с подобными жалобами надлежит обращаться не ко мне, а в правительствующий сенат.

Понятно, однако ж, что такого рода указание не могло не подействовать на моих доверителей разочаровывающим образом. Вероятно, многие из них сказали себе: эге! ты, видно, прыток, а не силен! а другие прямо заподозрили, что я не то чтобы не могу, а не хочу, или, лучше сказать, берегу свою шкуру. Пошла худая молва, и хотя публика продолжала благосклонно относиться к моим трудам, но вера в могущество обличительного дела уже прекратилась. А вместе с тем, временно перемежилось и непосредственное общение между мною и моими доверителями.

Наступил период затишья, в продолжение которого я очень страдал. Доверители уже не обращались ко мне с жалобами, но по-прежнему начали кому следует барашка в бумажке предлагать, приговаривая: этак-то будет прочнее. Выходило, что я как будто только спутал их: научил фордыбачить и кобениться, а ка́к это фордыбаченье отстоять — средств не преподал. Ходили даже такие слухи, что многие, увлеченные моими обличениями, до такой степени оплошали, что впоследствии вынуждены были целыми стадами отчуждать баранов, лишь бы восстановить потрясенную фордыбаченьем репутацию. Все это, повторяю, серьезно огорчило меня, и хотя совесть моя оставалась спокойной, но я все-таки не счел себя вправе не воспользоваться уроком.

Я сказал себе: доныне я обличал мздоимцев и казнокрадов, но, в противоположность всем моим намерениям, произошло нечто совсем неожиданное: обличения не только не прекратили мзду, но даже удесятерили размеры ее. Правда, что одновременно и экономические условия чиновнического быта значительно осложнились, но главную причину увеличения мзды все-таки составляло обличение. Определяя размеры предстоящего приношения, мздоимец говорил: вот эта часть —

по бывшим примерам, вот эта — по случаю увеличения цен на съестные припасы, а вот эта — на случай обличения. Причем последняя доля, наверное, равнялась семи десятым общей суммы приношения. Все это прямо указывало, что мздоимцев следует оставить в покое, по крайней мере, до тех пор, пока между ними и обывателями не состоится полюбовное соглашение, которое на прочных основаниях установит их взаимные отношения.

Сказано — сделано. Но вопрос: о чем же писать? Однажды мысль потревожена, надо дать ей пищу — какую? Вот тогда-то именно я и принял решение, при котором остаюсь и до сих пор: писать так, чтобы всем было одинаково приятно, и мздоимцам, и партикулярным людям.

Наша изба не одними мздоимцами красна; и между обывателями достаточно выжиг найдется, которых ежели начать перебирать, то, наверное, читатель останется доволен. Дерунов, Неугодов, Разуваев, Балалайкин — каких еще героев надо! Отечество продают, присных обездоливают, жен и дев в соблазн вводят — ужели та̀к им это и простить?

А сверх того, и еще: очень уж жить тяжело становится; почти противно. И не от того одного, что харчи с каждым днем дорожают, а и от того, что вообще как-то не по себе. Все думается: когда же нибудь, однако, она начнется, эта самая жизнь, а она, вместо того, только пуще да пуще вглубь уходит. Пожалуй, та̀к, наконец, схоронится, что и отыскать нельзя будет. Как хотите, а это тоже сюжет, о котором, хоть и без пользы, но все-таки можно поговорить...

Я знаю: критиканы, обзывающие меня балагуром, сейчас же изловят меня. Зачем, скажут, ты вклеил фразу «хоть и без пользы»? ведь это ты сбалагурил? — нет; я не сбалагурил; напротив, я совершенно искренно и серьезно убежден, что, по нынешнему времени, говорить можно именно только без пользы, то есть без всякого расчета на какие-нибудь практические последствия. Но для чего ж тогда говорить? А для того, милостивые государи, чтобы от времени до времени напоминать самому себе, что дар слова не есть

Дар напрасный, дар случайный,—

но действительное отличие человека от бессловесных. Только для этого.

И вот, настроивши лиру, я начал бряцать. И чем больше бряцал, тем шире растворялись сердца и прочнее восстановлялось интимное общение, которое временно пошатнулось под влиянием тщеты обличений. Должно быть, в сердцах читателей порядочно-таки наболело; должно быть, и им по горло

надоели все эти неуклонные осуществители самоновейших принципов современности, эти проворные хищники, от которых ни в какую нору нельзя уйти, чтоб они не заползли следом и не присосались. Да надоел и самый жизненный процесс. Не живешь, а в оцепенении движешься, словно выморочное имущество, которым всякий встречный помыкает, покуда, наконец, не выйдет решение: имущество сие, яко выморочное, отписать в казну.

Нет спора, что перспективы, на которые я указываю, не весьма заманчивы, но коль скоро они не отталкивают, но привлекают партикулярного человека, то это значит, что последний сам видит их неизбежность, сам болеет теми же болями, какими болею и я. Наш недуг общий, только он не для всех и не всегда ясен, и, в большинстве случаев, он выражается лишь в смутном сознании, что человека как будто не прибывает, а убывает. Но когда причины, обусловливающие тревогу, выясняются, то это не только не раздражает, но даже в известной степени смягчает причиняемое недугом страдание. Ибо уже в самом указании признаков недуга партикулярный человек почерпает для себя косвенное облегчение. Помилуйте! доныне он изнывал, как слепец, а отчасти даже суеверно трепетал перед обстановкой своего недуга, считая ее неизбывною, от веков определенною,— и вдруг, благодаря объяснениям, смешения эти устраняются! Явления утрачивают громадные пропорции, которые так давили воображение, и размещаются в том порядке, в каком им естественно быть надлежит... Ужели это не утешение? ужели не утешение сказать себе: сначала — ясность, а потом — что бог даст?

. . . .

В сентябре я получил целую массу писем, которые доказали мне, что публика именно с этой точки зрения относится к моим посильным литературным трудам. Моя хроника «Первое августа», по-видимому, произвела свое действие, то есть заставила даже таких упорных противников, как Тарас Скотинин и Дерунов, признать за моими писаниями некоторую пользу. Из числа этих писем, я позволяю себе привести здесь только несколько наиболее характерных.

«Руку, земляк! Собственность признаешь, семейство приемлешь, государство чтишь — на что̀ лучше! Разумейте языцы — и разговору конец!

Так, сударь, и надо. Ах, очень нынче нужно об собственности почаще напоминать, ибо весьма на сей счет в нашей ме-

стности слабо стало. Даже племянник мой, Митрофан, и тот оными идеями заразился, и вот уж который год мы оба из камеры мирового судьи не выходим, всё судимся. По сей причине даже в Петербург сколько раз надумывал ехать: хочется от хороших адвокатов узнать, не могу ли я, как старший в роде, Митрофана в смирительный дом посадить? Сказывают, у вас такие адвокаты есть, которые могут доказать, что старшие даже сечь младших право имеют, но я сего уж не добиваюсь, а хотя бы в смирительный дом. Наши же пензенские адвокаты на сей счет трояко говорят: ежели я больше дам, то якобы можно; если Митрофан больше даст, то якобы нельзя; а ежели я еще больше дам, то и опять выходит, что можно. Так что и семейный союз будто бы от того зависит, кто лишний полтинник даст!

Да, слабо нынче вообще — это вы верно, мой друг, угадали. С тех пор как объявили ядовитую оную волю, и собственность, и семейство — все врозь пошло, а об государстве даже и не знаем, что̀ сей сон означает. Еще в Пензе мы, по мере сил, крепимся, а что в соседней Саратовской губернии и в Войске Донском по сему случаю творится — даже я, Тарас Скотинин, без слез взирать не могу! Уж на что̀ сестрица моя, госпожа Простакова,— и та с тех пор, как в балашовское свое имение переехала, сейчас же против священных сих основ вооружилась! Начала с того, что Митрофана прокляла, а ныне и на меня, старшего брата своего, войною пошла! Имел я с нею процесс о земле и, благодарение богу, успел ту землю в первой инстанции законным образом у нее оттягать. И что ж бы вы думали! вместо того чтоб покориться воле божьей и беспрекословно мне землю из рук в руки передать, а я бы ей, всеконечно, до смерти ее в доме моем приют дал, она подала на апелляцию, а Митрофан, сверх того, научил еще и прокурору заявление подать, будто бы с моей стороны подлог в деле сем совершен. И ныне, по апелляции, вновь это дело рассматривается, а обо мне следствие производится! Так вот в каком положении находится в Саратовской губернии семейный союз!

Итак, по сему случаю, а равно и по другим подобным, предвижу необходимость быть в Питере. Может быть, у вас насчет сего покрепче. И непременно у тебя, земляк, остановлюсь: авось-либо в литераторских палатах для старого друга угол найдется. Ведь, по правде-то сказать, мы не только земляки, но и родные: все от одного древнего Прогореловского рода линию-то ведем, и все одинаково с 61-го года в подсудимых значимся!

Тарас Скотинин».

«По приказанию его превосходительства г. действительного статского советника Рудина, имею честь Вас, Милостивый Государь, уведомить, что выраженные Вами в статье-хронике «Первое августа» чувства, относительно собственности, семейственности и государственности, признаются его превосходительством вполне с обстоятельствами дела сходственными и одобрения достойными.

Делопроизводитель *Лаврецкий*».

Сбоку приписано рукою г. Лаврецкого: «Считаю приятным долгом с своей стороны присовокупить, что объяснения Ваши произвели столь благоприятное впечатление, что его превосходительство вызвал к себе автора огорчившей Вас статьи «Наши охранители и наши прогрессисты» и просил его, в личное для себя одолжение, из списка неблагонадежных элементов Вас исключить. На что и получено благосклонное уверение, что надлежащее по сему предмету распоряжение будет немедленно сделано».

«Душка Щедрин!

Вот в чем дело, расскажу поскорее. Когда умер папаша, ничего после него не осталось; даже дом наш в Миргороде — и тот оттягал ненасытный Довгочхун. И вот я переехала на житье к тетеньке Феодулии Ивановне Собакевичевой, которая, после смерти дяденьки, осталась совсем одна, потому что, во время воли, все дворовые, а в том числе и верный Неуважай-Корыто, разбежались. И вот приезжает к нам прошлою осенью Павел Иванович Чичиков и говорит, что теперь он уж адвокат и ездит по помещикам, разузнаёт, нет ли у кого процессов. И вот тетенька ужасно ему обрадовалась и говорит: можете ли вы похлопотать, чтоб крепостное право хотя на тех вновь распространить, которые для прислуг и полевых работ необходимы, а прочие чтобы оброк платили? И он охотно на это согласился, и доверенность тут же написали, а марки он с собой гербовые возит — стóит только послюнить, и делу конец. И вот тетенька сорок рублей задатку дала, а ночевать ему отвели ту самую комнату, в которой он в 1841 году ночевал. И адрес, уезжая, он нам оставил: «С.-Петербург — Москва, на станции, спросить буфетчика Петра, а вас, милостивый государь, прошу передать кому знаете». И как у нас нет прислуги, то мы поверили. И вот мы ждем. И вот через девять месяцев у меня рождается сын. А так как он взял вперед сорок рублей денег, то я и поверила, что будет твердо, он же

хоть бы строчку написал, а между прочим, и насчет сына — разве это не подлость? И вот теперь за меня хороший человек сватается, Мижуев-Фетюк, и с сыном вместе берет, а я боюсь, и тетенька боится: вдруг ежели Павел Иваныч приедет! А теперь нам говорят, что Павел Иваныч все это на смех сделал и адрес будто бы фальшивый оставил — ведь это такая уж подлость, что мы с тетенькой думаем: неужто и этому верить? И вот мы не знаем, как в этом случае быть, потому что мы женщины, а для женского пола, говорят, закон не писан. Даже Неуважай-Корыто — и тот нас оглашенными называет, и мы не возражаем, боимся, как бы не вышло хуже. И вдруг тетеньке мысль пришла: напишем, говорит, к г. Щедрину! Он так собственность и семейство уважает, что непременно за нас заступится! А об государстве, говорит, покуда не проси! и так как-нибудь по женской своей должности проживем!

И вот я беру перо.

Душка! чудесный! голубчик! Нельзя ли все это в смешном виде представить, но так, чтобы Павел Иваныч непременно прочитал! Я уверена, что если вы захотите, то он раскается и опять к нам приедет. А комната у нас для него готова. И ежели он по тетенькиной доверенности ничего не выхлопотал, все-таки пусть приезжает или, по крайней мере, пусть хоть письмо пришлет, могу ли я за господина Мижуева выйти? А я как вам буду за это, голубчик, благодарна... вот увидите!

Ваша по гроб *Гапочка Перерепенкова*».

«Милостивый Государь.

Прочитав Вашу статью «Первое августа», я с удовольствием известился, что Вы собственность признаете, семейство приемлете, государство чтите. Посему, ежели при известном свидании [1], в разговоре насчет армий и флотов, что-нибудь ненарочно сказалось, в том прошу великодушно меня извинить, отнеся оное насчет моей простоты.

При сем нелишним, однако ж, почитаю представить на благоусмотрение Ваше нижеследующие мои соображения:

Пишете Вы, Милостивый Государь, что негоциант, ежели доподлинно собственность чтит, обязан дела свои в таком виде иметь, чтобы ежечасно быть готовым во всяком рубле перед публикою чистосердечный отчет дать. Откуда тот рубль пришел и как составился? сколько в нем копеек законного прибытка и сколько — грабежа? С своей стороны, не отрицая пользы, которая от такового чистосердечия произойти может, позволяю себе возразить лишь то, что, по званию нашему, одно

[1] См. «Благонамеренные речи». *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

что-нибудь: или дела делать, или отчеты отдавать. Ибо звание наше на этот счет довольно-таки строго, так что, если нужное для операций время мы станем употреблять для чистосердечиев, то операции запустим, а чистосердечиями никому удовольствия не предоставим.

Второе, пишете Вы, ежели который человек свою собственность блюдет, тот должен и чужую наблюдать — то и сие весьма приятно. Но позвольте Вам доложить: ежели я буду о собственности публики скорбеть, то не последует ли от сего для меня изнурения? а равным образом, не даст ли оно партикулярным людям такой повадки, что мы, дескать, будем праздно время проводить, а Дерунов за всех нас стараться станет? А награда — на небеси-с?

И еще замечаете Вы, что негоцианты, по роду своих занятиев, больше в Кунавине, нежели в семействах своих, время проводят, то и сие справедливо. Думается, однако ж, что ежели мы оный род занятий покинем, то как бы нам, в ожидании других занятиев, и вовсе при одном Кунавине не остаться.

Что же касается наставления Вашего, что необходимо первее всего отечество свое любить и в пользу оного жертвовать, то сие, безусловно, верно. И мы любить оное готовы, только не знаем, как. Посему, если бы начальство нас в сем смысле руководило и прямо указывало, на какое полезное устройство жертвовать надлежит, то, мнится, великая бы от сего польза произошла.

С истинным почтением и таковою же преданностью имею честь быть и проч.

Иосиф Дерунов».

«Милый cousin! Что такое ты написал, будто бы нынче мужчины больше в Кунавине, нежели в семействах, время проводят? Что такое Кунавино? Я просила Филофея Иваныча мне объяснить, но он говорит, что даме таких вещей знать не следует. Но отчего же? Объясни мне, пожалуйста, потому что, ежели я не буду знать, то все стану бояться, что вдруг Филофей Иваныч уйдет от меня в Кунавино. И я останусь без него.

Что касается до меня, то я очень счастлива. Одно только тревожит: денег мало. Сколько раз хотела обратиться к тебе, но Филофей Иваныч, прочитав твою статью, говорит: коль скоро братец об собственности стал поговаривать, то вряд ли он склонность к одолжениям сохранил. А я так думаю, что совсем напротив... Cousin! милый! только тысячу франков... можно?

Но ка̀к ты это хорошо сказал: «чужую собственность блюди, а свою — соблюдай!» — именно, именно так! И откуда

ты такие тонкие замечания почерпаешь! Филофей Иваныч прямо говорит: если бы все так было, как братец предположил, то ни мы, ни другие ни в чем бы не нуждались, и у всех было бы всего довольно! Не правда ли... милый?

A toi de coeur

Nathalie»[1].

«Прекрасно. Собственность признаешь, семейство — приемлешь, государство — чтишь! А о святой церкви и служителях ее... позабыл?

Иерей».

Я полагаю, этих образцов достаточно. Имея в свою пользу столь бесспорные свидетельства симпатии, я смело могу смотреть в глаза будущему, не опасаясь даже загадочного присовокупления насчет церкви и ее служителей, которым меня почтило лицо, скрывшее себя под псевдонимом «Иерей».

ПЕРВОЕ НОЯБРЯ

Как ни страстно привязан я к литературе, однако должен сознаться, что по временам эта привязанность подвергается очень решительным испытаниям.

Когда прекращается вера в чудеса — тогда и самые чудеса как бы умолкают. Когда утрачивается вера в животворящие свойства слòва, то можно почти с уверенностью сказать, что и значение этого слова умалено до металла звенящего.

И кажется, что именно до этого мы и дошли.

По старой, закоренелой привычке я как-то невольно обращаюсь к сороковым годам и там отыскиваю примеров для сравнений. Не потому, чтобы я был пристрастен к этой эпохе, видевшей мою молодость (я слишком часто говорил о слабых ее сторонах, чтобы быть заподозренным в пристрастии), а потому, что тогда, сдается мне, воистину существовала вера в чудеса. Правда, что она действовала в сфере довольно ограниченной и не выходила из пределов очень тесного кружка, но мы, юноши того времени, мы, члены этого кружка, несомненно ощущали на себе действие этой веры. Мы пламенели, сгорали и чувствовали себя обновленными.

Я заранее готов согласиться, что воспитательное влияние литературы сороковых годов было не особенно прочно, что

---

[1] Сердечно преданная Наталья.

оно почти не проникло в жизнь, не создало в последней школы, богатой образцами. Я знаю, что бывшие слушатели лекций Грановского слишком легко освобождались от университетских преданий и почти незаметно превращались в самых заурядных помещиков, в чиновников-формалистов и даже в писцов, служителей крепостных дел. Все это, с практической точки зрения, конечно, представляло результат довольно обидный; но если даже предположить, что вера, о которой я говорю, составляла исключительное достояние одной литературы, то и это уже был хороший залог.

И чиновники, и помещики, и крепостные дела — все это преходит, тает, яко воск, и исчезает, яко дым. Одна литература — не преходит и не исчезает, и это свойство непреходимости сообщает ее свидетельству особенную неотразимость и непререкаемость.

Вера в чудеса помогла литературе сороковых годов отыскать известные идеалы добра и истины, благодаря которым она не задохлась; она же создала те человечные предания, ту честную брезгливость, которые выделили ее из общего строя жизни и дали возможность выйти незапятнанною из-под ига всевозможных давлений. Все это было настолько характеристично и плодотворно, что, по мнению моему, в этом одном можно без особой натяжки видеть своего рода практический результат (а именно в практической безрезультатности преимущественно и обвиняют литературу сороковых годов). Идеалы и предания, о которых идет речь, не изгибли и теперь. Все книги сороковых годов полны ими, и желающие возобновить их в своей памяти могут удовлетворить этому желанию очень легко, обратившись к этим книгам. Конечно, идеалы эти для настоящего времени несколько устарели и представляются уже недостаточными, но ежели содержание идеалов и подлежит критике, то отношение к ним литературы и доныне остается в высшей степени поучительным. Это то страстно-убежденное отношение, которое даже в мертвые тела вливает дух жив, который даже пустыню призывает к жизни. Так что если бы современные литературные деятели несколько чаще справлялись с кладбищем сороковых годов, то нынешняя литература не только не проиграла бы от того, а, напротив, очень многое выиграла бы. По крайней мере, я совершенно искренно убежден, что холодная остервенелость, которая ныне является единственным средством для оживления страниц и столбцов и для возбуждения в читателе вожделения, исчезла бы сама собой и дала бы место стыду.

Но, кроме этого практического результата, был и другой, не столь решительный, но зато более непосредственный. Не-

смотря на свою изолированность, несмотря на полное отсутствие воинствующих элементов, литература сороковых годов, в сущности, не оставалась без влияния и на большинство тогдашней интеллигенции. Как ни испорчены и ни себялюбивы были представители этой интеллигенции, но в молодых ее отпрысках уже можно было подметить некоторые несомненные пробуждения, замечательные по своей мучительной искренности. Создался особенный тип «лишних» людей, не только скептически относившихся к своей внутренней цельности, но и положительно изнемогавших под игом двоегласия, источником которого была, с одной стороны, литература, а с другой — жизнь. Этот тип был в свое время очень усердно разработываем литературой, но он не был *выдуман* ею, а прямо выхвачен из жизни. Правда, что от этих изнемоганий и самобичеваний практически не было никому ни тепло, ни холодно и что, в большинстве случаев, они были скоропреходящи, но сами по себе люди, страдавшие двоегласием, все-таки представляли известную долю симпатичности. Сравните эти страдания внутреннего двоегласия с несомневающеюся целостностью современных проворных людей, которые, с хладной пеной у рта, даже любовь к отечеству готовы эксплуатировать в пользу продажи распивочно и навынос,— и вы почувствуете, что ежели не особенно лестно было жить в обществе людей, прямо называвших себя «лишними», то все-таки не так несомненно мерзко, как жить в обществе людей, для которых все уже до того паскудно ясно, что представление о рубле, в смысле привлекательности, уступает лишь представлению о таковых же двух, а если больше, то, разумеется, и того лучше.

А наконец, был и еще практический результат, который и до сих пор говорит сам за себя: идеалы сороковых годов, несомненно, послужили подспорьем при разрешении крестьянского вопроса и осуществления прочих реформ шестидесятых годов.

Словом сказать, литература сороковых годов уже тем одним оставила по себе неизгладимую память, что она была литературой серьезно убежденной. Не зная никаких свобод, ежечасно изнемогая на прокрустовом ложе всевозможных укорачиваний, она не отказывалась от своих идеалов, не предавала их и не говорила себе в утешение: жив курилка, не умер! Ибо «курилка», собственно говоря, даже жив не был, а только едва-едва тлелся.

Каким образом случилось, что убежденность исчезла, что влечение к идеалам сгинуло, что традиция литературной брезгливости оборвалась и осталось только одно радование о том, что курилка не умер,— это объяснить нелегко. Почему-то мы

проглядели этот переход, проглядели, сами не знаем как: не то за действительным расширением задач, не то за наплывом бесчисленных пустяков. Достоверно одно: что литература воистину получила доступ к практической жизни и что это действительно и в значительной мере освободило ее от той тяжелой изолированности, которая искони несносным кошмаром тяготела над ней.

Это было явление совершенно новое, и так как литература устремилась к нему с пылкостью, то многие думают, что именно это общение с низменностями жизни и повлияло на нее развращающим образом. Что касается до меня, то я не только не согласен с этим толкованием, но даже положительно утверждаю, что оно свидетельствует о совершенном незнании истинных задач литературы. Изолированность, конечно, имеет свою красивую, а отчасти и полезную сторону, потому что она ставит литературу в положение жены цезаря, которой не должно касаться даже подозрение в податливости, но было бы в высшей степени неестественно и даже оскорбительно, если б эта же самая изолированность сделалась бессрочною и составила бы окончательную цель существования литературы. Изолированность есть все-таки не более как безмолвный ответ пленного заложника, не могущего ничем иным протестовать против глумлений торжествующей современности; понятно, что литература не могла считать этот удел для себя ни завидным, ни желательным. Отчуждая себя от жизни, она только обрекала себя, так сказать, на зимнюю спячку, но при этом отнюдь не теряла из виду, что при первых лучах весеннего солнца она, несомненно, пробудится для бодрствования. И вот эти лучи показались, а вместе с ними пришло и общение с жизнью. Это общение всегда было и всегда будет целью всех стремлений литературы; оно одно может вывести ее из оцепенелости, оно одно даст ей возможность перейти из области страдательной брезгливости в область воздействия и осуществления тех воспитательных целей, которые составляют основной смысл ее существования. Общение не могло ни умалить ее идеалы, ни тем менее упразднить их. Совсем напротив. Как бы ни были низменны интересы современности, литературные идеалы уже по тому одному не могут пострадать от прикосновения к ним, что интересы эти все-таки принадлежат тому униженному и оскорбленному человечеству, нравственное оздоровление которого составляет благороднейшую мечту благороднейших умов. Одним словом, в этих низменностях идеалы литературы (хотя бы даже и отрицательным путем) могут найти для себя лишь поправку, опору и развитие, но никак не смерть.

А между тем мнение, что идеалы пошатнулись и вера в чудеса упразднилась, все-таки остается истиною. Но причину этого явления следует искать совсем не в общении литературы с жизнью, а скорее в тех чересчур своеобразных формах, в которых осуществилось это общение.

На деле как-то совершенно неожиданно вышло, что жизнь поступилась литературе не существенными своими интересами, не тем внутренним содержанием, которое составляет источник ее радостей и горестей, а только бесчисленной массой пустяков. И в то же время сделалось ясным, что старинный афоризм «не твое дело» настолько заматерел и въелся во все закоулки жизни, что слабым рукам оказалось совершенно не под силу бороться с ним. И таким образом в конце концов оказалось, что литература искала общения с жизнью, а обрела общение с пустяками,— какая неожиданность может быть горчее и чувствительнее этой?

Нашлись, разумеется, личности, которых такой оборот повергнул в уныние, но большинство литературы примирилось с ним. С пустяками живется вольнее и безопаснее, да и рассуждать о пустяках легче: не нужно ни задумываться над работой, ни подготовляться к ней. Пустяки быстро навертываются и столь же быстро отскакивают, не оставляя по себе никаких «сердца горестных замет». Сверх того, пишущему о пустяках всегда кажется, что он находится в центре если не настоящего дела, то, по крайней мере, той неусыпающей деловой сутолоки, которую очень легко искусственно взбодрить и под флагом благонамеренности выдать, пожалуй, и за настоящее дело. Словом сказать, литературный труд настолько же облегчился, насколько упростились и самые задачи литературы, и, благодаря этому, число желающих окунуться в море пустяков с каждым часом умножается и растет. Удивительно ли поэтому, что, имея таких проворных деятелей, литература и сама до того всецело прониклась пустяками, что, в случае оскудения пустяков реальных, она нимало не стесняется этим, но творит свои собственные, самостоятельные пустяки.

Как бы то ни было, но пришлось убедиться, что спастись от пустяков уже по тому одному невозможно, что литература сама сделала для себя немыслимым возврат к прежней брезгливой изолированности. С одной стороны, изолированность приобрела какой-то неблагонамеренно-подозрительный характер, с другой — школа юрких практикантов как-то чрезвычайно быстро создала совсем новую публику, которая, в свою очередь, ничего не хочет знать, кроме пустяков. Одним словом, и литература и публика так удачно спелись, что обе в самый короткий срок уподобились той низменной адвокатуре,

которая подстерегает пропущенные сроки и несоблюденные формальности, подсиживает противные стороны внезапными закорючками и в этом усматривает осуществление правды и справедливости.

Итак, убежденность оказывается подозрительною, вера в чудеса — ненужною и смешною, а между тем литературное ремесло все еще продолжает быть обязательным. Это тоже своего рода двоегласие, и на этот раз не имеющее ни тени барской привередливости, а прямо безнадежное, мрачное.

Я назвал литературное ремесло обязательным не потому единственно, что оно представляет наилучшее орудие для служения общественным интересам, но также и потому, что оно, сверх того, дает известное матерьяльное обеспечение.

Каким образом человек становится литератором, в какой мере в этой метаморфозе играет роль призвание и действительная талантливость и в какой — простая случайность? — это вопрос, который я разрешить не берусь. Да и не в нем дело, а в том, что раз человек занял место в литературных кадрах, он, силою вещей, останется навсегда прикованным к этому месту.

Во-первых, никакой труд так не привлекателен, как труд умственный. Конечно, бывают исторические моменты, когда умственный труд не в особенном авантаже обретается, но ведь в такие моменты и весь вообще жизненный уровень сводится к нулю. Стало быть, называться литератором все-таки лестнее, нежели слыть партикулярным шлющимся человеком. Во-вторых, занятие литературой создает известные привычки, предполагает излюбленные связи и даже специальную обстановку, которую нарушить не только трудно, но и мучительно. В-третьих, даже разработка пустяков представляет довольно сложный процесс, в котором имеются свои отправные пункты, а следовательно, предполагаются и выводы. И человек, предпринявший этот процесс, непременно увлечется им настолько, что будет дробить и множить свои пустяки до бесконечности, и все-таки ему будет казаться, что он не все еще вычерпал, а вот ужо̀ такую глыбу выкатит, которая все доселе известные пустяки в ничто обратит. А в-четвертых, повторяю: не последнее значение имеет в этом случае и матерьяльный вопрос...

Таким образом, дни проходят за днями, а литератор все остается прикованным к своему посту.

Он остается тут, хотя убежденность представляется подозрительной и вера в чудеса — смешною. Но, в таком случае, во имя чего же и зачем он, верующий в чудеса, продолжает держаться и действовать в этом странном помещении, где нет ни убежденности, ни чудес?

Пустяки — противны; общие принципы — недоступны. Или, виноват: последние, пожалуй, по временам и прорываются, но окутанные такою непроницаемою сетью бесчисленных околичностей, которые самое ремесло проведения принципов делают почти безнравственным.

Во имя чего же? Зачем?

Ужели только во имя того и затем, чтобы есть хлеб и в то же время защитить свою шкуру? и чтобы иметь легкомысленное удовольствие сказать: жив курилка, не умер?

Но ведь это-то именно и омерзительно.

Год приходит к концу, страшный год, который неизгладимыми чертами врезался в сердце каждого русского. Даже в худшие эпохи ничего подобного этому злосчастному году летописи русской жизни едва ли представляли.

Вместе с тем кончаются и мои периодические беседы с читателями. В первоначальном намерении беседы эти должны были отражать в себе злобу дня и в то же время служить поводом для воспроизведения некоторых типов, которые казались мне небезынтересными. Я должен, однако ж, сознаться, что ни того, ни другого я не выполнил.

В моих литературных работах юмористический элемент является преобладающим; но после таких дней, как 2 апреля и 19 ноября, право, не до юмора. Поэтому многое в моих беседах оказалось невыясненным, прерванным и даже прямо недоконченным. Мне казалось, например, что не только любопытно, но даже и необходимо поставить читателя лицом к лицу с такими типами, как Феденька Неугодов или Сашенька Ненарочный, которые, каждый с своей точки зрения, претендуют на оседлание отечества; сверх того, мне сдавалось, что и самое изображение процесса «оседлания» может быть небесполезно; но какая же возможность выполнить подобные задачи, ввиду такого угнетенного настроения, в котором находится общество? Литературное занятие, как бы ни скромно было его значение, прежде всего требует спокойствия и некоторой уверенности в том, что оно не стоит вразрез с веяниями минуты; но ни этого спокойствия, ни этой уверенности я не имел. А потому и для меня самого в значительной мере утратилась ясность тех типов и представлений, которые первоначально казались совершенно определенными. Там, где надо было говорить без умолчаний, я ограничивался намеками; там, где надо было прибегнуть к действительному исследованию, я просто-напросто обходил.

Я не скажу даже, что в этом случае главную роль играло внешнее давление. Конечно, не было недостатка и в нем; но, главным образом, все-таки действовала общая внутренняя пригнетенность, которая пришла как-то сама собой. Не я один признавал себя пригнетенным, но всякий, в ком злоба дня не до конца притупила способность мыслить. И, разумеется, в том числе сознавала себя пригнетенною и литература.

Я знаю, что в этом общем хоре уныния, почти граничащего с безнадежностью, раздавались и другого рода голоса, голоса звонкие, уверенные, даже как бы почти торжествующие, но, признаюсь откровенно, эта звонкость не только не прибодряла меня, но даже почему-то казалась зазорною. Есть явления, которые до такой степени захватывают общество в его настоящем и будущем, что перед ними должно умолкнуть самое звонкое пустословие. Если же оно не только не умолкает, но тут-то именно и выпускает целые массы бессодержательнейшей канители, то из этого вовсе не следует, чтобы это был пример, достойный подражания. Напротив того, я совершенно искренно убежден, что это канитель не только бессодержательная, но и прямо зловредная.

Люди наивные, искренние, выражающие свои чувства в мере своего понимания и развития, несомненно всегда заслуживают уважения. В этом случае формы не играют никакой роли, и критика не имеет права не только оценивать их, но даже просто прикасаться к ним. Они наивно-правдивы — вот все, что можно об них сказать. Но ужасно, когда овечий образ принимают на себя сущие волки и когда эти волки, под формами звонкого пустословия, желают прикрыть не только личное бессилие и бессердечие, но и всевозможные корыстные и низменные цели, которые заграждают перед их глазами свет божий. Вот этих-то волков в овечьей шкуре развелось в последнее время так много, что начинает уже рождаться сомнение, не заполонят ли они литературную ниву вконец.

Я не буду здесь приводить примеров — бог с ними! не до примеров теперь! — но скажу прямо, что иногда делается ужасно неловко. Читаешь и думаешь: ужели это те самые буквы, те самые слова, употребление которых до сих пор казалось вполне естественным?

Поэтому когда я на днях прочитал в одном журнале, что унылый тон, господствующий в современной русской литературе, доказывает, что литература эта не стоит на высоте своего призвания, ибо ей надлежит ободрять общество, а не вливать в него яд меланхолии, то, признаюсь, крайне был удивлен. Неужто уныние так легко превращается в бодрость и, наоборот, что сто̀ит только пожелать — и все пойдет как по

маслу? Неужто не существует более глубоких причин, которые в известных случаях уныние, а в других надежду и бодрость, делают явлением не только понятным, но почти обязательным?

Я, по крайней мере, думаю, что такие причины существуют и что, покуда они состоят налицо, никакие простодушные подбадривания не произведут желаемого действия. Помилуйте! если уж инсинуации и устрашения не помогают, то какую же силу может иметь простой дружеский совет! Правда, что в провинциальных театрах (особливо в тех, которые победнее персоналом) и доныне существует обычай, в силу которого один и тот же актер сначала является в роли первого трагика, а потом, вслед за сим, в роли первого комика. И совершается эта метаморфоза очень просто: трагик надевает бланжевый парик и голубые штаны — этого совершенно достаточно, чтобы невзыскательная публика прыснула со смеху. Но в литературе подобные метаморфозы едва ли мыслимы.

ПЕРВОЕ ДЕКАБРЯ

(«Вечерок»)

...По временам мы, однако ж, собираемся, а иногда даже и беседуем. Впрочем, без ясной программы и без одушевления, а так, словно привычный обряд соблюдаем.

Прежде, бывало, мы потому собирались, что потребность в разрешении «вопросов» чувствовали. Много было тогда вопросов, хотя должно сознаться, что большая часть их обязана была своим происхождением не столько действительности, сколько самостоятельному нашему творчеству. Как бы то ни было, но вопросы эти занимали нас, и ни мы, ни люди, читавшие в сердцах наших, не находили ничего в том предосудительного. Предполагалось, что таково уж свойство человеческой природы вообще: интересоваться более или менее широкими обобщениями — вот и все. И мы следовали этому указанию человеческого естества, то есть обобщали, спорили, обсуждали и даже горячились.

Возьмем, например, вопрос о «подоплеке» — по нынешнему времени это чем пахнет? А прежде мы не справлялись, чем пахнет, а прямо приступали. Плешивцев доказывал, что только тот народ может благополучным себя почитать, который подоплеку свою в чистоте сохранил; напротив того, Тебеньков утверждал, что подоплека только путает. Отсюда спор, пререкания и даже вражда. Вмешается в эту распрю Поло-

жилов и спросит: «А в самом деле, господа, что такое подоплека?» — на что Глумов немедленно ответит: распивочно и навынос. И все рассмеются, ибо знают, что никакого взыскания за это не будет.

Или вопрос о том: кто больше заслужил, Москва или Петербург? Или еще: на какой предмет родится человек — для того ли, чтоб быть счастливым, или для того, чтобы лить слезы? А? чем это, по нынешнему времени, пахнет?

А мы обо всем разговаривали безбоязненно и даже фаланстеров не чуждались. Знали, что фаланстеров нам, конечно, не дадут, но, в то же время, верили, что и телят Макаровых пасти не предоставят... За что? Ведь все это «человеческое», а «человеческим», как известно, грады и веси цветут...

И Поликсена Ивановна (жена Положилова), бывало, тут же сидит, слушает и не нарадуется на нас. И тоже, наверное, знает, что фаланстеров нам не дадут.

Нынче, повторяю, мы собираемся единственно как бы выполняя заведенный обряд. О «вопросах» — не поминаем, а «разрешений» — даже опасаемся. Боимся, чтобы в газетах как-нибудь не прослышали, что вот, дескать, так и так, отечество в печали находится, а на такой-то улице, номер дòма такой-то — «подоплеку» определяют... Поэтому беседы наши имеют характер угнетенный, отрывочный, как это всегда бывает с людьми, которые совсем об другом думают и только ради приличия языком шевелят. Одна мысль явственно давит всех: ужели действительность, среди которой мы живем, есть действительность конкретная, а не кошмар? Но разве это мысль? — Нет, это не мысль, а только удлиненное, в согласность с требованиями времени, междометие. А Поликсена Ивановна слушает это тысячекратно повторяемое междометие и не радуется, а беспокоится, как бы из-за этого чего не вышло.

Итак, мы собираемся. «Мы», то есть старики, видавшие виды. Всякие виды мы видели, а таких, как нынче, не видали. Поэтому весьма натурально, что в недоумении мы спрашиваем себя: неужто ж и еще виды будут? И в ожидании ответа, чувствуем, как мало-помалу в нас упраздняется способность к построению силлогизмов. Еще чуточку — пожалуй, упразднится и самый дар слова.

Да, была уже речь и об этом. На днях собрались мы, по обычаю, вечером у Положилова (Положилов — солидный чиновник, но все еще крепится, не чуждается нас, бывших школьных товарищей, а ныне вольного поведения людей), и вдруг кому-то вздумалось:

— А что, господа, дар слова, например... Действительно ли

это драгоценнейший дар природы, как в старинных сказках сказывали, или так только, каверза, допущенная в видах удобнейшего подсиживания человеков?

И никто не удивился, что подобный вопрос мог быть предложен. Напротив, все как будто оживились и сейчас же решили, что, по нынешнему времени, гораздо удобнее мычать, нежели, вместе с вещим Баяном, «шизым орлом ширять под о̀блакы».

— Вчера я новокупленного быка в деревню отправлял,— сказал Положилов,— так это нельзя себе представить, как он приятно мычал. Со всего околотка дворники сбежались, слушали и хвалили!

— А мы вот не можем мычать! — грустно отозвался Тебеньков.— Говорить должны.

— Оттого никто нас и не хвалит,— еще безнадежнее молвил Глумов.

Поликсена Ивановна слушала этот разговор и некоторое время, кажется, даже радовалась, что мысли наши принимают благопотребное, по обстоятельствам, направление; но немного погодя спохватилась и даже тут усмотрела какую-то «политическую подкладку». Пошла на цыпочках за дверь, глянула, нет ли кого в соседней комнате, и, разумеется, сейчас же ей показалось, что там вдруг кто-то «шмыгнул» (должно быть, репортер из «Красы Демидрона»). Одним словом, возвратилась к нам расстроенная и немедленно же задала мужу головомойку.

— Уж когда-нибудь ты дошутишься, Павел Ермолаич! — сказала она,— нельзя так, мой друг! Нельзя утром в департамент ходить, а вечером язычком чесать!

— Помилуй, голубушка! — оправдывался Положилов,— при чем тут «язычок»? Я от всего сердца, а ты...

— Шути, мой друг, шути! А вот когда-нибудь Филипп (служитель у Положиловых)... Сам говоришь, что он «репортером» при «Красе Демидрона» состоит, а между тем... Ну, я готова голову на отсечение отдать, ежели это не он сейчас в гостиной шмыгнул!

И вдруг все мы, словно сговорившись, воскликнули:

— Господи! да неужто ж это не кошмар!

Минут с пять после этого мы молчали, а может быть, и совсем, с божьею помощью, лишились бы дара слова, если б Глумов не напомнил, что какова пора ни мера, а дар сей, пожалуй, еще службу сослужить может. Не скоро, конечно, а после дождичка в четверг...

— Нужно сказать правду,— вывел он нас из оцепенения,— что жизнь животных вообще... я говорю без примене-

ний, господа! Поликсена Ивановна! прошу вас, не тревожьтесь!.. Ну-с, так говоря вообще, жизнь животных представляет некоторые несомненные преимущества, которым человек непременно должен был бы завидовать, если б продерзостно не мнил себя царем природы. Не говоря уже о беспечности, о блаженной непредусмотрительности, о постоянно ровном расположении духа — какие драгоценные гарантии представляет одна так называемая политическая благонадежность! Возьмем, например, хоть новокупленного положиловского быка. Я совершенно убежден, что в настоящую минуту он мычит себе полегоньку, и даже «Вестник Общественных Язв» ни в чем его не подозревает. И горюшка ему мало, шмыгнул или не шмыгнул «репортер» в соседнем стойле. Стоит он и жвачку жует, а надоест стоять — ляжет; так в собственный навоз и ляжет, как редактор какой-нибудь «Красы Демидрона» — в собственную газету. Не нужно ему ни полемику вести, ни приносить оправдания, ни раскаиваться, ни даже в одиночку трепетать! Весь он, всем существом своим, так сказать, свидетельствует...

— Глумов! да перестаньте вы, ради Христа! — взмолилась Поликсена Ивановна.

Глумов умолк, мы же вновь, словно сговорившись, возопили:

— Господи! да неужто ж это не кошмар!

Но немного погодя дар слова обуял Тебенькова.

— Позвольте, господа! — сказал он,— я нахожу, что Глумов только отчасти прав. Нет спора, что участь быков блаженна, однако ж и они, как о том свидетельствуется во всех курсах зоологии, в виду известных пертурбаций природы, имеют свойство выражать беспокойство и даже страх. А именно, в Лиссабоне...

— Ах, господа, господа! — и т. д.

Словом сказать, вопросу о быке и его свойствах так и не суждено было пройти сквозь горнило всестороннего обсуждения. Наступило настоящее, серьезное молчание, такое молчание, о котором принято говорить: дурак родился! — так что некоторое время только и слышно было, как Плешивцев дует в блюдечко с чаем, а Глумов грызет баранки. Как вдруг в комнату, словно буря, влетел десятилетний первенец Положиловых, Ваня, и крикнул:

— Господи! да неужто ж...

Это было так неожиданно и в то же время до того совпало с настроением минуты, что мы не выдержали и расхохотались. Мальчик остановился и изумленными глазами оглянул нас.

— Чтò тебе? об чем ты, голубчик? — обратилась к нему Поликсена Ивановна.

Но мальчик уж заупрямился и только после долгих расспросов и удостоверений, что «дяденьки» смеются совсем не над ним, а сами над собой, открылся, что вопрос его заключался в том: неужто ж и завтра, и послезавтра, и послепослезавтра — каждый день всё греческие склонения будут?

— По обстоятельствам нынешнего времени...— начал было объяснять Тебеньков, но Поликсена Ивановна так строго взглянула на него, что я невольно уподобил ее рокочущей львице, у которой замыслили отнять ее детеныша.

— Друг мой! — сказала она Ване,— никогда не позволяй себе роптать! Добрый мальчик должен беспрекословно выполнять то, чего требуют наставники, а не жаловаться на судьбу. Теперь, быть может, тебе и трудненько кажется, но зато в будущем как отрадно...

Она не докончила, утерла Ване носик и, подавая ему бублик, присовокупила:

— Нà, кушай, Христос с тобой! А так как ты у меня паймальчик и наверное уж приготовил к завтрему уроки, то скажи Аринушке, что бай-бай пора.

Эпизод с Ваней на этом и кончился, но однажды потревоженная «каверза» (дар слова) уже не унималась. И я первый ощутил на себе живучесть ее.

— Получил я на днях письмо от одного приятеля,— сказал я.— Пишет: прочитал я твое «Монрепò», и, воля твоя, куда как не понравился мне тон этой книги! Уныние, говорит, какое-то разлито, а, говоря по совести, чтò же такое уныние, как не рабская покорность судьбе, осложненная рабским же казанием кукиша в кармане? И в газетах, говорит, тебя за это упрекают, и, по мнению моему, правильно. Потому что, по нынешнему времени, больше, нежели когда-либо, требуется не уныние, а дерзновение. «Молодцом надо быть, мой друг, молодцом!»

— Так он был за собственный свой счет и помолодечествовал! — подсказал мне Плешивцев.

— Так было и хотел я ему сгоряча ответить; но потом рассудил, и стыдно сделалось. Кàк это, думаю, с больной головы на здоровую сваливать? Ведь он, пожалуй, ответит: я, друг сердечный, дерзать не обязывался, а ты не токмо обязывался, но даже жить, так сказать, с этого начал. Все, скажет, дерзал да дерзал, и вдруг, в самую нужную минуту: не хочет ли кто за меня подерзать?

— Жестоко, но справедливо,— похвалил Глумов.— Как же ты думаешь поступить? Полагаешь ли продерзостно объявить

поход или за безопаснейшее сочтешь и впредь в унынии пребывать?

— То-то и есть, что сам не знаю. Понимать-то и я хорошо понимаю, что большой заслуги в унынии нет, да что ж будешь делать, коль скоро уныние, одно уныние так на тебя и плывет, так и давит тебя?

— А коли давит, так совсем, значит, замолчи!

— Думал я и так, да, во-первых, привычка... А во-вторых, ежели замолчать — что же из этого выйдет? одним молчанием больше — только и всего.

— И это... жестоко, но справедливо!

— Да и в-третьих,— откликнулся Положилов,— как еще на молчание-то посмотреть! все говорил да говорил, и вдруг — молчок! с какою целью? почему?

— Гм... да! и это, брат... тоже — статья в своем роде! — согласился Плешивцев.

— Ну, так, стало быть, дерзай! — посоветовал Глумов,— перекрестись и дерзай!

— Да ведь и дерзать... как тут дерзнешь! — оправдывался я.— Вопросы-то нынче как-то ребром встали... ужасно неприятные, назойливые вопросы! А кроме того, и еще: около каждого вопроса пристроились газетные церберы. Так и лают-надрываются, так и скачут на цепи! Положим, что укусит он и не больно, а ну, как он — бешеный!

— И даже почти наверное,— подтвердил Тебеньков.

— Не почти, а просто наверное,— усугубил Глумов.

— Таким-то родом я и раздумываю... С одной стороны, несомненно, что вопросы ребром встали, а с другой стороны, как будто и совсем их нет. Встали ребром — да куда-то и пропали за пределы компетентности. Или яснее сказать, есть вопросы, да мы-то не компетентны оказались, чтобы судить об них.

— Да, да. Вот как теперь: собрались мы здесь, а говорить нам не об чем. Унывать приходится.

— Ну, брат, о подоплеке-то и теперь...— возразил было Тебеньков.

— Нет, и о подоплеке... Смотря по тому, какая подоплека и в какое время.

— Вы, господа, с подоплекой не шутите! По-нынешнему — ведь это красный фантом!

— Жестоко, но... справедливо!

— Да нет, что подоплека! до подоплеки ли уж! — продолжал я.— Возьмем самый несложный и, по обстоятельствам, даже самый естественный вопрос... например, хоть о пользе содержания козла в огороде... Сколько в былое время передовиков на этом вопросе репутацию себе сделали! А нынче по-

пробуй-ка его со всех сторон рассмотреть — ан вдруг из всех литературно-ретирадных мест полемический залп! Козел! что̀ такое «козел»? Огород! что̀ такое «огород»? с какой стати вдруг об «огороде» речь заведена? что сим достигается? и в скольких смыслах надлежит «оное» понимать?

Сознаюсь, это было несколько преувеличено, и Тебеньков не преминул мне это высказать; однако Положилов вступился за меня и, в подтверждение моей правоты, даже привел факт.

— Я одного ученого знаю,— сказал он,— тридцать лет сряду пишет он исследование о «Бабе-яге» и наконец на днях кончил. И что ж! Спрашиваю я его: скоро ли, мол, к печатанию приступите? Помилуйте! говорит, разве, по нынешнему времени, можно?

— Ах! это... ужасно!

И мы даже с мест повскакали, простирая руки к небу и вопия:

— Господи! да неужто ж это не кошмар!

— А мне так кажется, что вы именно преувеличиваете, господа! — решила после короткой паузы Поликсена Ивановна,— какая же это специальность — унывать! По-моему, так и теперь можно прожить, и даже очень прекрасно прожить. Кто захочет, тот всегда для себя подходящее дело отыщет.

Но как-то никто не откликнулся на это замечание, а Глумов даже явно отнесся к нему с пренебрежением, то есть махнул рукой и сказал:

— Да, взяли-таки волю наши ретирадники...

Но тут разыгрался у нас «эпизод». Поликсена Ивановна не то чтобы прямо огорчилась невниманием Глумова, но пригорюнилась, и Положилов, как преданный супруг, счел долгом вступиться за нее.

— Однако ж, Глумов,— сказал он,— ведь жена-то у меня — дама; и ты мог бы...

— Поликсена Ивановна! голубушка, да неужто вы... дама? — изумился Глумов.

Это дало новое направление беседе. Сначала возник вопрос: что̀ такое «дама» и чем она отличается от «женщины»? А потом и другой: отчего Поликсене Ивановне, например, неловко делается, когда ее в упор называют «дамой», и отчего тем не менее у той же Поликсены Ивановны в экстренных случаях огоньки в глазах бегают: не забывайте, дескать, однако, что я... дама!

— Давайте, господа, об женском вопросе поговорим! — предложил Тебеньков.

Со стороны Тебенькова подобное предложение никого не удивило. Мы знали, что Тебеньков считает себя специалистом

по женскому вопросу, но в то же время знали и то, что он любит обсуждать его, по преимуществу, с точки зрения «атуров». Поликсена Ивановна не раз говаривала ему: «Вы не можете себе представить, как это скверно, Тебеньков!» — а иногда даже и обижалась.

Par respect pour les moeurs[1], и мы не одобряли тебеньковские взгляды на женский вопрос, но, говоря по совести, немаловажная доля его вины ложилась и на нас всех. В самом деле, в обычной манере мужчин относиться к женскому вопросу и обсуждать его существует какое-то роковое легкомыслие. Я никогда не слыхал, как рассуждают женщины о «мужском вопросе», и потому не могу свидетельствовать, бывает ли тут речь об «атурах», но что касается до мужчин, то они только ценою величайших усилий могут воздерживаться от экскурсий игривого свойства.

Мне кажется, что это происходит от того, что мы ставим женский вопрос совсем не на ту почву, на которую его ставить надлежит, то есть рассматриваем его, по преимуществу, в культурной среде, той самой, которая всеми своими помыслами и силами почти исключительно направлена к воспитанию «атуров». Тогда как если бы мы перенесли его в среду трудолюбивых поселян, то представление об «атурах» упразднилось бы само собой, и женский вопрос предстал бы пред нами в своем чистом, безатурном виде.

Да, только там можно представить себе «женщину» вполне независимо от «атуров», только там половым различиям дается их естественное, не дразнящее значение. В этой среде и молодость быстрее проходит, и деловая, рабочая пора пристигает плотнее. Когда женщина идет шаг в шаг рядом с мужчиной, когда она представляет собой необходимое дополнение рабочего тягла, то она является уже не утехой, не «украшением» и даже не помощницей и подругой, а просто-напросто равноправным человеком. И ежели за всем тем и при такой обстановке мужчина хлещет женщину вожжами и таскает за косы, то вот тут уж действительно выступает на сцену женский вопрос, жгучий, потрясающий, вопиющий. И что же! именно тут-то никто его и не видит, никто об нем и не думает!

Но как только женский вопрос выходит из пределов простонародной среды, так он сейчас же превращается в «дамский» и приобретает атурный характер. Влияние культурных веяний таково, что даже женщина, вышедшая из народа, коль скоро отведает пуховика, самовара и убоины, так сейчас же

---

[1] Из уважения к нравственности.

первым делом начинает нагуливать себе «атуры». И груди чтоб сахарные были, и бедра такие, чтобы уколупнуть было нельзя, и спина широкая, чтобы всей пятерней огреть можно было. И, нагулявши все это, начинает мнить себя «дамой» и мечтать о «кавалерах».

Я знаю, что слово «дама» многим ныне ненавистно; но что «дамство» пустило корни глубоко и надолго заполонило женскую ниву — это несомненно. Повторяю: я все-таки имею в виду исключительно культурную среду и об ней одной говорю, потому что можно ли назвать «дамой» существо, которое днем зауряд с мужчиной пашет, боронит и косит, а на сон грядущий получает столько ударов вожжами, сколько влезет? Итак, возьмем в этой культурной среде один из лучших экземпляров, вроде Поликсены Ивановны. Бесспорно, это женщина разумная и даже самостоятельная, а посмотрите, как она гордится, что за таким «добытчиком», как Павел Ермолаич, она живет как за каменной стеной! как она глубоко убеждена, что он доставит ей обеспечение и покровительство, и как смиренно счастлива, если ей удастся отблагодарить мужа за это покровительство, устроив ему домашний комфорт! Не очевидно ли, что она и сама считает свою роль второстепенною, зависимою? что она и сама сознает, что без Павла Ермолаича ей — мат? Но этого мало: она называет мужа не иначе, как Павлом Ермолаичем (я уверен, что даже один на один она не отступает от этого правила), а он нет-нет да и обласкает ее «Поликсенчиком». И когда она слышит это обращенное к ней уменьшительное, то не только радуется, но и гордится этим: стало быть, дескать, я еще заслуживаю! Я не утверждаю, чтобы в соображениях ее по этому предмету непременно играли роль «атуры», но, помимо воли, сами собой (в форме скромного инстинктивного охорашивания), вероятно, сказываются и они. Во всяком случае, она несомненно сознает, что известная пословица: курица не птица и т. д.— не просто пословица, но и факт, по поводу которого до поры до времени спорить и прекословить бесполезно. А ежели она все это сознает и приемлет, то должна неминуемо сознавать и принимать и то — что она... дама! И — о, ужас! — что только именно это «дамство» спасает ее от тех практических последствий, которыми чревата сейчас упомянутая пословица...

Павел Ермолаич знает эту двойственность своей подруги и относится к недоумениям ее несколько иронически. По моему мнению, он поступает в этом случае несправедливо, ибо недоумения эти отнюдь не от Поликсены Ивановны зависят! Культурная женщина с младых лет так воспитывается, чтоб быть «дамой», то есть чтобы жеманиться и сидеть у мужчины на

коленях. Гоп, гоп! поехали! — скажите, где та культурная дама, которой сердце не замерло бы в восторге при этом восклицании?

Поэтому, когда Тебеньков предложил приступить к разработке женского вопроса, то Поликсена Ивановна решительно этому воспротивилась, и Положилов принял ее сторону.

— Я знаю, к чему ты стремишься, Тебеньков,— сказал он,— хочется тебе насчет «лямуру» пройтись, да и вообще слабый оный пол подробному во всех частях рассмотрению подвергнуть. И знаю также, что, по нынешнему времени, это занятие самое благопотребное, по поводу которого не потребуется даже заглядывать в гостиную, не «шмыгает» ли там кто. Но подумай, однако ж, не презорно ли будет, ежели мы, подобно ретирадникам, погрязнем в одних игривостях, а о прочих сторонах вопроса, унылых обстоятельств ради, умолчим? Не правда ли, господа?

Мы поспешили согласиться, а Плешивцев в качестве всегдашнего антагониста Тебенькова даже присовокупил:

— Говорил я тебе, что ты, Тебеньков, паскудник и засушина. Вот и попался. Теперь ты соборне в этом звании навсегда утвержден.

— Нет, не будем чересчур строги к нашему общему другу,— продолжал Положилов,— я сам знаю, что Тебеньков немножко паскудник; но это оттого, что его чрезмерно уж угнетает чувство изящного... А сверх того, у него откровенный характер... Вот это и выдает его. Но ведь и все мы, воспитанные в преданиях эстетики, относимся к женщине по преимуществу с точки зрения «атуров» и «игривостей». Только мы не столь часто и не столь открыто говорим об этом и, разумеется, хорошо делаем. Ибо как ни привлекательны атуры, но умного в разговорах об них немного. Несмотря на эти разговоры, женский вопрос все-таки существует, и ежели он представляется безвременным и мелким, то, во-первых, потому, что сами женщины покуда еще не умеют разобраться в нем, а вовторых и главным образом, потому, что на ближайшей очереди стоит великий мужской вопрос. Но, во всяком случае, подражать ретирадникам не подобает. Поэтому я предпочел бы женский вопрос обойти; но ежели бы вы желали беседовать на эту тему с должной серьезностью...

Положилов не досказал и тихонько-тихонько на цыпочках направился к двери и заглянул в гостиную. Он сделал это, по-видимому, совершенно инстинктивно, но вышло так наивно, что все мы, не исключая и Поликсены Ивановны, захохотали.

— Оставим! оставим! — произнес Глумов, как только улеглись первые порывы веселости,— ведь это все-таки «вопрос», а вопросы теперь не ко времени. Все стоит твердо, верно, несомненно — так гласит мудрость века сего — зачем же прать против решений ее? Да и кая польза вдаваться в исследования, коль скоро тебя каждоминутно подмывает заглянуть в другую комнату, не шмыгнул ли там кто? По-моему, это предосудительно и даже... некрасиво! А к тому же, и Поликсена Ивановна...

— Что ж я! — вступилась за себя Поликсена Ивановна,— говорите, я ничего! Только ежели вы серьезно будете, так, конечно... не вышло бы чего...

И она, в свою очередь (и тоже, по-видимому, инстинктивно), встала и на цыпочках заглянула в гостиную.

Мы поглядели-поглядели, но на сей раз не рассмеялись, а, помолчав немного, едиными устами возопили:

— Господи! да неужто ж это не кошмар!

Но здесь я должен сделать тяжкое для самолюбия признание: главную причину положиловского и нашего смущения составлял лакей Филипп. Это было какое-то сказочное существо, о котором носились самые загадочные слухи. Говорили, будто бы он репортером при какой-то секретной газетке состоит. Явится будто бы в редакцию ранним утром, вычистив господам сапоги, выложит дневной запас, а там уж и начнут «публицисты» сыскивать. Сколько раз мы убеждали Положилова рассчитать Филиппа, но всегда встречали какое-то необъяснимое упорство.

— Прогонишь этого — другого репортера наймешь! — отвечал он,— а этот, по крайней мере, сапоги ловко снимает.

И при этом, в видах самоободрения, прибавлял:

— Впрочем, с меня, брат, взятки гладки! Хоть до завтрева слушай — не боюсь!

Таким образом, и остается Филипп властителем наших дум и регулятором нашей благонамеренности в глазах «Красы Демидрона». И я даже подозреваю, что Поликсена Ивановна отчасти довольна этим: все-таки есть в доме узда, которая сдерживает этих сорванцов-подоплечников.

Между тем из столовой мы перешли в гостиную, и покуда Филипп убирал чай, разумеется, молчали. Но когда стук стаканов и ложек наконец утих, то «каверза» снова возымела действие.

— Вот вы, голубушка, сейчас сказали,— обратился Глумов к Поликсене Ивановне,— что и в нынешнее время прожить очень прекрасно можно, а я, невежа, в ту пору даже и не выслушал вас. Так уж простите вы мое невежество, на-

учите, как это, по вашему мнению, «прекрасно прожить можно»?

— Очень просто: рассчитать себя нужно.

— То есть ка̀к это... рассчитать?

— Да применяясь к обстоятельствам. О больших размерах позабыть, лишние претензии тоже в сторону отложить да вот в этаком роде и подыскать себе дело.

— Или как вот он выражается,— Глумов указал на меня,— на маленьком месте небольшую пользу приносить?

— Так что ж... ах, господа! Сами же вы говорите, что нынче всего больше нужно одно: позабыть! А как же вы «забудете», ежели у вас не будет дела, которое вас от думы отведет? Ведь без дела-то вы только больше да больше будете себя бередить?

— Гм... так, по-вашему, значит, дело... и при сем небольшое... Ежели, например, моционом заняться... одобрите?

Сказав это, Глумов чуть было опять не махнул рукой, но воздержался и в заключение воскликнул:

— Голубушка вы наша!

Однако ж Поликсена Ивановна по неизреченному своему милосердию на этот раз не обиделась.

— Ну, как хотите! — сказала она,— может быть, я и пустое предлагаю, но, по-моему, ведь и в том, как вы проводите время, ничего особенно выспреннего нет.

— А ка̀к мы проводим время?

— Да соберетесь, хмуритесь, никакого разговора последовательно до конца не можете довести. Посмотришь на вас — точно вы и невесть какие преступники!

— Боимся, значит?

— А что ж... полагаю, что не без того...

— Поликсена Ивановна! да не вы ли сами панику на всех наводите! Не вы ли в соседнюю комнату каждоминутно заглядываете? Не вы ли мужа на французском диалекте предостерегаете: Pavel Ermolaitch... Philippe ici! [1]

— Что ж я! Я, как говорит Павел Ермолаич, дама... А ведь с дамы и спросить много нельзя.

Увы! несмотря на глумовские оговорки, я должен сознаться, что Поликсена Ивановна ежели и не прямо вложила персты в язвы, то, во всяком случае, довольно близко нащупала больное место. Мне и самому неоднократно приходило в голову: боимся мы или не боимся? — и всякий раз я не то чтобы уклонялся от ответа, но, по совести, не мог отвечать ни в положительном, ни в отрицательном смысле. Очевидно, что в ду-

---

[1] Павел Ермолаевич... Филипп здесь!

шевном недомогательстве, которое угнетало нас, сама по себе заключалась значительная доля неясности, мешавшей назвать его по имени. Прямой, острой боязни не было, но было беспокойство, была тупая боль. Одна из тех болей, при которых, как говорится, не знаешь, где места найти, которые зудят и сверлят весь организм, не давая свободной минуты, чтоб оглядеться и обдумать выход. Неприятнее этой боли представить себе ничего нельзя, тем больше, что подобное тупое недомогательство, однажды овладев человеком, делается как бы нормальным уделом его на все время, пока существуют причины, обусловившие его.

Во всяком случае, мне очень интересно было узнать, что̀ ответит Глумов на замечание Поликсены Ивановны.

— Так, значит, боимся? — повторил он свой прежний вопрос.

Поликсена Ивановна молчала.

Тогда Глумов принялся объяснять. Но, к сожалению, объяснения эти были столь же сбивчивы и уклончивы, как и те, которые я уж давал себе и о которых только что упомянул выше. И тут оказывалось, что боязни, собственно, нет, а есть будто бы лишь горькое сознание бессилия, которое на все существование, на всю деятельность кладет унылый, почти постыдный отпечаток. Глумов с особенною настойчивостью налегал на этом различии, и для того, чтобы установить его в уме слушателей, на одно объяснение нагромождал другое, третье и т. д., и вследствие этого впадал в многословие, в перифразу. Но разница была, по-видимому, настолько деликатного свойства, что, несмотря на все усилия, различительные признаки вырисовывались слабо и со стороны очень нетрудно было их проглядеть. Вообще выходило, что дело идет только о словах и что Глумову хотелось, собственно, одного: во что бы ни стало устранить паскудное слово «боязнь», которое Поликсена Ивановна, пользуясь своей женской безответственностью, так простодушно пустила в обращение. Так что, когда Тебеньков, в шутливом русском тоне, желая поддразнить Глумова, взял его под мышки и сказал:

— Ну, что уж! признавайся! Ну, стыдишься... унываешь — все это так! но ведь мало-мало есть и тово... Побаиваешься-таки! Ну, грех пополам! — то сделалось как-то тяжело и неприятно, а Глумов, не возражая, досадливо отвел от себя шутника рукой и проворчал:

— Оставь!

Затем все смолкли и, разумеется, через минуту, по установившемуся обычаю, возопили:

— Господи! да неужто ж это не кошмар!

— А впрочем, господа,—первый прервал молчание Положилов,— я и с своей стороны не разделяю щепетильности Глумова. Ведь речь идет совсем не о героях, а о массе ординарных, но добропорядочных и мягкосердечных людей, которые любят добро, но не чувствуют призвания «класть свои головы». И вот относительно их-то я и не вижу, почему бы для них представилось обидным или предосудительным сознаться в гнетущем их беспокойстве. По моему мнению, боязнь играет настолько решительную роль в существовании современного человека, что самое уныние едва ли могло бы так прочно внедриться в обществе, если б его постоянно не питало ожидание чего-то непредвиденного. А коль скоро страх существует, то отрицаться от него значит только добровольно обрекать себя на сугубое малодушие, значит отнимать у себя возможность, при помощи анализа этого явления, примириться с своею совестью. Ведь ежели даже этой возможности не будет, то как же существовать? Поэтому-то я совершенно искренно думаю, что ежели у человека — повторяю, не у героя, а у ординарного, но добропорядочного человека — есть бесспорные и осязательные причины ощущать страх, то он имеет полное право без околичностей сказать: да, я боюсь. И совесть самая щепетильная не найдет основательного повода укорить его за это. Не так ли, господа?

— «Право»!.. отлично! превосходно! «Право»! — проворчал Глумов.

— А по-моему, право как право, не хуже и не лучше прочих таковых же. Скажу даже больше: по нынешнему времени и этим правом в полном его объеме едва ли всякому удастся воспользоваться. «Правом бояться»... да! Бояться — ведь это значит «кукситься», а кукситься — значит показывать кукиш в кармане. Все это виды и формы темного русского фрондерства, а что̀ гласят об этом в «Вестнике Общественных Язв»? Да-с, современный общественный камертон совсем не к фрондерству наклонен. Камертон этот гласит так: всякий да взирает бодро. Вот это право (право взирать весело) — бесспорное, и всякий может пользоваться им на всей своей воле. И что всего несомненнее, этим правом наградила нас не в такой мере жизнь, как литература.

Произнеся последнее слово, Положилов на минуту остановился, как бы выжидая, какой эффект оно произведет на слушателей. Но никакого эффекта не было; скорее, напротив того, можно было предположить, что давно уж это слово у всех на языке и, рано или поздно, неминуемо придется его произнести.

— Если до известной степени, можно согласиться с Глумо-

вым,— продолжал Положилов,— что, с общей точки зрения, страх есть чувство некрасивое и что сознаваться в нем не особенно лестно, то до современной русской литературы это уж ни в коем случае относиться не может. Ее нельзя не бояться; ее должно бояться. Возьмите одни фирмы: «Бодрствующая Упредительница», «Неусыпающий Шалыган», «Изъяснитель Язв»... разве не страшно? Разумеется, прежде всех должны бояться своя же братия, неостервенившиеся литераторы. Им, должно быть, особенно трудно, ибо в литературе обойтись без человеческих чувств, без человеческих мыслей, без обобщений, без идеалов, с одною канцелярскою насущностью... что ж это за литература будет! Но не освобождаются от обязанности трепетать и все вообще партикулярные люди, которые почему-либо не сумели уподобить себя зверям. К числу последних я причисляю и себя. И хотя, говоря вообще, я *не вполне* боюсь, но признаюсь, когда утром начинаю, по привычке, прочитывать печатные строчки, то ощущаю невольную дрожь. Помилуйте! каждый день кого-нибудь предают суду! Ни талант, ни известность, ни годы тщательнейшего самонаблюдения — ничто не ограждает от внушений самого ехидного свойства! И от кого исходят эти внушения?!

— И от кого исходят эти внушения?! — словно эхо, повторили мы все.

Но тут со мною случилось что-то загадочное. Несмотря на торжественность минуты, в ушах моих вдруг как-то совершенно явственно прозвучало:

Люди добрые, внемлите
Страданью сердца моего...

Разумеется, я ни с кем не поделился этой пилюлей; однако ж Положилов, по-видимому, угадал, что во мне происходит нечто неладное.

— Нет, ты не шути! — обратился он ко мне,— а обрати внимание! Столько нынче гаду в вашу литературу наползло, столько наползло, что даже вчуже страшно становится! Кружатся, хохочут, ликуют, брызжут слюнями... Иной всю жизнь в ретираде сидел, заплесневел, отсырел; думал: до гробовой доски мне в сем месте на стенах писать суждено,— и вдруг почувствовал, что момент его наступил! Вы представьте себе эту картину! Выходит оттуда, весь пахучий, и голосом, напоминающим местное урчание, вопиет: а позвольте вас, милостивые государи, допросить, по какому случаю вы унывать изволите?.. Каково вопросы-то эти слушать?

— А разве нельзя ему ответить: угадай! — как-то неожиданно сорвалось с языка у Поликсены Ивановны.

Совет этот был ужасно прост, до того прост, что Положилов на некоторое время даже как бы оторопел.

— Ты, Поликсенчик, всегда...— сказал он с оттенком нетерпения, но вслед за тем спохватился и присовокупил,— а что̀, ежели и в самом деле... Он — с допросцем, а ему в ответ... угадай?! Ведь это в своем роде...

— Нельзя! — резко прервал Глумов, который, по-видимому, успел уже убедиться (а кто же знает, может быть, и прежде он, только упражнения ради, противное утверждал), что «бояться» не стыдно.

— Почему?

— Чудак! сам же сейчас говорил, что засилие гад взял,— и спрашиваешь! Надо еще удивляться, что хоть по существенным-то пунктам гады решительных побед не одерживают. Ведь ежели их послушать, то все, что в течение последних лет приобретено, все это нужно нарушить и упразднить: земство отменить, суд присяжных уничтожить, цензуру восстановить, крепостное право возродить!.. Ну, этого, однако ж, им не дождаться!

— Вот видишь! стало быть, есть же и противовес!

— По таким-то пунктам... еще бы! Ну, а подробности там разные, например: ты, я, мы, вы, они — это уж в счет нейдет! этого нельзя и не уступить. Нельзя-с. Потому, засилие гады взяли! Подоплеку угадали! Ах, много еще кровожадности в этой подоплеке таится, куда как много! Вот они ее и эксплуатируют.

— А я так думаю,— возразил я,— что не столько кровожадность играет тут роль, сколько жалкая и скудоумная страсть к начертыванию паскудных словес на стенах нежилых строений, на заборах, скамьях и т. д. Вот она, настоящая-то подоплека, на чем стоит.

— Есть и это. Но, во всяком случае, гад знает, что ему нынче масленица. Попробуй-ка ему сказать: угадай! — он огорчится и сейчас тебе в ответ: измена! А вслед за этим и подоплека завопит: ха-ха, измена!

— Ах, мерзость какая!

— И ведь сам, шельмец, знает, что лжет! знает, что лжет, и все-таки лжет!

Говоря это, Глумов простирал руки и сверкал глазами. В первый раз я в нем эту восторженность видел. Обыкновенно он относился ко всем этим «изменам» скорее иронически, и вот теперь... Это было так странно, что на этот раз я уже не выдержал и явно запел:

Люди добрые, внемлите
Страданью сердца моего...

И все хором подхватили:

Он меня разлюбил!
Он ее полюбил!

— «Ее», то есть розничную продажу, во имя которой все современные литературные злодеяния совершаются! — пошутил Тебеньков.

А Поликсена Ивановна, совершенно успокоившаяся, с любовью оглянула нас и, вздохнув, присовокупила:

— Ах, бедненькие вы мои! беззащитненькие!

Одним словом, благодаря моей диверсии, чуть-чуть не водворилось в нашем кружке общее благодушие, как вдруг нелегкая дернула Плешивцева сказать:

— Ну вот, теперь все отлично. А то я слушал-слушал, и, признаться, все-то мне думалось: а ведь это они перед Филиппом хотят себя с хорошей стороны зарекомендовать!

Это напомнило о Филиппе и разом всех расхолодило. К тому же, в эту самую минуту, в столовой упал со стола стакан и с шумом разбился. Под влиянием совпадения этих нечаянностей и Положилов и Поликсена Ивановна, оба единовременно на цыпочках устремились к двери, и хотя оказалось, что виновником кутерьмы был кот Васька, но благодушие к нам уже не возвратилось.

— Прежде насчет гаду было лучше! — возобновил разговор Тебеньков.

— Вот как! — удивился Плешивцев.

— Да так. И прежде гад допускался, но строже его держали. Жить — живи, но из указанных природой помещений не выходи.

— Пожалуй, что это и так,— согласился Положилов.— А главное что̀ было дорого: поучений делать не моги́! Никто не моги́ делать поучения, а в том числе не моги́ и гад!

— А нынче гады подоплеку собой изображать претендуют — оттого и не сладишь с ними! — присовокупил Глумов,— выйдет он из своего места и начнет тебя обыскивать. Там рванет, в другом месте куснет... ах! Волк — тот прямо за горло режет, а гад — во все места расползется... Можете вообразить себе чувство человека, который, по обстоятельствам, вынужден вступать с ним в разговор!

— Господи! да неужто ж это не кошмар!

. . . .

Однако ж оказалось, что это не кошмар. Тебеньков сообщил:

— Был я давеча у одного товарища по школе: сидит и всем естеством радуется. Слава богу, говорит, и у нас публицист

нашелся! — Хорош? — спрашиваю.— Да такой, говорит, что ежели ему узы разрешить, так он всю вашу либеральную суматоху на бобах разведет! И представь себе, где нашли — в уединенном месте! Сидит, улыбается и на стенах пишет!

— Любопытно, какие он, этот новоявленный публицист, вопросы разрешать будет?

— Помилуй! Вопрос первый: дозволительно ли мыслить? Ответ: нет, не дозволительно. Вопрос второй: предосудительно ли человеческие чувства выражать? Ответ: да, предосудительно. Этими двумя вопросами вся современная суть исчерпывается.

— Да ведь надо же будет и дальше говорить!

— А дальше он будет распивочным слогом рассказывать анекдоты о стриженых девках, будет на стенах излюбленные словеса писать, акростихи доброго помещичьего времени, вроде «хвалы достойные девицы», вспомнит... Да и мало ли подходящего матерьяла найдется!

— Знаешь ли что́,— предложил мне Тебеньков,— я бы советовал тебе, в отделе беллетристики, все водевили Каратыгина постепенно перепечатать, этак в месяц по одному. Это помогло бы тебе время провести, а читателя-то как освежило бы!

— А ведь это на дело похоже! — поддержал Положилов,— что̀ вы там «сквозь невидимые миру слезы» ехидничаете! гряньте-ка прямо, начистоту... Господа! кто из вас помнит: *Задеть мою амбицию...* за мной!

И все мы хором подхватили:

Задеть мою амбицию
Я не позволю вам,
Я жалобу в полицию
На вас, сударь, подам!

— Господи! да неужто ж это не кошмар!

Наступил довольно длинный период молчания. В столовую с шумом ворвался Филипп и начал накрывать ужин; из кухни доносился острый запах солонины и приятно щекотал обоняние. Это значительно всех прибодрило.

— А мне что̀ пришло на мысль, господа! — предложил Положилов,— давно мы не певали «Gaudeamus». Возьмемтесь-ка дружно за руки и помянем нашу молодость!

Взялись за руки и с увлечением грянули первую строфу всем дорогого канта. Но когда дошла очередь до «Vivat academia» [1], то усумнились. Какая академия? Что сие означает?

---

[1] Да здравствует академия.

в каком смысле «оное» понимать надлежит? и что сим достигается?

— Не забудьте, господа, что Филипп по-латыни не знает,— напомнил Положилов,— и, следовательно, может истолковать нашу песню в самом превратном смысле. Кто, например, поручится, что он не скажет себе: а! понимаю! медико-хирургическая... превосходно!

Словом сказать, пришлось бросить. К счастию, скоро доложили, что подано ужинать. Это опять всех ободрило. Но и тут Положилов отчасти отравил общее удовольствие, предупредив нас шепотком:

— Господа! за ужином чтобы никаких этих экскурсий в области вымыслов... ни-ни! Принимая пищу, мудрый о пище же и беседует — так-то!

На что мы, разумеется, ответили:

— Конечно! конечно! неужто ж мы этого-то не знаем!

За ужином все обошлось благополучно. Хвалили солонину, а в особенности не находили слов для выражения восторгов по поводу громадного индюка, присланного Положиловым из деревни.

— Индюка совсем не так легко довести до такой степени манности, нежности и благонадежности, как это кажется с первого взгляда,— объяснял при этом Павел Ермолаич,— нет, тут немало-таки труда нужно положить! Не в том штука, чтобы до отвалу накормить голодную птицу, а в том, чтобы существо, уже до отвращения пресыщенное, целесообразными мерами побудить сугубо себя утучнить, ad majorem hominis gloriam! [1] Это целая система, которую, впрочем, я не буду здесь излагать, дабы Поликсена Ивановна не вывела из моего изложения каких-либо неблагоприятных намеков и применений. Но скажу одно: индюк, воспитанный на точном основании изданных на сей предмет руководств, делается ни к чему иному негодным, кроме как к подаче на стол в виде жаркова.

Поликсена Ивановна слушала эти объяснения и потихоньку радовалась. Мы тоже не без пользы внимали Положилову, потому что объяснения его, так сказать, осмысливали удовольствие, доставляемое нам индюком. Что касается до Филиппа, то он не без лукавства улыбался, как бы говоря: а ведь это они передо мной себя зарекомендовывают!

Повторяю: все произошло отлично, так что Поликсена Ивановна не выдержала и, обращаясь к Глумову, сказала:

— Вот вы давеча не поверили, когда я говорила, что и по

---

[1] К вящей славе человеческой!

настоящему времени прожить прекрасно можно,— ан вот вам и доказательство налицо!

Она обвела всех нас счастливым взором и проговорила:

— Прекрасно, тихо, благородно!

Это было так мило сказано и при том с таким теплым участием к нам, измученным невозможностью довести какой-либо разговор до конца, что Глумов крепко пожал ее руку и сказал:

— Правда ваша, голубушка! Именно: прекрасно, тихо, благородно! Лучше нельзя определить.

— И поверьте мне,— продолжала Поликсена Ивановна,— что вся эта суматоха, которая так мучительно на вас действует, чувствуется только в тех сферах, которые чересчур уж близко к ней стоят. А там, в глубинах, даже и не подозревают об ее существовании. Павел Ермолаич не дальше, как вчера, получил из деревни письмо...

— Да, есть из деревни письмо, есть! — отозвался Положилов,— и ежели угодно, то я могу его прочитать.

И не дожидаясь согласия нашего, он прочитал:

«А у нас, слава богу, благополучно. Только по случаю лютых оных морозов и бесснежия опасаемся, как бы озимый хлеб в полях не вымерз, да травы на низких местах весной не вымокли, да древа и кусты в садах не погибли. Причем, однако ж, остаемся не без упования, что ежели весна будет дружная и бог пошлет дождичков...»



ИЗ ДРУГИХ РЕДАКЦИЙ

ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ

ВЫМОРОЧНЫЙ[1]

Прощальные слова Аниньки: «Страшно с вами, дядя!» — проскользнули мимо ушей Порфирия Владимирыча без всяких последствий. Он так был полон самим собой, что ценил только свои собственные речи, да и то не потому, чтоб придавал им какой-нибудь определенный смысл, а просто потому, что словесное переливание из пустого в порожнее представляло наилучшее средство, чтоб наполнять бездну праздного времени. Поэтому, когда кибитка, увозившая Аниньку, скрылась из вида, то прежняя бесшумно-суетливая, безустойчивая жизнь совершенно естественно вновь вступила в свои права. Головлевский дом как бы оцепенел; только от времени до времени (обыкновенно за чаем и за обедом) раздавалось самоуверенно праздное слово Иудушки, и опять все стихало, чтоб уступить место молчаливой работе праздной мысли. Казалось, что и конца этой жизни не будет, что отныне никто уж не вторгнется в эту пустоту, не помешает ее правильно-бесцельному течению и что Иудушка, обремененный годами, безмятежно угаснет с праздным словом на устах, испив всю чашу ненужного существования. Угаснет лишь, благодаря естественному закону, вследствие которого человеческий организм, даже при самой индифферентной обстановке, постепенно изнашивается и сгорает.

Нельзя сказать, чтоб Порфирий Владимирыч *рассчитывал* на то, что привычка сосредоточиваться в самом себе и наслаждаться только самим собою даст ему возможность избыть жизнь, ни в ком не нуждаясь. Его выручал не расчет, а инстинкты его природы, инстинкты, в основании которых лежала безусловная вялость, равняющаяся полному непризнанию всего, что может произвести сомнение, беспокойство и вообще позыв к какой бы то ни было борьбе. Будущее его казалось

[1] См. «Отеч. зап.», № 5, 1876 г. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

достаточно обеспеченным тем одним содержанием, которое давало ему его собственное внутреннее миросозерцание. Миросозерцание это было до крайности скудно, но оно отличалось несомненною тягучестью, дававшею возможность один и тот же обрывок мысли развертывать до бесконечности, переворачивая его на все лады, доводя до конца и начиная сызнова. Кроме празднословия, у него была в запасе еще целая громадная область праздномыслия, которая до сих пор оставалась на заднем плане и заключившись в которую он мог уже окончательно счесть себя свободным от каких бы то ни было отношений к действительности. Покуда в головлевском доме было людно — он, конечно, предпочитал празднословие, потому что оно давало ему случай выказывать свой авторитет и вообще угнетать; но ежели празднословить будет не с кем и не для кого, то он не отступит и перед полною выморочностью, потому что и ее он найдет средство населить призраками своего праздномыслия. С этими призраками он проживет довольный и счастливый и нигде не почувствует себя ни одиноким, ни обездоленным; с этими призраками он приобретет себе два высших жизненных блага: неуязвимость и независимость, при помощи которых может почти наверное рассчитывать, что никакая катастрофа не коснется его.

Все это, однако ж, могло бы осуществиться в том только случае, если б Иудушка нашел средство устроить для себя такое положение, в котором он мог бы произвольно отрешиться от всяких потребностей, кроме тех, которые он сам для себя мысленно создаст и опробует. Но в этом-то именно и состояла трудность предстоявшей ему задачи. Действительность вовсе не дает места такого рода фикциям, а ежели по временам их и вырывают у нее насильственно, то результат такого насилия всегда бывает трагический. Ничто живущее не устраивает своего существования одними собственными средствами, точно так же, как ничто не изнывает само собою, не подвергается процессу просто страдательного разложения. И апатия, и энергия, и нравственная вялость, и сила — равно находят себе разрешение не в пустоте, а на практической почве. А в таинственных недрах последней всегда таится великое множество случайных развязок и перипетий, которых и самая подозрительная осторожность ни предусмотреть, ни обойти не в состоянии.

Агония началась с того, что ресурс празднословия, которым Порфирий Владимирыч до сих пор так охотно злоупотреблял, стал видимо сокращаться. Все вокруг него опустело: одни перемерли, другие — ушли. Даже Аннинька, несмотря на жалкую будущность кочующей актрисы, не соблазнилась голов-

левскими привольями. Оставалась одна Евпраксеюшка, но, независимо от того, что это был ресурс очень ограниченный, почти не допускавший разнообразия,— даже и в ней произошла какая-то порча, которая не замедлила пробиться наружу и раз навсегда убедить Иудушку, что красные дни прошли для него безвозвратно.

До сих пор Евпраксеюшка была до такой степени беззащитна, что Порфирий Владимирыч мог угнетать ее без малейших опасений. Благодаря крайней неразвитости ума и врожденной дряблости характера, она даже не чувствовала этого угнетения. Покуда Иудушка срамословил, она безучастно смотрела ему в глаза и думала совсем о другом. Но теперь она вдруг нечто поняла, и ближайшим результатом пробуждения способности понимания явилось внезапное, несознанное, но злое и непобедимое отвращение.

Очевидно, пребывание в Головлеве погорелковской барышни не прошло бесследно для Евпраксеюшки. Хотя последняя и не могла дать себе отчета, какого рода боли вызвали в ней случайные разговоры с Аннинькой, но внутренно она почувствовала себя совершенно взбудораженною. Прежде ей никогда не приходило в голову спросить себя, зачем Порфирий Владимирыч, как только встретит живого человека, так тотчас же начинает опутывать его целою сетью тягучих словесных обрывков, в которых ни за что уцепиться невозможно, но от которых делается невыносимо скучно, почти тяжело; теперь ей стало ясно, что Иудушка, в строгом смысле, не разговаривает, а «тиранит» и что, следовательно, не лишнее его «осадить», дать почувствовать, что и ему пришла пора «честь знать». И вот она начала вслушиваться в его бесконечные словоизлияния и, действительно, только одно в них и поняла: что Иудушка пристает, досаждает, зудит.

«Вот, барышня говорила, будто он и сам не знает, зачем говорит,— рассуждала она сама с собою,— нет, в нем это злость действует! Знает он, распостылый, который человек против него защиты не имеет,— ну и вертит им, как ему любо!»

Впрочем, это было еще второстепенное обстоятельство. Главным образом, действие приезда Аннинькн в Головлево выразилось в том, что он взбунтовал в Евпраксеюшке инстинкты ее молодости. До сих пор эти инстинкты как-то тупо тлели в ней, теперь — они горячо и привязчиво вспыхнули. Многое она поняла из того, к чему прежде относилась совсем безучастно. Вот, например: почему же нибудь да не согласилась Аннинька остаться в Головлеве, так-таки напрямик и сказала: страшно! Почему так? — а потому просто, что она молода, что

ей «жить хочется», а молодому и исполненному желания жизни существу не приходится ютиться около ветоши, прикрывающей один прах. Вот и она, Евпраксеюшка, тоже молода... Да, молода! Это только так кажется, будто молодость в ней жиром заплыла — нет, а временем куда тоже шибко она сказывается! И зовет и манит; то замрет, то опять вспыхнет. Думала она, что и с Иудушкой дело обойдется, а теперь вот... «Ах ты, гнилушка старая! ишь ведь как обошел!» — хорошо бы теперича с дружком пожить, да с настоящим, с молоденьким! Обнялись бы, завалилися, стал бы милый дружок целовать-миловать, ласковые слова на ушко говорить: ишь, мол, ты какая белая да рассыпчатая! «Ах, кикимора проклятая! нашел ведь чем — костями своими старыми — прельстить! Смотри, чай, и у погорелковской барышни молодчик есть! Беспременно есть! То-то она подобрала хвосты да удрала. А тут вот сиди в четырех стенах, жди, когда ему, старому, в голову вступит!..»

Разумеется, Евпраксеюшка не сразу заявила о своем бунте, но, однажды вступивши на этот путь, уже не останавливалась. Отыскивала прицепки, припоминала прошлое, и, между тем как Иудушка даже не подозревал, что внутри ее зреет какая-то темная работа, она молчаливо, но ежеминутно разжигала себя до ненависти. Сперва явились общие жалобы, вроде «чужой век заел»; потом наступила очередь для сравнений. «Вот, в Мазулине Палагеюшка у барина в экономках живет: сидит руки скламши да в шелковых платьях ходит. Ни она на скотный, ни на погреб — сидит у себя в покойчике да бисером вяжет!» И все эти обиды и протесты заканчивались одним общим воплем:

— Уж как же у меня теперича против тебя, распостылый, сердце разожглось! Ну так разожглось, так разожглось!

К этому главному поводу присоединилось и еще обстоятельство, которое было в особенности тем дорого, что могло послужить отличнейшею прицепкою для вступления в борьбу. В памяти Евпраксеюшки воскрес один случай, представление о котором, благодаря ее умственной вялости, едва совсем не заглохло в ней. Дело в том, что у нее был от Порфирия Владимирыча сын, об участи которого, со времени его появления на свет, она имела лишь смутные понятия. Родился этот ребенок вскоре после смерти старшего сына Иудушки и в честь его был назван Владимиром.

— Вот, у меня и другой Володька есть! — говорил по этому случаю Порфирий Владимирыч, веселенько хихикая,— одного Володьку бог взял, а другого дал!

Роды были трудные, и Евпраксеюшка чуть не умерла. Может быть, вследствие этого, она и не сохранила никаких дру-

гих воспоминаний об этом случае, кроме того, что у нее во время болезни почти все волосы из головы вылезли. Правда, что и Иудушка немало-таки поспособствовал такому исходу дела. Хихикая да хихикая, он взял да в одно прекрасное утро и отправил полегоньку богом данного ему Володьку в Москву, в воспитательный дом. Как в сфере мысли он был пустословом, в сфере религии — пустосвятом, в сфере домашнего обихода — пустодомом, так и в сфере семейных отношений явился пустоутробным. Призвавши бывшую свою фаворитку Улитушку (см. рассказ «По-родственному»), он повел с ней такого рода разговор:

— Вот что я придумал, Улитушка. Как-никак хоть и жалко, а придется нам Володьку к месту пристроить!

— Мне, что ли, в воспитательный ехать? — совершенно просто спросила Улитушка.

— Стой, погоди! Ах, какая ты таранта, Улита! все-то у тебя на уме — прыг да шмыг, а почем ты знаешь: может, я и не в воспитательный его хочу! Так вот я и говорю: хоть и жалко мне Володьку, а с другой стороны, как порассудить да поразмыслить — ан выходит, что дома держать его нам не приходится!

— Известное дело! Что люди скажут: откуда, мол, в головлевском доме чужой мальчишечка проявился?

— И это, да еще и то: пользы для него здесь никакой не будет. Мать молода — баловать станет; я, старый — туда же за нею! Нет-нет да и снизойдешь. Где бы за проступок посечь малого надо, а тут за сем да за тем... да и слез бабьих, да крику не оберешься — ну, и махнешь рукой. Так ли?

— Справедливо это. Надоест.

— А мне хочется, чтоб все у нас хорошохонько было, чтоб из него, из Володьки-то, со временем настоящий человек вышел. Коли ежели бог его крестьянством благословит, так чтобы землю работать умел... Ну, там косить, дрова рубить, всего чтобы понемножку... А коли ему в другое звание судьба будет, так чтобы ремесло знал... Оттуда, слышь, и в учителя некоторые попадают!

— Из воспитательного-то? Да сколько я сама видала!

— То-то вот и есть. Может быть, и знаменитый какой-нибудь человек из Володьки выйдет! А воспитывают их там отлично — это уж я сам знаю! Кроватки везде чистенькие, мамки здоровенькие, рубашечки на деточках беленькие, рожочки, сосочки... словом, все!

— Чего лучше... для незаконныих!

— А ежели он и в деревню в питомцы попадет — что ж, и Христос с ним! К трудам с малолетства приучаться будет, а

ведь труд — та же молитва! Вот мы — мы настоящим образом молимся! Встанем перед образом, крестное знамение творим, и ежели богу угодна наша молитва, то он подает нам за нее. А мужичок — тот трудится! иной и рад бы помолиться, да ему вряд и в праздник поспеть. А бог между тем видит его труды — за труды ему подает, как нам за молитву. Не всем в палатах жить да по балам прыгать — надо кому-нибудь и в избеночке курненькой пожить, за землицей за матушкой походить да похолить ее! А счастье-то — еще бабушка надвое сказала, где оно! Иной и в палатах живет, да через золото слезы льет, а другой и в соломку зароется, да на душе-то у него рай! Так ли я говорю?

— Чего уж лучше, как на душе рай!

— Ну, так мы вот как с тобой, голубушка, сделаем. Возьми-ка ты проказника Володьку, заверни его тепленько, да уютненько, да и скатай с ним живым манером в Москву. Кибиточку я распоряжусь тебе снарядить крытенькую да лошадочек парочку велю заложить, а дорога у нас теперь гладкая, ни ухабов, ни выбоен — кати да покатывай! Только ты у меня смотри: чтоб все честь честью было. По-моему, по-головлевски... как *я* люблю! Сосочка чтобы чистенькая, рожочек... рубашоночек, пеленочек, свивальничков, одеяльцев — всего чтоб вдоволь было! Бери! командуй! а не дадут, так меня, старого, бери за бока — мне жалуйся! Ах, Володька, Володька! Вот грех какой случился! Жаль расстаться с тобой, а делать, брат, нечего! Сам после пользу увидишь, сам будешь благодарить!

Иудушка слегка воздел руками и потрепетал губами в знак умной молитвы. Но это не мешало ему искоса взглядывать на Улитушку и исподтишка подмечать язвительные мелькания, которыми подергивалось все лицо ее.

— Ты что? сказать что-нибудь хочешь? — спросил он ее.

— Ничего я. Известно, мол, будет благодарить, коли благодетелев своих отыщет.

— Ах ты, дурная, дурная! да разве мы без билета туда отдадим! А ты билетец возьми! По билетцу-то мы его и сами живо отыщем. Вот выхолят, выкормят, уму-разуму научат, а мы с билетцем тут как тут: пожалуйте Володьку нашего назад! С билетом-то мы его со дна морского выудим... так ли я говорю?

Но Улитушка уже ничего не ответила на вопрос; она нервно переминалась с ноги на ногу, и язвительные мелькания в лице ее выступали все резче и резче. Наконец Порфирий Владимирыч не выдержал.

— Язва ты, язва! — сказал он,— ничего-то доброго у тебя на уме нет — все бы тебе уколоть да уязвить! Дьявол в тебе,

черт... тьфу! тьфу! тьфу! Ну, так так-то. Завтра чуть свет возьмешь ты Володьку, да потихоньку, чтобы Евпраксеюшка не слыхала, и отправляйтесь в Москву. Воспитательный-то знаешь?

— Важивала,— одно слово ответила Улитушка, как бы намекая на что-то в прошлом.

— А важивала, так тебе и книги в руки. Стало быть, и входы и выходы — все должно быть тебе известно. Помести же его, да начальников хорошенько попроси — вот так!

Он встал и поклонился, прикоснувшись рукой до земли.

— Чтоб ему хорошо там было! не как-нибудь, а настоящим бы манером! Да билетец-то выправь, не забудь! По билету мы его после везде отыщем! А на расходы я тебе две двадцатипятирублевых отпущу. Знаю ведь я, знаю! И там подсунуть придется, и в другом месте барашка в бумажке подарить... Ахти, грехи наши, грехи! Все мы люди, все человеки, все сладенького хотим! Вот и Володька мой! Кажется, велик ли, и весь-то с ноготок, а поди сколько уж денег стоит!

На другой день после этого разговора, покуда молодая мать металась еще в жару да в бреду, Володьку снарядили и тихим манером увезли в Москву. Так что недели через две, когда Евпраксеюшка уж успела «отлежаться», то никаких следов от Володьки и сопряженного с ним представления о прелюбодеянии не было и в помине.

Такова была история исчезновения Володьки. В то время Евпраксеюшка отнеслась к этому факту как-то тупо. Порфирий Владимирыч ограничился тем, что объявил ей об отдаче новорожденного в добрые руки, а чтобы утешить, подарил ей новый шалевой платок.

Затем все опять заплыло и пошло по-старому. Евпраксеюшка даже рьянее прежнего окунулась в тину хозяйственных мелочей, словно хотела на них сорвать неудавшееся свое материнство. Целые дни проводила на скотном дворе, смотрела, как доили коров, считала яйца, грызлась со скотницей и птичницей — словом, «совсем собакой сделалась». А Иудушка втихомолку потирал себе руки, полный уверенности, что отныне ни один соленый огурец в его хозяйстве не пропадет задаром.

И вдруг все эти расчеты рухнули. Продолжало ли потихоньку теплиться материнское чувство в Евпраксеюшке или просто ей блажь в голову вступила, во всяком случае, воспоминание о Володьке воскресло. Воскресло в ту самую минуту, когда на Евпраксеюшку повеяло чем-то новым, свободным, вольным, когда она почувствовала, что есть иная жизнь, сложившаяся совсем иначе, нежели в стенах головлевского дома,

когда в ней шевельнулся смутный запрос... Понятно, что придирка была слишком хороша, чтоб не воспользоваться ею.

— Ишь ведь, что сделал! — разжигала она себя,— ребенка отнял! словно щенка в омуте утопил!

Мало-помалу мысль эта овладела ею всецело. Она уже и сама едва ли не поверила какому-то страстному желанию вновь соединиться с ребенком, и чем назойливее разгоралось это желание, тем больше и больше силы приобретала ее досада против Порфирия Владимирыча.

— По крайности, теперь хоть забава бы у меня была! Володя! Володюшка! рожоный ты мой! Где-то ты? чай, к поневнице в деревню спихнули! Ах, пропасти на вас нет, господа вы проклятые! Наделают робят, да и забросят, как щенят в яму: никто, мол, не спросит с нас! Лучше бы мне в ту пору ножом себя по горлу полыхнуть, нѐчем ему, охавернику, над собой надругаться давать!

Явилась ненависть, желание досадить, изгадить жизнь, извести: началась несноснейшая из всех войн — война придирок, поддразниваний, мелких уколов. Но именно только такая война и могла сломить Порфирия Владимирыча.

Однажды, за утренним чаем, Порфирий Владимирыч был очень неприятно изумлен. Обыкновенно, он в это время источал из себя целые массы словесного гноя, а Евпраксеюшка, с блюдечком чая в руке, молча внимала ему, зажав зубами сахар и от времени до времени фыркая. И вдруг, только что начал он развивать мысль (к чаю в этот день был подан теплый свежеиспеченный хлеб), что хлеб бывает разный: видимый, который мы *едим* и через это тело свое поддерживаем, и невидимый, духовный, который мы *вкушаем* и тем стяжаем себе душу, как Евпраксеюшка самым бесцеремонным образом перебила его разглагольствия.

— Сказывают, в Мазулине Палагеюшка хорошо живет! — начала она, обернувшись всем корпусом к окну и развязно покачивая ногами, сложенными одна на другую.

Иудушка слегка вздрогнул от неожиданности, но на первый раз, однако, не придал этому случаю особенного значения.

— И ежели мы долго не едим хлеба видимого,— продолжал он,— то чувствуем голод телесный; если же продолжительное время не вкушаем хлеба духовного...

— Палагеюшка, слышь, в Мазулине хорошо живет! — вновь перебила его Евпраксеюшка и на этот раз уже, очевидно, неспроста.

Порфирий Владимирыч вскинул на нее изумленные глаза, но все-таки воздержался от выговора, словно бы почуял что-то недоброе.

— А хорошо живет Палагеюшка — так и Христос с ней! — кротко молвил он в ответ.

— Ейный-то господин,— продолжала колобродить Евпраксеюшка,— никаких неприятностей ей не делает, ни работой ее не принуждает, а, между прочиим, завсе в шелковых платьях водит!

Изумление Порфирия Владимирыча росло. Речи Евпраксеюшки были до такой степени ни с чем не сообразны, что он даже сразу не нашелся, что предпринять в данном случае.

— И на всякий день у нее платья разные,— словно во сне бредила Евпраксеюшка,— на сегодня одно, на завтра другое, а в праздник особенное. И в церкву в коляске четверней ездят: сперва она, потом господин. А поп, как увидит коляску, трезвонить начинает. А потом она у себя в своей комнате сидит. Коли господину желательно с ней время провести, господина у себя принимает, а не то так с девушкой, с горничной ейной, разговаривает или бисером вяжет!

— Ну, так что ж! — очнулся наконец Порфирий Владимирыч.

— Об этом-то я и говорю, что Палагеюшкино житье очень уж хорошо!

— А твое небось худо житье? Ах-ах-ах, какая ты, однако ж... ненасытная!

Смолчи на этот раз Евпраксеюшка, Порфирий Владимирыч, конечно, разразился бы целым потоком бездельных слов, в котором бесследно потонули бы все дурацкие намеки, возмутившие правильное течение его празднословия. Но Евпраксеюшка, по-видимому, и намерения не имела замолчать.

— Что говорить! — огрызнулась она,— и мое житье нехудое! В затрапезах не хожу, и то слава те господи! В прошлом году за два ситцевых платья по пяти рублей отдали... расшиблись!

— А шерстяное-то платье позабыла? а платок-то недавно кому купили? ах-ах-ах!

Вместо ответа Евпраксеюшка уперлась в стол рукой, в которой держала блюдечко, и метнула в сторону Иудушки косой взгляд, исполненный такого глубокого презрения, что ему с непривычки сделалось жутко.

— А ты знаешь ли, как бог за неблагодарность-то наказывает? — как-то нерешительно залепетал он, надеясь, что хоть напоминание о боге сколько-нибудь образумит неизвестно с чего взбаламутившуюся бабу. Но Евпраксеюшка не только не

пронялась этим напоминанием, но тут же на первых словах оборвала его.

— Нечего! нечего зубы-то заговаривать! нечего на бога указывать! — сказала она,— не маленькая! Будет! повластвовали! потиранили! можно и поостепениться маленько!

Порфирий Владимирыч замолчал. Налитой стакан с чаем стоял перед ним почти остывший, но он даже не притрогивался к нему. Лицо его побледнело, губы слегка вздрагивали, как бы усиливаясь сложиться в усмешку, но без успеха.

— А ведь это — Улиткины штуки! это она, ехидная, натравила тебя! — наконец произнес он, сам, впрочем, не отдавая себе ясного отчета в том, что говорит.

— Какие же это штуки?

— Да вот что ты разговаривать-то со мной начала... Или Анютка-актерка... она! она научила! Некому другому, как ей! — волновался Порфирий Владимирыч.— Смотри-тка те, ни с того ни с сего вдруг шелковых платьев захотелось! Да ты знаешь ли, бесстыдница, кто в шелковых-то платьях ходит?

— Скажите, так буду знать!

— Да просто самые... ну, самые беспутные, те только ходят!

Но Евпраксеюшка даже этим не усовестилась, но, напротив того, с какою-то наглою резонностью ответила:

— Не знаю, почему они беспутные... Известно, господа требуют... Который господин нашу сестру на любовь с собой склонил... ну, и живет она, значит... с им! И мы с вами не молебны, чай, служим, а теми же занятиями, как и мазулинский барин, занимаемся.

— Ах, ты... тьфу! тьфу! тьфу!

Порфирий Владимирыч даже помертвел от неожиданности. Он смотрел во все глаза на взбунтовавшуюся наперсницу, и целая масса праздных слов так и закипала у него в груди. Но в первый раз в жизни он смутно заподозрил, что бывают случаи, когда и праздным словом убить человека нельзя.

— Ну, голубушка! с тобой, я вижу, сегодня не сговорить! — сказал он, вставая из-за стола.

— И сегодня не сговорите, да и завтра не сговорите... никогда! Будет! повластвовали! Наслушалась я довольно; послушайте теперь вы, каковы мои слова будут!

Порфирий Владимирыч бросился было на нее с сжатыми кулаками, но она так решительно выпятила вперед свою грудь, что он внезапно опешил. Оборотился лицом к образу, воздел руки, потрепетал губами и тихим шагом побрел в кабинет.

Весь этот день ему было не по себе. Он еще не имел определенных опасений за будущее, но уже одно то волновало его,

что случился такой факт, который совсем не входил в обычное распределение его дня, и что факт этот прошел безнаказанно. Даже к обеду он не вышел, а притворился больным и скромненько, притворно ослабевшим голосом попросил принести ему поесть в кабинет.

— Бульонцу там... ну, курочки... немного мне надобно!

— Щи сегодня варили! гуся жарили! — грубо отрезала Евпраксеюшка.

— Ну, щец... гуська тоже... кусочек мне небольшой! Боюсь ведь я много-то!

Вечером, после чаю, который, в первый раз в жизни, прошел совершенно безмолвно, он встал, по обыкновению, на молитву; но напрасно губы его шептали обычное последование на сон грядущий: возбужденная мысль даже внешним образом отказывалась следить за молитвой. Какое-то дрянное, но неотступное беспокойство овладело всем его существом, а ухо невольно прислушивалось к слабеющим отголоскам дня, еще раздававшимся то там, то сям, в разных углах головлевского дома. Наконец, когда пронесся где-то за стеной последний отчаянный зевок и вслед за тем все вдруг стихло, словно окунулось куда-то глубоко на дно, он не выдержал. Бесшумно крадучись, побрел он вдоль коридора и, подойдя к Евпраксеюшкиной комнате, приложил к двери ухо, чтоб подслушать. Евпраксеюшка была одна, и слышно было только, как она, зевая, произносит: «Господи! Спас милостивый! Успления богородица!» — и в то же время горстью чешет себе поясницу. Порфирий Владимирыч попробовал взяться за ручку двери замка, но дверь была заперта.

— Евпраксеюшка! ты здесь? — окликнул он.

— Здесь, да не про вас! — огрызнулась она так грубо, что Иудушке осталось молча отретироваться в кабинет.

На другой день последовал другой разговор. Евпраксеюшка, как нарочно, выбирала время утреннего чая для уязвления Порфирия Владимирыча. Словно она чутьем чуяла, что все его бездельничества распределены с такою точностию, что нарушенное утро причиняло беспокойство и боль уже на целый день.

— Посмотрела бы я, хоть бы глазком бы полюбовалась, как некоторые люди живут! — начала она как-то загадочно.

Порфирия Владимирыча всего передернуло. «Начинается!» — подумал он, но смолчал и ждал, что дальше будет.

— Право! с дружком с милым, да с молоденькиим! Ходят по комнатам парочкой, да друг на дружку любуются! Ни он словом бранным ее не попрекнет, ни она против его. «Душа

моя», да «друг мой», только и разговора у них! Мило! благородно!

Эта материя была особенно ненавистна для Порфирия Владимирыча. Хотя он и допускал прелюбодеяние в размерах строгой необходимости, но все-таки считал любовное времяпрепровождение бесовским искушением. Однако он и на этот раз смалодушничал, тем больше что ему хотелось чаю, который уж несколько минут прел на конфорке, а Евпраксеюшка и не думала наливать его.

— Конечно, из нашей сестры много глупых бывает,— продолжала она, нахально раскачиваясь на стуле и барабаня рукой по столу,— иную так осетит, что она из-за ситцевого платья на все готова, а другая и просто, безо всего, себя потеряет!.. Квасу, говорит, огурцов, пей-ешь, сколько хочется! Нашли, чем прельстить!

— Так неужто ж из интереса одного...— рискнул робко заметить Порфирий Владимирыч, следя глазами за чайником, из которого уже начинал валить пар.

— Кто говорит: из-за интереса из-за одного? уж не я ли интересанткой сделалась! — вдруг кинулась в сторону Евпраксеюшка,— куска, видно, стало жалко! Куском попрекать стали?

— Я не попрекаю, а так говорю: не из одного, говорю, интереса люди...

— То-то «говорю»! Вы говорите, да не заговаривайтесь! Ишь ты! из интересу я им служу! а позвольте спросить, какой такой интерес я у вас нашла? Окромя квасу да огурцов.

— Ну, не один квас да огурцы...— не удержался, увлекся, в свою очередь, Порфирий Владимирыч.

— Что ж, сказывайте! сказывайте, что еще?

— А кто к Николе каждый месяц четыре мешка муки посылает?

— Ну-с, четыре мешка! еще чего нет ли?

— Круп, масла постного, словом, всего...

— Ну, круп, ну, масла постного... уж для родителев-то жалко стало! Ах, вы!

— Я не говорю, что жалко, а вот ты...

— Я же виновата сделалась! Мне куска без попреков съесть не дадут, да я же виновата состою!

Евпраксеюшка не выдержала и залилась слезами. А чай между тем прел да прел на конфорке, так что Порфирий Владимирыч не на шутку встревожился. «А ведь, пожалуй, чай-то выбросить придется»,— мелькнуло у него в голове. Поэтому он перемог себя, тихонько подсел к Евпраксеюшке и потрепал ее по спине.

— Ну, добро, наливай-ка чай... чего разрюмилась!

Но Евпраксеюшка еще раза два-три всхлипнула, надула губы и уперлась мутными глазами в пространство.

— Вот ты сейчас об молоденьких говорила,— продолжал он, стараясь придать своему голосу ласкающую интонацию,— что ж, ведь и мы, тово... не перестарки, чай, тоже!

— Нашли чего! отстаньте от меня!

— Право ну! Да я... знаешь ли ты... когда я в департаменте служил, так за меня директор дочь свою выдать хотел!

— Протухлая, видно, была... кособокая какая-нибудь!

— Нет, как следует девица... а как она «Не шей ты мне, матушка» пела! так пела! так пела!

— Она-то пела, да подпеватель-то у ней был плохой!

— Нет, я, кажется...

Порфирий Владимирыч недоумевал. Он не прочь был даже поподличать, показать, что и он может в парочке пройтись. В этих видах, он начал как-то нелепо раскачиваться всем корпусом и даже покусился обнять Евпраксеюшку за талию, но она грубо уклонилась от его протянутых рук и сердито крикнула:

— Говорю честью: уйди, домовой! не то кипятком ошпарю! И чаю мне вашего не надо! ничего не надо! Ишь что вздумали — куском попрекать начали! Уйду я отсюда! вот те Христос, уйду!

И она, действительно, ушла, хлопнув дверью и оставив Порфирия Владимирыча одного в столовой.

Иудушка был совсем озадачен. Он начал было сам наливать себе чай, но руки его до того дрожали, что потребовалась помощь лакея.

— Нет, этак нельзя! Надо как-нибудь это устроить... сообразить! — шептал он, в волнении расхаживая взад и вперед по столовой.

Но именно ни «устроить», ни «сообразить» он ничего не был в состоянии. Мысль его до того привыкла перескакивать от одного фантастического предмета к другому, нигде не встречая затруднений, что самый простой факт обыденной действительности заставал ее врасплох. Едва начинал он «соображать», как целая масса пустяков обступала его со всех сторон и закрывала для мысли всякий просвет на действительную жизнь. Лень какая-то обуяла его, общая, умственная и нравственная анемия. Так и тянуло его прочь от действительной жизни на мягкое ложе призраков, которые он мог перестанавливать с места на место, одни пропускать, другие выдвигать, словом, распоряжаться, как ему хочется.

— Надобно, надо как-нибудь...—бурчал он про себя, не

будучи в состоянии прийти ни к какому решению и только чувствуя, что случилось нечто недоброе, готовящееся отравить все его существование.

И опять целый день провел он в полном одиночестве, потому что Евпраксеюшка на этот раз уже ни к обеду, ни к вечернему чаю не явилась, а ушла на целый день на село к попу в гости и возвратилась только поздно вечером. Даже заняться ничем он не мог, потому что и пустяки на время как будто оставили его. Одна безвыходная мысль тиранила: надо как-нибудь, надо! Ни праздных выкладок он не мог делать, ни стоять на молитве! Он чувствовал, что к нему приступает какой-то недуг, которого он покуда еще не может определить. Не раз останавливался он перед окном, думая к чему-нибудь приковать колеблющуюся мысль, чем-нибудь развлечь себя, и все напрасно. На дворе начиналась весна, но деревья стояли голые, даже свежей травы еще не показывалось. Вдали виднелись черные поля, по местам испещренные белыми пятнами снега, еще державшегося в низких местах и ложбинах. Дорога сплошь чернела грязью и сверкала лужами. Но все это представлялось ему словно сквозь сетку. Около мокрых служб царствовало полнейшее безлюдье, хотя везде все двери были настежь; в доме тоже ни до кого докликаться было нельзя, хотя до слуха беспрестанно долетали какие-то звуки, вроде отдаленного хлопанья дверьми. Вот бы теперь невидимкой оборотиться хорошо да подслушать, что об нем хамово отродье говорит! Понимают ли подлецы его милости или, может быть, за его же добро да его же судачат? Ведь им хоть с утра до вечера в хайло-то пихай, все мало, все как с гуся вода! Давно ли, кажется, новую кадку с огурцами начали, а уж... Но только что он начал забываться на этой мысли, только что начинал соображать, сколько в кадке может быть огурцов и сколько следует, при самом широком расчете, положить огурцов на человека, как опять в голове мелькнул луч действительности и разом перевернул вверх дном все его расчеты.

«Ишь ты, ведь! даже не спросилась — ушла»,— думалось ему, покуда глаза бродили в пространстве, усиливаясь различить поповский дом, в котором, по всем вероятиям, в эту минуту соловьем разливалась Евпраксеюшка.

Но вот и обед подали; Порфирий Владимирыч сидит за столом один и как-то вяло хлебает пустой суп (он терпеть не мог суп без ничего, но *она* сегодня нарочно велела именно такой сварить).

«Чай, и поп-то до смерти не рад, что она к нему напросилась! — думается ему,— все же лишний кусок подать надо!

И щец, и кашки... а для гостьи, пожалуй, и жарковца какого-нибудь...»

Опять фантазия его разыгрывается, опять он начинает забываться, словно сон его заводит. Сколько лишних ложек щец пойдет? сколько кашки? и что поп с попадьей говорят по случаю прихода Евпраксеюшки? как они промежду себя ругают ее... Все это, и кушанья и речи, так и мечется у него, словно живое, перед глазами.

«Поди, из простой чашки так все вместе и хлебают! Ушла! сумела где себе найти лакомство! на дворе слякоть, грязь — долго ли до беды! Придет ужо, хвосты обтрепанные принесет... ах ты, гадина! именно гадина! Да, надо, надобно как-нибудь...»

На этой фразе мысль неизменно обрывалась. После обеда лег он, по обыкновению, заснуть, но только измучился, проворочавшись с боку на бок. Евпраксеюшка пришла домой уж тогда, когда стемнело, и так прокралась в свой угол, что он и не заметил. Приказывал он людям, чтоб непременно его предупредили, когда̀ она воротится, но и люди, словно стакнулись, смолчали. Попробовал он опять толкнуться к ней в комнату, но и на этот раз нашел дверь запертою.

«Надо, надо что-нибудь...» — неотвязно преследовала его мысль.

На третий день, утром, Евпраксеюшка хотя и явилась к чаю, но заговорила еще грознее и шибче.

— Где-то Володюшка мой теперь? — начала она, притворно давая своему голосу слезливый тон.

Порфирий Владимирыч совсем помертвел при этом вопросе.

— Хоть бы глазком на него взглянула, как он, родимый, там мается! А то, пожалуй, и помер уж... право!

Иудушка трепетно шевелил губами, шепча молитву.

— У нас все не как у людей! Вот у мазулинского господина Палагеюшка дочку родила — сейчас ее в батист-дикос нарядили, постельку розовенькую для ей устроили... Одной мамке сколько сарафанов да кокошников надарили! А у нас... э-эх... вы!

Евпраксеюшка круто повернула голову к окну и шумно вздохнула.

— Правду говорят, что все господа проклятые! Народят детей — и забросят в болото, словно щенят! И горюшка им мало! И ответа ни перед кем не дадут, словно и бога на них нет! Волк — и тот этого не сделает!

У Порфирия Владимирыча так и вертело все нутро. Он

долго перемогал себя, но наконец не выдержал и процедил сквозь зубы:

— Однако... новые моды у тебя завелись! уж третий день сряду я твои разговоры слушаю!

— Что ж. и моды! Моды — так моды! не все вам одним говорить — можно, чай, и другим слово вымолвить! Право-ну! Ребенка прижили — и что с ним сделали! В деревне, чай, у бабы в избе сгноили! ни призору за ним, ни пищи, ни одежи... лежит, поди, в грязи да соску прокислую сосет!

Она прослезилась и концом шейного платка утерла глаза.

— Вот уж правду погорелковская барышня сказала, что страшно с вами. Страшно и есть. Ни удовольствия, ни радости, одни только каверзы... В тюрьме арестанты лучше живут. По крайности, если б у меня теперича ребенок был — все бы я забаву какую ни на есть видела. А то на-тко! был ребенок — и того отняли!

Порфирий Владимирыч сидел на месте и как-то мучительно мотал головой, точно его и в самом деле к стене прижали. По временам из груди его даже вырывались стоны.

— Ах, тяжело! — наконец произнес он.

— Нечего «тяжело»! сама себя раба бьет, коли плохо жнет! Право, съезжу я в Москву, хоть глазком на Володьку взгляну! Володька! Володенька! ми-и-лый! Барин! съезжу-ка, что ли, я в Москву?

— Незачем! — глухо отозвался Порфирий Владимирыч.

— Ан, съезжу! и не спрошусь ни у кого, и никто запретить мне не может! Потому, я — мать!

— Какая ты мать! Ты девка гулящая — вот ты кто! — разразился наконец Порфирий Владимирыч,— сказывай, что тебе от меня надобно?

К этому вопросу Евпраксеюшка, по-видимому, не приготовилась. Она уставилась в Иудушку глазами и молчала, словно размышляя, чего ей, в самом деле, надобно?

— Вот как! уж девкой гулящей звать стали!— вскрикнула она, заливаясь слезами.

— Да! девка гулящая! девка, девка! тьфу! тьфу! тьфу!

Порфирий Владимирыч окончательно вышел из себя, вскочил с места и почти бегом выбежал из столовой.

Это была последня вспышка энергии, которую он позволил себе. Затем он как-то быстро осунулся, отупел и струсил, а между тем приставаньям Евпраксеюшки и конца не было видно. Каждый день с безнадежной аккуратностью повторялись сцены за сценами, назойливые, однообразные, почти беспредметные. Несмотря на свою неразвитость, Евпраксеюшка, словно в книге, читала в душе Порфирия Владимирыча. У ней

была в распоряжении громадная сила: упорство тупоумия, и, так как эта сила постоянно била в одну точку: досадить, изгадить жизнь, то по временам она являлась, действительно, чем-то страшным. Мало-помалу арена столовой сделалась уже недостаточною для нее; она врывалась в кабинет и там настигала Иудушку (прежде она и подумать не посмела бы войти туда, когда барин занят). Придет, сядет к окну, упрется посоловелыми глазами в пространство, почешется лопатками об косяк и начнет колобродить. В особенности же пришлась ей по сердцу одна тема для разговоров — тема, в основании которой лежала угроза оставить Головлево. В сущности, она никогда серьезно об этом не думала, и даже была бы очень изумлена, если б ей вдруг предложили возвратиться в родительский дом; но она догадывалась, что Порфирий Владимирыч пуще всего боится, чтоб она не ушла. Приговаривалась она к этому предмету всегда помаленьку, окольными путями. Помолчит, почешет в ухе и вдруг словно бы что вспомнит:

— Сегодня у Николы, поди, блины пекут!

Порфирий Владимирыч при этом вступлении зеленеет от злости. Перед этим он только что начал очень сложное вычисление — на какую сумму он может продать в год молока, ежели все коровы в округе примрут, а у него одного, с божьею помощью, не только останутся невредимы, но даже будут давать молока против прежнего вдвое. Однако, ввиду прихода Евпраксеюшки и поставленного ею вопроса о блинах, он оставляет свою работу и даже усиливается улыбнуться.

— Отчего же там блины пекут? — спрашивает он, осклабляясь всем лицом своим,— ах, батюшки, да ведь и в самом деле, родительская сегодня! а я-то, ротозей, и позабыл! Ах, грех какой! маменьку-то покойницу и помянуть будет нечем!

— Поела, бы я блинов... родительских!

— А кто ж тебе не велит! распорядись! Кухарку Марьюшку за бока! а не то так Улитушку! Ах, хорошо Улитка блины печет!

— Может, она и другим чем на вас потрафила! — язвит Евпраксеюшка.

— Нет, грех сказать, хорошо, даже очень хорошо Улитка блины печет! Легкие, мягкие — ай, поешь!

Порфирий Владимирыч хочет шуточкой да смешком развлечь Евпраксеюшку.

— Поела бы я блинов, да не головлевских, а родительских! — кобенится она.

— И за этим у нас дело не станет! Архипушку, кучера, за бока! вели парочку лошадушек в дрожки заложить, кати себе да покатывай!

— Нет, уж! что уж! попалась птица в западню... сама глупа была! Кому меня, этакую-то, нужно? Сами гулящей девкой недавно назвали... чего уж!

— Ах-ах-ах! и не стыдно тебе напраслину на меня говорить! А ты знаешь ли, как бог-то за напраслину наказывает?

— Назвали, прямо так-таки гулящей и назвали! вот и образ тут, при нем, при батюшке! Ах, распостылое мне это Головлево! сбегу я отсюда! право, не выдержу, сбегу!

Говоря это, Евпраксеюшка ведет себя совершенно непринужденно: раскачивается на стуле, копается в носу, почесывается. Очевидно, она разыгрывает комедию, дразнит.

— Я, Порфирий Владимирыч, вам что-то хотела сказать,— продолжает она колобродить,— ведь мне домой надобно!

— Погостить, что ли, к отцу с матерью собралась?

— Нет, я совсем. Останусь, значит, у Николы.

— Что так? Обиделась чем-нибудь?

— Нет, не обиделась, а так... надо же когда-нибудь... Да и скучно у вас... инда страшно! В доме-то словно все вымерло! Людишки — вольница, все по кухням да по людским прячутся, сиди в целом доме одна; еще зарежут, того гляди! Ночью спать ляжешь — изо всех углов шепоты ползут!

— А ты подтяни людишек! не приказывай им из дому отлучаться, мне пожалуйся!

— Нет уж... нехорошо у вас! Очень я вами благодарна, а только нельзя мне у вас оставаться... Страшно.

Однако проходили дни за днями, а Евпраксеюшка и не думала приводить в исполнение свою угрозу. Тем не менее действие этой угрозы на Порфирия Владимирыча было очень решительное. Он вдруг как-то понял, что, несмотря на то, что с утра до вечера изнывал в так называемых трудах, он, собственно говоря, ровно ничего не делал и мог бы остаться без обеда, не иметь ни чистого белья, ни исправного платья, если б не было чьего-то глаза, который смотрел за тем, чтоб его домашний обиход не прерывался. До сих пор он как бы не чувствовал жизни, не понимал, что она имеет какую-то обстановку, которая созидается не сама собой. Весь его день шел однажды заведенным порядком; все в доме группировалось лично около него и ради него; все делалось в свое время; всякая вещь находилась на своем месте — словом сказать, везде царствовала такая неизменная точность, что он даже не придавал ей никакого значения: до того все это казалось ему чем-то естественным, должным. Благодаря этому порядку вещей он мог на всей своей воле предаваться и празднословию и праздномыслию, не опасаясь, чтобы уколы действительной жизни когда-нибудь вывели его на свежую воду. Правда, что

вся эта искусственная махинация держалась на волоске; но человеку, постоянно погруженному в самого себя, не могло и в голову прийти, что этот волосок есть нечто очень тонкое, легко рвущееся. Ему казалось, что жизнь его установилась прочно, навсегда... И вдруг все это должно рушиться, рушиться в один миг, по одному дурацкому слову: нет уж! что уж! уйду! Иудушка совершенно растерялся. Подобно тому как незадолго перед этим его преследовала мысль: да, надо, как-нибудь надо! причем в уме его мелькала еще надежда усмирить Евпраксеюшку — теперь, с тою же неотступностью, начала угнетать другая мысль: а что, ежели она уйдет? И он мысленно начинал строить всевозможные, нелепые комбинации с целью как-нибудь удержать ее и даже решался на такие уступки в пользу бунтующей Евпраксеюшкиной младости, которые ему никогда бы прежде и в голову не пришли.

— Тьфу! тьфу! тьфу! — отплевывался он, когда возможность столкновения с кучером Архипушкой или с конторщиком Игнатом представлялась ему во всей обидной наготе своей.

Скоро, однако ж, он сам убедился, что страх его насчет ухода Евпраксеюшки был по малой мере неоснователен, и существование его как-то круто вступило в новый и совершенно для него неожиданный фазис. Евпраксеюшка не только не уходила, но даже заметно приутихла с своими приставаниями. Взамен того, она совершенно обросила Порфирия Владимирыча. Наступил май, пришли красные дни, и она уж почти совсем не являлась в дом. Только по постоянному хлопанью дверей Иудушка догадывался, что она зачем-нибудь прибежала к себе в комнату, с тем чтобы вслед за тем опять исчезнуть. Вставая утром, он уже не находил на обычном месте своего платья и должен был вести продолжительные переговоры, чтобы получить чистое белье; чай и обед ему подавали то спозаранку, то слишком поздно, причем прислуживал полупьяный лакей Прохор, который являлся к столу в запятнанном сюртуке и от которого вечно воняло какой-то противной смесью рыбы и водки.

Тем не менее Порфирий Владимирыч уж и тому был рад, что Евпраксеюшка оставляла его в покое. Он примирялся даже с беспорядком, лишь бы знать, что в доме все-таки есть некто, кто этот беспорядок держит в своих руках. Его страшила не столько безурядица (она только временно, в известные часы дня, беспокоила, волновала его), сколько мысль о необходимости личного вмешательства в обстановку жизни. С ужасом представлял он себе, что может наступить минута, когда ему самому придется распоряжаться, приказы-

вать, надсматривать. В предвидении этой минуты он старался подавить в себе всякий протест, закрывал глаза на наступавшее в доме безначалие, стушевывался, молчал. А на барском дворе между тем шла ежедневная открытая гульба. С наступлением тепла головлевская усадьба, дотоле степенная и даже угрюмая, вдруг оживилась. Вечером все население дворовых, и заштатные, и состоящие на действительной службе, и стар, и млад — все высыпало на улицу. Пели песни, играли на гармонике, хохотали, взвизгивали, бегали в горелки. На Игнате, конторщике, появилась ярко-красная рубаха и какая-то неслыханно узенькая жакетка, борты которой совсем не закрывали его молодецки выпяченной груди. Архип-кучер самовольно завладел выездною шелковой рубашкой и плисовой безрукавкой и, очевидно, соперничал с Игнатом в планах насчет сердца Евпраксеюшки. Евпраксеюшка бегала между ними и, словно шальная, кидалась то к одному, то к другому. Порфирий Владимирыч боялся взглянуть в окно, чтоб не сделаться свидетелем любовной сцены; но не слышать не мог. По временам в ушах его раздавался звук полновесного удара: это кучер Архипушка всей пятерней дал разà Евпраксеюшке, гоняясь за нею в горелках (и она не рассердилась, а только присела слегка); по временам до него доносился разговор:

— Евпраксея Никитишна! а Евпраксея Никитишна! — взывает пьяненький Прохор с барского крыльца.

— Чего надобно?

— Ключ от чаю пожалуйте, барин чаю просят!

— Подождет... Кикимора!

В короткое время Порфирий Владимирыч совсем одичал. Весь обычный ход его жизни был взбудоражен и извращен, но он как-то уж перестал обращать на это внимание. Он ничего не требовал от жизни, кроме того, чтоб его не тревожили в его последнем убежище — в кабинете. Насколько он прежде был придирчив и надоедлив в отношениях к окружающим, настолько же теперь сделался боязлив и угрюмо-покорен. Казалось, всякое общение с действительной жизнию прекратилось для чего. Ничего бы не слышать, никого бы не видеть — вот чего он желал. Евпраксеюшка могла целыми днями не показываться в доме, людишки могли сколько хотели вольничать и бездельничать на дворе — он ко всему относился безучастно, как будто ничего не было. Прежде, если б конторщик позволил себе хотя малейшую неаккуратность в доставлении рапортичек о состоянии различных отраслей хозяйственного управ-

ления, он наверное истиранил бы его поучениями; теперь — ему по целым неделям приходилось сидеть без рапортичек, и он только изредка тяготился этим, а именно, когда ему нужна была цифра для подкрепления каких-нибудь фантастических расчетов. Зато в кабинете, один на один с самим собою, он чувствовал себя полным хозяином, имеющим возможность праздномыслить, сколько душе угодно. Подобно тому, как оба брата его умерли, одержимые запоем, так точно и он страдал той же болезнью. Только это был запой иного рода — запой мечтательности и праздномыслия. Запершись в кабинете и засевши за письменный стол, он с утра до вечера изнывал над фантастической работой: строил всевозможные несбыточные предположения, учитывал самого себя, разговаривал с воображаемыми собеседниками и создавал целые сцены, в которых первая случайно взбредшая на ум личность являлась действующим лицом.

В этом омуте фантастических действий и образов главную роль играла какая-то болезненная жажда стяжания. Хотя Порфирий Владимирыч и всегда вообще был жаден, мелочен и наклонен к кляузе, но, благодаря его практической нелепости, никаких прямых выгод лично для него от этих наклонностей не получалось. Он надоедал, томил, тиранил (преимущественно самых беззащитных людей, которые, так сказать, сами напрашивались на обиду), но и сам чаще всего терял от своей затейливости. Теперь эти свойства всецело перенеслись на отвлеченную, фантастическую почву, где уже не имелось места ни для отпора, ни для оправданий, где не было ни сильных, ни слабых, где не существовало ни полиции, ни мировых судов (или, лучше сказать, существовали, но единственно в видах ограждения его, Иудушкиных, интересов) и где, следовательно, он мог свободно опутывать целый мир сетью кляуз, притеснений и обид.

Он любил мысленно выучить, разорить, обездолить, пососать кровь. В сфере фантазии он мстил за свое практическое бессилие, за свою неумелость, за неуспех своих кляуз, за то, что он мнил себя коршуном, а на деле являлся чем-то вроде огородного пугала, наводившего страх только тем, кому даже самое нелепое притязание, лишь бы оно было выражено нагло и самоуверенно, уже причиняло боль. Разнообразнейшие планы обездоления следовали в его воображении одни за другими, принимая самые прихотливые формы и преследуя его самыми мелкими подробностями. Он перебирал, одну за другой, все отрасли своего хозяйства: лес, скотный двор, хлеб, луга и проч., и на каждой созидал узорчатое здание фантастических притеснений, сопровождаемых самыми сложными рас-

четами, куда входили и штрафы, и ростовщичество, и общие бедствия, и всегда благоприятные для него условия покупок и продаж, и приобретение ценных бумаг — словом сказать, целый запутанный мир операций и сделок. А так как в этом мире все зависело от произвольно предполагаемых переплат или недоплат, то каждая переплаченная или недоплаченная копейка могла служить поводом для переделки всего здания, которое, таким образом, видоизменялось до бесконечности. Затем, когда утомленная мысль уже не в силах была следить с должным вниманием за всеми подробностями спутанных выкладок по операциям стяжания, он давал ей отдых, перенося арену своей фантазии на вымыслы более растяжимые, в основании которых лежали несложные факты его обыденной жизни. Он припоминал все столкновения и пререкания, какие случались у него с людьми не только в недавнее время, но и в самой отдаленной молодости, и разработывал и переделывал их с таким расчетом, что всегда из всякого столкновения выходил победителем. При этом он проделывал мысленно все приемы обычного жизненного обихода: доказывал свою правду, убеждал, утруждал начальство, судился, входил в пререкания и в конце концов всегда выходил отомщенным. С идеею правоты в уме его как-то непременно соединялась идея о мщении, мщении, правда, воображаемом, но тем более неумолимом в своей отвлеченности. Он мстил мысленно своим бывшим сослуживцам по департаменту, которые опередили его по службе и растравили его самолюбие настолько, что заставили отказаться от служебной карьеры; мстил однокашникам по школе, которые некогда пользовались своею физической силой, чтоб дразнить и притеснять его; мстил соседям по имению, которые давали отпор его притязаниям и отстаивали свои права; мстил слугам, которые когда-нибудь сказали ему грубое слово или просто не оказали достаточной почтительности; мстил маменьке Арине Петровне за то, что она просадила много денег на устройство Погорелки, денег, которые, «по всем правам», следовали ему; мстил братцу Степке-балбесу за то, что он прозвал его Иудушкой; мстил тетеньке Варваре Михайловне за то, что она, в то время, когда уж никто этого не ждал, вдруг народила детей «с бору да с сосенки», вследствие чего сельцо Горюшкино навсегда ускользнуло из головлевского рода. Мстил живым, мстил мертвым.

Фантазируя таким образом, он незаметно доходил до опьянения; земля исчезала у него из-под ног, за спиной словно вырастали крылья. Глаза блестели, губы тряслись и покрывались пеной, лицо бледнело и принимало торжественно-угрожающее выражение. И по мере того как росла фантазия, весь воздух

кругом него населялся призраками, с которыми он вступал в воображаемую борьбу. Целый бессвязный сценарий проносился в его воображении, сценарий, в продолжение которого он по очереди то резонировал, то приходил в гнев и угрожал, то говорил колкости, улыбался, хохотал.

Существование его получило такую полноту и независимость, что ему ничего не оставалось желать. Весь мир был у его ног, разумеется, тот немудреный мир, который был доступен его скудному миросозерцанию. Фантазия, отвернувшаяся от действительности, питала себя сама, самостоятельно созидая новые и новые основы для своих полетов. Самый скудный, в существе своем, замысел представлял неиссякаемый источник разнообразнейших комбинаций. Каждый простейший мотив Порфирий Владимирыч мог варьировать бесконечно, за каждый он мог по нескольку раз приниматься сызнова, разработывая всякий раз на новый манер. Это был своего рода экстаз, ясновидение, нечто подобное тому, что происходит на спиритических сеансах. Ничем не ограничиваемое воображение создает мнимую действительность, которая, вследствие постоянного возбуждения умственных сил, претворяется в конкретную, почти осязаемую. Это — не вера, не убеждение, а именно умственное распутство, экстаз. Люди обесчеловечиваются; их лица искажаются, глаза горят, язык произносит непроизвольные речи, тело производит непроизвольные движения.

Порфирий Владимирыч был счастлив. Он плотно запирал окна и двери, чтоб не слышать, спускал шторы, чтоб не видеть. Все обычные жизненные отправления, которые прямо не соприкасались с миром его фантазии, он делал на скорую руку, почти с отвращением. Когда пьяненький Прохор стучался в дверь его комнаты, докладывая, что подано кушать, он нетерпеливо вбегал в столовую, наперекор всем прежним привычкам, спеша съедал свои три перемены кушанья и опять скрывался в кабинет. Даже в манерах у него, при столкновении с живыми людьми, явилось что-то отчасти робкое, отчасти глупо-насмешливое, как будто он в одно и то же время и боялся и вызывал. Утром он спешил встать как можно раньше, чтобы сейчас же приняться за работу. Молитвенное состояние сократил; слова молитвы произносил безучастно, не вникая в их смысл; крестные знамения и воздеяния рук творил машинально, неотчетливо. Даже представление об аде и его мучительных возмездиях (за каждый грех — возмездие особенное), по-видимому, покинуло его.

А Евпраксеюшка между тем млела в чаду плотского вожделения. Гарцуя в нерешимости между конторщиком Игна-

тушкой и кучером Архипушкой и в то же время턴 кося глазами на краснорожего плотника Илюшу, который с целой артелью подрядился вывесить погреб, она ничего не замечала, что делается в барском доме. Она думала, что барин какую-нибудь «новую комедию» разыгрывает, и немало веселых слов было произнесено по этому поводу в людской, в дружеской компании почувствовавших себя на свободе людишек. Но однажды, как-то случайно, зашла она в столовую в то время, когда Иудушка наскоро доедал кусок жареного гуся, и вдруг ей сделалось жутко.

Порфирий Владимирыч сидел в засаленном халате, из которого местами выбивалась уж вата; он был бледен, нечесан, оброс какой-то щетиной, вместо бороды.

— Баринушка! что такое? что случилось? — бросилась она к нему в испуге.

Но Порфирий Владимирыч только глупо-язвительно улыбнулся в ответ на ее восклицание, словно хотел сказать: а ну-ка, попробуй теперь меня чем-нибудь уязвить!

— Баринушка! да что же такое? Говорите! что случилось? — повторила она.

Он встал, уставил в нее исполненный ненависти взгляд и с расстановкою произнес:

— Если ты, девка распутная, еще когда-нибудь... в кабинет ко мне... Убью!

Порфирий Владимирыч и не видал, как прошло лето. Август уже перевалил на вторую половину; дни сократились; на дворе непрерывно сеял мелкий дождь; земля взмокла; деревья стояли понуро, роняя на землю пожелтевшие листья. На дворе и даже около людской царствовала невозмутимая тишина; дворовые ютились по своим углам, частию вследствие хмурой погоды, частию вследствие того, что наконец догадались, что с барином происходит что-то неладное. Евпраксеюшка тоже очнулась; забыла и о шелковых платьях, и о милых дружках, и по целым часам сидела в девичьей на ларе, не зная, как ей быть и что предпринять. Пьяненький Прохор дразнил ее, что она извела барина, опоила его и что не миновать ей за это по Владимирке погулять. Неоднократно пыталась она войти в прежнюю колею, но всякий раз, как она являлась на глаза Порфирию Владимирычу, последний вскакивал с места, хватал первое, что попадалось ему под руку, и с какою-то мрачною решимостью угрожал: убью!

А Иудушка между тем сидит запершись у себя в кабинете

и мечтает. Ему еще лучше, что на дворе свежее сделалось; дождь, без устали дребезжащий в окна его кабинета, наводит на него полудремоту, в которой еще свободнее, шире развертывается его фантазия. Он представляет себя невидимкою и в этом виде инспектирует свои владения, в сопровождении старого Ильи, который еще при папеньке, Владимире Михайловиче, старостой служил и давным-давно на кладбище схоронен.

— Умный мужик Илья! старинный слуга! Нынче такие-то люди выводятся. Нынче что: прыг да шмыг, да поюлить, да погарантить, а чуть до дела коснется — и нет никого! — рассуждает сам с собою Порфирий Владимирыч, очень довольный, что Илья, по щучьему веленью да по его хотенью, из мертвых воскрес, и приказывает старику рюмку водки подать, как делывал покойный папенька.

Не торопясь да богу помолясь, никем не видимые, через поля и овраги, через долы и луга, пробираются они на пустошь Уховщину и долго не верят глазам своим. Стоит перед ним лесище стена стеной, стоит; да только вершинами в вышине гудет. Деревья все одно к одному красные — сосняк; которые в два, а которые и в три обхвата; стволы у них прямые, обнаженные, а вершины могучие, пушистые: долго, значит, еще этому лесу стоять можно! Попробовал было Порфирий Владимирыч наверх вершины взглянуть — картуз у него с головы слетел; попробовал гаркнуть молодецким посвистом — словно пушечная пальба по всему лесу покатилась.

— Вот, брат, так лесок! — в восхищении восклицает Иудушка.

— Заказничок! — объясняет старик Илья,— еще при покойном дедушке вашем, при Михайле Васильиче, с образами обошли — вон он какой вырос!

— А сколько, по-твоему, тут десятин будет?

— Да в ту пору ровно семьдесят десятин мерили, ну, а нынче... тогда десятина-то хозяйственная была, против нынешней в полтора раза побольше!

— Ну, а как ты думаешь, сколько на каждой десятине примерно дерев сидит?

— Кто их знает! у бога они сосчитаны!

— А я так думаю, что непременно шестьсот — семьсот на десятину будет. Да не на старую десятину, а на нынешнюю, на тридцатку. Постой! погоди! ежели по шестисот... ну, по шестисот по пятидесяти положить — сколько же на ста пяти десятинах дерев будет?

Порфирий Владимирыч берет лист бумаги и умножает 105 на 650: оказывается 68 250 дерев.

— Теперича, ежели весь этот лес продать... по разноте... как ты думаешь, можно по десяти рублей за дерево взять?

Старик Илья трясет головой.

— Мало! — говорит он,— ведь это — какой лес: из каждого дерева два мельничных вала выйдет, да еще строевое бревно, хоть в какую угодно стройку, да семеричок, да товарничку, да сучья... По-вашему, мельничный-то вал — сколько он стоит?

Порфирий Владимирыч притворяется, что не знает, хотя он давно уж все до последней копейки определил и установил.

— По здешнему месту, один вал десяти рублей стоит, а кабы в Москву, так и цены бы ему, кажется, не было! Ведь это — какой вал! его на тройке только-только увезти! да еще другой вал, потоньше, да бревно, да семеричок, да дров, да сучьев... Ан дерево-то, бедно-бедно, в двадцати рублях пойдет.

Порфирий Владимирыч думает про себя: «Это не я, это Илья говорит, а он не солжет!» Но, в то же время, он скромничает и, для большей верности, считает долгом возразить:

— Ну, брат, и леснику барышок надо дать!

— А нам зачем лесник, мы и сами сводить лес будем. Деньги, что ли, нам к спеху нужны? так у нас и своих довольно! А ежели и занадобятся деньги, так к нам всякий сейчас же за лесом с радостью поедет! сейчас ты ее, сосну-то, срубил — смотришь, ан и денежки за нее на столе лежат! Потому, она надобна: сегодня она в лесу, а завтра, поди, уж на мельнице стучать будет!

Слушает Порфирий Владимирыч Ильины речи и не наслушается их! Умный, верный мужик, этот Илья! Да и все вообще управление ему как-то необыкновенно удачно привел бог сладить! В помощниках у Ильи старый Вавило служит (тоже давно на кладбище лежит), вот, брат, так кряж! В конторщиках маменькин земский Филипп-перевезенец (из вологодских деревень его, лет шестьдесят тому назад, перевезли); полесовщики все испытанные, неутомимые; псы у амбаров — злые! И люди и псы — все готовы за барское добро хоть черту горло перегрызть!

— Умели папенька с маменькой, дай бог им царство небесное, людей выбирать! вот и я, по ихней милости, за этими людьми как за каменной стеной живу! А ну-тка, брат, давай прикинем: сколько это будет, ежели всю пустошь по разноте распродать?

Порфирий Владимирыч снова рассчитывает мысленно, сколько стоит большой вал, сколько вал поменьше, сколько строевое бревно, семерик, дрова, сучья. Потом складывает,

умножает, в ином месте отсекает дроби, в другом прибавляет; в комнате раздается: «Столько-то тысяч по десяти рублей, да столько-то по рублю, да столько-то хоть по полтине... ну, хоть по сороку по пяти копеек...» Лист бумаги наполняется столбцами цифр.

— На-тко, брат, смотри, что вышло! — показывает Иудушка воображаемому Илье какую-то совсем неслыханную цифру, так что даже Илья, который и со своей стороны не прочь от преумножения барского добра, и тот словно съежился.

— Что-то как будто уж и многовато! — говорит он, в раздумье поводя лопатками.

Но Порфирий Владимирыч уже откинул все сомнения и только веселенько хихикает.

— Чудак, братец, ты! Это уж не я, а цифра говорит... Наука, братец, такая есть, арифметикой называется... уж она, брат, не солжет! Ну, хорошо, с Уховщиной теперь покончили; пойдем-ка, брат, в Лисьи Ямы, давно я там не бывал! Сдается мне, что мужики там пошаливают, ой, пошаливают мужики! Да и Гаранька-сторож... знаю! знаю! Хороший Гаранька, усердный сторож, верный — это что и говорить! а все-таки... Маленько он как будто сшибаться стал!

Идут они неслышно, невидимо, сквозь чащу березовую, едва пробираются («ишь частой какой!» — шепотом повторяет Порфирий Владимирыч) и вдруг останавливаются, притаивши дыхание. На самой дороге лежит на боку мужицкий воз, а мужик стоит и тужит, глядючи на сломанную ось. Потужил-потужил, выругал ось, да и себя кстати ругнул, вытянул лошадь кнутом по спине («ишь, ворона!»), однако делать что-нибудь надо — не стоять же на одном месте до завтра! Озирается вор-мужичонко, прислушивается: не едет ли кто, потом выбирает подходящую березку, вынимает топор... А Иудушка все стоит, не шелохнется... Дрогнула березка, зашаталася и вдруг, словно сноп, повалилась наземь. Хочет мужик отрубить от комля, сколько ему на ось надобно, но Иудушка уж решил, что настоящий момент наступил. Крадучись, подползает он к мужику и мигом выхватывает из рук его топор.

— Ах! — успевает только крикнуть застигнутый врасплох вор.

— «Ах!» — передразнивает его Порфирий Владимирыч,— а чужой лес воровать дозволяется? «Ах!» — а чью березку-то, свою, что ли, срубил?

— Простите, батюшка!

— Я, братец, давно всем простил! Сам богу грешен и других осуждать не смею! Не я, а закон осуждает. Закон осуждает. Закон не велит чужого леса рубить, а ежели кто не слу-

шается и все-таки рубит — ну, делать нечего, штраф обязан заплатить! Следовательно, ты мне должен штраф заплатить. Ось-то, которую ты срубил, на усадьбу привези, да и рублик штрафу кстати уж захвати; а покуда пускай топорик у меня полежит! Небось, брат, сохранно будет!

Довольный тем, что успел на самом деле доказать Илье справедливость своего мнения насчет Гараньки, Порфирий Владимирыч с места преступления заходит мысленно в избу полесовщика и делает приличное поучение. Потом он отправляется домой и по дороге ловит в господском овсе трех крестьянских кур, которых велит старосте загнать на барский двор и держать там, покуда владельцы не заплатят штрафа. Воротившись в кабинет, он чувствует себя утомленным и с минуту потягивается и разминает свои члены. Но так как дело не терпит, то вслед за тем он опять принимается за работу, и целая особенная хозяйственная система вдруг зарождается в его уме. Все растущее и прозябающее на его земле, сеяное и несеяное, обращается в деньги по разноте, и притом со штрафом. Все люди как-то вдруг сделались порубщиками и потравщиками, а Иудушка не только не скорбит об этом, но, напротив, даже руки себе потирает от удовольствия.

— Травьте, батюшки, рубите! мне же лучше,— повторяет он, совершенно довольный.

И тут же берет новый лист бумаги и принимается за выкладки и вычисления.

Сколько на десятине овса растет и сколько этот овес может денег принести, ежели его куры мужицкие помнут и за все помятое штраф уплатят?

«А овес-то, хоть и помят, ан после дождичка и опять поправился!» — мысленно присовокупляет Иудушка.

Сколько в Лисьих Ямах березок растет и сколько за них можно денег взять, ежели их мужики воровским манером порубят и за все порубленное штраф заплатят?

«А березка-то, хоть она и срублена, ко мне же в дом на протопленье пойдет, стало быть — мне же барыш: дров самому пилить не надо!» — опять присовокупляет Иудушка мысленно.

Рожь, трава, даже яблони, огурцы — ничто не ускользает от прозорливого взора Порфирия Владимирыча...

Громадные колонны цифр испещряют бумагу; сперва рубли, потом десятки, сотни, тысячи... Иудушка до того устает за своей работой и, главное, так волнуется ею, что весь в поту встает из-за стола и ложится отдохнуть на диван. Но взбунтовавшееся воображение и тут не укрощает своей деятельности, а только избирает другую более легкую тему.

— Умная женщина была маменька, Арина Петровна,— фантазирует Порфирий Владимирыч,— умела и спросить, да и приласкать умела — оттого и служили ей все с удовольствием! Илья, Вавила, Филипп — все у нее в школе воспитывались! русский мужичок умный! а коли ежели с него за дело спрашивают, он не только претензии на это не имеет, а даже благодарен! Ты спрашивать спрашивай, да только знай, за что спрашивать! А вот ежели «подай то, неведомо что, да ступай туда, неведомо куда!» — ну, за это мужичок спасибо не скажет! Ах, умеючи, да и как еще умеючи надо с русским мужичком обойтись!

Всем хороша была Арина Петровна, однако и за ней грешки водились! Ой, много было за покойницей блох! так много, так много!

Не успел Иудушка помянуть об Арине Петровне, а она уж и тут как тут; словно чует ее сердце, что она ответ должна дать: сама к милому сыну из могилы явилась.

— Не знаю, мой друг, не знаю, чем я перед тобой провинилась! — как-то уныло говорит она,— кажется, я...

— Те-те-те, голубушка! лучше уж не грешите! — без церемонии обличает ее Иудушка,— коли на то пошло, так я все перед вами сейчас выложу! Почему вы, например, тетеньку Варвару Михайловну в ту пору не остановили?

— Как же ее останавливать! она и сама в полных летах была, сама имела право распоряжаться собою!

— Ну, нет-с, позвольте-с! Муж-то какой у нее был? Старенький да пьяненький — ну, самый, самый, значит... бесплодный! А между тем у ней четверо детей проявилось... откуда, спрашиваю я вас, эти дети взялись?

— Что это, друг мой, как ты странно говоришь! как будто бы я в этом причинна!

— Причинны не причинны, а все-таки повлиять могли! Смешком бы да шуточкой, «голубушка» да «душенька», да то бы да се — смотришь, она бы и посовестилась! А вы все напротив! На дыбы да с кондачка! Варька да Варька, да подлая да бесстыдная! чуть не со всей округой ее перевенчали! вот, она и того... и она тоже на дыбы встала! Жаль! Горюшкино-то наше бы теперь было.

— Далось тебе это Горюшкино! — говорит Арина Петровна, очевидно, становясь в тупик перед обвинением сына.

— Мне что Горюшкино! Мне, пожалуй, и ничего не надо! Было бы на свечку да на маслице — вот я и доволен! А вообще, по справедливости... Да, маменька, и рад бы смолчать, а не сказать не могу: большой грех на вашей душе лежит, очень, очень большой!

Арина Петровна уже ничего не отвечает, а только руками разводит, не то подавленная, не то недоумевающая.

— Ведь Горюшкино, это — какое именье! — продолжает фантазировать Порфирий Владимирыч,— арбузы там какие в парниках выхаживали... диковинные! по пуду да по полтора арбуз, а меньше тридцати фунтов и не видывали! Сам папенька-покойник говаривал: дыни — головлевские; арбузы — горюшкинские! А папенька был знаток. Любил, покойник, покушать и толк знал! Да, голубушка, согрешили вы в ту пору, не потрафили! Ах, как в этих делах осторожно следует поступать! ну, так осторожно! так осторожно! А вы... Нет, нет, нет! и люди за это вас не похвалят, да и бог спасибо не скажет!

Порфирий Владимирыч на минуту умолкает, словно любуется смущением доброго друга маменьки.

— Или бы вот, например, другое дело,— продолжает он,— зачем вы для брата Степана в ту пору дом в Москве покупали? [1]

— Надо было, мой друг; надо же было и ему какой-нибудь кусок выбросить,— оправдывается Арина Петровна.

— А он взял да и промотал его! И добро бы вы его не знали: и буян-то он был, и сквернослов, и непочтительный — нет-таки. Да еще папенькину вологодскую деревеньку хотели ему отдать! А деревенька-то какая! вся в одной меже, ни соседей, ни чересполосицы, лесок хорошенький, озерцо... стоит, как облупленное яичко, Христос с ней! хорошо, что я в то время случился да воспрепятствовал... Ах, маменька, маменька, и не грех это вам!

— Да ведь сын он... пойми, все-таки сын!

— Знаю я, и даже очень хорошо понимаю! И все-таки не нужно было этого делать, не следовало! Дом-то двенадцать тысяч серебрецом заплачен — и где они? Вот тут двенадцать тысяч плакали, да Горюшкино тетеньки Варвары Михайловны, бедно-бедно, тысяч на пятнадцать оценить нужно... Ан денег-то и многонько выйдет!

— Ну, да уж что уж! за то тебя бог в другом во всем благословил!

— Я не об себе: я тружусь! Я вот с утра до вечера... и конторщика, и скотницу, и ключницу... вы думаете — мало мне это трудов стоит? Но потому-то именно я и имею право говорить, что тружусь! Кабы я не трудился, я бы не говорил... А почему так? а потому, голубушка, что всякий тогда бы сказал: ты сам шалберничаешь, так какое же ты имеешь основание за другими замечать? А вот как посидишь да покорпишь, так

---

[1] См. рассказ «Семейный суд». (*Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.*)

оно и жалконько! Ты-то трудился, а рядом, видишь, люди без труда в свое удовольствие живут! А еще другие находятся, которые потакают им.

— Так неужто же меня-то можно потаковщицей назвать?

— Никогда я этого, маменька, не говорил! и в мыслях никогда у меня не было вас потаковщицей называть! ах, маменька! маменька! грешите вы! напраслину на меня взводите! Я, кажется, кроме уважения да ласки...

— Ну, ну, полно! уж перестань! не сердись, Христа ради!

— Я, маменька, не сержусь, я только по справедливости сужу... что правда, то правда — терпеть не могу лжи! с правдой родился, с правдой жил, с правдой и умру! И всегда скажу правду, хоть, может быть, она и не для всех приятна! Правду и бог любит, да и нам велит любить. Вот хоть бы про Погорелку; всегда скажу: много, ах, как много денег вы извели на устройство ее.

— Да ведь я сама в ней жила...

Иудушка очень хорошо читает на лице маменьки слова: кровопивец ты несуразный! — но делает вид, что не замечает их.

— Нужды нет, что жила, а все-таки... Киотка-то и до сих пор в Погорелке стоит, а чья она? Лошадь, савраска — тоже; шкатулочка чайная... сам собственными глазами еще при папеньке в Головлеве ее видел! а вещичка-то хорошенькая!

— Ну, что уж!

— Нет, маменька, не говорите! оно, конечно, сразу не видно, однако как тут рубль, да в другом месте — полтина, да в третьем — четвертачок... Как посмотришь да поглядишь... Да, впрочем, позвольте, я лучше сейчас все на цифрах прикину! Цифра — святое дело; она уж не солжет!

Порфирий Владимирыч опять устремляется к столу, чтоб привести наконец в полную ясность, какие убытки ему нанесла добрый друг маменька. Он стучит на счетах, выводит на бумаге столбцы цифр — словом, готовит все, чтоб изобличить Арину Петровну. Но, к счастию для последней, колеблющаяся его мысль не может долго удержаться на одном и том же предмете. Незаметно для него самого к нему подкрадывается новый предмет стяжания и, словно каким волшебством, дает его мысли совсем иное направление. Фигура Арины Петровны, еще за минуту перед тем так живо мелькавшая у него в глазах, вдруг окунулась в омуте забвения, и следом за нею туда же исчезают и Илья-староста, и Вавила, и Филипп. Цифры смешались...

Давно уж собирался Порфирий Владимирыч высчитать, что может принести ему полеводство, и вот теперь наступил

самый удобный для этого момент. Он знает, что мужик всегда нуждается, всегда ищет занять и всегда же отдает без обмана, с лихвой. В особенности щедр мужик на наличный свой труд, который «ничего не стоит», и на этом основании всегда, при расчетах, принимается ни во что, в знак любви. Много-таки на Руси нуждающегося народа, ах, как много! Много людей, не могущих определить сегодня, что ждет их завтра, жизнь или смерть, много таких, которые куда бы ни обратили тоскливые взоры — везде видят только безнадежную пустоту, везде слышат только одно слово: отдай! отдай! И вот, вокруг этих-то безнадежных людей, около этой-то перекатной голи, на которой испокон веков воочию разыгрывается фокус неистощимой мужицкой спины, стелет Иудушка свою бесконечную паутину, по временам переходя в какую-то неистовую фантастическую оргию.

На дворе апрель, и мужику, по обыкновению, нечего есть. «Проелись, голубчики! зиму-то пропраздновали, а к весне и животы подвело!» — рассуждал Порфирий Владимирыч сам с собою, а он, как нарочно, только-только все счеты по прошлогоднему полеводству в ясность привел. В феврале были обмолочены последние скирды хлеба, в марте зерно лежало ссыпанное в закрома, а на днях вся наличность уже разнесена по книгам в соответствующие графы. Иудушка стоит у окна и поджидает. Вот вдали, на мосту, показался в тележонке мужик Фока. На повертке в Головлево он как-то торопливо задергал вожжами и, за неимением кнута, пугнул рукой лошадь, еле передвигающую ноги.

— Сюда! — шепчет Иудушка,— ишь у него лошадь-то! как только жива! А покормить ее с месяц, другой — ничего животок будет! Рубликов двадцать пять, а не то и все тридцать отдать за нее.

И он следит за Фокиной лошадью, словно в книгах судеб давным-давно уже записано, что рано или поздно, а не миновать-таки ей головлевских конюшен.

Между тем Фока подъехал к людской избе, привязал к изгороди лошадь, подкинул ей охапку сенной трухи и через минуту уже переминается с ноги на ногу в девичьей, где Порфирий Владимирыч имеет обыкновение принимать подобных просителей.

— Ну, друг! что скажешь хорошенького? — начинает Порфирий Владимирыч.

— Да вот, сударь, ржицы бы...

— Что так! свою-то, видно, уж съели? Ах, ах, грех какой! Вот кабы вы поменьше водки пили, да побольше трудились, да богу молились, и землица-то это бы чувствовала! Где нынче

зерно — смотришь, ан в ту пору два или три получилось бы! Занимать-то бы и не надо!

Фока как-то нерешительно улыбается, вместо ответа.

— Ты думаешь, бог-то далеко, так он и не видит? — продолжает морализировать Порфирий Владимирыч,— ан бог-то — вот он он. И там, и тут, и вот с нами, покуда мы с тобой говорим,— везде он! И все он видит, все слышит, только делает вид, будто не замечает. Пускай, мол, люди своим умом поживут; посмотрим, будут ли они меня помнить! А мы этим пользуемся, да вместо того чтоб богу на свечку из достатков своих уделить, мы — в кабак да в кабак! Вот за это за самое и не подает нам бог ржицы — так ли, друг?

— Это уж что говорить! Это так точно!

— Ну, так вот видишь ли, и ты теперь понял. А почему понял? потому что бог милость свою от тебя отвратил. Уродись у тебя ржица, ты бы и опять фордыбачить стал, а вот как бог-то...

— Справедливо это, и кабы, ежели мы...

— Постой! дай я скажу! И всегда так бывает, друг, что бог забывающим его напоминает об себе. И роптать мы на это не должны, а должны понимать, что это для нашей же пользы делается. Кабы мы бога помнили, и он бы об нас не забывал. Всего бы нам подал: и ржицы, и овсеца, и картофельку — на, кушай! И за скотинкой бы за твоей наблюл — вишь, лошадь-то у тебя! в чем только дух держится! и птице, ежели у тебя есть, и той бы настоящее направление дал!

— И это вся ваша правда, Порфирий Владимирыч.

— Бога чтить, это — первое, а потом — старших, которые от самих царей отличие получили, помещиков, например.

— Да мы, Порфирий Владимирыч, и то, кажется...

— Тебе вот «кажется», а поразмысли да посуди — ан, может, и не так на поверку выйдет. Теперь, как ты за ржицей ко мне пришел, грех сказать! очень ты ко мне почтителен и ласков; а в позапрошлом году, помнишь, когда жнеи мне понадобились, а я к вам, к мужичкам, на поклон пришел? помогите, мол, братцы, вызвольте, вы что на мою просьбу ответили? Самим, говорят, жать надо! Нынче, говорят — не прежнее время, чтоб на господ работать, нынче — воля! Воля, а ржицы нет!

Порфирий Владимирыч учительно взглядывает на Фоку; но тот не шелохнется, словно оцепенел.

— Горды вы очень, от этого самого вам и счастья нет. Вот я, например: кажется, и бог меня благословил, и царь пожаловал, а я — не горжусь! Как я могу гордиться! что я такое!

червь! козявка! тьфу! А бог-то взял да за смиренство за мое и благословил меня! И сам милостию своею взыскал, да и царю внушил, чтобы меня пожаловал. И стал я человеком. Полегоньку да помаленьку, мирком да ладком, был червь, а сделался человек! И не горжусь!

— Я так, Порфирий Владимирыч, мекаю, что прежде, при помещиках, не в пример лучше было! — льстит Фока.

— Да, брат, было и ваше времечко! попраздновали, пожили! Всего было у вас: и ржицы, и сенца, и картофельцу! Ну, да что уж старое поминать! я не злопамятен; я, брат, давно об жнеях позабыл, да только так, к слову вспомнилось! Так, как же ты говоришь, ржицы тебе понадобилось?

— Да, ржицы бы...

— Купить, что ли, собрался?

— Где купить! в одолжение, значит, до новой!

— Ахти-хти! Ржица-то, друг, нынче кусается! Не знаю уж, как и быть мне с тобой...

Порфирий Владимирыч впадает в минутное раздумье, словно и действительно не знает, как ему поступить: «И помочь человеку хочется, да и ржица кусается...»

— Можно, мой друг, можно и во одолжение ржицы дать,— наконец говорит он,— да, признаться сказать, и нет у меня продажной ржи: терпеть не могу божьим даром торговать! Вот в одолжение — это так, это я с удовольствием. Я, брат, ведь помню: сегодня я тебя одолжу, а завтра — ты меня одолжишь! Сегодня у меня избыток — бери, одолжайся! четверть хочешь взять — четверть бери! осьминка понадобилась — осьминку отсыпай! А завтра, может быть, так дело повернет, что и мне у тебя под окошком постучать придется: одолжи, мол, Фокушка, ржицы осьминку — есть нечего!

— Где уж! пойдете вы, сударь, вы...

— Я-то не пойду, а к примеру... И не такие, друг, повороты на свете бывают! Вон в газетах пишут: какой столп Наполеон был, да и тот прогадал, не потрафил. Так-то, брат. А коли ежели я тебя в свое время одолжил — ну, и ты мне не откажешь: извольте, скажешь, Порфирий Владимирыч, с превеликим моим удовольствием. Сколько же тебе требуется ржицы-то?

— Четвертцу бы, коли милость ваша будет.

— Можно и четвертцу. Только заранее я тебе говорю: кусается, друг, нынче рожь, куда как кусается! Так вот как мы с тобой сделаем: я тебе шесть четверичков отмерить велю, а ты мне, через четыре месяца, два четверичка приполнцу отдашь — так оно четвертца в аккурат и будет! Процентов я не беру, а от избытка ржицы...

У Фоки даже дух занялся от Иудушкинова предложения; он ничего не говорит, только лопатками шевелит да под мышками пальцами рук сучит.

— Не многовато ли приполну-то будет, сударь? — наконец произносит он, очевидно робея.

— А много — так к другим обратись! Я, друг, не неволю, а от души предлагаю. Не я за тобой посылал, сам ты меня нашел. Ты — с запросцем, я — с ответцем. Ни я тебя нудить одолжаться не могу, ни ты меня нудить одолжаться не можешь. Так-то, друг!

— Так-то так, да словно бы приполну-то уж много?

— Ах, ах, ах! А я еще думал, что ты — справедливый мужик, степенный! Ну, а мне-то скажи, чем жить прикажешь? Я-то откуда расходы свои должен удовлетворить? Ведь у меня сколько расходов — знаешь ли ты? Конца-краю, голубчик, расходам у меня не видно. Я и тому дай, и другого удовлетвори, и третьему вынь да положь! Всем надо, все Порфирия Владимирыча теребят, а Порфирий Владимирыч отдувайся за всех! Опять и то: кабы я купцу рожь продал — я бы денежки сейчас на стол получил. Деньги, брат,— святое дело. С деньгами накуплю я себе билетов, положу в верное место и стану получать с них проценты! Ни заботушки мне, ни горюшка, отрезал купончик — пожалуйте денежки! А за рожью-то я еще походи, да похлопочи около нее, да постарайся! Сколько ее усохнет, сколько на россыпь пойдет, сколько мышь съест! Нет, брат, деньги — как можно! И давно бы мне за ум взяться пора! давно бы в деньги все обратить, да и уехать от вас!

— А вы с нами, Порфирий Владимирыч, поживите.

— И рад бы, голубчик, да сил моих нет. Кабы прежние силы, конечно, еще пожил бы, повоевал бы. Нет! пора, пора на покой! Уеду отсюда к Троице-Сергию, укроюсь под крылышко угоднику — никто и не услышит меня. А уж мне-то как хорошо будет: мирно, честно, тихо, ни гвалту, ни свары, ни шума — точно на небеси!

Словом сказать, как ни вертится Фока, а дело слаживается, как хочется Порфирию Владимирычу. Но этого мало: в самый момент, когда Фока уж согласился на условия займа, является на сцену какая-то Шепелиха. Так, пустошонка ледащая, с десятинку покосцу, да и то вряд ли... Так вот бы...

— Я тебе одолжение делаю, и ты меня одолжи,— говорит Порфирий Владимирыч,— это уж не за проценты, а так, в одолжение! Бог за всех, а мы друг по дружке! Ты десятинку-то шутя скосишь, а я тебя напредки попомню! я, брат, ведь просто! Ты мне на рублик послужишь, а я...

Порфирий Владимирыч встает и в знак окончания дела молится на церковь. Фока, следуя его примеру, тоже крестится.

Фока исчез; Порфирий Владимирыч берет лист бумаги, вооружается счетами, и цифры так и прыгают под его проворными руками. Сколько у него десятин ржи засевается? сколько получается от них приплода (кстати: везде уж десять лет кряду неурожай, только у него, Иудушки, всего, с божьей помощью, вдвое да втрое родится)? сколько от приплода приполну получится, ежели весь урожай, так же, как Фоке, в долг до новой ржи раздавать?

И за всем тем все его уважают, все даже удивляются, как он такой снисходительный процент берет! И начальство об этом знает, сам царь проведал.

Мало-помалу начинается целая оргия цифр. Весь мир застилается в глазах Иудушки словно дымкой; с лихорадочною торопливостью переходит он от счетов к бумаге, от бумаги к счетам. Цифры растут, растут...

Наконец все разом завертелось, смешалось и исчезло. Порфирий Владимирыч прислонил голову к спинке кресла и дремлет. И снится ему, что призывает его к себе директор департамента, в котором он когда-то служил и говорит:

— Простите меня, Порфирий Владимирыч, обидел я вас! Вам следовало бы по всем правам место вице-директора предоставить, а я Козелкова назначил! Но теперь все это исправлено. Поздравляю вас вице-директором, а Козелков, как не оправдавший моего доверия, уже отрешен мною от службы, с тем чтобы впредь никуда не определять!

У ПРИСТАНИ [1]

Прошло два-три года, и головлевская усадьба все больше и больше погружалась в оцепенение. Вокруг Иудушки установилось что-то вроде своеобразного порядка, который машинально поддерживался домочадцами и не допускал дома до окончательного запустения. Это был порядок молчаливого, постылого слоняния из угла в угол. Евпраксеюшка, в урочное время, слонялась, гремя ключами, из кладовой в погреб; Прохор-лакей слонялся по комнатам, метя полы и не столько вытирая, сколько размазывая пыль на мебели; конторщик Игнат,

[1] Рассказ этот служит окончанием «Семейных этюдов», печатавшихся в разное время в «Отеч. записках». См. «Семейный суд», «По-родственному» и т. д. (*Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.*)

лениво передвигая ноги, слонялся днем по хозяйству, а вечером приходил с докладом к барину, причем смотрел заспанно и сердито и с трудом выговаривал фразы, вроде «коли ежели бог даст вёдрышка». Всем надоело, опротивело, хотя от праздности все сделались поперек себя толще.

Впечатление, произведенное в околотке этим оцепенением, было весьма разнообразно. Мужички продолжали снимать шапки, проходя мимо усадьбы, и в то же время тревожно присматривались, словно выжидали, какая еще новая кляуза выйдет из этих молчаливых хором. Головлевский батюшка, который некогда называл Порфирия Владимирыча «сыном церкви прелюбезнейшим», теперь явно роптал, потому что Иудушка как-то разом прекратил всякие молебны, всенощные и поминовения и даже почти перестал ходить в церковь. Соседние культурные люди, большею частью мелкопоместные, которых в Головлеве презрительно именовали «дворняшками», сплетничали и галдели.

Этот люд, которому не нашлось места ни в казенной, ни в железнодорожной службе, ни в земстве, ни в судах, ни вообще в целой природе, во множестве ютился в окрестностях Головлева, в придавленных и полуразрушенных усадьбах, преданный бесконечной голодной праздности и в то же время сохраняя во всей неприкосновенности волчий аппетит. Он от души ненавидел Иудушку за его богатство, гордость и необщительность, и потому нет ничего мудреного, что в этой среде сложился про головлевского владыку чуть не целый цикл легенд. В основе этих сказаний, как и следовало ожидать, лежали два фактора: нечистая сила и запой.

Мелкопоместные идеалисты, знавшие слабость Порфирия Владимирыча к нравственным сентенциям, стояли, по преимуществу, на стороне нечистой силы. Так как они и сами не могли хорошенько отличить область ангельскую от области аггельской и в течение всей жизни путались в уяснении себе вопроса, о чем приличествует просить у бога, а о чем — у черта, то совершенно естественно было с их стороны прийти к заключению, что человек, у которого никогда не сходило с языка божественное, до того запутался в своих собственных афоризмах, что, сам того не замечая, очутился на дне чертовщины. Припоминалось, по этому случаю, бесконечное множество праздных слов, в разное время сказанных Иудушкой просто сдуру, а теперь приобретших силу чуть не бесспорных документов. Тогда-то он говорил о существовании какого-то «среднего места», в котором будто бы пребывают души умерших, впредь до распоряжения о расквартировании по горним селениям. Тогда-то упоминал об Эккартсгаузене, хотя лично не чи-

тал его, а слышал от папеньки Владимира Михайлыча, что дяденька Павел Михайлыч, начитавшись «Ключа к таинствам природы», умер в больнице умалишенных. Вспомнилось также, что Иудушка стяжателен и что, следовательно, он должен был веровать в ту или другую силу лишь постольку, поскольку та или другая являлась «скорой помощницей». Сначала, разумеется, он, по заведенному порядку, взывал к божеству: поспешай! — но ежели божество медлило, то он не задумывался прибегнуть и к другой таинственной силе, которая, по мнению людей бывалых, в житейских делах иногда даже успешнее содействует.

Напротив того, мелкопоместные реалисты склонялись более на сторону запоя и утверждали, что только запою присвоена безапелляционная власть доводить человека до состояния одичалости. Указывали при этом и на семейные примеры. И отец Иудушки, и оба его брата — все погибли жертвами запоя, не говоря уже о множестве ближних и дальних родственников, для которых беседа с графинчиком составляла самое обычное препровождение времени. Следовательно, и для Порфирия Владимирыча не представлялось резона составить исключение и избежать участи большинства человеков.

И вот, в то самое время, когда всем уже казалось, что Иудушкино «упразднение» приближается к развязке, что всякая лишняя минута, в смысле одичания, неминуемо приведет за собой катастрофу,— Головлево совершенно неожиданно оживилось.

Дело в том, что неподалеку от Головлева жила личность, которая не только принимала живейшее участие в Порфирии Владимирыче, но и зорко следила за всеми фазисами его постепенного одичания. Особа эта была Любовь Ивановна Галкина, дочь той самой тетеньки Варвары Михайловны, горюшкинской владетельницы, с которою Головлевы были издавна в ссоре за то, что она, через десять лет по выходе в замужество, то есть когда уже прочно установилось мнение о ее бесплодии, вдруг начала рожать детей. И Порфирий Владимирыч, и покойный отец его всегда указывали на Горюшкино и никак не могли позабыть, что оно окончательно утрачено для головлевского рода.

Несмотря на позднее начало, тетенька Варвара Михайловна народила (или, как выражались головлевцы на своем образном языке, «натаскала») целую кучу детей. Но одних из них она «прокляла», других — просто «рассовала» и оставила при себе только младшую дочь, Любочку, за которой и закрепила Горюшкино, выдав ее предварительно за секретаря местного уездного суда Галкина. Галкин был человек пьющий, но

деловой, и потому частенько-таки «потаскивал» из суда домой. Благодаря этому чета, при жизни его, жила безбедно, и молодая секретарша в свою очередь нарожала детей. Но в начале шестидесятых годов в судьбе этого семейства произошел крупный переворот. Прошли первые слухи о судебной реформе, и Галкин начал задумываться. Сначала задумывался, потом «закурил», а наконец, и умер. Любовь Ивановна, которой было в то время уж за тридцать (в Головлеве ее презрительно называли «старой галкой»), вынуждена была, с целой охапкой «галчат», ретироваться в Горюшкино.

Галчат было семь штук: один галчонок, надежда семейства, и шесть галочек. За годами относительного довольства потянулись годы всяческих недостач и чуть не нищеты, в течение которых старая галка неутомимо возилась с своими галчатами, с трудом изворачиваясь, чтобы накормить, одеть и обуть семью. В противоположность матери, которая называла своих детей «щенятами», старая галка не могла насмотреться и надышаться на своих галчат, и при одном напоминании об них приходила в какой-то безумный экстаз. С утра до вечера, не чувствуя под собой ног, мелькала она по полям и вокруг дома, ссыпала, сливала, мерила, считала, роптала на дождь и на вёдро, и на то, что у рабочих праздников много — и с помощью недосыпаний, недоеданий и недовешиваний достигла-таки того, что галчата были накормлены, напоены, одеты и обуты. Но этого мало: нужно было дать детям воспитание, «пристроить» их (старшему галчонку при смерти отца было тринадцать, а старшей галочке, Нисочке, двенадцать лет) — старая галка и тут нашлась. Сколько ни приходилось ей слоняться по передним, умолять, выслушивать суровые отказы и опять умолять («на коленках, батюшка, стаивала!» — рассказывала она в минуты откровенности), она не отступила от своей цели и, в конце концов, добилась ее осуществления. Ганечка был принят в кадетский корпус, три старшие дочери — размещены по институтам. Совершив этот подвиг, старая галка на время успокоилась и еще пуще прежнего принялась недоедать и недосыпать в своем родном Горюшкине.

Но покой этот был непродолжителен. Сперва подросли остальные три галочки, тоже потребовавшие размещения по институтам, потом — стали слетаться в родное гнездо старшие, оперившиеся галчата. Старая галка билась как рыба об лед и взывала к небу, чувствуя себя в положении человека, для которого малейшая оплошность может сделаться равносильной голодной смерти.

Старшие галочки были девушки не очень видные, но живые, миловидные и, главное, полненькие («кубышечки», как их

называли офицеры квартировавшего в К*** драгунского полка). Институтское воспитание, конечно, и на них наложило свою руку, вследствие чего они ходили с прискочкой, картавили и щурили глазки, но даже и это не вредило им, а, напротив того, считалось несомненным признаком невинности. Мысль, что Нисочке уж двадцать лет, что за нею следуют: Фимочка, Катечка и проч., и что каждой из них необходимо составить «приличную партию», денно и нощно терзала старую галку. Вся внутренность ее болезненно ныла, когда ей казалось, что Нисочка начинает тосковать. Она металась и озиралась, как будто ища глазами в пространстве, не идет ли кто к ней на выручку. Прежде всего, разумеется, она обратила внимание на квартировавший в уезде полк и, в видах уловления, даже вывозила дочерей, раза три-четыре в год, в уездный город, чтоб показать их на танцевальных вечерах в местном клубе (бог знает, каких это стоило ей пожертвований!). Они являлись там, одетые просто, но с таким расчетом, что никакая физическая подробность, нравящаяся мужчинам, не была упущена из вида или оставлена в тени. И старая галка не без гордости видела, что военные кавалеры так и вьются около них. Покуда они танцевали, она по очереди и молилась, и предавалась самому глубокому скверномыслию, на какое только способно любящее материнское сердце. Внутренно она допускала даже... «риск» (в комнате темно, слышится звук поцелуев, она входит со свечой... ах!). Но молодые драгуны охотно косили глазами на полуобнаженные бюсты «кубышечек» и многозначительно шевелили усами, но «рисковать» не решались и, по-видимому, нимало не думали о брачных узах. Старая галка заметалась, сделалась назойливою, начала говорить прозрачными намеками и этим совсем было уронила шансы неповинных галочек, около которых, мало-помалу, уже начинало складываться целое облако сплетен скабрезно-матримоньяльного свойства...

Но скабрезная хроника не успела еще как следует пустить корни, как старой галке блеснула новая надежда. В начале семидесятых годов в К***, по примеру прочих городов Российской империи, появились совершенно новые личности: судебные следователи, адвокаты, судебные пристава и т. д. Даже поселилась какая-то совсем загадочная личность, которая не называла себя ни прокурором (по недостатку смелости), ни товарищем прокурора (по недостатку скромности), а просто заявляла: «Я — обвинение». Любовь Ивановна вспомнила, что и она была когда-то судебной дамой, и опять начала по очереди и богу молиться, и скверномыслить. Но увы! и тут не поладилось бедным бесприданницам. Один судебный пристав

приехал было в Горюшкино, осмотрел усадьбу, скотный двор, похвалил порядок, отобедал, понюхал, обещал побывать в другой раз и исчез. Так что осталось неизвестным, приезжал ли он свататься или же хотел зàгодя познакомиться с движимостью и недвижимостью, на случай описи и оценки.

Старая галка совсем опустила руки. Она видела, как Нисочка ходит обнявшись с Фимочкой, как они о чем-то шепчутся друг с другом, и по временам щеки их вспыхивают — и надрывалось, ах, надрывалось ее материнское сердце!

В последнее время фортуна, однако ж, как будто улыбнулась старой галке. В Горюшкино приехал в побывку Ганечка Галкин, дослужившийся уже до поручичьего чина. Это был маленький, плотненький человечек, лет двадцати четырех, с румяным личиком, облеченный в коротенькую курточку, сплошь ушитую снурками, и в рейтузах, необыкновенно плотно охватывавших нижнюю часть его тела. Воспользовавшись сербской войной, он взял из полка долговременный отпуск, записался в добровольцы и получил из комитета пособие. Но, доехавши до Кишинева, не пожелал следовать далее, так что и знаменитой ракии не вкусил.

Ганечка был почтительный сын и добрый брат. Приехавши домой, он привез матери запас чаю и сахару (это было самое больное место старой галки), старшей сестре подарил золотой лорнет и полусапожки с каблучками, а прочим сестрам — по платью. Уныние, овладевшее было Горюшкиным, понемногу рассеялось. Старая галка откармливала дорогого гостя молочными скопами, барышни — с увлечением его ласкали и целовали. Целый день в доме шла возня. Ездили гурьбой в санях, затевали жмурки, фанты, устроивали танцы, пели и т. д.

И вот среди этой родственной суматохи зароились планы, в которых чаще и чаще упоминалось имя Иудушки. Старая галка по целым часам шушукалась с Ганечкой и с Нисочкой, и, по-видимому, встретила с их стороны не только сочувствие своим планам, но и решительный энтузиазм. Через несколько дней Ганечка до такой степени проникся уверенностью в успехе задуманного предприятия, что начал выступать по дому манерною походкой и, встречаясь с Нисочкой, почтительно целовал ее ручку и называл ее не иначе, как «madame».

— Одно скверно,— ракии в Кишиневе не захватил! — сетовал он перед матерью.— Нет, вы представьте себе, маменька, какой бы это был эффект! Приехал, отъявился — и сейчас ему в руки сувенир... с полей битвы-с!!

На что старая галка совершенно резонно заметила, что это дело поправимое. Стоит только взять в кабаке хорошего очищенного вина, перелить в оставшуюся после покойного па-

пеньки бутылку из-под кипрского и сделать по-французски надпись: Rakia. Тогда и сам черт, конечно, не разберет.

Декабрь на дворе; окрестность, одетая бесконечным саваном, тихо цепенеет; за ночь на дороге намело столько сугробов, что крестьянские лошади тяжко барахтаются в снегу, вывозя порожние санишки. А к головлевской усадьбе даже и следа почти нет. Порфирий Владимирыч до того отвык от посещений, что и главные ворота, и парадное крыльцо, с наступлением осени, заколотил, предоставив домочадцам сообщаться с внешним миром посредством девичьего крыльца и боковых ворот.

Бьет одиннадцать. Иудушка, в халате, стоит у окна и бесцельно глядит вперед. Целое утро он бродил по комнате взад и вперед и все об чем-то думал, что-то высчитывал, так что наконец устал. И плодовитый сад, раскинувшийся против главного фасада усадьбы, и поселок, приютившийся на задах сада,— все утонуло в снегу. День, после вчерашней вьюги, выдался морозный, и снежная пелена блестит миллионами искр, так что Порфирий Владимирыч невольно щурит глаза. На дворе пустынно и тихо, даже поселок угомонился, словно умер. Только над поповским домом вьется сизый дымок и останавливает на себе внимание Иудушки.

«Одиннадцать часов, а попадья еще не отстряпалась,— думается ему,— вечно эти попы жрут!»

Выйдя из этого пункта, он уже начинает соображать, что такое сегодня, будни или праздник, постный или скоромный день и что должна стряпать попадья, как вдруг внимание его отвлекается в другую сторону. На горке, при самом выезде из деревни Нагловки, показывается черная точка, которая постепенно подвигается и растет. Порфирий Владимирыч вглядывается в нее и, разумеется, прежде всего задается целой массой праздных вопросов. Кто едет, мужик или другой кто? другому, впрочем, некому — стало быть, мужик... да, мужик и есть! Зачем едет? — ежели за дровами, так нагловский лес по ту сторону деревни; ежели на мельницу, так тоже надо, выехавши из Нагловки, взять направо... Может быть, за попом? кто-нибудь умирает, а может статься, и умер? А может быть, и родился кто? Какая же это баба родила? Ненила с прибылью ходила, да ей, кажется, рано... Ежели мальчик родился, так в ревизию со временем попадет... сколько бишь в Нагловке душ? А ежели девочка, так тех в ревизию не записывают, да и вообще... А все-таки и без женского пола... тьфу!

Иудушка отплевывается от соблазна и смотрит на образ, как бы ища у него защиты.

Очень вероятно, что Порфирий Владимирыч долго блуждал бы таким образом мыслью, но показавшаяся у Нагловки черная точка тем временем все росла и росла и, наконец, повернула на гать, ведущую к церкви. Тогда он совершенно отчетливо различил, что едут дворянские сани, запряженные парой гусем. Вот они поднялись на взлобок и поравнялись с церковью, вот повернули направо и направились к усадьбе. Иудушка инстинктивно запахнул халат и живо отпрянул от окна, словно боялся, чтоб проезжий как-нибудь не заметил его.

Между тем сани бойкой рысцой подъехали к боковым воротам усадьбы и остановились. Ганечка (это был он) проворно выскочил из них и побежал к девичьему крыльцу, на котором уже стоял Прохор, до того пораженный неожиданностью, что, казалось, готов был грудью защищать вход в головлевскую обитель.

— Доложи-ка, друг, почтеннейшему дядюшке, что Галкин... Гаврило... желает засвидетельствовать им свое уважение,— сказал приезжий,— да кстати пусти уж и в комнаты, потому что, брат, я закоченел.

Действительно, молодой человек был одет совсем не по сезону, так что от всей его фигуры веяло легкомыслием. Несмотря на крутой мороз, на нем был надет коротенький полушубок, из-под которого виднелись ничем не защищенные рейтузы с ранжевой выпушкой. На голове красовалась холодная фуражка без наушников, а на руках были надеты белые замшевые перчатки. Поэтому не удивительно, что он торопливо устранил с дороги замешкавшегося Прохора и в одно мгновенье взбежал наверх по лестнице. Затем, через минуту, во всех концах головлевского дома уже раздавалось хлопанье дверьми.

Покуда шли переговоры, Ганечка остановился на минуту в девичьей, взглянул на выбежавшую и растерявшуюся Евпраксеюшку, но не сказал ни слова, а только щелкнул языком. Потом прошел коридором в залу, поставил на стол бутылку с надписью «Rakia», вынул из кармана кисет с табаком, свернул папиросу, наслюнявил и закурил. Наконец, в ожидании ответа дяденьки, начал прохаживаться взад и вперед, потихоньку напевая: «из Ревеля́ барон, любитель псов, жил с деревенской простотою», заметил Евпраксеюшку, снова выглянувшую в дверь, и опять ничего не сказал, но подумал: вот кабы этакой крале да задать промеж крылец разà! Вообще, он не чувствовал, по-видимому, ни малейшей робости и вел себя как малый совсем легкомысленный, который едва ли отчетливо выяснил себе цель своего путешествия. Прослонявшись с

четверть часа по зале, он вознамерился было отправиться на рекогносцировку дальше, как был остановлен Прохором.

— Это вы, сударь, не дело затеяли,— сурово заметил ему Прохор,— за табак-то вас дяденька не похвалят!

В ответ на это замечание, Ганечка уже совсем было сложил пальцы с намерением дать Прохору щелчок в нос, но, к счастию, вспомнил, что приехал совсем не за этим, и оставил свое намерение без выполнения.

— После, мой друг! об этом после! — зачастил он,— ну что? как почтеннейший дядюшка? здоров?

— Велено узнать, не внучек ли вы тетеньки Варвары Михайловны?

— Внучек, братец, тетеньки Варвары Михайловны — внучек, а сестрицы Любови Ивановны — сынок. Так и доложи почтеннейшему дядюшке. А что, друг,— прибавил он совсем неожиданно,— как у вас там по части винокурения? Рюмка — две рюмки — три рюмки... есть такое заведение?

Хотя Прохор и сам не раз роптал на отсутствие такого «заведения», но на этот раз ему почему-то вздумалось поддержать достоинство головлевского дома.

— У нас этого и в заводе нет,— ответил он наставительно,— у нас, сударь, здесь все одно что монастырь: ни водки, ни табаку... ни боже мой!

— Ну, а по части женской провизии? — подмигнул Ганечка по направлению к коридору, но опять спохватился, что не за тем приехал, и прибавил: — Впрочем, это мы, брат, впоследствии разберем, а теперь ступай и доложи почтеннейшему дядюшке: Галкин Гаврило, тетеньки Варвары Михайловны внучек.

Прохор ушел, а Ганечка опять принялся слоняться по комнате, заложив руки в карманы и напевая: «Пришел барон пешком с мешком». Но время шло назойливо долго, потому что Иудушка совершал обряд одевания со своею обычною томительной медлительностью. Чтобы развлечься как-нибудь, Ганечка вынул из кармана дорожный карандаш и написал на стене:

Все на свете сем пустое,
Богатство, слава и чины,
Было бы винцо простое
И кусочек ветчины...

(Эти стихи он аккуратно писал на всех станциях от Кишинева до Горюшкина.) Выполнивши это, он на минуту задумался, что бы ему еще совершить, и вдруг решительным <шагом> направился к столу, на котором стояла заветная бутылка с надписью «Rakia». Уже рука его простиралась с явным намерением откупорить пробку и «дерябнуть», как в эту самую ми-

нуту в коридоре послышалось шарканье туфель. В одно мгновение ока все легкомыслие Ганечки куда-то испарилось.

В дверях показался Порфирий Владимирыч. Он был весь в черном, худой, длинный, бледный. Увидев его, Ганечка до того струсил, что несколько мгновений только метался, не зная, как ему поступить. Наконец бросился к Иудушке, отыскал его руку и чмокнул ее.

— Галкин... Гаврило... то бишь тетеньки Варвары Михайловны...— нескладно бормотал он, с трудом справляясь с охватившим его волнением.

Иудушке эта робость понравилась. В первую минуту доклад о приезде забытого родственника покоробил его, но теперь, при виде покорности племянника, как-то сами собой всплыли старинные предания о престиже головлевского имени, а вместе с ними выступил и излюбленный головлевский девиз: «по-родственному».

— Племяш, стало быть? ну, познакомимся, друг! — произнес он снисходительно,— в побывку к старухе матери приехал. Это, брат, хорошо, что мать не забываешь! Чти отца и матерь,— это, брат, не я говорю, а бог сказал! Постой-ка, постой-ка, я на тебя погляжу!

Порфирий Владимирыч взял племянника за плечи, подвел к свету, осмотрел со всех сторон и пошутил:

— Молодец, брат! А много ли супостатов поразил?

Ганечка слабо улыбнулся.

— Я, дяденька, к вам-с...— произнес он,— мамаша приказала... сестры тоже свидетельствуют...

Ганечка не докончил, подбежал к столу и схватил бутылку.

— Позвольте, дяденька... из Сербии... прямо-с!

— Что ж это такое? ба! да и надпись есть: Rakia? Что ж это значит... Rakia?

— А это, дяденька, по-ихнему, значит все равно, что стара вудка. Они, дяденька, не из хлеба, а из рису ее там делают.

— Мы здесь из рису кутью делаем, а они ухитрились водку гнать... Да где это Сербия? далеко?

— Далеко, дяденька. Кишинев надо проехать, потом Бухарест будет, а там уж и Сербия... у самой Турции.

— Вон она где! зачем же тебя туда-то носило? с полком, что ли?

— Нет, дяденька, я сам по себе. Война у сербов с турками,— ну, все говорят: идем против общего врага! — я и пошел-с! Они, впрочем, дяденька, и молятся по-нашему, и даже митрополит у них наш, русский-с...

— Слышал, любезный друг! Конторщик сказывал, что и

от нас господин Анпетов туда пошел... добровольцами, кажется, вы прозывались?

— Точно так, дяденька!

— Так вот ты откуда! спасибо, брат, спасибо, что старого дядю вспомнил! Ну, пойдем в гостиную! сядем да посидим, посмотрим друг на друга, полюбуемся!

Пошли в гостиную, Порфирий Владимирыч сел на диван, а племянника посадил сбоку в кресло.

— Ну что, как сестрица? — начал Иудушка,— тоже, чай, не молоденькая? чай, сгорбившись, да с палочкой в руках, да кхи-кхи, да кашки манненькой...

Он любезно представил, как старые старушки, сгорбившись, с палочкой ходят да покашливают, и даже что-то прошамкал на старушечий манер.

— Маменька приказала вам, дяденька, земный поклон передать,— ответил восторженно Ганечка и тут же поклонился, коснувшись рукой до земли.— Зёмный-с! — прибавил он.

— Спасибо-спасибо сестрице-голубушке, что не забыла. Да, признаться, об ком нам, старикам, и помнить, как не об стариках же! Ахти-хти-хти!

Иудушка слегка затужил и сложил руки ладонями внутрь, в знак молитвенного умиления, но вдруг совершенно неожиданно присовокупил:

— Горюшкино-то прежде нам, Головлевым, принадлежало, да тетенька Варвара Михайловна, царство небесное... Ну, да уж что об этом вспоминать! Что с возу упало, то пропало — так ли я говорю?

Ганечка ничего на это не ответил, а только слегка потупился, как будто и сам хорошо понимал, что он виноват.

— Так сестрица, значит, молодцом? — продолжал Порфирий Владимирыч.— Ну, дай бог! дай бог! А я, любезный племяш, как видишь! Стар, друг, становлюсь. Топы́-топы́ по комнате еще могу, ну и в церковь сходить — тоже еще в силах, а выезды или гостей там — ничего этого для меня не существует. Да и куда уж нам, старикам, об развлечениях думать! Об том, друг, надо думать, какой *там* придется ответ дать!

Иудушка встал и, обратив глаза к образу, пошептал губами. Ганечка тоже последовал его примеру: встал и покрестился.

— Смолоду и я тоже развлечения любил. И потанцевать, и в театрец сходить, и поесть слатенько, и «во саду ли в огороде» — так, что ли, у вас поется? — всего было! А теперь, особливо с тех пор, как добрый друг маменька скончалась,— все прекратил. Живу, как в монастыре, да богу молюсь. Сна-

чала помолюсь, потом посижу... ну, поем чего-нибудь... супцу, жарко́вца... а потом и опять... Вот, брат, я как!

— Тсс...— вымолвил Ганечка, затрудняясь, как выразить ему свое почтение.

— Так ты говоришь, что с турками сражался? Слышал, брат, слышал! И от нас господин Анпетов туда ушел. Гарибальди, говорят, русский явился, певчих чудовских туда выписал. А по-моему, так и турки... чем турки не народ? Только вот свинины не едят, так и это не наше дело!

— А сербы, дяденька, так те, напротив, почти что одной свининой питаются.

— Ну, вот видишь. У всякого, значит, свое: один любит арбуз, а другой свиной хрящик. И Христос с ними.

— Это, дяденька, справедливо.

— И осуждать за это нельзя, да и вообще осуждать грех. Оттого я и не осуждаю.

— Тсс...— опять вымолвил Ганечка.

— Я и сам свинины не ем, так неужто мне за это войну объявлять! Я, брат, впрочем, это не на твой счет говорю. Ты свое дело сделал, съездил, сражался, мне вот бутылочку — как ее? — ракии-какии привез... Вот мы ее за обедом и отведаем; посмотрим, что за какию сербы делают! Вместе, что ли, обедать будем?

Иудушка благосклонно хлопнул по коленке Ганечку, который, вместо ответа, вскочил и поцеловал дяденьку в плечико.

— Ну-ну-ну, спасибо! спасибо тебе! Я, брат, по-родственному, по-головлевски. Да бишь, чтоб не забыть, ведь у тебя и сестрицы, кажется, есть?

— Шесть штук, дяденька.

— Да, благословил бог сестрицу, есть на кого порадоваться. Были и у меня два сына, и любил я их, и радовался, и мечтал... Ан бог-то взял, да мечтания мои в ничто обратил! Старшей-то племяннице много ли лет?

— Двадцатый год, дяденька.

— Двадцатый? значит, в поре, замуж время выдавать... А зовут?

— Нисочкой, дяденька.

— Анисья, значит... постой-ка, постой! Анисья Римлянына празднуется... или нет: это Мелания Римлянына тридцать первого декабря празднуется, а Анисья — та просто мученица и празднуется накануне.

— Так точно, дяденька.

В таких разговорах прошло время до обеда. За обедом Иудушка еще больше разговорился; отведал ракии и похвалил; потом завел речь об религии, сказал, что вера бывает раз-

ная, а бог у всех — один. И что часто из-за одного пустого слова возникают религиозные раздоры и расколы, а всему причина — гордость человеческая. От гордости люди вздумали башню вавилонскую строить, а бог взял и смешал. Стали после этого говорить — и не понимают друг дружку. От этого пошли иностранные языки. Прежде у всех был язык один, а нынче и на службу без иностранных языков не принимают.

С своей стороны, Ганечка порассказал кой-что о Сербии. Что у сербов есть князь Милан, а у него супруга Наталия, из русских; у черногорцев же князь Николай, и у него жена Милена. Что они упоминаются в церквах на эктениях и называются благоверными. Что и у молдаван есть князь и княгиня, и что там в церквах, вместо «господи помилуй!» — поют: «домине мирвешти!» Что черногорцев турки боятся, потому что они режут уши и носы, а сербов не боятся, потому что сербы народ мирный, гонят ракию и пасут свиней.

Словом сказать, и дядя и племянник остались довольны друг другом, так что когда Ганечка собрался домой, то Порфирий Владимирыч не только приглашал его лично посещать Головлево, но наказал передать и голубушке-сестрице, что он будет ее ожидать... и с Нисочкой.

Вообще, визит молодого Галкина подействовал на Иудушку настолько животворно, что, по отъезде племянника, он не пошел прямо в кабинет, а зашел предварительно к Евпраксеюшке и, в знак забвения прошлого, слегка погладил ее по спине...

КРУГЛЫЙ ГОД

ПЕРВОЕ МАЯ

Я провел ужаснейший месяц. Homo homini lupus — вот картина, которая представлялась глазам. Говорилось, выкрикивалось, печаталось нечто неслыханное. Казалось, в целом мире не было уголка, который назойливо, на все тоны и манеры не заполонила одна мысль: что же будет дальше? Эта мысль, бесплодная, полуидиотская, задерживала всякую деятельность, забивала ум, чувство, волю. Эта мысль вызывала наружу все худшие свойства человека, от малодушия до вероломства включительно. Слабые люди отыскивали на дне своей совести что-нибудь пошлое и держались за это пошлое, как за якорь спасения. Какие анекдоты переходили из уст в уста! какие лжи высказывались за истины! Изо всех щелей полезли чудища, московские кликуши словно сбесились.

В последние двадцать — двадцать пять лет чувство человечности сделало несомненные успехи. Не имея таких крупных и высокоталантливых выразителей, как в сороковых годах, оно разлилось в массе общества, обмирщилось, сделалось естественной подкладкой общественных стремлений и отношений. Забылось или почти забылось крепостное право, стал забываться келейный суд, начали проявляться зачатки самодеятельности, период одичания казался близким к концу. И вдруг это самое чувство человечности, о котором думалось, что оно сделалось уже лозунгом жизни, сделалось преступлением. Не человечность нужна, а нужна ненависть! со всех сторон вопили исчадия бараньего рога и ежовых рукавиц. И в довершение всего, в роли Грановских, Крюковых, Кудрявцевых, Пироговых появился профессор Цитович...

Само собой разумеется, что среди этой суматохи я всего менее мог рассчитывать на свидание с Феденькой. Правда, что

я не раз видел, как он мелькал в наемной коляске по Невскому, но лицо его смотрело так озабоченно, что мне на мысль не приходилось, чтоб он мог заметить меня. Однажды только он как-то случайно остановил на мне свой взор; я воспользовался этим, чтоб послать ему воздушный поцелуй, он же в ответ поднял правую руку и показал мне все пять перстов. Тогда я не выдержал и махнул ему рукой, чтоб остановился.

— В пяти! — возгласил он с торжеством, когда я подошел к экипажу.

Разумеется, я недоумевал.

— В пяти... комиссиях! — пояснил он и при этом дотронулся рукой до горла: вот, мол, до каких пор.

— Когда же ко мне?

— Не могу, mon oncle! Даже дома почти не бываю... вот!

Он вновь указал на горло и вдруг совсем неожиданно прибавил:

— А литература-то ваша... какова! а?

И с этими словами исчез.

Целых две недели после этой встречи я мучился. Что такое он сказал? кажется, про литературу упомянул?.. или я ослышался? Ужели подозревается какая-нибудь связь, что-нибудь солидарное, общее?

Я вспомнил «разбойников печати», «мошенников пера», вспомнил первую брошюру Цитовича. В свое время эти потуги заклеймить одним каким-нибудь удачным названием живые элементы русской <жизни> казались мне отчасти смешными, отчасти непристойными. Я объяснял это желанием выдумать что-нибудь такое, что затмило бы «нигилизм» и «нигилистов». «Нигилизм» действительно прижился, во-первых, благодаря краткости выражения, а, во-вторых, и потому, что толпа во всякой попытке критического отношения к действительности видит нечто сомнительное и потому очень была довольна, что нашлось выражение, которое дозволило ей огулом отделаться от всяких назойливостей. Даже папе римскому так понравилось это слово, что он в ряду отщепенцев от римской церкви упомянул и нигилистов. Да, «нигилизм» — это выражение удачное и в одно и то же время весьма существенное по своим практическим последствиям. Одни воспользовались им, чтоб наивно прикрыть свою наготу (я убежден, что не будь пущено в ход это слово, не было бы и «нигилистов», то есть людей, похваляющихся неведомо чем); другие были очарованы им, потому что оно избавляло их от необходимости входить в разбор жизненных тонкостей и дозволяло сваливать в одну кучу все личнонеприятное, несоответствующее личным преданиям, темпераментам и проч.

Но «разбойники печати», но «мошенники пера», но «мокрая квартира на девять месяцев» — это длинно и неуклюже и, что всего важнее, не отвечает никакой потребности. Никому не надобны эти выражения, никто не задумывался ни над чем подобным, и потому никто не будет их употреблять. Понятий таких нет. Поэтому-то они только гадки, но совершенно безопасны. Разве что...

То-то вот и есть, что разве что... Обильна, ах, как обильна русская жизнь этими «разве что»! Литература идет своим ходом, убежденная, что процесс литературного мышления представляет известные особенности, не свойственные процессу мышления канцелярского служителя, а ее ждет из-за угла «разве что». Она наивно думает, что ничто человеческое ей не чуждо, что вся природа, все явления мира сего подлежат ее исследованию,— и вдруг вырывается что-то негаданное, непредвиденное и с злобною иронией шипит: «разве что». Вот в эти-то минуты и припомнятся все эти «разбойники печати», «мошенники пера» и «мокрые квартиры». Паскудны они, придурковаты, и при воспоминаниях об них делается жутко. Придется убедиться, что действительно есть в печати и разбойники, и мошенники, и клеветники, и изобретатели паскудных слов. И что литература совсем не тот храм, который заставляет биться всякое честное сердце и без которого свет был бы постыл и бесславен, но клоака. Или, по крайней мере, несомненно, что сбоку этого храма пристроена клоака и что по временам из нее вырываются такие удушливые запахи, которые заставляют забывать о существовании самого храма. Оттуда сыплются на литературу все обвинения, все клеветы, все проклятия, там допускается солидарность ее со всеми неурядицами дня, оттуда денно и нощно раздаются крики дикой радости и торжества, там формулируются требования согнуть в бараний рог, покончить, разом покончить... с чем?

. . . .

Феденька явился ко мне совсем неожиданно — 1 мая. Он воспользовался тем, что в этот день все комиссии отправились гулять в Екатерингоф, и вспомнил обо мне.

— Ну, вот и я,— весело сказал он, входя ко мне в кабинет,— но предупреждаю вас, дядя, что теперь, больше чем когда-нибудь, скромность для меня обязательна. Я думаю, впрочем, что есть почва, на которой мы оба можем чувствовать себя одинаково по себе — и именно почва общих вопросов. Не так ли, mon oncle?

— Конечно, мой друг; мы будем ставить вопросы, будем обсуждать их независимо от условий места и времени, а затем...

— А затем, если вы найдете нужным вывести интересующие вас заключения, то, конечно, в виду высказанных соображений, это не представит для вас особенного труда.

В эту минуту Феденька был очень хорош. Придумавши эту комбинацию, он, я уверен, мнил себя дипломатом, которому в будущем ничего не будет стоить вопрос о проливах разрешить, а ежели потребуется, то и туркину жизнь прекратить.

— Итак, поставим вопрос о литературе,— начал я,— как ты думаешь, украшает она или не украшает?

— Ну, это смотря по тому...

— Прекрасно; ты впоследствии выскажешь свои возражения, если найдешь нужным. Я же утверждаю безусловно: да, украшает. Литература есть воплощение всех духовных сил страны, и ежели ее нет, то это значит, что духовные силы находятся в отсутствии или таятся глубоко под спудом. Общество, не имеющее литературы, не сознает себя обществом; страна, не обладающая памятниками литературы, стоит вне общения и привлекает любопытство только в качестве диковины; об государстве и говорить нèчего: оно самым происхождением своим обязано литературе. У вотяков нет ни письмен, ни песен, есть только предание, что была в старину какая-то книга, да ее корова съела, поэтому-то в этом племени так мало устойчивости, что не далеко время, когда оно само, быть может, сделается преданием.

— Но ведь никто, mon oncle, и не отрицает, что литература — одна из функций общественного существования...

— Не «одна из функций», а главная и самая животворящая. Все, что ты ни видишь кругом,— все это дала литература. Квартира, в которой ты живешь, сюртук, в котором ты одет, чай, который ты сию минуту пьешь, булка, которую ты ешь,— все, все идет оттуда. Если б не было литературы, ты ходил бы на четвереньках, обросший шерстью, лакал бы болотную воду и питался бы сырыми злаками и акридами. Но предположим, что это история давнишняя, проследить которую трудно, но даже помимо тех обиходных удобств, которые ты принимаешь как факт совершившийся и не подлежащий обследованию, все удобства, наслаждения и утешения высшего разряда, все, что требует пытливый ум, развитый вкус, чуткое чувство,—все это инстинктивно ищешь в литературе, а не в ином месте. И находишь — вот в чем существенное. Все знания, которые ты имеешь, даны тебе ею, все представления, понятия, суждения, правила, все, чем ты руководишься в жизни, выработано ею. Даже понятие о неблагонамеренности литературы — и то ты почерпал из нее, а непосредственно никак не добрался бы

до него, потому что, повторяю, без литературы ты ходил бы в настоящую минуту обросший шерстью и лакал бы болотную воду. Без литературы не было бы ни живописи, ни музыки, ни искусств вообще, потому что она все разложила — и звук, и свет,— и она же все сочетала. Без ее инициативы, без того светоча, который она всюду приносит с собой, и звуки, и краски — все было бы смешение, хаос. Даже техника искусств — и та обязана тою или другою степенью совершенства посредничеству литературы, потому что искусство, само по себе, немо и разъединено, одна литература имеет привилегию «гласить во все концы»; она одна имеет дар всех соединять под сенью своею и всем давать возможность вкусить от сладости общения мыслью. Стало быть, опера, которою ты наслаждаешься, картина, которую ты созерцаешь с восхищением,— все это дала тебе литература. Мало того: она дала человеку возможность различать добро от зла, она выработала условия общежития, научила повиноваться, повелевать... Кто поведал тебе:

И дым отечества нам сладок и приятен...

Откуда ты узнал:

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, моя родная,
В рабском виде царь небесный
Исходил, благословляя...

Все там же, все в той же литературе это сказано и запечатлено навсегда, чтобы снять покровы с твоей умственной дремоты, чтоб заставить тебя умиляться сердцем и хоть на короткое время дать тебе возможность обратиться к себе, к своей совести! О Федя! ужели всего этого мало для того, чтобы заслужить право на вечную признательность, вечное удивление, не говоря уже об устранении всякой мысли о жестоком обращении?

— Но разве кто-нибудь спорит...

— Нет, пойдем дальше. Снисходя к твоей слабости, я допускаю даже возможным находить удовольствие в обществе кокотки, «дамочки» и т. д. Но эту кокотку — кто тебе ее преподнес? эту «дамочку» — кто ее сформировал? Предположим, что это услуга не особенно ценная (литература даже на такие услуги имеет право, потому что она же и поправляет их), но не будь ее, бегал бы ты теперь на четвереньках за какой-нибудь хавроньей, и те же пакости, которые ты теперь изъясняешь на таком изящном французском языке, ты выражал бы простым хрюканьем. Федя! ужели и за это ты не признателен?

— Mon oncle! вы очень удачно соединили в один фокус те услуги, которые оказывала и продолжает оказывать лите-

ратура обществу; но вы упустили из виду одно обстоятельство, которое, с точки зрения государственности, имеет несомненно важное значение: вы не упомянули о заблуждениях.

— Это насчет кокоток и дамочек, что ли? Так ведь я уж сказал, что литература даже и не весьма полезные услуги вправе оказывать, потому что она же их и поправляет и даже совсем упраздняет.

— Нет, не об том речь. Я говорю о заправских заблуждениях, о тех, которые подрывают основы общества,— вот об чем.

— А кокотки и дамочки, по-твоему, утверждают основы общества?

— Не уклоняйтесь, mon oncle! Оставим в стороне «дамочек» и будем говорить о настоящих заблуждениях. Будете ли вы так смелы, чтоб утверждать, что литература — не всегда, конечно, но очень, очень-таки нередко — служит проводником заблуждений в обществе?

— Отчего же мне не иметь этой смелости!

— Voyons![1] Это очень любопытно.

— Прежде всего, повторяю тебе, что литература имеет право давать в своих недрах место заблуждениям, потому что она же и поправляет эти заблуждения. Но и независимо от этого, так сказать, формального права, литература уже потому обязана допускать заблуждения, что они составляют тот трудный подготовительный процесс, в результате которого является истина. Истина — не клад, случайно находимый в поле, и не болид, падающий с неба совсем готовым; она дается ищущему ценою величайших жертв и усилий, *ценою долгих и мучительных заблуждений.* Кто не искал истины, тот, конечно, не заблуждался, но положение это можно редактировать и так: кто искал истину, тот непременно заблуждался. История всех величайших открытий и изобретений, изменивших физиономию мира, доказывает это. И хлеб не явился прямо в виде той отчетливо испеченной булки, которую ты находишь у Вебера, но прошел сквозь целый ряд заблуждений. Ты возразишь, конечно, что никто и не протестует против заблуждений, в результате которых явились: типографский станок, железная дорога, сила пара и проч. Да, *теперь,* разумеется, никто не протестует, потому что факт налицо, но в свое время, тогда, когда к истине пробирались путем заблуждений, были и протесты, и насмешки, и злорадство, и голодная смерть. Но ты так любезен, что охотно допускаешь заблуждения в сфере материальных интересов и даже с удовольствием взираешь на вятского мужичка, который посвящает свою жизнь изобрете-

---

[1] Посмотрим!

нию perpetuum mobile. Ты говоришь, что не эти заблуждения вредны, а заблуждения мира духовного, которые бесплодно волнуют мир, не принося за собой никаких улучшений. Сообрази, однако ж: разве дверь в область духовных интересов заперта? Разве природа, сама природа, не держит ее для всех открытою? разве не одинаково свойственно человеку интересоваться как материальным, так и нравственным миром? А коль скоро все это открыто, свойственно и дано человеку помимо его произвола, то каким же образом он, без явного насилия, без дерзости, без бунта, разгородит две эти области? И вот литература входит в эту открытую дверь и все встречающееся за ней подвергает своему исследованию. Но здесь заблуждения еще более возможны и понятны, потому что вопросы мира духовного более сложны и запутаны, нежели вопросы мира вещественного. Литература дает им место и не может не дать, потому что в них-то и заключается принцип искания истины. Ты признаешь установившиеся формы общежития, ты эксплуатируешь их, не нахвалишься ими, стоишь за них горой, но не забудь, что и они когда-то считались заблуждениями и что не пройди они сквозь искус горчайших испытаний, не встреть на пути своем твердых людей, которые вынесли их на плечах своих,— ты, разумеется, не наслаждался бы ими и не был бы коллежским советником на утренней заре твоей жизни, как теперь. Ах, друг мой, друг мой! трудно ведь жить без идеалов из мира нравственного, так трудно, что за недостатком настоящего светоча человек хоть сальную свечку засветит и поставит перед собой. Конечно, я не могу тебе представить, для подкрепления моей мысли, примеры из современного нашего обихода, но поверь мне, что даже любая московская кликуша — и та не сразу пришла к обладанию истиной, которая дает ей возможность отлить литературе «горяченьких», но тоже усердно и достаточно долго заблуждалась. И либеральничала, и потрясала, и подрывала — всего, всего было. Так-то, мой друг!

— Дядя! но ведь эти заблуждения не остаются в недрах литературы, они переходят из нее в общество, волнуют его, и в этом-то именно — ведь все очень хорошо понимают, что только в этом — заключается опасность. Постепенность и своевременность в постановке вопросов мира духовного — вот цель, которую имеет в виду мудрость, а совсем не насильственное прекращение их.

— И на это тебе ответ: ошибочно думают те, которые возлагают на литературу обязанность иметь полицейский надзор за теми последствиями, которые могут иметь место как процесс ее работ, так и окончательные их выводы. Все осязае-

мое и предполагаемое, доказанное и гадательное — вот задача, которая предлежит литературе, и она разработывает эту задачу, потому что это ее право, а затем совершенно не знает, что̀ из добытых ею результатов будет взято обществом и что отвергнуто. Ежели общество злоупотребляет этими результатами, то прекращение этих злоупотреблений зависит от установленной власти, а не от литературы, которая не имеет полномочий ни разрешать, ни запрещать. Во всяком случае, литература тут в стороне, и считать ее солидарною с временными общественными неурядицами и вследствие этого призывать на скамью подсудимых — значит не только допускать величайшую несправедливость, но и останавливать всякое развитие жизни. Да и неурядицы, о которых идет речь,— не слишком ли преувеличивают их значение? Общество, конечно, способно увлекаться, и бывают минуты, когда эти увлечения самым нежелательным образом обостряются, но это далеко не исчерпывает всех функций общественной жизни. Напротив, видя неперестающее развитие форм общественной жизни, выражающееся и в смягчении нравов, и в большей доступности тех благ, которые когда-то считались заповедными, имеется полнейшее основание предположить, что истины усваиваются обществом гораздо охотнее, нежели заблуждения. Ведь не инквизиторы одержали победу, а Галилей, не ветхозаветное рабство легло в основании истории человечества, а новозаветная свобода. Стало быть, и на общество тоже много клевещут. А что касается до пресловутой своевременности, то позволь тебе сказать, что это термин чисто административный, и литература не имеет никакого права принимать его в расчет. Помилуй! ежели возложить на нее обязанность следить за своевременностью или несвоевременностью, то одно определение этих терминов, в соображении с целой массой самых разнообразных условий, возьмет столько времени, что всякое дальнейшее движение в разработке истинных, насущнейших задач должно будет остановиться и закоснеть.

Я замолчал. Все до сих пор высказанное мною о праве литературы на безответственность и неприкосновенность казалось мне до такой степени ясным и непререкаемым, что, признаюсь, мне даже неприятно было бы услышать со стороны Феденьки какое-нибудь возражение из сферы пресечений и предупреждений. Я страстно и исключительно предан литературе; я признаю ее всецело, со всеми усложнениями и уклонениями, даже с московскими кликушами. Порою эти усложнения бывают очень мучительны, почти нестерпимы, но они пройдут, исчезнут, растают, и только усилия честной мысли останутся незыблемыми — таково мое глубокое убеждение.

Не будь у меня этого убеждения, этой веры в литературу, мне было бы больно жить. Я до того сжился с представлением, что литература есть единственное убежище, где мысль человеческая, даже заблуждающаяся, может оставаться честною, незапятнанною, что всякое вторжение в эту сферу казалось мне жестоким и ничем не оправдываемым. Лично я всем обязан литературе, всеми лучшими минутами в жизни, всеми утешениями и совершенно искренно вижу в ней единственное благо, которое мне было дано испытать в жизни. Да и не я один, но всякий, кто сознает себя человеком, в то же время понимает, что вне литературы нет блага, нет утешения, нет жизни. Даже комиссия на случай могущего быть светопреставления, по-видимому, знает это, потому что она прежде всего предположила открыть это торжество гимном. Она полагала, что, благодаря гимну, разом смягчатся чересчур суровые тоны торжества, и — кто же знает? — быть может, и самого светопреставления не будет.

Кажется, и Феденька заметил охватившее меня волнение и тоже молчал. Это была с его стороны деликатность, за которую я очень ему был благодарен. Вообще этот малый отнюдь не страшен. Он строг, покуда заседает в комиссиях, но в частных отношениях даже приятен.

— Я понимаю, что вы не можете говорить иначе, дядя,— наконец произнес он,— и потому не берусь даже возражать вам. Но я вижу одно неудобство в нашей беседе: вы слишком абстрактно ставите вопрос, тогда как, при настоящих условиях жизни, он стоит гораздо проще и осязательнее. Те отзывы о литературе, которыми вы интересуетесь, совсем не имеют в виду Галилеев, Байронов, Шиллеров, а нашу обиходную, будничную литературу, которая занимается совсем не мировыми вопросами, а обыкновеннейшею злобою дня.

— Но ведь тут разница только в размерах, голубчик. Положим, что современная наша литература не особенно высоко стоит, но, во-первых, тут встречается вопрос, отчего уровень ее так низок, а во-вторых, как бы ни была она малоплодотворна, все-таки она на целую голову выше всего остального.

— Это ваше мнение, mon oncle,— мнение очень понятное, потому что вы сами всецело принадлежите литературе, но есть люди, и при том очень компетентные, которые смотрят на подобные мнения, как на преувеличение. Литература наша не оригинальна, не серьезна и не самостоятельна: она даже существованием своим обязана воздействию. Она может увлекаться не действительными потребностями времени и места, но просто эффектностью известных положений и восприимчивостью своего темперамента. Вот эта-то склонность к увлечениям и наво-

дит на мысль о необходимости известных руководительных начал.

— Руководительных начал... в каком смысле? В том ли, чтоб помочь литературе сделаться оригинальною, серьезною и самостоятельною? Или наоборот?

— Нет... то есть, конечно... Разумеется, в результате все это придет... Но, с другой стороны, все это придет вооруженное опытом, очищенное от преувеличений, и тогда...

— И тогда, и всегда, и ныне, и во веки веков будут указывать на преувеличения. Всегда будут предостерегать от преувеличений и указывать на вотяцкую мудрость, как на идеал. Известно, что у вотяков даже песен нет. Едет вотяк, видит забор — поет: забор, забор, забор, до тех пор, пока не увидит поля,— тогда начинает петь: поле, поле, поле, и так без конца. Вот это не преувеличенье, а настоящая и желательная мудрость. Не гляди ни вперед, ни назад, ни в сторону, а воспевай те предметы, которые встречаются на пути. Ну, что ж? отлично!

— И это, mon oncle, опять-таки преувеличение. Напротив, всякий охотно допускает, что литература может даже оказывать помощь, но именно помощь, а не противодействие. Вот это-то и необходимо различать.

— То есть нужно писать дифирамбы и не допускать критики?

— Ах, mon oncle!

Очевидно, это был порочный круг. И нужна самостоятельность, и не нужна, то есть нужна «известная» самостоятельность. И нужна критика, и не нужна, то есть нужна «известная» критика. Положим, что Феденька молод и не особенно искусен в диалектике; но ведь он везде бывает, слышит всякие разговоры,— что-нибудь да прилипает к нему. Если он говорит не последовательно, а обрывками — стало быть, и разговоры, которые он слышит, тоже ведутся не последовательно, а обрывками. Существуют люди, которые могут гудеть по целым часам, и все-таки в этом гудении ничего не уловишь, кроме обрывков. Феденька слушает все эти гудения, и обрывки оных запечатлеваются в его памяти. Перед ним не церемонятся, выкладывают все впусте лежащее, потому что он «адепт». И он со временем будет гудеть, и все его сверстники и соратники в деле составления карьер. Кто кого перегудит, тот и возвеличится. Не любовь к стране, не желание ей добра, не знание ее потребностей будет составлять содержание этих гудений, а именно нечто впусте лежащее, к чему, ради пряности, по воле рока, имеет быть пристегиваема злосчастная русская литература.

Ввиду всего этого я понял, что на почве обобщений оставаться было нельзя. Феденька слишком конкретен, слишком канцелярски мудр, чтоб идти дальше непосредственных результатов и чувствовать какую-либо иную потребность, кроме потребности мероприятий. Поэтому я решился уступить ему.

— Прекрасно, пусть будет так, что все мною высказанное, не что иное, как преувеличение,— сказал я,— будем же говорить прямо, в чем заключаются обвинения, взводимые на литературу?

— Я надеюсь, mon oncle, что вы позволите мне говорить лично от себя?

— То есть ты хочешь сказать, что все дальнейшее будет результатом твоих личных мнений?

— Да; я говорю от себя, я никого не компрометирую... Ежели я ошибаюсь, то ошибки эти будут принадлежать мне лично.

— Похвально, мой друг! говори!

Феденька с минуту помолчал и затем каким-то шипящим голосом произнес:

— Дядя, скажите, зачем ваша литература с таким упорством ищет подорвать и осмеять самые священнейшие основы нашего общества?

Я взглянул на него и изумился феномену, который в какую-нибудь минуту произошел передо мной. Лицо его, обыкновенно благодушное, слегка позеленело и смотрело сурово; глаза имели сердитое, чуть не злое выражение; губы побледнели и вздрагивали. Так велика была в этом способном молодом человеке готовность восторгаться чужими восторгами и озлобляться чужими озлоблениями.

— Что̀ ты! Христос с тобой! — воскликнул я, несколько испуганный.

— Нет, если уж вы хотите, чтобы я говорил, то я серьезно спрашиваю вас: с какого права ваша литература так настойчиво нападает на священнейшие основы нашей жизни? В каком виде она изображает семью, собственность... государство?

— На это могу тебе ответить, что я уже достаточно говорил о праве литературы подвергать критическому исследованию все вообще вопросы жизни, и ко всему сказанному могу прибавить только одно, что «исследовать» вовсе не означает ни «подрывать», ни «нападать», ни «осмеивать», ни «представлять». Но так как ты настойчиво возвращаешься к этому предмету, то очевидно, что ты имеешь в виду именно *современную* русскую литературу. Ты хочешь сказать, вероятно, что литература *нарочито* и *систематически* поднимает известные вопросы, что она *предвидит* те волнения, которые они должны

произвести в обществе, что эти волнения ей нравятся; одним словом, что не будь назойливого вмешательства литературы, ни вопросов, ни волнений, по-видимому, не существовало бы. Подумай, однако ж, нет ли тут смешения? Не приписываешь ли ты литературе то, что по праву принадлежит самому обществу или, по крайней мере, той части его, которой специяльно присвоивается это название? Я, по крайней мере, полагаю, что литература вовсе в этом случае ничего не выдумывает, а только констатирует. Не литература же разожгла аппетиты Юханцевых, Кавальчуковых и целого легиона тех, которые в государстве видят лишь пирог с даровою начинкой? Право, не литература. Эти аппетиты разожглись сами собой, вследствие наплыва целой массы праздных людей, оставшихся за бортом с упразднением крепостного права. Конечно, литература заметила этот факт, но разве она имела право пропустить его? — Нет, не имела права, потому что иначе она должна была бы навсегда остаться при анекдотах о пошехонцах. И скажу тебе прямо: ежели литература изображает семью расшатанною, собственность поруганною, идею государства эксплуатируемою всевозможными пройдохами, то этим она не только не подрывает подрытого, но, напротив, пробуждает общественную совесть. И что же это за принципы, которые всякий ежели не прямо преступает, то, по крайней мере, обходит, насколько возможно? Правда, что общество лицемерно и посмеивается над принципами «потихоньку», но разве одним лицемерием общество может жить? Вот этого-то права лицемерить и не признает литература за обществом. Она говорит обществу: или держись унаследованных тобою принципов, или сознайся в своей несостоятельности. И что до меня, то я в этих обличениях <вижу> начало охранительное, а отнюдь не разрушительное, и ежели сетую по временам на нашу литературу, то отнюдь не за смелость и настойчивость ее обличений, а, напротив, за то, что она робка, неустойчива и отнюдь-отнюдь не влиятельна. Помилуй! один езоповский язык чего стоит! Понимаешь ли ты, как это трудно, изнурительно, даже погано? В состоянии ли ты это понять?

— Могу, дядя, и, признаюсь, не печалюсь об этом. Я готов бы был, однако ж, согласиться с вашими оправдательными доводами, если б дело шло только о логике идей. Но, кроме нее, есть еще логика фактов, и вот она-то заставляет меня быть осмотрительным. Я понимаю вашу защиту, но в то же время чувствую, что в ней чего-то недостает, что она не вполне искренння и что-то скрывает. Не так ли, mon oncle?

— Может быть, друг мой. Во всяком случае, значит, мы оба остаемся каждый при своих показаниях. Что бы я ни гово-

рил, ты охотно признаешь справедливость моих доводов, но внутренно будешь «чувствовать», что в них чего-то недостает! Отлично. Стало быть, обвинение первое: колебание основ — остается в своей силе. Дальше?

— Дальше, mon oncle, это направление и подбор статей. Разверните любую книжку журнала, любой газетный листок — и вы увидите, что все, от первой строки до последней, все бьет в одну точку, все твердит об одном и том же.

— А тебе хотелось бы литературного косоглазия?

— Charmant, mon oncle![1]

— Послушай! Я очень хорошо понимаю, об какой ты точке говоришь, а так как я только что сейчас бесплодно возражал против этого обвинения, то и не считаю нужным повторяться. Ведь не на ту же точку ты негодуешь, в которую бьет, например, господин Цитович?

— Конечно, не на ту. А что ни говорите о Цитовиче, дядя, это человек, который выказал действительное мужество.

— Не знаю, мой друг. Быть может, я сужу легкомысленно, но когда я читал последние брошюры господина Цитовича, мне почему-то представлялось, что он пишет их от имени человека, который ужасно любит засиживаться в ретирадных местах. Другие посещают эти места лишь по необходимости, а он любит зайти, чтоб посидеть, а может быть, и на стенах что-нибудь подходящее написать.

— Charmant! Charmant! Charmant! Но не будемте уклоняться в сторону и возвратимся к направлению. Вы, конечно, уже отчасти возразили на это обвинение; но не совсем, однако ж, mon oncle, не совсем!

— Чего же тебе, собственно, надобно?

— Я настаиваю на подборе статей. Зачем это? Почему бы не разнообразить предлагаемого публике чтения? Почему бы рядом с статьей, трактующей об явлениях неутешительных, не поместить другой, которая изображает оборотную сторону медали? зачем забивать мысль читателя одними будничными перспективами? зачем не освежать ее беседою о предметах возвышенных, вызывающих в человеке парение, а не пригибающих его к земле да к земле?

— Да просто затем, что у всякого времени есть своя задача и свои способы для выражения этой задачи. Ведь и Цитович не бог знает о каких возвышенных предметах говорит, когда извещает публику, что мать, на известном жаргоне, называ-

---

[1] Очаровательно, дядюшка!

ется «мокрою квартирой на девять месяцев», однако ж, ты одобряешь его?

— Одобряю, потому что знаю, что это высказано под наплывом негодования. Как хотите, mon oncle, а это очень удачно сказано. И ежели Цитович это изобрел, то я понимаю, как должно было играть его сердце, когда эта пакость, так сказать, вдруг снизошла на него. Но литература или, лучше сказать, журналистика наша — это совсем другое дело. С ее стороны, это система, это — предвзятое...

— Да, пойми же, ради Христа, ведь журналы и газеты издают тоже люди, а не типографские станки. Эти люди сходятся не затем, чтоб горланить всякий случайный вздор, но затем, чтобы высказать что-нибудь небесполезное. Они условливаются между собой, и только тогда, когда убеждаются в солидарности взглядов на предстоящее дело, только тогда решаются приступить к нему сообща. Их много, но, в сущности, все они составляют одного человека. Пойми же, как трудно этому собирательному человеку начинать за здравие и кончать за упокой. Тут не предвзятость совсем, а просто естественное положение вещей, которого, даже в угоду тебе, изменить нельзя. Да, наконец, и в этом отношении разве мало уступок? разве мало розанов насаждают даже те из наших журналов и газет, которые всего менее пристрастны к розанам? Да и переводятся нынче эти розаны и пàхнут как-то совсем не так.

— Это не ответ, mon oncle. И розы, и соловьи, и небо — все это есть, и все это мы видим, и слышим, и обоняем, и всем наслаждаемся. Только литература наша считает долгом игнорировать эти возвышающие дух картины и заменять их холодным перечислением язв. Как хотите, а это заговор! Заговор и есть!

Разумеется, не тот, который именуется в законе преступлением, а тот, который испокон веков разлит в воздухе и, говоря по правде, никогда не прекращался. Это заговор, в котором принимает участие не одна литература, а всё и вся. Значит, язвы настолько обострились, что никому не дают ни отдыха, ни срока, значит, не только писать, но и думать ни о чем больше нельзя, значит, до тех пор, пока будут существовать язвы, будет существовать и заговор. Ты думаешь, что у Бореля, Донона, Дюссо нет заговорщиков? что ты и твои сверстники, люди несомненно надежные, только едите и пьете, а не конферируете? Ошибаешься, друг мой! Ручаюсь, что не проходит и десяти минут без того, чтоб ты не почувствовал себя неловко, и совсем не потому, чтобы тебе вспомнилось о соловьях и розах, а именно потому, что там, среди ресторанных татар, в виду улыбающегося соммелье́, тебя все-таки на-

стигают язвы. Стало быть, и вы участвуете в заговоре, участвуете тем, что помышляете о предмете его. Вам неприятен этот предмет, вы желаете отогнать его, но он тут и не отстает от вас. Он не оставляет в покое никого — как же ты хочешь, чтоб от него отвернулась литература, для которой исследование явлений жизни составляет conditio sine qua non[1] существования? Ты скажешь, конечно, что бывали же в русской литературе и розы и соловьи... бывали, мой друг, все в свое время было! Но теперь ты не найдешь двух литераторов, которые решились бы беседовать о соловьях и розах; даже те, которые некогда пели об этом,— и те ныне пускают шип по-змеиному. Ужели это нарочно делается, чтоб досадить тебе или тем, чьих мнений ты служишь эхом? Ведь со стороны журналов было бы не только не политично, но даже и глупо не поступиться хоть несколькими печатными листами в год, в пользу роз и соловьев, чтобы водворить мир в взволнованных сердцах! Но, во-первых, писателей таких нет, а во-вторых, и читателя для соловьев и роз едва ли сыщешь.

— Стало быть, нашей литературе так и суждено пропахнуть мужиком?

— Вот-вот-вот, этого-то именно я и ждал. Все эти основы, направления, подборы — все это мы охотно бы перенесли, если б не примешался тут, в виде занозы, мужик. Скажу тебе откровенно, мне самому по временам наша литература кажется несколько однообразною, через край переполненною мужиком. Черт возьми! Ведь и я... да, брат, я тоже не чужд соловьев и роз... Но, присмотревшись к делу пристальнее, приходится согласиться, что иначе оно не может и быть. Как ни вертись, а мужик — герой современности. И не со вчерашнего дня, впрочем, это так повелось, а давненько-таки. Ты, разумеется, не был очевидцем «начала», но я не только помню, но даже лично присутствовал при нем. Я помню «Деревню», помню «Антона Горемыку». Это был первый благотворный весенний гром и первые хорошие человеческие слезы. И с легкой руки Григоровича представление о мужике прочно залегло и в литературе и в обществе, а с половины пятидесятых годов оно сделалось уже господствующим в русской жизни. Все, что ни есть мыслящего в России, отлично понимает, что куда бы ни обратились взоры,— везде они встретятся с проблемой о мужике. Лучшие государственные люди последнего времени все силы свои отдали мужику, и рядом с ними тому же мужику всецело посвящали себя и лучшие представители нашей интеллигенции. Припомни годы «освобождения» и сознайся, что никогда

---

[1] непременное условие.

этому слову не придавалось более широкого смысла, никогда интерес, возбужденный им в обществе, не граничил так близко с энтузиазмом. Оказалось, что название «мужик» выражает нечто очень сложное, почти всепроникающее. Всем он нужен, у всех как бельмо на глазу. Помещик, заводчик, фабрикант, подрядчик, одним словом, всякий человек, делающий какое-нибудь дело, понимает, что в этом деле на первом плане стоит мужик. Должна понимать это и литература. Но если мужик так всем необходим, то надо же знать, что̀ он такое, что̀ он представляет собой как в действительности, так и in potentia[1], какие его нравы и обычаи, с которой стороны и как к нему подойти. И, к удивлению, оказывается, что это совсем не просто и что мир мужицких отношений значительно сложнее и запутаннее, нежели тот, в котором привыкли вращаться мы, люди интеллигенции. Но раз отворивши дверь в эту область загадок, затворить ее уж нельзя. Во-первых, этому воспрепятствует свойственная интеллигентному человеку любознательность; во-вторых, личный интерес каждого будет всеминутно подстрекать: иди до конца, дознайся и определи; а в-третьих, дверь сама просто-напросто окажется неудобозатворимою. Вот отчего современная атмосфера так и насыщена мужиком: очень уж много оттуда лезет, из этой незатворимой двери. Должно быть, мы чересчур уж долго занимались розами, соловьями и вожделеющими помещиками, так что теперь...

На этом слове речь моя была прервана сильным звонком, раздавшимся в передней. Приехал курьер, возвестивший Феденьке, что Иван Михайлыч изволил благополучно возвратиться из Екатерингофа. Мой юный друг начал поспешно прощаться, и я, признаюсь, не удерживал его. Надоело.

ПРИЛИЧЕСТВУЮЩЕЕ ОБЪЯСНЕНИЕ

Физиономия нашей литературы, за последние пятнадцать лет, значительно изменилась, и, надо сказать правду, изменилась в смысле не особенно благоприятном для развития общественной мысли. Значение больших (ежемесячных) журналов упало, а вместо них, в роли руководителей общественного мнения, выступили ежедневные газеты. Вместе с этим, литературная сила, и без того не весьма обильная, раздробилась и измельчала, а отношения литературы к вопросам, занимающим общество, сделались поверхностными, тревожными, непосле-

---

[1] в возможности.

довательными. В ежемесячном журнале легко уследить всякую погрешность относительно высказанных однажды принципов; в ежедневной газете это почти невозможно. Газету до такой степени охватывают мелочи дня, что даже самый добросовестный состав редакции не может от времени до времени не впадать в противоречия, а что касается до деятелей прямо недобросовестных, то им тут широкое поле. Какая возможность изо дня в день следить за этою неперемежающеюся беседою о всем вообще и о каждом предмете в особенности? И какая надобность следить? Кому нужна газета на другой день или даже через час по прочтении ее? Газету можно уподобить блинам, которыми пользуются, пока они горячи; как только блин остыл, это, по выражению казанских татар, уже не блин, а «погана лепешка». Читатель знает это и относится к газетной неустойчивости вполне снисходительно. Во-первых, он понимает, что газета не претендует на деятельность строго литературную, а представляет собой лишь образец литературного проворства; во-вторых, ему небезызвестно, что каждый день может привести за собой такой вопрос, о котором человеку неподъяремному и думать-то противно и по поводу которого подъяремная газета *должна* во что бы то ни стало высказаться, тогда как ежемесячный журнал может и промолчать.

Господство газеты упразднило и критику. Газетный писатель знает хорошо, что его деятельность эфемерная, что он работает только на один час, и потому совершенно равнодушен к отзывам об нем критики. Весь погруженный в срочную работу, он уже позабыл о вчерашней «поганой лепешке» и думает лишь о том, как бы половчее замесить завтрашнюю «поганую лепешку». Для чего ему критика? да и что может она об нем сказать? что вот такой-то X, говоря о таком-то предмете, соврал,— позвольте! Когда ж это было? неделю тому назад! помилуйте! с тех пор он об том же предмете успел уж два раза пересоврать, а впереди дней еще много — какая же возможность уследить за ним критике! Да и стоит ли? все это явления до того мелкие, что их даже защипнуть нельзя. И притом, кто этот X? почему не Y, не Z? Кто тут ответственное лицо? Редактор? Но ведь понятное дело, что редактор не может же сочинять всю газету и что, в большинстве случаев, он только попуститель. За редактором скрывается целая фаланга деятелей, из которых каждый обладает особой физиономией. Вот этих-то деятелей и нет, и никакая критика не уловит их. Критика знает Тургеневых, Островских, Толстых, Добролюбовых, Писаревых, но для нее вполне немыслимо интересоваться теми микроскопическими величинами, на обязанности которых лежит забота компоновать газетный номер. Если б даже эти

микроскопические величины подписывали под статьями свои имена — все-таки они не перестанут быть иксами, игреками и зетами, потому что их деятельность настолько разбросана и представляется в виде такого измельченного порошка, что нет никакой возможности собрать ее в один фокус. Это делает газетных деятелей, в большинстве случаев, совершенно безответственными, а безответственность, в свою очередь, производит такое равнодушие к отзывам критики, что иному, как говорится, хоть кол на голове теши, он все-таки не поймет никаких резонов.

Единственная оценка, которую имеет в виду газета и которою дорожит,— это успех в публике. В последние пятнадцать лет успех этот в значительной мере обусловливается розничною продажей, что, разумеется, еще больше подстрекает проворство газетчиков. Речь идет уже не о том, чтобы обсуждать насущные вопросы добросовестно и всесторонне, а только, чтоб «подать горячо». Но и не в розничной продаже главное — отчего же и не сделать газеты доступными для возможно большей массы читателей? — а в том, что с представлением о розничной продаже сопрягается представление об известной карательной мере, и это несомненно самым вредным образом действует на независимость и достоинство газеты. Все мы под богом ходим, но газеты ходят сугубо. Ужасное это чувство — сидеть в своей лавочке и видеть, как из соседней лавочки ежедневно на шесть, на семь лишних пятачков вас переторговывают. Икс! Игрек! Зет! что̀ вы носы повесили! Живо беритесь за перья и пишите такое, чтоб небу жарко было! И берутся за перья, и пишут. Конечно, было бы несправедливо сказать, что это явление обыденное и неизбежное, но что обладание правом розничной продажи или неимение этого права должно влиять на тон газеты — это несомненно! Откиньте в сторону пятачки, и все-таки перед вами останется тот факт, что всякая газета фаталистически должна заботиться о том, чтобы круг ее читателей не был искусственно сокращаем. А это порождает необходимость компромиссов.

Таким образом, употребляя все усилия, чтоб распространить круг своих читателей, газетная печать постоянно видит себя между двух огней. Во-первых, ей нужно удержать за собой розничную продажу, которая дает газете возможность проникнуть в такие закоулки, куда журнал, пользующийся лишь годовыми подписчиками, не может и мечтать проникнуть; во-вторых, ей необходимо оживлять столбцы, потому что иначе ее не будут читать. Очень часто эти две вещи несовместимы, и надо иметь поистине мудрость змеи, чтобы поймать этих двух зайцев. Право на розничную продажу требует сдер-

жанности и хорошего поведения, что, при известной дозе добросовестности, угрожает газете бесцветностью. Напротив, потребность уловить читателя требует «горяченьких». Как согласовать это противоречие? Является вопрос: об чем и как говорить?

Вопрос на первый взгляд очень странный. Кажется, потребна лишь самая небольшая доля внимания, чтобы всякого рода задачи явились во множестве. Все в современной жизни русского общества в высшей степени интересно, все может служить предметом для поучительнейших исследований. Возьмите, например, хоть такое явление, как профессор Цитович. Что могло породить его? какие горькие условия могли вынудить этого «апостола науки» взяться за ремесло городового, ремесло, несомненно, полезное, но все-таки не имеющее с наукой ничего общего? Что заставило этого жреца правды и справедливости обогатить нашу фразеологию целой массой хлестких, образных, но вполне бесчестных выражений? Ужели не любопытно, что на место Грановских, Крюковых, Кудрявцевых, Пироговых выступают такие ратоборцы, как Цитович, Богдановский (одесский), Цион и проч.? Разве не изумительно, что читатель, знающий, например, отношения Шевырева и Никиты Крылова к Грановскому и другим и столько раз негодовавший по поводу этих отношений, теперь восклицает: о Шевырев! о Никита Крылов! о благороднейшие! о скромнейшие! И что же! разве это явление разъяснено? — Ничуть не бывало. Все дело ограничилось выписками из брошюр Цитовича и отчасти похвальными, отчасти же гневными отзывами по их поводу. Но что породило г. Цитовича — это так и осталось покрытым мраком неизвестности, а так как Цитович «прейдет», не оставив за собой *ничего* (ex nihilo nihil[1]), то потомство будет в этом явлении видеть только неприглядную случайность, тогда как, в сущности, это один из чудовищнейших отпрысков, совершенно достаточный для того, чтобы характеризовать время, в которое он появился, словами Нибура: «В это несчастное время злое начало в человеке пришло к полному и спокойному сознанию самого себя» (Нибур, Характеристика персов во время войн Александра Македонского. См. соч. Грановского, т. II, стр. 119).

Или другое явление: всеобщее, повсеместное равнодушие к общественным интересам — разве оно разъяснено? Конечно, в любой газете вы встретите упреки по адресу русского общества в равнодушии к своим собственным делам, но разве та-

---

[1] из ничего — ничего.

кое явление излечивается упреками? Разве интерес к общему делу предписывается? Разве можно убедить человека, сказав ему: ты не лишен способностей, имеешь силу, ум — иди и баллотируйся в земские гласные! Ведь ежели он наделен этими дарами природы, то он и сам должен понимать, что лучше, ежели общественное дело стоит прочно, и что, следовательно, содействовать этой прочности не только обязательно, но интересно, приятно. Несмотря на это, он, однако ж, предпочитает жаться к стороне; ничто его не влечет, ни на что он не возлагает надежд и на самого себя смотрит, как на отрицательную величину. Наконец ежели он, сдаваясь на убеждения, и кидается в омут так называемых общественных интересов, то в самом скором времени возвращается оттуда еще более обескураженный, почти ошеломленный и хорошо еще; ежели не заподозренный. Разве все это разъяснено?

Еще явление. В самые скорбные исторические минуты, когда сердце всякого добропорядочного и честного человека должно болеть и истекать кровью,— у нас, наоборот, просыпаются самые злые инстинкты, и изо всех щелей выползают самые вредные и пагубные элементы. И чем печальнее факт, тем сильнее дикая радость этих человеконенавистников. Они мстят за свое недавнее отчуждение, они угрожают в одну минуту стереть всякий след успеха, добытого ценою долгих усилий... Разъяснила ли русская печать это явление? Протестовала ли она против него?

Затем следуют: казнокрадство, чуть не ежечасное расхищение общественных сумм, банкротства, отсутствие всякого понятия о самой формальной честности и это бесконечное, беззаветное поклонение Ваалу, одному Ваалу. Червонные валеты, Юханцевы, Гулак-Артемовские, Ландсберги — вот истинные герои современности, вот те, которым жилось хорошо, которым, по крайней мере, есть чем помянуть прошлое! Правда, что рука прокурора достала их, но разве она достигла каких-нибудь результатов, покарав их? разве что-нибудь предупредила? Ведь не имена важны, а факты. Что породило эти факты? Откуда эта повсюдная алчность к наслаждениям наиболее грубого свойства, сопоставленная с повсюдным же равнодушием к общественному делу? Разъяснено ли все это?

Увы! все эти вопросы и великое множество других так и остаются открытыми вопросами. Печать констатирует их существование, но дальше не идет, или же если и разъясняет кой-что, то или совсем по-детски, или уж до того нелепо-злостно, что лучше бы уж и не касаться.

<. . . . .>

<«КОГДА СТРАНА ИЛИ ОБЩЕСТВО...»>

Когда страна или общество слишком продолжительное время прообразует собой осиновую рощу, в которой ничего не слышно, кроме шума трепета, то из этого возникает два одинаково нежелательных последствия. Во-первых, распложается великое множество льстецов и, во-вторых, поселяется в обществе наклонность к вероломству.

О льстецах писано довольно. К лести преимущественно прибегают или пронырливые люди (чиновники, в виду вакантного места, люди, желающие попасть на службу к Полякову, Варшавскому и т. д.), или лакомки (приживальцы, рассказчики сцен из народного быта и т. д.), или, наконец, люди до того пристигнутые, что под игом невзгод и животолюбия сделались как бы умалишенными (литераторы, либералы, чиновники контрольного ведомства в те времена, когда их подозревали в конституционализме и т. д.). Обыкновенно льстят грубо и неумно, да иначе, впрочем, и нельзя. Чтобы лесть имела право назваться умной, необходимо, чтоб она совпадала с истиною, но тогда, уже очевидно, она перестает быть лестью. Поэтому лесть глупа и незатейлива в самом существе своем, и нет ничего легче, как распознать ее. Так, например, человеку, которому говорят, что он красавец, стоит посмотреться в зеркало, чтоб убедиться, что это ложь; человеку, которому говорят, что он мудрец, стоит только припомнить, как он сейчас только что был глуп, чтобы понять, что двери премудрости и в будущем закрыты для него навсегда. Но на счастье льстецов, объектом их льстивых слов обыкновенно служит так называемый «баловень фортуны», то есть человек или вполне глупый, или вполне ошалелый от счастья. Поэтому грубая лесть ему как нельзя больше впору. Он сидит, хлопает ушами и млеет.

Хотя лесть сама по себе равносильна пошлости, тем не менее она не исключает и примеси трагических элементов. Но трагедия здесь изменяет свой центр, смотря по тому, какие действующие лица занимают сцену. Ежели льстят чиновники, жаждущие мест, или рассказчики сцен из народного быта, то трагизм следует искать не в них (они плавают тут, как рыба в воде), а в той среде, которая порождает подобные явления. Чувствуется, что среда эта насквозь прогнила, и фундамент и стены, и что в этой насыщенной лганьем атмосфере непременно должны задохнуться не только сами лгущие, но и те, которые горьким насильем судьбы поставлены в соприкосновение с нею. Трагедия тем более мрачная, что обыкновенно она не имеет конца. Лгущие процветают, прикосновенные мечутся в тоске — вот и все. Развязкой может быть только све-

топреставление, то есть акт, который прикроет развалинами и льстецов, и баловней фортуны, и прикосновенных людей. Справедливо ли это? Но когда льстят литераторы и контрольные чины, тогда трагизм сосредоточивается по преимуществу около них. Какое лютое горе пристигло этих людей? какая масса страхов скопилась над ними? что разбудило в них с такой силой инстинкты животолюбия? и какой род смерти они изберут впоследствии, когда очнутся и припомнят? Отомстят ли они хотя в отдаленном времени или без дальних слов покорятся? — Ясно, что эти вопросы могут быть разрешены только в смысле трагедии.

Но трагическое в пределах исключительно лести редко всплывает наружу. Во-первых, драматический сценарий здесь сочиняется <и> направляется «баловнями фортуны», которые очень охотно ликуют и вовсе не желают огорчаться. Поэтому ежели и случаются, в течение представления, какие-нибудь умертвия, то они происходят за кулисами. Во-вторых, лесть вообще вынослива. Она долго терпит и до последних крайностей воздерживается от трагедий, ибо знает, что впереди у нее имеется всегда готовый трагический выход — вероломство. Только «баловни фортуны», то есть объекты лести, и направители представления этого не понимают и не предвидят. И это очень удобно, ибо если б они предвидели, то могли бы приготовиться и наслаждаться без конца. И тогда где же была бы справедливость? Но эта самая непредусмотрительность, давая меру глупости и ошалелости «баловней фортуны», служит объяснением, почему

Уж столько раз твердили миру,
Что лесть гнусна, вредна — и все не впрок...

Не впрок, потому что лесть сладка, а вероломство стоит где-то за горами. Во всяком случае, несомненно одно: что о льстецах писано много и бесплодно. О вероломстве же, как об язве, в известные исторические моменты точащей общество, писано до такой степени мало, что его даже почти не принимают в расчет. А его непременно надобно принимать в расчет, ибо без этого немыслимо общественное оздоровление.

Итак: трепетательная практика родит лесть, а лесть родит вероломство. Вот краткая генеалогия той нравственной смуты, которая от времени до времени омрачает страницы истории. Всему корень — трепет; за ним следует лесть, то есть изыскание способов, дабы и среди трепетательной практики можно было сказать: жив есмь и жива душа моя! За лестью, как неизбежное последствие и венец всего,— вероломство. Но главное все-таки — трепет, трепет и трепет. Это общий извечный

враг; это сатанинское исчадие; это «отец лжи», на которого должны быть устремлены все взоры и к истреблению которого должны быть направлены все усилия. Так что, в сущности, и вся эта многоактная трагедия должна носить одно общее название: «Трепет».

Вероломство, как я уже сказал выше, составляет последнюю часть этой развратной трилогии. Вступая в область вероломства, мы, так сказать, видим себя в самом сердце трагедии. Тут все трагическое: и вещи и лица. Льстецы — мстители; «баловень фортуны» — жертва. И что всего ужаснее: жертва, не возбуждающая ни малейшей симпатии. Никто не умеет мстить так жестоко, как человек, воспитанный в школе трепета, и никто так бесследно не исчезает, как человек, который пользовался благоприятно сложившимися обстоятельствами, чтоб изливать из себя трепет. Это закон, который необходимо помнить. В сущности, и этот закон, и причина, его породившая, и последствия, из него вытекающие,— все это до того бесплодно и постыло, что самая мысль, стоящая на этой почве, представляется как бы постыдною. Но делать нечего, надобно в подобных случаях преодолеть себя и, несмотря на отвращение, сколь возможно чаще напоминать себе об этих постылостях; надо иметь в виду одну цель — необходимость упразднить трепет и преследовать ее без устали. Потому что, в противном случае, он иссушит почву истории.

Мы, русские, очень часто употребляем такие выражения, которые в благоустроенных странах уже давно вышли из употребления. И не потому там выражения эти не допускаются, чтобы они были грубы и неучтивы, но потому, что понятия, им соответствующие, давным-давно исчезли. Так, например, сплошь и рядом случается в нашем домашнем быту слышать: такой-то «выскочил», а следом за тем: такой-то «полетел»; или: такой-то «пролез», и потом — такой-то «шарахнулся». И это говорится в применении не к грибам или клопам, а в применении к так называемым «баловням фортуны».

В благоустроенных обществах нельзя ни «выскочить», ни «пролезть». Там всякое положение выработывается и заслуживается. Человек является на арену публичной деятельности с несомненными правами, и ежели найдется тьма людей, которым не сочувственны руководящие начала его деятельности, то все-таки никому не придет в голову спросить его: откуда ты пришел? Пришел — значит, завоевал, заработал свое право прийти. Поэтому же там и «шарахнуться» и «полететь» нель-

зя, а можно только оказаться не на высоте вновь возникших в обществе требований и вследствие этого быть поставленным в необходимость уступить место другому, более соответствующему этим требованиям. Но ежели нельзя выскочить и пролезть, то, стало быть, нет основания для возникновения касты завистников и льстецов; ежели возможно уйти с публичной арены (на время или навсегда) без участия шараханья и летанья, то, значит, нет надобности ни в подсиживаниях, ни в вероломствах, ни в ругательствах, обыкновенно посылаемых вдогонку. Процесс обновления производится спокойно, правильно, без сюрпризов. Самое выражение «баловень фортуны» в благоустроенных обществах имеет совсем иной смысл. А именно, оно означает человека, счастливо одаренного природою, но никак не счастливого прохвоста.

Исключения из этого правила бывают, но редко и обыкновенно мотивируются очень сложным сцеплением всевозможных горьких недоразумений, в числе которых главное место занимает фаталистическое омрачение общественного сознания, вследствие чего страна временно превращается из благоустроенной в *не*благоустроенную. Так, например, о Наполеоне III можно было сказать, что он «пролез» и потом «шарахнулся».

Во всяком случае, нельзя похвалить то общество, в котором слова «пролезть» и «шарахнуться» составляют как бы принадлежность обыденного разговорного языка и в котором понятия, соединенные с этим выражением, являются понятиями нормальными, никого не удивляющими. В подобных обществах и самое выражение «баловень фортуны» становится равносильным выражению «непомнящий родства», хотя громадное большинство и не подозревает этой равносильности. А необходимо, чтоб это было хотя до известной степени понято и усвоено, потому что, в противном случае, скоро сделается совсем неопрятно жить. Я очень хорошо понимаю, что нельзя изгнать из сердец целую систему глубоко укоренившихся привычек и представлений; но ежели из сердец нельзя изгнать, то можно хоть на язык быть воздержнее. Не все урчания встревоженного желудка предъявлять, но некоторые оставлять и для домашнего потребления.

Что такое «непомнящий родства»? — Это человек, который на все вопросы о своем далеком и близком прошлом одинаково отвечает: не знаю, не помню.— Где ты родился? — не помню.— Кто твой отец? — не знаю.— Как же ты жил? — где день, где ночь, как придется.— Где же ты, наконец, вчерашнюю ночь ночевал? — в стогу. Явление это первоначально завещано было нам той стариной, которая еще помнила выраже-

ние: «страна наша велика и обильна», и когда вследствие княжеских усобиц, а потом татарского меча приходилось искать «вольных кормов» на окраинах. В то время еще «вольные кормы» существовали. Потом это же явление усердно поддерживалось крепостным правом. Не знаю, существует ли оно теперь, но в пору моей молодости оно процветало во всей силе. Я помню еще ребенком, с каким страхом папенька и маменька выслушивали доклад о том, что там-то во̀ ржи заметили «человека», и как принимались меры, чтоб этого «человека» не раздразнить, а как-нибудь или спровадить, или вероломным образом сцапать. Я помню также великое множество этих людей, оканчивающих свои скитания в острогах, и помню даже, что от них никакой «правды» не добивались, а только производили так называемый формальный сыск. Публиковали во всех губернских ведомостях, с объявлением «примет», подобно тому, как публиковали о пойманных лошадях. И затем, по окончании сыскных сроков,— в Сибирь.

Вот именно все это невольно приходит мне на мысль, когда я думаю о наших «баловнях фортуны». Все мне кажется, что если ему предложить серьезно вопрос: где ты вчерашнюю ночь ночевал? — то он непременно должен ответить: в стогу! Если же он ответит иначе, если скажет, что ночевал в своей квартире, то это будет наглая ложь.

А ежели он ночевал в стогу, ежели он на все вопросы о своем прошлом ничего не может ответить, кроме: где ночь, где день,— то какие же могут быть его требования от жизни? У него нет даже смутного представления об отечестве, а следовательно, не может быть и ни малейшего участия к его судьбам. У него нет ни присных, ни друзей, ни единомышленников, а следовательно, не может быть и идеи о каких-либо узах, связующих между собой людей. У него, наконец, нет вчерашнего дня, а следовательно, не может быть и уроков, завещанных прошлым. В прошедшем он помнит только стог, в котором его изловили за несколько часов перед тем и вместо того, чтоб поступить по всей строгости законов, одели в виссон и посадили под образа. В настоящем ему представляется только пирог, который чудесным образом очутился перед ним. Что же касается до будущего, то и в этом отношении ему доступно только [смутное] опасение, как бы не лишиться этого пирога. Я говорю: смутное опасение, потому что даже в этом смысле он настолько чужд всего человеческого, что не может себе с ясностью определить, откуда и в какой мере угрожает ему беда.

Поэтому он приходит на сцену деятельности богатый только инстинктами низшего разряда. Он плотояден, напыщен

и жесток. Он доверяет лести не потому, чтобы отождествлял ее с правдой (он даже не может отличить правду от лжи), а потому, что она представляется самым естественным modus vivendi[1]. Ah, vil flatteur![2] — говорит он льстецу и нимало не возмущается этим, потому что в его сознании «льстец» есть нечто вроде должности, которая назначена по штатам, нет резону ей оставаться вакантною. И затем обеспеченность или необеспеченность «пирога» регулирует все его действия. Ежели он чувствует обладание пирогом обеспеченным — он добр, весел и охотно бросает псам крохи с своего стола. Если он чувствует себя необеспеченным в этом смысле, он суров, нелеп и жесток. Во всяком случае, он уже забыл, что у него нет ничего назади, кроме стога, и охотно задумывается над какими-то «правами». И чем дальше ему «спускают», тем глубже и глубже укореняется в нем мысль о «правах». И вот тут-то, когда уж он окончательно начинает веровать в свою «звезду» и полный этой веры начинает зевать по сторонам и «плошать»,— вдруг из другого стога приходит другой непомнящий и говорит: а не хочешь ли, курицын сын, шарахнуться вниз?

Все это происходит внезапно, и, что всего приятнее, без шума, беспрекословно. Возражать нельзя, потому что нечего отстаивать. Если нельзя сказать: я пришел сюда вот затем-то, стало быть, нельзя и спросить: по какому же случаю меня гонят отсюда? И пришел — та̀к, и уходи — та́к. Пошел вон. Лети стремглав на дно ямы и старайся только об том, чтоб не разбить головы.

Вот тут-то именно и выступает вперед вероломство. Оно никогда не дерзает идти в упор счастью и редко даже принимает участие в интриге. Оно знает, что люди, пришедшие из стогов, подозрительны, жестоки, что они нередко по одному подозрению способны измучить, вытянуть жилы. Всего этого вероломство боится, и потому, повторяю, не только почти никогда не участвует в интриге против «баловня фортуны», но в большинстве случаев даже предупреждает, ограждает. Но зато задним числом вероломство действует удивительно развязно и смело. Когда не осталось сомнения, что «баловень фортуны» шарахнулся, когда он лежит распростертый у ног нового пойманного в стогу счастливца, а этот счастливец топчет его — о! тогда вероломство чувствует, что и для него настал момент торжества! Подобно горячей лавине, по всем стогнам разливается его ликование, и горе падшему прохвосту, ежели он не обладает достаточной быстротой ног, чтобы юркнуть в пучину,

---

[1] поведением.
[2] О, низкий льстец!

которая навсегда потопила бы его в глубинах своей безвестности. Тут вспомнится все: и вчерашний трепет, и вчерашнее молчание, и вчерашняя вынужденная лесть. И заодно уж предвосхитится и завтрашний трепет, и завтрашняя лесть. Потому что, растоптавши ногами вчерашнего непомнящего родства, мы тем самым приветствуем сегодняшнего непомнящего родства.

Повторяю: это такого рода жизненный процесс, в котором нѐ за что уцепиться. Ни идеалов, ни поступков — ни на что указать нельзя. Была одна блажь, которая не оставила по себе никакого следа, кроме загадочных восклицаний: откуда? каким образом? за что? Эти же самые восклицания останутся в своей силе и завтра. И завтра они будут заставлять людей метаться и трепетать за право существования, будут мутить их совесть, пугать воображение. Но завтра они будут прикованы к человеку, которому случай дал в руки силу и который заставит выносить эти вопросы; зачем же думать о том, что заставляло выносить их вчера? Скорее надо растоптать, раздавить, уничтожить это вчерашнее пугало, чтоб оно не лежало лишним гнетом на душе; скорее надобно отомстить на нем всю горечь прежних обид и унижений, насладиться хоть одним моментом отмщения, чтоб хоть в этот момент сознать, что не все человеческое еще погибло.

Руководствуясь всем изложенным выше, никогда не следует говорить: какой был идол, а как шарахнулся! Потому-то он и шарахнулся, что был идол, и если б он имел хоть каплю человеческого естества, его не постигла бы эта участь.

Идолов — множество, целая, так сказать, иерархия. Карабкаешься-карабкаешься по жизненной лестнице — и всякую ступеньку сторожат идолы. И всякий идол повыше ступенью заводит себе несколько второстепенных идолов, которые обязываются сначала одурять своего принципала лестью, а под конец учинить над ним вероломство. Эта процедура до такой степени неизбежна, что составляет почти обряд. Едва привели идола из стога и посадили под образа, как сейчас же всем делается ясно, что никакого резона тут искать нельзя. Что с идолом не об чем говорить, что не существует той почвы, на которой можно бы застать его не врасплох, и что, стало быть, следует только угобжать его и льстить ему.

И льстят. Но так как потребность, заставившая отыскивать в стогу идола, есть потребность эфемерная, так как идол очень скоро выдыхается, надоедает, делается нимало не забавным,

то, после непродолжительного торжества, является какое-то страстное желание спустить его с лестницы, и с течением времени делается настолько настоятельным, что даже самые вероломные личности не могут долго выдержать, чтоб не поддаться искушению. И тогда поднимается общий гам, крик, ликование, вой. Можно себе представить, какую воспитательную школу проходит общество, на глазах у которого так естественно происходит вся эта процедура?

Я уж не говорю о том, как все эти вероломства бесплодны, безнравственны, но, кроме того, они и беспричинны. Стоит ли вероломствовать, стоит ли торжествовать над каким-то выходцем, нечаянно пойманным в стогу? Я понимаю, что торжество человека партии, убеждения, знания, школы над человеком тоже партии, убеждения, знания и школы — должно быть лестно. В глазах восторжествовавшего это не просто личная его победа, но победа его дела, не столько плодотворная для него самого, сколько для общества. В такой победе понятно ликование и посторонних. Но ликование по поводу падения непомн<ящего> родства, на смену которому грядет другой непомнящий родства,— помилуйте! неужто это прилично?

Нет, это в высшей степени неприлично и даже просто постыдно. Постыдно не только участвовать в ликованиях, но даже быть свидетелем их. Потому что всякий очевидец, который не может протестовать или, по малой мере, бежать за тридевять земель от этого позорного зрелища, должен сознавать себя рабом.

Больнее, унизительнее этого сознания нет ничего на всем безграничном пространстве нравственного мира...

Я знаю, мне скажут, что я повторяюсь. Что, в сущности, мои речи суть бесконечные варьяции на тему о стыде и рабьих поступках. Ну да, это правда, я повторяюсь. Я говорю о стыде, все о стыде, и желал бы напоминать о стыде всечасно. По-моему, это главное. Как скоро в обществе пробужден стыд, так немедленно является потребность действовать и поступать так, чтоб не было стыдно. С первого взгляда этот афоризм кажется достаточно наивным, но он наивен только по форме, а по существу в высшей степени правилен и справедлив. Стыд есть драгоценнейшая способность человека ставить свои поступки в соответствии с требованиями той высшей совести, которая завещана историей человечества. И рабство тогда только исчезнет из сердца человека, когда он почувствует себя охваченным стыдом. Стыдом всего, что ни происходит окрест: и слез, и смеха, и стонов, и ликований. Ни к чему нельзя прикоснуться, ни о чем помыслить без краски стыда.

Вот почему я повторяюсь и буду повторяться. Хотелось бы, чтоб чувство стыда перешло из области утопии в действительность. Быть может, я никогда ничего не достигну в этом смысле, но ведь, по справедливости говоря, когда человек мыслит так или иначе, он очень редко имеет в виду, что из этого непременно должен выйти практический результат. Он просто мыслит так, потому что иначе мыслить не может.

Постыдные явления, о которых я повел свою речь, сделались у нас так обыкновенны, что мы даже не оборачиваемся на них. Мы льстим идолу выскочившему и накладываем в шею идолу шарахнувшемуся почти бессознательно, совершая как бы обряд. Мы даже не хотим думать, что нуль равен нулю, и в оправдание свое ссылаемся только на нашу подневольность. Но это неправда. И у подневольности есть выход — это стоять в стороне, не льстить, но и не «накладывать», не петь дифирамбов, но и не кричать вдогонку: ату его! ату! И у подневольности есть оружие: она имеет возможность презирать.

Повторяю: напоминать о стыде не только полезно, но всего более в настоящее время нужно. Стыд — это своего рода учение, это целая система; разница только в том, что в учении могут быть замечены разного рода внезапности, которые могут дать ретирадникам повод для подсиживаний, а в стыде никаких так называемых превратных толкований и днем с огнем отыскать нельзя. Взывать к стыду, будить стыд, пропагандировать, что лесть вредна, а вероломство паскудно,— помилуйте! что же тут «превратного»?

< . . . . >

<«ГОВОРЯ ПО ПРАВДЕ, ПОЛОЖЕНИЕ РУССКОГО ЛИТЕРАТОРА...»>

Говоря по правде, положение русского литератора нельзя назвать ни блестящим, ни даже благоприятным. Напротив того, это одна из самых непрочных, воздушных и низменных профессий, какие только существуют на свете. Всякий самый обыкновенный ремесленник сознает, что он делает нечто положительное; русский литератор как будто тем одним озабочен, ка̀к бы остаться в живых. А затем уж и тем, ка̀к бы, между страхами, что-нибудь шепнуть. Существуют, правда, три-четыре личности, которые стоят особняком, всеми признанные, всеми одинаково чествуемые, но это уж, так сказать, идолы. А большинству живется ужасно скверно, и не столько в материальном смысле, сколько в нравственном. Именно в последнем по преимуществу.

Разумеется, я говорю о литераторах убежденных и честных, а не о тех, которые понаползли в литературу из ретирадных мест и с подлым сердцем в груди и балалайкой в руках прижились в ней. Этим всегда жилось, живется и будет житься отлично.

И это воздушное житие повелось лишь с недавнего времени, именно с тех пор, как литература, по-видимому, сделалась в полном смысле слова настоятельнейшею потребностью общества, когда она начала постепенно проникать и в массы. Казалось бы, что тут-то и масленица русскому литератору, сумевшему проползти даже «в хижину бедную, богом хранимую», ан вышло наоборот. Читают ли его в хижине, богом хранимой,— этого он доподлинно еще не знает, но в собственной нехранимой квартире он получает только щелчки.

Прежде, сказывают, было не так. Прежде на литературную профессию смотрели как на преизящное для ума и сердца отдохновение, а в литераторах видели гордость и украшение. Разумеется, однако ж, до поры, до времени... А то как же!

А нынче — щелчки, щелчки и щелчки! И кому щелчки! — Человеку, который никаких других прав не добивается, кроме права мыслить, права отыскивать истину!.. Поистине, нет слов, чтобы выразить, до какой степени это подло!

Главную причину того, что прежний взгляд на литературу был несколько иной, следует искать в том, что литературная профессия считалась и была профессией исключительно дворянской. Сами министры бряцали, а за ними следом безвозбранно бряцали и другие, хотя не столь высокопоставленные, но не менее гордые своим дворянским происхождением. Так что, когда явился мужичок Ломоносов и тоже изъявил желание бряцать, то и его поскорей произвели в дворяне, дабы не произошло в общем хоре какофонии. Ну, а дворянин ведь свой брат, и потому пустить ему вдогонку, например, «мерзавца» или «злоумышленника» не всегда-таки удобно. У него есть бабушки, тетеньки, кузины, которые могут обидеться за родственника. А потому, если некоторые из Ломоносовых и заблуждались, то на них смотрели не как на «мерзавцев», но как на лиц, которые, по окончании курса наук в кадетских корпусах, получили вкус к заблуждениям. И в согласность с сим, старались исправить виновных домашними мерами, говорили: ну, что тебе сто̀ит «Клеветникам России» написать? И хотя это было до крови больно, но так как тут же кстати на том же настаивали все бабушки, тетеньки и кузины, то делать не́чего, приходилось брать в руку цевницу и бряцать.

Некоторый перелом во взгляде на литературную профессию последовал в самом конце сороковых годов. В это время

на Западе совершилось столько неключимостей, что невольно приходило на ум, не заразилась ли ими и русская литература. Оказалось, что заразилась. Но так как, за всем тем, и тогда литература продолжала быть профессией чисто дворянской (за малыми исключениями), то дело ограничилось только тем, что поставлены были серьезные внешние препоны собственно для вредных влияний, но все-таки никому не приходило на мысль, что название злоумышленника или мерзавца есть наиболее русскому литератору свойственное. И литература наша, к чести ее, поняла, что ей нужно оправдаться и удержать за собою свой прежний рыцарский характер.

Большим подспорьем для нее было то, что она сразу получила готовую тему, которая помогла ей обелить себя. В то время у чародея Излера, на минерашках, в большом ходу была песня о том, как Ванька Таньку полюбил. Вот эта-то песня и показала путь, по которому следовало идти.

Литература с жадностью накинулась на эту тему и страстно разрабатывала ее в течение целых восьми лет. Какое разнообразие типов, какое богатство содержания извлекла она из этого, по-видимому, обнаженного факта — это в настоящее время почти непостижимо. Все произведения ума человеческого этого короткого периода были написаны на эту тему, и все они были непохожи друг на друга. Коли хотите, это был разврат, но, во-первых, разврат благонадежный и, во-вторых, доказывающий, что человеческая мысль, даже доведенная до одурения, в самой этой дурости найдет возможность вывернуться и поддразнить: а я все-таки жива! Да, она и осталась настолько жива, что дошла даже до нас. Почему дошла? — а потому, милостивые государи, что, несмотря на общее затмение, все-таки никому не приходило на мысль, что тут главное-то преступление литературы составляет существование ее, то есть пребывание ее в живых. И даже тогда, когда к концу этого периода Ванька прихотливо потребовал конституции, то и тут поняли, что речь идет не об настоящей конституции, а только о каком-то новом любовном приеме, который ловко пущен Ванькой в ход, дабы заставить Таньку сдаться на капитуляцию.

Но в конце пятидесятых годов дворяне оплошали, а в то же время в литературу в бесчисленном множестве вторгся разночинный элемент. Уничтожение крепостного права сказалось и тут: с осуществлением его устранился досуг. А с исчезновением досуга исчезла и возможность культивировать «благородные» идеи. Даже выспренняя сторона эмансипации, та, ожидание которой заставляло трепетать и сладостно волноваться целые поколения «мечтателей»,— и та немедленно

уступила место так называемому «трезвенному» отношению к делу. Не «благородные» мысли требовались, а мысли, указывающие на практический выход, открывавшие двери в область компромиссов. Словом сказать, литературную арену заполнили мысли практические, будничные, между которыми было достаточно полезных, но множество было и положительно подлых. И по какому-то необъяснимому недоразумению полезные мысли оказались «опасными», а подлые — благонадежными... хотя все-таки подлыми. Или, говоря другими словами, никто из новых литературных деятелей никакого «дворянскому званию свойственного» парения не предъявил.

Отсюда прискорбное смешение «опасного» и «подлого»; отсюда безразличное применение того или другого эпитетов, смотря по требованиям темперамента. Литература уже перестала служить убежищем «сладких звуков и молитв» и сделалась лишь досадною необходимостью, в которой всякий искал подтверждения своих, так сказать, утробных поползновений. Ежели писатель говорит в унисон тому, что думает утроба читающего,— это значит, что он писатель подлый, но полезный; ежели писатель расходится в мнениях с утробой читающего — это значит, что он писатель подлый и опасный. А так как в основании того и другого определения все-таки стоит слово «подлый», то есть не могущий ни оду на взятие Хотина на струнах разыграть, ни «Бедную Лизу» написать, то из этого выводится прямое заключение, что и полезный писатель в силу своей подлости может сделаться опасным. Стоит только хорошенько его поманить, доказать, с счетами в руках, что опасным писателем выгоднее быть, нежели полезным.

Вот почему часто приходится слышать, как мерзавцы, самые несомненные, называют литературу скопищем разбойников и мерзавцев. И, к сожалению, не менее часто случается, что сами литераторы не только не протестуют против этого, но даже помогают формулировать полуграмотные бормотания ненавистников литературы.

Этого нет нигде. Везде литература ценится не на основании гнуснейших ее образцов, а на основании тех ее деятелей, которые воистину ведут общество вперед. Везде литература есть воистину благороднейшая и драгоценнейшая выразительница народного гения. Везде она составляет предмет народного культа, народной гордости. У нас — не так. У нас она знает только один девиз: держи ухо востро! — И она действительно держит ухо востро, и не жалуется, и даже не мечется. Право, ведь это до крови обидно. Это такая неизбывная обида, которая и в самое бесконечно доброе сердце может забросить жажду мести и жестокости.

Правда, указывают на публику: там, дескать, пускай ищет себе литератор оценки, сочувствия и защиты. Но что же такое эта публика? кому она нужна? более ли она самостоятельна, нежели сама литература? кто принимает ее в расчет и кого она может защитить?

Публика... га!!!

Вот почему я повторяю, что положение русского литератора нельзя назвать ни благоприятным, ни прочным.

И между тем я... литератор!!!

Однажды, в провинции, я был свидетелем такого случая. Был у нашего принципала близкий человек, который пользовался всем его доверием и, следовательно, делал, что хотел. Определял и увольнял, заключал мир и объявлял войну, решал и вязал, казнил и миловал, высылал и водворял. Словом сказать, производил все операции, какие столпу, от лица власть имеющего поставленному, производить надлежит. Понятно, какая у него была свита льстецов и поклонников, которые не только удивлялись его мудрости, но находили, что еще он мало в шею накладывает, и называли в глаза и за глаза красавцем. В числе подобных поклонников был и мой хороший приятель, господин Чушкин, который очень усердно нюхался с баловнем фортуны и почти ежедневно сообщал мне о подвигах его неподражаемой мудрости. Впрочем, называя господина Чушкина моим приятелем, я должен оговориться, что в провинции на приятелей нет свободного выбора: тот и приятель, с кем связало дело или случайная встреча.

И вдруг, в одно прекрасное утро, над городом взвился целый столб пыли. То пал баловень фортуны. Пал он неизвестно от какой причины. Все действовал вольным аллюром, все простирал руки и нахальствовал, нимало не остерегаясь,— и вдруг как-то не остерегся, наступил на мозоль... Сколько тут оказалось мусору и смраду — это ни в сказках сказать, ни пером описать. И вдруг вся эта свора льстецов и почитателей, которая за ним ходила по пятам, рассыпалась и брызнула во все стороны, озираясь и высматривая, не появится ли на горизонте новый баловень фортуны, перед которым тоже предстоит подличать и льстить.

Я помню, что через несколько дней после этого мы шли с Чушкиным по улице, и вдруг совсем неожиданно из переулка вынырнул бывший баловень фортуны. Обтрепанный, ощипанный, смотрящий долу, он близко прошел мимо нас, как бы уклоняясь от удара, и господин Чушкин не только не привет-

ствовал его, но облил взглядом, полным неизреченного презрения.

Я помню, это в то время до такой степени меня поразило, что я не выдержал и тогда же выразил мое негодование.

— Господин Чушкин! — сказал я,— позвольте мне сказать вам, что вы поступили, как негодяй. Покуда этот человек был в случае, вы низкопоклонничали и малодушествовали перед ним; теперь же, когда он низринулся с высоты, наполнив смрадом вселенную, вы не только не приветствуете его с счастливой улыбкой на устах, но даже как бы игнорируете самое существование его! Жду ваших разъяснений.

Но господин Чушкин смотрел на меня во все глаза и, очевидно, ничего не понимал.

— Но что же, собственно, я должен разъяснить? — спросил он наконец.

— Я желаю знать причину вашего двоедушия относительно лица, которое, еще несколько дней тому назад, пользовалось в здешнем обществе титулом баловня фортуны. Почему вы, за неделю перед сим, не знали, какую достаточно преданную улыбку вызвать на лицо, чтоб выразить вашу радость при встрече с ним, теперь же не нашли ничего другого, кроме взгляда, исполненного равнодушия и даже презрения?

— Извольте! — ответил он.— Начну с того, что ежели я чествовал господина, о котором идет речь, то чествовал его не как человека, а как положенное по штату лицо («Баловень фортуны»: по должности — в 6-м классе, по мундиру — в 6-м классе, по пенсии — в III разряде), от которого зависело прекращение моего существования или продолжение оного. Это первое. Во-вторых, запас преданности и ее изъявлений, который обязывается иметь партикулярный человек, желающий, чтобы существование его было продолжено, имеет свои определенные границы, дальше которых изобретательность человеческого ума не идет. А так как должность «баловня фортуны» не нынче-завтра будет замещена, то ясно, что и для вновь определенного лица я должен иметь в готовности ту же сумму преданности, какую я вынуждался предъявлять и его предместнику. Отсюда, в-третьих, ежели я свойственную мне сумму преданности буду раздроблять между бывшим и действующим «баловнями фортуны», да при сем, пожалуй, еще прихвачу будущего «баловня фортуны», пришествие которого тоже провижу, то ясно, что на долю каждого из них попадает такой ничтожный клочок этой преданности, что ни один из них не ощутит никакого удовольствия. И, наконец, в-четвертых, вы ошибаетесь, обвиняя меня в каком-то неслыханном и чрез-

мерном вероломстве. Сравнительно я поступил еще довольно мягко, а случись на моем месте другой...

Он не досказал, как поступил бы на его месте другой, но с меня и этого было достаточно. Тем не менее рассуждение господина Чушкина не удовлетворило меня, и я долгое время не мог вспомнить об этом случае, не воскликнувши: какая, однако ж, мерзость! О, если б «баловни фортуны» знали, что происходит в чушкинских глубинах в то время, когда чушкинские уста изрыгают льстивые словеса! С какою мудрою предусмотрительностью они начертали бы: существовать воспрещается!

Но, быть может, они всё это отлично знают и понимают, но в то же время понимают и то, что, не будь Чушкиных, с кем же бы стали они размыкивать свое величие, да и кто удостоверил бы их, что их величие есть, действительно, величие, а не кошмар?

И что всего удивительнее, сам отставной «баловень фортуны» не понимал, сколько ненормального и презренного заключается в отношениях к нему господ Чушкиных. По-видимому, он видел в этом нечто обыденное и вполне естественное. В эти первые минуты, когда не рассеялся еще смрад от его падения, он, конечно, страдал и ощущал довольно существенные неудобства, но в то же время он, наверное, внутри себя уже говорил: перемелется — мука будет. И точно, прошел месяц, другой — и бывший баловень фортуны вдруг, как ни в чем не бывало, явился в клуб и спросил себе порцию сосисок с капустой (прежде он не садился за стол без шампанского, которым обыкновенно наливали его господа Чушкины). Потом, потихоньку да полегоньку, устроил себе партию по маленькой и, не упоминая о бывшем величии, сумел настолько снискать в общественном мнении, что даже вновь определенный «баловень фортуны» начал прибегать к нему за советами.

Но повторяю: меня это поразило до крайности; и хотя, впоследствии, я очень часто имел случай видеть примеры подобных внезапных низвержений, сопровождаемых точь-в-точь такими же вероломствами, но никогда не мог привыкнуть к этим явлениям, всякий раз преисполняясь по поводу их негодованием. Так что, долго спустя, когда уже я окончательно покинул провинцию, я и тогда не раз вспоминал об этом и совершенно искренно желал себе разрешить, естественно ли это или неестественно.

Однажды я имел об этом очень серьезный разговор с Глумовым, к которому, как известно, я имел обыкновение обращаться во всех моих недоумениях. И, к удивлению моему, во-

все не встретил в нем такого пламенного негодования, какое испытывал сам.

— Как бы тебе сказать,— ответил он, когда я объяснил ему в подробности поступок господина Чушкина,— конечно, с точки зрения людей свободных, вот как мы, например, с тобой, поступок господина Чушкина представляется не только предосудительным, но и достойным шпицрутенов; но ежели взглянуть на дело с точки зрения людей подневольных...

— Помилуй, мой друг! — возмутился я,— о каких тут разнообразных точках зрения может идти речь! Тут может быть только одна точка зрения, которая говорит: подло! — и больше ничего.

— Постой! Повторяю: и ты и я — мы, благодарение богу, люди свободные, и потому очень понятно, что для нас в делах подобного рода может существовать только одна точка зрения, безотносительная. Но окунись мыслью в хляби крепостного права, представь себя на минуту рабом, и ты, наверное, отыщешь и другую, относительную, точку зрения, которая заставляет действовать господ Чушкиных. Чушкины — рабы, и этим все сказано. Но они не те наглухо заколоченные рабы, которые не чувствуют цепей на своих руках, для которых жизнь, что бы в ней ни происходило, есть лишенная света темница, но рабы, отчасти уже вкусившие жизненных благ и растревоженные ими. Эти люди не могут не вожделеть однажды испытанных благ, и так как последние даются лишь тем, кто умеет ласково просить, то они и пресмыкаются в прахе. Но в то же время они очень хорошо понимают, какая масса унижений заключается в этом пресмыкании, и не могут не желать отмщения. И вот наступает момент, когда он припоминает *все*... И то, как он ползал, и то, *перед кем* он ползал. Ведь этот «баловень фортуны» — кто он такой? ведь это человек, с которым ему, Чушкину, говорить, по-настоящему, никакой надобности нет, на которого смотреть ему тошно! А он ползал перед ним, восхищался его мудростью, называя красавчиком! Он кувыркался перед ним, представлял комедии, паясничал, в чаянье сорвать с уст благосклонную улыбку! Он проделывал все это, потому что сознавал себя червем, потому что понимал, что одного движения «баловня фортуны» достаточно, чтоб раздавить его! И ты думаешь, что он не отмстит! Ах, ведь это целая трагедия, и, к довершению всего, трагедия, которая длится иногда бесконечные годы! Каждую минуту, в течение этих бесконечных лет, Чушкин глотает обиду за обидой, выжидает, терпит, сдерживается... И чтоб он не припомнил этого в благоприятный момент, чтоб он не отмстил! Нет, воля твоя, я совершенно согласен с господином Чушкиным — очевидно,

он был раб,— он поступил еще слишком мягко! Другой на его месте...

— Послушай! Положим, что он отомстит, но как? Ведь он не самостоятельно отомстит, а за спиной другого! Ведь потому только и получит возможность отомстить старому «баловню фортуны», что у него есть налицо новый «баловень фортуны», перед которым он вновь пресмыкается и ползает... Ведь это наконец бесконечный порочный круг!

— Именно так и есть, но это не изменяет факта, а делает его еще более трагичным. Расскажу тебе историю из воспоминаний моей юности. Была у нас соседка барыня, и имела она влечение к фаворитам. Фавориты эти выбирались из дворовых и менялись довольно часто. Бывало, приедешь в Ярцево (ее усадьба) и видишь, в лакейской саженный холуй сидит — это, значит, новый фаворит. Так вот при смене этих фаворитов происходили поразительные сцены, а однажды дело даже до суда дошло. Был у этой барыни в дворне живописец один, малый талантливый, и ходил он обыкновенно по оброку, только как-то позапутался, не заплатил вовремя денег, и вызван был в деревню. Разумеется, застал холуя и вынужден был, наряду с прочими, ему льстить. Льстил долго и усиленно, льстил с сознанием собственного превосходства, и достиг наконец того, что получил право существовать и даже пользоваться некоторыми льготами. И вдруг из барыниной спальной распоряжение: фаворита — в пастухи, а пастуха — в фавориты! Надо было видеть, какая вдруг метаморфоза совершилась в живописце. Он подстерег гиганта из-за угла, ловко сшиб его с ног и начал топтать ногами. И, постепенно остервеняясь, стал бить его каблуком в лицо, так что через четверть часа гигант представлял собой бездыханную окровавленную массу. Так вот этот самый убийца на вопрос: с какого повода он так остервенился против человека, которому накануне льстил и который, в сущности, ничего, кроме благосклонности, ему не показывал,— отвечал: Помилуйте! мало ли он измывался надо мной! мало ли я сам над собой измывался, чтоб только утешить его, угодить! Ужели ж так ему это и подарить!

— Так вот оно, рабье-то дело какое! — присовокупил Глумов,— и представь себе, во время этой сцены барыня стояла у окна и смотрела, и только когда уж все кончилось, молвила: никак, он Макарку-то убил! Свяжите его да отвезите в город...

< . . . . >



ПРИМЕЧАНИЯ

В в о д н ы е   с т а т ь и:

Е. И. Покусаева и *В. В. Прозорова* — «Господа Головлевы»,
В. А. Мыслякова — «Убежище Монрепо», *П. С. Рейфмана* —
«Круглый год»

П о д г о т о в к а   т е к с т а
и   т е к с т о л о г и ч е с к и е   р а з д е л ы   к о м м е н т а р и я:

В. Н. Баскакова — «Господа Головлевы»,
В. Э. Бограда — «Убежище Монрепо», *Д. М. Климовой* —
«Круглый год»

К о м м е н т а р и и:

В. В. Прозорова — «Господа Головлевы»,
В. А. Мыслякова — «Убежище Монрепо»,
П. С. Рейфмана — «Круглый год»

П е р е в о д ы   и н о я з ы ч н о г о   т е к с т а:

Е. А. Гунста

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

БВ — «Биржевые ведомости».

ВЕ — «Вестник Европы».

ГБЛ — Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина.

ГПБ — Государственная публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).

Изд. 1880 — «Господа Головлевы. Сочинение М. Е. Салтыкова (Щедрина)», СПб. 1880.

«Убежище Монрепо. Сочинение М. Е. Салтыкова (Щедрина)», СПб. 1880.

«Круглый год. Сочинение М. Е. Салтыкова (Щедрина)», СПб. 1880.

Изд. 1883 — «Господа Головлевы. Сочинение М. Е. Салтыкова (Щедрина). Издание второе», СПб. 1883.

«Убежище Монрепо. Сочинение М. Е. Салтыкова (Щедрина). Издание второе», СПб. 1883.

«Круглый год. Сочинение М. Е. Салтыкова (Щедрина). Издание второе», СПб. 1883.

Изд. 1933—1941 — Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полн. собр. соч. в двадцати томах, ГИХЛ, М. 1933—1941.

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР.

ЛН — «Литературное наследство».

Макашин — С. Макашин, Салтыков-Щедрин. Биография, т. 1, издание второе, дополненное, Гослитиздат, М. 1951.

МВ — «Московские ведомости».

НВ — «Новое время».

РВ — «Русский вестник».

«Салтыков в воспоминаниях» — сборник «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. Предисловие, подготовка текста и комментарии С. А. Макашина», Гослитиздат, М. 1957.

«СПб. вед.» — «Санкт-Петербургские ведомости».

Тургенев, Письма — И. С. Тургенев, Полн. собр. соч. и писем в двадцати восьми томах. Письма, «Наука», М.—Л. 1961—1967.

ЦГИАЛ — Центральный государственный исторический архив (Ленинград).

ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ

Пророческий, по выражению Горького, смех салтыковской сатиры проделывал огромной исторической важности очистительную работу, революционизировал сознание и волю целых поколений русских людей. И в этом своеобразном процессе общественного воспитания особая роль принадлежала роману Салтыкова «Господа Головлевы» — роману, который открыл читающей России образ Иудушки, вошедший в галерею мировых сатирико-нарицательных типов.

Когда критически осмысливается такой литературный шедевр, законно стремление добраться сквозь частные факты и биографические подробности, поясняющие внешнюю историю его появления, до тех подлинных причин, которые обусловили создание великого произведения и коренятся в самой действительности, в глубинных тенденциях общественной жизни и истории литературы.

Головлевская хроника первоначально не мыслилась Салтыковым как самостоятельное произведение. Она входила в «Благонамеренные речи» и задумана была в более чем скромном объеме (см. стр. 668—669). Но роман о Головлевых, конечно, не просто отпочковался от очередного художественно-публицистического цикла, а был подготовлен всем предшествующим творчеством Салтыкова, пристально интересовавшегося уходом с исторической арены «ветхих людей», дворян-душевладельцев, чиновников патриархальной складки. В преддверии новой революционной ситуации 1879—1881 годов Салтыков уже ясно видел резкие очертания пореформенной «переворотившейся» России, в социальной структуре которой свое место заняли «чумазые», Деруновы и Колупаевы, буржуазные столпы общества. Поездки за границу (1875—1876 и 1880—1881 гг.), в свою очередь, расширяли круг наблюдений, вооружали Салтыкова новыми историческими критериями, новыми социальными измерениями происходящего. Та идейно-художественная концепция, какая реализуется в романе «Господа Головлевы» и его центральном герое, могла возникнуть и определиться в полном виде лишь на позднейшей стадии творчества Салтыкова, когда у него сложилась новая повествовательная форма, новый жанр — «общественный роман» («Гос-

пода ташкентцы», «Дневник провинциала в Петербурге»), когда он создал ряд крупных произведений, разоблачавших «принципы», «краеугольные камни» современного общества («История одного города», «Помпадуры и помпадурши», «Благонамеренные речи»). «На принцип семейственности,— сообщал автор Е. И. Утину 2 января 1881 года,— написаны мною „Головлевы"».

Всю глубину и злободневность замысла «Господ Головлевых» можно по достоинству оценить, если вспомнить, что в то время проблема семьи активно обсуждалась в научных трактатах, в публицистике, в художественной литературе, в официальных документах. Со страниц благонамеренной печати не сходили высокопарные заявления вроде следующего: «Сила и крепость государства находятся в прямой зависимости от силы и крепости семейного союза в стране» [1]. Катковские передовицы в «Московских ведомостях» на разные лады перепевали эти мотивы. Время от времени возобновлялись злобные выпады против Чернышевского, автора «Что делать?», которому инкриминировалось дерзкое содействие разрушению современной семьи [2].

В публичных выступлениях либеральных деятелей провозглашались святость и нерушимость «семейственного союза». В нашумевшей в 1876 году речи по уголовному делу об истязании ребенка либеральный адвокат и профессор В. Д. Спасович восклицал: «Государство только тогда и крепко, когда оно держится на крепкой семье».

В то же время в русской прессе публиковались материалы, в которых в достаточной мере объективно назывались обстоятельства, подрывавшие семью. Э. Золя в «Парижских письмах» писал о том, как коммерческий расчет вытеснил любовь из французской буржуазной семьи и как стремительно она разрушалась [3]. Знакомые русскому читателю по переводам эпизоды из истории семьи Ругон-Маккаров подтверждали публицистические выводы французского художника. В связи с этим в газетах появлялись и такие заметки: «Если сопоставить картины Золя и картину Щедрина, то многое можно сказать о причинах упадка семьи» [4].

Несмотря на цензурные препоны, в печати тех лет можно встретить и острые критические суждения о дворянской семье, в которых заметны следы влияния автора «Господ Головлевых». Вот одно из таких высказываний: «Барская семья, жившая на крепостном труде и взирающая на весь мир с точки зрения своего сословного point d'honneur [5], семья, для самой себя специально создавшая «институты», теперь лежит перед нами уже в развалинах» [6].

---

[1] «Русский мир», 1871, № 1, 1 сентября.

[2] П. Щебальский, Наши беллетристы-народники.— *РВ,* 1882, № 4, стр. 732—734.

[3] *ВЕ,* 1876, № 1, стр. 336.

[4] С. С. <С. Сычевский>, Журн. очерки.— «Одесск. вестник», 1876, № 8, 11 января.

[5] превосходства.

[6] П. З<асодим>ский, Вопросы о молодом поколении.— «Слово», 1881, № 1, стр. 93.

В пору, когда писались «Господа Головлевы», проблема семьи живейшим образом интересовала крупнейших русских писателей. Исследуя пореформенную жизнь, Лев Толстой, как автор «Анны Карениной», глубоко задумался над судьбой семейного начала в современном обществе и с большой художественной силой обнажил неблагополучие в одном из самых прославленных «институтов» господствующего класса. Правда, Л. Толстой несчастливым, разрушающимся семьям Карениных, Облонских, Вронских противопоставляет чету Левиных, полно и гармонично осуществляющую в своей жизни патриархальный семейственно-усадебный идеал. Однако последние страницы романа показывают нам уже несколько иную картину. Над семьей Левиных простирается не безоблачное небо, а нависают мрачные тучи. В сомнениях и тревогах толстовского правдоискателя, на время успокоенного фоканычевой формулой «жить для души», предчувствуется смятение, перелом мировоззрения великого художника. В романе «Воскресение», а также в повести «Крейцерова соната» Толстой уже беспощадно разоблачает семейные устои дворянско-буржуазного общества.

Проблема семьи волновала и другого современника Салтыкова — Ф. М. Достоевского. В «Дневнике писателя» за 1876 год он заявлял: «Мы не станем и отстаивать таких святынь, в которые перестанем верить сами, как древние жрецы, отстаивавшие, в конце язычества, своих идолов, которых давно уже сами перестали считать за богов. Ни одна святыня наша не побоится свободного исследования, но это именно потому, что она крепка в самом деле. Мы любим святыню семьи, когда она в самом деле свята, а не потому только, что на ней крепко стоит государство. А веря в крепость нашей семьи, мы не побоимся, если, временами, будут исторгаемы плевелы...» [1]

В своих художественных произведениях, в особенности в «Братьях Карамазовых», Достоевский сам «исторгал плевелы», сам рисовал картину гниения, духовного и физического распада дворянской семьи. В рабочих записях середины 70-х годов одна из главных тем последнего романа определена им как «разложение семейного начала» [2]. Но с точки зрения Достоевского, принцип семьи — это святыня того идеального уклада жизни, который якобы вновь созидается возвышенными и окрепшими силами народного православия. Будучи втянуто во всеобщий хаос пореформенного развала и умственной смуты, семейное начало подверглось лишь временной порче, вызванной барским отрывом от народной «почвы», влиянием материализма, либерализма и атеизма.

Салтыков же полагал, что провозглашаемый идеологами современного общества принцип семьи утратил свое содержание и давно уже перестал быть святыней даже для них самих. Во имя мнимой святости этого «идола» охранители преследуют «свободное исследование» основ современного

---

[1] Ф. М. Достоевский, Полн. собр. художественных произведений, т. 11, М.— Л. 1929, стр. 214—215.

[2] Ф. М. Достоевский, Братья Карамазовы. Редакция Л. П. Гроссмана, М. 1935, т. 1, стр. 19.

общества. Фраза Салтыкова в письме к Утину (2 января 1881 г.) о том, что он задался миссией «спасти идеал свободного исследования как неотъемлемого права всякого человека и обратился к тем современным «основам», во имя которых эта свобода исследования попирается», может быть, является ответом на суждения Достоевского в «Дневнике писателя». Автор «Господ Головлевых» показал, как мир собственников и тунеядцев изнутри подрывает, разваливает семью, превращает в фикцию то, что на словах выдавалось за «краеугольный камень» современного социального уклада.

Во многих своих сочинениях пореформенной поры Салтыков изображал процесс оскудения помещичьих гнезд и вытеснения недавних душевладельцев с занятых ими позиций новыми «столпами» — Деруновыми и Разуваевыми. В «Господах Головлевых» акцент сделан на другом. Головлевы приспосабливаются к пореформенным порядкам, даже богатеют. Но это удачливое накопительство не укрепляет семью, а наоборот — становится как бы подстрекающей силой ее распада, исчезновения родственных связей. Повседневные отношения приобретают форму либо глубокой разобщенности, отчужденности, либо откровенного недоброжелательства. В конечном счете стихия старокрепостнического и новобуржуазного хищничества выступает в романе как социально-историческая мотивировка разложения семьи — этой первичной клетки общественного организма.

Тургеневская усадьба овеяна поэзией природы, высоких человеческих чувств, искусства. Патриархальные устои в гончаровской усадьбе — утес, выдерживающий натиск пореформенного времени. В описании усадьбы Толстого преобладает поэзия семейного счастья, разумной, близкой к народу сельской жизни и труда. Салтыковская усадьба полна запаха тлена, разорения, распада жизни.

На протяжении всей своей творческой жизни Салтыков напряженно и активно искал новые художественные формы, соответствующие и его собственным замыслам, и характеру изменившейся действительности. К началу семидесятых годов он утверждается в мысли, что «роман утратил свою прежнюю почву с тех пор, как семейственность и все, что принадлежит к ней, начинает изменять свой характер», что «разрабатывать по-прежнему помещичьи любовные дела сделалось немыслимым». У Салтыкова сложилась концепция нового «общественного романа», целью которого является проникновение в «тайны современности», исследование «силы вещей», «двигающих пружин» буржуазно-дворянского общества, типа современной личности не столько в узко-семейной, интимной сфере ее бытия, сколько в многообразных связях ее с социальной действительностью.

«Лжи, обманы, коварства, надежды, разочарования — все это кишит вокруг нас, в том обществе, среди которого мы живем, а в литературе нашей все-таки нет даже признаков чего-нибудь похожего на общественный роман...» — полагал Салтыков. «Господа Головлевы» блистательно реализовали идейно-эстетические принципы именно такого «общественного» романа, в котором современная ему действительность предстает свободной от фетиша, от «призраков», от мнимых идеологических представлений. Отказавшись

от традиционного истолкования «семейной» темы, от романического сюжета, Салтыков тем не менее имел право заявить: «Я считаю мои «Современная идиллия», «Головлевы», «Дневник провинциала» и др. настоящими романами; в них, несмотря даже на то, что они составлены как бы из отдельных рассказов, взяты целые периоды нашей жизни» [1].

Салтыков поставил перед собой сложную задачу: раскрыть внутренний механизм разложения семьи, обнаружить те черты личности, психологии, житейских представлений, принципов поведения, которые ведут к гибели нормальных человеческих отношений, к распаду семейных союзов. В каждом из членов головлевского семейства находит писатель разные формы проявления черт характера, порожденных крепостничеством,— корыстолюбие и безалаберность, жажду приобретательства и неспособность к осмысленному труду, безудержный эгоизм и крайнее равнодушие к людям, к близким, цинизм и ханжеское благолепие и т. д. От главы к главе прослеживается трагический уход из семьи, из жизни всех ее членов. Наиболее же последовательно и полно все характерное для процесса разрушения помещичьего клана обобщено в Порфирии Головлеве. Не случайно в самом начале второй главы замечено: «Семейная твердыня, воздвигнутая неутомимыми руками Арины Петровны, рухнула, но рухнула до того незаметно, что она, сама не понимая, как это случилось, сделалась соучастницею и даже явным двигателем этого разрушения, настоящею душою которого был, разумеется, Порфишка-кровопивец».

Так в ходе окончательного оформления идейно-художественного замысла автор романа естественно должен был особое внимание уделить разработке образа Порфирия Головлева.

В одной из журнальных статей, кстати сказать пропагандировавшей идею Чернышевского об огромной познавательной роли литературы, создание оригинального художественного типа приравнивалось по своему значению к выдающемуся научному открытию.

«...Открытие данного типа, свидетельствуя о необычайной сложности душевного движения, вызванного в художнике изучением его свойств и созерцанием его образа и, следовательно, о высоте его нервной возбудимости, в то же время обличает в нем великий ум, может быть, величайший, который не уступит уму знаменитейших деятелей науки» [2].

Передовая русская эстетика одним из непременных условий полноценности художественного типа считала воплощение им существенных и в то же время ранее не замеченных новых черт эпохи, ее социальной практики, идеологии, морали. В Иудушке, его духовном облике, в характере и поведении отразились наблюдения писателя над современным ему обществом. Острый и глубокий ум сатирика обнаружил одну из весьма существенных черт эпохи — разительное противоречие между узаконенными благонамеренными

---

[1] *«Салтыков в воспоминаниях»*, стр. 184.

[2] О. I. <И. И. Ясинский>, Единство творческого процесса.— «Слово», 1879, № 9, стр. 99.

словами, представлениями, принятыми нормами поведения и практикой жизни, между созданными на протяжении не одного десятилетия мифами и реальностью. Поэтому обиходные словесные формулы, принятые догмы, признанные моральные нормы оказываются ложью, бессодержательной фразой, пустословием. А. В. Никитенко, далекий от сочувствия современным радикальным идеям, записал в январе 1875 года в своем дневнике: «Все ложь, все ложь в любезном моем отечестве. У нас есть хорошая восточная православная религия. Но в массе народа господствует грубое суеверие; в высших классах или полный индифферентизм, или неверие под маскою новых идей или научного высокомерия. У нас есть законы; но кто их исполняет из тех, кому выгодно неисполнение их, или кто поставлен блюсти за их исполнением? У нас есть наука; но кого она серьезно занимает... У нас нет общественного духа ни на йоту, тут открыто и нелицемерно мы воруем, пьянствуем, мошенничаем взапуски друг перед другом» [1].

В процессе работы над романом Салтыкову уяснилось, что центральным его героем должна стать личность, которая как бы пропиталась разлитой в воздухе ложью, лицемерием, показной «благонамеренностью», бессознательным внешним благочестием, скрывающими жестокую и разрушающую жизнь практику.

В образе Иудушки Салтыков гениально обозначил, так сказать, каждодневное, «бытовое» проявление лицемерия, «пустословия», лжи, используемых для охраны того, что уже исторически подорвано, истощилось, одряхлело и злым призраком тяготеет над обществом, людьми, над честными порываниями в будущее. «Обманное слово» (Н. Михайловский) оказывалось инструментом охранительного исторического действия. Обозреватель «Вестника Европы» [2] однажды остроумно заметил, что сатирик древнее изречение errare humanum est [3] изменил применительно «к нашему времени на humanum est mentire» [4].

Салтыков писал в «Круглом годе»: «Правда, что общество наше — лицемерно и посмеивается над основами «потихоньку», но разве лицемерие когда-либо и где бы то ни было представляло силу, достаточную для существования общества? Разве лицемерие — не гной, не язва, не гангрена?» Этими словами намечено основное идейное направление повествования в «Господах Головлевых» и основная линия развития образа Иудушки. Автор сосредоточивается на анализе внутреннего мира своего «выморочного» героя. Исходя из просветительских взглядов, Салтыков прежде всего в безудержном культивировании и распространении «обманного», лживого слова, в необеспеченности «правильных» речей действительным смыслом видел конкретное проявление процесса разложения личности, процесса духовной деградации враждебных народу, исторически отвергнутых жизнью

---

[1] А. В. Никитенко, Дневник, т. 3, Гослитиздат, Л. 1956, стр. 327.
[2] *ВЕ*, Лит. обозр., 1881, № 11, стр. 432.
[3] Человеку свойственно ошибаться.
[4] Человеку свойственно лгать.

классов и групп. Такая широкая установка потребовала от писателя всестороннего и глубокого анализа пустословия как социального порока. В «Господах Головлевых» это и составило одну из главных идейно-художественных задач автора, создавшего классический тип пустослова.

Нет ни одного сколько-нибудь значительного сатирического цикла, в котором бы Салтыков не разоблачал пустословие и пустословов. Уже в «Губернских очерках» создается запоминающийся образ Озорника, сановного чиновника, усматривающего в бюрократии «высший организм» относительно всей прочей человеческой массы. Эпиграфом к этому этюду Салтыков ставит латинское изречение: Vir bonus, dicendi peritus[1]. Изобличению либерального фразерства и краснобайства немало места отведено в «Невинных рассказах» и «Сатирах в прозе». Разгул «обманного» слова в эпоху реформ, в эпоху «глуповского возрождения» образно запечатлен в красноречии помпадуров, нарциссов-земцев и других разновидностей тогдашних прогрессистов. О том, что «глупые мысли, дурацкие речи сочатся отовсюду, и совокупность их получает наименование «морали» и «что выслушивание азбучных истин становится действительно обязательным», Салтыков писал в очерке 1871 года «Самодовольная современность», добавляя: «...раздражает бесконечная удовлетворенность, не подозревающая даже возможности иного миросозерцания, кроме низменного» (т. 7, стр. 149, 153).

В пору, когда писались «Господа Головлевы», Салтыков предпринимает энергичное наступление против засилия лживого благонамеренного слова. Он клеймит «служительские слова», «ташкентский брех», под прикрытием которых осуществляется реакционная политика обуздания и ограбления.

Порфирий Головлев назван не Иудой, как известный евангельский персонаж, а Иудушкой, что сразу как-то его приземляет. Это именно Иудушка, где-то здесь, рядом, под боком у домашних совершающий каждодневное предательство. В семье, за чайком и обедом, в повседневном общении с родными, дворней, мужиками, соседями по имению плетет словесную паутину Порфирий. Салтыкова не случайно интересуют *помещики* Головлевы, *господа* Головлевы. Ибо помещичья жизнь оказалась той питательной средой, в которой сформировался характер Иудушки, совершилась деформация его личности.

По глубокому убеждению революционного просветителя, слово — это могучее средство общения и взаимопонимания людей, содержательный знак умственного человеческого опыта, орудие культуры и созидания. Со словом надо обращаться честно,— вслед за Гоголем говорил Салтыков. Автор «Господ Головлевых» должен был изобразить слово в извращающей его природу функции — разобщения людей, тиранического истязания их. Салтыков обнаружил великое умение образно раскрывать диалектику пустого «обманного» слова.

В ординарной речи героя, в лексике, в синтаксисе его словесных упражнений необходимо было открыть такие вариации, такие обороты, ко-

---

[1] Муж добродетельный, владеющий словом.

торые бы создали особую «стилистическую атмосферу» (Б. В. Томашевский), когда читатель вживе представил бы себе человека, не знающего другого слова, кроме праздного, бессодержательного. Такой эстетической целенаправленности языка, речевой характеристики персонажа Салтыков достигает мастерски.

Слово Иудушки имитирует благородные идеи, высокие душевные побуждения, прекрасные человеческие действия и поступки, тогда как на самом деле у героя нет ничего за душой, кроме бессердечия. Сло́ва утрачивают свое настоящее содержание, свой настоящий смысл. Автор романа всюду показывает, что Иудушке неизвестны «муки слова». Он не ищет слова, а легко берет готовое чужое. Истертая пословица, выхваченная из Священного писания моральная сентенция, примелькавшаяся цитата из молитвы, ходячее изречение из арсенала старинной мудрости, истасканная житейская заповедь — все это затвердевшее, прописное, внутренне обесцененное, мертвое выступает у него нестерпимо скучным, назойливо нудным многоглаголанием, скрывающим живые человеческие чувства и мысли.

Словам Иудушки придана особая тональность. Его речь отличается ласковостью и витиеватостью. «Обманное» слово обычно звучит в сатире Салтыкова патетично, фразисто, громко, особенно громко произносится оно теми, кто лицемерит и предательствует на поприще гражданской, политической, служебной деятельности. Сфера жизни Порфирия Головлева — семья, собственное поместье. Здесь выступает он ревнителем христианской морали, семейных уз, помещичьей деловитости. Мимикрия «обманного» слова в сфере, доступной «дикому помещику», должна быть, конечно, иной, чем в столичной аудитории.

Салтыков писал: «Из уст человека не выходит ни одной фразы, которую нельзя было бы проследить до той обстановки, из которой она вышла». Писатель нашел для речевой характеристики своего пустослова именно ту интонацию, которая органически соответствовала обстановке героя, социально-психологической его сущности.

Автор романа дважды в особых отступлениях дает свое разъяснение головлевского типа (см. «Семейные итоги», «Расчет»). И делается это не потому, что объективное художественное изображение Иудушки само по себе недостаточно, а, по-видимому, потому, что в статьях и первых критических откликах на публиковавшиеся по частям главы Порфирий Головлев упорно именовался русским Тартюфом: «Иудушку — русского Тартюфа — автор обрисовал очень тщательно...»[1] Или: «Щедрин посвящает последнюю главу своего рассказа «Иудушке-кровопивцу» — этому русскому Тартюфу...»[2] и т. п. Возможно, эти печатные выступления были отголоском мнений, складывавшихся в широких кругах читателей, между тем как образ Иудушки ни по замыслу, ни по исполнению не давал материала для

[1] Вс. С — в <Вс. Соловьев>, Совр. литература.— «Русск. мир», 1876, № 147, 30 мая.

[2] Журнальные очерки.— «Одесск. вестник», 1876, № 127, 11 июня.

определения его формулой «русский Тартюф». Сходные психологические черты в образах Иудушки и Тартюфа не отрицал и сам писатель, усматривая их прежде всего в лицемерии. Но специфика художественного воплощения этого явления в каждом из них была своя и определялась различными общественными формами, порождением которых были русский и французский лицемеры. Салтыков и начинает свои разъяснения с этого главного пункта.

В его трактовке Тартюф (как и любой современный французский буржуа, добавлял сатирик) — лицемер сознательный. Лицемерие — знамя, вокруг которого собираются люди «дирижирующих классов». Они заботятся о «декоруме», о «красивой внешней обстановке», для того чтобы выгодные им институты религии, собственности, государственного порядка выглядели «приличными» и признавались бы за таковые народом. Лицемерие — это узда для массы людей, которые «нелицемерно кишат на дне общественного котла». Лицемерие не простая черта нравов, но сознательно утверждающееся начало официальной господствующей идеологии. «Иудушка не столько лицемер, сколько пакостник, лгун и пустослов». И Салтыков показывает своего героя именно в этом его качестве.

Сознательное лицемерие, с помощью которого «верхи» управляют, вызывает, как заметил писатель, «негодование и страх», а бессознательное лицемерие, лганье и пустословие, которые охватывают людей тех же паразитических классов,— скуку и омерзение.

В пустословии, в лицемерии Салтыков видит особую форму социального и духовного разложения класса, исторически себя изжившего и отравляющего атмосферу миазмами гниения. Автокомментарии писателя, как и вся художественная история семьи Головлевых, дают основание утверждать, что так расширительно понимал тип Иудушки сам Салтыков, посчитавший необходимым сопоставить своего Порфирия Головлева с Тартюфом.

Оригинальность созданного писателем типа выявляется и «нетартюфским» финалом Иудушки. Салтыков убедительно раскрыл тончайший психологический процесс, когда пустословие своей разъедающей, как ржавчина, сущностью разрушило личность героя.

Однако Салтыков отнюдь не склонен трактовать «запой праздномыслия» Иудушки как только нечто патологическое, как особую форму безумия. Писатель предлагает сложную социально-психологическую мотивировку. Наедине с самим собой, в призрачном, фантастическом мире Иудушка играет все ту же роль, что и прежде в действительной жизни, роль помещика-стяжателя. Он и здесь опутывает все и вся сетью кляуз, притеснений и обид, разоряет, обездоливает, мучает людей, мстит родным, штрафует мужика, сопровождая все эти воображаемые сценки оргией поучений и нудного морализирования.

Пустословие предстает здесь в его крайнем выражении. Все «готовности», заложенные в этой страсти, раскрыты автором до логически возможного конца. Средство постепенно превращается у Иудушки в цель. Он

довольствуется одним процессом праздномыслия, не отягощенным практическими действиями и соображениями. Это, так сказать, чистое праздномыслие, чистое пустословие. Такое крайнее развитие порочной страсти приводит к разрушению личности, к обессмысливанию ее существования.

Писатель трактует этот процесс в широком историко-философском плане: Иудушка персонифицирует как бы общую черту жизни собственников, эксплуататоров, которых весь ход исторического развития выталкивает из колеи здоровой, разумной, полезно-производительной деятельности.

Однако в заключительных эпизодах романа Салтыков обнаруживает в Порфирии Головлеве способность к таким поступкам, от которых резко очерченный тип помещика-стяжателя и пустослова становится по-настоящему трагическим. И такой поворот в трактовке образа Иудушки не снижает, а, наоборот, повышает содержательность, жизненно-историческую убедительность созданного Салтыковым типа.

В сознании иных из читателей образ Иудушки не трагичен, и в этом отношении разделяет судьбу многих мировых художественных типов. Однако в круг научного исследования входят не только те черты типа, которые определили его массовое восприятие, но и другие его качества. Трагические элементы в образе Иудушки имеют существенное значение для понимания сознательных намерений автора в конструировании величайшего сатирического типа.

На последних страницах романа герой заговорил настоящим человеческим языком. Его слова исполнены боли и горечи, неподдельного волнения. Исчезло пустословие, с его блудливой уклончивостью и фамильярностью, с его сюсюкающей елейностью.

И авторская речь утратила иронические интонации, не слышны в ней больше насмешка, издевка, вообще смех, пусть даже горький.

Жизненно достоверно объясняется и непосредственная причина, побудившая Иудушку так действовать, чтобы «самому создать развязку». Это была прослушанная Порфирием всенощная на страстной неделе, с чтением двенадцати евангелий. Иудушку и раньше занимала обрядовая сторона «святых дней», теперь же он, охваченный нравственной смутой, проникся чувством своей виновности, а евангельская притча об искуплении вины страданием так прямо соотносилась с тем, что он в данный момент переживал, что его «решение» о «расчете» с жизнью явилось само собой.

Последнее, что произносит герой романа-хроники, обращаясь к Анниньке, воспринимается как прощание с жизнью.

«Надо меня простить! — продолжал он,— за всех... И за себя... и за тех, которых уже нет... Что такое! что такое сделалось?! — почти растерянно восклицал он, озираясь кругом,— где... *все?..»*

С гениальной художественной чуткостью Салтыков намеренно не показал самого акта гибели. Читателю и без того была ясна трагичность конца Порфирия Головлева.

Салтыков отнюдь не впадает в сентиментально-христианское человеколюбие, завершая роман таким драматическим эпилогом. Он всюду подчеркивает, что проснувшаяся совесть не успокоила героя, никак не утешила и не открыла ни малейшей надежды на будущее возрождение, исцеление. Пробудившееся на минуту сознание заставило Иудушку вновь почувствовать себя человеком, оглянуться, увидеть предельную мерзость всего им содеянного и понять, что никаких ресурсов для «воскресения» у него нет.

Подобно всем русским демократам 60-х годов, Салтыков подчеркивал решающую роль социальной среды, исторически сложившихся общественных отношений, под властным и всесторонним воздействием которых формируется человеческая личность, определяются ее понятия, мораль, весь образ жизни и поведения. Источник зла не в дурной природе человека, а в социальных условиях его жизни. Самый закоснелый злодей,— разъяснял еще Чернышевский в статье о «Губернских очерках»,— все-таки человек [1]. Сам писатель в «Круглом годе» заявлял: «Болото родит чертей, а не черти созидают болото». Сосредоточенный сатирический огонь своего творчества он направлял на «болото», на изживший себя мир дворянско-буржуазных порядков старой России.

Салтыков даже в Иудушке, говоря словами Добролюбова, сказанными по другому поводу, заставляет «проглядывать его человеческую природу сквозь все наплывные мерзости» [2].

Такая гуманистическая установка не приводила и не могла привести писателя к точке зрения всепрощающего моралиста. Он никогда не разделял упрощенные, вульгарные представления о социальной среде, о фатальном влиянии ее на человеческую личность.

В просветительских концепциях Салтыкова подчеркивалась активная роль человеческого сознания, нравственного суда, «совести», «стыда». Проблема пробуждения стыда не была для него только моральной проблемой. Речь шла прежде всего о пробуждении общественного сознания, революционной сознательности народа в широком смысле слова. Как справедливо заметил Д. Заславский, салтыковская трактовка проблемы стыда заключала в себе в какой-то мере и тот аспект, который открывается в знаменитых словах Маркса: «Стыд — это своего рода гнев, только обращенный вовнутрь. И если бы целая нация действительно испытала чувство стыда, она была бы подобна льву, который весь сжимается, готовясь к прыжку» [3]. Вольных и невольных проводников «бесстыжества» сатирик карал горьким, злым и колючим смехом. Он хорошо понимал, что сатирическое творчество лишается одного из важных побудительных источников, если

---

[1] См. Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. IV, Гослитиздат, М. 1948, стр. 288.

[2] Н. А. Добролюбов, Собр. соч. в 9-ти томах, т. 7, Гослитиздат, М. 1963, стр. 235.

[3] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 1, М. 1955, стр. 371.

исключить понятие нравственной ответственности людей за свои действия, за свою жизнь. Салтыков писал П. В. Анненкову 25 ноября 1876 года: «Тяжело жить современному русскому человеку и даже несколько стыдно. Впрочем, стыдно еще не многим, а большинство даже людей так называемой культуры просто без стыда живет. Пробуждение стыда есть самая в настоящее время благодарная тема для литературной разработки, и я стараюсь, по возможности, трогать ее».

Роман Салтыкова по мере появления отдельных глав встречал почти единодушные признания критики, за которыми, однако, угадывалась разность идейно-эстетических, общественно-литературных позиций.

В печатных отзывах отмечалось, что «сатирическая преднамеренность», свойственная огромному большинству произведений Салтыкова, уступает в романе место «художественной объективности»: «Уже самый выбор сюжетов показывал, что автор, действительно, хочет быть художником более, чем сатириком. Он выбирает мир разрушающегося деревенского барства...» [1]

При всей неточности противопоставления сатирического и собственно художественного начал, читатели и критики подметили главное: в «Господах Головлевых» Салтыков обнаруживает новую грань своего дарования [2]. «Правда, рассказы носят на себе по временам сатирический оттенок,— писал Вс. Соловьев,— но чисто художественно-повествовательная форма и все приемы сильно его затушевывают» [3].

Появляется первое отдельное издание «Господ Головлевых», и рецензенты сразу же ставят новый роман в связь с классической русской и зарубежной традицией, отмечают бесспорный его успех: «...Вся читающая Россия с глубоким интересом прочла это выходящее из ряду вон по своим достоинствам сочинение Щедрина...» [4] Предсказывается скорое превращение Порфирия Головлева в нарицательный образ, в тип: «В нашей литературе, в среде вполне русских культурных типов, каковы Чичиков, Ноздрев, Собакевич, Коробочка, Простакова, Плюшкин и пр., недоставало только этого самого Иудушки, и г. Щедрин вполне удачно восполнил этот важный пробел» [5]. О том же пишут и другие критики: «Арина Петровна и

---

[1] Литература и журнализм. «Благонамеренные речи», XVIII; «Семейные итоги» Н. Щедрина.— «Молва», 1876, № 14, 4 апреля, стр. 271—273.

[2] М. В. <В. В. Марков>, Лит. летопись... «Выморочные» Н. Щедрина.— *«СПб. вед.»,* 1876, № 265, 25 сентября, стр. 1—3.

[3] Вс. С—в <Вс. Соловьев>, Совр. литература.— «Русск. мир», 1876, № 147, 30 мая, стр. 1—2.

[4] Г. А..., Драм. театр. «Иудушка».— «Южный край», 1880, № 18, 18 декабря.

[5] Новые книги.— «Русск. богатство», 1880, № 6, стр. 24.

Иудушка останутся в нашей литературе замечательными типами, художественно обработанными автором до малейших деталей» [1].

Вслед за первыми, суммарными оценками салтыковского романа появляются аналитические разборы, в которых все чаще звучит мысль о психологической достоверности авторского рисунка в «Господах Головлевых» и делаются попытки разгадать тайну финала Иудушки.

«Автор с большой художественной проницательностью намечает главнейшие моменты психической жизни героев, постепенные переходы их к сознанию губительности их жизни... Иудушка вышел в жизнь именно с таким запасом практических сентенций, которые и сложились в нем в то, что автор называет пустословием и пустомыслием. Судьба Иудушки должна была, очевидно, сложиться именно так, как показывает нам автор. Оставшись одиноким и видя кругом себя только ненависть, он должен был, в конце концов, прийти к тяжелому сознанию, покаравшему его...» [2] — пишет Ар. Введенский.

К. Арсеньев обращает внимание на то, что в «Иудушке и в Арине Петровне, как и в Разумове («Больное место»), г. Салтыков сумел отыскать человеческую черту — и это совершенно согласно с истиной; такая черта хранится во всякой душе — не всякий только способен разглядеть ее сквозь наносный слой, придавивший ее своею тяжестью». «Немного найдется страниц более мрачных, чем конец головлевской эпопеи» [3],— замечает критик.

Евг. Утин в статье о «Круглом годе» подчеркивал умение «нашего сатирика» создавать не только произведения, «чуткие ко всякой злобе дня», но и «мастерские художественные образы», «точно из бронзы отлитые фигуры» Иудушки и Арины Петровны [4].

Позднее предпринимались попытки освободить образ Порфирия Головлева от конкретно-исторических, социально-классовых приурочиваний и перенести трагедию «выморочной» семьи на почву «исключительно нравственную». «Щедрин,— писал, например, Евг. Соловьев,— был моралистом. Этические идеалы стояли у него на первом месте», «жалкими и возбуждающими сострадание, прямо жертвами, оказываются в конце концов все его герои: и мерзавец Иудушка, и сатана Разумов, и Молчалин с окровавленными руками. Щедрин, пожалуй, слишком верил в человека и в невозможность истребить в нем образ и подобие, чтобы безусловно казнить...» [5]

Высоко оценили роман Салтыкова критики-марксисты. Не упуская из виду конкретно-политический, социально-классовый аспект, они вместе с тем призывали помнить об общечеловеческом звучании «Господ Головлевых», об Иудушке Головлеве, взращенном на российской почве, в лоне

---

[1] Новые книги.— «Совр. известия», 1881, № 13, 14 января, стр. 2.

[2] Ар. Введенский, «Господа Головлевы».— «Страна», 1880, № 65, 21 августа, стр. 7.

[3] *ВЕ*, 1883, № 5, стр. 189, 187.

[4] Евг. Утин, Сатира Щедрина.— *ВЕ*, 1881, № 1, стр. 308, 307.

[5] Евг. Соловьев, Семидесятые годы. Статья третья. М. Е. Салтыков.— «Жизнь», 1899, т. III, стр. 288, 287.

крепостного права, но ставшем художественно-литературным образом мирового значения. М. Ольминский выражал недоумение по поводу заявлений современных Салтыкову критиков о том, что в головлевской хронике можно найти исключительно «изображение старинной, дореформенной помещичьей семьи» и что Салтыков будто бы сказал «этим своим лучшим сочинением»: «Вот такую культуру вас призывают охранять и насаждать»[1]. «Неужели не сказал ничего больше? — приходится спросить нашего поклонника и ценителя <Скабичевского>,— продолжает Ольминский.— Какой же интерес может представлять это сочинение теперь, когда никто никого не зовет охранять и насаждать головлевскую культуру?»[2]

В опубликованной впервые в «Правде» в 1926 году лекции о Салтыкове Луначарский писал: «...В типах Иудушки Головлева и Глумова Щедрин поднимается до обобщающих типов, пожалуй, даже более содержательных, чем знаменитые типы Тургенева. Иудушка и Глумов могут встречаться в разные эпохи у разных народов. И заслуживают глубокого изучения те их основные черты, которые связаны со всем классовым общественным укладом вещей и только варьируются в зависимости от вариантов этих укладов»[3].

Лучшее же подтверждение мысли об Иудушке Головлеве как о мировом типе лицемера, кляузника и пустослова публицисты-марксисты, а вслед за ними и все советское щедриноведение находили у В. И. Ленина, неоднократно использовавшего салтыковский тип в целях политической, классовой борьбы. Ленин возводил позднейших буржуазных и дворянских лицемеров к бессмертному Иудушке Головлеву, расширяя тем самым социально-политические масштабы салтыковского обобщения[4].

Один из наиболее ярких случаев ленинской интерпретации этого образа содержится в статье «Торжествующая пошлость или кадетствующие эсеры» (1907), где Ленин не только «к случаю» вспоминает Иудушку, но в щедринском стилевом ключе воспроизводит его новейшие речи, с их сладостно-елейной, деланно-недоумевающей интонацией, с их отупляющим, ханже-

---

[1] Ольминский откликался на оценки салтыковского романа, содержавшиеся, в частности, в «Истории новейшей русской литературы» А. М. Скабичевского (СПб. 1891, стр. 308—309). Отмечая, что «тип Иудушки можно поставить рядом с лучшими типами европейских литератур, каковы Тартюф, Дон-Кихот, Гамлет, Лир и т. п.», Скабичевский одновременно писал: «Господа Головлевы» — «произведение, в котором вы находите изображение старинной, дореформенной помещичьей семьи во всем ужасающем безобразии нравственной распущенности, отсутствия всяких духовных интересов и полного разложения под личиною цинически-наглого лицемерия. Вот какую культуру вас призывают охранять и насаждать, сказал Салтыков этим своим лучшим бессмертным сочинением».

[2] М. Ольминский, Статьи о Салтыкове-Щедрине, Гослитиздат, М. 1959, стр. 23.

[3] А. В. Луначарский, Собр. соч., т. 1, «Художественная литература», М. 1963, стр. 284.

[4] См.: М. М. Эссен, Мировой тип предателя и лицемера.— *Изд. 1933—1941,* т. XII, стр. 19—25; А. С. Бушмин, Сатира Салтыкова-Щедрина, стр. 189—194.

ским празднословием: «...Жаль, что не дожил Щедрин до «великой» российской революции. Он прибавил бы, вероятно, новую главу к «Господам Головлевым», он изобразил бы Иудушку, который успокаивает высеченного, избитого, голодного, закабаленного мужика: ты ждешь улучшения? Ты разочарован отсутствием перемены в порядках, основанных на голоде, на расстреливании народа, на розге и нагайке? Ты жалуешься на «отсутствие фактов»? Неблагодарный! Но ведь это отсутствие фактов и есть факт величайшей важности! <...> кадетский Иудушка Головлев способен внушить самое жгучее чувство ненависти и презрения. <...> Ведь он действительно засоряет глаза народу, действительно отупляет умы!..» [1]

«Господа Головлевы» давно уже прочно вошли в неписаный, но непременный читательский минимум наших современников. «Разве можно не дать ничего из «Господ ташкентцев», из «Господ Головлевых»?» — спрашивала Н. К. Крупская, размышляя еще в 1926 году о новой программе по школьному курсу истории литературы [2]. Роман Салтыкова продолжает жить не только в сознании новых поколений читателей, но и в публицистике, в изобразительном искусстве, на театральной сцене и в кино [3]. Слава создателя головлевской хроники перешагнула границы России. «Господа Головлевы» переведены и продолжают переводиться на все главные языки мира. Теодор Драйзер так вспоминал в 1939 году о первом своем чтении «основного труда» Салтыкова — «Господ Головлевых»: «Книга настолько по-особому, так живо и действенно изображала русскую семью и все ее окружение, что это заставило меня увидеть в авторе не только выдающегося писателя своего народа, но фигуру мирового значения. Это мое мнение осталось до сих пор неизменным <...> Для меня совершенно ясно, почему марксисты и все сторонники социального равенства, борющиеся с классовым угнетением, видят в нем своего единомышленника, на которого они опираются и у которого черпают примеры, укрепляющие их веру и закаляющие ненависть к еще более грубым формам унижения человека и к социальной несправедливости — где бы они ни проявлялись» [4].

Замысел «Господ Головлевых» сложился не сразу. Первый рассказ о Головлевых — «Семейный суд» — возник в рамках цикла «Благонамеренные речи». Судя по письму к Некрасову от 8 октября (27 сентября) 1875 года,

---

[1] В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 15, стр. 213.

[2] Н. К. Крупская, Педагогические сочинения, Изд-во Ак. пед. наук, М. 1959, т. 3, стр. 253.

[3] О сценической истории романа и о попытках его экранизации см. публикации, указанные в разделе «Салтыков-Щедрин в искусстве» «Библиографии литературы о М. Е. Салтыкове-Щедрине (1918—1965)». Составил В. Н. Баскаков, «Наука», М.— Л. 1966, № 2142—2144, 2190—2199, 2236—2255 и др. См. также У. А. Гуральник, Русская литература и советское кино, «Наука», М. 1968, стр. 177—208.

[4] Теодор Драйзер, «...Изображать характер и дух действительности...» (Из переписки).— «Вопросы литературы», 1963, № 5, стр. 197.

Салтыков считал, что для завершения «Благонамеренных речей» ему остается, помимо печатавшегося «Семейного суда», написать «еще один рассказ» (он имел в виду очерк «Непочтительный Коронат», над которым в это время работал). Таким образом, в октябре 1875 года замысла головлевской хроники еще не существовало. Однако поощренный восторженными отзывами Некрасова и Тургенева (см. стр. 676), писатель в октябре — ноябре обратился к продолжению головлевской темы и написал второй рассказ — «По-родственному». Этот рассказ, вместе с «Непочтительным Коронатом», должен был заключать «Благонамеренные речи», а следовательно, и историю головлевского семейства, разрабатывавшуюся в составе этого цикла. «На днях два рассказа в Питер послал; кто что, а я все стараюсь. Пишу да пописываю — благо, другого и делать нечего. С «Благонамеренными речами» покончил. Знаю, что много бы нужно еще сказать, да ведь и кончить когда-нибудь надо»,— сообщал Салтыков 2 декабря (20 ноября) 1875 года Анненкову.

В январе 1876 года в Ницце Салтыков стал получать отзывы о рассказе «По-родственному». «Мне здесь показывали письма из Питера, в которых велят узнать, не будет ли продолжения. Хотя вопрос этот глупый, но он дал мне мысль написать еще рассказ»,— писал Салтыков Некрасову 19 января 1876 года. В этом же письме содержится и его заявление о плане завершения головлевской темы: «К марту я постараюсь прислать Вам особый рассказ, в котором изображу конец головлевского семейства». И письмо Салтыкова, и заглавие рассказа дают основание полагать, что писатель намеревался рассказом «Семейные итоги» завершить головлевскую тему и возвращаться к ней не собирался. Однако в действительности получилось по-иному.

В апреле 1876 года Салтыков решил написать «конец Иудушки», то есть главу «Перед выморочностью». В процессе работы над нею у Салтыкова оформился замысел всего цикла. «Во время писания,— признавался он в письме к Некрасову 15 мая 1876 года,— получилось некоторое развитие подробностей, которое помешало *кончить* совсем эту материю. Так что будет еще новый рассказ в августе, окончательный». Именно тогда, когда художественные интересы Салтыкова сосредоточились на образе Иудушки, когда семейная тема стала приобретать больший масштаб и глубину, у Салтыкова появилось сожаление, что головлевские очерки были введены им в «Благонамеренные речи»: «Жаль, что я эти рассказы в «Благонамеренные речи» вклеил: нужно было бы печатать их под особой рубрикой: «Эпизоды из истории одного семейства».

Рассказ «Перед выморочностью» («Племяннушка») был последним произведением на головлевскую тему, появившимся в печати с обозначением принадлежности его к «Благонамеренным речам».

Последовавший за ним в 1876 году рассказ «Выморочный» был написан как самостоятельное произведение уже после окончания работы по подготовке отдельного издания «Благонамеренных речей», а «Семейные радости» («Недозволенные семейные радости») — даже после его выхода

в свет. Таким образом, решение о превращении головлевских глав в независимый от «Благонамеренных речей» цикл было принято Салтыковым летом 1876 года.

Работа над романом, особенно над образом Порфирия Головлева, сопровождалась напряженными творческими исканиями. «Боюсь одного,— высказывал Салтыков свои опасения Некрасову 9 июля 1876 года,— как бы не скомкать Иудушку. Половину я уже изобразил, но в сбитом виде, надо переформировать и переписать. Эта половина трудная, ибо содержание ее почти все психологическое».

После публикации в декабре 1876 года главы «Семейные радости» в печатании «Господ Головлевых» наступает почти четырехлетний перерыв. Заключительная глава хроники появилась лишь в 1880 году. Однако в течение всего этого времени мысль писателя продолжала работать, отыскивая возможные варианты Иудушкина конца. Еще в 1876 году Салтыков получил отзывы А. М. Жемчужникова и Гончарова, заставившие его задуматься над исходом головлевской трагедии. 28 сентября 1876 года Жемчужников писал ему: «Очень я доволен Вашим «Выморочным» <...> я в восторге от Вашего Иудушки. Он, по моему мнению, одно из самых лучших Ваших созданий. Это лицо — совершенно живое. Оно задумано очень тонко, а выражено крупно и рельефно. Вышла личность необыкновенно типичная <...> В ней есть замечательно художественное соединение почти смехотворного комизма с глубоким трагизмом. И эти два, по-видимому, противоположные, элемента в нем нераздельны. Хотелось бы продолжать смеяться, да нет, нельзя; даже сделается жутко: он — страшен. Относиться к нему с постоянным негодованием и злобою также нельзя, потому что он бесспорно комичен, особливо когда творит самое, по его мнению, важное в нравственном отношении дело: когда рассуждает о боге или молится ему с воздеванием рук» [1]. В отзыве же Гончарова, в письме от 30 декабря 1876 года, сообщалось, что последний из Головлевых может «делаться все хуже и хуже: потерять все нажитое, перейти в курную избу, перенести все унижения и умереть на навозной куче, как выброшенная старая калоша, но внутренне восстать — нет, нет и нет! Катастрофа может его кончить, но сам он на себя руки не поднимет! Разве сопьется — это еще один возможный, чисто русский выход из петли» [2]. К концу 1876 или началу 1877 года, то есть ко времени переписки с Гончаровым и Жемчужниковым по поводу Иудушки, относится незавершенный очерк «У пристани», развивавший тему Иудушки. Его содержание и заголовок дают представление о намечавшемся «варианте» окрашенного в уничижительно-комические, юмористические тона исхода Иудушки. От подобного окончания Салтыков отказывается.

Не без внутренней полемики с Гончаровым сатирик избирает иной путь.

---

[1] *Изд. 1933—1941,* т. XIX, стр. 415—416.

[2] И. А. Гончаров, Собр. соч., т. 8, Гослитиздат, М. 1955, стр. 490.

В мае 1880 года в «Отеч. записках» появляется «Последний эпизод из головлевской хроники» — глава «Решение», а в июле осуществляется первое отдельное издание романа, получившего название «Господа Головлевы». При подготовке первого отдельного издания Салтыков провел большую работу по редактированию рассказов, написанных в 1875—1876 годах: изменил заглавия некоторых из них, провел стилистическую правку текста (кроме текста последней главы), сделал ряд вставок в рассказах «Семейный суд», «Семейные итоги», «Недозволенные семейные радости», произвел значительные сокращения в главах «Семейный суд», «Племяннушка», «Недозволенные семейные радости», сократил и переработал рассказ «Выморочный» (см. поглавные текстолог. прим.).

В помещаемой ниже таблице отражены изменения, произведенные Салтыковым в первоначальной (журнальной) последовательности глав головлевской хроники и в заглавиях их при подготовке *Изд. 1880* (цифры в скобках, предшествующие названию глав, обозначают последовательность, в какой они появлялись в «Отеч. записках» и в какой были напечатаны в отдельных изданиях).

Название очерков в журнальной публикации	*Изд. 1880, 1883*
(1) Благонамеренные речи. XIII. Семейный суд.— *ОЗ,* 1875, № 10	(1) Семейный суд
(2) Благонамеренные речи. XVII. По-родственному.— *ОЗ,* 1875, № 12	(2) По-родственному
(3) Благонамеренные речи. XVIII. Семейные итоги.— *ОЗ,* 1876, № 3	(3) Семейные итоги
(4) Благонамеренные речи. Перед выморочностью.— *ОЗ,* 1876, № 5	(4) Племяннушка
(5) Выморочный.— *ОЗ,* 1876, № 8	(6) Выморочный
(6) Семейные радости.— *ОЗ,* 1876, № 12	(5) Недозволенные семейные радости
(7) Решение (Последний эпизод из головлевской хроники).— *ОЗ,* 1880, № 5	(7) Расчет

Подготавливая второе отдельное издание (1883), Салтыков продолжил стилистическую правку глав и внес несколько мелких изменений в рассказ «По-родственному».

В настоящем издании «Господа Головлевы» печатаются по тексту второго отдельного издания с исправлением ошибок и опечаток по всем предшествующим изданиям и рукописям. Рукописный материал, относящийся к «Господам Головлевым», сосредоточен в Отделе рукописей *ИРЛИ*.

СЕМЕЙНЫЙ СУД

(Стр. 7)

Впервые — *ОЗ,* 1875, № 10 (вып. в свет 18 окт.), стр. 565—614, под заглавием «Благонамеренные речи. XIII. Семейный суд».

Сохранилась наборная рукопись под заглавием «Благонамеренные речи. XIII. Семейный суд». Очерк опубликован под ошибочно поставленным в рукописи номером XIII. На самом деле «Семейный суд» был XVI главой «Благонамеренных речей».

Работу над очерком Салтыков начал в июле 1875 года в Баден-Бадене. «К сентябрьской книжке, не позже 1-го числа, пришлю еще рассказец «Благонамеренных речей». Почти уже готов»,— сообщал он Некрасову 6 августа (25 июля). Однако «Семейный суд» был закончен позднее намеченного писателем срока. Ему помешали, по-видимому, и срочные работы по завершению начатых произведений из других циклов («Экскурсии в область умеренности и аккуратности», «Между делом»), и заботы, связанные с переездом из Баден-Бадена в Париж, и мало способствовавший литературному труду образ жизни писателя во французской столице («...целый день почти вне дома и ничего буквально не работаю» — письмо Анненкову, от 24 (12) сентября 1875). Уже в письме к Некрасову от 22 (10) августа Салтыков сообщает о возможной задержке очерка: «Я обещал еще фельетон для сентябрьской книжки; он у меня почти готов, но все-таки не могу еще сказать наверное, вышлю ли. До 1-го сентября подождите, а затем уж пусть остается до октября». Опасения оправдались: к сентябрьскому номеру «Отеч. записок» Салтыков действительно не успел закончить «Семейный суд», а поэтому в письмах к Некрасову от 29 (17) августа и 9 сентября (28 августа) уже намечен новый срок его окончания: 1 октября. Очерк выслан из Парижа в редакцию журнала 7 октября (26 сентября): «Вчера послал я <...> рассказ «Семейный суд» в редакцию. Поместите его, когда найдете удобным. Мне несколько прискучили «Благонамеренные речи», но в этом году я непременно их кончу. Останется еще один рассказ и больше не будет».

Очерк «Семейный суд» написан как очередная глава «Благонамеренных речей»; основное внимание в нем уделено проблеме разложения семьи, образ же Иудушки, будущего главного героя «Господ Головлевых», являясь еще эпизодическим, очерчен весьма бегло.

В первоначальной редакции очерка детские годы и служебная деятельность Порфирия Головлева освещались более подробно, но при подготовке рукописи к публикации фрагменты эти были вычеркнуты или заменены.

Стр. 15, строка 17. Вместо: «Порфирий был женат, Павел — холостой» — в рукописи было:

Порфирия Арина Петровна боялась и потому наружно оказывала ему большее доверие, хотя внутренно ненавидела. К Павлу она была равнодушна, и только потому не помещала его в разряд «постылых», что в та-

ком случае все имение ее должно было перейти в руки мерзавца — Порфишки.

Стр. 15, строка 24. После слов: «...а иногда и слегка понаушничать» — было:

Послушлив он был необыкновенно, и притом послушлив не только за страх, но и за совесть.

Стр. 16, строка 14. После слов: «...глаза его подергивались слезою» — было:

— Ты бы, душенька, с братцем поиграл,— говорила ему Арина Петровна.

— Я, маменька, лучше на вас посмотрю!

— Что на меня смотреть! не бог знает какие узоры на мне нарисованы! Ступай, душенька, поиграй!

Но Порфиша медлил уходить и обдумывал, что бы ему такое сказать, что могло бы понравиться маменьке.

— Степка опять из кухни пирог утащил! — наконец доносил он, потупляя глаза и умалчивая о том, что он сам третью часть этого пирога съел.

При этом извещении Арина Петровна вскакивала с места, как ужаленная, и немедленно приступала к расправе с «балбесом». Но по окончании расправы глаза ее снова встречали неподвижный взор Порфиши, и снова шевелилось в ней предчувствие чего-то загадочного, недоброго.

Стр. 16, строка 28. После слов: «...смутную тревогу чего-то загадочного, недоброго» — было:

но ежели кроток и послушлив был Порфиша при обыкновенной домашней обстановке, то еще более кротким и послушливым являлся он — при «гостях». Он инстинктивно догадывался, что мнение «гостей» представляет для него такое убежище, в котором сама Арина Петровна не властна настигнуть его. И действительно, весь околодок был от него в восхищении, все соседки-помещицы не могли нарадоваться на его кротость и почтительность к матери, так что когда Арина Петровна, все еще преследуемая идеей, что Порфиша со временем будет ей злодеем, пробовала инсинуировать, что «нет ли, мол, в нем хитрецы», то «гости» в один голос восклицали: «Помилуйте! это такой ребенок! такой ребенок! Да посмотрите ему в глаза! Ну, могут ли эти глаза лгать! И т. д.».

Те же привычки покорливости и сердечной ясности детства перенес Порфиша и в дальнейшую жизнь. В школе начальники называли его «откровенным молодым человеком», на службе — «благородным юношей». Тут уже не было прозорливца вроде Степана-балбеса. Даже в товарищах он старался заискивать, ибо очень скоро постиг, что в том загадочном мире случайностей, который носит официальное название «прохождения государственной службы», сверстники играют, по крайней мере, такую же роль, как и начальники. «Я, маменька, писал он к Арине Петровне, так рассуждаю: будущее зависит от бога, а не от нас, и потому даже с подчиненными стараюсь быть ласковым, ибо кто же может заранее предвидеть, что мой сегодняшний подчиненный не будет завтра моим начальником?» И практика вполне оправдала этот образ действия, ибо ежели Порфирий Владимирыч и не занимал еще важного государственного поста (припомним, что дело было в начале пятидесятых годов, когда молодые люди не так-то быстро двигались по лестнице почестей, как теперь), то мог смело дерзать в будущем, потому что был на отличном счету и у начальства и у товарищей. А главное — он вполне заручился против угрожающих сомне-

ний матери. Заручился и в мнении соседей, и в мнении начальников, так что Арина Петровна сама отлично сознавала, что Порфишка-кровопивец, словно вьюн, выскользнул из ее рук и что никакая каверза, вроде «выбрасывания куска», уже не может настигнуть его.

Приведенные фрагменты, зачеркнутые в наборной рукописи главы, впервые опубликованы Н. В. Яковлевым [1], в 1927 году перепечатаны в комментариях к роману [2], а в 1956 году воспроизведены в статье А. С. Саранцева «Из творческой истории романа Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы» [3]. По-видимому, на первоначальной стадии работы над очерками, впоследствии составившими хронику головлевского семейства, Порфирий Головлев рассматривался писателем как второстепенный персонаж, не требующий специально углубленной характеристики [4].

К первому очерку будущего головлевского цикла Салтыков относился сдержанно и даже высказывал сомнение в его художественных достоинствах. «Вероятно, Вам не понравилась,— писал он Некрасову 14 (2) октября 1875 года,— статья моя «Семейный суд». Я и сам вижу, что выходит и кропотливо и разорванно, да что же делать? — вообще мне за границей не пишется или пишется туго». Более четко эта мысль высказана в письме к Некрасову от 4 ноября (23 октября) 1875 года: «Кажется мне, многоуважаемый Николай Алексеевич, что чересчур уж Вы хвалите мой последний рассказ. Мне лично он не нравится. Кажется, что неуклюж и кропотливо сделан. Свободного, легкого творчества нет, а я всегда недоволен тем, что туго пишется».

В *Изд. 1880* (вып. между 1 и 16 июля) внесены следующие изменения.

Стр. 24, строка 3. После слов: «...Наша матушка-Русь православная!» — дополнено: «Откупщики, подрядчики, приемщики — как только бог спас!»

Стр. 48, строка 18. После слов: «...что ему нечего ни ограждать, ни ухичивать» — сокращено:

Праздность одна была его уделом, и она до такой степени охватила его всего, что даже парализировала то бесконечное празднословие, которое так глубоко лежало в его природе. Он сделался молчалив или говорил отрывисто, односложными словами.

Последняя фраза была вычеркнута Салтыковым в связи с тем, что празднословие, здесь свойственное Степану Головлеву, стало в дальнейших главах основной характеристикой личности его брата Порфирия Головлева.

---

[1] «Жизнь и искусство», 1924, № 1, стр. 12—13.

[2] М. Е. Салтыков (Щедрин), Сочинения, т. V, М.—Л. 1927, стр. 462—463.

[3] «Уч. зап. Челябинского гос. пед. ин-та», 1956, т. II, вып. 1.

[4] По этому поводу существует и другое мнение, изложенное в статье А. С. Саранцева, который полагает, что приведенные фрагменты исключены писателем ввиду их декларативности и преждевременности. В этой же статье дан содержательный анализ правки, произведенной Салтыковым при подготовке рукописи к печати и первого отдельного издания романа.

Начальная глава наиболее насыщена автобиографическими реминисценциями[1]. Не случайно писатель взялся за первый головлевский очерк после смерти в 1874 году матери, Ольги Михайловны. За некоторыми образами и деталями «Семейного суда» угадываются подлинные имена, поступки, дела известных Салтыкову лиц.

Упоминание о «постылых детях» Арины Петровны, несомненно, связано с обычным в семье Салтыковых делением детей на «любимчиков» и «постылых». Назидательные поучения Арины Петровны Павлу («Помнишь ли, что в заповеди-то сказано: чти отца твоего и матерь твою — и благо ти будет...») живо напоминают наставления, бывшие в ходу в семействе Салтыковых. Отец писателя увещевал «непокорного» Николая Евграфовича: «Неужели тебе не известен закон божий, повелевающий чтить отца и матерь, да благо ти будет и долголетен будеши на земле, злословя же отца и матерь, смертию ты умрешь...»[2] Рассказ Арины Петровны о «первых шагах на арене благоприобретения» отражает некоторые обстоятельства покупки О. М. Салтыковой в 1829 году ярославской части вотчины с селом Заозерье Угличского уезда.

В долгой и запутанной тяжбе о наследстве (1872—1874), которая затронула и Салтыкова, самая неприглядная роль принадлежала старшему брату,— писатель называет его «злым демоном», способным «вызуживать людей». «...Злой дух, обитающий в Дмитрии Евграфовиче, неутомим и, вероятно, отравит остаток моей жизни»,— пишет он 7 апреля 1873 года матери. 22 апреля 1873 года Салтыков, отмечая, что у брата «одна система: делать мелкие пакости», довольно подробно живописует самый механизм, производящий эти пакости, набрасывает строки, в которых проглядывают контуры Иудушки: «...этот человек не может говорить резонно, а руководится только одною наклонностью к кляузам. Всякое дело, которое можно было бы в двух словах разрешить, он как бы нарочно старается расплодить до бесконечности... Не один я — все знают, что связываться с ним несносно, и все избегают его. Ужели, наконец, не противно это лицемерие, эта вечная маска, надевши которую этот человек одною рукою богу молится, а другою делает всякие кляузы?»

Последующие упоминания о Дмитрии Евграфовиче в салтыковских письмах выразительно дополняют его «Иудушкин» портрет. Так, летом 1873 года Дмитрий Евграфович сообщает свои соображения в форме письма к «милому другу маменьке», предварительно сняв с него копии для братьев. «Ну не досадно ли видеть этого празднолюбца, который свои письма (на целом листе) пишет в трех экземплярах?» — замечает Салтыков. Особым смыслом наполняется его обещание в письме к матери

---

[1] См. подробнее *Макашин,* стр. 31, 41—42, 67—68.

[2] Цитируется по кн.: *Макашин,* стр. 58. «Чти отца твоего и матерь твою» — это лейтмотив,— констатирует С. А. Макашин,— проходящий через все письма Евграфа Васильевича к сыну. При этом предметом его особой заботы является внушение чувства беспрекословной покорности и почтительности к матери, Ольге Михайловне» (т а м ж е, стр. 59).

20 ноября 1873 года: «Дмитрий Евграфович может быть уверен, что я попомню ему это». Через два года, 13 ноября 1875 года, в несохранившемся письме к Унковскому Салтыков, называя старшего брата «негодяем», заявляет: «Это я его в конце Иудушки изобразил» [1].

«Иудушкой,— вспоминала Панаева,— он звал своего родственника и через несколько лет воспроизвел его в «Головлевых» [2]. Даже «язык Иудушки является в основном пародированной речью Дмитрия Евграфовича» [3].

Образ Арины Петровны вобрал в себя впечатления писателя от яркой и властной фигуры его матери. Исследовательская традиция сближает Владимира Михайловича Головлева с отцом сатирика, но, по-видимому, в еще большей степени своей набожностью и ханжеством Иудушка напоминает Евграфа Васильевича [4].

Верные суждения об автобиографических истоках романа принадлежат близко знавшему писателя доктору Белоголовому: «Семья была дикая и нравная, отношения между членами ее отличались какой-то звериною жестокостью, чуждой всяких теплых родственных сторон; об этих отношениях можно отчасти судить по повести «Семейство Головлевых», где Салтыков воспроизвел некоторые типы своих родственников и их взаимную вражду и ссоры,— но только отчасти, потому что, по словам автора, он почерпнул из действительности только типы, в развитии же фабулы рассказа и судьбы действующих лиц допустил много вымысла» [5].

«Семейный суд» сразу же был замечен читателями и критикой.

Восторженно отозвался об этой главе Тургенев: «Я вчера получил октябрьский номер — и, разумеется, тотчас прочел «Семейный суд», которым остался чрезвычайно доволен. Фигуры все нарисованы сильно и верно: я уже не говорю о фигуре матери, которая типична — и не в первый раз появляется у Вас — она, очевидно, взята живой — из действительной жизни. Но особенно хороша фигура спившегося и потерянного «балбеса». Она так хороша, что невольно рождается мысль, отчего Салтыков вместо очерков не напишет крупного романа с группировкой характеров и событий, с руководящей мыслью и широким исполнением? Но на это можно ответить, что романы и повести до некоторой степени пишут другие — а то, что делает Салтыков, кроме его, некому. Как бы то ни было — но «Семейный суд» мне очень понравился, и я с нетерпением ожидаю продолжения —

---

[1] Неизданные и несобранные письма Салтыкова (Публикация С. А. Макашина), *ЛН*, т. 67, стр. 531. Дата сожженного письма сообщена В. П. Кранихфельдом. Конец Иудушки означает здесь главу «Выморочный».

[2] А. Я. Панаева (Головачева), Воспоминания, Гослитиздат, М. 1956, стр. 362.

[3] Е. М. Макарова, Жизненные источники образа Иудушки Головлева.— «Звезда», 1960, № 9, стр. 192.

[4] См. *Макашин*, стр. 19—28.

[5] *«Салтыков в воспоминаниях»*, стр. 608.

описания подвигов «Иудушки»[1]. Соредактор Салтыкова и Некрасова по «Отеч. запискам» Г. З. Елисеев тоже приветствовал появление первого головлевского рассказа: «Мне он тоже очень нравится, но более нравятся те статьи, которые соприкасаются с вопросами и явлениями текущего времени»[2].

Благожелательные отклики в печати не обладали, однако, той же степенью проницательности и чуткости, какую обнаружил в своем отзыве Тургенев. Но и первые газетные рецензенты заметили необычность повествовательной манеры, отсутствие «нарочито-благонамеренных речей, отличающихся мнимым патриотизмом или поддельной гуманностью». Салтыкова оставляет «игривость веселой музы», и он возвышается, считал критик, до «мрачной торжественности, идущей к строгому моралисту». Строились догадки относительно продолжения «головлевского» сюжета: «..за этим очерком, вероятно, последуют другие, потому что, по замечанию автора, нынешний рассказ посвящается преимущественно первому брату. Два остальные брата — Порфирий, прозванный за свое бесчувствие и лукавство «Иудушкою-кровопивушкою», и Павел, равнодушный флегматик».

Складывалось одностороннее представление об очерке, имеющем будто бы чисто историческое значение: «Это нечто вроде обличительной хроники из времен покойного крепостного права»[3]. «Но что же это значит,— спрашивал другой рецензент,— что наш сатирик снова обратился к своим старым темам и перенес обличение общественных недугов опять в область невозвратно прошедшего времени, давно уж им же разобранного и сведенного к итогу?»[4] «...Это бытовая повесть,— писал А. Скабичевский,— и если хотите, историческая, потому что рисует нам нравы отжившего прошлого, которое хотя бы сделалось прошлым не далее, как вчера, но все-таки успело уже вступить в пределы истории»[5]. Особой удачей Салтыкова признавался образ Арины Петровны[6].

Стр. 7. *...в Москву для сбора оброков с проживающих по паспортам крестьян...* — Крепостные, занятые «отхожими промыслами» и ремеслами, получали временные паспорта и жили в городах на оброке, размер его произвольно определялся помещиками.

Стр. 9. *Рекрутское присутствие* — учреждение, существовавшее в губерниях до 1874 года и ведавшее набором рекрутов — лиц мещанского и крестьянского сословия, предназначенных отбывать воинскую повинность.

---

[1] *Тургенев, Письма,* XI, 149.

[2] Письма Г. З. Елисеева к М. Е. Салтыкову-Щедрину, М. 1935, стр. 26.

[3] В. М. <В. В. Марков>, Лит. летопись.— *«СПб. вед.»,* 1875, № 289, 28 октября.

[4] В. С. <Вс. С. Соловьев>, Русск. журналы.— «Русск. мир», 1875, № 202, 25 октября, стр. 2.

[5] Заурядный читатель <А. М. Скабичевский>, Мысли по поводу текущей литературы.— *БВ,* 1875, № 307, 7 ноября, стр. 1—2.

[6] Русск. литература.— «Сын отечества», 1875, № 302, 31 декабря, стр. 1—2.

Помещик нередко старался сбыть в рекруты всех наиболее «строптивых» и «непослушных».

Стр. 11. *...разузнавала по секрету об отношениях их владельцев к опекунскому совету...*— В 1808 году при опекунских советах — учреждениях, призванных заботиться о сиротах и вдовах преимущественно дворянского звания,— была учреждена ссудная касса, которая, для поддержки разоряющихся дворян, выдавала ссуды под залог имения и другого имущества. Имения владельцев, не уплативших в срок полученной ссуды, продавались с аукциона.

Стр. 13. *Надворный суд* — учреждение для разбора гражданских и уголовных дел, касающихся собственности; надворные суды появились в Москве и Петербурге еще при Петре I, часто реорганизовывались, просуществовав до 1866 года.

...он прогорел окончательно и был рад-радехонек поступить, в качестве заместителя, в ополчение...— 29 января 1855 года, во время Крымской войны, Николай I обратился ко всем сословиям с манифестом, содержавшим призыв «приступить к всеобщему государственному ополчению». Не желавшим воевать дворянам дозволялось нанимать себе за плату менее состоятельных «заместителей».

Стр. 21. *Суздаль-монастырь* — Спасо-Евфимиевский мужской монастырь в городе Суздале Владимирской губернии; кроме монахов, в нем содержались административно-заключенные, сосланные за преступления против веры и церкви (см. т. 6, стр. 685—686).

Стр. 22. *Выжига* — здесь: чистое серебро, которое остается по сожжении пряденого или тканого серебра.

Стр. 23. *А мне водка даже для здоровья полезна... Мы, брат, как походом под Севастополь шли — еще до Серпухова не дошли, а уж по ведру на брата вышло!* — Столичные и провинциальные газеты пестрели такими сообщениями: «Везде, где только останавливались ратники, их встречали духовенство с святыми иконами, почтеннейшие лица из дворянства и городских и сельских обывателей, угощали по чисто русскому обычаю водкою и закускою, а всем гг. офицерам давали, где только возможно, обеденный стол» («Русск. инвалид», 1855, № 212, 30 сентября). «По совершении молитвы ратники приглашены были к трапезе. Для любознательных приписываю, в чем состоял обед: чарка водки, щи с говядиной, пироги, каша с маслом и яблоки по два на ратника...» («Сев. пчела», 1855, № 182, 22 августа).

Стр. 26. *«А завтра — где ты, человек?»* — Из оды Державина «На смерть князя Мещерского» (1779).

...говорил преосвященный Смарагд, когда мы через Обоянь проходили. Через Обоянь ли? А черт его знает, может, и через Кромы! — Преосвященный Смарагд (мирское имя Александр Крыжановский) — с 1844 по 1858 год архиепископ орловский, с 1858 г. рязанский и зарайский. Салтыков знал его по своей службе вице-губернатором в Рязани. Обоянь — городок Курской губернии, Кромы — Орловской губернии.

Стр. 32. *Земский* — старший писарь при помещичьей «вотчинной» конторе или при бурмистре.

Стр. 34. *Полоток* — половина распластанной птицы (соленой, вяленой, копченой).

Стр. 35. *Мытаря судить приехали?.. вон, фарисеи... вон!* — По евангельским притчам, фарисеи фискалят Христу на мытарей (Марк, II, 16, 18, 24), совещаются, как погубить Христа (Марк, III, 6).

Стр. 38. *Куранты* — плутни, проделки. Ср. у Даля: «Это финти-фанты, немецкие куранты, т. е. плутни» («Толковый словарь...», т. II, М. 1955, стр. 221).

Стр. 48. *Ухичивать* — укрывать, защищать от холода, мороза, уготовить к зиме.

Стр. 54. *Соборне* — служба с несколькими священниками.

Сорокоусты — молитвы об умерших; их читают в церкви в течение сорока дней после смерти.

В горних — то есть в небесах, в раю.

ПО-РОДСТВЕННОМУ
(Стр. 54)

Впервые — *ОЗ*, 1875, № 12 (вып. в свет 21 дек.), стр. 337—378 под заглавием «Благонамеренные речи. XVII. По-родственному».

Сохранилась наборная рукопись с типографской разметкой и авторской правкой под заглавием «Благонамеренные речи. XVII. По-родственному». Первоначальное заглавие (зачеркнутое) «Благонамеренные речи. XVII. Наследство». Текст рукописи совпадает с журнальной публикацией.

Рассказ написан в Ницце в октябре — ноябре 1875 года. «У меня уже около $^{1}/_{3}$ написано нового рассказа «Наследство», тоже принадлежащего к серии «Благонамеренных речей»,— я пришлю его Вам, вероятно, к 1-му декабря старого стиля»,— сообщает Салтыков Некрасову 10 ноября (29 октября), а 26 (14) ноября уточняет: «Я в понедельник (20-го) Вам вышлю новый рассказ для декабрьской книжки. Вы получите его около 23-го ноября старого стиля».

При подготовке отдельных изданий автором проводилась небольшая стилистическая правка. Лишь в 1883 году (во втором издании) Салтыков добавил несколько мелких штрихов в характеристику Иудушки, в этом рассказе заметно выдвинувшегося на первый план и, по существу, ставшего уже центральной фигурой развертывающегося повествования. Так, в конце главы (стр. 86), где говорится о «злости» как одной из характерных черт Иудушки, Салтыков в *Изд. 1883* добавляет в скобках пояснение: («даже не злость, а скорее нравственное окостенение»). В журнальной публикации Арина Петровна, подавленная празднословием Иудушки, забывшего прежние ее наставления, думает: «А может быть, и не позабыл, а нарочно

делает, мстит». В *Изд. 1883* эта мысль существенно дополнена: «А может быть, даже и не мстит сознательно, а так, нутро его, от природы ехидное, играет» (стр. 91). Эти дополнения сделаны после завершения работы над хроникой, когда тип Иудушки уяснился во всех мельчайших деталях. При подготовке *Изд. 1880* Салтыков изменил имя сына Иудушки: первоначально он назывался Мишенька.

В отличие от всех остальных глав, действие настоящего очерка происходит не в Головлеве, а в соседнем имении Дубровино, принадлежащем умирающему Павлу Владимирычу.

Рассказ о переживаниях Арины Петровны накануне крестьянской реформы, о «целой массе пустяков», которую рисовало ей воображение, перекликается с очерком «Госпожа Падейкова» («Сатиры в прозе», т. 3, стр. 295—310), героиня которого, Прасковья Павловна, известная в целом околотке «как дама, которой пальца в рот не клади» (один из первых набросков типа Арины Петровны Головлевой), страшно напугана и озлоблена вестями о предстоящих переменах, когда, может случиться, крепостная Феклуша «с барыней за одним столом будет сидеть».

Рассказ получил широкое признание в литературных кругах: «По поводу рассказа «По-родственному»,— писал Салтыков Некрасову 19 (7) января 1876 года,— я отовсюду получаю похвалы. Анненков в умилении, даже Тургенев, который вообще предпочитает умалчивать, поздравляет меня...»

Среди немногочисленных печатных откликов на главу [1] выделяются рассуждения Скабичевского: «Знаете ли вы, приходило ли вам в голову подумать, что такое г. Шедрин. Ведь это один из тех народных и вместе с тем общечеловеческих сатириков вроде Рабле, Мольера, Свифта, Грибоедова и Гоголя, смех которых раздается громовыми раскатами под сводами веков». А. М. Скабичевский утверждал далее, что «в лице г. Щедрина мы имеем сатирика, который, наверное, будет со временем беспристрастными судьями-потомками поставлен не только на одну высоту с Гоголем, но во многих отношениях выше его» [2].

Стр. 55. *«...Кувырком, кувырком, ку-выр-ком по-ле-тит!»* — Популярная строка из арии Елены (опера-буфф Оффенбаха «Прекрасная Елена»). «Работа была не совсем легкая,— пишет А. Вольф об усилиях русских переводчиков либретто,— то есть не было возможности приискать на русском языке выражений, соответствующих парижско-бульварному жаргону. На-

---

[1] См., например, положительный отклик: П. В — б — ъ <П. И. Вейнберг>, Русск. журналистика.— «Пчела», 1876, № 1, 18 января, стр. 7—10.

[2] З а у р я д н ы й ч и т а т е л ь <А. М. Скабичевский>, Мысли по поводу текущей литературы.— *БВ*, 1876, № 91, 2 апреля, стр. 1—2. Известен отрицательный отзыв Салтыкова на статью Скабичевского (см. письмо к Некрасову от 18 апреля 1876 г.).

пример, долго ломали себе голову — как перевести: «cascader ma vertu», и, наконец, подыскали совсем не подходящее выражение «кувырком» (Хроника петерб. театров, СПб. 1884, ч. III, стр. 40).

Заволока — старинный способ лечения нарывов: при помощи иглы в воспаленное место вводится тесьма (заволока), вбирающая в себя гной.

Стр. 58. *Сначала простые слухи, потом дворянские собрания с их адресами, потом губернские комитеты, потом редакционные комиссии...*— В преддверии крестьянской реформы правительство обращалось с «призывами» к дворянству проявить инициативу в деле «улучшения быта сельского сословия». В «высочайшем рескрипте» Александра II, адресованном в 1857 году виленскому генерал-губернатору Назимову и поощрявшем намерения некоторых помещиков литовских губерний постепенно улучшать участь крепостных, содержалась характерная приписка: «Вы и начальники вверенных вам губерний обязаны строго наблюдать, чтобы крестьяне, оставаясь в полном повиновении помещикам, не внимали никаким злонамеренным внушениям и лживым толкам» (*МВ*, 1857, № 152, 19 декабря). Вопреки этим оговоркам слухи об отмене крепостного права вызывали страх и панику в помещичьей среде. В течение 1858 года крестьянские комитеты были открыты во всех губерниях. Учрежденные в 1859 году редакционные комиссии, назначавшиеся правительством, призваны были подвести итоги работы губернских крестьянских комитетов, рассмотреть представленные ими проекты и материалы, подготовить новое законодательство.

Стр. 61. *...в самом кумполе свет, и голубь на него смотрит!* — По христианским представлениям, бог «троичен в лицах»: бог-отец, бог-сын и бог-дух. Бог-дух изображается в виде голубя.

Хотьков — Покровский-Хотьков девичий монастырь в Дмитровском уезде Московской губ. Там похоронена О. М. Салтыкова, мать писателя.

Стр. 65. *Узнает адвокат, что у тебя собственность есть,— и почнет кружить!* — Намек на события, обсуждавшиеся русской прессой в пору работы Салтыкова над очерком. В связи с рядом скандальных процессов адвокатская тема не сходит со страниц петербургских газет. «Закон вызвал его к жизни в 1865 году,— писал об институте адвокатов Боборыкин.— Прошло всего пять лет, и общество уже переполнено было неодобрительными толками об этом новом сорте людей... Слово «адвокат» превратилось в целый ряд насмешливых и даже просто презрительных прозвищ: аблакат, дровокат, брехунец и т. д.» (*«СПб. вед.»*, 1875, № 308, 16 ноября). Газеты сообщали, к примеру, как находившийся под следствием миллионер, мельник Овсянников, дал своему адвокату Думашевскому обязательство уплатить несколько десятков тысяч рублей за одно только умелое «составление жалоб» (*«СПб. вед.»*, 1875, № 238, 7 сентября, и № 245, 14 сентября).

Стр. 67—68. *Начнет: Помилуй мя, боже, по велицей милости твоей, и вдруг сама не знает как, съедет на от лукавого.*— Начальные строки псалма

перебиваются заключительными словами молитвы «Отче наш» («Но избави нас от лукавого»).

...блажен муж... яко кадило... научи мя...— Начальные слова псалма III.

Стр. 74. *Месячина* — содержание дворовых и крепостных, выдававшееся помесячно продуктами питания.

Стр. 75. *Не вѐсте* — не знаете *(церковнослав.).*

Стр. 80. *«Начатки».*— Имеется в виду один из распространенных первоначальных учебников по закону божию. Ср., например: Начатки. Приготовление к христианскому учению... СПб. 1873. Или: Начатки учения православной христианской веры... А. Свирелин, М. 1874.

Стр. 81. *Проскомидия* — первая часть христианской обедни (литургии).

Стр. 82. *У ближнего сучок в глазу видим, а у себя и бревна не замечаем...*— Слова из Евангелия: «Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего» (Матф., VII, 3—5).

Стр. 83. *Афон* — православный греческий мужской монастырь на Халкедонском полуострове у Эгейского моря (см. также т. 3, стр. 634; т. 5, стр. 541).

...мамзель Лотар <...> в «Прекрасной Елене» <...> она на театре Елену играет.— Опера-буфф Ж. Оффенбаха, пародирующая античный сюжет о Троянской войне, пользовалась в 70-е годы в Петербурге необычайной популярностью. В сезон 1866/67 года на сцене Михайловского театра опереточная актриса Лотар играла в «Прекрасной Елене» Ореста, а не Елену (А. Вольф, Хроника петерб. театров, ч. III, СПб. 1884, стр. 158). См. т. 10, стр. 689.

Стр. 84. *Покойная Лядова* — известная в 60-е годы в Петербурге опереточная актриса. Внезапная кончина В. А. Лядовой (1870 г.) «страшно поразила весь театральный мир; опереткоманы совсем приуныли, лишившись самой блистательной представительницы каскадного жанра» (А. Вольф, Хроника петерб. театров, ч. III, СПб. 1884, стр. 41).

Сергиева пустынь — мужской монастырь под Петербургом.

Трисвятую песнь припевающе — слова из «Херувимской», духовной песни, исполняемой во время обедни.

Стр. 89. *Ханаанская земля* — Так в Библии названа Финикия, славившаяся исключительным плодородием.

...душа <...> в среднее какое-то место поступает.— Имеется в виду чистилище, где, согласно учению церкви, души умерших, прежде чем попасть в рай, испытаниями очищаются от грехов.

Стр. 90. *...в Париже, сказывают, крыс во время осады ели.*— В таком пошло преувеличенном виде доходили до провинциальных помещиков слухи, основывающиеся, в частности, на сообщениях газет, о голоде во время осады Парижа немцами в 1870 году (эпизод франко-прусской войны). «Неделя» передавала подслушанный газетным репортером разговор парижан в дни осады города: «...нам предстоит научиться побеждать предрассудки нашего желудка. Даже те, кто не любит баранины, должны прине-

сти свой вкус в жертву своей родине. Очень легко может статься, через несколько недель и тем желудкам, которые имеют предубеждения против крыс, тоже придется победить этот предрассудок» («Неделя», 1870, № 40, 8 октября).

СЕМЕЙНЫЕ ИТОГИ

(Стр. 93)

Впервые — *ОЗ,* 1876, № 3 (вып. в свет 22 марта), стр. 227—270, под заглавием «Благонамеренные речи. XVIII. Семейные итоги».

Сохранилась наборная рукопись (лл. 1—11, 14—16 рукой Е. А. Салтыковой, лл. 12—13, 17—23 — рукой Салтыкова) с типографской разметкой и правкой автора под заглавием «Благонамеренные речи. XVIII. Семейные итоги». Текст рукописи совпадает с журнальной публикацией.

Рассказ написан в Ницце в январе — феврале и выслан в Петербург в два приема: основная часть в последних числах февраля, конец рассказа — 4 марта.

При подготовке *Изд. 1880* Салтыков, помимо стилистической правки и устранения ошибок и опечаток, внес ряд исправлений в текст рассказа, устранив несоответствия с предыдущими главами: изменено имя второго сына Иудушки, уточнена сумма казенных денег, растраченных Петенькой, и т. д., но оставлено создающее хронологическое смещение в фабуле указание на 30-летнюю службу Головлева в департаменте. У 53-летнего Головлева к моменту отставки, случившейся 10 лет тому назад, не могло быть такого административного «стажа».

Глава мыслилась как завершающая, однако при продолжении романа автор сохранил первоначальный заголовок, подчеркивая, что домашние, «родственные» отношения в семействе Головлевых окончательно распадаются, обессмысливаются, оборачиваются своими противоестественно жестокими сторонами.

Встречающееся в главе изображение снежной русской зимы, исполненное мотивов умирания и щемящей грусти («...земля на неоглядное пространство была покрыта белым саваном»), непосредственно восходит к знаменитой картине природы в «Кузине Машеньке» («Благонамеренные речи». XII): «Саваны, саваны, саваны!»

«Семейные итоги» были положительно оценены критикой и читателями[1]. «Прочтите в мартовской книге «Отечественных записок» Щедрина продолжение «Благонамеренных речей» о «Иудушке»,— писал 9 апреля 1876 года П. М. Третьяков И. Н. Крамскому.— Огромный талант! До настоящего времени я его считал только прекрасным сатириком и, даже замечая повторение одного и того же, некоторое время не все читал даже, теперь же

---

[1] См., например, Русск. литература.— «Сын отечества», 1876, № 86, 17 апреля.

после таких типов, как Иудушка и маменька, да и вообще — мастерского рассказа, я его ужасно высоко ставлю и вперед не пропущу ни одной статьи его» [1]. Рецензенты отмечали усилившийся драматизм повествования. «Казалось, что после «Истории одного города» г. Щедрин ничего не напишет лучшего, что это chef d'oeuvre его деятельности,— размышлял Скабичевский.— Но в последних «Благонамеренных речах» его — в «Семейном суде», «По-родственному» и в «Семейных итогах» — открывается еще новая сторона его таланта: именно уменье выставлять не только одну смешную, пошлую сторону жизни, но и обнаруживать в этой пошлой стороне потрясающий трагизм. Главный герой этих трех рассказов, Порфирий Головлев, возбуждает в вас не один уже смех, но отвращение, смешанное с ужасом» [2].

Очерк Салтыкова — это «картина старопомещичьего вырождения, целая эпопея чисто трагического характера, несмотря на то, что она преисполнена самой обыденной прозы и даже пошлости». «Главные два лица семейной драмы: старуха и сын ее Порфирий, прозванный Иудушкой, достигают размеров вполне художественных и типических фигур. Это, действительно, продукты целой культурной полосы» [3].

Стр. 94. *...заговаривает о девах, погасивших свои светильники.*— Евангельская притча о десяти д е в а х, встречавших со светильниками жениха. Пять неразумных дев не взяли с собой масла, и, когда жених задержался, с в е т и л ь н и к и у них погасли, и девы не поспели на брачный пир (Матф., XXV, 1—12).

Стр. 109. *«Филозов без огурцов»* — заключительные слова басни Крылова «Огородник и философ».

Стр. 111. *...в ту коронацию* — в коронацию Николая I в 1826 году.

«Перикола» — оперетта Оффенбаха (1868 г.), с успехом шедшая на русской сцене (см. т. 10, стр. 771—772).

Стр. 112. *«Анютины глазки».*— «Барская спесь и Анютины глазки» — переводный французский водевиль, переделанный для русской сцены в 60-е годы.

...один на Плеваку похож <...> Другой <...> вроде петербургского Языкова.— В газетах 70-х годов помещались подробнейшие отчеты о судебных заседаниях с воспроизведением адвокатских выступлений, что не в последнюю очередь создавало популярность их авторам. Ф. Н. П л е в а к о — известный адвокат и судебный оратор, славу которому приносили его речи на различных «скандальных» процессах. А. И. Я з ы к о в — петербургский адвокат 60—70-х годов, чье увлечение поэзией, сочинительством, переводами, публиковавшимися в «Вестнике Европы», послужило поводом

---

[1] Переписка И. Н. Крамского, И. Н. Крамской и П. М. Третьяков.— Искусство, М. 1953, стр. 135.

[2] З а у р я д н ы й ч и т а т е л ь <А. М. Скабичевский>, Мысли по поводу текущей литературы.— *БВ,* 1876, № 91, 2 апреля.

[3] Литература и журнализм. «Благонамеренные речи», XVIII; «Семейные итоги» Н. Щедрина...— «Молва», 1876, № 14, 4 апреля.

к иронической строке: «...расстроил себе воображение чтением «Собрания лучших русских песен и романсов»

Стр. 117. *...помяни, господи, царя Давида и всю кротость его!* — Молитва, предотвращающая гнев и немилость сильных (Псалт., 131, ст. 1—2).

Стр. 128. *У Иова <...> бог и все взял, да он не роптал...*— По библейскому преданию, бог поразил праведника **Иова** проказой, отнял у него все земные блага, чтобы испытать его благочестие (книга Иова).

ПЛЕМЯННУШКА

(Стр. 134)

Впервые — *ОЗ*, 1876, № 5 (вып. в свет 23 мая), стр. 149—194, под заглавием «Благонамеренные речи. Перед выморочностью».

Сохранилась наборная рукопись, под заглавием «Благонамеренные речи. Выморочный», с типографской разметкой и правкой автора. На л. 14 об. карандашная надпись неизвестной рукой: «Перед выморочностью». Текст рукописи соответствует журнальной публикации.

Салтыков начал работу над рассказом 18 (6) апреля в Париже. В отправленном в этот день письме к Некрасову он сообщал: «Поощренный Вашим отзывом об «Семейных итогах», я сегодня начал писать конец Иудушки. Не знаю, что еще выйдет, но ежели выйдет, то к 10—12 мая ст. ст. получите. Я думаю, для майской книжки это не поздно будет, потому что, по-видимому, сроки выхода книжек сами собой отдалились до 20-го. Впрочем, я 5-го числа ст. ст. телеграфирую Вам, нужно ли ожидать или нет. Я еще хорошенько и сам не наметил моментов развития, а тема в том состоит, что все кругом Иудушки померли, и никто не хочет с ним жить, потому что страшно праха, который его наполняет. Таким образом, он делается выморочным человеком». Салтыков работал над рассказом менее месяца: 8 мая (26 апреля) он отправил Некрасову первую половину рукописи, обещая к 10 мая ст. ст. прислать остальное. Однако закончил работу Салтыков раньше намеченного срока. В письме от 15 (3) мая он уже сообщал Некрасову: «Посылаю Вам <...> конец рассказа: слава богу, что ко времени кончил и даже прежде, чем обещал. Прошу Вас переменить заглавие: вместо «Выморочный» поставить «Перед выморочностью». Во время писанья получилось некоторое развитие подробностей, которое помешало кончить совсем эту материю».

При подготовке *Изд. 1880* Салтыков переменил заглавие очерка и, кроме того, произвел ряд сокращений, устраняя главным образом длинноты.

Так, в «Отеч. записках» было:

Стр 134, строка 14 сн. После слов: «Вот и ум твой!»:

Ты на ум надеялся, он, бог-то, сверху — тук-тук: не надейся на ум, а надейся на бога!

Стр. 135, строка 18 сн. После слов: «...и думал об том, как бы успокоить доброго друга маменьку»:

— Приедет она из Погорелки,— говорит он сам себе,— что ж, милости просим! Икорки захочется — икорку на стол ставь! индюшка есть — индюшку волоки! И тепленько у нас, и уютненько — чего бы еще, кажется!

Стало быть, это — только так, только померещилось милому другу маменьке. Полно, здорова ли она? не перед смертным ли часом ей вдруг бунтовать вздумалось.

Стр. 167, строка 20. После слов: «Аннинька торопливо глотала ложку за ложкой»:

— Ах, как ты скоро ешь! — продолжал он, покачивая головой,— уехать, видно, поскорее хочется, скучно со стариком дядей в деревне лишний часок побыть! Что ж, друг мой, извини! чем богаты, тем и рады! И при папеньке покойном, в Головлеве, балов не бывало, и маменька — дай бог ей царство небесное! — их не жаловала, а я так и терпеть не могу!

Стр. 169, строка 12. После слов: «...чтоб попрощаться с ним»:

— Погоди! — остановил он ее строго,— сперва дай богу помолиться, а потом и за обед благодари!

Помолились богу, поцеловались, а Иудушка все еще не выказывал намерения расстаться с милой племяннушкой.

— Посидим, как добрым людям следует, да побеседуем, да богу помолимся — и в путь!

Пошли в образную, сели.

— И куда только ты едешь? какую пользу для себя приобретешь? — беседовал Порфирий Владимирыч.

— Право, дядя, иначе не могу. Я сказала вам, что приеду... ну, ей-богу, приеду — уверяла Аннинька.

— А не то, осталась бы! право, осталась бы! стой, я велю лошадей распрячь!

— А сестра же как?

— Сестре и написать можно... добро! оставайся! оставайся!

— Письмо сестру не убедит. Непременно я должна лично переговорить с нею. Нет, уж вы отпустите меня!

— Отпустите да отпустите — заладила одно! Ты говори: приедешь ли?

— Приеду... ну, право, приеду!

— Честное слово?

— Честное слово. Прощайте, дядя!

— Ну, нечего с тобой делать — ступай! Так смотри же, возвращайся! Не обмани дядю, нехорошо дядю обманывать. До лета оканчивай дела, а к лету приезжай! Вместе грибы поедем в лес сбирать!

— Приеду, приеду, дядя! прощайте!

На этот раз Аннинька решилась во что бы то ни стало покончить. Она расцеловала дяденьку, простилась с Евпраксеюшкой, и хотя Порфирий Владимирыч предлагал ей и еще посидеть, но она притворилась, что не слышит, и убежала в переднюю.

Эпизод с Петенькой, по-видимому, навеян впечатлениями от реальных отношений брата Дмитрия Евграфовича с сыном. В ответ на просьбу сына о денежной помощи отец многословно наставлял: «Пора и тебе жить не по-теперешнему, но действительно честно и вполне нравственно. Пора и

тебе отличать мишуру от золота, ложь от правды, подлость от честности и чистоту нравственности ог безнравственности...» и т. п.[1]

Глава вызвала немало преимущественно благожелательных отзывов в прессе[2]. Критика отмечала выдающиеся художественные достоинства очерка, вновь сопоставляя Иудушку с мольеровским Тартюфом[3]. Аннинька, «героиня нового рассказа», «очень удалась автору»; писатель «не станет спасать ее и наставлять на путь истинный, не заставит ее бороться там, где она по своему характеру бороться не в силах. Аннинька в рассказе г. Щедрина является совершенно живою фигурою; художественный талант автора не навешал на нее ни особенных добродетелей, ни особенных пороков»; «...доброе, грустное чувство мы заметили в новом <...> рассказе. Оно-то и придало художественное значение фигуре Анниньки»[4].

Стр. 143. *...чтó в Писании-то сказано: без воли божьей...— Это насчет вóлоса?* — Имеется в виду известное библейское изречение: «ни один волос его не упадет» (Третья кн. царств, I, 52).

Стр. 147. *Лития* — молитва, установленная в православном богослужении, в частности для поминовения об умершем, совершаемая по желанию его родственников.

«Где стол был яств — там гроб стоит», «...и бледна смерть на всех глядит».— Из оды Державина «На смерть князя Мещерского».

Стр. 154. *...проповедь Петра Пикардского...*— Намек на знакомство героини с историей средних веков. Петр Пикардский — вдохновитель первого крестового похода (XII в.).

...дополнила их некоторыми биографическими подробностями из жизни великолепного князя Тавриды...— Вероятно, имеется в виду составленное С. Н. Шубинским и изданное в 1876 году «Собрание анекдотов о кн. Г. А. Потемкине с биографическими о нем сведениями и историческими примечаниями».

Стр. 155. *«Герцогиня Герольштейнская»* — оперетта Оффенбаха (1876). См. т. 10, стр. 736.

Стр. 165. *ажитирован* — сильно взволнован, возбужден (от *франц.* agiter).

Зажора — вода, оставшаяся под тонким слоем снега или льда.

Стр. 170. *Дагерротипные портреты* — изображения на медных пластин-

---

[1] Частично опубликовано в *ЛН* (т. 13—14, стр. 462). См. также Л. В. Елизарова, К творческой истории романа М. Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы».— Уч. зап. Дальневосточного ун-та, 1966, вып. 10.

[2] L. V., Русск. журналы...— «Современные известия», 1876, № 204, 19 июня; Литература и журнализм.— «Молва», 1876, № 31, 1 августа, и др.

[3] С. С. <С. Сычевский>, Жури. очерки...— «Одесск. вестник», 1876, № 127, 11 июня.

[4] Вс. С — въ <Вс. С. Соловьев>, Совр. литература...— «Русск. мир», 1876, № 147, 30 мая.

ках, покрытых слоем йодистого серебра (по имени французского художника Дагерра, который изобрел этот способ в 1829 г.). В 60—70-х годах дагерротипы заменила фотография.

Стр. 170. *Шалоновая ряска* — священническая одежда, сшитая из шерстяной ткани, производившейся во французском городе Шалоне.

НЕДОЗВОЛЕННЫЕ СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ

(Стр. 175)

Впервые под заглавием «Семейные радости» — *ОЗ*, 1876, № 12 (вып. в свет 12 дек.), стр. 483—512.

Рукописи и корректуры не сохранились.

Рассказ написан, по-видимому, в конце октября — первой половине ноября. Возможно, что мысль об оформлении темы нового Иудушкина семейства в качестве самостоятельной главы навеяна Салтыкову восторженным отзывом поэта А. М. Жемчужникова о напечатанных главах головлевской хроники, в котором он, между прочим, писал: «Я пожалел, что Вы в своем месте не описали подробнее сцены родов Евпраксеюшки. Мне в это время представляется Иудушка ожидающим с одинаковой покорностью воли провидения — благополучного и несчастного исхода родов. Он только тревожится тем обстоятельством, что результат остается долго неизвестным, и принимается несколько раз за воздевание рук. Я говорю это не в виде «критики», а потому, что мне Иудушка очень интересен, и я хотел бы его видеть побольше живым» (*ЛН*, 13—14, стр. 349). Таким образом, эта глава выросла из трехстраничного фрагмента в опубликованном ранее рассказе «Выморочный», что подчеркивается и примечанием в тексте главы: «Сцена эта была уже напечатана в рассказе «Выморочный», но, по обстоятельствам, оказывается здесь необходимою. В особом издании «Головлевской хроники» будут сделаны соответствующие изменения. Автор» (*ОЗ*, 1876, № 12, стр. 508). Специальная разработка этой темы писателем не предусматривалась, а поэтому в примечании к заглавию рассказа ему пришлось обосновать перед читателем необходимость обращения к мотивам, затронутым в главе «Выморочный», напечатанной за четыре месяца до появления настоящего очерка: «Прошу у читателей извинения, что возвращаюсь к эпизоду, которого однажды уже коснулся. По напечатании рассказа «Выморочный» («Отеч. зап»., 1876, № 8), не раз приходилось мне слышать, что я недостаточно развил отношения Иудушки к его новой, приблудной семье, в лице второго Володьки. А так как отношения эти, действительно, представляют, в жизни Иудушки, момент очень характерный, то я и решился пополнить настоящим рассказом сделанный пробел. Для тех, которым история Иудушки успела уже прискучить, считаю не лишним заявить, что еще один рассказ — и семейная хроника головлевского дома будет окончательно заключена. Авт.» (*ОЗ*, 1876, № 12, стр. 483).

При подготовке *Изд. 1880* Салтыков произвел тщательную стилистическую обработку текста, сопровождавшуюся небольшими дополнениями отдельных слов и фраз, и вычеркнул ряд фрагментов журнального текста, наиболее значительные из которых приводятся ниже:

Стр. 185, строка 16—17. После слов: «...Иудушка и перед самим собой сознаться не хотел»:

Даже молитвенные его стояния, прежде столь правильные и ясные, с наступлением «беды», в значительной мере замутились. Это была не молитва, а скорее какое-то отчаянное усилие убить «беду» словами молитвы. И так как «умная» молитва помогала слабо, то он начинал выговаривать слова вслух, как бы надеясь криком отвлечь свою мысль от ненавистного представления «беды». Но «беда» побеждала даже молитвенные уловки. Она предстояла всегда и везде; она запутывала язык и заставляла произносить слова совсем не подходящие (например, о «благополучном разрешении»), которые, яко соединенные с мыслию о прелюбодеянии (тьфу! тьфу!), до сих пор отнюдь не входили в план обыкновенного молитвенного стояния. Выходило, что не молитва убивала «беду», а наоборот. И в то время, как губы продолжали шептать слова, лишенные всякого внутреннего смысла, мысль, отданная в жертву каким-то беспорядочным и противоречивым мельканиям, в свою очередь, раздвоялась. То мелькнет нечто о «благополучном разрешении», то откуда-то издалека вынырнет предположение: а что, если б ничего этого не было? если бы вдруг?.. Эта последняя мысль особенно как-то назойливо мечется. Сначала она чуть брезжит, но потом разрастается — разрастается и начинает из области предположений переходить в область действительного воплощения. Иудушка стоит перед образом, сложивши руки ладонями внутрь, но губы его уже не шевелятся и глаза не поднимаются горе, а пристально и безучастно глядят через окно на бесконечно стелющееся царство зимы.

Мысленные мелькания так и давят его. Тут и железная дорога откуда-то появляется: вагон... тендер... камень на дороге... тррах! — и нет ничего! Потом тройки какие-то: сани... ухабы... несъезженные лошади... тррах! — и опять ничего нет! А наконец, и просто волшебство — нет ничего, да и все тут!

Словом сказать, внутри Иудушки, не переставая, совершался какой-то странный психологический процесс. Мысль официальная, насильственно введенная, усиливалась побить мысль коренную, возникшую естественно.

Стр. 186, строка 9. После слов: «...она ко всему относилась безучастно»:

...Была счастлива единственно тем, что имела возможность спать на пуховиках, без спросу брать сахар, есть огурцы и пить квас...

Стр. 187, строка 21 сн. После слов: «...не сбиваясь с однажды намеченной колеи»:

...и что самая плотская связь его основана преимущественно на том расчете, что она еще больше привяжет Евпраксеюшку к его интересам и подстрекнет ее ретивость.

Стр. 187, строка 18 сн. После слов: «...напоминало ему о предстоящей «беде»:

Ей было тем легче выполнить этот план, что фактически, ради освобождения Евпраксеюшки от беготни, обиход головлевского дома уже был у нее в руках. Она воспользовалась этим очень ловко, так что Порфирий Владимирыч не только не заметил разницы к худшему, но, напротив, на всем увидел руку еще более заботливую и при этом почувствовал себя уже

вполне свободным от каких бы то ни было стеснений, неизбежных в сношениях с близким по плоти лицом.

Стр. 188, строка 6 сн. После слов: «...так, очертя голову, действовали!»: Мало-помалу, он, однако ж, припоминает, что закон дозволяет и шесть процентов брать, а ежели капитал принадлежит малолетнему, то и до десяти. Опять начинаются выкладки, сначала из шести, потом... «ну хоть из осьми», и, наконец, из десяти процентов. Капитал оказывается уже более или менее серьезный.

«Вот оно что! — размышляет Иудушка,— вот это... «распорядительностью» называется! вот это — настоящее хозяйство! А то взял да, очертя голову, что рубликов на ветер бросил — разве это хозяйство!»

Стр. 178. *«Вот мчится тройка удалая...»* — Первая строка народного песенного варианта, представляющего часть стихотворения Ф. Н. Глинки «Сон русского на чужбине».

Стр. 179. *Муж у нее в поход под турка уехал.*— Речь идет о войне с Турцией в 1828—1829 годах.

Стр. 189. *«Утоли моя печали»* — одно из изображений богородицы в православной иконографии.

Стр. 192. *...«страха иудейска»* — евангельское выражение, употребляемое в значении страха перед какой-либо силой (Иоанн, XIX, 38).

ВЫМОРОЧНЫЙ

(Стр. 201)

Впервые — *ОЗ*, 1876, № 8 (вып. в свет 25 авг.), стр. 521—558.

Рукописи и корректуры не сохранились.

Рассказ написан в июне — первой половине июля 1876 года. Салтыков в письме к Некрасову от 9 июля 1876 года сообщал: «...к 7-му или 8-му <номеру «Отеч. записок»> вышлю, вероятно, и другую статью. <...> Другая статья — конец Иудушки — разумеется, никаких препятствий не представит. <...> Боюсь одного: как бы не скомкать Иудушку. Половину я уже изобразил, но в сбитом виде, надо переформировать и переписать. Эта половина трудная, ибо содержание ее почти все психологическое. Вторая будет легче». В головлевской серии «Выморочный» — первый рассказ, напечатанный без указания на принадлежность его к «Благонамеренным речам».

При подготовке *Изд. 1880* рассказ был подвергнут значительным сокращениям (в сорока трех местах сокращено около четырехсот строк, то есть около четвертой части текста произведения) и стилистической обработке. Салтыков вычеркнул начало рассказа, связывавшее его с «Племяннушкой» («Перед выморочностью»), убрал сцену родов Евпраксеюшки, из которой выросла глава «Недозволенные семейные радости», сделал много купюр во второй половине произведения, где изображается одолевающее Иудушку празднословие, изменил финал рассказа и т. д.

В настоящем томе журнальная редакция рассказа печатается в разделе «Из других редакций» (стр. 557).

В откликах на публикацию главы критика отмечала общественную содержательность, типичность и злободневность сатиры Салтыкова. «Писатель рисует нам,— писал рецензент,— одну из самых страшных язв современного русского человека: пустоту душевную и стремление к наживе, как идеал. Конечно, у Иудушки черты эти возведены в перл создания; но в наше коммерческое время, когда нравственные идеалы поблекли, можно найти многие черты Иудушки в весьма почтенных людях <...> Те психические процессы, которые происходят в его душе, представляют весь интерес современности. Эта умственная беспомощность, это отсутствие воли и решимости, эта склонность к фантазированию — все это черты современного русского человека, которые можно встретить на каждом шагу. Конечно, Иудушкино ехидство составляет его личную черту, независимо от которой в нем есть много общего, бытового, современного. В этом-то и заключается текущий интерес щедринского рассказа» [1].

Особое внимание критики привлекли страницы, где воспроизводятся картины «умственного распутства» и пустоутробного словесного запоя Иудушки [2].

Одновременно некоторые критики находили личность Порфирия Головлева «крайне искусственной, придуманной, очень далекой от психологической правды», а весь тон повествования «обличительно-дидактическим»: «Характер Иудушки обрисован так, как мог его обрисовать только самый завзятый сатирик, видящий в человеческой природе только темные ее стороны. Это голая, резкая сатира и ничего более, но для правильного сатирического впечатления здесь недостает освежающего, просветляющего смеха, который придает высшее значение сатирическому изображению» [3].

Стр. 208. *«Не шей ты мне, матушка...»* — Из одноименной песни Варламова на слова Н. Г. Цыганова.

Стр. 219. *Заказничок* — заповедная роща или лес, запрещенный, заказанный для вырубки.

Старая десятина — площадью в 3200 кв. саженей.

Тридцатка — казенная десятина, площадью в 2400 кв. саженей.

Стр. 223. *Правду и бог любит, да и нам велит любить.*— Часто повторяющийся мотив о любящем правду боге: «Господь праведен — любит правду» или «Господи! кто может пребывать в жилище твоем?.. Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем», и т. п. (Псалт., 10, 14).

---

[1] С. С. <С. П. Сычевский>, Журн. очерки...— «Одесск. вестник», 1876, № 198, 10 сентября.

[2] См.: Заурядный читатель <А. М. Скабичевский>, Мысли по поводу текущей литературы...— *БВ*, 1876, № 250, 10 сентября; Русск. литература...— «Сын отечества», № 223, 25 сентября, и др.

[3] В. М. <В. В. Марков>, Лит. летопись...— *«СПб. вед.»*, 1876, № 285, 25 сентября.

РАСЧЕТ

(Стр. 228)

Впервые — *ОЗ*, 1880, № 5 (вып. в свет 20 мая), стр. 295—330, под заглавием «Решение (Последний эпизод из головлевской хроники)».

Сохранились четыре фрагмента черновой рукописи, отличающейся от опубликованного в «Отеч. записках» текста большим числом вариантов стилистического характера, а также следующим рассуждением о «решительных молодых людях»:

Стр. 252, строка 4 сн. После слов: «...иметь за душой что-либо солидное»: Ныне же требуется только предъявление свежести и бойкости. Всякий, вероятно, видал этих проворных, неизвестно откуда явившихся, но несомненно решительных молодых людей, которые с изумительной цепкостью внедряются всюду, где об них даже не помышляли, создавая себе карьеру и радуя престарелых родителей. Я сам знаю шестерых братьев, которых родители отличаются только земскою свежестью и которые, несмотря на неблагоприятную фамилию,— отец их корнет Иван Слабительный,— поделили между собой административную Россию и всюду вторглись: и в юстицию, и в дипломатию, и в просвещение, и во внутренние дела, и в пути сообщения, и в финансы. И везде сделались необходимыми и до такой степени преуспели, что отныне нет уже затруднений относительно выбора лица, ибо все затруднения разрешаются очень просто: призвать или послать одного из братьев Слабительных. И это при такой неблагоприятной фамилии. Но что же будет тогда, если будет уважено ходатайство братьев Слабительных о присовокуплении к их фамилии таковой же их матери, урожденной баронессы Кокетине, и когда они будут уже называться не просто Слабительными, но баронами Слабительными-Кокетине? Ведь тогда, пожалуй, сразу они завоюют себе то право на пожизненное ликование, о котором родоначальник их, корнет Иван Слабительный, не смел и мечтать!

Время создания главы устанавливается лишь предположительно: март — апрель 1880 года, хотя не исключено, что ее замысел складывался на протяжении ряда лет и в названное время получил лишь свое окончательное оформление.

Рассказ, видимо, одновременно набирался для журнала и для отдельного издания, которое вышло из печати между 1 и 15 июня. Этим объясняется немногочисленность и незначительность вариантов, отличающих текст главы в отдельном издании от его журнальной публикации.

При работе над главой частично использован текст незаконченного рассказа «У пристани». Из него взята полностью картина въезда Ганечки в головлевскую усадьбу, но Ганечка заменен здесь возвращающейся в Головлево Аннинькой.

Рассказ «У пристани» печатается в разделе «Из других редакций».

Замена первоначального журнального заголовка «Решение» в *Изд. 1880* на «Расчет» весьма существенна для авторской концепции: если «решение» предполагает осознанность, обдуманность в действиях, то «расчет» означает уже и расплату, возмездие, кару, настигшую «выморочного» героя.

«Расчет» вызвал особый интерес и современной Салтыкову, и позднейшей критики, что связано было с неожиданным, как казалось многим, драматическим финалом Порфирия Головлева: в «выморочном» салтыковском герое проснулась совесть, и образ его обрел поистине трагическое звучание. «В конце концов,— писал Михайловский в 1889 году,— Иудушка сам испугался облегшей его со всех сторон мертвой пустыни и не выдержал этого страшного одиночества»[1].

Обилие откликов на окончание романа связано как с выходом в свет первого отдельного издания его, так и с нашумевшей инсценировкой «Господ Головлевых», осуществленной Н. Н. Куликовым (первое представление «Иудушки» состоялось в Москве в ноябре 1880 года)[2]. В рецензии на спектакль Боборыкин утверждал, что Салтыков «не написал ничего глубже, сильнее, художественно-образнее и беспощаднее семейной хроники «Господа Головлевы», что «нарисована необычайно могучая картина вырождения помещичьей семьи» и «эта помещичья эпопея полна внутреннего драматизма». Рецензент высказал опасение, что сценический эквивалент этому произведению найти чрезвычайно трудно: «Для перенесения ее <эпопеи> на сцену нужно очень многое присочинить, переделать, изменить и суть самого Иудушки». Из пьесы оказались исключены «поразительные» финальные сцены, «когда Иудушка застает пьянство своей племянницы, сам втягивается в то же, и оба они душат друг друга нареканиями и старыми счетами»[3].

Окончание романа дало повод некоторым критикам приписать Салтыкову отвлеченно-моралистические взгляды, приглушая общественный, антидворянский пафос «Господ Головлевых». Об оправдании автором своего героя писал, в частности, М. Протопопов: «Салтыков заканчивает свою эпопею как моралист — торжеством высшей нравственной правды. Он реабилитирует Иудушку в наших глазах, он заставляет его оплакивать жгучими слезами позднего раскаяния свою бессмысленно и бесчеловечно прожитую жизнь»[4]. «Образ вышел таким ужасающим,— рассуждал в 1914 году А. А. Дробыш-Дробышевский,— что сам Щедрин, под суровой внешностью которого скрывалось нежное, чувствительное сердце,

---

[1] Н. К. Михайловский, Полн. собр. соч., т. V, СПб. 1908, стр. 206.

[2] См.: Вл. <Вл. И. Немирович-Данченко>, Драм. театр...— «Русск. курьер», 1880, № 310, 13 ноября; Игла <П. А. Андреевский>, «Иудушка» (Спектакль драматического общества 21 декабря).— «Заря», Киев, 1880, № 43, 23 декабря, и др.

[3] П. Боборыкин, «Иудушка» в театре Пушкина...— «Русск. ведомости», 1880, № 297, 18 ноября. Об отрицательном отношении Салтыкова к инсценировке «Господ Головлевых» см. письмо в редакцию газеты «Голос» (20 декабря 1880 г.).

[4] М. Протопопов, Совр. обозр. Характеристики современных деятелей. М. Е. Салтыков.— «Дело», 1883, № 6, стр. 33.

испугался этого образа и немного испортил его в конце произведения, заставив Иудушку покаяться» [1].

Иначе воспринял финал головлевской хроники заключенный в Петропавловскую крепость революционер-землеволец: «Последняя часть «Семьи Головлевых», в которой описываются последние дни Иудушки, потрясла меня до глубины души <...> Мастерскою рукою художник набросал потрясающую картину душевного расстройства Иудушки,— все равно какого: дело не в названии, не в форме! Сошел со сцены отживающий представитель отживающей общественной категории и сошел *чуждый не только всему новому,* но и *чуждый самому себе,* т. е. душевнобольным. Я не мог оторваться от этой семейной хроники. Сколько горя, сколько отчаяния! забытые личности, вымороченные существования и, как заслуженный конец всего этого,— сумасшествие!..» [2]

Стр. 228. *Снежные сувои* — сугробы, образованные вихревым движением снега.

Стр. 234. *«Полковник старых времен»* — комедия-водевиль И. Мелесвиля, Габриэля и Анжела (СПб. 1838).

«Дочь Рынка» — «Дочь мадам Анго», комическая опера в трех действиях Клервиля, Сиродэна и Кененга. Музыка Лекока. Для русской сцены переделано В. Курочкиным (СПб. 1875).

Стр. 235. *Святая* — пасха, весенний церковный праздник.

Фомина — неделя, следующая за пасхальной неделей.

Стр. 239. *Квартальный надзиратель* — полицейский чиновник, офицер, в ведении которого находился квартал города.

Стр. 241. *«Уголино», трагедия в 5-ти действиях, соч. Н. Полевого.*— Историческая трагедия «Уголино» впервые ставилась на русской сцене в 1837—1838 годах (см. т. I, стр. 425).

Стр. 258. *Страстная неделя* — предшествует пасхальной «святой»; в эту неделю в церкви читаются главы Евангелия, повествующие о распятии Христа («Страсти господни»).

Стр. 259. *«И сплетше венец из терния, возложиша на главу его, и трость в десницу его».*— Отрывок из евангельского текста, повествующего о распятии Христа (Матф., XXVII, 29).

Стр. 261. *Оцет с желчью* — горькое питье, которым, по евангельскому сказанию, поили Иисуса Христа после распятия (Матф., XXVII, 34). Оцет — уксус.

---

[1] А. Ум—ский <А. А. Дробыш-Дробышевский>, К 25-летию смерти М. Е. Салтыкова-Щедрина.— «Нижегор. листок», 1914, № 113, 28 апреля.

[2] О. В. Аптекман, Из воспоминаний землевольца. Петропавловская крепость.— «Минувшие годы», 1908, № 5—6, стр. 319—320.

УБЕЖИЩЕ МОНРЕПО

Цикл «Убежище Монрепо» создавался в пору творческой зрелости Салтыкова. Нарисованная здесь картина социально-политического и экономического «оскудения» «ветхого человека» — помещика сопровождается элегическими «мелодиями» дворянского интеллигента; она закономерно и естественно включает в себя мотивы «чумазовского» торжества, «столпования» буржуазного хищника, всемерно поддерживаемого властью при пассивном, «бессознательном» отношении к этому процессу со стороны «серого человека».

«Убежище Монрепо» — итог длительных раздумий писателя над вопросами о судьбах послереформенной русской деревни, поднятыми в свое время апрельским (1863) и февральским (1864) обозрениями «Нашей общественной жизни», а также очерком «В деревне» (см. т. 6).

В «Убежище Монрепо» проставлены, однако, несколько иные тематические акценты. В цикле отсутствуют, например, «подробности мужицкого быта», занимающие столь значительное место в произведениях 60-х годов. Основное внимание автора сосредоточено на попытках поместного дворянина выйти из того социально-исторического кризиса, в который поставило его пореформенное развитие, а также на надеждах «культурного человека» обрести настоящее дело на путях «рационального» хозяйствования.

Всем своим художественно-публицистическим содержанием «Убежище Монрепо» убеждало, что эти попытки и надежды несостоятельны, безрезультатны.

В этом, собственно, и смысл названия цикла, куда введен характерный в дворянской буколике и помещичьем речевом обиходе галлицизм «Монрепо» (mon repos — мой отдых), служивший обозначением тихого, уединенного уголка, места покоя и отдохновения от житейских забот. В ироническом осмыслении Салтыкова «Монрепо» — «собственный угол», последнее пристанище вытесняемого с общественной сцены помещика, символ оскудевающего «дворянского гнезда».

Чуждый народнических иллюзий, Салтыков показывает неотвратимость процесса смены «ветхого» человека «чумазым». В «Убежище Монрепо» запечатлен тот исторический период, когда буржуазия, становясь «дирижирующим сословием», утверждалась повсеместно. «не только в фабрично-заводской промышленности, а и в деревне и вообще везде на Руси» [1].

При этом смена «столпов» сопровождалась не ослаблением, а усилением политической реакции, насаждавшей повсюду систему полицейского сыска и шпионажа — «сердцеведения».

Власть в ее пореформенной модификации, представленная становым Грациановым, стремится провести эту систему в жизнь, опираясь на «пло-

---

[1] В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 393.

дотворное содействие <...> господ кабатчиков» и «не вредное содействие <...> господ бывших помещиков».

Всячески испытывая благонамеренность владельца Монрепо, заставляя его пережить полосу спасительных «тревог», Грацианов вовсе не выступает против дворянства как социального института. Цель власти — создание «охранительного» союза из старых и новых столпов. Глубокий сатирический анализ тактики Грациановых предваряет следующую ленинскую характеристику русской бюрократии: «Это — постоянный флюгер, полагающий высшую свою задачу в сочетании интересов помещика и буржуа» [1].

Салтыков, вынужденный прервать работу над «Современной идиллией», вернулся к мотивам «о прелестях умирания». Знакомые «дворянские мелодии», однако, оказались в высшей степени «проникнуты современностью». В прямой и скрытой форме писатель продолжил здесь, на почве «аграрного вопроса», острую полемику с ревнителями помещичьего землевладения, дворянскими идеологами, с одной стороны, а также с либерально-народническими пропагандистами *деревенского дела* — с другой. Полемика эта имеет длительную историю, включая в себя различные стороны, акценты и имена.

Вслед за Чернышевским Салтыков отстаивал трудовое начало в землевладении. Он скептически отнесся к призывам, после крестьянской реформы, из дворянского лагеря браться за «дело», хотя и сам, вначале, отдал некоторую дань этим иллюзиям. Оптимизму «ревнителей», их заявлениям вроде: «честной деятельности землевладельцев с каждым шагом открывается обширное и благодатное поле. Надобно только, чтобы они все более и более проникались сознанием важности своей задачи» [2],— писатель противопоставил свой вывод об упадке помещичьих хозяйств, о неминуемом разрушении «ветхой плотины» (см. т. 6, стр. 286). Этот вывод, подкрепленный впоследствии многими наблюдениями автора «Благонамеренных речей» и «Господ Головлевых», послужит основой всей концепции «Убежища Монрепо». Это будет ответ не только откровенным апологетам помещичьих интересов, но и умеренно-либеральным идеологам вроде В. П. Безобразова, утверждавшим, что кризиса нет, что «в огромной части России земледелие, и крестьянское, и помещичье, возросло в неслыханных прежде размерах» [3].

В статье Безобразова «Наши охранители и наши прогрессисты» (1869), вызвавшей памфлет Салтыкова «Человек, который смеется» (см. т. 9) и вновь упомянутой во втором очерке настоящего цикла, содержался, помимо прочего, и призыв бороться с чувством «уныния», порождаемым «неизбежными затруднительными обстоятельствами некоторых наших землевладельцев». «Впрочем, надо вообще удивляться,— писал Безобразов,— к чести нашего дворянского сословия, преимущественно среднего, как быстро оно сжилось с новыми нравственными условиями своего быта, так круто изменив-

---

[1] В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 301.
[2] А. Фет, Из деревни, *РВ*, 1863, № 1, стр. 470.
[3] В. П. Безобразов, Наши охранители и наши прогрессисты.— *РВ* 1869, № 10, стр. 439.

шимися; еще более надо удивляться, как силятся отнять у него эту честь люди, говорящие во имя его интересов и привилегий»[1]. Безобразов обращается здесь к пессимистам-«охранителям», но, несомненно, имеет в виду и другой, особенно неприемлемый для него пессимизм «прогрессистов».

В этой статье можно отметить ряд мест, с которыми легко устанавливается едва ли не прямая полемическая соотнесенность «Убежища Монрепо». Вот одно из них:

«Всеми на свете, даже иностранцами, побывавшими в России, признано, что нет убежища более успокоительного для души и нервов, как русская деревня <...> Глубокий мир, почиющий на русской деревне, превосходит все, что только в этом роде известно в какой бы то ни было стране <...> Это, впрочем, сознается всеми, ибо, несмотря на чрезвычайные нынешние облегчения заграничных путешествий, несмотря на привычку к ним, развившуюся в нашем высшем классе почти до болезненности, и наконец несмотря на действительные очарования множества летних резиденций в Западной Европе, все-таки никогда не жило столько людей в русских деревнях и помещичьих усадьбах, как теперь...»[2]

Салтыков «обыграет» в своем новом цикле самый термин «убежище», сделает полемические выводы о «глубоком мире» в деревне, иронически посоветует «культурным людям» бежать из своих Заманиловок в «Эмсы, Баден-Бадены, Трувили, Буживали, Лозанны и проч.», а затем в проникновенном лирическом слове о любви к России «до боли сердечной», об «истинно русском культе» пояснит настоящую причину предпочтения родных палестин, пусть и «усыпальниц», «благорастворенным заграничным местам». Следует заметить, что ни в каком другом своем произведении Салтыков столь проникновенно и страстно не высказывал своей любви к России и с такой предельной ясностью и четкостью не формулировал сущность истинного патриотизма, резко противостоящего официальному, казенно-верноподданническому.

Внимание автора «Убежища Монрепо» могли остановить и такие признания Безобразова: «Не спорим, что многие наши сельские хозяева, воспитанные исключительно в понятиях обязательного труда, никак не могут справиться с вольнонаемными рабочими, что, чуждые всяким коммерческим основаниям хозяйства, они терпят только убытки там, где, при тех же самых местных условиях, даже без всяких агрономических сведений, подле них, или в тех же имениях, вслед за ними, на том же самом деле, получают барыши люди другого воспитания: купцы, мещане, крестьяне...»[3]

Салтыкова не смущало сближение его «мрачных» выводов и прогнозов с «безотрадностью» взглядов «охранителей». Он охотно использовал в своих целях свидетельства последних об аномалиях деревенской жизни. Вполне возможно, им принято в расчет и следующее рассуждение автора

---

[1] В. П. Безобразов, Наши охранители и наши прогрессисты.— *РВ*, 1869, № 10, стр. 445.

[2] Там же, стр. 446.

[3] Там же, стр. 453.

охранительной брошюры «Земля и воля» о нежелании помещиков заниматься земледелием и предпочтении ими городской службы (рассуждение это цитируется в статье Безобразова): «Нужно ли удивляться этому? С одной стороны, доходы с имений в северных губерниях сделались равными нулю или обратились в минус, и жизнь в деревне сопряжена с бо́льшими, чем прежде, затруднениями, неприятностями и лишениями, а с другой — содержание по всем отраслям государственного управления возвышено, по некоторым ведомствам даже в четыре или пять раз против прежнего. Прежде деревня служила эмблемою лени и безмятежного покоя. Люди, предпочитавшие душевное спокойствие шумной городской жизни, уезжали отдохнуть в деревню. Теперь наоборот: теперь деревня представляет гораздо более сильных ощущений и может скорее расстроить нервы, чем город»[1].

На творческий замысел «Убежища Монрепо» оказала влияние и оживленная дискуссия вокруг изданного в 1876 году в Петербурге двухтомного труда кн. Васильчикова «Землевладение и земледелие в России и других европейских государствах». В небольшой рецензии журнала «Свет» на очерк «Убежище Монрепо» (в окончательной редакции «Общий обзор») прямо указывалось, что «новый очерк даровитого автора» «обрисовывает характер нашего современного крупного землевладения и, таким образом, служит бойким, живым ответом на тот шум, который в последнее время поднят снова по вопросу о преимуществах крупного землевладения известной брошюрой проф. Герье и Чичерина»[2] («Русский дилетантизм и общинное землевладение», М. 1878). В предыдущем номере «Света» появление этой тенденциозной, «направленной против известного сочинения кн. Васильчикова» брошюры названо «одним из наиболее громких явлений за последние месяцы»[3].

«Отеч. записки» приняли живое участие в обсуждении книги Васильчикова, опубликовав два отклика, из которых первый, очевидно, принадлежит Н. К. Михайловскому (1877, № 8), а автором второго был А. А. Головачев (1877, № 9). Кроме того, на выход брошюры В. Герье и Б. Чичерина журнал отозвался саркастическим «Письмом к гг. Герье и Чичерину», написанным Михайловским и напечатанным как раз за месяц до появления названного очерка «Убежище Монрепо» («Общий обзор»).

И в рецензиях, и в ответе на брошюру Герье и Чичерина «Отечественные записки» поддержали общинно-демократические устремления автора «Землевладения и земледелия...», в то же время отметив его непоследовательность в «практических советах», особенно по вопросу о размерах крестьянских наделов. Руководимый Салтыковым журнал резко выступил против либерально-охранительных критиков Васильчикова; он обнажил помещичью корысть «патентованных ученых», которых не устраивал прежде всего вывод о «неправильном распределении между разными классами жителей поземельной собственности <...> проведенном с беспощадной стро-

---

[1] П. Л. <П. Ф. Лилиенфельд-Тоаль>, Земля и воля, СПб. 1868, стр. 61.
[2] «Свет», 1878, № 9, стр. 315.
[3] Там же, № 8, стр. 281.

гостью в ущерб крестьянского сословия и в пользу поместного» [1]. «Покуда публицисты, энциклопедисты и государственные люди сочиняли и поправляли проекты эмансипации рода человеческого,— писал Васильчиков,— половина этого рода была обобрана другой» [2].

Герье и Чичерин протестовали против мысли Васильчикова, «что и в настоящем и в будущем крестьянскому сословию принадлежит первенство в русской земле», считая, что «эти социалистические начала никогда не найдут доступа в русское законодательство» [3].

Салтыков своим новым «деревенским» очерком включался в получавшую острый политический смысл полемику по «аграрному вопросу», поддерживая те прогрессивные тенденции, которые нашли некоторое отражение в книге Васильчикова (см. далее постраничные прим.).

Одним из источников «Убежища Монрепо» были многочисленные статьи известного ученого-агронома Энгельгардта, популяризировавшие его опыт организации «рационального хозяйства» в имении Батищево («Из деревни», «Из истории моего хозяйства»). Призыв Энгельгардта, подкрепленный ссылкою на собственный успех, «садиться на землю», идти «в мужики», образовывать «интеллигентные деревни» получал в условиях пореформенной неустроенности и разлада дворянских хозяйств большую притягательную силу, одновременно приобретая для определенной части русской интеллигенции, переживавшей «трудное время», особый смысл *выхода, дела.*

Убежденный, что в пореформенной деревне успешно хозяйствовать способны лишь те, которые «сами всегда могут притеснить», Салтыков не заблуждался относительно буржуазной природы «опыта» Энгельгардта.

Два десятилетия спустя В. И. Ленин в книгах «От какого наследства мы отказываемся?» и «Развитие капитализма в России» прямо укажет на капиталистическую подкладку батищевского дела, на несовместимость хозяйственной системы Энгельгардта с его народническими теориями. «Задавшись целью поставить рациональное хозяйство,— подчеркнет Ленин,— он не мог сделать этого, при данных общественно-экономических отношениях, иначе, как посредством организации батрачного хозяйства» [4], «приемами чисто капиталистическими» [5].

Не только современники Энгельгардта (см. статью М. Протопопова «Хозяйственная деловитость», «Дело», 1882, № 9), но и сам он догадывался о подлинной природе предпринятого дела. В письме к одному из учеников Энгельгардт признается: «Эксплуататорское хозяйство, которое я веду в Батищеве, давно уже перестало меня интересовать» [6].

---

[1] См. А. Васильчиков, Землевладение и земледелие в России и других европейских государствах, т. 1, СПб. 1876, стр. 11—12.

[2] Там же, стр. 21.

[3] В. Герье и Б. Чичерин, Русский дилетантизм и общинное землевладение, М. 1878, стр. 223, 240.

[4] В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 3, стр. 213.

[5] Там же, т. 2, стр. 526.

[6] Цит. по кн.: А. И. Фаресов, Семидесятники, СПб. 1905, стр. 26.

Еще менее «удовлетворения» испытывал автор «Убежища Монрепо», наблюдавший стремление превратить частный батищевский опыт во всеобщий спасительный рецепт.

Можно указать на целый ряд мест (вплоть до отдельных деталей и терминов) в тексте энгельгардтовских статей, так или иначе отраженных в «Убежище Монрепо» (сопоставление «полной чаши» — дореформенного помещичьего быта — с «пустодомством» и «оскудением» дворян после «Положения» [1], описание безуспешных попыток некоторых из них организовать «рациональное хозяйство» по Бажанову и Советову [2] и пр.). Салтыков сознательно шел на «перекличку», обращая свое внимание на те же, что и Энгельгардт, явления и факты, чтобы в конечном счете, по рассмотрении всех пунктов, отвергнуть его программу.

Уже современная Салтыкову критика обращала внимание на то обстоятельство, что материалы, помещаемые в том или ином номере «Отеч. записок», и его произведения тесно связаны между собой, поясняют друг друга. «...Почти каждая книжка «Отечественных записок»,— констатировал С. И. Сычевский,— может быть <...> сплошным комментарием сатиры Щедрина, напечатанной в ней» [3].

Среди «поясняющих» и «подтверждающих» материалов восьмой книжки «Отеч. записок» за 1878 год, где была начата публикация «Убежища Монрепо», прежде всего следует назвать статью В. И. Чаславского «Вопросы русского аграрного устройства».

Будучи начальником статистического отделения в департаменте земледелия и сельского хозяйства и располагая, таким образом, богатейшим фактическим материалом, автор «Вопросов» свидетельствует крайне неудовлетворительное состояние «деревенского дела». «Из 120 десятин,— цитирует он одного из землевладельцев,— засеянных мною в начале апреля, пшеницы не получено ни одного снопа, а между тем употреблено семян на 1000 рублей, на оранку и волочнику при боронении издержано более 1000 рублей. Словом, из затраченных мною денег не получено ничего. Полнейшее разорение постигает наше полевое хозяйство, которое вести долее немыслимо» [4]. Помещичье хозяйствование несостоятельно, считает В. Чаславский, а между тем в его пользу была обобрана основная масса земледельцев-крестьян, получившая самые жалкие наделы. В интересах самих же помещиков необходимо отказаться от крупной поземельной собственности, отдать часть земли крайне нуждающемуся в ней крестьянству.

Достаточно обратиться к тем суждениям Салтыкова, в которых говорится о необходимости для культурного человека «сокращать и суживать границы своих земельных владений», отделываться от своих Тараканих и

---

[1] *ОЗ*, 1876, № 1, стр. 88, 97, 110.

[2] Там же, стр. 90.

[3] С. И. Сычевский, Новая сатира Щедрина и ее комментарий.— «Правда», 1880, № 269, 15 октября.

[4] В. Чаславский, Вопросы русского аграрного устройства.— *ОЗ*, 1878, № 8, стр. 312 (Окончание опубликовано в *ОЗ*, 1879, № 1, стр. 219—232).

Летесих — «непременно и безотложно, хотя бы задаром», чтобы заметить близость пафоса статьи Чаславского и направленности «Убежища Монрепо», с тою, впрочем, разницею, что писатель делает акцент не на отсутствии капиталов («Говорят, что у культурных людей нет достаточных капиталов...» — см. стр. 279), а на полнейшей непригодности дворянских землевладельцев к серьезному деревенскому делу. Формулируя главную мысль «Общего обзора», критик «Киевлянина» указывал, что автор его «возбуждает вопрос о том, полезно ли иметь сколько-нибудь значительную поземельную собственность или промышленное заведение культурному человеку нашего времени...» [1].

Связь статьи Чаславского и очерка Салтыкова не осталась незамеченной тогдашней критикой: ее констатировал *«Заурядный читатель»* (Скабичевский) в своем очередном обзоре текущей литературы [2].

Утверждая мысль о бесперспективности помещичьего хозяйствования, о заведомом проигрыше «утопистов вольнонаемного труда и плодопеременных хозяйств», писатель одновременно отрицательно высказывается и относительно другой части деревенской миссии «культурного человека» — «просветительства».

Сама по себе задача просвещения «серого человека», освобождение его от ига «призраков», внесения в его жизнь начала «сознательности» важна и благородна: «Сказать человеку толком, что он человек,— на одном этом предприятии может изойти кровью сердце».

Однако такое «существование», то есть подлинное, подвижническое революционное просветительство, не по плечу «культурному человеку», «взлелеянному на лоне эстетических преданий», «начиненному азбучными истинами», «афоризмами прописной морали» и так или иначе согласующему свою просветительскую деятельность с идеалами *станового.*

Вывод Салтыкова бескомпромиссен: дела «культурному человеку» в деревне нет. Нет и «покоя», «свободы», «почвы», «убежища», «глубокого мира» (см. высказывания Безобразова, Энгельгардта и др.), а есть становые — «сердцеведы», деятельно испытывающие благонамеренность владельцев Монрепо; есть прожорливые, свободные от всяких нравственных принципов и уверенные в своей безнаказанности хищники — «чумазые», есть, наконец, возможность частых бесед с «батюшкой» — доброхотным собирателем *«материалов»,* то есть доносчиком. Жизнь в Монрепо — сплошные «тревоги» в преддверии неизбежного «finis'а». Даже заманчивая возможность «умирать, освобождаться от жизни постепенно, непостыдно, сладко» в тиши деревенского «убежища» не может быть гарантирована ввиду безудержных притязаний Разуваева.

Так развивается мысль Салтыкова, вызывая к жизни вслед за «Общим обзором» очерки «Тревоги и радости в Монрепо», «Монрепо — усыпальница», «Finis Монрепо» и публицистически-обобщающее «Предостережение». Объ-

---

[1] «Киевлянин», 1878, № 115, 28 сентября.

[2] Заурядный читатель, Мысли по поводу текущей литературы.— *БВ,* 1878, № 234, 25 августа.

единенные целостным сюжетом, глубокой идейно-художественной концепцией, очерки «Убежище Монрепо» являются своеобразными главами того типа романа, который в течение ряда лет теоретически и художественно утверждался писателем и образцами которого являются «История одного города», «Дневник провинциала в Петербурге», «Господа Головлевы», «Современная идиллия» [1].

«Убежище Монрепо» включает в себя широкий круг тем и проблем общественно-политического, экономического и психологического плана. Тут взят, говоря словами Салтыкова, «целый период нашей жизни», хотя повествование об этом периоде и состоит «как бы из отдельных рассказов». «Вещь совершенно связная», чуждая фактографического пристрастия фельетона к «происшествиям дня», «Убежище Монрепо» одновременно включает в себя и публицистико-«злободневное» очерковое начало, выявляя характерную для сатирического романа Салтыкова диалектику жанровых тенденций.

В «Убежище Монрепо» нашли свое дальнейшее идейно-художественное развитие и образную конкретизацию типы, занимавшие писателя и ранее: «культурного человека» (владелец «Монрепо»), «чумазого» (Разуваев), «нового» бюрократа (Грацианов), служителя церкви («батюшка»). Особой сложностью отличается характерный для многих жанров художественной публицистики Салтыкова образ рассказчика—«исповедывающегося» владельца Монрепо, вмещающий в себя различные, нередко взаимоисключающие начала: рассказчик — «я», сближающийся в чем-то с самим Салтыковым, образ во многом автобиографический (особенно в «Общем обзоре»); «культурный человек» в разных его обличиях — пореформенный помещик, тщетно пытающийся «возродиться» и уступающий свои позиции буржуазии, либерал, легковесная оппозиционность которого улетучивается при первом натиске реакции; «человек сороковых годов», стыдящийся «двоегласия» современности, сторонящийся «ликующих» хищников, но сознающий свою «неумелость» и предпочитающий «непостыдное умирание»; экс-столп корнет Прогорелов, самокритически взирающий на свое прошлое и метко изобличающий новоявленных хозяев жизни,— вот некоторые из граней «многоликого» образа рассказчика.

Автор, он же и объект сатиры — таковы крайние точки диапазона, в пределах которого совершаются многочисленные перевоплощения повествующего лица.

Подобная разноплановость делает недопустимым одностороннее толкование образа повествователя, абсолютизацию какого-то одного начала, игнорирование его «многоликости».

Содержательный, а не формальный принцип должен быть положен и в основание разграничения голосов «я» с целью установления, где говорит

---

[1] См. об этом: А. С. Бушмин, Роман в теоретическом и художественном истолковании Салтыкова-Щедрина.— В кн.: «История русского романа», т. 2, «Наука», М.— Л. 1964, гл. VIII.

сам автор, а где — объективированный персонаж. Автор говорит *везде* и *всегда* — и тогда, когда выступает от своего «я», и тогда, когда «работает» голосом персонажа, подчеркивая с помощью разных художественных средств степень своего «несогласия» с ним и тем самым косвенно формируя у читателя представление о собственном взгляде на вещи.

Переход авторского «я» в «я» персонажа и наоборот осуществляется в основном на границе образно-художественного и отвлеченно-логического. В сценах, картинах, диалогах «я» «прикидывается» типичным представителем обличаемого мира, достойным собеседником Грацианова, Разуваева, «батюшки». В последующих или же предваряющих обобщенно-публицистических «рассуждениях», в ответственно-формулировочных высказываниях слово, как правило, берет сам Салтыков. Так, авторский голос хорошо различим в итоговых характеристиках «культурного человека», в отступлении о людях сороковых годов, в аттестациях «современности» — «жизни с двойным дном» — и «взбаламученного моря» «литературы», в «комментариях» к только что изображенной сцене с участием кабатчика Прохорова, в «тезисах» «мечтаний на тему о величии России», в публицистических «добавлениях» к эпизоду с разуваевским «туго набитым бумажником», в отступлении по поводу «модного слова» «сочувствователь» и «московской топительной программы», в «удивлениях» по поводу разуваевской «мудрости», выраженной знаменитым — «ён доста-а-нит!». В зависимости от того, в какой роли выступает повествующее лицо, заметно меняются и регистры собственно авторского «голоса»: снисходительная ирония над пытающимся хозяйствовать владельцем Монрепо; саркастическая издевка над дворянским либералом, охваченным «тревогами» самосохранения; горькое трезвое слово в адрес «умирающего» «сорокадесятника» — «рохли»; бескомпромиссный суд над крепостных дел мастером Прогореловым...

В публицистически-завершающем «Предостережении» условность прогореловской маски очевидна. Беллетристическая трансформация «открытого» авторского голоса, передача его функции голосу персонажа не дает оснований к тому, чтобы «освободить» Салтыкова от тех или иных формулировок и «списать» их на счет «обиженного» дворянина Прогорелова. Кстати, понимание «прогореловской» критики лишь как выражения обиды особо оговаривается: «не думайте, однако ж, кабатчики и менялы, что я сгораю к вам завистью и что именно это дурное чувство препятствует мне приветствовать вас. Нет, тут совсем не то».

Своеобразие формы выражения авторской мысли в «Предостережении» лишь подчеркивает главную идею произведения: пришествие русского «чумазого» — историческая неизбежность, но «нового слова», но желаемого «прогресса» оно не означает. «Мучительство», «гнусность» не прекращаются, а лишь принимают другие формы, видоизменяются.

Русский буржуа, «с ног до головы наглый, с цепкими руками, с несытой утробой», «не тронутый наукой и равнодушный к памятникам искусства»,

неукоснительно осуществляющий свою программу «распивочно и навынос», глубоко антипатичен Салтыкову[1]. Поддерживаемый властями, лишенный каких-либо революционных начал, какого-либо подобия «французскому сюжету», «чумазый» ненавистен писателю как истовый столпослужитель, тупой «знаменосец», которому неизвестны сердечные боления за «фикции» — «общество», «отечество», «правду», «свободу».

Гневная критика «мироедского периода» страдает у Салтыкова некоторой односторонностью, но она вовсе не тождественна народническим «приглашениям» «задержать» и «остановить»[2] капиталистическое развитие. Писатель не впадает в свойственные народникам «историческую бестактность», «романтизм», «вымысел докапиталистических порядков», не забывает того, что «*позади* этого капитализма нет ничего, кроме такой же эксплуатации»[3] — «ужасного крепостнического мучительства».

Наблюдая в России преимущественно «отсталые формы капитала»[4] — «чумазовское пришествие», Салтыков не мог видеть в русском капитализме прогрессивного явления.

«Последняя часть «Предостережения» весьма слаба, вообще автор не очень счастлив в своих положительных выводах»[5],— заметил Маркс на полях «Убежища Монрепо».

Изобличая эксплуататорскую, «чистоганную» природу «чумазовского» столпования, Салтыков, провозгласивший неустранимость «поворотов» истории, выражает надежду на то, что со временем «изноет и мироедский период». «Бессознательность», «хлопание глазами» — это главное условие крепкого стояния столпов — постепенно уступает место «пониманию» (Ленин определит позднее эту тенденцию пореформенной эпохи как «пробуждение человека в «коняге»[6]). Разуваеву, предрекает писатель, «предстоит столповать» в такое время, что даже и мелкоте приходит на ум: а что, ежели этот самый кус, который он к устам подносит, взять да и вырвать у него?». «Расчет» неизбежен; в исторической перспективе Разуваев — «пропащий человек».

Понятие «мелкота» лишено у Салтыкова классовой определенности; его предсказание не обосновано осознанием того, что «только развитие капитализма и пролетариата способно создать материальные условия и общественную силу для осуществления социализма»[7]. Тем не менее салтыковская сатира глубоко раскрывала «антагонистичность русского общества»,

---

[1] См. Е. Покусаев, Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, Гослитиздат, М. 1963, стр. 348—351, 360—364.

[2] В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 2, стр. 532.

[3] Там же.

[4] Там же, т. 1, стр. 385.

[5] К. Маркс, Замечания и пометки на книге М. Е. Салтыкова-Щедрина «Убежище Монрепо».— «Дружба народов», 1958, № 5, стр. 26.

[6] В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 403.

[7] Там же, т. 20, стр. 175.

боролась «против самой организации общества, порождавшей антагонистичность» [1].

Отстаивая радикально-демократические преобразования, Салтыков, подобно другим «шестидесятникам», не сознавал, что объективным смыслом этих преобразований была расчистка путей для буржуазного развития страны. Все его помыслы были направлены в сторону *социалистического* жизнеустройства.

Ленин отмечал, что протест народников против капитализма, сам по себе «совершенно законный и справедливый», «становится реакционной ламентацией» [2], когда ими «игнорируется, замалчивается, изображается случайностью» [3] буржуазное развитие, когда они встают на путь «мечтательного преувеличения значения общины» [4], на путь «мещанской утопии», относительно «нравственного», якобы лишенного буржуазности, «мелкого самостоятельного хозяйства» [5]. Для Салтыкова подобные «игнорирования», «преувеличения», «утопии» не характерны.

В «Убежище Монрепо» Салтыков успешно продолжил разработку давно занимавшего его творческое сознание «нового типа» — «третьего члена» русского пореформенного общества, создал выразительные образы кабатчиков и кулаков (Прохоров, Колупаев, Груздев, Разуваев). «Молодая буржуазия» показана преимущественно в плане ее социально-экономического конфликта с дворянским «старокультурным человеком среднего пошиба». Однако, верный жизненной правде, Салтыков не упускает из виду и другой, «мироедский» план.

Образы «мироедов» из «Убежища Монрепо», среди которых, несомненно, выделяется колоритная фигура «лихого купчины» Разуваева, непосредственно примыкают к героям цикла «Благонамеренные речи». Ближайшее родство Деруновых, Разуваевых, Стреловых, Груздевых как социальных и литературно-сатирических типов вполне очевидно. Печатью общности отмечены их «биографии», характеризующие фамилии, портретные зарисовки с неизменным мотивом «цветения» и наружного благообразия, речь. Общим является и отрицательный вывод писателя относительно притязаний Деруновых и Разуваевых на роль защитников «священных принципов» и «союзов». Они ничего не утвердят, резюмирует автор и «Благонамеренных речей» и «Убежища Монрепо»; бесчувственные и беспринципные, руководствующиеся исключительно интересами наживы, они являются фактически «самыми злыми и отъявленными отрицателями» тех «алтарей», «ревнителями» и «столпами» которых объявляют себя.

Колупаев и в известной степени Разуваев представлены сатириком не только как индивидуализированные образы, но и как нарицательные имена, характеристичные обозначения людей деруновской генерации.

---

[1] В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 293.
[2] Там же, стр. 400.
[3] Там же, стр. 397.
[4] Там же, стр. 386.
[5] Там же, стр. 400.

Сатирическая выразительность, емкость, «собирательность» «разуваево-колупаевского типа», засвидетельствованные уже современниками писателя [1], закономерно превращают его в тип нарицательный, в символ буржуазного хищничества вообще. Неоднократно использовал образы Разуваева и Колупаева в своих работах и выступлениях В. И. Ленин [2].

«Чумазый» Салтыкова — яркая иллюстрация к ряду известных характеристик буржуазии авторами «Манифеста Коммунистической партии».

Своеобразным «знакомым незнакомцем» представлен в «Убежище Монрепо» становой Грацианов, внешне претерпевший большие изменения по сравнению с дореформенным «курощапом», но внутренне оставшийся прежним *держимордой*, услужливым исполнителем «топительных» предначертаний правительства. Новая «становая система», которую он осуществляет, характеризуется дальнейшим усилением полицейского произвола, утверждением таких беспардонных форм «внутренней политики», как соглядатайство и сыск.

С большим сатирическим мастерством обрисован в «Убежище Монрепо» сельский батюшка — «платный наемный работник» [3] господствующего режима, союзник Грацианова и столпов-кабатчиков.

Образы Грацианова и «батюшки» продолжают линию «новейших» бюрократов и «охранителей» из «Благонамеренных речей» (Колотов, Терпибедов, отец Арсений), еще более выявляя тесную связь этих циклов (в очерке «Охранители» встречается, кстати, и само слово «Монрепо» — см. т. 11, стр. 57).

В системе художественно-публицистических обобщений «Убежища Монрепо» есть еще одно, получившее собирательное обозначение,— «серый человек». С ним связан один из давних и «больных» для писателя вопросов — вопрос о народе.

Положение «серого человека» безотрадно: он «изнывает в тенетах круговой поруки», он «изнемогает от нищеты, поборов, недостатка питания, тесноты жилищ», он «ужасно задавлен». Эксплуатация облегчается тем, что «серый человек» находится под «игом невежественности» и «бессознательности». С болью констатирует автор «Убежища Монрепо» отсутствие у «простеца» (по терминологии «Благонамеренных речей») классового самосознания, что нередко делает его «увеселителем» «разноплеменных хищников»

---

[1] См., например, Вл. Михневич, Наши знакомые, СПб. 1884, стр. 70.

[2] См.: «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» (т. 1, стр. 234); «Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905—1907 годов» (т. 16, стр. 404); «Кадеты о «двух лагерях» и о «разумном компромиссе» (т. 20, стр. 138); «Речь на II Всероссийском съезде Советов народного хозяйства» (т. 37, стр. 400); «Маленькая картинка для выяснения больших вопросов» (т. 37, стр. 411); см. также использование Лениным таких характерных выражений автора «Убежища Монрепо», как «ён достанет» (т. 5, стр. 174; т. 21, стр. 119), «навынос и распивочно» (т. 22, стр. 44), «чумазый» (т. 16, стр. 403; т. 36, стр. 264).

[3] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 4, М. 1955, стр. 427.

и даже «опорой» существующего порядка («потому что,— как свидетельствует Грацианов,— мужичка в какую сторону хочешь, туда и поверни»).

Задача вызволения крестьянства из-под ига бессознательности может быть решена путем сближения с народом передовой интеллигенции («мыслящего человека»), путем революционного просветительства, чуждого консервативно-либеральных заигрываний с «меньшей братией».

Досужие просветительные поползновения дворянского либерала, так или иначе приспособляющего «свои действия к вкусам и идеалам станового», в лучшем случае оказываются бесполезными. Изображать же «подвижников», с их «полным непрерывного горения существованием», тогда, когда только «самые обыкновенные представители культурной массы», их действия и помыслы могут быть «свободно исследуемы», не представлялось писателю возможным. «Новый человек», с его протестом против настоящего, с его идеалами будущего,— как заявлял Салтыков еще в «Дневнике провинциала»,— «самою силою обстоятельств устраняется из области художественного воспроизведения...» (см. т. 10, стр. 527).

Но именно «подвижники» способны «возвыситься до той сердечной боли, которая заставляет отождествиться с мирскою нуждою» и без которой немыслимо святое дело «исцеления» серого человека.

Актуальность и содержательность проблематики «Убежища Монрепо» сразу же привлекли к нему внимание тогдашнего читателя. В 1878—1880 годах — в период журнальной публикации произведения и выхода в свет отдельного издания — в периодической печати (не только столичной, но и провинциальной) появилось много литературно-критических откликов [1].

Большинство из них составляют сочувственные отзывы (рецензии и заметки в обзорах «текущей литературы») либерального толка [2]. Однако положительные оценки нередко соседствуют тут со всевозможными оговорками, двусмысленными комплиментами, откровенным непониманием или искаженным толкованием идейного замысла и творческого метода «маститого сатирика». Особенно показательны в этом отношении отзывы В. Буренина в «Новом времени» (1879, №№ 1080 и 1259). Встречаются в либеральной печати и враждебно-отрицательные отклики («Русск. мир», 1878,

---

[1] Свыше сорока их зарегистрировано в указателе Л. М. Добровольского «Библиография литературы о М. Е. Салтыкове-Щедрине», 1848—1917, М.— Л. 1961, стр. 72—98.

[2] См.: А. Вв—ский <А. И. Введенский>, Русск. журналистика.— «Русск. правда», СПб. 1879, № 119, 1 сентября; Петр В—б—ъ <П. И. Вейнберг>, Наша текущая литература.— «Молва», М. 1879, № 232, 24 августа; С. И. Сычевский, Журн. очерки.— «Правда», Одесса, 1879, № 232, 25 октября, а также: «Киевлянин», 1879, № 147; «Сарат. дневник», 1879, № 55; «Совр. известия», 1879, № 279; «Сын отечества», 1878, № 205, 1879, №№ 48, 220, 269; «Русск. курьер», 1880, №№ 7 и 53, и др.

№ 231; «Новости», 1879, № 228; «Петерб. листок», 1879, № 198; «Новое время», 1879, № 1294; «Газета А. Гатцука», 1879, № 48).

Несколько статей, посвященных «Убежищу Монрепо», появилось в «толстых» журналах.

Меткость нового «щедринизма», давшего заглавие всему циклу, была отмечена критикой. «В этом слове,— свидетельствовал Евг. Марков,— заключалось все: и поверхностная игривость отношений к такому серьезному предмету, как монополия землевладения; и маниловская буколика, навеянная плохими французскими книжками и еще более плохими гувернантками; и самообожающий эгоизм, наивно воображающий всех счастливыми, когда счастлив он сам, не подозревающий пред собою никакого серьезного долга, никакой возможности серьезного будущего, добродушно мечтающий только о своих радостях, только о своем покое <...> В широком смысле Монрепо — это унаследованные от крепостнического дворянства наша всесословная духовная вялость, наше ничтожество труда и воли, наше отсутствие твердых общественных идеалов, наше малодушное запирание себя в раковину пустых личных интересов <...> Монрепо — это вся наша культурная Русь».

По мнению критика, «...сатирическая трилогия: «Тревоги и радости в Монрепо», «Монрепо — усыпальница», «Finis Монрепо» представляют собою одно из замечательнейших произведений талантливого сатирика за последнее время» [1].

Весьма сочувственно отозвался об отдельном издании «Убежища Монрепо» Боборыкин. Обратив внимание на такую особенность салтыковской повествовательной манеры, как «раздваивание» автора,— «в нем... живут два человека: один, принадлежавший к своей эпохе, к известному собирательному целому, а другой индивидуальный»,— рецензент видит проявление «индивидуального человека» в искренних, «до боли сердечной» признаниях в любви к отечеству. После них «вам легче становится читать его беспощадные картины русской жизни, вы сознаете, что еще не вывелись в вашем отечестве люди, которые так вобрали в себя лучшие душевные силы страны и с такой энергией поддерживают совесть на высоте человеческого идеала» [2].

В связи с характеристикой в «Петербургских письмах» «провинциального грамотного человека» Г. Успенский посоветовал читателю не подводить «под один тип умирающего обитателя Монрепо» «всю культурную... грамотную часть деревенских жителей» [3].

Наконец, отметим положительную рецензию, опубликованную без подписи в журнале «Дело» (1880, № 1) и принадлежащую Н. С. Русанову (авторство раскрыто в его статье «Щедрин — общественный провидец» [4]).

[1] Евг. Марков, Сатира и роман в настоящем году.— «Русск. речь», 1879, № 12, стр. 246—249.

[2] П. Боборыкин, Убежище Монрепо. Сочинение М. Е. Салтыкова (Щедрина), СПб. 1880.— «Критич. обозр.», 1880, № 4, стр. 171, 177.

[3] «Русские ведомости», 1879, № 273, 31 октября; Г. И. Успенский, Полн. собр. соч., т. VI, Изд-во АН СССР, 1953, стр. 258.

[4] «Образование», 1909, № 5, стр. 4 второй пагинации.

Цикл «Убежище Монрепо» состоит из пяти очерков, печатавшихся в «Отечественных записках» в 1878—1879 годах за подписью «Н. Щедрин». Первый очерк был опубликован как самостоятельное произведение под названием «Убежище Монрепо». Замысел цикла определился в процессе работы над вторым очерком «Тревоги и радости в Монрепо». В первом отдельном издании очерк «Убежище Монрепо» был назван «Общий обзор», а весь цикл получил его первоначальное наименование. Очерки появлялись в журнале в том порядке, в каком они были собраны в книгу. Малочисленность рукописных источников (известны лишь черновые автографы очерков «Общий обзор» и «Finis Монрепо»), полное отсутствие документальных данных о работе Салтыкова над циклом лишают возможности воссоздать его творческую историю. Несомненно, однако, что разрыв между работой писателя над очерком и временем появления его на страницах журнала был невелик.

Из всех произведений цикла внимание цензуры привлекли только два: «Тревоги и радости в Монрепо» и «Finis Монрепо». Впервые соответствующие цензурные материалы опубликованы Евгеньевым-Максимовым[1]. Более полно, но не исчерпывающе цензурная история цикла изложена С. Н. Соколовым в статье «К вопросу о цензурной истории «Убежища Монрепо» М. Е. Салтыкова-Щедрина»[2]. В архивном деле об издании «Отечественных записок» остались документы, не привлекавшиеся еще к анализу истории текста «Убежище Монрепо» и не учтенные, в частности, С. Н. Соколовым, что лишает доказательности его текстологические предложения (см. стр. 737).

Формально прижизненных изданий было три: первое — в 1880 году, второе (не помеченное «вторым») — в 1882 году (с указанием на обложке: 1883) и, наконец, третье, помеченное вторым — в 1883 году. Фактически таких изданий было два. Дело в том, что тираж издания, напечатанный во второй половине ноября 1882 года, не мог, конечно, разойтись в том же году. Поэтому оставшаяся часть тиража (тот же набор) была выпущена с тем же титульным листом, но в новой обложке: «Убежище Монрепо, Сочинение М. Е. Салтыкова (Щедрина). Издание второе. С.-Петербург, 1883». Сам автор считал это издание — вторым.

Тексты обоих изданий, 1880 и 1882 (1883), содержат ряд мелких стилистических расхождений. Кроме того, в них фамилия Прокофьева заменена на Прохорова, Колупаева — на Ковыряева (только в *Изд. 1880*), сотские — на «урядники» *(Изд. 1883)*.

Цикл «Убежище Монрепо» печатается по тексту второго издания с исправлением опечаток и пропусков по предыдущим изданиям и рукописям и с устранением цензурной купюры в очерке «Finis Монрепо».

Рукописи, относящиеся к «Убежищу Монрепо», хранятся в *ИРЛИ* и *ГПБ*.

---

[1] В. Е. Евгеньев-Максимов, В тисках реакции, М.— Л. 1926, стр. 65—68.

[2] «Уч. зап. Старо-Оскольского гос. пед. ин-та», 1957, вып. 1, стр. 86—99.

ОБЩИЙ ОБЗОР

(Стр. 265)

Впервые — *ОЗ,* 1878 (вып. в свет 17 авг.), № 8, стр. 461—488, под заглавием «Убежище Монрепо».

Сохранились следующие черновые рукописи: 1) ранней редакции (от слов: «я довольно долгое время ездил по летам в подмосковную...», стр. 265, и кончая словами: «...на скотном дворе стоит штук до десяти травоядных, без которых деревня перестала бы быть деревней», стр. 289) и 2) поздней редакции (от слов: «потому что хоть и распостылая эта Заманиловка...», стр. 272, и кончая словами: «...а именно: не наше дело», стр. 292 *(ИРЛИ);* 3) начальный (двойной) лист второй рукописи (от слов: «отчего отдохнуть — это вопрос особый...» и кончая словами: «...одни едут поневоле») хранится в *ГПБ.*

Ранняя рукописная редакция не совпадает с поздней.

Стр. 278, строка 22. После слов: «и вам совестно» — в ранней редакции было:

Однажды год тому назад мне лично случилось заметить в начале мая на краю поля каток. Предполагали укатывать посев тимофеевки, но так как пошел дождь, то лошадь отпрягли для других надобностей, а каток оставили. Я положил в сердце своем напоминать об этом катке только однажды в месяц. Напомнил один раз — «непременно-с! завтра же уберем!». Напомнил второй раз (через месяц) — «ах, господи! совсем из памяти вон!». Напомнил в третий раз — «и что вы об катке беспокоитесь!». В четвертый раз не напоминал, ибо видел, что надоел, и самому сделалось совестно. Очень возможно, что каток и поднесь лежит на том самом месте, куда привела его слепая случайность.

Обе рукописи наряду с разночтениями стилистического характера, отражающими степень завершенности текста, содержат следующий вариант, вычеркнутый в рукописи поздней редакции.

Стр. 283, строка 1 сн. После слов: «прописной морали» — было:

Он сам очень серьезно убежден, что главное, на чем зиждется мир,— это отсутствие строптивости, покорность в перенесении бедствий, что все остальное, как-то: довольство, производительность, изобилие плодов земных и т. п.— все это придет само собою, коль скоро главная задача будет выполнена. Это дошло до него еще от крепостного права. Бывало, наши папеньки и маменьки не налюбуются на смиренных мужичков. «Вот он смирный-то, все у него есть: и картофельцу, и капустки, и хлебца, и молочка! а избушку починить надо — леску ему, смирному-то, помещик даст!» Так говорили те из прежних помещиков, которые и сами были смирны и даже по-своему человечны. А от них эта человечность перешла и к нам. Пусть так, пусть будут эти взгляды и человечны, и даже правильны, но не надо скрывать от себя, что они ничьей нужды не умалят и никого не просветят. Особливо теперь, когда даже ответственность за исправный платеж серым человеком податей уже не лежит на культурном человеке. И еще не надо забывать, что эти взгляды совершенно тождественны с взглядами становых, сотских, волостных старшин и других предержащих властей. Вся разница лишь в том, что сотский всегда готов подкрепить свой взгляд скверным словом, а культурный человек выражается мягче, хотя, впрочем, и не всегда чужд сквернословия.

Очерк целиком посвящен полемике Салтыкова с «утопистами» деревенского дела (см. стр. 699). Суждения о бесперспективности хозяйствования «культурного человека» учитывают собственный опыт ведения хозяйства в Витеневе и Лебяжьем.

Рассматриваемый очерк, поднимавший «один из интереснейших вопросов — <...> отношения культурного человека к деревне» («Новоросс. телеграф», 1878, № 1065, 14 сентября), оживленно обсуждался в периодической печати той поры.

И. Б — ков из «Русск. мира» (1878, № 231, 25 августа) попытался поставить под сомнение салтыковское решение этого «громадного вопроса» (по мнению рецензента, выступающего от лица «русских образованных людей», деревенское дело — «наше дело»), попутно отказав «высокоталантливому» писателю в способности решать «широкие сатирические задачи» и объявив его «фатальным» уделом «осмеяние более или менее мелких отношений в жизни русского общества».

В симферопольской газете «Крымск. листок» появилась статья «Новая сатира г. Н. Щедрина», неизвестный автор которой писал: «В нынешней книге помещен очерк г. Н. Щедрина «Убежище Монрепо», и одной этой статьи было бы достаточно, чтобы придать книге особый интерес и значение. В новом очерке г. Щедрин, продолжая свою благотворную борьбу с общественным злом и пороками, по-прежнему казнит их бичом своей неотразимой сатиры, обнаруживая при этом неистощимый запас средств и наблюдений <...> В рассказе своем «Убежище Монрепо» г. Щедрин занимается разрешением вопроса, что такое наш культурный человек и чего он может ожидать от деревни; при этом, говоря о деревне, он высказывает много новых метких заметок о *кабаках* и *кабачниках* и их значении в крестьянской среде» (1878, № 58, 31 августа).

Буренин, говоря о русском культурном человеке, который никакой «своей связи ни с каким настоящим плодотворным трудом не признает», замечал: «Г. Щедрин в своем новом сатирическом этюде «Убежище Монрепо» разрабатывает эту черту апатичного и шалопайного существования современного русского культурного человека <...> и приводит читателя к такому выводу, что ни на что, кроме тунеядства под маской форменного труда и «художественных» наслаждений, современный культурный человек не пригоден, что ничего, кроме эгоистической апатии к деятельной жизни, он не заключает в себе...» [1]

По мнению литературного обозревателя, укрывшегося за инициалами Г. Т., «жизнь русских *господ* незадолго до реформ и в особенности после их введения никем из русских беллетристов не была понята так скоро и глубоко, как Щедриным». Он — «лучший бытописатель» «усилившегося мещанства, прокутившегося дворянства и либеральничающей и вместе с тем полицействующей части бюрократии» [2].

---

[1] В. П. Буренин, Лит. очерки, *НВ*, 1878, № 901, 1 сентября.
[2] «Тифл. вестник», 1878, № 203, 12 сентября.

Стр. 265. *Летом города населяются дулебами, радимичами, вятичами и проч.*— Названия древнерусских племен. Применительно к понятиям «культурного человека» (см. стр. 270—271) — ироническое обозначение крестьян, в летнюю пору из разных мест стекавшихся в города на заработки.

Имение это я приобрел тотчас вслед за уничтожением крепостного права...— Речь идет о неоднократно фигурирующем в произведениях Салтыкова (см., например, «Благонамеренные речи», т. 11) его подмосковном имении Витенево (недалеко от станции Пушкино Ярославской железной дороги), купленном в 1862 году и проданном в 1877 году.

...действуя всеми тремя поставами...— то есть тремя мельничными установками — парами жерновов, в каждой из которых нижний неподвижен, а верхний вращается на нем.

Стр. 267. *...старосте Лукьянычу...*— Появляющийся далее в качестве действующего лица и известный из цикла «Благонамеренные речи» (см. т. 11, стр. 113) «верный слуга» Лукьяныч, несомненно, «списан» писателем «с натуры», «взят из жизни» (ср. с Федотом Гавриловым из «Пошехонской старины»).

Стр. 268. *...старое, насиженное гнездо, по воле случая, не дошло до рук...*— Родовая вотчина Салтыковых — Спас-Угол — при разделе имения отошла к старшему брату писателя — Д. Е. Салтыкову; благоустроенная усадьба близ Ермолина, резиденции матери после смерти Е. В. Салтыкова, «не дошла до рук» из-за сыновнего непослушания — отказа жениться на дочери богатого помещика Стромилова (см. *Макашин,* стр. 390—391).

Стр. 270. *Пришли люди, прикосновенные к постройке храма Христа-спасителя...*— По инициативе Александра I, но уже после его смерти в 1837 году под руководством высочайше утвержденной комиссии началось в «ознаменование благодарности к промыслу божию за спасение России от врагов» («Манифест от 25 декабря 1812 г.») строительство большого по масштабам и стоимости храма Христа-спасителя в Москве. На первой стадии строительства были совершены разного рода серьезные финансовые злоупотребления и хищения, и многие лица нажились на этом строительстве (см. А. И. Герцен, «Былое и думы», ч. II, гл. XVI, Собр. соч., т. VIII, М. 1956).

Оставим Энгельгардтам доказывать...— о полемике с Энгельгардтом см. стр. 699—700, а также и письма к нему в т. 19.

Стр. 270—271. *Недаром генерал Шангарнье...*— Этот иронический пассаж нужен Салтыкову для «документированного» подтверждения крайне поверхностных («эстетических») представлений «культурного человека» о деревенской жизни и деревенском деле; одновременно он является сатирическим выпадом в адрес «образованного» усмирителя французских рабочих в период восстания 1848—1849 годов.

Стр. 272. *Шпицбал* — большой платный вечер танцев.

Заманиловка — излюбленное у Салтыкова обозначение родового дворянского поместья, восходящее к «Мертвым душам» Гоголя.

Стр. 273. *...хотя и не без вздоха вспоминаю Тургенева...*— Ироническая реплика в адрес «правдивейшего и художественнейшего описателя» «дворянских гнезд» вызвана полемикой Салтыкова с традиционным «семейственным» романом Тургенева, Гончарова, Толстого и других писателей, уделявших, как он полагал, неоправданно много внимания разработке «помещичьих любовных дел».

Стр. 275. *Братья Бутеноп* — известные поставщики сельскохозяйственных машин, по терминологии тех лет — «машинисты». В специальной литературе отмечалось несоответствие между техническими данными рекламируемых ими машин и получаемыми на практике результатами (см. А. Бажанов, Опыты земледелия вольнонаемным трудом, СПб. 1861, стр. 105).

Серый человек — то есть крестьянин, как и значилось в автографе (термин Энгельгардта).

Стр. 276. *...г. Бажанов издал книгу о плодопеременном хозяйстве <...>, а г. Советов — книгу о разведении кормовых трав.*— Имеются в виду следующие книги известных в те годы агрономов: «Опыты земледелия вольнонаемным трудом» (1861) А. М. Бажанова, снабженная множеством рисунков русских и заграничных сельскохозяйственных машин, и «О разведении кормовых трав на полях» (1859) А. В. Советова.

Закипела деятельность <...> появились люди <...> преимущественно молодые <...> накуплено было множество орудий <...> начался обмен мыслей о том, что пристойнее: сам-десят или сам-двенадцат <...> приступлено было и к действительным распоряжениям по Бажанову и Советову.— Эти и другие детали рисуемой Салтыковым картины хозяйственного возбуждения («сований») определенной части поместного дворянства прямо перекликаются с некоторыми местами из статей Энгельгардта. Например, «...многие из молодых, застигнутых по деревням на хозяйстве, пробовали продолжать хозяйничать, думая вести хозяйство по-новому, по «агрономии», как здесь говорят. Стали выписывать «труды», «Земледельческую газету», читать Бажанова, Советова <...> Заведя батрачное хозяйство, бросились на машины, надеясь, что машины будут работать сами собою и что стоит только вспахать землю плугом с почвоуглубителем, чтобы получить урожай сам-двенадцат. Кто-то сказал, что вся суть дела заключается в скотоводстве, и все бросились на скот, покупали и голландский, и альгауский, и ярославский <...> скот; стали сеять клевер, вику, турнеты, заводили и кормовую свеклу, и рутабагу» (*ОЗ*, 1876, № 1).

Стр. 277 *...У Бажанова говорится, что двое рабочих, при двух исправных плугах, легко могут вспахать в день казенную десятину.*— Салтыков довольно точно приводит по памяти («помнится...») один из расчетов и нормативов — «уроков», содержавшихся в книге Бажанова (см. стр. 85); казенная десятина — см. прим. к стр. 219.

Стр. 278. *...бежит в объятия земских учреждений, мирового института...*— Уход «прогоравших» поместных дворян «на службу» был характерным явлением тех лет. Об отношении Салтыкова к земским учреждениям см. т. 7, стр. 617; мировой институт — институт мировых посредников, введенный после отмены крепостного права для урегулирования спорных вопросов между крестьянами и помещиками.

Стр. 279. *Выкупные свидетельства* — процентные бумаги, выдававшиеся казной помещику по совершении земельной сделки между ним и «вольными» крестьянами и составлявшие 70—80% всей выкупной суммы, погашаемой затем выкупными крестьянскими платежами.

Кийждо — каждый, всякий (церковнослав.).

Стр. 282. *...изнывает в тенетах круговой поруки...*— Имеется в виду ответственность крестьянской общины за своих членов, «сковывавшая» крестьян «по рукам и ногам», отдававшая их в «кабалу» к кулакам и «облегчавшая» властям контроль над деревней.

Стр. 283. *...выражение «становой» употреблено не в буквальном смысле.*— Понятие «становой» используется здесь в переносном смысле, обозначая самый строй, систему самодержавной власти.

Стр. 284. *...той помпадурши, которая <...> восклицала: глупушка! нашалил — и уехал!* — См. т. 8, цикл «Помпадуры и помпадурши» (очерк «Старая помпадурша»).

Стр. 284—285. *...о которой древле сказано: блюдите да опасно ходите.*— Не совсем точная цитата из Евангелия. В подлиннике: «Блюдите убо, како опасно ходите, не якоже немудри, но якоже премудри...», то есть: «Итак, смотрите поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые...» (Послание к ефесянам святого апостола Павла, гл. 5, ст. 15).

Стр. 285. *...идти вперед, вышнего града взыскуя.*— Выражение восходит к евангельскому тексту : «Не имамы бо зде пребывающаго града, но грядущаго взыскуем», то есть: «Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего» (Послание к евреям святого апостола Павла, гл. 13, ст. 14). «Взыскующие вышнего града» — одно из обозначений сторонников нового жизнеустройства, поборников социальной справедливости.

...в своем новом углу...— В 1877 году Салтыков приобрел на берегу Финского залива небольшую усадьбу Лебяжье, вскоре проданную им за убыточностью.

...«хладных финских скал» — из стихотворения Пушкина «Клеветникам России» (1831).

Стр. 286. *Чухны* (чухонцы) — прозвание финнов, живших в пригородах Петербурга.

ТРЕВОГИ И РАДОСТИ В МОНРЕПО

(Стр. 292)

Впервые — *ОЗ*, 1879, № 2, (вып. в свет 21 февраля), стр. 569—602.

Сохранилась писарская копия *(ГПБ)*, происхождение которой неизвестно, но она, по-видимому, близка к тексту, запрещенному цензурой.

Этот очерк под названием «В добрый час» был исключен из № 11 «Отеч. записок» за 1878 год. Донесение Н. Е. Лебедева в С.-Петербургский цензурный комитет о данном номере журнала посвящено очерку «В добрый час» и статье «Принципы земского обложения». Разобрав оба произведения, цензор в своем заключении писал: «Находя, что как очерк Щедрина «В добрый час», ничем не отличающийся от прочих сатирических сочинений его, пропущенных цензурою, так и статья «Принципы земского обложения», в которой излагается бедственное положение крестьян вследствие чрезмерного обложения всякого рода поборами, не могут считаться настолько вредными, чтобы служить поводом к аресту ноябрьской книжки «Отеч. записок», но, во всяком случае, цензор считает нужным о содержании обеих поименованных статей донести Главному управлению по делам печати для характеристики направления означенного журнала» (*ЦГИАЛ*, ф. 777, оп. 2, ед. хр. 60, л. 308 в).

Неизвестно, под влиянием каких обстоятельств, но Н. Е. Лебедев существенно изменил донесение. Исключив отзыв о статье «Принципы земского обложения» и свое заключение, он оставил лишь разбор очерка «В добрый час», предложив за напечатание его подвергнуть книжку журнала аресту. Но и в таком виде донесение претерпело ряд изменений. В деле об издании «Отеч. записок» оно существует в нескольких вариантах. Приведем его по журналу заседания С.-Петербургского цензурного комитета от 18 ноября, то есть в том виде, в каком оно рассматривалось комитетом:

«Доклад цензора Лебедева о ноябрьской книжке журнала «Отечественные записки», представленный комитету ноября 17-го дня 1878 года.

В ноябрьской книжке «Отечественных записок», представленной комитету 16-го текущего ноября, обращает на себя внимание цензуры своею предосудительностью статья «В добрый час» Н. Щедрина (стр. 223—256). Этот очерк составляет едкую сатиру на преобразованную сельскую полицию, именно на становых и на урядников. Проводя параллель между прежнею дореформенною сельскою полициею и настоящею, автор отдает преимущество первой, находя, что хоть прежние становые, которых народ титуловал «куроцапами», были и менее образованны, но зато они не старались залезать в душу человека и отыскивать в тайниках ее различные неблагонамеренные тенденции. Теперешние же становые, принявшие в свое заведывание *«основы и краеугольные камни»*, наделенные даром читать в сердцах человеческих, получили еще себе в помощники для своих изысканий урядников (стр. 224, 226, 227, 228, 230, 231, 232).

На страницах 241—246 для характеристики воззрений станового новейшего покроя на предстоящие ему обязанности, автор влагает в уста становому речь, обращенную к сотским, пропитанную едким сарказмом, и в этой речи уже без церемоний к числу обязанностей становых причисляет шпионство, соглядатайство, преследование литераторов и вмешательство во внутреннюю, сокровенную жизнь обывателя. (Нельзя не заметить, что эта речь станового напоминает в карикатуре другую речь, недавно произнесенную градоначальником одного из городов Южной России при вступлении в должность[1].)

Автор приходит окончательно к такому выводу, что при таком положении вещей жить в свое удовольствие могут только одни кабатчики и так называемые благонамеренные люди.

Находя, что в сатирическом очерке Щедрина выставлены в карикатурном виде без всякого замаскирования чины земской полиции, а именно становые пристава и только что учрежденные урядники, что в круг их обязанностей включены такие, которые вовсе не входили и не могли входить в правительственную программу, что вследствие такого осмеяния этих полицейских должностей роняется в общественном мнении их авторитет и значение, а с другой стороны искажаются в самом неблагоприятном смысле действительные цели правительства, бывшие в виду при учреждении этих должностей, цензор признает статью Щедрина «В добрый час» настолько вредною, что по отношению к ней считает нужным применить к ноябрьской книжке «Отечественных записок» закон 7 июля 1872 года.

Соглашаясь с вышеприведенною оценкою цензурного значения статьи и принимая во внимание объявленное на основании высочайшего повеления сентября 1-го дня 1878 года распоряжение господина министра внутренних дел о недопущении в периодических изданиях порицания действий полиции и возбуждении к ней недоверия и неуважения, цензурный комитет признает необходимым применить к ноябрьской книжке «Отечественных записок» статью 1 высочайше утвержденного 7-го июля 1872 года мнения Государственного совета, о чем и определил представить начальнику Главного управления по делам печати для доклада господину министру внутренних дел» (*ЦГИАЛ,* ф. 777, оп. 2, ед. хр. 60, лл. 304—305).

Не желая подвергать номер аресту, председатель С.-Петербургского цензурного комитета А. Г. Петров предложил Салтыкову заменить очерк «В добрый час» каким-нибудь другим произведением. В письме на имя начальника Главного управления по делам печати В. В. Григорьева от 18 ноября он докладывал:

«Честь имею довести до сведения Вашего превосходительства, что помещенный в ноябрьской книжке «Отечественных записок» сатирический очерк Н. Щедрина под заглавием «В добрый час» оказался весьма неудобным.

[1] Имеется в виду речь одесского градоначальника А. К. Гейнса, см. стр. 724.

Это едкая сатира на преобразованную сельскую полицию. При всей неопрятности и неблаговидных качествах прежних чинов полиции, которых народ титуловал куроцапами, автор отдает им предпочтение пред представителями новой, которые, взявши на себя охранение основ и краеугольных камней, задались мыслию читать в сердцах граждан и получили себе помощников в лице новых урядников. В уста станового нового покроя влагается речь к его подчиненным, которая есть не что иное, как пародия речи одесского градоначальника Гейнца. В ней шпионство и соглядатайство прямо ставятся в обязанность полицейским властям.

Такое осмеяние новой полиции и самих мотивов ее преобразования показалось нам особенно неуместным после сентябрьского циркуляра министра, изданного на основании высочайшего повеления.

Вследствие доклада цензора и по представленному мне уполномочию я, предварительно представления Вашему превосходительству о задержании книги, вошел в аккомодацию с редактором об исключении или переделке статьи. Он предпочел заменить ее другой и на сей конец испросил возвратить ему представленные в комитет экземпляры для вторичного представления в измененном виде» (*ЦГИАЛ,* ф. 853, оп. 2, ед. хр. 69, л. 35).

В свою очередь 18 ноября Салтыков писал в цензурный комитет: «Желая сделать в 11-ом № «Отечественных записок» некоторые изменения, я прошу комитет возвратить прёдставленные экземпляры, взамен которых будут доставлены новые». Как только новые экземпляры одиннадцатого номера журнала поступили в комитет, секретарь комитета Н. И. Пантелеев на донесении Н. Е. Лебедева написал: «Статья «В добрый час» исключена из журнала, посему оставить доклад без изменений».

Но Салтыков не смирился с запрещением очерка и 20 ноября обратился к В. В. Григорьеву с просьбой разрешить «поместить прилагаемый рассказ в декабрьской книжке журнала, не подвергая, ради его, книжку задержанию»[1]. В результате длительных переговоров Салтыкову, по-видимому, все же удалось заручиться согласием Григорьева на помещение в переработанном виде очерка «В добрый час» под названием «Тревоги и радости в Монрепо». В письме к Энгельгардту Салтыков сообщал:

«Институт урядников зачислен в число священных, и писать об нем, яко об институте, или возвести урядника в перл создания — значит совершить преступление. У меня весь этюд «Тревоги в Монрепо» таким образом перепакостили, выкинув все, что касается урядников. Он был еще в ноябрьской книжке напечатан. Вырезали и с тех пор, в течение 3-х месяцев, вели pourparlers[2]. Слова «занимается пропагандами» я должен был заменить словами: «занимался филантропиями», что вышло даже лучше. По сему можете судить и о прочем; а между прочим и о том, почему в Вашей статье получились некоторые пропуски».

Но и в переработанном виде «Тревоги и радости в Монрепо» снова об-

---

[1] *ЛН,* т. 67, стр. 498.
[2] переговоры.

ратили внимание цензора Лебедева. Его донесение о второй книжке «Отеч. записок» за 1879 год посвящено статье Н. Ф. Анненского «Государственная роспись на 1879 год» и очерку Салтыкова[1]. Лебедев находил оба произведения «весьма предосудительными и вредными», а в «Тревогах и радостях в Монрепо» обнаруживал «явное презрение к правительству, прибегающему к шпионству, как главному орудию самосохранения», в очерке, полагал он, «искажается и осмеивается полиция и характер ее деятельности» и доказывал, что «настоящее произведение Щедрина» является «крайне предосудительным, неблагонадежным и вредным». В этом отзыве содержится также текст, зачеркнутый Лебедевым и не воспроизведенный в публикации Евгеньева-Максимова: «Изложив содержание этого очерка, цензор остается при прежнем своем мнении, представленном в донесении о ноябрьской книжке «Отечественных записок», то есть о крайнем вреде этой статьи и о применении к февральской книжке закона 7 июля 1872 года». Исходя из этого, Лебедев считал необходимым подвергнуть второй номер журнала аресту. Ознакомившись с его донесением, С.-Петербургский цензурный комитет одобрил это предложение. Однако Григорьев с ним не согласился. Такую позицию начальника Главного управления по делам печати, очевидно, можно обьяснить только тем, что между ним и Салтыковым существовала предварительная договоренность, о которой не знали ни Лебедев, ни цензурный комитет. Договоренность эта была достигнута в результате переговоров после упомянутого выше письма Салтыкова к Григорьеву от 20 ноября. Поэтому, чтобы сдержать свое обещание, Григорьев обратился к министру внутренних дел Л. С. Макову со следующим письмом:

«С.-Петербургский цензурный комитет внутренней цензуры представил о задержании февральской книжки «Отечественных записок» (находящейся еще в рассмотрении) и о применении к ней высочайше утвержденного мнения Государственного совета июля 7-го 1872 года. Основанием к такому задержанию полагает комитет нецензурность двух статей в этой книге: «Тревоги и радости в Монрепо» Щедрина и «Государственная роспись на 1879 год». Ни ту, ни другую из этих статей не могу я признать вредною и опасною в такой степени, чтобы предстояла необходимость уничтожить их путем закона 7-го июля 1872 года. Что касается до произведений Щедрина, то они, как сатирические, естественно, представляют вещи не в их настоящих размерах; преувеличение же, в которое он постоянно вдается, имеет результатом, что читатель проникается не злобою, не негодованием, а смехом. Таков и его рассказ «Тревоги и радости в Монрепо». Рассмотрение «Государственной росписи на 1879 год», конечно, не заключает в себе панегирика нашему финансовому управлению: но печать имеет, по закону, право на такое рассмотрение, лишь бы сделано оно было в приличных формах. Притом статья «Отечественных записок» по этому предмету не заключает ничего нового противу того, что высказано уже в печати о росписи на 1879 год.

---

[1] В. Е. Евгеньев-Максимов, В тисках реакции, М.—Л. 1926, стр. 65—67.

Поэтому я полагаю, что нет достаточных оснований задерживать и представлять в Комитет министров для уничтожения февральскую книжку «Отечественных записок», тем более что по выходе ее в свет она может быть рассмотрена Советом Главного управления по делам печати и признана, если окажется нужным, заслуживающею второго предостережения.

Соображения эти имею честь представить на усмотрение Вашего превосходительства вместе с прилагаемым донесением С.-Петербургского цензурного комитета»[1]. На этом документе резолюция Макова: «Согласен с Вашим заключением».

Таким образом, благодаря предусмотрительности Салтыкова очерк «Тревоги и радости в Монрепо» был напечатан.

По писарской копии можно установить, какие изменения вынужден был по цензурным соображениям внести Салтыков при публикации очерка под названием «Тревоги и радости в Монрепо». В рукописи значительно больше внимания было уделено институту урядников, при переработке часто встречающееся слово «урядник» было им или убрано, или заменено на «вольнопрактикующий незнакомец», «посторонний», «человек» и т. п., а вместо «пропаганда» введен термин «филантропия», «проповедь» и т. д. Помимо такого рода замен Салтыкову в ряде случаев пришлось прибегнуть и к исключению части текста, что, в свою очередь, явилось поводом для дальнейшей его творческой переработки.

Приводим наиболее существенные варианты из писарской копии.

Стр. 292, строка 9. После: «становую квартиру» — было:

и сверх того к нам назначили какое-то совсем новое лицо: урядника.

Стр. 293, строка 21. После: «говорил бы о сердцеведении» — было: и о внутренней политике, и чтобы...

Стр. 293, строка 17 сн. После: «и так далее до конца» — было:

А тут еще на помощь к нему подоспеет урядник... Что такое этот урядник! Что означает сей новый чин?

Стр. 296, строка 1 сн. После: «молодых отростков для ее огорода» — было:

Затем уже совсем было собрался домой, как вдруг вспомнил об уряднике.

— Ну, а урядник? — обратился я к батюшке,— как-то он на мои пропаганды взглянет?

— Об уряднике ничего сказать не могу и даже впервые о такой должности слышу,— ответил он,— читал, правда, в газете, будто бы в Костромской губернии у одного обывателя пропала курица и будто бы господин урядник ту курицу за семьсот верст нашел, но верно ли это — сказать не могу.

Стр. 299, строка 21. После: «политически неблагонадежного лица» — было:

---

[1] Частично напечатано в книге В. Е. Евгеньева-Максимова «В тисках реакции», стр. 67. (Рукопись *ЦГИАЛ,* ф. 776, оп. 3, ед. хр. 139, л. 267.)

Все равно как история с нигилизмом. Кому до 1862 года могло даже во сне привидеться это интересное явление, наделавшее столько шума в нашей печати и, к несчастию, даже в жизни?

Стр. 301, строка 17. Вместо: «следовать куда глаза глядят» — было:

следовать в места не столь отдаленные.

Стр. 306, строка 11 сн. После: «поднять» — было:

И к тому же, наверное, найдутся люди, которые увидят тут каламбур...

Стр. 308, строка 16. После: «будет прием урядников» — было:

и кстати я познакомлю вас с моими молодцами урядниками.

Стр. 318, строка 15 сн. После: «вы благородный человек» — было:

По нужде я могу быть даже откровенным с урядниками, потому что они призваны исполнять мои предначертания...

Автор подверг в очерке осуждению произвол властей, дошедший до последней крайности и принявший форму пресловутого «сердцеведения». С беспощадным сарказмом осмеяны здесь некоторые конкретные «охранительные» мероприятия правительства — введение института полицейских урядников, усиление средств уездной полиции, выступление Гейнса, отразившего «твердые» установки и настроения правительственных верхов. Одновременно сатирически заклеймена трусость и податливость дворянского либерала-фрондера, постыдно пасующего перед реакцией.

Очерк получил высокую оценку в печати. «Г. Салтыков,— отмечал Буренин,— под видом легкого фельетонного очерка, в маленькой раме будто бы чисто бытовой картинки захватывает одно из существеннейших отрицательных явлений современной жизни. Сатирический герой этюда становой новейшего, «последнего» пошиба, и в его образе сатирик обрисовывает самые выдающиеся черты целого направления, обрисовывает с такою полнотою и выдержкою, какая ему не всегда удается. Сатира не переходит ни разу в шарж, не страдает околичностями и юмористическим балагурством, не чуждым иногда г. Салтыкову: она проведена с начала до конца очень тонко, с чувством меры и оставляет впечатление вполне ясное и цельное». Подробно пересказав содержание, критик приходил к выводу: «Вообще можно сказать, не рискуя впасть в ошибку, что новый этюд г. Салтыкова, несмотря на легкую фельетонную форму, принадлежит к числу наиболее выдержанных, наиболее определенных и глубоких его сатир» [1].

Считая, что «лучшей из беллетристических статей февральской книжки «Отеч. записок», без сомнения, является очерк Щедрина», обозреватель одесской газеты «Правда» подчеркивал: «Разговоры обывателя с Грациановым и в особенности речь последнего с сотским как нельзя более типичны и полны самой злой иронии. Но что особенно замечательно вообще в сатирических очерках г. Щедрина и, разумеется, также и в этом — это

[1] В. П. Буренин, Лит. очерки.— *НВ,* 1879, № 1080, 2 марта.

именно их современность,— он особенно умеет всегда подметить отрицательные стороны современной «злобы дня» и вместе с тем подметить в ней пошлую сторону, которую и предает беспощадному сарказму. Новый рассказ его может быть лучшим подтверждением этого» [1].

«Прекрасный», «своевременный», «остроумный» очерк «Тревоги и радости...» вызвал сочувственные по большей части отклики и других периодических изданий. Считая, что «для воспроизведения современного помещичьего быта больше всех русских писателей делал и сделал Щедрин», обозреватель «Русск. курьера» (1880, № 53, 24 февраля, подпись: *Б. Н.*) называет рассматриваемый очерк «замечательнейшим», хотя и не лишенным, как всякая «чистая» сатира, известной «односторонности».

Стр. 292. *Мы живем среди полей и лесов дремучих...*— строка из цыганской песни в опере Верстовского «Пан Твардовский», по либретто Загоскина. Песня была впервые опубликована в «Драм. альманахе» (СПб. 1828, стр. 133—134).

Стр. 293. *...называли куроцапом.*— Это прозвище неоднократно встречается у Салтыкова (см., например, очерк «Охранители» в цикле «Благонамеренные речи», а также главу «Предводитель Струнников» в «Пошехонской старине»). В «письмах» «Из деревни» Энгельгардта прежний становой именуется примерно так же — «курятник» (*ОЗ*, 1879, № 1, стр. 134).

...более или менее отдаленных городов — то есть возможных пунктов административной ссылки.

Стр. 295. *Вот хоть бы «филантропии» эти...*— Рассказчик, выступающий в роли кающегося либерала, намекает на «грехи» молодости — увлечение передовыми идеями, проповедь человеколюбия и т. п.

Когда объявили свободу вину...— Имеется в виду отмена в 1861 году так называемых откупов (см. прим. к стр. 326) и введение вместо них винного акциза, то есть налога, включенного в цену вина сверх его стоимости (ср. в «Благонамеренных речах»: «Насчет вина свободно, а насчет чтениев строго. За ум взялись», т. 11, стр. 111).

Стр. 296. *А ежели бы вы в то время вместо «свободы»-то просто сказали: улучшение, мол, быта...*— В период подготовки манифеста 19 февраля 1861 года самый термин «освобождение» заменялся в официальных документах словами: «улучшение быта помещичьих крестьян».

Стр. 298. *...ни курить фимиам, ни показывать кукиш в кармане, ни устраивать мосты и перевозы...*— Об отношении Салтыкова к земству см. т. 7, стр. 550 и 617.

Стр. 299. *...позволявшие себе носить волосы более длинные, чем нужно.*— Ирония по адресу гонителей «нигилистов», раздраженно реагировавших на такие внешние приметы разночинцев-демократов, как костюм, манера держаться, стрижка волос и т. п. «Длинноволосый», «нестриже-

[1] Журн. очерки.— «Правда», 1879, № 51, 8 марта.

ный» или, напротив, «стриженая» в лексиконе реакционеров и обывателей служили прямым обозначением «нигилиста» и «нигилистки».

Стр. 300. *...как некогда выразился академик Безобразов...*— См. стр. 696.

...а просто явилось ответом на требование темперамента...— Салтыков, вероятно, обыгрывает здесь словоупотребление Безобразова в статье «Наши охранители и наши прогрессисты»: «Всякая действительность, с какой бы точки зрения ни смотреть на нее, заключает в себе свет и тени; видеть более света или более густые тени зависит от того или другого личного настроения и даже темперамента» (*РВ,* 1869, № 10, стр. 464).

Стр. 302. *Исправник* — начальник уездной полиции в дореволюционной России.

Стр. 304. *«...Кимвал бряцающий...»* — библейское выражение (кимвал — музыкальный инструмент с сильно звенящим звуком), служащее Салтыкову для иронического обозначения бессодержательности и агрессивности охранительной идеологии.

Стр. 308. *...будет прием урядников.*— Должность полицейских урядников была введена высочайше утвержденным положением Комитета министров летом (9 июня) 1878 года «для усиления средств уездной полиции и в помощь становым приставам для исполнения полицейских обязанностей, а также для надзора за действиями сотских и десятских на местах и для их руководства» («Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате», 1878, № 37, 28 июня, стр. 721—722; далее следует «Проект временного положения о полицейских урядниках в сорока шести губерниях, по общему учреждению управляемых»). 20 июля 1878 года Правительствующему Сенату была представлена «Инструкция полицейским урядникам», утвержденная накануне министерством внутренних дел (о ней см. стр. 723).

Эти постановления и документы, естественно, привлекли к себе внимание печати. Так, «Голос» поместил пространную заметку, приветствовавшую новый институт — страж «порядка» и «спокойствия»: «Урядники волей-неволей являются облеченными и политической миссией: на них будет лежать воспитывание, собственным примером, в народной массе строгого чувства законности и доверия к правительству; им предстоит сделать совершенно безвредными всякие утопические бредни, которые, тем или другим путем, могут распространяться среди народа» (1878, № 292, 22 октября). Редакционной статьей откликнулись на это событие и «Моск. ведомости» (1879, № 23, 26 января). Сатира Салтыкова, таким образом, осмеивала и самый институт, и отношение к нему со стороны либерально-охранительной прессы.

Стр. 309. *Вот речь, которую он произнес...*— Один из «источников» остропародийного грацилановского «слова» — речь одесского градоначальника Гейнса.

В «Голосе» (1878, № 290, 20 октября) сообщалось: «Новый одесский градоначальник, генерал Гейнс, во время приема всех служащих, сказал

чинам полиции речь, которая произвела сильное впечатление. Надежда, что Одесса приобрела начальника твердого и опытного, кажется, оправдывается». Немного спустя газета целиком опубликовала и самый текст речи (1878, № 294, 24 октября), привлекшей внимание Салтыкова.

Осмеивая выступление Гейнса, писатель в ряде случаев почти дословно воспроизводит этот характерный «оригинал». Ср.: «И я, с своей стороны, имею честь представиться вам как старший чин одесской полиции» (Грацианов: «Господа! я сам ничего больше, как первый урядник вверенного мне стана...»). Гейнс: «Нарушение законов или подготовление к их нарушению производится чаще всего в домах, чем на улицах, потому полиция не может иметь характер, так сказать, исключительно уличный. Повсеместно полиция зорко следит за жизнью людей, признаваемых вредными. В Северной Америке и Западной Европе, т. е. там, где домашний очаг считается неприкосновенным, полиция знает жизнь горожан, знает их выдающиеся черты и недостатки, отчего она в состоянии предупреждать преступления и всегда обладает драгоценным материалом для их раскрытия...» (Грацианов: «Во-первых, вы должны знать *все,* что делается в ваших сотнях... Чтобы знать *все,* нет никакой необходимости в вмешательстве каких-либо сверхъестественных или волшебных сил. Достаточно иметь острый слух, воспособляемый не менее острым зрением — и ничего больше. В Западной Европе давно уже с успехом пользуются этими драгоценными орудиями, а по примеру Европы, и в Америке. У нас же, при чрезвычайной простоте устройства наших жилищ, было бы даже непростительно пренебречь сими дарами природы»). Или же: «Прежде всего и настойчивее всего я просил бы вас, господа, постараться *усилить уважение, питаемое к вам жителями* Одессы, что вы можете достигнуть только одним способом: твердым и настойчивым исполнением своего долга в пределах и рамках, указываемых законами» (Грацианов: «Только взаимное и непрерывное горжение друг другом может облагородить нас в собственных глазах наших; только оно может сообщить соответствующий блеск нашим действиям и распоряжениям. Видя, что мы гордимся друг другом, и обыватели начнут гордиться нами, а со временем, быть может, перенесут эту гордость на самих себя»). И еще: «Рекомендую только некоторую большую сдержанность и осторожность относительно людей, признаваемых надежными, и *относительно образованного класса,* так как, чаятельно, что последний более других понимает особенно, в настоящее время, необходимость уважать и исполнять закон». (Грацианов: «Действительного и истинно плодотворного содействия вы можете ожидать, по преимуществу, от господ кабатчиков... Не особенно полезного, однако ж, и не вредного содействия вы можете ожидать от господ бывших помещиков, ныне скромно именующих себя землевладельцами».)

Помимо речи Гейнса в грациановском «слове» высмеян еще один официальный документ — правительственная «Инструкция полицейским урядникам», состоящая из 42 параграфов и выписок статей из Свода законов; она многими своими пунктами пародируется Салтыковым.

Параграфы «Инструкции» предписывали урядникам «следить, негласным образом, за неблагонадежными и подозрительными лицами и наблюдать негласно за поведением лиц, водворенных на местах жительства под надзор полиции»; чаще посещать места, «в коих, по разным обстоятельствам, скопляется большое число народа»; требовать «исполнения закона или полицейского распоряжения» «твердо и настойчиво»; сотским еженедельно являться к становому с рапортами и для получения приказаний («Собрание узаконений и распоряжений правительства...», 1878, № 151, 4 августа, стр. 916—927, 934). Так, например, Грацианов предлагает урядникам являться к нему «за разъяснениями» и «для получения <...> наставлений» «возможно чаще», «потому что урядник, в ожидании разъяснений, может помочь <...> прислуге нарубить дров, поносить воды и вообще оказать услугу по домашнему обиходу». Любопытно, что вскоре в «Циркуляре министра внутренних дел губернаторам» — от 25 марта 1879, № 38 — был официально отмечен факт неслужебного использования становыми урядников — чаще всего в качестве «если не даровых, то весьма дешевых письмоводителей» — см. *МВ*, 1879, № 89, 10 апреля.

Возможно, что толчком к пародированию, своеобразным «напоминанием» послужила статья (*МВ*, 1879, № 23, 26 января), посвященная институту урядников и одобрявшая многие из параграфов «Инструкции». (14, 16, 34 и др.— они-то и «задеты» в первую очередь Салтыковым.)

Стр. 312—313. *...прочитав в одном сочинении <...> «Устав о печении пирогов» <...> «не потерплю» и «разорю!».*— Грацианов вспоминает «Историю одного города».

Стр. 315. *...с земским цензом...*— Ценз (имущественный, образовательный) — условие допущения лица к пользованию теми или иными социально-политическими правами, прежде всего избирательными. Здесь — имущественный ценз.

...какого мнения я насчет фаланстеров, и когда я выразился, что опыт военных поселений...— В системе Фурье фаланстер — коллективно-трудовая единица. Военные поселения, практиковавшиеся царизмом в первой половине XIX века и охватывавшие несколько губерний, по своему устройству и режиму мало чем отличались от тюремных колоний. Водворенные туда государственные крестьяне одновременно несли и изнурительную воинскую службу, и тяжелые земледельческие повинности, подвергаясь строжайшему контролю во всем, даже в сугубо личных делах.

Салтыков здесь иронизирует над гонителями всего передового, которые, обрушиваясь на «фаланстеры», на деле являются защитниками самых грубых общественных аномалий, устроителями дикого «крепостного фаланстера», включая и бесчеловечный опыт военных поселений.

...школы военных кантонистов...— специальные школы для солдатских детей, с самого рождения причислявшихся к военному ведомству; отличались жестокой муштрой и палочной дисциплиной.

Стр. 318. *О браке, согласно с определением присяжного поверенного Пржевальского, выразился, что это могила любви...*— Имя адвоката

Пржевальского получило нелестную известность после судебного процесса по делу неудачно покушавшейся на него А. А. Венецкой (дело Венецкой рассматривалось в Московском окружном суде 31 августа 1878 г.; см. отчет — *НВ*, № 904, 4 сентября, и № 906, 6 сентября). Тогда-то и получила огласку, вызвав многочисленные иронические цитации в печати, фраза о «браке», которой, как выяснилось на суде, Пржевальский пользовался, склоняя Венецкую на внебрачную связь. Собственно, Пржевальский лишь возродил французскую поговорку, с давних пор известную в России, использованную, например, в эпиграмме С. А. Соболевского (1852) на Каролину Павлову:

Ах, куда ни взглянешь,
Все любви могила!..
Мужа мамзель Янниш
В яму посадила...

(См.: Русская эпиграмма (XVIII—XIX вв.), «Сов. писатель», Л. 1958, стр. 186.)

Сатирический выпад Салтыкова объясняется тем, что «Моск. ведомости» раздраженно откликнулись статьей Иногороднего обывателя (Б. М. Маркевича) на сочувственное по отношению к Венецкой освещение периодикой этого процесса. Газета открыто ополчилась на тех «молодцов от „прогресса“», которым «нужны „уравновешенные в правах с мужчинами" женщины»: «Их героини — какая-нибудь Венецкая, стреляющая в человека, как в «петуха»...» (*МВ,* 1878, № 278, 1 ноября). Салтыков, несомненно, имел в виду это выступление, когда заставлял шпиона-«сердцеведа» Грацианова признать «нигилистический» афоризм Пржевальского.

Стр. 319. *... вольнопрактикующим незнакомцем.* — В рукописи, судя по писарской копии, приставленный к рассказчику шпион назывался «урядником» (см. стр. 719).

МОНРЕПО — УСЫПАЛЬНИЦА

(Стр. 324)

Впервые — *ОЗ,* 1879, № 8 (вып. в свет 19 августа), стр. 489—514. Рукописи и корректуры неизвестны.

При подготовке *Изд. 1880* и *1883* наряду с мелкой стилистической правкой в текст внесено несколько незначительных изменений. Эпиграф «Когда продавец...» перенесен к очерку «Finis Монрепо».

Стр. 326, строка 20. В журнальном тексте после слов: «отлично понимает» — было: «что песня сороковых и иных годов уже спета».

«Монрепо — усыпальница» продолжает тему, обозначенную уже в «Дворянских мелодиях» и «Дворянской хандре». Это очерк об «отживающих» «людях сороковых годов», сознающих в новую эпоху свое «бессилие» и «не-

умелость» и устремляющихся к «родным пепелищам» с единственной целью — «заживо иметь гроб».

В письме к Анненкову от 10 декабря 1879 года Салтыков так определил эту свою тему: «...я в последнее время начал все о прелестях умирания писать...»

По мысли Салтыкова, поколение 40-х годов — к нему писатель так или иначе причисляет и себя — исторически устарело, сделалось неспособным активно участвовать «в делах и вещах современности». Хотя отдельные из его представителей и пытаются, явно самообольщаясь, сыграть роль «заправских деятелей», «похорохориться», но «большинство» сознает всю бесцельность выхода на общественно-историческую сцену «с запасом забытых слов». Тезис «пора умирать», мотив «усыпальницы», определившие всю тональность очерка, поддерживаются мыслью о невозможности для «стыдящегося», но «бессильного» человека жить в «царящей суматохе», о необходимости отстранения от «торжествующей современности», определяемой как «жизнь с двойным дном».

Критика — преимущественно «газетная» — обратила внимание на особый «тон» очерка, не обнаружив, однако, достаточно ясного понимания смысла и истоков салтыковской «грусти». «...Новое произведение Щедрина,— писал П. И. Вейнберг, — есть как бы сатирическая элегия, эпиграфом к которой можно поставить, пожалуй, лермонтовское «Выхожу один я на дорогу» («Молва», 1879, № 232, 24 августа; подпись: *Петр В—б—ъ*). Исключительно в субъективно-психологическом плане истолковал «меланхолию» Салтыкова В. П. Чуйко («Новости», 1879, № 228, 7 сентября; подпись: *В. П.*), противопоставив тут же «ясный, конкретный художественный язык» «Монрепо — усыпальницы» «туманной» манере предшествующих созданий «корифея литературы». Сомнительного свойства комплиментами, стремлением противопоставить «бесподобный» юмор «высокодаровитого автора» будто бы «либерально-резонерской закваске его сатиры», то есть ее идейной направленности, отличается отзыв Буренина (*НВ*, 1879, № 1259, 31 августа). Более сочувственно отозвался об очерке А. И. Введенский. Отметив, что с течением времени в сатире писателя стало «гораздо больше желчи и горя, чем смеха», критик в пример привел «Монрепо — усыпальницу».

«В этом сатирическом произведении,— отмечал Введенский,— среди свойственного таланту автора саркастического отношения к беспримерно-нелепым явлениям нашей жизни, читатель вдруг наталкивается на многие строки и целые страницы, почти с страстным увлечением написанные и обличающие, что автору было не до «смеху», хотя бы и «сквозь слезы». Посмотрите, например, какая глубокая скорбь и нравственная боль чувствуется в следующих словах, где автор говорит о своей любви к России и о причинах этой любви» [1].

«Монрепо — усыпальница» и «Finis Монрепо» были прочитаны писателем на вечере в пользу Литературного фонда 28 декабря 1879 года.

---

[1] «Русская правда», 1879, № 119, 1 сентября. Подпись: *А. Вв — ский.*

Стр. 324. *«Lui! toujours lui!!»* — Неточная цитата из стихотворения Гюго, посвященного Наполеону I. У Гюго «Toujours lui! Lui partout». Эти слова взяты Салтыковым в качестве эпиграфа к очерку «Он!» («Помпадуры и помпадурши», т. 8, стр. 141 и 510).

Стр. 325. *...наши фрондирующие помещики...* Характеристику русского фрондера Салтыков дал в очерке «К читателю» из цикла «Благонамеренные речи» (т. 11).

Стр. 326. *...пропинационная привилегия...* — право монопольной виноторговли (так называемые откупа), приобретаемое у правительства.

Я знаю, что и между нами найдутся личности, которые не прочь еще похорохориться, устроить недоразумение и погарцевать перед застигнутой врасплох толпой, в качестве заправских деятелей... — Возможно, в этой тираде имеется в виду Тургенев, приезд которого весной 1879 года в Москву и Петербург сопровождался торжественными обедами и речами, в которых много говорилось о «людях сороковых годов» (см., например, отчеты о московском — 6 марта и петербургском — 13 марта обедах в честь писателя в «Газете Гатцука», 1879, № 10—11). «Отеч. записки», не принявшие участия в чествовании Тургенева, разъяснили свою позицию в специальном объяснении («Внутр. обозр.», 1879, № 4). Салтыков писал Анненкову 10 декабря 1879 года: «Он напоминает мне тех старинных наших помещиков, которые, бывало, все по герольдиям хлопотали, как бы герб позабористее получить. Так и он: все о рукоплесканиях и почестях хлопочет и какую массу хитростей и уловок для этого употребляет — это вообразить невозможно».

...с запасом забытых слов... — то есть идей «сороковых годов». Сознавая известную ограниченность этих идей, Салтыков не раз подчеркивал их возвышенный характер и большую гуманистическую значимость перед лицом торжествующего «бесстыжества»: он горько сетовал на то, что мир «ликующего хищничества» предал забвению заветы «сороковых годов», зачислив их в разряд «фикций», «нестоящих» слов. Возможно, что с этими представлениями связан последний замысел писателя — «Забытые слова» (1889).

Стр. 328. *Непотизм* — устройство служебной карьеры родственникам, «своим людям».

...не скрывается ли за этим фактом ходатайство Гулак-Артемовской? — Гулак-Артемовская, светская дама, нажила крупный капитал тем, что, пользуясь своими связями, «проводила дела» в министерствах; своими ходатайствами перед высокопоставленными лицами помогала всякого рода сомнительным предприятиям, за что получала вознаграждения. Ее громкое дело слушалось в Петербургском окружном суде осенью 1878 года. Она вместе с Богдановым обвинялась в подлоге векселей (хроника процесса печаталась в ряде газет: см., например, «Голос», 1878, №№ 291—300; *НВ*, 1878, №№ 951—958).

А потом пойдут газетные «слухи»... — Здесь и далее Салтыков осмеивает падкую на всевозможные «интригующие» сообщения консерва-

тивную и либеральную печать, стремившуюся использовать передаваемые ею толки в своих корыстно-охранительных целях. На страницах «Моск. ведомостей», «Газеты А. Гатцука», «Голоса» и других термин «слухи» часто фигурировал. Например, «Новый год начался тревожными слухами о появлении будто бы чумы в Астраханской губернии...» («Газета А. Гатцука», 1879, № 1, 6 января). См. прим. к стр. 329—330.

Стр. 329. *Все это взбаламученное море...*— Для характеристики современной прессы Салтыков использовал название известного антинигилистического романа Писемского «Взбаламученное море».

Сначала исчезли болгаре, потом Афганистан и Зулу́, потом ветлянская интрига, потом еще интрига и еще интрига, а, наконец, и слухи о предстоящем финансовом возрождении...— Салтыков иронически перечисляет самые ходовые в тогдашней периодике «вопросы» и «темы». Действительно, газетные полосы и столбцы некоторых «толстых» журналов за 1878—1879 годы пестрят сообщениями и заметками об итогах русско-турецкой войны (1877—1878 гг.) и устройстве Болгарии, об Афганистане, его правителях Шир-Али, Якуб-хане и «английских интригах», об африканском племени зулу, в одной из схваток с которым погиб именитый участник английской военной экспедиции — претендент на французский престол Наполеон IV. Ветлянской интригой реакционная печать и особенно «Моск. ведомости» называли сообщения и слухи о вспыхнувшей в конце 1878 года в селе Ветлянке Енотаевского уезда Астраханской губернии эпидемии чумы.

Сообщая, например, о покушении на харьковского губернатора кн. Д. Н. Крапоткина, о вооруженном противодействии при захвате тайной типографии в Киеве, об убийстве жандармского полковника в Одессе, «Моск. ведомости» объявили толки о чуме уловкою, призванною усыпить бдительность, прикрыть «преступные деяния»: «Впрочем, что значат события действительной жизни для тех, кто находится под впечатлением чумного кошмара? Не удивительно поэтому, что ужас кровавой драмы, разыгравшейся в Харькове, был заглушен шумом чумной комедии, разыгранной вслед за тем в Петербурге» (*МВ*, № 46, 23 февраля). «Чумной комедией» здесь названо состоявшееся 11 января 1879 года заседание общества русских врачей под председательством Боткина, подтвердившее факт чумной эпидемии.

Злободневным вопросом тогдашней внутренней жизни был и вопрос о финансах. По данным, напечатанным «Моск. ведомостями» (1879, № 5, 6 января), бюджетный дефицит за 1878 год составлял 27,5 миллиона рублей. Обеспокоенные власти предприняли ряд мер (учреждалась «особая высшая комиссия», вводились новые пошлины и сборы), которые, однако, даже по самым оптимистическим расчетам, никак не могли восстановить требуемого равновесия. Основная надежда возлагалась на «естественный» прирост доходов за счет общего подъема народного благосостояния. Это и брал под сомнение Салтыков, вопреки оптимистическим прогнозам официальных лиц, и в частности министра финансов.

Стр. 332. *...Конституционное будущее Болгарии.*— См. прим. к стр. 338.

...Якуб-хан, достославно шествующий по стопам Шир-Али...— Имеются в виду афганские правители, потерпевшие поражение в военном конфликте с Англией (1878—1879 гг.). Эмир Шир-Али бежал из Кабула в конце 1878 года в Туркестан; Якуб-хан, сын Шир-Али, который находился в оппозиции к политике отца, был им заточен. После освобождения вступил в переговоры с англичанами, но долго продержаться у власти не мог: вскоре последовало его низложение и высылка в Индию.

...то пригрозись: об этом, дескать, мы поговорим в следующий раз...— Салтыков иронически воспроизводит характерный для либеральной печати оборот-концовку, служащий прикрытием ее идейно-политической бессодержательности.

Стр. 334. *Есть люди <...> которые мертвыми дланями стучат в мертвые перси. <...> По моему мнению, люди, занимающиеся этим ремеслом, суть иезуиты. <...> Они настроят мертвыми руками бесчисленные ряды костров...*— Полемический выпад против Достоевского. См. стр. 775, 776—779.

«...звон победы раздавайся» — пародийный парафраз державинского «Описания торжества в доме кн. Потемкина, по случаю взятия Измаила», часто используемый Салтыковым для осмеяния казенно-охранительного патриотизма. У Державина:

Гром победы, раздавайся,
Веселися, храбрый Росс!

Стр. 335. *Слава, то есть «нас возвышающий обман»...*— Из стихотворения Пушкина «Герой». У Пушкина:

Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман.

Стр. 336. *Ходят люди в мундирах, ничего не созидают, не оплодотворяют, а только не препятствуют — а на поверку оказывается, что этим-то именно они и оплодотворяют...*— Мысль о плодотворности административного бездействия, парадоксально изобличающая социальную вредность царской бюрократии, уже была высказана Салтыковым в «Истории одного города» и в «помпадурском» цикле (см. т. 8, стр. 233, 355).

...чтобы мужик русский, говоря стихом Державина, «ел добры щи и пиво пил».— Салтыков полагал, что первой ступенью процесса превращения «коняги» в человека является удовлетворение его «первоначальных нужд», материальная обеспеченность, дающая ему возможность освободиться от притязаний «желудка» и перенести «свои требования в высшую сферу». «...Несправедливо и едва ли возможно ожидать, чтобы бедность духовная была побеждена прежде, нежели будет побеждена бедность материальная» («Письма о провинции», письмо 6-е; т. 7). В пятой главе «Итогов» Салтыков именно в этом плане (на полях, в конце текста первой редакции) процитировал из стихотворения Державина «Осень во время осады Очакова»:

Запасшися крестьянин хлебом,
Ест добры щи и пиво пьет.

(См. т. 7, стр. 672—673; см. также цитацию этих строк в первой главе «Современной идиллии» — т. 15, кн. 1.)

Стр. 337. ...*«возбуждения пагубных страстей»?* — На официальном языке означало революционные убеждения и действия.

Стр. 338. ...*конституционное будущее Болгарии...* — иронический пассаж, включающий в себя и «обмен» телеграммами с реальными лицами (известными тогда болгарскими деятелями), преследует цель высмеять куцый характер подготовлявшейся царскими властями «конституции» — «устава о предупреждении и пресечении» («Органический устав государственного устройства княжества Болгарского»), извлечения из него публиковались в ряде тогдашних периодических изданий (см. *МВ,* 1879, № 37, 13 февраля). Ряд публикаций тех лет, освещавших «болгарские дела», укрепляли ироническую точку зрения Салтыкова. Так, в «Заметках и воспоминаниях» Евг. Утина «Болгария во время войны» описывалось и держимордовское поведение ее губернатора кн. Черкасского, «грозного», посоветовавшего одной болгарской депутации «выбросить из головы всякие политические затеи», «слушаться и повиноваться, а не рассуждать». Один из «людей» кн. Черкасского «твердо стоял на своем, что управлять болгарами без нагайки невозможно» (*ВЕ,* 1878, № 2, стр. 687—694).

Стр. 339. *Посылаю телеграмму № 1-й: «Митрополиту Анфиму».* — В заметке Утина «Наши болгарские дела» можно найти объяснение этому сатирическому выпаду. «Болгары,— писал он,— не желали, чтобы их духовенству была предоставлена особенно влиятельная роль в их внутренних делах. Об этом нежелании они скромно заявили, но получили грозный ответ, чтобы они не смели рассуждать подобным образом, что духовенство должно иметь предпочтительное влияние <...> что религия это краеугольный камень и т. д.» (*ВЕ,* 1878, № 2, стр. 716).

Стр. 340. *Даже покойный цензор Красовский — и тот с удовольствием подписал бы под ними: «Мечтать дозволяется».* — А. И. Красовский, который был с 1821 года цензором, а с 1832 года председателем комитета иностранной цензуры, отличался особым обскурантизмом и вздорностью претензий. Почти под каждым из рассмотренных им сочинений, даже разрешенных другими членами комитета, стояла его резолюция: «А г. председатель полагает безопаснее запретить».

...*сам мечтательный Погодин — и тот не мог вычерпать его до дна.* — Салтыков пародирует некоторые характерные для Погодина идеи — «мечтания», высказанные им в его научных и беллетристических сочинениях («О происхождении Руси», «Исследования, замечания и лекции о русской истории», «История в лицах о Димитрии Самозванце», «Петр I» и др.), а также в его монографии «Древняя русская история до монгольского ига» (т. I, М. 1872, стр. 1—6, 14—25; т. 2, стр. 678—690, 1327—1356 и др.).

FINIS МОНРЕПО

(Стр. 348)

Впервые — *ОЗ,* 1879, № 9 (вып. в свет 22 сентября), стр. 214—244.

Сохранились: 1) черновая рукопись ранней редакции (от слов: «Разуваев предстал передо мной радостный...», стр. 348, и кончая словами: «...В два слова мы кончили: «Finis Монрепо!», стр. 380); 2) черновая рукопись поздней редакции (от слов: «Разуваев предстал передо мной...», стр. 348, и кончая словами: «...Разуваев ни словом, ни движением не выдал, что помнит, как некогда он стоял за стулом с тарелкой», стр. 352).

Приводим два наиболее значительных варианта ранней рукописной редакции.

Стр. 362, строка 3 сн. После слов: «неумелость и сиротливость»:

Мне скажут, что это тип несимпатичный — согласен, но это не мешает ему существовать. И еще скажут, что это тип вымирающий — и это правда, но он не вымер, далеко еще не вымер. И притом он дал отпрыск. Я надеюсь, что этот отпрыск несколько иного характера, но покуда еще он не настолько определился, чтобы заключать об его пригодности к жизни в тех условиях и формах, в каких она сложилась в последнее время. Мне кажется, что <1 слово нрзб.> условие культурности в том виде, в каком мы привыкли себе ее представлять, то есть отсутствие возможности обойтись без посторонних услуг, существует для отпрыска в той же силе, как для старого древа. Спрашивается: как справится отпрыск с этою отчасти печальною, отчасти глупою необходимостью? Выработал ли он себе достаточный медный лоб, без которого немыслимо качество порабощать людей? Или же самое представление о медном лбе настолько уже претит ему, что он предпочтет вольное умирание тем выгодам, которые должно принести за собой меднолобие?

Повторяю: мой личный казус ничтожен. Но он доказывает, как трудно жить в это смутное, загадочное время, в этой смутной, загадочной среде. Нельзя быть свободным у себя дома, в своих четырех стенах; нельзя ходить в туфлях из комнаты в комнату, нельзя плевать в потолок... Но на каждом шагу руки, ноги, голова путаются в тенетах превратных толкований; на каждом шагу встречается вопрос: что сие означает? Нельзя быть нищим духом, чистым сердцем, нельзя сочувствовать, нельзя презирать...

По-моему, Грацианов совершенно извратил характер своих обязанностей. Или, лучше сказать, не он лично их извратил, а извратил дух времени. Вместо того, чтоб оставаться становым приставом в строгом смысле слова, он сделался политиком, философом, чуть ли не законодателем. Вместо того, чтоб лететь на помощь по первому зову, он еще различает: заслуживает ли имярек своим поведением, чтоб ему подавали помощь, полезный ли он сын отечества, и нет ли в самом его ничегонеделании, в самой его изолированности чего-либо сомнительного?

Стр. 368, строка 16. После слов: «Всему венец»:

— В «Ведомостях» пишут: всех умников в реке бы топить надо.

— Основательно. В другое время я бы сказал: какой, однако ж, курицын сын! Но теперь говорю: самая это здравая политика — «умников» в реке утопить, а на место их возложить упование на молодцов из Охотного ряда. Одна беда: начнут они по зубам чистить да в шею накладывать — как бы тогда не тово...

— А горошком-с? Раз-два-три и се не бе!

— Гм... горошком? Что ж, это не дурно. Их — горошком, а на их место

опять умников поманить, а потом умников в свою очередь горошком... Да! так вы об Разуваеве, кажется, что-то хотели сказать?

— Просил он меня: не примете ли вы его?

— Был он у меня... А впрочем... знаете ли, день на день не всегда похож бывает. Все не решаешься, да не решаешься — и вдруг выйдет такой час: возьми все и отстань!

— Значит, так ему и сказать?

— Так и скажите: верного, мол, еще нет, а от знакомства не прочь.

— А как бы для вас-то было хорошо!

— Начинаю думать, что так.

Донесение цензора Лебедева о сентябрьской книжке журнала написано в три приема. Первоначально он представил (14 сентября) в цензурный комитет отзыв о «Художниках» Гаршина. Затем в тот же день прибавил к нему разбор статьи Салтыкова «Первое июня.— Первое июля», за помещение которой предлагал подвергнуть номер аресту (см. стр. 767). Здесь же на полях дана уже известная в печати по публикации Евгеньева-Максимова характеристика с цитатой одного места из «Finis Монрепо» [1], которое приводится цензором по рукописи:

«В статье редактора «Finis Монрепо», не представляющей по общему содержанию никакого цензурного затруднения, есть одно место (стр. 231), где, говоря о новых строгих мерах, предпринимаемых правительством, автор позволяет себе в настоящих обстоятельствах предлагать правительству шутовскую и безнравственную идею «умников в реке топить, а упование возложить на молодцов из Охотного ряда. А когда молодцы начнут по зубам чистить, тогда горошком. Раз, два, три и се не бе. (Очевидно, под горошком сатирик разумеет картечь.) Молодцов горошком, а на место их опять умников поманить. А потом умников горошком, так оно колесом и пойдет».

Евгеньев-Максимов считал, что эта приписка на полях принадлежит Лебедеву. Между тем хотя она и является составной частью его донесения, но, по-видимому, написана рукою председателя С.-Петербургского цензурного комитета А. Г. Петрова. Рассмотрев 14 сентября донесение Лебедева, цензурный комитет постановил:

«Согласно с мнением цензора, признавая как приведенное место из статьи Щедрина «Finis Монрепо» (стр. 231), так и указанные места в статье «Первое июня.— Первое июля» Nemo (стр. 119 и сл.), как подвергающие осмеянию действия правительства и колебающие авторитет, крайне вредными, особенно в настоящее время, комитет полагал необходимым сентябрьскую книжку «Отечественных записок» подвергнуть задержанию, о чем и определил: представить начальнику Главного управления по делам печати для доклада господину министру внутренних дел» (*ЦГИАЛ*, ф. 776, оп. 3, ед. хр. 139, л. 278 об.).

Посылая копию донесения Лебедева с решением о нем цензурного комитета, Петров 15 сентября в письме на имя исполняющего обязанности

---

[1] В. Е. Евгеньев-Максимов, В тисках реакции, М.— Л. 1926, стр. 68.

начальника Главного управления по делам печати Н. В. Варадинова дополнительно сообщал:

«Представляя вместе с сим о наложении ареста на сентябрьскую книжку «Отечественных записок», я считаю долгом доложить Вашему превосходительству, что с 1872 года в отношении к редакциям бесцензурных журналов, выходящих книжками реже одного разу в неделю, вошло в обычай с ведома и по распоряжению г. начальника Главного управления по делам печати пред выходом книжек в свет входить в аккомодацию с редакциями и предлагать им исключить статью или места, признаваемые вредными.

Мера эта в настоящем случае может быть применена к двум статьям сентябрьской книжки «Отечественных записок» тем с большим удобством, что места, признаваемые вредными и которых комитет на свою ответственность принять не может, входят в рассказы Щедрина и «Nemo» эпизодически, так что желаемые исключения могут быть сделаны редакцией без уничтожения статей, которые по общему содержанию своему не могут быть признаны вредными. Редакция «Отечественных записок», по всей вероятности, на это согласится.

Я спешу представлением об аресте экземпляров книжки, так как сегодня в полдень истекает двое суток со времени представления ее в комитет и затем остается тоже не более 48 часов до выхода книжки в свет.

Если Вы изволите найти нужным доложить об этом г. министру и он на это согласится, то исключение может быть предложено редакции журнала и сделано после наложения ареста» (*ЦГИАЛ*, ф. 776, оп. 3, ед. хр. 139, л. 279).

На следующий день (16 сентября) Варадинов «конфиденциально» известил Петрова о решении Макова:

«Г-н министр внутренних дел на докладе моем о задержании № 9 журнала «Отечественные записки» изволил положить следующую резолюцию: «Согласен, но нахожу, что первоначально можно было бы предложить редакции исключить или изменить неудобные места из статьи, и если редакция это не исполнит, то прибегнуть к применению закона».

Сообщая об этом к надлежащему исполнению, покорнейше прошу Ваше превосходительство уведомить меня о последующем» [1].

Результаты переговоров Петрова с редакцией «Отеч. записок» известны из его письма к Варадинову от 17 сентября:

«Вследствие письма Вашего превосходительства 16 сентября за № 2976 имею честь уведомить, что редактор журнала «Отечественные записки» Салтыков изъявил согласие на предложенные ему исключения и изменения в № 9 «Отечественных записок», а именно:

1. В статье Nemo «Finis Монрепо» исключить место на стр. 231 от слов «В Ведомостях пишут» до слов «так оно колесом и пойдет».

2. В статье «Первое июня.— Первое июля» исключить весь отдел под рубрикою «Первое июня», то есть от начала статьи на стр. 119 до 131.

---

[1] *ЛН*, т. 13—14, стр. 164—165.

3. На стр. 119 вставить небольшое в трех строках заявление о пропуске отдела «1-ое июня» по неимению материала за май месяц.

Для выполнения сих изменений редактор просит сделать распоряжение о снятии наложенного по распоряжению Главного управления по делам печати ареста на экземпляры сентябрьской книжки.

Имею честь просить Ваше превосходительство об удовлетворении такового ходатайства редакции, с возложением ответственности на типографию, чтобы в неисправленном виде книги не были выпущены в свет, а сделанные исключения представлены были в комитет, и с условием, чтобы по исправлении книжек до выпуска оной в свет, вновь было представлено в цензурный комитет установленное количество экземпляров» (*ЦГИАЛ*, ф. 776, оп. 3, ед. хр. 139, л. 282).

17 сентября Варадинов известил Петрова, что Главное управление по делам печати обратилось к градоначальнику с просьбой назначить одного из инспекторов типографий для наблюдения, вместе с чиновником цензурного комитета, за исключением ряда мест из № 9 «Отеч. записок» (*ЦГИАЛ*, ф. 777, оп. 2, ед. хр. 60, л. 333).

Узнав о согласии Варадинова, Салтыков 17 сентября обратился в цензурный комитет с просьбой:

«Ввиду предполагаемых изменений в № 9 «Отеч. записок», имею честь покорнейше просить распоряжения о выдаче заарестованных книг журнала для исправлений. По исполнении сего, требуемое количество экземпляров будет представлено в комитет вновь».

Из последующих документов дела об издании «Отеч. записок» явствует, что под руководством назначенного цензурным комитетом П. П. Салманова и инспектора типографии А. Ф. Грешнера указанные в приведенном выше письме Петрова к Варадинову от 17 сентября части текста были изъяты из номера. Однако и после исключения неугодных цензуре мест разрешение на его выпуск в свет задерживалось. В связи с этим Салтыков 20 сентября писал секретарю цензурного комитета Н. И. Пантелееву:

«Милостивый государь

Николай Иванович.

Александр Григорьевич обещал мне выпустить 9 № «Отеч. зап.» по сличении сделанных исправлений. Между тем потребовались самые вырезки, и это замедлило выпуск книги. Ныне же вырезки готовы, да инспектор типографии занят. Так что вряд ли даже и в субботу № выйдет. Нельзя ли Вам принять в этом деле участие и попросить Александра Григорьевича хоть частным образом убедиться, что вырезки сделаны, и выпустить книгу.

Примите уверения в совершенном почтении и преданности».

Однако разрешение на немедленный выпуск сентябрьского номера в свет было дано только после того, как от П. П. Салманова 21 сентября поступило официальное извещение о том, что произведенные в 8020 экземплярах вырезки опечатаны и сданы под расписку «на хранение управляющему

типографией Краевского Скороходову под условием предоставления таковых в цензурный комитет» (*ЦГИАЛ,* ф. 777, оп. 2, ед. хр. 60, лл. 337—338).

Таким образом, из приведенных выше документов со всей очевидностью следует, что в главе «Finis Монрепо» (см. стр. 367) была изъята часть текста от слов: «В Ведомостях пишут...» — и кончая словами: «...так оно колесом и пойдет». Не была она восстановлена автором и в отдельных изданиях «Убежища Монрепо».

При подготовке отдельного издания Салтыков несколько изменил журнальный текст. В «Отеч. записках» после слов Грацианова: «Теперь — конец!» (стр. 368) следовала реплика повествователя: «Всему венец!» «Да! так вы, кажется, об Разуваеве начали что-то говорить?» Вместо этого текста в *Изд. 1880* и *1883* было напечатано:

— Всему венец! Вон из Москвы пишут: «умников»-де в реке топить надо...
— Тсс...
— Да! так вы, кажется, об Разуваеве начали что-то говорить?

Приводя по донесению цензора Лебедева место, исключенное цензурой из главы «Finis Монрепо», Б. М. Эйхенбаум справедливо отметил, что «в промежуток между черновым автографом и печатным текстом Щедрин изменил это место — и притом в сторону усиления, а не смягчения». «При таком положении,— заключает исследователь,— редактору текста приходится выбирать один из двух путей: либо пожертвовать содержанием этого куска и оставить печатный текст, либо пожертвовать текстологической чистотой и прибегнуть к конъектуре: вместо слова «Тсс...» взять приведенную цензором цитату. Ввиду ценности этого куска мы решили выбрать второй путь — после слов: «Вон из Москвы пишут» — берем цитату цензора и в реплике Щедрина ликвидируем слово «Тсс...», считая, что оно появилось взамен вырезанных цензурой фраз о «горошке» (*Изд. 1933—1941,* т. XIII, стр. 560).

Принятое Эйхенбаумом решение нуждается в одном уточнении. В начальной части фразы вместо слов: «Вон из Москвы пишут» — в соответствии с цензурными документами надо печатать: «В «Ведомостях» пишут». Что же касается утверждения С. Н. Соколова, что «в будущем новом издании «Убежища Монрепо» изъятый цензурой текст из главы «Finis Монрепо» должен быть восстановлен» [1] по черновому автографу, то оно опровергается приведенными цензурными материалами.

Сюжетно-тематической основой и целым рядом деталей «Finis Монрепо» тесно связан с очерками «Столп» и «Кандидат в столпы» из цикла «Благонамеренные речи»: продажа приходящего в упадок дворянского имения набирающему силу «чумазому» в обстановке безудержного разгула буржуазного хищничества, с одной стороны, и политической реакции — с другой.

---

[1] «Уч. зап. Старо-Оскольского гос. пед. ин-та», 1957, вып. 1, стр. 99.

Антипатия Салтыкова к «новоявленному русскому буржуа» — «ублюдку крепостного права», «мироеду» без элементарных культурных навыков предпринимательского дела, с «нахальной» «готовностью кровопийствовать» — очевидна. Не забывая о крепостническом прошлом «старокультурного человека», спеша согласиться, что это «тип несимпатичный», автор очерка готов все же посчитать роль «рохли» — при отсутствии другого выбора — более «приличной», чем роль «кровопивца».

Сатирически остро и выразительно воссоздается в очерке атмосфера усиливающейся реакции, засилья «граждан ретирадных мест», усматривающих «дух», «заразу», крамольное желание «фрондировать», «артачиться», «фыркать», даже в простом «ничегонеделанье», объявляющих «врагом отечества» всякого «недовольного», хотя бы и «промежду себя», и, наконец, призывающих к прямой физической расправе над «людьми культуры» — «умниками», «сочувствователями», «интеллигенцией».

Одним из первых откликнулся на выход «итогового» очерка Буренин; в большой «подвальной» статье он попытался взять под сомнение идейную значительность и острогу «эпопеи о тревогах и страданиях обитателя Монрепо», считая, что для Салтыкова характерны «фельетонность», невинно-юмористическая «фиоритурность». «Двойственность» образа рассказчика, который заключает в себе и объектно-сатирическое и авторско-лирическое начала, Буренин поспешил истолковать как очевидную неувязку, как лишнее свидетельство присущей писателю «неопределенности». Наконец, задавшись вопросом, «какое значение будут иметь через тридцать — пятьдесят лет» творения Салтыкова, критик «Нового времени» отвечал на него следующим образом: «...К этому времени мнимая глубина сатирика обмелеет так, что по ней, пожалуй, вброд будут гулять самые немудрые консерваторы двадцатого столетия» [1]. По сути дела, повторением буренинских суждений и оценок явились рецензии в «Современности» (1879, № 114, 7 октября. Подпись: *А. Н.*) и особенно — в «Петерб. листке» (1879, № 198, 10 октября), где Салтыков был обвинен в безыдейности.

Сочувственный характер носили отклики С. И. Сычевского («Правда», 1879, № 232, 25 октября) и критика, укрывшегося за псевдонимом Домино, который писал: «Сегодня я нахожусь под впечатлением последней сатиры Щедрина «Finis Монрепо» и не вижу ничего лучшего для начала своего первого фельетона, как сказать о ней несколько слов. Что за едкая, глубокая и высоко художественная сатира. Автор рисует между прочим новый тип деревенского аристократа, кулака-кабатчика, из бывших дворовых людей. Этот нарождающийся тип сельского буржуа питается и развивается, с одной стороны, на счет крестьянства, с другой — на счет культурного сословия, неспособного к практическому делу <...>

С беспощадной иронией наш сатирик срывает маску с наших «дельцов», которые мнят, что представляют основы общественного строя и в со-

---

[1] *НВ*, 1879, № 1294, 5 октября.

стоянии управлять судьбою страны. Нет для них приличнее названия, как граждане ретирадных мест»[1].

Стр. 348. *...Бажанов пишет <...> Советов повествует...*— См. прим. к стр. 276.

Стр. 349. *Уставная грамота* — документ, определявший новые пореформенные отношения помещиков и крестьян.

«Верный человек».— Вопрос о «верном человеке», иллюстрируемый далее примерами Груздева и Разуваева, и раньше привлекал внимание Салтыкова — см. например, «историю» Стрелова в очерке «Отец и сын» из цикла «Благонамеренные речи» (т. 11).

Стр. 350. *...в прохвостах состоял!* — то есть был исполнителем самых непривлекательных работ и поручений. Профос (лат. profos) — войсковой ассенизатор, уборщик лагерных нечистот.

Стр 352. *...это совсем не тот буржуа...*— Противопоставление русского невежественного хищника-буржуа («чумазого») европейскому свидетельствует о том, что Салтыкову были видны относительно позитивные начала более развитых, «культурных» форм капитала (деловая активность, профессиональная выучка и т. п.— «неслыханное трудолюбие», «пристальное изучение профессии»), равно как и их эксплуататорская сущность (наличие непременного «кровопивства»). Такой взгляд на отечественную буржуазию, по наблюдению Е. И. Покусаева, во многом близок тому, который развивала русская подпольная журналистика (см. «Революционная сатира Салтыкова-Щедрина», Гослитиздат, М. 1963, стр. 355).

...корнета Отлетаева...— Этот персонаж фигурирует также в очерке «Старая помпадурша» (т. 8, стр. 42) и более поздних произведениях Салтыкова («Недоконченные беседы», «Пестрые письма»), генетически восходя к повести кн. Кугушева «Корнет Отлетаев» (см. т. 8, стр. 486).

Стр. 354. *...насчет чтениев строго...*— Одно из характерных салтыковских обозначений атмосферы торжествующей реакции, вложенное несколько ранее в уста «столпа» Дерунова («Благонамеренные речи»).

Стр. 355. *Толцыте и отверзется.*— Евангельское выражение: «Просите, и дастся вам; ищите, и обрящете; толцыте, и отверзется вам», то есть: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам» (Матф., VII, 7).

Стр. 357. *...опасение выражал, дабы добрые семена не были хищными птицами позобаны.*— Салтыков имеет в виду действительное выступление в тогдашней периодической печати какого-то духовного лица, в смысловом или стилистическом плане затронувшего евангельскую притчу о сеятеле. Позобанные птицами зерна — похищенные лукавым из сердец неустойчивых и неуразумевших людей посеянные в них семена веры (Матф., XIII, 4 и 19; Марк, IV, 4 и 15).

---

[1] Вчера и сегодня (Из моих записок).— «Современные известия», 1879, № 279, 10 октября. Подпись: *Домино.*

Стр. 361. *Червонные валеты...*— шайка мошенников из прокутившейся дворянской молодежи, раскрытая в 1876 году (см. прим. к очерку «Дети Москвы», т. 12, стр. 189).

Стр. 362. *...у меня были «правá»...*— См. т. 7, стр. 9.

Стр. 364. *Допустим, что я, возлежа на одре, читаю Кабе, Маркса, Прудона и даже — horribile dictu! — такую заразу, как «Вперед» или «Набат».*— Единственное упоминание Салтыковым имени основоположника научного социализма. (Об отношении Салтыкова к марксизму см.: А. С. Бушмин, Сатира Салтыкова-Щедрина, Изд-во АН СССР, М.—Л. 1959, стр. 303—317.)

Стр. 364—365. *...уроженец ретирадного места <...> граждане ретирадных мест...*— Имеются в виду деятели реакционной печати, и прежде всего ведущие сотрудники «Моск. ведомостей» во главе с Катковым. Вскоре после публикации «Finis Монрепо» Салтыков писал Анненкову (10 декабря 1879 г.): «Думается, как эту, ту же самую азбуку употреблять, какую употребляют и «Московские ведомости», как теми же словами говорить? Ведь все это, и азбука и словарь — все поганое, провонялое, в нужнике рожденное. И вот все-таки теми же буквами пишешь, какими пишет и Цитович, теми же словами выражаешься, какими выражаются Суворин, Маркевич, Катков!»

В поддержку Салтыкова, вызвавшего своим очерком возмущение реакции, выступил Елисеев. Он писал: «В своем «Finis Монрепо» г. Щедрин назвал литературных доносчиков гражданами ретирадных мест. Это некоторых национал-патриотов шокировало: такое название показалось слишком резким и несправедливым. А между тем к чему же стремятся в действительности все литературные доносчики, если не к тому, чтобы литературу превратить в ретирадное место?» (*ОЗ*, 1879, № 10, стр. 222).

Стр. 366. *Нотабли* — знатные люди (от франц. notables); во Франции XIV—XVIII веков — представители привилегированных сословий, назначавшиеся королем членами особого государственного органа (собрания нотаблей); здесь употреблено в ироническом смысле.

...отныне никому уж спуску не будет...— Ироническое определение правительственного курса репрессий, отчетливо обозначившегося после апрельского (1879) покушения Соловьева на Александра II (см. также след. прим.).

Стр. 367—368. *Вот в «Ведомостях» справедливо пишут: вся наша интеллигенция — фальшь одна, а настоящий-то государственный смысл в Москве, в Охотном ряду обретается. <...> В «Ведомостях» пишут: «умников» в реке топить надо...*— Салтыков здесь точно характеризует направление газеты Каткова, которая, например, писала: «Пусть первопрестольная Москва кликнет клич по всей земле Русской <...> настала пора ополчиться на дерзновенного внутреннего врага Отечества» (*МВ*, 1879, № 82, 3 апреля). Требуя жестоких акций против оппозиционной интеллигенции, газета ссылалась на «народное мнение», суть которого она видала в том, чтобы: «В Неву покидать всех! ...Спуску много давали... Бунтовщики...

Всех их в воду!», и напоминала «нашей скудоумной невской интеллигенции», «чем отвечал народ на «демонстрацию» в Охотном ряду» (Иногородний обыватель <Б. Маркевич>, С берегов Невы.— *МВ,* 1879, № 97, 19 апреля).

В 1878 году московские студенты — участники демонстрации — были жестоко избиты охотнорядскими мясниками, натравленными полицией. Еще ранее (декабрь 1876 г.) демонстрировавшие на Казанской площади в Петербурге землевольцы (этот «бунт» также упомянут в вышеуказанной корреспонденции Б. Маркевича) подверглись избиению со стороны дворников и торговцев, о чем Салтыков сообщал в письме к Энгельгардту (18 декабря 1876 г.): «Здесь недавно произошла какая-то странная история в Казанском соборе. Определительно никто ничего не знает, но говорят, что «представители деревни», то есть извозчики, отличились. Одну женщину головой об тумбу били и, говорят, убили».

Идея «горошка» (картечи), то есть расправы со спровоцированной самими же властями «смутой», также вынашивалась этой газетой (см. указ. номера, где, кстати, используется и термин «умники» в сочетании с прилагательным «невские»; см. также П. В. В., Голос русского.— *МВ,* 1879, № 90, 11 апреля).

Имея в виду те же издания, которые подразумевал и автор «Убежища Монрепо», Елисеев писал: «Весь прошедший летний сезон наша текущая пресса занималась, главным образом, разыскиванием врагов отечества — внешних и внутренних и измышлением мер для уничтожения их. Осенний сезон, ввиду все еще окончательно не умиротворенного внутреннего состояния России, потребует, вероятно, со стороны прессы новых стараний и усилий в том же направлении» (*ОЗ,* 1879, № 10, стр. 200).

Стр. 368. *Ошуйю <...> одесную* — слева, справа.

Стр. 370. *Желал бы я быть «птичкой вольной», как говорит Катерина в «Грозе» у Островского.*— См. действие I, явл. 7.

Стр. 371. *Человек — это общипанный петух. Так гласит анекдот о человеке Платона, и этот анекдот, возведенный в идеал, преподан, яко руководство, и в наши дни.*— По преданию, Диоген появился однажды на лекции Платона, определившего человека как «двуногое без перьев» («Государство»), с ощипанным петухом в руках, говоря: «Вот человек Платона» (Диоген Лаэртский, Жизнь и учения людей, прославившихся в философии, VI, 2). Салтыкову припомнился этот «анекдот» в атмосфере беззастенчивого разгула реакции, в обстановке всемерного подавления человеческой личности, низводимой до «ощипанной» курицы или же «червя ползущего».

Чуть ли не с Кантемира начиная, мы только и делаем, что жалуемся на «дурные привычки».— Салтыков повторил утверждение Добролюбова в его статье «Русская сатира екатерининского времени»: «С Кантемира так это и пошло на целое столетие: никогда почти сатирики не добирались до главного, существенного зла, не разражались грозным обличением против того, отчего происходят и развиваются общие народные недостатки и бед-

ствия» (Н. А. Добролюбов, Собр. соч. в 9-ти томах, т. V Гослитиздат. М.— Л. 1962, стр. 315).

Стр. 371. *Рамки такие нужны...*— то есть такой общественный строй, который устранял бы возможность развития в человеке пороков — «дурных привычек». Салтыков-просветитель придерживается точки зрения Чернышевского, который писал в статье о «Губернских очерках»: «Отстраните пагубные обстоятельства, и быстро просветлеет ум человека и облагородится его характер» (Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. IV, Гослитиздат, М. 1948, стр. 288).

Стр. 373. *...ни о сокровищах <...> издаваемых экспедицией заготовления государственных бумаг...*— Намек на неумелую финансовую политику властей, прибегших во время войны с Турцией к выпуску большого количества заведомо обесцененных кредитных билетов.

Стр. 375. *...прошла Фомина неделя...*— См. прим. к стр. 235.

...пропашку за пропашкой делает.— Пропашка — недобросовестная обработка земли, при которой остаются непропаханные участки.

...такие фундаменты закладываются и такие созидаются здания, что, того гляди, задавят.— По-видимому, намек на усилившееся к лету «страшного» 1879 года реакционно-охранительное «зиждительство», особенно заметное в столицах — Петербурге и Москве.

...смотрите-ка, куда забрались! — Имеется в виду присоединение в 60-е годы к России — несмотря на энергичное противодействие со стороны Англии — Кокандского, Бухарского и Хивинского ханств и продвижение в Туркмении. В 1878—1879 годах англо-русские противоречия достигли особой остроты как раз на почве афганского вопроса, о котором, естественно, много писалось и говорилось в ту пору и которого в своих сатирических целях неоднократно касается автор «Убежища Монрепо» (см. прим. к стр. 332).

Стр. 376. *Эльдорадо* — Золотая страна (исп.); эту сказочную страну разыскивали в Америке первые испанские колонисты.

Стр. 377. *...в первую холеру...*— то есть холерную эпидемию 1830 года.

Новина — небеленый суровый холст; одна новина (ярославск.) — 30 аршин (около 22-х метров).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
(Стр. 380)

Впервые — *ОЗ*, 1879, № 11 (вып. в свет после 16 нояб.), стр. 261—286. Рукописи и корректуры не сохранились.

В текст отдельного издания наряду с мелкой стилистической правкой Салтыков внес несколько изменений, усиливающих мысль о бесплодности буржуазии, ожидания от нее исторического прогресса.

Стр. 403, строка 14 сн. После слов: «ответа не даст» — в *Изд. 1880* добавлено:

Да и ответить тут можно одно: не будет, наверное не будет — вот и все.

Стр. 404, строка 12. После слов: «изволь, отвечу» добавлено:

не выйдет ничего, потому что у тебя и на уме ничего такого, чтоб что-нибудь вышло,— нет.

Появление очерка «Предостережение» на страницах ноябрьской книжки «Отеч. записок» за 1879 год носило характер самостоятельной публикации, и только позднее, при подготовке отдельного издания «Убежища Монрепо», Салтыков включил его на правах эпилога в состав цикла. «Предостережением» подводится итог теме дворянского «оскудения» и пришествия «чумазого», теме столь важной в творчестве писателя и художественно завершенной в «Убежище Монрепо» (позже Салтыков только мимоходом возвращался к ней). Идейно-тематическое родство «Предостережения» и всего цикла с «Благонамеренными речами» — в общности постановки проблем «столпов» и «принципов» (семья, собственность, государство). Самый мотив «благонамеренных речей» сохраняется в очерке, в котором запечатлена беспринципность и продажность определенной части либеральной журналистики — «публицистов», ревностно взявшихся вслед за «охранителями» защищать и обслуживать «новоявленных столпов», поспешивших «приличным образом» обставить их «распивочное торжество».

В «Предостережении» отчетливо сказались как сильные стороны мировоззрения Салтыкова, возвышающие его над народническим окружением, так и известная односторонность писателя в оценке капиталистического периода, на что и обратил в свое время внимание К. Маркс (см. стр. 704).

Публикация очерка была отмечена несколькими более или менее сочувственными рецензиями. «Газетную» критику привлек прежде всего публицистически открыто сформулированный в нем «серьезный вопрос» («Сын отечества», 1879, № 269, 23 ноября) о пришествии «чумазого». По словам Е. Е. Картавцева, автор «Предостережения» нарисовал «мрачную и в то же время поразительную по верности картину деятельности современных кабатчиков, менял и прочих мироедских дел мастеров, захвативших временно роль и значение столпов» («Киевлянин», 1879, № 147, 11 декабря, подпись: *Е. К.*). Яркость и «правдивость» салтыковской сатиры признал и Ал. Смоленский («Русск. мир», 1879, № 45, 21 декабря), найдя, однако, в ней «всегдашний недостаток» писателя — «преувеличения», «сгущение красок». Доброжелательно, отметив современное звучание очерка и производимое им «сильное впечатление» на публику, откликнулись в начале нового 1880-го года газета «Кронштадтский вестник» (1880, № 3, 6 января, подпись: *«Некто из толпы»* — Е. П. Свешникова) и «Русск. курьер» (1880, № 7, 8 января).

Стр. 381. *Кунавино* — ярмарочное предместье Нижнего Новгорода со всевозможными увеселительными заведениями, излюбленное место купеческих кутежей.

...идет чумазый! — Во «Введении» к «Мелочам жизни» писатель до-

словно повторит этот оборот, дополнив его категоричным: «идет, и даже уже пришел!» Самый термин «ч у м а з ы й» многими современниками сатирика правомерно рассматривался как очередной удачный «щедринизм». Но были и исключения. Так, Арсеньев, констатируя «собирательность» данного «имени» и делая упор на буквальном значении слова, отмечал что оно «на этот раз выбрано не совсем удачно» (К. К. А р с е н ь е в, Салтыков-Щедрин, СПб. 1906, стр. 107—108).

Стр. 381. *...была одна минута, когда казалось, что вот-вот все русское общество вступит на стезю абсолютного и бесповоротного бесстолбия...*— Салтыков имеет в виду ситуацию, сложившуюся в России в начале 60-х годов и позже обозначенную как «первая революционная», когда, говоря словами В. И. Ленина, «самый осторожный и трезвый политик должен был бы признать революционный взрыв вполне возможным и крестьянское восстание — опасностью весьма серьезной» (В. И. Л е н и н, Полное собрание сочинений, т. 5, стр. 30).

Стр. 383. *...приветствуют чумазого человека и публицисты.*— Кривенко в статье «Новые всходы на народной ниве» (*ОЗ*, 1879, № 2) отмечал образование целой литературы, прославляющей «ум, энергию и предприимчивость» буржуазии.

Стр. 386. *...независимо от клейменых русских словарей в нашей жизни выработался свой собственный подоплечный словарь...*— Салтыков иносказательно противопоставляет о ф и ц и а л ь н о м у с л о в у, маскирующему в угоду господствующей идеологии настоящий смысл явлений, сложившиеся здравые понятия и определения, точно отражающие подлинную реальность, подоплеку жизни.

Стр. 387. *Подчаски* — лица, заменяющие по необходимости кого-либо; здесь — использовано в ироническом смысле.

Стр. 388. *Горе той стране...*— Стилистически и по смыслу данный «вывод» Салтыкова весьма близок следующим строкам письма Белинского к Боткину от <2—6 декабря> 1847 года, впервые опубликованного (частично) Пыпиным (*ВЕ*, 1875, № 5): «...я сказал, что не годится государству быть в руках капиталистов, а теперь прибавлю: горе государству, которое в руках капиталистов. Это люди без патриотизма, без всякой возвышенности в чувствах...» (см.: В. Г. Б е л и н с к и й, Полн. собр. соч., т. XII, Изд-во АН СССР, М. 1956, стр. 449—450). Этот оборот восходит к евангельскому тексту (Лука, гл. 11, ст. 42—44).

Интеллигенция! дирижирующие классы... «сюжет заимствован с французского!» — Проводя мысль о крайней невежественности и реакционно-охранительной сущности — с самого момента появления — русского «чумазого», Салтыков саркастически отводит попытки «публицистов» уподобить его ф р а н ц у з с к о й б у р ж у а з и и, с ее революционным прошлым.

Стр. 390. *...обращаюсь к твоему публицисту <...> в чаянии, что этот шустрый малый...*— Собирательный образ публициста включает в себя также и некоторые черты А. С. Суворина.

Стр. 392. *...играй с Новиковым и Петипа!* — Новиков и Петипа — известные актеры Александринского театра конца 70-х годов. Суть иронии Салтыкова в том, что наряду с реалистической традицией в Александринском театре существовало и другое направление, связанное с установкой на техническое мастерство и эффектность внешнего рисунка роли. Этим отличалась, в частности, игра Петипа, участвовавшего также и в ряде оперетт («Прекрасная Елена» Оффенбаха, «Дочь рынка» Лекока).

Стр. 393. *Феденька Неугодов* — сатирический персонаж, встречающийся в ряде произведений Салтыкова («Помпадуры и помпадурши», «Дневник провинциала в Петербурге», «Круглый год» и др.).

Гулящий русский человек — старорусский юридический термин, в 60-е годы введенный в публицистический оборот «парижскими» корреспонденциями И. Аксакова и сатирически переосмысленный Салтыковым для обозначения «шатающихся» по «заграницам» бездельников-дворян (см. т. 6, стр. 598, 601—603, и т. 7, стр. 566—567).

...уплачивает тринкгельды и пурбуары... — чаевые, на водку (от нем. и франц.).

Стр. 394. *...на ознакомление по пути с садом Кроля.* — Кроль — местечко в 16 километрах от Гренобля, окрестности которого издавна славились садами, бульварами и виноградниками. Возможно, Салтыков саркастически намекает на паломничество «гулящих русских людей» на родину «бургундских» и «шартрезов» — знаменитых французских вин.

..пожалуйте <...> по этапу... — Иронический намек на полицейский произвол властей, с особой подозрительностью относившихся к тем, кто возвращался из поездки в «крамольную» заграницу, и нередко производивших аресты «неблагонамеренных» лиц (с последующей их высылкой по этапу) непосредственно в пограничных пунктах.

...идея о суде потомства... — Эта «идея» явилась важным звеном в общей концепции «молчалинского» цикла (включая сюда и повесть «Больное место»).

Стр. 396. *...это полезно «да тихое житие поживем»...* — Выражение из евангельской молитвы «за царей и за всех начальствующих» (Первое послание к Тимофею ап. Павла, II, 1—2).

Стр. 397. *Отслушаешь, бывало, Грановского...* — См. т. 9, стр. 505—513, и т. 10, стр. 695 и 718.

...повинны беша работе... — повинны были (старосл.).

Стр. 402. *...при содействии Оффенбаха, Шнейдерши и нынешней неутешной вдовы...* — Салтыков, подобно многим «шестидесятникам», отстаивавшим высокое «гражданское» назначение искусства, отрицательно относился как к самому жанру оперетты, созданному Жаком Оффенбахом, так и особенно к фривольной манере его сценического исполнения, в частности французской актрисой Гортензией Шнейдер, гастролировавшей в Петербурге в начале 70-х гг.

КРУГЛЫЙ ГОД

Цикл «Круглый год» задуман как хроника происходящего, дающая ежемесячный обзор событий социально-политической жизни. Однако сами события остаются на заднем плане, они не всегда названы, лишь угадываются читателем. Салтыков стремится передать общественную атмосферу, которая определена этими событиями и, в свою очередь, определяет их. Для очерков характерна значительная степень обобщенности и художественной типизации.

Современники рассматривали новый цикл как своеобразный дневник «за тяжелый 1879 год, но дневник не гнетущих событий, быстро следовавших одно за другим, а дневник тех скрытых, назойливых и мучительных дум, которые каждый мыслящий человек должен был переживать в это время»[1].

1879 год был поистине тяжелым, «страшным годом», по словам самого Салтыкова. После длительного перерыва (с покушения Березовского в 1867 г.) возобновилась серия покушений на Александра II. 2 апреля А. К. Соловьев стрелял в царя. 19 ноября была совершена попытка взорвать царский поезд. Покушения вызвали новую волну реакции, ожесточенных преследований не только революционеров, но и малейших проявлений свободолюбивой, неофициальной мысли. Любая независимая точка зрения казалась властям подозрительной. Произведения демократической литературы, правдиво воспроизводящие жизнь, воспринимались еще в большей степени, чем ранее, как «потрясение основ», как «крамола». В реакционной печати раздавались призывы, топить «умников», студентов, интеллигентов[2].

Создавая и публикуя свои очерки в обстановке крайней реакции, писатель вынужден был менять их первоначальный замысел.

В известном письме к Е. И. Утину, написанном по поводу его статьи о «Круглом годе» — «Сатира Щедрина», Салтыков раскрывает суть той задачи, которую он перед собой ставил, создавая цикл. Идеалы «семьи, собственности, государственности», утверждал он, исчерпали себя, в «наличности» их уже нет. Но во имя этих призрачных «основ», по словам Салтыкова, попирается «идеал свободного исследования как неотъемлемого права всякого человека». В ряде названных им произведений писатель раскрывал несостоятельность «основ» современного социально-политического устройства. Обличению «принципа государственности» посвящен цикл «Круглый год».

Возражая Утину, который пытался комментировать с либеральных позиций его отношение к «идеалам», истолковать «Круглый год» в духе

---

[1] Евг. Утин, Сатира Щедрина.— *ВЕ*, 1881, № 1, стр. 308.
[2] См., например: *МВ*, 1879, № 83; «С берегов Невы», № 97, и др.

борьбы за конституционное устройство, сатирик разъясняет идейно-художественные принципы, цели и задачи своей сатиры[1], которыми он руководствовался и в работе над циклом «Круглый год».

Салтыков защищает право писателя не «выставлять иных идеалов», кроме тех, которые исстари волнуют человечество[2]. Не желая связывать свое творчество с узкоутилитарными задачами различных партий, их практическими целями, писатель в очерке «Первое октября» противопоставил собственную литературную деятельность периода «Губернских очерков» — «тщеты обличения» своему более позднему творчеству, задача которого — исследование и раскрытие фиктивности «основ», «самоновейших принципов современности», широкая социальная сатира. Отвергая защищавшийся им прежде принцип «пользы», он считает, что, «по нынешнему времени, говорить можно именно только без пользы, то есть без всякого расчета на какие-нибудь практические последствия». Целью литературы он считает пробуждение сознательности, содействие «нравственному оздоровлению» человечества, разъяснение «причин» общественного «недуга», возможности их устранения. Такой подход расширял рамки сатиры, позволял давать глубокий анализ устоев современного общества, порождающих определенные типы («Воистину болото родит чертей, а не черти созидают болото»). Считая, что останавливаться на «практических идеалах» «значит добровольно стеснять себя», Салтыков остается верен широким идеалам революционно-демократического наследства.

С такими идейно-художественными установками писатель начинал «Круглый год». Но осуществить свой замысел полностью ему не удалось. Осуждение принципа «государственности» было, пожалуй, с официальной точки зрения особенно крамольным. Цензура всегда крайне придирчиво преследовала малейшие намеки на несовершенство государственно-бюрократической машины. Салтыков же намеревался в своих очерках доказать полную несостоятельность идеи государственности в той ее форме, в которой она была или могла быть реализована в самодержавной России. «В первоначальном намерении беседы эти должны были отражать в себе злобу дня,— сказано в фельетоне «Первое ноября»,— и, в то же время, служить примером для воспроизведения некоторых типов, которые казались мне небезынтересными. Я должен, однако ж, сознаться, что ни того, ни другого я не выполнил».

После событий 2 апреля писатель приостанавливает работу над циклом, собираясь выступить как публицист, дать прямой отпор идеологам реакции, с новым остервенением набросившимся на демократическую печать. Невозможность такого выступления заставляет Салтыкова вернуться к «Круг-

---

[1] См. Е. Покусаев, Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, стр. 8—20, 328—336.

[2] Размышления Салтыкова имеют, видимо, и полемический подтекст, направленный против Достоевского. См.: Е. Покусаев, Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, стр. 391—392.

лому году», попытаться использовать его для злободневной публицистической борьбы. Попытки подобного рода отражены в вариантах очерка «Первое мая». Они в значительной степени определяют содержание и более поздних фельетонов, осложняя первоначальный замысел. Да и вообще обстановка 1879 года не благоприятствовала анализу и изобличению принципа «государственности», влияния его на духовную жизнь, на идеологию, на человеческие типы.

Несмотря на неблагоприятные условия, все же Салтыкову удалось передать атмосферу дня, порождаемые ею явления.

Созданные писателем сатирические образы — художественно убедительное выражение сущности дворянско-буржуазной государственности. Салтыков открывает новые типы «столпов государственности»: сановника Ивана Михайловича, «провиденциального мальчика», «кандидата в фельдмаршалы» Феденьки Неугодова, ренегата Саши Ненарочного. С современным состоянием «государственности» связывает Салтыков и появление таких рептильных литераторов, как Филофей Иванович Дроздов.

«Знамением времени» является тот факт, что одним из «столпов» «государственности» оказывается ренегат Саша Ненарочный. Ренегатство многих вчерашних революционеров — одна из характерных примет семидесятых годов. Ненарочный как бы предвосхищает путь видного деятеля народничества Л. А. Тихомирова, автора брошюры «Почему я перестал быть революционером?». Возможно, что история Ненарочного — отклик на циркуляр министра народного просвещения Д. А. Толстого (опубликовано в июне 1875 г.) и на записку министра юстиции К. И. Палена, где речь шла о «преступной пропаганде» революционной молодежи среди народа.

«Родословные» Неугодова и Ненарочного, одного — от Неугодовых, издавна где-то «сидевших» и «целовавших крест», а другого Аракчеева, еще более наглядно подчеркивают связь новых «столпов государственности» с «основами» дореформенной России. Все три принципа (семьи, собственности, государства), во имя которых ведется «обуздание», даны в «Круглом годе» в неразрывном единстве. История продажи имений семейства Неугодовых связывает проблемы «государственности» и «собственности». В действительности защитники «основ», «столпы государственности» сами подрывают собственность, за которую они на словах ратуют. Салтыков вводит в «Круглый год» образ Дерунова — персонажа «Благонамеренных речей». Делающий карьеру Феденька Неугодов, сановник, будущий министр, и кулаки, кабатчики Дерунов с Колупаевым, оказываются людьми, действующими хотя и на разных поприщах, но во имя одинаковых своекорыстных целей. Знаменательно и то, что намечается близость между Феденькой, ревнителем принципов «государственности» и «собственности», и героями громких уголовных процессов о присвоении чужой собственности.

Образ «куколки», Nathalie Неугодовой, изображение Демидрона связывают проблемы «государственности» и «семейственности».

По мысли Салтыкова, прежде все же имелись какие-то основы, пусть нелепые, в незыблемость которых верили и те, которые давили, и отчасти те, кого давили; ныне «основы» разложились, превратились в фикцию. Новыми «деятелями», «выскочками», движет лишь одно стремление — стремление к собственному преуспеянию, к карьере, к получению чинов и наград, любой ценой, во имя какой угодно цели, при помощи любых средств.

Салтыков продолжает развивать в «Круглом годе» ряд проблем, намеченных в цикле «В среде умеренности и аккуратности» («Отголоски»). Фельетоны «Круглого года» органически связаны с очерками «Отголосков»: «День прошел — и слава богу», «На досуге», «Тряпичкины-очевидцы», «Дворянские мелодии», «Чужой толк» (вопрос об отношении к фактам «самоотвержения», «о безобидной сатире», об изображении народничества в романе Тургенева «Новь», о соотношении литературы 40-х и 70-х годов, о псевдопатриотизме).

Большое место в «Круглом годе» уделено вопросам литературы. Уже в фельетоне «Первое мая» встречается одно из самых глубоких суждений Салтыкова о литературе («...литература не умрет, не умрет во веки веков!»). Под влиянием исключительных обстоятельств (террористические акты против монарха и вызванные ими репрессии) на первый план выдвигается особый аспект рассуждений и образного повествования: литература (сатира) и власть, государство; литература и общество. Кажется, ни в каком другом произведении Салтыков не говорил так веско, так проникновенно, так серьезно и ответственно о литературе, о ее общественном предназначении, о ее нравственном пафосе и о своем писательском (идейном и художественном) «кредо», как это он сделал в «Круглом годе». В цикле отразились пессимистические раздумья писателя-демократа, усомнившегося в действенности своего слова, вынужденного в сложной ситуации конца 70-х годов давать отпор не только идеологическим противникам, но порой сталкиваться и с непониманием читателей-друзей, литераторов-единомышленников (например, сотрудников «Дела», см. стр. 771). Цикл «Круглый год» характеризуется многообразием типов писателей: сам автор, литератор революционно-демократического лагеря, «дядя» — рассказчик, «бывший» литератор с его «рондо» и «триолетами», «ретирадные» писатели и публицисты, репортер «Красы Демидрона», Дроздов. В цикле имеется и полемический подтекст, направленный против Тургенева и Достоевского.

Салтыков использует в очерках обычный для его сатиры прием, ведя повествование от лица «дяди», литератора умеренных либеральных воззрений, сформировавшегося в 40-е годы. «Дядя», критически относясь к существующему режиму, к реакции, стремится в то же время приспособиться к ним. Образ «дяди» является одновременно и объектом сатиры, и оружием в обличении существующего порядка, представляющегося невыносимым даже умеренному либералу. Этот образ удобен и в цензурном отношении, давая возможность Салтыкову вкладывать в уста «дяди» собственные мысли, рассуждения, а в случае необходимости иметь повод отмежеваться

от них. При этом переход от маски «дяди» к голосу самого сатирика почти неуловим.

Родственные отношения «дяди» с Неугодовыми и Ненарочными позволяют придать диалогам, переписке, всему повествованию характер непринужденной интимной беседы, в ходе которой происходит саморазоблачение персонажей цикла [1]. Одной из особенностей цикла «Круглый год» является его подчеркнуто диалогический характер. Атмосфера дня передается через устойчивые понятия-формулы, используемые Салтыковым на протяжении всего цикла («провиденциальные мальчики», «партикулярные люди», «трепет», «подоплека»), повторяющиеся как лейтмотив слова: «Господи! Да неужели это не кошмар!» К подобным понятиям-формулам относится и термин «внутренняя политика», как символ правительственных репрессий.

В «Круглом годе» много литературных героев, заимствованных Салтыковым и из своих и из чужих произведений. «Свои» герои (Дерунов, Тебеньков, Плешивцев и др.) воспроизводятся обычно без какой-либо трансформации их. Повторное обращение к таким образам имеет цель более полно раскрыть определенные общественные типы, порожденные действительностью, ставит эти типы в новые ситуации. Подобное обращение подчеркивает преемственную связь между произведениями Салтыкова, между изображенными в них жизненными явлениями.

«Чужие» литературные герои, как правило, комедийные (Скотинин, Митрофан) сохраняют в цикле «свое лицо». Они демонстрируют живучесть социального зла, отрицательных жизненных явлений и типов. Другие «чужие» герои, обычно «лишние люди» (Рудин, Лаврецкий), существенно отличаются от их привычного первоначального облика, как бы обобщают эволюцию дворянской интеллигенции от либерализма к благонамеренности. Сближение героев типа Скотинина и типа Рудина еще более подчеркивает эту эволюцию [2].

«Круглый год» звучит суровым, бескомпромиссным осуждением правительственной реакции, общественного ренегатства, «основ» собственности, семейственности, государственности, в том их понимании, которое присуще Неугодовым и Ненарочным. И если Салтыков не видит реальных практических путей преображения системы социально-политических отношений царской России, он хорошо понимает несостоятельность путей иллюзорных.

---

[1] О функции рассказчика в сатире Салтыкова см., например: В. Гиппиус, Творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина (в кн.: Салтыков-Щедрин, К пятидесятилетию со дня смерти. Статьи и материалы, Л. 1939, стр. 55—56, 60—61); А. С. Бушмин, Сатира Салтыкова-Щедрина, М.— Л. 1959, стр. 436—453; Е. Покусаев, Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, стр. 225—230.

[2] О роли «чужих» литературных героев в сатире Салтыкова см., например: Е. Покусаев, Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, стр. 252—259.

Современная критика встретила «Круглый год» относительно доброжелательно, но сути его содержания не раскрыла. Лучшая из посвященных циклу статей — Евг. Утина — «Сатира Щедрина». Автор ее солидаризовался с Салтыковым в оценке положения русского общества периода оголтелой реакции, в рассуждениях о роли и судьбах литературы. Утин отвергал обвинения в пессимизме, отсутствии ясных целей, выдвигаемые противниками Салтыкова: «когда писатель изображает бесправие русского общества и целого народа, когда он рисует в лицах узкий, тупой бюрократизм, отравляющий своим прикосновением все, до чего он дотрагивается <...> за этими отрицательными идеями скрываются весьма ясные и положительные идеи относительно необходимости более правильного общественного строя»[1]. Но Утин не понимает отношения Салтыкова к «основам» и истолковывает «Круглый год» как произведение, ратующее за свободу печати, за конституционно-демократическое устройство в рамках существующих «основ»[2].

Подобное истолкование, с более или менее резкой оценкой современного положения, характерно для большинства других сочувственных откликов на «Круглый год». К таким откликам относится неподписанная статья в «Сыне отечества» (1880, № 1), в которой утверждалось, что 1879 год — «один из тяжелейших, один из безотраднейших в русской жизни годов». Автор хвалил Салтыкова за правдивое изображение обстоятельств этого года.

Довольно много писалось о полемике Салтыкова с Тургеневым в связи с фельетоном «Первое марта». Сравнительно доброжелательно отзываясь о «Круглом годе» в целом, рецензенты резко осуждали его автора за намеки на Тургенева (см., например, в газете «Новости» статьи В. Чуйко «Лит. хроника», обзор «Русск. печать», 1879, №№ 74, 85, 112). В последнем обзоре полемика с Тургеневым объясняется, в частности, «впечатлением тургеневского триумфа» и силой «традиционного антагонизма представителей бывшего «Современника» к Ивану Сергеевичу». Знаменательно, что похвалы Салтыкову определены и здесь восприятием его сатиры как либерального обличительства: изображение деятельности «комиссий» в фельетоне «Первое марта» сопоставлено с критикой в газете «Голос» бездеятельности подобных комиссий.

Аналогичное истолкование встречается в неподписанной статье «Среди газет и журналов» (*НВ*, 1879, № 1249).

Отдельные публицисты пытались истолковать «Круглый год» в духе защиты «основ», политики правительственных реформ, как критику уклонений от правильного понимания принципов семьи, собственности и государства.

---

[1] Евг. Утин, Сатира Щедрина.— *ВЕ*, 1881, № 1, стр. 312.

[2] См.: Е. Покусаев, Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, стр. 328—329.

Буренин в фельетонах «Литературные очерки» (*НВ,* 1879, №№ 1259, 1322, 1343, 1880, № 1383 и др.), положительно отзываясь о «Круглом годе», отметил в нем «юмористические тирады», талант, но при этом отверг идейный пафос произведения, то, что он называл «либеральной закваской» (№ 1259). Буренин стремился доказать, что Салтыков «разменял» свой талант, что в его «умилительных жалобах» на невозможность осуществить первоначальный замысел, «может быть, невольно для него самого, звучит сознание той жертвы, какую его крупный талант волей-неволей обязан нести на алтарь мелкой срочной журнальной деятельности» (№ 1383).

О возникновении замысла и начале работы над циклом «Круглый год» точных сведений не имеется. Он печатался в разделе «Совр. обозр.» журнала «Отеч. записки» как ряд очерков, объединенных общей идеей, которые должны были выходить ежемесячно с января по декабрь 1879 года. После появления в январской, февральской и мартовской книжках журнала трех первых очерков — «Первое января», «Первое февраля», «Первое марта» — печатание цикла прекратилось вплоть до августовского номера, в связи с усилением правительственного террора и преследований прогрессивной журналистики.

В течение апреля — июля 1879 года Салтыков работает параллельно над будущими очерками «Круглого года» и незавершенными публицистическими статьями: «Приличествующее объяснение», «Когда страна или общество...», «Говоря по правде, положение русского литератора...», связанными с проблематикой цикла. В 1879 году в августовской книжке печатаются сразу два очерка под общим заглавием «Первое апреля.— Первое мая».

Для того чтобы завершить цикл к концу 1879 года, Салтыков объединил оставшиеся девять частей попарно (за исключением «Первого октября») и в дальнейшем готовил для каждой книжки по два очерка. Цензура помешала публикации июньской и декабрьской частей цикла. В сентябрьской книжке под заголовком «Первое июня.— Первое июля» опубликован только очерк «Первое июля», в декабрьской — под заголовком «Первое ноября.— Первое декабря» помещена только одна первая часть.

Первые семь очерков («Первое января» — «Первое июля») опубликованы под псевдонимом *Нето,* а остальные — за подписью *Н. Щедрин.*

Окончательный текст цикла установился в первом отдельном издании: Круглый год. Сочинение М. Е. Салтыкова-Щедрина. СПб., тип. А. С. Суворина, 1880. Вып. в свет между 16 и 23 июня 1880.

В этом издании впервые появилось общее заглавие цикла, напечатан очерк «Первое июня», вырезанный цензурой из сентябрьской книжки «Отеч. записок» 1879 года, в качестве декабрьского помещен очерк «Вечерок», вырезанный цензурой из февральской книжки «Отеч. записок» за 1880 год и напечатанный под заглавием «Не весьма давно (Осенние воспоминания)» в апрельской книжке за 1880 год. При подготовке этого издания Салтыков сделал значительное количество изменений, как стилистических, так и по

содержанию, восстановил вырезанные цензурой очерки «Первое июня» и «Первое декабря» и устранил из текста все, что имело специфически журнальный, злободневный характер, в частности полемику с Достоевским в «Первом октября» и «Первом ноября».

В помещаемой ниже таблице отражены изменения в заглавиях очерков, произведенные в первом отдельном издании по сравнению с журнальной публикацией.

Название очерков в журнальной публикации	*Изд. 1880*
Первое января.— *ОЗ,* 1879, № 1	Первое января
Первое февраля.— *ОЗ,* 1879, № 2	Первое февраля
Первое марта.— *ОЗ,* 1879, № 3	Первое марта
Первое апреля.— Первое мая (первая часть объединенного очерка).— *ОЗ,* 1879, № 8	Первое апреля
Первое апреля.— Первое мая (вторая часть объединенного очерка).— *ОЗ,* 1879, № 8	Первое мая
Первое июня.— Первое июля (первая часть объединенного очерка).— *ОЗ,* 1879, № 9 (вырезано цензурой)	Первое июня
Первое июня.— Первое июля.— *ОЗ,* 1879, № 9	Первое июля
Первое августа.— Первое сентября (первая часть объединенного очерка).— *ОЗ,* 1879, № 10	Первое августа
Первое августа.— Первое сентября (вторая часть объединенного очерка).— *ОЗ,* 1879, № 10	Первое сентября
Первое октября.— *ОЗ,* 1879, № 11	Первое октября
Первое ноября.— Первое декабря.— *ОЗ,* 1879, № 12	Первое ноября
«Не весьма давно (Осенние воспоминания)».— *ОЗ,* 1880, № 4. Первоначально «Вечерок» — *ОЗ,* 1880, № 2 (вырезано цензурой)	Первое декабря *(«Вечерок»)*

При жизни Салтыкова вышло еще одно издание:

Круглый год. Соч. М. Е. Салтыкова (Щедрина). Изд. 2-е. СПб. (изд. книгопродавца Карбасникова), тип. А. А. Краевского, 1883. Вып. в свет между 1 и 8 июня 1883.

В текст *Изд. 1883* автором внесены некоторые изменения, преимущественно стилистического характера. Текст изобилует типографскими погрешностями.

Все сохранившиеся немногочисленные рукописи «Круглого года» находятся в Отделе рукописей *ИРЛИ.*

В настоящем издании «Круглый год» печатается по тексту *Изд. 1883,* с исправлением ошибок и опечаток по всем прижизненным изданиям и сохранившимся рукописям.

ПЕРВОЕ ЯНВАРЯ

(Стр. 407)

Впервые — *ОЗ,* 1879, № 1 (вып. в свет 20 янв.), «Совр. обозр.», стр. 73—80. Подпись: *Nemo.*

Рукописи и корректуры не сохранились.

При подготовке очерка для *Изд. 1880* в текст внесены некоторые изменения стилистического характера, а также в ряде случаев усилена сатирическая направленность. Приводим два варианта.

Стр. 408, строка 2 сн. Вместо: «потом тайный, потом трещина вдоль черепа... фу, что это, однако ж, какой я вздор говорю! Нет, право» — в *ОЗ* было: «потом тайный, потом... Нет, право».

Стр. 411, строка 7. Вместо: «Мрачно было, мой друг, в наше время <...> и ничего-то бьющего в глаза!» — было:

Мрачно было, мой друг, в наше время, но однообразно и невозмутимо. Живешь, живешь, бывало, «в объятьях сладкой тишины» — и ничего-то интересного, ничего бьющего в глаза наглостью и хвастливостью.

В фельетоне затрагивается тема современных «деятелей», молодых бюрократов типа Феденьки Неугодова, пришедших на смену «старым драбантам». Этот тип разработан в большинстве фельетонов цикла и связан с рядом больших социальных тем (вырождение и обнищание дворянства, аморальность общества и др.). За подобными новыми «деятелями» Салтыков наблюдал с начала 60-х годов, с момента их появления на арене общественной жизни. Многое роднит таких «деятелей» с администраторами дореформенного типа, прежде всего — презрение к массам, уверенность, что искусство управления заключается в умении «подтягивать». Характерной чертой «провиденциальных мальчиков», с точки зрения Салтыкова, является их полный аморализм, желание не только «грабить», но и «дразнить», убежденность, что «известные жизненные условия... это те самые условия, лучше которых нет и не будет».

Уже по этому первому очерку, подписанному псевдонимом, критика, единодушно его одобрившая, сразу же определила его принадлежность Салтыкову.

Стр. 407. *Conseiller de college...* — чин довольно высокого (6-го) класса, соответствующий военному чину полковника. Феденька получает этот чин, несмотря на свою молодость.

Стр. 408. *...много денег в Ницце надо...* — О Ницце писал Салтыков 21 декабря 1875 года А. Н. Еракову: «Все отребье, какое есть на свете,

собралось сюда». «И везде виллы, в коих сукины дети живут,— сообщал он Некрасову 29 октября того же года.— Это беспредельное блаженство сукиных детей, их роскошь, экипажи, платья дам — ужасно много портят крови».

Стр. 408. *...статский советник <...> действительный, потом тайный* — чины высоких классов табели о рангах (5—3).

...трещина вдоль черепа... — гротескный образ. Такой трещиной наделяются у Салтыкова администраторы, занимающие высшие места на служебной лестнице.

Стр. 409. *...в благотворительных обществах служишь.*— Участие в благотворительных обществах считалось в светском кругу хорошим тоном. Для «молодых людей» типа Феденьки такое участие являлось одновременно средством завязывать знакомство с «дамочками» и делать карьеру.

Юноны — здесь: неприступные, недотроги (образ из римской миф.).

Стр. 410. *...с одной стороны, конечно <...> но с другой стороны...*— часто встречающаяся у Салтыкова пародия на канцелярскую фразеологию, усвоенную и либералами (см. т. 7, стр. 369, т. 10, стр. 181—182).

...сирота, так сказать... государственный! — О «государственных младенцах», об их воспитании см. т. 7, стр. 361—397, т. 10, стр. 172—174. В «Круглом годе» слова «государственный сирота» имеют и новый оттенок. Видимо, Самогитский — незаконный сын какого-то высокопоставленного вельможи, может быть, самого царя.

Стр. 411. *...даже при Бироне...*— то есть в годы наиболее сильного террора и реакции.

Стр. 412. *...либо в масоны поступил, либо псалмы в стихи перекладывает* — то есть начал вести богобоязненную, добродетельную жизнь, по крайней мере внешне. Масоны — члены религиозно-политической организации с мистическими обрядами, провозгласившей своей целью нравственное совершенствование. О стремлении к такому совершенствованию, о набожности и праведной жизни должно свидетельствовать и переложение в стихи псалмов.

Стр. 413. *...скучно на свете жить.*— Видимо, перефразированная концовка гоголевской «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»: «Скучно на этом свете, господа!»

Стр. 414. *...государственный человек — не из остзейских, а из настоящих немцев...*— Из остзейских (прибалтийских, населяющих Эстляндию, Лифляндию и Курляндию) немцев в значительной степени формировались ряды высшего чиновничьего аппарата России.

Транспортировать — употреблять в переносном смысле; здесь — отнести притчу к Феденьке (от франц. transporter).

ПЕРВОЕ ФЕВРАЛЯ

(Стр. 415)

Впервые — *ОЗ*, 1879, № 2 (вып. в свет 21 февр.), «Совр. обозр.», стр. 236—245. Подпись: *Nemo*.

Рукописи и корректуры неизвестны.

В *Изд. 1880* выправлены опечатки журнального текста и сделаны изменения стилистического характера, а также следующее исключение из текста:

Стр. 419, строка 7. Вместо: «до того вами напуганы» — было:

до того вами (или, точнее, не вами в действительности, а вашими похвальбами) напуганы.

Фельетон посвящен раскрытию несостоятельности официального толкования понятий «отечества», «патриотизма», неразрывно связанных с принципом «государственности». В фельетоне высказана очень важная для революционных демократов мысль о том, что «патриотизм» «провиденциальных» «мальчиков», опирающийся на «государственность», не имеет ничего общего с настоящей любовью к родине и народу. Такому официальному «патриотизму» Салтыков противопоставляет подлинных патриотов, людей, считающих, «что отечеству надлежит служить, а не жрать его». Служение же родине, в понимании писателя, означает непримиримое отрицание «основ», борьбу за осуществление революционно-демократических идеалов.

Важное место занимает в фельетоне вопрос о «призрачности» мира Неугодовых, о том, что этот «фантастический мир» должен исчезнуть «при первом появлении солнечного луча», также и о том, что «эти призраки не только не бессильны, но самым решительным образом влияют на жизнь».

Очерк не вызвал значительных отзывов критики. «Сын отечества» в статье «Русская литература» дал положительный отзыв, еще раз подтвердив уверенность в авторстве Салтыкова [1].

Стр. 415. *...à tout les coeurs <...> est chère...* — Цитата из трагедии Вольтера «Танкред», неоднократно используемая Салтыковым (см. т. 7, стр. 62 и прим.).

Стр. 416. *Rien n'est sacrrrré pour un sapeurrrrre...* — Французская шансонетка, исполнявшаяся в 70-е годы в Петербурге (см. «Каскадный мир. Сборник французских шансонеток...», СПб. 1873, стр. 12).

Стр. 417. *Халдоватая* — грубая, нагловатая.

Стр. 420. *...избранных сочинений по части митирогнозии.* — Так Салтыков иронически именует грубую уличную брань. Слово образовано по образцу научной терминологии, от греческих корней: мать и познание.

---

[1] См. «Сын отечества», 1879, № 48, 28 февраля.

Стр. 420. *Опекунский совет.*— См. прим. к стр. 11.

Стр. 421. *...в стенах «заведений», которые охраняют вашу юность...*— Салтыков неоднократно описывал привилегированные учебные заведения, формирующие «мальчиков» типа Феденьки (например, в «Господах ташкентцах»). Об использовании при этом автобиографических эпизодов лицейской жизни см. *Макашин,* стр. 95—170.

...от татар Борелева ресторана...— В модных ресторанах того времени (Бореля и др.) прислуга набиралась преимущественно из татар.

Стр. 422. *Взгляните на портреты наиболее прославившихся «сгибателей»...*— Ср. с портретом Угрюм-Бурчеева, наделенного внешним «портретным» сходством с Николаем I (см. т. 8, стр. 399).

Стр. 425... *«сидел» какой-то Неугодов <...> целовал крест...*— Упоминая о древности дворянского рода Неугодовых («сидели» в боярской думе, целовали крест на верность), Салтыков при помощи игры слов сближает Неугодовых с «сидельцами» (приказчиками в лавках) и «целовальниками» (кабатчиками).

ПЕРВОЕ МАРТА

(Стр. 425)

Впервые — *ОЗ,* 1879, № 3 (вып. в свет 20 марта), «Совр. обозр.», стр. 111—123. Подпись: *Nemo.*

Рукописи и корректуры неизвестны.

В *Изд. 1880* в текст внесены многочисленные мелкие изменения стилистического характера.

Фельетон вводит в цикл проблему отношений «государственности» и литературы.

Взглядам властей на литературу противопоставлено отношение к ней самого автора. Рассказчик — «дядя», пропев подлинный гимн во славу литературы, выражает в данном случае наиболее задушевные чувства Салтыкова.

Салтыков затрагивает вопрос о литераторах — «действующем» и «бывшем». Слова о «действующем» и «бывшем» литераторах перекликаются и с некрасовским противопоставлением «незлобивого поэта» и писателя, «чей благородный гений стал обличителем толпы, ее страстей и заблуждений» («Блажен незлобивый поэт»). Речь идет об очень важной для революционных демократов вообще и для Салтыкова в частности проблеме подлинного патриотизма, «любви — ненависти», служения родине «враждебным словом отрицанья».

Сравнение «бывших» и современных литераторов сатирически направлено и против реакционной печати, пытавшейся использовать наследие писателей прошлого в борьбе с демократами, «новейшими Катонами»

(см., например, *МВ*, 1879, № 249, «Дорожные заметки», где утверждалось, что Карамзин «критиковал, оспаривал любя, а не ненавидя»).

Характеристика «бывшего» литератора содержит намеки и на Тургенева, отражает критическое отношение Салтыкова к роману «Новь», к той ситуации, которая создалась весной 1879 года во время приезда Тургенева в Москву и Петербург. Салтыкову, видимо, казалось, что по возвращении из-за границы Тургенев держал себя нескромно, а общество чествует его больше, как писателя, порвавшего с «заблуждениями» (см. письмо Салтыкова к Михайловскому от 27 июня 1888 года). Итоговую оценку Тургенева как писателя Салтыков дал в некрологе «И. С. Тургенев» (см. т. 9, стр. 457—459 и 610—612).

Стр. 426. *...воскликнуть: довольно!* — Намек на рассказ Тургенева «Довольно», впервые напечатанный в 1865 г.

...лишило бы его утешения рассказывать, каким путем он был приведен к необходимости написать свой первый триолет... — В 1874 году С. А. Венгеров обратился к Тургеневу с просьбой передать ему его ранние юношеские поэтические произведения. Тургенев ответил резким отказом (см.: *Тургенев, Письма,* т. X, стр. 256). В вышедшей в 1875 году книге Венгерова «Русская литература в ее современных представителях. Критико-биографические этюды. Иван Сергеевич Тургенев» автором были опубликованы выдержки из его переписки с Тургеневым на эту тему. Подробнее см.: М. О. Габель, Щедрин и Тургенев.— «Ученые записки Харьков. гос. пед. ин-та», 1947, т. X.

...триолеты прошлого... — Видимо, имеются в виду последние произведения Тургенева «Сон» и «Рассказ отца Алексея» (1877).

...тузлуком... — рассолом.

Стр. 428. *Например, Державин... ода «Бог», «Фелица»...* — Имеется в виду факт истолкования поэзии Державина в официально-благонамеренном духе, тенденция противопоставления ее творчеству писателей-демократов (см.: А. В. Западов, Проблема Державина в журналистике 60-х годов.— Сб. «Из истории русской журналистики второй половины XIX века», М. 1964).

Вечор красавицы-девицы... — Неточная цитата из стихотворения Державина «Мельник».

...подобно анекдотическому пошехонцу, способен «в трех соснах заблудиться». — О глупости и бестолковости пошехонцев ходили анекдоты (см., например, В. Даль, Пословицы русского народа, М. 1957, стр. 542: «Тащи корову на баню, травы много»). В примечании к «Пошехонской старине» Салтыков писал, что под Пошехоньем он понимает всякую местность, жители которой «в трех соснах заблудиться способны».

...забыться и заснуть... — Из стихотворения Лермонтова «Выхожу один я на дорогу».

Стр. 429. *...кончит тем, что займется литературой.* — Возможно, намек на конкретные решения следственной комиссии по делу Каракозова, под

председательством Муравьева, приписывавшей покушение, «разложение» молодежи и т. п. «вредному направлению» журналистики и литературы.

Стр. 430. *Коммеморативный* — обед, данный в честь какого-либо памятного события (от франц. commemoratif).

...об этом мы поговорим в следующий раз... — Так часто завершались редакционные статьи либеральных «С.-Пб. ведомостей» (см. т. 10, стр. 416 и прим.).

Стр. 431. *Об отыскании «корней и нитей».* — Корни и нити — постоянно употребляемое Салтыковым ироническое обозначение «распутываемых» полицией «революционных связей» (см. т. 8, стр. 172—173, 317 и прим.). Возможно, восходит к рассуждениям Каткова о «корнях», «интригах», «зле» в связи с покушением Каракозова (см. т. 10, стр. 70 и прим.).

...судьба заперла меня на целых полгода в Ницце. — В октябре 1875 — апреле 1876 года Салтыков лечился там.

Стр. 432. *...два государственных младенца...* — См. прим. к стр. 410.

...Бюффе-Брольи <...> Бюффе-Дюфора — де-Брольи, Бюффе — премьер-министры антиреспубликанского толка, возглавлявшие один за другим реакционные правительства первых лет президентства Мак-Магона. В феврале 1876 года, под давлением республиканских сил, премьер-министром стал Дюфор (1876, 1877—1879), возглавивший так называемое министерство республиканского центра. Создавая свои вымышленные имена из смешения имен трех реальных премьер-министров, Салтыков тем самым подчеркивает несущественность разницы между французскими правительствами различных оттенков, свое ироническое отношение к ним. Аналогичный смысл имеют насмешки над сменой «Макмагонии» «Гамбеттией» (см. прим. к стр. 441).

...который высоко держит знамя России! — Видимо, намек на упоминание о «знамени» в статье Безобразова «Наши охранители и наши прогрессисты» (см. стр. 696).

Стр. 434. *Монтаньяр* — якобинец, «красный», сторонник крайних радикальных действий (от франц. montagnard — горец). Ниже Салтыков иронизирует над «радикализмом» прокурора и ему подобных, замечая, что «у нас радикалы своеобразные; у нас радикалами называются преимущественно те, которые особливую пользу приносят по части пресечения и предупреждения».

...литераторов же водворить в уездный город Мезень... — то есть сослать. Мезень — небольшой в то время городок бывшей Архангельской губернии, место административной ссылки.

Варнавин — уездный город бывшей Костромской губернии.

Гулящие русские люди. — См. прим. к стр. 393.

...газеты «Чего изволите?»... — Подразумевается газета типа «Нового времени» Суворина.

Стр. 435. *...с какою готовностью наша литература усвоивает точки зрения, указываемые ей благожелательными лицами.* — Ирония над офи-

циозными изданиями, над попытками властей «направлять» литературу и журналистику.

Стр. 436. *Подчасок* — здесь: нижний полицейский чин.

Долгогривые — здесь: неблагонамеренные, «нигилисты», часто являющиеся выходцами из семинаристов, из духовного звания и носившие бороды и длинные волосы (ср. т. 11, стр. 59 и т. 7, стр. 20).

Стр. 437. *...мер простого искоренения...* — то есть обычных цензурных мер.

Стр. 438. *Все десять шаров были положены направо...* — Положить шар для голосования направо означало утвердить предложение или кандидата, налево — отвергнуть.

Обремизить — поставить в тяжелое положение, заставить проиграть (от карточного термина «ремиз» — недобор нужного числа взяток).

Стр. 439. *...его превосходительство (должно быть, по классу занимаемой должности)...* — По своему чину Феденька еще не имеет права на титул «ваше превосходительство», присваивавшийся действительным статским советникам (чин 4-го класса).

Бертрам (и упоминаемые далее *Алиса* и *Рембо*) — персонажи оперы Мейербера «Роберт-Дьявол» (либретто Э. Скриба и Ж. Делавиня).

ПЕРВОЕ АПРЕЛЯ
(Стр. 439)

Впервые — *ОЗ*, 1879, № 8 (вып. в свет 19 авг.), «Совр. обозр.», стр. 229—314, в качестве первой главы объединенного очерка «Первое апреля.— Первое мая» с примечанием автора: «См. «Отеч. зап.» за март 1879 г. По обстоятельствам, лично касающимся автора, в фельетонах этих последовал перерыв. Извиняясь в этом перед читателями, автор постарается к концу года довести дело до 1-го декабря включительно». Подпись: *Nemo.*

Сохранилась черновая рукопись первоначальной редакции, анализ которой дает основание предположить, что очерк мыслился как самостоятельный и лишь позднее, непосредственно перед публикацией в августе 1879 года, к нему была присоединена вторая часть — «Первое мая» — и сделано примечание, в котором содержалось более конкретное указание на «четырехмесячный перерыв», а вместо: «довести дело до 1-го декабря включительно» — было: «[наверстать пропущенное] выполнить все предположенное». В верхней части первого листа имеется зачеркнутый текст начала статьи «Приличествующее объяснение» (см. стр. 787).

За последние четырнадцать — пятнадцать лет физиономия нашей литературы значительно изменилась. Значение больших (ежемесячных) журналов видимо упало, а вместо них, в качестве руководителей общественной мысли, во множестве выступили ежедневные газеты. Вместе с этим литературные силы, в которых и без того не было излишка, разбросались и измельчали, а отношения литературы к вопросам, выдвигаемым жизнию, сделались поспешными, тревожными, непоследовательными.

Работая над рукописью, Салтыков исключил из текста ряд деталей, например:

Стр. 440, строка 22. Вместо: «Да... нет... не то! <...> ну хорошо, успокойся» — было:

Да... нет... нет, нет! — оправдывался он.—И Державин был литератором, и Дмитриев... Державин, Дмитриев, Карамзин, le prince Wiasemsky, [но...], ах, если б вы!

Стр. 445, строка 15. Вместо: «Взойдешь невзначай в комнату <...> пополам переломится» — было:

А помнишь, бывало, взойдешь невзначай в комнату, а он вдруг где-нибудь взуглу взовьется в виде приветствия, а потом отвесит поклон, словно пополам переломается? И еще как он лгал, что он покойному Филарету племянником приходится... помню! помню!

Стр. 448, строка 16 сн. После: «хотя бы они самого Ксенофонта в подлиннике прочитали» — было:

Единственное исключение, это когда нехорошенькая может быть полезной. Ну, тогда и с ней будешь поневоле любезен.

Стр. 449, строка 2 сн. Вместо: «вечером у нас <...> слушают и зевают в руку» — было:

вечером у нас [Данковский полное собрание своих сочинений] Бутлерова о медиумизме читать будет. Ну-с, я пришел. Умно, что и говорить, умно! Серьезно, тихо, чинно; господин [Данковский] Бутлеров читает [господин Голумбецкий], мущины в руку зевают.

Стр. 450, строка 9. После: «и не люблю случайных знакомств» — было:

полагаю, что в жизни необходимы и дружба, и любовь, но не вижу надобности разменивать эти чувства как попало и по мелочам. По наружности я человек одичалый, а ты — общительный. У меня очень ограниченный круг знакомств, и я почти не показываюсь в публике; напротив, ты — знаком с целым городом и почти вездесущ. Но ежели разобрать дело хорошенько, то окажется, что общительность не на твоей стороне, а на моей. Ты тип одичалого человека, а не я. Ты, мелькая всюду, нигде не бываешь, зная всех, никого не знаешь. Такой, по крайней мере, мой взгляд. А может быть, я и не прав.

Журнальный текст дополнен рядом деталей, отсутствующих в рукописи.

В *Изд. 1880* существенных изменений в тексте не было сделано. Отзывы критики см. стр. 764.

Напечатанный после длительного перерыва, в политической обстановке, последовавшей за покушением 2 апреля, фельетон в какой-то степени связан с проблематикой предыдущего, здесь также развивается тема зависимости литературы от произвола «верхов», ставшая особенно актуальной ввиду репрессивных мер, последовавших за выстрелом А. К. Соловьева.

Раскрывая сущность типа «куколки» (ср. с образом Ольги Сергеевны Персиановой, т. 10, стр. 83—84 и прим.), Салтыков намечает развернутую в следующих фельетонах проблему несостоятельности семейного принципа

(отношение Nathalie к сыну, а сына к ней, нарисованная со злой иронией история ее «любви» к Филофею Ивановичу).

Стр. 440. *И Державин был литератором, и Дмитриев...* — См. прим. к стр. 428.

«Бог» — ода Державина.

Клиши — тюрьма в Париже для несостоятельных должников.

Стр. 441. *Да ведь за долги, кажется, уж не сажают?* — Указом Александра II сенату от 7 марта 1879 года отменено личное задержание как средство взыскания с несостоятельных должников (см. *МВ*, 1879, №№ 70, 71).

...живем в стране благоустроенной, а не в какой-нибудь Макмагонии, которая не нынче-завтра превратится в Гамбеттию! — С 1873 по январь 1879 г. президентом Франции был маршал Мак-Магон, лелеявший мечты о восстановлении монархии. Гамбетта — лидер республиканцев, находившихся в оппозиции к Мак-Магону. Многие прочили Гамбетту на пост президента республики, но этим планам не суждено было осуществиться. Однако в 1879 году казалось, что «Макмагония» должна смениться «Гамбеттией».

Стр. 443. *...в Систове очутилась...* — Систово — городок в Болгарии, на Дунае. В турецкую кампанию (1877—1878) — один из прифронтовых центров, где подвизались разного рода авантюристы, мошенники, женщины легкого поведения.

Стр. 444. *Смирительные <...> заведения.* — Заключение в Смирительный дом было одной из форм наказания (в частности, за нарушение обязанностей детей в отношении к родителям), среднее между ссылкой и тюрьмой.

Стр. 445. *...суда милостивого и скорого...* — Ирония по поводу указа Александра II о введении судебной реформы (см. т. 10, стр. 185 и прим. к ней).

...сим и оным... — этим и тем; старославянизмы, характерные для казенно-бюрократического стиля.

Телиш — болгарская деревня; во время войны 1877—1878 годов один из центров деятельности различных авантюристов.

...с корпией от дамского кружка... — Во время русско-турецкой войны дамы «из общества» щипали корпию — надерганные из тряпок нитки, которые употреблялись в качестве перевязочного материала, вместо ваты.

Стр. 446. *...берлинский трактат ее не удовлетворил...* — Берлинский трактат — мирный договор, заключенный в июне 1878 года между Россией и Турцией. Реакционные круги находили, что, подписывая его, русское правительство пошло на излишне большие уступки.

...по вопросу о проливах, говорит, настоящего решения не добились — то есть не добились передачи России Босфора и Дарданелл, на чем настаивали «патриоты». В «Дорожных заметках» (*МВ*, 1879, № 242) приводится, например, разговор, который слышит автор во время поездки на пароходе: «Статский выражает сожаление, что не овладели Дарданелль-

ским или хотя Босфорским проливом; военные доказывают, что это невозможно было сделать».

Стр. 447. *Архистратиг* — военачальник. Православной церковью «чин» архистратига присвоен архангелу Михаилу, возглавлявшему небесные силы в борьбе с дьяволом.

Бельом — красавец-мужчина (от франц. belle homme).

...в Плоештах... — В румынском городе Плоешти во время кампании 1877—1878 годов находилась резиденция штаба главнокомандующего русскими войсками.

...в Египет к хедиву отправился. Одни говорят, в качестве chef de cuisine, другие — министром финансов. — В газетах 1879 года много писалось о правителе Египта (хедиве), об его финансовых затруднениях, долгах Египта европейским государствам. Хедива принудили взять «ответственным» министром Нубар-пашу, ориентировавшегося на правительства Англии и Франции. Нубар-паша назначил министрами англичанина Вильсона и француза де Блиньера. Новые займы еще более ухудшили финансовое положение Египта. В Каире возникли волнения, приведшие к отставке Нубар-паши. Англия и Франция заявили, что волнения подстроены самим хедивом, желающим освободиться от опеки. Они добились от Турции, которой был подчинен Египет, чтобы хедив был низложен (см. *МВ*, 1879, №№ 44, 58, 153 и др.). Салтыков иронизирует над «заботами» европейских государств о финансах Египта.

Стр. 448. *Шато-Лафит* — местность на юго-западе Франции (департамент Жиронда), славящаяся производством вин. Невежественный Харченков считает, что Шато-Лафит — имя производителя вин.

примёры появились... — ранние овощи, фрукты (от франц. primeur); здесь — свежий «товар».

...об турецких неистовствах рассказывать будет. — Рассказы о турецких зверствах были чрезвычайно популярны во время русско-турецкой войны. Массовая публикация таких рассказов началась летом 1876 года и явилась подготовкой к объявлению войны (см., например, *МВ*, 1876, №№ 130, 141, 143, 153, 166 и *др.*).

Стр. 449. *«Кувырком».* — См. прим. к стр. 55.

...никакая интернационалка не выдумает! — О представлениях обывателей о Международном товариществе рабочих, Первом Интернационале, см. т. 10, стр. 448. Реплика «дяди» имеет иронический характер[1].

Исполать... — на многие лета (греч.), здесь: хвала тебе.

Стр. 450. *...к «Наполеоновой вдове»...* — к Евгении Монтихо, вдове Наполеона III. Эмигрировав в Англию после смерти мужа, побуждала к действию бонапартистов Франции, стремясь посадить на престол своего сына, принца Наполеона.

---

[1] См.: А. С. Бушмин, Сатира Салтыкова-Щедрина, М.—Л. 1959, стр. 440.

Стр. 451. *...московские кликуши начинают выкликать...* — здесь — московские публицисты реакционного лагеря, сотрудники изданий Каткова (см., например, *МВ*, 1879, № 90, «Голос русского», № 97, «С берегов Невы» и др.).

...петербургские трудолюбцы выступают на сцену с иносказаниями и оправданиями... — Подразумеваются сотрудники петербургских умеренно либеральных газет, выступавшие иногда против «крайностей» реакционной печати, против необоснованных обвинений, но в то же время резко осуждавшие революционеров.

...«со времени крестьянской эмансипации отечественное земледелие вступило в знак Рака»... — Мысль о том, что после реформы сельское хозяйство России находится в упадке, встречалась и в демократических изданиях, и в крайне консервативной «Вести». Рак как символ развития послереформенной России был изображен, например, в «Искре» (1863, № 29, стр. 392, карикатура «Конь прогресса»).

Стр. 452. *...предложить г. Майкову написать, на случай светопреставления, гимн...*—А. Майков, после покушения Каракозова, написал стихотворения «4-е апреля 1866 г.» и «Благодарственный гимн о спасении жизни государя императора 4 апреля 1866 г.». Аналогичные стихи Майков сочиняет и после покушения 2 апреля 1879 года. Они были переложены на музыку и 5 апреля исполнялись в присутствии Александра II воспитанницами Павловского института (см. *МВ*, 1879, № 87).

ПЕРВОЕ МАЯ

(Стр. 452)

Впервые — *ОЗ*, 1879, № 8 (вып. в свет 19 авг.), «Совр. обозр.», в качестве второй части объединенного очерка «Первое апреля.— Первое мая», стр. 299—326, подпись: *Nemo*.

О своих работах этого времени Салтыков писал Г. З. Елисееву 17 августа 1879 года:

«Пишу с трудом, хотя все-таки пишу (не к Вам, а в «Отеч. зап.»). И для сентябрьской книжки отдал кое-что. Выходит как-то неуклюже, видно, что человеку противно. И ведь как противно-то, если б Вы знали! Тянуть канитель из месяца в месяц — поневоле начнешь *подражать* самому себе».

Сохранились две черновые рукописи очерка:

1. Неполная черновая рукопись первой редакции в качестве второй части объединенного очерка «Первое апреля.— Первое мая» от слов: «В пяти... комиссиях! пояснил он...»— до слов: «Какие ужасные нравы!» Часть текста (начало) утрачена. Этот вариант очерка создавался первоначально, по-видимому, как самостоятельный и лишь позднее был объединен с очерком «Первое апреля» (см. стр. 758). Рукопись содержит ряд вариантов, не вошедших в журнальный текст. Приводим наиболее существенные из них.

Стр. 454, строка 6 сн. Вместо: «Хочется и им <...> или попробовать отразить» — было:

Хочется сказать что-нибудь усугубляющее, что-нибудь такое, что убило бы сразу всякую литературную конкуренцию и установило бы вожделенное единоторжие. Хочется... и ничего не выходит. Почему? Почему «нигилизм» пришелся ко двору, а [все] прочие упражнения в этом роде сейчас же канули в бездне забвения? А потому, милостивые государи, что слово «нигилизм», во-первых, привлекает сердца своею краткостью, а во-вторых, потому что оно дает людям толпы возможность сваливать в одну кучу все лично-неприятное, не соответствующее личным преданиям, темпераменту, словом, тревожащее. Люди толпы во всякой попытке отнестись критически к действительности видят нечто сомнительное, тревожное, но, по неразвитости своей, не знают, как отразить эту попытку.

Стр. 456, строка 16. Вместо: «и мошенники, и клеветники <...> мир был бы постыл и бесславен» — было:

и мошенники, и клеветники, и изобретатели паскудных слов.

А ежели такие элементы существуют, то, стало быть, литература совсем не тот храм, вид которого заставляет биться невинные и честные сердца, и без которого самый мир был бы постыл и бесславен, но отчасти и клоака. Может статься, это два здания отдельных, не имеющих внутренней связи, но несомненно, что клоака стоит тут же, близко, и что по временам (именно, когда выдается «случай») из нее вырываются такие удушливые запахи, которые заставляют забыть о существовании самого храма. Оттуда польются на литературу все обвинения, все клеветы, все проклятия, там будет доказываться солидарность ее со всеми неурядицами дня, оттуда денно и нощно будут раздаваться клики дикой радости и торжества, там будут формулироваться требования согнуть в бараний рог, покончить, разом покончить... с кем и с чем?

Покончить с Грановским — и на место его поставить г. Цитовича; покончить с Белинским — и на место его поставить [одного] из выкликающих учеников покойного Ивана Яковлевича Корейши; покончить с литературой и на место ее водворить [канцелярское усердие] хождение по делам. Одним словом, посадить Закхееву смоковницу, и под сенью ее уснуть в сладкой уверенности, что никакого плода она не принесет... Какие ужасные нравы!

2. Черновая рукопись второй редакции от слов: «Я провел ужаснейший месяц» — до слов: «и я, признаюсь, не удержал его. Надоело!»

Текст этой рукописи значительно отличается от журнального и печатается полностью в разделе «Из других редакций».

В *Изд. 1880* в «Первое мая» внесено наибольшее количество поправок, главным образом стилистического характера, а также сделаны вычерки:

Стр. 469, строка 16. После «из Екатерингофа» — было:

— Есть мало-мало ...тут — спросил мой юный друг, щелкнув себя по галстуку.

— Должно полагать, что была накладка...

— Ну, значит, будем всю ночь напролет работать! — рассудил Феденька и начал торопливо прощаться со мной.

Фельетон направлен против осатаневшей после покушения 2 апреля реакции, против публицистов охранительного лагеря, которые в обстановке резко обострившейся общественно-политической борьбы «словно взбесились», призывая к жестокой расправе с революционерами, с демократической печатью, обвиняя последнюю в солидарности «со всеми неурядицами дня», в пропаганде идей, вызвавших выстрел Соловьева.

Салтыков защищает право литературы на критику и сатиру, на правдивое изображение действительности, на отказ «дифирамб писать». Он не мог открыть прямую связь «воплей» реакционных публицистов, их «программы» с проводимой правительством политикой в области идеологии, литературы. Однако в очерке нарисована подлинная картина отношения властей к литературе критического направления.

Писатель провозглашал право литературы на «неприкосновенность», полагая, что даже возможные ее «заблуждения» не оправдывают административного произвола. «Литература имеет право допускать заблуждения,— заявлял он,— потому что она же сама и поправляет их».

Очерк «Первое апреля.— Первое мая» вызвал сочувственные отзывы прессы. Особенно привлекло внимание критики выступление сатирика против «тех беззастенчивых господ, которые в различных комиссиях... воздвигают против литературы обвинения в том, что она занимается «подрыванием основ» [1].

Позже К. Арсеньев в статье «Русская общественная жизнь в сатире Салтыкова» писал: «Сильнее всех подобных картин действуют на нас, однако, те места «Круглого года», в которых слышится активный протест против заподозриваний, науськиваний, против ближайших причин «общей пригнетенности» <...>. Автор «Круглого года» доказывает не право литературы на снисхождение, даже не полную ее невинность, он доказывает, что она вовсе не может быть виновата, что заблуждения ее необходимые ступени к истине, что ей принадлежит будущее» [2]. П. Вейнберг («Молва», 1879, № 232, 4 августа) указывал, что «ближайшее родство с щедринскою манерою пробивается, как и во всех прежних фельетонах этого псевдонима, так явственно, что с нашей стороны будет, надеемся, нескромностью считать Щедрина и Nemo за одно лицо».

Стр. 453. *...не имеет крупных и высокоталантливых выразителей, как в сороковых годах...*— Подразумеваются Белинский, Герцен, Грановский и др. люди сороковых годов.

...доктринеры бараньего рога и ежовых рукавиц...— Эзоповские формулы сатиры Салтыкова, характеризующие идеологию реакции и политику административно-полицейских репрессий.

Стр. 454. *А литература-то ваша... какова!* — В откликах реакционной печати на покушение 2 апреля постоянно повторялись нападки на литературу и журналистику. В статье «Голос русского» (*МВ*, 1879, № 90) писалось: «Возьмем печать. Чем полны наши газеты и журналы?.. посягательствами на семейную жизнь, домашний очаг или издевательством над соблюдением церковных обрядов».

...успех, полученный некогда изобретением «нигилизма»...— Салтыков

---

[1] В. Буренин, Лит. очерки.— *НВ*, 1879, № 1259, 31 августа.
[2] *ВЕ*, 1883, № 4, стр. 707.

имеет в виду широкое использование этого слова реакционным лагерем для дискредитации передовых демократических идей.

Стр. 454. *...римский папа — и тот прельстился этим словом...* — Подразумевается энциклика (папское послание всем католикам) р и м с к о г о п а п ы Л ь в а XIII от 28 декабря 1879 года, вся посвященная теме борьбы с революционными идеями. В ней говорилось о «смертельной чуме» учений, распространяемых сектой людей, «которые называются различными и почти варварскими именами *социалистов, коммунистов* и *нигилистов*» («Гражданин», 1879, № 2—3, стр. 47). О папской энциклике с одобрением отзывались русские реакционные издания (см., например, *МВ*, 1879, № 7, «Из Рима»).

Этимологи — здесь: изобретатели кличек, имевших целью ошельмовать революционеров и радикально настроенную молодежь («свистуны», «нигилисты» и т. п.).

Угобжать — ублаготворять (ц е р к о в н о с л а в.).

Стр. 456. *...ничто человеческое ей не чуждо...* — ставшие поговоркой слова из комедии Теренция «Самоистязатель».

...вопрос о проливах разрешить <...> и туркину жизнь навсегда прекратить. — См. прим. к стр. 446.

Стр. 457. *«Сочинитель и Разбойник»* — басня Крылова, направленная против идей французской революции, Вольтера, его единомышленников.

...об Дюма-фисе, о Беллд, о Монтепене — то есть о тех французских писателях, которые, несмотря на различие таланта и стиля, являлись поставщиками легковесного, пряного, «щекочущего нервы» чтения для «дамочек» и их поклонников.

О Росс! о род непобедимый — неточная цитата из оды Державина «На взятие Измаила». У Державина: «О Росс! — О род великодушный!»

Стр. 460. *Табель о рангах.* — О введенной Петром I иерархии чинов см. т. 8, стр. 574.

Стр. 462. *Вот идет вотяк, видит забор — поет: забор! забор!* — Рассуждение о «в о т я ц к о й м у д р о с т и», ограничивающейся лишь констатацией явлений, перекликается с оценкой Салтыковым писателей-«натуралистов» в цикле «За рубежом»: «...Я не идеолог, а реалист; я описываю только то, что в жизни бывает. Вижу забор — говорю: забор; вижу поясницу — говорю: поясница» (т. 14).

Стр. 463. *...подай то, неведомо что, иди туда, неведомо куда.* — Фольклорный сюжет из сказок о «чудесной задаче» (см. «Народные русские сказки А. Н. Афанасьева», т. 2, М. 1957, стр. 134).

Стр. 464. *...аппетиты Юханцевых, Ландсбергов, Ковальчуковых.* — К. Н. Ю х а н ц е в — отставной коллежский советник, чиновник по особым поручениям министерства финансов, кассир Общества взаимного поземельного кредита, растратил более 2 миллионов руб. Дело против него возбуждено в марте 1878 года. Слушалось оно в январе 1879 года (см. *МВ*, 1879, №№ 20, 22—29). К. Х. Л а н д с б е р г — отставной гвардейский офи-

цер, убийца (см. прим. к стр. 469). М. С. Ковальчукова — жена харьковского врача А. И. Ковальчукова. Ее любовник, отставной подпоручик Г. А. Безобразов, убил мужа, чтобы завладеть его деньгами и жениться на Ковальчуковой. Дело слушалось в октябре 1878 года (*МВ*, 1878, №№ 271, 277). Реакционная печать пыталась отнести Юханцева к «новым людям», к «молодому поколению», отрицающему нравственность во имя утилитаризма. Салтыков сближает все три преступления, видя в них свидетельство деморализации «верхов» общества, разложения «основ», глубокого падения нравов.

Стр. 464. *...праздных людей, оставшихся за бортом с упразднением крепостного права...*— то есть разорившихся дворян-помещиков.

...при анекдотах о пошехонцах.— См. прим. к стр. 428.

Стр. 465. *Литературные золотари.*— Этим и подобными эпитетами («ретирадники», граждане «литературно-ретирадных мест») Салтыков награждал сотрудников реакционной прессы.

Стр. 466. *Боскеты* — рощи (от франц. bosquet).

Стр. 467. *...даже те, которые когда-то считались мастерами в этом роде,— и те ныне пускают шип по-змеиному.*— Подразумеваются поэты «чистого искусства», выступившие с нападками на демократический лагерь, например, А. К. Толстой («Поток-богатырь», «Порой веселой мая») и Фет («Псевдопоэту», «Крысы»).

Стр. 468. *...с легкой руки Григоровича...*— Повести Григоровича «Деревня» (1846) и «Антон Горемыка» (1847), проникнутые сочувствием к крестьянину, правдиво изображавшие народную жизнь, во многом определили обращение русской литературы к крестьянской теме. О знакомстве Салтыкова с Григоровичем, об отношении его к «Деревне» и «Антону Горемыке» см. *Макашин*, стр. 255, 264.

...лучшие государственные люди нынешнего царствования...— Подразумеваются активные участники правительственной подготовки и проведения крестьянской реформы 1861 г., такие как Я. И. Ростовцев, С. С. Ланской, Н. А. Милютин, А. И. Левшин и др.

ПЕРВОЕ ИЮНЯ

(Стр. 469)

Впервые — *Изд. 1880*, стр. 91—109.

По требованию цензуры очерк был вырезан из «Отеч. записок» (1879, № 9), где должен был быть опубликованным в качестве первой части объединенного очерка «Первое июня.— Первое июля». Вместо вырезанного текста в журнале напечатано:

Мая совсем не было. Не знаю, как это случилось, но только, проснувшись 1-го июня, я убедился, что припомнить, а стало быть, и писать — не об чем.

В архиве С.-Петербургского цензурного комитета сохранился подробный доклад цензора Лебедева, в котором сообщалось, что очерк Салтыкова «заключает в себе протест против мер строгости, принимаемых правительством для устранения тех ненормальных явлений, которыми отличается у нас последнее время» (*ЦГИАЛ,* ф. 777, оп. 2, ед. хр. 60, лл. 332—333—336).

17 сентября председатель цензурного комитета Петров конфиденциально сообщил исполняющему обязанности начальника Главного управления по делам печати Варадинову о необходимости вырезать из «Отеч. записок» помимо отрывка в статье «Finis Монрепо» (см. стр. 732—734) весь очерк «Первое июня». В тот же день постановление было утверждено и сообщено Салтыкову, который сейчас же обратился в цензурный комитет с официальной просьбой о разрешении сделать необходимые исправления. 19 сентября вырезки были сделаны (см. стр. 734).

Сохранились: 1. Черновая рукопись, представляющая собой первую главу объединенного очерка «Первое июня.— Первое июля», от слов: «Так ты думаешь, что нужно подтянуть» — до слов: «побрел вдоль по аллее по направлению к выходу». Копия первопечатного текста в конверте из архива журнала «Русск. старина» с пометой на конверте: «Недозволенные цензурой и вырезанные по ее распоряжению из августовской книжки «Отеч. записок» 1879 г. из фельетона страницы. Списано с печатных вырезанных осьмушек, добытых в цензурном комитете» [1].

Копия «Русск. старины» показывает почти полное совпадение изъятого журнального текста с *Изд. 1880,* за исключением нескольких незначительных разночтений стилистического характера.

Сравнение черновой рукописи с печатным текстом обнаруживает большое количество разночтений, многие из которых продиктованы соображениями автоцензуры. Приводим наиболее значительные рукописные варианты.

Стр. 476, строка 1 сн. Вместо: «жестоко, по-татарски <...> делать нечего, пусть так» — было:

жестоко, совсем по-татарски, но что же делать? Если по высшим соображениям это необходимо, если из этого должно выйти возрождение, то делать нечего, пускай будет так!

Стр. 478, строка 6 сн. Вместо: «и что еще больше выдает их с головой <...> массы-то эти собираешься подтянуть» — было:

и что, следовательно, это еще больше выдает их с головой. Я знаю, что ты даже охотно сошлешься на Московский Охотный ряд. Ничего я против этого не имею; думай так, как сложились твои убеждения, и ссылайся на все, что найдешь для себя пригодным. Но зачем же ты Охотный-то собрался стеснить?

— Но чем же я могу его стеснить?

— Любезный друг! разве это не видно? Разве не ясно, что голова твоя полна мероприятий не частных, а именно общих, забирающих возможно об-

---

[1] Упоминание августовской книжки ошибочно: текст был вырезан цензурой из сентябрьской книжки.

ширную область? Разве я не читаю на твоем лице: непременно надобно, чтобы они знали, как Кузьку зовут. За что?

— И опять-таки повторяю: ничего мне на мысль не приходило. Ни об каком «Кузьке» я никогда не думаю, но говорю и утверждаю, что решительные меры все-таки необходимо принять.

— Да ведь об этом-то и речь идет, что то, что ты разумеешь под именем решительных мер, совсем не туда.

Стр. 479, строка 2 сн. Вместо: «Я к тебе обращаю мою речь <...> и говоришь: потрудись сам!» — было:

Я к тебе обращаю речь мою, к тебе, человеку, полному жизни, человеку, до краев переполненному проектами об упрочении твоей карьеры при помощи подтягиваний; я обращаюсь к тебе с советом о том, что именно для тебя было бы полезно иметь в виду, а ты все это перевертываешь самым предательским образом и говоришь: потрудись сам!

Стр. 480, строка 10. Вместо: «Я ничего не критикую, а лично тебе говорю: стыдись!» — было:

не критикую, а прямо говорю: твой образ мыслей обнаруживает в тебе положительно вредного человека! Извини.

Стр. 481, строка 21. Вместо: «C'est la fatalité <...> какое может быть преуспеянье!» — было:

— Помилуйте! да я никогда и не думал трогать ни добросердечных, ни «средних» людей — пускай их живут, Христос с ними.

— Пускай живут... Если при таких идеалах, какие ты в себе воспитал, возможно жить! Помилуй, голубчик, какое же может быть преуспевание.

Фельетон направлен против репрессивных мер, предпринятых правительством в связи с покушением 2 апреля, против принципа «государственности», олицетворенного в типах, признающих «подтягивание» универсальным средством управления страной. Именно так и оценила его цензура, потребовавшая изъять этот фельетон из «Отечественных записок» (см. стр. 732).

Стр. 469. *...весело ли бодрствуют дворники.*— После покушения Соловьева, отвечая на поздравления гласных петербургской городской думы, Александр II сказал: «Нужно, чтобы домовладельцы смотрели за своими дворниками и жильцами. Вы обязаны помогать полиции <...> Посмотрите, что у нас делается. Скоро честному человеку нельзя будет показаться на улице» («Правит. вестник», 1879, № 77). В постановлении петербургского генерал-губернатора от 8 апреля указывалось, со ссылкой на высочайшее повеление, на необходимость постоянного дежурства дворников: «У ворот каждого дома в С.-Петербурге должен находиться во всякое время, как ночью, так и днем, дежурный дворник» (*МВ*, 1879, № 90).

...Ландсберг, которого имя в эту минуту занимало все умы...— Дело офицера Ландсберга слушалось в начале июня 1879 года (см. *МВ*, №№ 171, 175), но арестован он был в начале июля. Ландсберг убил своего знакомого Е. Власова и его служанку, чтобы взять свою расписку на

5000 рублей и тем самым избавиться от уплаты долга. Кроме расписки Ландсберг похитил у Власова процентные бумаги на сумму около 14 000 рублей. Приговорен к пятнадцати годам каторжных работ.

Стр. 472. *«Афины»* — дешевая греческая кухмистерская.

...регуловским геройством... — Имя римского героя Регула, ставшее символом самоотверженности и преданности отчизне, у Салтыкова употребляется в ироническом смысле.

Стр. 474. *...ежели кто в былое время английскими порядками восторгался...* — Намек на Каткова, его англофильство в 50-х годах.

Стр. 475. *...«а завтра — где ты, человек?»...* — См. прим. к стр. 26.

Стр. 476. *...«от хладных финских скал до пламенной Колхиды»...* — Из стихотворения Пушкина «Клеветникам России». У Пушкина: «От финских хладных скал...»

Стр. 480. *A Provin Trou-la-la-la...* — неоднократно упоминаемый в сатире Салтыкова французский «романс» из каскадного репертуара (см. т. 10, стр. 91 и прим.).

Стр 482. *А ерунда всего опаснее...* — На языке реакции «ерунда» — символ революционных идей.

...в стране зулусов, в качестве сестры милосердия при принце Наполеоне. — Летом 1879 года газеты много писали о принце Наполеоне, единственном сыне Наполеона III, претенденте на французский престол, нашедшем убежище в Англии и принявшем участие в английской экспедиции против зулусов в Африке.

ПЕРВОЕ ИЮЛЯ
(Стр. 482)

Впервые — *ОЗ*, 1879, № 9 (вып. в свет 22 сент.), «Совр. обозр.», стр. 119, под загл. «Первое июня — Первое июля». Подпись: *Nemo.*

Сохранилась неполная черновая рукопись первоначальной редакции от слов: «Почти весь июнь я посвятил семейным радостям» — до слов: «Оставалось пустить это дело на волю судеб».

Очерк не вызвал существенных откликов прессы. Положительную характеристику дал «Сын отечества», подчеркнув, что «в образе» «дамочки-куколки» Nathalie автор выставил на вид целый разряд людей с их странным воззрением на литературу» [1]. Не всеми критиками правильно была понята сатирическая направленность очерка. Так, рецензент газеты «Дон» назвал образ Nathalie «бессмыслицей, очевидно, претендующей на сатиру» [2].

Стр. 487. *...однажды распорядился...* — то есть велел высечь (ср. с рассказом Тургенева «Бурмистр»: «Насчет Федора... распорядиться»).

Стр. 488. *«Бедная Лиза»* — повесть Карамзина.

---

[1] Русск. литература.— «Сын отечества», 1879, № 220, 26 сентября.
[2] Летучие журн. заметки.— «Дон», 1879, № 117, 21 октября.

Стр. 488. *«Марьина Роща», «Вадим Новгородский»* — повести Жуковского. В «Дворянских мелодиях» Салтыков иронически отзывался о «ворковании школы Карамзина и Жуковского» (см. т. 12).

...да ведь ты картонная! — Ср. с мартовской хроникой «Нашей общественной жизни» за 1863 год (т. 6).

Стр. 490. *...если при этом Henri-Cinq...* — то есть надежды на реставрацию во Франции Бурбонов. Под именем Генриха V роялисты надеялись возвести на престол графа Шамбора.

Не знают, что будет впереди... — Подразумевается неопределенность перспектив борьбы, которая велась во Франции после поражения Парижской коммуны до 1880-х годов между легитимистами (приверженцами Бурбонов), бонапартистами, орлеанистами (сторонниками орлеанского дома, к которому принадлежал Луи-Филипп) и республиканцами.

«Паризьена» — гимн свободе, написанный во время июльской революции 1830 года поэтом Делавинем.

ПЕРВОЕ АВГУСТА
(Стр. 497)

Впервые — *ОЗ*, 1879, № 10 (вып. в свет 18 окт.), «Совр. обозр.», стр. 240—253, в составе объединенного очерка «Первое августа.— Первое сентября» (первая часть).

Рукописи и корректуры не сохранились.

В *Изд. 1880* вошло с некоторыми незначительными изменениями стилистического характера.

Об отзывах критики см. стр. 775.

В очерке передана атмосфера подавленности и страха, порожденная правительственным террором. Салтыков намечает характерные признаки времени, деморализующего личность, требующего от нее рабской покорности, бессловесного угодничества; упоминаются способы такого «гожения» (посещения трактира Палкина, Демидрона и т. п.), перекликающиеся с описаниями времяпрепровождения героев «Современной идиллии».

Основная тема очерка — отповедь идеологам реакции, обвинявшим автора в «беллетристическом двоедушии», объяснение Салтыковым принципов своего творчества, причин «полезной сдержанности», особенностей «рабьей манеры», эзоповского языка. Исследователи указывают, что аллегорическая манера Салтыкова, определяемая отчасти давлением цензуры, приводила к художественно выразительным приемам создания сатирических образов. Это не означает, что «рабья манера», эзопов язык не ограничивали писателя, не тяготили его. Но это было единственно возможным способом легализации запрещенных идей, позволявшим «показывать некоторые перспективы». В эзоповской манере Салтыкова широко использован и общий

«коллективный» язык, аллегорическая символика, созданные писателями демократического лагеря [1].

Писатель точно определяет свою позицию, позицию революционного демократа, занимаемую им в общественно-литературной борьбе, заявляя, что он не консерватор и не либерал. Он противопоставляет свой метод либеральному обличительству, утверждая, что сатира его направлена не против частностей, а против всего общественного уклада, что его «резкость имеет в виду не личности, а известную совокупность явлений».

Вследствие этого он в фельетоне вступил в полемику с сотрудниками журнала «Дело» Н. Шелгуновым и Н Ткачевым, с их представлениями о его творчестве. Шелгунов (псевд. Н. Языков) в статье «Горький смех — не легкий смех» [2] обвинил автора «Благонамеренных речей» в отсутствии идеала, «искреннего негодования», «активного протеста», в желании только «смешить ради смеха». Резкость сатиры Салтыкова, писателя, по его словам, «без ясного и строго определенного мировоззрения», Шелгунов объяснял его раздраженностью на весь мир, тем, что он будто бы пишет с ненавистью, и когда создает свои типы, «фигуры», то «лепит и бьет ее (то есть «фигуру».— *П. Р.*) по щекам, бьет и хохочет, хохочет холодно, злорадно, точно сам радуется своей собственной злости». П. Н. Ткачев (псевд. П. Никитин) в статье «Безобидная сатира» [3] в сущности повторил мнение Шелгунова и в «Круглом годе» нашел только «веселый, бесшабашный смех». Отвечая на эти упреки, Салтыков писал в фельетоне: «Я никого не бью по щекам...»

Стр. 497 *...в брошюрах одесского профессора Цитовича...*— Одесский профессор уголовного права Цитович являлся автором нескольких брошюр, отличавшихся вульгарной демагогией и резкими нападками на революционную молодежь. Он пользовался скандальной известностью. В 1878 году вышла брошюра «Новые приемы общинного землевладения», вызвавшая отповедь Михайловского («Письма к ученым людям», *ОЗ*, 1878, №№ 6, 7). В том же году Цитович выпустил «Ответ на «Письма к ученым людям», с пасквильными нападками на «детей «нигилистов». В 1879 году он издает «Объяснение по поводу внутреннего обозрения «Вестника Европы» (1878, № 12), где вновь обрушивается на «нигилизм», на роман Чернышевского «Что делать?», на русскую журналистику последних двух десятилетий. В брошюре имелись прямые выпады в адрес Салтыкова, да и вообще нападки Цитовича в первую очередь имели в виду «Отеч. записки». В том же году вышла брошюра Цитовича «Хрестоматия нового слова. Что делали в романе «Что делать?», полная клеветы на роман Чернышевского. В ней, между прочим, «новые люди» сближались с «героями» уголовных

---

[1] О «коллективном языке» см.: К. Чуковский, Мастерство Некрасова, М. 1962, стр. 683—684.

[2] «Дело», 1876, № 10, стр. 329; подпись: *Н. Языков.*

[3] Там же, 1878, № 1, стр. 18; подпись: *П. Никитин.*

процессов. Брошюры Цитовича отвечали «веяниям дня». Они выдержали в короткое время ряд изданий (например, «Ответ на письма...» вышел в восьми изданиях), с ними солидаризовалась реакционная периодика (см., например, *МВ*, 1879, №№ 15, 153, 200).

Стр. 498. *Ты, фортуна, украшаешь...*— Из стихотворения Сумарокова «Перевод Руссовой оды на фортуну».

Стр. 499. *...мне не дорог твой подарок, дорога твоя любовь...*— Из народной песни «По улице мостовой».

А завтра — где ты, человек? — См. прим. к стр. 26.

Стр. 501. *Фьюить!* — выражение, постоянно употребляемое Салтыковым как символ правительственного произвола вообще и административной ссылки в частности.

«Ямщик лихой, он встал с полночи».— Из стихотворения Ф. Глинки «Сон русского на чужбине», часть которого стала народной песней.

Стр. 504. *Реторика Георгиевского* — «Руководство к изучению русской словесности» (см. т. 10, прим. к стр. 117).

...будь я менее сдержан — из этого непременно произойдет для меня молчание.— Подразумевается постоянная угроза цензурных репрессий.

...против наплыва неблагонадежных элементов! — Намек на последнюю фразу статьи Безобразова, имевшую доносительный характер: «не мешает, однако, зорко следить за теми неблагонадежными материалами, которые силятся с разных сторон втесниться в новое государственное здание, зорко следить за неблагонадежными понятиями, распространяемыми в общественной атмосфере» (*РВ*, 1869, № 10, стр. 486).

Стр. 507. *...я тогда же обратился к ...публицисту...*— Со статьей «Человек, который смеется» (см. т. 9, стр. 696).

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ
(Стр. 511)

Впервые — *ОЗ*, 1879, № 10 (вып. в свет 18 окт.). «Совр. обозр.», стр. 253—266, в составе объединенного очерка «Первое августа.— Первое сентября» (вторая часть). Подпись: *Н. Щедрин.*

Рукописи и корректуры не сохранились.

В *Изд. 1880* текст подвергся незначительной стилистической правке.

В очерке раскрывается близость принципов «семейного» и «государственного». Обитательницы публичного дома, «штучки» — наиболее рьяные приверженцы государственного принципа, устраивают триумфальную встречу ренегату, Саше Ненарочному. Демидрон является цитаделью не только благонамеренных «патриотических» чувств, но и официальной нравственности. В нем находит осуществление «семейный союз». Именно девица Филиппо, одна из примадонн Демидрона, воспитала «похвальные» качества Саши Ненарочного, посеяла в его сердце «семена благонравия»,

принесшие столь «благие» плоды. Описание триумфа Саши в Демидроне превращается в едкий гротеск, раскрывающий полную несостоятельность «основ»[1].

Объединенный очерк «Первое августа.— Первое сентября» вызвал разноречивые отклики прессы. Подробный его разбор сделал Е. Е. Картавцев в газете «Киевлянин»[2]. Он указал, что «в летние и осенние месяцы со стороны московских органов «людей порядка» было сделано несколько заявлений и проведено несколько мыслей, сущность которых заключалась в вопросе: «Действительно ли «Отечественные записки» и их редактор признают и готовы поддерживать принципы, на которых зиждется собственность, семейство и государство». Из самой постановки вопроса видно было, что делавшие его готовы были отвечать отрицательно». Далее автор рецензии отмечает, что Салтыков в своих последних произведениях «с необыкновенной силой поставил и разъяснил сомневавшимся вопрос о взгляде журнала на три «основы» современной жизни — семейство, собственность и государство».

В. Чуйко в «Лит. хронике» газеты «Новости» отметил значение образа Саши Ненарочного, показывающего, «откуда могут явиться подобные господа, у которых самоуверенное невежество и хлыщеватая легкость в разрешении самых сложных общественных вопросов играют такую выдающуюся роль»[3].

Подробный разбор и положительные отзывы были помещены во многих других газетах[4]. Резко отрицательную характеристику Салтыков получил в «Лит. очерках» Буренина как автор «лицемерно-либеральничающих» «Отеч. записок», которые вместе с Елисеевым и Михайловским «желают дать понять <...>, что они люди, во-первых, идейные и, во-вторых, невинные и нимало не опасные для отечества»[5].

Стр. 513. *...пользовался секретным доверием местного штаб-офицера...*— то есть был осведомителем местного жандармского офицера.

...секретно утирать слезы.— По преданию, когда граф Бенкендорф, назначенный управляющим III Отделением, только что учрежденным, обратился к Николаю I с вопросом о своих обязанностях, тот протянул ему носовой платок и сказал: «Вот, отирай слезы вдов и сирых».

---

[1] Сцена слияния в Демидроне «семейного» и «государственного» союзов, при всей ее гротескности, имела реальные основания. А. Лейкин вспоминал, что танцклассам и увеселительным заведениям оказывала покровительство полиция, использовавшая их в видах сыска, имевшая агентов среди публичных женщин; сыщики сами открывали нередко такого рода заведения. См. «Николай Александрович Лейкин в его воспоминаниях и переписке», СПб. 1907, стр. 136.

[2] «Киевлянин», 1879, № 147, 11 декабря.

[3] «Новости», 1879, № 283, 3 ноября; подпись: *В. Ч.*

[4] Русск. литература.— «Сын отечества», 1879, № 244, 25 октября; Икар <И. П. Горизонтов>, Журн. обозр.— «Сарат. дневник», 1879, № 55, 14 марта.

[5] В. Буренин, Лит. очерки.— *НВ*, 1879, № 1322, 2 ноября.

Стр. 513. *...на случай телесного озлобления...*— Из «Скрижали» Арсения Грека.

Стр. 514. *...дидактической сферой...*— Здесь: духом поучения, назидания.

Стр. 518. *Это случилось тому назад пять лет* — то есть в разгар хождения в народ.

Стр. 519. *Ждал к пасхе Владимира 3-й, а получил корону на св. Анны...*— Согласно «Установлению об орденах» орден Анны занимал самое «демократическое» место. Для повышения значения этой награды было введено изображение императорской короны, помещавшейся над орденом (см.: И. Г. Спасский, Иностранные и русские ордена, Л. 1963, стр. 17).

Стр. 520. *...на Страстной бульвар...*— Там помещалась редакция «Моск. ведомостей».

...подарили «Полный греческо-русский словарь»...— Здесь высмеивается приверженность издателей-редакторов «Моск. ведомостей», Каткова и Леонтьева, к классическому образованию, к древним языкам.

Стр. 526. *...статистических сведений...*— «Статистикой» Салтыков иронически именует сведения, собираемые полицией о «неблагонадежных элементах» (ср. «Современную идиллию»).

ПЕРВОЕ ОКТЯБРЯ
(Стр. 526)

Впервые — *ОЗ*, 1879, № 11 (вып. в свет 16 нояб.), «Совр. обозр.», стр. 107—116. Подпись: *Н. Щедрин.*

Рукописи и корректуры неизвестны.

В *Изд. 1880* вошло с некоторыми стилистическими изменениями. Кроме того, был снят следующий «Postscriptum» к очерку, вставленный в журнальный текст в ответ на выпад Достоевского против Салтыкова в третьей главе восьмой книги «Братьев Карамазовых» [1].

P. S. Последние строки были уже написаны, как я прочитал в романе «Братья Карамазовы», соч. писателя Достоевского, следующую тираду, произносимую некоей г-жой Хохлаковой: «Женское развитие и даже политическая роль женщины в самом ближайшем будущем — вот мой идеал. У меня у самой дочь, и с этой стороны меня мало знают. Я написала по этому поводу писателю Щедрину. Этот писатель мне столько указал, столько указал в назначении женщины, что я ему отправила прошлого года анонимное письмо в две строки: «Обнимаю и целую вас, мой писатель, за современную женщину, продолжайте». И подписалась: «мать». Я хотела было подписаться: «современная мать» и колебалась, но остановилась просто на матери: больше красоты нравственной, да и слово *«современная» напоминало бы им (?) Современник — воспоминание для них (?) горькое, ввиду нынешней цензуры...»* Такого письма я не получал, и вся эта «выдумка», очевидно, сочинена салопницей Хохлаковой для того, чтоб напомнить: был, дескать, журнал «Современник», так вот не он ли устами «писателя» Щедрина продолжает говорить. Ах, эти салопницы! То из старой

---

[1] *РВ*, 1879, № 10, стр. 535.

одежи чего-нибудь на бедность просит, а то вдруг, ни с того ни с сего, съязвит. Съязвит глупо, беззубо, но в то же время ужасно противно, хоть форточки отворяй! Вот хоть бы в данном случае: об чем докучает салопница Хохлакова? — об том, чтоб я *продолжал* писать о назначении *современной* женщины. Но я об этом-то именно предмете всего менее и писал, а следовательно, не только не мог «столько» указать г-же Хохлаковой, но просто ничего. Вот если б вы, салопница Хохлакова, поблагодарили меня за изображение людей, «которые мертвыми дланями стучат в мертвые перси» — такой благодарности, быть может, я заслуживал бы. Подобных людей я действительно изображал и надеюсь изображать и в будущем без ваших просьб. Останетесь довольны.

Не удовлетворившись этим ответом, Салтыков продолжил свой спор с Достоевским и в фельетоне «Первое ноября». Скрытая полемика между обоими писателями велась на протяжении десятилетий. Конкретные обстоятельства, побудившие Достоевского в «Братьях Карамазовых» открыто выступить против Салтыкова, остаются невыясненными. При подготовке отдельного издания «Круглого года» Салтыков исключил из текста оба полемических отрывка. Подробнее см.: С. Борщевский, Щедрин и Достоевский, Гослитиздат, 1956, стр. 314—322.

Салтыков затрагивает в фельетоне проблему взаимоотношений писателя с читателем-другом, раскрывая свое понимание задач общественно-литературной деятельности (см. стр. 747).

Письма литературных героев к рассказчику — «дяде» раскрывают ироническое отношение Салтыкова к признанию «основ», провозглашенному в фельетоне «Первое августа».

Стр. 526. *Наглотавшись от представителей современного русского критиканства разных эпитетов...* — Так, например, в «Дорожных заметках» (*МВ*, 1879, № 249) о Салтыкове говорилось следующее: «Мне случилось прочесть эту переписку <видимо, письма Карамзина, Батюшкова и Вяземского> вслед за какой-то статьей Щедрина. Господи, что за различие! Точно я перескочил в благоуханный сад из псарни, наполненной смрадом, визгом и свистом арапника!»

Стр. 527. *Ведь настоящего-то слова <...> все-таки не выговоришь...* — Намек на цензурные препятствия.

Стр. 528. *Наступил период затишья...* — Речь идет, возможно, о 1864—1867 годах, когда Салтыков оставляет литературные занятия и вновь служит в провинции.

Стр. 529. *Дар напрасный, дар случайный...* — Из стихотворения Пушкина.

Стр. 530. *Выморочное имущество* — имущество, оставшееся после умершего, не имеющего наследников и не сделавшего завещания; на него никто не может предъявить претензий, и оно поступает в собственность государства.

Стр. 531. *Митрофан, Тарас Скотинин <...> Простакова...* — персонажи комедии Фонвизина «Недоросль».

Стр. 532. *Рудин <...> Лаврецкий* — герои романов Тургенева «Рудин» и «Дворянское гнездо».

Стр. 534. *Кунавино.*— См. прим. к стр. 381.

Стр. 535. *А о святой церкви и служителях ее... позабыл?* — Письмо «иерея» (священника) как бы включает и религию, церковь, в ряд «основ», «краеугольных камней», обличаемых в цикле.

ПЕРВОЕ НОЯБРЯ

(Стр. 535)

Впервые — *ОЗ*, 1879, № 12 (вып. в свет 20 дек.), «Совр. обозр.», стр. 228, под заглавием. «Первое ноября.— Первое декабря». Подпись: *Н. Щедрин.*

Рукописи и корректуры неизвестны.

В *Изд. 1880* автор устранил всю начальную часть очерка, содержавшую следующее продолжение полемики с Достоевским, начатой еще в октябрьском очерке.

Остановлюсь на минуту на г-же Хохлаковой, которую г. Достоевский так некстати и неуклюже подсунул мне в прошлом месяце. Письма, возвещенного ею, я не получал.

Очевидно, она лгала, говоря, что написала его. Зачем она лгала? Хохлакова — тип не новый. Гоголь, который так много прозрел в русской жизни, прозрел и несметное хохлаковское воинство, олицетворив эту язву в двух незабвенных личностях: даме просто приятной и даме приятной во всех отношениях. Обе эти дамы представляют самое полное воспроизведение того неотвязного пустодушия, которым почти поголовно обуревается общество в известные исторические моменты. В женщинах это пустодушие как-то особенно обостряется, потому что, по самым условиям своего общественного положения, они всегда витают в пространстве, не пристроенные ни к какому делу, и, вследствие этого, легче, нежели мужчины, утрачивают представление о пределах оглашенности и халдовства.

Жизнь этих дам есть сплошное лганье во всех формах и видах, начиная от простого пускания пыли в глаза и кончая несомненным предательством. Сначала лганье составляет как бы принадлежность «умения жить»; к нему прибегают для поддержания светских связей, им прикрывают зависть, тщеславие и желание под внешним блеском схоронить от посторонних глаз всяческое домашнее убожество. Но, мало-помалу, лганье до такой степени входит в жизненный обиход, что самое общение с этой лгущей средою уже представляется какою-то гнилою фантасмагорией. Лгут непрестанно и по привычке, не потому, чтобы это было нужно для достижения каких-нибудь целей, а просто потому, что правда сделалась противной. Народ очень своеобразно и метко заклеймил подобных женщин именем «шлюх». Действительно, ничего другого и сказать об них нельзя.

К числу таких «шлюх» принадлежит г-жа Хохлакова. Г. Достоевский, как один из наиболее чутких последователей Гоголя, не мог не воспользоваться этим типом: до такой степени он жизнен. Нужно, однако ж, сознаться, что в данном случае он разработал его не совсем удачно. С одной стороны, он утрировал его до степени полоумия, с другой — снабдил свойствами совершенно ему чуждыми и даже пристегнул к этому типу какие-то полемические иели. Все это в значительной степени затемнило тип, первоначально начерченный Гоголем с поразительной ясностью.

Я охотно соглашаюсь, что Хохлакова, как и всякая другая «приятная» дама, есть не что иное, как проезжий шлях, который всякий может топтать ногами: и мудрец, и глупец, и человек убежденный, и человек, стучащий

мертвыми дланями в пустые перси, и человек добра, и изувер, мечтающий о кострах. Ее можно заставить и фригийский колпак надеть, и облечься в костюм сердобольной — все это она сделает, и притом непременно уладится так, что оба костюма будут ей одинаково к лицу.

Все это я допускаю, но, в то же время, думаю, что независимо от этой шляховой общедоступности, у нее есть и другая собственная ее, интимная подоплека, которую наблюдатель тоже должен принять в соображение, если не желает попасть впросак. По мнению моему, эту интимную подоплеку составляет инстинктивное отвращение к какой бы то ни было работе мысли, отвращение, которое даже больше, чем шляховая общедоступность, дает окраску ее жизни и перед которым представляется тщетным всякое усилие, направленное с целью поднять ее умственный и нравственный уровень.

Хохлакова никак не может сосредоточиться — вот в чем ее горе. А потому все серьезное (а в том числе и серьезная подлость) противно ее природе. В силу своей беспутной подвижности она ко всему прислушивается и присматривается, но ежели это слышанное и виденное хотя сколько-нибудь выходит за пределы самой несомненной низменности, то она положительно ничего не поймет. Поверьте, Гоголь не напрасно заставил свою приятную во всех отношениях даму говорить о фестончиках и только о фестончиках: это единственный разговор, который она может вместить. Конечно, в крайнем случае, и ее можно заставить вытвердить фразу более или менее сложную, но все-таки это будет предприятие очень рискованное, потому что она, наверное, либо слова переставит, либо что-нибудь пропустит, либо от себя нечто присочинит. И в конце концов, никого не убедит, а только сконфузит и выдаст того, кто ее научил.

Поэтому, если писателю нужно, чтоб Хохлакова произносила «страшные слова», то надлежит выбирать таковые исключительно из замоскворецкого лексикона. Например: «жупел», «кимвал», «металл». Такие слова по плечу Хохлаковой, потому что они приобрели право гражданственности в той среде, в которой она вращается. А если б она даже и переврала их, переставила один слог на место другого, то и тут большой беды нет: кому какое дело, так или иначе то или другое глупое слово произнесено? Но писатель поступит несогласно с истиной и совершенно бестактно, если в уста Хохлаковой вложит «страшные слова» иного, незамоскворецкого пошиба. Таковы, например: «прозелит», «преуспеяние», «Современник» и другие. Перед этими словами Хохлакова может только трепетать, но произносить их отчетливо, безошибочно и притом самостоятельно она не в силах. Она наверное перепутает, смешает: «прозелита» с «протодиаконом», «преуспеяние» с «успением», «Современник» с «Временем» или «Эпохой». Да и с какой стати ей придет в голову такое, например, мудреное слово, как «Современник»? Где она могла слышать это слово? а если даже случайно и слышала, то правдоподобно ли, чтоб ее необузданно-легковесная память могла задержать его? Повторяю: ничего подобного даже случиться с г-жою Хохлаковой не могло. Так что, ежели первую половину ее фразы (о письме ко мне) она солгала motu proprio [1], то вторую половину (о «Современнике») г. Достоевский заставил ее вымолвить совершенно вопреки тому верному художественному чутью, которое составляет отличительное достоинство произведений этого талантливейшего из последователей Гоголя. Нет, не о «Современнике» она хотела дать намек, а о «Времени» или об «Эпохе», этих своего рода «жупеле» и «кимвале», вполне доступных разумению Хохлаковой.

Таким образом, если уж непременно требовалось потревожить прах «Современника» и сопоставить его с моею фамилией, то, мне кажется, г. До-

[1] По собственному побуждению.

стоевский поступил бы несравненно целесообразнее, возложив это поручение на старика Карамазова. Этот развратный и насквозь прогнивший старикашка, действительно, должен быть сердит на меня, и так как он, по природе своей, на всякие предательства способен, то, конечно, мог и в данном случае соорудить что-нибудь воистину язвительное. Я думаю даже, что он не ограничился бы напоминанием о «Современнике», но при сем присовокупил бы, что мои сочинения нужно сжечь рукой палача или что я проповедую презрение к России, а потом, помаленьку да полегоньку, пустил бы, пожалуй, букетами и по части событий, которые, в последнее время, так глубоко взволновали Россию. Конечно, все это клевета, сплетня и самая бесшабашная подлость; сам старец Карамазов очень хорошо это сознает, но так как он клеветник по природе, то никакие сознания не могут его остановить на доблестном пути инсинуации. Г. Достоевский очень тонко подметил в своем герое одно гнусное качество, которое он назвал «сластничеством», но он упустил из вида, что рядом с «сластничеством» в этом протухлом сердце свило гнездо еще и человеконенавистничество. Благодаря этому последнему свойству старый гнуснец никогда так не бывает доволен, как в те минуты, когда он думает, что ему удалось утопить ближнего в ложке воды. Повторяю: если бы г. Достоевский какую угодно выходку, даже самую омерзительную, относительно меня внушил не Хохлаковой, а старику Карамазову, я не только не увидел бы в ней ничего неожиданного или бестактного, но, напротив того, нашел бы ее вполне резонною, злопыхательному сердцу свойственною и с обстоятельствами дела согласною...

Но страшною, даже и в карамазовских устах, я все-таки ее не нашел бы.

В этом смысле я могу совершенно искренно заверить карамазовскую семью, что «страшные слова» давным-давно утратили в моих глазах всякий престиж. Я знаю, конечно, что легкомысленное хохлаковское воинство (обоего пола) и доныне не упразднилось, а следовательно, у Карамазовых всегда найдется готовая к их услугам аудитория, которую они могут, по своему усмотрению, повергать в суеверный трепет; но я знаю также, что наряду с хохлаковским легковесным воинством уже существует достаточное количество и таких людей, в которых такие личности, как гнилой старик Карамазов, ничего, кроме отвращения, возбудить не могут. В самом деле, что такое Карамазов? — это не человек, а оборотень; это нечистое животное, которому горькая случайность дала возможность восхитить человеческий образ. Вот истина, которая сделалась понятною уже для очень многих, как равно и то, что у оборотня ничего другого и быть не может на уме, кроме первородного свинства. А коль скоро это достаточно ясно, то весьма естественно, что против карамазовских каверз никакого другого корректива и искать не требуется, кроме того, который указывается в общеизвестной мудрой русской пословице: «Бог не попустит — свинья не съест». Именно так: не съест свинья — только и все.

Помилуйте! если бы бог попускал, чтобы свиньи одолевали людей, где ж была бы справедливость?

Ведь эти прожорливые животные вскорости истребили бы весь человеческий род, и в таком случае ужели они управляли бы вселенною?

Возможно ли представить себе такой ужас: человеческое слово упразднилось, а вместо него повсеместно водворилось свиное хрюканье?

Ведь таким образом мы будем, пожалуй, лишены возможности читать стихотворения Майкова и наслаждаться произведениями г. Достоевского! Да, наконец, и некому будет читать и наслаждаться! Нет, бог не попустит подобной несправедливости.

Я твердо верю этому и не страшусь. Вот уж шестой десяток живу я на свете, а в том числе с лишком тридцать лет действую в литературе. Вижу

я, правда, особливо в последнее время, как бродят около меня нечистые животные и обнюхивают меня... Ужасно противно это обнюхивание — с этим я, конечно, не согласиться не могу, но ежели нечистые животные полагаются по штатам самой природы, то делать нечего, приходится примириться с этой необходимостью. Но чтобы они так-таки съели, потому что такова их свиная фантазия... помилуй бог!

Нет, не съедят они, не съедят никого. Бог не попустит этого. Вот почему я нимало не сомневаюсь и в ответ на отвратительные обнюхивания уверенно восклицаю: жив есмь и жива душа моя!

Кроме того, Салтыков изъял два авторских признания, относящихся к обстоятельствам подготовки очерка для публикации в журнале.

Стр. 541, строка 20. В «Отеч. записках» после слов: «ни того, ни другого я не выполнил» — было:

Я даже вынужден был изменять обязательной в работах этого рода аккуратности, то есть не каждый месяц являлся с моими беседами и, следовательно, не мог сообщить содержанию их характер современности. Да и вообще, не имел охоты писать, а писал потому только, что надо было как-нибудь довести до конца раз начатое дело.

Стр. 543, строка 19. После «едва ли мыслимы» — было:

Как бы то ни было, но, прощаясь с читателями до будущего года, вновь повторяю: я выполнял задачу моих ежемесячных бесед очень слабо и далеко не в том объеме, в каком предполагал. И прошу в том великодушно меня простить.

В фельетоне затрагивается проблема соотношения литератур 40-х и 70-х годов, к которой Салтыков возвращался неоднократно. О ней шла речь в статье «Один из деятелей русской мысли» (см. т. 9), в цикле «В среде умеренности и аккуратности» («Дворянские мелодии», см. т. 12). Сама постановка проблемы определялась литературно-журнальной борьбой вокруг наследия «сороковых годов» и связана была у Салтыкова со стремлением преодолеть ограниченность «утилитарной» сатиры[1].

Не случайно сторонники такой сатиры, с какой бы точки зрения они ни исходили, обвиняли Салтыкова в идеализации «сороковых годов» (см. статьи Ткачева «Безобидная сатира» и «Заметки «о том, о сем», «Лит. меланхолия».— «Дело», 1878, № 1, 1880, № 1; статью Б. Н. «Лит. летопись».— «Русск. курьер», 1880, № 39).

Литература «сороковых годов» вовсе не являлась идеалом Салтыкова, видевшего, по словам Михайловского, и связанность ее по рукам и ногам, и многие внутренние изъяны, и особенно изолированность ее от практической «злобы дня»[2]. Салтыков уверен, что общение с жизнью «всегда было и всегда будет целью всех стремлений литературы». Но он предпочитает литературу «сороковых годов», с ее убежденностью, со стремлением «отыскать известные идеалы добра и истины», современной буржуазно-ли-

---

[1] О полемике вокруг наследия «сороковых годов» и об отношении к нему Салтыкова см.: Е. Покусаев, Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, стр. 224—227.

[2] Н. Михайловский, Литературно-критические статьи, М. 1957, стр. 442.

беральной, реакционной литературе, занимающейся разработкой «пустяков», для которой «общие принципы — недоступны».

Заключительная часть фельетона содержит упоминания о цензурных и политических обстоятельствах, в которых создавался цикл и которые вынудили изменить его первоначальный замысел.

Следует учитывать и то, что отношение «дяди» — рассказчика, воспитанного на идеалах «сороковых годов», и отношение самого Салтыкова к эпохе Грановского далеко не идентичны.

Стр. 535. *...мы, члены этого кружка...* — то есть кружка Петрашевского (ср. с упоминанием о нем в «Противоречиях», «Брусине», «Тихом пристанище», «За рубежом» и др.).

Стр. 536. *...чаще справлялись с кладбищем сороковых годов...* — Ср. с рассуждениями Чернышевского в «Очерках гоголевского периода русской литературы» о критике 40-х годов, о наследии Белинского: «И надобно еще спросить себя, точно ли мертвецы лежат в этих гробах <...> не гораздо ли более жизни в этих покойниках, нежели во многих людях, называющихся живыми?» (Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. 3, М. 1947, стр. 9).

Стр. 539. *«...сердца горестных замет».* — Из «Евгения Онегина» Пушкина (Посвящение).

Стр. 542. *...голоса звонкие, уверенные...* — то есть голоса торжествующей реакции.

ПЕРВОЕ ДЕКАБРЯ

(«Вечерок»)

(Стр. 543)

Впервые — *ОЗ*, 1880, № 4 (вып. в свет после 11 апр.), стр. 551, под заглавием «Не весьма давно (Осенние воспоминания)». Подпись: *Н. Щедрин*. Под заглавием «Вечерок» очерк должен был быть как самостоятельный рассказ напечатан в февральской книжке «Отеч. записок», но был вырезан по требованию цензуры. Рукописи, корректуры и вырезанные журнальные листы неизвестны.

«Вечерок» привлек внимание цензурного комитета вместе с четырьмя другими произведениями (рассказ Осиповича-Новодворского «Карьера (Записки молодого человека)», басня А. Л. Боровиковского «Воробей», анонимная статья «Финансовые итоги последних лет» и «Внутр. обозр.» Кривенко). Цензор Лебедев докладывал С.-Петербургскому цензурному комитету (16 февраля):

«В этом очерке автор самыми мрачными красками описывает современное состояние общества, при котором будто бы не могут собраться на дому четыре или пять человек для приятельской беседы из опасения, чтобы их не подслушали <...>. Даже на лакея своего нельзя положиться из боязни, не подослан ли он кем-нибудь <...> молчанию так же точно могут

приписать какое-нибудь злое намерение <...> Так что настоящая жизнь похожа скорее на тяжелый кошмар, нежели на жизнь» [1].

О характеристике Салтыковым «ретирадной литературы» в докладе говорилось:

«Так Щедрин называет ту часть литераторов и публицистов, которая отстаивает начала порядка, общественный строй и восстает против современных утопистов <...> Тут же указывается на предстоящий выход двух ежедневных газет, издателями которых будут два ретирадника, разумеется — охранители, намекая этим, без сомнения, на новую газету «Берег» (цензор имеет в виду газету, которая начала выходить 15 марта 1880 г. под редакцией П. Цитовича, с которым Салтыков полемизировал в предыдущих очерках «Круглого года»).

Цензурный комитет принял решение об аресте февральской книжки «Отеч. записок». Салтыков обратился 17 февраля с письмами к начальнику Главного управления по делам печати В. В. Григорьеву, прося «цензурные недоразумения» разрешить «негласным путем» [2], сообщить в редакцию, «что именно подало повод к недоразумениям». Согласие было получено по распоряжению министра внутренних дел Л. С. Макова, и на следующий день, 18 февраля, Салтыков просил цензурный комитет возвратить представленные туда экземпляры журнала для внесения в них необходимых изменений. Из февральской книжки были изъяты четыре статьи, включая «Вечерок», а «Финансовые итоги последних лет» были напечатаны с значительными цензурными купюрами.

Мартовская книжка журнала вышла со следующим объявлением на обложке:

«По болезни М. Салтыкова, предположенные им лично статьи для февральской и мартовской книжки не могли быть напечатаны».

В связи с некоторым ослаблением политических репрессий Салтыков смог поместить «Вечерок» в апрельской книжке под заглавием «Не весьма давно (Осенние воспоминания)», указывавшим как на время описываемых событий, так и на невозможность своевременной публикации произведения. Об обстоятельствах публикации и угрозе второго предостережения в связи с ней Салтыков сообщает в письме к Елисееву, написанном, очевидно, в конце апреля — начале мая 1880 года, после визита к Н. С. Абазе, назначенному 4 апреля начальником Главного управления по делам печати:

«Сейчас приехал от Абазы, который принял меня достаточно приветливо <...> И еще, между прочим, сказал: а знаете ли, что я спас ваш журнал от второго предостережения? Оказывается, что в Совете дебатировался этот вопрос по поводу моей статьи. На это я сказал, что, во-первых, статья эта напечатана с ведома Григорьева, равно как в майской книжке появится другая статья «Карьера», тоже с ведома Григорьева; во-вторых,

---

[1] В. Евгеньев-Максимов, Очерки по истории социалистической журналистики в России XIX в., 1927, стр. 202.

[2] В. Е. Евгеньев-Максимов, В тисках реакции, М. 1926, стр. 77.

что я иначе писать не умею, и стало быть, мне остается одно из двух: или писать как пишу, или совсем перестать».

Журнальный текст очерка носит следы цензурных изъятий: на стр. 552 и 567 выпущенный текст отмечен строками точек (см. стр. 555 и 559). Кроме того, стр. 567—568 вклеена, очевидно, после цензурной вырезки текста. Указанный в докладе Лебедева отрывок о предстоящем выходе газеты Цитовича «Берег» отсутствует.

В ноябре 1880 года типография Краевского ходатайствовала перед цензурой о разрешении выпустить «Не весьма давно» и рассказ Новодворского «Карьера» отдельным изданием. В заключении Лебедева по этому поводу подтверждается, что в апрельской книжке очерк Салтыкова был напечатан «с некоторыми исключениями» [1].

В *Изд. 1880* очерк вошел почти без изменений в тексте по сравнению с журнальной публикацией.

В очерке развиваются мотивы, намеченные в «Дворянских мелодиях» (см. т. 12), рисуется картина общества, в котором «засилие гады взяли». Слова: «Господи! Да неужто ж это не кошмар!» — подводят итог всему циклу, в котором затрагивается и вопрос о положении немногих «партикулярных людей», понимающих ужас происходящего, тех, что не «сумели уподобить себя зверям». Салтыков весьма скептически относится к либеральной интеллигентской оппозиции, «вольнодумствующей» вполголоса. Но он понимает, что в сложившихся обстоятельствах и такая оппозиция, при всей слабости ее, становится своего рода протестом.

Писатель воспользовался и относительной возможностью посчитаться с «ретирадной литературой», с таким ее представителем, как Цитович.

В очерке высказаны взгляды Салтыкова на «женский вопрос». Он считает односторонней постановку «женского вопроса» применительно только к «культурной среде» (борьба за высшее образование, за право занимать определенные должности, за участие в общественно-политической жизни страны и т. п.). Подлинное решение «женского вопроса» Салтыков связывает с демократическими изменениями в судьбах всего народа и общества. Ср. с «Письмами о провинции» (т. 7, письмо шестое), с очерками «По части женского вопроса» (т. 11), «Сон в летнюю ночь» (т. 12).

Многие газеты поместили положительные отзывы об очерке «Вечерок» [2].

Признавая совершенство художественной формы сатиры Салтыкова, Буренин в то же время иронически отозвался о «либеральности» писателя и упрекнул его в повторении своих старых тем. Особенное негодование Буренина вызвало высказывание Салтыкова о журналистах «ретирадных мест» [3].

---

[1] *ЛН*, кн. 13—14, стр. 144.

[2] См.: Г. К. Градсвский, Журналистика.— «Молва», 1880, № 109, 19 апреля, подпись: *Грель;* «Лит. обозр».— «Современность», 1880, № 97, 6 июня; «Русск. литература».— «Сын отечества», 1880, № 94, 25 апреля; фельетон.— «Страна», 1880, № 37, 11 мая, подпись: *Фр.*

[3] В. Буренин, Лит. очерки.— *НВ,* 1880, № 1492, 25 апреля.

Стр. 543. *...вопрос о «подоплеке»...* — Здесь: о народном духе, о сущности народа.

Стр. 544. *...кто больше заслужил, Москва или Петербург?* — Подразумеваются постоянные нападки на «петербургскую атмосферу» московских реакционных славянофильских публицистов, а также полемика с ними столичных либеральных газет.

...даже фаланстеров не чуждались... — Речь идет об увлечении утопическими социалистическими теориями Фурье в 40-е годы.

Стр. 545. *Вещий Баян* — певец-прорицатель, упоминаемый в «Слове о полку Игореве».

«шизым орлом ширять под облакы»... — Из «Слова о полку Игореве».

Околоток — подразделение полицейского городского участка.

Стр. 546. *А именно в Лиссабоне...* — В 1775 году в Лиссабоне произошло сильное землетрясение, во время которого погибло около 60-ти тысяч человек. По рассказам, животные предчувствовали его.

Стр. 547. *...и завтра, и послезавтра все греческие склонения будут?* — Намек на систему классического образования, за которую ратовал Катков; победа сторонников этой системы являлась одним из признаков все усиливавшейся общественной реакции.

Стр. 548. *...газетные церберы.* — Цербер — чудовищный пес, охранявший вход в царство мертвых (ант. миф.). Здесь: реакционные журналисты.

...с подоплекой не шутите <...> это красный фантом! — Намек на настороженное отношение со стороны сторонников официальной идеологии ко всякого рода суждениям о сущности народа, в том числе и славянофильским и благонамеренным.

Стр. 552. *...подобно ретирадникам, погрязнем в одних игривостях...* — Реакционные публицисты рассматривали «женский вопрос» в специфическом плане, набрасывая на него «паскудный покров», сводя его к проповеди разврата, безнравственности. Салтыков, видимо, подразумевает отрицательные высказывания о «женском вопросе» Цитовича, истолковывавшего его как проявление необузданного полового инстинкта (см. «Ответ на «Письма к ученым людям»).

Стр. 557. *Шалыган* — шалопай, бездельник.

Стр. 558. *Подоплеку угадали! Ах, много еще кровожадности в этой подоплеке таится...* — Здесь: подоплека — темные отрицательные стороны народного сознания и быта.

...подоплека завопит: ха-ха, измена! — Подразумевается в первую очередь обывательская «чернь» (дворники, извозчики, мясники Охотного ряда и т. п.), которую власти и реакционная печать пытались изобразить истинной представительницей народных воззрений, якобы враждебных всякой «крамоле» (см., например, «Письмо к издателю» и редакционный отклик на него «С берегов Невы», *МВ*, 1878, №№ 108, 110, 1879, № 97).

Стр. 559. *«Ее», то есть розничную продажу...* — Разрешение или запрещение розничной продажи газет было одним из средств воздействия властей на журналистику.

Стр. 559. *Никто не могий делать поучения, а в том числе не могий и гад!* — Мысль о том, что прежние времена, когда журналистика вообще не могла касаться общественных вопросов, имеет некоторое преимущество перед современностью, когда эти вопросы имеет возможность затрагивать лишь «г а д»: реакционные публисты.

Стр. 559—560. *Слава богу, говорит, и у нас публицист нашелся!* — Подразумевается Цитович.

Стр. 561. ...*«сквозь невидимые миру слезы»*...— Из «Мертвых душ» Гоголя (т. I, гл. 7). У Гоголя: «сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы».

Задеть мою амбицию я не позволю вам...— Из водевиля П. А. Каратыгина «Чиновник по особым поручениям».

«Gaudeamus» — студенческая песня («Будем же веселиться»).

Кант — похвальное песнопение; здесь: студенческая торжественная песня.

«Vivat academia» — начало второй строфы «Gaudeamus'»а.

...*Медико-хирургическая... превосходно!* — То есть начальство может усмотреть в словах «Gaudeamus»'а намек на Медико-хирургическую академию, место постоянных студенческих волнений. Так, например, «Моск. ведомости» (1879, № 97) упоминали «периодические, в течение целых семнадцати лет возобновлявшиеся волнения в Медико-хирургической академии, с отражением их во всех высших заведениях империи».

ИЗ ДРУГИХ РЕДАКЦИЙ[1]

ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ

ВЫМОРОЧНЫЙ

(Стр. 565)

Впервые — *ОЗ*, 1876, № 8 (вып. в свет 25 авг.), стр. 521—558.

Рукописи и корректуры не сохранились. Журнальная редакция очерка в *Изд. 1880* подвергнута значительному сокращению (см. стр. 690).

У ПРИСТАНИ

(Стр. 600)

Впервые — «Русск. богатство», 1914, № 4, стр. 52—64. Публикация по автографу из архива М. М. Стасюлевича с сопроводительной статьей В. П. Кранихфельда «Новая экскурсия в Головлево (К 25-летней годовщине смерти М. Е. Салтыкова)».

Сохранились две рукописи. Первая из них представляет собою заключительный фрагмент главы (от слов: «Ну, а по части женской провизии

[1] Все сохранившиеся рукописи материалов наст. раздела хранятся в *ИРЛИ*.

как у вас?»), вторая рукопись (беловая) содержит две, видимо первые, главы рассказа.

Рассказом «У пристани», судя по авторскому примечанию, Салтыков предполагал завершить головлевскую хронику («Семейные этюды»). Точные данные о времени работы над рассказом отсутствуют, хотя вполне закономерно предположить, что писатель обратился к нему непосредственно после публикации «Выморочного», то есть в самом конце 1876 или в начале 1877 года. Косвенным подтверждением этой датировки является эпизод с военной службой Ганечки Галкина, который в период сербско-турецкой войны, разразившейся именно в это время (1876—1877), отправился добровольцем в Сербию, но, не доехав до театра военных действий, предпочел свернуть в принадлежащее его матери имение Горюшкино. Другим доказательством, тоже косвенным, можно считать содержащуюся в «Выморочном» мысленную беседу Иудушки с покойной Ариной Петровной относительно некогда принадлежавшего Головлевым Горюшкина. Несомненно, что рассказ «У пристани», развивающий семейные планы Галкиных, владельцев Горюшкина, неразрывно связан с предыдущей головлевской главой и особенно с той ее частью, которая посвящена пространным сожалениям Иудушки об уплывшем из его рук имении. Можно с уверенностью сказать, что создавались они если не одновременно, то с очень небольшим разделяющим их временным промежутком.

Салтыков прекратил работу над рассказом «У пристани» и несколько лет к головлевской хронике не возвращался. Причина этого лежит, видимо, прежде всего в неудовлетворенности писателя тем вариантом Иудушкина конца, который был намечен в рассказе «У пристани» и не представлялся ему психологически убедительным. По этой сохранившейся незаконченной главе можно установить, что задуманный в 1876 — начале 1877 года вариант предполагал несколько неожиданную и скорее комическую развязку судьбы Иудушки.

В процессе работы над главой Салтыков почувствовал, что подобный финал вносит в повествование совершенно несвойственный ему элемент, заметно нарушающий психологическую и художественную обоснованность образа Иудушки. В связи с этим он прекратил работу над главой и обратился к ней вновь лишь в 1880 году, использовав часть ее текста в главе «Решение» («Расчет»).

В настоящем издании текст печатается по беловой рукописи.

Дважды в речи Иудушки встречается имя «господина Анпетова» — персонажа «Благонамеренных речей».

В окончательный текст романа из фрагмента «У пристани» перешел образ «сестрицы», задумавшей прибрать к рукам осиротевшее головлевское имение.

Стр. 601. *...область аггельская...*— А г г е л или аггель (ц е р к.) — злой дух, сатана, дьявол.

Стр. 602. *«Ключ к таинствам природы»* — теософско-алхимическое сочи-

нение К. Эккартсгаузена, широко известное в России с начала XIX века (см. т. 5, стр. 615).

Стр. 605. *Молочные скопы* — молочные продукты (молоко, творог, сметана и т. п.) (устар.).

Стр. 611. *Гарибальди... русский.* — Намек на генерала М. Г. Черняева, участвовавшего в сербско-черногорско-турецкой войне и потерпевшего ряд поражений; либеральная печать пыталась сравнивать его с Джузеппе Гарибальди, героем национально-освободительной борьбы в Италии.

Стр. 612. *Башня Вавилонская.* — Известный библейский образ (Бытие, XI, 1—9).

...у сербов есть князь Милан, а у него супруга Наталия, из русских; у черногорцев же князь Николай, и у него жена Милена. — Милан Обренович — король сербский, женатый на Наталии Кешко, русской по происхождению; в июле 1876 года объявил войну Турции и обнаружил полную военную неспособность. Николай Негош — князь черногорский, женат на Милене Вукотич, сторонник сближения с Россией. В пору участия русских добровольцев в балканских сражениях 1876 года имена этих деятелей не сходили со страниц газет.

Эктения — или ектенья (церк.) — часть православного богослужения, моление, содержащее разные прошения и обычно сопровождаемое пением певчих.

КРУГЛЫЙ ГОД

ПЕРВОЕ МАЯ

(Стр. 613)

Впервые — *Изд. 1933—1941,* т. XIII, стр. 519—533.

В настоящем издании печатается по рукописи.

Рукопись представляет собой черновой вариант второй редакции очерка «Первое мая», от которой Салтыков отказался из цензурных соображений, возвратившись к первоначальной редакции (см. стр. 762).

Стр. 614. *...первую брошюру Цитовича.* — Имеется в виду «Ответ на письма к ученым людям» (см. прим. к стр. 497).

Стр. 615. *...«мокрая квартира на девять месяцев»...* — Цитович, обвиняя «нигилистов» в безнравственности, писал, что, по их мнению, «в недалеком будущем человеческий зародыш искусственно будет помещен в корову; что отец — самец матери, а мать — мокрая квартира на девять месяцев...» (П. Цитович, Ответ..., изд. 3-е, испр., Одесса, 1879, стр. 28).

Стр. 617. *И дым отечества нам сладок и приятен.* — В рукописи первоначально были строки из стих. Державина «На взятие Измаила»: «О Росс! о род непобедимый! // О твердокаменная грудь!» См. прим. к стр. 457.

Удрученный ношей крестной... — Из стихотворения Тютчева «Эти бедные селенья». У Тютчева: «Всю тебя, земля родная». В рукописи первоначально были строки из стих. Державина «На взятие Варшавы»: «В краю полунощном лежит богатырь. // Тень от чела, с посвиста пыль...» У Державина: «Вихрь полуночный, летит богатырь // Тьма от чела с посвиста пыль...»

ПРИЛИЧЕСТВУЮЩЕЕ ОБЪЯСНЕНИЕ
(Стр. 628)

Впервые — *ЛН*, кн. 11—12, стр. 341—343.

В настоящем издании печатается по черновой рукописи.

Салтыков начал работать над статьей «Приличествующее объяснение», когда был вынужден прервать цикл «Круглый год» в связи с началом преследования прогрессивной журналистики после покушения на Александра II 2 апреля 1879 года. Статья писалась одновременно с апрельским и майским очерками «Круглого года»: черновая рукопись первой редакции очерка «Первое апреля.— Первое мая» написана на листе, в начале которого помещен зачеркнутый первый абзац «Приличествующего объяснения» (см. стр. 758), а содержание окончательной редакции «Первого мая» частично совпадает с «Приличествующим объяснением».

Текст публикуемого отрывка написан не ранее 5 июля 1879 года, когда в суде слушалось упоминаемое в статье дело Карла Ландсберга [1].

Стр. 631. *...отношения Шевырева и Никиты Крылова к Грановскому и другим...* — Имеется в виду травля реакционными профессорами Московского университета Грановского и его соратников.

...словами Нибура... — Салтыков неоднократно цитирует эти слова из труда В.-Г. Нибура «Чтения о древней истории в Боннском университете» (см. т. 9, стр. 34, 167, т. 10, стр. 34 и прим.).

<«КОГДА СТРАНА ИЛИ ОБЩЕСТВО...»>
(Стр. 633)

Впервые — *ЛН*, кн. 11—12, стр. 320—326.

В настоящем издании печатается по рукописи.

Приводим некоторые рукописные варианты:

Стр. 636, строка 15. Вместо: «Исключения из этого правила бывают <...> становится равносильным выражению «непомнящий родства» — было:

[1] Датировано С. А. Макашиным. См. *ЛН*, кн. 11—12, стр. 340.

«Баловень фортуны», о котором говорят, что он «выскочил» или «пролез», может появиться только в таком обществе, где существует особое сословие людей, известное под именем непомнящих родства. Только в применении к этой касте можно допустить выражения, которые обыкновенно говорятся о грибах и клопах. И хотя я не говорю, чтобы мы действовали неправильно, прибегая к этим выражениям, но все-таки мне сдается, что ежели бы мы обдумывали свои речи, то иногда посовестились бы.

Стр. 639, строка 10 сн. Вместо: «эта процедура до такой степени неизбежна <...> так как идол очень скоро выдыхается» — было:

И то и другое равно неизбежно, и то и другое равно у всех на знати, но по какой-то странной предусмотрительности судеб первое всегда помнится, второе всегда забывается. Благодаря этому происходит нечто вроде обряда: сперва лесть, потом вероломство. Непомнящий родства всегда небогат содержанием и потому скоро выдыхается.

Содержание отрывка и палеографические данные позволяют отнести его ко времени написания статьи «Приличествующее объяснение» и очерков «Первое апреля.— Первое мая».

Отрывок по своей проблематике примыкает к фельетонам «Круглого года». Как и в этих фельетонах, в нем высказано убеждение, что «среда эта насквозь прогнила, и фундамент, и стены», изображены «баловни фортуны», «непомнящие родства», «столпы «государственности», для которых отечество — «пирог», Салтыков и здесь выражает уверенность, что следует мыслить, не имея даже в виду, «что из этого должен выйти практический результат». Акцентируется вывод, что «баловней фортуны» и льстецов-вероломцев рождает вся общественно-политическая система царской России.

Стр. 634. *Уж столько раз твердили миру...* — Из басни Крылова «Ворона и Лисица».

Стр. 637. *...«страна наша велика и обильна»...* — неточная цитата из летописного рассказа о призвании варягов на Русь. В летописи: «земля наша...»

Стр. 640. *Я говорю о стыде, все о стыде...* — Ср., например, со сценой появления С т ы д а, завершающей «Современную идиллию», с рассказом о пробуждении стыда среди глуповцев в «Истории одного города» (т. 8, стр. 421).

<«ГОВОРЯ ПО ПРАВДЕ, ПОЛОЖЕНИЕ РУССКОГО ЛИТЕРАТОРА...»>
(Стр. 641)

Впервые — «Утро юга». 1914, № 97, 27 апреля, стр. 3 (неполная публикация, под произвольным заглавием «О русской литературе», с ошибочной датировкой: начало 1860-х гг.); *ЛН*, кн. 11—12, стр. 344—350 (полностью).

В настоящем издании печатается по рукописи.

Содержание отрывка и палеографические данные позволяют предположить, что рукопись создавалась в одно время с предыдущим отрывком — «Когда страна или общество...».

Салтыков продолжает намеченное в отрывке «Когда страна или общество...» исследование типа «баловней фортуны», причин, их порождающих, заставляющих льстить «баловням» и одновременно таить в отношении их вероломство. Главной из таких причин, по мнению писателя, является рабство, не только внешнее, но и внутреннее, не уничтоженное с отменой крепостного права.

Описание нынешнего и прежнего положения литератора перекликается с рассуждениями фельетона «Первое марта».

Стр. 642. *...«в хижину бедную, богом хранимую»...*— Из водевиля Некрасова «Материнское благословение».

...что тебе стоит «Клеветникам России» написать? — В стихотворении Пушкина «Клеветникам России», написанном в связи с событиями польского восстания 1830—1831 гг., некоторые передовые современники усматривали отход поэта от его свободолюбивой поэзии. Об этом писал и В. Г. Белинский в 1847 г. в «Письме к Гоголю».

Стр. 643. *Цевница* — свирель.

...На Западе совершилось столько неключимостей...— Подразумеваются революционные события 1848 года.

...песня о том, как Ванька Таньку полюбил.— Подразумевается популярный романс Даргомыжского.

...в течение целых восьми лет...— то есть с 1848 по 1855 год, в период цензурного террора.

Стр. 644. *...убежищем «сладких звуков и молитв»...*— неточная цитата из стихотворения Пушкина «Поэт и толпа», истолковывавшегося эстетической критикой как апология «чистого искусства». У Пушкина: «для звуков сладких и молитв».

...ни оду на взятие Хотина на струнах разыграть, ни «Бедную Лизу» написать...— Ода Ломоносова и повесть Карамзина приводятся как образец старой благонамеренной литературы, противопоставляемой современному «отрицательному направлению».

Стр. 646. *...этот человек был в случае...*— То есть был в милости у высокопоставленных лиц.

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН И НАЗВАНИЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ

В указатель входят личные имена и названия периодических изданий, имеющиеся как в текстах Салтыкова, так и в примечаниях. В первом случае цифры, указывающие страницы, набраны прямым шрифтом, во втором — курсивом. Имена и названия, упоминаемые только в библиографическом аппарате, в указатель не введены.

Указатель составила А. М. Малахова.

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ

УБЕЖИЩЕ МОНРЕПО

КРУГЛЫЙ ГОД

ИЗ ДРУГИХ РЕДАКЦИЙ

ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ

КРУГЛЫЙ ГОД

Михаил Евграфович

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Собрание сочинений, т. 13

Редактор *С. Розанова*

Художественный редактор
С. Данилов

Технический редактор
С. Ефимова

Корректоры *А. Юрьева*
и *Р. Пунга*

Сдано в набор 7/VI 1971 г. Подписано к печати 25/V 1972 г. Бумага типогр. № 1. 60 × 90¹/₁₆. 51 печ. л. 51 усл. печ. л. 50,589 + 1 вкл. = 50,649 уч.-изд. л. Заказ № 558. Тираж 52 500 экз. Цена 1 р. 65 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Ленина типография
«Красный пролетарий»
Москва, Краснопролетарская, 16